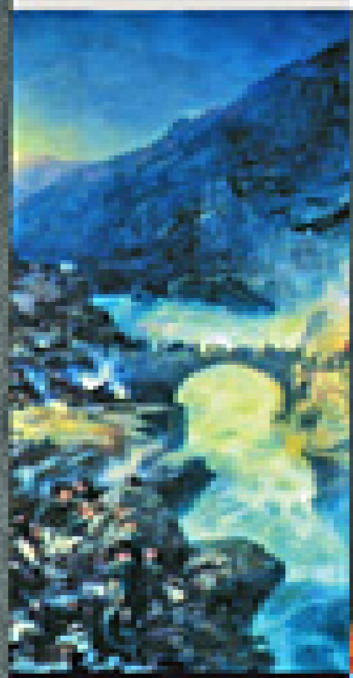
БАГРАТИОН



Евгений Анисимов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В пантеоне выдающихся полководцев нашего Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно из почетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый ученик Суворова, он был участником всех крупных войн своего времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны, полученной в Бородинском сражении, так и не пережив оставление Москвы. Его биография — это прежде всего история войн, которые вела Россия в конце XVIII — начале XIX века. Между тем личная, частная жизнь П. И. Багратиона известна совсем не так хорошо. Мы не знаем точно, когда он родился, как начал военную службу, которой отдал без остатка всю свою жизнь; немало загадок и в истории его взаимоотношений с царской семьей, особенно с великой княжной Екатериной Павловной, хотя именно здесь, как считают, таятся причины опалы, постигшей Багратиона незадолго до рокового 1812 года. О вехах жизни П. И. Багратиона — полководца и человека, а также об истории России его времени рассказывает в своей новой книге известный российский историк, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей» Евгений Викторович Анисимов.

- Евгений Анисимов
  - Предисловие
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая «Желал бы иметь крылья»
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая

- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Глава двадцать вторая
- Глава двадцать третья
- Прах здесь — слава везде
- Хронология жизни князя П. И. Багратиона[3]

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Евгений Анисимов
Генерал Багратион. Жизнь и война

Предисловие

«Воинственное и открытое лицо его носило отпечаток грузинского происхождения и было своеобразно-красиво. Он принял меня благосклонно, с воинскою искренностью и простотою, тотчас приказал отвести помещение и пригласил раз и навсегда обедать у него ежедневно. Он помещался в так называемом замке какого-то польского пана, единственном во всем городе порядочном доме. Тут собралось все общество Главной квартиры, принявшее меня радушно и ласково в среду свою». Так передает свое первое впечатление о Багратионе А. П. Бутенев, оказавшийся как раз накануне войны 1812 года в Главной квартире 2-й армии, размещенной в Волковыске1[1].

Так писали о князе Петре Ивановиче Багратионе многие, его встречавшие. Его особая мужественность, воинственность, храбрость и одновременно — простота, искренность, щедрость, доброта к людям, его окружавшим, — все это запоминалось, как безусловно признавались и его выдающиеся полководческие достоинства, огромная роль в конечной победе над Великой армией Наполеона. Мне кажется, что князь Багратион чем-то был похож на Наполеона дотильзитской эпохи, как характеризовал императора французов маршал Мармон: тот «был худым, непритязательным, необыкновенно активным, равнодушным к лишениям, презирающим благополучие и материальные блага, предусмотрительным, осторожным, умеющим отдаваться на волю судьбы, решительным и упорным в своих решениях, знающим людей и их нравы, что играло огромную роль на войне, добрым, справедливым, способным к настоящим чувствам и благородным к врагам»2.

В официальном пантеоне героев незабвенного для России 1812 года (да и неофициальном тоже) Багратион стоит на одном из первых мест, сразу после М. И. Кутузова, рядом с Барклаем де Толли и значительно выше других видных, талантливых военачальников того времени — Милорадовича, Раевского, Дохтурова, Витгенштейна, Ермолова, Коновницына, хотя все они — так уж распорядилась судьба — прожили дольше него и победно завершили великую войну с Наполеоном. Но несмотря на это никто из них не смог затмить славы Багратиона-полководца. В том, что у Казанского собора в Петербурге рядом со статуями Кутузова и Барклая де Толли нет статуи князя Багратиона, — большая историческая несправедливость, которую уже, к сожалению, не поправишь — исторический облик ансамбля Невского проспекта и Казанской площади давно сложился и

устоялся…

Взявшись за эту тему, я с удивлением обнаружил, что литература о Багратионе весьма скромна. Целые периоды его биографии освещены недостаточно, при этом много недомолвок, умолчаний. В этом смысле он разделил литературную судьбу своего товарища и соперника, генерала Барклая де Толли. Но последнему все-таки повезло: важным фактам биографии Барклая посвящена прекрасная книга А. Г. Тартаковского. В дореволюционной историографии о Багратионе не было ни одного серьезного монографического исследования, а в советское время, кроме двух брошюр, ему посвящена лишь небольшая книжка военного историка И. И. Ростунова, вышедшая более пятидесяти лет назад. Написанная в типичном для советских военных историков послесталинской эпохи стиле, она почти ничего не говорит о Багратионе как о человеке, да и о нем как о полководце там сказано вполне банально и малоинформативно. Гораздо интереснее книга В. К. Грибанова «Багратион в Петербурге» (1979), хотя и она полна распространенных в советское время штампов о войне 1812 года. Если Кутузову посвящено пять увесистых томов документальных материалов, то для отражения полководческой деятельности Багратиона «наскребли» в 1945 году тощенький сборник «Генерал Багратион», хотя даже опубликованных материалов о его полководческой деятельности — великое множество. Только в 1992 году вышла значительная по объему и содержанию публикация «Секретная переписка П. И. Багратиона», созданная сотрудниками Государственного исторического музея. Один из них, В. М. Безотосный, с небольшой группой коллег-профессионалов, а также любителей еще как-то поддерживает и не дает угаснуть историографической традиции, в сущности заброшенной государством, академической и даже военно-исторической наукой. Нет сомнений, что подготовленная В. М. Безотосным и его коллегами энциклопедия «Отечественная война 1812 года» останется на долгие годы непревзойденным справочником по данной проблематике, без которого не обойдется ни один исследователь. Особняком в историографии стоит со своей небольшой научной школой саратовский историк Н. А. Троицкий, чьи подчас излишне резкие и даже беспощадные упреки коллегам приносят пользу, ибо не дают бездумно повторять затверженные со времен Жилина и других «казенно-бетонных» историков советской поры стереотипы в оценке событий, вынуждают усиливать аргументацию, искать новые источники и пути исследования этой великой для нас темы. Но более всего в историографическом очерке нужно отметить старшего научного

сотрудника ГА РФ Игоря Сергеевича Тихонова, который до обидного мало публикует, но является крупнейшим на сегодняшний день специалистом по Багратиону, на протяжении трех десятков лет разыскивая материалы о его жизни и зная о нем, как никто другой. Как и множество других людей, я пользовался щедрой помощью и советами этого уникального специалиста, за что его благодарю.

Я принадлежу к числу тех историков, которые радуются, когда по избранной теме много исследований, и считаю, что понятие «тема закрыта» ошибочно. Наоборот, исследования и находки коллег позволяют порой заново взглянуть на проблему, определить новые, порой неожиданные аспекты изучения того, что вроде бы уже изучено, преодолеть неизбежный и нужный науке этап позитивного накопления и первоначальной оценки. В этом смысле я с интересом читаю статьи порой чрезмерно увлеченной своими концепциями Л. Л. Ивченко и некоторых других исследователей. Они полезны для историка — как писала Екатерина Великая, «поддают мозгу»…

Эта книга не только о Багратионе, но и о времени, в котором он жил. Мне всегда казалось, что историческая личность теряет многое, если она «вырезана» из контекста. Часто источники не дают оснований увидеть действия нашего героя, оценить происходившие события его глазами — он не оставил свидетельств или в описываемый момент его вообще не было на этом месте. Однако часто бывает, что эти события оказали непосредственное или опосредованное влияние на его судьбу, как и на судьбы многих людей, с ним связанных. Поэтому у читателя может создаться впечатление, что биография Багратиона как бы «тонет» в описании событий, происходивших в то время. Но хочу уверить читателя, что это не так: жизнь и судьба Багратиона всегда стояли передо мной как важнейший ориентир. Так, например, в книге описывается героический поход 2-й Западной армии в 1812 году по белорусским дорогам. Багратион, занятый важнейшими стратегическими задачами, почти ничего не писал о повседневности этого труднейшего похода, о невероятных испытаниях воинов его армии. Я не писатель, а историк, и не имею права додумывать за Багратиона, не могу, подобно беллетристам, вкладывать в его уста слова, недостающие для полноты картины, но считаю для себя возможным прибегнуть к свидетельствам других участников этого похода. Получается, что Багратиона вроде бы нет в кадре, но он где-то впереди, в тучах пыли, во тьме, среди разрывов бомб. От этого приема биография может только выиграть.

Книга основана преимущественно на многочисленных

опубликованных источниках — штабных документах, эпистолярном наследии Багратиона, а также огромном опубликованном фонде мемуаров участников грандиозных событий 1812 года. Эти материалы с дополнениями из неопубликованных, архивных источников в целом, как мне кажется, позволяют написать биографию П. И. Багратиона. Сразу скажу, что работа эта оказалась непростой, ибо личность Багратиона сложна и даже порой противоречива (отчасти этим и объясняются умолчания и недомолвки в историографии). Я стремился работать аккуратно, избегать довольно распространенных крайностей в писании биографий исторических деятелей, когда сочиняется либо панегирик (житие), либо памфлет. При этом в первом случае обычно что-то приглаживается и замалчивается, а во втором — выпячивается и утрируется. Главная же задача историка-биографа — объяснить, понять, высказать свою версию, предположение, восстановить некий контекст события или поступка. А если сам чего не понял — то так прямо и сказать, пусть читатель составит собственное мнение о предмете. Как известно, человек — существо сложное, противоречивое, грешное, он увлекается, часто принимает воображаемое за действительное, ошибается. Не следует осуждать или поправлять своего героя — мы неравны: ведь он замолчал навсегда и уже никогда не сможет ответить на наши претензии… Пусть останется он таким, как есть, со всеми своими достоинствами и недостатками.

Эта книга вряд ли была бы создана, если бы не Александр Иосифович Ебралидзе, чье тонкое и заинтересованное понимание истории сразу же поразило и обрадовало меня. За саму идею этой книги, за материальную поддержку проекта, за внимание, проявленное к истории, и уважение к моей работе я ему весьма благодарен.

Я также сердечно благодарен С. Р. Долговой и Н. Ю. Болотиной, нашедшим для меня в РГАДА (Российском государственном архиве древних актов) уникальные архивные материалы к биографии Багратиона, а также А. В. Бекасовой, скопировавшей для меня ряд документов по этой теме в РГВИА (Российском государственном военно-историческом архиве). Я благодарен прочитавшим рукопись и сделавшим свои замечания М. Е. Анисимовой, А. И. Ебралидзе, В. В. Лапину, Н. Л. Лужецкой, Б. П. Миловидову, С. А. Прохватиловой, П. Г. Рогозному, И. С. Тихонову, а также Н. Д. Третьяковой и всем тем людям, кто, ведая или не ведая о том, делом, словом, сочувствием способствовали появлению этой книги. И вообще я благодарен тем, кто проявлял и проявляет понимание к таким, как я, людям — историкам,

годами погруженным в неведомое и невидимое посторонним пространство прошлого.

С.-Петербург — Большое Алешно — С.-Петербург

Глава первая
Офицер с Кавказа

Потомок царского рода

Общеизвестно, что князь Петр Иванович Багратион (Багратиони) принадлежал к грузинскому царскому роду Багратидов, правившему Грузией (или ее частями) с IX до начала XIX века. Согласно одной легендарной версии, Багратиды происходили от знатной семьи Персидского царства, представители которой были сатрапами персидского царя в Закавказье. Согласно другой, чисто грузинской легенде, основателем рода Багратидов считался сам библейский царь Давид, прославившийся своей мудростью. Потомок Давида Гурам был уже христианином и со своими братьями пришел в Грузию, основал там династию, а наследником его стал сын Баграт. По его имени с 575 года правящая династия именовалась Багратидами. Она стала царской по воле византийского императора Юстиниана, верховного владетеля грузинских земель. После распада единой Грузии в конце XV века на три царства: Картли, Имерети и Кахети единый царский дом Багратидов разделился на три ветви, причем все правители этих частей назывались царями, а их владения — царствами. Предположительно, Петр Иванович Багратион происходил из так называемого Второго царского дома, который составляли царевичи Имеретинские, князья Грузинские (старшая ветвь), князья Багратиони, а также владетели и князья Багратиони-Мухранские.

С конца XVII века началось сближение представителей грузинских царских родов с Россией, которая в своем движении на юг вошла в соприкосновение с землями, соседствующими с владениями грузинских царей. Одновременно, по мере все более жестокого наступления на Грузию персидского шаха и турецкого султана — и, соответственно, мусульманства, — возрастает взаимное притяжение двух христианских народов. Россия предоставляет убежище грузинам, бегущим из своей страны по разным причинам. Главной из них был страх стать жертвами турецкого и персидского нашествий. Но немалую роль в развитии эмиграции в Россию играли и внутренние распри грузинской элиты и представителей разных ветвей дома Багратидов. Так в России оказался имеретинский царь Арчил II Вахтангович, ставший жертвой придворной борьбы и репрессий со стороны

турок. Он поселился в Москве в 1699 году, а его сын, царевич Александр, отправленный в Россию еще раньше, стал одним из сподвижников Петра Великого, участвовал в Великом посольстве, был судьей, то есть руководителем, Артиллерийского приказа, первым генерал-фельдцейхмейстером, но в 1700 году попал в плен к шведам под Нарвой и в 1711 году умер в Швеции. Следующая волна эмиграции приходится на первую половину 1720-х годов, когда в Россию бегут сторонники российского императора Петра Великого. Затевая в 1722–1723 годах Персидский поход, Петр вступил в переписку с царем Картли Вахтангом VI Леоновичем, который открыто присоединился к русскому царю. За это персидский шах лишил его трона Картли, передав трон царю Кахетии Константину, но того в 1723 году свергли турки и возвели на престол Картли брата Вахтанга Иессея (Евсея) Леоновича (Левановича). Он-то и был прадедом Петра Ивановича Багратиона.

Конец самобытного существования. XVIII век стал временем, когда Российская империя стремилась включить Грузию и вообще Закавказье в число своих имперских владений. Это имперское желание России было оформлено знаменитым Георгиевским трактатом 1783 года, который, правда, как в нем сказано, «не именует грузин подданными, но союзниками, покровительствуемыми Россией». Присоединение Грузии (в первую очередь Картли и Кахетии) шло по той общей схеме, по которой инкорпорировалось в состав Российской империи Крымское ханство: вначале Россия требует от Турции, являвшейся верховным сюзереном этого государства, независимости для него. Это независимость только на бумаге; потом происходит включение Крыма в состав Российской империи с лишением его владетелей верховных титулов и превращением новой части империи в российскую губернию. В случае с Грузией мотивом также выставлялось желание помочь единоверной стране устоять перед натиском мусульманства. Дальней геополитической задачей при присоединении Грузии было создание, наряду с Византийской империей (согласно так называемому «Греческому проекту»), нового сателлита России — империи Албании. Все это привело к вводу в Грузию русских войск. Продержались они там, правда, недолго, уступив Грузию на растерзание персам, которые в 1795 году жестоко расправились с Тифлисом и другими городами. Снова русские войска появились в Тифлисе в 1799 году, уже при Павле I, на этот раз с целью «принять Грузию в вечное подданство». Это было вызвано как устремлениями России, так и желанием царя Георгия XII, который совершенно отчаялся выстоять перед лицом страшной для грузин персидской

агрессии, набегами лезгин и постоянными внутренними распрями, в том числе и в царской семье. Последний грузинский царь писал императору Павлу, обосновывая свое желание: «Грузия так или иначе должна покончить свое самобытное политическое существование… Грузинский народ желает вступить навсегда в подданство Российской империи с признанием Всероссийского императора за своего природного государя». После смерти Георгия в декабре 1800 года грузинский престол был ликвидирован, и царская династия Багратидов, правившая Грузией минимум тысячу лет, упразднена. В феврале 1801 года жители Тифлиса присягали на верность России, а в сентябре того же года вступивший на русский престол император Александр I подтвердил принятие Грузии в состав Российской империи и вскоре направил туда первого военного губернатора генерала Кнорринга, действовавшего в Грузии как в колониальном владении. Одной из его важнейших задач стала защита Грузии от постоянных и очень кровавых набегов лезгин и других горцев (заметим попутно, что лезгинами называли тогда всех горцев Дагестана, без различия их этнической принадлежности). Протянув вооруженную руку через Главный хребет Кавказа, Россия неизбежно вошла в далеко не дружественное соприкосновение с заселявшими Кавказ горскими народами и вскоре вступила с ними в затяжной конфликт. Началось то, что позже будет названо Кавказской войной…

Принято считать, что отец Петра Багратиона, Иван Александрович, появился на свет в 1730 году в Персии. Дед князя Ивана Багратиона Иессей (Евсей) Леонович, как упоминалось выше, был поставлен на Картлийский престол Турцией вместо своего единокровного брата Вахтанга VI, бежавшего в Россию. Но это было второе пришествие Иессея Леоновича к власти. До этого он правил Картли по воле шаха в 1714–1716 годах, но был смещен персами, передавшими престол его брату Вахтангу. С приходом в Картли в 1723 году турок Иессей вновь стал царем и правил до 1727 года, пока не умер. Еще до своего вступления на трон он принял мусульманство и получил имя Али-кули-хан — иначе, будучи вассалом персидского шаха, он никогда не стал бы царем Картли. Одним из его многочисленных сыновей был дед Петра Ивановича Багратиона Александр (Исаак-бек), рожденный в начале 1700-х годов в гареме от младшей жены или наложницы. Есть неподтвержденные документами сведения, что мать Александра была знатной персиянкой. Петр Багратион должен был помнить деда — тот умер в 1773 году. Царевич Александр Иессеевич появился в русских пределах в декабре 1758 года, а в апреле 1759 года обратился к императрице Елизавете Петровне с

прошением о даровании ему русского подданства и определении в Астрахань (куда он и приехал) или в Кизляр. О себе он сообщал следующее: «В бытность отца моего, означенного царя Иесея, в Персии, при шахском дворе, на некоторое время, прижит я им, царем Иесеем, в столичном городе Испагании, и как он, отец мой, оттуда выехал (в Грузию), то я оставлен тамо, при матери своей, при шахском дворе, где я и воспитан в их нечестивой и поганой магометанской вере. И находился всегда тамо»1. Там Исаак-бек был пожалован от шаха Надира чином наиба и имел какие-то земельные владения. Затем он «получил удобное время» и перебрался в Грузию к единокровному брату, католикосу Грузии Антонию, который окрестил все семейство Александра. Кстати, сам католикос Грузии Антоний I родился от второй жены Иессея Елены в 1720 году и в мусульманстве носил имя Теймураз. (Принуждение к переходу в ислам представителей элиты покоренных христианских областей было одной из основ политики Персии и Турции в Закавказье и на Балканах. При этом ренегаты в большинстве своем либо тайно продолжали исповедовать христианство, либо возвращались в лоно церкви при первой же возможности.)

Из Грузии Александр выехал в Россию, взяв с собой одного сына, 16-летнего Фому, и оставив в Грузии жену Дарью, двух сыновей и трех дочерей. Далее в челобитной Александр описывает типичную для Грузии того времени внутреннюю распрю, жертвой которой он стал. Приезд в Грузию сына бывшего царя Иессея не вызвал восторга у правивших тогда в Картли-Кахетинском царстве Теймураза II, его сына Ираклия II (правил до 1798 года) и их родственников, тем более что сам Александр в своей челобитной называл их самозванцами («…довольно известно, что ныне царствующая в Грузии тамошнего престола не наследники, а принадлежит тот престол фамилии отца моего по линии ближним»). В итоге, как и следовало ожидать, Александра и его дядю «начали разорять и разорили до конца», вытесняя из Грузии. Никакого иного выхода, кроме бегства в Россию, у них не было. Католикос Антоний I, пробыв на своем посту с 1744 по 1755 год, также уехал в Москву и был определен архиепископом Владимирским, а затем в 1764 году вернулся в Грузию и пробыл католикосом до своей смерти в 1788 году. За ним двинулся в Россию и царевич Александр. В своей челобитной он просил императрицу Елизавету предоставить ему российское подданство и «службу с награждением чина противу протчих моих фамильцов и национов безобидно… с награждением двойного жалованья противу протчих чужестранцев» и разрешить привезти жену и других своих детей. Такое разрешение было получено.

Александру дали чин подполковника, и он был поселен в Кизляре, где находился армянский и грузинский конный эскадрон. После роспуска эскадрона в 1764 году и отставки царевич был «оставлен при тамошней команде на определенном ему жаловании»1.

Судьба его сына Ивана складывалась иначе. После отъезда отца он оставался в Грузии. Это явствует из того, что в 1767 году он, подобно Александру, подал челобитную о приеме его в подданство и определении на службу в Кизляр. Фраза из челобитной, что он вынужден «с фамилиею моею прибегнуть под покров Вашего императорского величества в империю прошлого 766 года в декабре месяце в Кизляр», с ясностью говорит, что Иван не был с отцом, принявшим подданство за семь лет до этого. В поданной Екатерине II челобитной Иван писал, что он, как и отец, желает поступить на русскую службу, «но за незнанием в короткое время российского диалекта нахожусь празднее», заметив при этом, что знает персидский, турецкий, армянский и «природный грузинский» языки. Он просил определить его на службу в Моздок с выдачей ему «по знатности нашей фамилии определенного… жалованья»4. Моздок был выбран Багратионом не случайно — здесь, в предгорье, происходили встречи, велись тайные и открытые переговоры с горцами, словом, здесь было бойкое место, и Иван, вероятно, хотел, используя свои знания в языках, играть какую-либо заметную роль. В докладной записке Коллегии иностранных дел было сказано, что препятствий для поселения Ивана в Моздоке нет, но «трудность при том только та, что он просит чина и пристойнаго жалованья», а в Моздоке находятся одни только казаки, и «грузинской князь Багратион, по малости положенного жалованья чиновным при моздоцких казаках, едва ли согласится… А чтобы определить его майором или подполковником, с положенным для сих двух чинов жалованьем, кажется, он того не заслуживает, не быв еще вовсе в службе». В резюмирующей части записки говорилось, что Моздок для поселения Ивана не подходит. В итоге он остался в Кизляре, при отце. В литературе принято считать, что князь Иван служил в Кизляре офицером русской армии. В частности, так утверждают составители сборника «Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII веке» (Тбилиси, 1968). И. А. Багратион упоминается в ряде документов, составленных в Моздоке и Кизляре в 60—90-е годы XVIII века; в чине секунд-майора он вышел в отставку. Еще в ведомости за март 1795 года он «значится первым в списке кизлярских дворян»5. У нас нет оснований ставить под сомнение данные наших грузинских коллег, но обращает на себя внимание надпись на надгробном

камне на могиле И. А. Багратиона на кладбище Всехсвятской церкви в Москве, выбитая по воле его сына князя Петра: «Под сим камнем положено тело грузинского царевича Александра сына князя Ивана Александровича Багратиона, родившегося 1730 г. ноября в 11-й день, прожившего 65 лет, скончавшегося в 1795 г.». Чин покойного, вопреки принятой тогда традиции, не указан, а это наводит на мысль, что его у князя Ивана не было или же чин этот был весьма ничтожен. Однако нет сомнений, что И. А. Багратион жил в Кизляре вместе с семьей. Кстати, из надгробной надписи и документов той поры хорошо видно, как Багратионы превратились из царевичей в князей. Александр именовался в русских документах царевичем, так как был сыном царя, а вот его сын Иван царевичем уже не был, а упоминается только как князь Багратион (или Багратионов).

Ближайшие родственники

Итак, сын князя Александра Иван и стал отцом нашего героя. А вот кем была мать Петра Ивановича, сказать наверняка трудно. Н. П. Поликарпов был твердо убежден, что мать полководца — дочь царя Ираклия II (1720–1798), правителя Картли (с 1762) и Кахетии (с 1744), при котором и был заключен Георгиевский трактат6. Однако в утверждении исследователя можно усомниться, если посмотреть на генеалогическую таблицу грузинских царей (которая также, возможно, не лишена ошибок). По этим данным, у царя Ираклия было десять дочерей. Четыре из них умерли в детстве, а из оставшихся шести три родились почти одновременно с Петром (Анастасия — в 1763 году, Кетаван — в 1764-м и Фекла — в 1776-м). Еще две царевны также не годятся в матери Багратиону — это Елена (1753–1786), бывшая старше его на 12 лет, и еще более юная Мариам (1755–1828). И только царевна Тамар (1749–1786) подходит по возрасту, но известно, что она была супругой князя Д. Р. Орбелиани (Елена, кстати, была замужем за имеретинским царевичем Арчилом Александровичем, а Мариам — за князем Д. А. Цицишвили)7. Ошибка Поликарпова очевидна еще и потому, что он называет отца Багратиона Иваном

Константиновичем, хотя общеизвестно, что отчество того — Александрович. Вероятно, мать Багратиона была знатного, возможно царского, рода. По мнению лучшего знатока генеалогии Багратионов И. С. Тихонова, она была из «грузинского княжеского рода», однако из какого именно, ученый (в заметках на полях рукописи моей книги) пока что не сообщил. Возможно, именно

брак с представительницей влиятельного грузинского рода и стал причиной того, что Иван не поехал в Россию со своим отцом, а остался в Грузии.

У Ивана Александровича было, по одной версии, три брата и две сестры, а по другой — два брата (Фома и Порфирий) и сестра Анна8. Думаю, что более точна первая версия. Один из братьев Ивана, князь Кирилл Александрович, сделал военную, потом гражданскую карьеру, произведен в 1797 году в генерал-майоры, потом стал тайным советником и сенатором и надолго пережил своего знаменитого племянника (умер в 1828 году). Князь Петр Иванович поддерживал с дядей родственные отношения, оба они были близки к главнокомандующему Москвы Ф. В. Ростопчину. В одном из писем Багратиона Ростопчину от 22 августа 1812 года мы читаем: «И подлинно, слава Богу, что вам вверили в такой хаос Москву. Если бы Гудку (имеется в виду фельдмаршал Гудович. — Е. А.), то чисто бы шнапс, как кн. Кирилла говорит»1. Обычно так пишут о хорошо знакомых собеседникам людях, чьи часто повторяемые выражения все знают. Кирилл был женат дважды: первой его супругой была княжна Варвара Алексеевна Хованская, а второй — Александра Ивановна Голикова, родившая мужу шестерых детей. Старшие сыновья Кирилла, Алексей (1787 года рождения) и Александр (1788 года рождения) при содействии Ростопчина вначале были пристроены юнкерами в 1800 году в Москве, в Архиве Коллегии иностранных дел, в следующем году переведены в саму коллегию, где дослужились до коллежских асессоров, а в 1806 году Александр Багратион и князь Петр Грузинский были переведены в лейб-гвардии Егерский батальон портупей-юнкерами. Шефом этого полка, как известно, был П. И. Багратион. В августе 1812 года, в разгар войны, в армию Багратиона прибыл с письмами из Дунайской армии Алексей Кириллович, 25-летний штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка. Он был оставлен старшим адъютантом штаба армии10 и послан в Дунайскую армию с депешами. В сопроводительном письме к Чичагову Багратион благодарил главнокомандующего Дунайской армией «за милостивое… к нему (Алексею. — Е. А.) распоряжение»11. Служили под началом Багратиона и другие его грузинские родственники. Так, князь Петр Яковлевич Грузинский, двоюродный племянник Анны Александровны Голицыной (урожденной Грузинской), был убит на Бородинском поле. О другом из князей Грузинских (Илье Георгиевиче) Багратион писал Ермолову из Выдры 29 июля 1812 года и просил устроить родственника в лейб-гвардии Егерский полк — любимый, родной полк князя Петра Ивановича, который силою обстоятельств оказался в составе 1-й армии12. Нужно отметить при этом, что

подпоручик Грузинский был «пристроен» генералом не просто в «теплое» местечко, а прямо в пекло — Егерский полк участвовал во всех сражениях.

Багратионы разные бывают. Было бы ошибкой думать, что все Багратионы, оказавшиеся в России, являлись потомками царя Иессея. Когда при Петре Великом царь Вахтанг Леонович бежал в Россию, то с ним ушли в новую страну его многочисленные родственники и 1300 грузинских дворян. На этой основе в Астрахани и Москве образовались большие грузинские общины. Братья и дети Вахтанга, обосновавшиеся в России, назывались царевичами Грузинскими, а их потомки стали именоваться князьями Грузинскими. Сыном Вахтанга был и памятный в Грузии Вахушти Багратиони (1696–1758), автор знаменитого исторического исследования «Жизнь Грузии» (1745), которого по ошибке иногда называют дедом князя Петра Ивановича. В 1801 году императору Александру подала челобитную о денежном пособии «царевичева дочь княгиня Мария», которая писала, что отец ее — царевич Вахушти. Ее дядя, брат Вахушти Бакар Вахтангович (Шах-Наваз), был даже дважды царем: в 1716–1719 годах, как раз накануне вступления на трон Иессея, а также несколько месяцев в 1723 году. После Персидского похода Петра Великого он окончательно переселился в Россию и стал там довольно известным военным, генерал-лейтенантом. Бакар и Вахушти вместе со своим младшим братом царевичем Георгием (1712–1789) положили начало роду князей Грузинских. Точнее, их потомков перестали именовать царевичами и царевнами, что и видно из приведенной выше челобитной Марии Вахуштиевны.

В июне 1741 года княгиня Анна Потаповна, вдова грузинского царевича Симеона Леоновича (брата Иессея), написала челобитную, в которой жаловалась на побочного сына своего мужа Николая. Последний подал в Сенат челобитную и объяви, і, будто он «подлинный родной сын Симеона», и «ее де упомянул мачихою и детей ее братьями и тем учинил немалую обиду в том, что он рожден от служительницы и воспитан ею для одного спасения тайно», и что царевич Симеон содержал его тайно и не объявлял «для единого стыда», а потом отдал для воспитания Миниху, по-видимому, в Кадетский корпус. Анна просила, чтобы Николая не причисляли к их роду и не позволяли пользоваться гербом рода Багратионов. С Николая Семеновича были сняты показания. Он подтвердил, что выехал в Россию с отцом в 1725 году «по 3-му году», жил в Москве, обучался языкам немецкому, французскому, латинскому «на коште» своего отца, в 1737 году написан в Сибирский драгунский полк в драгуны, произведен в капралы, прапорщики, а с 1740 года — поручик.

Николай показал: действительно, отец прижил его, когда был вдов, с его матерью, грузинскою дворянкою, а имени ее не помнит, так как та умерла в его малолетство, а что он не «прямой», а побочный сын, этого не оспаривает. Княгиня же Анна объявила, что у нее имеются прижитые с мужем Симеоном законнорожденные сыновья, принцы Багратионы (Дмитрий, 14 лет, и Степан, 13 лет), которые «служат в Преображенском полку сержантами». Сенат, собрав выписки из законов, пришел к выводу: факт того, что Николай является незаконным, но родным сыном Симеона, несомненен, но он не может быть Багратионом, так как, в отличие от детей Анны и Симеона, родился вне брака. Поэтому он был признан дворянином, но фамилию получил от имени отца, став князем Николаем Семеновым. После этого ему было разрешено иметь родовой герб.

Багратионов было так много, что их путали даже в государственных учреждениях. В 1781 году Московское отделение архива Коллегии иностранных дел подготовило справку о «выезде в Россию фамилии Багратионов». Из нее следует, что «в пространном имянном о выехавших с царем Грузинским Вахтангом всякого звания и полулюдях списке, сообщенном 1727 году за рукою онаго царя Вахтанга, о фамилии Багратионов следующее найдено известие: кахетской князь Иосиф Дадидов (он же назывался Розеп Георгиевич) сын Багратион, в 724-м году присланной в Москву с письмами к государю императору Петру I от кахетинского царя Константина (тот правил в 1722–1732 годах. — Е. А.), на возвратном своем в Грузию проезде по некоторым от находившегося тогда в Астрахани грузинского царя Вахтанга (VI. — Е. А.) объявленным на него подозрениям (обычно это была формула обвинения в шпионаже. — Е. А.), взят и содержан был под караулом в Астрахани с 26 июня 1726 по 1730 год, но в 1730 году по прозьбе прусского посланника Мардефельда, будучи освобожден из Астрахани и 27 июля в Москву привезен… к царю Вахтангу, которой советовал отпустить его в отечество, почему он тогда и отпущен… Князь Иосиф Багратион в 1736 году вторично… в Россию приезжал с письмами ко двору от кахетинского царя Теймураза (царь Кахетии в 1732–1744 годах, а с 1744 до 1762 года — царь Картли. — Е. А.) и будучи в Кахетию отпущен и, не застав уже тамо царя Теймураза, по причине взятия его персидским Тахмас-ханом в Персию, третично в Санкт-Петербург 11 июля 1738 года с листами от Кахецкого царя Александра (III, правил в 1735–1737 годах. — Е. А.) приехал, оставив в Астрахани жену свою княгиню Анну, шестилетнюю дочь и с двадцать человек свиты, в том числе четырех дворян. Находясь же в Петербурге, просш он же, князь

Багратион, дозволения вечно остаться в России жить, почему в 1740-м году, по докладу об нем Государственной коллегии иностранных дел, дозволено ему жить в Казани с ежегодном по двести рублев жалованием, но того ж года 22 ноября он, князь Багратион, в Казани умер, а жене ево, вдове, княгине, по прозьбе (ее. — Е. А.) о продолжении ей того ж пансиона и о дозволении жить в Москве 26 марта 1741 года по смерть их или по день замужества, дозволено. Более же сего о фамилии Багратионов в грузинских делах не имеется». Как мы видим, в архиве взяли дело об одном представителе рода Багратионов, но не из Картли (откуда предки нашего героя), а из братской Картли Кахетии.

Когда и где родился

Вторая — после имени и рода матери — неясность в биографии Петра Ивановича Багратиона: мы не знаем точной даты его рождения. В формулярном списке о службе Багратиона, составленном скорее всего в 1811 году, точная дата рождения не указана — в документах того времени обычно писали «отроду… лет», поэтому наверняка точную дату рождения многих людей прошлого установить затруднительно. И в нашем случае в формуляре отмечено: «Шеф, генерал от инфантерии, князь Петр Иванов сын Багратион, 45 лет, из грузинских дворян». Получается, что князь Петр родился в 1765 году. Этой даты придерживался Денис Давыдов, писавший в эпитафии Багратиона: «Князь Петр Иванович на берегах Каспия, в Кизляре, 1765-го года родился»13. Эта же дата стала основной в биографических справках о Багратионе от «Военной энциклопедии» И. Д. Сытина (1912 год) до энциклопедии «Отечественная история» (1994 год). Этой же даты придерживается и автор наиболее полной биографии Багратиона И. И. Ростунов (1957 год). И только в третьем томе книги «Дворянские роды Российской империи» (1996 год) указаны две предположительные даты: «1762 или 1764». Федор Ростопчин, описывая ранение и смерть Багратиона, писал, что «ему было уже около 50 лет»14, то есть он считал, что наш герой родился около 1762 года. Наконец, И. С. Тихонов предположительно относит рождение П. И. Багратиона к 1769 году, хотя считает, что точно определить дату невозможно и, строго говоря, ее следует отнести в промежуток между 1764–1769 годами.

По поводу места рождения Багратиона почти все исследователи единодушны — это крепость Кизляр, основанная в Астраханской губернии при Анне Иоанновне в 1735 году и

ставшая частью, сектором оборонительной Кавказской линии после ухода русских из Персии, Азербайджана и Дагестана в 1732 году. Но у некоторых ученых и по этому поводу есть довольно веские сомнения. Так, опираясь на челобитную князя Ивана Александровича о приеме его на русскую службу, З. Д. Цинцадзе предполагает, что если князь Иван с семьей прибыл в Кизляр в декабре 1766 года, то либо Петр Иванович родился не в Кизляре, а в Грузии, либо дата рождения полководца должна быть отнесена ко времени после декабря 1766 года. Действительно, Иван Александрович в челобитной 1766 года упоминает, что он, после отъезда отца в Астрахань, «з братом… з женою и детьми… оставался в Грузии» до 1766 года, а теперь по выезду просит определить жалованье «на содержание мое, жены и детей»15. Исследователь опирался на формулярные списки П. И. Багратиона, составленные в тех полках, в которых служил полководец. Получилась довольно пестрая картина: «дата рождения колеблется от 1764 до 1769 года. Так, в Астраханском пехотном полку стоит 1769 год, в Кавказском мушкетерском — 1766–1767, в Софийском карабинерском — 1764 год, в лейб-гвардии Егерском полку — 1765 год». По мнению Цинцадзе, наиболее достоверной нужно признать дату, обозначенную в формулярном списке 6-го егерского полка в 1800 году, заверенном самим Багратионом. В нем указано, что Багратиону 35 лет, то есть он родился в 1765 году". Если мы будем держаться этой даты, подтверждаемой и другими источниками, то должны отказаться от Кизляра как места рождения князя Петра и допустить, что он родился в Грузии и в годовалом возрасте (в числе упомянутых в челобитной Ивана «детей») был перевезен в Россию и оказался со своей семьей в Кизляре. А если же будем считать датой рождения, например, 1769 год, то Кизляр как место рождения Багратиона бесспорен.

Братья

У П. И. Багратиона было несколько братьев. Иван, бывший подпоручиком, умер в 1797 году. Роман (Реваз), кадровый военный, участник Наполеоновских войн и войн на Кавказе, был моложе брата Петра лет на четырнадцать — шестнадцать (или, по мнению И. С. Тихонова, — на девять лет). Он дослужился впоследствии до чина генерал-лейтенанта и умер в 1834 году. Его сын, племянник Петра Ивановича, родившийся в 1818 году, прославился (будучи генералом, администратором) своим хобби — химическими опытами; он увлекался металлургией и даже

открыл новый минерал, названный позже в честь открывателя «багратионидом». Еще один брат — Александр Иванович (1771–1820), о котором известно, что он женился на какой-то казачке Дарье17. О нем идет речь в записках С. А. Тучкова, генерал-майора, воевавшего на Кавказе с турками. Тучков пишет, что у него в полку (а известно, что Тучков был шефом Кавказского гренадерского полка) был «некто князь Багратион, родной брат известного генерала Багратиона, служил в полку моем капитаном, когда брат его сделался уже известным по военным его подвигам (надо понимать, что речь идет о 1805–1808 годах. — Е. А.). Капитан Багратион был женат и не расположен был искать высоких степеней, хотя в прочем был довольно храбр и хорошего поведения. Генерал князь Багратион, зная свойства брата своего, писал ко мне, что он (брат. — Е. А.) намерен подать прошение об отставке и просил при том, чтоб я не оставил его снабдить хорошим свидетельством. Это я исполнил. Он отставлен был с чином майора и вскоре потом был определен командиром Хоперского полка и начальником города Ставрополя на Кавказской линии, составляющего поселение его войска»18. Из записок В. М. Жемчужникова о службе его отца М. Н. Жемчужникова следует, что в 1810 году два русских отряда преследовали горцев. Один из начальников отрядов, «кажется, назывался Багратион»19. Возможно, речь идет об Александре Ивановиче. Наконец, в списке личных вещей, составленном после смерти П. И. Багратиона, есть пометы, позволяющие утверждать, что к князю Александру Ивановичу перешли некоторые драгоценности покойного: против записи о бриллиантовых звездах Владимирского, Мальтийского орденов и ордена Святого Георгия, а также против записи «Печать гербовая в футляре» помечено: «Взяты князем Александром Ивановичем». Обычно знаки орденов, представляющие собой драгоценность, переходили к ближайшим родственникам, тогда как сами ордена возвращались в капитул. Так и в нашем случае: против списка орденов стоит запись: «11 орденов взяты графом Сен-Прие для отвоза в Санкт-Петербургский капитул». Запись о передаче орденских знаков князю Александру Ивановичу стоит также против пунктов с упоминанием осыпанной бриллиантами табакерки с портретом императрицы Марии Федоровны, золотой «табакерки с портретом княгини» (супруги П. И. Багратиона Екатерины Павловны), а также двух образов — первого, святой Екатерины и святого Симеона, и второго, с изображением Михаила Архангела. Князь Александр Иванович обозначен без фамилии, а так обычно обозначали лишь близких родственников, к которым переходят личные вещи (в том числе личная печать), а

также иконы покойного, возможно, семейные20.

Кизлярские детство и юность

О детстве Багратиона известно мало. Проходило оно в Кизляре. З. Д. Цинцадзе обнаружил школьные ведомости Кизлярской комендантуры. При ней существовали две школы — для детей гарнизонных солдат и для офицерских детей. В 1782–1783 годах в них значится «грузинского князя Ивана Багратиона сын Петр». Заметим, что и здесь чин или должность князя Ивана не обозначены. В то время, когда Петр Багратион изучал в гарнизонной школе немецкий язык и арифметику, ему было 13–14 лет, а по другой версии — даже 17–18, что говорит о весьма позднем и несовершенном образовании. Так оно и было. В формуляре Кавказского мушкетерского полка написано: «Грамоте по-русски и по-грузински читать и писать умеет». Нужно признать, что этого для молодого офицера того времени очень мало. Как правило, в таких формулярах перечислялись те науки, которые (даже в скромном объеме) освоил офицер — обычно это арифметика, история, география, иностранные языки, а также начала военной науки. Собственно, Багратион никогда и не скрывал, что он «неуч». Такого же мнения были и современники. По словам Ф. В. Ростопчина, Багратион «был слишком необразован». Хорошо знавший Багратиона А. П. Ермолов писал, что «с самых молодых без наставника, совершенно без состояния, князь Багратион не имел средств получить воспитание. Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу». Ниже будет об этом сказано подробнее, но сейчас отметим, что действительно одаренный «счастливыми способностями» Багратион впоследствии заполнил лакуны в своем образовании практическими знаниями и интуицией. Обстановка, в которой довелось жить Багратиону в Кизляре, мало способствовала получению школьного образования.

Опасная южная граница России. Кизляр был пограничной крепостью — граница проходила по низовьям Терека до впадения в него реки Сунжи. Здесь были поселены казаки, получившие название терских и гребенских. Власти, обещая высокое жалованье, стали приглашать в казачью службу черкес, грузин, армян и представителей других народов. Чуть позже неподалеку кабардинский князь Кончокин, перешедший на русскую службу и принявший христианство, основал поселок, названный Моздоком. В 1763 году там было построено укрепление, в котором служили

казаки и «инородцы» из Кизляра. Образовалась так называемая Моздокская линия; здесь поселилось множество казаков, основавших несколько крупных станиц. Как жили люди по этой линии вдоль Терека, мы хорошо знаем по рассказам Л. Н. Толстого и по множеству различных описаний и исследований: «Это были те же самые казацкие городки, которые строились на Дону и на Яике, то есть большие села, окопанные рвом, обнесенные земляным валом и плетневым тыном с терновой оторочкой. Въезды и выезды загораживались рогатками, затворялись воротами… Над воротами стояли на четырех столбах вышки и на них часовые. У съезжей станичной избы висел колокол, который звонил сполох в случае набегов неприятелей или пожаров. Между укрепленными станицами, как связующие их звенья, стояли посты в недальних один от другого расстояниях. Это были небольшие плетневые крепостицы с вышками, на которых ставились караульные и с какой-нибудь мазанкой или шалашом для отдыха постовых казаков, которых отряжались на пост человек пять-шесть. Караульные днем наблюдали за движением неприятелей с вышек, а ночью залегали в секретах. О приближении врага они давали знать, зажигая на местах пучки соломы или травы и другими способами. В высшей степени тревожную жизнь приходилось вести обывателям станиц на линии, особенно по соседству с чеченцами. Несмотря на то, что Терек отделял чеченские аулы от казачьих селений, он не составлял неодолимой преграды. Уровень воды в нем иногда понижался, и реку можно было переходить вброд. Но чеченцы и переплывали ее в полном вооружении, подвязывая кожаные меха под мышки. С заходом солнца убиралось под защиту станичной ограды все живое — и люди, и животные. И с рассветом никто не выезжал из станицы и не выгонял скота, пока не возвращались утренние разъезды и не объявляли, что опасности не предвидится. Казаки ни на какую работу, ни в какую поездку не отправлялись без оружия; когда казачки шли работать в свои сады или на виноградники, их сопровождали подростки с ружьями и охраняли, заняв сторожевые посты на высоких деревьях. Черкесы нападали в большинстве случаев открыто, но чеченцы бьши настоящие шакалы в деле засады и внезапных нападений. При малейшей оплошности казаков они появлялись, как из-под земли, мгновенно производили резню и хватали добычу: угоняли скот и лошадей, уводили в плен детей; чего нельзя было унести, они разрушали или сжигали. В темные ночи они подползали вдвоем, втроем под самые городки, вырезали кинжалами проходы в плетневой ограде и похищали волов и коров из закут. На такие проделки особенно были способны и

неутомимы абреки, отпетые люди, бездомовники. По тревоге снаряжалась из станицы погоня, которая неслась за Терек, обыкновенно на один перегон доброго коня. Если не всегда, то и нередко погоня отбивала полон и добычу, но случалось, что она натыкалась на засаду, и тогда уж приходилось биться не на живот, а на смерть. Донимали казаков не одни чеченцы, но и ногайцы, кочевавшие по левой стороне Терека»21.

Жизнь в крепостях, подобных Моздоку и Кизляру, была поспокойнее — все-таки в крепости был большой гарнизон, на валах стояли пушки, но уже за пределы крепости выезжали с опаской, желательно большой колонной, с охраной и даже орудиями. Жизнь на границе закаляла молодых людей, вырабатывала в них отвагу, смелость и вместе с тем осторожность, осмотрительность. Общение с горцами требовало знания их психологии и обычаев. Кроме того, граница по Тереку, как и другие части южной границы России, была, как теперь сказали бы, «местом встречи цивилизаций», двух, а той больше миров, далеко не мирных между собой. С русской стороны шел довольно бурный процесс ассимиляции русских людей с народами Кавказа и Закавказья, по большому счету шло образование отдельного народа — казаков, с их особым менталитетом, обычаями и привычками. Линейное казачество всегда было открыто для всех — естественно, только принявших православие — и местных жителей, и выходцев из разных окрестных стран. Шел процесс ассимиляции кавказцев (что ни говори, но этот вполне нейтральный термин XIX века позволяет наиболее полно охарактеризовать жителей Кавказского региона) с пришлыми — русскими. Русские усваивали образ жизни и поведения на Кавказе, диктуемый особенностями рельефа, климата, обычаями других народов, заимствовали легкую и удобную одежду и обувь горцев, их великолепное оружие и удобное воинское снаряжение, осваивали их боевые навыки, умение обращаться с лошадью. Бурка, которую солдаты во время военных действий неизменно видели на Багратионе, осталась от времен его молодости на линии. Да и другие генералы и офицеры русской армии — и не только на Кавказе — любили это незаменимое «укрытие» от дождя и холода. Женщины линий также одевались в несколько видоизмененную одежду горянок; в станицах строили не русские деревянные дома, а мазанковые хаты, да еще с галереей и горскими устройствами. Там уже не было русских телег, а были арбы, которые тянули волы. Но при всем этом, как справедливо замечал М. К. Любавский, «русская стихия в природе казака и в укладе его жизни осталась преобладающей, и терские казаки, оторванные от Руси, на

далекой окраине, оставались русскими людьми, которые сберегли свой язык, свои национальные традиции, свою веру и даже по-старому, до-никоновскому обряду»22.

Кавказцы, со своей стороны, учили русский язык, они вступаш в браки с русскими — чаще это делали кавказские женщины, выходившие замуж за русских казаков, а самое главное — усваивали «русское восприятие мира», свою принадлежность к русскому народу, понимаемую прежде всего как принадлежность России, как подданство великому и могущественному императору. Отсюда идет подчеркнутый русский патриотизм Багратиона, противопоставлявшего себя иностранцам, «немцам», «чухонцам». Он писал о себе как о «чисто русском» и, если судить по сохранившимся материалам, не подчеркивал свое грузинское происхождение.

Благодетельница

К числу общепринятых сведений о ранней биографии Багратиона принадлежит и то, что толчок к его службе дал светлейший князь Г. А. Потемкин, которому якобы зимой 1782 года юного Петра Багратиона представила княжна Анна Александровна Голицына. В биографической литературе княгиню называют «урожденной княжной Грузинской» и по традиции изображают близкой родственницей П. И. Багратиона, хотя, судя по всем изданным до сего дня родословным книгам, родство их могло проходить только через Леона Вахтанговича, имевшего от разных жен двоих сыновей, ставших в борьбе друг с другом царями, — Вахтанга VI и Иессея23. Княжне Анне Вахтанг VI приходился прадедом, а сын Вахтанга царевич Бакар — дедом. Короче говоря, если это и было родство, то весьма дальнее, говоря по-русски, «седьмая вода на киселе». Думаю, что тут явная ошибка. Говоря об Анне, княжне Грузинской, ее путают с Анной, сестрой Ивана Александровича.

Близкие отношения княгини Анны с Багратионом — факт несомненный. Обычно в условиях эмиграции, отрыва от родины родство или землячество воспринимаются по-особому. Поэтому, как раньше говорили, «предстательство» княгини Анны Александровны Голицыной перед влиятельным вельможей за провинциального симпатичного юношу, бедного родственника, было вполне возможно. Ведь часто бывало (да и бывает до сих пор), что важно «подсадить» молодого человека на первую ступеньку служебной лестницы, а далее все зависит от него самого — или сорвется, или станет карабкаться наверх. Судя по

сохранившимся материалам, с такими же просьбами к набравшему силу генералу Багратиону впоследствии обращались его родственники и знакомые. Но будем осторожны: с самой Анной Александровной не все ясно. По мнению И. С. Тихонова, в столь важные для карьеры Багратиона 1782–1783 годы она не могла быть в Петербурге, в компании с Потемкиным, а пребывала в Москве, в статусе девицы, и никакой роли в «подсаживании» Багратиона не играла, хотя позже и оказывала ему содействие.

Анна Александровна Голицына была очень известной светской дамой екатерининских, павловских, александровских и николаевских времен. Она родилась в 1763 году, а умерла в 1842-м. В 1785 году вышла замуж за Александра Александровича Де-Лицына (Делицына), побочного сына вице-канцлера Александра Михайловича Голицына. Когда Александр Александрович умер в марте 1789 года от ран, полученных под Очаковом, его вдова осталась в роде Голицыных — она стала женой князя Бориса Андреевича Голицына, сына Андрея Михайловича, брата вице-канцлера князя Александра Михайловича, отца первого мужа Анны24. После смерти князя Андрея Михайловича вице-канцлер был назначен опекуном племянников и заменил им отца, а для Анны как бы во второй раз стал свекром. У них были теплые отношения: сохранившиеся письма Анны к А. М. Голицыну в Москву в 1796 году, последнем году царствования Екатерины II, — яркое тому подтверждение. По этим письмам видно, что княгиня была живой, веселой, наблюдательной и немного ироничной женщиной, любившей празднества и балы. А. Я. Булгаков писал в 1821 году о великолепном маскараде, устроенном как-то княгиней25. До кончиков ногтей она оставалась светской дамой. Императрица Екатерина приглашала ее на самый малый Эрмитаж, бывала она и попутчицей государыни в поездках по окрестностям столицы. Из писем следует, что княгиня Анна Александровна являлась коренной москвичкой и сначала постоянно жила в старой столице, откуда уехала вместе с мужем в Новороссию. До своего приезда в Петербург она виделась с императрицей в 1787 году в Кременчуге и Херсоне во время знаменитой поездки Екатерины в Тавриду. Нетрудно предположить, что в Новороссии княгиня была знакома со светлейшим князем Григорием Потемкиным и, возможно, хлопотала за своего родственника Петра Багратиона. Обращение за протекцией к Потемкину было вполне логично: он был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе и действовал там через генерала П. С. Потемкина, в подчинении которого оказался Багратион в начале своего пути профессионального военного…

Окончательно в Петербург княгиня Голицына переехала только в 1796 году, когда ее второй муж стал гофмаршалом при дворе цесаревича Константина Павловича. В письме 28 апреля 1796 года она сообщала А. М. Голицыну, что императрица, увидав ее на балу, подошла к ней, «сказала, что я ее старая знакомая, что она с удовольствием видела меня в Херсоне и в Кременчуге, потом спросила, привыкаю ли я к петербургской жизни? И, не дожидаясь моего ответа, продолжала: “О, вы привыкнете!”… На другой день графиня Шувалова рассказывала мне, что императрица много говорила ей обо мне и что я ей очень нравлюсь»26. По-видимому, это так и было, потому что вскоре княгиня Анна оказалась в ближайшем окружении государыни, хотя и ненадолго — Екатерина скончалась в ноябре того же 1796 года.

Муж княгини Борис Андреевич был младше своей жены на шесть лет. Он служил в гвардии, затем, как уже сказано, стал гофмаршалом павловского двора, в 1798 году получил чин генерал-лейтенанта и состоял командиром Конной гвардии (1798–1800). Анна Александровна по происхождению и родственным связям принадлежала к самой верхушке имперской аристократии, пользовалась в обществе большим влиянием, имела прозвище «princesse Boris», что недвусмысленно подчеркивало ее ведущую роль в семье.

Вообще, как писала ее правнучка Е. Ю. Хвощинская (урожденная Голицына), Анна Александровна была «знаменитой красавицей того времени. Она была очень достойная, умная и добрая женщина…». И далее то, что интересует нас: «Россия ей обязана одним из героев 1812 года князем П. И. Багратионом, которого она выписала из Грузии, он был ее близкий родственник, очень бедный. После того, как князь Багратион прославился, прабабушка княгиня Анна Александровна собрала к себе большое общество родных и знакомых чествовать героя. Когда за обедом провозгласили тост за здоровье князя, то он встал из-за стола и, подойдя к дворецкому прабабушки, стоявшему сзади его кресла, расцеловал его, сказав: “Ему первому я обязан, что пользуюсь всем, что теперь имею, так как он дал мне возможность представиться в дом моей благодетельницы, он первый меня одел и за него с благодарностью пью мой первый бокал!”»27. Тут использовано важное слово «благодетельница». По-видимому, это было в характере княгини Анны. Известно, что она покровительствовала и отцу мемуаристки, князю Юрию Голицыну, которого забирала на праздники из Пажеского корпуса к себе домой. Вполне возможно, что княгиня заботилась и о Багратионе.

Как бы то ни было, несомненна длительная и прочная связь Багратиона с этой ветвью Голицыных — не забудем, что Багратион в 1811 году, а возможно, и в другие годы, проводил время во владимирском имении князя Б. А. Голицына, селе Сима. Князь Борис Андреевич, как писал Е. Ф. Комаровский, «всегда был дружен с князем П. И. Багратионом». В 1812 году князь Борис был начальником ополчения Владимирской губернии и находился в Покрове, когда в его Симу привезли раненого Багратиона. Там, в имении Голицыных, и умер полководец.

Весьма важно, что среди людей, которые, наряду с братом Петра Ивановича Александром, взяли после смерти Багратиона его личные вещи, упоминается князь Грузинский Георгий Александрович — брат Анны (1762–1852). В одном случае против описания портрета великой княгини Екатерины Павловны в золотом футляре стоит запись: «Возвращен через князя Георгия Александровича Грузинского».

Неясности со службой

С историей службы Багратиона не меньше проблем, чем с датой и местом его рождения. В формулярном списке 1 января 1811 года, составленном, скорее всего, со слов тогда уже полного генерала Багратиона, сказано, что с 21 февраля 1782 года он состоял «в службе сержантом, с 1782 и по 1792 год прапорщиком, подпорутчиком, порутчиком и капитаном в Кавказском мушкетерском полку». Графа «Во время службы своей в походах и делах (так назывались в те времена всякие боевые столкновения, включая крупные сражения. — Е. А.) против неприятеля, где и когда был…» заполнена также в виде единой, обобщенной справки, без уточняющих сведений с указанием, как было принято, точных дат сражений и боев: «1783-го (года) — на Кавказской линии при разбитии чеченцев и черкесов; 1784-го — при покорении кабардинцев; 1785-го — в горах против Шаха Монсуры; того года в Кизляре при разбитии оного, при покорении в горах татар (так обобщенно называли в русских документах горцев. — Е. А.) и кипчаков; 1786-го в Кубани за рекою Лабою при разбитии кубанцев; 1788-го в кампании и на штурме Очакова; 1790-го в Кавказе, при покорении чеченцев»28.

Даже этого краткого перечня тех «дел», в которых был занят Багратион в первые семь лет службы, достаточно, чтобы утверждать, что перед нами боевой офицер, участник начавшегося как раз тогда «покорения Кавказа», затянувшегося на многие десятилетия. Князь Петр Иванович служил в

расположенном на Кавказской линии пехотном Кавказском мушкетерском полку. Так писали во всех биографиях Багратиона, однако в 1912 году Н. П. Поликарпов поставил под сомнение боевое начало биографии Багратиона. Он писал, что «вопреки всем существующим биографиям князя Петра, он до 1788 года не принимал ровно никакого участия в военных походах и делах своего полка, и все уроки боевой кавказской школы прошли для князя Петра бесследно: в то время, когда его полк почти беспрерывно действовал в походах и экспедициях против кавказских горцев, князь Петр служил спокойно в запасном полубаталионе Кавказского мушкетерского полка, квартировавшегося в гор. Кизляре, где у отца князя Петра имелся собственный дом. На арену боевой деятельности князь Петр выступил впервые в 1788 году. В этом году Кавказский мушкетерский полк вошел в состав Екатеринославской армии князя Потемкина-Таврического, и князь Петр, находясь в рядах полка, участвовал в осаде и в беспримерном в летописях военного искусства штурме 6 декабря 1788 года турецкой твердыни — крепости Очаков»21. В 1992 году Л. Л. Ивченко, основываясь на опубликованных А. Борисевичем в 1912 году материалах Астраханского пехотного полка, поставила под сомнение ряд общепринятых сведений из первоначальной биографии Багратиона. Из этих материалов следовало, что Кавказского мушкетерского полка в 1782 году вообще не было. Он возник только 15 июня 1786 года из расформированного после разгрома чеченцами летом 1785 года Астраханского пехотного полка. Важнее другая информация: согласно рапорту командира Астраханского пехотного полка полковника Н. Ю. Пьери, «поданной челобитной грузинской нации из дворян князь Петр Багратион был принят в мушкетеры», в рядовые, сверх комплекта. Это произошло 1 мая 1783 года, а в августе того же года он введен в комплект полка.

Гибель в «густоте леса». Остается неясным эпизод с трагической историей Астраханского полка и князем Багратионом, в нем состоявшем. В формулярном списке Багратиона 1811 года записано кратко: «1785-го в горах против Ulaxa Монсуры». Вначале 1785 года на Северном Кавказе произошло мощное восстание чеченцев под водительством Шейха Мансура. Это был религиозный проповедник, пророк. В сущности, движение Шейха Мансура стало первым мюридским движением, которое выступало под знаменем «священной войны» и шариата, что придавало сопротивлению горцев особую мощь. Сторонники Шейха Мансура в 1785–1786 годах вели эффективную партизанскую войну и добились значительных успехов, серьезно

угрожая Кизляру.

В мае 1785 года отряд под водительством командира Астраханского пехотного полка полковника Н. Ю. Пьери двинулся в горы, в селение Агды, чтобы захватить Шейха Мансура. Согласно приказу Пьери отряд был обязан окружить Анды и «требовать лжепророка в руки, и буде какое тут открылось затруднение и упорство, то стараться хоть силою достать сего обманщика и восстановить нарушенное им в том краю спокойствие»3“. Отряд состоял из Астраханского полка, Кабардинского егерского батальона, двух гренадерских рот Тамбовского полка и сотни казаков. Ответственный за эту экспедицию генерал-поручик М. Н. Леонтьев 19 июля 1785 года сообщал командующему Кавказским корпусом П. С. Потемкину, что Пьери был послан за Сунжу «для низвержения мечтающегося там лжепророка Шейха-Мансура». Русское командование получило от агентов довольно точные сведения об обстановке в ауле и предполагало захватить бунтовщика в его доме и разом покончить с разгоревшейся смутой. Захват «пророка» поручался Кабардинскому батальону, а Пьери должен был прикрывать ударную группу кабардинцев. Однако 6 июля Леонтьев получил неожиданное известие, что «отряд отрезан злодеями и делается ужасная драка, что убит уже сам Пиери и отбиты две полковые пушки». По донесениям Леонтьева, Пьери действовал беспечно: перейдя Сунжу, он углубился в лес по дороге к аулу Алды, но совершить переход быстро и напасть неожиданно не смог — жители, а главное — Шейх Мансур, бежали из аула. Каратели разграбили аул, а потом подожгли дом Шейха Мансура вместе со всем аулом, в котором было около 400 домов. Нагруженный добычей отряд Пьери двинулся обратно к Сунже, но внезапно русские войска были «встречены неприятелем на обратном пути в густоте леса», то есть попали в типичную для будущей Кавказской войны засаду. Потери отряда были велики: только убитых офицеров и солдат насчитывалось около 600 человек и примерно 200 человек попали к чеченцам в плен. Особенно сильно пострадал Кабардинский батальон, потерявший пятерых офицеров и 402 солдат ”. П. С. Потемкин писал Г. А. Потемкину: «Наши егеря совершенно побежали, ибо чеченцы их резали безоборонных, после брали шатающихся по лесу в плен». Всех пленных выкупили, как и обе пушки, за одну из которых чеченцы взяли 100 рублей. По одной из версий, сержант Багратион был взят в плен, но отпущен чеченцами, по другой — ему удалось избежать плена и пересечь Сунжу с остатками отряда Пьери. Первая версия отражена в эпиграфии Багратиона, составленной Денисом Давыдовым: «Воин-юноша, покрытый ранами, / Из-под

груды мертвых тел / Горскими враждебными народами / Исторгнут / И возвращен к жизни». Н. П. Поликарпов был согласен с этими выводами, хотя историю спасения Багратиона относил к событиям после взятия Очакова. Он писал, что в 1790 году, по возвращении Кавказского мушкетерского полка на Кавказ, князь Петр «в течение следующих двух лет участвовал в наших кавказских походах против турок и кавказских горцев, находясь со своим полком в отрядах генералов Бибикова, Булгакова, Германа и Розена. Князь Петр своею личною храбростью и своим строгим исполнением обязанностей службы заслужил, несмотря на свои молодые годы, общее уважение не только начальства, но и всех своих сослуживцев». И далее Поликарпов повествует о случае 1790 года, когда чеченцы, разбив батальон Кавказского мушкетерского полка, подобрали в куче мертвых тел раненого Багратиона, спасли его и передали в русский лагерь без денег из уважения к его отцу, которому были чем-то обязаны. Но совершенно очевидно, что эти события могли относиться только к известной истории в лесу, и происходили они в 1785 году, а никак не в 1790-м. Эта неточность, как и в случае с указанием Поликарпова на происхождение матери Багратиона, ставит под сомнение все его слова.

Есть и более существенные свидетельства в пользу версии, что Багратион не участвовал в событиях 1785 года: в послужных списках нижних чинов, переведенных из Астраханского в Кавказский полк, указано «несчастное дело 15 июня 1785 года под деревней Алдиной за рекою Сунжею», но в формуляре Багратиона такой записи нет. И все же я склонен допустить, что Багратион участвовал в борьбе с Шейхом Мансуром. Он продиктовал в свой формулярный список следующий текст: «… того года в Кизляре при разбитии оного», то есть Шейха Мансура. Эти сведения кажутся вполне достоверными. Действительно, после воодушевляющей победы над Пьери многотысячные отряды Шейха Мансура двинулись на Кизляр и подступили к крепости 15 июля. Однако взять ее горцы не смогли, хотя овладели одним из удаленных от нее редутов. Окончательно войска повстанцев были отброшены в конце августа, а в октябре 1785 года генерал П. С. Потемкин начал массированное наступление на Шейха Мансура и вытеснил его из Кабарды, где тот надолго обосновался.

С оставшимися в живых солдатами и офицерами расформированного после всей этой истории Астраханского полка Багратион в июне 1786 года попал на службу в новый Кавказский мушкетерский полк, в котором и прослужил, поднимаясь по служебной лестнице от прапорщика (в 1787 году) до секунд-майора (1791). Однако в формулярах Багратиона за

1786, 1788, 1790 годы в графе об участии в боевых действиях значится: «Не бывал». Известно, что в 1787 году он выполнял особое поручение: «В комплекте находился у его светлости князя Потемкина-Таврического с посланником Али Магомет-хана персидского с 1787 июня 24». Л. Л. Ивченко справедливо полагает, что, возможно, Багратион кроме грузинского языка (на котором сохранились его письма) знал персидский язык (о знании этого языка упоминал в своей челобитной отец Багратиона), почему и оказался среди людей, сопровождавших персидского посла в поездке по России. Возможно, что именно тогда Багратиона стала тянуть наверх могучая рука, и начало этому возвышению положила словечком, замолвленным за молодого человека, княгиня А. А. Голицына. Получается, что Багратион находился в командировках, а в полку, участвовавшем в боях, не бывал. Тщательно изучивший все формулярные списки Багратиона З. Д. Цинцадзе приходит к выводу, что «до 1794 года в послужных списках П. И. Багратиона отсутствуют сведения о его участии в боях во время службы на Кавказе. Впервые такие записи появились в Софийском карабинерном полку в сентябре 1795 года: “1783-го года на Кавказской линии при разбитии чеченцев и черкесов…”… С этого времени сведения переписываются во все последующие послужные списки, только неясно, в каких конкретно боевых делах отличился П. И. Багратион»31.

В итоге, З. Д. Цинцадзе солидаризируется с утверждением Поликарпова, что, «согласно ранним послужным спискам, боевое крещение П. И. Багратион принял не в 1783, а в 1788 году под турецкой крепостью Очаков». Любопытно, что Багратион был награжден не сразу в день штурма, как об этом писали во многих его биографиях, а полгода спустя, когда командир Кавказского мушкетерского полка получил сообщение, что 31 мая 1789 года Багратион «произведен его светлостью… генерал-фельдмаршалом, светлейшим князем Потемкиным-Таврическим за заслуги и храбрость, ознаменованные в день штурма Очаковского, из подпоручиков в капитаны». Обычно представления к наградам поступают снизу вверх, ог полковых и корпусных командиров. В случае же с Багратионом было наоборот, причем князь Петр прыгнул в капитаны, минуя чин поручика. Значит, участвуя в штурме Очакова 6 декабря 1788 года, он чем-то особо отличился. Во многих биографиях Багратиона об этом эпизоде — участии его в осаде и штурме Очакова — написано кратко, гладко и без деталей: «Во время штурма Багратион проявил большую храбрость. Он отважно сражался с турками и в числе первых ворвался в крепость». Так писал полковник И. И. Ростунов в 1957 году. «Боевое крещение

Петр Багратион, как свидетельствуют ранние послужные списки, принял в 1788 году, участвуя в осаде и штурме крепости Очаков (6 (17) декабря 1788 г.) и проявив при этом большую храбрость. Отважно сражался он с неприятелем и в числе первых ворвался в крепость. Подвиг был замечен главнокомандующим русскими войсками Г. А. Потемкиным», и Багратион был произведен из подпоручиков в капитаны. Так пишет подполковник З. Д. Цинцадзе14. Так и хочется сказать: «Господа офицеры, военные историки! Я, как и вы, не сомневаюсь в отваге и храбрости Багратиона, которые он многократно подтверждал на поле боя, допускаю, что он мог одним из первых ворваться во вражескую крепость, но все-таки сообщайте, откуда вы узнали, что Багратион “в числе первых ворвался в крепость” и при каких обстоятельствах его подвиг был замечен Потемкиным: вы ведь наверняка знаете, как часто главнокомандующие подписывают наградные представления скопом, разом».

И. И. Ростунов писал далее: «После взятия Очакова Багратион возвратился на Кавказ, где принимал участие в военном походе 1790 г.». Хотя ссылки и нет, но наверняка автор опирался на строчку формуляра 1811 года: «1790-го, в Кавказе, при покорении чеченцев». Однако в формулярном списке полка за 1790 год отмечена очередная командировка Багратиона: он находится в распоряжении генерал-аншефа (позже — фельдмаршала) графа И. П. Салтыкова «на бессменных ординарцах»15, когда тот после участия в боевых действиях на Финляндском театре военных действий был откомандирован в Кубанский корпус36. Заметим попутно, что адъютант, ординарец командующего на войне — это вовсе не синекура, а очень опасное для жизни молодого человека место. (Впрочем, как заметил на полях рукописи этой книги В. В. Лапин, «в практике награждений наблюдается выделение в представлении кого-то “первого” (это дается более развернутым и нетрафаретным текстом), а затем все другие идут скопом. При этом очень трудно, практически невозможно, объяснить выбор начальства — что это: подвиг, протекция или знак судьбы».)

После этого капитан Багратион состоял в штате Кавказского мушкетерского полка недолго — до 30 июля 1791 года, а затем был переведен в сверхкомплект Киевского конно-егерского полка в чине секунд-майора, о чем есть записи в формулярах за несколько месяцев 1792 года37. О его службе в этом полку почти ничего не известно, кроме того, что 26 ноября 1793 года он получил очередной чин премьер-майора с переводом, как утверждает Н. П. Поликарпов, в Переяславский конно-егерский полк38. 4 мая 1794 года Багратион был определен в Софийский карабинерный полк командиром эскадрона, а 15 октября 1794

года — не прошло и года после получения чина премьер-майора — он стал подполковником. Но это возвышение было уже наградой за участие в штурме Праги.

Итак, следует прояснить нашу позицию. Вслед за Н. П. Поликарповым, Л. Л. Ивченко и З. Д. Цинцадзе нельзя не заметить, что первоначальные служебные успехи Багратиона, вопреки сложившейся в биографических работах традиции, не были связаны с тем, что он непрерывно «тянул лямку» на Кавказе, воевал с горцами, как об этом записано в его позднейших, уже генеральских формулярных списках. И. С. Тихонов убежден, что Багратион, несомненно, участвовал в боевых действиях на Кавказе в 1783 и 1785 годах: как писал исследователь в заметках на рукописи данной книги, он «знает об этом документально, а с остальными датами (1784, 1786, 1790) пока до конца не ясно». И хотя документальных доказательств знаток жизни Багратиона не представил, у меня нет оснований ему не верить — даже известные отрывочные сведения все-таки позволяют считать, что Багратион в первой половине 1780-х годов на Кавказе воевал. Но кавказская служба только отчасти стала трамплином для его выдающейся карьеры.

Лев Толстой, характеризуя в своем бессмертном романе «Война и мир» Багратиона как «простого, без связей и интриг русского солдата», глубоко ошибался. Для нас нет сомнений, что успех первоначальной (подчеркиваю — первоначальной!) карьеры Багратиона связан не только с воинскими подвигами на Кавказе и под Очаковом, но и с мощной протекцией, которую ему оказывали влиятельные при дворе и в армии люди, заинтересованные в продвижении одного из многочисленных Багратионов. Так было не только с князем Петром. Без чьей-либо протекции, поддержки на государевой службе выдвинуться сложно. Но многие из выдвинувшихся благодаря протекции получали чины, ордена, а потом исчезали в море посредственностей. В случае с Багратионом его покровители не ошиблись — выдвинувшись в первый эшелон военачальников, Багратион ярко проявил свои выдающиеся способности полководца.

Глава вторая
Рядом с Суворовым

Натиск республик

Конец XVIII века был временем триумфа революционной Франции, которая стремительно распространяла по всей Европе свое влияние — или «заразу», как говорили ее враги, — причем преимущественно на штыках своей армии. После прихода к власти Директории французская экспансия усилилась и вскоре привела к победному шествию республиканской формы правления по Европе. Один за другим рушились королевские и княжеские троны. В 1797–1798 годах в Италии возникли несколько республик: Цизальпинская (Ломбардия, Модена, Феррара, Болонья, Равенна), Лигурийская (Генуя, Лукка), Римская (из Папской области, сам папа Пий VI был отвезен во Францию), Парфанопейская (Неаполь), Тосканская. А некоторые области попросту были оккупированы французами (Пьемонт и др.). К этому нужно добавить «успех» республиканцев в Голландии (Батавская республика) и Швейцарии (Гельветическая республика). Полное подчинение этих республик Франции и тесная связь с ней ни для кого не были тайной — Французская республика называлась их «матерью». Нельзя сказать, что монархическая Европа не боролась с «заразой», но борьба эта была безуспешна. Австрия, составлявшая сердцевину Германской империи, показала свою полную несостоятельность и неудачно пыталась воевать, а потом договориться с Францией, чем оттолкнула от себя германские государства, которые также подпали под влияние Франции.

Лишь к концу своей жизни Екатерина Великая изменила взгляд на проблему «революционной заразы», которая поначалу казалась ей неопасной для России. Незадолго до смерти, осенью 1796 года, она решила послать на помощь Австрии, терпевшей военные неудачи в борьбе с Францией, вспомогательную армию под командованием А. В. Суворова. Пришедший к власти Павел I, как известно, действовал во всем не по матушкиным началам и решил не вмешиваться в творившиеся в Европе события. Но, будучи монархистом до мозга костей, он продержался недолго, и как только французы принялись хозяйничать на Средиземном море, где у России были собственные интересы и даже собственная колония, Павел оскорбился и осерчал. Окончательно

вывело его из себя то, что Бонапарт во время экспедиции в Египет посмел захватить Мальту, принадлежавшую Ордену иоаннитов — чудом сохранившемуся средневековому реликту. Павел, рыцарь по духу, выказал особое сострадание к собратьям-рыцарям и в ноябре года принял (не совсем законно) звание Великого магистра Ордена святого Иоанна Иерусалимского. Кроме того, французы взяли под свое крыло бежавших от русских штыков во время Третьего раздела Польши в 1794 году польских эмигрантов и вооружали армию генерала Домбровского. Это вызывало крайнее раздражение Петербурга. Со своей стороны, французские республиканцы негодовали на то, что Россия дала убежище французским эмигрантам, формировавшим на русские деньги корпус под командой принца Конде, и пригрела короля Людовика XVIII, который хотя и бедствовал, но все-таки находился в безопасности, живя в Митаве. Словом, в году образовалась антифранцузская коалиция в составе Англии, Австрии, Неаполя, России, а также Турции, обиженной на Францию за захват Египта Бонапартом. Целью было «принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие». Вскоре русские войска численностью 65 тысяч человек под командованием генерала Розенберга вошли в Австрию, и это тотчас привело к разрыву французами ведшихся тогда с австрийцами переговоров. Наиболее острой для Вены оказалась ситуация в Италии, где австрийское влияние было полностью подавлено французами. Более того, именно через Северную Италию Директория намеревалась ударить прямо по Вене. Павел же, настроенный против оскорбителей благородных мальтийских рыцарей, был готов бросить своих солдат в любую часть Европы, лишь бы отомстить «безбожным французишкам». Поэтому он согласился с тем, чтобы русские войска действовали совместно с австрийскими в Италии.

«Князь Петр? Это ты, Петр»

В это время великий русский полководец А. В. Суворов сидел в селе Кончанском, в ссылке, куда его, как принято считать в биографической литературе, отправил император Павел, недовольный резкими высказываниями фельдмаршала о порядках, которые император стал наводить в армии, уничтожая в ней «потемкинский дух». Но слава Суворова была огромна, имя его еще с турецких войн помнили в Австрии, и одним из условий, на которых Вена соглашалась принять нежданную русскую военную помощь, было назначение главнокомандующим русской

армией фельдмаршала Суворова. Как ни гневался государь на 70-летнего Суворова, он был вынужден извлечь его из ссылки, призвал ко двору, как тогда говорили, обласкал и при этом изрек: «Веди войну по-своему, как умеешь», что для Павла было верхом снисходительности. Суворов тотчас отправился в Вену, куда и прибыл 14 марта 1799 года.

Следует отметить, что Суворов никогда не был просто военным и просто полководцем. Он интересовался политикой, был в курсе всех политических новостей, читал немецкие, французские, польские и иные газеты, имел собственные воззрения на происходящее в Европе и со свойственной ему страстностью остро отзывался на события, потрясавшие тогдашний мир: «Бонапарте концентрируется… Провада пропала, святейший отец в опасности. Альвинпий к Тиролю, дрожу для Мантуи, ежели эрцгерцог Карл не поспеет», и т. д.1 Он внимательно следил за успешными походами Бонапарта в Италии в 1796–1797 годах, великолепно знал историю войн за Италию от похода Ганнибала до принца Евгения Савойского. Стоит ли говорить о том, что по своим взглядам Суворов являл собой образец примерного монархиста и в своих письмах и проектах настаивал на необходимости, пока не поздно, дать отпор распоясавшимся «карманьольцам», «безбожным, ветреным, сумасбродным французишкам». И вот судьба предоставила ему возможность исполнить желаемое. В Вене Суворова встречали с почтением, сразу же присвоили звание фельдмаршала австрийской армии, его принял император Франц. Однако, тоже сразу, начались трения с австрийской военной бюрократией в лице знаменитого гофкригсрата — придворного военного совета, который безуспешно требовал, чтобы Суворов представил на утверждение подробный план военных действий. Суворов отвечал уклончиво, говорил, что будет смотреть на месте по обстоятельствам и кончит кампанию «где Богу угодно будет». Это огорчало и настраивало против него педантичных австрийских генералов и в конечном счете привело к конфликту. Во-первых, Суворов, имея огромный опыт полководческой деятельности, был убежден в бесполезности заранее согласованных, детальных, коллегиально утвержденных планов кампаний. Он считал, что нужны лишь самые общие предначертания, ясные общие цели — а далее все зависит от гения полководца и судьбы. Он не скрывал, что его конечной целью является Париж, восстановление во Франции монархии. Во-вторых, он стремился получить максимум свободы в ведении военных действий и открещивался от всякой опеки, контроля, тем более если этим занимались люди, которых он считал ниже себя по талантам и знанию военного дела, — а за

таковых он принимал почти всех. Позже, в 1805 году, Кутузов избрал, вероятно, самую эффективную в тех же условиях тактику: он во всем соглашался с предложениями и указаниями гофкригсрата, а действовал по-своему, ссылаясь затем на военные обстоятельства, менявшие планы. Но Суворов был иным человеком и не церемонился с австрийским военным руководством, почему и нажил себе довольно скоро смертельных врагов в их среде. Особенно возмущался Суворовым барон И. Ф. А. Тугут — военный министр, глава гофкригсрата и очень влиятельный при императорском дворе вельможа. Впоследствии это противостояние сослужило Суворову плохую службу.

Двадцать четвертого марта Суворов выехал из Вены и в начале апреля оказался в Вероне, где уже находился корпус А. Г. Розенберга. Автор книги «Рассказы старого воина о Суворове» Я. М. Старков со слов князя Багратиона описывает, как Суворов в штабе Розенберга знакомился с генералитетом. Всех поразила экстравагантная манера главнокомандующего. Он стоял с закрытыми глазами, и когда Розенберг называл имена генералов, ему незнакомых, открывал глаза и говорил: «Помилуй Бог! Не слыхал! Познакомимся!» Только трижды он оживился — при именах Ивана Меллера-Закомельского, Михаила Милорадовича и Петра Багратиона: «“Генерал-майор Милорадович!” — продолжал Розенберг. — “А! А! Это Миша! Михайло!” — “Я, ваше сиятельство!” — “Я знал вас вот таким, — сказал Суворов (показывая рукою на аршин от пола), — и едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! Да какие были сладкие. Как теперь помню. Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке! О! Да как же вы тогда рубили деревянной саблею! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!” — “Все мои усилия употреблю оправдать доверенность вашего сиятельства”, — сказал сквозь слезы Милорадович. “Генерал-майор князь Багратион!” — проговорил Розенберг. Тут отец наш Александр Васильевич встрепенулся, открыл глаза, вытянулся и спросил: “Князь Петр? Это ты, Петр? Помнишь ли ты… под Очаковым! С турками! В Польше!” И с распростертыми руками подвинулся к Багратиону, обнял его и, поцеловавши в глаза, в лоб, в уста, сказал: "Господь Бог с тобою, князь Петр! Помнишь ли [2]

А“ — ”Нельзя не помнить, ваше сиятельство! — отвечал Багратион со слезами на глазах, — нельзя не помнить того счастливого времени, в которое служил под командою вашею“. — ”Помнишь ли походы“ — ”Не забыл и не забуду, ваше сиятельство!“»2. Припомним, что на груди Багратиона висел так называемый «штурмовой очаковский» крест «За службу и

храбрость».

Обычно в книгах о Суворове и Багратионе это место воспроизводится без комментариев. Между тем они напрашиваются сами собой. Известно, что Багратион и Милорадович впоследствии были в недружественных отношениях, и в этом рассказе Багратиона, записанном много лет спустя, Милорадович предстает в довольно забавном виде — верхом на палочке, с деревянной саблей. Этим пассажем облик соперника Багратиона, ставшего генералом раньше, чем он, явно принижался, тогда как все, что было якобы сказано Суворовым Багратиону, возвышало последнего. При этом заметим, что воспоминания о совместных с Багратионом походах в устах Суворова звучали весьма неопределенно, расплывчато. Известно, что осада Очакова в 1788 году была, пожалуй, самым неудачным предприятием в карьере Суворова. Он командовал левым флангом осаждающего Очаков корпуса и 27 мая, отражая вылазку турок, без приказа главнокомандующего Г. Потемкина ввязался в серьезный бой с вышедшим из крепости отрядом. Потемкин четырежды приказывал Суворову прекратить сражение, но тот закусил удила — хотел сам достичь успеха после многомесячной осады, которую вел Потемкин, и в ответ на запросы встревоженного главнокомандующего дерзко отвечал: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу». В результате разгоревшегося сражения с превосходящими силами турок Суворов был ранен в шею, а отряд его, к радости осажденных, позорно бежал от крепости. Через несколько дней Суворов уехал из-под Очакова и переправился через лиман в Кинбурн, где лечил свою рану. 18 августа в Кинбурне с чудовищным грохотом взорвалась лаборатория по зарядке бомб, Суворов снова был ранен и вообще чудом не погиб. До штурма 6 декабря — кровопролитного конца тяжелейшей, невероятно затяжной осады, которую П. А. Румянцев язвительно называл «Осадой Трои», Суворова не было в осадном корпусе, он сидел в отдалении, в Кинбурне, и болел. Кажется сомнительным, чтобы он в то неудачное для него время водил знакомство с неким прапорщиком Кавказского мушкетерского полка князем П. И. Багратионом. Впрочем, и такое возможно — известно, что у Суворова была феноменальная память на лица своих сослуживцев, в каком бы звании они ни были — главное, чтобы они были герои. Правда, в документах и литературе об участии Багратиона в осаде Очакова сказано очень скупо, сведения об этом основаны, прежде всего, на его уже упомянутом формулярном списке 1811 года: «1788-го (года) в кампании и на штурме Очакова»3. Немаловажно и известие о том, что как раз под Очаковом был смертельно ранен командир Ярославского

полка полковник Александр Александрович Делицын — внебрачный сын екатерининского вельможи князя А. М. Голицына и муж Анны Александровны, урожденной княжны Грузинской. Зная характер Багратиона, не приходится сомневаться, что он (если, конечно, позволила судьба) был связан с мужем своей благодетельницы и принял участие в его посмертной судьбе. Как уже говорилось выше, впоследствии Багратион навсегда уехал с Кавказа и с 28 июня 1792 года оказался на службе в чине секунд-майора Киевского конно-егерского полка. Встреча Багратиона с Суворовым в тот период также была маловероятна — Суворов в это время занимался военными укреплениями в Финляндии.

В мае 1794 года в судьбе Багратиона произошло важное событие — он был переведен в Софийский карабинерный полк. Этот полк получил свое название по городку, расположенному под Царским Селом (София некогда была даже уездным городом). И хотя он не был гвардейским и в то время не квартировался под Царским Селом, а находился в связи с происходившими в Польше событиями в Киеве, а потом был отправлен в Польшу, Софийский полк был все-таки привилегированным в сравнении с Киевским конно-егерским и уж тем более Кавказским мушкетерским. Как Багратион оказался в этом приметном полку, можно не гадать — командиром его был князь Борис Андреевич Голицын, второй муж княгини Анны Александровны. С этим полком Багратион и принял участие в польской кампании 1794 года.

Будем помышлять о Праге

Как раз во время кампании в Польше у Багратиона и появилась возможность поближе познакомиться с Суворовым, хотя прямых свидетельств этого знакомства не сохранилось. Драматические события в Польше были напрямую связаны с Третьим разделом Речи Посполитой, который привел к уничтожению польской государственности и фактическому упразднению польской монархии. Поводом для начала восстания стала попытка русской администрации в Варшаве разоружить и резко сократить численность польской армии, что для поляков — офицеров и солдат — было грубым оскорблением, ведь армия и военное дело всегда почитались в Польше. Кроме того, разоружение войск грозило смешать карты польским заговорщикам во главе с Тадеушем Костюшко, готовившим восстание против русских и австрийских оккупантов. В марте 1794 года восстание вспыхнуло в Кракове, жители города провозгласили Костюшко главнокомандующим вооруженными

силами республики. Вскоре восстание охватило всю Польшу. Поначалу русское правительство не оценило должным образом угрозы своему господству, и только тогда, когда восстание началось в Варшаве и русский гарнизон с большими потерями вырвался из враждебного города, в Петербурге было решено принять срочные меры и подавить мятеж. Но это оказалось непросто — восстание было мощным, патриотический настрой и воля к победе у поляков оказались очень высоки, в войне участвовали не только армия и шляхта, но и крестьяне, вооруженные косами (так называемые косинеры). Весной и летом 1794 года изменить ситуацию в свою пользу русскому командованию никак не удавалось даже при помощи союзников — австрийцев. Правда и то, что в военном отношении организация борьбы с восставшими была малоэффективной. Не было ни единого главнокомандующего, ни общего экспедиционного корпуса, ни согласованных действий. Да и поляки вели войну как регулярную, так и партизанскую. Огромные силы русской армии тратились на удержание городов и зачастую малоэффективную погоню за мелкими партиями мятежников, которые, великолепно зная местность, успешно уходили от преследования. Формально всеми войсками в Польше командовал генерал-аншеф князь Н. А. Репнин, давний недоброжелатель Суворова. Он довольно долго находился в Риге — вдали от театра военных действий, и руководил войсками по переписке. К подавлению восстания был привлечен также со своей армией фельдмаршал П. А. Румянцев, стоявший на Украине, но и он находился далеко от Варшавы и Кракова и непосредственного участия в боевых действиях не принимал. Суворов, получив приказ Румянцева о выступлении в Польшу (сам он был в Немирове), имел под рукой не более четырех с половиной тысяч человек. С ними он в середине августа 1794 года и выступил к границе. Затем, по дороге, его силы увеличились за счет присоединения отрядов генералов Дерфельдена и И. И. Моркова. Как раз в корпусе Дерфельдена, точнее в авангарде этого корпуса, которым командовал брат фаворита императрицы Платона Зубова Валериан Зубов, и воевал со своим полком князь Багратион. Он был в Польше уже летом 1794 года и участвовал в нескольких карательных акциях против мелких отрядов армии, шляхты и косинеров.

В своем формулярном списке 1811 года Багратион по этому поводу сообщал: «1794-го (года) в Польше, июня 25-го с отряженною от господина генерал-поручика графа Зубова вперед командою при местечке Бресте при прогнании с большим уроном неприятеля; 7-го июня, при местечке Седлицах, при разбитии

сбирающихся в том местечке польских войск, где и взял в плен до несколько человек; 26-го командирован с 50-ю карабинерами в местечко Дерячин расстоянием от лагерного расположения в двух милях вперед, для доставления в корпус фуража, но по нечаянности встретил неприятеля в числе 150 ч(еловек) народовой кавалерии, на коего ударил тотчас, врезался в средину и совершенно его разбил, положа на месте до 100 человек, последних при одном поручике, одном хорунжем и двумя товарищами забрал в плен». Далее дается описание еще трех подобных боев. Из всего этого следует, что премьер-майор князь Багратион командовал эскадроном полка и операции, им проводимые, были по масштабу незначительными. Правда, 23 сентября при Сокольне произошел достаточно крупный бой с шестью эскадронами регулярной польской кавалерии, закончившийся победой Багратиона, взявшего в плен майора и 50 человек «разных чинов». 13 октября 1794 года эскадрон Багратиона имел дело с польским ополчением и партизанами-косинерами: «При местечке Броке с одним эскадроном, в дремучем лесу, первоначально врезался в толпу, состоящую до 1000 человек и с одною пушкою, разбил фронт и обратил в бегство, на месте положил до 300, взял в плен 250 и с офицером, где и пушку оставили»4.

Тем временем Суворов, войдя в Польшу, действовал стремительно и в первой половине сентября нанес разным польским отрядам пять поражений подряд. После этого наступило некоторое затишье. Суворов был чрезвычайно недоволен тем, что генерал Репнин отказывался переподчинить ему корпус Дерфельдена. Без этого корпуса Суворов долго не соглашался выступать из Бреста, который он сделал своей ставкой, к Варшаве. Он вообще был недоволен действиями генерала Дерфельдена. 4 октября 1794 года Суворов писал Румянцеву: «Генерал-поручик Дерфельден своим томным маршем к Гродне и несамовластным решением поражения неприятеля, кроме стычек, допустил оного уйти, остановясь тамо в ожидании повеления»5. Как раз в подобных стычках и участвовал Багратион. Важно и другое: под непосредственным командованием Суворова корпус Дерфельдена оказался лишь в середине октября, когда по его приказу Дерфельден выступил из Браньска следом за уходившим от него польским корпусом генерала Станислава Мокрановского («Я ему подтвердил, чтоб он поспешно его нагонял и поразил», — писал в своем рапорте Суворов). Дерфельден настиг Мокрановского при переправе через Буг, сумел «ухватить за хвост» польский корпус и нанес ему поражение. Тогда же, как сообщал Суворов Румянцеву, «ранен

ядром генерал-майор граф Валериан Зубов и отнята нога ниже колена»6. Как уже сказано выше, В. А. Зубов был непосредственным начальником Багратиона, и тот наверняка участвовал в боевых действиях на Буге. Упомянутое в формулярном списке Багратиона сражение 13 октября при местечке Броке явно относится к операциям корпуса Дерфельдена против Мокрановского. Именно об этом деле 15 октября писал Суворов Румянцеву: «Генерала-поручика Дерфельдена авангард под командою генерала-майора графа Валериана Зубова две мили за Броком разбил неприятельский авангард, положил на месте сего Мокрановского корпуса более 300 человек, и отбита медная 3-х фунтовая пушка, в плен взято: офицеров 15, нижних чинов и рядовых 155»7. При сопоставлении формуляра Багратиона и письма Суворова видно, что речь идет об одном и том же деле, хотя имя Багратиона в рапорте Суворова не упоминается. И в этом случае, конечно, нельзя сказать, что Багратион действовал под командованием Суворова — над ним были Зубов и Дерфельден. Но несомненно, что имя Багратиона было знакомо Суворову, ибо как раз за дело под Броком князя Петра произвели в подполковники, и Суворов должен был подписать соответствующий приказ или, по крайней мере, представление Румянцеву.

При последовавшем вскоре штурме Праги — предместья Варшавы на правом берегу Вислы — Суворов и Багратион были уже недалеко друг от друга. К Праге русская армия Суворова подошла в середине октября, и 19 октября генералитет провел рекогносцировку укреплений поляков. Из рапорта Суворова Румянцеву от 19 октября 1794 года следует, что как раз в тот день Суворов ожидал прибытия корпуса Дерфельдена, чтобы всерьез «помышлять о Праге». Итак, Багратион мог оказаться под Прагой и, возможно, увидеть вблизи Суворова никак не ранее 19 октября. Именно под стенами Праги Багратион мог впервые — причем довольно глубоко — познакомиться с боевыми принципами, которые исповедовал Суворов.

Известно, что в войска, составлявшие осадный корпус, были присланы распоряжения и диспозиция Суворова к штурму Праги. В приказе о подготовке войск к штурму говорилось: «Завтра же надобно нарядить для обучения в обоих корпусах: носить лестницы, фашины, плетни, приставлять их к дереву, лазать на оные, как стрелкам стрелять по головам, а другим запретить, как плетни бросать на ямы волчьи и фашины врозь; экзерцировать так, как под Измаилом. В обоих корпусах завтра учиться». Не менее выразительна была и диспозиция к штурму Праги, в которую, кроме практических распоряжений, был включен некий

эмоциональный призыв, наставление: «1. Взять штурмом прагский ретраншамент. И для того: 2. На месте полк устроится в колонну поротно. Охотники со своими начальниками станут впереди команды; с ними рабочие. Они понесут плетни для закрытия волчьих ям пред вражеским укреплением, фашинник для закидки рва и лестницы, чтоб лезть из рва чрез вал. Людям с шанцевым инструментом быть под началом особого офицера и стать на правом фланге колонны. У рабочих ружья чрез плечо на погонном ремне… 3. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. 4. Подошед к укреплению, кинуться вперед быстро, по приказу кричать “Ура”. 5. Подошли ко рву — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы; охотники, стреляй врага по головам. Шибко, скоро, пара за парой лезь! Коротка лестница? Штык в вал, — лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Ставши на вал, опрокидывай штыком неприятеля — и мгновенно стройся за валом. 6. Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски! Держаться своих в средину; от начальников не отставать. Везде фронт. 7. В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. 8. Кого из нас убьют — царство небесное, живым — слава!» В особом дополнении к диспозиции Суворов дал специальный русско-польский словарик, который можно назвать словарем победителя: «…“Згода!” — пардон; “Отруць бронь” — брось оружие. Кои положат ружья, тех отделить: “Вольность!” — пашпорты! Кои же нет, с теми по первому поступать: бить! Кончить в час. Цыдули присылать чрез гри часа. Строго упоминаю: операцию вести быстро, ударь холодным ружьем, догонять, бить военною рукою. Принуждать к сдаче и дотоле не отдыхать, доколе все мятежники взяты не будут»8.

Суворов, как видно, очень серьезно отнесся к взятию Праги. Это была хорошо подготовленная, мощная крепость, а ее многочисленный гарнизон (26 тысяч человек) полон воодушевления драться с русскими насмерть. Багратион участвовал в боях под Прагой и так писал в формуляре о штурме 24 октября: «С одним же эскадроном при штурме прагском отряжен был вперед в сильный и жестокий штурм, поражал конницу неприятельскую и гнал их до самой реки Вислы, где они, из боязности, бросились в воды». Действительно, взятие Праги оказалось делом тяжелым и очень кровопролитным. Для штурма стен Праги было сформировано семь колонн. Из рапорта Суворова Румянцеву от 7 ноября 1794 года следует, что

Багратион со своим полком не был включен в штурмовые колонны (хотя в них были спешенные кавалеристы), а находился под началом генерал-майора Г. И. Шевича, который командовал сводным соединением из двенадцати эскадронов, выделенных «для прикрытия артиллерии». Софийский карабинерский полк находился с правого крыла осадного корпуса. Н. П. Поликарпов по этому поводу писал в 1912 году: Багратион, «вопреки показаниям его биографов, не принимал участия в штурме Праги 24 октября 1794 г.»1. И все же во время штурма Праги коннице Шевича, а следовательно и Багратиону, также нашлось дело. Суворов писал: «Конница наша, разделенная на части, под начальством генерал-майора Шевича, содействовала всюду с удивительною храбростию и быстротою». И далее из текста рапорта следует, при каких обстоятельствах действовала кавалерия: «Как скоро наши овладели передними укреплениями, так скоро все резервы конницы с артиллериею взошли на оные под прикрытием в средине 13-ти эскадронов, где сам находился помянутой генерал-майор Шевич». Если сопоставить рапорт с формулярным списком, то получится, что Багратион, скорее всего, находился в резерве Шевича под командой бригадира Ю. И. Поливанова, командовавшего Черниговским карабинерным полком. Резерв был пущен в дело, «как скоро колонны укреплениями овладели, тотчас разрыв вал, за оными и въехали и преуспели атаковать конницу, сломить оную и, поражая, гнали до самого ее сокрушения». Как видно, в ходе штурма Праги Багратион участвовал — но не во взятии укреплений крепости, а в развернувшемся у ее стен кавалерийском сражении.

Суворов подробно перечисляет отличившихся генералов и офицеров (вплоть до капитанов), но имя Багратиона среди них не упомянуто. Среди «особливо отличившихся храбростию» встречается фамилия командира Багратиона, полковника князя Голицына. Скорее всего, Багратион был упомянут в валовом списке: «О прочих чинах, исправлявших повсеместно мои повеления с отличною храбростию и рвением, подношу особый список»10. Таким образом, нет оснований писать, что тогда «на Багратиона обратил внимание Суворов», который «горячо полюбил Багратиона и ласково называл его “князь Петр”». Это произошло — но позднее, и не в Польше. И уж совсем вымыслом является утверждение, что «между ними возникла своеобразная дружба — дружба учителя с учеником»". Дружба в армии между генерал-фельдмаршалом и подполковником, как известно, сомнительна. Но все же Суворов и Багратион были знакомы в Польше. После подавления восстания Суворов был назначен главнокомандующим всеми русскими войсками в Польше, и когда

в ноябре 1795 года отправился в Петербург, то встречался с Багратионом. Один из адъютантов Суворова вспоминал, что когда Суворов ехал от Варшавы к Гродно, то на одной из станций он приказал своему адъютанту ехать вперед и «просить князя Петра Ивановича Багратиона, командира егерского баталиона, не делать ему встречи и отдавать никаких почестей, а собранный баталион распустить. Князь Петр Иванович тотчас распустил баталион»12. Вот здесь встреча Багратиона с Суворовым более чем вероятна. Но несомненно, что по-настоящему сближение Багратиона с Суворовым произошло уже в Италийском походе 1799 года.

За истекшие со времен взятия Праги пять лет каждый из них прошел свой путь. Суворов 19 ноября 1794 года был произведен в генерал-фельдмаршалы, с приходом к власти Павла уволен из армии и отправлен в ссылку, а в 1799 году возвращен. Багратион же, получив за Прагу чин подполковника и орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, служил в Софийском карабинерном полку до лета 1795 года, когда стал командиром 1-го батальона Лифляндского егерского корпуса, а с ноября 1797 года — командиром 7-го егерского батальона, который дислоцировался в Волковыске, причем в февраля 1798 года стал полковником. С этим батальоном, в составе русской армии, сосредоточенной у Бреста-Литовского, в октябре 1798 года под командой генерала от инфантерии А. Г. Розенберга он отправился в Австрию. 4 февраля 1799 года Багратион был пожалован в генерал-майоры и стал шефом егерского своего имени (так было принято в армии) полка. В течение всего Италийского похода он был самым младшим из генералов, но так уж сложилось, что и самым заметным из них.

В декабре 1798 года войска вступили на территорию Австрии и остановились возле Брюна. 4 марта армия Розенберга по маршруту Брук — Юденбург — Виллах — Верона форсированным маршем (500 верст в 18 дней) двинулась в Италию. 28 марта армию нагнал вновь назначенный главнокомандующим объединенными русско-австрийскими войсками А. В. Суворов-Рымникский. Здесь и произошла новая встреча Суворова с Багратионом.

Выскочка под пули

Отметим одно любопытное обстоятельство, которое помогло Багратиону выделиться из множества других генералов. Я. М. Старков со слов Багратиона так описывает события после упомянутой выше сцены знакомства Суворова с генералитетом:

«Тут Александр Васильевич повернулся и широкими шагами стал ходить. Потом остановился, вытянулся и, зажмуря глаза, начал говорить: “Субординация! Экзерциция! Военный шаг — аршин, в захождении полтора; голова хвоста не ждет; внезапно, как снег на голову; пуля бьет в полчеловека; стреляй редко, да метко; штыком коли крепко; трое наскочат — одного заколи, другого застрели, а третьему карачун! Пуля дура, штык молодец! Пуля обмишулится, а штык не обмишулится! Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кампанию. Мы пришли бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишек; они воюют колоннами, и мы их будем бить колоннами! Жителей не обижай! Просящего пощады помилуй!”».

Произнеся как молитву цитату из своего знаменитого наставления «Наука побеждать» с дополнением на актуальную тему, Суворов, пишет Старков, обратился к Розенбергу с довольно странной, на первый взгляд, просьбой: «“Ваше высокопревосходительство! Пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казачков!” — “В воле вашего сиятельства все войско; которых прикажете” — отвечал Розенберг. Быстро взглянул на него батюшка Суворов и закрыл глаза. Розенберг ни с самим Суворовым, ни под его командою никогда не служил и потому не понимал его слов. Светлейший повторил: “Помилуй Бог! Надо два полчка пехоты и два полчка казачков”. Сказавши это, замолчал… На другой день… фельдмаршал вошел в залу, по-своему раскланялся генералам и, между прочим, опять напомнил Розенбергу о полках тем же тоном и получил от него прежний ответ. Тогда князь П. И. Багратион, увидевши, что Розенберг, незнакомый с суворовским лаконизмом, не понимает воли фельдмаршала, вышел вперед и сказал: “Мой полк готов, ваше сиятельство!» Фельдмаршал живо обернулся к нему и сказал: ”Так ты меня понял, князь Петр? Понял! Иди! Приготовь и приготовься!" Багратион тотчас вышел из квартиры и тут же встретил Ломоносова и Дендригина, командиров сводных гренадерских баталионов. Объявивши им волю графа, спросил, желают ли они под его командою быть первыми в деле? — С радостию, с душевной радостию, торопились они приготовиться, между тем князь П(етр) И(ванович) послал за знакомыми ему двух казачьих полков полковыми командирами.

Не прошло и часа времени, и слишком две тысячи храбрых русских воинов стояло в готовности к походу.

“Все готово, ваше сиятельство!” — сказал, вошедши, Багратион фельдмаршалу. “Спасибо, князь Петр! Спасибо! Ступай вперед!” — сказал фельдмаршал. Принимая от Багратиона строевую записку, обнял его, благословил и сказал: “Господь с

тобою, князь Петр! Помни: голова хвоста не ждет, внезапно, как снег на голову!" Князь Петр Иванович понял, что должен идти быстро, без отдыхов и ожидать либо самого фельдмаршала или особого приказания от него»13. Примечательна сноска автора под этим текстом: «…Князь П(етр) Иванович) говорил, что он этою выходкою навлек на себя неудовольствие гг. генералов и Розенберга. Последний говорил: "Экая проклятая выскочка!"»

Довольно любопытная ситуация: Багратион действительно повел себя как выскочка. Самый младший из присутствовавших в квартире генералов, он в тот момент поступил вопреки субординации, дисциплине и обычаю, через голову своего непосредственного командира (Розенберга) и других заслуженных офицеров. На глазах у всех он угодил оригиналу-главнокомандующему и добился его ласки и одобрения. И все это в присутствии своего начальства, которое в этой ситуации имело довольно глупый вид, представ перед всеми — на фоне Багратиона — этакими недогадливыми простаками и недотепами. В принципе, Багратион вел себя логично: зная или будучи наслышан о характере и повадках Суворова, он действовал в соответствии со своим взрывным характером, да и статусом в армии — он ведь командовал авангардом корпуса Розенберга. Но в результате окружающие расценили его поступок как стремление выдвинуться, обратить на себя во что бы то ни стало внимание высшего начальника. Однако не будем присоединяться к Розенбергу и другим, смотревшим на Багратиона с осуждением, — он ведь стремился не в тыл, а рвался в бой, на передовую. И такое поведение было типично для Багратиона — желание выслужиться, выдвинуться в глазах начальства часто совпадало с его желанием совершить подвиг, отличиться в бою. Так же он поступил потом во время войны со шведами, когда все командиры единодушно отказались выполнить приказ военного министра Аракчеева — идти в Швецию по льду, и только он, Багратион, нарушил корпоративную солидарность, сказал, что готов идти через замерзшее море хоть сейчас — прикажите! И после этого другие генералы были вынуждены согласиться на это рискованное дело. Нет сомнений, что они оценили поступок Багратиона точно так же, как некогда, в Италии, старый генерал Розенберг и другие военачальники.

Поход сквозь Венецийские земли

В своем плане кампании Суворов исходил из стратегической обстановки, которая сложилась к тому времени в Северной

Италии. Он знал, что хотя французы и начали наступление на австрийские войска, но командующий Итальянской армией генерал Шерер действовал нерешительно, потерпел поражение при Маньяно, отступил. Впрочем, и австрийцы тоже не шли вперед. Командующий Австрийской армией генерал М. Ф. Б. Мелас обосновался в Валеджио и ждал приезда нового главнокомандующего. Отсюда, из Валеджио, что находится юго-западнее Вероны, на реке Минчио, начался боевой путь Багратиона и всей русской армии по Италии. К моменту прибытия Суворова фронт проходил от подошвы Альп до реки По. Основные силы Шерера были расположены за рекой Аддой, вдоль ее течения от верховья (Лекко) до Пиццигеттоне и Робеко. В итоге фронт был растянут примерно на сотню верст.

Упрощенно излагая замысел Суворова, скажем, что он, вступив в Северную Италию, сразу же наметил операционную линию вдоль подошвы Альп через Брешию и Бергамо, тем самым давя на левый фланг французов и обеспечивая своему правому флангу покой и одновременно коммуникации через долины с собственно Австрией. Удачен был этот план и тем, что все притоки крупнейшей тамошней реки По (Минчио, Кьезе, Мелла, Олио, Аддаа), текущие с Альп и представлявшие собой для союзных войск проблему при форсировании их в среднем течении и в низовьях, напротив, легко преодолевались в их верховьях. Другое преимущество, созданное Суворовым, состояло в том, что от Лекко до Кассано, то есть на своем правом фланге, он сосредоточил более чем трехкратное преимущество в силах над французами (42 тысячи против 12 тысяч человек).

Из этого понятен замысел Суворова срочно послать авангард в сторону крепости Брешиа, нависавшей над правым флангом союзников. Наступлением на Брешию командовал генерал-фельдмаршал-лейтенант Край; вверенный ему авангард состоял из бригады Багратиона и австрийского корпуса генерал-фельдмаршал-лейтенанта Карла Отто. Бригада Багратиона форсированным маршем, опережая австрийцев, двинулась вперед.

Из рассказа Багратиона, записанного Старковым, следует, что при подходе к Брешии ему донесли о крупном французском посте с пушкой, расположенном на главной дороге. Багратион выделил около ста егерей, приказал казачьему полковнику Поздееву посадить их на коней и двинуться к посту.

«Избранные егеря стали у каждого казака одной ногою с левою стороны в стремя… Невдалеке пред постом передовые казаки с обыкновенным своим криком “Гей! Ура!” сделали удар на французов и, рассыпавшись направо и налево, неслись отрезать им путь к городу. В это мгновение казаки со своими

товарищами-егерями накрыли неприятельский пост. Натиск на врага был быстрой, суворовской. Егеря, соскочивши со стремян, работали штыками, а казаки копьями, и смерть запировала, весь пикет был истреблен». Несомненно, что столь необычная атака бородатых, с древними копьями казаков на маленьких, юрких лошадках не могла не произвести сильного впечатления на противника.

В формулярном списке 1811 года о событиях под Брешией Багратион пишет как о победе, достигнутой им одним: «Апреля 10-го, по повелению главнокомандующего фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, с передовым отрядом, с своим полком, гренадерским баталионом и двумя казацкими полками до города Бресцы на приступе и при сдаче французами крепости, где взял военнопленных французов 1800 человек, в том числе коменданта и полковника и 42 пушки»14. В этой записи есть известная доля преувеличения. Подошедший к крепости следом за двухтысячным авангардом Багратиона корпус Края составлял более 20 тысяч человек, и именно его появление и перевесило чашу весов в пользу союзников. Дело в том, что Суворов, опасаясь долгих осад и проволочек с почетными капитуляциями гарнизонов, сразу же не хотел показывать пример комендантам других французских крепостей и предписал Краю готовиться к штурму. Комендант, устрашенный приготовлениями противника, расстреляв значительную часть боезапаса (совершенно безвредно для осаждающих), в тот же день сдался на милость победителей15. Суворов похвалил как австрийцев, так и Багратиона и, опираясь на его рапорт, сообщил Павлу (также слегка преувеличивая деяния своих подчиненных), что «войска императорские, королевские и Вашего императорского величества егерский Багратиона полк, гренадерский баталион Ломоносова и казачий полк Поздеева под жестокими пушечными выстрелами крепость завладели, а неприятель, невзирая на то, что с замка производил пушечную пальбу 12 часов и, по упорном сопротивлении, сдался. В плен досталось: полковник — один, штаб- и обер-офицеров — 34, рядовых природных французов 1030, да раненых в прежних их делах 200. Пушек взято 46, в том числе 15 осадных, с нашей стороны убитых и раненых нет. Вашему императорскому величеству о том всеподданнейше донеся, генерал-майора князя Багратиона, подполковника Ломоносова и майора Поздеева похваляю расторопность, рвение и усердие, при завладении крепости оказанные»16. Победа была не особенно выразительна, но довольный император Павел сказал главное, то, о чем все думали: «Начало благо, дай Бог, чтобы везде были успехи и победы». За дело под Брешией Багратион получил орден Святой

Анны 1-го класса и славу удачливого командира авангарда. А удачливость, как известно, очень много значила в военном сообществе (суеверном, как и любая другая среда профессионалов). Более того, как справедливо заметил В. В. Лапин, именно удачливость и была признаком «богоизбранности» военачальника.

Какой ужас: пехота промочила ноги! Уже в начале похода Суворов показал австрийцам свой нрав и принципы ведения войны. 11 апреля он послал командующему австрийскими войсками генерал — фельдцейхмейстеру М. Ф. Б. Меласу необычайно резкое и даже оскорбительное письмо по поводу прерванного из-за непогоды Меласом марша его войск: «До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. Переход был сделан на службе могущественному монарху. За хорошею погодою гоняются женщины, петиметры да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, отрешен от должности. В военных действиях следует быстро сообразить — и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться. У кого плохое здоровье, тот пусть и останется назади. Италия должна быть освобождена от ига безбожников и французов: всякий честный офицер должен жертвовать собою для этой цели. Ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают. Глазомер, быстрота, стремительность! — на сей раз довольно. Суворов»17.

По приказу Суворова Багратион двинулся вперед, к Лекко, впереди основных сил союзной армии, форсировавшей без проблем реки Меллу и Олио. 13 апреля казаки атаманов А. К. Денисова и П. М. Грекова 7-го взяли Бергамо, не оказавший бородатым сынам Дона никакого сопротивления. 14 апреля в Бергамо вошел отряд Багратиона. Туда же прибыл и Суворов. Вообще, все это была еще не война, а разминка — французы стремительно, без сопротивления отходили за Адду, уничтожая по пути запасы продовольствия и фуража. Именно на берегу Адды они хотели дать союзникам главный бой, несмотря на более чем двойное численное превосходство русско-австрийских войск.

Багратион, шедший в голове колонны генерала Я. И. Повало-Швейковского, впервые столкнулся в упорном бою с французами в городке Лекко, что в верховьях реки Адды. Багратион решил взять городок с ходу, но был отбит, потом все-таки завладел городом и с трудом сдерживал натиск противника — дивизии генерала Ж. М. Ф. Серрурье. При этом впервые его достала французская пуля — Багратион был ранен в правую ногу, выше колена. В журнале военных действий отряда Багратиона

записано: «Полков имени моего: ранено: я — 1, полковник Хвитский — 1, майор Яковлев — 1…» и т. д.

Сопротивление французов было сильным, пришлось просить поддержку. Ее оказал Милорадович, подошедший на подводах со свежим батальоном, а затем Повало-Швейковский еще с двумя батальонами. При этом Милорадович совершил истинно благородный поступок, впоследствии отмеченный Суворовым в приказе по армии. Будучи старше в чине, он мог взять командование бригадой на себя, но этого не сделал, а передал батальон Багратиону, который успешно отбил нападение французов. Правда, тут выяснилось, что удерживать Лекко не было нужды — союзники уже переправились ниже его по течению Адды, у Бривио. Потери отряда Багратиона в том бою были велики — 365 (по другим данным — 385) человек. Потери французов оказались не меньшими, хотя вряд ли они составляли три тысячи человек, как писат в своем формулярном списке Багратион. Пленных французов было тоже не 200, как писал Багратион, а 100 человек. Раненый, но оставшийся в бою Багратион удостоился пожалования в командоры ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Для австрийцев первым серьезным столкновением с французами стал выигранный ими бой у Ваприо-Кассано на Адде, когда началась переправа на правый берег. Австрийцам помогали вездесущие казаки и венгерские гусары. Удар по французским позициям был рассчитан Суворовым точно — французы уже не могли оборонять Милан и через Павию отступили юго-западнее, к Турину. 18 апреля казаки заняли Милан и уничтожили Цизальпинскую республику. Правда, в Миланской цитадели засел большой французский гарнизон.

На Турин!

За десять дней был достигнут колоссальный успех — войска союзников продвинулись на сто верст, форсировали пять рек, одержали победу при Адде и заняли столицу Цизальпинской республики. Но Суворов уже обдумал план продолжения операции. Он предложил Вене новую диспозицию, которая предусматривала наступление на разделенные корпуса генералов Моро (он сменил Шерера) и Макдональда. Предполагалось сначала разбить идущего с юга Макдональда, а потом разобраться с Моро, собиравшим свои разгромленные силы в Пьемонте, и занять Турин. Гофкригсрат отверг этот план и предписал завершить осаду Мантуи, которая хотя оставалась позади

наступавшей союзной армии, но не представляла для нее особой опасности из-за того, что коммуникации между основной армией французов и гарнизоном Мантуи были разорваны и Мантуя находилась в изоляции. В итоге 20 апреля Суворов под личную ответственность и без одобрения Вены продолжил наступление. Он пошел к берегам реки По и форсировал ее, хотя Вена многократно запрещала ему действовать на правом берегу, а между тем только там можно было встретить идущего из Тосканы Макдональда.

Как всегда, Багратион шел впереди: 21 апреля он первым переправился через По у Пьяченцы. Но его движение было остановлено. Получив достоверные известия о том, что Макдональд еще далеко и не дебушировался из Апеннин, Суворов решил повернуть на Моро. Это привело русские войска 22 апреля в Павию — наиболее удобный пункт для начала задуманной операции. И опять вперед, в разведку боем, был послан авангард Багратиона. Он сообщал Суворову, что «слух носится, что неприятель у Александрии укрепился, и я ожидаю оттудова известия, а партию еще давно послал и приказал, чтобы непременно достали языка»". 23 апреля Багратион «нащупал» противника в крепости Тортона и остановился в Вогере, далеко впереди основных сил австрийцев. В тот же день он бодро писал Суворову: «Неприятель остался в Тортоне и весьма трусит нас — имевши со мною перепалку, потерял около 100 человек как конницы, так и пехоты… жалко мне, что в горах баталионы ко мне не примкнули, верно бы взял город. Неприятель совсем из пушек не стреляет — говорят обыватели, что ни ядер, ни картечь не имеет по калибру пушки. Стрелки мои из шанцев их выбили, и тогда даже они не стреляли — выпалили раз, но слуху не было от ядра или картечи. Здесь обыватели нетерпеливо ожидают вашего сиятельства. Охотников пропасть со мною — и отбиться от них не могу. В город я не вхожу для того, что неприятельский гарнизон весьма силен и жду армию в помощь». Примечателен дух и стиль этого, да и других рапортов Багратиона. Видно, что он, как говорили в то время, в кураже, воюет с удовольствием, проявляя смелость, отвагу, задор, но вместе с тем и осмотрительность и внимание.

Наступление развивалось успешно. Как и прежде, численное превосходство (более 45 тысяч против 20 тысяч у Моро) и инициатива, благодаря активности Суворова, оставались на стороне союзников. Их действия были осмысленны и целенаправленны. Одна австро-русская группировка на левом берегу По последовательно занимает Новару, Верчелли и, как и в начале кампании, захватывает подошвы Альп, пресекая

коммуникации французов со Швейцарией (где находилась группировка генерала Массены) и подступая к Турину. Другая группировка действует на правом берегу По, в самом опасном месте, где возможен прорыв Макдональда. 28 апреля Багратион со своей бригадой двинулся от Вогеры к крупной крепости Алессандрия. Основные силы союзников сосредоточились у Тортоны, где находился штаб Суворова.

Моро расположился почти напротив, на левом берегу реки Танаро, притока По. Нужно отдать должное этому отважному и умному генералу. Он сумел воспользоваться тем, что после проигранного им сражения при Адде противник его не преследовал и позволил занять максимально удобную как для обороны Турина, так и для встречи с Макдональдом позицию: слева упираясь в берег По у города Валенцы, а справа — у крепости Алессандрия.

Выходка юнца. Начало разыгранной по обе стороны реки По «партии» осталось за французами. Причиной стал неудачный десант 1 мая корпуса Розенберга, предпринятый для занятия Валенцы по приказу Суворова, который полагал, что город оставлен французами. Но когда Розенберг, перейдя По, у селения Бассиана оказался перед лицом мощной группировки противника, он не сумел вывести вовремя войска и увяз в оборонительном, как писал Суворов, «беспрочном» бою, причем медвежью услугу Розенбергу сослужил прибывший в войска великий князь Константин Павлович, который, желая отличиться как полководец, вмешался в управление войсками и способствовал большим потерям русских. По словам бывшего рядом с Константином Е. Ф. Комаровского, великий князь оскорбил Розенберга, обвинив его почти в трусости, когда тот, видя сильные позиции французов и недостаток собственных сил, пытлчся подождать подкрепления. В ответ на слова Константина «генерал Розенберг, оскорбленный до глубины сердца таким упреком, отвечал: “Я докажу, что я не трус”, вынул шпагу, закричал солдатам: “За мной!” и сам пошел первый вброд. Сия поспешность имела самые дурные последствия». Как вспоминал один из участников сражения капитан Грязев, произошло самое ужасное — войска охватила паника: «Будучи теснимы со всех сторон более и более неприятельской многочисленностью, мы начинали ослабевать и силами, и духом, и, наконец, совершенно расстроились, смешались и в беспорядке, мало сказать, что ретировались, но бежали… тогда никакая власть, никакая сила не могла наши батальоны ни устроить, ни удержать от постыдного бегства. Я не могу без ужаса вспомнить о сем горестном для нас происшествии, которого я, по несчастию, был сам очевидным

свидетелем»2". Погибло и было ранено почти полторы тысячи человек, убит генерал-майор Чубарое. Позже Суворов сурово отчитал царского сына и пообещал отдать его под военный суд, после чего Константин стал тише воды, ниже травы.

Багратион был далек от места драмы на переправе. С 29 апреля он оказался опять на самом кончике острия своей армии — у селения Нови, где захватил много припасов французской армии. В рапорте Суворову он пишет: «Обыватели в городе Нови казались более скучными, я объявил им человеколюбие ваше и милосердие, которым ваше сиятельство преисполнены. То оживотворило их, и они с большими восклицаниями поднесли мне городские ключи, а корпусу доставили всевозможные выгоды»21. Багратион поспешил в своих оценках: жители Нови были почти сплошь «якубинцы», почему и были так «скучны» при появлении русского войска. Когда же позже произошла битва при Нови, то жители прятали французов и вместе с ними стреляли в спину русским солдатам. Поэтому на улицах города произошли резня и грабежи.

Целью движения Багратиона к Нови было предупредить наступление Макдональда. Но не успел он там обосноваться, как Суворов прислал ему срочный приказ — скорее идти на помощь Розенбергу: «Князь Петр Иванович!.. Вы, ради Бога, сколько можно, совсем спешите (коли нет лутче дороги) чрез Тороди-Гарофоли по большой дороге, которая идет к Камбии, к реке По»22. Вскоре, узнав, что Розенберг все-таки вырвался из объятий французов, Суворов писал Багратиону: «Мне жаль, что вас тронул из Нови. Останьтесь… на месте». То, что Суворов обратился к Багратиону, хотя были и другие войска, стоявшие ближе к Валенце, с несомненностью говорит о его высоком доверии к князю Петру.

Но вскоре Багратион получил новый приказ. Когда Суворову стало ясно, что Макдональд еще далек от Северной Италии, он произвел рокировку: приказал Багратиону быстро перейти с одного фланга на другой — от Нови к Бреме, что лежит выше Валенцы по реке По, а также изменил позиции других соединений. Смысл всех перегруппировок заключался в том, чтобы, отвлекая противника у Алессандрии и Бреме, основными силами совершить фланговый марш, охватить противника справа и переправиться у Казале, что выше по течению реки. Перегруппировка заняла неделю, в течение которой Моро изнывал от неизвестности, не зная, на каком же направлении готовится ударить Суворов. 5 мая он решил провести разведку боем, с тем чтобы нащупать свободный проход за Апеннины, к Генуе, и двинуться дальше на соединение с Макдональдом. Моро

перевел армию через реку Бормидо. Передовая колонна дивизионного генерала Колли двинулась по Тортонской дороге к Сан-Джулиано и оказалась против австрийской дивизии генерала Ф. И. Лузиньяна. Надо же было случиться, что как раз в этот момент Багратион со своей бригадой в 4 тысячи человек, выполняя приказание Суворова, маршировал от Нови к Бреме и у Сан-Джулиано встал лагерем на ночевку. Заслышав выстрелы, он двинулся на помощь австрийцам, великодушно уступив общее командование младшему в чине Лузиньяну. Общая численность союзных войск составила около 14 тысяч человек, то есть в два раза больше числа переправившихся французов. Произошла ожесточенная схватка, во время которой у Маренго Багратион отбил натиск колонны дивизии Колли, а часть вражеской пехоты и эскадрон французских гусар были почти полностью уничтожены. Моро, узнав о том, что к месту сражения подходят другие союзнические полки, дал приказ своим войскам вернуться на левый берег Бормиды, что им и удалось благополучно сделать, разрушив за собой мост. Преследования со стороны союзников не было. Потери у противников были примерно одинаковые — по 500–600 человек23. В журнал боевых действий был внесен рапорт Багратиона на имя Розенберга от 5 мая, в котором сообщалось о том, что он с «частью войск… генерала-майора Лузиндяна» нанес поражение 12-тысячному корпусу французов: последние потеряли убитыми 1000 человек, «потопивших в реке Бормидо превосходят тысячу, взятых в плен 300». В формулярном списке Багратиона уже никакого «Лузиндяна» нет и в помине, а всю победу при Маренго он приписал на свой счет: «Майя 5-го с тремя баталионами гранодерскими, с своим егерским полком и двумя казацкими полками при селении Маренго против французского корпуса в 12 000, составляющего под командою генерала Моро, где, распоряжая вверенным ему авангардом, разбил оной (корпус Моро. — Е. А.), побив на месте, и потопил в реке Бойрыро (Бормидо. — Е. А.) более 2000, да в плен взял до 300 человек»24. Увы! Нет сомнений, что в этом явно неудачном сражении Багратион вел себя, как обычно, — смело и мужественно, но в свой формулярный список 1811 года он включил события при реке Бормидо как очевидную победу войск, которыми он командовал. На самом деле вскоре приехавший на место боя Суворов был недоволен действиями союзников: Моро, предпринявший столь рискованную вылазку, остался безнаказанным, Лузиньян и Багратион дали ему уйти, хотя на переправе можно было его крепко потрепать и даже окружить. «Упустили неприятеля!» — таково было резюме полководца. Но награды участникам сражения последовали. 5 мая 1799 года

Багратион удостоился ордена Святого Александра Невского.

После некоторого перерыва, связанного с ожиданиями следующего хода Моро, Суворов решил играть в свою, задуманную ранее игру. 7 мая Казале и злосчастная Валенца были благополучно заняты Милорадовичем и Швейковским и следом началась переправа основной массы войск через По. Тем самым Суворов заходил в тыл Моро, стоявшему между Валенцей и Алессандрией. Моро, предчувствуя заготовленный ему капкан, решил отходить, но не в сторону Турина, а вдоль подошвы Апеннинских гор, к крепости Чева и далее, через дефиле, в Генуэзскую Ривьеру. Но оказалось, что Чева — ключ к проходу на Ривьеру — занята австрийским отрядом в 350 (по данным Суворова — 250) человек, которые героически отбивались от посланного Моро шеститысячного отряда генерала Груши до 20 мая, когда Груши был вынужден оставить всю затею со взятием этого орлиного гнезда. И все-таки Моро, прижатый к Апеннинам, сумел вырваться из горной ловушки: за три дня и три ночи под проливным дождем его солдаты построили новую дорогу и по ней перешли Апеннины, буквально ускользнув от союзников.

Видя, в каком отчаянном положении у подошвы Апеннин оказался его противник, Суворов не стал преследовать его, а решил двинуться прямо на Турин. С одной стороны, тем самым он упускал Моро, который теперь мог соединиться с идущим из Тосканы Макдональдом, но с другой — занятие столицы Сардинского королевства получило бы колоссальный политический отклик в Европе (что впоследствии и произошло). За какой-то месяц почти вся Северная Италия была освобождена от французов! Пали Милан и Турин. До французской границы оставалось 100 верст…

И опять Багратион был впереди — 14 мая он занял Риволи, что вблизи Турина, а затем и дорогу к Пиньеролю, тем самым прикрыв Турин со стороны французского побережья.

Вся река Треббия была в огне

Тем временем свой героический марш из Неаполя в Геную совершат генерал Макдональд. Его 30-тысячная армия шла по опустошенной, мятежной стране, без продовольствия, без обуви. Макдональд выступил из Неаполя в конце апреля и 14 мая был уже во Флоренции, а 18-го прибыл в Лукку, преодолевая по жаре большие пространства. Когда же Моро спустился в Ривьеру, общая численность французских войск возросла до 55 тысяч человек. Теперь можно было дать бой союзникам, тем более что

их значительные силы по мере завоевания Северной Италии распылялись — несколько крепостей продолжали сопротивление, и вокруг них приходилось держать крупные отряды. В переписке с Моро Макдональд сумел согласовать план совместного наступления на союзников Неаполитанской и Итальянской армий. План этот состоял в двойном ударе по Тортоне — крепости, которая контролировала подходы к Милану и Турину. Макдональд, усиленный польской дивизией Домбровского, должен был перейти Апеннины, двинуться к Болонье и Реджио, затем по правому берегу По ударить по Пьяченце и Вогере, а там рядом и Тортона — место встречи с Моро, который, начав позже, чем Макдональд, должен был двигаться к Тортоне из Генуи через Гави и Серравалле. Макдональд, начав движение 29 мая, действовал стремительно и отважно. Он спустился с гор и 1 июня сбил австрийцев у Модены, захватив в плен около 1600 человек, а затем двинулся к Пьяченце.

Суворов, находясь в Турине, осознавал грозящую ему опасность со стороны Макдональда. Еще не имея никаких сведений о движении французов, 30 мая он неожиданно двинул с разных точек все свои силы к Алессандрии (между прочим, в цитадели этой крепости сидел в осаде французский гарнизон), причем войска, хорошо отдохнувшие в столице Пьемонта, прошли 90 верст за двое с половиной суток. В Алессандрии Суворов вроде бы мог похвалить себя за предусмотрительность — доселе неведомо откуда и куда идущий Макдональд проявил себя под Моденой, а потом под Пьяченцей, то есть достаточно близко. Но вскоре Суворов понял, что, напротив, он запаздывает — инициатива у противника, который ведет целенаправленное наступление: у Пьяченцы австрийская дивизия К. Отта 5 июня была сбита французами, и Отт, а потом и посланный к нему на помощь Мелас слали Суворову отчаянные просьбы о сикурсе. Тогда Суворов предписал армии форсированным маршем двинуться к реке Тидоне, которую французы уже перешли, нанеся затем удар по австрийцам. Сам же Суворов поспешил вперед, взяв с собой Багратиона, который передал командование авангардом великому князю Константину. С главнокомандующим было четыре казачьих полка и два полка австрийских драгун. Суворов подоспел в самый критический момент сражения — Отт и Мел ас с трудом сдерживали наступление Макдональда. Предоставлю слово лучшему из биографов Суворова генералу А. Ф. Петрушевскому:

«Русских прибыло так мало, что на стороне французов все-таки оставался численный перевес, но эта разница пополнялась присутствием Суворова. Явился в нем гений войны, прилетел дух

победы. Вскакав на возвышение, он окинул долгим, внимательным взглядом поле сражения. Именно в подобные моменты, когда дело касаюсь его неподражаемого глазомера, он был истинно велик. Два казачьих полка, не успев перевести дух, полетели вправо, во фланг Домбровскому с поляками, а против фронта сто были посланы драгуны; другие два казачьих полка понеслись под начальством суворовского племянника Горчакова грозить правому флангу французов. Наступление французов задержалось, а поляки были приведены в совершенное замешательство. Успех, конечно, был минутный, но в подобных случаях каждая минута и дорога. Показалась на дороге голова русского авангарда. Исполняя приказание Суворова, великий князь не медлил; под палящим зноем пехота не шла, а бежала; колонна растянулась Бог знает как далеко, люди выбились из сил, падали рядами, и многие из упавших уже не вставали. Но остальные продолжали идти на выстрелы, и скоро голова колонны подошла к полю боя (по сведениям Старкова, войска прошли за сутки 105 верст! — Е. А.). То были храбрые из храбрых, люди, не только крепкие телом, сколько могучие духом, на них-то Суворов и рассчитывал, поставляя правилом, что “голова хвоста не ждет”»… Почти с ходу подошедшие батальоны были брошены в бой. Этот марш к Треббии навсегда вошел в учебники военного дела как выдающееся военное событие. Недаром противник Суворова генерал Моро назвал его «вершиной военного искусства». А уж он знал, о чем говорил. Нужно было обладать гением выдающегося полководца, чтобы совершить такой львиный бросок…

Бесценность минуты. Для Багратиона, сразу назначенного Суворовым командующим левым флангом, сражение при Треббии стало подлинной школой полководческого искусства. Суворов проявил тогда гениальные способности полководца. В этом он был похож на Наполеона, также понимавшего цену времени, мгновения в бою. Великий французский полководец не раз почти дословно повторш слова Суворова: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время всего дороже!» Багратион рассказывал, что когда он получил приказ к наступлению, он подошел к Суворову и тихо сказал ему, что нужно подождать отставших в дороге — в ротах налицо всего по 40 человек. Суворов в свойственной ему парадоксальной манере отвечал на ухо Багратиону: «А у Макдональда нет и 20; атакуй с Богом. Ура!» Н. А. Орлов не без основания пишет, что, «очевидно, Багратион не уясни/г себе важности минуты, благоприятной для перехода в наступление против ошеломленного и уже истощенного боем противника; число не могло здесь играть слишком большой роли.

Суворов же прекрасно оценил минуту; не для того же и делал крайнюю форсировку движения войск и смелый удар конницей, лично им приведенной, чтобы потом ожидать и, быть может, пропустить минуту. Войска дружно ударили по неприятелю»25.

Не менее важной была и моральная подготовка войск. Суворов, прекрасно знавший солдатскую психологию, целенаправленно готовил свою армию к победе. Багратион вспоминал, что при выходе в сторону Пьяченцы Суворов передал ему бумажку, на которой были написаны двенадцать французских слов с переводом на русский язык. Это были слова: «Балезарм» («Опусти оружие!»), «Пардон, жете ле зарм!» («Сдавайся, бросай оружие!») и т. д. «Отдавая мне, — вспоминал Багратион, — написанные слова, говорил: “Князь Петр! Смотри! Чтобы все выучили наизусть, знали их, буду спрашивать”. Как скоро люди начинали уставать, пооттягивались от передовых, тогда фельдфебели, грамотные унтер-офицеры и даже многие офицеры начинали читать слова, Александром Васильевичем данные; все собирались в кучки к читающим, слушали, шли и затвержившги, забывая усталь для того, чтобы не показаться перед отцом Александром Васильевичем немогузнайками. Вот была прямая цель этих французских слов»26. Думаю, что автор (или Багратион) ошибается: не желание отвлечь солдат от трудной дороги и не опасение прослыть презренным для Суворова «немогузнайкой» составляли суть урока французского языка под жарким солнцем Италии, а намерение внушить солдатам уверенность в победе. Так же Суворов поступил и перед штурмом Праги, раздав по войскам подобный «самоучитель» польского языка для победителей.

С той же целью он вводил в заблуждение казаков, написав в приказе, что войск у Макдональда не 38 тысяч, а 21 тысяча, да и то «из коих только 7000 французов, протчие всякой зброд реквизиционеров», что было неправдой. Зато сколь воодушевляюще начаю этого приказа:«1. Взять армию в полон…»27 И это о грозном противнике, впервые за всю кампанию численно превосходящем союзников! Наконец, Суворов категорически запрещал употреблять в бою команды «Стой!», «Назад!», «Отступаем!». Как анекдот рассказывают историю о том, что при Треббии и потом при Нови Суворов догнал бегущих в тыл солдат и стал кричать им: «Молодцы, ребята, заманивай их, заманивай. Спасибо, ребята, что догадалися!», а потом, остановив бегущих, скомандовал: «Теперь пора, вперед, ребята, и хорошенько их»28.

Первый день сражения при Треббии закончился тем, что атаки французов и поляков были отбиты, а сами они отброшены

за реку Тидону, причем Багратион сыграл в этот момент первую скрипку — во главе конницы разбил полки Домбровского и прорвал каре генерала (будущего маршала Франции) К. П. Виктора, что в сражениях бывает крайне редко. Макдональд отступил на несколько километров к Треббии, собирая свои потрепанные войска, нуждавшиеся в отдыхе, поджидая подхода дивизий генералов Оливье и А. Р. Монришара, а главное — надеясь на Моро, который должен был вот-вот спуститься с Апеннин. У Суворова тоже подошли не все войска, но он решил не оттягивать новое свидание с Макдональдом. 7 июня, по его приказу, союзники тремя колоннами двинулись от Тидона к Треббии и Нуру, чьи русла шли параллельно реке По. Как всегда, авангардом командовал Багратион. Как только противник обнаружил себя, Суворов дал приказ о наступлении всем трем колоннам. Перед Багратионом, имевшим в подчинении 6 батальонов пехоты, 2 полка казаков и 6 эскадронов австрийских драгун, как и 5 июня, оказались поляки Домбровского. Они бились отчаянно, мстя Суворову и Багратиону за залитую кровью Прагу и униженную Варшаву, но сила солому ломит, и легионеры Домбровского были отброшены. Австрийцы тоже действовали успешно, и Макдональд был отброшен уже за Треббию.

Третий день сражения стал решающим. Макдональд, зная о своем численном превосходстве и рассчитывая, что в тыл Суворову ударит Моро, утром 8 июня приказал войскам перейти Треббию и ударить по противнику. И опять Багратиону достался Домбровский, с дивизией которого завязалась жаркая схватка на «нашем» берегу Треббии, — Домбровский пытался охватить фланг русских. Но основной удар Макдональда пришелся на русский центр — корпус Розенберга, который начал с жестокими боями отступать. Розенберг поехал к Суворову просить помощи, но получил отказ. Багратион, по записи Старкова, вспоминал об этом эпизоде: «Утомленный старец, отец русских богатырей, слез с лошади, лег отдохнуть, прислонясь спиной к огромному камню, и наблюдал движение боя. К нему явился Андрей Григорьевич Розенберг и вслед за ним князь П. И. Багратион. Вот точные слова князя П. И. Багратиона, передаю их так, как только могу припомнить: “Я был… почти не в силах держаться на линии боя, видел ясно, что если малейшее подкрепление прибудет к неприятельской линии против меня, я не удержусь на месте. Люди мои до высочайшей степени ослабели в силах, число их уменьшалось каждую минуту от неприятельского огня. Жар в воздухе был ужасный. Последний запас моих гренадер пустил я в бой, ружья худо стреляли, замки и полки у ружей запеклись накипом от пороха. По этой крайности я шибко понесся к

Александру Васильевичу и в минуту нашел его на несколько возвышенном месте в полулежащем положении, в одной рубашке. Китель был возле него, и он держал его за рукав. Я заметил, что у него был жаркий разговор с Розенбергом. Увидавши меня, Александр Васильевич сказал: 1А! Князь Петр! Здравствуй, Петр!1 и в то же мгновение обратился к Розенбергу, говорил: 1Ваше высокопревосходительство! Андрей Григорьевич! Подымите этот камень, вот этот, что я лежу возле него1. Розенберг молчал. 1Не можете? А? Ну, так стало, так же не можно, чтобы, помилуй Бог! и русские отступали! Ступайте, помилуй Бог, ступайте, держитесь крепко! бейте! гоните! Смотрите направо! а иначе, помилуй Бог, вам будет худо! Мы — русские, не ундер-куфт, не мейсенеры!1 И Розенберг уехал. 1Ступайте шибко к Меласу (командующему австрийцами. — Е, А,), — приказывал Александр Васильевич одному из своего штаба, — скажите ему, чтобы он всеми силами в колоннах бил врага в средину, а запасы за собою близко, шибко, прямо бил бы!., непременно, помилуй Бог, бил бы насквозь французов… конница наблюдает, часть ее несется быстро вперед — рубить! Штыки! Ты там будь — смотри!1 Обратясь ко мне, спросил: 1А? что, Петр? как1 — 1Худо, ваше сиятельство! — сказал я, — силы убыли, ружья худо стреляют, неприятель силен и…1 Александр Васильевич не дал мне досказать, начал говорить: 1Помилуй Бог! Это нехорошо, князь Петр! Лошадь!1 Сел и понесся к моей линии. Устремив все внимание в свою линию, я и не заметил, как он приказал, чтобы полк козаков и батальон егерей, ставший лишь из боя в запас на отдых, неслись шибко за нами. Мы въехали в мою линию. Боевые ратники увидали отца родного Александра Васильевича и оживились. Натиск на французов пошел сильнее, и, ей-Богу, сделалось чудо! Беглый огонь наш усилился, ружья стали стрелять, люди, от усталости едва переводившие дух, оживились, все воскресло, облеклось в новую силу! Александр Васильевич велел ударить в барабаны сбор, и в одно мгновение ратники мои неслись из рассеянной линии в совокупность. 1Князь Петр, — сказал Александр Васильевич, — ударим! прогоним! это облегчит победу над врагом1. И вся линия моя по его воле шибко бросилась вперед. Французы сбиты с мест, опрокинуты штыками, копьями, немного их спаслось от смерти. Это облегчило меня на несколько времени”»21.

И хотя во всем этом рассказе есть налет легендарности, анекдота, одно несомненно — появление Суворова среди солдат было для них колоссальным стимулом и могло если не изменить коренным образом ситуацию, то, как и считал Багратион, «облегчить на несколько времени» тягостное положение войск.

Словом, первоначальный план Суворова наступать преимущественно правым флангом (Багратион, Повало-Швейковский) и охватить левый край Макдональда не удался. Французы повели сильную встречную атаку на русский центр (Розенберг), где особенно отличались свежие дивизии Монришара и Оливье. Но русские и австрийцы выстояли, и неожиданно появившаяся подмога в виде австрийской кавалерии генерала И. И. Лихтенштейна перетянула колебавшуюся чашу весов на сторону союзников — французы отошли за Треббию. Это была уже третья река, за которую Суворов в течение одного сражения отгонял противника. Но он был недоволен — противник не был сломлен, и Суворов приказал наутро готовиться к наступлению. Ночью на военном совете в Пьяченце генералы Макдональда высказались за отступление — общие потери составляли 15 тысяч человек (из 33–35 тысяч, что насчитывались перед боем), артиллерия расстреляла боезапас, моральный дух солдат, отошедших уже за третью реку, был сильно подорван неудачами. Потери союзников составляли около шести тысяч человек. Макдональд приказал отходить в темноте, а чтобы спутать противника, велел части конницы до утра поддерживать бивачные огни в лагере, создавая впечатление, что французы готовятся утром к бою.

Как только Суворов узнал об отступлении французов, он дал приказ двигаться вперед: «По переправе через реку Треббию сильно бить, гнать и истреблять неприятеля холодным оружием, но покоряющимся давать пардон подтверждается. Не назначается места для следования армии, потому что неизвестно, какую дорогу избрать неприятель может, а предписывается только, на всех его путях скоро догоняя, храбро поражать». Вскоре Пьяченца была занята австрийцами Меласа, а колонна русских полков и австрийских драгун Розенберга настигла Макдональда (точнее — дивизию Виктора) у реки Нуры, и часть французских войск была окружена и пленена (взято 3 знамени, 4 орудия, 1029 человек пленных, в том числе легендарный во времена революционных войн Овернский полк, а также обоз и канцелярия генерала Виктора).

Этот эпизод также отражен в формулярном списке Багратиона, и здесь мы вновь отмечаем, что общую победу значительной группировки войск в трехдневном сражении Багратион приписал только себе: «…побив на месте 1824, в плен взял 1606 человек, в том числе 1 шефа, 3 полковников, 116 офицеров, 13 знамен и две пушки». Впрочем, это простительное преувеличение, присущее всем храбрецам. Как замечал Н. А. Орлов, другой участник этого сражения Грязев «весьма цветисто

рассказывает, что это он с 60 охотниками заставил Овернский полк положить оружие. Кажется, здесь проявляется слабость, общая большинству участников, приписывать всё себе и думать, что они служили центром событий».

Макдонатьд отступал так поспешно, что это скорее походило на бегство. По всем канонам тогдашнего ведения войны, союзники одержали полную, безоговорочную победу. Так случилось, что в тех местах, где Суворов победил Макдональда, в 218 году до нашей эры великий Ганнибал разгромил войска римлян. Павел был в восторге от победы при Треббии, в Вене восторг был умеренным — отношения с гофкригсратом у Суворова совсем испортились.

Борьба за чужое счастье. Отношения Суворова с Веной не сложились по нескольким причинам. Еще находясь в столице Австрии, Суворов, как уже сказано, совершенно игнорировал гофкригсрат и его руководителя, влиятельного барона Тугута, что, конечно, сразу же настроило военное руководство империи против русского фельдмаршала. Столь недипломатичное поведение объясняют нежеланием Суворова связывать себе руки инструкциями и диспозициями, которые ему предлагались. Но дело в том, что австрийская армия составляла костяк объединенных сил союзников, а ее генералитет как раз пунктуально подчинялся Тугуту и стоявшему за его спиной императору Францу. Из-за этого все время возникали разногласия между союзниками, и Суворов постоянно нарушал предписания Вены. Ничего хорошего из этого конфликта выйти не могло. Убедившись, что Суворов не слушается гофкригсрата, Тугут стал через его голову отдавать приказания австрийским генералам.

Не совпадали и политические цели предпринятой войны. Суворов получил от своего императора широкие политические полномочия, которые в конечном счете сводились к мессианской идее освобождения Италии и Европы от французского завоевания («идти спасать Европу», «Францию во Франции исправить»), уничтожения вновь образованных республик и восстановления на освобожденных территориях старых режимов. Иначе думали в Вене, рассматривая русскую армию лишь как вспомогательные силы, действующие в рамках австрийской политической доктрины. Венскому начальству страшно не понравилось, что Суворов, заняв Турин, сразу же восстановил власть сардинского короля, пригласил Карла Эммануила приехать с Сардинии в Пьемонт, в то время как австрийцы намеревались сами занять часть Северной Италии и ввести там свою администрацию. Принимал Суворов и представителей кардиналов, видевших в нем спасителя Ватикана и папы. Суворов жаловался Павлу, что

венский кабинет «делал мне строжайшие выговоры за то, что якобы я вмешивался в политические дела с сильнейшим подтверждением, чтобы я на будущее время от того удерживался»31. Не разделяли австрийские руководители и сверхзадачи Суворова, который стремился к Парижу. Даже после победы при Треббии император Франц настаивал на своем: «Ныне более чем когда-либо убеждаю вас без дальнейших отлагательств предпринять и окончить осаду Мантуи, а для того назначить генералу Краю достаточно войск (а там в осадном корпусе и так было 20 тысяч человек, которые Суворову были позарез нужны в поле. — Е. А.). Сверх того, я требую, чтобы ему подчинены были в продолжении всей осады генералы Отт и Кленау для обеспечения правого берега реки По. О наступательном движении армии моей чрез Валис или Савойю во Францию теперь решительно и помышлять не должно, как уже сообщил я вам в повелении от 2 (13) мая. Также не могу никак дозволить, чтобы какие-либо войска мои, впредь до моего предписания, употреблены были к освобождению Рима и Неаполя. Следовательно, в настоящее время вы должны все свое внимание обратить на покорение Мантуи и затем стараться овладеть еще мало-помалу другими крепостями: Алессандриею, Тортоною, Нови и проч. Занятием этих пунктов и преградою путей и проходов чрез Альпийские горы следует пресечь сообщение Италии с Франциею»32. Словом, Вене нужен был послушный наемник, исполнитель замыслов гофкригсрата и правительства. Но не таков был Суворов: «Я волен, служу когда хочу, из амбиции, я не наемник, не мерсенер, который из хлеба послушен…» Он жаловался Павлу, что австрийцы требуют от него планов военных действий для последующего их утверждения, что при всем желании неисполнимо. Несколько утрируя ситуацию, Суворов писал, что император Франц «желает, чтобы ежели мне завтра баталию давать, то я бы отнесся прежде в Вену. Военные обстоятельства мгновенно переменяются, по сему делу для них нет никогда верного плана». А посылать в Вену «липу», вести с Тугутом фальшивую переписку, соглашаться с ним Суворов не хотел. К тому же, как каждый выдающийся полководец, он был политиком, но никак не дипломатом, и поэтому не сумел увязать свои мечты и намерения с политической линией Вены, найти общий язык с теми, кто его пригласил на эту войну, — уже в который раз в истории Россия вела «не свою» войну, проливая кровь за чужие, в конечном счете далекие ей интересы. Забегая вперед отметим, что вся пролитая в Италии русская кровь впиталась в песок — не прошло и года, как Наполеон восстановил власть французов над Италией.

Союзники не преследовали Макдональда — отчасти потому, что смертельно устали от форсированных маршей, а отчасти из-за начавшегося от дождей разлива рек. Макдональд, переформировав свою армию в три дивизии, сжег большинство повозок, собрал с местного населения продовольствие и контрибуцию и, бросив множество раненых в окрестных деревнях, ретировался через Апеннины в Тоскану. Его общие потери были огромны — французы и поляки потеряли половину армии, и потому он привел к Моро только 14 тысяч человек. Потери победителей составили 5 с половиной тысяч человек или даже больше, судя по серьезности сражений. Но зато победа была на стороне союзников.

Так или иначе, Макдональд более не был опасен для Суворова. Вот здесь и возник важный вопрос для полководца, который четко сформулировал Н. А. Орлов: «Когда именно следует, при действиях по внутренним линиям, прекратить операцию против одного из противников, чтобы броситься на другого? Удачное решение этого вопроса зависит от таланта полководца, верности его глазомера, и Суворов решает вопрос блистательно: несмотря на весь соблазн доконать Макдональда преследованием, фельдмаршал положил 10 июня остановиться, 11-го дать дневку своим измученным войскам, а 12-го — обратиться против Моро». В истории ошибки в «глазомере» случались не раз: известно, что после разгрома русской армии под Нарвой в 1700 году шведский король Карл XII счел, что русские с их царем Петром не представляют опасности, и не пошел на Новгород, а устремился на того, кто ему тогда казался сильнее, — на союзника Петра Великого польского короля Августа II, и в итоге просчитался…

Моро к этому времени перешел Апеннины и медленно двигался на Тортону, пытаясь маневрами отвлечь союзников с тем, чтобы получить возможность (пока Суворов идет на Макдональда) ударить по их тылам и вместе с Неаполитанской армией взять их в клещи. 8 июня Моро занял Тортону и двинулся к Вогере. В сражении 9 июня с отрядом графа Бельгардо у Касино-Гроссо французы сумели отбросить союзников за реку Бормидо.

Тут Моро получил известие о поражении и отступлении Макдональда. Некоторое время он пытался сбить и запутать Суворова ложными маневрами и слухами, будто он намерен двинуться на Турин. Позже Моро говорил: «Я был, несомненно, уверен, что мое мнимое вторжение в Пьемонт озаботит Суворова, потому что слабая сторона сего полководца, которого, впрочем, я ставлю наряду с Наполеоном, заключалась в том, что он излишне тревожился при каждом нарочно делаемом мною ложном

движении». Ниже будет более подробно сказано о состоянии информативного обеспечения тогдашних армий, но замечание Моро верно — не раз Суворов активно реагировал на ложную информацию о движении противника. Но на этот раз ухищрения не помогли — 12 июня союзная армия двинулась к Алессандрии и Вогере, причем из-за сильной жары шла преимущественно по ночам. Моро решился опять отойти в Генуэзскую Ривьеру. Там он соединился с Макдональдом, пробравшимся с большим трудом по прибрежным тропам из Тосканы в Геную.

В рескрипте императора Франца, процитированном выше, было все же заслуживавшее внимание Суворова место — о крепостях. Суворов полагал, что главное — разбить полевые армии французов, а крепости сдадутся сами по себе. Но этого не происходило. Возникала парадоксальная ситуация — в Алессандрии, Вогере, Милане, Турине был и сосредоточены союзные войска, в Милане даже располагалась Главная квартира, а между тем в их цитаделях с большим запасом пороха, ядер, провианта сидели тысячи французов, которые порой, заскучав в осаде, совершали вылазки, беспокоившие союзников. Так, 15 июня Суворов прибыл в Алессандрию, а три дня спустя французы сделали вылазку из тамошней цитадели и затем повторили ее (правда, без успеха) 26 и 27 июня. Суворов понимал, что осада современных европейских крепостей — дело сложное, а главное — долгое, требующее колоссальных усилий, земляных работ, доставки осадной артиллерии. Да и риск при штурме огромный — наверняка он вспоминал Измаил, Прагу и другие крепости, им взятые в кровопролитных штурмах. Но делать нечего — с крепостями нужно было как-то разбираться. Всего под командой Суворова состояло не менее 110 тысяч человек, а свободных от осадной и гарнизонной службы, тех, кого можно было выставить в поле, не насчитывалось и трети — 31 тысяча, даже с приходом из России десятитысячного корпуса генерала М. В. Ребиндера. 9 июня, вдень, когда сдалась Туринская цитадель, крепость Алессандрии начали планомерно обстреливать из осадных орудий. Суворов провел на глазах у осажденных французов показательные учения войск по штурму крепостей — опыт по этой части у него был огромный. В итоге 11 июля крепость — одна из лучших в Италии — сдалась союзникам, которые теперь взялись за Тортону. Багратион со своим авангардом прикрывал осаду со стороны дороги на Нови и Акви. Наконец 17 июля прорвался главный нарыв — австрийскому осадному корпусу сдалась первоклассная крепость Мантуя с гарнизоном в 10 тысяч человек и 672 пушками. Гофкригсрат мог быть доволен. В Вене считали, что именно с падением Мантуи в Италии достигнута победа. В

этом был резон: Мантуя — сильнейшая по тем временам крепость — держала под контролем всю Северную Италию.

Там, за Серравалле, опасность!

Суворов за прошедшие после Треббии полтора месяца обдумал план дальнейших действий. Суть этого плана состояла в занятии Генуэзской Ривьеры, чтобы полностью очистить Италию от французов и подготовить плацдарм для вторжения весной 1800 года во Францию. К тому времени французы оставили Тоскану, и казачий полк под командой графа Егора Цуката был с восторгом встречен во Флоренции и Ареццо. Австрийцы без труда заняли порт Ливорно и Лукку. Под натиском отрядов кардинала Руффо пал Неаполь. Туда вернулся король Неаполитанский Фердинанд IV, начались жестокие расправы с республиканцами, которых, по некоторым сведениям, было казнено около 40 тысяч человек. Словом, французское владычество в Италии заканчивалось. И все единодушно признавали в этом особую заслугу Суворова. Он же готовился к финалу кампании: «Стыдно мне было бы, чтобы остатки Италии в сию кампанию не опорожнить от французов».

Готовя генуэзскую операцию, Суворов выбрал самое острое решение — через Тендский проход двинуться в Ниццу, и тогда отсеченный от Франции противник будет вынужден сам очистить Ривьеру, «а еще лучше отрезать ему самое отступление». Все другие варианты, по мнению Суворова, привели бы к сложной и непредсказуемой горной войне. Это было понятно уже по операции, которую Суворов поручил 21 июля Багратиону. К этому времени тот опять стоял у Нови, в Посоли, где его войска установили кордон, не допуская, чтобы местные жители возили провиант на Ривьеру. Сами же русские отчаянно страдали из-за отсутствия чистой воды. Суворов приказал Багратиону бросить кордонную службу и взять у французов форт Серравалле, буквально висящий на скале над дорогой из Нови в Геную. Миновать его по пути на Ривьеру было невозможно. А таких фортов и крепостиц на горных дорогах с римских времен было настроено десятки. Их до сих пор можно видеть с шоссе, ведущего из Милана в Геную. Но Багратион, благодаря своей толковости и хорошим инженерам, управился с фортом всего за 36 часов. Правда, поначалу вышла небольшая заминка. Отряд его подошел к крепости, и тут стали поступать сведения о том, что к Серравалле приближается десятитысячный корпус французов. Суворов написал Багратиону, что сведения эти сомнительны — «сама Сервала столько никак не стоит, дабы для нее что тратить,

и так лучше бы было ее бросить… и благовременно назад, не вступая ни в малое дело, токмо постыдно будет, ежели по-пустому. Я на все даю волю… Исправляйтесь к лучшему, направляйте и сообщайтесь с командующими»34. В этом отрывке видно то доверие, которое Багратион заслужил у совсем не склонного кому-либо слепо доверяться Суворова.

При этом Суворов заметно нервничал — слухи о десятитысячном корпусе французов у Серравалле, донесение Багратиона о рассеянных в горах французских отрядах его беспокоили, и 24 июля он послал к Багратиону своего племянника князя Андрея Горчакова, а сам выехал из Боско, где была его квартира, навстречу посланцу, возвращавшемуся с донесением Багратиона. Багратион сообщал о своих действиях по несколько раз на дню — он тоже сознавал опасность всей ситуации на дороге к Генуе. 23 июля Багратион писал Суворову, что «в местечке Осмиджио неприятеля 10 000 нет, а есть не более 3000, но и то весь рассеян по горам»35. Писал Багратион (по собственной инициативе) рапорты и великому князю Константину. К тому времени Багратион «облокировал» форт и готовился к его обстрелу. Но Суворова, при всем его доверии к Багратиону, самого тянуло к Серравалле. Вечером 25 июля в сопровождении цесаревича Константина и охраны он прибыл туда и ночевал в расположении Багратиона. Здесь Суворов узнал, что Директория назначила нового главнокомандующего Итальянской армией — генерала Бартоломея Жубера. Багратион подготовил диспозицию к штурму крепости двумя колоннами, но утром 26 июля сам Суворов послал к ее коменданту с предложением о капитуляции адъютанта цесаревича

Александра Павловича Ф. И. Тизенгаузена — того самого зятя Кутузова, который будет убит в 1805 году при Аустерлице. После сдачи форта Суворов вернулся в Нови, куда и перенес свою Главную квартиру.

Довольный увиденным, 28 июля фельдмаршал рапортовал императору Павлу: «Деятельной генерал-майор князь Багратион пришел под Саравалу, малая миля от Нови, с его егерским полком, сводными гренадерскими батальонами… (Багратион писал, что с ним была тысяча человек. — Е. А.) к ночи на 24-е июля и, изготовя на ближних пригорках батареи, 25-го открыл канонаду при упорном сопротивлении гарнизона… Город был занят полку Грекова майором Денисовым с казаками (об этом просили жители, принесшие Багратиону ключи от ворот. — Е. А.). Брешь еще не совсем была готова; крепкой, на плитняке и высокой горе сооруженной замок на рассвете 27-го июля бил шамад (сигнал о сдаче со стороны осажденных. — Е. А.);

гарнизон, комендант капитан Гейзнер, 5 офицеров, нижних чинов 180, сдался князю Багратиону военнопленными без капитуляции, чего ради офицеры уволены на пароль, чтоб во всю войну не служить без размену. В крепости найдено 11 пушек, в том числе 2 чугунные и 3 мортиры. У неприятеля убито и ранено до 40 (человек). У Багратиона ранено только 7 рядовых и 1 убит. Он похваляет искусство и расторопность российских инженер-полковников Гартинга и Глухова, також храбрость Его императорского высочества благоверного государя наследника и великого князя Александра Павловича адъютанта полковника графа Тизенгаузена… Сего достойного генерала повергаю в высочайшую милость вашего императорского величества»36. К отрывку об отличившемся адъютанте наследника престола, храбрость которого состояла в том, чтобы с барабанщиком и белым флагом подойти к форту и предложить коменданту сдаться, добавим, что к этому времени относится и начало сближения Багратиона с великим князем Константином, который после выволочки, полученной от Суворова, покинул корпус Розенберга и стал чаще бывать в авангарде Багратиона.

По эпизоду с осадой Серравалле и другим случаям видно, что Багратион занимал возле Суворова заметное и почетное место первого соратника и даже доверенного человека, которому можно было поручить и авангард, и осаду крепости, и учебные занятия с австрийцами. Дело в том, что из-под Мантуи в Алессандрию прибыл корпус австрийского генерала Края, и Суворов 1 августа послал Багратиона провести с австрийцами учения, как пользоваться штыком. С самого начала своего руководства войсками Суворов хотел показать австрийцам те приемы рукопашного боя, которые постоянно практиковал и постоянно пропагандировал. И хотя австрийцы не были в восторге от того, что приехали их учить, но все-таки, из уважения к Суворову, смотрели, что выделывали со штыками присланные русским фельдмаршалом офицеры.

Известно, что в эти дни Суворов собирался идти на Ривьеру и готовил войска к следующему этапу кампании. Но мы не знаем ход мысли Суворова, когда он выезжал по Генуэзской дороге к Серравалле и сам контролировал осаду форта. Возможно, он чувствовал исходившую именно отсюда опасность и как бы пытался заглянуть за горные ущелья позади Серравалле. Мы не знаем, доехал ли Багратион до Алессандрии, чтобы показать австрийским союзникам, как нужно драться штыками, но уже 2 августа он получил срочное послание Суворова из Нови, переданное через старшего адъютанта, подполковника С. С. Кушникова: «Ваше сиятельство! Неприятель пришел в Сераваль и

занял город, часть идет к Тортоне, другая — сюда. Его сиятельство господин генерал-фельдмаршал приказал вам о сем дать знать и вам сюда приехать». Багратион срочно вернулся в Нови.

«Тактики будут ругать меня»

Предчувствие, с которым Суворов приезжал в Серравалле, не подвело старого полководца — из ущелья, того самого, которое виднелось из Серравалле, выдвинулась армия Жубера, точнее — ее правое крыло. Левое выдвинулось к Акви. Поход на Ривьеру отменили — противник сам пожаловал «в гости». Нови — маленький городок, уже давно освоенный Багратионом, стал передним краем русской обороны, и вскоре его название вошло во все учебники русской военной истории.

Сражение у Нови оказалось необыкновенно упорным, и можно предположить, что в ходе его Суворов допустил некоторые ошибки. Когда Жубер 3 августа вышел к Нови, то Суворов приказал Багратиону отойти от города на три версты, встать у Поцоло-Формигано. Тем временем австрийские войска генерала Края медлили с выступлением против французов, а Суворов почему-то на это никак не реагировал. Дав приказ Багратиону отступить, он хотел выманить Жубера на равнину за окраину Нови. Суворов так и писал потом в реляции Павлу: «…подаваясь мало-помалу назад, завлечь его (противника) в открытое поле. Для вящщего способшествования сим нашим предположениям оставили мы 2-го августа город Нови». В итоге французы, шедшие двумя колоннами от Акви и Серравалле, беспрепятственно соединились, вошли в Нови и заняли удобную позицию вдоль гребня холмов, тянувшихся влево и вправо от Нови, и в долину не спустились.

С этой возвышенности Жубер и его штаб увидели и даже могли сосчитать значительно превосходящие французов силы союзников, стоявших на обширной равнине за Нови. Впечатление от увиденного Жубером было сильное: против 35 тысяч французов стояла армия более чем в 50 тысяч человек. Неудивительно, что Жубер не решился двигаться дальше, на равнину, но даже намеревался начать отступление. День прошел в перестрелке, никаких активных действий противники не предпринимали. В неверном определении предполагаемых действий французов и состояла главная ошибка Суворова. Недаром сам он позже говорил: «Тактики будут ругать меня».

Известно, что такие ошибки искупаются только кровью. Австрийцы двинулись на штурм французских позиций. Согласно диспозиции Суворова основной удар предстояло нанести справа корпусу генерала П. Края. Накануне он получил стихотворный приказ Суворова, начинавшийся словами:

Es lebe Sabel und Bayonett.
Keine garstige Retraite.
Erste Linie durh gestochen,
Andere umgeworffen.

(Да здравствуют сабля и штык.
Никакого мерзкого отступления.
Первую линию уничтожить штыком,
Других опрокинуть.)

Стихи-то были, а вот диспозицию к предстоящему бою историки не нашли до сих пор. Полагают, что ее вообще не существовало. Отчасти это объяснялось тем, что Суворов не знал расположения всех войск Жубера и опасался, что основные силы французов не в Нови, а движутся, чтобы деблокировать Тортону.

В течение грех часов (с 5 до 8 часов утра 4 августа) Край безуспешно атаковал позицию французов, тщетно призывая Багратиона прийти ему на помощь, чтобы отвлечь часть сил неприятеля. Но тот стоял недвижимо до 9 часов утра.

Некоторые историки удивляются тому, как мог Багратион, всегда такой отзывчивый на призывы боевого товарища, равнодушно смотреть на то, как французы уничтожают войска генерала Края. Надо полагать, он имел особый приказ Суворова, нарушить который не смел. Из указаний Суворова Багратиону перед сражением видно: первоначальный расчет строился на том, что Край массой своих сил (27 тысяч человек) собьет левый фланг французов, они спустятся на равнину и побегут в сторону Серравалле. Суворов так писал Краю: «Поручаю вам обратить внимание на левое крыло неприятельское, вы должны ударить как можно стремительнее и стараться прогнать его чрез Нови к Серравалле… чтобы отрезать от Гави остальные войска французские. За этой атакою я буду следовать сам по равнине с войсками, расположенными у Поцоло-Формигаро (а это были отряд Багратиона и стоящий за ним отряд Милорадовича. — Е. А.). Совершенно полагаюсь на моего друга-героя». Н. А. Орлов высказал предположение, что атака Края, численно превосходившего противника, должна была, по замыслу Суворова, стать отчасти рекогносцировочной и демонстративной, с тем чтобы определить, где основные силы французов и намерены ли они прорываться к Тортоне39. К тому же атаки Края вынудили французов перебросить туда все резервы и ослабить свой центр и правый фланг.

И лишь после этого должна была наступить очередь

Багратиона. Не случайно в письме Багратиону 3 августа Суворов настаивал: «…извольте уже оставаться под приятным вам Нови впредь до рассмотрения»40. Последнее можно понимать как знакомое нам выражение: «Ну а там видно будет!»

Французы устояли под натиском Края и даже погнали его с холмов, но в начале австрийской атаки пуля егеря поразила Жубера. Его привезли в Нови, там он и умер. Моро принял на себя командование армией. Край атаковал вновь, но неудачно. Французы тем не менее в долину не спускались, хотя стали чаще обстреливать позиции союзников.

Тем временем Суворов находился не на поле боя, а в тылу, в Поцоло-Формигаро, и, казалось, бездействовал, что для него было в высшей степени странно. Не отвечал он и на получаемые с места сражения депеши. Багратион в 1805 году вспоминал: «Я имел приказание выманить неприятеля из гор на плоскость и тихо оттягивал назад к боевой линии. Французы напирали сильно, и их подчивали мои егеря порядком. Три раза, один за другим, я посылал к Александру Васильевичу своих адъютантов и ординарцев с донесением о ходе сражения и, наконец, послал с просьбою о позволении начать натиск (это подтверждает мысль о директиве Багратиону не вмешиваться до приказа в дело. — Е. А.), но посланные мои не возвращались; неприятель, заняв довольное пространство места, мною ему данного, остановился (французы осторожничали и на равнину не шли. — Е. А.), производил с стрелками моими сильную ружейную и пушечную пальбу. Все это заставило меня ехать к самому Александру Васильевичу, один из посланных мною встретился мне на пути, доносил: “Граф спит, завернувшись в плащ”. Что бы это значило? — подумал я, помилуй Бог, уж жив ли он? — и ускорил бег моей лошади. Впереди корпуса Видима Христофоровича (Дерфельдена. — Е. А.) стоял круг генералов, я к ним, и вижу невдалеке: Дивный лежит, закутавшись в плащ. Лишь в ответ Дерфельдену сказал я одно слово, как Александр Васильевич откинул с себя плащ, вскочил на ноги, сказал: “Помилуй Бог! Заснул, крепко заснул… пора!” А он, по-видимому, не спал, а вслушивался в слова господ генералов и приезжающих с битвы адъютантов и обдумывал о предстоящем деле. Расспросив меня наскоро о ходе сражения и взглянув на позицию неприятеля, он ту ж минуту повелел мне и Милорадовичу вступить в бой»41. Думаю, что прав не Багратион, а Н. А. Орлов: Суворов не «обдумывал о предстоящем деле», а попросту ждал, чтобы убедиться в том, что ббльшая часть войск Жубера здесь. Уверившись в этом, он дал приказ войскам Багратиона (5,7 тысячи человек), Милорадовича (3,7 тысячи) и Дерфельдена (6,1

тысячи) наступать. Такой же приказ был отдан и Краю. Атака колонны Багратиона, развивавшаяся поначалу удачно (он хорошо знал окрестности Нови), захлебнулась у невысокой городской стены. Французы, укрытые складками местности и строениями, расстреливали колонну, не давая ей развернуться. С большими потерями Багратион отступил от Нови, да еще в тот момент подвергся фланговому удару дивизии генерала П. Ж. Ватреня. Вообще, в этой битве французы проявили все свои замечательные качества — стойкость и мужество перед лицом превосходящего противника, умение виртуозно обороняться в городских условиях, а когда натиск усталого противника стихал, наносить контрудары во фланг.

Суворов подбросил в костер битвы новые дрова — войска Дерфельдена. Французы отступили к гребню холмов в окрестностях Нови, но там снова отбили атаку русских и австрийцев. В полдень Суворов приказал войскам отойти на отдых — жара стояла страшная, бой продолжался девять часов. Противники устали, но у французов уже не оставалось резервов, а Суворов располагал резервом (Мелас и Розенберг). М. Ф. Б. Мелас с его девятью тысячами солдат и решил судьбу сражения, ибо Суворов сумел сосредоточить на ударном направлении силы, вдвое превосходящие французов. Около шести часов вечера французы начали поспешно отступать. У местечка Пастурана в их рядах началась паника, в разгоревшемся скоротечном бою были пленены раненые французские генералы — два будущих маршала и пэра Франции Д. Периньон и А. Ф. Э. Груши — тот самый, которого так тщетно будет ждать Наполеон на поле Ватерлоо в 1815 году. В итоге Багратион все-таки ворвался в город, а затем, как отчитывался он Дерфельдену, «с войсками перешли мы сквозь город до самых гор, где, подкрепляя меня, ваше высокопревосходительство приказали ударить на него штыками так быстро, что неприятель, видя свою гибель, бросил свои укрепления и зачал ретироваться»42. Однако ночью вспыхнуло сражение в самом Нови — несколько сот французов спрятались в домах республиканцев и ночью пытались прорваться, но были все уничтожены, а город в наказание подвергся разграблению. Французы потеряли от трети до половины армии, в том числе 6500 убитых и раненых и 4600 пленных, а также почти всю артиллерию. Из союзников больше всех пострадал Край. Из 27 тысяч человек он недосчитался 5200 человек, русские войска потеряли почти 2 тысячи человек43. «Мрак ночи, — цветисто писал Суворов своему государю, — покрыл позор врагов, но слава победы, дарованная Всевышним оружию Твоему, Великий государь, озарится навеки лучезарным немерцаемым светом». В

этой реляции о сражении, посланной в Петербург, Суворов вновь хвалил Багратиона, отмечая его «неустрашимую храбрость», и князь Петр получил алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского.

Громкая победа с восторгом была встречена в Петербурге. Павел написал Суворову: «Вы поставили себя свыше награждения» и пожаловал ему исключительное право, чтобы армия (даже в присутствии государя) отдавала бы ему «все воинские почести, подобно отдаваемым Его императорскому величеству». Но у Павла была про запас еще одна, высшая награда… Войска отошли к Асти — проклятая цитадель близлежащей Тортоны все еще сопротивлялась. Три недели Суворов прожил в Асти, пожиная плоды всеобщего восхищения и позволяя себе расслабляться в свойственной ему экстравагантной манере: паясничал, пел финские народные песни, жестоко шутил над гостями…

Шум, слышный с гор

Победа союзников была полной, но неприятеля не преследовали, хотя Моро уже намеревался эвакуировать свои силы в Ниццу, чтобы не быть запертым в Генуэзской Ривьере. Суворов за разбитыми французами не пошел. Хотя в памятном для советской истории Рапалло к побережью вышел крупный отряд австрийцев, но он был отозван в Тоскану. В том, что союзники не преследовали Моро и не добили его войска, сказались и отсутствие провианта, и общая усталость войск, и острый конфликт Суворова с венским гофкригсратом, приведший к тому, что австрийские генералы, получая приказы прямо из Вены, фактически не подчинялись Суворову.

Но больше всего на положение русских в Италии повлияли известия о победах французской армии генерала (позже маршала) А. Массены над австрийцами в Швейцарии. При удачном обороте дел в Швейцарии Массена реально угрожал Милану и австрийским владениям. Поэтому в Вене сочли, что мавр свое дело в Апеннинах сделал и пора перебросить его на новый фронт — в Альпы. Суворов явно не хотел покидать Италию, он тщетно предлагал продолжить операции по занятию Ривьеры, напирал на то, что без взятия союзниками блокированных крепостей нельзя спать спокойно, и вообще «с потерею Италии нет возможности завоевать Швейцарию». Он писал, что сами русские войска действовать не могут — всеми необходимыми запасами их снабжают австрийцы. Но император Франц был неумолим — собирайтесь и ступайте в Швейцарию, туда, к Цюриху, подходит

из России корпус генерала А. М. Римского-Корсакова. При этом почти одновременно австрийцы (эрцгерцог Карл) начали эвакуацию своих войск из Швейцарии, перебрасывая их в Германию. Суворов писал 19 августа английскому представителю союзников В. Викгаму: «Я настолько удивлен намерением эрцгерцога Карла, о котором вы мне только что сообщили, — немедленно отвести императорско-королевскую армию вплоть до Швабии из Швейцарии, наводненной в настоящий момент неприятелем, с целью возложить всю оборону ее на малочисленные войска Корсакова…» В донесении Францу Суворов настаивал на сохранении австрийских войск в Швейцарии. Но сказано об этом было весьма обидно для Вены: «Не могу не заметить… что пока я, вступив в Швейцарию, не выброшу оттуда полностью неприятеля, который намерен совершить нападение на нас, нечего и думать о выводе императорско-королевских войск из Швейцарии, тем более что, согласно вашему распоряжению эрцгерцогу Карлу, также только тогда следует покинуть Швейцарию, когда будут полностью отражен неприятель и восстановлены позиции объединенной армии». Далее он писал, что отзыв корпуса генерала Готце (из армии эрцгерцога Карла) должен произойти не раньше, чем в Швейцарию придет подкрепление — баварские войска и швейцарские добровольцы: «Только это сможет обеспечить российской императорской армии ту самостоятельность, которая совершенно необходима ей для дальнейших операций»44. Это голос не просителя, а уверенного в себе воина. А проблема была серьезной: Суворов вел 21 тысячу человек, у Римского-Корсакова было 24 тысячи, принц Конде должен был привести 5 тысяч, итого — 50 тысяч. У австрийского генерала Готце было 22 тысячи штыков, но по приходе Суворова он, как и было предусмотрено в Вене, уходил в Германию. Оставшимся войскам противостояла отличная армия генерала Массены (более 84 тысяч человек). То, что французы умеют воевать, Суворов уже понял на полях Италии.

Таким образом, оказалось, что осенью в горах интересы Австрийской империи должны были защищать от французов русские с помощью незначительных сил швейцарцев и баварцев. Да и интересы эти были не совсем понятны русскому правительству. Не раз и не два австрийцы пытались договориться с Францией, так что особенно доверять им не следовало. Император Павел во всем верил Суворову, видел происходящее его глазами и одобрял все его действия — в конце концов, именно Суворов добивался блистательных побед! В одном из писем государь писал: «Верьте, что я знаю цену вам». В секретном

рескрипте от 31 июля Павел рекомендовал соблюдать предосторожности, не доверять австрийцам и если вдруг станет известно о сепаратных переговорах союзников с французами, немедленно соединить все русские войска и двигаться в Швейцарию.

«Мужайтесь, князь Александр Васильевич!»

В начале Швейцарского похода царь послал Суворову рескрипт, дающий фельдмаршалу огромные полномочия: Суворов мог либо оставаться в Швейцарии и продолжать войну, либо возвратиться домой. Император тепло завершал свой указ: «Мужайтесь, князь Александр Васильевич, и идите на труды, аки на победы, живите с Ботом и со славою». Одновременно Вена была уведомлена, что отныне Суворов действует независимо от австрийского командования. В рескрипте Павла было с упреком сказано союзнику: «Весьма желаю, чтобы император Римский один торжествовал над своими врагами или чтобы он снова убедился в той истине, сколь простой и осьмилетним опытом доказанной, что для низложения врага, бывшего уже раз у самых ворот Вены, необходимы между союзниками единодушие, правдивость и в особенности искренность». Ростопчин передал волю императора Суворову: «Государю угодно было бы, чтобы вы, по выходе из Италии, попросили абшида (отставки. — Е. А.) от римского императора; зачем вам носить мундир столь несправедливого против вас государя»45 Но совершенно разорвать с австрийцами Суворов не мог — все обеспечение припасами и продовольствием он получал от союзников, да и честолюбие не позволяло ему просто двинуться через Швейцарию домой — он шел в Швейцарию воевать и для этого составил план общего наступления на французов: «Около 100 000 австрийцев и русских должны наискорейшим образом покончить со всей Швейцарией, чтобы сообща проложить твердую дорогу для задушения гидры (революции. — Е. Л.)»46.

Суворов составил общий план действий — по-суворовски смелый и решительный. Фельдмаршал намеревался двигаться через труднодоступный перевал Сен-Готард с тем, чтобы кратчайшим путем через горы спуститься в долину реки Рейссы, соединиться с корпусом австрийского генерала Ауффенберга, затем вместе двинуться через горный район Швиц и выйти в тыл расположения армии Массены у Цюриха, которую с фронта будут сдерживать (а лучше побеждать) корпуса Римского-Корсакова и Готце. Другой корпус австрийского фельдмаршала-лейтенанта

Линкена свяжет руки отдельным корпусам французов, действовавшим в этом районе. Так, общими усилиями, Массена изгонялся из Швейцарии. План этот казался реалистичным и выполнимым при хорошей организации и согласованности действий всех названных выше корпусов. Но, увы! В этом-то и была слабость диспозиции Суворова…

«Завтре выступаю в поход»

Этими словами кончалось донесение Суворова Павлу из Асти от 27 августа 1799 года. Тогда же Суворов известил Римского-Корсакова, что идет на соединение с ним через перевал Сен-Бернар и что нужно готовить войска к военным действиям и упражняться «чаще в действии холодным оружием, то есть штыками и саблями в три линии». Он сдал командование Меласу, потом задержался на время сдачи Тортоны, которая, наконец, капитулировала. В те же дни Суворов написал истинно джентльменское обращение к австрийской армии — своим боевым товарищам, с благодарностью «за усердие и деятельность (генералов)… за примерную храбрость пред неприятелем (офицеров)… за неизменное мужество, храбрость и непоколебимость, с которым одержали они под начальством моим столько незабвенных побед (солдат)… Никогда не забуду храбрых австрийцев, которые почтили меня своею доверенностию и любовью, воинов победоносных, соделавших и меня победителем. СУВОРОВ». Блестящий пример благородства, великодушия и чести! Действительно, заслуга австрийцев в разгроме французов огромна. Они так же отважно, как и русские, шли в огонь, а без их регулярной кавалерии (у русских были только казаки) победы были бы невозможны. Даже после неудачного Швейцарского похода Суворов не изменил своего мнения: «На австрийские войска я не имею причины жаловаться». Да и то: бывшие с русскими (хотя и незначительные) австрийские отряды сражались отменно. Одно дело — политики с их нечистой игрой и мытьем грязных рук в грязной воде, а другое — воины-профессионалы с их честью, достоинством, чувством боевого братства.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Армия выступила из Алессандрии двумя колоннами 28 августа и двинулась к видневшимся на востоке горам. Как вспоминал участник похода, «вдали рисовались оне, как громоносные тучи, чем ближе подходили мы к ним, тем яснее нам оне обозначались, а на третьем переходе мы в них врезались. Горная дорога чем далее,

тем более становилась затруднительною и наконец обратилась в широкую тропу: близм. Белинсоны (Ъеллинцона. — Е. А.) горы пред нами стали кругом во всем своем величии. Это была громадная, непрерываемая цепь гор, хребет которых уходил в небеса. Нам падало на ум, что, переходя их, мы должны будем биться с врагом сильным, знакомым с местностями, терпеть голод и переносить все трудности пути по горным, козьим тропам, сносить холод и чичер (холодный ветер с дождем. — Е. А.), переходить вброд быстротоки, лезть на скалы, горы, по местам, не видавшим на себе ноги швейцара-охотника, и спускаться вниз кубарем или на родимых салазках (то есть на заду. — Е. А.) и тогда же бить сильного врага, вязнуть в грязи или в снегу и быть под дождем, ливнем, сеянцем… Так эти горы нам предсказывали. И правду сказать, сердце-вещун не обмануло нас… Чем дальше шли мы от Александрии к Швейцарии, тем более климат изменялся: делалось суровее, пасмурнее, холоднее, слишком часто мочил нас, и крепко мочил, дождичек, с пронзительным холодным ветром. С переменою климата и жители проходимых нами мест изменялись: города, местечки и селения постройкою были хуже италианских, но люди в движениях своих были проворнее италианцев, крупнее ростом и благообразнее в лице — так мне казалось…». Грозный вид гор пуга/, а ежечасно менявшиеся горные пейзажи завораживали. Много лет спустя, в 1809 году, Багратион, рапортуя о победе при Рассевате на Дунае, неожиданно изменит сухому стилю военного рапорта и напишет: «Пространство земли от самого местечка Черновод до местечка Рассеват представляет картину приятнейшую оку человеческому, уподобляющуюся восхительным видам Швейцарии, но вместе с тем на каждом шагу рождающую, так сказать, непреоборимые препоны, препятствующие проходу войск…»" И война в этих условиях была иной, чем на равнине. Горная война — вообще особый вид военных действий со своими законами, а для тогдашних армий, привыкших к линейной тактике, война в горах доставляпа особую трудность. Лучше всех в горах действовали егеря, привыкшие к рассыпному строю, да вездесущие казаки. Перед вступлением в горы, 9 сентября 1799 года, Суворов издал особые правила движения колонн и ведения военных действий в горах. В них подробно объяснялось, как следует двигаться по горным тропам, чтобы не создавать затруднений идущим следом. Ранее Суворову не приходилось воевать в горах, но его наставления тонко учитывали специфику местности: «Для овладения горою, неприятелем занимаемою, должно соразмерно ширине оной, взводом ли, ротою, или и более рассыпясь, лезть на вершину, прочие же баталионы во сте шагов следуют (то есть вне

зоны огня. — Е. А.), а в кривизнах гор, где неприятельские выстрелы не вредны, можно отдохнуть, и потом снова идти вперед. Единою только твердою и непоколебимою подпорою колонны можно придать мужества и храбрости порознь рассеянным стрелкам, которые ежели бы по сильному неприятельскому отпору и не в состоянии были далее идти, но должна колонна, не сделав ни одного выстрела, с великим стремлением достигнуть вершины горы и штыками на неприятеля ударить… Одною стрельбою никаким возвышением овладеть не можно, ибо стоящий на оной неприятель весьма мало вредим. Выстрелы большею частию на вышину не доходят или перелетают через, напротив же того с вышины вниз стрельба гораздо цельнее, и для того стараться как наискорее достигнуть вершины, дабы не находиться долго под выстрелами и тем бы менее быть вредиму. Само по себе разумеется, что не нужно на гору фронтом взходить, когда боковыми сторонами оную обойти можно. Если неприятель умедлит овладеть возвышением гор, то должно на оные поспешно взлезть и на неприятеля сверху штыками и выстрелами действовать»48. И все равно, русским солдатам было много труднее воевать в горах, чем французам, уже имевшим к этому времени опыт военных действий в Альпах и даже снаряженным специальной обувью. К тому же русской армии большую часть времени приходилось наступать снизу вверх, на позиции противника, занимавшего перевалы и дефиле. Трудны были и вообще условия существования в горах, на непривычных высотах, с изменчивой погодой, неустойчивым климатом. Капитан Грязев писал, что во время боя «иногда действие прерываемо было бродившими облаками, на нас спускавшимися или проходившими над нашими головами и скрывавшими от нас своею непроницаемостью врагов наших, равным образом и серный дым, от стрельбы происходивший, спираясь в густоте поднебесного воздуха, темнил его и разделял нас друг от друга». Испытания в горах даже привычным к войне людям казались необычными. Грязев пишет, что после взятия Сен-Готарда и спуска в долину солдаты и офицеры рухнули как подкошенные на первом же пологом склоне альпийского луга: «Такое необыкновенное напряжение, которое в жару самого действия казалось неприметным и обыкновенным, столь ослабило нас, что мы вне себя бросились на землю и не скоро могли опомниться, что происходило и что происходит с нами. Мы не могли без сердечного содрогания вспомнить, какие опасности, какие ужасы и сколько смертей протекли мы на сем страшном пути, устланном трупами и обагренном кровию наших соотечественников и нечестивых врагов»49. Но человек привыкает

ко всему, и постепенно суворовские солдаты освоились и с войной в горах…

Четвертого сентября войска Суворова, делая в день по 60–70 верст, прибыли в Таверно, что под Лугано. Тут выяснилось, что австрийцы поставили русской армии из 1430 обещанных мулов только 650. Мулы были необходимы для перевозки провианта (непривычных русскому солдату белых, пшеничных сухарей), а также боеприпасов. Войска встали на бивак и простояли на месте четыре дня. Солдаты привели себя в порядок, отдохнули. Может быть, впервые за всю кампанию они шли налегке — ни громоздких обозов, ни верховых лошадей, ни борзых собак, ни офицерских и солдатских жен, тащившихся по дорогам следом, — впереди были горы. Мулов так и не было. Суворов иронизировал: «Нет лошаков, нет лошадей, есть Тугут, и горы, и пропасти». По совету великого князя Константина Павловича Суворов приказал спешить 1500 казаков и на их лошадей привязать вьюки. По своему обычаю Суворов внимательно наблюдал за армией. У него была странная для генералов привычка. Он незаметно отрывался от колонны, уезжал вперед, ложился в винограднике и долго смотрел на проходящие войска, а потом внезапно выезжал на дорогу и заводил разговоры с солдатами: «Вот там (указывая на северную сторону, на горы) безбожники-французы, их мы будем бить по-русски… Горы велики, есть пропасти, есть водотоки, а мы их перейдем-перелетим, мы — русские! Бог нами водит. Лезши в горы, одне стрелки стреляй по головам врага — стреляй редко, да метко! А прочие шибко лезь в россыпь. Взлезли — бей-коли-гони — не давай отдыху! Просящим — пощада — грех напрасно убивать. Везде фронт! Помилуй Бог, мы — русские! Богу молимся — он нам и помощник; царю служим — он на нас и надеется и нас любит, и нас наградит он словом ласковым, чудо-богатыри! Чада Павловы! Кого из нас убьют — Царство небесное! Церковь Бога молит. Останемся живы — нам честь, нам слава, слава, слава!»5"

Как уже сказано, из многих путей среди гор Суворов выбрал путь через Беллинцону и Сен-Готард, чтобы долиной реки Рейсы выйти к Люпернскому озеру, соединиться с австрийцами и Корсаковым и ударить по Массене.

Если мы терпим неудачи — то исключительно из-за шпионов и изменников. Есть точка зрения, что путь этот предложили австрийцы, точнее — находившийся при штабе Суворова подполковник Вейротер. О, этот Франц Вейротер — истинное наказание русской армии! Мало того, что он в 1799 году устроил армии Суворова смертельные испытания, он же в 1805 году разработал диспозицию сражения при Аустерлице. В современной

литературе (в отличие от русской дореволюционной) высказано суждение о том, что Вейротер был «прямым пособником врага», то есть, грубо говоря, почти погубил русскую армию, подобно тому, как Сусанин погубил отряд поляков. В. С. Лопатин пишет, что Вейротер «украсил» свой послужной список рядом военных катастроф: «1796 г. — армия Вурмзера разгромлена Бонапартом в Северной Италии (Вейротер занимал должность генерал-квартирмейстера штаба Вурмзера, следовательно, отвечал за планирование операций); 1800 г. — план наступления эрцгерцога Иоганна, разработанный его начальником штаба полковником Вейротером, привел к разгрому австрийцев при Гогенлиндене; 1805 г. — сложное маневрирование русско-австрийской армии под Аустерлицем закончилось катастрофой. План этого движения был навязан главнокомандующему Кутузову при посредстве Александра I, находившегося при армии. Автором плана был генерал-майор Вейротер. Все эти катастрофы невозможно объяснить педантизмом кабинетного стратега, не понимавшего сути военного искусства. Беспристрастный исследователь вправе поставить вопрос о прямом пособничестве Вейротера врагу». С мертвыми историку легче всего бороться — возразить и оправдаться они уже не могут, тем более что доказанных фактов пособничества Вейротера французам не приводится, а для убедительности читателя отсылают к аналогии: «В этом нет ничего неправдоподобного, если вспомнить, что начальником разведки и самым доверенным лицом в штабе генерала Макка накануне катастрофы при Ульме был И. Шульмейстер, выдающийся французский разведчик, прозванный “императором шпионов”». Небольшая деталь дополняет общую картину: «именно Вейротер вел переговоры о поставке мулов в Таверно»51. После всего этого нужно удивляться, почему Вейротер не был по достоинству награжден французами за свои заслуги, и автором всех этих побед был объявлен не он, а Наполеон.

Одновременно отметим, что, кроме Вейротера, при штабе Суворова было еще восемь австрийских штабных офицеров и никто из них (как и Суворов) не обвини, а Вейротера в пособничестве врагу — неужели все они были людьми без чести и совести? Известно также, что из трех путей через Альпы тот, что выбрал Суворов, был самым удобным в стратегическом смысле. Сам Суворов в Беминцоне составил записку о преимуществах избранного направления, позволявшего с успехом неожиданно ударить по тылам французов, растянувших свои войска на большом пространстве гористой местности. Разобрав все возможные варианты, и прежде всего — учтя расположение противника, Суворов резюмировал: «Единственное средство —

атаковать С.-Готард со стороны Белинцоны. Одною этою атакою уже достигаем мы того, что при изъясненном первом предложении не прежде могли бы достигнуть, как на 6-й день, и то не иначе, как с помощью особого отряда, направленного со стороны Белинцоны. И так бесспорно, всего для нас выгоднее будет немедленно же воспользоваться путем из Белинцоны, на котором мы уже и находимся»".

Вся армия была разделена на два корпуса. В корпусе генерала В. Х. Дерфельдена было около десяти тысяч человек. В авангарде корпуса и всей армии шел, как нетрудно догадаться, генерал-майор князь Багратион со своим Егерским полком (506 человек, 2 орудия) и еще пятью полками (2500 человек, 5 орудий горной артиллерии). Это, в сущности, была дивизия. За Багратионом следовала дивизия генерал-лейтенанта Я. И. Повало-Швейковского (4400 человек и 6 орудий), затем — дивизия генерал-лейтенанта И. И. Ферстера (3100 человек при 5 орудиях). Вторым корпусом командовал генерал от инфантерии А. Г. Розенберг (около 6 тысяч человек при 9 орудиях). Итого, при выступлении армии в ней было 16 тысяч человек пехоты и 25 орудий. С казаками, артиллеристами и инженерным корпусом армия Суворова насчитывала около 21 тысячи человек53.

Переходы были длинные и очень трудные — крутые подъемы и спуски, узкие и скользкие тропы, переправы вброд через ледяные ручьи и реки. Было холодно, шел непрерывный дождь, на биваках не хватало дров. Сам Суворов позже, в реляции Павлу 1 от 3 октября, красочно описывал, как его войско «преходило чрез цепи страшных гор. На каждом шаге в сем царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые и поглотить готовые гробы смерти. Дремучие, мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, лиющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, с каменьями с вершин низвергавшихся, увеличивали сей трепет»54.

Наконец 13 сентября в тумане и облаках показался Сен-Готард, сей, как писал Суворов, «величающийся колосс гор, ниже хребтов которого громоносные тучи и облака плавают». Дорогу через перевал охраняли две французские бригады генерала Гюдена. В горах, где один стрелок может задержать на тропе целую дивизию, солдат у Гюдена для обороны дороги было достаточно, особенно со стороны Италии. Но Суворов хорошо подготовился к сражению. Он сразу же послал в обход французских позиций авангард Багратиона, а войска генерала Дерфельдена пошли в лобовую атаку. Она удалась — французы покинули одну свою позицию и перешли выше, на другую, — так всегда обороняются в горах. Так продолжалось не раз, пока

обороняющиеся не добрались до перевала, где они были как на крепостных стенах и легко били атакующих из-за скал. Захлебнувшаяся в крови русская пехота отступила…

Багратион тем временем совершал обходное движение или, попросту говоря, карабкался (поминая свой кавказский опыт) с солдатами в гору без всяких троп, по глубокому снегу. Зайдя в тыл французам, колонна Багратиона бросилась в атаку и выбила противника с позиций — французы попали в клещи, ибо как раз в момент появления в тылу Багратиона началась очередная фронтальная атака дивизии Дерфельдена. В формулярном списке Багратиона этот героический обход описан скупо: «13-го, у преследования неприятеля в сражении с авангардом на горе Сенготарде». Гора эта, точнее — перевал Сен-Готард, была взята, хотя наши потери были большими — до двух тысяч человек. Любопытно, что один из участников писал: солдаты заметили, что французы прыгают со скалы на скалу, как горные козы, и не срываются. Только потом стала ясна причина такой устойчивости вражеских солдат — под подошвы башмаков они привязывали ремнями своеобразные сандалии с железными шипами.

Начался спуск с горы, сопровождавшийся боями, — французы упорно сопротивлялись, переходя с одной позиции на другую. В глубине долины, у деревни Узерн, французы построились в боевой порядок и поджидали русские войска под командованием генерала М. В. Ребиндера. Вскоре местность накрыл туман. Участник сражения вспоминал: «Ребиндер отдал приказание спускаться с гор со всевозможною тишиною, а спустившись, строиться в мгновение. Сабанеев (майор. — Е. А.) с егерями и охотниками двинулся вперед, а за ним и вся линия войск. Быстро снеслись мы с этой ужасно-высокой и крутой горы — кто как мог: ползли, лезли, катились. По окраине ее тихо мы устроились так, что неприятель — по густоте тумана — нас не заметил, по приказу сделали в неприятельские колонны залп из ружей и, добравшись, приняли врага по-русски. Он встретил нас стойко, бодро, но натиском целого корпуса в штыки был смят и опрокинут»55. Трофеями стали пушки, а главное — мука, которую делили горстями на каждого.

Чрез мост, называемый Тейфельсбрюк, и дальше в горы

Отступавшие французы, которыми командовал отважный дивизионный генерал Клод Жак Лекуб, не растерялись. Подобно колонне Багратиона, отряд Лекуба ночью, в тумане, с невероятным трудом пробрался через хребет Бетцберг, спустился

в долину и у деревни Гешенен и туннеля Урнер-Лох вновь встал на пути Суворова. Урнер-Лох и Чертов мост, находившийся поблизости от туннеля, отныне, с 14 сентября, вошли в русскую историю, стали неким символом особой всепроходимости русского солдата, его терпения и мужества (если, конечно, отбросить мысль о том, что же, собственно, делали там, в неимоверной дали от родины, русские воины). От Госпиталя — приюта и деревушки вокруг него, где ночевали войска, дорога шла вдоль реки Рейс, которая в этом месте, сжатая скалами, поднимая вверх водяную пыль, пенится и ревет так, что человек на дороге не слышит собственной речи. Дорога потом упиралась в скалу, в которой и был пробит 80-метровый узкий (четыре шага в ширину) туннель Урнер-Лох. Нырнув в трубу, дорога проходила по узкому карнизу в отвесной скале и затем, после резкого поворота, выходила к Чертову мосту, который был «центром этой дикой, величественной картины». Он висел над бурной рекой на двадцатиметровой высоте. После моста следовал новый крутой поворот, и дорога скрывалась за скалой.

Французов в этом месте неприступной обороны было немного, да дивизия тут и не требовалась: как только русские войска начали втягиваться в туннель, стоявшее перед ним орудие стало стрелять картечью. Лезть в этот ад было невозможно. Но, как известно, горные позиции сильны до тех пор, пока противник поднимается к ним по той тропе или дороге, которую эта позиция перекрывает. Как только противник начинает фланговый охват, находит другую дорогу, заходит в тыл обороняющимся, преимущество ее тотчас исчезает. Так было и здесь. Отряд егерей спустился ниже по течению Рейса, форсировал его, а потом по почти отвесной скале поднялся на «превысокую гору» над выходом из туннеля, откуда обороняющиеся были видны как на ладони. Увидав фланговый охват, французы отступили к мосту и довольно неумело стали его разрушать. Им удалось обрушить только одну арку, тогда как мощная центральная часть оказалась нетронутой. Тем временем через туннель прорвались егеря и начали колоть обороняющихся, а потом, разобрав какой-то сарай, срочно восстановили разрушенную часть моста, причем доски и бревна связывали шелковыми офицерскими шарфами — веревок под рукой не оказалось. Началось преследование, и тут ярко проявил себя будущий соперник Багратиона, генерал-майор Н. Каменский. Важно прибавить, что дорога еще четыре раза пересекала Рейс, и приходилось штурмовать еще четыре моста, правда, не носившие такого страшного названия. Тейфельсбрюк — Чертов мост — так назван он в формулярном списке Багратиона и реляции Суворова о походе.

Капитан Грязев ярко описал свои ощущения от перехода через туннель к Чертову мосту: «Здесь предстала глазам нашим одна перпендикулярно стоящая, подобно стене, каменная гора, в средине которой находилось узкое, самою природою устроенное отверстие, называемое Тейфельслох (Чертова дыра), ведущее к Тейфельсбрике и продолжающееся во внутренности горы около ста сажен. В нем царствовала вечная ночь, и мы, схватив друг друга за руки, проходили под сводом сей громады, которая, подавляя сама себя своею тяжестью, испускала на нас водяные потоки, и таким образом пройдя сие отверстие или, лучше сказать, ущелие, приближались мы к началу Чертова моста. Кажется, всякое выражение будет недостаточно, дабы в точности представить все ужасы, сие место окружающие, которые мы проходить должны были. Это есть не иное что, как страшный проход, вводящий во внутрь Швейцарии между огромных, крутых каменных гор или, лучше сказать, натуральных стен, идущих по обеим сторонам пути на расстоянии 6 сажен поперечника между собою, полагая в том числе и реку Рус (Рейсе. — Е. А.), здесь протекающую, которая, занимая с одной стороны половину прохода, с бурным стремлением и шумом катится междугорием и по каменному дну, где, встречаясь местно со скалами, на поверхность воды выходящими, ударяется об них с плеском и пенистою волною опять обтекает их; с другой стороны сей реки, вниз по ее течению, идет вымощенная дорога наподобие моста, которая, сообразно примыкающей к ней горной стране, имеет различные широты, высоты и направления. Поверхность сей реки равняется иногда с поверхностию сей дорожки, а иногда сажен пятьдесят и менее упадает вниз от оной; в таком-то месте дорога поддерживается каменными сводами, инде самою природою образованными, а инде искусством утвержденными. Идучи таким образом по излучистой и неровной дороге, продолжающейся узким междугорием, шаг твой непременно должен остановиться при воззрении на две каменные скалы разделявшихся между собою гор над рекою, где видна одна только бездонная пропасть крутящейся между камней воды. С одной скалы на другую сделан был деревянный мост, который французы, ретируясь, разломали и сожгли, но, к счастию, не совсем»56. Это и был Чертов мост.

Достигнув 15 сентября Альтдорфа, Суворов, по воспоминаниям очевидца, произнес перед местными жителями речь на ломаном немецком языке, в которой «объявил себя спасителем и избавителем, пришедшим для того, чтобы освободить мир от неверных и от тирании. Он требовал, чтобы духовные и светские лица склонили народ подняться массами и двинуться с ним для освобождения Цюриха, на что (ландманн)

Шмидт ответил осторожным молчанием»57. Да это и понятно. В истории войн с Францией идея освобождения Европы от революционной заразы, а потом и от Наполеона, была главным идеологическим постулатом, высокой, возвышенной целью, ради которой, жертвуя сотнями тысяч своих солдат, Россия годами воевала в Европе. Другое дело — нужна ли была эта жертва ландманну Шмидту, его поселянам и им подобным? К тому же в тот самый час, как Суворов призывал швейцарцев двинуться на Цюрих, по его улицам, теряя воинское имущество и пушки, в панике бежали остатки войск Римского-Корсакова. Суворов об этом еще не знал…

Между тем в Альтдорфе Суворов и вся его армия оказались в ловушке. Перед ними виднелся уходящий круто вверх гранитный «лоб» — стена, непроходимая вертикаль, и поэтому за селением Альтдорф Сен-Готардская дорога заканчивалась. Дальше можно было двигаться только по реке, которая впадала в Люцернское озеро, но никаких судов тут не было и быть не могло — французы, отступая, ушли на них и полностью контролировали озеро с помощью своей флотилии. В тот момент, когда русские войска спустились к Альтдорфу, они проявили пассивность (понятную из-за трудности пути) и не направили силы к Флюэлену, где имелась пристань. А там скопилось множество французских судов с разными припасами, которые не могли сразу отойти от берега из-за противного ветра. Их можно было легко захватить, но сделано этого не было.

Суворов еще в Асти был убежден, что дорога вдоль Люцернекого озера в Швин существует, и писал об этом Готце, Линкену и Римскому-Корсакову. Вот в этой ситуации, в отличие от выбора пути к Сен-Готарду, к австрийским союзникам, в первую очередь — к генералам Готце и Линкену, есть серьезные вопросы. Они постоянно получали сообщения от Суворова, знали маршрут его движения. Как пишет швейцарский военный историк Рединг-Бибирегг, возможно, они думали, что из Альтдорфа Суворов двинется на Люцерн обходной дорогой через Сюренен и Зеелисберг. Но это не меняет дела — хорошо зная местность, они, получив план движения армии Суворова, не предупредили его, что посуху из Альтдорфа в Швиц вокруг Люцернского озера пройти невозможно! Рединг-Бибирегг приходит к выводу: «Получается впечатление, как будто бы в Главной квартире Суворова уже с самого начала не отдавали себе ясного отчета о путях, по которым можно было двигаться из Альтдорфа, и что, с другой стороны, Готце и Линкен умышленно оставили Суворова в неизвестности»58. Если здесь не было прямой измены союзническому долгу, то имелось явное намерение затруднить

путь Суворова, поставить его в тяжелое и от этого — в зависимое от австрийского командования положение. Словом, это была, выражаясь современным языком, «подстава». Вызывает удивление и то, что молчали также получавшие планы и маршрут Суворова Корсаков и его генерал-квартирмейстер М. С. Вистицкий, которые были обязаны тщательно прорабатывать над картой варианты соединения и совместных действий с армией Суворова.

В этой ситуации Суворов решился на отчаянный шаг — из Альтдорфа двигаться к Швицу через Росштокский хребет по горной (как тогда говорили — козьей) тропе, проходившей на высоте в две тысячи метров над уровнем моря и 1500–1600 метров над уровнем долин. Многим этот выбор казался безумием: по тропе можно было пройти только гуськом, поодиночке, по уступам скал, размытым дождем глиняным откосам, оледенелым ступеням. Утром 16 сентября войска двинулись вперед. В авангарде шел Багратион. Тут уместно привести слова историка и профессионального военного, фельдмаршала Д. А. Милютина: «Положение Суворова при Альтдорфе принадлежит к числу тех именно критических случаев, в которых истинный гений полководца проявляется в полном своем блеске. В подобные минуты испытывается его сила душевная, обрисовывается характер и выражается весь дух его военной системы. Семидесятилетний старик, истерзанный огорчениями, утомленный тяжкою борьбою против козней и происков, выносит еще с изумительною силой необычайные труды телесные, терпит всякого рода лишения и в обстоятельствах самых затруднительных сохраняет исполинскую силу духа. Действительно, нужна была воля железная, чтобы решиться из Альтдорфа идти к Швицу, нужна была при том неограниченная уверенность в свои войска, чтобы избрать подобный путь»4.

Холод, туман, ветер, снег и дождь — обычные для гор явления — ждали армию Суворова на этом пути длиной в 15–16 верст. Каждый шаг давался с трудом и без того уставшим, голодным, замерзающим под дождем и ветром людям в сносившейся обуви и рваном обмундировании. Несчастные лошади со сбитыми копытами, потерявшие подковы, скользили, спотыкались, срывались с тропы и падали в пропасть, увлекая за собой людей. На биваках не было возможности развести костер и обогреться — не было дров. Но войска шли без ропота, тем более что сами командиры показывали пример терпения и мужества. Всю дорогу шел пешком в отряде Багратиона великий князь Константин. Суворов, которого в должности адъютанта сопровождал сын Аркадий, то ехал на своей казачьей лошадке, то шел пешком. Он был всегда на виду у солдат, и это придавало им

мужества. На одном биваке он подъехал к сидевшим сумрачным солдатам и затянул песню: «Что с девушкой сделалось, что с красной случилось». Раздался хохот, люди повеселели. Спуск вниз, в долину Муттен, как всегда бывает в горах, оказался еще труднее подъема. Как бы то ни было, за 12 часов голова авангарда достигла долины и приблизилась к деревне Муттенталь. В это время арьергард Розенберга отбивался от наседавших французов генерала Лекуба, прикрывая двинувшийся по тропе вьючный обоз, а основная масса войск тянулась через горы. Спускавшиеся с гор тотчас валились на землю, не в силах разжечь костер. «Мы проводим жизнь свою, — записал Грязев, — под кровом необозримого неба, на сырой, голой земле, на пронзительном холоду, не имея иногда на себе ни одной сухой нитки, муравьиная кочка служит нам изголовьем, и мы не чувствуем ничего, ни даже мщения сих насекомых за нарушение их спокойствия: вот как сладостен после трудов сон наш!»

В Муттентале располагался французский пикет, и Багратион, как записано в рапорте Суворова, «с частию своих егерей полка имени его спустился с горы прямо в средину и, приближась к неприятелю так, что он за лесами и скалами того не мог приметить, приказал стремительно со всех сторон на него ударить, приведя тем неприятеля в замешательство, который бросился было бежать, но, не обретая нигде спасения, принужден был отдаться в руки победителям со всем своим оружием. При оном взято в плен 87 человек с офицером, поколото до 50 и ранено 7 человек»"11. Те же данные упомянуты и в формулярном списке Багратиона. Деревня была занята, но разведка доносила — со всех сторон французы. Поняв маневр Суворова, противник усилил группировку в Швице, поджидая подхода русских. Если в Альтдорфе еще были какие-то продовольственные запасы, оставшиеся от французов, то в Муттентале не было почти ничего, вьюки же с провиантом не помогли — сухари сгнили и рассыпались в труху. Для Багратионова авангарда Константин Павлович купил у местного жителя за 40 червонцев две грядки картофеля. Солдаты ели коренья, варили кожу ремней. И тут было получено ошеломляющее известие о разгроме французами корпусов австрийцев и русских при Цюрихе. Приближалась катастрофа…

Бедный Корсаков. Корпус 47-летнего генерал-лейтенанта Александра Михайловича Римского-Корсакова численностью 10 тысяч человек предназначался для действий в помощь австрийцам в Швейцарии. Затем, с изменением союзнических планов войны, когда после освобождения Италии от французов для Австрии стали главными германский и швейцарский театры

военных действий, он должен был (с подходом армии Суворова) заменить основные силы австрийской армии эрцгерцога Карла Людовига Иоганна. Брат императора Франца с войсками из Швейцарии переходил в Германию, чтобы бороться с наступлением французов. До прихода Суворова корпус Корсакова должен был действовать совместно с корпусом австрийского фельдмаршал-лейтенанта Фридриха Готце.

На территории Швейцарии (исключая присоединенную к Франции Женеву и ее кантон) существовала марионеточная Гельветическая республика. Здесь с марта 1799 года против союзников действовала так называемая Дунайская армия под командованием дивизионного генерала Андре Массены, носившего гордое прозвище «Дитя побед», хотя к описываемым временам ему шел уже 42-й год. Сын виноторговца, он стал впоследствии маршалом Франции, а до этого был одним из талантливейших генералов Директории. Именно благодаря ему были одержаны победы в Швейцарии, что и привело его к встрече с Суворовым.

Как считает упомянутый выше Реддинг-Бибирегг, Массена, имевший численный перевес и перехвативший инициативу у инертного Корсакова, ничего не знал о планах Суворова. Он намеревался разбить Корсакова и Готце еще до подхода армии Суворова из Италии и наметил ударить по ним 13 сентября, в то время как Суворов предполагал ударить по армии Массены и по Цюриху 15 или 16 сентября61. Но вышло так, что Массена, узнав о приближении армии Суворова, решил упредить соединение его с Корсаковым и Готце. Для этого он нанес внезапный удар по корпусам Корсакова и Готце и в двухдневном сражении под Цюрихом на реке Лимате 14 и 15 сентября разгромил их. Из русского 15-тысячного корпуса удалось спастись, по одним сведениям, не более двум тысячам человек, по другим — четырем тысячам62, остальные были убиты, ранены или попали в плен. Вообще, Римский-Корсаков был боевым, храбрым генералом; он отличился в Русско-турецкой войне, но в Швейцарии показал свою полную неспособность самостоятельно командовать крупным соединением, проявил беспечность, стратегическую беспомощность, неумение вести за собой людей, а в ходе сражения и вовсе утратил нити управления, не пресек неразбериху и начавшуюся панику в войсках. Лишь мужество и стойкость отдельных полков позволили не довести дело до капитуляции и переправить остатки корпуса за Рейн. Но все равно, сражение при Цюрихе закончилось для русского корпуса катастрофой: кроме огромных потерь в живой силе, пленения трех генералов, русские лишились 53 орудий из 110, обоза и

девяти знамен. Современники не помнили, когда в последний раз русская армия терпела такое позорное поражение. Одновременно с Корсаковым были наголову разбиты и австрийцы Готце, причем г/гавнокомандующий и начальник его штаба погибли в самом начале сражения, а войска понесли страшные потери — погибло, ранено и взято в плен было не менее половины корпуса. Действовавшие в тех же местах другие австрийские военачальники (барон Линкер и Елачич), узнав о событиях при Цюрихе, отступили, хотя были сильнее воевавшего против них корпуса генерала Г. Ж. Ж. Молидора. Суворов со своей армией оказался совершенно без действенной помощи (только 16 сентября к его армии примкнула бригада австрийского генерала Ауффенберга). Важно, что, разбив Корсакова и Готце, Массена сразу же принялся за Суворова. На лодке он отправился в уже оставленный русскими Альтдорф, определил направление движения Суворова через горы к Муттентальской долине и стал перебрасывать туда войска. Одновременно Молидор должен был перекрыть другой выход из долины. Это была ловушка. Массена был уверен, что русские капитулируют и он привезет в Цюрих русского фельдмаршала и царского сына. Но он не знал, с кем имеет дело… Этому выдающемуся выходцу из французского народа было присуще огромное самомнение. Неслучайно, командуя в 1810–1811 годах Португальской армией, Массена не справился с англичанами, был отозван Наполеоном и, будучи в цветущем возрасте полководца, даже не участвовал в войне 1812–1814 годов, что означало признание его профессиональной непригодности…

«На краю пропасти!»

Узнав о цюрихской катастрофе, Суворов сразу понял, что все планы кампании летят к черту, что поражение Корсакова коренным образом меняет обстановку и что его армию тоже ждет катастрофа. Так вроде и должно было случиться. «Последние счастливые успехи французов, — писал Д. А. Милютин, — до того подстегнули их самонадеянность, что они не сомневались уже в конечном истреблении малочисленного русского отряда».

В этой ситуации Суворов созвал военный совет. Об этом совете известно из рассказа Багратиона, записанного Старковым в 1806 году: «17-го числа потребован я был к Александру Васильевичу; прибыл и увидал его в полном фельдмаршальском мундире и во всех орденах. Он шибко ходил и против своего обыкновения не подарил меня не только словом своим, но и

взглядом. Казалось, он не видал меня и был сильно встревожен. Лицо его было важно, величественно, таким я не видал его никогда. Он, ходя, говорил сам с собою отрывками: “Парады! Разводы!., большое к себе уважение… обернется: шляпы долой! Помилуй Господи! да, и это нужно, да во время… а нужно-то это: знать, как вести войну, знать местность, уметь расчесть, уметь не дать себя в обман, уметь бить! А битому быть… Не мудрено! Погубить столько тысяч., и каких., и в один день… Помилуй, Господи!” И многое, многое говорил Александр Васильевич, ходя и не замечая меня. Я видел, что я здесь не у места, и вышел вон». Если Багратион верно передал смысл бормотания Суворова, то в первой части записи — очевидный упрек императору Павлу как главному виновнику того положения, в котором оказалась русская армия. Но вместе с тем Суворов напоминал актера, углубленного в подготовку к исполнению важной роли, актера, который «разогревал» свои чувства и обострял ощущения…

Багратион продолжал: «Вскорости прибыл великий князь Константин Павлович и с ним все генералы и значительные по военным талантам полковники. Мы вошли, Александр Васильевич встретил нас поклоном, стал, закрыл глаза, задумался, казалось: он боролся с мыслями сказать о бедствии, нас постигшем. Но не прошло и минуты, он взглянул, и взгляд его, как молния, поразил нас. Это был уже не тот Александр Васильевич, который между рядами воинов в сражении вел их в бой с высоким самоотвержением, с быстротою сокола или так, запросто, во время похода, веселыми своими разговорами заставлял всякого любить его душевно — нет! Это был уже величайший человек, гений: он преобразился! Чрез минуту он начал говорить: “Корсаков разбит и прогнан за Цюрих! Готц пропал без вести и корпус его рассеян. Прочие австрийские войска (он назвал их начальников), шедшие для соединения с нами, опрокинуты от Гларис и прогнаны. Итак, весь операционный план для изгнания французов из Швейцарии исчез!”».

Далее Багратион пересказывает горячую речь Суворова, который во всем винил барона Тугута и его гофкригсрат. Он говорил, что его интригами армию русских удалили из Италии, эрцгерцог Карл умышленно ушел из Швейцарии, оставив Римскому-Корсакову оборонять линию, которую занимал со своей 60-тысячной армией. Он же задержал поставку мулов в Беллинцону, из-за чего русская армия потеряла несколько дней, которых как раз не хватило на соединение с корпусом Корсакова. «Это была уже явная измена общему делу правды, приготовленная заблаговременно им, Тугутом, по тайным сношениям с агентами французской Директории». Так, кстати,

считают и некоторые современные историки, хотя вряд ли Тугут работал на Директорию и задумал изощренный план погубить ненавистного Суворова с помощью не поставленных вовремя мулов.

Как бы то ни было, Суворов говорил много, убедительно, как всегда зло. «Это была речь, — продолжал Багратион, — военного, красноречивого, великого оратора: она представляла нам все проделки австрийского гофкригсрата с его главою Тугутом, так представляла, как будто все эти враждебные проделки явно, ясно, налицо пред нами стали. Александр Васильевич минуты на две прервал свою речь, закрыл глаза и углубился в мысли. По-видимому, он давал нам время вникнуть в его речь. Все мы приведены были в тревожное положение, кровь во мне закипела, и сердце, казалось, хотело вылететь из груди. Никто из нас не говорил ни слова, мы ожидали продолжения речи великого, всегда победоносного полководца-старца, на закате лет жизни своей коварством поставленного в гибельное положение. Александр Васильевич начал говорить: “Теперь идти нам вперед на Швиц невозможно — у Массены свыше 60 тысяч, а у нас нет полных 20 тысяч. Идти назад — стыд! Это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами, мы в горах! У нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских зарядов и ружейных патронов. Мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою… победою, устроенною коварною изменою. Со времени дела при Пруте, при государе императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении, как мы теперь… никогда! Ни на мгновение! Повсюду были победы над врагами, и слава России слишком восемьдесят лет сияла на ее воинственных знаменах, и слава эта неслась гулом от Востока до Запада, и был страх врагам России, и защита, и верная помощь ее союзникам… Но Петру Великому, величайшему из царей земных, изменил мелкий человек, ничтожный владетель маленькой земли, зависимой от сильного властелина, грек! (Имеется в виду Константин Бранкован, владетель Валахии, не сумевший оказать армии Петра действенную поддержку, что тогда было воспринято как измена. — Е. А.) А государю императору Павлу Петровичу, нашему великому царю, изменил… кто же? Верный союзник России — кабинет великой, могучей Австрии или — что все равно — правитель дел ее министр Тугут, с его гофкригсратом! Нет, это не измена, а явное предательство, чистое, без глупостей, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии! Помощи теперь нам ожидать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую

храбрость и на высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Это одно остается нам. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти!" Александр Васильевич умолк на минуту, потом, взглянув на нас, сказал: "Но мы русские! С нами Бог!" И этот быстрый величественный взгляд его, и эти слова переполнили жар, кипевший в душах наших. "Спасите, спасите честь и достояние России и ее самодержца, отца нашего, государя императора! Спасите сына его, великого князя Константина Павловича, залог царской милостивой к нам доверенности!" И с последними словами великий пал к ногам Константина Павловича.

Мы, сказать прямо, остолбенели и все невольно двинулись поднять старца-героя от ног великого князя, но Константин Павлович тогда же быстро поднял его, обнимал, целовал его плечи и руки, и слезы из глаз его лились. У Александра Васильевича слезы падали крупными каплями. О, я не забуду до смерти этой минуты!»… Все обратили взоры на В. Х. Дерфельдена, старейшего среди присутствующих генералов (он был на пять лет младше Суворова). Дерфельден приехал в Италию с великим князем Константином. По мысли императора Павла, он выступал в роли наставника и оберегателя великого князя.

Дерфельден, рассказывает Багратион, начап так: «Отец Александр Васильевич! Мы видим и теперь знаем, что нам предстоит, но ведь ты знаешь нас, знаешь, отец, ратников, преданных тебе душою, безотчетно любящих тебя. Верь нам! Клянемся тебе перед Богом за себя и за всех, что бы ни встретилось, в нас ты, отец, не увидишь ни гнусной, незнакомой русскому трусости, ни ропота. Пусть сто вражьих тысяч станутпред нами, пусть горы эти втрое, вдесятеро представят нам препон, мы будем победителями того и другого, все перенесем и не посрамим русского оружия, а если падем, то умрем со славою! Веди нас, куда думаешь, делай, что знаешь: мы твои, отец! мы — русские!» Так закончил свою речь (в передаче Багратиона и записи Старкова) эстляндский немец Отто Вильгельм фон Дерфельден, говоривший, наверняка, с акцентом. Но не в этом суть. Ниже будет подробнее сказано о понятии «русский» в те времена. Теперь отметим, что даже при известной литературности рассказа отрицать его подлинность не следует.

Неизвестно, продумал ли Суворов заранее всю эту, в древнеримском духе, сцену клятвы, или это была одна из его гениальных импровизаций (а актерские способности у него были яркие). С точки зрения психологического воздействия на участников-зрителей, сцена была разыграна блестяще.

Любопытно, что она содержала в себе все элементы драматургии — с прологом об истории вопроса, об ухищрениях предателя, с апофеозом (падением в ноги царскому сыну) и, наконец, с катарсисом — клятвой.

Эскапада Суворова, павшего в ноги царевичу, сразу же подняла «градус» происходящего, перевела всю ситуацию из обсуждения «дел наших скорбных» в плоскость историческую, трагедийную — все должны были понять и передать своим подчиненным: речь идет не об обычном военном совете, где решали, как и куда пробиваться, а о том, что на стол с развернутой на нем картой брошена воинская честь и репутация великой державы, а главное — воплощенная в великом князе Константине честь государя, жизнь царского сына, в чьих жилах течет священная кровь. И, наконец, происходит разрядка, очищение душ от сомнений и скверны. «“Клянемся в том пред Всесильным Богом!” — сказали мы все вдруг. Александр Васильевич слушал речь Видима Христофоровича с закрытыми глазами, поникнув головою, а после слова “клянемся” он поднял ее и, открыв глаза, блестящие райскою радостию, начал говорить: “Надеюсь! Рад! Помилуй Бог! Мы — русские! Благодарю! Спасибо… разобьем врага! И победа над ним, победа над коварством будет… победа!”».

То, что все, пожалуй, было продумано заранее, подтверждает одно обстоятельство: на совет не пригласили не изменившего русским австрийского генерала Ауффенберга, который привел Суворову бригаду в подкрепление. Но, во-первых, австриец ничего не понял бы из того, что говорилось по-русски, а посему эффект воздействия на него пропал бы, а во-вторых, зачем был нужен австрийский генерал в момент произнесения филиппики против предателей-австрийцев? Присутствие Ауффенберга было бы явным противоречием словам Суворова, так как он присоединился к русским войскам по приказу фельдмаршала-лейтенанта барона Линкена, командира вспомогательного корпуса, непосредственно подчиненного злокозненному барону Тугуту.

Совет был нужен, собственно, только для катарсиса, воодушевления сподвижников, впавших в тоску и отчаяние, — да и было от чего! Деловая сторона совета была ничтожна. По рассказу Багратиона, Суворов уже все решил. «Ту ж минуту Александр Васильевич, подошедши к столу, на котором была разложена карта Швейцарии, начал говорить, указывая по ней: “Тут, здесь и здесь французы, мы их разобьем и пойдем сюда. Пишите!” И Кушников (старший адъютант и, между прочим, племянник Н. М. Карамзина. — Е. А.), и все, кто имел с собою

карандаш и бумагу, стали записывать слова его: “Ауффенберг с бригадою австрийцев идет сегодня по дороге к Гларису. На пути выгоняет врага из ущелья гор, при озере Сен-Рутен, занимает Гларис, если сможет, но дерется храбро, и отступа назад у него нет, бьет врага по-русски! (Вновь замечу, что Ауффенберга на совете не было и, следовательно, Суворов беседовал с ним отдельно. — Е. А.) Князь Петр (Багратион) с своими идет завтра, во время, дает пособие (то есть помощь. — Е. А.) Ауффенбергу и заменяет его и гонит врага за Гларис. Пункт в Гларис! За князем Багратионом идет Вилим Христофорович, и я с ним. Корпус Розенберга остается здесь, к нему в помощь полк Ферштера. Неприятель наступит? — Разить его! Непременно насмерть и гнать до Швица, не далее! Все вьюки, все тягости Розенберг отправит за нами под прикрытием, а за нами и корпус идет, простояв на месте несколько, чтобы идти не мешали. Тяжко раненых везти не на чем: собрать всех, оставить всех здесь с пропитанием, при них нужная прислуга и лекаря. Оставить при всем этом офицера, знающего по-французски. Он смотрит за ранеными, как отец за детьми. Позовите Фукса, Трефурта (дипломаты при штабе Суворова. — Е. А.). (И они явились.) Написать Массене о том, что наши тяжко раненые остаются и поручаются, по человечеству, покровительству французского правительства. Михайло (Милорадович)! Ты впереди, лицом к врагу! Максим (Ребиндер), тебе слава! Все, все вы русские! Не давать врагу верха, бить его и гнать по прежнему! С Богом! Идите и делайте всё во славу России и ее самодержца, царя-государя”. Он поклонился нам, и мы вышли.

Мы вышли от Александра Васильевича с восторженным чувством, с самоотвержением, с силою воли духа — закрыть знамена наших полков телами нашими…»63

Справедливости ради отметим, что после этого совета проходили и совещания с австрийцами о выборе пути: идти к Швицу или к Гларису. По воспоминаниям Комаровского, великий князь Константин и другие настаивали, как и Суворов, на движении к Гларису, тогда как австрийцы стояли за направление к Швицу. Но для русского командования выполнение старых диспозиций после цюрихского разгрома Корсакова было уже невозможным.

Мы выбираем трудный путь

План Суворова по движению к Гларису через гору Брагель начал осуществляться сразу же. Генерал Ауффенберг со своей

двухтысячной бригадой выступил 18 сентября, на следующий день двинулся Багратион. Когда он перешел перевал Брагель и спустился в долину Клёнталь, там шел бой австрийского корпуса с превосходящими силами французов. Установив связь с генералом Ауффенбергом, Багратион разделил свой отряд на три части. Одна пошла по дороге, а две другие — вправо и влево, в обход. Слева шел со своими войсками сам Багратион. Вначале он ввязался в перестрелку, а потом, как писал Суворов, «сам, подаваясь вперед, взял гораздо у неприятеля правый его фланг, потом, нимало не мешкав, закричал “Ура!”, ударил штыками и в ту же минуту опрокинул первые его две колонны, побил и поколол на месте более 70 человек, в плен взял полкового командира, трех офицеров и 162 человека рядовых, прочих обратил в бегство и гнал до самого озера, Сейруте (правильно — Клёнталь. — Е. А.) называемого, где по причине узкого пути многие бросились в воду, так что потонуло более 200 французов. Невзирая на приближение ночи, преследовал он остальных, поражая беспрестанно по дороге штыками, и гнал до тех пор, пока не прибыл генерал-майор князь Горчаков…»64. Наутро бой возобновился, погиб командир батальона Багратионова полка майор Брауерт, а Багратион был, как он пишет в формулярном списке, «сам ранен от картечки контузией». Тут, на пути к местечку Гларис, его ждала неудача: дорога оказалась узкой, французы заняли выгодные позиции, и неоднократные попытки пробиться вперед вели только к большим потерям — скоро стало невозможно пройти по дороге из-за множества убитых, лежавших огромными грудами. Спустились тьма, туман, начался дождь со снегом, бой прекратился, но опасность была так велика, что войска не отдыхали, ожидая утро. В ту ночь Суворов и Константин ночевали в овечьем хлеву.

В этот момент Багратион проявил инициативу. Не дожидаясь утра, он послал несколько батальонов в горы слева и справа от позиции, занятой французами на дороге в Гларис. Ночью к Багратиону, сидевшему у скалы и страдавшему от раны, пришел Суворов. Он потребовал взять Гларис, одобрил распоряжения Багратиона о фланговом охвате позиции французов и похвалил за проявленную инициативу. Глядя на карту, можно понять причину ночного визита Суворова к Багратиону. Гларис был тем единственным пунктом, через который можно было выйти из Муттентальской долины, другие пути (на Швиц и Везен) были уже перекрыты. Гларис следовало взять во что бы то ни стало.

Ночные передвижения в горах встревожили французов. Они открыли огонь, и на их залпы со скал в темноте бросились русские солдаты. Эта неожиданная, неистовая атака с флангов

была поддержана войсками с фронта. Французы начали отступать, оставили Гларис, но у деревни Нефельс опять завязался отчаянный и кровопролитный бой. Багратион не сумел продвинуться дальше. Суворов приказал ему отойти, ибо главная задача была решена: Гларис был занят, дорога на Шванден и далее к Рейну открыта. Но еще предстояло обезопасить отступление армии. Да, речь уже шла именно об отступлении — Суворов, отказавшись от движения на Швиц и далее на Цюрих, начал отступать ради спасения армии. На следующий день главные события развернулись в другой части долины, между Муттеном и Швицем, где стояли силы Розенберга. 20 сентября на них пришелся основной удар армии Массены (10 тысяч человек), который решил в этот день покончить с русскими. Происшедшее в тот день сражение оказалось самым крупным за всю Швейцарскую кампанию, и победу в нем одержали русские. Эта победа была очень важной, тыл основной армии был на время защищен от постоянного преследования французов. Массена, который сам чуть не попал в плен, был вынужден отступить, потеряв около тысячи убитыми и ранеными (Суворов в реляции писал о трех тысячах), тысячу человек пленными (в том числе один генерал), а также пять пушек. Казаки преследовали бегущих французов до Швица. Русским солдатам досталась богатая добыча, а главное — в ранцах убитых и раненых французов нашли в изобилии вино, водку, сыр, хлеб, сухари. Впервые за много дней солдаты наелись. После победы Розенберг получил приказ Суворова присоединиться к основным силам, стоявшим в Гларисе.

И все же, несмотря на несомненную победу русского арьергарда, положение армии оставалось тяжелейшим. Выход в Гларис мало что дал — ожидавшегося соединения с корпусом

Линкена не произошло, так как после поражения союзников под Цюрихом Линкен отошел на недоступное французам (да и Суворову) расстояние. Покинул русских и их героический союзник генерал Ауффенберг. 23 сентября Суворов собрал новый военный совет, на котором было решено двигаться по Зернфской дороге в сторону Рейна, чтобы через неделю выйти к швейцарско-австрийской границе. Там можно было соединиться с остатками корпуса Корсакова и передохнуть в относительной безопасности. В Гларисе были оставлены все тяжелораненые (800 человек) с офицером, которому было поручено оберегать их и вместе с ними сдаться в плен французам.

Багратион теперь шел в арьергарде. Как он записал в журнале боевых действий, «24-го… корпус весь из Нечталя выступил в поведенный поход, где уже я с вверенным мне авангардом назначен был в арьергарде, с которым следовал позади всего

корпуса»65. Французы после сражения с Розенбергом пришли в себя, собрали силы и получили подкрепление. 23 и 24 сентября они пытались сбить Багратиона, оставшегося у местечка Шванден с двумя тысячами солдат. Багратион виртуозно оборонялся от превосходящих сил французов (их численность князь оценивал в 7 тысяч человек, реально же противника было около 5 тысяч), демонстрируя свое искусство вести арьергардные бои. Суть этой тактики состояла в том, что арьергард занимает заранее намеченную удобную позицию, на которой выстраивается в линию, ведет огонь и переходит порой в контратаку. Не раз полки Багратиона за недостатком патронов бросались в штыковые атаки, осаживая натиск противника и не позволяя ему безнаказанно преследовать отступающих. Затем арьергард переходил на новую позицию — и так несколько раз, пока основные силы армии поднимались к перевалу на хребте Панике, на расстоянии дневного перехода.

Как и прежде, холод и дожди затрудняли движение войск через перевал. Ночь застала бблыиую часть армии на перевале и подходах к нему — спуститься в долину Панике успел только авангард Милорадовича. Это была страшная ночь. Непрерывно шел снег, началась вьюга, крепчал мороз, дорога обледенела. После ночевки на голой земле на льду оставались трупы замерзших солдат. Особенно тяжело пришлось легко одетым пленным французам, которых русские вели с собой. Во время этого последнего перехода полки уже смешались, утратили походную дисциплину — «каждый шел там, где хотел, избирая по своему суждению удобнейшее место, кто куда поспел, как кому его силы позволяли; питательности для подкрепления их не было ни малейшей; слабейшие силами упадали и платили решительную дань природе; желавшие отдыхать, садились на ледяные уступы и засыпали тут вечным сном; идущие останавливаемы были холодным и противным ветром, с дождем и снегом смешанным, который тогда же на них и замерзал; все почти оледенели, едва двигались и боролись со смертью…»66. Топлива не было, и на бивачные костры начали ломать, по предложению великого князя Константина, лафеты пушек и казачьи пики. Вскоре пришлось бросить и все пушки — их закопали в землю под видом братской могилы, но французы раскопали ложное захоронение и включили орудия в общие трофеи. Бросили и все вьючные тюки, которые сгинули вместе с лошадьми в пропастях. Уставших и больных лошадей сталкивали с кручи.

Когда подъем закончился и перевал был пройден, начался труднейший спуск. Грязев писал, что когда он посмотрел на

крутой склон, по которому предстояло спускаться, то подумал, что сделать это невозможно: под ногами зияла пропасть. «Я, генерал Каменский и его адъютант составляли товарищество в продолжении нашего хода по сей ужасной горе. Мы, подошед ко вновь открытому пути, изумились, увидавши пропасть, в которую должны были спущаться по крутому и снежному утесу между высунувшихся всюду острых и огромных каменьев, но чем далее мы размышляли, тем более наши страхи увеличивались, время было дорого, и, наконец, призвав спасительную десницу в помощь, решились спущаться, но не по примеру других, а по-своему: мы уселись рядом на край пропасти, подобрав под себя шинели и покатились, подобно детям с масляничной горы; единственное наше спасение состояло в том, чтобы со всем своим стремлением не попасть на камень, который мог не только причинить нам вред, но и раздробить на части, однако, благодарение Всевышнему, мы скатились в самую глубину пропасти без всякого повреждения, кроме сильного испуга или чего-то сему подобного, ибо сердце мое замерло, и я не чувствовал более в себе его трепетания… Здесь глаза мои встречали нашего неутомимого вождя, бессмертного Суворова. Он сидел на казачьей лошади, и я слышал, как он усиливался вырваться из рук двух шедших по сторонам его дюжих казаков, которые держали его и вели его лошадь, он беспрестанно говорил: “Пустите меня, пустите меня, я сам пойду!” Но усердные его охранители молча продолжали свое дело, а иногда с хладнокровием отвечали: “Сиди!” И великий повиновался!»67 Наверное, этот выразительный отрывок из записей капитана Грязева и стал литературной основой для знаменитой картины Сурикова «Переход Суворова через Альпы». На нее я еще с детских лет не могу смотреть без содрогания: солдаты прыгают в пропасть, держа в руках ружья с примкнутыми штыками — вещь невозможная, немыслимая!

Как рассказывает участник похода, при выходе из ущелий армии встретились два быка. Они были мгновенно убиты, освежеваны, и каждый (включая Суворова) принялся жарить на кострах свой кусок на шпаге или палочке. Все из последних сил стремились к местечку Кур, что на Переднем Рейне — там австрийцами были приготовлены запасы провианта. В Куре оказались дрова, печеный хлеб, водка, мясо — а что еще нужно измученному солдату для счастья!

Возвращение без победы, но и без поражения

Словом, армия Суворова спустилась с гор и встала у Боденского озера. Вскоре подошли остатки войск Римского-Корсакова. И хотя в своих донесениях царю Суворов оправдывал действия Корсакова, на самом деле он был крайне раздосадован всем происшедшим под Цюрихом. Перед встречей с Корсаковым Суворов говорил окружающим: «Помилуй Бог! Александра Михайловича надобно принять чинно: он сам учтивец, он придворный человек, он камергер, он делает на караул даже неприятелям и в сражении». Когда вошел бледный от волнения Корсаков и подал главнокомандующему рапорт, Суворов, как это бывало с ним часто в напряженные моменты, стоял с закрытыми глазами и не брал протянутую ему бумагу, а потом «будто пробудился от сна и сказал громко: “Александр Михайлович! Что мы… Треббия, Тидона, Нови… сестры, а Цюрих”». А затем, взяв у одного из офицеров эспантон (короткую алебарду) и «делая им приемы», спросил Корсакова: «Как вы отдали честь Массене? Так, этак, вот этак… Да вы отдали ему честь не по-русски, помилуй Бог, не по-русски!»68

Швейцарский поход завершился. Увы, задуманного изгнания французов из Швейцарии не получилось. Именно французы праздновали победу, и Массена, не без свойственных всем победным рапортам преувеличений, писал в Директорию: «Дунайская армия замечательною победою окончила поход VII года (Республики): она снова овладела Сен-Готардом и всеми малыми Швейцарскими кантонами. Победами, еще более блистательными, ей суждено было открыть поход VIII года. Пятнадцатидневное сражение, данное на протяжении слишком 60 лье, против трех соединенных армий, предводимых опытными генералами, по большей части приобретшими огромную известность, занимавшими неприступные позиции, — таковы были действия Дунайской армии. Три армии, разбитые и рассеянные, 20 000 пленных, более 10 000 убитых, 100 орудий, 15 знамен, все неприятельские обозы, 9 неприятельских генералов убитых или пленных, Италия и Нижний Рейн освобожденные, Швейцария свободная. Верование в непобедимость русских уничтоженное — таковы были последствия сих сражений»69. Даже если французский главнокомандующий преувеличил свои успехи наполовину, все равно это была громкая победа. И хотя Италия еще не вернулась под власть французов (через 10 месяцев этим займется Наполеон), ее судьба после ухода Суворова и его неудачи в Швейцарии была решена. Но все же Швейцарский поход не стал поражением русских. Говоря о трех армиях, уничтоженных и рассеянных, Массена включил сюда «рассеянную» армию Суворова. Но это было преувеличение.

Армия Суворова, потеряв примерно треть из 21 тысячи человек, всю артиллерию и большую часть вьючного обоза, бросив на милость французов более 3500 раненых, все же не была деморализована и даже провела через горы с собой около 1400 пленных французов, которых сдала австрийцам в Куре, а главное — армия сохранила знамена, сберегла честь русского оружия, выпуталась из отчаянного положения, в котором оказалась. И это было по достоинству оценено императором: 28 октября 1799 года Суворов стал генералиссимусом, был издан императорский указ о возведении ему прижизненного памятника, вскоре был утвержден проект этого памятника; генералы и офицеры были удостоены наград. В конце 1799-го — начале 1800 года армия, по указу Павла и вопреки желаниям Вены, двинулась в Баварию, якобы на зимние квартиры, а затем вернулась в Россию. В очередной раз Павел сделал резкий поворот в политике — он решил разорвать союз и бросить своего «лукавого союзника». Он так и писал Суворову: «Весьма ненадежных прежних наших союзников… я оставил и предал собственному их жребию». В голове Павла роились идеи создания Северного союза с участием Пруссии против Австрии, а потом, после прихода Наполеона к власти, возникла идея союза с ним. В повелениях Павла, записанных Ф. В. Ростопчиным 23 декабря 1799 года, сказано: «Если зайдет вопрос о выступлении императора из коалиции, дать тогда понять, что мира все желали, а при распадении коалиции его легче будет достигнуть и что безразлично, кто будет царствовать во Франции, лишь бы правление было монархическое»7". Вскоре Павел нашел общий язык с Наполеоном в противостоянии с Англией. По русской инициативе был разработан план совместного русско-французского похода в Индию, причем командовать союзной армией должен был… Массена. В проекте похода, присланном в Россию из Парижа, после слов о назначении Массены было особо подчеркнуто: это назначение делается «по требованию, определенно заявленному императором Павлом»71. Наверное, если бы не случился переворот 11 марта 1801 года, опять бы предстояло проливать русскую кровь за чьи-то интересы в Индии и других концах мира… А пока, в 1799 году, кровь русских солдат еще не высохла на полях Северной Италии, на каменистых тропах и горных снегах Швейцарии…

Среди героев Италийского и Швейцарского походов Багратион был одним из первых. В рапорте Суворова о нем сказано с особой теплотой: «…князя Багратиона, который с авангардом, быв во всех сражениях, как при овладении горою Сен-Готард, так и впоследствии оных к Гларису, дознанная его храбрость многими опытами была и в сих делах похвальнейшим

примером»72. Это была великолепная характеристика, своеобразное благословение полководца, которого Багратион считал своим учителем. Альпийский поход стал одной из ярких страниц в его биографии. За кампанию 1799 года он удостоился алмазных знаков ордена Святого Иоанна Иерусалимского (нового ордена, учрежденного Павлом) и получил две иностранные награды: австрийский орден Марии Терезии 2-й степени и не очень почитаемый в армии сардинский орден Святого Маврикия и Святого Лазаря.

Прощание с героем

Из всего видно, что Багратион относился к Суворову с восхищением и обожанием. Теплые чувства к Багратиону испытывал и Суворов. По-видимому, Багратион был рядом с Суворовым все время, пока полководец жил в Праге, а русская армия стояла на зимних квартирах в Богемии с 5 декабря 1799 года до 14 марта 1800 года. Там, в Праге, Суворов получил дружеское письмо от адмирала Нельсона, который признавался в глубокой симпатии к русскому полководцу и шутливо предполагал, что они родственники — так они внешне похожи друг на друга.

В Кракове Суворов сдал командование армии Розенбергу и выехал в свое белорусское имение Кобрин. Его сопровождало всего несколько человек, и среди них Багратион. К этому времени Суворов был тяжело болен. Как передает Старков, Багратион считал, что тяжелый Швейцарский поход и огорчения, которые Суворов испытывал из-за интриг австрийского кабинета, подорвали здоровье старика. Кроме сильного кашля, у него началась какая-то кожная болезнь, по телу пошли сыпь, пузыри и нарывы, что для чистоплотного и тщательно следившего за собой Суворова было подлинной мукой. «Чистейшее мое многих смертных тело во гноище лежит!» — так с отчаянием писал он Ф. В. Ростопчину. Самолечение голодом и другие народные средства вроде бани не помогали, а профессиональным лекарям и их лекарствам Суворов, как и положено русскому человеку, не доверял. 14 февраля 1800 года Багратион поехал в Петербург и повез письма Суворова к разным людям. Из письма к Ф. В. Ростопчину видно, что Суворов доверял Багратиону: «К(нязь) П(етр) И(ванович) Багра(тио)н расскажет вам о моем грешном теле». Багратион рассказал о болезнях Суворова не только Ростопчину и племяннику Суворова Хвостову, но и государю.

Павел был настолько обеспокоен состоянием

генералиссимуса, что послал к нему своего личного медика Г. И. Вейкарта. Сам Багратион, скорее всего, остался в Петербурге. Вейкарт сумел убедить больного все-таки отдаться в руки «немецкой медицины» и немного поправил его здоровье. Вскоре, в марте 1800 года, Суворов смог выехать в Петербург, где, судя по всем приходившим в Кобрин письмам, победителя французов и Альп ждал невиданный триумф. Для честолюбивого Суворова, да еще закончившего кампанию отступлением, это было чрезвычайно важно. Лежа на перине в дормезе, он медленно двигался к столице, обсуждая с окружающими детали церемонии триумфа. И вдруг он получил страшное известие о немилости государя. Как это часто бывало у Павла, император придрался к мелочи — возможно, под влиянием наушников или своего плохого настроения. Оказывается, что Суворов во время заграничного похода, «вопреки высочайше изданного устава… имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала». Император в своем рескрипте в довольно грубой форме потребовал от Суворова ответить, «что… понудило сие сделать». Гнев государя вызвала приверженность генералиссимуса к старым екатерининским обычаям, которые император всеми силами вытравливал из армии. Когда Суворова привезли к Петербургу, он узнал, что вся церемония торжественной встречи отменена. 20 апреля он почти незаметно въехал в город и остановился в доме Хвостова на Крюковом канале. Здесь он получил оскорбительное для него повеление: «Генералиссимусу не приказано являться к государю». В литературе высказывалось много предположений о причинах опалы Суворова. Одно из них, возможно, самое правдоподобное, заключается в том, что император позавидовал славе Суворова и всеобщему преклонению перед ним.

Вообще, в характере Павла было то, что можно назвать простым словом «каприз», — не мотивированное сколько-нибудь разумными аргументами негативное чувство, возникающее как бы само собой и вскоре проходящее. Вполне объяснимое и неопасное у барышень, оно бывало страшным у властителей — самодержцев. Суворов, в ряду других людей, стал жертвой каприза Павла.

Багратиону, одному из немногих, довелось повидаться с Суворовым в последние часы жизни генералиссимуса. Старков сообщает, что по приезде Суворова «государь император сильно изволил заботиться о нем и лишь только прибыл Александр Васильевич в Санкт-Петербург и остановился в доме племянника своего, графа Д. И. Хвостова, то изволил послать князя Петра Ивановича узнать о здоровье и приветствовать с приездом».

Сообщение Старкова о том, что Багратион явился к Суворову

по воле государя с приветствием и вопросом о здоровье, может и не быть выдумкой мемуариста: допускаем, что в какой-то момент, когда императору донесли, что приехавший Суворов находится на краю гроба, Павел — с его чувствительным и даже сентиментальным сердцем — мог ослабить свой гнев и действительно послать близкого Суворову Багратиона проведать больного. Багратион (по записи Старкова) рассказывал: «Я застал Александра Васильевича лежащим на постеле, он был сильно слаб, впадал в обморок, и ему терли виски спиртом и давали нюхать. Пришедши в себя, он взглянул на меня и в больших его гениальных глазах не блестел уже взгляд жизни. Долго он смотрел, как будто узнавая меня, потом сказал: “А!., это ты, Петр! здравствуй!” и замолчал, забылся. Минуту спустя он опять взглянул на меня, и я донес ему все, что государь повелел. Александр Васильевич, казалось, оживился, но с трудом проговорил: “Поклон… мой… в ноги… царю… сделай, Петр!., ух… больно!” и застонал и впал в бред. Я донес государю императору обо всем и пробыл при Его величестве заполночь. Всякий час доносили государю об Александре Васильевиче. Между многими речами Его величество сказать изволил: “Жаль его! Россия и я, со смертью его, теряем многое, много потеряем, а Европа — все”»73.

Из этого отрывка следует, что Багратион был у Суворова накануне его кончины. Правда, остается загадкой, что же повелел донести Суворову государь и за что умирающий так горячо благодарил. Скорее всего, это был какой-то ритуальный пустяк, малозначащие слова императора, которые не вели к возвращению Суворову милости. После смерти Суворова (6 мая) все распоряжения государя насчет его похорон подтверждают это. Траурная церемония проходила по разряду похорон фельдмаршала, что было грубым пренебрежением к чину генералиссимуса. Среди войск, отдававших честь покойному, отсутствовала гвардия, в том числе Семеновский полк, родной для бывшего его рядового Суворова. Гвардия не вышла проститься с величайшим военным гением России якобы потому, что устала после недавнего парада. Как тут не вспомнить язвительное замечание Суворова австрийскому военачальнику: «Ах, ах! Солдаты промочили ноги!» Сам император не присутствовал на похоронах, а лишь выехал на угол Невского и Садовой, чтобы снять шляпу перед прахом гения. Старков приводит любопытную деталь: когда мимо государя, стоявшего со свитой, проносили окруженный огромной толпой гроб Суворова, вдруг из-за спины Павла раздалось громкое рыдание — это не выдержал один из генералов — А. Д. Зайцев, бывший в свите

императора. Зайцев рассказывал: «Павел обернул ко мне голову, взглянул и изволил сказать: “Господин Зайцев! Вы плачете? Это похвально, это делает вам честь, вы любили его” У Его величества из глаз слезы падали каплями. Пропустив процессию, государь тихо возвратился во дворец и целый день был невесел и всю ночь не почивал, требуя к себе своего камердинера, который сказывал, что государь часто повторял слово “Жаль!”»74.

Наверняка в этот день Багратион был бы среди тех, кто остался верен Суворову до конца, и проводил бы его до Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Но, согласно данным И. С. Тихонова, еще до кончины Суворова Багратион выехал в расположение своего полка в Волковыск, о чем и рапортовал императору Павлу.

Глава третья
Служить и жениться при Павле

«Приучать к проворному бегании и подпалзыванию»

В июле 1800 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось сообщение об одном из новых назначений: «Генерал-майор князь Багратион определен шефом лейб-гвардии Егерского батальона». На самом деле назначение произошло еще 9 июня. Оно оказалось очень важным в карьере Багратиона.

Шефы (или попечители) полков — должность, введенная в русской армии по указу Павла от 3 декабря 1796 года, то есть почти сразу же после вступления его на престол, когда император начал борьбу с «потемкинским духом» в армии, а попросту говоря, стал наводить в ней необходимый порядок, который армия, особенно в столице, во многом утратила. Позже, в отличие от многих исчезнувших со временем нововведений императора Павла, должность шефа полка прижилась (как прижилась и шинель, также введенная при Павле), но в значительной степени превратилась в формальность.

Было две группы шефов полков. Во-первых, шефами полков (особенно гвардейских) становились царственные особы (в том числе и женского пола), а также дружественные иностранные венценосцы и принцы. Во-вторых, это были действующие, находящиеся на воинской службе генералы. Шефов первой группы (царственной) на самом деле с шефским полком почти ничего не связывало. Для них это была почетная пожизненная должность, подобно всякому другому шефству того времени, вроде попечительства над богоугодными или учебными заведениями. Обязанности такого шефа обычно сводились к тому, что раз в год (в день этого полка) шеф надевал парадный мундир «своего» полка и отправлялся принимать парад. При желании он мог посетить заранее надраенные до сверхъестественной чистоты казармы или конюшни, пройтись вдоль свежевыкрашенных построек и заборов, чтобы затем приступить к главному — отобедать с офицерами полка и приглашенными гостями. В принципе, это противоречило сути замысла императора Павла, который, вводя шефство, думал поднять степень ответственности высшего офицерства за состояние и боеспособность полков. Указом Военной коллег ии 3 декабря 1796 года обязанности шефа определялись так: «Всякое неустройство и неточное или

медленное сего исполнение, как равно и всякая неисправность и упущение не только в отправлении службы, но и во внутреннем хозяйстве и управлении полков, на его, как попечителя полка, ответе и взыскании остаются».

Шефство генералов действующей армии над полками было более действенным. Шефы знали реальное положение в армии и могли в чем-то помочь подшефным, хотя и не всегда — часто подшефные полки находились в других дивизиях, корпусах, армиях. Известны были и случаи, когда высокопоставленные шефы могли поживиться за счет «своей» полковой кассы. Четкого разграничения обязанностей между командиром полка и шефом не было, как не было его между всяким попечителем и начальником подшефного заведения, но, в отличие от гражданской службы, шефы полков во время своего пребывания в них считались их командирами, а действительные командиры становились на это время заместителями. Багратион был назначен шефом Егерского батальона и, как следует из документов, служил одновременно и его командиром. И только 20 февраля 1805 года командиром батальона был назначен полковник Эммануил де Сен-При, ставший в 1812 году начальником Главного штаба 2-й Западной армии.

Что такое егерь, знает каждый — это профессиональный охотник, опытный следопыт и меткий стрелок (именно в этом сочетании — стрелок и охотник — переводится слово der Jager с немецкого языка). Примерно то же самое значило это слово и в армии начала XIX века. При линейной тактике ведения боя, когда войска двигались сплоченными соединениями, возникала потребность в легкой регулярной пехоте (а также кавалерии), действовавшей в рассыпном строю на пересеченной местности впереди и по флангам пехоты. Задачей егерей было подавление огня отдельных соединений противника, а также уничтожение его артиллерийских расчетов и «отстрел» офицеров, обычно узнаваемых издалека по султанам и другим особенностям униформы, а также по командирской манере поведения (к тому же по штату обер-офицеры ездили верхом, что требовалось для контроля и быстрого перемещения полициям). В русской армии егеря появились в конце Семилетней войны благодаря инициативе П. А. Румянцева, а потом П. И. Панина. Можно сомневаться, что егеря — исключительно русское изобретение и что создание егерских соединений позволило России «намного опередить в этом отношении страны Западной Европы»1. По крайней мере во второй половине 1760-х годов — это прямое следствие опыта Семилетней войны — егерские команды были учреждены при всех русских пехотных полках. Затем они

превратились в батальоны, а с 1797 года — в егерские полки. Было решено учредить егерей и в гвардии. Так появился лейб-гвардии Егерский батальон, составленный по указу Павла 9 ноября 1796 года из егерской роты Гатчинского корпуса подполковника А. М. Рачинского и егерских команд гвардейских Семеновского и Измайловского полков (всего около 400 человек). Рачинский и стал первым командиром гвардейских егерей.

Егерские соединения считались одними из лучших в армии. В них отбирали крепких, «лучших, здоровых, проворных солдат», умевших действовать и в сомкнутом, и в рассыпном строю, быстро менять фронт боевого расположения и при этом способных вести прицельный огонь из любого положения. Естественно, от егерей требовалась особая точность стрельбы. Для этого часть егерей были «штуцерниками», то есть вооружены лучшими тогда нарезными («винтовальными») ружьями. В сражениях егерские батальоны и полки получали ббльшую самостоятельность, чем линейные полки армии. Они могли действовать в сомкнутом строю и одновременно в рассыпном, сочетая оба вида ведения боя и при наступлении, и при отступлении: «По команде с флангов, рядами выбегая, рассыпаться в шеренгу и стрелять, содержа в подкрепление тем рассыпанным некоторое число оставшихся в сомкнутом фронте, а потом, по сигналу барабанному, чтоб рассыпанные с великим проворством опять в свой фронт строились». Егеря должны были совершать форсированные марши (при этом скорость такого марша, установленная Румянцевым, составляла 120 шагов в минуту)2, «продираться» по бездорожью, через леса, горы, болота. В инструкции по обучению егерей от 1765 года было сказано, что необходимо «приучать же их по трудным горам и лесным проходам сколько возможно с проворностью как взходить и на низ сходить, так и везде оборачиваться и на всякой случающейся площадке с проворством строиться. Во время зимнее ходить с ружьем и амуницию на лыжах не по дорогам, но прямо через поля и леса»3, а также устраивать засады, вести огонь из укрытий, скрытно перемещаться, следовать за противником.

В 1789 году были приняты «на опытах основанные» Правила для обучения егерей. Вот некоторые из этих правил: «Егерей обучать должно следующему: обходиться с ружьем и держать его в чистоте, не простирая сие до полирования железа, вредного оружию и умножающего труды, бесполезные солдату… Обучать заряжать проворно, но исправно, целить верно и стрелять правильно и скоро… Приучать к проворному бегании, подпалзыванию скрытными местами, скрываться в ямах и впадинах, прятаться за камни, кусты возвышенные и, укрывшись,

стрелять и, ложась на спину, заряжать ружье; показать им хитрости егерские для обмана и скрытия их места, как-то: ставить казку (каску. — Е. А.) в стороне от себя, дабы давать неприятелю чрез то пустую цель и тем спасать себя, прикидываться убитым и приближающегося неприятеля убивать. Учить стрелять из пистолета, показав им меру выстрела, дабы понапрасну не стреляли на дистанции, куда пистолет не доносит». Чем не спецназ того времени

Довел людей до совершенства. В бою егеря оказывались наиболее стойкими. Они не боялись ничего и умели драться в одиночку с превосходящими силами противника. Французский артиллерист Фор вспоминал о подвиге безвестного русского егеря, чье мужество в боях под Смоленском в 1812 году потрясло французов, знавших толк в военном деле: «В особенности между этими стрелками выделялся своей храбростью и стойкостью один русский егерь, поместившийся как раз напротив нас, на самом берегу (Днепра. — Е. А.), за ивами, и которого мы не могли заставить замолчать ни сосредоточенным против него ружейным огнем, ни даже действием одного, специально против него назначенного орудия, разбившего все деревья, из-за которых он действовал. Но он все не унимался и замолчал только к ночи. А когда на следующий день, при переходе на правый берег, мы заглянули из любопытства на эту достопамятную позицию русского стрелка, то в груде искалеченных и расщепленных деревьев увидели распростертого ниц и убитого ядром нашего противника — унтер-офицера егерского полка, мужественно павшего на своем посту»4. Особой точностью стрельбы отшчались солдаты 1-го егерского полка, которым командовал полковник Давыдовский. Полк стоял в Карелии, и Давыдовский уделял много внимания стрелковой подготовке солдат, которую строил по образцу охоты в лесу. Он составил для солдат особые правила подготовки и «довел людей до такого совершенства в стрельбе, что каждый егерь носил неприятелям столько смертей, сколько бывало у него пуль в суме»5.

Служить при Павле — будто быть на войне

Все это позволяет представить себе, сколь обширным был круг обязанностей командира и шефа гвардейского Егерского батальона. Последний являлся по сути образцовым соединением егерского типа в русской армии. Батальон (потом — полк) был одним из привилегированных воинских соединений, ему была поручена охрана Павловска и царской семьи, когда она там

проводила лето. Размещались егеря на постоянных квартирах в Петербурге, в слободе Семеновского полка (в районе Звенигородской улицы). Здесь велась обычная для армии того времени гарнизонная служба.

Строевые занятия батальона проходили на знаменитом Семеновском плацу — месте гуляний и казней в позднейшую эпоху. Но особенно ответственны были разводы караулов или так называемые вахтпарады. Развод караула во всех странах обычно обставлялся и обставляется торжественно и даже празднично: этим символически подчеркивается важность и почетность караульной службы. Чтобы посмотреть развод караула морской пехоты на Арлингтонском кладбище в США или гвардейцев у Букингемского дворца в Лондоне, развод караула на индо-пакистанской границе, у мавзолея в Москве, у королевского дворца в Стокгольме или у вечного огня в Афинах, собираются тысячи людей — столь красочным является это зрелище со всеми его атрибутами — порой неестественным шагом, почти цирковыми фокусами с подбрасыванием карабинов, музыкой и барабанным боем. По инициативе прусского короля Фридриха Великого вахтпарад стал не просто сменой караула, а длительной (на несколько часов) церемониальной процедурой со сложными перестроениями подразделений при соблюдении опреленной уставом дистанции между шеренгами и подразделениями, с особыми, не применяемыми в боевой подготовке командами, с фигурными выкрутасами эспантонов и ружей, со специальными мелодиями и маршами оркестра. Были вахтпарады в будничной, праздничной или парадной форме и в России. Присутствие на вахтпараде государя (а оно было почти непременным), всех высших офицеров гарнизона превращало смену дворцового караула в многочасовую пытку офицеров и солдат и наводило на всех участников ужас — строгий император, стремившийся посредством вахтпарадов «подтянуть армию», не терпел ни единой ошибки, и редко вахтпарад не заканчивался наказаниями. Вот как описывает вахтпарад военный историк: «Все военнослужащие генералы, штаб- и обер-офицеры, свободные от других должностей, собирались ежедневно к разводу, к 9-ти часам утра, который длился иногда до 12-ти. Государь весьма точно приезжал до прибытия дававшего развод баталиона и лично назначал точку правого фланга, по которому расставлялись офицеры для обозначения линии, по которой становился караул. После того приносили знамя из Зимнего дворца, войско встречало его с отданием чести, барабанным боем и музыкой, причем император снимал сам шляпу и за ним все присутствующие. После того он обходил баталион, осматривая

каждого солдата лично и обращая строгое внимание на одиночную выправку. Затем император производил ученье с несколькими эволюциями. Государь лично подавал команду, которую принимал от него штаб-офицер, дежурный по караулам, что продолжалось около часу времени. По окончании ученья пехоты выезжал взвод кавалерии, который исполнял разные построения. Затем государь принимал рапорты представляющихся и после того, при пароле, отдавал высочайший приказ. В заключение войска проходили церемониальным маршем, при прохождении знамен государь и присутствующие снимали шляпы. Великие князья Александр Павлович и Константин Павлович проходили на правом фланге первых двух шеренг. После церемониала главный караул следовал во дворец, где во внутреннем дворе, в присутствие государя, сменял старый караул, от которого знамя относилось во внутренние покои»6.

Лагерная служба егерей начиналась весной, обычно в начале апреля. Егерскому батальону для лагеря было определено место под Павловском — давней летней резиденцией императора, где после его гибели в 1801 году жили вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее дети. Новый император Александр I предпочитал проводить лето в Каменноостровском дворце, хотя часто навещал матушку, а также сестер и братьев в Павловске.

И помимо утомительных вахтпарадов служба при Павле была тяжелой, особенно после либеральных екатерининских времен, когда в войсках было, действительно, мало дисциплины. Как известно, Павел пришел к власти под лозунгом наведения порядка и усиления «экзекутивного государства». Один из современников, некто Реймерс, явно симпатизировавший Павлу (а таких было немного), описывал колоссальные злоупотребления в армии накануне его прихода к власти. «В конце прошлого царствования (Екатерины II. — Е. А.), — пишет он, — военные силы России, судя по сохранившимся в Военной коллегии рапортам, казалось, были в состоянии завоевать весь свет, но половину этих сил уничтожали вкравшиеся злоупотребления, которые молча признавались за обычный порядок вещей… С самого начала он (Павел. — Е. А.) приступил к искоренению бесчисленных злоупотреблений с помощью строжайших мер. Он ввел дисциплину, которая с меньшим расходом против прежнего производила больше действия, дисциплину, при которой благодаря порядку и правильности в несении службы каждый знал свое место, каждый сам мог проложить себе дорогу прилежанием и деятельностью, наконец, каждому в точности определен был круг его действий, так что не было возможно никакое отступление, влекущее за собою одни беспорядки»7. В

принципе, многое из сказанного — правда, но мемуарист забывает, что во всю эту стройность порой врывался вихрь самовластия, обнаруживалось проявление капризной воли неуравновешенного человека, и тогда строгое следование дисциплине приобретало черты неумеренности или самодурства. А уж о том, что «каждый мог проложить себе дорогу прилежанием и деятельностью», и говорить не приходится — описанная Юрием Тыняновым история о подпоручике Киже — литературный вымысел, но как некая модель павловского отношения к людям она кажется вполне «работающей». А. И. Тургенев рассказывал о роли осенней мухи, сыгравшей важную роль в правосудии времен Павла. Нахальная муха так жалила государя и так мешала ему во время подписания судебных приговоров, что по мере усиления гнева Павла на муху приговоры становились все суровее и суровее. Образцом решений Павла служит его рескрипт 28 июля 1798 года об отставке городничего, «который, забыв все обязанности служения, противу узаконениев наших, публично ходил в круглой шляпе, во фраке и сею неблагопристойною одеждою ясно изображал развратное свое поведение»8. На этом основании было предписано городничего «выкинуть из службы… дабы и все прочие такого буйства, наглости и пренебрежения должности своей позволять себе не дерзали». Приказы по войскам императора Павла — яркое свидетельство строгости и вместе с тем экстравагантности императора. Этими приказами, как дубинками, осаживали всех нарушителей: «За дурное поведение и ябедничество исключается из службы…»; «…за непристойный отзыв исключается из службы»; «…отдается под военный суд за присвоение себе неследующей (ему. — Е. А.) власти…»; «… исключается из службы за дурное поведение и пьянство…»; «Полковнику Адамовичу делается выговор за непримыкание штыков, когда все прочие уже примкнули». А вот и егеря: «Его императорское величество объявляет удовольствие всем пришедшим лейб-гвардии баталионам и всей вступившей сего дни (25 июля 1796 года. — Е. А.) в Павловск кавалерии, кроме Егерского баталиона»9. Чем государю в тот день не угодили егеря, остается тайной, но это было еще до Багратиона, при генерал-майоре А. М. Рачинском, который имел отличную репутацию в глазах Павла. В июне 1800 года он был произведен в генерал-лейтенанты и стал петербургским обер-полицмейстером и тайным советником10. На его место и назначили Багратиона, вернувшегося из Швейцарии.

«Достоин высших степеней»

Лето 1800 года стало переломным моментом в карьере Багратиона, если говорить о его месте при дворе. Конечно, он был известен императору Павлу и раньше — громкая боевая слава Багратиона, завоеванная им во время Италийского и Швейцарского походов 1799–1800 годов, бежала впереди него. После похода А. В. Суворов так рекомендовал государю нашего героя: «Князя Багратиона, яко отличнейшего генерала и достойного высших степеней, наиболее долг имею подвергнуть в Высочайшее благоволение». В истории жизни П. И. Багратиона примечательна сделанная в камер-фурьерском журнале за 20 июня 1800 года запись: император Павел, который находился в Петергофе, «благоволил после сего в саду ж, противу Большого зала, смотреть представленных господином генерал-майором князем Багратионом рядовых Егерского полка солдат»". С этого момента начался весьма своеобразный этап карьеры Багратиона. Своеобразие это заключалось в том, что Багратион был одновременно и придворным, и кадровым военным, боевым генералом (особенно это относится к 1805–1809 годам). Порой кажется, что он вставал из-за царского стола, мчался на войну, одерживал на поле брани победу и, пропахший порохом, снова садился за стол, на свое место, и рассказывал о своих победах. А теперь поговорим подробнее об этом самом месте, которое он занимал за царским столом.

Есть некая тайна в истории придворного возвышения Багратиона, начавшегося в павловские времена и продолжившегося примерно до 1809 года. Спору нет, в русской армии было немало отважных, смелых воинов, но никогда или почти никогда они не бывали включены в узкий круг людей, особо приближенных к государю. Камер-фурьерские журналы — церемониальная придворная летопись — фиксируют участие военачальников в придворных церемониях и торжественных обедах наряду с другими (гражданскими и придворными) чинами. Но так часто, как Багратион, в 1800–1807 годах за царским столом никто из кадровых военных, шефов гвардейских полков, исключая генерал-адъютантов государя, не сиживал. Вот одна из самых первых записей в журнале, в которой перечислены присутствующие за императорским обедом 27 июня 1800 года. За столом сидели: государь Павел, наследник престола цесаревич Александр Павлович, его супруга великая княгиня Елизавета Алексеевна, великая княжна Мария Павловна, великий князь Константин Павлович и его супруга великая княгиня Анна Федоровна, статс-дама графиня Пален, генерал-адъютант Ф. П. Уваров, а также обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-шталмейстер, шталмейстер, обер-егермейстер, несколько статс-

дам. И там же сидел «генерал-майор князь Багратион»12. Это повторилось 28 и 29 июня, в июле-августе Багратион бывал приглашаем на обеды и ужины к царскому столу почти каждый день, причем, как правило, в узком составе — на стол выставляли от 17 до 22 кувертов.

Естественно, что командир и шеф гвардейского Егерского полка, охранявшего царскую семью, занимал особое место среди других высших офицеров. С ним отчасти мог, пожалуй, сравниться только шеф кавалергардов Федор Уваров, также часто сидевший за царским столом во времена Александра, но его присутствие больше связано с тем, что он был генерал-адъютантом императора.

Важно помнить, что шеф лейб-егерей имел постоянный доступ к государю с ежедневными рапортами по батальону (полку) и для получения рескриптов императора. А это было настоящее испытание, которое не выдерживали даже выдающиеся «фрунтовики» и тонкие знатоки нрава императора, примером чему служит судьба Аракчеева в последние годы правления Павла. Всем был известен капризный, подозрительный, неуравновешенный характер императора. Из-за этого при Павле происходила сущая чехарда должностных лиц и командиров на разных уровнях государственных учреждений и в армии. За годы царствования Павла из 34 офицеров лейб-егерского батальона выбыло 20 человек, но сам Багратион все это время оставался на своем месте. Вероятно, он нашел подход к Павлу, был хорошим психологом, умел управлять своим порывистым, взрывным характером, был умен и осмотрителен в словах и делах. И конечно, он не мог не быть отличным, как бы прирожденным «фрунтовиком», то есть знатоком строевой подготовки и всего, что с ней было связано, ибо, кроме докладов у государя, шеф егерей часто подвергался испытанию на плацу, во время вахтпарадов, столь дорогих сердцу императора Павла, да и Александра. Впрочем, следует иметь в виду, что сама по себе «фрунтовая наука» была крайне важна для ведения линейных боевых действий. Быть настоящим «фрунтовиком» — значило не только выписывать сложные фигуры на плацу перед дворцом, но и обеспечивать слаженность, согласованность действий подразделения при всевозможных эволюциях и маршах в боевых и походных условиях. Тогдашняя боевая подготовка требовала полного автоматизма при исполнении команд сотнями и тысячами людей. Без твердого овладения всеми премудростями «фрунтовой науки», достигаемого непрерывными упражнениями на плацу, на марше и в поле, регулярная армия существовать не могла, как не могла существовать она и без единообразной

выправки или без точного знания, говоря языком того времени, «искусства складывания шинели», а также строгого и пунктуального соблюдения всех требований уставов и военных распорядков. Вместе с тем от командира требовались глубокое знание нужд, потребностей и характера своих солдат, умение организовать жизнь своего соединения в казарме. Он должен был знать все тонкости и детали гарнизонной и походной жизни, спланировать и предусмотреть все необходимое. По всему видно, что Багратион был сторонником строгой дисциплины, сочетавшейся с заботой о людях. Вообще, последнее было его главной чертой на военной службе, какие бы должности он ни занимал, и за это его любили все подчиненные. Во многом порядки, заведенные при Павле в армии, сохранялись (в несколько смягченном виде) и при его сыне — императоре Александре.

Усы запустить! Стиль командования Багратиона егерями хорошо виден в его приказах по батальону и полку. В приказе 6 ноября 1807 года Багратион писал: «Рекомендую господам батальонным и ротным командирам иметь неусыпное смотрение за людьми, дабы оные не шелили (1точнее — не шалили; «шалостями» тогда называли различные проступки, нарушения дисциплины и даже уголовно наказуемые преступления. — Е. А.) … Пища чтобы была хороша, также чистота и опрятность. Новых людей начинать обучать в казарме поодиночке. Портных посадить в швальню и начинать шить мундиры для новых людей, также и сапоги шить». 28 ноября вышел «приказ от генерал-лейтенанта и кавалера князя Багратиона», в котором сказано: «Заметил я, что господа офицеры от лености и нерадения рапортуются больными, а наипаче подпоручик кн. Черкасский, которой даже в лицо мною забыт и совсем его не вижу — рапортуясь больным, давно не находится; подтверждаю по долгу службы и звания моего, дабы отложили от себя противности чести и званию офицерскому. Всякой офицер благомыслющий за щастие себе должен поставить служить при лице государя императора и в таком отличном полку, а в противном случае как подпорутчик Черкасской, так и ему подобные, будут мною выписаны в армию без замедления. Господину полковнику Макарову рекомендую смотреть строже, и коль скоро будет замечена леность или неуважение, службы упущение, чин чина почитания и дисциплина, тотчас донести мне»13. В приказе 6 сентября 1807 года при выходе полка из Петербурга в Гатчину, то есть в поход, Багратион детально предписывал: «Поутру привести ко мне всех новоопределенных егерей на смотр; отправить также завтра квартирьеров в Гатчино; полк должен ночлег иметь на половинной дороги, а в

понедельник вступить в Гатчино. По прибытии занять Главный дом и Царскосельский въезд офицерским караулом, обозу иметь с собой патронные ящики и две лазаретные кареты; в казармах оставить квартирмейстера и смотреть за чистотою; всех портных и что нужно шить для полку взять с собою; 1-го батальона 1-я рота должна не брить усы, а запускать; воскресенье как будет повелено быть во всей чистоте и опрятности к выступлению; капельмейстеру велеть купить музыку новую, а после по щету ему заплачено будет. За больными строго смотреть новому лекарю, которому и оставаться при больных, а другому быть при полку; заказать все венцы для лазарета, чтобы начали заготавливать»14.

Для Павла I, а потом и для Александра I отличное знание «фрунта» было важной и весьма симпатичной чертой военного человека. Багратион и был таким человеком. Конечно, как отмечают современники, Багратион, кроме того, был интересным, занимательным собеседником и рассказчиком, владел, как и большинство грузин, искусством быть гостем и хозяином. Обладал он и чувством такта, способностью вовремя промолчать. Тут уместно привести известную характеристику, которую дал Багратиону А. П. Ермолов: «Князь Багратион имел завистников, но, ума тонкого и гибкого, он сделал при дворе сильные связи. Обаятельный и приветливый, он удерживал хорошие отношения с равными. Был внимателен: подчиненных награждал и был боготворим ими. Обхождением очаровывал, нетрудно было воспользоваться его доверчивостью, но только в делах, мало ему известных. Во всяком другом случае характер его самостоятельный». Светское обхождение Багратиона, конечно, ценилось в обществе. Ниже будет подробно сказано о близости Багратиона к кругу вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А она была весьма требовательна к соблюдению ритуала, насквозь пропитана духом придворных церемоний, и будь Багратион иным, он бы никогда не сидел за одним столом с императрицей и она бы не подарила ему табакерку со своим портретом, усыпанную бриллиантами.

Но и это еще не все. Кажется, что «пропуск» к высочайшему столу, в узкий придворный круг генерал-майор князь Багратион получил не только за свои воинские подвиги, знание «фрунта» или за то, что был хорошим собеседником. Он — ко всему прочему — принадлежал к древнему царскому роду, представлял собой царственного вассала российского императора. Так некогда в петровском застолье бывали царевичи Грузинский и Сибирский, а еще раньше князья Черкасские.

Но в тогдашней политической элите князь Петр Иванович не был единственным представителем грузинской диаспоры и даже

единственным представителем своего рода. В высших слоях тогдашнего общества был хорошо известен сенатор Кирилл Александрович Багратион, приятель Ростопчина, — он «имел много природного ума и хитрости, которыми, под личиной простака, умел снискивать благорасположение людей, в которых имел нужду», он был «хитрый, как все грузинцы, и балагур» — так писал о нем А. Я. Булгаков, человек опытный и наблюдательный15. И все-таки за царским столом сидел только князь Петр.

Между Обольяниновым и Аракчеевым

Несомненно присутствие за спиной Багратиона людей, которые по разным причинам помогали ему подниматься наверх. Наверняка это был клан его родственников Голицыных. Кроме того, среди друзей Багратиона имелись люди, окружавшие Павла и бывшие при нем в силе. Кажется примечательным, что на свадьбе Багратиона с графиней Екатериной Скавронской посаженым отцом был генерал-прокурор Сената Петр Хрисанфович Обольянинов, а посаженой матерью графиня Анна Петровна Кутайсова. Нет необходимости много распространяться о той первостепенной роли при императоре Павле, которую играл муж Анны Петровны, Иван Павлович Кутайсов — взятый ко двору пленный турчонок, отправленный в Париж учиться парикмахерскому искусству и ставший на многие годы личным брадобреем великого князя Павла Петровича. Этому человеку, каждый день водившему по его шее острой бритвой, подозрительный ко всем Павел доверял безмерно. Он любил Кутайсова, а когда стал государем, то возвысил бывшего турчонка почти до небес: граф, обер-шталмейстер, кавалер ордена Андрея Первозванного и других орденов, владелец богатых поместий. Пожалуй, Кутайсов мог состязаться только с Аракчеевым за место наиболее ненавистного всем временщика. Беспринципный, эгоистичный, склонный к интригам, наушничеству, корыстолюбивый и алчный, Кутайсов сделал много зла разным людям, в том числе и императрице Марии Федоровне. Но Багратион, видно, ладил с ним, как и с Аракчеевым, — иначе жена временщика не пошла бы в посаженые матери к Багратиону. Вообще, эта способность Багратиона ладить с разными — порой сложными и даже страшными — людьми есть одно из умений истинного человека общества, если это, конечно, не сопряжено с унижением и уничтожением других. В последнем Багратион замечен не был.

Не более приятен в глазах общества был и Обольянинов. Он принадлежал к кругу тех людей, которых называли «гатчинцами». Как писал граф Рибопьер, это было «презрительное прозвище, которым награждали всех, находившихся при Павле Петровиче в Гатчине, до вступления его на престол. Это были почти все люди темные, без образования и воспитания». Вышел Обольянинов из псковских стряпчих или, по другой версии, — из бедного «хорошего дворянского рода», служил в Адмиралтействе, а также в гатчинских войсках, где обратил на себя внимание Павла своей исполнительностью. Павел испытывал к Обольянинову особое доверие и поэтому быстро продвигал его, сделал генерал-провиантмейстером, комендантом Гатчины. В 1799 году он получил командорский крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского, золотую табакерку с бриллиантами, был пожалован имениями и деньгами. В конце 1799 года Обольянинов стал сенатором, в начале 1800 года — членом Государственного совета, кавалером высшего ордена Андрея Первозванного, генерал-аншефом, а затем генерал-прокурором Сената, причем остался на всех многочисленных должностях, которые занимал прежде. В его ведении была и Тайная экспедиция; он, по словам историка Н. К. Шильдера, «стал инквизитором и вскоре уподобился великому визирю». Некоторые называли Обольянинова «исчадьем ада». «Вспыльчивый, грубый, невоздержанный, он постоянно ругал и кричал не только на своих подчиненных, но даже и на сенаторов», слыл человеком бешеного нрава. Словом, как раз в 1800 году он был на вершине своего могущества. Наряду с Кутайсовым Обольянинов пользовался исключительным доверием императора, имел в своих руках огромную власть, и на прием к нему смиренно просились влиятельнейшие вельможи и даже великие князья Александр и Константин. Неслучайно он стал одной из первых жертв нового императора Александра. Сразу же после убийства Павла Обольянинова арестовали, что он, кстати, воспринял спокойно — не зная о случившемся, он подумал, что это воля его неуравновешенного повелителя, и принял ее с рабской готовностью. Обольянинова не просто изгнали с его высокой должности, но даже уволили с воинской службы — настолько одиозна и неприятна новому государю была эта личность. Впрочем, Рибопьер, знавший Обольянинова, был о нем совсем другого мнения: «Он был добрый и кроткий человек, не без познания». Возможно, это было связано с тем, что когда юный Рибопьер оказался при Павле в Петропавловской крепости, Обольянинов делал для него послабления ради его деда, под началом которого когда-то начал свою службу16.

Свадьба в императорской резиденции

Во всех биографиях Багратиона отмечается, что его женитьба была инициирована Павлом и его окружением. Отрицать это, учитывая личности посаженых отца и матери, мы не будем. Свадьба, сыгранная 2 сентября 1800 года в Гатчинском дворце, логична для ситуации, в которой оказался Багратион: его приблизили к трону, он командовал одной из гвардейских частей, и его женитьба была продолжением процедуры инкорпорации Багратиона в придворную среду. Невестой его стала фрейлина императрицы Катенька Скавронская, молодая и очень красивая девушка.

Свадьбу сыграли по высшему разряду — в императорской резиденции, венчали молодых в присутствии императора, императрицы и всего двора, в придворной гатчинской церкви. До этого невеста, одетая в русское платье, была введена ее посаженым отцом графом Александром Сергеевичем Строгановым во внутренние покои императрицы Марии Федоровны, которая помогла убрать прическу невесты царскими бриллиантами. Хотя в камер-фурьерском журнале и не указано, но наверняка (таков был обычай) тут находилась и посаженая мать невесты, 22-летняя графиня А. П. Гагарина (урожденная Лопухина), камер-фрейлина, а потом статс-дама двора и последняя фаворитка императора Павла, осыпавшего ее саму и ее родственников разными милостями. Фавор Лопухиной начался в Москве в 1797 году, на коронации Павла. Как писал Рибопьер, «на одном из балов молодая девушка, быть может, по ошибке, а может, с намерением, подошла к государю и просила его протанцевать с нею польский. Павел был этим крайне польщен. (Что же это за ошибка такая — государя не узнать? — Е. А.) Отец ее Петр Васильевич Лопухин и мачеха ее Екатерина Николаевна, рожденная Шетнева, сейчас же попали в милость. Все семейство получило приглашение переехать в Петербург, где государь осыпал их отличиями и почестями. Павел Васильевич получил княжеское достоинство, супруга его пожалована в статс-дамы, а старшая дочь получила шифр. Государь навещал ее каждое утро и часто бывал у нее и по вечерам»17. Благодаря горячей привязанности императора Анна Петровна в 1800 году по негласному «счету» была самой влиятельной женщиной при дворе, пользовалась любовью императора, иногда устраивала ему сцены и капризничала, хотя на публике, как отмечали современники, вела себя тактично и скромно, держалась в стороне от придворных интриг. То, что Анна Петровна была посаженой матерью Екатерины Скавронской, является

свидетельством особой чести и милости, проявленных к молодоженам. Важно, что камер-фурьерские журналы за 1800 год фиксируют появление Анны Петровны в Гатчине лишь дважды — оба раза в роли посаженой матери на свадьбах двух фрейлин: Левшиной и Скавронской.

Венец над женихом держал генерал-адъютант князь Петр Долгоруков, с которым Багратион приятельствовал (об этом будет сказано ниже), а над невестой — кавалергард Александр Давыдов. После этого император и императрица пожаловали новобрачных к руке; последние, как отмечено в камер-фурьерском журнале, «с находящимися при них родственниками проходили по имеющейся со входа от двора лестнице в Картинную комнату, и для угощения в оной бывших с новобрачными гостей, как кофием с десертом, так и после сего и вечерним столом, было откомандировано по одному из каждой должности официанту с помощниками»18. После поздравлений Павел и Мария покинули празднество. Вообще, время для свадебного торжества было выбрано не особенно удачно — незадолго до этого дня умерла дочь великого князя Александра Павловича и великой княгини Елизаветы Алексеевны, и в царской семье смерть девочки расстроила все обычные осенние увеселения.

Невеста Багратиона поражала всех своей молодостью и красотой, особенно заметной на фоне сурового облика жениха, бывшего почти вдвое старше ее. Предположительно Екатерина родилась не раньше 1782 года, то есть в 1800 году ей было самое большее 18 лет. Ее отцом был Павел Мартынович Скавронский, а матерью — Екатерина Васильевна, урожденная Энгельгардт. Павел Мартынович ничем, кроме чудачеств, коллекционерства и сочинения посредственных музыкальных произведений, не прославился. Вообще, нужно сказать, что Скавронские не отличались ни умом, ни заслугами, ни древностью происхождения. Корень свой они вели от латышского крепостного крестьянина Карла Самуиловича, который, благодаря феноменальному успеху своей сестры Марты, ставшей императрицей Всероссийской Екатериной I Алексеевной, превратился в богатого помещика, графа и кавалера. Сын Карла Мартын, благодаря чрезмерной длине своего языка, попал в Тайную канцелярию времен Анны Иоанновны, но отделался только поротой спиной. Он-то и был дедом невесты князя Багратиона. При своей двоюродной сестре императрице Елизавете Петровне он стал генерал-аншефом, камергером, обер-гофмейстером и сенатором. Тем не менее для представителя древнейшего рода Багратидов брак с правнучкой крепостного

крестьянина являлся позорным мезальянсом. Но на дворе были уже иные времена, и графы Скавронские прочно заняли высокое место в русской элите.

Если Скавронские не хватали звезд с небес и имели репутацию людей не особенно умных, но безвредных, порядочных, то родство невесты со стороны матери было поистине скандальным. Катенька Энгельгардт, вместе с двумя своими сестрами, Варенькой и Сашенькой, оставляла походный гарем своего знаменитого дяди Григория Александровича Потемкина-Таврического, причем Катенька, обворожительно хорошенькая, стала первейшей его наложницей. Через несколько лет развеселой жизни сестры были пристроены влиятельным дядюшкой и выданы за хороших и богатых мужей. Правда, отпускать Катеньку Потемкин долго не хотел. Ее мужем 10 ноября 1781 года стал влюбленный в нее Павел Скавронский, но, благодаря интригам Потемкина, в 1784 году его отправили посланником в Неаполь, а его молодая жена осталась снова при дядюшке. Когда в 1793 году умер ее муж, она замкнулась в своем доме, занявшись дочерью, названной, как и мать, Екатериной. Вступивший на престол Павел вернул ее ко двору. Екатерине Энгельгардт было уже 35 лет, но она оставалась необыкновенной красавицей, и ею восхищались самые разные люди, видевшие в ее красоте нечто античное, божественное. После многих лет унылой, замкнутой жизни неожиданно для себя Екатерина Васильевна страстно влюбилась в своего ровесника, гордого, видного красавца итальянского графа Юлия Литту, за которого с радостью и вышла замуж в 1798 году. Соединение крови семейства «боевой подруги» Петра Великого с кровью сестриц Энгельгардт дало гремучую смесь, которая и потекла в жилах Екатерины Павловны Скавронской, ставшей супругой не менее горячего князя Багратиона.

Но, увы, из брака их ничего не вышло. Известно, что четыре дня спустя после свадьбы княгиня Багратион была представлена императорской чете и принесла «всеподданнейшее свое благодарение за совершение их брака». Тогда же княгиню «пожаловали к руке»19. Это была ритуальная церемония, за которой ничего не стояло — ни радости, ни истинной благодарности. По одной из версий, Екатерина Павловна сама добивалась внимания боевого генерала, по другой — была влюблена в молодого графа П. П. Палена, будущего блестящего генерала и красавца, так что брак с Багратионом был для нее совсем некстати и явился следствием каприза самодержца.

Возможно, что если бы в марте 1801 года император Павел не погиб насильственной смертью, брак этот дал бы супругам

пышные придворные «всходы» — уж очень могущественные люди стояли у начала брачного проекта. Окружающим было ясно, что генерал-майор Багратион пользуется особым расположением государя и, соответственно, его ближних людей, — а это значило для придворной карьеры очень много.

Крушение семейной жизни

Известно, что Багратионы прожили несколько лет начинающегося девятнадцатого века под одной крышей, в съемной квартире на Адмиралтейском проспекте, в том месте, где ныне расположено западное крыло Главного штаба. Из написанного в 1802 году письма А. Я. Булгакова, который был в гостях у Багратионов, следует, что «Багратион с женою отпущен в Италию, едет туда по первому хорошему пути и поселится в Неаполе, где просил меня быть у него всякий день». Однако сведений о поездке четы Багратионов в Италию не сохранилось. По-видимому, для этого замысла не хватало денег, да и содержать дом князю Петру — человеку щедрому и даже расточительному (в чем ему активно помогала не менее расточительная супруга) — было трудно. В 1802 году, по прошению Багратиона, казна купила у него деревню. Обычно так поступали запутавшиеся в долгах вельможи в надежде, что потом, по какому-нибудь случаю, государь подарит новую деревню. Из прошения Багратиона государственному казначею Л. И. Васильеву видно, что он был в долгу как в шелку: за ним числился казенный долг — 28 тысяч рублей (то есть он брал в долг полковые деньги) и партикулярный долг — 52 тысячи рублей. Государь постановил заплатить Багратиону за взятую в казну деревню 70 650 рублей, вычтя из них казенный долг. Полученных денег Багратиону оказалось мало, и он стал занимать в долг под проценты у петербургских купцов. Один из них, Б. Дефарж, в 1804 году подал на Багратиона в суд за неуплату в оговоренный срок долга в размере свыше двух с половиной тысяч рублей. Но наступил 1805 год, и дело было отсрочено за убытием Багратиона на войну — военные, как известно, в походе пользовались отсрочкой по искам к ним. Возможно, что Дефарж так и не получил с Багратиона свой долг — с 1805 года войны пошли непрерывной чередой, одна за другой.

Между тем семейная жизнь Багратиона дошла до своего Аустерлица — как раз в 1805 году супруги разъехались под благовидным предлогом. Князь Петр отправился в Австрию на

войну с Наполеоном, его жена — в том же направлении, в Вену, развеяться. С тех пор княгиня Екатерина Павловна Багратион зажила своей отдельной, светской жизнью, наподобие Элен Безуховой, которая, как мне порой кажется, списана Толстым с нее — тонкий девичий стан, чудная шея, алебастровой белизны плечи, золотые, вьющиеся волосы, большие голубые, слегка близорукие глаза. Впрочем, таких замужних, но свободных от брака прелестных проказниц в тогдашнем Петербурге было много — вспомним хотя бы несравненную Марию Антоновну Нарышкину, о которой еще пойдет у нас речь. Расставшись с мужем, княгиня Багратион осела в Вене, где и провела несколько лет. В добровольном изгнании красота ее не увяла, а даже расцвела. Так же как и Элен из романа Толстого, Екатерина Павловна увлеклась (будучи в Дрездене) молодым и красивым прусским принцем Людвигом, но если в романе Толстого подобный брак не состоялся из-за ранней смерти Элен, то тут наоборот — французская пуля оборвала жизнь прекрасного принца, и Екатерина Павловна, погоревав немного, устремилась за новыми впечатлениями.

В то время как супруг княгини Багратион осенью 1805 года бился насмерть с французами при Шёнграбене, сама княгиня «страдала» в светских гостиных Вены под гнетом французской оккупации. При этом она, как писал А. Б. Куракин, делала безумные траты, держала открытый дом, устраивала роскошные праздники. Дочь Скавронского могла это себе позволить — свое огромное состояние она извела только к старости. В 1807 году Багратион пытался с помощью вновь назначенного русского посланника в Вене князя А. Б. Куракина вернуть супругу, но княгиня, ссылаясь на слабое здоровье и необходимость лечиться на европейских курортах, в Россию не вернулась (кажется, никогда). Точно так же вела себя и беглая жена цесаревича Константина великая княгиня Анна Федоровна. Можно в шутку предположить, что дружеские отношения Багратиона и Константина Павловича, завязавшиеся еще при Павле, предполагали обмен впечатлениями, обычными для покинутых мужей. В 1807 году в Карлсбаде княгиню Багратион увидел Гёте, который написал, что она «при всей своей красоте и привлекательности… собрала вокруг себя замечательное общество». Действительно, княгиня Багратион была гостеприимна, любила, как Анна Павловна Шерер, поговорить о политике в своем салоне. Единственное, в чем она осталась верна мужу, так это в антинаполеоновских, антифранцузских взглядах, что по тем временам было необыкновенно смелым поведением в угнетенной дерзким корсиканцем Вене. В салоне княгини

Багратион бывали разные знаменитости, вроде принца де Линя или мадам де Сталь. Конечно, все знаменитости собирались не только ради красавицы-хозяйки, а главным образом, желая встречи с Меттернихом, имевшим доступ не только в гостиную княгини, но и в ее альков. Он, собственно, и был ее «ангелом-хранителем». Екатерина Павловна слыла женщиной неординарной и не жалела денег, чтобы поражать венское общество невиданной ранее прической или нарядом. Но все-таки самым экстравагантным ее поступком стало рождение дочери от Меттерниха. Впоследствии девочка была хорошо устроена.

Веселая вдова

Известно, что, затрагивая столь тонкую материю, какой является личная, интимная жизнь героя, нужно быть осторожным. С одной стороны, по сохранившимся документам можно судить, что Багратион, не разводясь с супругой, жил с ней раздельно и не содержал ее. По крайней мере в 1809 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» было помещено объявление о том, что все кредиторы, которым была должна княгиня Багратион, должны были представить свои претензии управляющему делами князя Алексея Борисовича Куракина, ибо «дела ее сиятельства княгини Екатерины Павловны Багратионовой… состоят на рассмотрении и попечении» А. Б. Куракина.

С другой стороны, Багратион не считал себя в разводе с женой и не держал на нее никакого зла. Из его письма от 25 сентября 1809 года давней своей приятельнице княгине Е. Ф. Долгоруковой, следует, что он был убежден, что все неприятности в его семейной жизни есть следствие не поступков одного из супругов, а действия чужой злой воли. Он даже указывает, чья эта воля. Сообщая из Молдавии, где он тогда находился, своей приятельнице разные новости, он пишет: «…Скажу вам, что генерал Платов из Дону получил от жены письмо — ей пожаловано (орден. — Е. А.) 2-й степени Екатерины. Признаюсь, мне весьма прискорбно, что доселе жена моя за службу мою не могла иметь, а особливо тогда, когда Барклая, Докторова и тому подобных (имели. — Е. А.). Кажетца, жена моя по себе не хуже никакой чухонки и дворянки или казачки, естли не лутче, она Скавронская, а не Лигга, а при том и я служу, мне кажетца, не хуже чухонцов или им подобных. Я вам сие говорю, почитая вас как родную сестру, и заклинаю вас, чтобы о сем никому не говорили, ибо доволно подло бы было с моей стороны, чтобы желать мне для жены моей тот знак»20. Как мы видим, Багратион

явно обижен тем, что его жена, урожденная Скавронская (то есть родственница императора), в отличие от «казачки Платовой» (Марфы Дмитриевны Кирсановой), дворянки Марии Петровны Дохтуровой (урожденной княжны Оболенской), а также «чухонки»? Елены Барклай де Толли (урожденной фон дер Смиттен), положенного «по чину» ее мужа женского ордена Святой Екатерины не получила. Вместе с тем в письме Долгоруковой Багратион просит не разглашать этого своего возмущения, тем самым косвенно признавая свою уязвимость при попытке публично высказать какие-либо претензии: во-первых, жена его уже несколько лет не жила в России, а во-вторых, он сам не составлял с ней семью. Но Багратион защищает свою супругу, говоря о тех неприятностях, которые обрушились на ее голову и привели ее к вынужденному отъезду за границу: «Жена моя не такая дура, чтобы не чувствовала агарчения, во-первых, она аграблена графом Литтою (отчимом. — Е. А.), разлучена по его милости с матерью до такой степени и что невозможно того желать. Пока она жила со мною, бедна(я), не имея ни минуты жизни спокойной: одну сестру умарили (речь идет о младшей сестре Екатерины Павловны Марии. — Е. А.), она оною грустию начала болеть, выехала за границу».

Дальше в письме Багратион, оправдывая отъезд княгини из Петербурга, пишет, что без него, проводившего жизнь на войне, она быть в столице не может, «ибо угнетена от Литы безбожным образом, не ведаю за што, от них гроша не имела…». Более того, «наконец, розными интригами и последнее имение отдали другому управителю Куракину… Что же ей делать… матушка ее — придворная особа, ей всякой помогает, все ей верют, и ему (Литте), а мне — никто, и все против меня, и каким же образом ей и мне иметь покойную жизнь или смерть? Давольно и то прискорбно, что я бию всех, а один италианец (Лигта. — Е. А.) побил и аграбил»; Литта при дворе лучше принят, «нежели я, и меня же обвиняют»…

О чем все же идет речь в этом взволнованном и даже сумбурном письме главнокомандующего Молдавской армией? Как упомянуто выше, мать княгини Багратион Е. В. Скавронская в 1798 году вышла замуж по любви за эмигранта, итальянца Юлия Литту (1763–1839), представлявшего в России интересы Мальтийского ордена, что сделало его человеком влиятельным при дворе Великого магистра ордена императора Павла I. Граф Литта сумел удержаться и при дворе его сына, хотя у него было много врагов — он, совершенно не скрываясь, пропагандировал католицизм в России и даже уговаривал Павла восстановить в России распущенный накануне в Европе орден иезуитов.

Несколько лет гофмейстер, обер-шенк Юлий Помпеевич Литта, человек волевой и инициативный, управлял Гофинтендантской конторой, то есть заведовал дворцовым хозяйством. Как писан его биограф, «отличаясь большими хозяйственными и финансовыми способностями, он прекрасно вел свои собственные дела, управляя обширными имениями жены, и в то же время много потрудился над разработкой различных финансовых вопросов»21. Неудивительно, что он стал на свой манер приводить в порядок безалаберное хозяйство Скавронских-Энгельгардт и неизбежно добрался до расходов княгини Екатерины Павловны Багратион. По-видимому, тогда и начались конфликты с самим Багратионом. Оказалось, что тот не в состоянии обеспечить супругу из своего генеральского жалованья, и над приданным имуществом Екатерины Павловны была установлена опека в лице князя А. Б. Куракина, который в 1809 году и оплачивал ее долги, в том числе и долг за снятую Багратионами в 1801 году квартиру на Большой Морской. Никакие военные победы генерала Багратиона не могли изменить ситуацию с его финансовыми делами. Они, как и раньше, оставались скверными, а влияние Багратиона на придворные дела к 1809 году резко уменьшилось, и справиться с «тиранией» ловкого финансиста Литта он, конечно, не смог…

По мнению И. С. Тихонова, супруги Багратионы все-таки встретились однажды после отъезда Екатерины Павловны за границу. Это произошло в Вене летом 1810 года, когда княгиня Багратион была уже на сносях дочерью Меттерниха. О чем они говорили, мы не знаем; не сохранилось ни одного свидетельства того, чтобы Багратион упрекнул свою жену за ее, мягко сказать, вольное поведение. Более того, среди вещей, оставшихся после смерти Багратиона, был обнаружен портрет Екатерины Павловны, лежавший вместе с портретами другой Екатерины Павловны — великой княжны, а также вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Возможно, князь Петр надеялся, что после победы над Наполеоном их семейная жизнь наладится, изменится к лучшему. Так всегда думали солдаты, уходившие в смертельный бой от своих остывших домашних очагов… Не сбылось! Словом, как говорится, семейная жизнь Багратиона не задалась, и он до самой смерти вел жизнь старого холостяка. Когда он бывал в Петербурге, то снимал квартиры в центре, неподалеку от Зимнего дворца, летом жил на своей даче поблизости от Павловского дворца, а в остальное время его домом по большей части были карета, возок, верховая лошадь. Следовали бесконечные переезды, биваки, винтер-квартиры — обычная жизнь солдата, слуги государева. Рядом с Багратионом, в доме и походах, всегда были

люди — слуги, компаньоны, приживалы — одни постоянные, другие на время. В акте о выдаче награждений согласно завещанию Багратиона помянуты: «служащий при его сиятельстве отставной майор Катов… произведенный в подпоручики из гвардии унтер-офицеров Невский… камердинер Иозеф Гави, двое наемных работников — Самойло Иванов и Егор Соболин, два повара, два унтер-офицера», состоявших при обозе с вещами Багратиона, и «прочие разного рода служители, коих числом двенадцать». Наконец, в завещании упомянуты дворовые люди Багратиона, которых по традиции хозяин отпускал на свободу: Осип Рудаков, Матвей Лавцевич, Петр Смирнов, Андреян Михеев и Андрей Ягодин22. Вот и все крепостные. Никаких распоряжений о деревнях в завещании Багратиона нет — видно, что генерал от инфантерии, как и подавляющее большинство офицеров русской армии, жил только за счет жалованья…

Став в сентябре 1812 года вдовой, княгиня Багратион не оставила прежнего образа жизни. В дни Венского конгресса 1814 года она сверкала своей божественной красотой на многочисленных балах, которыми ознаменовался этот съезд государей всей Европы. Как вспоминала графиня Э. Бернсторф, в своем великолепном салоне княгиня Багратион отплясывала русского в национальном костюме, вызывая восхищение гостей. Известно, что император Александр по приезде в Вену княгине Багратион первой нанес частный визит и танцевал с хозяйкой на балу, данном в ее доме в честь государя. По данным венской тайной полиции, Александр I бывал в доме княгини не раз, что и неудивительно — он волочился тогда сразу за несколькими известными красавицами. Потом княгиня Багратион перебралась в дом на Елисейских Полях в Париже и во французской столице прославилась своими выдающимися обедами. Ее второй брак с английским генералом Карадоком (лордом Гоуден) оказался коротким и неудачным. Фамилии своей Екатерина Павловна во втором браке не меняла. До самой смерти в 1857 году она оставалась кокеткой, хотя в последние годы ее уже возили в инвалидном кресле.

Глава четвертая
Холодное солнце Аустерлица

Парвеню в приличном обществе

Общепризнано, что первая война России с Наполеоном была неизбежна, предопределена всем ходом событий в тогдашней Европе. В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором и тем самым из республиканского правителя возвысился до уровня великих государей Европы, чем всех их глубоко оскорбил. Это был прямой вызов прежде всего Российской империи и Священной Римской империи германской нации, под которой понималась Австрия. Важно, что вопрос о создании новой империи наследственного типа был обставлен в вызывающей для монархической Европы форме: как волеизъявление французского народа в результате плебисцита, степень достоверности результатов которого была тогда сомнительна: «за» проголосовало 3 572 329 человек, а «против» — жалкая кучка отщепенцев — всего 2579 человек! В декабре 1804 года в соборе Парижской Богоматери римский папа посвятил Наполеона в императоры. И хотя корону Наполеон надел себе на голову сам, но зато как истинный, хотя и бывший, якобинец принес присягу на… конституции. В итоге Наполеон стал императором «милостию Божию… и согласно конституции Республики». Тогда же ему пришлось срочно превращаться из президента Итальянской республики в короля Италии и в Милане возложить себе на голову железную корону Ломбардии. Тотчас возникли придворный штат и церемониал, мгновенно появились князья, графы и бароны. Каждый из маршалов, который одерживал победу на поле боя, становился князем или герцогом. Возникло, как по мановению жезла, наполеоновское дворянство, причем многие новые дворяне происходили из солдат. Порой все это казалось карикатурой на старый, оплеванный республиканцами королевский режим, но Наполеон, его семья и окружение, состоявшее в большинстве своем из людей «низкой породы», играли всерьез, так что пышный, в модном тогда стиле ампир, двор императора Наполеона все больше напоминал двор императоров Древнего Рима. Как тут не вспомнить императрицу Екатерину Великую, не дожившую до метаморфоз в Париже, но прозорливо написавшую 13 января 1791 года своему вечному адресату Мельхиору Гримму, что пройдет немного времени и во

Франции неизбежно появится новый Цезарь и «усмирит вертеп». А 22 апреля того же года, не без остроумия и проницательности, она добавила: «Знаете ли, что будет во Франции, если удастся сделать из нее республику? Все будут желать монархического правления! Верьте мне: никому так не мила придворная жизнь, как республиканцам»1.

Словом, явление Наполеона, этого нахального выскочки, среди коронованных, гордящихся древностью своих династий императоров, королей, курфюрстов и герцогов было воспринято как вызов, оскорбление. В глазах монархической Европы это было равносильно самовольному появлению на королевском балу пропахшего конским потом форейтора, который к тому же не встал смирно в уголке, а взял и пригласил на танец саму королеву. Забегая вперед отметим, что в конечном счете так все и произошло — сила французского оружия вынудила почти всех европейских монархов (за исключением, пожалуй, только английского короля) плясать под французскую дудку и с подобострастием кланяться «форейтору».

Но тогда, в 1804 году, Наполеону было мало бросить вызов монархической Европе пышностью своей ампирной коронации. Он стремился еще и проучить ее. После подавления роялистского заговора Жоржа Кадудаля, а также генералов Пишегрю и Моро французские жандармы в марте 1804 года буквально выкрали из резиденции Эттенхайме на нейтральной территории (в Баденском курфюршестве) совершенно непричастного к заговору Луи Антуана Анри герцога Энгиенского, родственника казненного революционерами Людовика XVI, и после формального суда с резко обвинительным уклоном расстреляли его во рву Венсенского замка. Это переполнило чашу терпения прежде всего молодого императора Александра I, жаждавшего самоутвердиться на международной арене в качестве прямого наследника своей великой бабки — императрицы Екатерины II, чья роль в делах Европы, и особенно Германии, была чрезвычайно велика. Как известно, поначалу Александр был в восторге от Бонапарта — Первого консула: он считал его великим человеком, «героем либерализма» (по словам сподвижника Александра, князя Адама Чарторыйского). Александр передавал Бонапарту весьма дружественные приветы, выражал свое восхищение деяниями этого незаурядного человека. Но затем русский император изменил свои взгляды, став главной пружиной возникшей антинаполеоновской коалиции (Англия, Россия и Австрия). После же казни герцога Энгиенского мир с Наполеоном стал уже невозможен2. Как записал сардинский посланник в Петербурге Жозеф де Местр, «возмущение достигло предела. Добрые

императрицы плачут. Великий князь Константин в бешенстве, Александр I глубоко огорчен. Французских посланников не принимают». Последовал обмен резкими нотами, причем Наполеон оскорбил лично Александра I, намекнув, что когда убили Павла I, то было бы странно, если бы кто-то из-за границы вмешивался в это дело… Это в немалой степени способствовало разрыву летом 1804 года дотоле вполне миролюбивых отношений между Россией и Францией.

Главной причиной вмешательства Александра в довольно запутанные европейские дела было его (отчасти романтическое, отчасти имперско-прагматическое) желание «восстановить справедливость», «поставить предел хищному захвату» чужих территорий человеком, который «руководствуется в своих поступках только неутолимой жаждой могущества и желанием всемирного владычества». Явление нового могущественного завоевателя поколебало уже довольно давно устоявшуюся систему раздела Европы (в том числе Германии) на зоны влияния между ведущими державами и вызвало их резко негативную реакцию. На тогдашнем политическом языке Александра неприятие нового «едока» за столом великих империй формулировалось как охранительство, как великая миссия России по защите старого порядка, «основанного на святости законных престолов и неприкосновенности владений, утвержденных договорами». Возможно, определенную роль в этом сыграли молодые друзья Александра. Один из них, Адам Чарторыйский, писал: «Я хотел бы, чтобы Александр сделался, в некотором роде, верховным судьей и посредником для всей цивилизации народов мира, чтобы он был заступником слабых и угнетаемых, стражем справедливости среди народов»3. Конечно, кроме высокой и пламенной риторики, существовали и довольно приземленные конкретные политические и экономические интересы имперской России в Европе, прежде всего в Прибалтике, а также в Германии. Здесь Россия со времен Екатерины Великой вела, как тогда выражались, политику «деятельной инфлюэнции»4 или, попросту говоря, политику общепризнанного всеми вмешательства ради достижения некоего, удобного ей, «германского равновесия». Кроме того, Россия со времен Тешинского конгресса 1778–1779 годов выступала авторитетнейшим арбитром в нескончаемом споре Пруссии и Австрии — непримиримых противников. Франция же, набравшая силу в ходе революции и утратившая все предрассудки «старого режима», стала активно вмешиваться в германские дела, а потом и совершать территориальные захваты и перекраивать карту Германии. В мире традиционных европейских ценностей Франция казалась разбойником с большой

дороги, захватившим дилижанс, набитый мирным народом — сообществом германских государств. Видеть все это из Петербурга было невыносимо, ведь Россия разом утеряла свое влияние в этой важной части тогдашней Европы! И если раньше владетели Германии больше смотрели на то, как их поступки оценят (и отметят в виде так называемых «индемнизаций» — вознаграждений по особому списку) в Петербурге, то теперь для них появился новый могущественный центр власти, располагавшийся в Париже. В этой-то борьбе за Германию и заключалась прагматическая, приземленная суть конфликта России и Франции, как и причина неизъяснимой, в некотором смысле жертвенной, рыцарской любви императора Александра к Пруссии. Между тем Пруссия была готова изменить России, если бы Наполеон разрешил ей присоединить Ганновер — княжество, на которое Берлин с жадностью поглядывал. Стоит ли говорить о том, что за роль мессии, освободителя, охранителя покоя Европы и Германии Российская империя щедро платила — и, как всегда, не только своими деньгами, но и кровью десятков тысяч русских солдат, погибавших на полях сражений в тысячах верст от своей страны.

Примечателен и другой аспект. Горячее желание молодого русского владыки «навести порядок» в Германии, Италии и других странах Европы, куда вторгся Наполеон, не встречало там жаркой поддержки, в том числе и у постоянно обижаемых французами австрийцев и пруссаков, которые были готовы терпеть от Наполеона новые унижения, только бы не обнажать против него оружие. Позже, даже выступая в одном строю с Россией, они не были до конца верными союзниками и все время поглядывали в сторону Наполеона, а то и вели с ним тайные, закулисные переговоры, были готовы обменять русскую поддержку на мирный договор с ним. Складывается впечатление, что Россия буквально навязывала им свою помощь, а те, напуганные Наполеоном, отмахивались от протянутой им русской вооруженной руки. При этом можно быть уверенным, что тогда Россия действовала в некотором смысле бескорыстно и не намеревалась присваивать новые территории — после Третьего раздела Польши и присоединения Грузии казалось, что империя не нуждается в дальнейшем расширении своих пределов. В письме своему послу в Вене графу Разумовскому в 1805 году император писал об Австрии: «Неужели страх, вселяемый в нее честолюбцем, сильнее надежды на мое содействие? Объявите Венскому двору, что вместо обещанных мною 115 000 даю ему 180 000 войска. Честь моего государства не позволяет мне смотреть равнодушно на молчание соседей моих, коим

способствуют они порабощению земель, сопредельных Франции. Кажется, начиная войну, выгоды которой обращаются в пользу не мою, а союзников моих, я приобретаю права на их доверенность. Не усматривая, однако ж, тому доказательств, я решился добровольно и без просьбы посторонней увеличить число вспомогательных войск моих. Но готовясь к защите угнетенных государств, вознамерившись скоро решить жребий Европы, я распространил мои предположения, изложенные в прилагаемом здесь плане». Далее государь перечислял контингента русских войск, готовых устремиться на помощь австрийцам, а потом воевать за их интересы в Италии и других местах, и все для того, чтобы «скоро решить жребий Европы», «водворить в Европе на прочных основаниях мир». Здесь нет ничего нового — все войны начинаются словами о водворении прочного мира во всем мире. Пожалуй, единственным верным союзником России и в то же время непримиримым врагом Наполеона была Англия, да и то потому, что у нее как у жертвы континентальной блокады не было никакого другого выхода.

Александр вкладывал в дело борьбы с Наполеоном всю свою душу и проявлял столь непривычную для него невиданную страстность. Был момент, когда он был готов объявить войну одному из своих потенциальных союзников — Пруссии, за то, что пруссаки никак не желали пропускать через свою территорию корпус И. И. Михельсона, посланный на помощь австрийцам из Прибалтики. Для этого даже готовились специальные документы. Так, в «Проекте манифеста против Пруссии» было сказано: «С глубоким чувством печали мы приказали нашим армиям обращаться с прусскими провинциями как с враждебной России страной и с прусскими войсками, которые захотели бы оказать сопротивление их проходу, как с вражескими войсками»5. Возможно, союз с Австрией так и не был бы заключен (и Россия так и не получила бы своего Аустерлица), если бы Наполеон не продолжил свои бесцеремонные захваты: летом 1805 года он присоединил к Франции Генуэзскую республику. Это окончательно вывело из себя нерешительного и вялого императора Франца II, и он подписал Военную конвенцию о помощи России и совместных с ней действиях против Наполеона, тем самым согласившись начать войну. Император французов этому был даже рад.

— вот в чем вопрос!

После этого в России стали формировать армейские

контингенты для помощи австрийцам. Основные силы были сосредоточены на самой западной границе, в Радзивиллове, что к северо-востоку от Лемберга (Львова). Главнокомандующим русской армией был назначен М. И. Голенищев-Кутузов. Согласно рескрипту императора Александра о ведении войны с Францией за август 1805 года, Кутузову поручались как военные, так и политические задачи по «обузданию непомерного властолюбия» Бонапарте (титул императора за ним в России не признавали, и даже когда Александр вступил с ним в переписку, то царские письма адресовались «Первому консулу»). К числу политических задач относились такие, как необходимость внушить местным жителям «образ мыслей наших, правила наши и цель, которую мы достичь желаем, а именно, что мы не имеем в виду никаких завоеваний, ибо обширность пределов империи нашей соделывает оные для нас бесполезными, а наипаче в толь отдаленных от нас краях, что ополчились мы не противу французской нации, которой спокойствие и благоденствие толико же приятно для нас, как и прочих европейских народов, но противу управляющего оною, ибо его личному только властолюбию и пагубной системе приписать должно все бедствия, в кои Европа ныне ввергнута. Объясняйте, до какой степени он презрел права народные, что для него нет ничего священного, что все договоры им нарушены и что, наконец, он хочет разные правительства лишить не только независимости, но даже и политического бытия своего… и что мы вооружились единственно для освобождения их от такового бедственного положения и для восстановления всеобщего спокойствия и безопасности». Кутузову предписывалось также входить в сношения «с недовольными внутри Франции», заключать соглашения с германскими князьями и способствовать свержению Наполеона.

Босеть или не босеть

Военные задачи были проще. Русская армия поступала в полное подчинение австрийского императора или назначенного им из числа эрцгерцогов главнокомандующего и должна была следовать в том направлении, куда они предпишут, — будь то Франция, Швейцария или Италия, но поначалу было желательно «быстро податься в Баварию, с тем, чтобы не допустить перехода ее курфюрста на французскую сторону (именно это вскоре и произошло! — Е. А.)». Особо предписывалось Кутузову ладить с австрийскими генералами, не допускать распрей между генералами союзных армий, вроде тех, что нераз возникали во

время совместных действий русских и австрийцев в Италии и Швейцарии в 1799–1800 годах6.

Выбор Кутузова главнокомандующим в этом смысле казался весьма удачным — как известно, он был прирожденным дипломатом и царедворцем, умел ладить как с австрийскими генералами, так и с австрийскими придворными и военными чиновниками, формально соглашаясь с их советами и инструкциями, но поступая зачастую так, как ему подсказывал опыт полководца и обстоятельства. Но забегая вперед отметим, что не всегда Кутузов-полководец держал верх над Кутузовым-царедворцем, и это в немалой степени способствовало поражению русской армии.

Сама армия, команду над которой приехавший из Петербурга Кутузов принял 9 сентября, называлась Подольской — по месту дислокации ее частей. К моменту прибытия главнокомандующего она уже была в походе по заранее оговоренному с Веной маршруту: Радзивиллов — Тешин (ныне Цешин или Чески-Тешин на польско-чешской границе) — Брюн (Брно, Чехия) — Креме (Австрия) — Ульм (Германия). Всего было сформировано шесть колонн, причем последняя, 6-я, была вскоре возвращена прямо с похода обратно в Россию в связи с осложнением положения на русско-турецкой границе (как известно, в 1806 году вспыхнула Русско-турецкая война). Впрочем, затем по просьбе австрийцев эти войска вновь направили к ним на помощь, но колонна так и не успела соединиться с основной армией до Аустерлица. Всего в наличии в армии Кутузова было 167 штаб-офицеров, 1319 обер-офицеров, 2991 унтер-офицер, 1082 музыканта, 40 846 рядовых, 3252 нестроевых, 3571 рекрут и 169 кантонистов — итого 53 397 человек.

«Господами колоножными начальниками» были назначены лучшие генералы. 1-й (авангардной) колонной командовал генерал-майор князь П. И. Багратион; 2-й — генерал-лейтенант А. А. Эссен 2-й; 3-й — генерал-лейтенант Д. С. Дохтуров; 4-й — генерал-лейтенант В. Ф. Шепелев; 5-й — генерал-лейтенант барон Л. Ф. Мальтиц; 6-й — генерал-лейтенант барон И. К. Розен. Колонны по численности были примерно равны, включали в себя как пехоту (гренадеры, мушкетеры и егеря), так и конницу (казаки, драгуны, гусары, кирасиры), а также по две роты артиллерии, пионерские и понтонные роты. В колонне Багратиона числилось по списку 28 штаб-офицеров, 240 обер-офицеров, 517 унтер-офицеров, 171 музыкант, 7167 рядовых и 605 нестроевых, всего 8728 человек. На самом деле в строю находилось 8263 человека, а убыль почти в 500 человек (больные, командированные, арестованные и др.) восполнялась

приписанными к колонне 865 рекрутами и кантонистами. Колонна Багратиона состояла из трех пехотных полков (Киевского гренадерского, Азовского мушкетерского и 6-го егерского), Павлоградского гусарского полка и казачьего Кирсанова полка. Колонне придавались также две роты полевой артиллерии (всего 24 орудия)7.

Багратион шел со своей колонной впереди армии (между колоннами соблюдалось расстояние в один переход, то есть 20–30 верст), поэтому Кутузов первым предупредил его о том, что входившие в пределы Австрийской империи войска должны поддерживать дисциплину. Так, по предписанию Кутузова, Багратиону полагалось останавливать колонну на ночлег и растах (дневку. — Е. А.) обязательно в одном населенном пункте (местечке) и при недостатке квартир разбивать палаточный лагерь поблизости. Это позволяло контролировать служивых, чтобы не дать им совершать экскурсии по крестьянским курятникам и девичьим спальням.

Уже 11 сентября Кутузов получил из Вены срочную депешу, согласно которой ему предписывалось ускорить движение в сторону Кремса. Для этого австрийцы были готовы поставить подводы, чтобы посадить на них пехоту и двигаться «по четыре мили в день», то есть преодолевать по 28 верст, «чтобы как можно скорее прибыть в Баварию», где присутствие русской армии становилось необходимым. За этой вежливой просьбой сквозила тревога, охватившая Вену. Там было получено сообщение, что Наполеон начал быстрое движение из Булонского лагеря к Среднему Рейну. Австрийцы уже давно ждали русских. Их собственная армия под формальной командой эрцгерцога Фердинанда, а фактически — под главенством генерала барона Карла Макка (он не мог формально командовать объединенными войсками, так как был в своем чине младше Кутузова), 28 августа вошла в Баварию и продвинулась к Швабии, встав возле города Ульм. Первой же неудачей австрийцев стала измена баварского курфюрста, который 24 августа тайно заключил договор с Наполеоном и вместе со своими войсками (18 тысяч человек) двинулся к северным границам Баварии, встав в пограничном Вюрцбурге в ожидании Наполеона. Тот 24 сентября достиг Рейна и приготовился к броску на австрийцев. Вена занервничала и стала просить Кутузова ускорить марш, для чего отменить дневки через три дня на четвертый.

От Тешина начались форсированные марши русской армии — по 45–60 верст в день, причем половину пути пехота шла пешком (ее ранцы, шинели и прочее везли на специальных повозках), а на вторую половину солдат сажали в фургоны (по 10–12 человек на

подводу) на смену тем, кому предстояло дальше идти пешком8. Спешены были и два драгунских полка в надежде на то, что их лошади, как рапортовал императору Кутузов, «идя вольными маршами, оправятся и исцелятся от ссадин, что всего важнее»11. Привалов не было, по прибытии на ночлег солдат сразу распределяли по квартирам10. Обозы и лазарет были оставлены в Тешине; особым циркуляром запрещалось брать с собой женщин, в том числе жен офицеров. Их надлежало оставить при обозе, который должен был добраться до Брюнна следом за армией“. Австрийцы бесперебойно обеспечивали союзников провиантом, лошадей — двойным фуражом; к приходу колонн местные жители готовили мясные порции с «приваркою капустою»12 и выдавали каждому солдату по чарке вина. Кутузов предписывал выступать с ночевки до рассвета, чтобы при свете останавливаться на следующую ночевку, и хлеб выдавать с вечера”.

Полюбили «каву». Как вспоминал участник этого перехода, «русские солдаты полюбили немецкий кофе, называя его “кава”; в простонародье он обыкновенно с примесью картофеля и цикория, подслащается же сахарной патокою; все это вместе кладут в большой железный кувшин, наливают водой и кипятят на огне». Немцев поражало, что русские просят налить кофе в суповые чашки, крошат туда хлеб и хлебают ложками, приговаривая: «Ай, брудеры… народ смышленый»14.

Вена снова требовала ускорить марш, сделать дневку с четвертого на пятый день, с чем Кутузов был не согласен, полагая, что солдат, прошедший четыре мили пешком, вовсе не отдыхает, если в тот же день должен еще сделать четыре мили на подводе15. «По числу больных, которое увеличивается день ото дня, — писал он русскому посланнику в Вене А. К. Разумовскому, а потом австрийскому уполномоченному генералу Штрауху, — я вижу, что этот форсированный марш крайне вреден солдатам. Поэтому невозможно согласиться с новым порядком (движения)… тем более что из-за постоянных дождей и страшной грязи сапоги солдат изорвались до такой степени, что некоторые из них были вынуждены идти босиком»; «ноги их так пострадали от острых камней шоссейной дороги, что они не могут нести службу». Чтобы найти выход из этой ситуации, Кутузов добился указа Александра о выдаче каждому солдату по полтине «на обувь», а главным образом — на подметки, которые «горели» на солдатских сапогах. Кутузов считал, что смотреть за состоянием обуви — прямая обязанность командиров. Начальнику 5-й колонны J1. Мальтицу он писал, что получил его рапорт и из него увидел «с ужасом, сколько в Брянском мушкетерском полку людей обосело (Мальтиц рапортовал, что половина. — Е. А.),

здесь в прочих полках, переносивших те же труды, есть босые, но в малом числе и во время растахов подчиниваются… Таких рапортов я еще ни от кого не получал. Босеть или не босеть весьма много зависит от хорошего распоряжения, ибо я о сем сужу по сравнению с другими полками»16.

«Вы видите перед собою несчастного Макка…»

Пока в русской армии решалась действительно актуальная проблема — «босеть или не босеть», в Баварии, к границам которой приблизилась армия Кутузова (и стала сосредоточиваться возле городка Браунау, что на пограничной реке Инн), произошла катастрофа австрийской армии. 27 сентября к Кутузову неожиданно явился русский посланник в Баварии барон К. Я. Бюлер. Он сообщил, что французы заняли Мюнхен, откуда ему, как посланнику враждебной Франции державы, пришлось срочно бежать. Это означало, что Наполеон зашел в тыл стоящей под Ульмом армии эрцгерцога Фердинанда (или, точнее, генерала Макка) и если не окружил ее, то наверняка разорвал коммуникации между русской и австрийской армиями. Так это и было. Наполеон неожиданным для противника резким движением своих корпусов 29 сентября занял Мюнхен и, увидав, что Кутузов к городу не подступает, оставил для обороны столицы Баварии корпуса Бернадота и Даву, а также баварскую армию, а сам двинулся к Ульму.

Опасаясь неблагоприятного развития событий, Кутузов предписал Багратиону занять позицию в Браунау и возглавить авангард армии. Отныне так именовалась 1-я колонна. Остальные колонны были на подходе к Браунау, и их стали размещать по окрестным местечкам. 3 октября Кутузов издал приказ о боевом порядке (ордер-де-баталии), согласно которому генерал-майор Багратион командовал бригадой (два полка — Киевский гренадерский и Азовский мушкетерский) правого фланга первой линии, находившейся под общим командованием генерал-лейтенанта Дохтурова. Размещенные по разным деревням полки должны были срочно, по сигналу пушки, занять свои места на поле битвы“. 5 октября Кутузов разослал приказ о тактике ведения предстоящего сражения. В приказе было особо сказано, что боевые действия нужно будет вести батальонными колоннами «как для проходу сквозь линии, так и для лучшего наступления в трудных местах». Был указан и весьма распространенный в европейских армиях способ формирования колонны из середины: «Формирование сие делать на середину баталионов, составляя

четвертой и пятой взвод на месте, а протчие, сделав по рядам налево и направо, формируют колонну». Одновременно отмечалось, что «свойственное храбрости российское действие вперед в штыки употребляться будет часто, причем примечать и наблюдать весьма строго: 1-е. Чтоб никто сам собою не отважился кричать победоносное ”Ура!“, пока сие не сказано будет по крайней мере от бригадных генералов. 2-е. Чтоб при натиске неприятеля в штыки люди не разбегивались, а держались во фрунте сколько можно. 3-е. Сколь скоро сказано будет: ”Стой! Равняйся!", тотчас остановились, тут будет доброта каждого баталиона особенно и достоинство его командира, которой предписанные сии осторожности наиболее выполнит». Наконец, особо предписывалось, чтобы в закрытых лесом местах или населенных пунктах, «не ожидая приказу генерала, выслать стрелков и закрыть себя как должно». Речь шла о том, чтобы выслать вперед колонны для уничтожения стрелков противника егерей, без промаха бьющих по удобной для них цели. Чуть позже Кутузов распорядился, чтобы командиры предупреждали солдат от преждевременных («напрасных») выстрелов боевыми патронами и запрещали стрелять без команды18.

Никаких сообщений из Ульма, кроме странного, полного неясности письма эрцгерцога от 28 сентября о готовности его армии встретить приближающегося противника, не приходило. Между тем своими маневрами Наполеон совершенно запутал Главный штаб австрийцев, отсек от Ульма их отдельные, выдвинутые по разным дорогам отряды, часть из них разбил, а часть обратил в бегство. 1 октября он с превосходящими силами появился под Ульмом и обложил австрийцев со всех сторон. Военные историки единодушны: генерал Макк оказался очень плохим полководцем. Во-первых, он не дождался Кутузова и вторгся в Баварию, причем далеко оторвался от австро-баварской границы, растянув на сотни верст свои коммуникационные линии. В момент вторжения Наполеона Кутузов находился от него в 700 верстах, русские колонны шли друг за другом с большими разрывами, так что скорого прибытия русской армии Макк ожидать не мог. Во-вторых, он вцепился в Ульм, прельстившись тамошней сильной позицией, но упустил из виду один из своих флангов вдоль Дуная, по которому и ударил Наполеон. В-третьих, Макк допустил ошибку, когда решился вырваться из Ульма в сторону Богемии, но затем передумал и вернулся обратно в Ульм. Между тем, столкнувшись с дивизией Дюпона, высланной Наполеоном для наблюдения за противником, Макк сумел ее опрокинуть, но вместо того, чтобы усилить давление и вырваться на оперативный простор, отчего-то

дрогнул. Считается, что он повернул назад, ошибочно приняв дивизию Дюпона за авангард основной армии французов, и не решился ввязаться в бой, упустив тем самым верную победу. После этого позорного возвращения в главном штабе Макка начались бесконечные споры. Эрцгерцог, опасавшийся того, что он — член императорской семьи — попадет в плен к французам, хотел прорываться в Богемию, а Макк предлагал стоять на месте и ждать подхода армии Кутузова. Разногласия так обострились, что эрцгерцог взял часть войск (18 тысяч солдат) и двинулся вместе с ними в Богемию. И он действительно сумел прорваться туда, но с истинно пирровым результатом: из 14 эскадронов Фердинанд привел с собой всего лишь четыре. Основная масса его корпуса была окружена Мюратом и Неем и сдалась на милость победителя. Но и это еще была не катастрофа. Катастрофа произошла 3 октября, когда Макк, несмотря на то, что имел под рукой армию, современную крепость и запас продовольствия, окончательно утратил волю и мужество и, встретившись с Наполеоном, подписал капитуляцию. При этом он попросил императора дать ему неделю — что называется, для очистки совести: вдруг за эти дни к Ульму подойдет Кутузов. Наполеон с радостью согласился на это условие, потому что знал точно, что Кутузов, судя по сосредоточению его войск в Браунау, раньше чем через две недели в Баварию не вступит. 8 октября, так и не дождавшись Кутузова, Макк вышел из Ульма и вместе с 23 800 солдатами и офицерами сложил оружие. Если для австрийцев Ульм стал местом позорной неудачи, то для Наполеона это был триумф — он осуществил ставшую впоследствии классической операцию, включавшую все важнейшие элементы: прекрасную рекогносцировку, четкий шин, удачное развертывание сил, точные и разящие марш-маневры, умение сделать выбор на главных направлениях и задачах, сосредоточить в нужном месте превосходящие противника силы, захватить инициативу, подавить волю противника к сопротивлению и т. д."

Будучи в полном неведении о состоянии австрийской армии, Кутузов не поддавался на уговоры австрийских генералов, находившихся при его штабе, двигаться к Мюнхену, захватить город и установить связь с эрцгерцогом Фердинандом. Он не спешил, поджидая отставшие колонны (5-я колонна Мальтица еще 2 октября была в пути и подошла не ранее 19 октября). Переход был труден, и по дороге русские войска оставили более шести тысяч больных, то есть фактически целую колонну. Но все же главное, чего ждал Кутузов, — это точная информация, которая позволила бы «соображаться с движениями неприятеля и теми сведениями, какие получу об армии эрцгерцога». 11 октября

такие сведения русский главнокомандующий получил… из уст самого генерала Макка, приехавшего в Браунау из Ульма. Не без юмора А. П. Ермолов писал, что «генерал Макк и то заслужил удивление, что скоростию путешествия своего предупредил и самую молву. Австрийская армия не имела на сей раз расторопнейшего беглеца»20. Макк явился с перевязанной белым платком головой, хотя свою рану он получил не в сражении, а во время быстрой езды в Браунау. Его карета опрокинулась, и генерал сильно ударился обо что-то головой, «однако же счастливо, что она сохранена на услуги любезному отечеству». (Отечество, впрочем, приговорило его сначала к расстрелу, замененному впоследствии пожизненным заточением в замок; через два года незадачливого Макка выпустили на свободу, и он скрылся в своем поместье.) Макк сообщил Кутузову, что 70-тысячной австрийской армии более не существует и что он отпущен Наполеоном с пропуском в Вену, чтобы лично сообщить императору Францу о катастрофе. Он советовал Кутузову отступать на левый берег Дуная, на соединение с идущим из России корпусом генерала Ф. Ф. Буксгевдена. Но Кутузов оставался в Браунау.

С падением Ульма положение русской армии из вполне благополучного неожиданно превратилось в весьма неблагоприятное. Это понимал и император Александр, писавший Кутузову: «…После бедствия австрийской армии вы должны находиться в самом затруднительном положении». Царь просил Кутузова «сохранять в памяти, что вы предводительствуете армиею русскою», а все остальное возлагал на усмотрение главнокомандующего: «Вы сами должны избрать меры для сохранения чести моего оружия и спасения общего дела». Всю надежду Александр возлагал на подход корпуса Ф. Ф. Буксгевдена, а также на пробуждение мужества у робкого короля Пруссии. Царь был страшно встревожен происходящим. В это время, находясь в Берлине, он пытался убедить короля выступить против Наполеона. Как-то ночью, вместе с прусским королем и прелестной королевой Луизой, Александр спустился в гробницу Фридриха Великого, у которой оба государя, наподобие героев романтических пьес, поклялись друг другу в вечной дружбе. В память об этом событии одна из окраинных площадей Берлина получила сохранившееся до сих пор название Александерплац.

Кутузов не исключал вероятности активных военных действий и допускал возможность своего движения в Баварию, даже хлопотал о доставке ему из Вены точных карт Баварии и знающих ее рельеф австрийских офицеров. Вместе с тем история с Макком казалась русскому главнокомандующему более чем

поучительной. Кутузов колебался — в письме А. К. Разумовскому он выразил свои сомнения так: «Слишком продвинуться вперед, в Баварию, — значило бы облегчить сильнейшему противнику возможность ударить мне в тыл и вторгнуться в австрийские владения. Оставаться же здесь долее — значит подвергнуться атакам французов с троекратно превосходящими силами и быть отброшену к столице». Сомнения его можно понять. При взгляде на карту было отчетливо видно, что если Наполеон держал все свои силы в одном кулаке, то у русских и австрийцев корпуса были «размазаны» по всей карте: армии эрцгерцогов Карла и Иоанна находились соответственно в Италии и Тироле, корпус генерала Ф. Ф. Буксгевдена был на марше от Троппау к Ольмюцу, генерал Л. Л. Беннигсен со своим корпусом шел где-то под Варшавой, гвардейский корпус великого князя Константина Павловича только что выступил из Бреста, а о скором прибытии прибалтийского корпуса генерала И. И. Михельсона даже и речи не шло. Венский совет давал Кутузову маловразумительные предписания: «Избегать поражений, сохранять войска целыми, не вступать в сражение с Наполеоном, но удерживать его на каждом шагу, давая время явиться на театр войны эрцгерцогам Карлу и Иоанну и шедшим из России корпусам». Слово «отступление» в этих документах не упоминалось, но именно о нем, в сущности, могла идти речь. В общем, подумав, Кутузов решил отойти «к правому берегу Дуная и здесь ждать событий»21.

Ловушка для маршала Франции

Наполеон, предвидя скорое вступление в войну Пруссии, решил до начала военных действий с пруссаками повторить с Кутузовым то, что он уже проделал с Макком. 15 октября он выступил из Мюнхена, и, получив известие об этом, Кутузов 17 октября издал приказ об отступлении вдоль правого берега Дуная через Ламбах, Вельс (Вельц), Эннс, Мельк и Креме, находившийся по Дунаю выше Вены верст на пятьдесят. Накануне вперед были отправлены, как тогда говорили, «тягости»: тяжелая артиллерия, госпитали и обозы, которые ушли не дальше чем на два дневных перехода. На третьем переходе армия их догнала, и такой порядок движения приводил к постоянным задержкам колонн. В Ламбахе пришлось устроить роздых, чтобы «тягости» успели отъехать подальше, дав место для движения войск.

На этот раз Багратион был назначен командовать арьергардом армии, то есть должен был отходить последним, причем конницей при нем было приказано командовать графу П.

Х. Витгенштейну, а артиллерией — подполковнику А. П. Ермолову. Резервным же отрядом командовал генерал М. А. Милорадович. Так будущие герои 1812 года оказались в одной упряжке. 19 октября в Главную квартиру приехал австрийский император. В местечке Вельс был созван военный совет, чем-то похожий на будущий военный совет в Филях. На Вельсском совете решалось: сдать столицу неприятелю, но сохранить армию, или лечь русскими костьми на подступах к австрийской столице. Что предложил императору и своим австрийским коллегам Кутузов, читатель, знающий историю 1812 года, может догадаться и сам. Император согласился с его мнением, но австрийские генералы просили Кутузова как можно дольше продержаться в Кремсе (там срочно возводились предмостные укрепления на Дунае), пока не подойдут эрцгерцоги и Буксгевден. Император Франц, в отличие от Александра в 1812 году, полагал, что сумеет как-нибудь договориться с Наполеоном, и тотчас послал к нему парламентера с предложением перемирия. Наполеон, уверенный в своих силах, заломил непомерную цену: чтобы русских в Австрии и духа не было, а австрийский император за все беспокойства, доставленные французам, уступил бы им «Деву Лагуны» — Венецию, а заодно и Тироль. Франц на такие условия пойти не мог. Судьба прекрасной Вены была решена — как известно, взятие столицы рассматривалось тогда как несмываемое пятно для опозоренной девицы.

Тем временем невольный отдых в Ламбахе возымел неприятные последствия — французский авангард настиг русских, и тут Багратион впервые сошелся на поле боя с самим Мюратом. Это произошло прямо у Вельса: когда натиск французов стал невыносим для союзного генерала Мерфельда, командовавшего всеми уцелевшими от разгрома войсками Макка, он попросил у Багратиона сикурсу, и тот бросил в бой павлоградских гусар, егерей и артиллерию. Русские и австрийцы плечом к плечу дрались пять часов, пока не стемнело. Потом союзники отошли вслед за основными силами Кутузова. Наутро бой разгорелся вновь — Мюрат хотел опередить Багратиона по пути к мосту через реку Энс, чтобы отрезать его от переправы, но павлоградцы под командой графа Орурка оказались ловчее и сумели поджечь мост за несколько минут до того, как на нем появились французы. Пальба через реку Энс была утешительна для обеих сторон, но малоэффективна.

Отступление всегда тягостно. Как вспоминал участник похода от Браунау к Аустерлицу гренадер Попадичев, «тут за всю службу в первый раз я узнал, что такое ретирада, — да и не дай Бог никому ее знать. Целый день и ночь всё идем — а ходьба-то

какая, не то идешь, не то стоишь. Шагов пять прошел и — стой! Спрашивают, что такое? Говорят: ломка, ожидай тут, стоя на ногах, покуда будут подделывать ось или починять рассыпавшееся колесо. А со светом опять иди, и если где приходится стать на биваках, — глядишь, и неприятель уже здесь! Опять пошел»22. Те же впечатления были и у однополчан Бутовского: «При сих движениях до Дуная наши солдаты, ненавидя всякое отступление, говаривали: “Тьфу, пропасть! Все назад, пора бы остановиться”, — и вестимо, пора, отзывались другие, да наш-то дедушка выводит Бонапартию из ущелья»23. Отступление русских не входило в планы австрийских провиантмейстеров, так щедро снабжавших русские полки с начала кампании и тем самым поддерживавших в них дисциплину. С началом же отступления все переменилось. Как говорили бюрократы нашего века, «пищевой голод» поразил войска, что тотчас отразилось на дисциплине: голод — не тетка и даже не полковой командир. Попадищев деликатно, чтобы не обидеть своих командиров, сказал об этом: «Приказано было жителей не грабить, а съестные припасы разрешалось брать». Грань между «грабить» и «брать» весьма тонкая. Но дальше все становится на свои места: «Кто проворен, тот был сыт, а кто вял, да ленив, тот голодный у огня сидит»24. Таких «проворных» становилось так много, что Ермолов писал: «В продовольствии был ужаснейший недостаток, который дал повод войскам к грабежу и распутствам; вселились беспорядки, и обнаружилось неповиновение. От полков множество было отсталых людей, и мы бродягам научились давать название мародеров: это было первое заимствованное нами от французов. Они собирались толпами и в некотором виде устройства (в смысле — шайки. — Е. А.), ибо посланный один раз эскадрон гусар для воспрепятствования грабежа видел в них готовность без страха принять атаку. Конница нередко внимательна к подобной решительности. Австрийский император… отправился в обратный путь. Повсюду сопровождали его отчаяние и вопль жителей, которых до прибытия французов оставляли мы нищими. Он свидетелем был опустошения земли, и уже не зависело от него дать помощь. Жителям Вельса советовал он прибегнуть к Наполеону, в великодушии которого найдут они пощаду». В этом они, конечно, могли сомневаться. Как пишет Ермолов, первый натиск французов под Ламбахом не был силен, «ибо (их) войска, не имевшие продовольствия, разбросались по дороге и производили грабеж»25. Французы вообще прославились грабежами даже больше, чем армии других стран, — у них это был основной принцип обеспечения, называвшийся «реквизиционным».

Достигнув Энса в том месте, где одноименная река впадает в Дунай, Кутузов решил создать небольшой укрепленный район и продержаться там в обороне, благо позиция была удобна: по фронту протекала река Энс, а правый фланг выходил на Дунай. Но тут Наполеон сбил австрийцев Мерфельда, которые прикрывали левый фланг русской армии у моста через Дунай в Штейере. Тогда, опасаясь флангового охвата, Кутузов начал отступать к Амштетену вниз по течению Дуная. Ситуация для русских осложнилась двумя неприятными обстоятельствами. Во-первых, получив приказ из Вены, ушел на защиту ее мостов корпус генерала Мерфельда, оставив лишь небольшой отряд хорватов под командой генерала Ностица. Но Мерфельд недалеко ушел от Штейера — скоро его настиг Даву, который проселочными короткими дорогами опередил австрийцев и встретил их перед Веной. Несчастный Мерфельд, проклиная венских начальников, решил пройти к Вене южнее, но Даву и тут не давал ему покоя, пока австрийский генерал не потерял всю артиллерию и большую часть солдат и с жалкими остатками некогда сильного корпуса укрылся в Венгрии. Словом, союзника, столь нужного в создавшемся положении, у Кутузова уже не было.

Во-вторых, Наполеон начал готовить самому Кутузову, намеревавшемуся перейти Дунай в Кремсе, неприятный сюрприз. По его приказу маршал Мортье устремился к Линцу, стоящему на Дунае выше Кремса, с тем чтобы быстро восстановить разрушенный русскими мост, перейти со всем корпусом Дунай, затем по левому, крутому берегу быстро двинуться к Кремсу, послав разведку на лодках, и опередить идущего туда по правому берегу Кутузова. Замысел был тонкий и смертельно опасный для русской армии — она оказалась бы отрезанной от мостов через Дунай. Один мост был в Кремсе, а другой уже в Вене, к которой приближались французы.

Но это были планы на завтра, а пока, 24 октября, Мюрат большими силами вновь напал на Багратиона у Армштетена. Здесь славные гусары-павлоградцы в компании с хорватами и гессен-гомбургскими гусарами срубились с кавалерией будущего Неаполитанского короля. На этот раз натиск Мюрата был так силен, что, несмотря на все усилия Багратиона, его отряд, понеся большие потери, начал отступать «в нестройных толпах». Обеспокоенный положением Багратиона, Кутузов приказал Милорадовичу идти ему на помощь, точнее — сменить обескровленные и расстроенные части Багратиона и стать арьергардом. Тут-то и произошла страшная рукопашная схватка, которой еще не знала эта война. Гренадеры Милорадовича яростно бросились в штыки на гренадер Удино и сбили их.

Сражение было столь ожесточенным, что раненые возвращались в бой после перевязки, а русские пленные, как говорили французы, яростно кидались на конвойных, что вообще не характерно для поведения пленных26. Французов удалось остановить только на время, и уже к вечеру 24 октября они настигли Милорадовичау Мелька, только что пройденного основной армией Кутузова, которая подошла к Кремсу. Завязалось новое «жаркое дело», причем на этот раз Наполеон решил, сбив Милорадовича, прижать Кутузова к Дунаю, а затем, с подходом корпуса Мортье по правому берегу к Кремсу, взять русских в клещи. Кутузов, видевший, как по правой стороне Дуная двигаются французские войска, плюнул на обещание императору Францу оборонять правый берег Дуная и не мудрствуя лукаво 28 октября перешел с основными силами на левый берег. Тем временем Милорадович, выдержавший натиск французов, развел в сгустившейся темноте «весьма большие огни», должные изображать бивачный лагерь «несметного войска», а сам отошел к Дунаю и утром, переправившись вслед за Кутузовым, сжег «прекраснейший на Дунае мост»27.

Выскочив из ловушки и «положив Дунай между собою и неприятелем», Кутузов вежливо объяснился с австрийским императором: «Неотступное в последние дни преследование за мною неприятелей подавало мне повод думать, что они хотят напасть на нас или имеют особенные замыслы с левого дунайского берега. В самом деле, я не ошибся. Перейдя на левую сторону реки, увидели мы в виноградниках французских стрелков и взяли их до 40 (человек). Все они показали, что принадлежат к корпусу, который перешел Дунай в Линце и спешил к Кремсу в намерении поставить меня между двумя огнями. Одно сие обстоятельство оправдывает мое отступление… Смею уверить Ваше величество, что, в полном смысле слова, я оспаривал у неприятеля каждый шаг. Доказательством служат кровопролитные авангардные дела. Но мне было невозможно останавливать долее Наполеона, не вступя в генеральное сражение, что было бы противно данным мне Вашим величеством повелениям». Ермолов вспоминал, что после столь успешного отхода войска Кутузов «приобрел полную его доверенность. Начальники не были довольны его строгостью, но увидели необходимость оной и утвердились в уважении к нему». Правда, не все: как-то, на одном из совещаний, видя пренебрежительные мины генералов, Кутузов сказал: «Вижу, господа, что я говорю вам на рабском языке». Но было трое генералов, которых он выделял, — Дохтуров, Багратион и Милорадович, причем «последние два доселе были одни действующие и наиболее

переносили трудов, словом, на них возлежало охранение армии»28. Впрочем, вскоре и Дмитрию Сергеевичу Дохтурову настал черед отличиться.

Взятые в плен французские стрелки, сошедшие с лодок пограбить местных жителей, показали, что дивизия Газана из корпуса маршала Мортье движется уже у Дирнштейна, а с разницей в полперехода (то есть 12 верст) за ней по берегу идет дивизия Дюпона. Этому можно поражаться — Мортье сумел за короткий срок преодолеть длинный и тяжелый путь по левому берегу Дуная, по узкой дороге, точнее, по извилистой тропе, зажатой между берегом реки и крутым горным склоном. Он почти опередил Кутузова, который прошел по более удобной и широкой дороге вдоль правого, равнинного берега Дуная. Но война не прятки, и «почти» тут не считается. За опоздание обычно платят кровью.

Нужно отдать должное Кутузову, который не только отступал, но и размышлял о контратаке. Он понял, что французы по самонадеянности неожиданно поставили себя в тяжелое положение: из дичи, преследуемой Мортье, он, Кутузов, сам превратился в охотника. Наполеон и его могучая армия находились на правом берегу Дуная, а Мортье — в одиночестве на левом. И Кутузов решил наказать маршала. Австрийский генерал-квартирмейстер Шмидт, уроженец Кремса, предложил провести русские полки горами к берегу Дуная в районе Дирнштейна в тыл дивизии Газана и отрезать ее от дивизии Дюпона, шедшей по дороге от Линца. Между прочим, замок Дирнштейн — место, памятное в мировой истории. В XII веке возвращавшийся из крестового похода английский король Ричард Львиное Сердце был перехвачен людьми австрийского герцога Леопольда и тайно заключен в этот замок, где и просидел пять лет!

Двадцать девятого октября в поход горами к Дирнштейну был отправлен Дохтуров с шестнадцатью батальонами пехоты, двумя эскадронами гусар и пушками. Милорадович должен был сдерживать Мортье в виноградниках на подступах к Штейну — предместью Кремса, а Багратион со своим отрядом выполнял роль обсервационного корпуса, наблюдая за дорогами от Кремса.

Не все получилось так, как было задумано, что и не мудрено на войне, — известно, что «все главные события войны происходят на сгибе карты». Дорога через горы оказалась всего лишь тропой, причем довольно узкой и крутой. Пришлось оставить кавалерию и пушки, «одну лишь верховую лошадь Дохтурова люди вытаскивали на руках и переносили с утеса на утес». Так войска пробирались всю ночь и почти весь день. Хотя

австрийцы обещали, что к Дунаю войска выйдут утром 30 октября, на самом деле вышли они к берегу реки уже в темноте, вечером того же дня. К этому времени Мортье яростно атаковал Милорадовича на подходе к Штейну. Завязался кровопролитный (по словам бывшего там Ермолова — «жесточайший») бой, который стал стихать только к вечеру. И Милорадович, и Кутузов были обеспокоены — Дохтуров как сквозь землю провалился. Да и сам Дохтуров беспокоился. «Время убегало, — вспоминал Бутовский, — это ужасно сердило всех, от генерала до последнего солдата. Немецких вожатых проклинали». Наконец из района Дирнштейна послышалась орудийная пальба — это Дохтуров начал спуск с гор и сразу же напал на стоявший там французский отряд. Мортье, узнав, что противник оказался сзади него, направил туда драгун, но их попытка прорваться не удалась, и Мортье понял, что попал в окружение. На военном совете генералы предложили ему бежать на правый берег Дуная в лодке: маршал Франции не может сдаваться в плен! Но Мортье решил прорваться или умереть. Он стал пробиваться к Дирнштейну, бросив Милорадовича, и тот немедленно последовал за ним вдоль берега Дуная. А в это время в окружении оказался сам Дохтуров. Из-за того, что он опоздал на полсуток, от Линца к Дирнштейну уже подошла дивизия Дюпона. Последний сразу же, поняв отчаянное положение Мортье, попавшего меж двух огней, бросился ему на помощь и вступил в схватку с русскими мушкетерами Вятского полка, которому Дохтуров приказал отстаивать тыл своих основных сил, сражавшихся в это время с Мортье. Словом, как тогда писали, «пошла потеха»: Мортье был в окружении русских Дохтурова, но и Дохтуров был окружен Мортье и Дюпоном. Темнело, начался дождь, поле сражения освещалось только вспышками выстрелов. Дюпон, уничтожив целый батальон вятчан и захватив знамя полка, прорвался в городок. На тесных улицах Дирнштейна и вокруг него началось настоящее побоище. Потом Дюпон напишет: «Самый убийственный огонь кипел на дунайском берегу и в горах. Где только позволяло место, войска кидались в штыки. Твердость русских равнялась мужеству французов. И те и другие смешивались в отчаянных ручных схватках». Мортье с саблей в руке все-таки сумел прорваться навстречу Дюпону и спастись. Русские по праву праздновали победу, первую и довольно яркую: было взято пять пушек, штандарт и знамя, в плен попали один генерал, 1500 солдат и офицеров. А ведь это были победоносные воины непобедимого Наполеона! Как сообщает И. Бутовский, «когда кончилось кровопролитье, у наших солдат начался торг: один продавал часы или дорогие ножи, табакерки, другой —

шелковые вещи или белье, многие носили богатые пистолеты, палаши и предлагали неприятельских лошадей. Оценка лошадей с седлом и вьюком была скорая — пять австрийских гульденов или рубль серебра за каждую, за немногих только получали по червонцу. Некоторые хвалились чересами (кушаками. — Е. А.) с золотом, отвязанными у пленных и убитых французов… Мы с триумфом возвратились в город (Креме. — Е. А.), сопровождаемые по дороге криками восторга жителей: “Браво, Русь, браво!”»29.

Мортье, спасаясь от плена, перебрался на правый берег Дуная, увозя с собой раненых и артиллерию. Кутузов добился главного — левый берег Дуная остался за ним, и ему казалось, что теперь можно спокойно поджидать подхода армии Буксгевдена. После позора Ульма победа при Кремсе была бальзамом на душу австрийцев. Император Франц удостоил Кутузова высшей награды империи — ордена Марии Терезии первой степени.

Не доверяй французу на слово!

Отдыхнуть в Кремсе армии Кутузова не удалось — против него действовал противник умнейший и азартнейший. Наполеон придумал новый, совершенно неожиданный ход. Он догадался, что, засев в Кремсе — удобном в стратегическом отношении месте, Кутузов останется здесь надолго. Так пусть он останется здесь навсегда! Наполеон оставил на своем берегу Дуная, как раз напротив разрушенного моста в Кремсе, два корпуса (Бернадота и Мортье), предписав им готовиться к переправе, а сам 31 октября с корпусом Даву и гвардией стремительно рванулся к Вене, дотоле никогда не видавшей на своих улицах завоевателей. 1 ноября он занял столицу империи — как будто между делом, исключительно для того, чтобы переправиться через Дунай по единственному мосту и настигнуть отдыхавшего Кутузова. Конечно, все были уверены, что комендант Вены князь Ауерсберг взорвет этот мост, уже приготовленный для уничтожения по всем правилам минного дела. Так, наверное, и произошло бы, если бы караулы, да и сам стоявший на мосту Ауерсберг заподозрили неладное. Но вместо перебегающих с места на место передовых французских стрелков — верного свидетельства приближения противника — к мосту подскакали с белыми платками в руках два маршала Франции, Мюрат и Ланн, в сопровождении всего нескольких всадников, и еще издали стали кричать коменданту, чтобы он не взрывал мост, так как уже заключено франко-

австрийское соглашение о перемирии. Опешивший от появления на мосту будущего Неаполитанского короля, как всегда невероятно разряженного, князь Ауерсберг принялся расспрашивать Мюрата и Ланна об условиях перемирия, поверив их клятвам честью. В этот момент на мосту внезапно появились французские солдаты, которые отобрали у австрийских часовых — словно у школьников — зажженные фитили, готовые для подрыва моста. Коменданту Вены со своим отрядом пришлось поспешно бежать от невзорванного по его же наивности и глупости важнейшего стратегического объекта. А между тем, всем было известно, какое честное слово может быть у сына трактирщика и сына конюха, презиравших всю эту обветшалую феодальную Европу. Позднее, в императорской инструкции Кутузову, написанной в мае 1812 года, в частности, говорилось: «Коварная политика настоящего французского правительства, коей следуют и генералы французские, довольно уже соделалась известною. Они часто, находясь сами в крайности и искусно скрывая таковое свое положение, предлагают перемирия под разными благовидными предлогами и по наружности кажущимися для обеих армий полезными, а в существе или для того, чтоб дать время поспеть идущему к ним подкреплению, или чтоб в продолжение самого перемирия занять какое-либо выгодное место и даже напасть на своего неприятеля, а потому всячески должно удаляться от подобных соглашений, разве собственная польза для армии нашей того требовать будет, да и тогда, не полагаясь нимало на существующее перемирие, будьте всегда в готовности и крайне остерегайтесь внезапного нападения»30. Жаль, что князь Франц Ауерсберг, насквозь пропитанный аристократическими предрассудками и представлениями о дворянской чести, не читал подобной инструкции! Может быть, тогда он не позволил бы обвести себя вокруг пальца, как десятилетнего ребенка.

Следом за Мюратом и Ланном на мосту появился сам Наполеон. Он поздравил своих маршалов-жуликов и приказал их корпусам срочно переходить Дунай и двигаться по дороге на Цнайм (Знаймо), чтобы разорвать коммуникацию Кутузова с Буксгевденом. Одновременно Бернадоту и Мортье, стоявшим напротив Кремса, было приказано наладить переправу через Дунай, чтобы приготовить для русского полководца такие же «клещи», которые тот совсем недавно устроил Мортье. О замысле Наполеона Кутузов узнал в тот же день. Он понял, что почивать на лаврах в Кремсе ему никак нельзя и что «для спасения единственное средство — необыкновенная скорость».

Между тем «предстояла глубокая осень, переходы тяжелые, и

почти нельзя было сомневаться, что мы потеряем большую часть артиллерии и тягостей», — писал Ермолов.

Русский Леонид

В ночь с 1 на 2 октября, несмотря на тьму и дождь, армия Кутузова, по традиции бросив в городе больных и раненых, двинулась по дороге на Цнайм. Этот городок находился на перекрестке двух дорог. Одна тянулась к Кремсу — по ней как раз и отходила русская армия, другая вела к Вене, и по ней наступал Наполеон. Кутузов боялся, что французы могут опередить его и перекрыть движение навстречу армии Буксгевдена. Поэтому он предусмотрительно распорядился, чтобы колонна Багратиона перешла с кремсской на венскую дорогу и встала на пути французов у придорожной деревни Голлабрюн. Багратиону было приказано стоять насмерть, пока основные силы армии не пройдут Цнайм. Получив приказ, князь Петр поднял только что остановившиеся для биваков войска и ночью, под дождем, по бездорожью, через виноградники и овраги перешел на венскую дорогу. Утром 3 ноября его отряд встал у Голлабрюна. При дневном свете Багратион провел рекогносцировку и, увидев, что позиция у Голлабрюна слаба, оставил там в качестве прикрытия гессен-гомбургских гусар Ностица и два казачьих полка, а сам отошел к безвестной до этого часа деревне Шёнграбен, название которой навсегда вошло в учебники русской военной истории как наши Фермопилы. И Кутузов, и сам Багратион понимали, что отряд его скорее всего будет уничтожен под Шёнграбеном. Накануне, 2 ноября, Кутузов писал императору Александру, что приказал колонне Багратиона, «ежели она там будет атакована, подержаться столько, чтобы я мог по другой дороге ее миновать и не быть отрезану. Я от себя не скрываю, что могу на сем маршу потерять усталых может быть до тысячи человек, — продолжал он, — но спасти должно целое, буди возможно будет»31. Та же мысль лежала в основе плана шёнграбенского сражения, как он отразился в военной истории: за счет части (отряда Багратиона) «спасти должно целое» (всю армию).

По словам А. С. Норова, Кутузов на прощание перекрестил Багратиона, ибо «подлинно крестный подвиг предстоял ему». Это знали все, продолжал Норов, «от генерала до солдата… Багратион перед боем в предварительном совещании со своими офицерами, подобно царю Спартанскому, прямо глядел в глаза смерти». Историк Михайловский-Данилевский детализирует этот эпизод (источник его неизвестен): «Готовясь сражаться до

последней капли крови, князь Багратион, по обыкновению своему, как всегда делывал он перед сражением, собрал к себе генералов и полковых начальников и дружески разговаривал с ними о различных случаях, могущих представиться, пока Кутузов успеет вывести армию на безопасный путь. Во время беседы, где в полном блеске явилась воинская предусмотрительность князя Багратиона, дали ему знать о приближении французов». Известно стало и о том, что граф Ностиц отступает от Голлабрюна. Оказывается, подошедший Мюрат решил проделать с русскими тот же фокус, что и с генералом Ауерсбергом: он послал письмо к Ностицу с известием, что между императорами Францем и Наполеоном якобы заключен мир, почему французы так легко и прошли Вену. Ностиц поверил Мюрату и начал отходить к Шёнграбену. Как ни тщился Багратион объяснить австрийскому генералу, что это военная хитрость, обман — ничего не помогало. Ностиц, как писал потом Кутузов, «во время самого сражения перестал войсками своими действовать и сие объявил князю Багратиону»32. Норов, опираясь на чьи-то воспоминания, сообщал, что «напрасно князь Багратион старался доказать Ностицу всю нелепость Мюратовых слов, ставя в пример поступок князя Ауерсберга. Ностиц предпочел поверить Мюрату, и говорят, будто Багратион, плюнув, отворотился от него, взял своих казаков и велел готовиться к бою»33.

Так Багратион в ответственнейший момент обороны остался без союзных полков. Меж тем обстоятельства для него и всей армии складывались самые неблагоприятные: как раз в этот момент за спиной Багратиона, невдалеке, по кремсской дороге, проходила (точнее — еле тащилась) вся армия Кутузова, чрезвычайно уязвимая в случае прорыва Мюрата. 3 ноября Кутузов писал Александру: «Истребление отряда князя Багратиона было неминуемо, равно как и разбитие самой армии, потому что близость расстояния от аванпостов отнимала средство к скорой ретираде, а изнурение солдат от форсированных маршей и биваков соделывало их неспособными устоять даже в сражении. Счастье, сопутствующее всегда оружию Вашего величества, представило и тут средства, через которые спасена армия»34.

Что имел в виду Кутузов? Счастье русского оружия в данном случае заключалось в глупости Мюрата. Дело в том, что тот, пришедший с конным авангардом и увидав русскую армию, не решился атаковать ее с ходу, так как пехота его корпуса еще была в пути. К тому же, как стало известно, дождь и ветер помешали Бернадоту и Мортье навести мосты через Дунай и «уцепиться за хвост» Кутузова с тыла. Мюрат решил повторить свой фокус с обманом насчет франко-австрийского перемирия. Он надеялся,

что в силу условий перемирия русская армия останется на месте, а тем временем подтянутся войска от Вены и от Кремса. Для этого маршал прервал начавшуюся было перестрелку и послал к Багратиону парламентера с предложением вступить в переговоры. Получивший от Багратиона известие о предложениях Мюрата, Кутузов легко понял замысел «неаполитанского хитреца» и решил обмануть обманщика. К тому времени Кутузов знал, что таким же образом французы чуть было не задурили голову любившему покрасоваться перед неприятелем Милорадовичу. Тот был оставлен на берегу Дуная, у Кремса, прикрывая тылы отходящей армии, и едва не отдал им мост через Дунай. Поддерживая игру Мюрата, Кутузов послал генералов Винценгероде и Долгорукова к Мюрату: «переговорить, — как он писал потом, — чтобы чрез несколько дней перемирия, хотя мало выиграть время, поручив им и кондиции, ежели возможные и нас ни к чему не привязывающие, постановить, полагаясь во всем на них, ибо нельзя потерять ни минуты. Теперь ночь, и я корпусом армии подымаюсь и иду двумя дорогами в Лейхвиц (Лехвиц. — Е. А)»35. Вскоре Винценгероде и начальник главного штаба Мюрата генерал Августин Даниэль Беллиард подписали акт о перемирии, цена которому была не больше цены листа бумаги, на котором он был написан. Русские обещали уйти из Австрии тем же путем, что и пришли туда. Обе армии должны были стоять на месте недвижимо до утверждения перемирия Наполеоном и Кутузовым. В том случае, если акт утвержден не будет, стороны обещали известить друг друга о начале боевых действий за четыре часа. Даты были проставлены две: по принятому во Франции революционному и общеевропейскому календарям: «24 брюмера года четырнадцатого (ноября 15 года 1805)».

Капитуляция или перемирие? В последние годы историк О. В. Соколов, опираясь на французские источники, высказал мысль, что Мюрат попался на хитрость, к которой прибег сам при овладении мостом через Дунай, но только его переговоры с представителем Кутузова генералом Винценгероде шли не о перемирии, а о капитуляции русской армии. Автор пишет: «… Самым важным свидетельством является текст документа, который, в конечном счете, был подписан с одной стороны начальником штаба Мюрата генералом Бельярдом, с другой стороны генерал-адъютантом Александра / бароном Винценгероде. Этот текст был опубликован в сборнике “М. И. Кутузов ” на русском языке (в подлиннике он на французском). Сохранился ли подлинник — неизвестно (1приметим это утверждение автора. — Е. А.), но его копия хранится в Архиве исторической службы французской армии. Сравнивая текст

архивного документа с опубликованным в сборнике переводом, можно отметить, что бумага, подписанная Бельярдом и Винценгероде, переведена, в целом, правильно. Однако изменена только одна фраза, которая меняет не только всю суть документа, но и всю суть того, что произошло под Шенграбеном. В сборнике документ называется “Текст предварительного перемирия между русскими и французскими войсками”, а в архивном варианте значится следующее: "Капитуляция, предложенная русской армии 1V7. Иначе говоря, исследователь ставит под сомнение добросовестность публикаторов сборника «М. И. Кутузов», совершивших будто бы таким образом подлог. Но дело в том, что подлинник документа на французском языке в РГВИА сохранился (его можно легко найти в фонде по сноске в сборнике «М. И. Кутузов»), и переведен он для сборника точно. А. И. Сапожников, видевший подлинник на французском языке, считает, что если бы речь шла о капитуляции, то и в русских архивах должен был быть подписанный переговорщиками идентичный французскому текст именно капитуляции, тогда как в Российском государственном военно-историческом архиве сохранился (и позже опубликован в переводе на русский язык) подлинный текст именно «Предварительного перемирия». Вообще, О. В. Соколов, с точки зрения классического источниковедения, поступил некорректно. Он был обязан сопоставить документ французского архива не с публикацией в русском переводе, а с подлинником из российского архива, и полностью опубликовать текст документа из французского архива, который он почему-то называет «копией», чем окончательно запутывает дело. Известно, что подобные документы, согласно международному праву, подписываются двумя сторонами одновременно, оба документа должны быть идентичны по содержанию, подписаны одними и теми же лицами, и оба считаются подлинниками. И тут важно было бы провести палеографическое и почерковедческое исследование обоих документов — нет ли фальсификации подписей официальных лиц, что и решило бы проблему возможного подлога, совершенного одной из сторон уже после событий под Шенграбеном.

Ну а если автор прав и документ называется «Капитуляцией»? Но, судя по содержанию, в нем говорится совсем не о капитуляции (то есть о полном прекращении военных действий с условием сдачи противника в плен и сложения им оружия), а именно о перемирии, понимаемом как временное прекращение огня на определенных сторонами условиях. Даже приведенная автором цитата из донесения Мюрата Наполеону говорит как раз о перемирии: «Мне объявили, что прибыл господин

Винценгероде. Я принял его. Он предложил, что его войска капитулируют. Я посчитал необходимым принять его предложение, если Ваше величество их утвердит. Вот его условия: я соглашаюсь, что не буду больше преследовать русскую армию при условии, что она тотчас же покинет по этапам земли Австрийской монархии. Войска останутся на тех же местах до того, как Ваше величество примет эти условия. В противном случае за четыре часа мы должны будем предупредить неприятеля о разрыве соглашения». О. В. Соколов заключает: «Таким образом, Мюрат согласился не на перемирие, а на капитуляцию русских войск»3". Но выделенное выше (как и весь текст соглашения) — не есть условие капитуляции! Согласно подписанным условиям русские войска не сдавались, а поэтапно отходили с территории Австрии! О «капитуляции» на таких условиях Макк мог бы только мечтать — получив подобную бумагу, он бы попросту отошел из Ульма, а не складывал бы оружие и не отдавал бы без боя знамена своих полков. Вообще, в изложении автором шёнграбенской истории есть некий «разоблачительный» момент. Автор пишет о том, что якобы «под пером русских историков» Шенграбенское сражение превратилось «из героического эпизода в некую фантасмагорическую битву, где горсть героев косит ужасающими ударами несметные полчища неприятелей», и приводит в качестве иллюстрации цитату из «Писем русского офицера» Федора Глинки, который среди историков не числится. И далее, изложив историю появления «капитуляции», автор пишет, что вся идея была задумана Багратионом, «которому необходимо было любой ценой ввести в заблуждение Мюрата. Да, действительно, Мюрат попался на хитрость, подобно той, которую он и Ланн применили, чтобы провести австрийцев. Однако Багратиону пришлось пойти дальше, чем французским маршалам. На предложение перемирия Мюрата не удалось купить». Поэтому был послан Винценгероде, который и предложил капитуляцию, от которой «у пылкого гасконца от торжества тщеславия атрофировался разум». Получается, что Багратион поступил с Мюратом еще более низко, чем Мюрат и Ланн с князем Ауэрсбергом в Вене, — он обещал сложить оружие, а сам обманул Мюрата. Никаких оснований для подобного утверждения у нас нет. Во-первых, инициатором переговоров о перемирии с Мюратом был сам Кутузов, пославший Винценгероде и Долгорукова, а во-вторых, само по себе предложение перемирия не было обманом — в отличие от выходки Мюрата и Ланна.

Вероятно, в момент подписания перемирия Мюрат с Беллиаром были довольны произошедшим и ждали ответа от

Кутузова, который в этой ситуации должен был утвердить соглашение. Но радость их оказалась недолгой. Кутузов не отвечал на предложения о перемирии двадцать часов, то есть почти сутки, и за это время успел увести армию на два перехода от Цнайма. Наполеон же, получив в Вене для утверждения плод дипломатического искусства Мюрата, пришел в бешенство. Он понял, что Кутузов провел его маршала-простака, и соблюдать условия перемирия — то есть стоять на месте — не будет, а постарается уйти как можно дальше. И. Бутовский, офицер Московского полка, шедшего в хвосте колонны, вспоминал тот тревожный вечер: «Мы простояли так, не сходя с места около двух часов, огней разводить не дозволяли. Наконец, показался перед фронтом Кутузов и к удивлению скомандовал в полголоса всем войскам налево кругом, с поворотом мы стали лицом к наступающему неприятелю, и Московский полк превратился в авангард». Но это перестроение не предполагало начала наступления, просто русскому командованию стал известен более короткий путь, уводивший от опасного отрезка дороги у Шёнграбена. Пройдя две версты по дороге на Креме, уже в сгустившихся сумерках, армия вдруг свернула вправо и пошла по узкой тропинке через овраги, ручьи, перелески. Запрещалось шуметь, дорогу освещали какими-то особыми «потаенными фонарями». «Часа за три до рассвета, — писал Бутовский, — стали подниматься на высоту, где открылась обширная площадь, тут немцы указали нам Голлабрун и Шёнграбен, окруженные французскими бивачными огнями на расстоянии от нас около пятнадцати верст». Только заведя армию за вершину покатой горы, солдатам разрешили отдохнуть, развести огни, «которые не могли быть видимы неприятелю». Сидя в безопасности у костров, солдаты и офицеры говорили о тех своих товарищах, которые остались там, где сияют бивачные огни французской армии: «И не было в рядах ни одного солдата, который не молил бы Бога о его (Багратиона. — Е. А.) спасении»31.

Примерно в это время император французов писал Мюрату: «Не могу подыскать выражений, чтобы выразить вам свое неудовольствие. Вы начальствуете только моим авангардом и не имеете права заключать перемирия без моего приказания. Немедленно уничтожьте перемирие и атакуйте противника». Не доверяя до конца дело Мюрату, Наполеон сам сел в карету и помчался в Голлабрюн. Выволочку получил и затянувший с переправой через Дунай Бернадот, который должен был уже давно идти по кремсской дороге вслед за русской армией.

Получив гневное письмо Наполеона вечером 4 ноября, Мюрат объявил Багратиону о прекращении перемирия и, не дожидаясь

условленных четырех часов, начал обстрел, а потом атаку его позиций. Между тем Багратион все-таки рассчитывал еще на четыре часа жизни. Численное преимущество было на стороне французов; кроме удара непосредственно на дороге через Шёнграбен, они стремились охватить русских слева и справа. Багратион потом писал, что «главная цель его (неприятеля. — Е. А.) была отрезать меня от армии… и истребить вовсе». Уточним: главной целью французов было все же стремление догнать армию Кутузова, а для этого нужно было сбить с дороги препятствие в виде шеститысячного отряда Багратиона. Но это оказалось непросто. Во-первых, удар во фронт сразу не удался, так как артиллеристы Багратиона зажгли Шёнграбен и двигаться среди горящих домов французам Удино было невозможно — могли загореться и взорваться патронные и зарядные ящики. Так удалось задержать французов хотя бы на два часа. Во-вторых, попытка обойти Багратиона справа натолкнулась на успешное сопротивление егерей бригады К. К. Уланиуса. Но французы напирали («неприятель теснил его, и теснил крепко»), Багратиону пришлось начать отходить по дороге, постоянно останавливаясь и отражая нападения конницы Мюрата и пехоты Сульта и Ланна. В какой-то момент, когда французам удалось охватить огненным кольцом идущие слева от дороги полки, Багратион решил пожертвовать частью своих войск — подобно тому, как пожертвовал его отрядом Кутузов: «…ретируясь назад по дороге, оставлен был при вышеписанной дороге баталион Новгородского полка и 6-го егерского полка баталион же для вспомоществования левому флангу, которой был уже со всех сторон окружен неприятелем». В окружение попал генерал-майор Селехов, который, «преодолев все неудобства, приказал по-прежнему отступать назад побаталионно и, несмотря на превосходство неприятеля, принудил его штыками и выстрелами очистить себе дорогу». Так было написано в рапорте Багратиона Кутузову. Ермолов, очевидец происшедшего, описывает не столь героическое поведение Селехова. Воспользовавшись временным затишьем, генерал послал солдат за дровами и водой, намереваясь «сварить каш» своему оголодавшему воинству. Но французы внезапно возобновили наступление, и Селехов, вместо того чтобы отступать, напрасно ждал ушедших в ближайший лес солдат. В итоге он попал в окружение, его полки храбро сопротивлялись, но были разбиты, потеряли знамя и все пушки. «Причиной столь чувствительной потери, — писал Ермолов, — было невежество в ремесле своем генерал-майора Селехова». Дело исправил майор 2-го батальона Киевского гренадерского полка Экономов. Он сумел оказать сопротивление неприятелю, что и

позволило остаткам левого фланга ретироваться с поля боя в порядке и затем соединиться с Багратионом, который (как он сам писал в рапорте) не имел «о нем никакого известия»40. Так же и Кутузов долго не знал о судьбе Багратиона. Он писал потом царю, что отряд князя Багратиона был оставлен «на неминуемую гибель для спасения армии». И правда — за этот героический марш Багратион дорого заплатил: почти половина его отряда — от двух до трех тысяч человек — была убита и ранена, причем большинство раненых оставили лежать и умирать в темноте и холоде на грязной проселочной дороге — таковы были тогдашние суровые законы войны. Были брошены также почти все орудия. Тем временем спустилась ночь, и прибывший к месту сражения Наполеон дал войскам приказ остановиться.

Багратион же продолжал отступление и за два дня, с короткими остановками, настиг стоявшую в Погорлицах армию. Появление там остатков героического отряда Багратиона было поистине триумфальным: «Армия наша ликовала соединению с нею князя Багратиона благодарственным молебном как победе»41. Багратион, который во время всей операции вел себя, как обычно, хладнокровно, внушая уверенность войскам, привел в Погорлицы не только остатки свого отряда, но и 50 пленных, а также французское знамя — первый почетный трофей той войны. По сведениям Михайловского-Данилевского, Кутузов выехал навстречу Багратиону, обнял его и сказал: «О потере не спрашиваю, ты жив — для меня довольно!»42 Возможно, так это и было. Смысл сказанного был важен для Багратиона, как для каждого отступившего с поля боя командира: ведь его отряд понес ужасные потери, французы захватили знамя одного полка, восемь пушек из одиннадцати были брошены или захвачены неприятелем, масса имущества растеряна по дороге — за это могли и спросить, ибо армейская бюрократия и в Австрии оставалась бюрократией!

Известно, что 7 ноября, подводя итог этой смертельной операции, главнокомандующий написал царю: «Хотя я и видел неминуемую гибель, которой подвергался корпус князя Багратиона, не менее того я должен бы считать себя счастливым спасти пожертвованием оного армию»43. В Вене и Петербурге по достоинству оценили подвиг «дружины героев» — так назвали австрийцы отряд Багратиона. Все знали, что у Багратиона было 6 тысяч человек, а у французов — 20 тысяч. (О. В. Соколов считает, что русских было 7 тысяч, а французов около 16 тысяч человек.) Сам полководец, по представлению Кутузова, стал генерал-лейтенантом. По-видимому, Кутузов сказал ему об этом сразу, ибо свой рапорт от 5 октября Багратион подписал так: «Генерал-

лейтенант к. Багратион». Кроме того, князь Петр Иванович получил высший для военных орден Святого Георгия 2-го класса, минуя 4-й и 3-й классы, а император Франц наградил его редкой для русских военных наградой — командорским крестом Марии Терезии. (Впрочем, по мнению И. С. Тихонова, факт этот документально не подтверждается: возможно, исследователи путают эту награду с орденом Марии Терезии, полученной Багратионом ранее за Италийский поход 1799 года.) Нужно отдать должное тонкому пониманию Кутузовым армейской субординации. В рапорте Александру о геройстве Багратиона Кутузов попросил дать чин генерал-лейтенанта и отличившемуся при Кремсе генерал-майору Милорадовичу, чтобы между полководцами не возникло местничества — ведь Милорадович был «старее» в генералах, чем Багратион. Для солдат и унтер-офицеров отряда Багратиона Кутузов исхлопотал 300 знаков отличия ордена Святой Анны. 6-й егерский полк за «славное дело под Шёнграбеном» получил серебряные трубы… Имя Багратиона опять загремело в войсках. Получив известие о деле под Шёнграбеном, главнокомандующий армией, шедшей навстречу Кутузову, генерал Ф. Ф. Буксгевден писал: «Положение храброго князя Багратиона так же было весьма затруднительно — таким образом отбиться от превосходнейшего силами неприятеля — сие должно служить примером всем, упражняющимся в военном ремесле!»44

Из Погорлиц армия двинулась к Брюнну. 8 ноября произошел ожесточенный кавалерийский бой под Раусницем, в ходе которого наши драгуны и казаки отбили атаки кавалерии Мюрата, но потеряли около сотни человек.

И казаки могут не грабить! Тогда же, особым приказом Кутузова по армии, быпо отмечено необычайное происшествие — бескорыстие некоего казака (имя героя осталось нам неизвестно) в отношении взятого им пленного. В приказе было сказано: «Казаку, которой взял вчерашнего дня в плен французского офицера и ничего от него себе в добычу не взял, даже и денег, кои он ему предлагал, Его императорское величество жалует ему пятьдесят червонцев». Возможно, необычайное поведение казака было связано с поверьем, о котором писал гренадер Попадихин: «Старые солдаты были правы, когда говорили, что в бою никогда не грабь ничего, а то и сам будешь ранен или убит». С Попадихиным так и выиию: только он содрал шинель с убитого французского офицера, как его ранило в ногу, а потом он попал в плен.

Лагерь голодных у Ольмюца

Десятого ноября армия подошла к Ольмюцу (Ольмиц), старинной крепости, где уже расположились квартиры прибывших сюда накануне русского и австрийского императоров. Во время отступления Багратион был опять поставлен в арьергарде45. Правда, французы, ранее неуклонно шедшие по пятам, стали отставать, а потом остались у Брюнна. На полпути к нему, за местечком Вишау встал и Багратион, корпус которого был переименован в авангард. Наполеон, упустив дичь, осторожничал: в Вишау 8 ноября Кутузов соединился с подошедшим из России корпусом Буксгевдена, а также с бежавшим из Вены гарнизоном под началом фельдмаршала-лейтенанта князя И. И. Лихтенштейна. Вскоре появился и великий князь Константин Павлович, прибывший из самого Петербурга с гвардейским корпусом. В итоге численность русско-австрийского войска, отныне названного Объединенной армией, составила 86 тысяч человек. Гвардейцы выглядели отлично, как на Марсовом поле; правда, такой замечательный вид дорого обходился гвардии, которой командовал жестокий великий князь Константин Павлович. Как сообщал в Мюнхен поверенный в делах Баварии в России И. Ф. Ольри, «среди отрядов, которые были отправлены к месту военных операций, больше всего пострадали от этой системы парадов и капральского духа войска, составлявшие корпус, которым командовал великий князь. Трудно себе представить, какие мучения он заставлял их терпеть… Он требовал, чтобы весь путь до Ольмюца в 1500 верст, который был совершен усиленными переходами, солдаты, несмотря на трудности пути и неуместность украшений, как на параде, шли с тем же равнением и в том же порядке, в каком они проходили на смотрах перед императором. Раздраженные и изнуренные подобными маршами солдаты, под тяжестью всего того, что им приходилось нести на себе, падали мертвыми направо и налево. Таким образом, он, не желая расстаться со своей методой, потерял при переходе до границы почти 2000 человек. С офицерами обращались не лучше»46. Зная по другим данным о нравах этого «деспотического вихря», в рассказ дипломата можно поверить.

Лагерь под стенами Ольмюца был обширен и удобен. Здесь встретились две части Объединенной армии. Одна щеголяла в парадных мундирах, была весела, сыта, рвалась в бой — за славой, конечно! Другая уже заглянула смерти в глаза, «потерпела от продолжительных трудов, изнемогла от недостатка продовольствия, от ненастного времени, глубокой осени. Одежда войск истреблена была на бивуаках, обуви почти вовсе не было. Самые чиновники (в смысле офицеры. — Е. А.) были в различных

и даже смешных нарядах». Как писал И. Бутовский, гвардейцы и солдаты корпуса Буксгевдена в сравнении с кутузовскими солдатами были «как женихи… мы же, напротив, походили на кузнецов… Ни один из нас до Ольмюца не расстегивал ни шинели, ни мундира, и вместо сапог почти у каждого были поршни, даже у многих офицеров, шинели наши почти у всех были обожжены бивачными огнями, а у некоторых истреляны пулями, лица грязные, испачканные порохом, небритые»47. Ермолов подтверждает рассказ гренадера Попадищева. «Тут говорят, — вспоминал он, — прибыл император Александр, нам велено покатать шинели, чтобы представиться государю в мундирах, но как увидали, что у нас вместо штанов висели обгорелые тряпки, то снова приказали раскатать и надеть шинели. Опустивши полы шинелей, мы тронулись в поход. Не помню, в каком местечке, пройдя плотину, с правой стороны ее стоял верхом император Александр, и тут он встретил нас, с передними поздоровался, а на нас изволил смотреть в лорнетку, которую держал в руке, смотрел на нас и любовался». Так и представляешь фигуру близорукого государя, вообразившего себя военачальником. Бывший там же генерал Ланжерон был «поражен, подобно всем прочим генералам, холодностью и глубоким молчанием, с которым войска встретили императора»48. Ветеран же Попадищев, не без скрытой иронии, писал, что любоваться-то было не на что: «В то время мы были очень красивы — на ремнях наших не было и знаку, что они когда-нибудь белились — просто были, как земля или как уголь; ружья у нас были, как чугун, каждый заботился о том, чтобы не было осечки, был бы кремень хороший и исправный, а на чистку не обращали внимание. Под стать к этому и лица у нас были, как у цыган, — обгорелые и закоптелые, мы уже не знали квартир, а располагались в поле, все время проводили вокруг бивачных огней»49.

Зная нравы своих удальцов, Кутузов утвердил строжайший порядок жизни в лагере, особенно когда воинским командам требовалось выходить из лагеря за провиантом, водой, соломой, дровами и проходить через круглосуточную цепь охраны лагеря. Сопровождение офицера было признано обязательным, унтер-офицерам возвращающейся команды приказано было «смотреть, чтоб никто не отставал»50. Отставшие-то обычно и занимались грабежом и насилием. Но не все. Как писал И. Бутовский, он охотно ходил за соломой и дровами, чтобы «удовлетворить ненасытную страсть к воинским приключениям», — во время этих походов можно было столкнуться и подраться с французскими фуражирами, да «и самые жители нередко встречали нас

железными вилами и рогатинами, от чего и бывали убийства: недаром говорят, что голод и замки рвет». Н. К. Шильдер не без основания замечает, что войска были босы и голодны, австрийцы перестали их снабжать необходимым, следствием стали грабежи местных жителей, происходили стычки, посеявшие вражду между русскими и австрийцами, которая чуть позже переросла в антагонизм и привела к обвинениям австрийцев в измене. Главным разносчиком этого слуха был князь П. П. Долгоруков, который обвинил в происшедшем поражении только австрийцев: они якобы изменили долгу союзников и преднамеренно погубили русскую армию. Этим самым он подтвердил репутацию нахального вертопраха, ветреника (ип freluguet impertinent), как его назвал Наполеон, взбешенный дерзким поведением Долгорукова, с которым он виделся накануне Аустерлицкого сражения51.

А голод действительно усиливался: снабжать огромную армию провиантом и фуражом становилось все труднее. Возможно, прав П. П. Долгоруков, писавший великому князю Константину о том, что армия в лагере оказалась перед выбором: «или умереть от голода из-за отсутствия продовольствия, или маршировать, чтобы атаковать французов»52. Очевидцы свидетельствуют о настоящем голоде, царившем в лагере. Как вспоминает Бутовский, отряды солдат тщательно обыскивали окрестные деревни и «когда случалось напасть на яму с картофелем или с капустой, радость наша была выше слов, и тут-то у нас начинался гомерический пир». Когда армия двинулась в свой роковой поход, в одной из деревень «разных полков нижние чины гурьбой ловили кур, и одна из них порхнула вверх и разбила окошко: там были Александр и Франц. Люди испугались: Милорадович выбежал оттуда, стал их стыдить, называя нахалами»53.

Самый важный вопрос, который встал перед союзниками в лагере, — что делать дальше: стоять или идти на неприятеля? И тут наш сюжет меняет свое направление и уходит в туман придворной, точнее «приквартирной» (от Главной квартиры), политики, с характерными для нее слухами, интригами, закулисными соглашениями. Но все-таки позиции сторон прослеживаются ясно. Армия Кутузова, несмотря на упорные арьергардные бои, сумела сохранить свой потенциал, была в бодром, боевом состоянии. Как сообщает И. Бутовский, «при всех трудах и недостатках, каждый солдат держался бодро, с видом страшным, привыкшим к бою, как некогда на родине к знакомому плугу. В строю были люди, прослужившие с лишком 20 лет, опытности дивной, спокойные в огне, как на охоте. Никакие бедствия не потрясали их, всё они переносили с твердостию». Пусть даже в этом есть известное преувеличение, после успешных арьергардных боев на Дунае армия была боеспособна. К тому же кутузовские войска значительно усилились прибывшими свежими частями. Поэтому естественным желанием австрийцев было использовать эти силы (вкупе с австрийскими) для освобождения столицы и изгнания Наполеона из пределов империи. Как только императору Францу стало известно об успешном отступлении Кутузова из Кремса, он сразу же написал главнокомандующему о необходимости выступить против Наполеона, ведшего по разным дорогам свои корпуса. Кутузов отвечал, как всегда, с искусством истинного дипломата: «Одной преданности моей к Вашему величеству было бы достаточно для точного исполнения повеления вашего, если бы даже не понуждал меня к тому священный долг повиноваться воле вашей. Не смею, однако ж, скрыть от вас, государь, сколь много предоставил бы я случаю, доверяя участь войны одному сражению. Тем труднее отваживаться мне на битву, что войска, хотя исполнены усердием и пламенным желанием отличиться, но лишены сил. Утомленные усиленными маршами и беспрестанными биваками, они едва влекутся, проводя иногда по суткам без пищи, потому что когда начинают варить ее, бывают настигаемы неприятелем и выбрасывают пищу из котлов. Полагаю необходимым отступать, доколе не соединюсь с графом Буксгевденом и разными австрийскими отрядами. Подкрепясь сими войсками, мы удержим неприятеля в почтении к нам и заставим его дать нам несколько дней отдыха, после чего нам можно будет действовать

наступательно»54.

После соединения войск и длительного отдыха в Ольмюце все условия, поставленные Кутузовым, были вроде бы выполнены. Военный совет, состоявшийся в Ольмюце 13 ноября, постановил выступить навстречу армии Наполеона. Кутузов, чуть ли не один, был против этого решения. Как писал, правда, с чужих слов Бутовский, главнокомандующий «объявил, что затрагивать Наполеона еще рано, и предложил отступать. Его спросили, где же предполагает он дать ему отпор? Кутузов отвечал: “Где соединюсь с Беннигсеном и пруссаками, чем дальше завлечем Наполеона, тем будет он слабее, отдалится от своих резервов и там, в глубине Галиции, я погребу кости французов”»55. В принципе, даже без пруссаков месяц ожидания должен был увеличить союзную армию вдвое, а то и втрое — из Гродно подошел бы корпус Беннигсена, а из Италии и Тироля — две австрийские армии эрцгерцогов (не менее 80 тысяч человек). Кутузов понимал, что ожидание выгодно союзникам.

Однако против стратегии ожидания, что и понятно, резко возражали австрийцы, особенно — новый генерал-квартирмейстер Франц Вейротер. Австрийцев, в том числе и императора Франца II, не устраивало затягивание войны — нужно было спасать Вену, которую завоеватель, занятый борьбой с Кутузовым, еще не успел хорошенько пограбить. Трудно сказать, прав ли был Кутузов, который, как никто другой, мог оценить гений Наполеона. Он не хотел искать сражения с Наполеоном, хотя от арьергардных боев с ним не отказывался и делал это, надо признать, виртуозно и умно. Возможно, что не будь при этом неких привходящих обстоятельств, он бы так и вел дальше свою тонкую игру с австрийским двором и штабными генералами: полностью с ними соглашался на словах, а поступал бы так, как считал нужным и безопасным для собственной армии, и тем самым выиграл бы время.

О каких обстоятельствах, которые помешали Кутузову быть самим собой, идет речь? Дело в том, что вдали от двора Кутузов чувствовал себя свободнее, но тут двор, точнее — Главная квартира (государь и его окружение), сам явился к главнокомандующему. Окружение императора составляли в основном люди молодые, чуждые Кутузову, влиятельные придворные и «дельцы», пользовавшиеся особым вниманием молодого императора. Среди них выделялись вошедший в силу А. А. Аракчеев и особенно близкий тогда к государю генерал-адъютант князь П. П. Долгоруков, которому Александр давал ответственные поручения и мнению которого доверял. Окружение Александра рвалось в бой — слава будущих победителей

Наполеона кружила им головы. Как писал состоявший тогда же при Александре адмирал А. С. Шишков, «возгоревшаяся с Францией война воспламенила всех молодых людей гордостию и самонадеянием. Поскакали все, и сам государь, на поле сражения: боялись, что французы не дождутся их и уйдут, но, по несчастию, они не ушли и доказали им, что в подобных случаях лучше терпеливая опытность, нежели неопытная опрометчивость»56. «Молодые воины» сплотились с австрийскими генералами из окружения Франца, а также с великим князем Константином, и настаивали на наступлении против Наполеона. Хотел этой славы и впервые выехавший на бранное поле Александр. В его сознании господствовал некий древний принцип королей: истинный повелитель лишь тот, кто прославился как победоносный полководец. Поэтому Александр благосклонно прислушивался к «партии наступления», которая заглушала голоса тех, кто осторожничал, памятуя, с кем все-таки Объединенная армия имеет дело.

Как мне кажется, в этот момент Багратион покинул Кутузова и встал на сторону «партии наступления». Об этом есть показания источников — в основном, правда, косвенные. Баварский дипломат Ольри в своем донесении от 19 декабря 1805 года в Мюнхен передал все слухи, ходившие по Петербургу после получения известий о поражении при Аустерлице. Он писал, что в обществе одним из виновников катастрофы называют великого князя Константина, который «на благоразумное мнение генерала Кутузова возразил, что тот со страха говорит вздор». Известно, что вспыльчивый и несдержанный Константин был вполне способен на подобное хамство. Нечто подобное произошло летом 1812 года, и тогдашний главнокомандующий Барклай де Толли за дерзость, высказанную ему в лицо, тотчас отстранил царского брата от командования и отослал его в Петербург. Кутузов же этого не сделал и, вероятно, по своему характеру и знанию придворной обстановки, сделать не мог. «Но в особенности оно (общественное мнение. — Е. А.) обвиняет генерал-адъютанта князя Петра Долгорукого, — писал Ольри. — Говорят, будучи послан до начала сражения к Бонапарту, он вел себя при этом свидании с необдуманностью школьника, со всем тщеславием и дерзостью русского, который считает себя важным человеком… Долгорукий, вернувшись в лагерь, больше всего содействовал решению вступить в битву». И далее то, что нас более всего интересует: «Он застал императора в разговоре с князем Багратионом. Доложив ему о своих переговорах с императором Наполеоном, он заметил, что государь глубоко задумался. Полагая по его наружному виду, что он колеблется и, может быть,

уступит этому движению, Долгорукий обратился к князю Багратиону, который любил ловить рыбу в мутной воде, и сказал ему что-то на ухо. Потом, вернувшись вместе к императору, они оба сказали ему: “Если, Ваше величество, отступите, он примет нас за трусов”. “Трусов? — сказал государь, — лучше умереть!” В этот-то момент и было окончательно решено дать битву, и ничто уже не могло заставить императора отказаться от нее. Чарторыйский и Новосильцов напрасно пытались отговорить его от этого. Его величество, говорят, ответил им с неудовольствием, что это не дело министров и их не касается»57.

Отборный друг

Багратион был знаком с П. Долгоруковым еще по петербургским салонам и находился с ним в дружеских отношениях. По мнению Ермолова, именно Багратион дал возможность генерал-адъютанту Долгорукову отличиться в бою 16 ноября в городке Вишау, где авангард отряда Багратиона, которым командовал Долгоруков, взял в плен около сотни французов. «Дело представлено было гораздо в важнейшем виде, — писал Ермолов, — и князь Багратион, как ловкий человек, приписал успех князю Долгорукому, который, пользуясь большою доверенностию государя, мог быть ему надобным. Неприятель отошел к Брюнну, где, как известно было, находились главные его силы. В Главной нашей квартире восхищены были победою и готовились к приобретению новых»58. Мемуарам такого скользкого и ловкого человека, как Ермолов, безоговорочно верить не стоит, но здесь он прав: в реляции Кутузова императору о сражении при Аустерлице об эпизоде в Вишау (наверняка по реляциям к главнокомандующему самого Багратиона) сказано: «Генерал-лейтенант князь Багратион отрядил для взятия сего города генерал-адъютанта князя Долгорукого. По некоторому сопротивлению город очищен и бывшие в оном 100 человек нижних чинов с 4 офицерами взяты в плен. Под вечер неприятельские стрелки, укрепясь в местечке Раусснице (Раузниц. — Е. А.), открыли огонь против нашего левого фланга, подкрепленный батареями. Но генерал-адъютант князь Долгорукий с 2-мя баталионами Архангелогородского мушкетерского полка вытеснил их оттуда и взял местечко, несмотря на сильное их сопротивление»59.

В реляциях о своих ошибках не пишут. Нужно сказать прямо, что реляции — источник не самый надежный, и пользоваться ими нужно с большой осторожностью, а уж доверяться им и

цитировать без критики и сопоставления с другими источниками — тем более. Ни один полководец, посылая реляцию своему главнокомандующему или государю, откровенно не признает своих ошибок и даже ошибок своих подчиненных. Число потерь противника обычно завышается, а своих — приуменьшается. Также в отчетах заметна склонность полководцев изобразить силы противника преувеличенными, а свои действия — абсолютно адекватными. Так, Кутузов в реляции об Аустерлицком сражении писал, что к Наполеону «приспели… в подкрепление 80 000 там бывших, еще три дивизии, чрез что силы его противу наших удвоились»11“. На самом деле союзников было 85 тысяч человек, а французов 73–74 тысячи вместе с этими самыми подошедшими дивизиями. В объяснениях причин поражения, наряду с численным превосходством противника, фигурируют неблагоприятные обстоятельства, рельеф местности (который, между тем, противнику не помешал). Если кто и был виноват, то либо союзники, либо соседи слева или справа. Так, генерал-лейтенант И. Я. Пржибышевский описывает разгром своей 3-й колонны под Аустерлицем если не как победу, то уж и не как поражение. В сопроводительном документе к более подробному рапорту о сражении Пржибышевский пишет: «Во время баталии Аустерлицкой… победив неприятеля и совершенно овладев местом для перехода назначенным, наконец, сверх чаяния, со всех сторон окружен». В пространном рапорте подробно описана начальная, более удачная фаза наступления и довольно кратко — финал сражения, ознаменовавшийся пленением большей части колонны во главе с ее командующим. Генерал сообщает, что как только он получил сведения о движении противника в тыл его колонне, он решил прорваться ко 2-й колонне: «Как я успевал в тех моих предприятиях, имея совершенно поверхность над неприятелем, в то же самое время часть второй колонны и австрийской конной артиллерии, ретируясь к деревне Сокольнице, навела против меня и с левой стороны еще больше неприятелей. Таким образом, был я уже с трех сторон окружен». Итак, вина в окружении его колонны лежит на 2-й колонне и австрийских артиллеристах, которые, оказывается, «навели против него» французов. Затем он пишет, что решился ретироваться, «…но как неприятельский огонь продолжался беспрерывно, преследуя нас, то все старания с отличным усердием генералов, штаб- и обер-офицеров нимало не действовали к приведению людей в устроение… В то самое время неприятельская кавалерия со стороны, напав на них, врубилась, чем еще более замешены были и, лишась средства сопротивления, попались в плен»”1. Как вспоминает Ермолов, в сражении под

Ламбахом было потеряно одно орудие, «под которым лопнула ось от излишней экономии в коломази (верно, поленились смазать или украли мазь. — Е. А.). Начальство точной причины не узнало, а полковник Игнатьев (1командир полка. — Е. А.) в донесении своем рассудил за благо подбить (1орудие. — Е. А.) неприятельским выстрелом»62. В другом случае Ермолов вспоминает, как Милорадович рассказывал ему о своем нападении на турок при Обилешти (во время Русско-турецкой войны 1806–1812 годов): «Я, узнавши о движении неприятеля… пошел навстречу, по слухам был он в числе 16 тысяч человек, я написал в реляции, что разбил 12 тысяч, а их в самом деле было не более четырех тысяч человек»63. Как рассказывали, однажды, отвечая на вопрос адъютанта о том, что делать с присланными из частей завышенными данными о потерях турок, Суворов отвечал: «Пиши, что их, басурман, жалко, что ли!»

Впрочем, ничего зазорного в том, что Багратион дал отличиться в бою молодому генерал-адъютанту князю Долгорукову, нет. Вспомним князя Андрея Болконского из романа «Война и мир» Толстого, приписанного к штабу Кутузова, — участвовать в боях было горячим желанием многих свитских и штабных офицеров. Это позволяло испытать себя, отличиться и быстро, минуя рутину армейской службы в мирное время и в походах, попасть в наградные списки, получить новые чины. Также, как и Багратион, поступал атаман Платов — старый и опытный царедворец. Он часто держал в своих войсках столичных офицеров из знатных фамилий в качестве волонтеров. В частности, у него служил флигель-адъютант князь С. С. Голицын, в также брат Багратиона, князь Роман64. В декабре 1805 года, уже после разгрома под Аустерлицем, был составлен весьма скромный список отличившихся в сражении (гордиться-то тогда было особенно нечем). В представлении от колонны Багратиона на первом месте «по рекомендации генерал-лейтенанта князя Багратиона» был поставлен выше всех других генералов «Вашего императорского величества генерал-адъютант князь Долгорукий». В разделе «Подвиги» его боевая деятельность не выглядит более героической, чем у других представленных к наградам генералов — Витгенштейна и Чаплица, но они не получили ничего, тогда как Долгоруков удостоился одного из самых высоких воинских орденов — Георгия 3-го класса65. Без своевременной рекомендации командующего такие награды не получают.

Думаю, что Багратион не только из «дворских соображений» поддерживал Долгорукова и других сторонников наступления. Это желание наступать, идти на противника лежало в природе Багратиона. Он считал себя последователем «генерала-вперед»

Суворова. Хотя арьергардные бои и принесли Багратиону славу, но все-таки отступление не могло не быть для него унизительным. И поэтому желание взять реванш, отомстить французам за отступление, было в нем сильно.

«Завтра в семь атакуем»

Войска из Ольмюца выступили 15 ноября в пяти колоннах. Авангардом командовал Багратион. К полудню Объединенная армия дошла до Предлица. Здесь было решено атаковать городок Вишау, почему-то слабо прикрытый французами. 16 ноября, как уже сказано выше, Багратион, в компании с Долгоруковым, атаковал город и сумел пленить один из запоздавших с выходом французских эскадронов. Багратион двинулся дальше к Раузницу. Мюрат пытался оказать сопротивление, но Наполеон, наблюдавший за передвижениями русских, приказал оставить Раузниц. Армия ночевала у Вишау и на следующий день утром выступила в поход. Ее левое крыло начало смещаться с дороги Ольмюц — Брюнн (там стоял Наполеон) влево, к деревне Кучерау, тогда как авангард дошел почти до Альт-Раузница, а на следующий день встал у Позоржиц и оказался на крайнем правом фланге наступающей армии. Тем временем русско-австрийская колонна заняла Аустерлиц. Движение войск было крайне медленным, казалось, войска шли на ощупь. Так, собственно, и было: до самого начала сражения русское командование точно не знало расположения главных сил противника, который продолжал медленно отступать. Позади колонн вовсю пылали так называемые «бивачные пожары»: солдаты, покидая лагерь, жгли оставленные ими шалаши. Как вспоминал Бутовский, этим особенно злоупотребляли австрийцы, которые с вечера притаскивали из деревень перины, тюфяки, подушки, одеяла, а потом наутро все это уничтожали. 18 ноября Кутузов даже издал приказ по армии, чтобы «господам дивизионным начальникам строжайше подтвердить в полках иметь смотрение, дабы нижние чины при выступлении из лагеря шалашей своих не зажигали»66.

Ночью 20 ноября Кутузов провел военный совет, на котором австрийский генерал-квартирмейстер Франц Вейротер зачитал написанную им по-немецки (и поэтому непонятную части русских генералов) диспозицию. Позже, ночью, майор Карл Толь поспешно перевел диспозицию и накануне выступления раздал ее русским командующим. Есть две интерпретации поведения Кутузова в тот момент. По первой версии, он якобы сказал начальникам колонн: «Завтра в семь утра атакуем неприятеля в

нынешней его позиции». По другой версии, пока шел совет, Кутузов демонстративно спал в кресле и, проснувшись, закрыл заседание. На военном совете, кстати, не было Багратиона — одного из главных действующих лиц. И. С. Тихонов утверждает, что как командующий авангардом он не мог покинуть свой пост. Никаких споров и разногласий на совете не возникло. Так всегда бывает, когда решение уже одобрено свыше, каким бы глупым оно ни оказалось. Лишь однажды генерал А. Ф. Ланжерон, командующий одной из колонн, спросил Вейротера о том, что же делать, если Наполеон предупредит союзников и захватит Праценские высоты (это как раз и произошло и решило судьбу сражения!). На это Вейротер отвечал лаконично: «Ce cas n1est pas prevu» («Этот случай не предвидится»). Кроме того, Вейротер указал, что Наполеон давно бы так и поступил, но сил ему не хватает67.

Нельзя представлять полковника Вейротера дураком или, тем более, изменником. Адам Чарторыйский — свидетель и участник происшедшего — так оценивал его: «Это был очень храбрый и сведущий в военном искусстве офицер, но, как и генерал Макк, слишком полагался на свои, часто сложные комбинации и не допускал мысли, что они могут быть разрушены ловкостью врага»68. Вейротер, как и почти все другие генералы, пал жертвой тонких тактических построений Наполеона. Пройдя Шёнграбен и почти настигнув русских под Ольмюцем, Наполеон вдруг увидал их растущее, по мере прибытия пополнения из России, численное превосходство. В то же время его войска были разбросаны на огромном пространстве Австрии, непосредственно перед Аустерлицем он имел только около 50 тысяч человек. Поэтому он начал стягивать в один кулак расположенные на большом удалении корпуса Бернадота и Даву и параллельно вел тщательную рекогносцировку местности и собирал сведения о противнике. При этом Наполеон резко изменил тактику, попросту говоря, стал тянуть время и, как верно заметил военный историк Г. А. Jleep, прикинулся неуверенным и слабым. Эта показная робость особенно стала видна после первых двух дней наступления русских войск, когда, как уже сказано выше, войска авангарда, которым командовал Багратион и в котором был сам государь, легко заняли Вишау. Оборонявшие городок 8 эскадронов французской конницы, атакованные 56 эскадронами союзников, поспешно отошли. Местные жители высыпали на улицы, радостно приветствуя русского и австрийского императоров. Они выкатили бочки с вином, угощая освободителей. Вероятно, это вино казалось молодым генералам из свиты императора вином будущей победы. Уверенность

союзников в том, что он дрогнул, Наполеон подкрепил тем, что 17 ноября послал к русскому императору своего адъютанта Савари — того самого, который выкрал герцога Энгиенского, а потом и судил его. Наполеон просил о личной встрече или, по крайней мере, о заключении перемирия на 24 часа. Александр от встречи с Наполеоном отказался, но послал к императору французов своего любимца Петра Долгорукова, который, вернувшись после переговоров, рассказал об унынии, якобы царившем в лагере французов. Это еще больше воодушевило окружение Александра и его самого. Не был далек от истины сардинский посол Жозеф де Местр, писавший графу де Фрону 28 декабря 1805 года: «На сего доброго и превосходного монарха нашла дурная минута: по совету молодых своих царедворцев и вопреки мнению генералов и министров он дал… генеральную баталию и проиграл оную…»

Примерно так же, как император, думал и двигавшийся до этого в авангарде армии Багратион. Как раз 18 ноября он послал Кутузову рапорт о действиях авангарда под Альт-Раузницем. Багратион сообщал о весьма вялых перестрелках с отступающим противником, о том, что занял удобную позицию и «велел разводить огни, а часть кавалерии послал фуражировать», что было возможно только в обстановке относительной безопасности. В конце рапорта он писал: «На всякий же случай покорнейше прошу ваше высокопревосходительство снабдить меня своим повелением, как мне поступать завтре в случае, если неприятель не во всем отступит. Мое же мнение, есть ли бы авангард подкрепили пехотою и обеспечили левый фланг, то весьма удобно его атаковать с успехом»70.

Как справедливо замечал Г. А. Леер, отказав Наполеону в 24-часовом перемирии, союзники дали ему взамен 72 часа: три дня они не предпринимали прямой атаки, а лишь смещали на его глазах крупную группировку влево с самой короткой дороги к французским позициям, ставя легко читаемую противником задачу охватить его правый фланг у Сокольниц и Тельниц (Теллиц) и тем самым отрезать его от Вены. Но уже тогдашние элементарные правила ведения войны утверждали как аксиому: всякие фланговые движения необходимо производить по возможности скрытно и быстро. Здесь же все делалось наоборот, как во время охоты на тигра со слонами в Индии: русские и австрийские полки целых три дня, медленно и шумно, совершали передвижения на глазах противника. Как вспоминал Адам Чарторыйский, «во время нашего флангового движения мы видели на высотах, скрывавших от нас французские позиции, офицеров (неприятеля. — Е. А.), появлявшихся один за другим

для наблюдения за нашим передвижением»71. Опять же непонятно, почему промолчал многоопытный Кутузов, почему он не написал государю записку, которая для нас, потомков, служила бы хотя бы слабым оправданием его бездеятельности? А почему молчал, совершая этот неуклюжий «фланговый охват», командующий 1-й колонной (на левом фланге) генерал Дохтуров — герой мастерски скрытого обходного движения в Дирнштейне, о котором шла речь выше? Он же был опытным, боевым генералом! Эти вопросы важны, ибо после Аустерлица в России распространилось убеждение, что во всем виноваты австрийцы, которые оказались слабаками, «подлецами и предателями», устроившими поражение русской армии.

Теория и практика невозможного

Наполеон не стал мешать движению союзников влево. За дни, любезно ему предоставленные, он досконально изучил местность и расположение противника и наутро 20 ноября был готов действовать. Наполеон отказался от первоначального (известного союзникам) оборонительного плана действий. Французские войска занимали удобную оборонительную позицию, защищенную озерами, селениями, а главное — ручьем Гольдбах и его притоками, текущими по довольно глубокому оврагу (дефиле). Несмотря на это, Наполеон решил провести не оборонительную, а наступательную битву, что оказалось полной неожиданностью для его противников. Скрытно от них, в вечернем сумраке, Наполеон перевел корпуса Сульта и Бернадота через ручей, в поле, и поставил по линии деревень Гиршковиц, Пунтовиц и Кобельниц. Это движение стало реализацией одной из доктрин наполеоновской тактики, которую называли «теорией невозможного». Она включала в себя такие положения: «Делать всегда противное тому, что делалось до того и удерживалось еще у других; выбирать всегда исполнение самое трудное; предпочитать то, что робкая тактика противников отвергала или считала невозможным… Чтобы победить, нужно было только удивить… французские генералы требовали “дерзости, и еще дерзости, и всегда дерзости”»72.

Ночью Наполеон, по своему обычаю, объезжал изготовившиеся к битве войска, и они при свете факелов восторженно ревели: * Vive 11Етрегеиг!» Ермолов писал, что тогда в русской армии «был слух и почти все верили, что неприятель уходит. Около полуночи у подошвы возвышения, на котором стояла наша дивизия, в одно мгновение загорелись огни,

охватившие большое пространство. Мы увидели обширные бивуаки и движение великого числа людей, что наиболее утвердило многих во мнении, что неприятель не ищет даже скрывать свое отступление. Напротив того, некоторым казалось сие подозрительным. Мы узнали вскоре, что огни означали торжество в честь Наполеона и зажжены в его присутствие».

О том, что французы намерены отступать, думали все в окружении союзных императоров. Но словам Адама Чарторыйского, в тот момент Александр и его окружение «отдались всецело желанию не упускать такого прекрасного случая уничтожить французскую армию и нанести, как предполагалось, решительный и роковой удар Наполеону»; им казалось, что «французская армия подавала все признаки скорого отступления»73. Как вспоминал генерал И. К. Орурк, той ночью к нему, на передовые посты, приехал князь Петр Долгоруков и приказывал наблюдать, по какой дороге начнут отступать французы, «говоря, что знаем наверное о решении их отступить»74. Именно с такими настроениями (не упустить злодея!) и проходил упомянутый выше военный совет 20 ноября. Утвержденная тогда диспозиция, в сущности, не была полноценным планом сражения, она предусматривала лишь некое «атакующее движение», нацеленное на сближение с отступающим или засевшим в оборонительной позиции противником. Как справедливо замечали впоследствии военные историки, «основанием диспозиции для боя послужило не тщательное изучение обстановки, а догадки»75. Пять колонн должны были сбить неприятеля с его позиций. Согласно этой диспозиции, неприятель представлялся неким гарнизоном крепости, стоявшим на своих позициях неподвижно, да и сама диспозиция чем-то напоминала приказ о штурме крепости, когда каждому командующему сформированных штурмующих колонн был указан участок стены или бастион, достижение и взятие которого и являлось конечной целью штурма. И хотя в диспозиции Вейротера и указано, что «успех всего сражения зависит от решительной атаки боевым крылом на правое неприятельское»76, там ничего не было сказано о дальнейших действиях войск — видно, что генералам предстояло ждать новых указаний. Не предусматривалось и никаких рекомендаций в случае встречных действий противника — читатель помнит ответ Вейротера на вопрос генерала Ланжерона.

И еще. В глубокой древности люди перед крупными событиями, битвами и иными важными деяниями звали авгуров или сами по отдельным, порой незаметным признакам пытались угадать судьбу, увидеть краешек будущего. Адам Чарторыйский

вспоминал, что накануне сражения, к вечеру, он ехал вместе с императором в окрестностях Аустерлица: «Мы встретили отряд кроатов, которые затянули одну из своих народных песен, протяжных и меланхоличных. Пение это, холодное и хмурое небо привели нас в грустное настроение. Кто-то сказал, что завтра понедельник, день, считавшийся в России несчастливым, в тот же момент лошадь императора поскользнулась и упала. Он же сам был вышиблен из седла. Хотя это приключение и окончилось благополучно, все же некоторые увидели в нем дурной признак»77.

Энергия воли

Нужно хотя бы вкратце сказать о том, что за противник был у союзников там, на другой стороне Аустерлицкого поля. Мало того что во главе французской армии стоял военный гений, сама эта армия была по тем временам необычна. Это было войско нового типа, точнее — это была армия новой эпохи. Ее породила Французская революция со своим духом свободы и равенства. Пройдя горнило революционных войн против коалиции европейских монархий, французская армия имела неиссякаемым источником комплектования французский народ, призывавшийся в ее ряды через систему всеобщей воинской повинности, которая обязывала почти каждого неженатого мужчину до двадцати лет служить родине. Численность французской армии была огромной, невиданной по тем временам, и все страны Европы, опасаясь отстать, были вынуждены резко увеличить количество своих полков и армий.

Но при этом французская армия не являла собой вид народного ополчения. В ней сложился прочный профессиональный костяк офицеров и унтер-офицеров, которые быстро превращали деревенского увальня в молодцеватого солдата непобедимой армии, сочетавшей опыт и хладнокровие усатых ветеранов с пылкостью молодежи. Кстати, этот костяк позволил Наполеону после ужасающего Московского похода буквально за несколько недель возродить армию, которая еще два года дралась на равных с превосходящими силами противника и для победы над которой пришлось устраивать не одну «битву народов». Это становится понятно, когда читаешь «Замечания о французской армии» 1808 года анонимного автора (вероятно, эмигранта), который пишет о простоте подготовки французских солдат: «Вновь поступивший приучается держать свой ряд, чувствовать локтем своего соседа. Не отрываться ни от того, кто

стоит правее, ни от того, кто стоит левее, часто в этом заключается вся наука; достаточно, чтобы треть знала голос командира, остальные две трети увлекаются примером трети старых солдат. Но нужны превосходные офицеры и унтер-офицеры, чтобы присмотреть, направить, оживить»78.

Достижения французских военных времен революции, консульства и начата империи были настолько значительны и впечатляющи, что ни одна из европейских держав не могла их игнорировать. Революционным генералам и наследовавшему им Наполеону удалось провести реформы, изменившие армию. Во-первых, это было создание новых войсковых формирований — дивизий и корпусов, которые не были (как в России или Австрии) соединениями на время похода или военных действий, а представляли собой постоянно действующие, самостоятельные, мощные военные организмы, включавшие в себя пехоту, конную или пешую артиллерию, а часто и приданную ей кавалерию. Дивизия, как небольшая армия, могла выполнять поставленную задачу, не ожидая помощи от других соединений. Несколько дивизий образовывали с 1800 года корпуса. В корпус (corps d1armee) входили пехотные и кавалерийские дивизии. Корпуса обладали значительной самостоятельностью и могли расквартировываться на огромных пространствах (что позволяло легко их содержать), а при необходимости быстро собираться в единый кулак.

Во-вторых, это образование Генерального штаба, наполненного не бездельной свитой главнокомандующего, а военными специалистами, занятыми разнообразной работой по планированию и проведению военных действий. Колоссальное внимание уделялось рекогносцировке, сбору и анализу разведывательных данных о противнике с тем, чтобы внести коррективы в план или в ход уже начавшейся кампании или даже сражения. В глобальном смысле основатели этой армии, «обдумывая завоевание мира, принимали весь земной шар за область своих комбинаций. Они изучали его с тем, чтобы делить на театры войны и намечать на нем военные позиции»79.

В-третьих, французы в корне изменили стратегию и тактику ведения войны и сражения. Все современники отмечали одно из важнейших свойств французской армии — быстроту развертывания и передвижения, стремительность маневрирования в районе военных действий и на поле боя. Наполеон исповедовал девиз Морица Саксонского: «Тайна победы — в ногах». Эпоха осад крепостей прошла, «армии — эти живые стены — взяли верх над мертвыми стенами крепостей. Марши заменили осады. У кого больше людей, тот может быть более

свободен в маневрах и комбинировать их на большом пространстве»80.

Быстроте движения и маневрирования благоприятствовала принятая как постулат система обеспечения войск, отметавшая традиционные для всех армий обозы. Как писал автор записки 1808 года «Замечания о французской армии», «эти нескончаемые нити повозок и тяжестей, наиболее стеснявшие марши в войнах нового времени, эти вторые армии, более растягивающиеся и труднее подвижные, чем первые, сократились до чрезвычайности вследствие преобразования трудного уменья перевозить необходимое по дороге; то, что прежде перевозилось на лошадях, теперь пехотинец должен был переносить на себе или обходиться без этого». Французы открыто делали ставку на мародерство: «Случалось, что за войсками следовали роты молотильщиков для вымолота хлеба, необходимого солдатам, — вот каким способом обходились без продовольственного транспорта. Реквизиция лавок вместо складов обмундирования. Пехотинец был нечто вроде пешего казака». Такой способ обеспечения войск зиждился на философии кондотьера, искателя счастья: «Продовольствие, одежда, жалование — он ничего не получал регулярно и всего ожидал от счастья, надеясь, что следующее мгновение доставит то, чего ему недоставало в предыдущее. Солдат привыкал к лишениям и считал, что исполняет одну из главнейших обязанностей своего ремесла, перенося их. При том же то, что обстоятельства ставили в необходимость переносить, было провозглашено как добродетель, которая должна быть свойственна республиканцу, а террор зажимал рты недовольных»81.

Но маневрирование во французской армии не было самоцелью. Вообще, маневрирование армии — великое искусство. Известно, что прусский король Фридрих Великий в ходе Семилетней войны (особенно во второй ее половине) имел порой армию в два раза меньшую, чем противники, но, ловко маневрируя, уходил от столкновения с неприятелем, изматывал его своими маневрами так, что одна кампания сменяла другую, а прусская армия оставалась неуязвимой для врагов. Но все же маневрирование Наполеона было особым: в основе тактики французской армии лежало стремительное передвижение корпусов с целью настигнуть противника, окружить его или принудить к сражению. В сражении же французы действовали так же стремительно, как в преследовании. Они, не упуская инициативы, обычно не переходя в оборону, организовывали одну атаку за другой до тех пор, пока противник не будет смят или отброшен с занятых им позиции. При этом корпуса — эти армии в

миниатюре — получали самостоятельные задания по охвату, окружению противника, рассечению его сил. Для этого у них было все необходимое, и обычно во главе корпуса стояли выдающиеся военачальники — маршалы Франции. Автор «Замечания» писал, что именно военачальники давали армии энергию воли: «Революция, сместившая множество людей, поставила вместо них таких, какие были ей нужны, и на такие посты, на каких этим людям никогда бы не быть без нее… Напрягая все усилия, они беспрестанно рисковали всем и всегда открывали себе вероятность не выиграть, ибо не отступали перед решимостью все потерять. Они давали каждое сражение так, как бы оно было решительное, они делали каждое усилие так, будто бы оно было последнее. Все в цвете лет, когда человек обнимает и преследует предмет, за который берется, с живостью, гибкостью и энергиею, они наэлектризовывали эту многочисленную, легкую летучую армию той твердою волею, которая… никогда не задумывается перед препятствиями».

В-четвертых, революционные войны покончили с линейной тактикой, когда батальоны вставали в трехшеренговую линию и начинали перестрелку. Французы первыми стали строить батальоны в колонну, то есть в сплоченную группу — прямоугольник с размерами: 50 человек в ширину и 20 в глубину, и закрепили это нововведение в уставе. Колонна — это, в сущности, свернутый фронт, который в любой момент мог развернуться и произвести мощный залп, подобно тому, как линейный корабль, подойдя к противнику, разворачивался бортом и обрушивал на него залп десятков орудий. Но чаще всего колонна не разворачивалась, а сплоченной массой атаковала противника, ударяла в него «сжатым кулаком», ибо «тонкая линия всегда будет прорвана густой и глубокой колонной, ударяющей в нее с силою»82. Как писал около 1810 года Л. Л. Беннигсен, «император Наполеон, этот великий полководец, очень хорошо рассчитывал выгоду глубоких колонн для атаки пред системой тонких линий в три шеренги, от которых не хотели до сих пор отказаться; он весьма легко опрокидывал и совершенно разбивал все армии, с которыми до настоящего времени вступал в сражение. При первом столкновении эти густые колонны, конечно, должны терять много людей от выстрелов неприятельской артиллерии, но коль скоро боевая линия прорвана этими массами, то ей нет более спасения. Эти колонны подвигаются вперед, не давая разорванным и рассеянным линиям время собраться и сомкнуться вновь. Ничто не может остановить наступление подобных колонн…»83.

Один из постулатов Наполеона заключался в достижении

превосходства в численности над неприятелем, идет ли речь о войне, кампании, направлении, битве или ее отдельном участке. Достижение численного преимущества, в сочетании с подвижностью войск, делало несущественными крепкие и удобные позиции, которые занимал противник. Каждую позицию можно было либо прорвать мощным ударом, либо обойти с флангов и тыла.

В-пятых, роль сокрушающего бортового корабельного залпа на суше возлагалась на артиллерию, которой Наполеон, сам по основной воинской профессии артиллерист, распоряжался виртуозно; в его армии были хорошо обученные расчеты модернизированных, легких, мобильных пушек и гаубиц. Их стремительно перебрасывали в любую точку поля битвы, создавая на отдельном участке многократное превосходство в огне, которое было направлено на уничтожение артиллерии противника и его живой силы. Наполеон был истинным гением применения десятков и даже сотен орудий одновременно, он знал, как устроить фланговый обстрел, особенно эффективный для наступающих войск и чрезвычайно болезненный для противника.

После сокрушительной артподготовки колонны начинали боевое движение, и обычно впереди летела легкая кавалерия, которая вела рекогносцировку, сообщая командованию данные о расположении и силах изготовившегося к обороне противника, а также поддерживала атаки колонн. Ближе к наступающей колонне в рассыпном строю двигались стрелки, обученные меткой стрельбе, они «зачищали» пространство перед колонной от стрелков противника, потом подходили ближе к неприятельской линии и старались выбить прежде всего офицеров, хорошо заметных на своих конях и с султанами на больших шляпах. В Аустерлицком сражении «французские офицеры кричали своим застрельщикам: "Tirez aux chapeaux", то есть ”Стреляй в шляпы!", и отличные французские стрелки прицеливались, как в мишень, в заметные издали офицерские шляпы с плюмажем. Не все офицеры были перебиты, но почти все шляпы были по нескольку раз прострелены»84. Мишенями служили и артиллерийские расчеты противника. При этом если в других армиях (в том числе русской) стрелками были специально обученные рядовые особых егерских полков, то во французской армии стрелком становился любой солдат — так хорошо была поставлена стрелковая и тактическая подготовка рядовых.

Если противник попадался неустрашимый, стойкий, если он выдерживал артиллерийскую подготовку, отбивался в каре от кавалерийской атаки, то наступающая французская колонна,

подойдя на необходимое для залпа расстояние, открывала ружейный огонь. Несмотря на общепринятые утверждения о неэффективности ружейного огня того времени, французы и здесь добились как будто невозможного, как за счет качества своего оружия, так и за счет точности, скорострельности стрельбы. Как вспоминал участник войны с Наполеоном унтер-офицер И. Бутовский, «его ружья были превосходнее наших тульских того времени, да и самый порох у него был отличный, тогда как у нас мало рознился от пушечного. Стрельба французов одинаково трещала в сухую и мокрую погоду, у нас, напротив, при малейшей сырости, порох делался влажен, были вспышки и курки худо отбивали. Пока наш солдат выстрелит раз, француз делал два и три выстрела: беглый огонь его был необычайно силен. Шомпол у француза при батальном огне был почти без действия, выпалив, он тотчас взводил курок и закрывал полку, потом, скусив патрон, опускал его в дуло и, не прибивая заряда шомполом (так делали в русской армии. — Е. А.), ударял прикладом в землю и немедленно стрелял, ударение наполняло полку порохом сквозь затравку. Хорошей работы порох, отличная отделка ружейных замков и затравок, ровно и форма самих патронов и пуль без оклейки (в русской армии патроны представляли собой бумажную гильзу, которую делали из толстой клееной бумаги и после выстрела остатки бумаги с внутренней поверхности ствола приходилось счищать шомполом. — Е. А.) много способствовали проворству французов. Наши солдаты охотно бы меняли свои ружья на французские, которые во множестве валялись на ратном поле, но, к сожалению, русские пули не вобьешь в их дуло». И еще одно наблюдение опытного солдата: «Французы на стоянке упражнялись в стрельбе, у нас, напротив, (занимались) мильд-ефрейторством, ружейными приемами и вытяжкой солдата, стрельба в цель была в редкость, и то как бы для прогулки, и, несмотря на то, что в меткой стрельбе заключается главное достоинство пехотного солдата, занятие это считалось тогда последним делом»85. Меткость стрельбы французов из ружей была общепризнанной. Это, кстати, позволило отечественному историку Д. Г. Целорунго, изучавшему материалы учета ранений по формулярным спискам, прийти к выводу, что не артиллерийский, а ружейный огонь стал причиной большей части потерь в нашей армии на Бородинском поле. Он подсчитал, что подавляющая часть ранений (до 70–80 процентов) была нанесена с помощью стрелкового оружия86. Любопытно, что Бутовский отмечает превосходство и неприятельского холодного (белого) оружия, при этом подчеркивая отличное качество французских палашей и сабель, «кроме тульского штыка, который как будто

создан единственно для русского солдата». Но и это обстоятельство учитывалось Наполеоном. Перед Аустерлицем, столкнувшись с непривычным для европейских армий частым применением русскими штыковой атаки, он 24 октября приказал всем солдатам вооружиться штыками, которые обычно валялись в обозе, с тем чтобы сочетать прицельную стрельбу с рукопашным боем, раз уж его любит главный противник87. Тут уместно привести еще одну цитату из «Замечания о французской армии» 1808 года, дающую представление о соотношении во французской армии плаца, строевой подготовки и боевых действий: «Знание эволюций и вообще строевого устава есть не более как орудие знания высшего порядка, оно получает значение только в зависимости от того, насколько может быть полезно этому последнему, то есть что во Франции занимаются эволюциями и строевыми учениями не как целью, но только как средством. И потому-то занимаются ими не с особенной требовательностью. Французский солдат наименее выдрессирован из всех современных солдат… редкий церемонный марш проходит без ошибок против шага или против дистанций. Учения французов идут живо — если случаются ошибки, исправляют быстро и без шума — хлопочут больше об общем согласии, чем о мелочной точности, — да, наконец, есть ли необходимость обременять солдата слишком большим количеством командных слов»88

Наконец, последнее. Солдаты и офицеры Наполеона были детьми буржуазной революции. Они не ведали палочной дисциплины, их не муштровали до одурения, их не «били по сусалам», не унижали капралы и офицеры. Самоуважение, достоинство личности не было пустым звуком в этой армии. Дух французского солдата был всегда необычайно высок. Армия Наполеона обожала своего вождя и была готова исполнить самым лучшим образом все, что он ей прикажет… Наполеон в совершенстве знал солдатскую психологию, умел настроить солдатскую массу на решительный бой, на победу. Как вспоминал французский кирасир Тирион, когда в день битвы на Бородинском поле «армия взялась за оружие, она была полна энтузиазма и военного пыла; оружие сверкало, и люди были в полной парадной форме, так как Наполеон — этот великий знаток людей, внушил войскам, что дни сражений суть большие праздники, то раз навсегда был отдан приказ, чтобы в дни сражений люди были в полной парадной форме»89. Французская же парадная форма времен Наполеона — это красота необыкновенная, настоящий шедевр искусства тогдашних модельеров, возбуждавший гордость воина, превращавший даже самого плюгавого и неприметного в гражданской одежде

мужчину в мужественного красавца, неотразимого кавалера.

При этом Наполеон умел играть не только на гордости, честолюбии и тщеславии своих воинов, он умел учесть и присущий французу подчас мелочный прагматизм, его неискоренимую любовь к комфорту90. Поэтому обычно в обращениях к солдатам говорилось примерно так: «Вперед, солдаты! Нас ждут победа, слава награды, хорошее содержание, богатые трофеи, теплые квартиры, вино и девочки!»

Роковые Працены

Но вернемся на наши позиции, в туманное утро 20 ноября. Итак, согласно диспозиции, каждая колонна имела целью достижение конкретного пункта: генерал-лейтенант Д. С. Дохтуров (1-я колонна — 8770 человек) стремился в Тельницы (Теллиц), генерал-лейтенант А. Ф. Ланжерон (2-я колонна — 11 670 человек) выходил на Сокольницы, туда же, сойдя с Праценских высот, шел генерал-лейтенант И. Я. Пржибышевский (3-я колонна — 13 800 человек), 4-я колонна (австрийский генерал-лейтенант Иоганн Карл Колловрат — 25 400 человек) наступал на Кобельницы, и наконец 5-я колонна (фельдмаршал-лейтенант князь Иоанн Лихтенштейн — 70 эскадронов) была сводной, состояла из одной кавалерии и должна была перемещаться между другими колоннами. Гвардия под командой цесаревича Константина Павловича оставалась перед Аустерлицем в резерве (8500 человек). Багратиону, находившемуся на правом фланге русского расположения, предписывалось с места не двигаться, но «как заметит… приближение нашего левого крыла, тогда должен стараться правое неприятельское крыло разбивать и учредить коммуникацию с другими колоннами»". При этом ни 19-го, ни утром 20 ноября русское командование ничего не знало о перемещениях французов и ничего не сделало, чтобы узнать об этом. В Главной квартире (и это нашло отражение в диспозиции) были убеждены, что если Наполеон не бежал, то сидит в оборонительной позиции за ручьем. Как писал военный историк Бюлов, «союзники атаковали армию, которой они не видели, предполагали ее на позиции (за ручьем), которой она не занимала, и рассчитывали, что она (армия) останется настолько же неподвижна, как пограничные столбы»92.

Обязанности главнокомандующего. Остается непонятным, как возможно, чтобы Кутузов — главнокомандующий армией (сколь бы велико ни было давление царственных особ в вопросах

стратегии) — не позаботился о тактической разведке силами легкой кавалерии, не воспользовался услугами лазутчиков, не провел лично и с помощью своего штаба рекогносцировку 19 ноября, не учел открытую факельную демонстрацию французов в ночь с 19 на 20-е. Ведь все эти действия входили в его прямые обязанности при любом варианте решения стратегических вопросов. В итоге оказалось, что русское командование не знало о том, что французы перешли ручей и уже стоят в боевой позиции, готовые к удару, в то время как русские и австрийцы двинулись на них походным порядком. В какой-то момент, писал Ермолов, войска неприятеля были удивлены этим «странным явлением, ибо трудно предположить, чтобы могла армия в присутствии неприятеля, устроенного в боевой порядок, совершать подобные движения, не имея какого-нибудь хитрого замысла». Увы! Не было никакого хитрого замысла, были безответственность и непрофессионализм, проявленные и Главной квартирой, и главнокомандующим, и командирами колонн. Чем могло закончиться столкновение войск, готовых к бою, с войсками, двигавшимися на них не в боевой, а в походной колонне, с ранцами за плечами, легко представить по истории позорного бегства батальонов Новгородского мушкетерского полка в начале сражения.

Эти батальоны шли в голове 4-й колонны, и вел их подполковник Монахтин. И. Бутовский писал: «Вдруг из-за бугра, на самом близком расстоянии, показались неприятельские войска. Монахтин скомандовал: “Во фронт! Ранцы долой!” Но в ту минуту, как солдаты, наклонясь, снимали ранцы, французы дали меткий залп, и в рядах поднялись люди только через два и три человека… Оба батальона ринулись назад», несмотря на призывы своего командира93. Этот факт признал и Кутузов в своей реляции 14 января об Аустерлицком сражении: «…батальоны сии не успели вступить в деревню, как вдруг опрокинуты были знатною силою неприятеля, в оной засевшего, и преследуемы мимо левого фланга колонны несравненно превосходнейшим числом неприятеля»94. В реляции же от 1 марта, где по воле императора Кутузов изложил «беспристрастную истину относительно до деяний тех высших и нижних чинов, кои вдень Остерлицкого сражения покрыли себя бесславием», сказано, что два батальона новгородцев «не держались нимало и, обратившись в бегство, привели всю колонну в робость и замешательство»95. Монахтин, рванувшийся со шпагой вперед, оказался один перед неприятелем, а его солдаты за ним не пошли! Это было редчайшим событием в истории русской армии, и позже Новгородский полк сурово наказали. В армии считалось, что

командир обязан лично вести солдат в штыковую атаку и, как писал М. С. Воронцов в своем «Наставлении господам офицерам… вдень сражения», «быть в полной надежде, что подчиненные, одушевленные таким примером, никогда не допустят одному ему ворваться во фронт неприятельский»96. С командиром новгородцев случилось обратное, и только позже казаки сумели освободить его.

В довершение всего позор новгородцев видел сам государь, оказавшийся поблизости. Вероятно, для него это было тяжелым и непривычным испытанием — на полях под Красным Селом его доблестные войска вели себя иначе. Примечательно, что в мемуарах фрейлины Софьи Шуазель-Гуфье сохранились сведения о том, что накануне наступления французов Наполеон якобы отпустил пленного русского полковника с тем, чтобы он от имени императора французов предложил Александру «удалиться, так как на ту сторону, где находилось Его величество, должен был направиться огонь артиллерии»97. Большего оскорбления для государя, выехавшего на свое первое поле битвы, трудно придумать.

Итак, еще до рассвета 20 ноября армия выступила в поход, «опасаясь, по-видимому, чтобы неприятель не успел уйти далеко» (слова Ермолова). Над окрестностями Аустерлица стоял густой туман. Об этом пишут все участники событий — пресловутое солнце Аустерлица поднялось позже, в самый разгар сражения. А пока в тумане были слышны ругань и крики: как пишет Ермолов, колонны, двинувшиеся по новой диспозиции на свои места, «начали встречаться между собою и проходить одна сквозь другую, отчего произошел беспорядок, который ночное время более умножало. Войска разорвались, смешались, и, конечно, не в темноте удобно им было отыскивать места свои. Колонны пехоты, состоящие из большого числа полков, не имели при себе ни человека конницы, так что нечем было открыть, что происходит впереди, или узнать, что делают и где находятся ближайшие войска, назначенные к содействию»98. Это подтверждает полное отсутствие тактической разведки силами легкой кавалерии и казаков. Вся кавалерия союзников была сосредоточена в 5-й колонне Лихтенштейна: там были русские драгуны, уланы и 22 эскадрона австрийской кавалерии. Как писал тот же Ермолов, «ни одна из колонн не имела впереди себя авангарда»99. Почему кавалерийские разъезды (а в русской армии их обычно составляли казаки) не были определены для сопровождения походных колонн при движении их по незнакомой местности? Известно, что в этих случаях конный авангард, как и оцепление обязательны как для обеспечения безопасности движения колонн

на случай внезапного нападения противника или действий его одиночных стрелков, так и для пресечения возможных побегов солдат и, наконец, для сбора и сопровождения отставших. Здесь же походные колонны пехоты шли «голыми», без всякого кавалерийского прикрытия. Лишь перед корпусом Дохтурова двигался сводный отряд австрийского генерала Михаэля Кинмейера, состоявший из двух полков казаков, трех полков венгров и пяти батальонов кроатов. Но, судя по результатам действия колонны, пользы от них оказалось мало. Словом, на начальной стадии сражения Кутузов и начальники колонн допустили элементарные тактические ошибки. И это, в числе прочего, стало одной из причин катастрофы.

Впрочем, начало операции могло показаться успешным: войска Дохтурова атаковали Тельниц и взяли его. Что делать дальше, согласно диспозиции, Дохтуров не знал. В это время в густом тумане по Тельницу в штыки ударил Даву и выбил русских и австрийцев из деревни. Однако вскоре контрудар командующего левым крылом генерала от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена привел к тому, что Тельниц остался за союзниками.

Вторая колонна А. Ф. Ланжерона уперлась в крепкую позицию французов по ручью между деревнями Тельниц и Сокольницы и тут застряла. Третья колонна Пржибышевского, дойдя до Сокольниц, начала штурмовать замок, в котором и вокруг которого засели французы. Так в первые три часа битвы Наполеону удалось выполнить первую свою задачу — связать малыми силами наступление русско-австрийского левого фланга. По подсчетам историка Леера, 12,5 тысячи французов держали здесь почти половину союзной армии — 42 тысячи человек. Наступило время проведения второй и главной фазы сражения — наступления. Накануне, собрав маршалов, Наполеон сказал, что не хочет просто отбить удар неприятеля, а намерен разгромить его: «Позиции, нами занимаемые, неодолимы. В то время, как они будут обходить меня справа, они мне подставят фланг»100.

Два часа спустя, около 9 утра, с Праценских высот двинулась 4-я колонна Колловрата, при которой находился Кутузов. Это движение связано было с прибытием к войскам императора Александра. Существуют две версии разговора главнокомандующего с государем. Согласно воспоминаниям генерала Г. М. Берга, бывшего свидетелем этой встречи, император спросил Кутузова: «Ну что, как вы полагаете, дело пойдет хорошо» Старый полководец, но вместе с тем ловкий царедворец, улыбаясь, ответил: «Кто может сомневаться в победе под предводительством Вашего величества». Император возразил: «Нет, вы командуете здесь, я только зритель». На эти слова

Кутузов ответил поклоном. Когда же государь несколько удалился, Кутузов обратился к генералу Бергу и сказал ему по-немецки: «Вот прекрасно! Я должен здесь командовать, когда я не распорядился этою атакою, да и не хотел вовсе предпринимать ее»101. По воспоминаниям же князя Волконского, царь, прибыв со свитой на поле сражения, подъехал к ставке Кутузова и, «видя, что ружья стояли в козлах… спросил его: “Михаил Ларионович! Почему не идете вы вперед” — “Я поджидаю, — отвечал Кутузов, — чтобы все войска колонны пособрались”. Император сказал: “Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки”. — “Государь! — отвечал Кутузов, — потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете!” — и дал распоряжение, войска начали становиться в ружье и строиться в походную колонну».

Впоследствии некоторые историки именно этим эпизодом объясняли неудачу сражения, в котором якобы воля Кутузова была подавлена невежественным вопросом императора. На самом деле все выглядит иначе. Все колонны были собраны и выступили из лагеря в 7 часов утра, причем, согласно диспозиции, 4-я колонна должна была двигаться одновременно и в том же направлении, что и 2-я и 3-я, но чуть левее их — между Сокольницами и Кобельницким прудом. По диспозиции, она «равняет голову сей колонны с вышесказанными тремя колоннами»102, образуя с ними некий единый фронт наступления на правый фланг неприятеля. Почему Кутузов не выполнил это положение диспозиции, неясно. Некоторые историки считают, что Кутузов противился оставлению Праценских высот, интуитивно чувствуя опасность, которая грозит армии, если она оставит эти господствующие над местностью позиции.

После того как 4-я колонна двинулась с высот вниз, она и наткнулась на «заготовку» Наполеона. Увидав, что Праценские высоты очистились от стоявших на них войск союзников, Наполеон приказал начать контрнаступление: ударить по приближающейся 4-й колонне превосходящими силами корпусов Сульта, Бернадота, Мюрата, Удино и гвардии103 с тем, чтобы занять Праценские высоты и разрезать союзную армию надвое: с одной стороны окажутся войска Багратиона и гвардии, а с другой — три колонны, остановленные ранее на линии Теплиц — Сокольницы. Гений Наполеона проявился здесь в том, что он, уступая в общей численности союзникам, сумел в нужном месте и к нужному часу собрать ударный кулак — больше половины своей армии — 32,5 тысячи солдат (38 батальонов пехоты и 100 эскадронов кавалерии Мюрата, да еще резерв — 12,8 тысячи

пехотинцев и 8 тысяч кавалеристов) — и ударить в центре по одной из колонн неприятеля, максимальная численность которой составляла 25 с половиной тысяч человек (32 батальона, в том числе 20 австрийских; всего 22,4 тысячи пехотинцев и 3 тысячи кавалеристов). Маршал Никола Жан Сульт, командующий IV пехотным корпусом, начал атаку в 8.30 утра, сразу же взяв 4-ю колонну в клещи. По словам А. Ф. Ланжерона, 4-я колонна «была раздавлена и рассеяна меньше, чем в полчаса»104. Позже, уже на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал, что исход сражения под Аустерлицем решило своевременное начало наступления в центре, ибо «успех в войне до такой степени зависит от глазомера полководца и от одной минуты, что я бы проиграл Аустерлицкое сражение, если бы атаковал шестью часами прежде». В итоге, как писал А. И. Михайловский-Данилевский, «так с самого начала сражение приняло в центре другой вид: из наступательного положения мы были обращены в оборонительное и атакованы, когда шли атаковать. Завеса, таившая от нас замыслы Наполеона, поднялась и открыла намерение разрезать нашу армию на две части… На месте, где так внезапно собралась гроза, распоряжались императоры Александр и Франц, Кутузов, русские и австрийские генералы, бывшие при монархе и четвертой колонне»105. Можно представить себе, какая польза была от этого коллективного командования. Впервые за все время наступления Кутузов как будто проснулся и начал распоряжаться, но было уже поздно — французы прорвались к Працену, заняли высоты, вокруг завязались бои отдельных частей союзников с французами, в которых было проявлено много отчаянного мужества. Тут-то и погиб со знаменем в руках зять Кутузова, флигель-адъютант граф Фердинанд Тизенгаузен, который повел в атаку полк и был сражен пулей в сердце. Эта история отчасти отразилась в романе «Война и мир», когда князь Андрей Болконский был тяжело ранен в момент подобной же атаки. В бой вступила и бригада графа С. М. Каменского 1-го, который шел в арьергарде колонны Ланжерона, но, увидав прорыв французов по центру, повернул два свои полка (Фанагорийский и Ряжский) на неприятеля. Трижды бригада бросалась в атаку, и трижды французы отбрасывали ее. Кутузов дал Каменскому приказ отступать к Клейн-Гостиерадеку. Тем временем командующий 3-й колонной Ланжерон, услышав шум боя в тылу и получив от Каменского известие о прорыве французов по центру, перебросил на помощь фанагорийцам и ряжцам из Сокольниц Курский полк, но опоздал — остатки бригады Каменского уже отошли. Курский полк встретился с превосходящими силами французов и почти целиком полег на поле битвы…

К 11 часам 4-я колонна был частью уничтожена, а частью обращена в бегство. Этим позором запятнали себя и военачальники. Один из них, генерал-майор И. А. Лошаков, позже был судим и разжалован в рядовые (уникальный случай!)106. Паника охватила и Главную квартиру — причем настолько, что свита потеряла императора, и Александр до вечера находился в компании только своего лейб-медика Я. В. Виллие, конюшего и двух казаков.

После этого сражение распалось на несколько локальных боев. В отличие от союзников, утративших связи между колоннами и общее руководство (впрочем, ни того ни другого, откровенно говоря, и не было с самого начала наступления), Наполеон продолжал управлять своим боевым «оркестром». Между прочим, грохот орудий и ружейная пальба не заглушали звуков воинских оркестров. Как вспоминал Бутовский, «такое смешение ужаса с веселыми звуками кларнета и флейт ободряло наших солдат» — точно так же, как и французских, у которых тоже были свои музыканты.

Отсечь Багратиона

Наполеон, внимательно следивший за ситуацией на поле боя, увидел, что в центре фронта союзников у Працена и Позоржиц, где стоял Багратион, образовался промежуток в пять тысяч шагов, который по диспозиции должен был заполнить своей колонной князь Лихтенштейн. По одной из версий, тот при переходе своих кавалеристов на указанное ему диспозицией место столкнулся с идущей наперерез пехотной колонной Пржибышевского, и эскадроны долго не могли расцепиться с пехотными батальонами, а потом потребовалось время, чтобы привести их в порядок. Поэтому князь и опоздал на свою боевую позицию. Здесь и решил нанести удар Наполеон, ставя целью отсечь Багратиона от остальных русских войск. Так французы впервые столкнулись с гвардейским корпусом великого князя Константина Павловича, который ранее стоял в резерве Лихтенштейна. Увидав, что никакого Лихтенштейна впереди нет, и сообщившись с Багратионом, корпус двинулся вперед и занял село Блазовиц. Но удар французов по гвардейцам был настолько мощным, что гвардия была выбита из Блазовица, и за околицей села завязались локальные бои. В одном из них могучие преображенцы схватились со столь же могучими мамлюками, входившими в кавалерию французов. Кавалерийская сеча, развернувшаяся за Блазовицем между частями тяжелой кавалерии — нашими

кавалергардами и конными гренадерами французов, — чем-то напоминала средневековое сражение. Оно, увы, закончилось победой французов, причем в 4-м эскадроне кавалергардов уцелело всего 18 человек. Почти полностью был истреблен и лейб-гвардии Уланский полк, а его командир Е. И. Меллер-Закомельский был ранен и попал в плен. Словом, гвардия хотя и не бежала, но вынуждена была отойти за Раузницкий ручей, где и простояла, обескровленная, до вечера, больше уже не ввязываясь в бой. Единственным трофеем Конной гвардии и всей русской армии стало знамя 4-го линейного полка французской армии — предмет необыкновенной гордости потомков107.

Тем временем Багратион исполнял данную ему диспозицию, обрекавшую его войска на выжидание, и оставался зрителем развернувшегося в центре сражения. Он разместил свои войска таким образом: слева от дороги на Брюнн были построены пехотные полки под командой Долгорукова; егеря его полка занимали Голубицы и Круг; кавалерия генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова и генералов П. Х. Витгенштейна и Е. И. Чаплица располагалась справа и слева от позиции пехоты. Но вначале французы также не спешили и выдерживали свою диспозицию, суть которой состояла в том, чтобы, связав русских слева, не особенно напирать на них и справа, пока в центре не решится главное дело — захват Праценских высот. Как только это свершилось, Наполеон приказал втащить на высоты пушки и начать фланговый обстрел позиций Багратиона, а затем отдал приказ войскам начать наступление на них. И здесь он создал серьезный перевес в силах — его 17 700 человек действовали против 11 500 солдат Багратиона. Войска маршала Ланна, начавшего наступление, были усилены дивизиями генералов Кафарелли и Келлермана, освободившимися после победного боя с гвардией в Блазовице. В отличие от этих генералов, соединившихся с Ланном, гвардия Константина Павловича, отброшенная за ручей, на помощь Багратиону не пришла — никто не координировал действия наших сил. У позиций Багратиона завязался кавалерийский бой, однако генерал Ф. П. Уваров был отброшен с потерей всей конной артиллерии. Затем французская пехота выбила егерей и брошенный им на помощь Архангелогородский мушкетерский полк из селений Круг и Голубицы. Полком этим командовал Николай Михайлович Каменский 2-й — сын фельдмаршала, который чуть позже проявит себя как выдающийся полководец и, в некотором смысле, соперник Багратиона по службе. Полк его понес тяжкие потери (1631 человек), и Каменский вывел его остатки из боя. Основная мощь удара французов обрушилась на левый фланг позиции

Багратиона, куда князю пришлось бросить все силы. Бой был жестоким, «с обеих сторон весьма упорно сражались» — так потом писал Багратион в рапорте от 28 ноября на имя Кутузова108. Потеряв кавалерию, утратив населенные пункты впереди своей позиции, исчерпав все резервы и опасаясь окружения, в 11 часов 30 минут Багратион дал приказ начать отступление.

Убей паникера! Как известно, в военных состязаниях с Наполеоном угроза окружения всегда висела над его противниками, создавая нервозность в их рядах, что часто приводило к неосновательным страхам и панике. Военный историк и сам участник войн с Наполеоном А. И. Михайловский-Данилевский писал: «Кто бывал на войне, знает пагубное влияние слов: “Мы обойдены, отрезаны!”» В 1815 году, по словам того же Михайловского-Данилевского, граф М. С. Воронцов издал особый приказ по своей дивизии, гласивший: «…Кто во время сражения закричит: “Нас обошли или отрезали!”, тот на месте будет лишен жизни»109. Уточним: в 1810 году в своем «Наставлении господам офицерам… в день сражения», вспоминая прошедшие кампании, Воронцов писал, что «во многих полках была пагубная и престыдная привычка кричать, что отрезаны. Часто никто и не думал заходить ни вправо, ни влево, а фронт от сего проклятого крика приходил в смятение. За таковой поступок нет довольно сильного наказания. Храбрые люди никогда отрезаны быть не могут; куда бы ни зашел неприятель, туда и поворотиться грудью, иди на него и разбей. Ежели неприятель был силен, то ежели он частью заходит к нам во фланг, он разделяет свои силы и тем делает себя слабее; ежели же он и прежде был слаб и хочет только испугать захождением, то он пропал, как скоро на него пойдут в штыки. Теперь по уложению тот, кто причинит смятение во фронте, наказан будет как изменник. Офицера, который громко скажет: “Нас отрезывают ”, в тот же день по крайней мере надобно выгнать из полку, а солдата прогнать сквозь строй… Вообще, к духу смелости и отваги надобно непременно прибавить ту твердость в продолжительных опасностях и непоколебимость, которая есть печать человека, рожденного для войны». Впрочем, при этом надлежало держать ухо востро — Воронцов советует командирам наблюдать за действиями противника и при возникновении угрозы охвата, «не разглашая и без малейшей торопливости», доложить старшему командиру, «дабы сей мог взять на то нужные меры»110.

Иного выхода, как только отступать, у Багратиона не было — общие его потери составили почти половину — 5256 человек111. Трижды его полки, отступая в полном порядке, шаг за шагом,

останавливались, отбивая превосходящие силы Ланна, пока по шоссе Брюнн — Ольмюц не достигли Раузница, победу под которым накануне так радостно праздновали в русской армии. В рапорте Кутузову Багратион писал, что он получил повеление самого императора о необходимости поддержать правый фланг отступающего за ручей гвардейского корпуса112. Когда был получен такой приказ, неизвестно. Как бы то ни было, все отмечали, что отступление Багратиона было самым достойным и осуществилось в полном порядке.

Совершенная победа под звуки Марсельезы

Разгромив центр и отогнав правый фланг союзников, Наполеон занялся уничтожением левого фланга. Тут у французов главную роль сыграл Даву со своим Третьим пехотным корпусом. Он умело связал руки сразу трем колоннам союзников (Дохтурова, Ланжерона и Пржибышевского), не давая им нидвинуться вперед, ни вернуться назад, к Праценам. После 11 часов 30 минут Наполеон известил Даву, что русский центр разбит и что маршалу надлежит активизироваться и от обороны перейти в наступление: нанести удар по стоявшим вдоль ручья Гольбах войскам колонны Пржибышевского. Император также сообщил Даву, что в тыл Пржибышевскому он отправил часть корпус Ланна, а сам с гвардией и гренадерами движется к Аугесту, то есть в тыл Дохтурову и Ланжерону. Первое, что сделал Даву, — отрезал сообщение Пржибышевского со 2-й колонной Ланжерона и затем начал вести атаки на фронт и левый фланг 3-й колонны. Пржибышевский утратил управление войсками, полки смешались и нестройной толпой под убийственным пушечным и ружейным огнем французов стали отходить к Кобельницу, полагая, что там находится 2-я колонна Колловрата. Но там их встретили полки Сульта. Французские кавалеристы рубили отчаянно сопротивлявшихся русских солдат, которые без начальников не смогли построиться в каре. «Тут сделалась каша, — вспоминал солдат-участник боя, — наши перемешались с французами, секурса нам не подавали и неприятель одолел наших»"3. Раздался клич: «Рви знамена с древок и спасайся!» Потери 3-й колонны были ужасающи: из строя выбыло 5280 из 7563 человек, были пленены множество солдат, офицеров, три генерала, в том числе и командующий.

1-я и 2-я колонны ничего не предприняли для помощи гибнущим товарищам справа, а получив приказ Кутузова об отступлении, начали поспешно отходить от Тельниц к Аугесту. Но

там их уже ждал спустившийся с Праценских высот Наполеон. Он тотчас поставил на холмах пушки своей лучшей, гвардейской артиллерии, которая открыла убийственный огонь по приближающимся русским колоннам. Тогда Дохтуров, оставив несколько батальонов для сдерживания французов, решил прорываться между Аугестом и озером Сачан, точнее по плотине, разделявшей две части этого водоема. Плотина оказалась узкой, и войска двинулись по льду, но лед был неокрепший и сначала пушки, лошади, а вместе с ними и люди начали проваливаться в полыньи. И все это под убийственным огнем гвардейской артиллерии Наполеона. Но в отличие от Пржибышевского Дохтуров проявил присущие ему мужество и хладнокровие. Он руководил боем и переправой и сумел вывести часть своих полков на другую сторону, построить их в колонну и оторваться от неприятеля, который, впрочем, и не преследовал его. В шесть вечера над кровавым полем сгустилась темнота — победители ночевали, или, как тогда говорили, «бивакировались», на месте победной для них битвы.

Они разожгли костры на тех местах, где утром стояли союзники. Наполеон объезжал поле Аустерлица, и его солдаты криками приветствовали своего вождя.

Русские потери, согласно ведомостям конца 1805-го — начала 1806 года, составили 20 701 человек"4, австрийские — почти 6 тысяч человек (по французским данным, у союзников было 15 тысяч человек убитых и раненых, а 20 тысяч попало в плен). Потери французов, по данным французских источников, были таковы: 1290 убитых и 6943 раненых, итого 8233 человека (по русским данным — от 10 до 12 тысяч человек). Мимо Наполеона вели тысячи русских пленных, к его ногам было брошено двадцать русских знамен (по другим, отечественным данным — 30, по данным французов — 45); в одно место свезли 160 русских орудий (по французским данным — 180, включая австрийские). Трофеи были большие — французам удалось захватить обоз союзников и всласть пограбить даже фургоны с имуществом австрийского императора, который, как и Александр, бесславно бежал с поля боя. Участник сражения вспоминает, что еще бой не кончился, а в боевые порядки союзников хлынули напуганные толпы денщиков, кучеров, нестроевых, слуг и маркитантов — французы зашли в тылы и начали разбивать обозы115.

Вскоре пошел дождь со снегом. В наступившей темноте французы не очень старательно охраняли пленных — победители, как и положено им, были заняты грабежом, дележкой, обменом и торговлей трофеями. Наиболее ценные трофеи офицеры, как

тогда было принято, разыгрывали в лотерею. Поэтому многим пленным удавалось скрыться, причем несколько солдат вынесли с собой тайно сохраненные знамена полков. Вместе с отставшими солдатами беглые тянулись поодиночке и группами в том направлении, куда отступала союзная армия, — в Богемию, Силезию, Венгрию. Потом их собирали в маршевые роты и отправляли в Россию.

Раненых пленных французы повезли в Брюнн (Брно) и другие города. Их доля была сурова. Как вспоминал гренадер Попадищев, немцы, которые привезли в город повозку с пленными, нигде не могли их пристроить — все дома были забиты ранеными. Тогда они, «поговорив между собой, зашли с одной стороны, взяли телегу за колеса и вывалили нас с повозок, как навоз. Мы и повалились все на мостовую, как дрова, и многие тут же скончались»"6.

Сражение закончилось, и сразу же наступило затишье. Наполеону было достаточно победы на поле боя. Ему не было нужды добивать союзников, преследовать и уничтожать их войска — морально его противник был раздавлен и готов подписать мир, продиктованный победителем. А. П. Ермолов вспоминал, что ему был поручен большой передовой пост, состоявший из гренадер, драгун и казаков. Он стоял на дороге от поля сражения к Аустерлицу как некий арьергард. «Я с отрядом своим, — пишет Ермолов, — обязан спасением тому презрению, которое имел неприятель к малым моим силам, ибо в совершеннейшей победе не мог он желать прибавить несколько сот пленных. Но когда нужен был ему водопой, он довольствовался тем, что отогнал передовую мою стражу у канала. Я должен был выслушивать музыку, песни и радостные крики в неприятельском лагере. Нас дразнили русским криком “ура!”»"7. Дело в том, что знаменитый русский клич «ура!» похож на французское словосочетание «на крыс!».

Император Александр, потерявший свою армию и свиту, переночевал в деревне Уржиц, где расположился и бежавший с поля битвы император Франц. Ночевал Александр в простой крестьянской избе, на соломе, у него началось расстройство желудка, он был угнетен и обескуражен поражением. Не лучше обстояло дело с другими. «Мы провели ночь без огней, в печали и неизвестности», — вспоминал участник сражения. Русские и австрийские войска, сбитые со своих позиций, стояли на левом берегу Раузницкого ручья, в районе городков Раузниц и Аустерлиц. Император Александр тоже находился за ручьем, в расположении войск центра, которыми командовал Милорадович. Император ждал Кутузова, но так и не дождался —

главнокомандующий с началом разгрома колонны Пржибышевского стал метаться между частями, пытаясь восстановить порядок, был легко ранен в щеку и оказался в состоящей из двух полков (Фанагорийского и Ряжского) бригаде Каменского 1-го, шедшей в хвосте колонны Ланжерона. Эта бригада мужественно пыталась противостоять спускавшимся с Праценских высот войскам Наполеона, но была отброшена ими к Клейн-Гостиерадеку (Гостеридице), что на ручье Литава. Кутузов оказался отрезан от основной армии. Так, к 12 часам дня, писал историк этого несчастного сражения, «нося звание главнокомандующего, Кутузов остался только с одною бригадою и никакого дальнейшего влияния на сражение не имел».

Таким посылают шелковый шнурок. Как видим, верный почитатель Кутузова А. И. Михайловский-Данилевский все-таки выражает, хотя и в мягкой форме, критическое отношение к полководцу. Всем было очевидно, что Кутузов как военачальник показал себя в этом сражении с наихудшей стороны. Будь он главнокомандующим турецкой армией, султан послал бы ему шелковый шнурок, на котором потерпевшему такое поражение полководцу надлежало повеситься, не дожидаясь позорной казни. А гуманный Александр лишь наградил Кутузова вместо Георгия орденом Святого Владимира 1-й степени.

При многих других неблагоприятных обстоятельствах, приведших к поражению, вина главнокомандующего была велика, что бы ни говорили о неумелых австрийцах, гении Наполеона и т. д. Размышляя над положением, в котором оказался Кутузов накануне сражения, нужно признать, что оно было нелегким. В спорах о планировании операции он не сумел отстоять свои взгляды. Правда, Жозеф де Местр писал министру иностранных дел Сардинского королевства, будто бы перед самой битвой, «за час до полуночи, генерал Кутузов, из робости уступивший императору, явился к обер-гофмейстеру Толстому и просил его использовать свое влияние, дабы предотвратить неизбежное по всем признакам поражение. Толстой осердился и сказал, что его дело — пулярка и вино, а войной должны заниматься генералы, — вот как началась сия битва… Весь свет знает, конечно, что доблестный Кутузов проиграл Аустерлицкую баталию, на самом деле он повинен в сем не более, нежели вы или я; он не проиграл ее, а дал проиграть, когда император решил сражаться противу всех правил военного искусства»“”. И все же «общее мнение в армии осуждало его, — писал о Кутузове Михайловский-Данилевский, — зачем, видя ошибочные распоряжения доверенных при императорах Александре и Франце лиц, не опровергал он упорно действий их всеми доводами,

почерпнутыми из многолетней опытности и глубокого разума его». Уже впоследствии, после победы над Наполеоном в 1814 году, Александр, вспоминая дни Аустерлица, говорил: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надобно действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее». Может быть, это и так, учитывая мягкий характер императора, обычно склонявшегося перед напором и вескими аргументами. Такое случалось — ниже будет рассказано, как Александр в 1812 году отказался от планов обороны Дрисского лагеря. Впрочем, у Кутузова оставался в запасе решительный ход — подать в отставку, как это чуть позже, во время военных действий с французами в 1806 году, сделал фельдмаршал Каменский. Но Кутузов так не поступил — он не был ни целеустремленным и волевым, как Суворов, ни взбалмошным и резким, как Каменский. Кутузов принадлежал к совершенно иному типу людей — дипломатичных, уклончивых, бесконфликтных. Кажется, что Адам Чарторыйский нашел нужное в этой ситуации определение его характера. Он считал (и, наряду с другими, говорил царю), что высочайшее присутствие в армии парализует волю главнокомандующего, лишает его «возможности осторожно руководить действиями войск, чего приходилось опасаться, в особенности ввиду робкого характера Кутузова и его привычек придворного»119. Несомненно, отмеченная робость главнокомандующего была особого свойства, она проявлялась в отношениях с императором и двором. Он заботился о своем положении при дворе и дорожил мнением о себе государя, думал о своем благополучии и престиже. Есть немало свидетельств такого рассчитанного до мелочей поведения Кутузова. Как вспоминает Е. Ф. Комаровский, его первое свидание с только что взошедшим на престол императором Александром стало возможным только благодаря совету Кутузова, который подсказал, в какое время и где нужно оказаться, чтобы застать государя без свиты120. Да и после Аустерлица Кутузов вел себя как истинный царедворец. В январе 1806 года он писал жене о своем желании вернуться в Петербург, но просил ее, чтобы она устроила так, будто «государь меня сам позвал, это бы было приятнее в рассуждении публики, но ежели уже того не дождешься, то (надо) проситься, и для того посылаю к тебе просьбу, запечатанную к государю, ежели увидишь, что не позовут, то вели отдать через кого-нибудь, хотя через Ливена»121. Х. А. Ливен был начальником военно-походной канцелярии императора. В обществе суждение о Кутузове как о льстивом царедворце было общим местом. Тогда же де Местр писал графу де Фрону: «Кутузов весьма хорош, если, конечно, императора не

будет в армии, иначе он просто обратится в царедворца, думающего лишь об угождении повелителю, а не о войне»122.

Словом, Кутузов, как типичный царедворец, не решился отстаивать свое вполне разумное мнение, а поплыл по течению, которое и привело русскую армию к одному из крупнейших поражений в ее истории. Но при этом он оставался главнокомандующим с огромными полномочиями и ответственностью буквально за все. Кутузов был противником диспозиции Вейротера, даже не поставил под ней своей подписи, но она все равно связывалась с его именем. Неслучайно генерал Пржибышевский в рапорте о действиях своей колонны в Аустерлицком сражении писал: «Исполняя предписание диспозиции главнокомандующего господина генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова для третьей колонны…» и т. д.

Пусть диспозиция Вейротера была ошибочной, глупой, но даже исполняя ее, можно было избежать множества ошибок, сделанных как накануне битвы, так и в ходе ее, причем не только по вине австрийских генералов или русских придворных. Ведь они же не мешали Кутузову организовать эффективную разведку или лично провести рекогносцировку поля будущего сражения, как это сделал Наполеон. Вряд ли австрийские генералы могли возразить русскому главнокомандующему, если бы он настаивал на более разумном формировании колонн и четком плане их передвижения в начале операции, — тогда бы утром, выходя из лагеря, войска не начали сталкиваться друг с другом. Выше уже шла речь о других элементарных ошибках — об отсутствии конных разъездов или цепи стрелков перед колоннами, которые двигались к позициям неприятеля, о несогласованности в действиях самих наступающих колонн, об отсутствии координации их движения. Демонстративно устранившись от руководства всеми войсками и присоединившись к одной из наступающих колонн, Кутузов даже на этом участке действовал неудачно. В своей реляции 1 марта 1806 года императору Александру он призывает в свидетели царя: «Ваше императорское величество были сами свидетелем, что 4-я колонна (была) наиболее причиною поверхности, которую неприятель имел в тот день», и далее приводит эпизод с бегством авангардных батальонов Новгородского полка. Он пишет, что, кроме 4-й, «3-я колонна наиболее виновна, начальник ее (Пржибышевский. — Е. А.) вошел с людьми в деревню Кобельниц, не приняв никаких осторожностей, что и подало средство неприятелю обойтить оную колонну и взять большую часть людей в плен»123. Но ведь никаких «осторожностей» не предприняла ни одна из колонн и даже та, с которой двигался сам главнокомандующий! То, что обе

эти колонны — 3-я и 4-я — были разгромлены, — вина не только Пржибышевского и Колловрата, но и Кутузова.

Удалившись в одну из колонн, Кутузов утратил управление войсками и на суде по поводу поражения колонны Пржибышевского дал совершенно «глухие» показания: «О времени, когда 3-я колонна была разбита по причине, что почти все бывшие в оной генералы достались в плен, и не имея обстоятельного об ней донесения, я неизвестен»124. Правда, в какой-то момент Кутузов снова пытался выполнять обязанности главнокомандующего — так, он отдал запоздалый приказ об отступлении 1-й и 2-й колоннам. Потом, как уже сказано, Кутузов пытался как-то организовать сопротивление полков 4-й колонны и бригады Каменского, вернуть утраченные ключевые Праценские высоты, но было уже поздно. И тогда, начиная с полудня, он блистательно отсутствовал на поле битвы, отступив с него вместе с бригадой Каменского. Опять же неясно, где он проводил время до ночи. Если ему было трудно пробиться к Багратиону или великому князю Константину, то почему он не устремился к отступавшим в другом направлении колоннам Дохтурова и Лонжерона

Изначально не заявив об отставке и приняв на себя весьма странную роль главнокомандующего, который вовсе не командующий или лишь немного командующий, Кутузов сам себе связал руки. Позже он писал, что «место, в коем находился я в тот день, не позволяло мне видеть лично происходившее в прочих местах»125 Но это был его собственный выбор. В обязанности главнокомандующего входила и организация отступления с поля битвы, что сделано не было, и Александр, прождав Кутузова всю ночь, сам приказал армии отходить в Венгрию.

«Неприятель хорошо маневрировал… — вспоминал гренадер Попадищев. — Не хуже Суворова! Тут в деле все солдаты говорили: “Был бы Суворов, так этого бы не было”»1211. Но Наполеона вело к победе не только искусство маневрирования. Как писал военный историк и генерал русской армии Леер, гений его слагался из множества черт, черточек и качеств. Их, в принципе, не были лишены другие люди, в том числе и Кутузов, но эти качества — в своей совокупности, в сочетании — и делали Наполеона гениальным полководцем. Леер перечисляет составляющие этого гения, а мы прилагаем это перечисление к Кутузову. Это — громадный труд по тщательному изучению местности и организация рекогносцировки (наполеоновские генералы заранее прошли все дистанции, которые предстояло преодолеть их полкам ночью). Это — постоянное наблюдение, разведка сил противника, местонахождения, движения его и,

соответственно, принятие окончательного решения о своих действиях. При этом решение должно быть принято не слишком рано, но и не слишком поздно. Гений предполагал продуманную стратегию и тактику сражения на разных его участках (на правом крыле — активная оборона с последующим переходом в наступление, на левом — пассивная оборона, основной удар — в центре). Нельзя не упомянуть о тщательной подготовке и расчете сил и возможностей, с тем чтобы сосредоточить их в нужном месте и добиться перевеса над неприятелем. Наконец, помимо всего прочего, Наполеона отличало «необыкновенно искусное ведение сражения в духе внутренней его цельности, единства в действиях, планосообразности»127. Наполеон сам писал об этом так: «Со стороны неприятеля не было соединенной армии, действующей по одной схеме, которой части поддерживали друг друга. Тут было три различные неприятельские армии, разобщенные, имевшие французов в голове и на фланге, могшие только действовать личной храбростью, без всякого расчета, и сопротивляться изолированно, без общей цели; со стороны французов, напротив, все было связано между собой. Все двигалось в согласии, и все помогало одно другому для общего последствия».

Кутузов, не проявив ни одной из этих черт своего противника, полностью сложил с себя ответственность за поражение. «Я умываю себе руки» — так он сказал в разговоре с офицерами Измайловского полка. «Могу тебе сказать в утешение, что я себя не обвиняю ни в чем, хотя я к себе очень строг» — так он писал жене128.

Он один остался на месте

Багратион, простояв ночь у Раузница, получил приказ Александра об отступлении к Аустерлицу, в окрестностях которого стали сосредоточиваться остатки разбитой армии. Ермолов писал, что когда отозванный со своего передового поста он приехал в Аустерлиц, то армии как таковой не было: «Беспорядок дошел до того, что в армии, казалось, полков не бывало: видны были разные толпы». О том же вспоминал и Адам Чарторыйский: «В союзных войсках не было больше ни полков, ни главного корпуса, это были просто толпы, бежавшие в беспомощности, грабившие и тем еще более увеличивавшие безотрадность этого зрелища». И только войска Багратиона, совершившие переход от Раузница к Аустерлицу, казались единственной организованной силой, несмотря на потери в бою и

при отступлении. Их вел полководец, которому доверяли солдаты и офицеры. «Багратион один остался на месте перед торжествующими войсками Наполеона», — вспоминал Чарторыйский129.

Вскоре, «не дожидаясь присоединения оторвавшихся частей, — как писал Ермолов, — армия в продолжение ночи пошла далее. На рассвете стали собираться разбросанные войска, и около десяти часов утра появилась неприятельская кавалерия, наблюдавшая за нашим отступлением. В сей день по причине совершенного изнурения лошадей оставили мы на дороге не менее орудий, как и на месте сражения». Кутузов позже объяснял позорную потерю артиллерии, совершенную не в бою, а в походе, оплошностью австрийских проводников, которые повели артиллерию по дороге, к этому не приспособленной, а также обрушением моста, «по сему и дано было повеление оставить их»110. Но в этой безрадостной картине отхода разбитой армии были и исключения. Известна история фейерверкера 4-го класса Дмитрия Кабацкого, который через целых десять дней после сражения, уже в Венгрии, соединился с отступающей армией и привел с собой 17 солдат вместе с двумя орудиями и зарядным ящиком. Оказалось, что командир полка полковник Кудрявцев и офицеры роты, не будучи раненными, покинули место сражения и «почитали сии два орудия пропавшими». На рапорте Кутузова о награждении Кабацкого по распоряжению императора было написано: «Произвесть в подпоручики за отличие. Донесть о том, где находились полковник Кудрявцев и офицеры сии во время сражения». Согласно рапорту Милорадовича, в начале сражения он видел Кудрявцева и офицеров на батарее, но «в продолжение оного приезжал на батарею и не нашел на оной ни его, Кудрявцева, равно и ни одного из офицеров его роты». На вопрос Милорадовича, кто старший, к нему явился фейерверкер Кабацкий, который и командовал все это время шестью орудиями. В третий раз Милорадович, будучи на батарее, «застал ретираду оной… лошади под орудиями за усталостию не могли следовать за оною (4-й колонной. — Е. А.), Кабацкий отличною расторопностию своею спас те два орудия и явился через 10 дней. Полковник Кудрявцев с офицерами его роты ретировался гораздо ранее»131. История эта невольно вызывает ассоциацию с двумя выдающимися произведениями русской и советской литературы. Каждый, кто читал «Войну и мир» Льва Толстого, помнит трогательный образ капитана Тушина, мужественно дравшегося со своими артиллеристами в безнадежной ситуации и потом не сумевшего объяснить высокому начальству потерю нескольких орудий. Еще больше фейерверкер Кабацкий напоминает героя

романа Константина Симонова «Живые и мертвые» — сержанта Шестакова, который с четырьмя солдатами протащил на руках четыреста километров от Бреста свою противотанковую сорокапятку; изможденный вид сержанта и его подчиненных потряс видавшего виды генерала Серпилина.

И в ряде других случаев было так, что солдаты продолжали драться, несмотря на то, что офицеры их сдавались или бежали. Гренадер Попадищев вспоминал: «С обеих сторон пошел сильный ружейный огонь, наши все еще держались, и никто не думал, что нам приходилось плохо». И хотя командир полка «разъезжал уже без шпаги, повторял неоднократно: “Бросайте, ребята, ружья, а то всех побьют”, но наши, несмотря на это, беспрерывно заряжали и стреляли»132.

Приказ бросить пушки у разрушенного моста под Аустерлицем дал не Кутузов, а государь — сам Кутузов появился в расположении армии, вероятно, не ранее того момента, когда она достигла венгерской границы в городе Голич. Отсюда император Александр отправился в Россию, поручив Кутузову Увести армию на квартиры.

Войска Багратиона двинулись, как тогда говорили, «в замке», то есть они замыкали движение нестройных толп смешавшихся полков. Следом, в непосредственной близости, шли французы, но они не нападали на русских — в ту ночь император Франц заключил перемирие с Наполеоном. Согласно перемирию русская армия должна была покинуть Австрию и отойти в свои пределы. Вообще, известно, что поначалу Наполеон начал преследование отходящих русских по шоссе на Ольмюц — таковы были ошибочные данные его разведки, и лишь потом стало ясно, что Кутузов уходит в Венгрию. Первый приказ, который отдал Кутузов после битвы, датирован 22 ноября. В нем Кутузов требовал от командующих колоннами дать сведения о находящихся в строю солдатах и офицерах. В тот же день он вступил в переговоры с Даву, прося его установить перемирие на 24 часа. После этого русский император присоединился к условиям, которые подписал австрийский император: русская армия должна была очистить Австрию и Венгрию в течение пятнадцати дней133.

«Поднимай на царя!» Понятие «строй» было весьма условным для отступающей, деморализованной солдатской массы. «Множество наших солдат, — писал мемуарист, — разбрелись по сторонам, пользуясь изобилием виноградных вин, предались пьянству, не могли следовать за армией и полусонные были захвачены французами… Другая причина, по которой оставили знамена многие из нижних чинов, была — прельстили убеждения

моравских жителей или, лучше, самых моравок. Меня тоже упрашивали бросить опасное ремесло воина и навсегда остаться в одном семействе…» Адам Чарторыйский подтверждает вышесказанное: «Проезжая через деревни, мы только и слышали несвязные крики солдат, искавших в вине забвения превратностей судьбы. Местным жителям приходилось от этого очень плохо»134. Кроме дезертирства, вновь, с невиданной прежде силой, вспыхнуло мародерство. Собственно, вся армия превратилась в мародеров — обозы были разбиты, австрийские власти уже не снабжали войска бывших союзников провиантом. И хотя особым приказом от 26 ноября Кутузов предписал соблюдать строжайший порядок при следовании войск через Венгрию, этот приказ остался пустой бумажкой. Фаддей Булгарин, рассказывая об Аустерлицком сражении, приводит такой случай: наутро после поражения «государь увидел несколько гвардейских батальонов и толпы армейских солдат почти без огней, лежавших на мокрой земле, голодных, усталых, измученных… Верстах в двух была деревенька, но в ней нельзя было занять квартир и достать помощи обыкновенными средствами. Надлежало отступать… Император Александр, тронутый положением своих воинов, позволил им взять все съестное из деревни — “Ребята, поднимай на царя!” — раздался голос флигель-адъютанта». Так в русской армии формулировалось разрешение брать город или селение на общее разграбление или, как говорили раньше, «на поток». «Солдаты, — продолжает Булгарин, — устремились в деревню и выбрали все, что можно было взять и что было даже не нужно, только для потехи. Государь записал название этой деревни и после вознаградил вдесятеро за все взятое»135. Конечно, курами и скотиной «одной деревеньки» было бы невозможно обеспечить даже скромный завтрак не менее чем 50 тысячам солдат. Поэтому — возможно, не без согласия императора — начался повсеместный грабеж. Даже в гвардии рухнула дисциплина, за соблюдением которой раньше так ревностно следил Константин Павлович. Теперь он мирился с проделками, а в сущности — с воинскими преступлениями, своих солдат. На его глазах правофланговый гренадер-гвардеец застрял в дверях ограбленного им дома: «На спине у него была клетка, полная живых гусей и кур, по бокам — мешки, набитые разной снедью, а на груди висел свежезаколотый дорогой меринос. Константин Павлович спросил его с досадой, но едва удерживаясь от смеха: “Куда ты, жадная душа, набрал столько ” — “На целую артель, Ваше императорское высочество ”, — отвечал гренадер, выпачканный весь в муке и оглушаемый гусиным и куриным криком». Построив три тысячи таких мародеров, великий князь со

смехом равнял их по этому гренадеру: «Осади назад урода и выровнять строй по его барану!»136 При таких обстоятельствах издевкой выглядит положение упомянутого приказа Кутузова о соблюдении дисциплины: «Офицерам в ротах обходить чаще свои квартиры и спрашивать хозяев, довольны ли своими постояльцами, ибо за всякое неустройство ротные командиры ответствовать станут»137. Также маловероятным кажется утверждение Кутузова в рапорте императору Александру о том, что за время перехода войск через Венгрию «не было ни одной жалобы, исключая тогда, когда еще войски стояли под Синицами биваком и получали вместо хлеба половинную порцию мукою, и тогда, ходя за соломою и за дровами в деревни, были шалости»“”. О «шалостях» гвардейцев уже сказано выше…

Армия прошла через Венгрию, пересекла Карпатские горы и вступила в Галицию. По дороге в Венгрии русских встречали весьма благожелательно, главнокомандующего приветствовали выборные от дворян, и, как пишет Ермолов, «были даны Два праздника, и, к удивлению, находились многие, которые могли желать забав и увеселений после постыднейшего сражения»139, Словом, как писал Жозеф де Местр, «пал престиж русского оружия в Европе, и над всем воспарили французские орлы»140.

Багратион после Аустерлица

Мы не знаем, как складывались отношения Багратиона с Кутузовым и почему, составляя список отличившихся в сражении при Аустерлице, фельдмаршал обошел его в наградах. О боевой деятельности Багратиона он написал следующее: «Удерживал сильное стремление неприятеля и вывел корпус свой с сражения в Остерлице в порядке, закрывая в следующую ночь ретираду армии; за что всеподданнейше испрашиваю от Вашего императорского величества похвального ему рескрипта». Подчиненный Багратиона граф Уваров потерпел ббльшие потери и был отброшен противником, и тем не менее Кутузов представил его к ордену Святого Георгия 3-го класса, как и князя Долгорукова. К ордену Владимира 2-й степени был представлен генерал Дохтуров. Полководец же, который, в отличие от других командующих колоннами, мужественно отбился от неприятеля и сохранил свой корпус в порядке, был представлен только к «похвальному рескрипту». В этом я склонен видеть месть Кутузова Багратиону за ту политику, которую он начал вести с прибытием императора и его приближенных, — за то, что Багратион не поддержал фельдмаршала во время обсуждения

стратегии, а оказался в лагере сторонников наступления во что бы то ни стало.

В отличие от других командующих Багратион не довел свою колонну до Дубни — места зимних квартир. 25 декабря он уехал в Петербург. Да и то — война кончилась, 26 декабря 1805 года Франция и Австрия заключили мирный договор, а в столице Петра Ивановича ждали новые дела.

Глава пятая
Бог рати он

За столом, в Малой столовой зале

В январе 1806 года Багратион прибыл в Петербург. В формулярном списке генерал-лейтенанта Багратиона не отмечено, что после отступления от Аустерлица и похода через Венгрию он получил новое назначение. Не обнаружено и приказов по Военному министерству о новой ступени в службе Багратиона. Возможно, он вернулся по месту своей основной службы — в расположение Лейб-егерского батальона. Кутузов же приехал в Петербург только в мае и 13 мая был в числе прочих «жалован к руке по случаю приезда в здешнюю столицу»1.

В Петербурге Багратион поселился в доме княгини А. П. Гагариной (той самой, которая когда-то была фавориткой Павла и в 1800 году посаженой матерью невесты Багратиона) на Дворцовой набережной. Надо полагать, что он снимал этот дом или часть его. Дом Гагариной был совсем рядом с Зимним дворцом, и тотчас Багратион погрузился в светскую жизнь, которая оживилась с возвращением государя из дальнего похода. Среди других влиятельных чиновников и генералов Багратион часто бывает при дворе. Первый раз камер-фурьерский журнал зафиксировал его появление за столом Александра I 18 января 1806 года, когда государь обедал в тесной компании (на девять кувертов). За столом в Малой столовой Зимнего дворца сидели император и императрица Елизавета Алексеевна, ее сестра принцесса Баденская Амалия, а также камер-фрейлина Анна Протасова, обер-гофмаршал граф Николай Толстой, генерал и гофмейстер князь Д. П. Волконский, сенатор М. Н. Муравьев и камергер, обер-прокурор Синода князь А. Н. Голицын2. Девятым был Багратион. Узкая компания явно близких, «своих» людей. Возможно, князя Петра пригласили в нее как героя и очевидца происшедшего в Богемии. По-видимому, рассказы Багратиона оказались интересными, так как приглашение в узкий круг повторилось и 25 января.

На большом обеде в Желтой комнате он сидел недалеко от Аракчеева (кроме них двоих из генералов и адмиралов были приглашены князь А. А. Прозоровский, П. К. Сухтелен, князь Д. П. Волконский, адмиралы П. И. Пущин и Ф. Ф. Ушаков). Вместе с ними наслаждался придворной кухней действительный тайный

советник Г. Р. Державин. 31 января — новое приглашение Багратиона на обед в 16 кувертов, причем это был «министерский обед» — рядом сидели Н. П. Румянцев, А. П. Кочубей, А. А. Чарторыйский, а также приятель Багратиона генерал-адъютант князь Петр Петрович Долгоруков. Приглашения на обеды повторялись в феврале, вплоть до отъезда Багратиона в Москву, еще шесть раз. Так, 7 и 8 февраля Багратион обедает на большом праздничном обеде среди множества гостей, и оба раза сидит возле А. А. Аракчеева. Возможно, это случайное совпадение, но потом окажется, что они нашли общий язык. 9 февраля его имя упомянуто рядом с именем П. П. Долгорукова. А 18 февраля в Зимнем дворце Багратион был на прощальной аудиенции перед отъездом в Москву. Редкий генерал-лейтенант удостаивался такой чести3.

Салон не щеголя, но героя

Дом княгини Гагариной с его знаменитым постояльцем на какое-то время стал центром притяжения петербургского света. Можно сказать, что 1805–1807 годы — одни из самых удачных в жизни Багратиона, несмотря на общие неудачи армии, да и России в целом. Его воинская слава была причиной этой удачи, благорасположения двора, восхищения общества. На него смотрели как на военачальника, чуть ли не единственного, кто спас воинскую честь России. Немаловажной причиной успеха Багратиона был и его талант царедворца. Он обладал способностью налаживать отношения с придворными и поддерживать дружбу с влиятельными людьми.

Молодой патриот и консерватор. Одним из друзей Багратиона был князь Петр Петрович Долгоруков. Он сделал блестящую карьеру при Александре. Родившийся в декабре 1777 года и годовалым записанный в гвардию, Долгоруков начал службу в пятнадцатилетнем возрасте сразу в чине капитана Московского гренадерского полка. Вскоре он стал адъютантом своего двоюродного дяди генерал-аншефа Юрия Владимировича Долгорукова, весьма известного деятеля екатерининских времен, участника множества походов и героя знаменитой черногорской авантюры: в 1769 году Юрий Долгоруков был послан в Монтенегро с тем, чтобы спровоцировать выступление черногорцев против турок и устранить самозванца Степана Малого, выдававшего себя за императора Петра III. О своих необыкновенных приключениях в Черногории Долгоруков оставил увлекательные мемуары. Князь Петр Петрович попал к

дяде, когда тот был главнокомандующим русскими войсками на присоединенных к России территориях Речи Посполитой. Позже, при Павле 1, в 20 лет он был уже полковником и рвался к делам, которые могли бы принести ему славу. Но его определили в полк, стоявший в Москве. Дважды он подавал прошение императору с просьбой перевести его в действующую армию, но получал отказ, причем во второй раз, как тогда писали, «с наддранием», то есть государь в гневе порвал рапорт. Но молодой человек не успокоился и написал о том же наследнику престола великому князю Александру Павловичу, с которым таким образом и познакомился. Наследник помог Долгорукову, и тот с чином генерал-майора в 1797 году отправился служить комендантом Смоленска и обратил на себя внимание государя бодрыми рапортами о том, что, благодаря его, Долгорукова, усердию смоленское дворянство осталось верно российскому государю. Дело в том, что в соседней Польше происходили драматические события очередного, Третьего раздела, а к смоленскому дворянству, как и к украинской старшине, самодержавие испытывало известное недоверие, ставило под сомнение его лояльность, памятуя о давних связях смолян с Речью Посполитой. Недаром на Руси ходила пословица: «Смоленские — кость польская, а мясо собачье». Рапорты Петра Долгорукова из Смоленска настолько понравились Павлу, что царь отозвал его и сделал своим генерал-адъютантом — возможно, это произошло не без протекции Александра Павловича, сблизившегося с молодым аристократом. Есть подозрение, что Долгоруков был среди заговорщиков, совершивших государственный переворот и убийство императора Павла в марте 1801 года, но участие его в этом неприглядном деле было незначительным. Зато новый государь сделал его одним из своих ближайших сотрудников. Он не включил Петра Долгорукова в Негласный комитет, но стал давать ему ответственные административные и особенно дипломатические поручения. Впрочем, кажется, что по своему характеру — резкому и довольно независимому — Долгоруков был дипломатом неважным — история его явно неудачной встречи с Наполеоном накануне Аустерлицкого сражения это подтверждает, причем Наполеон дал тогда Долгорукову уничтожающую характеристику. Но в других миссиях Долгорукова ждал успех — образованный, светский красавец, Рюрикович, он производил прекрасное впечатление как при прусском дворе, куда его не раз посылал Александр, так и среди шведской знати — по воле императора он оказался и в Стокгольме. К тому же он был умен, умел ясно и четко выражать свои мысли на бумаге. В 1802 году Долгоруков, в числе других

близких императору придворных и сановников, присутствовал при первой встрече Александра с прусским королем Фридрихом Вильгельмом в Мемеле.

Петр Долгоруков был не только высокопоставленным порученцем. Он довольно плодотворно занимался внешней политикой, оставил после себя несколько записок, в которых отчетливо отразились его взгляды на волновавшую всех «проблему Буонапарте». Он считал Бонапарта заклятым врагом России и утверждал, что с ним нужно бороться всеми средствами, включая вооруженные. Это была, по тем временам, довольно смелая позиция. Дело в том, что в самом начале царствования Александра государь и его близкие сподвижники по Негласному комитету — князь Адам Чарторыйский и граф П. А. Строганов — да и младший брат государя — Константин Павлович принадлежали к числу восторженных поклонников Первого консула. Особенно остро Долгоруков сталкивался с Чарторыйским — польским аристократом, ведавшим внешней политикой России и мечтавшим, что в этом качестве он сможет как-то помочь своей родине восстановить государственность и независимость. Известно, что однажды за царским столом, в ответ на слова Чарторыйского по какому-то поводу, Долгоруков резко заметил: «Вы рассуждаете, милостивый государь, как польский князь, а я рассуждаю как русский». Это очень примечательно — Долгоруков, в отличие от космополитической компании, окружавшей государя, придерживался сугубо патриотических взглядов, был противником сближения с Наполеоном и, в отличие от Чарторыйского, сторонником сближения с Пруссией на антинаполеоновской основе, почему он так часто и посещал Берлин по воле государя с дипломатическими поручениями.

Как известно, сам император Александр был натурой сложной и «непрозрачной». Он терпел в своем окружении людей самых разных взглядов (вспомним, какое важное, ключевое место при нем долго и одновременно занимали сущие антиподы — Аракчеев и Сперанский). В конечном счете император использовал во благо себе противоречия, разделявшие его приближенных, а потом удалял их от себя. Эта судьба ждала почти всех близких ему людей (исключая, пожалуй, только Аракчеева). В описываемое время, в 1806–1807 годах, настал черед удалить и Чарторыйского, а также и Долгорукова. Произошло это не вдруг, незаметно и было связано со множеством других, казалось бы посторонних, но болезненных для подозрительного государя обстоятельств. Но в самом начале 1806 года звезда Долгорукова стояла высоко в зените. Он «примерно-отлично» проявил себя под Аустерлицем в отряде

своего приятеля Багратиона, а потом был отправлен императором в Берлин, чтобы смягчить горечь поражения, постигшего Россию и Австрию в войне с «извергом». В посланиях государю из Берлина он подробно излагал содержание своих бесед с королем и прусскими министрами. В феврале 1806 года Долгоруков вернулся в Россию. Миссия его, правда, была успешной лишь отчасти. Он пытался (и как ему казалось — удачно) подвигнуть Пруссию к войне с Наполеоном в союзе с Россией. В Берлине его как будто обнадежили на сей счет, но оказалось, что за его спиной пруссаки заключили с Францией тайный союзный договор. Тем не менее, вернувшись в Петербург, Долгоруков пожинал плоды своих прежних достижений. Ему не повредили слухи, упорно обвинявшие его в том, что он, в сущности, стал истинным виновником Аустерлицкой катастрофы, ибо именно по его совету Александр решился на сражение. Но император, вероятно, отчасти сознавая собственную вину, отстаивал своего любимца, который с высочайшего позволения напечатал в Пруссии две брошюры в защиту своей позиции и с обвинением австрийцев — неверных и неумелых союзников. Это был ответ на критику, прозвучавшую в его адрес из Вены и со страниц европейских газет, потешавшихся над ним как над неудачником. Демонстрацией сохранения прежнего влияния Долгорукова стал рескрипт Александра от 28 января 1806 года, основанный, как уже показано выше, на рапорте Багратиона. Долгоруков был всемилостивейше пожалован кавалером ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 3-й степени, причем в тексте рескрипта дело подавалось таким образом, будто князь Долгоруков возглавляч успешные боевые действия не просто правого фланга отряда Багратиона, составлявшего незначительную часть войска союзников, а всей армии.

Касаясь чуть ли не демонической роли Долгорукова в истории поражения при Аустерлице, отметим, что на самом деле все обстояло сложнее и, возможно, прав Ф. В. Булгарин, который подметил: «Все писатели, говорившие об Аустерлицком сражении, приписывают поспешность в битве и уклонение наше от мира князю Долгорукову, пользовавшемуся особенной благосклонностью государя. Мне кажется, что князь Долгоруков был только представителем общего мнения. Горячность его к борьбе с Наполеоном разделяла с ним не только вся русская армия, но и вся Россия»4.

По возвращении в Петербург Долгоруков, воодушевленный благосклонностью государя, вновь оказался в ближайшем его окружении. Суждения о нем были противоречивы. С одной стороны, он занимал радикальную, антинаполеоновскую,

антифранцузскую позицию, в чем находил общий язык со многими людьми из придворного и военного мира (в том числе и с Багратионом), но с другой — был весьма радикален и жесток в своих взглядах, что вообще не было свойственно императору Александру и ставило под сомнение степень его влияния на государя в будущем. Многие даже опасались, что он станет править деспотически, пользуясь особым расположением государя5. Но Долгоруков не дожил до Тильзита. Осенью 1806 года он был послан Александром в Дунайскую армию Михельсона с поручением, но с началом войны с Францией был отозван в Петербург, куда примчался за шесть дней, уже больным. Он умер 12 декабря 1806 года на 29-м году жизни. Историки полагают, что командировка Долгорукова была началом его опалы, удаления от государя.

В начале 1806 года Долгоруков часто бывал в доме Гагариной у своего приятеля князя Петра Ивановича. Там собирались и многие другие люди из высшего света — князь Багратион был радушным и щедрым хозяином, да и посмотреть на отечественного Леонида — героя Шёнграбена и Аустерлица, и послушать его было любопытно. Среди гостей в доме Багратиона часто бывал еще один участник битвы под Аустерлицем, князь Борис Четвертинский, давний знакомый Багратиона. Гостьей салона Багратиона была и сестра Четвертинского, М. А. Нарышкина.

Из донесений за февраль 1806 года баварского поверенного в делах Ольри, большого любителя придворных сплетен (впрочем, их коллекционирование входило в обязанности дипломатов), видно, что салон Багратиона становился местом сбора, неким центром «партии Нарышкиной» — фаворитки Александра I. Он пишет, что после некоторого периода охлаждения Нарышкина опять завладела вниманием императора, и молодые министры «начали ухаживать за нею, стараясь сделать из нее новую точку опоры для себя. Орудием для прикрытия этой интриги является теперь князь Четвертинский, брат фаворитки…». Интрига состояла в том, чтобы сохранять влияние фаворитки, ее круга и вообще «молодых друзей» на императора. Между тем, под влиянием различных обстоятельств, изменений во взглядах самого государя, положение ближайших сподвижников начала александровского царствования стало меняться не в их пользу. Началась борьба за сохранение этого влияния, и Багратион оказался в центре круга, состоявшего из людей более молодых, чем он сам. Это тоже кажется примечательным. У Багратиона не сложились отношения со многими ровесниками и сослуживцами в генеральских чинах. Недоброжелательство, зависть, ревнивое

отношение к успехам по службе и в бою царили в русской армии, как и в любой другой. Из самых разнообразных источников видно, что после Аустерлица между Кутузовым и Багратионом пробежала черная кошка. У Багратиона были неважные личные отношения со ставшим военным министром Барклаем де Толли, с претендовавшим, как и он сам, на роль «первого ученика Суворова» Милорадовичем, а также с Тучковым 1-м и некоторыми другими генералами. Позднее, на Бородинском поле, возник момент, описанный дежурным генералом С. И. Маевским, когда командовавший 3-м пехотным корпусом генерал-лейтенант Н. А. Тучков отказывался помогать изнемогавшему под натиском французов Багратиону. Маевский писал: «Две посылки к Тучкову за сикурсом остались без исполнения по личностям (то есть по личной неприязни. — Е. А.) Тучкова к Багратиону и наоборот». Возможно, Маевский ошибается — Тучков сам в это время подвергся яростной атаке французов и выделить помощь 2-й армии не мог. Но мотив «личности» тоже мог иметь место. Маевский пишет, что только с третьей попытки Тучков отправил в расположение 2-й армии 3-ю пехотную дивизию П. П. Коновницына6.

Естественно, что Багратион нуждался в обществе, к тому же он был общепризнанным героем. Поэтому неслучайно к нему стала слетаться петербургская военная и придворная молодежь — а это зачастую было одно и то же.

«Возвращаясь к нити этой интриги, — пишет Ольри, — проводником ее сделался князь Багратион. Четвертинский был прикомандирован к этому генералу во время последней кампании в качестве офицера его генерального штаба и понятно, (что) за свои заслуги и поведение был рекомендован благосклонности императора. В знак благодарности Четвертинский, со своей стороны, приглашает своих сестер, которые редко кого удостаивают своим посещением, на чашку чая к Багратиону, у которого в то время собиралась вся военная молодежь, в особенности князь Петр Долгорукий (Долгоруков. — Е. А.), ставший более, чем когда-нибудь, сеятелем всякой вражды, далее великий князь (Константин Павлович. — Е. А.), князь Чарторыйский, Новосильцов, Александр Голицын и другие. Издавна Багратион завязал очень хорошие отношения с великим князем Константином Павловичем, человеком взрывного темперамента. Их связывала общая служба под началом Суворова во время Италийского похода 1799–1800 годов, когда они оба находились в авангарде русской армии и даже сменяли друг друга на командном посту, вместе стояли под ядрами и пулями французов в боях, шли пешком по горным тропам, спали у одного

бивачного костра, словом, вместе переносили тяжелые испытания во время драматического Швейцарского похода. А это, как известно, не забывается»7. Неудивительно, что во время войны 1805 года Багратион мог себе позволить написать великому князю дружественное, в «суворовском» стиле письмо, как только тот появился с гвардией под Ольмюцем: «Ваше императорское высочество! Слава! Слава! Слава! Победа, честь, ура! Не могу изъяснить, сколь я обрадован прибытием вашим, пора обратить нам оглобли, пора рубить лес, а то час от часу вырастать станет…»8 Наверняка они тогда, да и позже, встречались как старые боевые товарищи, причем дружба с Багратионом была лестна для не преуспевшего на военной стезе цесаревича.

Снова дадим слово Ольри: «Таким образом, завязываются связи, образуется целая цепь знакомств, из которых стараются создать систему протекции с целью укрепить доверие государя к теперешним министрам и оградить их от ответственности, овладев заранее всеми доступами к власти и сердцу императора. Эти собрания, на которые для отвода глаз приглашаются и кое-какие незначительные личности, тем более бросаются в глаза, что они происходят в отсутствие жены Багратиона, и на них бывают обе сестры, которые с нею на ножах. Но такого рода пренебрежения к приличиям здесь нипочем, раз дело идет о средствах добиться успеха»9.

Бесподобная Мария Антоновна. Тут следует особо сказать о центральной фигуре чаепитий в салоне Багратиона — М. А. Нарышкиной. Статус Марии Антоновны Нарышкиной в негласном счете тогдашнего общества был чрезвычайно высок — она была не просто одной из многих фавориток императора, которыми он увлекался ранее, а негласной, тайной императрицей, многолетней любовницей Александра. Связь эта завязалась еще во времена императора Павла I, при дворе которого была фрейлиной Мария Нарышкина, урожденная Четвертинская, происходившая из известного польско-литовского рода. Ее сестра Жанетта состояла при тогдашней великой княгине Ешзавете Алексеевне и, по-видимому, была с ней близка. Как вспоминает графиня В. Н. Головина, увлечение будущего императора Нарышкиной началось зимой 1801 года, когда на одном из костюмированных балов он обратил на нее внимание. Тогда же он заключил пари с Платоном Зубовым, известным ловеласом, кто из них первым добьется благосклонности юной красавицы и представит подтверждение своей победы. Когда Зубов показал Александру записочки, которые во время полонеза ему тайно передала Нарышкина, великий князь вроде бы признал свое поражение и отступился, но вскоре, став императором,

возобновил ухаживания и довольно легко добшкя расположения — верность (даже императору) не была главным достоинством красавицы.

С тех пор императрица Елизавета Алексеевна была отвергнута императором, и он проводил все свое время в доме Нарышкиных — Мария Антоновна, естественно, была замужем. Супруг ее Дмитрий Львович Нарышкин, «прекрасный мужчина, истинно аристократической наружности», не отличался ни умом, ни сильной волей. Он занимался царской охотой, был обер-егермейстером, но государь был далек от кровожадного удовольствия убивать оленей и лишь иногда мог полюбоваться на рога своего обер-егермейстера. Придворный чин, как и орден Александра Невского, а также щедрые денежные пожалования, которые получал Нарышкин, — все это, как считали в обществе, было шатой за «снисходительность супруга», закрывавшего глаза на проделки Марии Антоновны. На половину своей супруги Дмитрий Львович был не вхож, жена его отвергла, и нам неведомо, как он мирился со своим странным двусмысленным положением. Дом Нарышкиных был, как тогда говорили, «модным», посещаемым знатью, дипломатами и отличался какой-то особой роскошью, покои же несравненной Марии Антоновны назывались «Храмом красоты». Самым ревностным паломником в это святилище многие годы (не меньше пятнадцати лет) был император. Причины этой достаточно долгой привязанности и, соответственно, — отчуждения государя от не менее прелестной супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны, первые годы обсуждались в обществе на все лады, но потом все к этому привыкли и воспринимали как некую данность, причем Александр не делал из своей интрижки тайны даже для императрицы, ибо брак их фактически распался. От императора у Марии Антоновны родилось несколько детей. Сестра Елизаветы Алексеевны, принцесса Амалия Баденская, имея в виду Нарышкину, записала 19 декабря 1807 года: «Дама ночью родила девочку. Император сообщил об этом моей сестре… Меня больше всего возмущает, что император говорит об этом моей сестре, словно она не его жена… Император вел себя бесстыдно, присутствовав при родах у этой женщины, мне тяжело видеть, что он теряет голову»10. Скорее всего, речь идет о рождении дочери Софии, которая внезапно умерла в 1824 году. До этого Мария Антоновна родила своему мужу дочь Марину (в 1798 году), а императору двух Елизавет (в 1803 и 1804 годах) и Зинаиду (в 1810 году) — все они умерли в младенчестве. Зато последний ребенок — сын Александра по имени Эммануил, появившийся на свет в 1813 году, — дожил до 1902 года! Судя по особому

рескрипту императора, данному Д. Л. Нарышкину в 1813 году, государь, обеспокоенный в начале заграничного похода судьбой своих детей, признавал права их (с Дмитрием Львовичем) общих детей, дав распоряжение об имущественных правах Марины (названной в рескрипте «ваша дочь») и Софьи с новорожденным Эммануилом, родство с которыми император не скрывал, обещая обеспечить их средствами — как отмечено в рескрипте, из «моего Кабинета»".

Что можно сказать о бесподобной Марии Антоновне? Все современники-мужчины при виде ее говорили одновременно: «Ах!» Сардинский посланник Ж. де Местр писал о ней: «Прелестная Мария Антония принимала гостей в белом платье, а в черных ее волосах не было ни бриллиантов, ни жемчуга, ни цветов; она прекрасно знает, что ей ничего подобного не надобно. Le negligenze sue sano artifice («Безыскусность — лучшее ее украшение» — ит.). Время как будто соскальзывает с сей женщины, как вода с навощенного холста»12. Не самый большой поклонник женщин вообще Ф. Ф. Вигель писал о ней: «Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны Я помню, как в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей (в театре. — Е. А.) и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви ее с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для кого-нибудь она оставалась тайной, но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными. Молодая чета одних лет, равной красоты, покорилась могуществу всесильной любви, предалась страсти своей, хотя и с опасением общего порицания. Но кто мог устоять против пленительного Александра, не царя, но юноши? Кто бы не влюбился в Марью Антоновну, хотя бы она была и горничная? Честолюбие, властолюбие, подлая корысть были тут дело постороннее. Госпожа Нарышкина рождением, именем, саном, богатством высоко стояла в обществе… никакие новые, высокие титла, несметные сокровища или наружные блестящие знаки отличия не обесславили ее привязанности». Сколь здесь мягок и даже восторжен обычно язвительный и желчный Филипп Филиппович! Все это — поразительный эффект божественной красоты.

Но все же Мария Антоновна при русском дворе не была новой мадам Помпадур. Она вела себя довольно скромно, появлялась там только в праздничные дни, сверкая своей необыкновенной красотой, которую подчеркивали часто не бриллианты, а

скромный букетик живых цветов на ее груди. Мария Антоновна не блистала особым умом, но и не была тщеславной или жадной до богатств. Как вспоминал в мемуарах сардинский посланник Ж. де Местр, «она пользовалась уважением лучшего петербургского общества, и первые лица империи почитали за честь бывать у нее… Она никогда не вмешивалась в политику, что, вероятно, и способствовало долгой привязанности к ней императора»13. Действительно, Нарышкина не рвалась к власти, хотя имела, уже в силу своего положения, влияние и иногда пользовалась им. Для всех это была «привычная власть благодаря той весьма несчастной, предосудительной и вместе с тем естественной связи» (Ж. де Местр).

Денис Давыдов в своих мемуарах описывает, как действовал механизм этого влияния. Дело в том, что он, молодой гусарский ротмистр, был переведен в 1806 году поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Павловске. Его эскадронным командиром был Борис Четвертинский, брат Марии Антоновны. «Славное житье, — писал Вигель, — было тогда меньшому их (речь идет о сестрах Четвертинских. — Е. А.) брату Борису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, доброму, отважному, живому, веселому. Писаному, как говорится, красавчику. В старости сохраняем мы часто привычки молодости, а в молодости остается у нас много ребяческого. Так и Четвертинский, служивший в Преображенском полку, все бредил одним гусарским мундиром и легкокавалерийской службой, пока желания его, наконец, не исполнились и его перевели в гусары. В любимом мундире делал он кампании против французов и дрался с той храбростью, с какою дерутся только поляки и русские»14. Ольри также писал о том, что «этот молодой человек, преисполненный благородства»15, позволял себе возражать цесаревичу Константину и даже чуть было не вызвал его на дуэль — подобные ситуации в жизни необычайно грубого и вспыльчивого Константина Павловича бывали не раз.

Тут необходимо одно уточнение — воевал Четвертинский вместе с Багратионом, а во время Аустерлицкой кампании исполнял обязанности его адъютанта. Нетрудно понять, что между П. П. Долгоруковым, Б. А. Четвертинским и Багратионом существовала довольно прочная дружеская связь, выводившая Багратиона на Марию Антоновну и самого императора. Мария Антоновна (обычно с компаньонкой) не только бывала вместе с братом в доме Гагариной в гостях у Багратиона, но и принимала его в своем роскошном доме. Денис Давыдов, пылкий и нетерпеливый юный воин, тяготился фрунтовой службой в Павловске и, узнав, что с началом войны против Франции осенью

1806 года фельдмаршал Н. М. Каменский отправляется в армию, как-то ночью, под видом курьера, прорвался в 9-й номер петербургской «Северной гостиницы», где остановился престарелый полководец, и со слезами на глазах просил старца, вышедшего к нему в ночном колпаке, взять его с собой на войну. Фельдмаршал, несмотря на свой крайне скверный характер, явное нарушение субординации, неурочный час и вообще экстравагантность поступка гусарского поручика, смягчился при виде такого порыва патриотизма и обещал Давыдову замолвить словечко за него перед государем и взять юношу в адъютанты. Но перед самым отъездом Каменский сказал Давыдову, что он «в несколько приемов» просил государя отпустить Давыдова с собой, но его постигла неудача — император был резко против всей этой затеи. «Признаюсь тебе, — говорил фельдмаршал, — что по словам и по лицу государя я вижу невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось. Ищи сам собою средства».

И далее, как пишет Давыдов, средства сии нашлись почти волшебным образом: «Находясь уже давно в самых дружественных отношениях с моим эскадронным командиром (Борисом Четвертинским. — Е. А.), я потому был весьма обласкан сестрою его, весьма значительною в то время особой. Проводя обыкновенно время мое в ее великолепном, роскошном и посещаемом вельможами, иностранными послами и знатными лицами доме, я потому имел довольно обширный круг знакомых. Поиск мой в 9-й нумер “Северной гостиницы” сделался… предметом минутных разговоров той части столицы, которая от тунеядства питается лишь перелетными новостями, какого бы рода они ни были. Дом Марьи Антоновны Нарышкиной, как дом модный, принадлежал к этому кварталу. Едва я после вышесказанного происшествия вступил в ее гостиную, как все обратилось ко мне с вопросами об этом; никто более ее не удивлялся смелому набегу моему на бешеного старика. Этот подвиг, который удостоили называть чрезвычайным, много возвысил меня в глазах этой могущественной женщины. В заключение всех восклицаний, которыми меня осыпали, она мне, наконец, сказала: “Зачем вам было рисковать, вы бы меня избрали вашим адвокатом и, может быть, желание ваше давно уже было исполнено”. Можно вообразить себе взрыв моей радости! Я отвеч&ч, что время еще не ушло, что одно внимание и участие ее служит верным залогом успеха, и прочие в том же вкусе фразы. Она обещала похлопотать обо мне, она, может быть, полагала, что во мне таится зародыш чего-либо необыкновенного и что слава покровительствуемого может со временем отразиться на покровительницу; я поцеловал с восторгом прелестную руку и

возвратился домой с такими же надеждами на успех, как по возвращении моем из “Северной гостиницы”». На этот раз надежды Давыдова оправдались. Сразу после получения известий о сражении армии Беннигсена с французами под Пултуском император предписал князю Багратиону отправиться в действующую армию и возглавить ее авангард. Давыдов продолжай: «Князь, получив из уст государя известие о назначении своем и позволении взять с собою нескольких гвардейских офицеров, заехал в то же утро к Нарышкиной с тем, чтобы спросить ее, не пожелает ли она, чтобы он взял с собою брата ее (моего эскадронного командира), так как он уже служил при князе в Аустерлицкую кампанию с большим отличием, был ему душевно предан и всегда говаривал, что он ни с кем другим не поедет в армию. Нарышкина немедленно согласилась на предложение князя, прибавив к этому, что если он вполне желает ее одолжить, то чтобы взял с собою и Дениса Давыдова». Отметим для ясности, что Давыдов был мало знаком Багратиону («Багратион знаком был со мною только мимоходом: здравствуй, прощай и все тут!»). Однако, продолжает Давыдов, «одно слово этой женщины было тогда повелением; князь поехал на другой день к императору, и я по сие время не знаю, как достиг он до той цели, до коей фельдмаршал достигнуть не мог, несмотря на все его старания»16.

Конечно, Багратион старался не ради Давыдова, а ради того, чтобы угодить Марии Антоновне. Он наверняка не упоминал ее имя в разговоре с государем, но тем не менее сумел удовлетворить ее просьбу. Правда, Давыдова, после всей истории с Каменским, точил червячок сомнения: он опасался, как бы Багратион не обманул Нарышкину или Нарышкина не обманула его, Давыдова. Поэтому, бросившись к дому Багратиона и застав того садившимся в дорожную кибитку, Давыдов ничего не спросил о том, как же решилась его судьба. Потом, не без усилия над собой, он все же поехал в Военно-походную канцелярию, где узнал, что «назначен адъютантом к князю Багратиону и что на другой день будет о том отдано в приказе».

Важно заметить, что с влиятельным генерал-адъютантом императора Петром Долгоруковым Багратиона объединяли общие взгляды на жизнь и на политику и, в общем-то, общая идеология. Известно, что за П. П. Долгоруковым тянется слава довольно жесткого критика западничества. Как писал П. А. Вяземский, «несмотря на свою молодость, Долгоруков был, так сказать, представителем или предтечею того, что после начали называть ультра-русскою партиею; ненавидя властолюбие французов и особенно Наполеона, он был — сказывают — одним из

сильнейших побудителей войны, которая несчастно запечатлена была Аустерлицким сражением»17.

Белая московская кошма

В самом конце зимы 1806 года Багратион отправляется в Москву. Туда уже приехали князья Долгоруковы и другие его друзья. Багратиона ждали с нетерпением и жаждали приветствовать как героя со всем присущим Москве хлебосольством и теплотой. Вообще, в Москве с особым вниманием следили за аустерлицкой эпопеей русской армии, причем полученные неофициальные, из уст в уста, сообщения о поражении поначалу обескуражили, поразили московское общество. Как записал в своем дневнике 30 ноября 1805 года московский дворянин С. П. Жихарев, эффект от «жестокого поражения» был особенно силен потому, что «мы не привыкли не только к большим поражениям, но даже и к неудачным стычкам, и вот отчего потеря сражения для нас должна быть чувствительнее, чем для других государств, которые не так избалованы, как мы, непрерывным рядом побед в продолжении полувека». Через несколько дней тон записей уже более спокойный: «Известия из армии становятся мало-помалу определительнее, и пасмурные физиономии именитых москвичей проясняются. Старички, которые руководствуют общим мнением, пораздумали, что нельзя же, чтоб мы всегда имели одни только удачи. Недаром есть поговорка: “Лепя, лепя и облепишься”, а мы лепим больше сорока лет и, кажется, столько налепили, что Россия почти вдвое больше стала. Конечно, потеря немалая в людях, но народу хватит у нас не на одного Бонапарте, как говорят некоторые бородачи-купцы, и не сегодня, так завтра подавится окаянный». Жихарев отражает довольно распространенную в русском обществе точку зрения на историю неудач империи. К тому же общественное мнение обычно искало причины поражения на стороне: «Впрочем, слышно, что потеряли не столько мы, сколько немцы, которые… бегут тогда, как мы грудью их отстаивали… Кажется, что мы разбиты и принуждены были ретироваться по милости наших союзников, но там, где действовали одни, и в самой ретираде войска наши оказали чудеса храбрости. Так должно и быть». Представление об австрийцах как о виновниках поражения родилось в рядах армии и придворной среде и довольно быстро достигло России, где оставалось устойчивым оправданием собственного неумения. Надуманная измена австрийцев, которые якобы передали

неприятелю план наступления союзников (ту самую злосчастную диспозицию Вейротера), стала почти официальным объяснением причины поражения русской армии под Аустерлицем. Императрица Елизавета Алексеевна писала в Германию матери, что «их подлое поведение, которому мы обязаны неудачей, вызвало у меня невыразимое возмущение. Не передать словами чувства, которые вызывает эта трусливая, вероломная, наконец глупая нация, наделенная самыми гнусными качествами…».

Наши поражения — государственная тайна. О том, что же на самом деле произошло на полях Богемии, мало кто знал — Александр, как уже сказано, потребовал от Кутузова подать две реляции о происшедшем — одну для публики, другую для себя. Но и первую (официальную) реляцию Кутузова так и не опубликовали. В единственной газете того времени — «Санкт-Петербургских ведомостях» — о сражении вообще не было сказано ни слова! Получалось, что согласно официальным данным никакого поражения русская армия не потерпела. Это событие как бы «провалилось» во времени. Неудивительно, что люди кормились глухими и малодостоверными слухами — первейшим источником всяческой ксенофобии. Не изменшшсь ситуация и позже. Как писал Фаддей Булгарин, «сорок лет, почти полвека, Аустерлицкое сражение было в России закрыто какой-то мрачной завесой! Все знали правду, но никто ничего не говорил, пока ныне благополучно царствующий государь-император (Николай I. — Е. А.) не разрешил генералу А. И. Михайловскому-Данилевскому высказать истину»18.

И уже 3 декабря 1805 года Жихарев записал в дневник: «Удивительное дело! Три дня назад мы все ходили, как полумертвые, и вдруг перешли в такой кураж, что Боже упаси! Сами не свои, и черт нам не брат. В Английском клубе выпито вчера вечером больше ста бутылок шампанского, несмотря на то, что из трех рублей оно сделалось 3 р. 50 к., и вообще все вина стали дороже»". Как тут не вспомнить ремарку Н. М. Карамзина, как раз в это время писавшего свою «Историю государства Российского». Дав описание трагической для древней Руси битвы при Калке в 1223 году, когда разобщенные русские князья потерпели поражение от пришедших из степей монголо-татар, историк заметил, что страшный урок не пошел на пользу Руси — князья по-прежнему враждовали друг с другом, «селения, опустошенные татарами на восточных берегах Днепра, еще дымились в развалинах; отцы, матери, друзья оплакивали убитых, но легкомысленный народ совершенно успокоился, ибо минувшее зло казалось ему последним». Так было и в Москве конца 1805-го — начала 1806 года.

Имя Багратиона было тогда у всех на устах. В нем видели рыцаря без страха и упрека, спасителя русской армии и ее чести: «3 декабря. Всюду толкуют о подвигах князя Багратиона, который мужеством своим спас арьергард и всю армию. Я сегодня воспользовался воскресеньем и объездил почти всех знакомых, важных и неважных, и у всех только и слышал, что о Багратионе. Сказывали, что Кутузов доносит о нем в необыкновенно сильных выражениях». Действительно, как уже было сказано выше, после Шёнграбена в своей реляции Кутузов особо подчеркнул мужество Багратиона и представил его за этот подвиг к Георгию 2-й степени, минуя 4-ю и 3-ю, хотя после Аустерлица представил только к «похвальному рескрипту». Зато 9 февраля 1806 года этот рескрипт императора был опубликован в «Санкт-Петербургских ведомостях» и — в условиях почти полной неизвестности о происшедшем для широкой публики — прибавил славы Багратиону: «Господин генерал-лейтенант князь Багратион! Доказанное на опыте отличное мужество и благоразумные распоряжения ваши в течение всей нынешней кампании против войск французских, а равно и в сражении, бывшем в день минувшего ноября при Остерлице, где вы удерживали сильное стремление неприятеля и вывели командуемый вами корпус с места сражения к Остерлицу в порядке, закрывая в следующую ночь ретираду армии, обращая на себя внимание и особенную признательность, поставляет меня в обязанность ознаменовать сим отличные ваши подвиги». Словом, Багратион в ту зиму 1805/06 года был в моде.

Его приезд в Москву стал подлинным триумфом. Как сообщал своему сыну отставной дипломат Я. И. Булгаков, «к нам наехало много гостей из Петербурга: обер-камергер Нарышкин для построения театра, князь Багратион, государевы адъютанты Долгорукие и множество других военных. Здесь их угощают, всякий день обеды, ужины, балы, театры, концерты. 7 марта давал Багратиону праздник прекрасный князь В. А. Хованский. Я тебе его опишу, ибо иного говорить нечего. Столовая была расписана трофеями, посреди стены портрет Багратиона, под ним связки оружья, знамен и проч., около ее несколько девиц, одетых в цвета его мундира и в касках а-ля Багратион (сделанных на Кузнецком мосту): сие есть последняя мода. Сколь скоро вошли в зал, заиграла музыка. Княжна Наталья пела ему стихи, прерываемые хором. После прочие девицы, две княжны Валуевы, Нелединская и пр., поднесли ему лавровый венок и, взяв за руки, подвели к стене, которая отворилась, то есть опустилась занавеса. В сем покое сделан был театр, представляющий лес. На конце написан храм славы, перед храмом статуя Суворова. Из-за нее вышел

гений и преподнес Багратиону стихи, а он, приняв их и прочтя, поклонился статуе и положил свой лавровый венец при ногах статуи. После начался бал». Нетрудно заметить, сколь символично было это представление: Багратион отдает должное своему великому учителю и позиционирует себя как его ученик и продолжатель. Это в полной мере отвечало умонастроению и тогдашнего общества, и самого Багратиона. Суворов в начале XIX века был истинным символом русского военного гения, с ним были связаны бесчисленные победы, он умер всего-то пять лет назад, и общество интуитивно искало ему замену. И именно в Багратионе оно видело продолжателя его дела.

С этим и были связаны тогдашние московские торжества, за которыми проглядывала привычная для старой столицы оппозиционность Санкт-Петербургу, где прибытие ученика Суворова с почти победного поля брани не вызвало особого восторга. Зато в новой столице с каким-то непривычным для начала александровского гуманного царствования восточным подобострастием встречали самого государя, валясь на колени и целуя его руки, ноги, полы одежды. Сенат пытался поднести Александру орден Георгия 1-й степени, но император благоразумно от него отказался. В Эрмитаже были устроены бал и великолепный ужин. Как писал очевидец, «можно было подумать, что находишься в Париже, в лагере победителя». В марте 1806 года в Петербург вернулась гвардия. Перед вступавшими в город потрепанными полками несли единственный захваченный трофей — знамя 4-го французского пехотного полка. Тем не менее Петербург встречал гвардию как победителей. Впрочем, гвардия действительно дралась хотя и без победы, но с мужеством и достоинством первой когорты. Мало кто понес ответственность за поражение и страшные потери, наказаны были всего несколько генералов — разжаловали и уволили со службы Пржибышевского, отставили также Ланжерона. С явным желанием преуменьшить размеры поражения император расщедрился на награды генералам, потерпевшим фиаско, не оставив без награды (пусть и не первейшей) и самого Кутузова. Багратион, как уже сказано выше, удостоился всего лишь милостивого рескрипта, который, как известно, в праздничный бокал, подобно знаку ордена, не опустишь. Это была слишком скромная награда истинному мужеству. Ведь в армии все знали, что среди устремившихся с Аустерлицкого поля беспорядочных, разнузданных толп, бывших вчера еще регулярной армией, только колонна Багратиона была по-настоящему боевой единицей, только один «Багратион… остался на месте перед торжествующими войсками Наполеона»20.

И так получилось, что Москва принимала Багратиона как

истинного героя в противовес официозной радости Петербурга, — вспомним из описания праздника у Хованского, что на стене висел портрет не государя или Кутузова, а Багратиона, да и в неумелых виршах его воспевали как единственное препятствие на пути наглого завоевателя.

3 марта Багратиона принимали в Английском клубе, где собрался весь цвет московской знати и приехавших гостей. Жихарев записал: «Прием торжественный, радушие необыкновенное, энтузиазм неподдельный, а угощение подлинно на славу». После описания необыкновенно богатого стола Жихарев сообщает, что толпа так теснилась при входе в зал, чтобы быть поближе к Багратиону, что слуги «насилу могли проложить… дорогу». И далее описание внешнего облика знаменитого героя: «Князь Багратион имеет физиономию чисто грузинскую: большой с горбинкою нос, брови дугою, глаза очень умные и быстрые, но в телодвижениях он показался мне не очень ловким. Лишь только отворили двери в столовую, оркестр заиграл тот же вечный польский, которым всегда начинаются танцы в Благородном собрании, “Гром победы раздавайся”, а старшины поднесли князю на серебряном подносе приветные стихи». Стихи, впрочем, весьма сомнительных литературных достоинств, даже для того времени:

Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов росских боле.

Как показали происшедшие через несколько месяцев события, еще как смеет «утруждать»! Не менее удачной была переделка известного гимна Державина:

Тщетны россам все препоны:
Храбрость есть побед залог.
Есть у нас Багратионы:
Будут все враги у ног!

Завистники пиита со злорадством поминали некоего добродушного старика Бабенова, который никак не мог взять в толк, «кому именно принадлежат эти ноги, у которых будут враги, упоминаемые в последнем куплете».

Более удачными казались стихи Гаврилы Державина, в которых фамилия полководца изящно переделывалась в девиз: «БОГ РАТИ ОН». Начались тосты. Первый — естественно, за

государя императора, а второй — конечно, за князя Петра Ивановича Багратиона. По окончании обеда Багратион был принят в члены Английского клуба — честь высокая, ибо известно, что кандидаты стояли годами в очереди, чтобы однажды оказаться меж избранными.

Воин на паркете. В этом месте трудно не процитировать знакомый всем с юности отрывок из «Войны и мира» о приеме Багратиона, основанный на упомянутых выше источниках, но окрашенный творческим гением Толстого: «В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас, перед обедом, постриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее, в соединении с его твердыми, мужественными чертами, даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью, произошла остановка в дверях, и, наконец, Багратион все-таки прошел вперед. Он шел, не зная куда девать руки, застенчиво и неловко по паркету приемной, ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене».

Не будучи таким педантом, как А. С. Норов и ему подобные, изучавшие «Войну и мир» как научную работу, все-таки отметим, что Толстой несколько упрощает личность Багратиона, изображая неловкого, застенчивого воина, привыкшего только к полю битвы, свисту пуль. На самом деле, реальный Багратион был много сложнее, он поразительным образом сочетал талант военачальника с даром ловко скользить по придворному паркету. Вернувшись в Петербург, Багратион 23 апреля 1806 года вновь сидел за царским столом в Малой столовой комнате Зимнего дворца среди избранной компании — стол был накрыт на 14 приглашенных. Были здесь П. В. Завадовский, В. П. Кочубей, П. К. Сухтелен, Н. Н. Новосильцов и др. И далее в мае — начале июня Багратион еще семь раз оказывается в узком кругу за царским столом, а еще однажды — на большом празднестве по случаю тезоименитства цесаревича Константина.

С 10 июня, когда вдовствующая императрица перебралась на лето в Павловск, Багратион постоянно бывает в узком кругу ее

приглашенных к столу, где обедает вместе с государем, императрицами, великими князьями и великими княжнами (13, 22, 13, 14 кувертов), а также на большом обеде в 62 куверта (день рождения Николая Павловича). 29 июня, в день Петра и Павла, он обедал в Зимнем дворце в Столовой зале в числе четырнадцати приглашенных, среди которых был и М. И. Голенищев-Кутузов. Через два часа Кутузов участвовал в военном совете в той же Столовой зале вместе с другими военными: двумя фельдмаршалами (Н. И. Салтыковым и М. Ф. Каменским), полными генералами С. К. Вязмитиновым, А. Я. Будбергом, М. П. Ласси, П. К. Сухтеленом, вице-адмиралом П. В. Чичаговым, генерал-лейтенантом П. А. Толстым, генерал-майором Х. А. Ливеном21. Примечательно, что Багратиона среди приглашенных на военный совет не было22. Таково было тогдашнее обычное отношение к Багратиону — в нем не видели стратега, крупного полководца.

Полк создается навсегда

Кроме светской, придворной жизни Багратион занялся делами своего лейб-гвардии Егерского батальона, шефом которого он по-прежнему оставался и мундир которого неизменно носил до самой смерти. Батальон участвовал в походе 1805 года в составе корпуса великого князя Константина Павловича и под командой полковника Э. Ф. Сен-При неплохо показал себя в сражении при Аустерлице, хотя особенно отличиться гвардейским егерям после того, как французы отбросили их за Раузницкий ручей, не удалось. В мае 1806 года, благодаря усилиям Багратиона, батальон был преобразован в лейб-гвардии Егерский полк и увеличен в два раза за счет пополнения, которое Багратион получил из нескольких гарнизонных полков. Нет сомнений, что образование нового гвардейского полка — дело ответственнейшее, оно не могло обойтись без многократных встреч Багратиона с государем, а также с будущим военным министром А. А. Аракчеевым и великим князем Константином Павловичем, командующим гвардейским корпусом. Все эти люди были очень разными, сложными, подчас непредсказуемыми, и по результату, достигнутому Багратионом в деле образования нового гвардейского полка, видно, что искусством общения с ними Багратион владел в совершенстве. В итоге в приказе 24 августа 1806 года император объявил «свое благоволение генерал-лейтенанту князю Багратиону за скорое формирование

вверенного ему лейб-гвардии Егерского полка».

Так уж случилось, что деятельные занятия Багратиона со своим новообразованным полком летом 1806 года удачно совпали с дачной жизнью в Павловске, куда перебралась императрица Мария Федоровна и часто наезжал к матушке и сестрам сам государь. Вновь, как и раньше, Багратион объезжает посты своих егерей по всему парку и дворцу Павловска и постоянно видится с царственными особами и влиятельными придворными. Видимо, не случайно он покупает у князей А. Б. Куракина и М. П. Голицына две деревянные дачи с пристройками и большой кусок земли возле Павловского парка. Цель этой разорительной покупки в долг вполне понятна — быть поближе к своему полку и особенно к Павловску и его обитателям. Багратион всегда был верен своему жизненному кредо — быть и военачальником, и царедворцем.

Камер-фурьерские журналы за вторую половину 1806 года свидетельствуют о весьма высоком месте, которое занимал Багратион при императорском дворе. В них фиксируется почти постоянное присутствие его за царским столом (в том числе, в самом узком составе — на 11 и даже на 10 приглашенных персон) во время всех праздничных и воскресных обедов в Павловске, Гатчине, Петергофе, а также в Зимнем, Каменноостровском, Таврическом и иных петербургских дворцах — резиденциях императорской семьи.

С лета Багратион уже реже бывает за столом царя, но чаще его видят за столом вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Павловске. Своей службой он привязан к этой загородной резиденции. В записях журнала Багратион фигурирует чаще не как «генерал-лейтенант», а как «гвардии Егерского полка шеф». Он являлся, по-современному говоря, командиром охраны двора вдовствующей императрицы. Точно так же за этим столом в присутствии государя сидит Ф. П. Уваров, «кавалергардского полка шеф», который к тому же часто сопровождает государя во время его переездов. Багратион всюду следует за Марией Федоровной и ее дочерьми во время переездов из одного дворца в другой.

Но в то же время можно говорить и о самостоятельном значении Багратиона не только как командира охраны. Он явно симпатичен Марии Федоровне и ее дочерям — иначе они вряд ли стали бы приглашать его за стол. Но об этом — чуть ниже…

В самом конце 1806 года Багратион отбывает на войну с французами в Восточную Пруссию.

Глава шестая
Очаровательное хладнокровие

Прусская катастрофа

Осенью 1806 года в Европе началась новая война с Наполеоном. Инициатором ее стала Пруссия. Во время первой Русско-австро-французской войны 1805 года, закончившейся Аустерлицем, Пруссия, несмотря на все усилия Александра I, осталась нейтральной. И это несмотря на клятвенные заверения Александра о помощи союзнику и даже предоставленные королю Фридриху Вильгельму III русские войска численностью в 70 тысяч, которые из-за этого не участвовали в Аустерлицкой кампании. В итоге своим нейтралитетом Пруссия осложнила положение русских и австрийцев, рассчитывавших на помощь 200-тысячной прусской армии, и одновременно облегчила положения Наполеона, не имевшего численного превосходства ни над русской, ни над австрийской армиями. Более того, 5 декабря 1805 года, в то время как русская армия отступала после поражения на Аустерлицком поле, Пруссия заключила в Шёнбрунне тайный союзный договор с Францией, согласно которому получила «в подарок за послушание» Ганновер. Так, несмотря на всю логику политического противостояния с опасной для нее Францией, Пруссия не удержалась и вошла в соглашение со своим несомненным врагом, руководствуясь своеобразным «инстинктивным позывом», столь характерным для бранденбургско-прусских правителей: как только представилась возможность округлить свои владения, нужно сразу, не раздумывая над последствиями, хватать! Так порой можно видеть, как живая щука, которую везут в магазин в бочке с водой, заглатывает попавшуюся ей рыбешку и предстает перед покупателем с торчащим изо рта «трофеем». Стоит ли много говорить о том, что Шёнбруннский договор вызвал страшное недовольство Великобритании — истинного столпа всех антифранцузских коалиций, чьи короли издавна владели Ганновером — своим старинным родовым доменом. Напомним, что во времена Петра Великого первый король образовавшейся новой британской Ганноверской (позже — Виндзорской) династии Георг I был курфюрстом Ганноверским Георгом Людвигом, и с тех пор Британия никому не позволяла и пальцем тронуть Ганновер. Началась Англо-прусская война, суть которой

сводилась к тому, что господствовавший на морях английский флот установил экономическую блокаду Пруссии, захватывая ее суда и не пропуская в ее порты корабли других стран. К Англии присоединилась союзная ей Швеция, пакостившая Пруссии в Ганновере, частью которого она владела с XVII века.

В результате Пруссия оказалась банкротом. С одной стороны, Наполеон никогда не смотрел на Берлин как на своего настоящего союзника и позволял себе поступать с пруссаками так, как он обычно поступал со слабыми: грубо и бесцеремонно. Особенно обидно пруссакам было услышать, что в тайных переговорах о мире с англичанами французы предлагали английскому королю вернуть столь дорогой ему Ганновер. С другой стороны, блокада прусских портов делала свое дело: прусский обыватель начал страдать от повышения цен на кофе, сахар, другие колониальные товары, без которых он прожить уже не мог. Слышалось недовольство и в армии, гордившейся своим героическим прошлым. Некоторые офицеры гвардии по ночам стали мешать спать французскому посланнику — в ночной тишине они дерзко точили свои и без того острые сабли на ступеньках посольского особняка в Берлине. В феврале 1807 года король направил в Петербург герцога Брауншвейгского с посольством, которое должно было убедить царя, что договор с Наполеоном возник сам собой, «силою обстоятельств». В отличие от английского кабинета император Александр проявлял истинно ангельское терпение: он принял (или сделал вид, что принял) объяснения престарелого принца — сподвижника Фридриха Великого — и заверил через него короля Фридриха Вильгельма, что остается верен своей клятве о дружбе, данной ими на гробе Фридриха Великого при столь романтических обстоятельствах и в присутствии прелестной королевы Луизы. Более того, Александр обещал Фридриху Вильгельму помощь в виде 60-тысячной армии, стоявшей под командой генерала Л. Л. Беннигсена у Гродно.

Получив заверения могущественного друга, прусский король приободрился, но опять же повел себя неразумно. Летом 1806 года он приказал привести армию в боевое состояние и отправил в Париж посольство с ультиматумом, требуя от Французов начать эвакуацию их войск изо всех германских земель сразу же с момента получения Берлином ответа на этот Ультиматум. Как вспоминал впоследствии Наполеон, ультиматум пруссаков был вызывающим и одновременно неуклюжим: «Сципион перед Карфагеном, наверное, не обращался к побежденным с более властной речью. Можно было подумать, что лишь вчера произошло Росбахское сражение». Как известно, при Росбахе в 1757 году Фридрих Великий наголову разбил армию

французского маршала Субиза и его союзников. Наполеон решил воспользоваться промахом пруссаков: «Ошибка подобного поведения берлинского кабинета была тем большей, что он был заинтересован в выигрыше времени. Если бы он потребовал у меня в более приличных выражениях эвакуации Германии к обоюдно установленному сроку, он был бы прав, а вся вина агрессии легла бы на меня». Вспоминая 1805 год, Наполеон писал так: «Напав на меня в тот момент, когда у меня были трения с русскими и австрийцами, пруссаки могли причинить мне много зла. Но то, что они собирались объявить мне войну одни, и так некстати, было настолько необычайно, что я не сразу этому поверил. Тем не менее, это было так, пришлось предпринять поход». Иначе говоря, для Наполеона это была радостно-неожиданная весть: щука сама шла в руки, нужно было только подставить под нее сачок. Но и это следовало сделать продуманно и быстро: «Я, конечно, знал, что расположенная на Немане русская армия неизбежно вмешается. Но для этого (ей) нужно было время: я мог поспеть в Берлин до нее, к тому же я рассчитывал, что Себастиани (французский посол в Стамбуле. — Е. А.) удастся втянуть Турцию в войну (с Россией. — Е. А.), поскольку договор между Англией и Россией отдавал ей Молдавию и Валахию за ее выступление против Франции. Не в моем характере было дожидаться недостоверного сотрудничества Селима III для того, чтобы напасть на моих противников, которые сами ставили себя в условия для нападения на них врасплох. Я приказал собрать свою армию и тотчас выступил на Майнц». Манифест прусского короля, изданный 9 октября 1806 года, провозглашал «высокие цели» войны: «Его величество берется за оружие не для того, чтобы дать разрешение накопившейся горечи, не для возвеличения своего могущества, не для нарушений естественных и законных границ нации, умеющей их ценить, но для того, чтобы спасти свое государство от уготованной ему участи, чтобы сохранить народу Фридриха его независимость и славу, чтобы освободить Германию от ярма, под коим она изнемогает, чтобы достигнуть почетного и прочного мира»1.

Прусские военные были совершенно уверены в себе и решили выступить против французов, не дожидаясь подхода русской армии и совершенно не согласовав с ее главнокомандующим даже приблизительно операционные планы будущей войны. Они опасались только одного: как бы Наполеон, испугавшись доблестной прусской армии, не сбежал за Рейн и не ушел бы от наказания за свои разбойные захваты в Германии. Как известно, подобные настроения господствовали и прежде в стане российского императора Александра и австрийского императора

Франца, которые вывели русско-австрийские войска в 1805 году на поле под Аустерлицем. Но также известно, что люди обычно учатся только на собственных ошибках. И для пруссаков этот момент наступил. Во главе прусской армии был поставлен упомянутый выше 72-летний сподвижник Фридриха Великого Карл II Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвейгский. Под стать ему по возрасту были и другие генералы армии, которая в последний раз воевала в 1762 году, то есть за 44 года до описываемых событий. Как отмечал историк этой войны О. Летгов-Форбек, принц «не возвысился до гения, каким был Наполеон. Его план войны 1806 года показал, что он не понял военного искусства своего противника», был нерешителен в действиях, не уверен в исходе борьбы с Наполеоном, и это при том, что, «тем не менее, он был самый способный из всех тогдашних высших начальников» Прусского королевства2.

Нетрудно представить, что герцог и его штаб планировали войну, подобную той, в которой побеждал их великий король. Это, наряду с самонадеянностью, и стало одной из причин невиданного сокрушительного поражения прусской армии. К. Клаузевиц писал по поводу одного из проигранных прусскими ветеранами в эту войну сражений: «Молодые, решительные, предусмотрительные люди, стоящие во главе войск, сумели бы найти выход из положения, подсказанный им здравым смыслом, но старцы, одряхлевшие физически и умственно за много лет мирной жизни, с парой окаменелых традиционных идей, ничего придумать не могли». В итоге старость и неопытность — почти невероятное сочетание в других сферах жизни — сослужили дурную службу прусской армии. Все, что произошло с русскими и австрийцами под Аустерлицем в 1805 году, в еще больших масштабах повторилось на просторах Прусского королевства в 1806–1807 годах. Пренебрежение к противнику, полное незнание расположения его сил и его возможных действий, устаревшая стратегия и тактика, несовершенство военной организации, непродуктивные и долгие военные советы в присутствии некомпетентных, но влиятельных людей, наконец сочинение оторванных от реальности многостраничных диспозиций — все было в ходу. К тому же за четыре десятилетия мира армия, привыкшая к благополучной жизни на одном месте, во многом утратила свою боеспособность.

Как писал современник, большая часть старших прусских офицеров давно отметила полувековой юбилей. Возраст генералов колебался от пятидесяти до шестидесяти пяти, в то время как во французской армии император и большая часть маршалов были в самом расцвете сил — им было не больше

сорока лег. Да и прусские армейские штаб-офицеры и капитаны «большей частью были люди пожилые и даже старые. Именем прусского майора означали в то время в шутку старого дородного пузана! Солдаты занимались ремеслами или полевыми работами. В пехоте большая часть офицеров и солдат были женаты. Полки имели огромные обозы и выступали с квартир с полным хозяйством, с женами и детьми. Мы сами видели в 1807 году прусские отряды, за которыми тянулись ряды фур, вдвое длиннее войска. На этих фурах солдатки везли постели, кухонные снаряды и даже живых кур, гусей и т. п., русские солдаты называли пруссаков в насмешку кукареками, то есть петухами»3. Справедливости ради отметим, что и другие армии того времени таскали за собой семьи. Кажется невероятным, но и в Итальянском походе 1799 года за русской армией тащились обозы с женами и сожительницами.

Армия стояла в Саксонии, западнее Эрфурта и возле Веймара, на опушке тянувшегося на десятки километров непроходимого Тюрингского леса. Диспозиции прусских полководцев строились на предположении, что Наполеон засядет в крепкой позиции за Тюрингским лесом и будет там со страхом ожидать наступления победоносной прусской армии, осененной сотней знамен Фридриха Великого… Через несколько дней эти знамена, как и вся Пруссия, лежали под копытами лошади Наполеона. Французский император действовал так же решительно, как и под Аустерлицем. 29 сентября 1806 года быстрым фланговым ударом справа, силами трех колонн, он обошел прусскую армию с ее левого фланга, смял слабые отряды пруссаков, стоявшие на его пути, а затем двинулся в направлении Йены. Одновременно Наполеон послал большой отряд для занятия Лейпцига, где находились основные склады прусской армии. Когда прусские генералы поняли, что Наполеон, вопреки их намерениям, не стал ждать их наступления, а сам прорвался через Тюрингский лес и старается обойти их слева, то 1 октября они дали приказ главным силам отступать от Веймара к Виттенбергу. Принцу Гогенлоэ с его корпусом было приказано командовать арьергардом и наблюдать противника у Йены, а затем двинуться следом за отходившим корпусом генерала Рюхеля. Но наблюдать за неприятелем Гогенлоэ было невозможно — над Йеной, в пойме текущей рядом с ней реки Сале, висел густой туман, воспользовавшись которым Наполеон скрытно перевел свою армию через разделявшую его с противником реку, подобно тому, как он в Аустерлицком сражении — также загодя — перевел свои войска через ручей Гольбах. Когда же в девять часов утра встало солнце и туман рассеялся, пруссаки неожиданно увидели перед

собой изготовившуюся к бою французскую армию, которой, по их мнению, здесь не должно было быть. Численное и моральное превосходство начавших наступление французов было подавляющим — корпус Гогенлоэ сопротивлялся три часа, а потом солдаты, увидав, что французы начинают обходить их с флангов, дрогнули и побежали.

По дороге они заразили паникой корпус Рюхеля, и солдаты обоих корпусов, смешавшись в нестройную толпу, стали разбегаться во все стороны. Попытка Гогенлоэ привести войска в порядок, собрать полки у Веймара провалилась — паника в войсках стала всеобщей. Вся эта история потом попала в военные пособия и изучалась в военных академиях как самый яркий пример паники, понимаемой как безотчетное массовое проявление испуга, разом охватившего десятки тысяч взрослых, сильных мужчин с оружием в руках и приведшего целое государство к национальной катастрофе4. Генерал Блюхер 26 октября писал князю Гогенлоэ, что может выступить только наутро, так как «во время ночных маршей наши войска разбегаются: я боюсь их более, чем неприятеля». Он считал, что «предпочтительно подвергать свой корпус опасности боя, чем довести его форсированными маршами» до полной невозможности сражаться5.

В это время основные силы армии герцога Брауншвейгского (50 тысяч человек), в которой находился король, дошли до Ауерштедта, переночевали там и рано утром 2 октября выступили к Фрайбургу, что стоит по дороге на Берлин. О поражении под Йеной они ничего не знали. Стоял уже описанный выше густой туман, и войска медленно двигались по дороге, тянувшейся к Кезенским дефилеям — узким проходам среди лесистых гор. Наполеон позже писал, что пруссакам надлежало бы занять Кезенскую долину заранее, еще ночью, чтобы наверняка обеспечить проход наутро своей армии. Но этого сделано не было, и император сумел воспользоваться просчетом пруссаков. В итоге неожиданно для себя авангард прусской армии наткнулся на противника — оказалось, что французский корпус (дивизия Гюдена) опередил его и уже перехватил путь в дефиле. Завязался бой, командующий герцог Брауншвейгский дал приказ войскам прорываться вперед, считая, что никаких крупных сил французов впереди нет. Однако наступление прусского авангарда было отбито французами. Наполеон потом писал, что пруссаки, верные своим принципам, «слишком старались сохранять равнение и дистанцию, как на параде. Наши солдаты, укрываясь за заборами, канавами, деревьями и садами… пронизывали их пулями». Как раз тут французская пуля попала главнокомандующему герцогу

Брауншвейгскому в голову, пробила ему оба глаза, он упал с лошади на землю, рядом рухнули убитые метким огнем французских стрелков оба его заместителя — командиры дивизий генералы Шметтау и Вартенслебен, а также бывшие с начальством два бригадных генерала. В одно мгновение армия была обезглавлена, и наступление ее невольно приостановилось. Оказавшийся поблизости король поручил командование восьмидесятилетнему фельдмаршалу Меллендорфу, который тут же был ранен и также выбыл из строя, как и вступивший в дело со своей дивизией принц Оранский. В это время пришло известие, что войска маршала Бернадота двигаются от Дорнбурга к Апольде — перекрестку дороги Йена — Ауерштедт. Это означало, что Наполеон может перерезать пруссакам коммуникацию между их главной армией и арьергардом Гогенлоэ, а также корпусом Рюхеля. На самом деле к тому времени ни того ни другого корпуса уже не существовало. Но король и третий по счету за этот день главнокомандующий генерал Калькрейт о гибели своего арьергарда не знали и повернули войска назад, по дороге на Йену и Веймар, с тем чтобы не дать Наполеону отрезать эти две части армии друг от друга. Вскоре выяснилось, что дорога у местечка Апольде была уже перехвачена войсками Бернадота. И тогда король устремился к Веймару по дальней дороге через Бутельштедт. Тут-то в главной армии и стало известно о поражении под Йеной. Толпы беглецов из-под Йены, обозы, артиллерия, полки смешались на тесных дорогах, французы же появлялись со всех сторон, и паника охватила теперь уже и главную армию. Утро 3 октября стало утром самого большого позора Пруссии — за одну ночь армия, бросая оружие и снаряжение, разбежалась. В плен к французам попала почти половина ее личного состава — 25 тысяч человек с двумястами орудиями и шестьюдесятью знаменами. Король предложил Наполеону перемирие, но тот отвечал, «что ему надобно сперва пожать плоды победы». Самым весомым плодом, упавшим к ногам победителя, стала мощная крепость Пруссии — Эрфурт, сдавшаяся без всякого сопротивления. 14 тысяч человек ее гарнизона с доставленным сюда раненым фельдмаршалом Меллендорфом попали в плен. После первого же обстрела сдался и оплот Пруссии — крепость Магдебург с ее 24-тысячным гарнизоном и восемьюстами (или шестьюстами) орудиями. Сдача Эрфурта и особенно

Магдебурга решила судьбу Пруссии. После падения этих крепостей коменданты других могучих цитаделей, защищавших королевство со всех сторон, стали один за другим отдавать ключи даже небольшим, случайно проходившим мимо отрядам

французов. Так, всего лишь одной французской бригаде сдалась мощная крепость Кюстрин, которую в Семилетнюю войну несколько лет осаждала русская армия. Это было какое-то невероятное поветрие. Без единого выстрела сдалась могучая крепость Шпандау, причем ее комендант генерал фон Бекендорф позволил французам, еще до подписания условий сдачи, проникнуть через опущенный мост в крепость, и они попросту согнали с валов стоявших у пушек прусских солдат. Позже, в 1808 году, за это воинское преступление Бекендорф был приговорен к расстрелу, замененному пожизненным заключением в крепости. 29 октября гусарская бригада Ласа1!я (всего 800 красавцев с ментиками и без осадной артиллерии) «взяла» Штеттин с гарнизоном более пяти тысяч человек, при 281 орудии и с огромным запасом армейских припасов. Губернатор и комендант Штеттина фон Ромберг, 81-летний ветеран, спустя три года, в 1809 году, был также приговорен военным судом к смерти, но король сжалился над стариком и помиловал его. Подобно Шпандау и Штеттину, сдались и другие прусские крепости с сотнями орудий, неисчислимыми запасами продовольствия, боеприпасов, оружия, ценностей, причем общая численность их гарнизонов достигала 60 тысяч человек. Такое количество сдавшихся без боя солдат тянуло на полноценную армию. Словом, как выразился Беннигсен в стиле XVIII века, «злой гений Пруссии насильно увлекал ее к несчастной судьбе»6.

А. И. Михайловский-Данилевский, размышляя над ходом этой несчастной для пруссаков войны, писал: «Легко вообразить, какой оборот принял бы дальнейший ход войны, если бы прусские гарнизоны, почти в 60 тысяч человек, исполнили долг присяги и чести, какое великое количество войск надлежало бы тогда употребить Наполеону для блокады или осады крепостей и сколь великую остановку в действиях его произвела бы упорная защита»7. Но у большинства комендантов крупных крепостей, как отмечал Карл Клаузевиц, «естественная слабость доходила до полной потери стыда». Только одна крепость, Любек, была действительно взята после штурма, предпринятого войсками Сульта и Бернадота.

Положили оружие перед французами без боя и все избежавшие разгрома группировки полевой прусской армии. Сдался добравшийся до Любека отважный генерал Блюхер, хотевший переправить свой корпус в Англию с тем, чтобы продолжить борьбу с Наполеоном. Так, прусская армия — опора, краса и гордость Прусского королевства, образец для подражания других армий — перестала существовать. Это была настоящая катастрофа, ознаменованная вступлением Наполеона 13 октября

в Берлин, оборонительные укрепления которого были также оставлены комендантом столицы. При этом Наполеон несколько раз отказывался от заключения мира с королем и после каждых переговоров с посланниками Фридриха Вильгельма ставил пруссакам все более тяжкие и унизительные условия мира, которые в конечном счете сводились к фактическому уничтожению Пруссии как крупного и влиятельного европейского государства. Наполеон побывал в кабинете великого короля Фридриха II в Потсдаме и нашел там трофей и для себя: «Я чрезвычайно удивился, найдя там… нагрудный знак (ордена), меч, портупею и большую ленту его ордена, которые он носил в Семилетнюю войну. Подобные трофеи стоили ста знамен, а то, что о них забыли, свидетельствовало о хаосе и отупении, охвативших всю Пруссию при слухах о катастрофе, которая постигла их армию. Я их тотчас же послал в Париж для передачи в Дом Инвалидов. М ногие из этих солдат (в смысле обитателей Дома. — Е. А.) были современниками позорного поражения при Росбахе. Я гордился тем, что посылал им доказательства своего блистательного возмездия»8. Сражение при Росбахе, происшедшее в ноябре 1757 года, то есть за пятьдесят лет до Иены, было памятно в обеих странах. Тогда 22-тысячная армия Фридриха Великого разгромила 60-тысячную армию французов и их союзников. С тех пор в прусском обществе укрепилось представление о чрезвычайно низкой военной силе Франции, солдаты которой якобы настолько нестойки и трусливы, что никогда не смогут оказать пруссакам серьезного сопротивления. После победы в собственно Пруссии (Бранденбурге) 13 ноября Наполеон двинулся из Берлина в Познань и дальше к Висле — то есть в польские владения Пруссии.

Уже тогда пруссаки почувствовали на своей шкуре, что такое реквизиционная система снабжения армии у французов. Обычно наполеоновские солдаты брали с собой четырехдневный запас продовольствия, а дальше тяжесть содержания армии целиком ложилась на плечи местных жителей. Выразительны записки некоего крестьянина Клиппендорфа: «…Армия заночевала без хлеба и фуража. Все необходимые припасы были принесены из деревни, и производились фуражировки… В эту ночь многие овины сделались совершенно пустыми. Ни хлеба, ни пива, ни водки не осталось в деревне, почти все дрова были забраны. Ворота и двери были сожжены, несколько коров выведено и заколото, точно так же много гусей и кур. Господин окружной начальник один потерял в эту ночь 600 штук баранов»1.

Посчитаться за Аустерлиц

Для России война с Францией началась 18 ноября 1806 года, когда был объявлен соответствующий манифест Александра I. К этому времени прусской армии уже не существовало больше месяца. Манифест в высокопарной форме отражает происшедшие метаморфозы: «Меч, извлеченный честью на защиту союзников России, колико с большею справедливостью должен обратиться в оборону собственной безопасности отечеству». Смысл сказанного таков: мы собирались защищать союзников, а приходится защищать себя, причем за пределами империи, на территории уже потерпевшей поражение Пруссии. Впрочем, тут много неясных моментов: что бы произошло, если бы русская армия сама не перешла русско-прусскую границу и не двинулась бы навстречу Наполеону? Решился бы в этом случае Наполеон напасть на нее и, достигнув русско-прусской границы, двинулся бы он на Гродно и Брест? И вообще, так ли уж неизбежна была эта новая война с Францией? Может, сразу был бы Тильзит? Ответа нет.

Не исключено, что императором Александром в тот момент двигало чувство досады за проигрыш войны 1805 года, унижение, испытанное при Аустерлице. Но все же главным мотивом в его действиях оставалась мессианская идея «положить конец бедствиям мира, страшно угрожаемого гибелью и порабощением» со стороны Франции. Так Александр писал императору Францу, пытаясь вдохнуть в своего союзника мужество и предоставляя ему «случай приобресть беспримерную в истории славу». Но анемичному австрийскому императору было уже достаточно сомнительной славы Аустерлица. Не то Александр! С прежней страстностью и бескомпромиссностью он ввязался в эту новую войну, уже наполовину проигранную, ибо, как и в войне 1805 года, его союзник — на этот раз Пруссия — был повержен и сокрушен, и одной русской армии (не считая позже примкнувших к ней под Прейсиш-Эйлау остатков прусской армии в виде корпуса Лестока) противостоял величайший полководец всех времен и народов.

Не следует забывать, что как раз в это время Россия вела еще две войны — с Турцией и Персией, причем обе начались незадолго до сражений в Восточной Пруссии, и естественно, что на эти войны были отвлечены весьма значительные вооруженные силы. Да и сама русская армия не была тогда в хорошем состоянии. За прошедшие после Аустерлица месяцы ее полки, понесшие большие потери, еще не восполнили их за счет собранных со всей страны рекрут. У части старых солдат не было оружия и боеприпасов. Не считаясь с этим, император Александр, составив из аустерлицкой армии корпус генерала Буксгевдена,

бросил его в новую войну. В Пруссию же были двинуты и основные силы армии под командой генерала J1. Л. Беннигсена. Неадекватность предпринятых мер Александра 1 против тогда еще виртуальной для страны французской угрозы подчеркивал манифест о создании «внутренней временной милиции» — народного ополчения из помещичьих крестьян, мещан, однодворцев, которые должны были защищать страну от возможного вторжения французов в Россию. Это была первая после 1610–1612 годов попытка возродить земскую силу. Но если в годы польско-литовской оккупации ополченческое движение шло снизу, от народа, то в 1806–1807 годах за ним стояла воля начальства, инициатива сверху, чреватая, как всегда у нас бывает в таких случаях, медлительностью, показухой и воровством. Главное же состояло в том, что народные дружины были небоеспособны и плохо вооружены. Власти собирались создать народное войско фантастической численностью 612 тысяч человек, а между тем вооружение у этих толп было самое примитивное: пики, копья, топоры, рогатины и редко у кого старые ружья. Кстати говоря, неудачи с созданием этого ополчения так и не были учтены позже, в 1812 году. Известно, что во время Бородинского сражения стоявшие на Старой Смоленской дороге ополченцы, вооруженные топорами и пиками, только издали казались противнику изготовившимися к бою полноценными войсками.

И еще. Накануне войны 1806–1807 годов, закончившейся объятиями императоров на плоту посредине Немана, Святейший синод, по воле императора Александра, предписал называть императора Наполеона антихристом, исчадием ада. Каждое воскресенье и по праздникам в церквях России читали особое «объявление» Синода, в котором Наполеона обвиняли в поклонении «истуканам, человеческим тварям, блудницам и идольским изображениям». Там же говорилось, что в Египте он приобщился к гонителям церкви Христовой, проповедовал «алкоран Магометов», объявил себя защитником мусульман, «торжественно выказывал презрение к пастырям церкви Христовой, наконец, к вяшщему посрамлению оной, созван во франции иудейские синагоги, установил новый великий сангедрион еврейский…» и вообще — собирается объявить себя мессией,с.

Фельдмаршал с садном

Приказ о выступлении русской армии был дан 22 октября

1806 года, и тогда же 67-тысячный корпус под командой генерала Л. Л. Беннигсена (всего 4 дивизии при 276 орудиях) перешел у Гродно русско-прусскую границу, то есть оказался на территории Польши, некогда отошедшей к Пруссии по Третьему разделу Речи Посполитой. Солдаты пели соответствующую политическому моменту песню, сочиненную известным армейским поэтом Сергеем Мариным:

Пойдем, братцы, за границу,
Бить отечества врагов.
Вспомним матушку-царицу,
Вспомним, век ее каков!

Корпус остановился возле города Остроленки, а затем двинулся к Пултуску, чтобы прикрыть от французов Варшаву и берега Вислы и сблизиться с последними из несложивших оружие прусских частей — 14-тысячным корпусом генерала Лестока, который прусский король подчинил Беннигсену. Положение русского корпуса Беннигсена в Польше было непрочным — поляки, воодушевленные разгромом ненавистной им Пруссии, повсюду с триумфом встречали войска Наполеона и хотя и не нападали на русские войска, но всячески им, как тогда говорили русские авторы, «зложелательствовали»: отказывались поставлять провиант и фураж. В этом неопределенном положении корпус Беннигсена простоял под Пултуском до середины ноября, ничего не предпринимая и полностью передав инициативу французам, которые этим не преминули воспользоваться. 14 ноября внезапным ударом французские войска заняли Варшаву, а потом и ее предместье Прагу. Захват французами столицы бывшего Польского государства был воспринят поляками как триумф, возрождение надежды на восстановление Речи Посполитой. В этой ситуации Беннигсен собрался было отступать к Остроленке, но, видя, что французы за ним не идут, остался в Пултуске, расставив свои войска в оборонительной позиции.

Четвертого декабря из России подошел корпус графа Буксгевдена, составленный, как сказано выше, из остатков полков, разбитых под Аустерлицем (четыре дивизии, 216 орудий, всего 55 тысяч человек). К тому же к Бресту приближался еще один корпус под командой генерала Эссена 1-го. Он состоял из двух дивизий (37 тысяч человек при 132 орудиях). Общая численность русской армии, пересекшей русско-прусскую границу, составила, таким образом, 162 тысячи человек при 624 орудиях. На самом деле численность эта была более «ведомственной», бумажной, чем реальной. В поле войск

насчитывалось меньше — не более 100 тысяч. Не все было ясно и с командованием этими войсками, точнее — с тем, кто займет должность главнокомандующего. Согласно данным по армии приказам генерал Буксгевден не был подчинен Беннигсену, который в генеральском чине был моложе его. Не подчинялся другим командующим корпусов и генерал Эссен 1-й. Ко всему прочему между Буксгевденом и Беннигсеном издавна была острая распря — оба по каким-то неведомым нам причинам ненавидели друг друга и старались ни в чем не уступать один другому.

Александр I долго не мог определить, кому же быть главнокомандующим — ни один из генералов его не устраивал. С Кутузовым, потерпевшим поражение при Аустерлице, было все ясно — он пребывал в опале и сидел военным губернатором в Киеве. Багратион, хотя и бывал на глазах императора чаще, чем другие генералы, не фигурировал ни тогда, ни позже в качестве кандидата в главнокомандующие. После долгих колебаний было решено призвать в армию жившего в своем имении фельдмаршала графа Михаила Федотовича Каменского. Н. К. Шильдер считал, что «общественное мнение указало на… старца». Каменскому было уже 68 лет (он родился в 1738 году); некогда, во времена Екатерины, он прославился в войнах с турками, был известен как военачальник опытный, человек образованный и умный. Правда, его репутацию портили сварливость, даже склочность, а также дурной и жестокий характер. Он был беспощаден к малейшим нарушениям дисциплины, дома же слыл свирепым барином и в конце концов был зарублен топором одним из своих крепостных. Каменский славился также своими способностями совершать экстравагантные, неожиданные поступки, причем в этом он вольно или невольно подражал своему извечному конкуренту по службе А. В. Суворову, который в конечном счете обошел его в чинах и славе. Фридрих Великий, знавший Каменского в молодости, назвал его «молодым канадцем, довольно образованным». В те времена под словом «канадец» подразумевался дикарь, индеец Северной Америки. По воспоминаниям графа А. И. Рибопьера, дежурного генерала при фельдмаршале, Каменский был «желчным стариком… у него было много природного ума, он имел обширные познания, отлично говорил по-французски и по-немецки, воспитавшись во Франции и там проходив даже военную службу. Он с отличием служил при Екатерине, известен был храбростью и был замечательный тактик. Вообще, граф Каменский пользовался блестящею военною репутациею. Но при этом он был горяч и вспыльчив, характер имел несносный, сердился на всякую безделицу и был требователен до мелочности»12. Славу свою Каменский добыл

честно, на поле боя, как незаурядный и храбрый полководец, но с 1791 года он уже не воевал — в том году он покинул армию, вступив в жестокую распрю с генералом М. В. Каховским, назначенным императрицей Екатериной II главнокомандующим армией вместо умершего фельдмаршала Г. А. Потемкина. До прибытия Каховского Каменский, сам находившийся в армии вопреки воле императрицы, самовольно взял командование на себя, чем страшно поразил Екатерину, вынужденную «укоротить» нарушителя субординации. С 1797 года Каменский жил в деревне, увлекался своим домашним театром, составленным из крепостных актрис и актеров, которых он жестоко порол езжалой плетью за оговорки на сцене.

Иначе говоря, Каменский не был в сражениях более пятнадцати лет — огромный срок по тем временам: как известно, военное искусство на грани веков, под влиянием происходящих во Франции и вокруг нее военных событий, развивалось стремительно. У императора Александра не было особых иллюзий насчет Каменского, которого он считал «опасным безумцем особого рода»13. Царь понимал, что фельдмаршал был полководцем прошлого, уже ушедшего века, но тогда (как и потом, в случае с назначением в 1812 году главнокомандующим Кутузова) он пошел навстречу общественному мнению. Старика-фельдмаршала извлекли, так сказать, из нафталина и доставили в Петербург, где встретили как воплощенную славу победоносного Екатерининского века. Следует сказать, что старый фельдмаршал, сохранивший свои причуды, не рвался в бой и жаловался государю на слепоту, невозможность ездить верхом и вообще «неспособность к командованию столь обширным войском». Но император был непреклонен, и 10 ноября Каменский отправился в действующую армию, которая встретила его 7 декабря 1806 года в Пултуске с таким же восторгом, как и петербургская публика. Как уже сказано выше, Беннигсен, как и Буксгевден, в любимцах у солдат и офицеров не ходил, а это в армии всегда важно, ибо популярность полководца рождает у солдат и офицеров столь необходимое в непредсказуемых делах войны чувство уверенности.

Так уж случилось, что в тот же самый день, когда прибыл Каменский, с таким же восторгом Варшава встречала Наполеона. Меньше чем за два года ему покорялась уже третья крупная европейская столица, не считая столиц мелких германских княжеств. Пока Каменский осваивался в своей Главной квартире, Наполеон двинулся на русские позиции. Первый удар был нанесен им по отряду генерал-майора М. Б. Барклая де Толли, на помощь которому Каменский направил сразу корпус Беннигсена,

а потом и корпус Буксгевдена. Так, сражением при Колозомба на реке Вкре отряда Барклая с войсками Сульта и Ожеро 11 декабря 1806 года было отмечено начало русско-французской войны, уже третьей по счету в новом XIX веке. Несмотря на огонь русских батарей, французы благополучно переправились через реку и ударили по русским позициям. Барклай отважно отбивался, но превосходство неприятеля было очевидным, и, бросив шесть пушек, Барклай начал отступать. В таком же положении оказался и отряд генерала Остермана-Толстого, стоявший под Чарновом, на реке Нарев. Под жестким натиском войск, которыми командовал сам Наполеон, Остерман также оставил свои позиции. Оба эти сражения 11 декабря отличались упорством, русские войска держались отлично, хотя потом и отошли. Отступление на новую позицию под Пултуском проходило в трудных условиях — холодов не было, дороги раскисли и были непроходимы настолько, что в грязи тонули лошади. Несмотря на все усилия, русским генералам пришлось бросить не только часть обоза, но и более пятидесяти пушек. Якобы тогда Наполеон и сказал, что «в Польше есть пятая стихия — грязь». Он еще не бывал в России!

Потом в исторической литературе развернулся спор: можно ли считать трофеями доставшиеся французам русские орудия, ведь они были взяты не в сражении? С одной стороны, неприятельские орудия, каким бы образом они ни были взяты на войне, — почетнейший трофей, как и знамена вражеских полков, захвачены они в бою или взяты в полковой казарме (тем более что артиллерийские части знамен не имели и их заменяли пушки). И когда вытащенные из грязи весной 1807 года пушки выставили в Варшаве вместе с орудиями, взятыми у русских с боя, отличить одни от других было невозможно. Но с другой стороны, настоящие военные признавали трофейными только те орудия, которые были захвачены в бою. Как писал А. С. Пушкин (со слов генерала Н. Н. Раевского), «чистую славу» можно добыть только в жестких боях. Раевский, как и другие офицеры, насмехался над генералом, который в 1812 году взял брошенные французские пушки «и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он (генерал. — Е. А.), дабы их предупредить, бросился было его обнимать. Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: “Кажется, ваше превосходительство принимаете меня за пушку без прикрытия”»14.

Нельзя сказать, что наша армия отходила организованно: шедший за ней Наполеон был вынужден даже остановиться на несколько часов — ему начали докладывать, что русские полки движутся сразу по многим дорогам и в разных направлениях. Не в

силах понять замысел русского командования, Наполеон опасался какой-нибудь неожиданной комбинации, задуманной мудрецами русского штаба. На самом же деле часть русских полков, не имея карт, в полутьме, под снегом и дождем, попросту заблудилась на сельских дорогах, и из-за этого возникло броуновское движение, поставившее Наполеона в тупик. Но, к счастью, вскоре все русские полки стянулись к Пултуску. Позиция там была выбрана заранее и считалась, как тогда говорили, «крепкой». В тот момент Каменский показал себя опытным полководцем, он вникал во все тонкости и детали подготовки армии к сражению. Но 14 декабря, то есть через неделю после приезда в армию, с ним что-то произошло. Некоторые современники считали, что Каменский внезапно сошел с ума. По словам одного из них, действия главнокомандующего свидетельствовали о «душевном его расстройстве»; другой писал, что Каменский «был одержим какой-то умственною болезнью, совершенно упал духом»15. Он неожиданно вызвал в Главную квартиру Беннигсена и заявил ему, что умывает руки, снимает с себя ответственность за предстоящее сражение, более того — он вообще оставляет войска и предписывает Беннигсену начать общее отступление армии к российской границе! Но при этом Каменский передал общее командование не Беннигсену, а Буксгевдену, стоявшему со своим корпусом в отдалении от Главной квартиры. В письме императору Каменский объяснял свою добровольную отставку тем, что, прибыв в армию, «нашел себя несхожим на себя», по-современному говоря, утратил самоидентичность: «Нет той резолюции, нет того терпения к трудам и ко времени, а более того, нет прежних глаз, а без них полагаться должно на чужие рапорты, не всегда верные… Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран». Каменский уехал в Остроленку, в госпиталь, а потом дальше, в Гродно, где и получил указ о своей отставке донельзя удивленного его поступком императора. Было ли это сумасшествием или внезапно трепет перед Наполеоном охватил дотоле неустрашимого старца, мы не знаем. Любопытно, что Каменский, не побывав еще в бою, жалобно писал императору, что он «ранен»: «…верхом ездить не могу, следственно, и командовать армиею». О том, как и где он получил рану, Каменский уточняет лишь однажды: «От всех моих поездок получил садну от седла, которая, сверх прежних перевязок моих, совсем мне мешает ездить верхом и командовать такой обширной армиею, а потому я командование оной сложил на старшего ко мне генерала графа Буксгевдена»16. «Садна», или «садно» (ссадина, язва от потертости или повреждения), да еще в

интересном месте, — мучительная рана. Возможно, что у Каменского обострился хронический геморрой, который не позволяет и теперь человеку не только ездить верхом, но подчас и ходить, как все нормальные люди. Врачи утверждают, что кровотечение часто открывается вследствие сильных нервных потрясений, а их-то у старика Каменского в тот момент было предостаточно. Несчастная Россия! Не везло ей с главнокомандующими: один, не рискнув настоять на своем, уснул на военном совете перед главной битвой, другой, имея садну на заду, утратил самоидентичность и бросил командование армией…

«Ничья взяла»

К счастью, Беннигсен был тогда здоров и вполне адекватен. Но он, вопреки субординации, не выполнил приказ Каменского об отступлении и заодно отказался подчиняться Буксгевдену. Беннигсен решил сам дать бой Наполеону у Пултуска, причем забегая вперед скажем, что, ввязываясь в это сражение и нарушая приказ Каменского о передаче главного командования Буксгевдену, Беннигсен многим рисковал. Он действовал по принципу «пан или пропал» — и, в итоге, оказался «паном», получив возможность показать свои полководческие дарования.

Цареубийца и полководец. Леонтий Леонтьевич (Левин Август Готлиб) Беннигсен к 1806–1807 годам был уже немолодым человеком. Ему исполнился 61 год — возраст весьма почтенный, особенно для полководца. Как вспоминал А. И. Михайловский-Данилевский, Беннигсен «был роста высокого и худощав, и хотя и находился в преклонных летах, но казался бодрым. В чертах его лица видно было благородство, но вместе с тем и немецкое хладнокровие»17. Он родился в феврале 1745 года, но где точно, неизвестно: то ли в Брауншвейге, то ли в Ганновере. «Природный» немец, Беннигсен юношей участвовал в Семилетней войне 1756–1763 годов в рядах ганноверской армии и к 1773 году дослужился до подполковника. Тогда же, как и многие другие немецкие офицеры, он решил продать свою шпагу и поступил на русскую службу, причем был взят с понижением, став премьер-майором Вятского пехотного полка. В составе этого полка он попал на последние кампании Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Начав в России карьеру в сущности заново, Беннигсен выслужился к 1787 году в полковники, стал командиром Изюмского легкоконного полка, с которым участвовал в новой Русско-турецкой войне 1788–1791 годов, причем в боях показал

профессионализм и доблесть отважного кавалерийского офицера. При штурме Очакова он шпагой добыл чин бригадира и обратил на себя внимание Г. А. Потемкина — тогдашнего главнокомандующего 1-й армией. За две польские кампании 1792 и 1794 годов Беннигсен удостоился ордена Святого Владимира 2-й степени и золотой шпаги «За храбрость» с алмазами, а потом был пожалован орденом Георгия 3-го класса. В 1796 году Беннигсен участвовал в безумном по замыслу Индийском походе Валериана Зубова, отличился при взятии Дербента, но, как и вся армия Зубова, с началом царствования нового государя Павла I был отозван в Россию. Это краткое царствование принесло Беннигсену немало огорчений, как, впрочем, и многим другим военным, отличившимся не на гатчинских плацах, а в войнах. И хотя в феврале 1798 года он был произведен в генерал-майоры, вскоре последовала отставка — Беннигсен, некогда ценимый Потемкиным офицер, оказался на подозрении у государя, и тот уволил его под предлогом, что он «не довольно усерден особенно лично к нему». Беннигсен укрылся в своем белорусском поместье, полученном за усмирение Польши и Литвы, и там просидел несколько лет, пока близкий ему (и Павлу) генерал П. Пален не упросил государя вернуть его на службу в прежнем чине. Так Беннигсен оказался в Петербурге в конце 1800-го — начале 1801 года, когда против императора уже созрел заговор. Смертельно обиженный на Павла за отставку, он участвовал в заговоре и вместе с другими ворвался ночью 11 марта 1801 года в спальню Павла в Михайловском замке. Беннигсен оставил памятные записки о перевороте, в которых пытался снять с себя хотя бы часть вины за цареубийство. Он писал, что в заговор был втянут бывшим фаворитом Екатерины Платоном Зубовым, который якобы подбил его на преступление тем, что назвал ему имя истинного предводителя заговорщиков. В мемуарах об этом сказано так: «Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору». Каждому читателю мемуаров было понятно, что Беннигсен имел в виду наследника престола Александра Павловича. Тем самым он оправдывал и, так сказать, легализировал свое участие в противозаконном действии, совершенном исключительно для того, «чтобы спасти нацию от пропасти, которой она не могла миновать в царствование Павла». Далее Беннигсен писал, что вместе с заговорщиками он ворвался в спальню государя, держа в руке обнаженную шпагу. По воспоминаниям одного из участников убийства, императора в спальне не оказалось. Начались поиски. Тут вошел «генерал Беннигсен, высокого роста, флегматичный человек, он подошел к

камину, прислонился к нему и в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Беннигсен сказал по-франиузски: “Le voila ”, после чего Павла вытащили из его прикрытия»1". На самом деле вряд ли Беннигсен мог сыграть роль новоявленного Вия — спальня императора, как известно, была невелика, искать в ней императора нужды не было, да и вряд ли он, самодержец, дворянин и офицер, мог трусливо и бессмысленно прятаться за каминным экраном. Но как бы то ни было, соучастие Беннигсена в убийстве Павла несомненно, хотя он сам в этом не признается. Более того, он пишет, что когда между разбуженным императором и его непрошеными гостями произошла бурная ссора и царя уже повалили на пол, он, Беннигсен, якобы призывал Павла к спокойствию. Но тут его вызвали в другую комнату, а когда он вернулся в спальню, то «увидел императора распростертым на полу», мертвым. Вот и все! Трудно понять, что здесь правда, а что ложь. Но все же одно место из мемуаров Беннигсена кажется примечательным и, по-видимому, достоверным, ибо не несет на себе какого-либо оправдательного оттенка для автора. Речь идет о некоем кратком моменте, предшествовавшем убийству: «Князь Зубов вышел, и я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова»19. Такой взгляд обреченного на смерть человека убийца, наверное, должен помнить до гробовой доски…

После вступления на престол новый государь не хотел видеть многих из заговорщиков. Среди них оказался и Беннигсен, посланный в Вильно на должность военного губернатора. Здесь он жил в своем подгородном имении Закрет, получившем известность с началом войны 1812 года. В 1802 году Беннигсен стал полным генералом (генералом от кавалерии), а в 1806 году, ранее никогда не командуя армией, оказа.1ся главнокомандующим. Надо признать, что Беннигсен обладал огромным боевым опытом, отличался хладнокровием и храбростью в бою и был известен как особо осмотрительный и чересчур расчетливый военачальник. Он принадлежал к числу типичных европейских наемников. Отменно зная бранное и строевое дело, он слабо представлял себе реальную жизнь солдат и офицеров, был всегда далек от повседневных нужд армии, никогда не вникал в подробности существования своих людей. От этого в войсках, которыми он командова/i, часто бывал беспорядок, солдаты голодали, в тылу процветало воровство. Прослужив в русской армии больше четырех десятилетий, Беннигсен почти не знал русского языка и никогда не слыл любимцем солдат. Не любили его и большинство генералов.

Некоторые из них (например, Буксгевден и Барклай де Толли) его даже яростно ненавидели и сохранили эту ненависть до конца своей жизни. Внешне спокойный, холодный, флегматичный, Беннигсен был чрезвычайно высокого мнения о своих дарованиях, отличался злопамятностью, слыл в обществе интриганом и доносчиком. Несмотря на свои военные способности, он так и не сделал блестящей карьеры, а главное — не стал фельдмаршалом, хотя на этот высокий чин не без оснований претендовал. В 1818 году Беннигсен уволился из русской армии и в 1826 году умер в своей усадьбе в Ганновере.

Некоторые исследователи считают, что Беннигсен в той нервной ситуации под Пултуском умышленно дразнил и раздражал Каменского, чтобы вызвать гнев и неуверенность неуравновешенного старика и тем самым подтолкнуть его к отставке. Как бы то ни было, самовольно, как некогда сам Каменский, став главнокомандующим, Беннигсен не ограничивался только отступлением и пассивной обороной, но активно руководил движениями армии, был деятелен в последовавших потом сражениях с французами, почти никогда не выпускал нитей командования из своих рук, следил за всеми изменениями обстановки и вносил необходимые поправки в действия своих войск. А обстановка менялась довольно быстро. Французы, появившиеся у русских позиций в десять часов утра 14 декабря, сразу же атаковали наши дивизии по всему фронту — их колонны ударили в центр, где стояли Остерман и Сакен, и одновременно нанесли удар как по правому краю (Барклай де Толли), так и по левому, где русскими полками командовал генерал Багговут, прикрывавший город Пултуск. Здесь натиск французских дивизий оказался особенно сильным, и Беннигсен был вынужден перебросить на участок Багговута гвардейских кирасир и драгун, которые довольно успешно атаковали с фланга колонну Суше и смяли ее. Подошедшая пехота закрепила успех конницы — французы так и не смогли продвинуться к самому городу. Зато удар колонны Ланна на правом русском фланге (против Барклая) был более успешен — французы оттеснили русские полки с их позиций и, возможно, могли бы их и опрокинуть, реши в тем самым исход битвы, но Беннигсен, зорко следивший за обстановкой, перебросил часть полков из центра. Они-то и сдержали натиск французов. Удачно действовала в тот день и русская артиллерия — некоторые предприимчивые артиллерийские начальники сумели вытащить часть пушек из грязи и пустить их в дело. Почувствовав, что Ланн уже не может усилить натиск на позиции русских, Беннигсен сам решился на контратаку: он приказал армии идти на неприятеля и для этого

ввел в дело все свои резервы. Французам с трудом удалось удержать наступление русских колонн. В сгущавшихся сумерках французские полки отошли, как говорится, не солоно хлебавши. Уже только одно это было воспринято в русском лагере как безусловная победа — наша армия осталась на своих позициях, не была сбита с них, не побежала, как совсем недавно это сделали пруссаки! Из донесения Беннигсена известно, что его солдаты пленили 700 французов. Словом, сражение под Пултуском было признано победным, о чем и сообщили в Петербург. Вскоре, правда, Беннигсен узнал о подходе к Ланну подкреплений и все-таки отошел с позиций под Пултуском к Остроленке. Французы беспрепятственно заняли эти позиции и, в свою очередь, также сообщили в Париж о победе.

Все, что произошло под Пултуском, повторилось в тот же день, но в другом месте — у городка Голимин, куда отошел отряд генерала князя Дмитрия Владимировича Голицына, составленный из трех полков при восемнадцати орудиях. Из-за путаницы отдаваемых Главной квартирой приказов и полной неразберихи, царившей при отступлении, Голицын оказался фактически отрезан от основной армии. Окруженный почти со всех сторон французами, он начал отступать к Голимину, чтобы соединиться с корпусом Буксгевдена, находившимся, по его предположениям, где-то неподалеку. Дороги, по которым шел отряд, были такими раскисшими, что после десяти часов бесполезных попыток вытащить пушки Голицын приказал часть их заклепать и бросить, а высвободившихся лошадей перепрячь в те пушки, которые еще можно было вытащить из грязи. К утру 14 декабря едва живые люди и лошади добрели до Голимина и остановились тут, уже не в силах двигаться далее. Тем временем французские корпуса Ожеро, Даву и Сульта двигались по тем же невообразимым грязям (тогда в болоте утонула лошадь, которая везла тюки с личными вещами, посудой и картами самого Наполеона, — впрочем, может быть, ее угнали вездесущие казаки). Они направлялись к Голимину как к промежуточному пункту своего обходного движения: Наполеон предписал им ударить в правый фланг и тыл русской армии, стоящей под Пултуском. Тут-то они (прежде всего, передовая дивизия Ожеро) днем 14 декабря и наткнулись на отряд Голицына, значительно уступавший французам в численности, но по-военному грамотно расставленный командиром между болотами и лесами. К тому же Голицын все же притащил с собой часть пушек, а Ожеро все свои орудия бросил в грязях и в этом, как оказалось, проиграл русским. Завязалось упорное, ожесточенное сражение. Для малочисленного отряда Голицына добром оно бы не кончилось, если бы после

полудня к Голимину неожиданно не подошли также заблудившиеся генералы Чаплиц и П. П. Пален со своими полками, да еще в сопровождении конной артиллерии полковника А. П. Ермолова. Все новые части (слово «свежие» для них, измотанных переходами по грязям, неприменимо) сразу же были введены в бой, хотя стало ясно, что отступать все равно придется — уже в сумерках к Ожеро подошли значительные силы под командой Сульта, при которых находился и сам Наполеон. Он приказал Сульту во что бы то ни стало выбить русских из Голимина. Французы яростно атаковали русские позиции, на улицах городка завязался рукопашный бой, отдельные эпизоды и сцены которого порой скрывались в темноте и начавшейся вьюге. Опасаясь окружения, Голицын дал приказ полкам отступать. Вскоре он соединился со стоящим в Макове корпусом Буксгевдена.

Сам же генерал Буксгевден провел этот памятный для русской армии день 14 декабря в местечке Маков весьма странно. Получив приказ Каменского о своем назначении главнокомандующим, он не знал, что происходит у Беннигсена, хотя и слышал неумолчный гул орудий со стороны Пултуска и Голимина. Даже получив просьбу Беннигсена о помощи, Буксгевден все равно не сдвинулся с места. Позже он объяснял свое бездействие тем, что имел приказ Каменского отходить к границе, но этому объяснению никто не верил — в конце концов, он сам стал главнокомандующим и мог действовать уже по собственному усмотрению. Скорее всего, он ждал, когда французы «обломают рога» упрямому Беннигсену, и тогда он, Буксгевден, продолжит с успехом начатое дело…

В общем, оба сражения, под Пултуском и Голиминым, каждый из противников счел своей победой. 15 января 1807 года «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали победную реляцию о поражении самого Наполеона под Пултуском, хотя авторы реляции изрядно приврали: Наполеон не участвовал в битве под Пултуском, да и к Голимину подошел только к вечеру. Как писал Ф. Булгарин, «в реляции объявлено было о совершенном поражении и бегстве неприятеля — а на поверку вышло, что ни русские, ни французы не бежали, но дрались отчаянно, с величайшим ожесточением, до последней крайности. Следствием этих кровопролитных битв было то, что в игре в банк называется плие, то есть ничья взяла». Строго говоря, победу все-таки одержал Наполеон, ибо русские войска продолжали отступать, а французы начали преследовать отходящего противника. Однако после Аустерлица и сокрушительного поражения прусской армии эти упорные сражения казались победой, колоссальным воинским

достижением. Так оно и было. Казалось, что «устоять против войска, привыкшего со времени Маренго и Арколы к решительным победам, предводимого первыми полководцами Европы, которых имена сделались столь же славны, как имена героев Гомеровых, было более, нежели в другое время, настоящая победа»20. Увы, настоящей победы тогда, да и позже, добиться было не суждено — доблестные русские войска ждала еще одна «ничья» под Прейсиш-Эйлау, а потом полное поражение под Фридландом. Если воспользоваться шахматной терминологией, невольно заданной Булгариным, то итог войны 1806–1807 годов был таков — Г/г: Т/г в пользу французов. По тем временам для России это был совсем неплохой результат.

Но этот окончательный результат будет установлен только в следующем, 1807 году. А пока, в конце 1806 года, Наполеон, пожиная политические плоды своего завоевания Пруссии, занял Варшаву, где и решил зазимовать. В польской столице в одно мгновение из завоевателя он превратился в освободителя. Наполеон заявил о предстоящем вскоре создании нового польского государства, которое после Тильзита стало Варшавским герцогством. Это заявление было встречено на ура. Всюду на местах власть стала переходить от прусских администраторов к полякам. Но главное заключалось в том, что завоеватель объявил набор в новую польскую армию, а известно, что служба в армии для поляков священна, как ни для какого другого народа. Польские офицеры, некогда бежавшие от разделов Речи Посполитой и проведшие годы в Польском легионе революционной Франции, тотчас начали создавать вполне боеспособную, исполненную бравым боевым духом армию. Она влилась в корпус Бернадота, тем самым значительно усилив армию Наполеона. Словом, французы чувствовали себя в Польше, как дома. Русским же в этой части Прусского королевства, заселенного поляками, было особенно неуютно — они сами владели другой частью польских земель и везде в Польше однозначно воспринимались как захватчики. Лучше они почувствовали себя, когда военные действия были перенесены в Старую Пруссию, то есть на собственно прусские земли, лежавшие ближе к Кёнигсбергу, где укрывалась после разгрома прусская королевская семья. Именно спасение этого последнего клочка земли Прусского королевства было признано главной задачей русской армии в начавшемся 1807 году.

Но до этого русские командующие столкнулись друг с другом. Беннигсен как бы ненароком избегал встречи с Буксгевденом, а отступая после Пултускского сражения к Остроленкам, подложил своему сопернику большую свинью —

переходя на левый берег Нарева, дал приказ сжечь единственный в округе мост. При этом он знал, что корпус Буксгевдена еще оставался в Макове, то есть на правом берегу, и должен был по этому мосту следом за ним перейти на левый берег. Какие чувства испытывал Буксгевден и что он при этом говорил, видя перед собой «заботливо» сожженный боевым товарищем мост, можно только догадываться. К тому же сидевший в госпитале в Остроленках фельдмаршал Каменский не унимался и отдавал приказы, не извещая о них ни Беннигсена, ни Буксгевдена. Последний доносил, что Каменский, «поручив мне армию… входит в распоряжения, кои… расстраивают порядок. Я предписываю транспортам идти к армии, а он им дает другое направление… едущих в армию обращает он назад в Россию; и мне приказывает то отступать в Россию, то идти в Пруссию и закрыть Кенигсберг, то бить Наполеона, то расположиться на обширных квартирах». Вот что такое острый геморрой!

В частности, Каменский приказал генералам Эссену 1-му и Анрепу, бросив все, в том числе и пушки, спешить к русской границе. Их начавшееся отступление было остановлено приказом Буксгевдена, который предписал генералам примкнуть к его корпусу, но по дороге эти дивизии «перехватил» и оставил у себя, увеличив свой корпус, Беннигсен. Наконец перед лицом грозного противника соперники все-таки решили соединиться, но при этом по возможности затягивали неприятное для каждого из них событие. Пользуясь тем, что мост через Нарев был сожжен, они долго шли по разным берегам этой реки: один — по правому, а другой — по левому, возможно, на виду друг у друга, пока не дошли до Тыкочина, где соединились 28 декабря. Между враждовавшими военачальниками пытался встать присланный из Петербурга генерал Кнорринг, но и он не смог примирить врагов. К счастью, 30 декабря был получен указ Александра 1 о назначении главнокомандующим Беннигсена, причем другой, подготовленный и подписанный царем указ о назначении главнокомандующим Буксгевдена был разорван государем буквально накануне отправки в армию — как раз в тот день было получено известие о победе под Пултуском. Так, пост главнокомандующего, наряду с орденом Георгия 2-й степени и пятью тысячами червонцев, стал наградой удачливому полководцу. Обиженный Буксгевден уехал из армии, написал жалобу царю, а «подлеца Беннигсена» вызвал на дуэль, назначив местом поединка город Мемель. Однако поймавший фортуну за косу Беннигсен от дуэли отказался. Испуганный распрями русских командующих несчастный прусский король со своей прелестной королевой, семьей, двором, архивами и фамильными

драгоценностями перебрался в самый дальний глухой уголок Восточной Пруссии — Мемель, откуда было уже рукой подать до спасительной русской границы.

Начальник понемногу каждому позволит брать. Этот отрезок войны ознаменовался повсеместными грабежами и насилиями воюющих армий над мирными жителями. Солдаты голодали и были предоставлены сами себе. Как вспоминал впервые приехавший в действующую армию Денис Давыдов, «неопытный воин, я доселе полагал, что продовольствие войск обеспечивается особенными чиновниками, скупающими у жителей все необходимое для пищи, доставляющими необходимые эти потребности в армию посредством платы за подводы, нанимаемые у тех же жителей; что биваки строятся и костры зажигаются не из изб миролюбивых поселян, а из кустов и деревьев, находящихся на корне; словом, я был уверен, что обыватели тех областей, на коих происходят военные действия, вовсе не подвержены никакому несчастию и разорению и что они не что более, как покойные свидетели происшествий, подобно жителям Красного Села на маневрах гвардии. Каково было удивление мое при виде противного! Тут только удостоверился я в злополучии и бедствиях, причиняемых войною тому классу людей, который, не стяжая в ней, подобно нам, солдатам, ни славы, ни почестей, лишается не только последнего имущества, но и последнего куска хлеба, не только жизни, но чести жен и дочерей, и умирает, тощий и пораженный во всем, что у него есть милого и святого на дымящихся развалинах своей родины, — и все отчего? Оттого, что какому-нибудь временщику захотелось переменить красную ленту на голубую, голубую на полосатую»21. Как известно, красной была лента ордена Александра Невского, голубой — ордена Святого Андрея Первозванного, а полосатой (оранжево-черной) — ордена Святого Георгия.

Можно восхищаться чувствительностью знаменитого партизана Отечественной войны 1812 года, но то, что армии тех времен уже изначально шли в поход, чтобы пограбить (или, на языке того времени, — «брать»), общеизвестно. В упомянутой выше солдатской песне, сочиненной Мариным, есть и такие строчки:

За французом мы дорогу
И к Парижу будем знать.
Там начальник понемногу
Каждому позволит брать.

Там-то мы обогатимся,

В прах разбив богатыря,
И тогда повеселимся,
За народ свой и царя!

До Парижа в ту зиму 1807 года добраться не удалось, поэтому грабить начали деревни и хутора своего союзника…

Гений арьергардных боев

Став главнокомандующим уже без всяких оговорок, Беннигсен решил действовать, не дожидаясь весны. Зная, что французы расположились на зимних квартирах, он уже 4 января 1807 года двинул армию из бывших польских земель на северо-запад, пересекая всю Восточную Пруссию, с целью оставить по правую руку Кенигсберг, а по левую — стоявших на зимних квартирах французов. Затем предполагалось развернуться на юг, имея целью отсечь размещенные ближе к морю, в районе Эльбинга, войска Бернадота от стоявшего в 70 верстах от них (возле Гутштадта) корпуса Нея. Идея Беннигсена была довольно остроумна и при благоприятных обстоятельствах вполне осуществима — он верно подметил, что левый фланг французов при размещении войск на квартирах оказался очень растянут и удален от центра размещения армии Наполеона (сам император располагался еще дальше к югу — в Варшаве). Оценив этот промах противника, русский главнокомандующий решил нанести внезапный удар в стык вражеских корпусов, чтобы разбить либо Нея, либо Бернадота, а затем взять под контроль прусское побережье Балтики и дельту Вислы. Как справедливо писал участник этой войны Ф. Булгарин, «план удивительно смелый и был бы назван гениальным, если б удался». Говоря шахматным языком, при удаче русских французы попадали в типичную «вилку». Но замысел не удался из-за несколько преждевременных, чересчур смелых и неосторожных действий авангарда армии под командованием генерала Е. И. Маркова, который своим шумным наступлением спугнул дремавших в зимних квартирах французов. Узнав о движениях большой группировки неведомо откуда взявшихся русских, Бернадот, стоявший в Эльбинге, понял, что его могут отрезать от основных сил. Не медля ни минуты, он рванулся от Эльбинга в сторону Варшавы, к Морунгену. Там с ним и встретился 13 января Марков, который имел всего 6 тысяч солдат против 16 тысяч солдат у Бернадота. Марков упорно сопротивлялся натиску французов, но затем, потеряв около 500

человек, начал отступать. Тут был убит наповал приехавший к месту сражения генерал Анреп, о котором в русской армии были самые лучшие отзывы: все хвалили как его ум и талант, так и доброе сердце. В это время отряд генерала Палена и Долгорукова, двигавшийся параллельно отряду Маркова, обошел Бернадота с тыла и ворвался в Морунген, в котором расположился обоз французов. Естественно, что от этого плохо охраняемого обоза полетели только пух и перья. Услышав стрельбу в тылу, Бернадот не стал преследовать Маркова и вернулся в Морунген, где нашел разломанные фуры, разбросанные бумаги и вещи. Среди них не было ни корпусной казны, ни его, Бернадота, личного гардероба. В руки русских попало также около 200 пленных. Позже, правда, Беннигсен благородно вернул Бернадоту его уведенное нашими молодцами личное имущество.

В своей записке о войне 1807 года Беннигсен обвинял генерала Маркова в том, что тот своим движением и сопротивлением Бернадоту сорвал начало операции, которая могла принести победу: «Не подлежит сомнению, что генерал Марков поступил бы лучше, не вступая вовсе в сражение при столь несоизмеримых силах. От пленных, захваченных накануне, а также от взятых в тот же самый день, в самом начале сражения, он мог бы узнать, что маршал Бернадот сосредотачивал свой корпус в Морунгене, и в таком случае ему надлежало отступить обратно за дефиле, стараться только охранять выход из оного и немедленно донести обо всем этом. Можно предполагать, что неприятель не выступил бы из своих позиций. Многие из наших дивизий, находившихся очень близко, могли бы на другой день подкрепить наш авангард и обеспечить блестящую и несомненную победу»22. Словом, Марков спугнул крупного зверя. Несомненно, что задуманный Беннигсеном разгром корпуса Бернадота оказался бы болезненным ударом для Наполеона и его армии, а сам Бернадот, может быть, так и не стал бы шведским королем. Вот что значит точка бифуркации в истории: не поспеши Марков, могла бы измениться история, например, Швеции!

Денис Давыдов, побывавший на Морунгенском поле после сражения, увидел там все то, что обычно остается после кровопролитной битвы: «Уже отстонало поле, уже застыла кровь, тысячи лежали на снегу. Опрокинутые трупы с отверзтыми, потусклыми очами, казалось, еще глядели на небо; но они не видали ни неба, ни земли. Они валялись как сосуды драгоценного напитка, разбросанные и раздробленные насильственной рукой в пылу буйного пира. Мрачный зимний день наводил какую-то синеватую бледность на сии свежие развалины человечества, в которых за два дня пред тем бушевали страсти, играли надежды и

свежие желания кипели, как лета пылкой юности»".

На следующий день, 14 января, в армию прибыл посланный Александром 1 генерал Багратион. Ему сразу поручили командование авангардом. После сражения под Морунгеном ситуация на театре военных действий резко переменилась: фактор неожиданности исчез. Наполеон понял, что по Старой Пруссии движется не один обсервационный корпус русских (как раньше полагали французы), а вся их армия. Император французов приказал бить общий сбор, и его войска быстро снялись с зимних квартир. Словом, разъяренный столь бесцеремонным вторжением в его берлогу опасный хищник вылез на поверхность.

Наполеон сразу оценил последствия неудавшегося наступления Беннигсена: удар русских пришелся в пустоту и поэтому неизбежно утратил силу. Император французов решил воспользоваться неосторожным уходом русской армии от своих границ и быстрым маневрированием загнать ее в низовья Вислы, прижать в угол между великой польской рекой и Балтийским морем и там либо разгромить, либо заморить блокадой. Возможно, так бы и произошло, если бы Беннигсен двинулся к Данцигу, но тут ему несказанно повезло — разъезд русских гусар перехватил французского офицера, который вез из Главной квартиры Наполеона маршалу Бернадоту оперативный план действий. Депеша была тотчас доставлена в штаб Багратиона. Тот поначалу думал, что это типичная хитрость французов — доставить противнику «куклу», чтобы «счастливый» соперник на нее купился и тем самым подставил бы себя под удар. Но вскоре отличились и извечные разведчики и перехватчики — казаки. Они поймали второго курьера к Бернадоту с дубликатом того же самого операционного плана. Теперь уже стало ясно, что первая депеша не была фальшивкой и что планы противника, намеревавшегося загнать русских в ловушку, чрезвычайно опасны для русской армии. Приказав своим войскам сделать шумную имитацию подготовки к бою и утром даже послав кавалерию полковника Юрковского атаковать противника, Багратион создал у Бернадота полное впечатление, что русские после первой осечки Маркова продолжают наступление. Тем временем основные силы Багратиона на самом деле начали отступление из расставленной им ловушки. Отход облегчался тем, что Бернадот так и не получил от Наполеона оперативный план. Не зная, что его боевая задача изменилась и ему предписывалось двигаться на соединение с другими силами армии, он начал отходить в другом направлении — к Торну: так ему предписывала старая, бывшая у него на руках диспозиция на случай наступления русских.

«Всего было у него вдоволь, но для других». Денис Давыдов, назначенный в адъютанты Багратиона, примерно в описываемое время приехал в его штаб: «Князь квартировал в красивой и обширной избе прусского поселянина. Он занимал большую горницу, где стояла кровать хозяйская, на которой ему была постлана солома, пол этой горницы тоже был устлан соломою». Для чего это делалось, автор не поясняет. Допускаю, что Багратион во всем подражал своему учителю Суворову, который, как известно, спал на соломе независимо от того, была ли в том необходимость или нет. Возможно также, что Багратиона смущала грязь в горнице, хотя жилища немецких крестьян уже в те времена отличались чистотой. Среди членов свиты Багратиона Давыдов увидел Е. И. Маркова, Багговута, Ермолова, а также Барклая, который «уже пользовался репутацией мужественного и искусного генерала».

И дальше Давыдов приводит бесценные для нас сведения о повседневной жизни Багратиона: «В течение пятилетней службы при князе Багратионе в качестве адъютанта его я во время военных действий не видал его иначе, как одетым днем и ночью. Сон его был весьма короткий — три, много четыре часа в сутки, и то с пробудами, ибо каждый приезжий с аванпостов должен был будить его, если привезенное им известие стоило того. Он любш жить роскошно: всего было у него вдоволь, но для других, а не для него. Сам он довольствовался весьма малым и был чрезвычайно трезв. Я не видал, чтобы он когда-либо пил водку или вино, кроме двух рюмок мадеры за обедом. В это время одежда его была: сертук мундирный со звездою Георгия 2-го класса, бурка на плечах и на бедре шпага, которую носил он в Италии при Суворове, на голове картуз из серой смушки и в руке казацкая нагайка»24. По другим сведениям, князь Петр носил шпагу, подаренную ему самим Суворовым.

Получив утром 20 января от Багратиона французские планы наступления, грозившие ему неминуемым окружением, Беннигсен резко изменил свои намерения. Он решил отходить, избрав для отступления кёнигсбергское направление. Двигавшиеся по разным дорогам корпуса получили приказание сосредоточиться на позиции у местечка Янков, что и произошло утром 22 января. Вскоре туда же подошел Наполеон с армией и расположился впереди города Алленштейна. План предстоящего наступления был для него традиционен: удар по центру и одновременно — охват противника слева и справа. По разработанной в его штабе диспозиции как раз слева должен был действовать против русских Бернадот, но его все не было. В этой ситуации Наполеон предписал явиться на поле боя корпусу Нея, но того задерживали

плохие дороги. Тогда, начав обстрел всех русских позиций, Наполеон решил сосредоточить усилия на своем правом фланге. Тут-то и произошла памятная в истории русской армии кровопролитнейшая битва за Бергфридский мост, находившийся на нашем левом фланге, в деревне Бергфрид. В этом месте весь день, до самой темноты, героически бились солдаты графа Н. М. Каменского, сына фельдмаршала, против превосходящих сил французов. Мост и предмостье с обеих сторон реки Алле были устланы русскими и французскими трупами. Беннигсен понимал, что прорыв здесь, слева, будет смертелен для всей его армии, и поэтому не давал затухнуть ни на минуту сражению, все время подбрасывая Каменскому новые и новые резервы. Да и сам генерал Каменский был в тот день хорош. Несмотря на яростное наступление имевших численный перевес французов, он отбил все их атаки, причем не раз сам с солдатами ходил в штыковую. Считается, что с тех времен и поднялась его яркая звезда незаурядного полководца. Однако, увы, век Каменского оказался короток, жить ему оставалось всего лишь несколько лет.

Позднее Беннигсен писал в своей записке: «При этих обстоятельствах благоразумие требовало не удерживать долее позицию при Янкове, тем более что следовало ожидать, что маршалы Ней и Бернадот с их корпусами устремятся на мой правый фланг, хотя появление сего последнего маршала должно было несколько замедлиться (что на самом деле и случилось), так как посланные ему приказания были перехвачены нами. Поэтому я приказал собрать начальников дивизий с целью предупредить их, что армия ночью начнет отходить и соберется у Прейсиш-Эйлау, которое я выбрал местом для генерального сражения»25.

Тремя колоннами войска двинулись по узким лесным дорогам, утопая по колено в снегу. Прикрывать отступление было поручено Багратиону. Все-то ему приходилось командовать арьергардами, которые порой становились авангардами — и наоборот! Багратион разделил арьергард на три отряда, которые прикрывали отход всех трех русских колонн: слева шел отряд Барклая де Толли, по центру — отряд Маркова, а справа вел свои войска генерал Багговут. У каждого из них завязались жаркие арьергардные схватки с французским авангардом, который упорно и смело наседал на русских. Сначала в бой вступил отряд Барклая, причем ему было труднее других: основные колонны русской армии из-за оказавшегося перед ними дефиле замедлили ход, и Барклаю, пока войска не втянулись в узкое место и не ушли на безопасное расстояние, пришлось выдержать жестокое сражение. Как писал Беннигсен, только к десяти часам утра «весь хвост нашей второй колонны прошел через ущелье, после чего

генерал Барклай стал проводить и свои эшелоны»26. В не менее тяжелых условиях отступали отряды Багговута и Маркова. Багратион постоянно находился в отряде Багговута и не раз рисковал жизнью — так близко и опасно подходили к русским рядам французы, постоянно пытаясь охватить арьергард то слева, то справа. Командующему арьергардом приходилось оперировать то пехотой, то конницей, выводить на ударные позиции артиллерию, которая картечными залпами «охолаживала» неприятеля, а затем отступала дальше. Не раз пехота смыкалась в каре и отбивала молниеносные удары французской конницы. Периодически вспыхивали и быстротечные кавалерийские бои, как тогда говорили, «рубка». При этом следовало постоянно опасаться могучей французской артиллерии, следить за тем, чтобы французские стрелки не подошли на удобное расстояние и не начали выбивать прислугу орудий или офицеров. Нужно было также поощрять и своих егерей, воевавших по той же методе, что и французские стрелки. Позже Багратион в донесении с гордостью писал о своих егерях: «По роду службы егерей на каждом шагу встречающиеся опасности, неимоверные труды, лишения всех выгод, даже самых квартир в продолжение целой кампании, кровью егерей снискиваемое спокойствие армии есть право на покровительство»27.

Искусство отступления — одно из выдающихся воинских искусств, и Багратион показал в тот день свое исключительное владение им. Пожалуй, лучше всего об этом написал Денис Васильевич Давыдов, видевший своими глазами, как это удавалось Багратиону: «Мудреное дело начальствовать арьергардом армии, горячо преследуемой. Два противоположные предмета составляют основную обязанность арьергардногоначальника: охранение спокойствия армии от натисков на нее неприятеля во время отступления и, вместе с тем, соблюдение сколь ближней смежности с нею для охранения неразрывных связей и сношений. Как согласить между собою эти две, по-видимому, несогласимые необходимости? Прибегнуть ли к принятию битвы? Но всякая битва требует более или менее продолжительной остановки, во время которой умножается расстояние арьергарда от армии, более или менее от нее удаляющейся. Обратиться ли к одному соблюдению ближайшей с нею смежности и, следственно, к совершенному уклонению себя от битвы? Но таковым средством легко можно подвести арьергард к самой армии и принесть неприятеля на своих плечах. Багратион решил эту задачу. Он постиг то правило для арьергардов, которое четырнадцать лет после изложил на острове Святой Елены величайший знаток военного дела, сказав: “Авангард должен

беспрерывно напирать, арьергард должен маневрировать”. И на этой аксиоме Багратион основал отступательные действия арьергардов, коими он в разное время командовал. Под началом его никогда арьергард не оставался долго на месте и притом никогда безостановочно не следовал за армиею. Сущность действия его состояла в одних отступательных перемещениях с одной оборонительной позиции на другую, не вдаваясь в общую битву, но вместе с тем сохраняя грозную осанку частыми отпорами неприятельских покушений — отпорами, которые он подкреплял сильным и почти всеобщим действием артиллерии. Операция, требующая всего гениального объема обстоятельств, всего хладнокровия, глазомера и чудесной сметливости и сноровки, которыми Багратион так щедро одарен был природою»28.

Арьергардные бои продолжались несколько дней. Они страшно выматывали людей Багратиона. Из всех соединений арьергарда наибольшую нагрузку на себе испытывал по-прежнему отряд Барклая. Особенно тяжело пришлось ему 25 января под Ландсбергом — там отряду предстояло удерживать противника до тех пор, пока вся армия не займет оборонительную позицию. Захваченные пленные показали, что в войсках, идущих на штурм позиций Барклая, находится сам Наполеон. Как писал Михайловский-Данилевский, «настоящее поколение не может иметь понятия о впечатлении, какое производило на противников Наполеона известие о появлении его на поле сражения! Но Барклая де Толли оно не поколебало»29. Тот, как всегда, хладнокровно и бесстрашно руководил боем. В этом сражении почти полностью погиб Костромской пехотный полк, который, отступая под барабанный бой, каждый раз разворачивался и отражал огнем атаку вражеской кавалерии, пока, наконец, свежая дивизия французских кирасир не смяла полк, потерявший в этом бою большинство людей, почти все знамена и пушки. После этого Барклай отступил на следующую, намеченную заранее, позицию, а Багратион прислал ему подкрепление. В результате этих боев Наполеону так и не удалось разбить русский арьергард и добраться до главной армии, которая беспрепятственно отошла от Ландсберга на позицию под Прейсиш-Эйлау. Название этого городка стало через несколько дней знаменитым.

Буря и натиск

Утром Беннигсен приказал Багратиону отступать как можно медленнее, чтобы дать армии время окончательно закрепиться на

позициях будущего поля битвы. Багратион заранее определил несколько таких позиций — «станций», на которых его отряду предстояло останавливаться, чтобы сдержать натиск французского авангарда. Обескровленный в предыдущих боях отряд Барклая он разместил на последней «станции» — непосредственно на окраине городка Прейсиш-Эйлау с тем, чтобы Барклай прикрыл отход уже самого арьергарда Багратиона. На первой «станции» Багратион продержался только час, затем, опасаясь окружения, отступил. «Между тем, — вспоминал Денис Давыдов, — неприятель продолжал напирать сильнее и сильнее. Арьергард отступал в порядке и без волнения. Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной артиллерии примкнуть к армии, а армии довершить свое размещение и упрочить оседлость позиции». На второй, более удобной для обороны «станции» между двух озер арьергард держался дольше, чем на первой, причем тут произошла ожесточенная рукопашная схватка русских и французских пехотинцев. «Возвратясь к Багратиону, — продолжает Давыдов, — я нашел его, осыпаемого ядрами и картечами, дававшего приказания с геройским величием и очаровательным хладнокровием… Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен к городу, занятому войсками Барклая, и ружейный огонь из передних домов и заборов побежал по всему его протяжению нам на подмогу, но тщетно! Неприятель, усиля решительно натиск свой свежими громадами войск, вломился внутрь Эйлау. Сверкнули выстрелы его из-за углов, из окон и крыш домов, пули посыпались градом, и ядра занизали стеснившуюся в улицах пехоту нашу, еще раз ощерившуюся штыками. Эйлау более и более наполнялся неприятелем. Приходилось уступать ему эти каменные дефилеи, столь для нас необходимые. Уже Барклай пал, жестоко раненый». Раненый Барклай де Толли был вывезен в тыл, а потом покинул район военных действий. В этом месте Михайловский-Данилевский в своей книге «Описание Второй войны императора Александра с Наполеоном» использовал почти дословный пересказ новеллы Давыдова «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау». Сам Давыдов писал о счастливых, если так можно сказать, последствиях ранения Барклая: «Рана сия положила основание изумительно быстрому его (Барклая. — Е. А.) возвышению. Отправясь для излечения в Петербург (точнее, в Мемель. — Е. А.), Барклай де Толли был удостоен посещений императора Александра и продолжительных с ним разговоров о военных действиях и о состоянии армии. Во время сих бесед Барклай де Толли снискал полную доверенность монарха: быв под Эйлау

генерал-майором, через два года он являлся генералом от инфантерии и главнокомандующим в Финляндии, через три — военным министром, а через пять лет — предводителем одной из армий, назначенных отражать нашествие Наполеона на Россию»30.

Далее Давыдов сообщает: «Багратион, которого неприятель теснил так упорно, так неотступно, числом столь несоизмеримым с его силами, начал оставлять Эйлау шаг за шагом. При выходе из города к стороне позиции (армии. — Е. А.) он встретил главнокомандующего (Беннигсена. — Е. А.), который, подкрепя его полною пехотною дивизиею, приказал ему снова овладеть городом во что бы то ни стало, потому что обладание им входило в состав тактических его предначертаний. И подлинно, независимо от других уважений, город находился только в семистах шагах от правого фланга боевой нашей линии. Багратион безмолвно слез с лошади, стал во главе передовой колонны и повел ее обратно в Эйлау. Все другие колонны пошли за ним спокойно и без шума, но при вступлении в улицы все заревело “Ура!”, ударило в штыки — и мы овладели Эйлау. Ночь прекратила битву. Город остался за нами»31. В этом описании мы видим «обыкновенное мужество» Багратиона, который выполнил свой долг, как, впрочем, при необходимости, выполняли его и другие генералы — его боевые товарищи. Правда, в отличие от Давыдова, ни Беннигсен, ни Ермолов не подтверждают вышесказанного, упоминая только о том, что городок брал генерал Сомов с подошедшей 4-й дивизией32. Однако без Багратиона всего этого произойти не могло.

Как бы то ни было, действиями под Прейсиш-Эйлау Багратион завершил свою миссию командующего арьергардом. Вскоре подчиненные ему войска слились со стоящей в позиции армией. Багратион уехал в Главную квартиру, расположенную за позицией, занятой армией. А в это время в Прейсиш-Эйлау, в стане русского воинства, началось веселье («разброд по улицам и по домам большей части войска, которое предалось своевольству и безначалию»). Выглядело это всегда неприглядно, и попытки офицеров привести в чувство своих солдат обернулись тем, что французы внезапно захватили город, и это серьезно повлияло на ход крупномасштабного сражения, развернувшегося на следующий день. Правда, Беннигсен в своих записках утверждает, что город был оставлен по его приказу73. Но это противоречило всем его тактическим построениям, ибо, захватив Прейсиш-Эйлау, французы смогли укрыться за зданиями города и беспрепятственно накапливать силы для атак на русские позиции. Допустить этого по своей воле Беннигсен не мог.

Впрочем, у него были и другие проблемы. Он расположил армию на позиции, которую не назовешь удобной. Если по центру русская армия заняла высоты, с которых ее орудия вели успешный обстрел наступающего неприятеля, то фланги были, наоборот, слабо прикрыты рельефом местности. Справа стояли дивизии Тучкова, в центре — Сакена, слева — Остермана-Толстого. В резерве находились дивизия Каменского и две дивизии Дохтурова, при котором был, как младший из наличных генерал-лейтенантов, Багратион. Как уже сказано выше, после расформирования арьергарда, он остался не у дел. Численность русских сил составляла около 70 тысяч. Кроме того, ожидался подход прусского отряда генерала Лестока. У французов было около 80 тысяч человек, хотя Беннигсен настаивал, что у Наполеона было несравненно больше войск, чем у него.

Сражение, начатое арьергардным боем за Прейсиш-Эйлау, продолжилось утром 27 января и проходило в тяжелейших условиях. Хотя мороз в тот день был небольшим — около 4 градусов ниже нуля, поле сражения устилал толстый слой свежевыпавшего снега. Небо было закрыто тучами, и порой противники теряли друг друга из виду — так внезапно опускалась темнота или начинал валить густой снег. Беннигсен, хорошо изучивший тактические построения Наполеона, применил его собственное оружие: зная, что император французов действует в атаке густыми колоннами, Беннигсен пришел к выводу, что «для успешного сопротивления атакам таких больших колонн не существует другого начала, как действовать такими же массами, как и французы, и всегда иметь под рукою наготове сильные резервы»54. Поэтому во второй линии полки стояли в развернутых батальонных колоннах, которые могли быстро построиться в единую и сильную колонну и двинуться в бой.

Замысел Наполеона состоял в том, чтобы, используя взятый Прейсиш-Эйлау для накопления сил, атаковать из него русский центр, но делать это без особой страсти, главным образом для того, чтобы связать русские силы в центре. Между тем главная задача возлагалась на маршалов Даву и подходящего с юго-востока к месту сражения Нея. Они должны были отрезать армию Беннигсена от русской границы (справа, Даву) и от Кенигсберга (слева, Ней) и взять ее в клещи. Основная фаза сражения началась трехчасовой артиллерийской подготовкой, после чего французы пошли в атаку на русский Центр. Как раз в это время началась сильная метель, ветер дул в лицо солдатам корпуса маршала Ожеро, и из-за густого снега, шедшего непроглядной пеленой, войска вдруг потеряли ориентировку. Когда же на минуту погода прояснилась, то оказалось, что французская

колонна находится в непосредственной близости от русской центральной батареи, готовой к бою. Пушки тотчас открыли огонь прямой наводкой, а потом русские солдаты бросились в штыки. Как писал Ермолов, первым «с ужаснейшим ожесточением, изъявленным громким хохотом, Владимирский мушкетерский полк бросается в штыки». Французы не дрогнули и, оправившись от неожиданности, сами, увязая в глубоком снегу, рванули навстречу русским колоннам. Как вспоминал Давыдов, «произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо наименованной эпопеею нашего века, я подобного побоища не видывал! Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов ни в средине, ни вокруг его: слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавших без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпались свежими грудами, люди падали один на других сотнями так, что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления. Наконец, наша взяла! Корпус Ожеро был опрокинут и жарко преследован нашею пехотою и прискакавшим генерал-лейтенантом князем Голицыным с центральной конницей на подпору пехоты»35.

Внимательно наблюдавший за происходящим на поле боя Мюрат бросил в бой своих кавалеристов, и они, в свою очередь, опрокинули нашу конницу. Завязалась жаркая кавалерийская сеча с характерной быстротечностью столкновений, в которых участвовали наши и французские кирасиры, драгуны, а также казаки и гвардейские конные егеря маршала Бессера. В полдень к месту сражения подошел с 25-тысячным корпусом маршал Даву и тотчас направил свой удар на левый фланг русской позиции, выбив войска генерала Багговута из деревни Серпален. Багговут отошел к другой, находившейся прямо на нашей позиции, деревне Саусгартен, которую вскоре по приказу командующего левым флангом Остермана пришлось также оставить — столь был силен натиск Даву. Тогда наступил критический момент для всей русской армии, ибо прорыв в этом месте означал бы для нее катастрофу. Почувствовав смертельную опасность для своей армии, Беннигсен начал перебрасывать на помощь Остерману свежие полки резерва, а также снимать силы с правого фланга. Русская линия, первоначально почти прямая, теперь, под давлением Даву, круто изогнулась, как лук, но не сломалась, а

держалась.

В какой-то момент войска потеряли своего главнокомандующего — оказывается, Беннигсен, ожидая подхода прусского отряда Лестока, пребывал в страшном нетерпении и, бросив штаб, сам верхом поехал навстречу пруссакам. В сумерках он сбился с дороги и более часа блуждал по заснеженным полям, пока не нашел также заблудившегося Лестока и не привел его на место сражения. Можно представить его отчаяние во время этих метаний! Исчезновение главнокомандующего совпало с усилением натиска французской армии, артиллерия которой вела по сжавшимся русским позициям эффективный перекрестный огонь. Согнутая до прямого угла дуга правого фланга начала уже трещать, войска впервые поколебались. Принявший на себя, в отсутствие Беннигсена, командование генерал Сакен решил отступать, но в это время проявил инициативу молодой артиллерийский генерал, командующий артиллерией левого фланга граф Кутайсов. Он, нарушая субординацию, приказал перебросить с правого фланга на левый три артиллерийские роты, одной из которых командовал Ермолов. Впоследствии Ермолов вспоминал, что «не знал, с каким намерением я туда отправляюсь, кого там найду, к кому поступаю под начальство. Присоединив еще одну роту конной артиллерии, прибыл я на обширное поле на оконечности левого фланга, где слабые остатки войск едва держались против превосходного противника, который подвинулся вправо, занял высоты батареями и одну мызу почти уже в тылу войск наших. Я зажег сию последнюю и выгнал пехоту, которая вредила мне своими выстрелами. Против батарей я начал канонаду и сохранил место своей около двух часов… Я подвигал на людях (то есть на руках. — Е. А.) мою батарею всякий раз, как она покрывалась дымом (то есть используя дымовую завесу. — Е. А.), отослал назад передки орудий и всех лошадей, начиная с моей собственной, объявил людям, что об отступлении помышлять не должно»36. А так как подобным образом действовали еще две батареи, то выстрелы сразу 36 орудий поколебали натиск французов. Потом уже, после сражения, рассматривая поле боя, приехавший в Пруссию император Александр похвалил Кутайсова, его предусмотрительность и искусство, которые, по его словам, «помогли нам выпутаться из беды и сохранить за нами славу боя». Вот что значит артиллерия — поистине «бог войны»!

Лесток прибыл как раз вовремя. Хотя он и привел всего шесть тысяч человек, включая один русский полк, но издали, с французских позиций, подкрепление это казалось значительным. К тому же удар его оказался мощным. Лестока поддержали

Каменский и казаки недавно прибывшего на войну генерала Платова. В заснеженной березовой роще, на краю наших позиций, началась резня, французы потеряли четыре орудия, после чего Даву дал приказ об отступлении. Денис Давыдов, отдавая должное Беннигсену, считал, что в тот момент главнокомандующий не проявил суворовской решительности: вместо удара по отступающему Даву, выбитому из роши русско-прусским отрядом Лестока, «армия наша осталась на месте… Среди бури ревущих ядер и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты, известия и повеления сменялись известиями и повелениями, скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая, но положение армии тем не исправилось потому, что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего — все дышало осторожностью, расчетливостью, произведением ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созиданиями внезапности, ускользающими от ггредусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. Все, что Беннигсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его приказаний, — все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и Сент-Илера, противуставя штык их штыку и дуло их дулу, но не к какому-либо неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару напропалую и очертя голову на какой-нибудь пункт, почитаемый неприятелем вне опасности»37.

Пламенный гусар, поэт и партизан ошибался. Конечно, ни Беннигсен, ни любимый Давыдовым Багратион в той ситуации «напропалую и очертя голову» никогда бы никуда не бросились. Но мысль об ударе по расстроенным французским полкам силами фактически не участвовавших полков правого фланга (Тучкова) у Беннигсена все же была, ибо он приказал Остерману готовить колонны для атаки. Но вдруг около десяти вечера в тылу правого фланга началась стрельба — к деревне Шмодитен наконец-то подошли так долго ожидаемые Наполеоном передовые части корпуса маршала Нея, задержавшиеся в дороге из-за глубокого снега. Это и остановило подготовку русского контрнаступления.

Подход к Наполеону корпуса Нея, а потом и Бернадота могли в корне изменить ситуацию в пользу французов — ведь эти два свежих корпуса имели в своих рядах не менее 30 тысяч человек, что с лихвой восполняло все потери французов при Прейсиш-Эйлау. А у нас последним резервом стал шеститысячный отряд Лестока! Неудивительно, что в Главной квартире Беннигсена шли

споры — большинство генералов считали, что французов надо добить, что необходимо организовать контрнаступление. Но Беннигсен решил иначе. «Всякий опытный военный человек, — писал он потом, — может беспристрастно судить о том, что предписывало мне делать в этом случае благоразумие. Следовало ли мне оставаться на позиции при Прейсиш-Эйлау и на другой день снова отважиться на третье сражение (ибо уже два дня дрались на этой позиции), или же принять другое, более благоразумное решение? Не лучше ли было, отразив неприятеля на всех пунктах его нападения, оставить его после значительных потерь, им понесенных, в снегах Прейсиш-Эйлау и его окрестностях, где он был лишен всех средств, необходимых для своего существования и продовольствия, для лечения и ухода за ранеными, для исправления артиллерии и т. д., а самому приблизиться к Кенигсбергу, где я находил все необходимое для приведения в порядок моей армии…»38

Наконец, Беннигсен не мог не учитывать общего удручающего состояния измотанных маршами и двухдневным сражением солдат русской армии. Как писал Ермолов, «главнокомандующий хотел тотчас после сражения преследовать неприятеля, и о том объявлено было частным начальникам, но невозможно было скоро собрать рассеянные на большом пространстве войска, к тому же они чрезвычайно были утомлены и обессилены большою потерею. Известно было, что Наполеон имел войска, не участвовавшие в сражении, состоявшие в корпусе маршала Бернадота, и при таком превосходстве способов можно было усомниться в успехе с нашей стороны. Сверх того самый недостаток продовольствия не допускал никакого предприятия. Не избежал, однако же, главнокомандующий порицаний…»31. Кстати, сам Давыдов в новелле «Урок сорванцу» с большим юмором описывает, как он безуспешно пытался стать героем как раз благодаря воспетой им бесшабашности напропалую и из-за этого чуть было не погиб.

Итак, в ночь с 27 на 28 января русская армия двумя колоннами начала отступать по дороге на Кёнигсберг. Как и раньше, командующим арьергардом был назначен генерал-лейтенант Багратион. Он, кажется, не принимал участия в сражении при Прейсиш-Эйлау, состоя при генерале Дохтурове, командовавшем двумя резервными дивизиями центра. Теперь вновь пришло время его ратной работы. Багратион стоял со своими войсками на поле битвы и ждал подхода французов с тем, чтобы прикрывать начавшееся отступление армии. Наступил рассвет, но неприятель почему-то не нападал на русские полки, изготовившиеся к бою. В девятом часу утра 28 января, когда

стало совсем светло, Багратион беспрепятственно покинул поле боя. Его никто не преследовал… Как истинный писатель своего века, Денис Давыдов нашел этому яркий образ: «Погони не было. Французская армия, как расстрелянный военный корабль, с обломанными мачтами и с изорванными парусами, колыхалась еще грозная, но неспособная уже сделать один шаг вперед ни для битвы, ни даже для преследования»40. Только через 17 верст отступления, у местечка Мансфельд, расположенного неподалеку от Кёнигсберга, позади отряда Багратиона появились первые конные егеря Мюрата, наблюдавшие за отходом русских к столице Восточной Пруссии.

Вся эта ситуация породила разнобой в оценках сражения. Беннигсен считал, что при Прейсиш-Эйлау им была одержана победа. Французы же, заняв поле боя, согласно принятым воинским обычаям, считали победу своей. Не без юмора Наполеон позже сказал генералу А. И. Чернышеву: «Если я назвал себя победителем под Эйлау, то это потому только, что вам угодно было отступить»41. Несмотря на решение об отступлении с поля боя, Беннигсен отправил со своим адъютантом победную реляцию императору Александру I, в которой писал: «Почитаю себя чрезвычайно счастливым, имея возможность донести… что армия, которую вам благоугодно было вверить моему начальствованию, явилась вновь победительницею. Происшедшая новая битва была кровопролитна и убийственна, она началась 26-го января в три часа по полудни и окончилась только 27-го числа в шесть часов вечера. Неприятель был совершенно разбит, в руки победителей достались тысяча человек пленных и двенадцать знамен, повергаемых при сем к стопам Вашего величества. Сегодня Бонапарт с отборными войсками производил атаки на мой центр и оба крыла, но был везде отражен и разбит; его гвардия неоднократно нападала на мой центр без малейшего успеха, везде эти атаки, после сильного огня, были отбиты нашей кавалериею и штыками пехоты. Несколько пехотных колонн неприятеля и лучшие его кирасирские полки были уничтожены»42.

Как часто бывает на войне с рапортами после боя, этот рапорт главнокомандующего правдив только отчасти. Действительно, французам не удалось сбить русскую армию с ее позиций, французские войска понесли большие потери, но не могло быть и речи о том, что Наполеон разбит. Более того,

Беннигсен признавал в своих записках, что подход Нея и Бернадота представлял для него серьезную угрозу, и отступление с места битвы было по тем обстоятельствам наиболее разумным поступком. Да и число трофеев было им преувеличено. В реляции

было сказано о 12 знаменах, но в Петербург отвезли только пять. Когда Александр спросил Беннигсена, где же остальные, главнокомандующий отвечал, что «во время сражения об них имел только словесные донесения, что они тогда не были собраны в одно место и некоторые проданы солдатами в Кенигсберге на рынке, ибо солдаты почитали французские орлы золотыми»43. Вполне возможно, что это была чистая правда. Солдаты, а особенно казаки, захватив вражеские знамена, могли их утаивать, чтобы продать и пропить. Известна произошедшая в 1826 году история, когда на рынке Нахичевани (!) отставной казачий урядник продавал знамя французского пехотного полка, взятое еще в 1812 году44. Кроме того, всегда происходила путаница с учетом знамен и значков. Последние (в виде небольших флагов, штандартов или орлов) не имели официального значения и создавались самими солдатами, чтобы не терять своих во время похода, бивака или в ходе боя. Но будучи захвачены в бою, эти значки причислялись противником к трофейным знаменам, резко увеличивая общее количество последних.

Впрочем, Наполеон тоже не стеснялся в описании своей победы. В отосланных в Париж сообщениях он извещал публику, что взял в плен 15 тысяч солдат противника и 18 русских знамен (наши считали, что они не потеряли в бою ни одного знамени). Сведения о потерях сторон, как всегда, разнятся. Спор между противниками (уже в лице позднейших историографов) о том, кто и сколько потерял, никогда не завершится — для окончательного, взвешенного суждения об этом нет достоверных материалов. Есть только один способ найти компромисс: никогда не принимать за подлинные данные одной стороны о потерях другой стороны, а ограничиваться лишь признаниями о собственных потерях. Потери русских в сражении при Прейсиш-Эйлау, согласно нашим же данным, составили 26 тысяч человек. Участник сражения Д. Давыдов считал, что наша армия потеряла «до 37 тысяч человек убитых и раненых, по спискам видно, что после битвы армия наша состояла из 46 800 человек регулярного войска и 2500 казаков»45. Французы полагали, что они потеряли в битве около 18 тысяч46. Будем так и считать.

Простояв десять дней на поле сражения, Наполеон сам начал отступление. Наблюдавшим за ним казакам оно не казалось маршем победителей — по дороге на Ландсберг и Мельзак они находили огромное число брошенных обозов, оставленных на дороге ослабевших и умирающих французских солдат. Маршал Ней писал тогда военному министру, что «войска были до крайности утомлены чрезвычайно затруднительными дорогами…

Я полагаю, что человеколюбие требовало оставить в Ландсберге часть раненых, взятых из Эйлау, так как повозки, на которых их везли, сломались или совершенно завязли». Но не это беспокоило Нея — более всего он опасался, что придется бросить пушки, которые, как известно, всегда были дороже людей. 19 февраля он сообщал из Ландсберга с облегчением: «Всю ночь мы занимались вытаскиванием орудий и зарядных ящиков, дорогою завязших в страшной грязи… Вся наша артиллерия спасена, мы потеряем только пять зарядных ящиков»47.

Справедливости ради нужно признать, что у Прейсиш-Эйлау русско-французская борьба закончилась вничью: ни Беннигсен, боясь подхода Бернадота, не мог наутро атаковать Наполеона, ни Наполеон (знавший, что корпус Бернадота подойдет не раньше чем через два дня) не мог двинуть в бой свою обескровленную и уставшую армию. Противникам предстояло вновь, после отдыха, сойтись в схватке.

«Меня сильно донимают казаки». Не отдыхали только казаки. Они всегда выглядели лучше регулярных войск. Современник, впервые увидавший в сражении при Гейльсберге Матвея Платова и его казаков, вспоминал: «Он пронесся мимо нас на рысях, со своим Атаманским полком. Матвей Иванович Платов был сухощавый, уже немолодой человек, ехал, согнувшись, на небольшой лошади, размахивая нагайкой. Все казаки Атаманского полка носили тогда бороды, и не было бороды в полку (выше) пояса. Казаки одеты были в голубые куртки и шаровары, на голове имели казачьи бараньи шапки, подпоясаны были широкими патронташами из красного сафьяна, в которых были по два пистолета, а спереди патроны. У каждого казака за плечами висела длинная винтовка, а через плечо на ремне нагайка со свинцовою пулею в конце, сабля на боку и дротик в руке, наперевес. Шпор не знали тогда казаки. Люди были подобранные, высокого роста, плотные, красивые, почти все черноволосые. Весело и страшно было смотреть на них!»46

Как писал Беннигсен, он дал приказ Платову «днем и ночью тревожить казаками неприятельские аванпосты везде, где только к этому представится возможность. Наши казаки исполняли эту обязанность так хорошо, что в первые три дня сняли с неприятельских шкетов и аванпостов двух офицеров и до двухсот рядовых, не потеряв при этом ни одного человека». Тогда французы впервые столкнулись с таким видом военных действий, от которых не было противоядия, кроме внимания и буквального исполнения устава караульной службы — то есть того, чем в полевых условиях обычно пренебрегают, положившись на товарища или на авось. Л. Л. Беннигсен — человек, не склонный

восторгаться другими, — пропел казакам настоящую восторженную песнь: «Казаки предохраняют отряды от внезапных нападений, они доставляют сведения о движении неприятельских войск в отдаленном еще расстоянии, с величайшим искусством захватывают в плен всякий раз, когда ощущается необходимость в пленных, чтобы получить какие-либо сведения; ловко перехватывают неприятельские депеши, нередко весьма важные; утомляют набегами неприятельские войска; изнуряют его кавалерию постоянными тревогами, которые они причиняют, а также тою деятельностью, осмотрительностью, бдительностью и бодрствованием, с которыми неприятельская кавалерия обязана отправлять постоянно свою службу, чтобы не быть захваченными врасплох казаками. Кроме того, они пользуются малейшей оплошностью неприятеля и немедленно заставляют его в том раскаиваться»49. Неслучайно с большой озабоченностью маршал Ней писал в январе 1807года Сульту: «…Ктому же меня сильно донимают казаки»50. А сам Наполеон, раздосадованный известиями о проделках казаков, назвал их «посрамлением рода человеческого» — «la honte de Ilespelce humaine»51.

Посланник, пропахший порохом

Пока русская армия недолго стояла под самым Кенигсбергом, а ее солдаты и офицеры приходили в себя после труднейших переходов и боев, в Главной квартире разыгрывалась драма. Беннигсен был талантливым полководцем, но плохим организатором военного дела, к тому же недостаточно волевым и авторитетным военачальником, которому не доверяли многие генералы. Некоторые из них слали в Петербург письма, в которых осуждали действия своего главнокомандующего, не сумевшего, по их мнению, сразу же после сражения при Прейсиш-Эйлау, «добить Боунапарте». Вероятно, Беннигсен очень болезненно воспринимал критику, ибо известно, что с прибывшим в армию генералом Кнорингом у него чуть было не произошла дуэль — вещь немыслимая в военное время в Главной квартире. Споры в генералитете достигли такой остроты, что, приехав в Кёнигсберг, Беннигсен послал в Петербург флигель-адъютанта Бенкендорфа с просьбой к государю дать ему отставку с должности главнокомандующего.

Тут кажется примечательным, что, отослав к государю Бенкендорфа, Беннигсен следом отправил для личного свидания с императором и нашего героя — князя Петра Ивановича Багратиона. Формально тот был послан, как писал позже Беннигсен, за помощью (чтобы «двинуть ко мне все войска, оставшиеся свободными в России»). На самом же деле Багратиону предстояло изложить государю истинное положение вещей в армии.

Обед с Багратионом.

О хороших отношениях Багратиона с Беннигсеном свидетельствует и довольно подробный рассказ Булгарина, тогда юного гвардейского ротмистра, случайно побывавшего весной 1807 года на одном из обедов Беннигсена в Главной квартире. Рассказ этот очень ярок, даже кинематографичен, он хорошо передает нам облик и манеры Багратиона в то время: «Беннигсен вышел из кабинета вместе с князем Багратионом, за ними следовали А. Б. Фок и несколько генералов. Беннигсен, окинув взором все собрание в приемной зале, сказал: “Здравствуйте, господа”, поздоровался отдельно с некоторыми полковниками и офицерами и, между прочим, удостоил меня этой чести. Мы

пошли за ним в столовую. Дежурный адъютант не отставал от меня и посадил возле себя. Я почти не слушал, что он шептал мне на ухо, обращая все мое внимание на два лица, которые приобрели уже европейскую славу, — на Беннигсена и на любимца Суворова, князя Багратиона. Князь был в любимом своем мундире гвардейского Егерского полка. Лицо его было совершенно азиатское. Длинный орлиный нос придавал ему мужественный вид, длинные черные волосы были в беспорядке, вз&гяд его был точно орлиный. Разговариваю о довольно важном предмете, а именно, в какой степени латы и пики полезны преимущественно тем, что производят сильное впечатление в атакуемых и порождают в латниках более смелости, в надежде на защиту от пуль. “Но я научил моих егерей и казаков не бояться этих железных горшков, — сказал князь Багратион. — Хорошей, стойкой пехоте, как наша, — промолвил он, — не страшна никакая кавалерия. Что же касается до пики, то надобно уметь чрезвычайно ловко владеть ею, чтобы она была полезна: в противном случае она только спутает кавалериста. Для наших казаков нет другого оружия, кроме пики, потому что это лучшее оружие в погоне за неприятелем. Но в свалке, как обыкновенно действует кавалерия, сабля или палаш лучше”. Полковник Кнорринг, с длинными рыжими усами (Конно-татарского полка, одетого и вооруженного по-уланski), доказывал пользу пик для легкой кавалерии. “Ваши татары почти те же казаки, — сказал Багратион. — Но все же для полезного действия пикой надобно быть одетым как можно легче и удобнее, без затяжки и натяжки, одетым, как наши бесцеремонные казаки ”. Во время этого разговора, тогда очень важного для меня, потому что говорено было о преимуществе кавалерийского оружия, я беспрестанно смотрел на Беннигсена, к которому князь Багратион часто обращался в разговоре, — но Беннигсен молчал. Разговор перешел к вооружению французской кавалерии, к их конным егерям, потом к пехоте, к знаменитым французским стрелкам — Беннигсен все молчал. Но когда разговор перешел к характеру и общим качествам французского войска, Беннигсен сказал: “Французское войско как ракета — если с первого раза не зажжет, то лопнет сама в воздухе”. — Князь Багратион промолвил: “Я люблю страстно драться с французами — молодцы! Даром не уступят — а побьешь их, так есть чему и порадоваться. Как свет стоит, никто так не дрался, как дрались русские и французы под Пултуском и Прейсиш-Эйлау!”

Обед кончился. Беннигсен сел под окном, рядом с князем Багратионом, и после кофе поклонился всем и ушел в своей кабинет»52.

Кажется, что эта встреча Багратиона с Беннигсеном не была просто дежурной. Нам неизвестно, ходили ли главнокомандующий и Багратион до этого в близких знакомцах. Тем не менее видно, что Беннигсен доверял Багратиону и рассчитывал на его авторитетное мнение за царским столом, видя в нем одного из немногих действующих военачальников, имевших влияние при дворе. Как писал граф Рибопьер, служивший тогда в штабе Беннигсена, главнокомандующий, «хотя и храбрый воин, был, однако, слаб характером и не умел держать в руках подчиненных. Он сообщил о своих затруднениях князю Багратиону. Мы составили совет (возможно, в тот самый день, который описывал Булгарин. — Е. А.), на котором решено было, что князь Петр Иванович передаст государю о настоящем положении дел». Наверняка Беннигсен пытался таким образом поправить свое пошатнувшееся положение в глазах царя, а главное — убедительно опровергнуть доходившие до Петербурга и вредившие ему слухи. Их распространяли граф П. А. Толстой, генерал-квартирмейстер Штейнгель и особенно генерал Кнорринг. Как писал А. П. Ермолов, Багратион был послан главнокомандующим «с подробным объяснением о Прейсиш-Эйлавском сражении, которое по разным интригам представлено было государю в несправедливом виде. Слышно было, что генерал-лейтенант Толстой посредством брата, весьма приближенного государю, доводил до сведения вымыслы, вредные главнокомандующему». Кроме того, позже, в конце мая, разгорелся скандал вокруг действий генерала Ф. В. Остен-Сакена в Гутштадтском сражении, которое могло закончиться блестящей победой, если бы Сакен выступил тогда, когда ему предписал Беннигсен.

Как не вполне справедливо писал Рибопьер, «Багратион поехал с секретным рапортом, который был мною составлен и написан и который произвел такое впечатление на государя, что он отправил в армию Н. Н. Новосильцова, самого приближенного к себе человека, чтобы восстановить порядок и дисциплину. Таким образом, имею полное право сказать, что я уничтожил затеянный против главнокомандующего заговор»51. На самом деле лавры в успехе этого дела полностью принадлежали Багратиону. Он дал государю «победную» (выгодную, кстати, и ему самому) интерпретацию событий в Восточной Пруссии, и Беннигсен вскоре получил подтверждение благосклонности Александра. Это выразилось как в щедрых наградах: Бенкендорф привез Беннигсену знаки ордена Святого Андрея Первозванного, так и в отзыве из Главной квартиры недругов главнокомандующего — генералов Кнорринга и Толстого. Слух,

касавшийся Толстого и переданный Ермоловым, подтверждается замечанием, сделанным Беннигсеном в своих записках: «На место дежурного генерала графа Толстого я назначил генерал-майора Фока». Позже пострадал и другой противник главнокомандующего — Остен-Сакен: он был отдан под суд за нарушение дисциплины и субординации. Так враги Беннигсена были посрамлены, а его запросы, касавшиеся снабжения и усиления армии, сразу же удовлетворены. Как писал Ф. Булгарин, «Прейсиш-Эйлауское сражение праздновали в России как самую блистательную победу, и в память ее учрежден особый знак отличия, золотой крест на Георгиевской ленте, которым украшены были отличившиеся офицеры: он прибавлял им три года службы. 13 февраля 1807 года учрежден солдатский Георгиевский крест, и вскоре за сим обнародовано высочайшее повеление, чтоб вдовам и детям воинов всех чинов, падших на поле брани, производить жалованье их мужей и отцов». Эта была редкостная, невиданная прежде милость. Возможно, Александр подражал Наполеону, который сразу после битвы при Аустерлице усыновил и удочерил всех детей, потерявших своих отцов-воинов, на поле боя. «Прейсиш-Эйлауский крест, — писал Ф. Булгарин, — это истинный монумент русской славы», и завоевать его было очень непросто, ибо условия сражения были ужасающими54. Впрочем, в точно таких же условиях воевали и французы.

Отпечаток этих событий остался и в камер-фурьерском журнале первой половины 1807 года. 11 февраля журнал фиксирует присутствие Багратиона за обеденным столом императора и императрицы. Там же сидели цесаревич Константин Павлович, сестра императрицы принцесса Баденская, герцог и герцогиня Вюртембергские, а также «приглашенные к императорскому обеденному столу особы; находясь между оными генерал-лейтенант князь Петр Багратион, приехавший сего дня поутру из армии, который по высочайшем выходе из внутренних чертогов к обеденному столу имел счастие их императорским величествам быть представлен и приглашен к столу, за которым их величества соизволили присутствовать на 14-ти кувертах»55. Не приходится сомневаться, кто из присутствовавших за этим столом был главным героем застолья и в каком свете он представил боевые действия всей русской армии в январе 1807 года. Через два дня, 13 февраля, Багратион вновь был приглашен в Столовую комнату Зимнего дворца в числе семнадцати избранных персон и сидел рядом с Чарторыйским. По камер-фурьерскому журналу Марии Федоровны видно, что Багратиона приглашала в свое узкое застолье и вдовствующая императрица. За тем же столом, неподалеку от нашего героя, сидела и великая

княжна Екатерина Павловна.

Бить так уж бить!

Беннигсен, получив сведения об отступлении Наполеона, по-видимому, решил, как тогда говорили, реваншироваться в глазах своих армейских и петербургских недоброжелателей и дал приказ о наступлении. К этому времени, по французскому примеру, он впервые в русской армии учредил корпуса, причем кавалерия была выделена в два отдельных корпуса, что повысило мобильность войск. В приказе о наступлении было сказано: «Солдаты! Мы отдохнули от тяжких трудов, двинемся вперед, окончим наше дело и победами самыми блестящими и еще более решительными доставим мир вселенной и возвратимся в наше отечество, где среди семейств будем наслаждаться, при счастливом царствовании императора Александра, спокойствием, славою и счастьем».

Армия опять двинулась к Прейсиш-Эйлау, а потом дошла до Ландсберга, где простояла 10 дней среди разоренных и сожженных деревень, тысяч трупов людей и лошадей, обильно заполонивших все пространство вокруг мест недавней безжалостной борьбы двух армий. Авангард, которым командовал вернувшийся из Петербурга Багратион, двигался впереди по следам французов. Каково им приходилось, отобразил в своих записках Денис Давыдов: «Обратное шествие неприятельской армии, несмотря на умеренность стужи, ни в чем не уступало в уроне, понесенном ею пять лет после при отступлении из Москвы к Неману… Находясь в авангарде, я был очевидцем кровавых следов ее от Эйлау до Гутштадта. Весь путь усеян был ее обломками. Не было пустого места. Везде встречали мы сотни лошадей, умирающих или заваливших трупами своими путь, по коему мы следовали, и лазаретные фуры, полные умершими или умирающими и искаженными в Эйлавском сражении солдатами и чиновниками (офицерами. — Е. А). Торопливость в отступлении до того достигла, что, кроме страдальцев, оставленных в повозках, мы находили многих из них, выброшенных на снег, без покрова и одежды, истекавших кровию. Таких было на каждой версте не один, не два, но десятки и сотни. Сверх того, все деревни, находившиеся на нашем пути, завалены были больными и ранеными, без врачей, без пищи и без малейшего призора. В сем преследовании казаки наши захватили множество усталых, много мародеров и восемь орудий, завязших в снегу и без упряжи»56.

Оттепели сделали дороги опять непроходимыми. Произошло

несколько довольно кровавых стычек с французами, и 20 февраля русская армия остановилась в Бартенштейне и Гейльсберге. И тут она застыла на так называемых кантонир-квартирах, или «тесных квартирах», позволявших быстро собрать войска в одном месте. Авангард Багратиона стоял впереди основной армии, в Лаунау. Наступило полное затишье. Как писал Ермолов, бывший в авангарде, «около трех месяцев продолжалось с обеих сторон совершенное бездействие; не было ни цепи стрелков, ни одного выстрела, хотя перемирия не было. Генерал передовых французских войск предлагал князю Багратиону оставить селение Петерсвальде нейтральным, или оно будет причиною всегдашних беспокойств, и он должен будет овладеть им. Генерал князь Багратион отвечал, что он согласен, что легче сказать, нежели сделать».

По дороге из столицы Багратион завернул в Мемель, где был принят королевой Луизой. Это подчеркивало то высокое значение, которое он имел в то время. Графиня Фосс, обер-гофмейстерина королевы Луизы, записала в своем дневнике: «Из Петербурга приехал князь Багратион, обедал с королевой. Король болен и даже в постели. Багратион некрасив, но у него мужественная, воинственная наружность, он смотрит настоящим воином. Ему пожаловали орден Черного Орла, тем же вечером он проехал в армию»57.

…В таком странном положении русская армия простояла до мая. За это время никаких осмысленных действий с русской стороны не предпринималось, да и сколько-нибудь конкретные разработки планов на следующую кампанию лета 1807 года до нас не дошли. Как только Беннигсен узнал от своих агентов, что «французская армия считает зимнюю кампанию оконченной» и испытывает надобность «в спокойствии и отдохновении с целью залечить раны этой первой кампании», он и сам решил предаться отдыху. Кажется, что на этот раз время действительно было досадно упущено.

Уланы, обедающие детьми. Впрочем, Беннигсен ждал прибытия подкрепления, гвардии и самого государя. Гвардия во главе с великим князем Константином Павловичем шла форсированными маршами из Петербурга. Как вспоминал Н. Г. Левшин, воевавший в лейб-гвардии Егерском полку, в поход они выступили 24 февраля 1807 года, и «поход был довольно неприятным по затруднительности весеннего времени, и по всему было видно, что поспешали, марши были по 30 верст и слишком, дневки редкие». Ф. В. Булгарин, участвовавший в этом походе в лейб-уланах, подтверждает, что «шли поспешно» и дневки были не через два, а через три дня. Примечательно, что Булгарин

вспоминает, как среди крестьян Петербургской губернии распространился слух, будто бы уланы… едят детей: «Крестьяне почитали нас каким-то особым народом, чем-то вроде башкиров, калмыков или киргизов, в чем их удостоверял невиданный ими до того наш наряд и плохое русское произношение большей части наших улан из малороссиян и поляков. Не знаю, кто распространил между крестьянами эту нелепую весть, но почти во всех домах от нас прятали детей, и когда я спрашивал у хозяев, есть ли у них дети, — они приходили в ужас. Бабы бросались в ноги и умоляли умилостивиться, предлагая, вместо ребенка, поросенка или теленка!»59 Только после пояснительной беседы крестьяне успокаивались… Вообще-то в армейских кругах гвардию не любили, как вообще военные не любят чьи-либо привилегии в смертельном ремесле. Как писал артшыерист Н. Е. Митаревский, над гвардейцами подшучивали: «Где можно поживиться, там вы первые, а когда дойдет до дела, то вы назади»60.

Французы тем временем были заняты не только отдыхом (в своем приказе по армии Наполеон грозно предупреждал, что «осмелившийся нарушить наш отдых, раскается!»), но и осадой Данцига, который был окружен 40-тысячным корпусом маршала Лефевра. В середине апреля положение осажденных ухудшилось, и только что прибывший в Восточную Пруссию император Александр приказал генералу Каменскому 2-му во главе отряда высадиться с кораблей в устье Вислы и деблокировать Данциг. Операция высадки прошла удачно, но прорвать кольцо осады Каменский так и не смог, войска его пришлось без славы эвакуировать, а Данциг 15 мая сдался Лефевру. Так основная армия Наполеона пополнилась 40-тысячным корпусом.

Хотя уже в начале апреля установилась хорошая погода и дороги просохли, Наполеон по-прежнему стоял на своей квартире. Многие объясняли странную медлительность императора французов тем, что он рассчитывал на заключение выгодного мира. Еше в феврале — апреле 1807 года Наполеон пытался добиться мира или хотя бы перемирия как с прусским королем, так и с российским императором, но те, воодушевленные относительным успехом под Прейсиш-Эйлау, не были настроены на переговоры под условия Наполеона, оказавшиеся весьма тяжелыми для Пруссии. Долгое время ждали приезда Александра I, без которого заключение мира было невозможно. Но и когда он в начале апреля приехал в Главную квартиру, расположенную в Бартенштейне, мирные переговоры с французами все равно не удались из-за полного несогласия сторон. Другой причиной задержки Наполеона считалось его

сердечное увлечение польской красавицей Марией Валевской. Император посвящал ей много времени, устраивал для возлюбленной пышные парады гвардии, прогулки и развлечения.

Между тем к весне 1807 года русская армия оказалась в весьма странном положении. Она напоминала бойца, замахнувшегося, чтобы ударить расслабившегося противника, но так и застывшего с поднятой в замахе рукой. Отсутствие ясной диспозиции привело к почти анекдотической попытке атаковать противника — потом в армии это назвали «прогулкой первого мая». Вот как, не чувствуя юмора всей ситуации, описывает эту попытку официальный историограф войны 1806–1807 годов А. И. Михайловский-Данилевский: «Рассматривая пространное расположение наполеоновской армии и удостоверяясь показаниями донцов и лазутчиков, что корпус маршала Нея стоял у Гутштадта, отдельно от главных сил Наполеона (в Остероде. — Е. А.), император Александр возымел светлую мысль атаковать его», охватив слева и справа Гутштадт61. Дело в том, что французская армия располагалась за рекой Пассарга, растянувшись почти на сто верст, и только Ней со своим корпусом стоял впереди реки, у Гутштадта, то есть нос к носу с авангардом Багратиона. Для участия в предстоящем наступлении государь в ночь на 1 мая приехал в авангард к Багратиону. «При первых лучах солнца войска стояли на определенных им местах. Майское утро, радость войск при мысли сразиться на глазах монарха, великое превосходство наше в числе против Нея, который, не зная о замышляемой на него атаке, беззаботно стоял у Гутштадта, обещали успех верный… Нетерпеливо ожидали все повелений к движению. Император Александр стоял при передовых войсках у опушки леса, когда Беннигсен подъехал к нему и доложил, что по полученным сей час известиям Наполеон со всеми силами на марше, близко, и надобно отложить атаку на Нея. Император отвечал Беннигсену: “Я вверил вам армию и не хочу мешаться в ваши распоряжения. Поступайте по усмотрению”. Сказав сии слова, государь уехал»62.

Вскоре стало ясно, что либо сообщение о приближении Наполеона, полученное Беннигсеном, оказалось ложным, либо, придав ему столь устрашающее значение, главнокомандующий просто не хотел рисковать, да еще имея при армии священную особу государя. Словом, Беннигсен дал приказ армии возвращаться на прежние квартиры. Отдых затянулся еще на три недели, пока войска не стали испытывать настоящий голод, — подвоз провианта почти прекратился, местные жители были давно уже ограблены до нитки, лошади питались соломой с крыш крестьянских домов. Войска авангарда Багратиона (впрочем, как

войска авангарда французов, стоявшие от них невдалеке) голодали особенно отчаянно. Ермолов писал, что в войсках не было «ни хлеба, ни соли, выдавались сухари совершенно гнилые и чрезвычайно в малом количестве. Солдаты употребляли в пищу воловьи кожи, которые две или три недели служили покрышкою шалашей; в 23-м и 24-м егерских полках начинали есть лошадей, и из последнего были большие побеги. Князь Багратион посылал меня доложить главнокомандующему о сей крайности. Даны строгие приказания, и все осталось в прежнем виде»63. Н. Г. Левшин вспоминал, что гвардейцы брали провиант у крестьян и выдавали им квитанции, в которых по-русски было написано: «Некто был, некто брал, некто квитку дал». Потом эти квитанции прусский король, приехав в Петербург, вручил императору Александру, и тот приказал оплатить их втрое64. Главная квартира во главе с Беннигсеном была беспечна, а тыловое начальство, как всегда, нераспорядительно и воровато.

Не родись счастливым, а родись провиантским комиссаром.

Как вспоминал Булгарин, в Гейльсберге, где расположилась Главная квартира, жизнь кипела вовсю. «В трактирах и во многих домах играли в банк. Кучи червонцев переходили мгновенно из рук в руки. В этой битее на зеленом поле отличались более других провиантские комиссионеры, которым вручены были огромные денежные суммы для продовольствия войска. Злоупотребления по этой части были тогда ужасные! Войско продовольствовалось, как могло, на счет жителей, и мы ни разу не видели казенного фуража, а между тем миллионы издерживались казною! Впоследствии множество комиссионеров отданы были под суд, многие из них разжалованы, и весь провиантский штат (по указу императора. — Е. А.) лишился военного мундира в наказание за злоупотребления. Но в то время господа комиссионеры, находившиеся при армии, не предвидели грозы, жили роскошно, разъезжали в богатых экипажах, возили за собой любовниц, проигрывали десятки и сотни тысяч рублей»65.

Главнокомандующий армией в этом смысле совсем не походил на Суворова, думающего о своих солдатах, и на представление о голоде в армии отвечал в стиле королевы Марии-Антуанетты: «Надобно уметь терпеть. И за моим обедом подают только три блюда»611. После трех недель бездействия Беннигсен решил повторить «прогулку первого мая» и атаковать столь вызывающе стоящий впереди своих основных сил корпус маршала Нея. Предполагалось, охватив корпус слева и справа

силами нескольких дивизий, отрезать его от основной армии и разбить. В центре атака на Нея возлагалась на Багратиона. Начало операции было успешным, хотя воспользоваться неожиданностью, как это можно было сделать 1 мая, русским полководцам не удалось. Ней сначала оказывал сопротивление авангарду Багратиону, а затем, заподозрив обходный маневр русских (его должен был совершить корпус генерала Сакена), начал быстро отступать, пока не закрепился на удобной для обороны позиции перед речкой Пассарга. Наутро 25 мая Беннигсен дал приказ Багратиону атаковать корпус Нея и сбить его с этой позиции. Багратион это успешно сделал, вытеснив Нея за Пассаргу и при этом взяв в плен полторы тысячи пленных, в том числе одного генерала. Возможно, что тут и должен был совершить свой обходный маневр генерал Сакен, чтобы ударить в тыл Нею или серьезно отвлечь на себя маршала Сульта, который активно помогал попавшему в переделку французскому корпусу. Однако Сакен — давний враг главнокомандующего — с места не двинулся и приказ Беннигсена почему-то не выполнил. В результате операция по окружению корпуса Нея провалилась. Позже генерал-лейтенант Остен-Сакен за этот проступок был отдан под суд, который тянулся три года, да так и не решил, кто же был виноват: Сакен, который, по словам Беннигсена, из-за давней с ним вражды не подчинился приказам главнокомандующего, или Беннигсен, который, со слов Сакена, давал путаные и невыполнимые приказания. Увы, распри и местничество полководцев вообще типичны для этого времени…

Ней оборонялся против Багратиона умело, используя заранее подготовленные для встречи противника засеки, мешавшие проходу русских войск по лесным дорогам. Многим запомнился тогда эпизод героической атаки любимых Багратионом лейб-егерей под командой полковника Сен-При на французов, закрепившихся в одной из засек. Булгарин вспоминал: «Тут впервые увидел я геройство русского солдата, предводимого храбрыми начальниками. Полк, построившись в две батальонные колонны, двинулся с места так же стройно, как на ученье. Одной колонной командовал полковник Сен-При, а другою полковник Потемкин. Приближаясь к лесу, колонны разделились и выслали вперед стрелков, продолжая быстрое свое наступление. По условному сигналу оба батальона крикнули разом “Ура!” и бросились стремглав в штыки: батальон Потемкина прямо на засеки, а батальон Сен-При во фланг неприятеля. Французы дали залп, но это не удержало храбрых наших егерей — они полезли на засеки, очищая себе путь штыками. В одно мгновенье перестрелка прекратилась, и из леса раздались страшные вопли.

Потом снова послышались ружейные выстрелы. Французы не устояли и бежали из леса…» Если Булгарин только наблюдал бой со стороны, то неизвестный нам русский офицер, оставивший записки (И. С. Тихонов считает, что это был А. В. Энгельгардт), сам участвовал в начале этой памятной атаки: «Когда полк приближался к месту сражения, я внутренне восхищался, что, наконец, желание мое исполнилось побывать и под неприятельскими пулями, и когда первый батальон готовился ко входу в лес, то я, командуя половинною четвертою ротою, пошел с моими солдатами вперед и, усмотря старого полковника Бернарбоса, я спросил, где неприятель, на что он мне ответил, чтоб я не горячился, ибо и здесь пули летают… С честью опередя его полк, я приказал солдатам скрыться за большими деревьями, а сам пошел вперед, чтобы, осмотря неприятельское положение, избрать лучшее средство к нападению на оного. Посреди свиста пуль я дошел не более 60 шагов до неприятеля, так что только один овраг отделял меня от оного, как рикошетный удар от пули пробил пяту моей ноги. Сгоряча мне показалось, что я не ранен, но, чувствуя в ноге тяжесть и льющуюся кровь, я крикнул солдат, которые, увидя меня, по особенной любви ко мне, человек более десяти, бросились ко мне, невзирая на смертоносную опасность. Их усердие ко мне стоило двум жизни и одного ранило, меня отвели к фронту второго батальона. Граф Сент-Приэ, усмотря меня раненым, показал искреннее сожаление ко мне и тотчас велел второму батальону двинуться в обход». Это и была описанная выше Булгариным атака Сен-При во фланг французам. Беннигсен писал о происшедшем: «Эту атаку егерей можно поставить примером храбрости и отваги, покрывшей славою егерский полк, и в особенности офицеров, бывших во главе баталионов». Булгарин добавляет: «Ни на одном маневре не было произведено такого ловкого и стройного движения, как штурм засек и изгнание французов из леса при Пассарге гвардейскими егерями. Лейб-гвардии Егерский полк был тогда чудный полк, решительно первый полк в русском войске!» Багратиону как шефу егерей было чем гордиться. Упомянутый выше офицер — автор мемуаров — вспоминал, впрочем, как дорого обошлась эта атака гвардейским егерям: «Полк потерял более 250 убитыми и ранеными, и в сем жарком деле лишились мы лучших офицеров. Достойнейший наш предводитель граф Сент-Приэ был ранен в берцо левой ноги так, что навсегда остался коротконогим, его родной брат подпоручик Сент-Приэ — в грудь навылет, храбрый капитан Ридингер, который командовал под Потемкиным первым батальоном, — шомполом в брюхо, добрый капитан Вульф убит был наповал, просвещенно-храбрый Делагард ранен был в бок,

удалой и забавный мой артельщик Догоновский, получа пулю в горло, чрез час умер, а мне сие первое вступление на Марсово поприще, за лишнюю мою быстроту, отняло способ служить против других выскочкою, ибо лишило меня ноги, которая никогда у меня не вырастет»67.

Как бы то ни было, Ней благополучно отступил за реку. Правда, он потерял вагенбург вместе со своей каретой, в которой казаки нашли серебряный сервиз, а также… женские украшения (верно, трофеи маршала). Кроме того, казакам достались все экипажи генералов и офицеров корпуса Нея. бесчисленные фуры. Они же из своих поисков привели около 500 пленных, а однажды — целый бордель из двадцати пяти девиц легкого поведения, которых везли в обозе склонные к удовольствиям французы.

Весеннее оживление русских пробудило Наполеона. С этого момента и до самого Тильзита он взял инициативу в свои руки, освободив тем самым своего противника Беннигсена от столь тяжкой для того задачи думать о наступлении… В связи с происшедшим невольно возникает вопрос: в чем все-таки заключался смысл ухода русской армии из-под Кенигсберга, который она должна была защищать, и где были более удобные квартиры и сносная система обороны? Ведь заняв новые зимние квартиры на значительном удалении от города, Беннигсен открывал Наполеону возможность отрезать русскую армию от столицы Восточной Пруссии. В результате после начала контрнаступления французов они постоянно ставили Беннигсена в трудное положение, угрожая отсечь его от Кенигсберга, и в какой-то момент движения двух армий порой напоминали забег — кто быстрее достигнет города.

Начало последнего и победного французского наступления в Восточной Пруссии так отражено в записках Беннигсена: «Рано утром 26 мая… князь Багратион, стоявший с авангардом на правом берегу Пассарги, против Деппена, дал мне знать, что на обширной равнине, расстилавшейся на другой стороне реки, весьма ясно видна линия неприятельской кавалерии, состоявшая свыше ста эскадронов. Судя по значительной свите лица, осматривавшего эту кавалерию, и по восторженным крикам, раздававшимся при осмотре, князь Багратион высказывал предположение, что сам Наполеон объезжал войска». Так и видишь окруженного офицерами штаба Багратиона, который, стоя на возвышении, направляет свою подзорную трубу на эту впечатляющую при свете восходящего солнца картину — парад тысяч великолепных всадников — драгун, гусар, егерей, кирасир, улан, сотрясающих воздух криками «Vive Il Empereur!». Это был смотр как раз прибывшей из Страсбурга кавалерии Мюрата.

«Мне, — пишет Беннигсен, — предстояло поэтому ожидать, что наступательные действия неприятеля не замедлят обнаружиться тотчас по прибытии Наполеона в этот отряд»68. И правда! Русский главнокомандующий как в воду смотрел — Наполеон расстался с Валевской и решил размяться в поле. В конце мая французы перешли в наступление…

Поначалу возникло типичное дежавю всех прежних кампаний против Наполеона: наше неуверенно начатое наступление застопорилось, а французы перешли в решительное контрнаступление, стали наседать, и под этим натиском наши — когда медленно, а когда быстро — отступали, избегая излюбленного противником охвата с флангов. Опять Багратион командовал авангардом, который почему-то чаще бывал арьергардом. И задача его, как и в прежние кампании, состояла в том, чтобы, Удерживая французов, дать основной армии уйти от преследования и занять выбранные ее главнокомандующим позиции Для предполагаемого оборонительного сражения. Еще в марте, задумывая наступление против Нея, Беннигсен продумал, как он будет потом отступать, и для этого присмотрел позицию на берегах реки Алле у городка Гейльсберг, заранее приказав ее усилить полевыми укреплениями — редутами и другими фортификационными сооружениями, расположенными особенно на возвышенностях. Оборонительные работы шли там непрерывно до конца мая. С одной стороны, было похвально, что главнокомандующий подготовил укрепленную позицию, но с другой — в этой предусмотрительности была некая обреченность, безнадежность. Получалось, что задуманная им «майская прогулка» с целью окружить и разбить корпус Нея, рассматривалась не как начало крупномасшабной операции по вытеснению Наполеона из Восточной Пруссии, а лишь как обыкновенная диверсия. В итоге инициатива после паузы, как и раньше, перешла всецело к императору французов.

Как выманить из норы хитрого лиса

Никто не любит отступать, и русская армия, которой опять пришлось заняться этим, не составляла исключения. «Нет ничего несноснее, мучительнее, как ретирада, хотя бы самая блистательная, — вспоминал Булгарин. — И люди, и лошади утомлены и обессилены. Только что собираются варить кашу, кормить лошадей — раздается команда: “Мунштучь, садись!” Но голод еще половина беды, а целая беда — сон! Все можно вытерпеть, но сна нет сил преодолеть! Кавалеристам еще кое-как

сносно дремать на лошади, хотя от этого саднится лошадь, но что делать бедному пехотинцу! Однако ж и пехотинец спит на походе, закинув ружье за плечи или положив на ранец переднего товарища. Я видел это собственными глазами, хотя и до сих пор не понимаю, как можно спать в походе, с ружьем в руках. Лишь только остановятся — все бросаются на землю, чтоб уснуть, хоть на несколько минут. Кавалеристы лежат под ногами лошадей, и никто не думает, что одно движение лошади может нанести ему вред или вечное безобразие, как это иногда и случается. Все это мы испытали в быстрой ретираде от Пассарги до Гейльсберга. Арьергард дрался беспрерывно. Французы сильно напирали»69. Страдание от бессонницы было одной из пыток в походе. Как писал Митаревский, «случалось, что солдаты, идя, забывались и падали, что особенно было заметно в пехоте. Один упадет — заденет другого, тот опять двух, трех, и так далее. Падали целыми десятками с ружьями со штыками»70.

Авангард-арьергард Багратиона (около 9 тысяч человек) с трудом сдерживал французов. Он двигался так же, как и раньше, под Прейсиш-Эйлау, сохраняя упомянутое выше золотое правило: задерживаться, но так, чтобы не дать себя отрезать от основной армии, идти быстро, но не так, чтобы принести на своих плечах неприятеля к главным силам отступающей армии. Словом, Багратион играл с французами в прежнюю рискованную игру, для которой он как будто был создан. Он двигался по дороге от Лаунау на Гейльсберг, сдерживая вшестеро превосходящий его авангард Сульта и Ланна. При переправе через ручей Спибах под ним убило лошадь, и великий князь Константин прислал ему одну из своих лошадей. Наконец сильно поредевший и измученный арьергард Багратиона влился в армию, стоящую на позициях под городом Гейльсбергом, и Багратион опять оказался полководцем в запасе.

Начавшееся следом сражение при Гейльсберге отличалось особым упорством. Французы, как писал очевидец, «шли смело, стараясь овладеть нашими батареями», наши ходили в штыковые атаки, отбивая натиск неприятеля. Если при Прейсиш-Эйлау бедой для сражающихся был снег, то здесь всех замучили пыль и дым. Ветра не было, и вскоре от пушечной стрельбы и пыли, поднятой конницей, противники не всегда могли рассмотреть друг друга. Попытки Наполеона сбить Беннигсена с позиций, несмотря на численное превосходство французов, не удались благодаря хорошей организации обороны, заранее приготовленным укреплениям, умелому управлению артиллерией и стойкости солдат. С наступлением темноты французы отошли на свои позиции. Общие потери в тот день составили с обеих

сторон не менее 20 тысяч человек. Наутро Беннигсен ожидал продолжения сражения. В 6 часов утра французские войска пришли в движение, но… двинулись левее от русских позиций. Сначала Беннигсен думал, что Наполеон хочет ударить в его правый фланг, но вскоре стало ясно, что французы, оставляя русских в их крепкой позиции, уходят по дороге на Ландсберг, в сторону Кёнигсберга. В этом смысле победа в сражении под Гейльсбергом была на нашей стороне — поле сражения осталось за русской армией. Но это была странная победа: противник не бежал, а двинулся вперед, минуя русскую армию, которая думала, что она-то, сидя в своей крепкой позиции, тем самым защищает столицу Восточной Пруссии. Как писал позже Беннигсен, выражая свое полное недоумение, «узнав таким образом положительно о намерениях Наполеона, я, должно признаться, был поставлен настолько в крайнее затруднение, на что мне решиться теперь, насколько был вполне уверен и спокоен вчера во время битвы. А между тем обстоятельства вынуждали принять скорое решение, но вместе с тем и обдуманное»71. Беннигсен стал жертвой собственной стратегической ошибки, заключавшейся в том, что он покинул свою главную базу в Кенигсберге и, не начав серьезного наступления на противника, одновременно отдалился от города, засел в позиции под Гейльсбергом, находившейся несколько в стороне от дороги на Кенигсберг, и тем самым предоставил Наполеону стратегический простор для действий. «Мне предстояло выбрать одно из двух, — писал Беннигсен. — Или, покинув нашу укрепленную позицию, доставившую нам накануне славную победу, двинуться на неприятеля, хотя и более, нежели вдвое, превосходившего нас своею численностью, и атаковать его на высотах, по которым он направлял свое движение. Этим, без сомнения, наши войска обрекались, несмотря на их храбрость, почти на верное поражение… Или же можно было решиться на следующее: следовать за французской армиею, чтобы воспрепятствовать ей приближение к Кенигсбергу. Но это мероприятие было еще опаснее первого, так как мы скоро были бы принуждены вступить в сражение при неблагоприятных для нас условиях местности, и притом в сражение генеральное, исход которого мог быть только пагубен для нас и обошелся бы дорого вследствие затруднительного отступления». В общем, Беннигсен сам, собственными руками, создал себе проблемы, дав Наполеону возможность импровизировать, что великий полководец всегда с удовольствием делал. Уйдя по Кёнигсбергской дороге, он приблизился к городу раньше русских и своим неординарным действием выманил их в чистое поле.

Разведка показала, что идти следом за Наполеоном

невозможно: на дороге он оставил крупные силы прикрытия. Да и сам Наполеон был уверен, что Беннигсен никогда на преследование не решится, ибо должен думать о сохранении в неприкосновенности собственного операционного направления. Прав был А. И. Михайловский-Данилевский, когда писал, что Наполеон обладал «некоей нравственной властью: он не предполагал даже возможности, чтобы противники отважились атаковать его с тыла»72.

В штабе Беннигсена было решено двигаться по правому берегу реки Алле, то есть параллельно французам. Вечером армия подошла к Шиппенбейлю. Глазастый Фаддей Булгарин видел Беннигсена как раз в тот момент, когда главнокомандующий стоял на крыльце занятого им под квартиру дома в Шиппенбейле и смотрел на идущую мимо артиллерию. Его окружали генералы, «но он, казалось, никого не замечал и даже не отвечал на салют артиллерийских офицеров. Наморщив лоб и насупив брови, он неподвижным взором смотрел вперед, опершись на саблю. На нем была шляпа с белым султаном и общекавалерийский мундир с серыми рейтузами. Я стоял насупротив, через улицу, и с четверть часа не сводил с его глаз. Тяжелая дума ясно выражалась во всех чертах лица его»".

Мы можем даже наверняка сказать, о чем думал главнокомандующий в этот вечер 30 мая. Наполеон перехитрил его всего одним, но гениальным ходом — описанным выше движением по Кёнигсбергской дороге. Беннигсен получил известие, что в этот вечер Наполеон уже вошел в Прейсиш-Эйлау а его авангард — войска Ланна — находится в местечке Домнау, что недалеко от Фридланда. Корпус же Мюрата был уже на подходе к Кёнигсбергу. Тем самым Наполеон добился желаемого: выманив Беннигсена из укреплений Гейльсберга, он опередил его на пути к Кёнигсбергу, грубо говоря, оставил русского главнокомандующего в дураках. Император-полководец как будто в конце игры выложил перед Беннигсеном все свои козыри: численное преимущество на стороне французской армии, более удобная стратегическая позиция, Мюрат у предместий восточнопрусской столицы. Какие козыри мог выложить на стол его противник? Он мог, конечно, плюнуть на все, сгрести карты и дать приказ отступать от Гейльсберга на восток по дороге Бишофтейн — Рассель — Арис и так до границы, поближе к Гродно, а там ждать подмоги из России. Но это означало бы, что русская армия не выполнила свою миссию по защите прусского короля и его королевы, бросила Восточную Пруссию и умыла руки. Беннигсен так поступить не мог. Движимый долгом и честью, он не хотел отступать и из-за этого пошел-таки на поводу

Наполеона, который завел его в конечном счете на бойню под Фридландом.

Кровавый день Фридланда

Тут-то у Беннигсена, упорно не хотевшего подчиниться логике, навязанной ему Наполеоном, и возник роковой «фридландский проект». Посланный вперед, к Фридланду, с кавалерией князь Голицын в самый последний момент занял город и геройским рывком, под пулями захватил полуразобранный французским разъездом мост через Алле. О, лучше бы Голицын опоздал и французы сожгли бы этот злополучный мост! Вечером 1 июня сам Беннигсен прибыл во Фридланд и дал приказ войскам — сначала кавалерии, а потом гвардейской пехоте — перейти по захваченному мосту, а также по двум наведенным понтонным на левый берег реки, чтобы боем встретить приближавшихся французов маршалов Ланна и Удино.

На следующий день, 2 июня, началась артиллерийская перестрелка, затем в сражение стали втягиваться пехотные части и кавалерия. Расчеты Беннигсена перед битвой совершенно непонятны. Позже он писал, что вообще-то не собирался устраивать полноценное сражение с французами на левом берегу Алле и думал, что против него действуют лишь корпуса Ланна и Удино, с которыми он и хотел «разобраться». Он не знал и якобы не ждал, что сюда явится вся французская армия во главе с Наполеоном. «Дело под Фридландом, — писал он в свое оправдание, — началось с раннего утра, оно разгоралось незаметно, без значительного пролития крови, против некоторых французских корпусов. Честь нашей армии не дозволяла нам уступать им поле сражения. Добавлю к этому, что мы были притом в неведении о приближении всей французской армии. Признаюсь охотно, по совести, что поступил бы лучше, избегнув совершенно этого столкновения, это вполне от меня зависело, и я, конечно, остался бы верен моей решимости не вступать ни в какое серьезное дело, разве что оно явилось бы необходимым для дальнейшего движения нашей армии». И далее Беннигсен пишет, что не форсировал бы Алле, «если бы все показания пленных, схваченных в разное время и в различных местах, не свидетельствовали единогласно, что по ту сторону Фридланда находятся только корпуса маршалов Ланна и Удино и отряд Домбровского с иностранными полками, но что император Наполеон со всею армиею двинулся по дороге к Кёнигсбергу»74. Ниже мы еще остановимся на ценности информации, получаемой

от пленных.

Несомненно, Беннигсен не рвался на генеральное сражение с Наполеоном. Как точно писал Д. Давыдов, «мнение о чрезвычайной предприимчивости противника своего принуждало Беннигсена уклоняться от генерального сражения». Кстати, этот комплекс был присущ и Кутузову, и Барклаю де Толли. Но все же Беннигсен не говорит всей правды. Ему трудно признаться в том, что его вытащили на сражение на невыгодных для него условиях и в неудобной позиции. Кажется, что и на этот раз, как под Гейльсбергом, старый лис, как ни был он осторожен, перехитрил сам себя. В какой-то момент, воспользовавшись удачным захватом моста на левый берег, он потерял бдительность, потянулся через реку за куском сыра (корпусами Ланна и Удино) и попал лапой в капкан. Психология его действий понятна. Беннигсен, такой осторожный и осмотрительный, к этому времени был крайне раздражен тем, что Наполеон выкрал у него из-под носа Кёнигсберг без боя. Поэтому, узнав о движении к Фридланду Ланна и Удино, он решил компенсировать свои прежние неудачи победой хотя бы над ними. Читатель помнит, что раньше, в мае, он так же хотел окружить неосторожно выдвинувшийся вперед корпус

Нея. Так и здесь, под Фридландом, он решил разбить сблизившихся с ним и оторвавшихся от основной армии Ланна и Удино и для этого начал перебрасывать армию, включая тяжелую артиллерию, на левый берег, в явно неудобную, не предназначенную для обороны позицию. Ермолов писал, что еще «в Шиппенбейле князь Багратион получил повеление идти поспешнее к местечку Фридланд. Многие удивлены были направлением армии, но открылось, что часть кавалерии (французов), зашедши неосторожно в Фридланд, схвачена эскадронами Татарского уланского полка (того самого обедавшего с Багратионом и Беннигсеном полковника Кнорринга. — Е. А.), и пленные показали, что армия (Наполеона) идет к Кёнигсбергу и только один корпус расположен неподалеку, а потому полагали, что главнокомандующий, вознамерясь истребить сей корпус из предосторожности, что будет он подкреплен другими войсками, собирает всю армию для вернейшего успеха»75. Это уже ближе к правде, но тогда спрашивается: почему, зная, что перед ним всего лишь два корпуса, Беннигсен не атаковал их сразу, до подхода основных сил французской армии, а выстроил свои войска на левом берегу в оборонительную позицию? Известно, что по его приказу подходящие к Фридланду войска начали вставать на левом берегу в положение типичной оборонительной дуги, края которой

упирались в берега Алле. Князю Багратиону был поручен левый фланг обороны, правый — князю Горчакову. Между тем Ермолов, подтверждая мнение военного теоретика Жомини, писал, что Беннигсену надлежало не готовиться к обороне, а «напасть решительно на французский корпус, который, будучи весьма разбросан, не мог ни защищаться упорно, ни отступать с удобностию. Армия (Наполеона. — Е. А.), растянутая в следовании на Кёнигсберг, не могла подкрепить (корпус) в скором времени, и приходящие в помощь войска, не иначе являясь как поодиночке, не в состоянии были бы устоять против соединенных сил всей (русской) армии. Предположа, что по превосходству сил неприятеля не входило в намерения главнокомандующего разрезать армию на марше, но, конечно, не упустил бы он случая истребить один корпус. Напротив, мы занялись продолжительною бесплодною перестрелкою и бесполезно потеряли столько времени, что прибыла (французская) кавалерия против правого нашего фланга, и лес против арьергарда наполнился пехотою»76.

А дальше, по мере прибытия новых и новых сил французов, сразу вступавших в бой, изменить ход завязавшегося полномасштабного сражения Беннигсен уже не мог: бежать сразу Же ему не позволяла, как он позже писал, честь, а потом былоуже не до понятий чести — противник не позволял уйти, навязав русским свою тактику и поставив их в положение цугцванга. В итоге, как писал сам Беннигсен, «русская армия, гораздо слабее неприятельской, была захвачена Наполеоном врасплох». Врасплох! Здесь это слово совершенно не подходит. Виноват в создавшейся ситуации был исключительно он, главнокомандующий, не просчитавший варианты перед тем, как дать приказ переходить войскам на левый берег. Между тем позиция там, ставшая случайно оборонительной, была неглубока, с открытым для прострела орудиями врага пространством и невозможностью эффективно маневрировать войсками. Казалось, будто черт завел в эту ловушку нашу армию!

Ответ на вопрос, поднятый Ермоловым, почему сам Беннигсен сразу не атаковал французов, виден из общих описаний сражения. С самого начала дело пошло не так, как предполагал главнокомандующий. Французы Ланна и Удино не стали дожидаться, когда русские построятся и атакуют их. Они сами, подкрепленные подошедшим вскоре корпусом Даву, двинулись в атаку и заставили обороняться вначале центр, которым командовал Дохтуров, а потом и правый фланг русской армии. Атаки эти были успешно отражены. В какой-то момент наступило затишье. Как писал потом Беннигсен, «я считал уже

совершенно оконченным дело, которое возгорелось гораздо сильнее, нежели я желал. И вдруг около семи часов офицеры, размещенные на городской колокольне для наблюдения за движением неприятеля, донесли мне, что позади леса на разных дорогах, идущих от Прейсиш-Эйлау, виднеются большие столбы пыли, происходящие, очевидно, от движения сильных неприятельских колонн. Действительно, это подходил сам Наполеон с главными силами своей армии». Беннигсен приказал вернуть тяжелую артиллерию на правый берег Алле и предписал генералам немедленно переводить полки по мостам на правый берег, но было уже поздно. Есть сведения, что прибывший Наполеон был изумлен видом позиций и построений русских. Все выглядело странно примитивно и неумело, и он стал подозревать, что хитрец Беннигсен где-то спрятал основные силы армии для внезапного удара. Но, увы, никакой хитрости в действиях русского главнокомандующего не было, как и раньше не было никакого скрытого смысла в броуновском Движении русских войск под Пултуском.

Основной удар французов пришелся на левый фланг, которым командовал Багратион. Таков был план Наполеона — прорвать русский левый фланг, захватить город и разбить отрезанные от него войска Багратиона. Кстати сказать, наш герой почувствовал грозящую ему опасность раньше других. Еще до начала атаки он стал требовать у Беннигсена помощи, но тот уже ничем не мог помочь ему. Дело в том, что как раз в этот момент Ней, сумевший накопить силы на опушке Сортолакского леса, ударил по Багратиону, которому пришлось отступить ближе к городу. Правда, войскам Багратиона действенную помощь оказали русские батареи, стоявшие на правом берегу Алле и стрелявшие по французским колоннам через реку с близкого расстояния. В какой-то момент атаку корпуса Нея и пришедших к нему на помощь гвардии и дивизии Латур-Мобура Багратиону вроде бы удалось отбить. Но тут произошло неожиданное и печальное для нас событие, решившее судьбу сражения. Французский генерал Сенармон, артиллерийский начальник корпуса Виктора, со своими 36 пушками вдруг смело выехал на близкое расстояние от наших позиций (180 саженей) из-за скрывавшего его до этого холма, снялся с передков и немедленно открыл огонь, подавив сосредоточенным картечным огнем все русские батареи. Затем он, снова перекатив пушки на предельно близкое расстояние (90 саженей, то есть около 200 метров), открыл убийственный огонь по колоннам Багратиона. Русские полки дрогнули и начали отступать к городу между рекой и оврагом справа. Место это напоминало воронку и по мере того,

как войска Багратиона сгрудились в самом узком месте, зажатые рекой и оврагом, выстрелы батарей Сенармона, который еще ближе передвинул пушки к противнику, становились все более убийственными, кроша в кровавое месиво уплотнившуюся из-за дефиле русскую пехоту. Потом стало известно, что генерал Сенармон — этот истинный герой сражения — выпустил 2516 зарядов, и из них только 362 были с ядрами, остальные были с предназначенной русской пехоте картечью. Современники пишут, что канонада была страшная, «выстрелов уже нельзя было различать — гремел беспрерывный гром, и поле покрыто было дымом. Страшный гул разносился по полю и по лесу, земля стонала». Попытки русской конницы налететь на батареи Сенармона закончились провалом; отступившие под убийственным огнем кавалеристы смешались с пехотой, что лишь усилило панику. Французы ударили в штыки, и впервые за многие годы солдаты Багратиона побежали. Сам полководец, с обнаженной шпагой, а также генералы Багговут, Ермолов, Раевский и другие высшие офицеры пытались остановить солдат, построить рассыпавшиеся батальоны, но все напрасно — солдаты бросились по улицам города к уже горящим мостам. В узких улочках Фридланда начались давка, столпотворение, французы перенесли огонь на городские кварталы и вскоре подожгли город брандскугелями. От смерти или плена Багратиона спасли московцы — Московский гренадерский полк: солдаты буквально заслонили его своими телами. Французы продолжали избиение. Следом за бегущими солдатами Багратиона с криками «Vive Il Empereur!» они ворвались в Фридланд. Началась резня в его предместьях.

Происходящее слева становилось прологом катастрофы уже для правого крыла русской армии, которой командовал князь А. И. Горчаков. Дело в том, что через реку, протекавшую за спиной правого фланга, не было мостов — все они находились слева, против позиций Багратиона. Наполеон же намеревался, сбив полки Багратиона и захватив город, отрезать тем самым войска Горчакова от переправы. Между тем до катастрофы крыла Багратиона дела правого фланга не были так уж плохи — русские полки удержали позицию, несмотря на атаки колонн Ланна и Мортье. Булгарин, бывший там, писал, что на поле шли непрерывные сражения кавалерии, которая гоняла друг друга с одного края на другой.

Какое зрелище! Любопытны его подтверждаемые другими современниками наблюдения над особенностями кавалерийских сражений, весьма отличных от сражений пехоты. «По моему мнению, нет зрелища живописнее и привлекательнее, как

кавалерийское сражение! Франкировка, атаки, скачки по чистому полю, пистолетные выстрелы, схватка между удальцами, военные клики, трубные звуки — все это веселит сердце и закрывает опасность смерти… Кто не бывал в кавалерийском деле, тот не может иметь об этом ясного понятия. Многие воображают, что две противные кавалерии скачут одна против другой и, столкнувшись, рубятся или колются до тех пор, пока одна сторона не уступит, или что одна кавалерия ждет на месте, пока другая прискачет рубиться с ней. Это бывает только на ученье или на маневрах, но на войне иначе. Обыкновенное кавалерийское дело составляет беспрерывное волнение двух масс. То одна масса нападает, а другая уходит от нее, то другая масса, прискакав к своим резервам, оборачивает лошадей и нападает на первую массу и опрокидывает ее. Это волнение продолжается до тех пор, пока одна масса не сгонит другую с поля. Во время беспрерывного волнения рубят и колют всегда тех, которые скачут в тыле, то есть бьют вдогонку. Бывают и частные стычки — но это не идет в общий счет. Иное дело в фланкировке. Это почти то же, что турнир. Тут иногда фланкеры вызывают друг друга на поединок, и каждый дерется отдельно»77.

Фланкеров иначе называли застрельщиками. Пеших или конных, их обычно высылали действовать перед фронтом и по флангам армий, они предназначались отчасти для разведки, отчасти для завязывания боя, так сказать, для прощупывания противника. И конечно, фланкеры при этом стремились показать свою удаль и бесстрашие, вызвать противника из таких же фланкеров на поединок. Эти поединки удальцов, будь то на коне (а позже — на самолете) — непременная часть войны с древнейших времен. В древности часто сражения вообще не начинались без поединка застрельщиков. Давыдов в своей новелле «Урок сорванцу» описывает, как он, прибыв в армию в качестве адъютанта Багратиона, был недоволен своим штабным положением и рвался в бой, выпросился у Багратиона «в первую цепь будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погарцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и — если представится случай — порубиться. Я прискакал к казакам, перестреливавшимся с неприятельскими фланкерами. Ближайший ко мне из этих фланкеров, в синем плаще и медвежьей шапке, казался офицерского звания. Мне очень захотелось отхватить его от линии и взять в плен. Я стал уговаривать на то казаков, но они только что не смеялись над рыцарем, который упал к ним как с неба с таким безрассудным предложением. Никто из них не хотел ехать за мною, а у меня, слава Богу, случилось на ту пору именно

столько благоразумия, сколько нужно было для того, чтобы не отважиться на схватку с человеком, к которому, пока я уговаривал казаков, уже подъехало несколько всадников. К несчастию, в моей молодости я недолго уживался с благоразумием. Вскоре задор разгорелся, сердце вспыхнуло, и я, как бешеный, толкнул лошадь вперед, подскакал к офицеру довольно близко и выстрелил по нем из пистолета. Он, не прибавив шагу, отвечал мне своим выстрелом, за которым посыпались выстрелы из нескольких карабинов его товарищей. То были первые пули, которые просвистали мимо ушей моих. Я не Карл XII, но в эти лета, в это мгновение, в этом упоительном чаду первых опасностей я понял обет венценосного искателя приключений, гордо взглянул на себя, окуренного уже боевым порохом, и весь мир гражданский и все то, что вне боевой службы, все опустилось в моем мнении ниже меня, до антиподов! Не надеясь уже на содействие казаков, но твердо уверенный в удальстве моего коня и притом увлеченный вдруг овладевшей мною злобой — Бог знает за что! — на человека, мне неизвестного, который исполнял, подобно мне, долг чести и обязанности службы, я подвинулся к нему еще ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском языке как можно громче и выразительнее. Я приглашал его выдвинуться из линии и сразиться со мною без помощников. Он отвечал мне таким же ругательством и предлагал то же, но ни один из нас не принимал предложения другого, и мы оба оставались на своих местах. Впрочем, без хвастовства сказать, я был далеко от своих и только на три или на четыре конских скока от цепи французских фланкеров, тогда как этот офицер находился в самой цепи. С моей стороны было сделано все — все, за что следовало бы меня и подрать за уши и погладить по головке. В это самое время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: “Что вы ругаетесь, ваше благородие! Грех! Сражение — святое дело, ругаться в нем — все то же, что в церкви: Бог убьет! Пропадете, да и мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приехали ”. Тут только я очнулся и, почувствовав всю нелепость моей пародии троянских героев, возвратился к князю Багратиону». Кстати, известно, что в словах урядника — суть отношения к войне народа-воина — русского казачества.

К вечеру Беннигсен полностью выпустил нити управления из своих рук — по воспоминаниям участников непонятно даже, где он находился на последней стадии сражения. Ясно, что главнокомандующий не рвался вперед и не искал смерти в бою. По некоторым данным, у Беннигсена начались страшные боли в животе — говорили, что как раз в это время у него началась

почечная колика, что нередко бывает от сотрясений во время верховой езды. Как известно, боли эти, обусловленные движением в почках камня, бывают невыносимыми, хотя резкие почечные боли могут и внезапно прекратиться. Известно, что под Гейльсбергом приступ боли был так силен, что Беннигсен на глазах великого князя Константина катался по земле. Однако передавать командование кому-нибудь другому он не согласился… Была ли польза от такого командования, решайте сами!

Как бы то ни было, А. И. Горчаков ничего не знал о происходящем в центре и на фланге у Багратиона. Когда он понял, что отрезан, то решил прорываться через город к мостам. Колонны ударили в штыки, пробились через город к берегу и увидели, что понтонных мостов уже не существовало — они горели. И тогда, как вспоминал участник трагедии, «пехота правого нашего фланга бросилась в реку… но многие не попали на мелкое место и утонули, другие бегали по берегу, ища брода, иные поплыли — никто не хотел сдаваться в плен… Наконец, пришла и наша очередь — мы пошли вплавь через реку… Легко сказать, переплыть на лошади через реку, но каково плыть ночью, не зная местности, и когда с тыла жарят ядрами и брандскугелями! На берегу реки был сущий ад! Крик и шум Ужасный. Тут тонут, тут умоляют о помощи, здесь стонут раненые и умирающие… Нельзя пробраться к берегу, а между тем ядра и брандскугели валят в толпы и в реку…»79. Отступавшая одновременно со своим Коннопольским уланским полком Надежда Дурова собственными глазами видела весь этот ужас: «Жители бегут! Полки отступают! Множество негодяев — солдат, убежавших с поля сражения, не быв ранеными, рассеивают ужас между удаляющимися толпами, крича: “Все погибло! Нас разбили наголову, неприятель на плечах у нас! Бегите! Спасайтесь!”»80.

Зато воспоминания Беннигсена рисуют иную, почти эпическую картину: «Наши войска начали совершать отступление в порядке, тихо, с твердой решимостью отразить неприятеля, если бы он стал наседать на них… Войска нашего центра совершали свое отступление в столь внушительном порядке, что не могли подвергнуться какому-либо решительному нападению со стороны неприятеля, он ограничился только артиллерийским огнем и то на довольно значительном расстоянии. Попытки против нашего правого крыла, сделанные преимущественно кавалериею, также не сопровождались успехом, она постоянно была отражаема и, наконец, удалена с поля сражения. Когда последние части нашего арьергарда вступили в город, то неприятельские войска также в него проникли, но некоторые наши егерские полки кинулись на

них и прогнали из города с потерею, французы после этого не беспокоили наше отступление. Неприятель, полагаясь на свое значительное численное превосходство, льстил себя надеждою, что наши войска не перейдут реку Алле без большого урона. Но когда он отважился на решительный удар, долженствовавший опрокинуть наши ряды, он сам был до того сильно отражен, что возымел еще большее уважение к храбрости русского солдата…»81 Если кто хочет убедиться, что такое рапорт военачальника и как его можно использовать в качестве исторического источника, то пусть перечитает эти слова Беннигсена и сопоставит их с приведенными выше сведениями.

Потери наши во Фридландском сражении были велики — около 10 тысяч человек; французы — по их данным — потеряли 4 с половиной тысячи человек. Но главное — поражение это было нелепым, обидным, нежданным и унизительным. Аустерлиц внезапно повторился на берегу реки Алле. Как и тогда, русские солдаты с позором побежали от неприятеля. При этом потери, несмотря на их значительность, не были смертельны для армии. Более того, неприятелю достались всего 13 русских пушек, тогда как больше сотни орудий удалось сохранить, и они. расставленные на правом берегу Алле, сдержали натиск французов, которые, впрочем, и не собирались переходить реку. Опять началось отступление, на этот раз уже разбитой армии.

«Не забуду никогда, — вспоминал Денис Давыдов, — тяжелой ночи, сменившей этот кровавый день. Арьергард наш, измученный десятисуточными битвами и ошеломленный последним ударом, разразившимся более на нем, чем на других войсках, прикрывал беспорядочное отступление армии, несколько часов пред тем столь грозной, стройной и красивой. Физические силы наши гнулись под гнетом трудов, нераздельных со службой передовой стражи. Всегда бодрый, всегда неусыпный, всегда выше всяких опасностей и бедствий, Багратион командовал этой частью войск, но и он, подобно подчиненным его, изнемогал от усталости и изнурения. Сподвижники его, тогда только начинавшие знаменитость свою, — граф Пален, Раевский, Ермолов, Кульнев — исполняли обязанности свои также чрез силу; пехота едва тащила ноги, всадники же дремали, шатаясь на конях»82. Словом, отступление после Фридланда не выглядело таким четким и организованным, как описывает его Беннигсен. Армия находилась в беспорядке, началось дезертирство: «…ее крайне ослабили отлучившиеся от полков люди при отступлении от Фридланда и по пути до Немана. Собираясь большими толпами, они проходили разными дорогами, снискивая грабежом себе пропитание и в числе нескольких тысяч перешли Неман в

Юрбурге, Олите, Мерече и некоторые даже в Гродне»83.

Плот мира и дружбы

Да, вновь Багратион был начальником арьергарда. Что он думал о понесенном его войсками поражении, мы не знаем. Наверное, это были грустные мысли. Успокаивало лишь то, что армия не была разбита в пух и прах, что из России идет подмога. «Не только ни один полк — ни один русский взвод не положил оружия и не сдался — все дрались, пока могли! Дрались чудно, а почему же не одержали победы? Не наша вина»84.

А что же Беннигсен? Будем великодушны и присоединимся к словам Булгарина о нем: «Впрочем, хотя Беннигсен был хороший генерал — но такие генералы были и будут, а Наполеоны, Александры Македонские, Цесари, Фридрихи Великие и Суворовы рождаются веками. У Наполеона при одном взгляде на поле битвы рождались соображения, которых достаточно было бы для десяти отличных генералов. Наполеон был гений!»85 Что мог ему противопоставить Беннигсен? Свою осторожность и расчетливость? Но этого оказалось мало.

На этот раз служба Багратиона в арьергарде оказалась легче, чем раньше, до Фридланда. Долгое время французы не преследовали армию, и только несколько раз конница Мюрата сближалась с войсками Багратиона. Он привычно строил своих солдат в боевой порядок и ждал наступления французов. Но Мюрат каждый раз не решался атаковать. 6 июня основная масса русской армии пришла в Тильзит, лежащий на Немане. За день до этого к армии присоединились благополучно бежавшие со своими войсками из Кенигсберга генералы Лесток и Каменский. В тот же день армия Беннигсена без помех перешла Неман, вступила на территорию Российской империи, и солдаты Багратиона, последними прошедшие по мосту, зажгли его буквально под ногами лошади Мюрата, появившегося в этот момент впереди своих разъездов…

Кампания для русских окончилась поражением — прежде всего моральным. Их изгнали из Пруссии. Что делать дальше, не знал никто. Но было ясно, что численное преимущество на стороне Наполеона, что он достиг своего — завоевал все Прусское королевство, включая Кёнигсберг. Только в дальнем уголке, в захолустном Мемеле, как на последней жердочке, сидел прусский король, уже отправивший фамильные ценности династии Гогенцоллернов в Россию. Воевать с Наполеоном многим казалось невозможным…

В один миг армия расстроилась. Впрочем, Беннигсен так не думал. Он храбрился, писал императору, стоявшему в Юрбурге, что «неудача этого дня ни в чем не уменьшила храбрость, выказанную войсками в предшествующих сражениях. Если обстоятельства потребуют, войска будут драться так же храбро, как будто и не происходило Фридландского сражения. Хорошее мнение неприятеля о нашем солдате, внушенное его отвагою, нисколько не изменилось после этой битвы». Последнее верно, но ведь не ради же хорошего мнения французов о русском солдате был затеян весь этот кровопролитный поход? В конце письма Беннигсен писал, что, «тем не менее, я считаю, что было бы согласно с осмотрительностью начать какие-либо переговоры, хотя бы только для того, чтобы выиграть время». Из главнокомандующего будто вышел весь воздух, и он, после всех страшных испытаний, выпавших на его долю, утратил волю к сопротивлению. Правда, через несколько дней, устроив смотр войскам, главнокомандующий писал о высоком боевом духе армии: «Если обстоятельства востребуют, армия будет так же сражаться, как сражалась она всегда». К тому же из России подошли одна за другой две дивизии. Но Беннигсену император уже не доверял — он получал о происшедшем во Фридланде и другие рапорты и сообщения. Решающим для Александра стало письмо представителя Министерства иностранных дел при армии господина Цизмера своему министру барону Будбергу. Цизмер писал, что Беннигсен сообщил в своем рапорте императору не всю правду. Правда же заключается в том, что «в один миг армия расстроилась. Был совершенный беспорядок. Никто не распоряжался. Если подчиненный смеет откровенно говорить начальнику, то доложу, что нам остается одно средство: как можно скорее предложить перемирие или вступить в переговоры о мире, пока армия и идущие к ней подкрепления станут за Прегелем и можно будет получить выгоднейшие условия мира. Наша потеря в людях и артиллерии несметна. Беннигсен изобразил императору Фридландскую битву в несравненно меньшем мрачном виде, нежели как было на самом деле. Уверяю вас, что я ничего не преувеличил».

Теперь трудно судить, преувеличил ли Цизмер или нет. Ясно, что армия не была разбита и «несметность» потерь в людях измерялась десятью тысячами человек, что было много, но все-таки составляло лишь одну седьмую часть от общей численности армии. Потери артиллерии были даже менее значительны. Но Цизмер был прав в том, что армия (и ее главнокомандующий в первую очередь) утратила боеспособность, не выдержав чудовищного морального и стратегического давления, которое на

нее почти непрерывно оказывал Наполеон. Ощущение безнадежности в ходе непрерывных отступлений истомило солдат и офицеров. Александру и его окружению было ясно, что армия не в состоянии защитить даже свои границы. Теперь, силою обстоятельств, предстояло испить чашу позора ему самому. При этом, как записала в дневнике обер-гофмейстерина прусской королевы Луизы графиня Фосс, царь был «страшно недоволен Беннигсеном»… Через несколько дней снова: «Царь страшно раздражен против Беннигсена, но, тем не менее, оставляет его главнокомандующим. Заключено перемирие»87.

Действительно, раздосадованный поражением царь дал согласие на начало переговоров. Беннигсен написал соответствующее письмо французскому командованию и переслал его Багратиону, стоявшему на российской стороне у сожженного моста. Адъютант Багратиона переправился в лодке на французский берег, был принят самим Мюратом, а потом начальником Главного штаба маршалом Бертье, который заявил, что император Наполеон желает не просто перемирия, а мира.

Легко было догадаться, что мир этот будет тяжким для России, — Наполеон решил ковать железо, пока оно горячо.

Вначале было подписано перемирие, а 13 июня на плоту посреди Немана состоялась знаменитая Тильзитская встреча двух императоров, которая прошла, можно сказать, «в дружеской обстановке». Накануне царь запретил называть Наполеона презрительно «Буонопартией», а попам запретил ругать его «антихристом», и в течение нескольких лет цензура свирепо преследовала нарушителей запрета писать о Наполеоне плохое88. (Почти так же было с Гитлером и фашизмом в советской прессе осени 1939-го — первой половины 1941 года.) Багратион не был включен в делегацию, встречавшуюся с французами на плоту, а потом в Тильзите, объявленном на время переговоров нейтральным городом. Из военных в свите государя были генералы Беннигсен, Ливен, Уваров и Лобанов-Ростовский. Багратион же верхом, в числе прочих военачальников, провожал императора, ехавшего в коляске к переправе через Неман.

Увидеть гениального полководца и уехать

Когда с обоих берегов разом отчалили барки с императорами, все (и, думаю, Багратион) прильнули к подзорным трубам — увидеть Наполеона близко тогда казалось событием необычайным. Стоявший рядом с Багратионом его адъютант Денис Давыдов вспоминал: «Дело шло о свидании с величайшим

полководцем, политиком, законодателем и администратором, пылавшим лучами ослепительного ореола, дивной, почти баснословной жизни, с завоевателем, в течение двух только лет, всей Европы, два раза поразившим нашу армию и стоявшим на границе России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим увлекательнейшим даром искушения и, вместе с тем, одаренным необыкновенной проницательностью в глубину характеров, чувств и мыслей своих противников… Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, особо и безмолвно. Время изгладило из памяти моей род мундира, в котором он был одет, и в записках моих, писанных тогда наскоро, этого не находится, но, сколько могу припомнить, кажется, что мундир был на нем не конно-егерский, обыкновенно им носимый, а старой гвардии. Помню, что на нем была лента Почетного Легиона, чрез плечо по мундиру, а на голове та маленькая шляпа, которой форма так известна всему свету. Он даже стоял со сложенными руками на груди, как представляют его на картинках. К сожалению, от неимения опоры подзорная трубка колебалась в моих руках, и я не мог рассмотреть подробностей черт его так явственно, как бы мне этого хотелось»89. Видевшая тогда же Наполеона графиня Фосс записала в дневник: «Он поразительно дурен собою: толстое, обрюзгшее смуглое лицо, сам толстый, маленький, никакой фигуры, круглые, большие, тревожно бегающие глаза, выражение лица жестокое, истинный дьявол во плоти. Только один рот у него красивый, и зубы хорошие»10. Любопытно, что низкорослость Наполеона стала общим местом. Посмертные измерения тела бывшего императора, сделанные доктором Аттомарки, показали, что Наполеон был ростом 168,6 сантиметра, иначе говоря, был выше двух третей своих солдат, средний рост которых в пехоте составлял 162–165 сантиметров91.

Что, кроме любопытства, испытывал при виде Наполеона Багратион, не могший не ценить гений этого необыкновенного человека, нам неизвестно. Наверное, как и другие генералы и офицеры, не остывшие от Фридланда, он испытывал чувства досады и сожаления. Давыдов пишет, что французы были на редкость вежливы и приветливы и ни в чем не показывали своего превосходства (об этом якобы был тайный приказ Наполеона). «За приветливость и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью, и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть». Пока шли свидания императоров, Багратион находился в Главной квартире. Давыдов, молодой лейб-гусар, жаждавший увидеть поближе Наполеона, не раз отпрашивался у Багратиона в

Тильзит. «Князь, — пишет Давыдов, — столько же взыскательный начальник во всем, что касалось до службы, столько снисходительный и готовый на одолжение подчиненным своим во всяком другом случае, согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите»92.

27 июня 1807 года был заключен Тильзитский мир. В тот же день Беннигсен был уволен в отставку, естественно, «до излечения болезни». Как будто в пику ему новым главнокомандующим был назначен его враг генерал Буксгевден, вызванный в Тильзит из Риги. Другим рескриптом император лишил чиновников провиантского и комиссариатского ведомств за явные злоупотребления и воровство права ношения армейского мундира. Мало кто тогда удостоился наград, и только казаки атамана Платова, ставшие с той поры необыкновенно популярными в Европе из-за своей экзотической внешности и мужественного проворства, получили почетное знамя. И было за что: за эту кампанию они захватили 139 офицеров и 4196 солдат противника! Самих же казаков в войсках было не больше трех-четырех тысяч.

Солдаты и офицеры еще долго стояли на Немане. Как вспоминал Н. Г. Левшин, раненых офицеров содержали в Риге, не давая им выехать в Россию «для того, чтобы сохранить в тайне Фридландское несчастное сражение»93. Только по заключении Тильзитского мира армия двинулась в Россию. Багратион вслед за царем выехал в Петербург. Его прощание с сослуживцами было теплым. Ермолов писал: «Войска арьергарда возвращены в дивизии, коим они принадлежали, мы все, служившие под командою генерала князя Багратиона, проводили любимого начальника с изъявлением искренней приверженности. Кроме совершенной доверенности к дарованиям его и опытности, мы чувствовали разность обхождения его и прочих генералов. Конечно, никто не напоминал менее о том, что он начальник, и никто не умел лучше заставить помнить о том подчиненных. Солдатами он был любим чрезвычайно»94.

Глава седьмая «Подвиг скользкий и затруднительный»

Плоды тильзитской дружбы

Завершая свои воспоминания о неудачной кампании в Восточной Пруссии, Денис Давыдов писал: «Наконец, 27 июня заключен был мир. Войска наши выступили в Россию, князь Багратион отправился в Петербург, и я туда же. Отдых наш был непродолжителен: в январе месяце (1808 года) мы уже были с войсками, воюющими в Финляндии. Это напоминает мне слова незабвенного друга моего и боевого собрата Кульнева: “Матушка Россия, — говаривал он тогда, — тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся”. В то время был еще другой угол, где дрались, — это Турция, куда князь, следовательно, и я за ним, явились по прекращении военных действий в Финляндии. Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было поприще для надежд честолюбия!»1 Добавим от себя: и не только для отдельных храбрецов и честолюбцев с ментиком за спиной, но и для России. Дело в том, что после подписания Тильзитского мира и явления всем столь нежданной дружбы с Наполеоном русская внешняя политика претерпела существенные перемены. Россия, как тогда казалось, предстала вместе с Францией перед всей Европой вершительницей судеб мира, или, по словам Александра I, Россия определяла «жребий земного шара». «Разделим мир» — таким было предложение Наполеона Александру в Тильзите. Условно говоря, речь шла о том, чтобы Россия и Франция поделили мир между собой, как некогда Португалия и Испания: Наполеону — запад, России — восток. При этом такое «мелкое препятствие», как противодействие Англии, предполагалось нейтрализовать с помощью континентальной блокады, а также задуманного Наполеоном и некогда поддержанного Павлом I русско-французского похода в Индию. Там-то Наполеон и намеревался переломить хребет могущества «Владычицы морей»2.

Но участники дележа мира не были равноправны — ведь ®се помнили, кто победил при Фридланде. Условия раздела диктовал Наполеон. И хотя в отношении Александра он вел себя весьма тактично и корректно, все-таки русские чувствовали в его

бархатной перчатке железную руку. Император Александр — этот вчерашний спаситель и защитник священных принципов европейского легитимизма, неизменности европейского мироустройства (ради чего он, собственно, начал одну за другой две войны) — расписался в собственном бессилии и одобрил новый, предложенный ему Наполеоном, раздел Европы. При этом Александр никак не мог смягчить гнев этого мясника, почему-то страшно обозленного на пруссаков: Наполеон рубил и свежевал Прусское королевство — труд и гордость поколений бранденбургских курфюрстов и прусских королей. Подобно великим князьям Московским, Гогенцоллерны столетиями, кусочек к кусочку, всеми правдами и неправдами собирали свою державу. А тут Наполеон одним махом отрубил от Пруссии огромный кусок с половиной населения и росчерком пера сотворил для своего брата Жерома новое марионеточное Вестфальское королевство. Остальные исконные прусские земли, за изъятием Данцига, объявленного вольным городом, Наполеон великодушно возвращал прусскому королю, да и то «из уважения к Его величеству императору Всероссийскому». Большего унижения для прусского короля — этого прежде могущественного суверена Европы — трудно было придумать. К тому же и Александр находился в двусмысленном положении. Наполеон хотел подарить Александру (или только делал вид, что хотел) также и польские земли, некогда доставшиеся пруссакам во время Третьего раздела Речи Посполитой. Русский царь скромно отказался, согласившись принять лишь сущий пустяк — небольшую Белостокскую область. Тогда из «никому не нужных» польских земель Наполеон создал Герцогство Варшавское, что для Александра стало неприятным сюрпризом. Ему пришлось выпить свою чашу позора: отдать французам владения России в Средиземном море, признать субъектом политики марионеточную Рейнскую конфедерацию, согласиться (наверняка преодолевая отвращение) с тем, что братья Наполеона были признаны королями (Жером — Вестфальским, Людовик — Голландским, Иосиф — Неаполитанским). За Наполеоном Александр признал титул «императора французов». Но главное — Александр дал согласие на вхождение России в антианглийскую коалицию с Францией, точнее — присоединился к так называемой континентальной блокаде и, наконец, был вынужден объявить Лондону войну.

Словом, после «дружеского» раздела Европы Наполеон уехал из Тильзита с огромным возом трофеев, а Александр ушел со скромной «белостокской шкатулкой». Строго говоря, и такому результату следовало радоваться — мирные условия победителя

под Фридландом могли оказаться гораздо более жесткими и обернуться для России территориальными потерями, а совсем не приобретениями.

Впрочем, Александр получил от Наполеона и нечто поважнее Белостока: твердое обещание не мешать расширению Российской империи на севере и на юге. Тогда это формулировали так: «Оградить покой и безопасность Петербурга и прирастить полуденные пределы нашего отечества». Сделать это предстояло посредством завоевания Финляндии и присоединения так называемых Дунайских княжеств — вассальных Османской империи Валахии, Молдавии и Бессарабии. Во имя добрых отношений с Александром Наполеон был готов изменить вековой курс французской внешней политики, неизменно поддерживавшей против России Османскую империю и Швецию. В этом-то и состоял «некоторый блеск» русских достижений, упомянутый Александром в письме к сестре Екатерине Павловне об итогах Тильзита. Теперь, после объятий Тильзита, и в политике Франции все пошло иначе: для друга Александра друг Наполеон не жалел ничего чужого, тем более что российскому императору еще предстояло поработать на поле брани, чтобы превратить виртуальные подарки Наполеона в реальные территориальные присоединения.

Стыд Тильзита быстро забылся. Зато какие открывались возможности, какие масштабные имперские цели можно было реализовать! Вот что писал, выражая тогдашнее мнение в обществе, участник Финляндской войны Фаддей Булгарин: «Россия должна была воспользоваться первым случаем к приобретению всей Финляндии для довершения здания, воздвигнутого Петром Великим. Без Финляндии Россия была неполною, как будто недостроенною. Не только Балтийское море с Ботническим заливом, но даже Финский залив, при котором находятся первый порт и первая столица империи, были не в полной власти России, и неприступный Свеаборг, могущий прикрывать целый флот, стоял, как грозное привидение, у врат империи. Сухопутная наша граница была на расстоянии нескольких усиленных военных переходов от столицы»3.

Невольно вспоминается советская риторика накануне войны с Финляндией осенью 1939 года, напрашивается сопоставление с ситуацией тех лет, когда после Четвертого раздела Польши Сталин получил от Гитлера «в подарок» прибалтийские государства и Финляндию, которую, впрочем, как и в 1807 году, еще предстояло завоевать.

«Вооруженная прогулка»

Итак, в конце 1807 года русская армия готовилась к новой войне. В Петербурге, по словам записных шутников, только и ждали «приказаний из Франции»4, чтобы начать. В день Водосвятия, 6 января, несмотря на мороз, в столице устроили необыкновенно пышный смотр войскам. В нем участвовало не менее 40 тысяч солдат. Многим это напомнило парад перед походом на войну, и не зря: вскоре, в феврале, русские войска вторглись в Финляндию, тогдашнюю провинцию Шведского королевства. Тогда, в феврале 1808 года (впрочем, как и в ноябре 1939-го), никто не думал, что эта война окажется тяжелой, — все дело предполагалось закончить к весне того же года. Для оккупации Финляндии были выделены всего три пехотные дивизии — под командованием генералов Тучкова 1-го (5-я дивизия), князя Горчакова 1-го (потом его сменил граф Каменский 2-й) (17-я дивизия) и князя Багратиона (21-я дивизия). Эти три дивизии общей численностью 24 тысячи человек составили корпус, которым командовал генерал Буксгевден — тот самый, который так безуспешно боролся с Беннигсеном в 1806 году. При этом войска находились не в лучшем состоянии. После провального Прусского похода 1806 года полки не были укомплектованы, в некоторых насчитывалось всего по 200 человек, и поэтому в них поспешно вливали вернувшихся из французского плена солдат, а также рекрут, еще не подготовленных к службе. По пути к западной границе, где тогда стояла армия и формировался корпус для похода в Финляндию, многие из них умирали от болезней. Полки, перебрасываемые на финляндскую границу после боев в Восточной Пруссии, шли оборванными и разутыми. Чтобы не позориться перед жителями столицы, их проводили по улицам Петербурга и перевозили через Неву на Выборгскую сторону по ночам.

Общая задача была проста — сам государь красным карандашом прочертил линию будущей границы от Северного Ледовитого океана через Ботнический залив до Финского залива. Эту гигантскую территорию и предстояло занять довольно ограниченными силами русской армии. Три колонны — каждая из одной дивизии — пересекли границу и двинулись в разных направлениях. Колонне Тучкова из Нейшлота предстояло идти к северу, на Куопио, с тем чтобы захватить Саволакскую область и таким образом занять восточные территории Финляндии, примыкавшие к старой границе и современной Карелии. Колонна Багратиона, перейдя через пограничную реку Кюмень, должна была двинуться на Тавагусту, то есть в центр страны. Наконец, слева от Багратиона колонна Горчакова от Фридрихсгама шла по берегу Финского залива на Гельсингфорс, имея главной целью

крупнейшую шведскую крепость Свеаборг.

Когда Багратион отправился на войну, мы точно не знаем, но из камер-фурьерского журнала 1808 года следует, что в последний раз он обедал за царским столом в Зимнем дворце 21 января 1808 года. Тогда, кроме императора, императрицы и ее сестры, было 12 приглашенных, включая Багратиона. Кстати, за тем же столом, кроме придворных и министров, сидел ставший знаменитым в истории Одессы герцог Ришелье, а также не менее знаменитый в истории войны 1812 года генерал-майор Фуль — автор плана отступления русской армии от западной границы5. В следующий раз Багратион появится среди приглашенных к царскому обеду только в конце весны, 29 мая, хотя известно, что он и раньше наведывался в Петербург.

Начатое 9 февраля 1808 года, в сильный мороз, вторжение развивалось поначалу более чем успешно. Авангарды колонн двигались на лыжах, орудия и припасы везли на санях, солдат сумели тепло одеть, а провиант и водку раздавали своевременно. Главным противником русских был мороз, сильно мешавший отдыху на биваках, — в такой пустынной стране, какой была Финляндия, квартир не находилось даже для генералов. Главной же причиной легкости вторжения была полная неподготовленность к обороне шведско-финских войск, точнее, Финляндской армии, состоявшей из жителей Финляндии. Шведский король Густав IV Адольф, несмотря на многочисленные слухи о готовящейся против него агрессии, с разных сторон доходившие до Стокгольма, не предполагал, что его шурин и давний союзник император Александр решится напасть на него. С началом войны Стокгольм в особой ноте обвинил Россию в вероломном нападении, что, с точки зрения тогдашнего международного права, а также с учетом прежних договоренностей между Швецией и Россией, признававших незыблемость границ, утвержденных еще в 1743 году, было совершенно обоснованно и справедливо. Но после Тильзита все представления Александра о международной справедливости и верности утвержденным некогда договорам (ради которых он, собственно, и начал войну с Наполеоном) резко изменились. В этом смысле император Александр тогда мало чем отличался от Наполеона — общепризнанного нарушителя европейского традиционного порядка.

18 февраля главнокомандующий Буксгевден, находившийся с колонной Горчакова 1-го, вступил в Гельсингфорс и восторженно рапортовал государю, что «ни жестокий холод, ни глубина снега… нимало не ослабляют их (войск. — Е. А.) жара, и сами неприятели остаются изумленными быстротой их движений»6. 24

февраля Багратион занял Тавагуету. Никаких серьезных боев и даже сколько-нибудь заметных стычек не было — финско-шведская армия под командованием графа Вильгельма Маурица Клингспора, уклоняясь от боев, отходила к Таммерфорсу и Бьернеборгу, расположенному на побережье Ботнического залива. Столь блестящее исполнение первоначальных планов позволило русскому командованию замахнуться на большее. Тучкову было предписано двигаться из Куопио на запад через всю Финляндию и занять приморский город Ваза. Багратиону приказали наступать на север, оттесняя основные силы Клингспора к Таммерфорсу, ему же предстояло послать отряд занять Або с тем, чтобы овладеть затем Аландскими островами. Для колонны Горчакова целью стала могучая островная крепость — Свеаборг. Багратион досрочно овладел Таммерсфорсом и, не останавливаясь, двинулся за отступающим противником к Бьернеборгу, пройдя по хорошей зимней дороге 200 верст за восемь дней. На подступах к городу финны как будто собрались оказать сопротивление, но потом передумали и стали откатываться к Вазе. Багратион без особого труда, сбивая посты финнов, занял город, хотя в донесении Буксгевдена царю эта операция была представлена как серьезное сражение, в котором Багратион принудил противника «после упорного сопротивления… оставить город»7. В Бьернеборге Багратион получил приказ Буксгевдена послать вдогонку за Клингспором отряд Раевского, а самому идти в противоположную сторону, прямо на юг, к Або, и оккупировать обширную и стратегически важную Абовскую область. Багратион занял Або и взял под контроль 500-верстное побережье от Або до Вазы и Тавагусты. Раевский успешно достиг Вазы, а потом и Гамле-Карлебе, где соединился с подошедшим из Куопио Тучковым. Финнов не было и здесь — их 12-тысячная армия опять в руки не далась и ускользнула еше дальше на север, к Улеаборгу (Оулу). Передовые посты русской армии располагались в Сикакиоки. Если читатель посмотрит на карту Финляндии и найдет этот городок, то поразится тому, как же далеко, в самый дальний угол Ботнического залива, занесло имперским ветром русских солдат. 31 марта отряд полковника Вуича из колонны Багратиона без всяких помех со стороны противника занял Аландские острова.

В Петербурге, следя по карте за успехами наших войск, считали, что дело в сущности сделано и нужно только найти повод присоединить Финляндию к империи. И повод этот, хотя и смехотворный, нашелся. После начала войны шведы посадили под домашний арест русского посланника в Стокгольме Алопеуса, а также опечатали посольские дела. Это-то как раз и избрали в Петербурге поводом для аннексии Финляндии. 16 марта 1808

года была опубликована декларация, гласившая, что «арестованием российского посланника и опечатыванием дел миссии нанесено вопиющее оскорбление преимуществам и достоинству русского престола, так что не одна Россия, но все державы были тем оскорблены. По сим причинам государь объявил всем дворам, что часть Финляндии, доселе именовавшаяся Шведскою, и которую русские войска не иначе могли занять, как только силою и одолевая сопротивление, признается областью российским оружием покоренною и навсегда присоединяется к его империи». Вообще-то, это называется грабежом среди бела дня. Если бы шведские власти не посадили Алопеуса под домашний арест, а пригласили на обед к королю, все равно повод Для объявления Финляндии частью Российской империи непременно нашелся бы. Вся эта история напоминает известную басню Крылова о претензиях волка к ягненку, позволившему себе пить воду из ручья, пусть даже и ниже волчьего водопоя.

Испанская тема в финском исполнении

Итак, к весне 1808 года поход русской армии закончился. По словам его участника Дениса Давыдова, он стал «вооруженною прогулкою войск наших почти до границы Лапландии и покорением первоклассной крепости слабыми канонадами и наскоками нескольких сотен казаков»8. Финляндию заняли, присоединили к империи огромную территорию, но… страну, как оказалось, не покорили, а ее вооруженные силы не разбили. Иначе, чем «скифским вариантом», последующие действия финнов, непрерывно отступавших по своей пустынной, тысячеверстной стране, назвать невозможно. Русская армия, устремившаяся не столько в погоню за финляндской армией, сколько за «земелькой», оказалась «разбросанной по клокам», расставленной мелкими отрядами на обширном пространстве Финляндии. Это было неизбежно — каждую оккупированную область надо было контролировать, в городах и вдоль побережья требовалось расставлять гарнизоны, посты и пикеты. Но не это было самым важным. Уже с начала войны, несмотря на легкость, с которой была занята страна, стало заметно, что, вопреки воззваниям и призывам русского командования, финские и шведские солдаты оружия не складывали, а местные крестьяне выказывали некую строптивость завоевателям и почему-то не встречали русских хлебом и солью как «освободителей от шведского ига». Финны и шведы отступали быстро, но в полном

порядке, при всесторонней поддержке населения, снабжавшего их всем необходимым — от продовольствия до теплой одежды (мехов и шкур). Наши же солдаты шли «лишенные сих пособий», а поэтому изымали нужное им силой, что вскоре привело к началу партизанской войны или, по словам Давыдова, «войны народной». Она вспыхнула весной 1808 года. 15 апреля финляндское командование перешло в контрнаступление под Сикакиоки, и финляндцы дважды разбили русские отряды. Сначала потерпел поражение знаменитый гусарский генерал Яков Кульнев, который распылил свои силы во время боя, благодаря чему у противника оказалось численное преимущество, когда, как писал Денис Давыдов, «огневое дело обращается в штыковую резню. Финны и шведы в этом роде битв достойные состязатели русских. Схватка была молодецкая, но превосходство численной силы неприятеля над нашей торжествовало… Мы уступили место сражения»9.

Потом у города Револакса финляндцами был опрокинут и уничтожен отряд генерала Булатова, а командир отряда, сражавшийся до конца, тяжелораненым попал в плен10. Генералу Тучкову 1-му, главному корпусному начальнику на этом направлении, пришлось дать приказ об отступлении корпуса. Казавшийся поначалу легким поход превратился в подлинное испытание для армии. Как писал Ф. Булгарин, «финляндская война была в одно время ученой, народной, наступательной, оборонительной и во всех случаях чрезвычайно упорной с обеих сторон. Успех столько же зависел от тонких соображений военных действий, от маневров в стране, почти непроходимой для наступающего войска по причине теснин, болот, гор, рек, озер и мрачных лесов, встречающихся на каждом шагу, как и от быстрого натиска и решительности. Отчаянное сопротивление шведского войска и жителей Финляндии, возможность, представляемая неприятелю озерами, переменять свою позицию и переноситься за позицию наступающих, трудность сообщений, недостаток крепостей для учреждения операционного центра внутри земли, малое народонаселение, рассеянное на большом пространстве, и вообще страна бесплодная, без больших городов и селений, не представляющая возможности продовольствовать войско местными средствами, — все это противопоставляло чрезвычайные трудности к скорому и успешному окончанию войны. Почти на каждом переходе надлежало брать крепкие позиции, наподобие природных крепостей, не надеясь других последствий, как возможности подвинуться далее в пустыню и, удаляясь от своих запасов, терпеть еще большую нужду». Особенно трудно приходилось завоевателям весной, когда «вскрытие рек и озер вжимало войска наши в дороги, врезанные,

подобно желобам, в непроходимую поверхность, и лишало равнин и прямых сообщений, словом, того простора для наступательной войны». И вообще, как это часто бывает, на карте все казалось таким простым и ясным, ибо «на карте нет снегу, особенно глубокого, что широкие дороги, на ней показанные, превращены тогда были в тропинки, по которым конница не могла идти иначе, как в один конь, пехота — рядами, а артиллерия и тяжести — с чрезвычайным затруднением, так что вместо двадцати пяти и тридцати верст… дивизия не в состоянии была проходить в сутки более десяти или двенадцати верст»".

Первые две, пусть и весьма скромные, победы финлядцев над русскими войсками разрушили, как писал Булгарин, «очарование насчет нашей непобедимости». Победы были встречены бурей восторга в Стокгольме и в самой Финляндии, где, по словам историка этой войны А. И. Михайловского-Данилевского, «народонаселение поднялось против русских». В сопротивлении финнов прослеживалась осмысленная система. Партизанские отряды, которые возглавляли кадровые военные, снабжались оружием и боеприпасами из особых тайников, что позволяло им быстро выступить в поход12. Финские крестьяне, прекрасные охотники, вели из укрытий меткий огонь по небольшим партиям русских войск, шедшим по лесным дорогам между городами. Как вспоминает русский участник походов в Финляндии, «нельзя было свернуть в сторону на сто шагов от большой дороги, чтобы не подвергнуться выстрелам, и это затрудняло нас в разъездах и препятствовало распознавать местоположение… Это отзывалось уже Испанией» — страной, где шла такая же партизанская война против наполеоновских войск.

Отряды партизан, вооруженные дубинами, косами и топорами, нападали на русские конвои, обозы, окружали и уничтожали отдельные отряды. Самым известным партизанским командиром стал некто Роот, финн, унтер-офицер. Он был «везде и нигде», непрерывно переходил с места на место, всюду разорял русские посты, перехватывал курьеров, нападал на транспорты с продовольствием и припасами корпуса Тучкова и однажды чуть не захватил склады в городе Таммерфорсе. Естественно, что война была взаимно жестокой: партизаны пытали и предавали мучительной смерти пленных и раненых, которых закапывали в землю живьем, сжигали на кострах. Не было пощады и пленным партизанам. Самой гуманной казнью для них было повешение за шею. Действия финских партизанских отрядов напоминали действия наших партизан против французов в 1812 году: те же приемы засад, те же способы заманивания и убийства исподтишка. Кстати, всему тому, что широко применялось в

финских дебрях, учил русских крестьян поэт-партизан Денис Давыдов. Возможно, что он набрался опыта именно во время финляндской кампании.

Воодушевленные этими первыми победами, финны и шведы (а последние в большинстве жили вдоль побережья Ботнического залива) активизировались. Генерал Сандельс, один из самых способных шведских командующих, одержал победу над отрядом полковника Обухова и вернул Швеции Куопио и всю Восточную Финляндию. Не менее досадная для русских история произошла на Готланде и Аландских островах. Как только в конце апреля немного расчистилось ото льда море и со стороны Швеции показались суда, аландские островитяне восстали почти на всех островах и, соединившись с высаженным шведами десантом, окружили стоявший на островах гарнизоном отряд полковника Вуича и принудили его к сдаче. Это болезненное поражение русской армии почти совпало с поражением русских моряков контр-адмирала Бодиско, не сумевшего удержать Готланд и капитулировавшего со своими 1800 солдатами и матросами без боя. Бодиско был отдан под суд, который разжаловал его в матросы, но государь помиловал горе-адмирала. Вообще, русский флот показал свою полную непригодность к военным действиям на Балтике (как и Черноморский флот в устье Дуная во время тогдашней Русско-турецкой войны) — лучшие корабли и боевые экипажи в это время, так сказать, «защищали родину» в Средиземном море на Ионических и иных островах, а на Балтике остались худшие из кораблей, да и моряки-балтийцы доблестью тогда не блистали. Так, за почти демонстративное нежелание вступать в сражение с неприятелем был на 24 часа разжалован в матросы командующий русским флотом адмирал Ханыков, а ряд командиров кораблей уволены со службы без выслуги лет. Из-за утраты Аландских островов в военной верхушке разгорелась настоящая распря. Буксгевден донес государю на Багратиона, который якобы утверждал, что отряд Вуича удержит Аландские острова. Багратион же ссылался на генерала Шепелева, а тот — на самого Вуича, будто бы клявшегося, что сам с «чухной справится». Попал под следствие и Тучков 1-й, допустивший фактическую утрату контроля над Финляндией. В мае русским войскам пришлось оставить Гамли-Карлеби, а в июне произошел ожесточенный бой в городе Ваза. Проникшие в город вдоль берега шведские и финские солдаты вместе с жителями защищали от наступавших русских войск каждый дом и каждую улицу. После того как противник был изгнан, разъяренные русские солдаты сочли город взятым с боя, и начался невиданный в этих местах грабеж, о котором жители помнили потом еще лет сто… Вскоре

вспыхнуло вызванное высадкой шведского десанта народное восстание против русских войск в Христиненштедте, подавление которого стоило русскому командованию потери трехсот человек. Эти события уже касались командования группы войск, находившихся в Або, то есть Багратиона, хотя в самом Або все было спокойно. Как пишет Давыдов, он приехал в 21 — ю дивизию, которой командовал Багратион, весной 1808 года и «попал на балы и увеселения. Князь Багратион объявил нам, что 21 — й дивизии ничего другого не оставалось, кроме веселья, ибо военные действия в Южной Финляндии прекратились и вряд ли после покорения Свеаборга, Свартгольма и мысов Гангоута и Перекелаута возобновятся». Русские красавцы-офицеры утомлялись в волокитстве и танцах «с неловко прыгающими чухоночками, довольно свежими и хорошенькими»11.

Эпидемия среди генералитета. Вскоре Багратион уехал в Петербург. Согласно формулярному списку, сразу же после занятия Або 10 марта, «приказом апреля 12-го дня отпущен в отпуск до излечения болезни, почему 23-го числа того же месяца оставил армию»14. Вообще, эта война поражает странной эпидемией, напавшей почти исключительно на командование русских сил в Финляндии. То заболевал Багратион, то Каменский, то (причем дважды) Барклай де Толли. Неведомая болезнь косила других корпусных командиров: князя Голицына, Тучкова 1-го, Витгенштейна. Наконец «заболел» и сам Буксгевден и на этом основании ушел в отставку. Думаю, что причина болезней генералов заключалась в том, что военные действия не имели регулярного, постоянного характера; генералам казалось, что Финляндия завоевана, там было скучно, а столица и двор находшшсь рядом — в двух днях пути. Впрочем, скоро, как сказано выше, аборигены развеяли скуку русских генералов своими неожиданными действиями…

К лету 1808 года в руках русских оставалась только Южная Финляндия. В их стане было заметно некоторое замешательство, которое не сгладил несомненный успех: после двух с половиной месяцев осады «произошло необъяснимое» — комендант Свеаборга Карл Улоф Кронштедт по неизвестным причинам сдал эту хорошо подготовленную к осаде и считавшуюся неприступной крепость с гарнизоном в 7 с половиной тысяч человек, имевшую на стенах 2 тысячи орудий. Боеприпасов и продовольствия в крепости хватило бы на целый год осады. Сдача Свеаборга была тем более обидна шведам, что к этому моменту залив очистился ото льда и прежняя серьезная опасность взятия крепости русскими со льдов, ее окружавших, исчезла. Фраза «произошло необъяснимое» позаимствована мной из современной «Истории

Швеции», хотя уже тогда случившееся объясняли тем, что под крепость была заложена «золотая мина», которая и «взорвалась». Для подкупа офицеров — противников короля, а значит, потенциальных союзников русских, были отпущены деньги из русской казны, но, как установлено историками, сам комендант крепости к взяткам был непричастен. Буксгевден получил орден Георгия 2-й степени, но был этим недоволен — он считал, что достоин Георгия 1-й степени. Государь же думал иначе и более скромно поощрил, как значилось в указе, «благоразумную предусмотрительность» главнокомандующего. Ведший переговоры с комендантом крепости вице-адмиралом Кронштедтом инженер-генерал П. К. Сухтелен стал кавалером ордена Владимира 1-го класса. А больше царь не наградил никого из многотысячного осадного корпуса. Случай беспрецедентный в военной истории — ведь была взята важнейшая крепость, которую называли «Северным Гибралтаром».

Ход событий вынудил русское командование начать переброску в Финляндию из Петербурга новых сил: рекрут, частей гвардейского корпуса, а также 6-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта Барклая де Толли. Ему, как и стоявшему под Вазой генералу Раевскому, было поручено совместными действиями покончить с армией Клингспора в Центральной Финляндии. Но Барклай, который был вынужден вновь отвоевывать Восточную Финляндию, как и Раевский, царского приказания выполнить не смог — действия финляндских войск, а также в особенности партизан, были весьма успешны. Барклай взял Куопио, но, как писал А. И. Михайловский-Данилевский, прошел туда «среди пламени народной войны». Как известно, победить в такой войне всегда крайне сложно, «истребить партизанов было невозможно, рассыпаясь, укрывались они в недоступных местах. Все жители были с ними в заговоре»16. С подобным видом войны русская армия столкнулась впервые и испытывала серьезные трудности: коммуникации (а они были весьма протяженные) постоянно прерывались, курьеры попадали в ловушки, доставка продовольствия в войска с побережья вглубь страны была настоящей проблемой, а местные жители отказывались даже за деньги снабжать захватчиков провиантом. То в одном, то в другом месте крупные отряды русских войск оказывались отрезанными от основной армии и друг от друга. Так произошло с отрядом генерала Н. Н. Раевского, составлявшим треть русских вооруженных сил в Финляндии. Раевский, вначале стоявший под Вазой, в Лилькиро, должен был действовать в согласии с Барклаем. Но ему было не до этого — Финляндская армия,

имевшая численный перевес и обладавшая умением воевать в тех местах, непрерывно наступала. Раевскому пришлось отойти от Лилькиро к селению Лаппо. Там 1 июля произошло неудачное сражение с войсками Клингспора. Раевский, потеряв довольно много людей, продолжил отступление и оказался в Алаво — партизанском крае, где его солдаты голодали, питаясь грибами. Положение его отряда в какой-то момент стало отчаянным, и командиру с немалым трудом удалось прорваться в Тавагусту. О совместных действиях с Барклаем не могло идти и речи.

Обобщая присланные рапорты своих подчиненных, оказавшихся в тяжелом положении в разных концах Финляндии, Букегевден заговорил иным, чем в начале кампании, языком. В донесении императору от 14 июля он признал, что «не только покорение Финляндии, но и самое удержание ее за нами и защита ее становятся час от часу затруднительнее и неодолимее», и что восторжествовать над неприятелем не удастся в ближайшее время. Выход Букегевден, как и другие воинские начальники, видел в усилении армии новыми подкреплениями. Он считал, что «при теперешних обстоятельствах только 50-тысячная армия будет достаточна удержать Финляндию»17. А когда государь потребовал подготовить высадку на шведский берег, главнокомандующий запросил еще 50 тысяч солдат сверх тех войск, которые были у него. Из опыта разных войн хорошо известно, что если командующий оккупационными силами просит подкреплений для «окончательного усмирения» оккупированной страны, то наверняка дела его обстоят плохо.

Обеспокоенный всей финляндской историей Александр I послал с инспекцией недавно принятого на русскую службу маркиза Паулуччи, человека резкого и прямого. Тот пришел к самым неутешительным выводам: в тылу отчаянно воруют, на фронте можно держать только оборону. В штабах шли бесконечные и бесплодные споры о том, как поступать в сложившейся обстановке.

«Победил героев и преодолел самую природу»

Неожиданно в этом непроглядном мраке появился просвет. В июле вместо Раевского в армию приехал генерал-лейтенант Николай Михайлович Каменский 2-й, который поначалу чуть не попал в плен к финским партизанам. Он сумел собрать в кулак 10-тысячный корпус и совершил стремительный переход, пройдя с войсками за неделю почти 300 верст. 20 августа он внезапно напал на 12-тысячную армию Клингспора. В сражении при

Куортали финляндцы сумели удержать свои позиции, но затем ночью оставили их. То же самое произошло чуть позже при Сальми, где у противника были очень выгодная позиция и равенство сил с русскими. Тем не менее Каменский нанес безусловное поражение Клингспору. Третья победа была одержана им в начале сентября при Орайвасе, причем Каменский показал себя не только выдающимся полководцем, блестяще командовавшим войсками, но и настоящим героем — он ходил в штыковую атаку и находился в самой гуще боя, точнее, в общей свалке и резне, в которую вскоре превратилось регулярное сражение. Хотя и предшествующие сражения отличались упорством сторон, сражение при Орайвасе превзошло их по необыкновенному драматизму и мужеству, проявленному в бою противниками. По мнению участников с русской стороны, оно стало одним из самых тяжелых для русской армии за весь период войны до Бородина. «Дрались беспрерывно с 7 часов утра до 12 вечера в стрелках, колоннами, в шанцах, на штыках и в ручной схватке. С обеих сторон все были в деле, от генерала до солдата», — писал Давыдов. И хотя потери русского корпуса в этой битве были существенными (1100 человек), в войне явно наметился перелом в пользу России. Значение побед Каменского казалось огромным, они воодушевили всю армию. Как писал Булгарин, «Клингспор имел на своей стороне все преимущества генерала, защищающего свое отечество. Все жители держали его сторону, укрепляли в тылу его позиции, доставляли подводы и продовольствие и старались, по возможности, вредить нам. Русскому генералу, действовавшему наступательно, не на что было надеяться, как только на мужество своих войск и на свой собственный гений. Шведы и финны при этом последнем усилии дрались, как герои, в неприступных своих местоположениях. Граф Каменский с равными силами победил героев и преодолел самую природу!»18. Чтобы прокормиться, солдаты выслеживали спрятанный местными крестьянами в лесу скот, отыскивали зерно, закопанное в ямах. В августе — сентябре в Финляндии стояли уже холодные, сырые и туманные ночи, а одежда и обувь у солдат сносились. Войска нуждались буквально во всем — от пороха до соли. Но оборванные, забрызганные грязью, небритые, в обгоревших у костров мундирах, голодные люди корпуса Каменского держались стойко. Их, как часто бывало на войне, сплачивало то боевое братство, которое возникает в сражениях и непрерывных походах. Служивший у Каменского Булгарин вспоминает, как к ним в корпус прибыл переформированный Пермский мушкетерский полк. Он «был в новых мундирах и в шинелях тонкого сукна. Полк этот сформирован был из солдат,

бывших в плену во Франции, которых Наполеон одел, вооружил и возвратил государю… Солдаты эти изнежились во Франции и, как говорили старые служивые Других полков, развольничались. Пермский полк хуже других переносил трудности этой кампании и не так охотно и весело шел в сражение, как другие полки. Только в этом полку слышен был иногда между солдатами ропот, и за то другие солдаты прозвали их мусье»"1.

Победы Каменского позволили русским гарнизонам и постам, стоявшим вдоль Ботнического и Финского заливов, вздохнуть свободнее. Финны и шведы вроде бы приутихли, а Каменский своими решительными действиями почти заменил те самые 50 тысяч солдат, которые у царя до этого просил Буксгевден. Важно, что своими победами Каменский подорвал боевой дух Финляндской армии, которая откатилась к Лапландии, а также способствовал прекращению повсеместной партизанской войны. Неудивительно, что император Александр был особо милостив к победителю: за одну кампанию Каменский получил ордена Александра Невского и Георгия 2-го класса. Успехи корпуса Каменского привели к тому, что шведский главнокомандующий запросил перемирия. По заключенному тогда соглашению, Финляндская армия оставила «всю без изъятия Финляндию» по реку Кемь и сдала последний крупный город, находившийся во власти шведского короля, — Улеаборг. Уезжая в Петербург в ноябре 1808 года, Каменский позволил себе сказать то, что должно было вызвать зубовный скрежет у других генералов: «Мы завоевали Финляндию — сохраните ее!»

Среди этих генералов наверняка был и Багратион, вернувшийся в Або, вероятно, после середины июля. В камер-фурьерском журнале императрицы Елизаветы Алексеевны записано, что 11 июля, перед обедней, государыне «представились» перед отъездом несколько придворных, а также князь Багратион, допущенный к руке. Прибыв в Финляндию, он принял войска у отбывшего в корпус Каменского генерала Буксгевдена. Багратион контролировал весь юго-запад Финляндии. Вскоре, в начале сентября, ему нашлось дело — более чем двухтысячный десант шведов высадился в 70 верстах от Або с целью отвлечь русские войска от операций на севере и ослабить давление победоносного Каменского на Финляндскую армию. 6 сентября 1808 года Багратион стремительным ударом сбил десант, который поспешно вернулся на суда. Через неделю шведы предприняли новую высадку у Гельзинга, и опять Багратион побил их, причем в решительный момент, когда чаша победы заколебалась, повел себя, как всегда, мужественно — он шел впереди своей колонны и опрокинул неприятеля в море.

Шведы потеряли тысячу человек убитыми и ранеными и 365 пленными. Отступление шведов было почти позорным — среди бежавших оказались гвардейские части, в которых служило немало шведских аристократов. Король подверг их тяжелому наказанию — отобрал знамена и лишил гвардейских офицеров служебных преимуществ перед армейскими.

Раз вы так, то мы — по льду!

Но даже завоевав и удержав Финляндию, невозможно было достичь вожделенного мира — упрямый шведский король, уверенный, что его дело правое, ни на какие уступки не шел. Он позволил себе даже пристыдить Александра, направив ему особое послание, в котором писал, что «шведский король приглашает императора Всероссийского помыслить о поступках его в отношении к королю, старинному его союзнику, царствующему над народом свободным, верность коего император хочет поколебать самым неслыханным образом. Король объявляет, что он будет до последней крайности защищать права свои и верных своих подданных. Он употребит все средства, вверенные ему Провидением, к искоренению навсегда начал, на коих император хочет упрочить силу России. Прощая своему врагу, король возлагает мщение на Всемогущего». Вероятно, Александру, считавшему, что он всегда поступает по совести и благородно, было неприятно читать это послание, и он, даже не ответив, вернул его шведам. Солдатам и офицерам было проще — куда прикажут, туда они и шли. Как писал Ж. де Местр, «офицер обязан исполнять приказы и в несправедливой войне виновен не более, чем ружье».

Александр, знавший упрямый характер свояка, требовал от генералов покончить со Швецией так, как это сделал некогда Петр Великий: высадить десант на ее побережье, поближе к Стокгольму, и таким образом принудить шведов к миру. Был составлен план нового наступления. К шведскому берегу должны были двинуться три колонны войск: колонна Шувалова — из Улеаборга к Торнео, Барклая де Толли — из Вазы в Умео и наконец Багратиона — из Або на Аланды (вновь находившиеся во власти шведов), а потом уже к шведскому берегу. Этот план казался неимоверно рискованным. Корабельный десант, использованный с той же целью некогда Петром Великим, был совершенно невозможен из-за слабости русского флота и нерешительности русских флотоводцев, боявшихся Даже высунуть нос из Кронштадта и Ревеля. Балтийское море и даже

Финский залив находились под полным контролем английского флота — союзника шведов, а ему не было равных на воде, как Наполеону на суше. Речь могла идти только о зимнем походе. Предстояло пройти несколько десятков верст по льду — в те времена Балтика и Ботнический залив еще замерзали. Решиться на этот, как писал Буксгевден, «подвиг столь скользкий и затруднительный» было непросто — а вдруг Дед треснет, полыньи разойдутся, и тогда прощай карьера и несомненный Георгий! Император тем не менее жестко требовал ускорить начало ледового похода к берегам собственно Швеции. В ответ Букегевден лишь твердил в письмах к царю о невозможности подобной акции. Когда он «заболел», то пришедший на его место в начале декабря 1808 года генерал от инфантерии Кнорринг повел себя точно таким же образом. Между императором и новым главнокомандующим, получившим план ледового похода, началась переписка, немыслимая для самодержавного режима. Кнорринг писал о трудностях снабжения войск, о значительных силах шведов на Аландских островах, о том, что поправившийся Барклай и граф Шувалов — командующие корпусами, предназначенными для похода, — задерживаются по своим делам в Петербурге. Он стращал императора тем, что в походе армию ждут льды, непроходимые дороги, «затвердевший снег», возможное вскрытие моря. В конце концов Кнорринг тоже запросился в отставку. Наконец Александр не выдержал и в феврале 1809 года послал в Финляндию ставшего военным министром А. А. Аракчеева — этакую живую дубинку против облениившихся генералов. Позже Аракчеев писал о своей миссии: «Я не воевода и не брался предводить войсками, но Бог дал мне столько разума, чтобы различить правое от неправого. Букегевден почитал меня своим личным врагом — и крепко ошибался. Тот мой враг, кто не исполняет своего дела, как следует… если бы (я) слушал всех (генералов. — Е. А.), да не столкнул Барклая на лед, прямо в Швецию, то мы еще года два пробивались бы в Финляндии». Но Аракчеев приобрел в Финляндии и сторонника. В беседе с министром сменивший Буксгевдена генерал Кнорринг и все остальные генералы завели прежнюю песню со старым мотивом — экспедиция невозможна по таким-то и таким-то резонам, и только один Багратион на вопрос Аракчеева о возможности перехода через залив отвечал в свойственном ему стиле: «Прикажите — пойдем!» Это было явным нарушением корпоративной солидарности генералитета (против похода были не только Кнорринг, но и начальники двух других корпусов — граф Шувалов и новый любимец царя Барклай). В такой обстановке согласие Багратиона возглавить самую опасную

экспедицию — отвоевание Аландских островов — сделало невозможным для других генералов затягивание с исполнением верховной воли. Порыв Багратиона отвечал его природе военного, но был и ловким ходом, благодаря которому Аракчеев увидел в нем «своего человека». Вскоре последовало весьма благоприятное для Багратиона продолжение этих отношений…

Аландская экспедиция Багратиона — одна из ярких страниц его полководческой биографии. Он в общем-то впервые командовал таким большим корпусом — целых 17 тысяч человек! Поход же по льду на Аландские острова был делом рискованным. Риск заключался не столько в трудностях ледового перехода, сколько в том, что Багратиону предстояло сразиться с размещенной на островах группировкой генерала Дебельна, численность которой не была известна русскому командованию. Дебельну подчинялись примерно 10 тысяч солдат и ополченцев, причем это были хорошие войска — почти вся королевская гвардия. Генерал заметно нервничал, ожидая прихода Багратиона, и в донесениях в Стокгольм отмечал свою главную слабость: при численном перевесе русских они смогут по льду «беспрепятственно обходить фланги и тыл моих позиций», а отступление в Швецию едва ли возможно, так как лед тонкий, и южный ветер может его легко взломать20. Дебельн просил из Стокгольма помощи, но она так и не пришла, и тогда генерал стал готовить острова к обороне: возводил засеки, батареи, а главное — устроил на всех островах, через которые могли двинуться русские, мертвую зону — сгонял жителей и жег деревни и мызы. Несомненно, шведский командующий был профессионалом — как он предсказывал, так Багратион и действовал.

Но вначале Багратион, по своему обыкновению, позаботился о солдатах и хорошо подготовился к походу. Солдаты были одеты в полушубки, теплые фуражки и сапоги, сотни саней везли все, что нужно было для того, чтобы не замерзнуть, — еду, дрова, водку. Выступили войска в конце февраля — начале марта, и не все сразу, а в пяти колоннах. Дорога была неблизкая, 120 верст через льды, окружавшие скалы, мелкие и крупные острова, которыми кишело море в этих местах, как густой суп — клецками. Солдаты шли аккуратно, стараясь не скапливаться помногу на одном месте, чтобы не сломать ненароком лед. Впереди двигался авангард генерала Кульнева — ученика и подражателя Суворова. Перед наступлением на главный остров он издал приказ: «На марше быть бодру и веселу, уныние свойственно старым бабам. По прибытии на Кумлинген (остров на полпути к Большому Аланду. — Е. А.) — чарка водки, кашица с

мясом, щи и ложе из ельнику. Покойная ночь!»21

Шведы не оказывали сопротивления, а отходили, стягивая войска на главный остров архипелага. Дебельн серьезно приготовился к обороне — и тут получил известие из Стокгольма о государственном перевороте. Король Густав Адольф был свергнут недовольными им военными, причем командующий Финляндской армией Клингспор пытался отобрать у короля Шпагу, из-за чего произошла постыдная драка, в которой короля защищал только дворцовый истопник: он героически отбивался от мятежников кочергой и метко бросался в них поленьями. Пришедший к власти дядя короля герцог Зюдерманландский тотчас известил Дебельна о перевороте и попросил отправить к русским посланника с предложением перемирия. Посланник явился к Багратиону и просил остановить движение его колонн, но Багратион отказался это сделать, отослал парламентера в Або к вернувшемуся из похода Кнорингу, а сам продолжал поход. 4 марта навстречу колоннам русских выехал сам генерал Дебельн. Он хотел переговорить с Кнорингом, так что Багратион и его отправил в Або. Ясно, что после того, как командующий обороной островов сам отправился в штаб противника с предложением о перемирии, шансы занять острова без серьезного сопротивления увеличились. Русские войска приободрились и резво шагали по снежной пустыне, чем-то напоминавшей участникам похода настоящую, залитую солнцем пустыню. Торчащие из-подо льда одинокие скалы усиливали это сходство. Иногда колонны вступали на лесистые острова и пробивались сквозь густой лес.

Дебельн в это время вел переговоры с Кнорингом и был готов сдать острова в обмен на свободный выход его гарнизона в Швецию. Вернувшийся из войск Аракчеев потребовал не перемирия, а мира на условиях России, которые сводились к уступке Финляндии и отказу Швеции от английской помощи. Естественно, что Дебельн не был уполномочен вести такие переговоры, поэтому условия, оглашенные Аракчеевым, были лишь посланы с ним в Стокгольм. Не дождавшись известий от противника, Багратион продолжал задуманное наступление: четыре колонны двигались по Большому Аланду, а пятая под началом генерала Строганова огибала его по льду с юга, с тем чтобы зайти шведам в тыл. Шведские гвардейцы и ополченцы отовсюду поспешно отступали, на острове начались пожары — это уничтожали запасы и суда флотилии, вмерзшие в лед. Ночью 5 марта шведские войска с огромным санным обозом двинулись по льду в Швецию. Собственно, вся операция отряда Багратиона и состояла в том, чтобы догнать бегущего противника. Как горделиво писал в своем рапорте Кнорингу Багратион, «войска

Его императорского величества ознаменовали себя неограниченною ревностию и явили пример неутомимости; делая переходы денно и ночно для достижения бегущего их неприятеля, превозмогали всякие затруднения и препятствия, на пути им встречавшиеся. Тщетно полагал неприятель остановить быстрое преследование их многими и большими засеками в густоте лесов поделанными; они или обошли их, или разметали и, переходя ледяные необозримыепространства, преодолели все препоны, самою натурою поставленные»22. Гусары — удальцы Якова Кульнева — и, конечно, казаки были страшно разочарованы поспешным бегством противника, да и отсутствием трофеев, так что рванулись за шведским арьергардом и, «ревнуя к службе Его императорского величества, несмотря на неимоверные труды и презря все опасности, оказали знатные услуги, гнавшись на рысях более 15-ти верст, настигли часть неприятельского ариергарда» возле одного из островов23. Началось сражение, в ходе которого были окружены и сложили оружие солдаты одного из лучших шведских полков — Зюдерманландского, аналогом которого в России был Семеновский полк. В этот день пленных взяли больше, чем числилось войск у русского авангарда. Шведы так спешили, что лед Аландсгафа — пролива, отделяющего Аланды от Швеции, до самого шведского берега был покрыт брошенным имуществом, оружием, фурами и пр.

В ночь на 7 марта русский авангард из казаков и гусар под командой Кульнева двинулся по льду Аландсгафа. Перед выходом на лед с острова Сигнальскер Кульнев в свойственной ему псевдосуворовской манере огласил приказ: «Бог с нами! Я перед вами. Князь Багратион за нами. В полночь, в два часа, собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны истинная награда, честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и по два гарнца овса. Море не страшно тому, кто уповает на Бога. Отдыхайте, товарищи!» От этого приказа не всегда трезвого гусара создается впечатление, что Кульневу и море было по колено…

С песнями, по хорошо видному пути, усеянному брошенным шведским имуществом, гусары и казаки за восемь часов весело доехали до шведского побережья. Последний раз русский десант был высажен на этот берег в 1720 году. До Стокгольма оставалось сто верст. При появлении русских береговая охрана открыла огонь, гусары пошли в атаку с фронта, казаки зашли с флангов. Шведы отступили и продолжили отстреливаться из-за скал. Кульнев спешил часть казаков, началась перестрелка. Потом Кульнев послал парламентеров, которые потребовали сдать ближайший городок Гриссельгам. Шведы согласились на эти

условия, думая, что на подходе вся Русская армия. Отступившие части шведской береговой обороны дали знать о происшедшем в Стокгольм, и сигнал, переданный по световому телеграфу, как писал Багратион, «ужаснул столицу вандалов; дорога до Штокгольма была покрыта трепещущими жителями, партикулярными обозами и войсками, которые поспешно шли для защищения берегов; все сие представляло картину повсеместного смятения и страха и останется незабвенным в летописях времен позднейших к бессмертной славе российского оружия»24. Из первого завоеванного шведского города — собственно, для этого он и был взят лихим гусаром — Кульнев послал донесение о своем успехе: «Благодарение Богу — честь и слава российского воинства на берегах Швеции»25. Через день ему было приказано вернуться на Аланды. Да и вовремя — подул южный ветер, начавший ломать лед, а казаки и гусары ходить по воде, аки посуху, все-таки не умеют…

Завершая победный рапорт от 6 апреля о своей успешной экспедиции, Багратион не забыл упомянуть не только об усердии всех подчиненных ему начальников, но особо подчеркнул деяния генерал-майора А. А. Аракчеева, младшего брата военного министра, который своей «неусыпностью и старанием» обеспечивал корпус «знатным количеством» пороха, снарядов и патронов.

Кульнев не стал одиноким героем на шведском берегу. 9 марта туда же, в Умео, пришел и отряд Барклая, который занял город, оставленный шведским гарнизоном. Шестидесятиверстный переход отряда Барклая по морскому льду, через торосы Ботнического залива, в мороз, без отдыха, 18 часов кряду, вошел в историю русского военного искусства как уникальное, неповторимое явление. Как только отряд достиг устья реки Умео, солдаты бросились к двум вмерзшим в лед судам и мгновенно растащили их на бивачные костры, чтобы приготовить наконец горячую пищу. Барклай по поводу своей рискованной операции писал: «Понесенные в сем переходе труды единственно русским преодолеть только можно»26. Не забудем еще прибавить и вклад Аракчеева, стоявшего над душой начальников отрядов, которые, думаю, без его сурового напора так и не решились бы на столь рискованное, смертельно опасное предприятие. Успеха добился и генерал-майор Шувалов, занявший Торнео в 30-градусный мороз, а затем настигший отступающий шведский отряд, который капитулировал, сложил перед русскими оружие и 12 знамен, а также сдал огромные запасы имущества и продовольствия, принадлежавшие Финляндской армии.

Двое из победителей шведов — Багратион и Барклай де

Толли — «за оказанные отличия во всю нынешнюю кампанию» были произведены в генералы от инфантерии, а П. А. Шувалов стал генерал-лейтенантом. Несомненно, удивляло не повышение Багратиона (оно было давно ожидаемым и заслуженным), а необыкновенный «прыжок» Барклая по лестнице чинов — меньше чем за два года из генерал-майоров в полные генералы. После Умео Барклай оказался на пороге своего выдающегося поприща. Весной і 809 года «по уважению его военных дарований и личных свойств» (слова императорского рескрипта) он был назначен главнокомандующим русскими войсками в Финляндии, а Кнорринг уволен на покой.

«Квакер». Кажется любопытной характеристика, которую дал Барклаю воевавший под его началом в Финляндии Ф. В. Булгарин: «Барклай де Толли был высокого роста, держался всегда прямо, и во всех его приемах обнаруживались важность и необыкновенное хладнокровие. Он не терпел торопливости и многоречия ни в себе, ни в других, говорил медленно, мало и требовал, чтобы ему отвечали на его вопросы кратко и ясно. Хотя в это время (1808 год. — Е. А.) ему было только сорок семь лет от рождения, но по лицу он казался гораздо старее. Он был бледен, и продолговатое лицо его было покрыто морщинами. Верхняя часть его головы была без волос, и он зачесывал их с висков на маковку. Он носил правую руку на перевязи из черной тафты, и его надлежало подсаживать на лошадь и поддерживать, когда он слезал с лошади, потому что он не владел рукою фану эту он, как уже сказано выше, получил под Прейсиш-Эйлау. — Е. А.).

С подчиненными он был чрезвычайно ласков, вежлив и кроток и когда даже бывал недоволен солдатами, не употреблял бранных слов. В наказаниях и наградах он соблюдал величайшую справедливость, был человеколюбив и радел о солдатах, требуя от начальников, чтобы все, что солдату следует, отпускаемо было с точностью. С равными себе он был вежлив и обходителен, но ни с кем не был фамильярен и не дружил. Барклай де Толли вел жизнь строгую, умеренную, никогда не предавался никакому излишеству, не любил больших обществ, гнушался волокитством, карточной игрой, но на разгульную жизнь молодежи смотрел сквозь пальцы, не допуская, однако ж, явного разврата. От старших требовал он примерного поведения и не доверял никакой команды гулякам. Бережливость Барклая де Толли была в самых тесных границах, и многие упрекали его в скупости. Мне кажется, что только один упрек Барклаю де Толли был справедлив, а именно — в излишнем пристрастии к землякам своим остзейцам. Вследствие привязанности к своей супруге (из дворянской фамилии фон Смиттен) он всегда окружал себя

остзейцами и предоставлял им случаи отличиться. И то, должно сказать, что они оправдывали выбор, отличаясь всегда, жертвуя охотно для славы русского оружия. Исключения так ничтожны, что о них не стоит упоминать. Мы, молодые офицеры, прозвали Барклая де Толли квакером.

Барклай де Толли создан был для командования войском. Фигура его, голос, приемы — все внушало к нему уважение и доверенность. В сражении он был так же спокоен, как в своей комнате или на прогулке. Разъезжая на лошади шагом в самых опасных места::, он не обращал никакого внимания на неприятельские выстрелы и, кажется, вполне верил русской солдатской поговорке: пуля виноватого найдет. 3-й Егерский полк обожал своего старого шефа — явление весьма распространенное в отношении выдающихся полководцев — шефов полков. — Е. А.), и кто только был под его начальством, тот непременно должен был полюбить своего храброго и справедливого начальника. Он, однако же, никогда не мог быть народным или популярным начальником потому, что не имел тех славянских качеств, которые восхищают русского солдата и даже офицера, именно — веселости, шутливости, живости, и не любил наших родных авось и как-нибудь. Русская песня не имела для Барклая де Толли никакой прелести. Быстрые порывы храбрости он старался умерять, зная, что они могут привести к гибели, и приучал солдат к стойкости и хладнокровному мужеству. За нарушение военной дисциплины, за обиды жителей и ослушание он был неумолим. У нас иногда бывает полезно некоторое фанфаронство или хвастовство, внушая солдату самонадеянность и закрывая перед ним опасность, — а Барклай де Толли не мог терпеть никакого фанфаронства и хвастовства. Он вел войско в сражение не как на пир, но как на молитву, и требовал от воинов важности и обдуманности в деле чести, славы и пользы отечества»11.

«По праву завоевания и по жребию битв»

Багратион и Барклай получили свои награды согласно рескрипту императора, который в марте 1809 года приехал в покоренную его армией страну. Александр явился туда не с плетью, а с… конституцией. Финляндия получила такие обширные права, которые не снились жителям собственно России еще лет сто — до 1905 года. Был оглашен манифест императора, ставшего великим герцогом Финляндским. В силу этого документа за жителями Финляндии сохранялись все те права, которые они имели при шведском владычестве, включая многие

институты политической и экономической автономии, такие как сейм Финляндии. В Борго, Або и Гельсингфорсе прошли торжественные церемонии с участием Александра, генералитета и финляндского дворянства, признавшего русского царя своим сюзереном.

Барклай, ставший главнокомандующим, получил строгий указ государя не прекращать войны со Швецией, более того — в переговоры со шведами не вступать, а ждать, когда они сами согласятся на условия, предъявленные им после похода русских войск в Швецию. Позиция России по финляндскому вопросу оставалась, как и раньше, жесткой и непримиримой. Теперь, конечно, уже не говорили, что присоединение Финляндии навечно к России связано с арестом посольских бумаг (посланник Алопиус был отпущен шведами восвояси). Была выдвинута другая, более веская и откровенная причина — извечное право сильнейшего: «Финляндия присоединена к России по праву завоевания и по жребию битв и не может быть отделена от нее иначе как оружием»28. В апреле 1809 года де Местр писал своему начальству, что русские предъявили Швеции четыре главных условия: «формальный отказ от Финляндии, признание Наполеона императором, объявление войны англичанам и конфискация британской собственности в Швеции»29.

После отъезда государя война возобновилась. Барклай дал приказ генералу Шувалову произвести высадку в Умео с тем, чтобы занять Вестерботнию и тем самым принудить шведов сесть за стол переговоров о мире на русских условиях. Экспедиция достигла Умео, и Шувалов открыл военные действия на севере Швеции. Но действовал он не очень убедительно, и хотя во Фридрихсгаме начались русско-шведские переговоры о мире, упрямые шведы продолжали ему сопротивляться. Чтобы сделать переговоры более энергичными и результативными, требовалось предпринять нечто решительное и окончательно отбить у шведов охоту затягивать переговорный процесс. И тогда 23 июля в Улеаборгский корпус прибыл генерал Каменский. Он обнаружил, что продовольствие уже кончается, а подвоз его из Финляндии невозможен. На море транспортные суда захватывали шведы, а наш флот скромно стоял на рейде Кронштадта: весной 1809 года английский флот вновь пришел на помощь изнемогающей в войне Швеции. Каменский со свойственной ему решимостью подошел к делу по-суворовски: «Буду искать продовольствия у самого неприятеля», и 4 августа двинулся из Умео к Гернезанду, то есть вдоль берега Ботнического залива к Стокгольму. Поход начался успешно — шведы под командой генерала Вреде, не выдерживая натиска Каменского, отступали. Но шведское командование,

оказывается, приготовило сюрприз. Более сотни Десантных судов под прикрытием двух линейных кораблей произвели высадку восьмитысячного отряда генерала Вахтмейстера за спиной Каменского, недалеко от Умео. При одновременном контрнаступлении Вреде и появлении десанта Вахтмейстера корпус Каменского должен был оказаться в окружении. Когда 5 августа Каменский получил известие о высадке противника, он принял мгновенное решение — повернул основные силы против Вахтмейстера и 7 августа после форсированных маршей с ходу напал на противника у местечка Севар. В кровопролитном сражении он разбил Вахтмейстера, а на следующее утро довершил дело у урочища Ратан, где настиг его отступавшие части. Шведский десант, потеряв около двух тысяч человек, поспешно погрузился на суда и ушел от берега. Впрочем, потери Каменского тоже были велики — полторы тысячи человек, включая убитого генерала Готовцева. Однако после этой яркой победы Каменский, вместо развития успеха, вдруг начал отступать. В оправдание он писал: «Один раз, при больших напряжениях, удалось мне пробиться сквозь неприятелей, другой раз, если они успеют обогнать меня морем, может быть, опять пробьюсь, но на третий раз уже и патронов не станет. Сколь ни критическое мое положение, но я все старания употреблю вывести из оного корпус с честью, однако, признаюсь, прискорбно отступление после столь решительной победы, которая одержана в сии два дня, где не только я разбил неприятеля и гнал его до самых лодок его, но, так сказать, на них его усадил». У военных историков неизбежно возникал вопрос: что же это за решительная победа, когда противник, сев на суда, обгонял шедший вдоль берега корпус Каменского, чтобы вновь встать перед ним? Несомненно, русский флот, скованный британским, не мог оказать никакой действенной помощи сухопутным войскам, так что причина непрочности побед и начавшегося отступления Каменского заключалась в полном превосходстве шведов на море. Возможно, и сам командующий допустил стратегические и тактические просчеты. Историк Русско-шведской войны П. А. Ниве писал: «Решение Каменского отступить после Ратана представляется во многих отношениях загадочным»1". Но как бы то ни было, победы Каменского стали тем толчком, после которого машина переговоров в Фридрихсгаме завертелась, и вскоре все-таки был заключен мир, согласно которому Финляндия и Аландские острова отошли к России — как тогда казалось, навсегда.

Багратион уже не был свидетелем этих побед. Он покинул Финляндию в мае и хотя не получил привычной для себя

награды, но зато стал полным генералом — генералом от инфантерии. А 30 июля 1809 года последовал указ Александра I о назначении его в Молдавскую армию.

Глава восьмая
Любовь нечаянно нагрянет

Существует устойчивая традиция, связывающая назначение Багратиона в Дунайскую (Молдавскую) армию с опалой, которую император наложил на своего подданного, посмевшего завести роман с его сестрой, великой княжной Екатериной Павловной. Это и привело фактически к почетной ссылке Багратиона на юг, подальше от столицы. Тут мы вступаем на зыбкую почву омертвевших исторических сплетен — но что делать! Из биографии слова не выкинешь. Как бы лишнего не приписать!

Отважная Катиш.

Но вначале о нашей героине. Ее рождение в 1788 году не принесло особого счастья ни наследнику престола Павлу Петровичу, ни его супруге великой княгине Марии Федоровне. Да чему бышо радоваться: четвертая девка подряд! К тому же и роды у императрицы Марии Федоровны оказались тяжелейшими, и если бы у постели роженицы не находилась сама императрица Екатерина II, прикрикнувшая на оробевших было акушерок и врача, погибли бы и новорожденная, и мать.

Чуть позже императрица писала своему давнему адресату Мельхиору Гримму: «Великая княгиня родила, слава Богу, четвертую дочь, что приводит ее в отчаяние». Чтобы утешить невестку, императрица дала внучке свое имя — авось тоже станет императрицей Екатериной! Если бы государыня тогда знала, что и после Екатерины родится еще одна девочка, Ольга, а потом — о ужас! — шестая, Анна, и только потом, наконец-то, Николай, мужик, как с удовлетворением писала императрица, богатырь! Нет смысла цитировать высказывания мемуаристов о небесной красоте, образованности, уме и «искрящихся веселостью глазах» юной принцессы Екатерины. Глаза всех принцесс и даже непринцесс в шестнадцать лет искрятся веселостью, и все ˚ни обворожительны, изящны и грациозны. Одно можно сказать определенно — кроме красоты у «Катиш» (так ее звали в семье) довольно рано прорезался решительный, целеустремленный и упрямый характер. С юных лет в девочке чувствовалась воля, были видны расчетливость, прагматизм и огромное честолюбие, будто вложенное в нее вместе с именем бабушки. А еще у нее был острый язычок, которого многие побаивались.

Девица в царской семье — не только украшение балов, но и персонифицированная большая династическая проблема — все время нужно думать, как бы ее получше пристроить. Труд, как известно, нелегкий! Поэтому в середине 1800-х годов ее мать, тогда уже вдовствующая императрица Мария Федоровна, стала зорко озирать из Петербурга европейские дворы в поисках достойного Катиш жениха. Но с берегов Невы видно было плохо — европейский горизонт затягивали клубы порохового дыма, шли непрерывной чередой Наполеоновские войны.

И вдруг был получен многообещающий сигнал из дворца Хофбург в Вене — в марте 1807года овдовел австрийский император Франц I (недавно утративший титул императора Священной Римской империи германской нации и одну единицу в своем династическом «номере» — из Франца // стал Францем I Австрийским). Его покойная супруга Елизавета приходилась родной сестрой императрице Марии Федоровне. Горе, но не такое, чтобы особенно убиваться по покойной, и тотчас Мария Федоровна, отличавшаяся во всем немецким прагматизмом, решила ковать железо, пока оно горячо: вознамерилась выдать Екатерину за своего только что овдовевшего зятя, цезаря Франца, — пусть ее дочь станет австрийской императрицей! В качестве свата из Петербурга в Вену отправился князь А. Б. Куракин. Но вся эта затея не очень понравилась императору Александру I, старшему брату Катиш. Государю было явно неприятно, что его сестра ляжет в постель с немолодым человеком, который раньше жил с его, государя, родной теткой. Возможно, сентиментальному Александру виделось в этом что-то гадкое, нехристианское. Мария Федоровна эти сомнения пыталась развеять: императрица обратилась к синодальным попам, и те, как и следовало ожидать, дали свое полное согласие на брак — церковные каноны ведь не нарушены! И хотя Александр I в делах, касавшихся семьи, обычно не спорил с матерью, на этот раз он проявил решительность и твердость. Для этого у него были резоны — из памяти Александра не изгладились свежие и очень скверные воспоминания от встреч с императором Францем. Дело в том, что в момент предполагаемого сватовства летом 1807 года Александр I как раз вел переговоры с Наполеоном в Тильзите, и воспоминания о Франце были ему особенно неприятны. Куракин, ехавший в Вену через Тильзит, писал Марии Федоровне после встречи с императором: «Государь все-таки думает, что личность императоре

Франца не может понравиться и быть под пару великой княжне Екатерине. Государь описывает его как некрасивого,

плешивого, тщедушного, без воли, лишенного всякой энергии духа и расслабленного телом и умом от всех тех несчастий, которые он испытал; трусливого до такой степени, что он боится ездить верхом в галоп и приказывает вести свою лошадь на поводу». Александр / это видел сам: в 1805 году, после поражения при Аустерлице, им, союзникам Лкксандру и Францу, предстояло как можно быстрее уезжать с поля боя, а союзник этот еле держался в седле. «Он утверждает еще, — пишет Куракин, — что великая княжна испытает только скуку и раскаяние, соединившись с человеком столь ничтожным физически и морально». К тому же Александр нашел сестре жениха получше — прусского принца Генриха, к которому испытывал симпатию. Этот брак с политической точки зрения был очень важен для оплошавшего в войне с Наполеоном прусского короля Фридриха Вильгельма 111.

Но матушка настаивала на своем. При этом выяснилось, что и юная дочь ее Катиш особа весьма прыткая и не по годам прагматичная, что, конечно, понять можно: такое ей дали воспитание и такая высокая ставка стояла на кону — корона одной из великих, хотя и здорово потрепанных в последние годы, мировых империй. Ради этого многое можно было простить, а когда нужно, то и потерпеть: «Брат находит, что император слишком стар. Но разве мужчина в 38лет стар? Он находит его некрасивым? Но я не придаю значения красоте в мужчине. По его словам, он неопрятен Я его отмою. Он глуп, у него дурной характер? Великолепно! Он был таким в 1805 году, впоследствии он изменится». Так передала речь дочери (а может — досочинила от себя) Мария Федоровна в письме к Александру. Женщины были упорны, но и император, их повелитель, непреклонен…

Высокая честь кушать под липою кофе

В камер-фурьерский журнал Марии Федоровны 31 июля 1807 года была внесена запись: «В среду поутру в 9 часов Ея императорское величество (Мария Федоровна. — Е. А.) с их высочествами: государем цесаревичем (Константином Павловичем. — Е. А.) и государынею великою княжною Екатериною Павловною и его светлостью принцем Евгением Виртембергским и с приглашением генерала-лейтенанта князя Багратиона, также особенно с следовавшими в коляске ее же высочеством великою княжною Анною Павловною и статс-Дамою графинею Ливен изволила выезд иметь верхами прогуливаться по саду, а между тем и кушать под липою кофе»1.

Днем Багратион вместе с гофмаршалом С. С. Ланским и шталмейстером С. И. Мухановым следовал за каретой вдовствующей императрицы, которая отправилась в Петербург, где посещала разные богоугодные заведения, а затем вернулась в Павловск, прошла во внутренние апартаменты и изволила «иметь в Кабинете со старшею же великою княжною (то есть Екатериной Павловной. — Е. А.) и принцем Виртембергским вечернее кушанье в 6-ти персонах, приглася в то число статс-даму графиню Л ивен, гофмаршала Ланского и генерал-лейтенанта Багратиона». 2 августа императрица вместе с Екатериной Павловной, Евгением Вюртембергским «и с приглашением статс-дамы графини Ливен и генерал-лейтенанта князя Багратиона изволила выезд иметь на линее прогуливаться по саду, а между тем и кушать в Елизавет-павильоне кофе». Потом был обеденный стол в колоннаде дворца на 14 персон, вечерняя прогулка на «линеях» по саду, вечером ужин на 18 персон. Везде присутствовал Багратион. 3 августа в Павловск прибыл государь. Он обедал с матерью и сестрой в присутствии восемнадцати персон, среди которых был Багратион; вечером государь отбыл, а оставшаяся компания играла в карты в Зеркальной комнате, потом ужинала3. 4 августа — снова карты в Греческом зале, ужин императрицы с сыновьями Николаем и Михаилом, дочерьми Екатериной и Анной, Евгением Вюртембергским и Багратионом. 5 августа Мария Федоровна с Екатериной, принцем Евгением «и с приглашением фрейлины Полетики и генерал-лейтенанта князя Багратиона изволила выезд иметь верховый прогуливаться по саду и между тем в Старой Шале кушать кофе». Старое Шале — это круглая хижина «в швейцарском вкусе, крытая соломой». Тогда в Европе была мода на все швейцарское, ассоциировавшееся с «пасторальным», близким природе началом. Императрица Мария Федоровна была большой поклонницей пасторальных «хижин» со всеми удобствами. Скромное снаружи и даже убогое здание поражало вошедшего внутрь необыкновенной роскошью, изяществом. Особенно великолепна была небольшая круглая зала, украшенная росписями и зеркалами4. Вероятно, в этом уютном и изящном зальчике кушал кофе вместе с императрицей и великой княжной Петр Иванович Багратион. Потом все отправились обедать — стол на 23 персоны, вечером снова прогулка, но уже не верхом, а в «линеях». Затем, проголодавшись, хозяйки и гости устремились на ужин в новом Молочном павильоне, на 24 персоны. Эта праздничная жизнь на лоне природы, или, говоря по-старинному, «в прохладе», продолжалась и позже. Во всех поездках спутником матери и дочери был Багратион, фрейлины же менялись: то

А. Г. Дивова, то М. Х. Бенкендорф, то еще кто-то. Прогулки и

катания продолжались весь июль, август, сентябрь и даже в октябре — вся компания ездила под Гатчину на псовую охоту. 17 сентября прежняя прогулочная компания (дежурной фрейлиной была Бенкендорф) пополнилась самим императором Александром и его неизменным спутником генерал-адъютантом Федором Уваровым, тоже красавцем писаным5. Конные прогулки перемежаются поездками в Гатчину, в Царское Село в «линеях», ездой по аллеям парков, посещением театра. Так, 15 августа состоялась поездка в Царское, пешее гуляние там по саду, на острове был полдник, вечером вернулись в Павловск, играли в карты, кушали в Кабинете. Всюду присутствует наш боевой генерал.

Не менее примечательна запись в камер-фурьерском журнале от 3 сентября: Мария Федоровна с сыновьями и дочерьми в сопровождении графини Ливен «изволила выезд иметь в карете в дом к господину генерал-лейтенанту князю Багратиону на бал и на оный же вскоре изволил прибыть и его высочество… Константин Павлович». Это тот самый дом, который Багратион купил в 1806 году неподалеку от дворца. Теперь он стал местом проведения роскошного бала. После бала подали ужин, а в полночь императорская фамилия отбыла во дворец6. Можно представить, во что обошлось небогатому Багратиону это пышное празднество с музыкой, угощением и фейерверком. Но не мог влюбленный грузин, и без того всегда щедрый и хлебосольный, ударить в грязь лицом. 29 сентября в гатчинском дворце давали бал, который «в первой паре польского открыт был генерал-лейтенантом князем Багратионом с фрейлиной княжною Прозоровскою». Это была княжна Анна Александровна, дочь фельдмаршала, которого суждено будет сменить в Дунайской армии Багратиону. И последняя, выразительная цитата: 22 октября 1807 года в Гатчине после театрального представления был устроен ужин за двумя столами. За первым сидели «государыня императрица Елизавета Алексеевна, великая княжна Екатерина Павловна, принцесса Амалия Баденская (сестра императрицы. — Е. А.), принц Евгений Виртембергский, статс-дама графиня Ливен, фрейлина Дивова, граф Николай Румянцев, обер-камергер Александр Нарышкин, генерал-адъютант Уваров, генерал-лейтенант князь Багратион и барон Мальц (кавалер двора герцога Петра Голштейн-Ольденбургского. — Е. А.)»7.

Все эти и им подобные записи не оставляют сомнений в том, что Багратион в это лето был в зените своего фавора. Всюду он выступал не просто как царедворец, с которым в узком кругу придворных и доверенных сиживал государь, не только как непременный член «Высочайшей свиты» вдовствующей

императрицы, но и как особа, приближенная к царской семье, точнее — к той ее части, которая окружала Марию Федоровну. Как известно, между вдовствующей и царствующей императрицами не было взаимопонимания, и Елизавета Алексеевна свою неприязнь к свекрови распространяла и на золовку Екатерину Павловну, которая, конечно, с присущими ей смелостью, решительностью, эмоциональностью, напором была полной противоположностью субтильной, анемичной и холодной Елизавете.

Именно из писем Елизаветы Алексеевны матери, маркграфине Баденской, посланных в августе 1807 года, общество узнает о развернувшемся романе Екатерины и Багратиона. О своей золовке Елизавета пишет: «Впрочем, что до нее, то я думаю, она бы устроилась очень хорошо; ей нужен только муж и свобода… Я никогда не видела более странной молодой особы; она на дурном пути, потому что берет за образец мнения, поведение, даже манеры своего дорогого брата Константина. То, как она держится, не пристало и сорокалетней женщине, а еще того менее девушке девятнадцати лет, и к тому же эта ее претензия водить за нос свою мать, что, впрочем, ей иногда и удается. Я не понимаю императрицу, которая в отношении других своих дочерей и невесток проявляла преувеличенную требовательность и суровость: этой она позволяет обращаться с собой с дерзостью, которая меня часто возмущает, и находит это в ней оригинальным. Теперь она как два пальца руки связана с князем Багратионом (возможен и такой перевод: тесно спаяна, действует сообща, во всем заодно. — Е. А.), который уже два лета живет в Павловске, будучи там комендантом гарнизона. Она все время говорит “мы”: “Мы велим матушке поступить так-то и так-то”, и т. п. Не будь он так безобразен, она рисковала бы погубить себя этой связью, но его уродство спасает великую княгиню»8.

Что ж! Елизавете Алексеевне с ее прославленными «выдержкой и умеренностью» Багратион мог казаться малосимпатичным, чернявым уродом, а вот Екатерине Павловне — яркой, страстной, как бы теперь сказали, сексапильной — он нравился. Впоследствии она показала во всей красе свою страстность, завоевав любовь женатого кронпринца Вильгельма Вюртембергского и заняв место соперницы на королевском троне. О страстности Багратиона в силу его природы и нрава много говорить не приходится. Наверняка оба — и Катиш, и князь Петр — не могли скрывать свои чувства во время всех этих милых прогулок, катаний, обедов и поездок. Это видели придворные, окружающие — иначе почти никогда не бывавшая в Павловске императрица Елизавета не смогла бы узнать о начавшемся

романе. Можно предположить, что все это не могла не видеть и императрица Мария Федоровна, и тем не менее Багратиона из ее ближнего круга не извергли.

Атака на женихов

Настоящая, перспективная брачная интрига совершалась не в Павловском парке. Не будем забывать, что как раз в это время шла бурная переписка вдовствующей императрицы с сыном по поводу венского брачного проекта, столь желанного для матери и дочери. Причем видно, что именно в пору романа с Багратионом честолюбивая, амбициозная, расчетливая Екатерина Павловна прямо-таки рвалась под венец с гораздо более уродливым, чем Багратион (даже если смотреть на него глазами Елизаветы Алексеевны), австрийским императором, предполагая, как уже процитировано выше, его вымыть, перевоспитать и наладить. Династический брак — институт для царственных девиц, — как известно, любви не предполагал. Рассказывают, что одна английская королева советовала своей дочери, выходящей замуж за нелюбимого принца, как вести себя в первую брачную ночь: «А ты лежи и думай о величии Британии!»

После неудачи с австрийским женихом Мария Федоровна через своего высокопоставленного представителя князя А. Б. Куракина искала других женихов для Катиш. В ее списке фигурировали и баварский кронпринц, и прусский принц, и кронпринц Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, и принц Леопольд Саксен-Кобурский — брат великой княгини Анны Федоровны, жены цесаревича Константина Павловича, и другие. Так, какое-то время в Вене шли переговоры о возможности заключения брака Катиш с эрцгерцогом Фердинандом, братом австрийского императора. Ему обещали необыкновенное приданое: чин фельдмаршала, должность генерал-губернатора Финляндии или Курляндии, 150 тысяч рублей содержания и т. д.1 Но этот проект не удался из-за нежелания Фердинанда покидать Вену и из-за того, что император Франц «был просто шокирован поведением великой княжны из России, которая в своих брачных проектах резко перепрыгивала от императора к великим герцогам, всякий раз придумывая себе новые сердечные привязанности и нисколько не беспокоясь о том, что такая настойчивость может выглядеть весьма неприлично»10.

На фоне этой стремительной атаки матери и дочери на европейских женихов развивалась романтическая история в тенистых аллеях Павловского парка. Учитывая вышесказанное,

роман с пылким грузином, героем, овеянным пороховым дымом сражений, истинным витязем в тигровой шкуре, не имел никакого отношения к брачным проектам. Этот роман скорее всего и не предполагал никакой брачной перспективы, подобный флирт был типичен для тогдашнего высшего общества. Возможно, понимая все эти обстоятельства, императрица Мария Федоровна и закрывала глаза на флирт своей дочери с боевым генералом. Но всего лишь, повторяю, это мои домыслы и соображения.

Что мы можем утверждать точно, так это несомненное благорасположение императрицы Марии Федоровны к Багратиону в 1807–1809 годах. Сохранилась их переписка, и если письма Багратиона полны знаков почтения и преданности верноподданного, знающего границы дозволенного в переписке с царственной особой, то письма императрицы теплы и даже сердечны. Так, посылая корпию для раненых в армию, она 18 апреля 1807 года (а Багратион только что уехал в Восточную Пруссию) пишет: «Теплейшие моления мои всегда сопутствуют победоносной нашей армии, и ко оным я с удовольствием присовокупляю искреннее желание, после благоуспешного окончания дел, увидеть вас паки главнокомандующим в Павловске. Я нынешнего лета там и жить не буду, а располагаюсь проводить оное в Таврическом дворце. Вы знаете, впрочем, расположения мои к вам, которые излишно было еще вам изобразить, а прошу вас поклониться от меня Матвею Ивановичу Платову и быть уверену в истинном доброжелательстве, с каковым пребываю вам благосклонною…» И далее рукой самой императрицы: «Дай Бог здоровья и продолжающихся успехи. Павловско пусто останется и будет вас ждать. Мария»11. Из писем Марии Федоровны видно, что Багратион присылал ей рисунки, сделанные им с натуры, чем порадовал государыню: «Князь Петр Иванович! Письмо ваше от 20-го сего месяца с рисунком, представляющим обозрение передовых постов и неприятельского положения императором, любезнейшим моим сыном, получено мною с тем удовольствием, с каковым приемлю я всякое новое доказательство известной мне вашей ревностнейшей приверженности и усердия, изъявляя вам сим мою признательность за оные, я уверяю вас, что вы никак не ошиблись, полагая, что рисунок мне весьма приятен будет». Желая успехов в войне и подвигов, императрица выражает также желание «видеть вас после оных обратно в добром здравьи». В письме от 14 мая 1807 года фигурирует и Катиш, хотя в весьма деликатной форме. Мария Федоровна писала, что получила письмо Багратиона из Лаунау от 1 мая: «Благодарю вас за поздравление ваше со днем рождения любезнейшей моей дочери

великой княжны Екатерины Павловны, который препроводили мы не в любезном Павловске, а в Таврическом дворце, при весьма дурной погоде и страшной буре. Изъявление вашей ко мне приверженности всегда для меня приятно, и я, будучи совершенно в оной уверена и питая соответственное к вам благорасположение, желаю искренно вам благополучнейшего успеха в делах и предприятиях ваших…» Но тут Мария Федоровна не удовлетворяется применением такой формулы эпистолярной вежливости и добавляет нечто лиричное и многозначительное: «Я была в Павловске, дом ваш в вожделенном здравии и службы на месте, но все очень пусто и не похоже на себя, мы часто о вас помним, я надеюсь, что вы то же делаете»12. От последних, таких теплых, с подтекстом строк у Багратиона не могло не сжаться сердце — большей симпатии к подданному императрица, всегда следовавшая строгим нормам этикета, не могла выразить. Особенно многозначительно это «мы» («мы часто о вас помним»), В контексте письма с благодарностью за поздравления Екатерины Павловны с днем рождения следует, что речь идет об обеих прекрасных женщинах. В начале июня 1807 года, то есть в дни Тильзита, Багратион получил еще более теплое свидетельство благорасположения императрицы, которая, еще не зная о Фридланде, писала ему почти как близкому человеку с характерным для таких отношений обращением, причем написанным по-русски собственноручно: «Я надеюсь, батюшка, что вы о нас… часто думаете. Дайте нам скоро хорошие известия и после славной победы возвращением к нам в добром здоровьи, и вы увидите, с какою радостию мы вас примем»13. Отмечу, что бывший тогда же в Тильзите князь А. Б. Куракин, посланный императрицей Марией с миссией выдать Екатерину Павловну за австрийского императора, не скрывая своей обиды, писал государыне из Тильзита: «Умоляю ваше величество выразить от меня ея высочеству великой княжне Екатерине мое крайнее огорчение о том, что она до сих пор не почтила меня ни одной строчкой, между тем как Багратион получил от нея, как он мне говорил, уже три письма. Узнав это, я не мог преодолеть чувство зависти, которое не могу не высказать ей чрез ваше величество»14.

После возвращения Багратиона из-под Тильзита и начинаются его «золотое» павловское лето и такая же «золотая» осень в компании Марии Федоровны и Екатерины Павловны.

Екатерина, мечтающая стать императрицей

Но не только вспыхнувшая на аллеях Павловского парка страсть могла на время соединить Катиш с Багратионом. Многие замечали обычно не свойственную девушкам царской семьи волю, смелость, целеустремленность Катиш, ее раскованность и интерес к вопросам политики. Князь А. Б. Куракин, хорошо ее знавший, писал: «Она обладает умом и духом, соответствующим ее роду, имеет силу воли, она не создана для тесного круга, робость ей совершенно не свойственна, смелость и совершенство, с которыми она ездит верхом, способны возбудить зависть даже в мужчинах».

Как известно, Екатерина Павловна была во власти патриотических и довольно консервативных идей. Ниже, чтобы не нарушать хронологию изложения материала, в главке «Тверские Афины», об этом будет сказано подробнее, но теперь отметим, что идей, которые разделяла Екатерина Павловна, не был чужд и князь Петр Иванович. Так что и поговорить с заядлым русофилом Багратионом Екатерине Павловне было о чем. Важно отметить, что решительные, подчеркнуто «прорусские» настроения великой княжны проявились как раз в 1807–1808 годах, в годы наибольшего сближения с Багратионом. Екатерина Павловна открыто осуждала Тильзитский мир и соглашательство своего брага с «узурпатором Буонопарте», считала наполеоновскую Францию самым опасным врагом России. Летом 1808 года она вместе с матерью пыталась отговорить государя от поездки в Эрфурт на встречу с Наполеоном. В литературе бытует мнение, что в русских верхах существовала некая «русская партия», которая отражала антифранцузские (да и проанглийские и пропрусские) настроения значительной части высшего русского общества. Очень многое дают записные книжки французского посланника при русском дворе А. Коленкура, который внимательно следил за всеми нюансами придворных интриг и настроений при русском дворе и вносил услышанное им в свои записные книжки, а потом и в донесения. Вот что он писал о Екатерине Павловне: «Многие хотят усмотреть в великой княгине Екатерине все такое, что в будущем отзовется громко. Она в переписке с большей частью видных генералов, она показывает вид, что возобновляет отношения с ранеными генералами и офицерами и отличает их, она ласкает русских стариков, переписывается с ними об искусствах, науках или литературе. Говорили, будто бы она старается доказать всем, что способна воскресить все великие воспоминания, на которые указывает ее имя (то есть славные времена императрицы Екатерины Великой. — Е. А.). Она старается быть более русской, чем ее семья, или по вкусам, или по обычаям, со всеми разговаривает,

объясняясь легко и с уверенностью сорокалетней женщины. Все это не ускользает от иных наблюдателей, которые видят в ней орудие ее матери, всегда отличавшейся властолюбием. Государь же слишком доверчив. Великой княгине приписывают злословие по отношению к испанским делам, что, по словам приближенных, снова отдалило императрицу-мать и ее дочь от принятой системы (имеется в виду курс Александра на сближение с Францией. — Е.А.)… Это злословие состоит в том, что она предпочла бы лучше стать женою попа, чем государыней в стране, находящейся под влиянием Франции». В этой записи много верного: и честолюбие внучки великой Екатерины, и ее стремление быть «истинной русской», и выражение радости по поводу проблем, с которыми Наполеон столкнулся в Испании. Что же касается того, что Екатерина — орудие в руках ее матери Марии Федоровны, то с этим можно поспорить — Екатерина сама была личностью волевой и активной и если не подчиняла мать себе, то действовала с ней вместе, как видно из истории с австрийским сватовством. Запись Коленкура от 22 февраля 1809 года: «По слухам, у императрицы-матери произошло с государем несколько таких горячих сцен по поводу австрийских дел, что она падала на колени и вся в слезах упрашивала его по крайней мере не принимать участия в войне с этой державой»15. Коленкур добавляет, что она заставляет ходатайствовать об этом и Екатерину. Действительно, известно, что Мария Федоровна резко возражала против войны с Австрией, в которую, на правах союзника, втянул в 1809 году Россию Наполеон. Опять подчеркнем, что антинаполеоновские взгляды матери и дочери разделяли в России многие. Особенно важна для нас запись А. Коленкура от 19 августа 1809 года. Он пишет, что император Александр сидит в Петергофе, «боясь быть свергнутым в городе». «Нужно, говорят, возмутиться, поднять сто тысяч человек и разместить их по полкам. Нужно поставить императрицу-мать во главе правления до совершеннолетия великого князя Николая (ему было 10 лет). Другие говорят, что надо провозгласить императрицею великую княгиню Екатерину (в этом месте публикатор записей Коленкура П. Бартенев замечает, что в 1854 году об этом ему говорила близкая ко двору фрейлина А. И. Васильчикова. — Е.А.). Багратион пусть будет командующий Дунайской армией, так как старый фельдмаршал Прозоровский впал в детство». Кроме того, Коленкур сообщает, что заговорщики замыслили так изменить течение дел: оставить в Валахии генерала Милорадовича с небольшим корпусом для сдерживания турок, остальные войска перебросить в Галицию и на западную границу, помириться с Англией, а главное — изменить

отношения с Францией: войны с ней не начинать, но к войне готовиться. Предполагалось арестовать сторонников Франции в руководстве: канцлера Н. П. Румянцева, адмирала Чичагова и М. М. Сперанского16. Хотя сведения, собранные Коленкуром, и кажутся сомнительными, но будем помнить, что в 1762 году осуждаемая обществом внешняя политика Петра III по сближению с Пруссией стала одной из причин дворцового переворота, свергнувшего императора и позволившего прийти к власти его жене Екатерине. Были примеры и совсем свежие. Считается, что резкий поворот России на сближение с Францией и Турцией против Англии, бывшей традиционным союзником России, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения противников императора Павла I, совершивших в 1801 году переворот. Так что полностью отбрасывать возможность свержения «нашего ангела» не следует. Слухи о таком заговоре ходили со времен Тильзита. Примечательно, что после заключения там договора общественное мнение было настроено против соглашательства с Наполеоном. Шведский посланник Стединг писал: «Неудовольствие против императора все увеличивается… и императору со всех сторон угрожает опасность. В обществе говорят открыто о перемене правления и необходимости передать престол по женской линии — возвести на престол великую княжну Екатерину»17. Багратион, боевой генерал, преданный дочери вдовствующей императрицы, мог оказать заговорщикам важную услугу. Но этого не произошло.

Александр не был похож на своего упрямого отца. Как раз после 1809 года он под влиянием многих обстоятельств постепенно отошел от края пропасти, куда вела его дружба с Наполеоном. В немалой степени он был обязан этому и своей сестре, которую очень любил и к мнению которой прислушивался. Неслучайно, что он зачастил в Тверь, где тогда жила Екатерина Павловна, вел с ней долгие разговоры и писал ей письма.

Ужас корсиканской любви

Неизвестно, кто победил бы в семейном споре императора Александра с матерью и сестрой, но тут у Романовых пошла голова кругом от новой обрушившейся на них напасти. Как черт из табакерки выскочил еще один жених Катиш, да какой! Набравший силу и возмечтавший о мировой наследственной империи французский император Наполеон решил развестись со своей бездетной супругой Жозефиной и искал по всей Европе

достойную своего положения партию. И вот, желая сделать приятное себе и своему новоявленному другу Александру, с которым они только что якобы подружились на плоту под Тильзитом, император французов стал (через посла в России А. Коленкура) зондировать возможность брака с… Катиш! Сам царь оказался в весьма щекотливом положении — сомнительная тильзитская дружба только начиналась, франция была как никогда сильна, прямо отказывать Бонапарту было непросто, да и, объективно говоря, Атександр понимал, что родство с Наполеоном давало новый, выгодный России поворот в международных отношениях. Конечно, корсиканец — грубиян, парвеню, узурпатор, но он — гений. Наконец, ставка тоже немалая и для Катиш — ведь она будет французской императрицей, это не хуже, чем быть австрийской; к тому же родственные связи с Французской империей были бы необычайно полезны России. В общем, Александр не отказывал, но и не давал согласия — тянул время и в разговоре с Коленкуром ссылался на волю матери, которая для него, послушного сына, была, как он утверждал, непреложным законом. А тем временем Мария Федоровна и Катиш встали, как гвардейцы, в каре и отчаянно отбивали атаки Александра и проклятого Буонапарте. Аристократические предрассудки оказались выше династических и политических выгод. Катиш решительно заявила, что готова пойти «за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца» (выше мы видели, как Коленкур смягчил остроту высказывания Екатерины). Как писала сведущая в этом деле фрейлина Фосс 22 марта 1808 года, «Наполеона страшно бесит то, что великая княжна Екатерина не желает вступать с ним в брак. Эту принцессу следует уважать: она умеет быть твердой, ах, если бы брат ее также умел быть твердым».

Итак, в первый раз Наполеон, к своей досаде, потерпел поражение в заочной битве с Марией Федоровной. Забегая вперед скажем, что будет еще одно победное для нее династическое «сражение», когда, потерпев неудачу со сватовством к Катиш, он посватается к младшей сестре императора Анне.

Естественно, тактикой «обороняющейся» стороны было промедление с ответом. Наполеон между тем спешил — в семейных делах он поступал так же решительно, как и на поле боя. В конце концов ему надоело ждать и после повторного сватовства — уже к Анне Павловне, он плюнул на спесивый Петербург и посватался к принцессе Марии Луизе, дочери того самого австрийского императора Франца, брак которого с Катиш из-за противодействия ее брата в 1807 году не состоялся. Но в те месяцы, когда еще шло сражение с «иродом», Мария Федоровна

понимала: сопротивляться долго нельзя, нужно срочно найти другую партию для Екатерины. В итоге неожиданно в мужья Катиш был взят принц Гольштейн-Ольденбургский Петер Фридрих Георг, хотя некоторые исследователи считают, что замысел брака с Георгом появился раньше Эрфурта как следствие неудачи австрийского проекта.

Принц Гольштейн-Ольденбургский осенью (или весной — неясно) 1808 года приехал с отцом в Россию. Он был бездомен: его герцогство Наполеон включил в Рейнский союз, и там управляли люди французского императора. Формально принц приехал, чтобы поступить на службу, но оказалось, что именно на него как на возможного жениха упал взгляд Марии Федоровны. Ему было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. Георг не обладал ни красивой внешностью, ни умом, к тому же во времена, когда военное ремесло было главным для мужчины, он хотел идти только на гражданскую службу. Однако принц Георг слыл человеком образованным и добрым. Как писала своей матери императрица Елизавета Алексеевна, «наружность его малоприятна и даже разительно неприятна на первый взгляд, хотя русская военная форма его очень украшает. Но характер его хвалят непрестанно, он образован и наделен здравым смыслом… Я никогда бы не подумала, что он способен внушить любовь, но великая княжна Екатерина уверяет, что ей нужен муж, а внешности она не придает никакого значения. Весьма благоразумно»18. Брачное дело было окончательно решено уже осенью 1808 года, когда Багратион отбивал шведский десант и вел своих солдат в атаку.

Современники удивились поспешности выбора Екатерины. Законы церкви не приветствовали брак между близкими родственниками — а ведь Георг приходился Екатерине кузеном. Но не будем также забывать, что перед угрозой брака с ненавистным корсиканцем в Петербурге особенно затягивать с выбором не могли… Поэтому в семье Романовых закрыли глаза на близкое родство, на то, что жених беден, «простоват», некрасив, но зато были рады, что он добрый и честный малый. Сардинский посланник Жозеф де Местр писал по этому поводу: брак великой княжны с принцем Ольденбургским, конечно, неравен, но в данной ситуации Екатерина Павловна поступает благоразумно, ибо «всякая принцесса из семьи, которая пользуется страшной дружбой Наполеона, поступает весьма дельно, выходя замуж даже несколько скромнее, чем имела бы право ожидать»… Он же отмечает, что жених проигрывает невесте в красоте и обходительности: «Ничто не сравнится с добротой и приветливостью великой княгини. Если бы я был живописцем, я

бы послал вам изображение ее темно-синих глаз, вы бы увидели, сколько доброты и ума заключила в них природа… Что касается принца, то здешние девицы не находят его достаточно любезным для его августейшей невесты; по двум разговорам, коими он меня удостоил, он показался мне исполненным здравого смысла и познаний. Какая судьба в сравнении с судьбой многих принцев!»

Жених и невеста были обручены 1 января 1809 года, а свадьба, со всей присущей свадьбам в царском дворце торжественностью, состоялась 18 апреля 1809 года. Впрочем, во время венчания в церкви и на свадебном балу все смотрели не столько на невесту, сколько на двух красавиц, которым, кажется, одновременно принадлежало сердце императора Александра: на заморскую гостью — бесподобную прусскую королеву Луизу и туземку — блистательную Марию Антоновну Нарышкину, фаворитку Александра 1. Медовый месяц новобрачных прошел в Павловске, столь памятном для Екатерины ее романом с Багратионом. А в конце августа новобрачные уехали в Тверь.

Но еще летом 1808 года, пока Багратион, до отъезда в армию в июле, находился в столице или в Павловске, в камер-фурьерских журналах перестают появляться записи, свидетельствующие о романтических прогулках с ним Екатерины Павловны. Может быть, Катиш нужно было настраиваться на новую роль супруги, а может быть, погода в это лето стояла плохая и прогулки были невозможны. Как бы то ни было, в журнале отмечено лишь присутствие Багратиона на общих обедах…

По сохранившимся письмам Марии Федоровны к Багратиону видно, что ситуация для него довольно существенно изменилась. Багратион огорчен, а императрица его ободряет, стремится подтвердить свою симпатию и доверительность. 3 февраля 1809 года, то есть месяц спустя после обручения Екатерины с Георгом, императрица писала Багратиону, бывшему тогда в Финляндии: «Князь Петр Иванович! Я, пользуясь отъездом камер-юнкера Ланского, чтоб напомнить вам о себе и показать вам, что и в отдаленности я сохраняю одинаковое к вам благорасположение. Хотя я и надеюсь, что вы в том не сумневаетесь, однако я нахожу удовольствие повторять Уверение о неизменности онаго. При сем случае прошу вас сказать мне, когда можно будет определить и где найти того Унтер-офицера вашего полку, которого рекомендовали вы мне в Гатчине к помещению на полицмейстерскую ваканцию в Екатерининском училище, в нем настоит крайняя надобность: зделайте мне удовольствие и прикажите ему явиться либо в сие училище, или в мою канцелярию. В прочем будьте уверены, что я с истинным

доброжелательством пребываю вам всегда благосклонною… Мария». И опять старый, времен 1807 года, припев: «Будьте здоровы и помните нас»19. И вот письмо Багратиона от 25 апреля 1809 года. Он поздравил Марию Федоровну с событием, которое вряд ли для него было радостным. Багратион просит принять «поздравление на случай бракосочетания Ея императорского величества государыни великой княгини Екатерины Павловны. Всемилостивейшая государыня, удостойте принять поднесение мое с свойственною вашей императорскому величеству милостию и простите великодушно такую смелость доброму салдату, коего сердце более чувствует, нежели перо когда-нибудь выразить может»20. В последнем пассаже невозможно не усмотреть явного подтекста. Багратион, прекрасно умевший выражаться витиевато, ограничивается лишь сухим поздравлением, ссылаясь якобы на свое неумение солдата (а жених Екатерины был, как известно, сугубо штатский человек) выражать письменно свои чувства. А что сердце Багратиона «более чувствует», понять нетрудно — горечь, сожаление, печаль.

Словом, в июле 1809 года, после возвращения из Финляндии, Багратиона неожиданно послали в Молдавскую армию князя Прозоровского. Современники полагали, что за этим стоял гнев императора, узнавшего, что роман сестры с Багратионом, несмотря на ее замужество, продолжается. По другой версии, Багратион в это время якобы пытался наладить отношения с уже замужней Екатериной и этим вызвал гнев государя. Кажется, что последнее предположение имеет под собой реальную основу. Сразу же после смерти Багратиона между Ярославлем, где пребывала тогда Екатерина с мужем, и Петербургом зачастили курьеры — началась довольно нервная переписка сестры с братом. В письме от 13 сентября 1812 года Екатерина просила государя: «Пишу это письмо, чтобы сказать вам о предмете, который для меня мучителен и сам по себе, и из-за его щекотливости. В конце концов, признание моих ошибок и стечение обстоятельств могут снискать мне прощение и ваше согласие на мою просьбу. Вчера вечером умер Багратион; тот, кто доставил письмо, видел его мертвым, а один из его адъютантов говорил, что он на краю смерти: значит, это верно. Вы помните о моих отношениях с ним, и что я вам говорила, что у него в руках имеются документы, способные меня жестоко скомпрометировать, попав в чужие руки. Он мне клялся сто раз, что уничтожил их, но, зная его характер, я всегда сомневалась, что это правда. Для меня бесконечно важно (зачеркнуто: «да, пожалуй, и для вас гоже»), чтобы подобные документы не получили известность. Я прошу вас милостиво приказать

опечатать его бумаги и доставить их вам, и позвольте мне их просмотреть и изъять то, что принадлежит мне. Они должны находиться или у князя Салагова (которому Багратион оставлял бумаги на хранение. — Е.А.)… или при нем самом… Дело не терпит отлагательств; ради Бога, пусть никто не заглядывает внутрь, потому что это меня скомпрометирует чрезвычайно…»21

Итак, очевидно, что между любовниками велась интенсивная переписка, по-видимому весьма интимная. Екатерина Павловна проявляла почти паническую тревогу по поводу того, что ее письма к Багратиону могут попасть в чьи-то руки. Несомненно, это были любовные письма — что еще может «скомпрометировать чрезвычайно» замужнюю женщину? Боязнь Екатерины особенно усиливалась из-за того, что Багратион, как она считала, письма не уничтожил после заключения ее брака с Георгом. Примечательна фраза из ее письма: «…зная его характер». Это говорит о многом: во-первых, об умении Екатерины изучать и знать характеры и привычки людей и, во-вторых, либо о характерном для Багратиона упрямстве, либо о его глубоком чувстве, не позволявшем ему уничтожить письма своей возлюбленной, несмотря на то, что он «мне клялся сто раз». Последняя фраза может означать, что уже после расставания в связи с браком Екатерины между ними были многочисленные контакты (личные или письменные). Это с несомненностью вытекает и из письма Екатерины Александру от 15 ноября 1812 года: и после свадьбы Екатерины и Георга, до своего отъезда в Бухарест, Багратион пытался (хотя и тщетно) восстановить с ней отношения. Происходило это, наверняка, летом 1809 года, когда молодожены жили в Павловске, потом в Константиновском дворце в Стрельне. В начале осени они уехали в Тверь. Багратиона тогда уже не было в столице — с 25 июля он находился в Молдавской армии.

В августовском 1812 года письме Екатерина сообщала брату, что связь окончательно оборвалась «после моей свадьбы и последней предпринятой им попытки сближения, он уехал в Молдавию и, очевидно, тогда же их (письма. — Е. А.) сжег, Увидев, что его надежды тщетны». Но при этом она, повторюсь, не была в этом уверена. 24 сентября и в последующие дни император написал Екатерине несколько писем, в которых рассказывал о предпринимаемых им поисках. В них шла речь о том, как расспрошенный о деле князь Салагов сообщил, что одно время хранил документы покойного, но потом отдал их некоему Чекуанову, грузину, служившему в придворной охоте. При этом Салагов выразил готовность пойти к этому человеку, уверяя, что знает коробку, в которой должны лежать самые интересные документы покойного. Исполнив это намерение, Салагов пришел

доложить, что обнаружил у Чекуанова только текущие служебные документы, а маленькую шкатулку (вероятно, с письмами) Багратион у него забрал, когда в последний раз уезжал из Петербурга. Князь Салагов советовал послать за ней Чекуанова с фельдъегерем в Симу (Владимирской губернии), где в имении Б. А. Голицына умер Багратион. Царь выражал опасения, как бы шкатулка не оказалась в руках семейства Голицыных, однако на этот счет пришли утешительные сведения от графа Сен-При, который был в Симе, и в присутствии которого опечатали все бумаги Багратиона. Государь писал сестре, что послал надежных людей с необходимыми письмами и надеется добыть желаемое и отослать сестре «так, чтобы никто не подумал, что ее что-то связывает с покойным». «Вот я и выполнил поручение, — писал император, — со всем старанием и усердием, какое придаю всему, что касается вас». 28 сентября 1812 года Екатерина отвечала брату, что тронута его деликатностью, с какой он взялся за выполнение ее просьбы по поводу бумаг Багратиона, и сожалеет, что ее былые ошибки увеличивают число его забот. 8 ноября 1812 года император отвечал Екатерине, что вернулись фельдъегерь с грузином Чекуановым и привезли огромную связку бумаг. В описи имущества Багратиона, составленной после его смерти, против раздела: «Бумаги: 23) Рескриптов разных Государей, собственно до лмиа Его сиятельства касающихся, — 1 пакет; 24) Щетов — 2 пакета; 25) Писем партикулярных разных особ — пакет 1; 26) Портфель красный с бумагами — один», на полях сохранилась запись: «Бумаги все отправлены к государю»22. «Я было принялся их разбирать, — писал император сестре, — они были в полном беспорядке, и если бы там не находилась вся секретная военная переписка, необходимая в настоящих обстоятельствах, то послал бы все вам… Но через несколько дней поисков я убедился, что наши розыски напрасны, и, кроме четырех прилагаемых мною писем, написанных рукой Виламова», все остальное — это деловые бумаги и несколько писем жены Багратиона. Те шесть связок, что Салагов сразу принес от грузина, государь тоже разобрал (еще несколько дней работы) и ничего примечательного там не нашел. По указу императора опросили адъютанта Багратиона Брежинского, и тот уверял, что Сен-При опечатал абсолютно всё, и никаких других бумаг не осталось. Важно, что тогда же Салагов сказал, что он сам видел, как перед отъездом в Молдавскую армию Багратион сжег какие-то документы. Скорее всего, это и были письма Екатерины Павловны.

Известно, что еще из Молдавии Багратион поддерживал переписку с Марией Федоровной. 14 октября 1809 года он писал

ей из Силистрии, выражая благодарность за оказанное внимание (значит, было и ее, недошедшее до нас, письмо к Багратиону!), приносил «всеподданнейшую глубочайшую благодарность, от нелицемерных чувствований сердца проистекающую». И далее, в пышных выражениях поздравляя Марию Федоровну с днем рождения, завершал письмо словами: «Испрашивая себе продолжения милосердного ко мне расположения Вашего императорского величества с глубочайшим благоговением есмь»21. Формальные, ни о чем существенном не говорящие ритуальные слова. Такими же формулировками наполнено и поздравление императрице с Новым годом от 6 января 1810 года, отправленное из Слободзеи: «Удостойте, всемилостивейшая государыня, сию простую жертву сердца моего благосклонного приятия. Сие изъяснение чувствований моих может быть только слабым доказательством моей к освященнейшей особе вашей преданности, которая есть необходимое последствие усердия моего к службе Всеавгустейшаго моего монарха. И то и другое — суть единые основания, по коим осмеливаюсь всеподданнейше (просить) милости Вашего императорского величества, коей соделаться достойным я тщитца не престану». В этих, также формальных, словах можно усмотреть некий подтекст: прежняя преданность императрице и усердие на службе государю — это всё, что после «золотого» 1807-го и «серебряного» 1808 года связывало Багратиона с царской семьей.

Любовь, даже братская, ревнива

Итак, в 1810 году Багратион утратил прежнее доверие государя. За этот год камер-фурьерские журналы уже не отмечают застолий царской семьи с его участием. Коленкур писал 17 августа 1810 года: «Приехал князь Багратион. Государь не пожелал его видеть». Между тем сам государь часто ездил в Павловск. Там как раз находилась только что родившая сына Екатерина Павловна, которая, правда, меньше привлекала внимание Александра, «чем ее компаньонка девица Муравьева»14.

По-видимому, охлаждение Александра к Багратиону было связано как с неудовольствием государя действиями генерала в Молдавии (о чем ниже), так и с упомянутыми выше попытками Багратиона вновь сблизиться с Екатериной Павловной — а это могло происходить только после его возвращения из Молдавии. Это, вероятно, было воспринято государем болезненно, ибо как раз с лета 1810 года он как бы заново знакомится с младшей

сестрой и даже отчасти ею увлекается.

Великий князь Николай Михайлович, автор книги о Елизавете Алексеевне, отмечал, что причины неприязни императрицы к Екатерине Павловне и Марии Федоровне крылись не только в «совершенной разности характеров и помышлений», не только в том неуважении, которое свекровь выказывала невестке при дочерях: «…явное расположение Александра к этой сестре, которой он особенно доверял, не могло не возбуждать некоторой ревности со стороны Елисаветы»25. Отзыв фрейлины Марковой-Виноградовой наводит на ту же мысль: «Она (Катиш. — Е. А.) была совершенная красавица с темными каштановыми волосами и необыкновенно приятными, добрыми карими глазами (вспомним, что де Местру глаза показались темно-синими. — Е. А.). Когда она входила, делалось как будто светлее и радостнее. Говорили, что император Александр 1 восхищался ею и был даже влюблен»26.

Кажется, что между братом и сестрой были особенные отношения, исполненные необыкновенной теплоты и даже игры, не лишенной в некоторые моменты элементов эротизма. Сохранившиеся письма императора к Екатерине — уникальный источник, очень многое говорящий об Александре, который со стороны многим казался двоедушным и неискренним. Возможно, для других людей он и был таким, но в письмах к сестре он раскрывается совсем с другой стороны. Обращаясь к сестре, Александр никогда не называет ее по имени. Он пишет «chere et bonne amie» или «chere bonne amie», то есть «дорогой и добрый друг», или, точнее, «подруга». Еще чаще император, обращаясь к сестре, пользуется детскими прозвищами, принесенными из прошлого. Екатерина Павловна в разных вариантах зовется «Bissiam Bissiamovna» (Бисям Бисямовна или Бизям Бизямовна — наверно, от «Обезьяна Обезьяновна»), очень часто — «Chere Biskis». Есть даже обращение «Chere Рожа de топ ате» — «Дражайшая Рожа души моей». Это кажется вполне естественным. Как часто бывает в дружных семьях, в которых братья и сестры любят друг друга, у каждого есть своя кличка, прозвище, связанное с каким-нибудь смешным эпизодом, словечком, причем для посторонних (в том числе и для нас) происхождение этих прозвищ остается тайной. Так. старшие и младшие сестры Екатерины тоже имели свои прозвища: великая княжна Мария Павловна именуется в переписке «Клеопова», а самая младшая, Анна, упоминается как «Monsieur Анна Павловна». Эти прозвища и кое-какие другие намеки и словечки из общего — детского, юношеского — семейного обихода показывают, что давно уже взрослый император и его юная младшая сестрица (младше его

на 11 лет) по-прежнему были связаны тесными родственными узами. Кстати, она ему — старшему брату и монарху — чаще всего пишет почтительно: «Chere Alexandre». Очень теплыми были и прощальные строки в письмах императора: «Ваш (или “преданный Вам”) всей душой и сердцем на всю жизнь». После того как Екатерина Павловна вышла замуж, тон переписки меняется, она утрачивает прежнюю юношескую игривость, хотя остается нежной и даже трогательной. Постепенно меняется и содержание писем. С годами Екатерина становится одним из самых близких императору людей. Оказывается, что она не просто хорошо разбирается в государственных делах, но и имеет свой устоявшийся взгляд на многие проблемы, даже некую систему, не во всем схожую с той, в рамках которой мыслит Александр. К тому же Екатерина, любя брата, остается сама собой и откровенно высказывает ему свои, иногда весьма резкие, суждения. Особенно это примечательно для тверского этапа ее жизни.

Тверские Афины

Дело в том, что в царской семье было решено не выпускать в это страшное время Катиш с мужем в Европу, на земли, захваченные Наполеоном, а оставить их в России. Поэтому император Александр I назначил принца Георга генерал-губернатором Твери. Ему было поручено ведать состоянием водных путей — в подведомственных генерал-губернатору губерниях (Новгородской, Тверской и Ярославской) располагались главные водные системы — Мариинская, Вышневолоцкая и Тихвинская. И надо отметить, что принц Георг оказался человеком ответственным, старательным и тотчас с головой погрузился в дела. У Екатерины тоже нашлось занятие. Постепенно вокруг нее сложился интеллектуальный кружок, этакие «тверские Афины». Тут важно напомнить, что Екатерина придерживалась подчеркнуто патриотических, отчетливо антизападных взглядов и в этом отчасти противоречила брату. Уже ее приезд в Тверь всех удивил. Как вспоминала одна из придворных дам, тверская губернаторша Ушакова сказала в обществе: «Странно, право, слышать, как хорошо великая княгиня русским языком владеет». Эти слова дошли до великой княгини, и она на ближайшем приеме подошла к губернаторше и заметила ей: «Удивляюсь, Варвара Петровна, что вы странного нашли, что я, русская, хорошо говорю по-русски!» С гордостью она писала: «On peut etrefier dl etre Russe, clest au moins le sentiment de mon

ame»: «Можем гордиться, что мы — русские, по крайней мере эти чувства переполняют мою душу». Вспомним, о чем писал еще до войны наблюдательный Арман де Коленкур: «Она старается быть более русской, чем ее семья, или по вкусам, или по обычаям». Вообще, строй мыслей Екатерины, когда она пишет о политике, России, кажется весьма возвышенным и немного театральным. Очень точное выражение — «старается быть более русской». В частном письме 1812 года она выражается словами, которыми обычно пишут манифесты: «Россия в борьбе со всеми соединенными силами Европы как будто склоняется перед их бурным потоком, но скоро вновь воздвигнет чело свое и явится во всем блеске и величии… Все мы терпим по одной причине, мы терпим за Мать, за славную Россию, но можем ею гордиться и гордо скажем порабощенным иноземцам…» И далее идут суровые, в стиле пьес Кукольника и других драматургов, гордые слова упрека и осуждения Запада. И заканчивает Екатерина, так сказать, под звон колоколов финала оперы «Жизнь за царя»: «Россия была вторая в Европе держава, теперь и навеки она первая, и скоро к стопам ее прибегнут цари, моля о мире и покровительстве. Веселитесь мыслию сею, она не мечта, но истина». Мало того, что эти слова для следующего периода русской истории стали, действительно, пророческими. Сказаны они были в ноябре, когда Наполеон отступал, но будущее было еще далеко не так ясно, как это видела Екатерина". Так она писала Н. М. Карамзину, который часто бывал в салоне Екатерины Павловны. Там велись разговоры о политике. Иначе было невозможно: как и в другие времена, Россия тогда стояла на перепутье — куда дальше идти и с кем. Карамзин высказывал мысли, созвучные мнению Екатерины Павловны. А взгляды ее были, как уже сказано выше, довольно консервативными. Это видно из переписки Екатерины Павловны и отзывов ее современников. По ее заданию Ростопчин сочинял записку об истории масонов в России. По тону этой записки видно, что ни автор, ни читательница не уважали мартинистов, считали, что они дурно влияют на государя… Часто слушавшая чтение глав «Истории» Карамзина, Екатерина предложила историку написать размышления о прошлом и будущем России. Тот согласился — так появилась публицистическая «Записка о древней и новой России». История этого небольшого произведения Карамзина уникальна. Написанное в 1811 году, оно было опубликовано только в начале XX века. Но гак получилось, что среди самиздата XIX века «Записка» Карамзина занимала одно из первеиших мест вместе с мемуарами француза Кюстина. Тогда не знать «Записку» Карамзина мог только невежда. В чем же ее значение? В ней

Карамзин оспаривал взгляды западников на историю России, полемизировал с политическими концепциями М. М. Сперанского. Многие места «Записки» важны для русского человека и до сих пор. Карамзин размышляет над тем, что реформы Петра Великого прервали развитие России, ее медленное, но поступательное движение к Европе. Карамзин был убежден, что Петр «не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому. Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев, он есть не что иное, как уважение к своему народному достоинству, не что иное, как привязанность к нашему особенному… Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. А презрение к себе располагает ли гражданина к великим делам… Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России». Но все же, признает Карамзин, «сильною рукою дано новое движение России, мы уже не возвратимся к старине». Так о великом реформаторе никто в России еше не говорил. Когда в марте 1811 года в Тверь приехал император Александр, он благосклонно слушал главы «Истории», а ночью, перед отъездом, Екатерина дала ему почитать карамзинскую «Записку». Это сочинение государю не понравилось: Александр был отъявленным западником, России не любил, взгляды Екатерины и Карамзина на прошлое и будущее страны не разделял.

При этом, в отличие от других членов семьи, Екатерина Павловна, как сказано выше, имела с Александром очень близкие, сердечные отношения и оказывала на него определенное влияние (насколько это было возможно в отношениях со скрытным императором). Многие историки убеждены, что в немалой степени благодаря интригам Екатерины Павловны был свергнут и отправлен в ссылку первейший советник Александра, идеолог западнических реформ Михаил Михайлович Сперанский. Известно, что Екатерина, как и другие члены придворной камарильи, люто ненавидела этого поповича — выскочку, забравшего такую большую власть. Родовая спесь соединялась в Екатерине Павловне с ожесточенным неприятием западнических идей Сперанского, мечтавшего увести самодержавную Россию на путь конституционного правления. Была тут и месть разгневанной честолюбивой женщины — в 1808 году из Швеции приехало посольство приглашать на трон в Стокгольм принца Георга, но Сперанский уговорил государя отклонить это предложение, так как ситуация в Швеции была запутанной. А ведь Катиш могла стать шведской королевой! Но более

существенную роль сыграли идеологические расхождения Сперанского и Екатерины Павловны. Неслучайным кажется и то обстоятельство, что на посту государственного секретаря Сперанского сменил адмирал Шишков, чьи антизападные взгляды были общеизвестны.

Екатерина Павловна была влиятельнейшей особой при русском дворе, и в тверской период ее жизни это влияние постоянно возрастало. В 1811 году сардинский посланник Жозеф де Местр писал королю Виктору Эммануилу о том, что Александр и Елизавета совсем отдалились друг от друга и что при всех прекрасных качествах императрицы нельзя отрицать, что в ее поведении есть некая негибкость, которая ей страшно вредит, тогда как «партия противников императрицы не упускает случая воспользоваться тем, что она в немилости. Великая княгиня идет в гору, по мере того как ее несчастная невестка нисходит вниз. Кажется, я знаю наверное, что ее авантюрист-супруг станет генерал-губернатором Москвы: ничего более неблагоразумного невозможно вообразить. Мальтийский дворец, предложенный великой княгини, ей не подошел, так что пришлось дать ей Аничков, который я вижу у себя из окон и где размещался Императорский Кабинет… Чтобы изменить назначение этого дворца и подготовить его к приему августейшей княгини, потратили гигантскую сумму»-.

Свержение Сперанского произошло накануне нашествия Наполеона в 1812 году, которое заслонило собой все другие события. Екатерина Павловна оставалась в Твери, организовывала народное ополчение, даже сформировала свой егерский батальон. На киверах солдат был помешен ее герб с короной. Екатерина потом писала: «Всего более сожалею я в своей жизни, что не была мужчиной в 1812 году!» Но и в Твери хватаго забот. Французы шли к Москве, Тверь и окрестные губернии с их водной системой оказались крайне важны для связи с Петербургом. Тверь вдруг сделалась ближним тылом, куда хлынули потоком тысячи раненых. Катиш с мужем с головой ушли в заботы о них. Отступление русской армии сильно огорчало Екатерину Павловну и ее друзей. Конечно, они обвиняли генералов в беспомощности, подозревали масонский заговор и осуждали императора. Осенью 1812 года Екатерина даже написала брату письмо, в котором фактически обвинила его в трусости, корила его за назначение главнокомандующим неудачника Кутузова и т. д. Император был вынужден отвечать ей и в сущности отчитываться перед сестрой в том, что он делал этим летом и осенью: «Перейду теперь к предмету, касающемуся меня гораздо ближе, — моей личной чести. Если я доведен до унижения останавливаться на этом, то

скажу вам, что гренадеры Малорусского и Киевского полков могут засвидетельствовать вам, что я не хуже всякого другого спокойно выдерживаю огонь неприятеля. Но мне… не верится, чтобы речь шла о подобной храбрости, и я полагаю, что вы говорите о храбрости духа. Останься я при армии, может быть, мне удалось бы убедить вас, что я не обделен и таким мужеством… После того, как я пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию, где полагали, что я приношу вред, снимая с генералов всякую ответственность, не внушаю войску никакого доверия. Ведь я поступил, как того желали…»

Конец 1812 года оказался трагичным для Екатерины: 27 декабря, заразившись тифом во время посещения воинского госпиталя, неожиданно умер Георг. От него у Екатерины к тому времени было уже два сына. «Я потеряла с ним все», — писала Екатерина Павловна. Она впала в глубокую депрессию, и ее увезли в Петербург. Так кончилась ее тверская жизнь, так закрылись тверские Афины… А переписка Екатерины Павловны с братом продолжалась. Екатерина и Александр, разделенные расстоянием, оказавшись в одиночестве, будто заново обрели друг друга, будто влюбились друг в друга. К этому времени Александр разорвал отношения с фавориткой Марией Нарышкиной, а Екатерина никак не могла освоиться с печальным положением вдовы. Они переписывались так часто и писали так помногу, что письма их образовали огромный том. О чем эти письма? Обо всем, что волновало их, — не будем забывать, что это был век болтливых и многословных писем. Но, может быть, только в этой переписке с сестрой Александр раскрывается по-настоящему, становится искренним и даже беззащитным. Екатерина великолепно чувствовала брата, они понимали друг друга с полуслова. Впрочем, честолюбивая Екатерина была верна себе и в этой переписке проявляла склонности политика, мечтая играть свою особую политическую роль в Европе, благо победа над Наполеоном подняла престиж России. Вслед за победоносной русской армией, вошедшей в Европу, Катиш уезжает из России и почти все время проводит в столицах западных держав — там теперь делается политика, там теперь ее место. В какой-то момент влияние сестры на Александра стало заметно многим, и это беспокоило политиков — они знали, сколь решительна и пристрастна честолюбивая Екатерина Павловна. Особенно запомнился всем ее визит в Англию. Екатерина вела себя на Британских островах как полномочный представитель императора, причем была высокомерна и капризна, не всегда считалась со своеобразными нравами Британии и сразу же нажила себе врагов среди английской знати. Когда же на остров

высадился Александр, оказалось, что на все, происходящее в Британии, царь смотрит глазами своей сестрицы, которая регулярно сообщала ему подробности о «злокозненных британцах».

А жизнь шла своим чередом — Катиш была женщиной красивой, страстной. В Англии у нее начался скандальный и бурный роман с наследным принцем Вюртембергским Фридрихом Вильгельмом. Он так увлекся Катиш, что не ограничился обычной интрижкой, а развелся с женой и предложил Екатерине Павловне руку и сердце. Она подумала-подумала, а потом и согласилась. И вот в 1816 году Катиш стала женой наследника и втом же году — королевой Вюртемберга, хозяйкой Штутгарта. А еще через два года королева умерла от внезапной смертельной болезни.

Но вернемся к Багратиону, который всего этого уже никогда не узнал. Его контакты с Екатериной прерываются в 1810 году, хотя в 1811 году он виделся с ней при дворе — в апреле он в числе других чинов присутствовал во время встречи герцога Ольденбургского — свекра Екатерины Павловны, а 5 и 6 июля обедал у Марии Федоровны в Павловске. Как раз в те дни Багратион подписал все бумаги, согласно которым он продал в «собственную казну» Марии Федоровны свой Павловский дом за 7500 рублей. Этот дом, после перестройки, императрица превратила в знаменитый Павильон Роз. Мы не знаем, какими были их отношения в то время. Но сама продажа дома, который был так памятен им обоим, весьма символична — у Багратиона рвались последние ниточки, которыми он был связан с Павловском. Кажется, что и в прежде столь теплых отношениях со вдовствующей императрицей наступает охлаждение. Это видно из письма Багратиона, датированного маем 1812 года, в котором он благодарит Марию Федоровну за присланные в его 2-ю Западную армию «при отношении господина Виллие» бинты и корпию. Это письмо, в сравнении с теми письмами, которыми адресаты обменивались раньше, кажется холодным и официальным — обычное вежливое послание верноподданного своей государыне. Видно, что на этот раз императрица сама ничего Багратиону не писала. Багратион благодарил императрицу и писал в конце: «Поставленной вождем сих войск, я благоговением повергаю к подножию Вашего императорского величества и от лица воинов дерзаю принесть верноподданническую благодарность». Ничего личного — он благодарит даже не от себя, а от имени армии. В письме нет ни одного сердечного слова, как это было в их переписке раньше. Вероятно, отношения становятся формальными и холодными по инициативе самой Марии Федоровны, и Багратион, прекрасно все понимавший, не

позволяет себе изменить этот официальный стиль общения. С самой Екатериной Павловной никакой переписки не сохранилось. Думаю, что ее и не было.

И все-таки! 11 сентября 1812 года умирающий Багратион получил последнюю весточку от великой княгини Екатерины Павловны. Это было письмо от принца Георга Ольденбургского, супруга Екатерины Павловны, из Ярославля. Оно было вполне официально: «Князь Петр Иванович! Я пишу сии строки больному, но победоносному Багратиону. С большим сожалением великая княгиня и я, мы видим раненым вас, надежду наших воинов. Дай Бог, чтобы скоро опять могли предшествовать армиям». Далее принц подробно описывает свою деятельность в ополчении. И в конце сказано: «Великая княгиня поручила мне изъявить вам искреннее свое соболезнование, и я пребываю с совершенным уважением». Собственно, это и было главным для Багратиона — таким образом Екатерина давала знать о себе, слала последний привет. В ответном письме Багратион «в чувствованиях неограниченного высокопочитания» благодарил принца и его супругу «за милостивое участие в нынешнем болезненном моем состоянии. Сколь ни мучительна для меня моя рана, но я лобызаю ее, получив на поле сражения для славы Августейшего монарха и для защиты любезнейшего отечества»21.

Когда Багратион умер, среди его вещей были обнаружены четыре памятных и, по-видимому, дорогих ему портрета: усыпанная бриллиантами табакерка с портретом императрицы Марии Федоровны, черепаховая табакерка с портретом Суворова, золотая табакерка с портретом жены Екатерины Павловны и, наконец, «портрет великой княгини Екатерины Павловны в золотом футляре». Это кажется весьма символичным: он возил с собой в походах портреты четырех дорогих для него людей — его учителя и трех женщин, которые так много значили в его жизни.

Глава девятая
Турок в ретирадном беге недосягаем

Диван колебался

Другой, кроме Финляндии, «угол», в котором в это время «дрались», находился на юго-западной границе империи. Там шла война с турками, точнее — не шла, а тянулась уже несколько лет. Война эта созрела буквально за пару месяцев осени 1805 года. Поначалу дружеские русско-турецкие отношения, установившиеся со времен Павла I, были подтверждены и закреплены договором 11 сентября 1805 года, который продлил действие прежнего договора 1798 года, ставшего основой весьма славного боевого русско-турецкого сотрудничества против Франции в Средиземном море. Но начало русско-австро-французской войны 1805 года все переменило — турок, всегда уважавших силу, напугал непобедимый Наполеон, которого они признали императором раньше, чем другие державы. С той поры Диван — турецкое правительство — охладел к России, чему способствовал новый французский посол в Стамбуле генерал Себастиани — умный, пронырливый и хитрый разведчик и дипломат. Начало русско-турецкому конфликту положило заявление турок о том, что отныне они не пропустят ни одного русского корабля через Дарданеллы. А без этого русские вооруженные силы в Ионической республике существовать не могли — из черноморских портов к ним непрерывно везли снаряжение, рекрут, оружие и боеприпасы. Столь явного нарушения соглашений 1805 года император Александр стерпеть не мог и в октябре 1805 года приказал своей армии перейти Днестр и занять Придунайские княжества — Бессарабию, Молдавию и Валахию. Так, полагал государь, удастся принудить Османскую империю к соблюдению режима свободного мореплавания через Босфор и Дарданеллы. В начале 1806 года была создана Дунайская армия, во главе которой стоял знаменитый победитель Пугачева генерал от кавалерии И. И. Михельсон. Армия у него была небольшая (30 тысяч человек) и состояла из трех дивизий, одной из которых командовал не менее известный человек — строитель и губернатор Одессы в 1803–1815 годах генерал-лейтенант герцог Арман Эммануэль (Эммануил Осипович) де Ришелье. Еще одну дивизию возглавлял будущий герой 1812 года Михаил Андреевич Милорадович. Но на юге время идет медленно, а дела делаются неспешно. Поэтому

неудивительно, что к весне 1806 года в поход против турок еще не собрали все войска, летом же, в страшную жару, здесь никто не воюет. Только в ноябре 1806 года русская армия начала переходить Днестр и без особого напряжения сил оккупировала Придунайские княжества, заняв почти все турецкие крепости (кроме Измаила). Пришла зима, войска устроились на зимних квартирах и благополучно отдыхали до следующей весны. Наконец, после долгих раздумий (как тогда писали: «Диван колебался»), 18 декабря 1806 года, турки объявили войну России и двинули свои несметные полчища к Дунайским княжествам. Для начала произошло несколько вялых стычек с русскими войсками под Журжей и Измаилом, где находились главные силы русской армии. В апреле 1807 года верховный визирь, согласно операционному плану, составленному французскими штабными офицерами, вознамерился перейти Дунай у Силистрии и двинуться к Бухаресту, в котором стояла дивизия Милорадовича. Цель этого похода заключалась в том, чтобы отрезать от Бухареста Михельсона, находившегося под Измаилом. Столицу Валахии охватила паника, жители опасались, что русские покинут город и тогда турки вырежут его население. Милорадович, известный своей смелостью, часто переходившей в безрассудство, решил упредить противника и в конце мая двинулся ему навстречу, по дороге на Силистрию. 2 июня 1807 года у местечка Обилешти Милорадович одержал блестящую победу — наголову разбил турецкий авангард. Турки потеряли три тысячи человек и дружно побежали от Бухареста обратно к Силистрии. Кавалерия Милорадовича гнала турок десять верст, причем гусары были так увлечены ратными подвигами, что, в отличие от прагматичных казаков, не смогли обогатиться за счет многочисленных турецких трофеев, ибо, как писал Милорадович, «рубя неприятеля, не имели времени сим заниматься». Милорадович вернулся в Бухарест как триумфатор, его войска встречали валашские боярыни в белых одеждах, которые бросали воинам цветы и лавровые венки, благо лавра в этих благословенных местах росло довольно. После этого Милорадович опять погрузился в удовольствия полувосточной светской жизни Бухареста, один бал сменял другой. Огорчало победителей только одно — в тот самый, победный для русского оружия, день сражения под Обилешти наши полки, разбитые Наполеоном, бежали из Фридланда. Неудивительно, что огорчение государя от этого поражения было так велико, что победу Милорадовича он не отметил должным образом и обнес генерала Георгием, наградив лишь золотой саблей с надписью «За спасение Бухареста».

Странная любовь к ветхим фельдмаршалам. Тут из Тильзита

подули новые ветры, и турки, вразумленные французами, пошли на перемирие, подписанное в августе в Слободзее. Не дождавшись результатов переговоров, 5 августа 1807года умер генерал Михельсон, и вместо него главнокомандующим Дунайской армией был назначен фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский, старик, изнемогавший под бременем недугов, но военачальник опытный и царедворец изощренный. За его спиной была яркая военная биография. Он отличился еще в Семилетнюю войну 1756–1761 годов, потом участвовал во всех Русско-турецких войнах, покорял Крым, усмирял конфедератов в Польше, а еще раньше (для приобретения опыта) служил в прусской и австрийской армиях. Он слыл почитателем короля Фридриха II, правил как наместник в Орле, был главнокомандующим Москвы, при Павле 1 оказался в опале, при Александре I возвращен в армию и в августе 1807года, уже 75-летним старцем, пожалован в генерал-фельдмаршалы. В тогдашней России в живых, кроме Прозоровского, оставались еще три генерал-фельдмаршала — И. В. Гудович, М. Ф. Каменский и Н. И. Салтыков. Двоих последних в 1796году возвел в этот высокий чин император Павел I, Прозоровского и Гудовича в 1807 году — его сын Александр I. Все четверо были, если так можно выразиться, погодками — родились в конце 1730-х — начале 1740-х годов. К началу XIX века эти старые, больные люди, полные предрассудков прошюго, давно утратившие свои воинские дарования (а Салтыков вообще никогда не воевал), явлши собой карикатуру на подлинный высший генералитет великой империи. Впрочем, как уже сказано выше, такая же картина была и в военном руководстве Пруссии накануне войны 1806 года. И, напротив, совсем другую картину мы видим в наполеоновской Франции, где маршалами были люди вдвое моложе русских и прусских фельдмаршалов, опытные, энергичные, талантливые. Все это — прямое следствие Французской революции, открывшей путь наверх людям выдающимся. В России дело обстояло иначе.

Дразнить турок

Принимая должность главнокомандующего, но опасаясь за свое здоровье, Прозоровский попросил себе в помощники генерала М. И. Кутузова, о котором так писал царю: «Он почти мой ученик и методу мою знает». В письме военному министру Прозоровский был более откровенен: «Я могу с полным удостоверением свидетельствовать, что он должность генерала и часть военную хорошо знает. Если говорить между нами, ваше

сиятельство, то я в нем один недостаток нахожу — что он в характере своем не всегда тверд бывает, а паче в сопряжении с дворскими делами; при том же он от природы ленив к письму, но по части войсковой совершенно им доволен, и он мне в самом деле помощник. В прочем не затруднительно скажу, что я признаю его в искусстве военном из лучших генералов государя императора»1. Слабость Кутузова «в сопряжении с дворскими делами» хорошо была известна многим и отчетливо проявилась на поле Аустерлицкого сражения.

Перемирие с турками еще продолжалось, но у Александра после Тильзита появились новые претензии к Османской империи. Свободы мореплавания через Босфор и Дарданеллы ему было уже мало, император требовал от султана существенных территориальных уступок: безусловного присоединения к России Бессарабии, Молдавии и Валахии. Нет ничего удивительного в том, что требования о включении в состав России Дунайских княжеств совпали с горячим желанием государя присоединить к империи холодную Финляндию. Как раз в это время российский император, ставший «внезапным другом» императора Франции, деятельно ковал тильзитское железо. Приращения к империи он хотел получить по возможности быстро, используя свои дружеские отношения с Наполеоном как страшилку для султана и его Дивана. Александр и Наполеон в это время, дружелюбно склоняясь над картой, обсуждали планы совместных действий. Еще раньше Наполеон предложил свое посредничество в русско-турецких переговорах, которые и велись в Париже. Цель их была добиться желаемого Россией, даже не доводя до открытия военных действий против Турции. В принципе, Наполеон не возражал против новых территориальных приращений России, кроме разве что занятия ею Босфора и Дарданелл и разрушения Османского государства. В Законодательном собрании империи Наполеон говорил: «Союзник мой и друг император Всероссийский присоединит к своей обширной империи Бессарабию, Молдавию, Валахию и часть Галиции. Я нисколько не завидую благоденствию России. Чувства мои к ее августейшему монарху не противоречат моей политике»2. Действительно, императору французов, все глубже увязавшему в испанской войне, было не до османов. Но как раз после Тильзита у Александра разгорелся аппетит. Он не раз ставил перед Наполеоном вопрос об окончательном разделе Османской империи, не ограничиваясь Молдавией и Валахией. Однако Наполеон был против намерений Александра, не желая чрезмерного усиления России, если та завладеет Проливами.

Обстановка в самой Турции благоприятствовала затее двух

тильзитских друзей. Стамбул сотрясали частые дворцовые перевороты. Летом 1808 года янычары бунтовали, одного за другим свергли и убили двух султанов: Селима Ш и Мустафу IV. Императору Александру показалось, что наступил удобный случай разом победить турок и тем самым решить навсегда проблему принадлежности Дунайских княжеств. Император дал указ Прозоровскому перейти Дунай и силой оружия утвердить эту реку границей империи на юго-западе. Но повода для нарушения Слободзейского перемирия 1807 года не было — турки вели себя на редкость мирно и соблюдали все условия перемирия. На провокационное письмо Прозоровского, в котором тот «употреблял все усилия, дабы, раздражая турок, довести их до учинения частного нападения», турки ответили непривычно кротким молчанием. Тогда российский император потребовал от турок не только Дунайские княжества, но и Грузию, Имеретию, Мингрелию, а также признания независимости Сербии. Даже этот вызов турки пытались смягчить переговорами. Но тут, в ноябре 1808 года, в Стамбуле опять вспыхнул бунт янычар, был убит терпеливый к претензиям русских верховный визирь Байрактар Мустафа-паша. Новый визирь Юсуф-паша (Зия-паша) послал в Яссы делегацию для переговоров, которая ехала к русским пределам два месяца. Эта задержка разгневала Александра, он потребовал от Прозоровского жесткости, предписал поставить турецким уполномоченным четкие условия, невыполнение которых должно привести к возобновлению войны. В феврале 1809 года в Стамбул направили флигель-адъютанта И. Ф. Паскевича с требованием к Дивану выслать английского посла, который настраивал турок против России и Франции. Это было посольство-провокация, подобное тому, которое в 1853 году посетило Стамбул во главе со светлейшим князем А. С. Меншиковым. Турки отвергли требования Паскевича, о чем тот радостно написал Прозоровскому. 22 марта 1809 года главнокомандующий с облегчением объявил туркам о разрыве перемирия…

К этому времени в Дунайской армии было уже 80 тысяч человек. Их возглавляли славные генералы — молодец к молодцу: генерал от инфантерии М. И. Кутузов, генерал-лейтенанты М. А. Милорадович, граф А. Ф. Ланжерон, знаменитый донской атаман М. И. Платов, Е. И. Марков, барон А. П. Засс и др. Александр предписал Прозоровскому не медлить — как раз тогда разгорелась война между Францией и Австрией, и все в Европе были заняты этим новым конфликтом, в котором Россия выступала на стороне Франции, двинув свой корпус ей в помощь. Мало кого в Европе волновало, что происходит в дунайских

камышах. Как в истории с походом против шведов, император требовал от главнокомандующего резвости, считая, что «быстрый переход через Дунай и решительные там действия… единственное средство принудить султана к миру и уступки нам Бессарабии, Молдавии и Валахии»1.

Бой во рву безнадежен

Переправа через Дунай началась по наведенным мостам 27 июля 1809 года. Там, на правом берегу, были мощные турецкие крепости — Журжа и Слободзея, Браилов, Измаил. Первым в бой бросился Милорадович, полагая с ходу взять Журжу и Слободзею. В первом случае его ждала неудача — турки отбили приступ. Отступивший Милорадович (до этого он писал: «Я знаю солдат, коими я командую, в успехе не сомневаюсь») честно признал свои ошибки и взял на себя всю вину за неудачу и потерю почти семисот человек. Неудача под Журжей была великодушно прощена ему государем, тем более что Слободзею войска Милорадовича все-таки успешно взяли. Главная же дивизия под командованием Кутузова (при нем ехал и Прозоровский) двигалась тем временем из Фокшан и от реки Рымник (какие это тогда были славные для русского уха названия!) к Браилову, чтобы, заняв его, стеснить Измаил — еще одну важную турецкую крепость, некогда взятую на шпагу великим Суворовым. Началась осада Браилова — сильной крепости с гарнизоном в 12 тысяч человек. 19 апреля 1809 года, согласно составленной Кутузовым диспозиции, был предпринят штурм крепости тремя колоннами. Приступ начался неожиданно для гарнизона, в полной темноте, но вскоре обратился в поражение. Турки сумели отбить натиск, уничтожив прорвавшихся на вал охотников. Особенно неудачно действовала колонна генерал-майора М. А. Хитрово. Она спустилась в ров, но не могла подняться оттуда на вал крепости — то ли лестницы оказались коротки, то ли лезть по ним не нашлось смельчаков. Одним словом, атакующие остались на дне рва и оттуда открыли огонь по туркам, оседлавшим вал. В свою очередь, противник с верхушки вала начал поливать солдат Хитрово свинцом и сбрасывать на них огромные бревна. Позже Прозоровский писал об этом необыкновенном способе штурма вражеской крепости: «Не могу надивиться, отчего теперь ввелось в войсках, что в поле, где надобно стрелять, там на штыки идут, тут, где штыки нужны, производят пальбу». Он не без оснований обвинил генералов в том, что «не нашлось в них ни храбрости, ни отваги, и войска не имели в сражении должного повиновения и

доверенности к частным начальникам»4. Бой во рву и вокруг крепости продолжался до рассвета. Видя гибель своих штурмующих колонн (из 8 тысяч солдат потери составили почти 5 тысяч человек!), Прозоровский рвал на себе волосы и плакал. Потом он писал императору: «Сердце мое обливалось кровью. Я желал умереть, и если б была малейшая возможность подать пособие и загладить несчастие, то, конечно, бросился бы я сам с войском в огонь». Как пишет А. И. Михайловский-Данилевский, возле Прозоровского все это время стоял Кутузов и хладнокровно успокаивал его словами: «Не такие беды бывали со мной, я проиграл Аустерлицкое сражение, решившее участь Европы, да не плакал»5.

Император в ответном послании пенял Прозоровскому на то, что главнокомандующий занялся взятием првдунайских крепостей вместо того, чтобы перейти Дунай и уже самим своим движением устрашить противника. Царь полагал, что «страх приближения нашей армии в самое недро турецких владений» произведет необходимый эффект в Стамбуле и турки неизбежно пойдут на заключение выгодного России мира. «Не теряя ни одной минуты, — писал государь, — и не ожидая неприятеля пред Балканскими горами, идти на Константинополь. С тех пор, как переходят Альпы и Пиренеи, Балканские горы для русских войск не могут быть преградою». Раньше он точно так же требовал от Кнорринга идти по льду на Стокгольм! Ледовый поход удался, мир был подписан, и воодушевленный победой на севере Александр надеялся на «симметричный успех» на юге. Но, как и Кнорринг, Прозоровский гнул свою линию, да и общая ситуация на Балканах была иной, чем в Финляндии. Турция была несравнимо сильнее Швеции. Прозоровский решил, что сначала следует все же разобраться с Браиловым, Измаилом и другими дунайскими крепостями, которые — при возможном наступлении в направлении Балкан — останутся за спиной наступающей армии, а это опасно для ее коммуникаций и тылов. Без этого он считал невозможным удаляться от берегов Дуная.

На тильзитского «друга» надежды мало. Александр I слал Прозоровскому одно резкое письмо за другим. В своих требованиях он исходил из общей ситуации в Европе в связи с начавшейся австро-французской войной, чувствовал, что его дружба с Наполеоном вот-вот прервется, а значит, нужно как можно быстрее завершить победой шведскую и турецкую войны и высвободить войска для будущего столкновения с Францией. Всего этого Александр прямо, конечно, не писал, но давал понять Прозоровскому, что отношения с Наполеоном не отличаются прочностью и постоянством. Так это и было. Вначале, в июне 1807

года, в Тильзите, речь шла о безусловном признании русских завоеваний на Дунае, но уже в декабре Наполеон стал весьма неприятно для Александра связывать проблему русско-турецких отношений с «решением прусских дел». Он хотел некой «симметрии», а именно: если Россия заинтересована в Молдавии и Валахии, то Франция, со своей стороны, должна получить удовлетворение в Пруссии, то есть продолжать оккупировать ее территории, а не выводить оттуда свои войска, как думал Ааександр, стремившийся и свои пределы расширить, и прусскому королю помочь. Русскому послу П. А. Толстому Наполеон прямо заявил: «Не выведу свои войска из Пруссии даже в том случае, если Дунай станет границей вашей империи». Чуть позже России с немалым трудом удалось отстоять для Пруссии Силезию". После всего этого можно оценить на редкость четкий, недвусмысленный, лишенный обычного для Александра / празднословия рескрипт, посланный Прозоровскому: «Положение дел политических заставляет меня нанесть Порте сильный и решительный удар дабы, кончив поспешно с нею, мог я располагать армиею, вам вверенною, по обстоятельствам. Для достижения сего переход за Дунай и быстрое движение на Царьград мне кажутся необходимы. Для маскировки крепостей можно оставить корпус особый». Последняя мысль не была лишена основания. Толковое исполнение этого замысла позволило бы успешно сдерживать гарнизоны турецких крепостей от выпадов против главной армии.

Однако Прозоровский, получив этот рескрипт и даже заручившись поддержкой военного совета, продолжал тянуть время. Государь его воодушевлял: «Идите за Дунай, быстрому и смелому движению всегда предшествует страх (противника. — Е. А.). Умножьте сие выгодное для вас впечатление, сообщив туркам, что Вена занята союзником нашим Наполеоном, дела наши с Швециею приходят к окончанию и Персия предлагает нам мир… Все соображения настоящих обстоятельств приводят к одному и тому же заключению, то есть необходимости скорого движения»7. Более откровенно, без околичностей, о том же писал главнокомандующему и новый военный министр А. А. Аракчеев: Наполеона можно сдержать при одном условии — «находясь в мире с турками и, следовательно, имея армию на всякий случай готовую, легче и удобнее будет для нас отклонить лишнее притязание (Наполеона. — Е. А.) и удержать права наши в почтительном положении. Самые притязания сии едва ли могут возникнуть, когда в мире с Швециею и Турциею силы наши поставят нас в мере им противодействовать»8.

Создается впечатление, что государевы слова для

Прозоровского были лишь сотрясением воздуха. Два месяца Дунайская армия стояла недвижимо, якобы ожидая окончания половодья на Дунае. А тем временем в ее Главной квартире подспудно разгорался скандал. Прозоровский фактически устранился отдел, но ревниво присматривал за Кутузовым, к которому все чаще по разным делам, минуя одряхлевшего главнокомандующего, обращались высшие офицеры. Прозоровский увидел в этом — возможно, не без основания — тонкую интригу Кутузова и попросил отозвать своего помощника из армии. Дорожа старым фельдмаршалом, «отличным своим долголетием», Александр прислал ему два подписанных рескрипта — согласно первому Кутузов назначался командующим резервным корпусом, а согласно другому — военным губернатором Литвы. Прозоровский, раздраженный интригами Кутузова, выбрал второй рескрипт и отослал своего «почти ученика» в Вильно.

Впервые — главнокомандующий

Тут-то на горизонте и возник герой нашей книги. 1 июля 1809 года Александр подписал указ на имя Багратиона: «Признавая нужным нахождение ваше в Молдавской армии, повелеваю вам по получении сего отправиться к оной и явиться там к главнокомандующему генерал-фельдмаршалу князю Прозоровскому, от коего и имеете ожидать дальнейшего вам назначения»9. 25 июля Багратион прибыл в Главную квартиру Прозоровского, и в тот же день фельдмаршал подписал указ о его назначении на место Кутузова — командующим главным корпусом армии с обязанностью находиться при главнокомандующем «в рассуждении старости моих лет, а теперь и слабости моего здоровья, от которой я движимого исполнения делать не в состоянии, почему и могу употреблять его (то есть Багратиона. — Е. А.) в надобных случаях для осмотров и прочего».

Внезапно, как из-под земли. Так Багратион был впервые назначен фактически командовать целой армией. Это стало результатом как его успеха при завоевании Аландских островов, так и особого благорасположения к нему нового военного министра Л. А. Аракчеева. Личность Аракчеева весьма сложна, противоречива и в основном одиозна. Свое кредо он выразил однажды в таких словах: «В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами — никогда не рассужда.1 по службе и исполнял приказания буквально… Знаю, что меня многие не

любят, потому что я крут, — да что делать? Таким меня Бог создал! И мною круто поворачивали, а я за это остался благодарен. Мягкими французскими речами не выкуешь дело!»

Как известно, Алексей Андреевич Аракчеев происходил из бедной дворянской семьи, жившей под Бежецком, получил дома посредственное образование, с большим трудом поступил в Кадетский корпус, да и там не блистал талантами и образованностью, но заметно выделялся исполнительностью, дисциплиной, желанием угодить начальству. За это товарищи били подхалима и соглядатая, но зато начальство ценило усердие Аракчеева и произвело его в сержанты, а потом оставило при корпусе. В 1792 году наследник престола цесаревич Павел Петрович решил расширить свое гатчинское войско и завести в нем артиллерию, которую и возглавил капитан Аракчеев. С этого момента началось, как он сам писал, «тридцатилетнее счастие». Вообще, в существовании и успехе таких людей, как Аракчеев, есть своя тайна. Это особая, непрерывно возобновляющаяся веками порода людей, служи они чиновниками, военными, учителями, профессорами или журналистами. Такие Аракчеевы — апологеты полицейского начала, единомыслия, слепого повиновения начальству, ксенофобии. Они позарез нужны каждой власти. И не личные дарования, не талант, а именно зов власти делает их карьеры успешными. Благодаря этому они становятся страшными не только для смутьянов, вольнодумцев, но и для самых обыкновенных людей…

Павел не сразу доверился Аракчееву, но когда узнал и оценил его качества верного слуги и слепого исполнителя государевой воли, то уже не отпускал от себя до конца «гатчинского периода». Со смертью Екатерины Великой и воцарением своего повелителя в ноябре 1796 года Аракчеев стал правой рукой нового императора Павла I, удостоился наград и высоких назначений. И почти сразу же все увидели его истинное лицо. «На просторе разъяренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное…» — так писал о нем Ф. Вигель. Но, как это бывало с вельможами Павла, правил бал он недолго. За служебный проступок Аракчеева по указу Павла 1 «выбросили» (так сказано в указе!) со службы и сослали в его поместье Грузине. Впрочем, вскоре Павел спохватился, вернул Аракчеева, сделал его графом, дал ему герб с девизом «Без лести предан» (все переделывали его: «Бес, лести предан»), но в октябре 1799 года последовали новая опала и новая ссылка в Грузина.

Оттуда его в мае 1803 года извлек и обласкал новый государь Александр I. Они были знакомы давно. Вообще, педантичный и суровый Аракчеев питал какую-то особую слабость к Александру.

При строгом Павле Аракчеев, в нарушение уставов, не раз спасал наследника от тягот службы, давал ему, как заботливый дядька, подольше понежиться в постели, словом — баловал. И Александр это накрепко запомнил. Оказалось, что он остро нуждался в таком человеке, как Аракчеев. Он казался царю единственным, кто предан ему действительно без лести. Император сознавал, что Аракчеев не особенно умен, необразован, но в то же время знал, что тот верен и любит его больше жизни. Аракчеев не казался императору вором, он порой говорил государю горькую правду, не умничал, никогда не поучал Александра. Да что там: Аракчеев буквально молился на императора, обожал его! При этом взгляды Аракчеева в эпоху либерализма начала царствования Александра были крайне реакционны. Он люто ненавидел реформатора и также близкого государю М. М. Сперанского за его идеи, да и попросту ревновал его к Александру. Между тем и Сперанский, и Аракчеев, существуя рядом, оба, как два полюса, были нужны царю. Они — как две ипостаси Александра, в котором либерализм и консерватизм, гуманность и жестокость, свобода мысли и любовь к субординации тесно переплетшись. И все же в конце концов, перед началом войны 1812 года, Аракчеев праздновал победу: Сперанского сослали!

В начале своей стремительной карьеры при Александре Аракчеев занимался артиллерийскими делами — был инспектором всей артиллерии, причем вел дела весьма толково, что в конечном счете способствовало усилению боеспособности русской артиллерии во время войн с французами 1805 и 1806–1807 годов. Успехи Аракчеева были значительны, государь сделан его своим главным советником по артиллерийским делам, а затем в январе 1808 года назначил военным министром (точнее — министром военных сухопутных сил). Сардинский посланник де Местр передал общее впечатление от этого назначения: «Внезапно, как из-под земли, возник здесь генерал Аракчеев… сделанный военным министром, облеченным неслыханной еще при теперешнем государе властью»10. Действительно, власть военного министра Аракчеева, подкрепленная благорасположением государя, была велика, и он почти сразу же употребил ее для организации (точнее — активизации) военных действий в Финляндии, что ему, в немалой степени благодаря Багратиону и Каменскому, вполне удалось.

Как уже сказано выше, тогда Багратион, вопреки мнению многих своих коллег, встал на сторону военного министра и организовал военную экспедицию на Аландские острова. В ней участвовал и сам Аракчеев. Вероятно, тогда же он и сошелся поближе с Багратионом, которого всегда манили люди,

облеченные властью. Известно, что одним из направлений деятельности Аракчеева была Дунайская армия, нуждавшаяся в усилении. Почти наверняка назначение Багратиона ее фактическим главнокомандующим не обошлось без поддержки Аракчеева, с которым Багратион состоял в довольно оживленной переписке. Тон этой переписки говорит об известной доверительности отношений. Как и многие корреспонденты временщика, Багратион выражает свою особую любовь и признательность Аракчееву. В послании из-под Силистрии 25 сентября 1809 года он пишет царскому любимцу: «Два письма приятнейших ваших я имел честь получить, за которые наичувствительнейше благодарю. Я не хочу более ни распространять, ни уверять вас, сколь много вас люблю и почитаю, ибо оно лишнее. Я вашему сиятельству доказывал и всегда докажу свою любовь, уважение и нелицемерную преданность. Я — не двуличка. Кого люблю, то — прямо; а при том я имею совесть и честь».

Столь откровенное выражение высоких человеческих чувств к вышестоящему начальству не было в те времена редкостью, это в стилистике того времени. Сентиментализм в искусстве, как и романтизм проникли в переписку, сделали эпистолярный жанр видом популярной художественной литературы, а письма — необыкновенно многословными и «чувствительными». Не миновало это поветрие и официальную и полуофициальную переписку. Вот как писал тому же Аракчееву некто С. Т. Творогов 23 июля 1809 года: «Любезнейший и беспримерный мой граф Алексей Андреевич, люблю вас всеми ощущениями и всем бытием своим! Вы мне и многим великий благотворитель и истинный друг вас достойным. Вся жизнь моя будет посвящена вам, я вам вечно сын и друг, и, словом, я все для вас“. А. II. Ермолов в своих письмах из армии (январь 1807года) посвящал временщику «чувства признательности во всем их совершенстве», сообщал, что «с восхищением прочел я в нем (”письме Аракчеева. — Е. А.) то лестное благорасположение, коим меня удостаиваете», хотя «обстоятельства отделили от меня счастие служить под глазами вашего сиятельства»12.

Багратион шел по тому же пути. Правда, он не прячет истинных причин столь горячей любви к этому не просто малоприятному, но для многих отвратительному человеку: «Мне вас невозможно не любить, во-первых, давно вы сами меня любите, а во-вторых, вы наш хозяин и начальников начальник. Я люблю службу и повинуюсь свято, что прикажут, исполню и всегда донесу, как исполняю»". Здесь Багратион довольно точно отражает воспетую позже Салтыковым-Щедриным «несомненную

готовность претерпеть», чувство неизъяснимого восторга, глубочайшей любви и обожания, которое и до сих пор охватывает верноподданного при виде всякого начальства, будь то «начальников начальник» или хотя бы «мочалок командир». Да и словечко «хозяин» тут обычно бывает у места, ведь начальник и есть хозяин. Вспоминается отрывок из письма Максима Горького в эпоху его окончательного морального падения. Он писал о Сталине: «С хозяином… не успел поговорить, ибо хозяин — нездоров и не был у меня».

Багратион всячески показывал, что готов услужить Аракчееву, как только может. В письме от 14 января 1810 года из Бухареста он пишет, что страшно огорчен, узнав, что Аракчеев решил не ехать в армию, а его адъютант, побывавший в Валахии, к нему, Багратиону, даже не заглянул: «Признаюсь искренно, что я не в себе был от радости, дабы вас видеть здесь и лучше обо всем объясниться, и для того отправил к вашему сиятельству немедленно навстречу адъютанта моего Давыдова, прямо до Киева, и с ним имел честь писать к вам и просил вас, дабы вы мне не мешали принять вас по всей дистанции в городах, как должно по сану вашему, ибо я очень знаю, как должно принимать начальников. Но, к прискорбию моему, осведомился, что адъютант ваш уехал, так что даже со мною не повидался, а от вашего сиятельства я получил из С. Петербурга депеши. Я, любя вас и почитая, ссылаюсь на вашу справедливость: приятно ли мне то, что со мною так поступают? Я вас уверяю, что у меня нет секрета с вами ни с которой стороны, а паче по части военной, и если бы адъютант вашего сиятельства заехал ко мне, хотя на часочек, он бы более и вернее от меня получил сведения по всем частям, нежели в Фокшанах от коменданта или исправников тамошних. Признаюсь от души и сердца моего, и сколько я вас почитаю, сие крепко меня огорчает»14.

Сохранились и записки Багратиона, которые он посылал Аракчееву с подарками, подбирая для «начальников начальника» подношения поэкзотичнее — то, чего могло не быть у «хозяина» и даже у государя. Однажды он послал Аракчееву какую-то особенную шпагу: «Посылаю вашему сиятельству редкость. Когда Петр Великий воевал, то при нем волонтеры его носили такие шпаги в кавалерии. Не угодно ли будет поднести Его императорскому величеству или как вы рассудите». В другой раз подарок был интимного характера: «Ваше сиятельство! Азиятская мода, дамы носят на шее, оно и пахнет хорошо. Я не верю, чтобы у вашего сиятельства не было шуры-муры, можете подарить, надеюсь, что понравится. Преданный вам Багратион». И, видно, попал в цель. На письме Багратиона пометка рукой Аракчеева:

«Подарил 1810 года 8-го июня в Грузине Н. Ф. за приезд государя в Грузино»15. «Н. Ф.» — это знаменитая фаворитка Аракчеева Настасья Федоровна Минкина, у которой в грузинском домике гонял чаи сам государь император.

Положение Багратиона, оказавшегося на месте изгнанного главнокомандующим Кутузова, не было легким, несмотря на мощную опору за спиной — поддержку самого Аракчеева. Наверняка фельдмаршал, больной, но зоркий к успехам других, не отдал бы власть Багратиону, хотя через военного министра ему недвусмысленно намекнули, что приехал его преемник и старик может со спокойной душой (и, кстати, с сохранением огромного жалованья) уехать из армии. Как и в случае с назначением Кутузова, Прозоровский получил два рескрипта. Согласно одному из них, он уступал свое место Багратиону. Но Прозоровский предпочел реализовать второй рескрипт о подчинении Багратиона ему. Тогда 30 июля царем был подписан рескрипт уже на имя Багратиона, в котором прямо было сказано, что император увольняет Прозоровского, и Багратиону надлежит «немедленно вступить в распоряжение всего, что нужно к достижению цели, для действия сей армии предназначенной, руководствуясь в том правилами, какие в рескриптах моих на имя его (Прозоровского. — К А.) данных постановлены». Государь напоминал Багратиону: «В правилах сих найдете вы, что поспешный переход за Дунай признан необходимым. Вам известно, сколь по настоящим обстоятельствам каждая минута драгоценна. Я ожидаю и в скором времени надеюсь получить от вас из-за Дуная донесение. Александр»16. Наступательные идеи императора Багратион целиком разделял. Это были его стиль и его стихия. Он вообще считал, что «штык есть лучший дипломат в переговорах с турками и что о мире с ними нужно трактовать в палатке русского главнокомандующего и самый мир должен быть подписан на барабане или на спине визиря». Последнее пожелание было, конечно, неисполнимо, но сходной точки зрения — что мир «можно подписать военной ухваткой» — в свое время придерживался и победитель турок в войне 1768–1772 годов фельдмаршал П. А. Румянцев. В таком подходе русские военачальники видели единственный способ добиться реальной победы над османами — всем было известно искусство турецких дипломатов любую яркую победу противника топить в бесконечных словопрениях.

Рассават победный

Неизвестно, как и когда бы начал Прозоровский передавать дела, если бы внезапно не умер 9 августа 1809 года, прямо в лагере на правом берегу Дуная. Багратион без всяких проблем вступил в командование Дунайской армией. Ему досталось тяжелое наследство. Как известно, воевать на юге было чрезвычайно трудно: удаленность от основных баз армии, непривычные природные условия, плохая вода, частые эпидемии (в том числе — холеры), недружественное население, очень своеобразный противник, каким была турецкая армия, множество сильных крепостей. Убыль в войсках была здесь не столько следствием боевых потерь, сколько повальных болезней. «Главнейший мой неприятель, — писал вскоре после вступления в командование Багратион, — не турки, но климат здешний. Безмерные жары, продолжающиеся с чрезвычайною силою, причиняют крайнюю слабость в людях и до невероятия умножают число больных… Болезни до такой степени свирепствуют также в Молдавии, Валахии и Бессарабии, что там, в некоторых багалионах… имеется налицо здоровых не более как от 60 до 80 человек, а немалое число баталионов имеет едва комплектную роту. Болезнь сия, климату свойственная и жарами усиливающаяся, посещает не одних нижних чинов, но чиновников (офицеров. — Е. А.), так что в некоторых баталионах остается налицо здоровых по одному или по два офицера; для чего самого и не могу я отнюдь приписать умножение больных дурному лечению, слабому присмотру или чьей-либо вине, а единственно климату»17. Следуя смыслу последнего пассажа, можно с определенностью сделать вывод, что в те времена больных солдат лечили плохо, присмотр за ними был слабый и наверняка их обворовывали. При этом не будем забывать, что из пяти главнокомандующих, которые вели эту войну, трое умерли: два предшественника Багратиона (Михельсон и Прозоровский) и его преемник, генерал Каменский 2-й.

Между тем машина войны, запущенная никуда не спешившим Прозоровским, катилась ни шатко ни валко по своей колее в неведомом направлении. Чтобы изменить ее движение, от Багратиона требовались нечеловеческие усилия. А в Петербурге, зная его характер, ждали решительного и победоносного наступления за Дунаем. К тому же новому главнокомандующему было совершенно неизвестно, куда именно направлял Прозоровский движение этой машины, как он предполагал действовать в ближайшем будущем. 19 августа Багратион писал: «Я стараюсь отыскать общий план военных операций покойного главнокомандующего на нынешнюю кампанию, но в бумагах его я ничего не нашел. С самого моего прибытия… нашел я его в

крайней слабости. Он иногда сообщал мне мысли свои, но только частно, по некоторым предметам и обстоятельствам, а никогда не говорил об общем плане для действующей армии. Таким образом, общий план его мне вовсе неизвестен»1*. Это весьма по-нашему. Среди российских военных того времени было принято потешаться над детальными и поэтому подчас неисполнимыми диспозициями венского гофкригсрата, который стремился описать и предусмотреть каждый шаг командующего. В русской армии была, как видим, другая крайность — государь поставил общую стратегическую задачу, но детальная проработка исполнения этой задачи так никем и не делалась. Скорее всего, Прозоровский не стремился исполнить замысел царя, а перешел Дунай по-старинному, с общей целью — «воевать неприятеля», намереваясь осенью вновь перебраться на левый берег, в Дунайские княжества, на обжитые, обустроенные зимние квартиры и там зазимовать на теплой лежанке.

Силою обстоятельств Багратиону пришлось доделывать то, что — согласно логике Прозоровского — надлежало сделать, а именно овладеть правобережными придунайскими крепостями — Мачином, Гирсовом, Браиловом, Измаилом, Силистрией. Эти крепости препятствовали дальнейшему продвижению армии вглубь страны и угрожали ее коммуникациям и тылам. Здесь как раз и заключалось главное противоречие между директивой императора об общем наступлении в сторону Балкан и реальным исполнением государевой воли. Багратион писал: «Вообще должен я теперь, на первый случай, ограничиваться одними демонстрациями противу неприятеля, дабы вперить в него страх и робость; к сему, конечно, наиболее способствовать могут быстрые движения, но, к несчастию моему, встречаю я на каждом шагу сильные крепости, которые никоим образом не могу я все оставить в тылу, не подвергая всей армии явной опасности совершенного истребления»". Как видим, Багратион, в сущности, повторял слова своего предшественника.

Сербский балласт.

Еще одним театром военных действий была тогда Сербия, которой Багратиону приходилось уделять особое внимание. Как известно, в 1804 году сербы под началом своего вождя Георгия Петровича или Кара-Георгия (в русских документах он именуется Черным Георгием) подняли восстание против османов. В Сербии разгорелась довольно упорная партизанская война. Но, как и в прежние времена, сил и вооружения у восставших было

недостаточно, и они неизбежно потерпели бы поражение, если бы в 1806 году не началась Русско-турецкая война. Россия никогда не скрывала своих симпатий к балканским братьям-христианам и после начала восстания в Сербии завязала отношения с укрепившимся в Белграде Кара-Георгием. Ему стали отправлять сначала золото, а потом оружие, припасы, оружейных и пушечных мастеров.

С тех пор, как русская армия заняла Дунайские княжества, ее главнокомандующий через Малую Валахию мог непосредственно влиять на положение в Сербии. Приход русских воодушевил балканских христиан, в русской армии появились даже арнаутские (то есть добровольческие) отряды из сербов, болгар и румын (валахов). Отряды эти были весьма недисциплинированны, состояли в основном из сброда и искателей приключений, с охотой грабивших местных жителей, да и командованию положиться на них было нельзя. Даже самые боеспособные сербские отряды партизан никогда не играли ведущей роли в войне с турками и в военном отношении были весьма слабы, во многом копируя устройство и тактику военных соединений османов. Как отмечалось в донесениях русских командиров, сербская конница всегда действовала неэффективно потому, что всадники не могли держать строй и после начала атаки их эскадроны превращались в беспорядочные орды. Только действия регулярных сил — в первую очередь пехоты и артиллерии — могли решить дело. Поэтому Кара-Георгий просил прислать в Сербию части русской армии. С 1807года в Сербии стал действовать двухтысячный отряд казачьего генерал-майора И. И. Исаева 1-го, который имел свою базу в Малой Валахии. Вместе с отрядами арнаутов он воевал с турками в районе Крайовы и Видина. В мае 1807 года отряд Исаева вместе с сербскими отрядами разбил турок при местечке Малайниц, что весьма воодушевило сербов. Вскоре в Белград прибыл действительный тайный советник К. К. Родофиникин, которому было поручено (в качестве временного поверенного) поддерживать связь с Кара-Георгием и помогать сербам в организации управления. Относительное затишье закончилось летом 1809 года, когда турки решили покончить с мятежниками и послали на подавление сербского восстания большие силы. Отрядам Кара-Георгия пришлось отступать. Посланный Прозоровским Исаев 1-й неудачно штурмовал турецкую крепость Кладово и затем был вынужден отступить. Турки оказались в одном переходе от Белграда, жители которого, опасаясь резни, начали уходить в горы или за пограничный австрийский рубеж. Все это вызвало гнев Кара-Георгия и сербов против… русских. Вообще, отношения

с братьями-славянами складывались непросто. Правящая верхушка сербов не отличалась единством, между кланами шла постоянная грызня, чем турки и пользовались.

Багратион, с его подчеркнутым чувством солидарности со славянскими братьями-христианами, был вынужден писать в Петербург: «С крайним прискорбием душевным вижу я, что сербы дошли до гибельного и несчастного положения, из коего извлечь их крайне затруднительно… главнейшею причиною сего несчастия суть внутренние распри частных начальников… которые, ища удовлетворения корыстолюбивых их видов, пожертвовали на то своим отечеством, пролили кровь собратии своей и разорили несколько сот тысяч семейств»20. При этом руководители сербов решительно требовали от России посылки в Сербию целой армии, мало считаясь с общими планами русского командования, которое оказывалось перед сложной задачей: направить крупные силы в Сербию оно не намеревалось, а малые отряды ситуацию переломить не могли. Сербы не желали этого понимать и упрекали русского представителя в Белграде Родофиникина в том, что Россия только обнадежила их помощью, а реально Сербии не помогла и тем самым помешала сербам помириться с турками, которые якобы дважды обещали простить им все прегрешения, если они снова признают османское господство. Так уж получалось, что ни к чему хорошему наши с сербами отношения не приводили: сербы почему-то всегда считали, что Россия им вечно обязана помогать, но как только им самим удавалось договориться с противниками России, о ней тотчас забывсит. Вступивший в главное командование Багратион через Родофиникина заверял Кара-Георгия в верности России ее обязательствам, просил набраться терпения. Но этих заверений было недостаточно, и Родофиникин, опасаясь, как бы братья-славяне его не зарезаш, был вынужден бежать ночью из Белграда в Бухарест.

В сложных для русской армии условиях осени 1809 года Багратион не забывал посыпать в Сербию транспорты с оружием, боеприпасами, артиллерией, разрешал готовить отряды сербов в Малой Валахии, вел переписку с Кара-Георгием, обещал, что ситуация резко изменится с первыми же успехами русских войск на правобережье Дуная. И верно, как только армия Багратиона начала одерживать победы, турки очистили почти всю Сербию от своих войск, тем самым дав некоторую передышку Белграду.

Уже после окончания кампании 1809 года, в феврале 1810-го, Багратион направил Исаеву 1-му предписание о подготовке новой экспедиции в Сербию. В предписании он наметил план действий русского отряда, которому предстояло занять ряд турецких

крепостей, чтобы обезопасить Сербию от турок. Предполагалось, что турки в это время будут потеснены в Болгарии основными силами Дунайской армии. Но осуществить этот тан Багратиону не удалось из-за отставки весной 1810 года.

Но вернемся к событиям лета 1809 года. 17 августа капитулировал Мачин, а 22 августа Багратиону сдался и Гирсов. Это были весьма слабые крепости (гарнизон в Гирсове составлял всего-то 338 человек). В отличие от Браилова, о который обломал зубы Прозоровский, а также Силистрии и Измаила — хорошо защищенных, с многочисленными гарнизонами. Помимо крепостей, для русской армии большую опасность представляла малоподвижная, но огромная турецкая армия, которой командовал великий визирь. Как и в начале войны, она действовала так, чтобы нанести главный удар по Бухаресту и тем самым вынудить Багратиона убраться на левый берег Дуная. Расчет строился на том, что Бухарест легко перейдет под власть султана, ибо правящая верхушка Валахии, диван и бояре во главе с неким авантюристом (и, между прочим, другом Милорадовича) Филипеску, были тайными сторонниками османов, при правлении которых им жилось весьма неплохо и о возвращении которых они втайне мечтали. Однако генерал Ланжерон, стоявший с корпусом в Бухаресте, в конце августа 1809 года двинулся навстречу идущему от Журжи турецкому корпусу и в сражении при Фресине сумел (как раньше Милорадович) отбросить противника. Это позволило Багратиону выйти на Силистрию, навстречу основным силам турецкой армии. У местечка Рассават произошло первое сражение Багратиона в этой войне. Почти сто верст при тридцатиградусной жаре Багратион прошел с артиллерией по местам, которые турки считали непроходимыми для войск, и смело напал на противника. Сражение против войск Хазрев-паши продолжалось всего три часа. Ударами корпусов Платова и Милорадовича противник был опрокинут, потеряв из 12 тысяч 3–4 тысячи ранеными и убитыми, тысячу пленными, много орудий и 27 (по другим данным — 30) знамен. Потери Багратиона составили всего 30 человек убитыми и 109 ранеными. В своем рапорте государю Багратион хвалил Милорадовича и особенно Платова, который, по словам главнокомандующего, «украсил седую главу свою венцом славы, везде был впереди». Уже после занятия Гирсова, что явилось заслугой исключительно Платова, Багратион ходатайствовал перед государем «о награждении его (Платова. — Е. А.) следующим чином» генерала от кавалерии21. Теперь, после победного сражения при Рассавате, в котором Платов, «пылая неограниченным рвением в исполнении предлежащей ему цели,

сам с легким войском преследовал неприятеля», не дать требуемого атаманом чина полного генерала было невозможно. Следует отметить, что Платов вообще был чем-то ближе Багратиону, чем другие генералы русской армии: они быстро находили общий язык, хотя оба были людьми непростыми. Багратион знал, как обидчив и злопамятен донской атаман, получивший генерал-лейтенантский чин раньше его самого и других полных генералов. Поэтому Багратион ценил готовность Платова служить под его началом и начал хлопотать за атамана, не без основания считая, что такая «отличная к нему высокомонаршая милость будет служить и вящим для него поощрением». Во всей этой истории проявилось достаточно тонкое знание людей, присущее Багратиону. И позже, во время отступления русской армии в 1812 году, Багратион сумел заинтересовать Платова и его казаков графским титулом, о котором для атамана якобы хлопотали при дворе. Наконец, знал Багратион, как влиятелен Платов в Петербурге. Вопреки своей очевидной брутальности (а может быть, даже благодаря ей) донской атаман пользовался вниманием и поддержкой многих влиятельных особ в столице. Эта способность, присущая и Багратиону, не могла не вызывать в главнокомандующем особого уважения и подчеркнутого внимания к реальным и мнимым заслугам Платова.

«Помогите ему, а меня избавьте от него». Иначе складывались отношения Багратиона с другой яркой личностью — генералом Михаилом Андреевичем Милорадовичем. Эти отношения были сложными, хотя в рапорте о победе при Рассавате 4 сентября Багратион дал Милорадовичу самую лестную характеристику: «Все отличные подвиги генерал-лейтенанта Милорадовича, который не только в нынешнее знаменитое дело, но и во все продолжение настоящей кампании, особливо в охранении Валахии самым малым числом людей от неприятеля, тогда яростию преисполненного, и в оборонении области сей обнаружил не только редкое усердие к пользе и интересам Вашего императорского величества, но и знания, искусство и опытность единственно отличному генералу свойственные, побуждают меня всеподданнейше просить о награждении его следующим чином»22.

Известно, что несогласия Багратиона и Милорадовича имели какую-то давнюю и не ясную ныне историю, относящуюся, думаю, к павловским временам. Вновь встретившись в Дунайской армии, оба генерала как будто помирились, о чем свидетельствовали отменные характеристики, которые давал Милорадовичу Багратион. Но осенью 1809 года старая вражда проснулась, как

спящий вулкан. Генералы, по-видимому, опять поссорились, и 19 сентября их разногласия привели к тому, что корпус, которым командовал Милорадович, был передан генералу Лонжерону, а самому Милорадовичу Багратион предписал возглавить корпус в Болгарии. По тем временам такой доли не желал ни один генерал — столь тяжелой представлялась зимовка на правом берегу Дуная. Милорадович от этой чести отказался, ссылаясь на болезни. Он писал: «Я был часто болен, освобождался от болезней старанием и особливым искусством докторей. Ныне паки занемог и не могу командовать по слабости моего здоровья». Это была типичная «генеральская болезнь», которую обычно вызывали местничество, ревность и зависть. Мшюрадович просил отставки или возможности лечиться в России.

В декабре 1809 года Багратион писал Аракчееву о Милорадовиче: «А скажу вам в откровенности, что общий наш приятель Михайло Андреевич крепко виноват против меня. Я люблю пробовать людей не на словах, а на деле: он кричал и писал — дам пример всем служить и повиноваться и т. п., на поверку вышло, что не хочет расстаться с мамзель Филипеско, в которую по уши влюблен. Любовь его — Бог с ним, пусть бы веселился, но отец ее наш первый враг, и он играет первую роль во всей Валахии». Действительно, до приезда Багратиона Валахия была под фактической властью Милорадовича, чувствовавшего себя в Бухаресте наместником. Милорадович тесно сошелся с семьей упомянутого выше знатного и богатого грека Филипеску, который стал его приятелем. Багратион писал, что Милорадович «за него (1Филипеску. — Е. А.) уцепился крепко, и способу нет никакого отделить». Филипеску был фактическим главой валашского дивана и заправлял делами княжества. Он много интриговал в восточном стиле и вел собственную политическую игру, в которую вовлекал и Милорадовича. Ко всему прочему видный генерал, герой увлекся его дочерью. Между тем, по мнению многих, Филипеску был тесно связан с турками и окружен османскими шпионами. Багратион писал: «Что бы я ни затеял, тотчас турки знают от Филипеско». Суждения Багратиона разделяли и другие. Так, сменивший Милорадовича граф Ланжерон, планируя операции, не сообщал о них даже своим штабным офицерам и не вел штабного журнала — настолько небезопасно это было делать.

Далее Багратион на все лады описывает охватившую Милорадовича страсть, которая якобы мешала ему исполнить воинский долг: «Я позвал было на сию сторону (то есть на правобережье Дуная. — Е. А.), яко пост важный, почетный и составляющий левое мое крыло, но вот его рапорт: “Мне надо

быть в Бухаресте, и премножество дел по многим частям". А надо все хвататься за Филипеско и его товарищей. Но наш Михайло благословенный сделался от любви как дитя блаженный. Будет придираться, беситься, а в резон ввести не могу никак, ибо влюбленный человек лишается почти рассудка. Я вам говорю сие для того, что вы его любите, и я очень люблю: он добрый, благородный, честный и все хорошее имел, но теперь узнать невозможно его. Из доброго человека сделался самым настоящим интриганом валахским». Заодно Багратион озаботился о благосостоянии Милорадовича: «Его надо отсюда вывесть, со временем любовь пройдет — он же нам спасибо скажет, а между тем избавится и от разорений. Он должен в Бухаресте около 35 000 рублей — шутка ли? Истинно, любя его, надо уволить: он очень желает, говорят, в Киев военным губернатором. Вот, ваше сиятельство, вся истинная справедливость, помогите ему, а меня избавьте от него».

По-видимому, в последнем и заключается истинное желание Багратиона. Дело не в спасении влюбчивого холостяка Милорадовича от чар прелестной гречанки и ее коварного отца, а в тех острых разногласиях, которые возникли между двумя заслуженными людьми, которым трудно ужиться под одной крышей. Выше уже говорилось, что Багратион в своих рапортах давал самые лестные характеристики Милорадовичу. Но, может быть, это-то как раз и раздражало самолюбивого Михаила Андреевича, который не хотел похвал от Багратиона потому, что считал себя не ниже, а даже выше его. Нужно помнить, что Милорадович был какое-то время старше Багратиона по службе и — самое существенное — после блестящей победы при Обилешти действительно чувствовал себя спасителем Бухареста и рассчитывал сам возглавить Дунайскую армию, сменить Прозоровского. А тут из Петербурга прислали Багратиона. Когда же Милорадович стал почти открыто выказывать строптивость, главнокомандующий вдруг забеспокоился о его нравственности, стал просить военного министра спасти несчастного от пут Венеры, тенет турецкого шпиона и бездны долговой тюрьмы. Однако под конец письма Аракчееву пылкий Багратион все же не смог скрыть своего раздражения против Милорадовича: «Право, мочи моей не станет и неприятно весьма, тем паче что во всех случаях, кроме множества доброго, я ему ничего не делал и ныне ему доказал, но не могу плясать по дудке всякого любовника. Я позвал его сюда на службу, он три года нежился, лежа на диванах славных — полно, теперь здесь надо потрудиться, а на место того сказался больным. Кажется, это нехорошо». Письмо заканчивается шуткой наполовину с просьбой: «Вот будет смешно, если и я

влюблюсь в ту же, тогда от ревности Михайла меня прибьет. Истинно шутки на сторону, его надо избавить отсюда»".

Аракчеев хорошо знал и ценил Милорадовича еще по «гатчинской армии», где красивый, ловкий, отважный серб был одним из лучших офицеров. Словом, 23 апреля 1810 года Милорадович был назначен киевским военным губернатором. Багратиона тогда уже не было в Дунайской армии, но до своего отъезда он дал указания провести тайное расследование деятельности Филипеску и в марте 1810 года поступил с ним и его семьей по-военному решительно: отправил временщика в ссылку, подальше от Бухареста, в Белгород14.

Силистрия досадная

Расхваливая в своих донесениях Платова и Милорадовича, Багратион не забывал и о себе. В донесении императору он представил занятие (даже не взятие!) двух посредственных турецких крепостей как подвиг и без особой скромности писал: «Я осмелюсь, однако же, без всякого тщеславия или бахвальства упомянуть здесь, всемилостивейший государь, что и в прежние с турками войны, как то под водительством генерал-фельдмаршала графа Румянцева Задунайского, армия российская, бывшая за Дунаем в гораздо большей силе, нежели я, не имевшая в тылу столь сильных крепостей в руках неприятельских, каковы Измаил и Браилов и в коих гарнизон простирается в первой от 4 до 5 тысяч, а в последней от 10 до 15 тысяч человек, не делали столь скорых и поспешных движений, каковы ныне произведены, ибо в продолжение 18 дней осаждены и взяты две немаловажные крепости». Потом, вероятно, Багратион пожалеет, что, еще не добившись значительных побед, поставил себя выше самого П. А. Румянцева-Задунайского. Этого ему не простил канцлер и сын фельдмаршала, влиятельный при дворе граф Н. П. Румянцев. А между тем с Румянцевым Багратиону и пришлось тесно сотрудничать, ибо вскоре он, как главнокомандующий, получил право и полномочия вести переговоры и заключить перемирие с турками, чего без содействия канцлера сделать было невозможно. Впрочем, Багратион не обольщался предстоящими успехами в этой сфере — слишком сложным казалось данное императором поручение. 1 октября он писал Румянцеву: «Предвижу я весьма малую надежду или, лучше сказать, почти никакой, чтобы Турция согласилась дать контрибуцию в 20 миллионов пиастров и уступить Молдавию, Валахию и Бессарабию, а также Сербию». Ссылаясь на неудачные русско-турецкие переговоры в Париже, он

продолжал: «Негоциация в Париже может служить доказательством, сколь медиации (то есть посредничество Франции. — Е. А.) безуспешны. Вообще должен я вам признаться, что я почитаю для России выгоднейшим тот мир с Портою, который подписан будет визирем на барабане». В этом смысле устремления Багратиона совпадали с общими задачами, которые поставил перед героем Аландских островов император. Эти устремления были ярко подтверждены 14 сентября, когда на милость победителей сдался Измаил и тогда же началась осада Силистрии. И тут произошло то, что погубило надежды Багратиона дойти до Царьграда…

Поначалу ничто не предвещало неудачи. За победу при Рассавате Багратион был награжден высшим орденом империи — Святого Андрея Первозванного, а также получил 50 тысяч рублей. Милорадович и Платов стали полными генералами, солдатам выдали за победу по рублю на брата. Отметив победу при Рассавате, войска двинулись к Силистрии. Впереди шел авангард генерала П. Строганова, который провел рекогносцировку под самым городом. Уже 11 сентября русские войска были под стенами Силистрии, а через три дня было получено известие от генерала Засса о покорении Измаила: крепость «без пролития капли крови пала»25. Силистрия оказалась орешком потверже. Если в Измаиле было 4 с половиной тысячи человек гарнизона, то здесь за крепостными стенами сидели 11 тысяч человек, обеспеченных на несколько месяцев продовольствием, с пороховыми погребами для 130 орудий (в Измаиле было всего лишь 36 орудий). Попытки уговорить коменданта — давнего знакомца Платова — не удались. Пришлось начинать, как тогда говорили, «правильную осаду»: рыть апроши, траншеи, ставить батареи, вести обстрел крепости из осадных орудий. Дело это было нелегкое, как и вообще тяжела была осада турецких крепостей.

Искусство осады. И. П. Липранди, человек разносторонний, помимо мемуаров, докладных записок и доносов написал любопытную брошюру «Особенности войны с турками», в которой обобщался опыт осады турецких крепостей — а этот опыт у русской армии насчитывал больше ста лет, начиная с осады Азова в 1695 году. Липранди сразу ошарашивает читателя фразой: осада турецкой крепости — «это гроб осаждающей армии». Дело в том, что обычно турецкие крепости окружены кладбищами, подчас достигающими гласиса — пологой земляной насыпи перед наружным рвом крепости. «Среди сих-то могил, заключающих в себе истлевающие тела, преданные земле от злокачественных воспалительных болезней и от самой чумы… осаждающие

должны проводить траншеи, строить батареи, словом, всколыхивать землю, уже пропитанную различными миазмами, и встречать сверх того все то, что окружало хотя и истлевшие уже тела умерших от чумы»26. Отсюда неизбежны болезни и смертность среди осаждающих, особенно если осада приходится на лето. Что же касается поведения турок в осаде, то Липранди ставит весьма высоко их боевые качества. Обычно, сообщает автор, когда за их спиной есть укрепление, они проявляют редкостное мужество и упорство, отважно сражаются до конца даже в безнадежной ситуации. Вылазки же турок из осажденной крепости не представляют большой опасности, если, конечно, соблюдать устав караульной службы (о спящих часовых Липранди выразился так: «Беспечность есть как бы удел лично храбрых невежд»27). Во время вылазок турки никогда далеко не уходят от крепостей.

Одной из серьезнейших проблем при ведении боевых действий в этом районе были резкие перепады температуры. М. И. Кутузов, много воевавший с турками, писал: «Против вредного климата в Валахии, где летние дни очень жарки, а ночи холодны, единственная предосторожность состоит в том, чтобы нижних чинов на ночь одевать теплее, что и все тамошние жители наблюдают. Строгий надзор, чтоб солдаты спали всегда одевшись, предохраняет их от болезней, но часовые в парусиновых панталонах озябают как средь зимы, большою частию простуживают себе желудки, отчего простудные горячки и поносы в летние месяцы всегда свирепствуют между войсками». И только в мае 1811 года, по соответствующему ходатайству Кутузова, император разрешил солдатам носить летом зимние панталоны, «да сверх того отпустить в полки единовременно денег на построение теплых фуфаек, которые бы, входя в панталоны и закрывая брюхо, предохраняли солдат от простуды»26.

Если предстояло осаждать турецкую крепость, то лучше всего начинать осаду осенью, советовал Липранди. Во-первых, холод уничтожает миазмы кладбищ, во-вторых, солдат меньше мучает жажда (а хорошей воды в тех местах нет никогда), в-третьих, раздача водки зимой полезнее, чем летом, в-четвертых, солдатам лучше есть баранину или бастурму. Липранди был убежден, что холод плохо действует на турок, обычно их солдаты плохо одеты и обуты, турки вообще плохо переносят холод. Более того, «турок в зимнее время вовсе перерождается и несравненно легче склоняется к сдаче, в особенности, если условия капитуляции предоставят иноместным выход с оружием, а местным жителям — право остаться в домах своих и продолжать торговлю и другие обычные занятия».

Осада Силистрии оказалась неудачной не только потому, что началась в теплую погоду и что долго везли к крепости осадные орудия. Комендант отказывался сдать крепость и весьма рассчитывал на помощь армии, стоявшей у Рущука под командой великого визиря Юсуфа. Поначалу Юсуф решил послать под Силистрию только корпус полководца Пеглевана, который появился на дороге к крепости 23 сентября. На следующий день его успешно атаковали казаки Платова и гнали 15 верст по дороге на Туртукай. По этому поводу Багратион 25 сентября писал Аракчееву: «Я, ваше сиятельство, истинно не дремлю и не трушу, и свято пророчество ваше сбылось: Багратион сераскира в пух разбил, Измаил взят, а теперь поздравляю вас с победою также важною: разбил Платов славного и отчаянного Пеглевана. Теперь обещаюсь поразделаться с Силистрией. Сия крепость еще никем не была взята. Я счастлив тем, что уничтожил план великого визиря. Перегнал его на мою сторону. Избавил вовсе Большую Валахию и Малую почти и тем оседлал совершенно Дунай. Но беспокоит меня Браилов, там сильный гарнизон… Правила мои, ваше сиятельство, вот каковы: не дремать никогда и неприятеля не пренебрегать тоже никогда… Цель моя была возбудить армию и сделать храброю. Я без хвастовства говорю, что сделано и у меня: ступай один русский против десяти…»

По-видимому, письмо Аракчееву писалось в несколько приемов, потому что далее Багратион описывает события, которые произошли позже. Дело в том, что через две недели, 7 октября, уже после того как Платов прогнал турецкий авангард, более значительные силы турок, почти половина всей их армии, под командой того же Пеглевана подошли к Силистрии и остановились у селения Татарица. Как потом выяснилось, турки, остановившись, начали интенсивно окапываться, зная свои слабости при столкновении с европейской регулярной армией. Как известно, одной из таких слабостей была их неспособность достичь согласованных действий пехотных соединений в поле, а также отсутствие боевого взаимодействия между пехотой, кавалерией и артиллерией. И когда Багратион подошел к Татарине с войсками, турки успели так хорошо поработать лопатами и кирками, что за короткий срок создали настоящую земляную крепость с редутами и батареями. Багратион шел за победой, накануне он писал Аракчееву: «Думаю, на сих днях будет шибкая баталия, или уйдут (в смысле визирь отступит. — Е. А). Визирь лукавит, как лисица. Он выслал для избавления Силистрии 15 000 конницы, пехоты и янычаров отборных из Туртукая против меня, но он такую позицию занял, ни пехотою, ни кавалериею ничего важного предпринимать невозможно.

Вчерась хорошо мы их пощипали». Действительно, турки вели себя очень осторожно и из своей земляной крепости выходить в поле ни за что не хотели. А как раз на том, чтобы выманить турок, и строилась тактика Багратиона, который привел к Татарице всего лишь четыре с половиной тысячи человек пехоты и рассчитывал побить противников, сколько бы их ни было, — по принципу Суворова: «считать неприятеля только после поражения».

Думаю, что Багратион дописывал письмо Аракчееву никак не ранее 9—10 октября. Он сообщал, что «чрез несколько дней, естли они не выйдут из той позиции ко мне, то я ухитрюсь к ним идти и напасть, как снег на голову, а притом надо войска оставить много и для Силистрии, ибо гарнизон велик. Признаюсь, хлопот полон рот, а надо успевать, и не дремлю никак»211. Штурмовать конницей (драгун и улан у Багратиона было 25 эскадронов и еще 10 казачьих полков) позиции турок было бессмысленно. Турецкая же конница, столкнувшись с казаками, довольно быстро отступила в сторону Туртукая (вероятно, об этом Багратион пишет: «Вчерась хорошо мы их пощипали»).

Осмотрев позиции турок, Багратион решил все-таки атаковать их укрепления утром 10 октября. В ранний час шесть сомкнутых каре, между которыми располагалась кавалерия, двинулись на турецкие позиции, впереди находились пушки полевой и конной артиллерии. Поначалу, несмотря на яростный огонь противника из окопов и батарей, наступление развивалось успешно — русской пехоте удалось занять центральные укрепления и установить там свои орудия. Но дальше продвинуться не получалось, как не получалось и совершить фланговый охват. Оказалось, что против 20-тысячного корпуса, засевшего в окопах, сил у Багратиона было явно недостаточно — суворовский принцип «один против десяти» в этой ситуации не сработал. Через несколько часов сражения к туркам стала подходить от Рущука помощь — албанский корпус, который дат противнику значительный численный перевес, позволил ему даже перейти в наступление и вернуть захваченные русскими батареи. Багратион, как всегда, был в гуще сражения, хладнокровно стоял под турецкими ядрами и пулями и к вечеру, когда стало ясно, что турки удержали позиции, приказал прекратить бой. Формально сражение под Татарицей закончилось вничью, хотя русским удалось захватить 16 турецких знамен и две сотни пленных. Турки попытались также совершить вылазку из Силистрии во время сражения под Татарицей, но неудачно: их отряд в три тысячи человек был успешно отбит войсками, оставленными Багратионом в лагере. Сам Багратион ночевал вместе с солдатами

в поле. На следующее утро, 11 октября, он построил войска и долгое время оставался в нерешительности: сил снова атаковать земляные укрепления у него явно недоставало, а выманить турок из окопов, которые те за ночь восстановили и еще больше укрепили, так и не удалось. Тогда Багратион дал приказ демонстративно отойти на три версты, тем самым воодушевляя турок начать преследование гяуров. Но турки на уловку не поддались, к ним стали подходить все новые и новые войска во главе с великим визирем, которые тотчас определялись на строительство земляных сооружений.

В результате для осаждающих Силистрию войск Багратиона ситуация сложилась странная и чреватая серьезными проблемами. Они не могли ни взять крепость, ни прогнать блокирующий русский корпус, который сам устроил себе новую земляную крепость. Осознав опасность возможного окружения, Багратион решил отступить. Теперь полководец заговорил иным языком. «Силы его, — писал он об армии великого визиря, — вчетверо и впятеро превосходят число всех войск, какие я около Силистрии в распоряжении моем имею, а крепость сия, невзирая на ежедневно производимую канонаду и бомбардирование, к сдаче не склоняется, сохраняя упование на помощь верховного визиря. Выжечь город нет способа. Все строения большею частию плетневые, вымазанные глиною, кровли черепичные. К штурму слабость сил моих приступить мне не позволяет. Если бы я решился, невзирая на ограниченность сил моих, атаковать армию верховного визиря, то вероятно претерпел бы я сильное поражение и принужден бы был с большою потерею снять блокаду Силистрии, а когда бы остался под крепостью еще долее того, хотя и не был бы я атакован войсками турецкими, но лишился бы, по недостатку подножного корма, всех кавалерийских, артиллерийских и подъемных лошадей. В первом случае исчезла бы вовсе Молдавская армия, а во втором претерпела бы она потерю, которой в одну зиму вознаградить невозможно, и сделалась бы неспособною к действию с наступлением ранней весны. Предвидя сии пагубные последствия я старался избрать из двух зол меньшее и решился отступить с сохранением славы доселе оружием Вашего императорского величества приобретенной и со сбережением войск на будущий поход». Как видим, от прежних шапкозакидательских обещаний с легкостью побить турок не осталось и следа. До самого конца Багратион думал, что поступил под Силистрией правильно. Однако следует признать обоснованным мнение историков, которые считали, что Багратион как главнокомандующий допустил ряд серьезных промахов. И самым важным из них было

то, что он не сумел объединить все разбросанные в разных местах силы своей армии, а наоборот — распылил их. Особенно странным выглядит перевод крупного корпуса генерала С. Каменского к Базарджику, а не к Силистрии, хотя у Базарджика полевой армии турок не было и вся она сосредоточилась у Рущука, то есть по направлению к Силистрии. Словом, Багратион не смог проявить того, что в те времена называли «глазомером», то есть умения в нужном месте и в определенное время сосредоточить максимальные силы для нанесения концентрированного удара по противнику. Всего в его распоряжении было не менее 40 тысяч солдат, с которыми он мог бы разбить армию великого визиря. Он же вывел в поле, как уже сказано выше, только 4 с половиной тысячи пехоты, которые справиться с засевшим в укреплениях противником (20 тысяч солдат) не смогли. Да и теми силами, которыми он располагал под Силистрией в день битвы при Татарице, Багратион распорядился нерационально. В итоговом донесении 14 октября он писал, что при Татарице располагал только 16 батальонами пехоты (4,5 тысячи) и столько же оставил под Силистрией.

Но, как заметил военный историк А. Н. Петров, Багратион сам писал Аракчееву накануне, 6 октября, что «3 корпуса моих, то есть Платова, Маркова и Милорадовича (потом Ланжерона), составляют не свыше 20 тысяч человек пехоты и кавалерии». Значит, он оставил в лагере минимум 15 тысяч человек. Остается непонятным, почему он не вывел к Татарине из лагеря под Силистрией хотя бы еще 10 тысяч солдат, чтобы добиться если не перевеса, то хотя бы относительного равенства своих сил с войсками противника. Естественно, что Багратион опасался вылазки из осажденной Силистрии, но для ее предупреждения вполне хватило бы пяти тысяч солдат. Тогда сражение у Татарицы было бы иным и, несомненно, победным для русских войск30. Позже, уже после своей отставки, Багратион был вынужден признать: «Отдаю справедливость туркам, что мастера держаться в окопах»31.

Здесь, кроме неба и земли, ничего более нет

Словом, без особого позора, но и без славы армия Багратиона 14 октября отошла от Силистрии. Несколько раз она останавливалась — ожидая, что турки все-таки выйдут в поле. Но русские напрасно прождали турок до 14 ноября у так называемого Троянова вала — великий визирь вскоре отошел к Шумле и распустил армию на зимние квартиры. Решающее

сражение с противником так и не состоялось, зато началась бумажная битва между Главной квартирой Багратиона и Петербургом. Государь не упрекал командующего за неудачу под Татарицей — неудача эта сама по себе была относительной, тем более что Багратион считал это сражение для себя победным. И даже отступление от Силистрии не ставилось ему в вину — было известно, что Дунайская армия отошла в полном порядке, увозя с собой из-под стен невзятой крепости пушки и имущество. Кроме того, осадные орудия были переправлены под Браилов, и вскоре, 21 ноября, корпус генерала Эссена вынудил коменданта сдать крепость, ключи от которой Багратион послал императору32. Но резкое недовольство в столице вызвало известие о том, что Багратион намерен с армией перебраться обратно на левый берег Дуная.

Багратион понимал неизбежность возвращения армии по окончании кампании еще до истории с неудачной осадой Силистрии. В письме военному министру Аракчееву 25 сентября 1809 года он писал (не без цинизма в отношении покойного Прозоровского) о явном недостатке времени для осуществления намеченного Петербургом плана: «Признаюсь в откровенности, как чистой русской и верноподданный нашему монарху: ежели бы умирать старику фельдмаршалу, лучше бы он умер 3 месяца прежде… но поздно, боюсь крепко дурной погоды, и подвоз станет, ломка престрашная в подвижных магазейнах». Тут же он назначал крайний срок завершения кампании: «Я могу быть (за Дунаем. — Е. А.) до ноября месяца на подножном корму, но далее нет возможности иметь на подводах сена, овса и хлеба, а притом Дунай — река самая бешеная, ни мосты не удержатся, и все может испортить»35.

Уже после отхода от Силистрии главнокомандующий обосновывал необходимость отступления на левый берег Дуная в письме императору: «Я воюю в степи. Если армии идти за визирем в Балканы, то сделанному исчислению для доставления в тамошних пустынях одного продовольствия, кроме фуража, потребуется везти на 80 000 волах, но и тех кормить будет нечем. Следственно, волы артиллерийские и конных полков лошади должны будут пасть. Все сии обстоятельства достаточно доказывают совершенную невозможность привести в действие такое предприятие. Я было помышлял о том, чтобы, когда овладею Силистриею и Базарджиком и мир до зимы не последует, стать в линию, упираясь правым флангом к Силистрии, а левым к Базарджику и к берегу Черного моря, но тут рождаются те же препятствия в продовольствии и полагаются все возможные препоны. Сперва льдом сорвет все мосты, которые устроены или

еще устроятся на Дунае, а потом река сия в продолжение зимы в разных местах несколько раз замерзнет, но никогда так, чтобы по льду можно было препровождать транспорты. В таком положении дел не в состоянии я продолжать здесь кампанию далее, как до ноября, а тогда для предотвращения гибели армии, почитаю необходимо нужным, оставя в крепостях по правому берегу Дуная гарнизоны и снабдя их продовольствием, все прочие войска переправить на левый берег той реки». Весной же, точнее — во второй половине марта, Багратион предполагал снова переправиться на правый берег и, разорив Мачин и Гирсов, идти к Балканским горам, «дабы пройти оные прежде, нежели армия верховного визиря в состоянии будет поспеть туда, и тогда силою оружия принудить его подписать мир».

25 октября император послал Багратиону рескрипт, в котором умеренно хвалил его за сражение при Татарице, а затем отмечал: «Насколько происшествие сие само по себе радостно, сколь прискорбно мне было вместе с тем получить известие о намерении вашем возвратиться за Дунай». И далее: «Я требую, чтобы отложить намерение ваше к переходу за Дунай. Употребите вы все и самые крайние усилия держаться встране, вами занимаемой, и если невозможно идти далее или вызвать визиря на генеральную баталию, то удерживать по крайней мере ваше положение, отражая все покушения неприятеля».

Из рескрипта императора видно, что, требуя от Багратиона оставаться на правом берегу, он руководствовался исключительно политическими мотивами. Александра беспокоило, что с возвращением армии на левый берег усложнится решение «турецкой проблемы», то есть присоединения к России Дунайских княжеств, как и общее замирение турок на русских условиях. «Какое впечатление должен произвесть обратный переход ваш, — писал он Багратиону, — над теми самыми турецкими войсками, кои с самого начала командования вашего в разных делах доселе были побеждаемы… По свойству сего народа, к кичливости всегда преклонного, возмечтает он, что превосходством своим принудил вас к отступлению…» Возражая Багратиону относительно невозможности содержания армии на правом берегу, государь ставил в пример турок: те-то себя там каждый год содержат. «Таким образом, — заключает Александр, — весь плод предыдущих побед, все последствия сделанных доселе на той стороне усилий я считаю совершенно потерянными, как скоро переход ваш свершится. Надобно будет снова начинать войну, и начинать ее не раннею весною, но в июле месяце, ибо и на будущий год от разлития вод дунайских те же самые встретятся препятствия, как и в предыдущем и, следовательно, война с

Турциею, переходя от одного года к другому, к крайнему ущербу польз наших будет длиться, тогда как самая существенная цель ее есть скорое окончание»34.

А войну нужно было закончить, причем с победой, как можно быстрее — времена в Европе наступили иные, чем в 1806 году. Александр думал о неизбежной грядущей войне с Наполеоном, вербовке союзников. Слабость, проявленная в войне с заведомо уступавшими в военном отношении турками, бросала тень на репутацию России. «От сих важных потерь, — писал государь Багратиону, — переступая к тому впечатлению, какое переход ваш необходимо произведет в делах наших европейских, я не могу вам довольно изобразить, ни измерить всего пространства вредных его последствий. Настоящее положение наше на Дунае дает политическим нашим связям все уважение, какое свойственно иметь России. Но уважение сие сильно поколеблется, как скоро положение наше переменится… когда принуждены будем мы назад возвратиться. Если притом французские дела успеют окончиться в Испании, как то со всею вероятностию предполагать можно, а мы останемся в войне всегда начинаемой и никогда не кончаемой, то вы сами себе представить легко можете, какое бедственное влияние война сия иметь тогда будет на судьбу нашего отечества». И далее император дает Багратиону советы, как решить продовольственную проблему на правом берегу35.

Багратион получил рескрипт государя 16 ноября, когда уже начал переправлять войска через Дунай в районе Гирсова. На следующий день он отвечал Александру, пытаясь доказать, что армию на правобережье содержать невозможно, что на всем пространстве от Тульчи и Исакчи до Силистрии, Базарджика и Каварны нет ничего, кроме неба и земли, «ни единого обывателя, нет ни жилища, ни пристанища, нет ни одного способа к получению хотя малейшей части из самых первых потребностей к физическому существованию людей и скота», а в армии уже начались болезни, которые, несомненно, усилятся от пребывания в землянках. Что же касается турок, то они подвозят продовольствие и фураж из глубины своих территорий и сами занимают крепости и крупные центры, в которых расположены большие склады и хранилища. Русская армия находится в совершенно другом положении. Багратион писал, что его предшественник Прозоровский не собирался задерживаться на правом берегу и не создал там запасов, а он сам принял командование только в августе, и поэтому время для создания запасов было безвозвратно потеряно.

Понять мотивы Багратиона можно. Населенное левобережье с

его Дунайскими княжествами уже несколько лет давало благоустроенный приют русской армии, и не было смысла зимовать в чистом поле на правом берегу ради эфемерных геополитических соображений. Багратион не без основания опасался, как бы армия не оказалась отрезана своенравным Дунаем от главных баз на левобережье и не погибла бы от голода.

Тем не менее Багратион не посмел самовольно перевести всю армию на левый берег и стал ждать указа императора. При этом он начал экономить продовольствие за счет уменьшения порций, в том числе офицерам, урезал порции овса для лошадей. Пытаясь наверстать упущенное, Багратион разослал по правобережью Дуная приказы о сборе провианта и сена, а также предписал срочно перебрасывать провиант с левого берега на правый. Предвидя последствия суровой зимовки, главнокомандующий позаботился об улучшении медицинской части армии и организации нового госпиталя в Бендерах. Он был человеком дисциплинированным и наверняка предпочел бы умереть, нежели нарушить волю императора. «Высочайшая и непременная воля Его императорского величества, — пишет Багратион в приказе по армии от 7 ноября, — есть чтобы все находящиеся на правом берегу Дуная войска оставались здесь на всю зиму для продолжения военных действий. При таковых обстоятельствах требует сама необходимость умножить здесь провиантские и фуражные запасы столько, чтоб сих жизненных потребностей достаточно было до открытия будущей весны, и столь поспешно, дабы все то исполнено было прежде, нежели морозы и льды воспрепятствуют держаться сооруженным нами чрез Дунай переправам»36. Багратион был верен себе — в любой ситуации не отчаиваться, рук не опускать, готовиться к испытаниям, определенным царской волей и природой. Этот пространный приказ по армии предусматривал все возможные и необходимые действия, чтобы организовать доставку продовольствия и фуража как можно лучше и быстрее. Одновременно войскам было предписано срочно «для соделания убежища от непогод и холода» строить «землянки или камышовые шалаши, как кто удобнейшим и выгоднейшим для себя найдет на тех самых местах, на коих оные занимают ныне свои позиции»37. Не приходится сомневаться и в том, что Багратион не кривил душой, когда писал Аракчееву, что ничего для солдат не жалеет, «последнею копейкою моих верных и пою, и кормлю, и даю им за отличия. Я лучше умру, нежели покажу из суммы экстраординарной (то есть из неприкосновенных денег. — Е. А.)… Умру честно и голой. Бог знает душу мою, сколь я привержен монарху нашему, и за то мне помогает»38.

Но начались дожди, на дорогах воцарилась распутица. 29 ноября Багратион даже издал особый приказ о том, чтобы присылать к нему с курьерами только «самонужнейшие и важнейшие» депеши, а остальные отправлять почтой, — ему было жалко людей и лошадей, преодолевающих невероятные грязи для того, чтобы доставить какую-нибудь маловажную бумагу39. В этих непролазных грязях задыхались и гибли сотни волов, которые везли арбы с продовольствием со скоростью пять верст в день. Всех ужасала предстоящая жизнь в землянках, которые трудно было построить в раскисшей от дождей земле из-за отсутствия леса. Багратион писал: «Три дивизии не имеют ни шинелей, ни панталонов, и никто сапогов… Если эти, почти нагие войска оставить на зиму без пристанища, то, конечно, по крайней мере половина оных перемрет до весны, из остальной же части едва ли останется половинное число здоровых». Тогда весной «неприятель со свежими и всем удовлетворенными войсками придет на меня и истребит тощие остатки сил моих»40.

Все это, по его убеждению, делало невозможным дальнейшее пребывание армии на правобережье Дуная, Об этом г лавнокомандующий вновь написал в Петербург. Там проблему обсуждали до 12 декабря. Получив донесение Багратиона вместе с запиской Аракчеева, который поддерживал главнокомандующего, канцлер Н. П. Румянцев 6 декабря 1809 года посоветовал императору: «Я не сумневаюсь, государь, в том, что единое средство, которое осталось, есть позволить немедленно князю Багратиону, по предположению его, переправиться по сю сторону Дуная, приуготовиться к новой переправе весною». Так провалился царский план «наведения страха на турок» за счет истребления собственной армии на зимовке. 12 декабря император разрешил Багратиону переход на левый берег41. Переправа закончилась только в начале января 1810 года. Армия расположилась на привычных квартирах в Молдавии и Валахии, а Главная квартира разместилась в Бухаресте. На правом берегу был оставлен небольшой отряд под командованием генерала Каменского 1-го. Думаю, что если бы указа об отходе на левобережье не последовало, Багратион армию бы не покинул и в Бухарест не уехал, а стойко переносил бы свою «Шипку».

С канцлером лучше не конфликтовать

Судя по отстраненному тону указа 12 декабря, да и по последующей реакции Александра на письма Багратиона,

государь остался крайне недоволен упрямством главнокомандующего. Вообще, во всем этом нельзя не увидеть типичных черт поведения Багратиона, который, с одной стороны, как зеницу ока берег доверенность государя, проявлял себя льстивым царедворцем, угодничал перед людьми, близкими к императору, но с другой — в какой-то момент мог всем этим пренебречь во имя высших военных соображений, когда речь шла о спасении или сохранении вверенной ему армии. Так было и в 1812 году. Возможно, перед глазами Багратиона стоял Кутузов, который прогнулся только раз при Аустерлице, пренебрег профессиональными соображениями во имя придворных выгод и навлек на себя позор поражения, утратил доверие государя. Под грузом того, что он называл «великими обязанностями», Багратион смирял свою безмерную гордыню, обуздывал грузинский темперамент, становился осторожным и расчетливым, вопреки советам окружающих, приказаниям начальников и даже верховной воле.

В своем рапорте от 17 ноября Багратион писал: «Со млеком материнским влил я в себя дух к воинственным подвигам; отечество, меня питавшее, монарх, возведший меня на столь высокую степень почести и вместе с тем великих обязанностей, постепенно усиливали во мне сей дух, составляющий, так сказать, вторую мою природу: вся прошедшая служба моя может быть тому доводом». Багратион сознает, что настал момент проявить этот дух: «Кольми паче в настоящих обстоятельствах, где существеннейшие пользы и верховнейшее благосостояние моего отечества, где слава толико облагодетельствовавшего меня монарха и где собственная моя честь, которая мне дороже тысячи жизней, того требуют, желал я обнаружить на самом деле, колико мне драгоценны и монарх, и отечество и колико я усердно желаю соделаться любви одного и милосердия другого достойным». Однако, признается Багратион, обстоятельства ставят предел возможностям его героического духа. Это — природа и противник, который оказался не так слаб, как предполагал Багратион раньше (вспомним его победительную риторику под «суворовским соусом» — об одном солдате против десяти турок — из письма Аракчееву): «По дальнейшим военным моим подвигам и сам Бог положил непреоборимые преграды. Пред неприятелем сильным в стране, мне ни по которой части не известной, находился я, упавши, так сказать, с неба с силами, нимало неприятельским не соответствующими, при недостатке всех к одолению врага нашего нужных способов, посреди и во власти его. Вчетверо сильнейшее войско его в Рущуке, Туртукае и Татарице, другой также весьма сильный неприятельский корпус в

Базарджике, все способы его к получению подкрепления, открытое для него море — все сие представляло мне истребление армии либо мечом неприятельским, либо голодом. Известно, что турки имеют превосходнейшую во всем свете кавалерию, для побеждения ее нужны кавалерия (а как же наш победоносный атаман Платов? — Е. А.) и артиллерия, но лошади кавалерийские и артиллерийские, претерпевавши все недостатки в подножном корме, изнурены были и не могли действовать с успехом. Все сии причины заставили меня отступить от Силистрии…»42

Тут-то и разгорелся острый конфликт, который в конечном счете привел к отставке Багратиона с поста главнокомандующего Дунайской армией. Дело в том, что канцлер граф Николай Петрович Румянцев также состоял в переписке с Багратионом. Как и император, Румянцев ожидал, что Багратион добьется выгодного мира с Османской империей. Он писал князю, что французы завязли в Испании и поэтому Наполеон «не может действовать враждебно против России или направлять к тому Австрию»43. Когда же в Петербурге стало известно об отступлении Багратиона от Силистрии, а затем о его намерении вернуться на левый берег Дуная, Румянцев не нашел ничего лучшего, как отправить Багратиону некую книгу об успешных действиях на Дунае в 1770-х годах фельдмаршала П. А. Румянцева, а также весьма критическое мнение некоего датчанина Гибша о Татарицком сражении, приложив их к своему письму от 29 октября.

Багратион страшно обиделся на канцлера и написал ему резкое, сумбурное письмо, в котором, не сдерживаясь, проявил весь свой южный темперамент: «Покорно благодарю вас за заметку… Я очень знаю, что Румянцев был умнее Багратиона! Он собрал совет и перешел обратно — я ни того, ни другого не сделал, слепо повинуюсь воле монарха! Напрасно прислали, я давно читал и знаю содержание онаго (то есть книги. — Е. А.). Прощайте, верьте мне лучше, чем иноверцам (Гибшу. — Е.А.). Оно полезнее будет. Они стелют мягко, но нам спать жестко. Мне кажется лучше воевать против турок, нежели против меня и общего блага… Я здесь ближе всех и лучше знаю… На что вы мне мешаете? Что за польза, зачем раскричались, что я отошел, — вот прогулка моя какова — Браилов пал. Это не шутка, и никто не брал, что оно стоило нам всегда? А теперь ни гроша и ни души. Лучше дайте мне волю, лицом в грязь не ударю, а если писать и верить чужеземцам, тогда я буду и трус, и нерешим для того, что отнимаете всю мою веру и верность. Это жалко, грустно, неполезно, больно и вредно. Что за беда: хотел перейтить Дунай? Военные обстоятельства мгновенно переменяются. Мне надо было

так сделать, иначе не могу и будет зер шлехт (очень плохо. — Е. А.). Прощайте, пусть другой бы сделал в 3 месяца… Я знаю много храбрых издали и после баталии! Прошу Торнео и Аланд в пример не ставить, совсем не то. Есть вещи невозможные. Почему в Египте не держался Наполеон, а ушел, и погибель стало невозможна была… За мною дело не станет, трусом не бывал, но хотят, чтобы я был трус! Понять не могу, что за выгода? Армиею ворочать — не батальоном. В одну позицию влюбляться вредно. Прошу одной милости: дать мне волю или вольность, иначе истинно принужден буду по крайности духа и тела моего остаться и просить избавления. Вог вам, ваше сиятельство, мое чистосердечие. Весь ваш кн. Багратион».

К письму была сделана не менее острая и эмоциональная приписка: «Мне кажется, общее благо должно совестить каждого. Не быть довольным тем завоеванием, что я сделал в короткое время: бил в поле, шел донельзя, важные крепости взял, мосты построил! Теперь занимаюсь к весне строить суда для транспортов. Три года армия здесь стояла неподвижно. Кроме сплетни и побиения от неприятеля, ничего не делали. Флота на Черном море я не имею, хотя и должно, и о том только и думаю. Виноват ли я, что в 24 часа не мог победить Оттоманскую Порту? Прежние войны длились по нескольку лет, имея при том союзников и оканчивали почти ни с чем при мире, а ныне я один, флота нет… Очень хорошо, дайте мне 50 000 кавалерии и столько же пехоты, и я на будущую кампанию заставлю их — верно, иначе не можно. Для великих дел надо великие способы, иначе далеко не уйдешь. Я смело и торжественно скажу, что никому не удалось такой кампании, как нынешняя. Если недовольны, я сожалею, и охотно отдам другому, а сам останусь как прапорщик. Пусть лучше приедет (Румянцев? — Е. А.), я докажу, что умею повиноваться»44.

Смысл сказанного — в том, что Багратион требует предоставления ему, профессионалу и главнокомандующему, свободы решений и высокого доверия; что на войне обстановка постоянно меняется и его долг главнокомандующего — учитывать эти изменения; что война на Востоке имеет свои особенности и что история отступления Наполеона из Египта — яркий тому пример. Наконец, он серьезно подозревает, что против него ведутся интриги: что его хотят опорочить в глазах государя, сомневаются в его смелости, компетентности, игнорируют его явные успехи на правом берегу Дуная — и это после стольких лет прежнего бездействия Дунайской армии; что, наконец, от него требуют выполнения невыполнимых задач. Здесь заключен скрытый укор не только Румянцеву, но самому государю,

требовавшему, чтобы Багратион в кратчайший срок, с наличными, сравнительно небольшими силами, поставил Турцию на колени. В крайнем раздражении Багратион заявляет, что готов уйти в отставку, если кто-то другой может сделать все лучше, чем он.

В письме Аракчееву от 22 ноября он развивает свои мысли: «Вся прежняя служба моя может, я надеюсь, служить доказательством, что я не трус, но безрассудную отвагу признаю я также большим в полководце пороком. Войска, здесь остающиеся, принуждены [жить] в палатках, из коих многие так ветхи, что только наименование палаток имеют, — претерпевать все впечатления осенних невзгод и жесткости зимы». Дополнительным аргументом в пользу отступления на левый берег служит, по мысли Багратиона, общее состояние бассейна Дуная: «Не один Дунай рождает непреоборимые препоны, но и все Другие реки, как-то Серет, Мильков, Бузео, Яломица и другие, которые часто мгновенно разливаются, сносят мосты и прерывают коммуникацию иногда дня на два и на три, а иногда на неделю»45.

Не меньшую, а даже большую обиду Багратиона вызвал так называемый «рапорт Гибша». Дело в том, что во время сражения при Татарице в стане турок оказался проездом из Стамбула в Копенгаген сын датского поверенного при дворе султана барон Гибш. Приехав в Петербург, он рассказал, что русское командование не сумело воспользоваться общей слабостью турецкой армии и царившими в Главной квартире османов разногласиями. Гибш сам видел, как два турецких военачальника подрались. В сочетании с сообщениями о готовящемся отступлении на левый берег Дуная рассказ Гибша, записанный в виде некоего рапорта, произвел тяжелое впечатление на императора и его окружение. В письме от 13 ноября Румянцеву Багратион буквально кипит от ярости. Во-первых, он считает, что Гибш неверно отражает как само сражение при Татарице, так и состояние дел в турецкой армии. Действительно, вспыхнувшая в турецком штабе распря военачальников была погашена великим визирем и существенно не повлияла на положение дел46. Во-вторых, он считает себя оскорбленным тем недоверием, которое было проявлено к нему. «Оскорбительно, — пишет Багратион, — для человека, проведшего всю жизнь свою на службе государя и отечества и достигшего до степени главнокомандующего, видеть себя суждену по сказкам бессмысленного молокососа…» Вывод из этого следует самый резкий: «Я могу согласиться в том, что недостаток моего ума, моей проницательности и моих сведений в искусстве воинском не позволили мне, при всей доброй моей воле, обнаружить тех опущений, но если оные были, как вы

предполагать изволите, в таком случае ваше сиятельство дали бы мне отличный опыт благосклонности вашей ко мне, когда бы ходатайством вашим испросили у государя императора назначение на место мое другого».

В начале 1810 года Багратион написал письмо Аракчееву, в котором вновь возвращается к «рапорту Гибша» и жалуется на главного зачинщика всего скандала — канцлера Румянцева. Для всех, знающих военную историю, выпад Румянцева был попыткой навести тень на плетень. Известно, как фельдмаршал Румянцев ходил за Дунай. В начале 1773 года Екатерина потребовала от него решительных действий против турок, точнее — переправы через Дунай и атаки крепости Шумлы. Румянцев, прежде гордившийся тем, что с ходу громил превосходящие силы турок, на этот раз замешкался. Он не был уверен в успехе начатого дела. Но все же после некоторой заминки 11 июня 1773 года армия Румянцева перешла Дунай. Это был исторический момент. Екатерина писала Вольтеру: «Целые 800 лет, по преданию летописца, русское войско не было на той стороне Дуная». Переход Дуная открывал путь на Балканы. За этот переход Румянцев получил титул «Задунайский». Однако через три дня он вдруг повернул назад и отвел армию на левобережье Дуная. В сущности, причины возвращения Румянцева были те же, что и у Багратиона: невозможность содержать армию на правобережье. Получилось, что Румянцев как будто сплавал на тот берег исключительно за почетной приставкой «Задунайский». Екатерина была всем этим так огорчена, что поначалу даже не ответила на письмо Румянцева, который пытался оправдаться за неудачное предприятие. Из этого послания видно, что на том берегу Дуная герой как будто потерял мужество: сник, скис. Он писал, что противник очень силен, а его армия очень мала, что его вынудили на переправу, чтобы опорочить, ибо придворные недруги жаждут его крови. Екатерина, раздраженная поступками Румянцева, резко указала ему, что на Катульском обелиске в Царском Селе написано ясно: Румянцев с 17 тысячами героев победил турецкую армию в 150 тысяч воинов, «что весьма во мне утвердило правило, до меня римлянами выдуманное и самим опытом доказанное, что не число побеждает, но доброе руководство командующего совокупно с храбростью, порядком и послушанием войск». Это письмо государыни было обидным щелчком по носу полководца, который гордился тем, что воевал не числом, а умением.

Из самого факта присылки рапорта Гибша Багратион как опытный царедворец, знающий нравы тогдашней элиты, сделал вывод об изменении отношения к нему самого государя. «Из сего

я заключаю, что заслужил гнев государя императора невинным образом, — писал он Аракчееву, — и сие самое не только огорчает меня, но даже с прискорбием должен просить вас всепокорнейше, дабы вы, милостивый государь, исходатайствовали мне отсюда увольнение, а на место мое послать другого, который бы лучше повел, как я, операции, так и внутренние все здешние правления». И далее — типичная для Багратиона, да и для его обожаемого учителя Суворова, отчасти шутовская, отчасти защитная поза показного уничижения, которая затем сменяется позой атаки: «Я, ваше сиятельство, человек самый посредственный. Следовательно, рассудок мой может и не простираться далее сего чувства. Я не признаю, чтобы я сделал упущение в прошлом году за Дунаем, а граф Румянцев то видит и дает мне сильное замечание с тем, чтобы я поправился. Мне сие не токмо грустно, но так больно, что описать вам не могу, и дабы новых не сделать ошибок прошу одной милости, дабы я был уволен для излечения болезни, хотя на 4 месяца. Я ничего не испортил, и никто меня не разбивал. Я более хотел разить визиря, нежели гр. Румянцев, но не мог, как быть! Если бы баталии выиграть было легко, тогда бы они не были и диковинными, мне кажется лучше воевать противу неприятеля, нежели против меня и общего блага»47. Это было повторением подобного же окончания другого письма Багратиона Аракчееву с добавлением, что, мол, пусть на его месте будет другой, «который бы пользовался доверенностию, поелику главнокомандующему без доверенности монаршей быть нельзя». Но в этом, как уже сказано выше, состояло и самое главное несчастье Багратиона — опытного царедворца. «С ума схожу от огорчения, — пишет он Аракчееву 19 января 1810 года, — и не ведаю, за что бы я мог заслужить гнев государя императора! Хотя бы словом удостоился за покорение Браилова». Несомненно, Багратион правильно понимал ситуацию — его войска овладели тем самым Браиловом, на котором сломали зубы Прозоровский и Кутузов, а от императора не было не только орденов, но и похвалы. Да это и понятно: Браилов сдался, когда в Петербурге стало известно о намерении Багратиона возвращаться на левобережье.

Далее Багратион пишет: «Нос мой поправился, но головою стал так плох, что не нахожу иного способа, как лучше прислать другого начальника. Ей-богу мочи нет, я вам откровенно скажу… Ей-богу, я лучше не могу и не умею служить, но дабы пуще я не был несчастлив, прошу одной милости и как еще есть довольно времени, прислать на место мое, а меня уволить, ибо я болен давно, а теперь от неблаговоления государя, от мух и комаров отняли всю мою веру и верность»48. Багратион хорошо знает

правила придворной игры. В сложившейся для него неясной, неустойчивой ситуации просьба об отставке якобы «по болезни» должна была поставить вопрос о доверии ребром: или государь доверяет своему главнокомандующему и должен это доверие проявить, или назначает другого. В тот момент он, вероятно, не знал, насколько был близок к истине, — государь задумал сменить Багратиона на другого, более послушного и решительного исполнителя его предначертаний. Ведь настал решительный час: в Эрфурте, во время встречи императоров, была принята секретная конвенция — Франция признавала присоединение Валахии и Молдавии к России. Александр понимал, что это последняя уступка Наполеона — а Багратион так и не поставил турок на колени. Значит, пусть это сделает другой.

«Встретил я чрезвычайную медлительность и недеятельность»

В приведенном выше отрывке письма упоминаются замучившие Багратиона «мухи и комары» — эвфемизм, обозначавший многочисленных врагов, появившихся у него в Дунайских княжествах, точнее — в Валахии. В том же письме Аракчееву от 19 января 1810 года Багратион писал: «Столько здесь открыл плутовства во всех частях, что описать невозможно. Я не в силах истребить злоупотребления никак: лишь брошусь на один пункт, там открываются сотнями. Так окружен, что хуже тысячи мух или комаров — тяжело отмахаться»41®. Дело в том, что в компетенцию главнокомандующего Дунайской армией входило управление оккупированными территориями Дунайских княжеств, до 1806 года находившихся в вассальной зависимости от Османской империи. Это, естественно, наложило отпечаток на всю систему власти, социальных отношений и повседневной жизни румын, молдаван и других народов тех мест. Валахия и Молдавия управлялись правительствами (диванами), состоявшими из министров-бояр. Та же система осталась и при русской оккупации, только для осуществления политики России при Молдавском и Валашском диванах (в Яссах и Бухаресте) был поставлен в качестве «председательствующего» (наместника) тайный советник и сенатор С. С. Кушников, а вице-председателем дивана — генерал Г. Г. Энгельгардт. В январе 1810 года Багратион, недовольный состоянием дел в Дунайских княжествах, особенно — в Валахии, где всем заправлял упомянутый выше Филипеску, предписал собрать всех знатных (так называемых

«первоклассных бояр») с тем, чтобы они выбрали — посредством голосования — новых министров. Обосновывая этот, в сущности, государственный переворот, Багратион в своем послании боярам писал, что во время наступления Дунайской армии он не раз требовал от дивана княжества Валахия необходимых для армии поставок, однако «встретил я чрезвычайную медлительность и недеятельность в исполнении». И далее Багратион сообщает боярам: «Я старался проникнуть и исследовать источники зла. Старания сии обнаружили мне картину, ужасающую самое человечество». Что же потрясло военного человека в этой картине? Оказывается, что во время господства османов Валахия была обязана поставлять «произведения земли» не только в Стамбул, но «и пашам, аянам и городам, на правом берегу Дуная находящимся, и таким и иным образом Доставляла… пропитание, по примерному исчислению, по крайней мере на пятьсот тысяч человек. Каким же образом теперь не в состоянии она прокормить пятидесяти тысяч человек (русской армии. — Е. А.). Причиною тому, конечно, не земля, не сельские обыватели, но либо недостаток доброй воли, либо порочное управление». Багратион пишет, что в 1808 году диван Ватахии обещал поставить русской армии 215 тысяч четвертей провианта и ячменя, но вскоре нашел, что это сделать невозможно, и «по просьбе его третья часть убавлена. В 1809 году диван не восхотел поставить и того количества, которое поставлено в 1808 году, ссылаясь на изнурение обывателей. Диван отозвался, что ячменя вовсе поставить не может под тем предлогом, будто обыватели оного вовсе не сеяли, когда, напротив того, в то же время исследование на месте и опыты удостоверили, что не только хлеба, но и ячменя в покупку приобрести можно»50. Словом, речь шла о порочном управлении Валахией, которое осуществляли Милорадович и его приятель Филипеску. Ясно, что пока Милорадович находился в Бухаресте, осуществить задуманное Багратион не мог. Поэтому и возникла вся описанная выше история «спасения безумно влюбленного» генерала, а в сущности удаления его из Бухареста. В своем обращении к боярам Багратион фактически обвинил старый состав дивана (и косвенно Милорадовича) в обмане российской власти и в злоупотреблениях при сборе налогов и исполнении разного рода повинностей. Делалось это, как утверждал Багратион, весьма простым способом: вместо провианта натурой с плательщиков собирали деньги по повышенным ценам, а потом у тех же крестьян уполномоченные дивана закупали хлеб по фиксированным и явно заниженным ценам. Налоги, определенные еще турецкой властью, диван собирал совершенно произвольно и неравномерно, разоряя

обывателей. Захотел Багратион изменить и типичную для Османской империи практику продажи должностей на местах, когда люди, купившие должность, «естественно употребляют все усилия, дабы исторжением с бедных обывателей возвратить с лихвою употребленные ими на покупку места суммы…». В итоге главнокомандующий пришел к выводу, что «не армия российская, но сами управители земли суть виновники угнетения народа»51. Чтобы поправить дело, он решил изменить систему местной власти, установив в каждом цынуте (округе) Ватахии должность капитана-исправника из местных бояр. Однако для строгого исполнения «предписания начальства и для ограждения обывателей от незаконных притеснений будет определено от меня в каждый цынут по одному обер-офицеру, который должен быть сведом обо всем, что исправником и его подчиненными делается»52.

Багратион, предписывая все эти меры, действует так, будто Дунайские княжества уже вошли в состав Российской империи и их судьба давно решилась. Примечательно и то, что главнокомандующий ведет себя как полновластный наместник в колонии, предпринимает попытку изменить существующую традиционную систему управления, преследуя две цели — бесперебойное снабжение оккупационной армии всем необходимым и установление «правильного и справедливого», с российской точки зрения, порядка. Образцами для требуемых изменений являются, по мысли Багратиона, институты власти Российской империи — а это, скажем сразу, образцы далеко не идеальные. В действиях командующего есть известный идеализм и вполне искреннее желание установить правду на земле с помощью военной дисциплины. С теми же целями использовался и сыск. 12 февраля Багратион предписал генералам А. Н. Бахметьеву и Ф. В. Назимову возглавить комиссию по расследованию злоупотреблений валашских бояр, в первую очередь Филипеску, и действовать, опираясь на сведения полученных доносов: «…статьи исторжений, злоупотреблений и несправедливостей, содержащиеся в тех бумагах, должны составить предметы исследований ваших»53. Расследование это было обусловлено не столько стремлением водворить порядок и справедливость в Валахии, сколько политическими мотивами, точнее — опасениями, как бы за спиной русской армии не вспыхнул мятеж. В одном из своих донесений Багратион писал, что Молдавия и ее знать безусловно преданы России, тогда как валашские бояре почти не скрывают протурецких настроений, жалеют о вольготном для них режиме османов, причем Филипеску выступает как главный проводник этих устремлений.

Кончилось это расследование ссылкой в Россию Филипеску и его родственников.

Подводя итог начальной стадии деятельности Багратиона как гражданского начальника, отметим, что он необыкновенно круто взялся за преобразования, которые наверняка не понравились валашской элите (недаром Багратион жаловался на «мух и комаров»), и только отставка не позволила ему довести до конца этот довольно необычный эксперимент.

Планы победы

Уйдя с головой в дела Дунайских княжеств, Багратион и не думал, что оставшееся время его правления уже исчисляется неделями и днями. Одновременно с сербскими делами и реформами в Валахии зимой 1810 года он деятельно готовился к новой военной кампании. По его приказаниям отовсюду стягивали и накапливали провиант и нужные для войск припасы, исправляли дороги и мосты, готовили в огромном количестве средства для переправ и детали понтонных мостов. Напряженно думал Багратион и о плане новой кампании. Он написал пространную записку о будущих военных действиях и передал ее на обсуждение корпусным командирам. Собрав их отзывы, командующий составил окончательный вариант плана и 12 марта послал его императору. Проект Багратиона был, по общему признанию военных историков, новым словом в планировании подобной операции в районе Дуная (впрочем, у предшественников Багратиона вообще не было никаких планов)54. Его можно смело назвать наступательным и весьма продуманным. План Багратиона предполагал наладить переправу через Дунай не в каком-то одном месте, как делали прежде, а осуществить быстрое вторжение в Болгарию одновременно тремя корпусами по трем наведенным переправам: в районе Туртукая — Шумлы, где были сосредоточены основные силы турецкой армии, а также в районах Никополя и Гирсова. Такое наступление лишило бы армию великого визиря свободы действий, вынудило бы его перейти к обороне и даже решиться на столь желанное для русских полководцев генеральное сражение. Кроме того, «единовременное нападение на неприятеля с центра и обоих флангов, — писал Багратион, — должно непременно распространить тревогу, неустройство, страх и беспорядок между турками. Они не в состоянии будут преподавать друг другу помощи, и таким образом можно надеяться одержать над ними большие выгоды». В разделении армии на три части был свой

смысл. Как позже писал Кутузов, «против турок безопасно можно с таковыми сильными корпусами вдаваться в отважные предприятия, не имея между собою никакого сообщения. Они по природе своей не в состоянии быть столько деятельны, чтоб быстротою движения совокупных сил подавлять таковые отделенные части. Всякое неожиданное или новое действие приводит их всегда в такое смятение, что не можно предположить, в какие вдадутся они ошибки и сколь велик будет наш успех»55. Главный удар наносился в направлении Шумлы, сюда предполагалось бросить основные силы армии с целью вынудить турок к генеральному сражению.

Анализируя ход закончившейся кампании 1809 года, Багратион косвенно все-таки признавал свою неудачу, но относил ее за счет того, что поздно вступил в командование. Кроме того, армия была распылена на несколько отрядов, которые охраняли возможные пути наступления османов на Малую и Большую Валахию. В новой кампании главная задача командования состояла в том, чтобы вынудить турок к генеральному сражению: «Неоднократные опыты удостоверили, что к миру Порта не может быть принуждена иначе, как разбитием армии верховного визиря». Вместе с тем Багратион замечает, что главной трудностью в этом деле является то, что «Порта приняла систему и наистрожайше подтвердила верховному визирю всемерно избегать генеральной баталии в поле, а держаться в укрепленных местах или в крепких позициях, что самое чрезвычайно затруднять должно операции наши»56. Действительно, новая тактика турок оказалась неожиданной для русского командования, и только Кутузов смог перехитрить турецких военачальников, вытащив их из «раковины».

Любопытно, что в инструкции генералу Исаеву, отряд которого должен был действовать в Болгарии и Сербии, отмечалось, что нужен особый «образ обхождения» с болгарами, «на правом берегу Дуная обитающими». Главное, считал Багратион, не грабить и не озлоблять местное славянское население. В этом был заключен прагматический смысл, ибо «всякое насилие или исторжение, всякое разорение болгарских селений будет переходить из уст в уста и причинит то пагубное для нас последствие, что армия Его императорского величества вместо польз и выгод, от болгар по всей справедливости и по принятым мною мерам ожидаемым, найдет в каждом из них непримиримого врага и неприятеля», так что Болгария «причинит нам более вреда, нежели вдвое сильнейшая армия турецкая». Воинские начальники должны приказать солдатам обращаться с болгарами «братски и дружелюбно, ничего не исключая», так,

чтобы «и самомалейшей вещи насильственным образом не брали и не требовали, жилищ, строений, полей, садов и всяких насаждений не разоряли, скота и птиц домашних не отбирали и словом никаких обид и притеснений не чинили». Но и своих солдат полководец, конечно, обижать не хотел, оставлял им место, где они могли бы развернуться: «Что принадлежит до селений турецких и до обывателей магометанского вероисповедания, то сии последние должны все быть военнопленными», а имущество турецкое (с некоторыми оговорками), «какого бы наименования ни было, составляет добычь войска; остается вам только благоразумным образом распорядиться, чтобы по сему предмету не могли происходить раздоры между российскими и сербскими войсками. При взятии турков в плен надлежит строго возбранять отправлять их нагими, а следует оставлять каждому одне сапоги, шаровары и куртку или что имеет». И здесь не излишняя на войне гуманность, а расчет: «…ибо в противном случае казна же должна Употреблять немалые удержки на их одеяние»57.

Как писал, анализируя план Багратиона, А. Н. Петров, «нельзя не отдать полной справедливости его всестороннему обсуждению в мельчайших деталях, широте взгляда, правильности соображений и смелости предприятий. Нужно помнить, что до того времени только Суворов вместе с принцем Кобургским готовились предпринять смелое движение к Шумле, не владея Силистрией и Рущуком». В целом, план Багратиона был реализован во время победоносной войны по освобождению Болгарии в 1877–1878 годах54. Но тогда, в 1810 году, этим планом наверняка опять был бы недоволен Александр. Самое дальнее, куда предполагал забраться Багратион при успехе операции в районе Дуная, это Шумла, Варна и Базарджик, а не переход через Балканы и не Адрианополь, о котором мечтал император. Не могла государю понравиться и итоговая, а в сущности ключевая, фраза из плана Багратиона: «Далее от Шумли операции сего корпуса зависят от обстоятельств и от движений неприятельских». Хотя Багратион и был учеником Суворова, исповедовавшего совсем другой, наступательный принцип, здесь он явно осторожничал. Как и в других случаях, демонстративно провозглашая суворовские начала, Багратион оставался реалистом, понимал, что имеет дело с серьезным противником, и готовился к непростой кампании.

Историк этой войны А. Н. Петров, рассматривая ситуацию с просьбами Багратиона об отставке, не без основания писал: «Судя по энергической деятельности князя Багратиона, с какою он предпринимал меры к осуществлению составленного им плана

кампании 1810 года, деятельности, какую он обнаруживал уже после отправления приведенного письма (с просьбой об отставке. — Е. А.), едва ли можно сомневаться, что он не допускал мысли о том, что его намек на увольнение закончится действительным замещением. Заключения Гибша, конечно, не имели никакого значения. Но велико, значит, было неудовольствие за отступление князя Багратиона на левый берег Дуная, когда так легко согласились заменить его другим. Недостаточная подготовка Татарицкого сражения… только теперь сказалась не в пользу главнокомандующего, который мог бы собрать ко дню сражения гораздо больше сил, но этого не сделал, и потому не достиг желаемых результатов»54.

В истории с возвращением армии на левый берег Дуная немаловажно иметь в виду и различие позиций Александра и Багратиона. Каждый смотрел на эту проблему со своей колокольни. Багратион хотел сберечь армию, а для императора это было в конечном счете неважно. Когда вскоре сменивший Багратиона генерал Каменский 2-й загубил при неудачном штурме Рущука половину осадного корпуса (более восьми тысяч человек!), государь утешал его словами: «Неудача сия в моих понятиях не может иметь великой важности. Потеря, понесенная в сем деле, с избытком вознаградится присоединением к армии новой дивизии (составленной из рекрут. — Е. А.), коей приказал я к вам двинуться»60. Только что не упомянут старинный генеральский принцип: «Бабы новых нарожают».

Однако неожиданно для себя в канун новой кампании Багратион получил отставку — удовлетворили его прежнюю просьбу отправиться «для излечения болезни на 4 месяца». При этом, как писал он в своем последнем приказе 15 марта, «на место же мое возведен на степень главнокомандующего господин генерал от инфантерии граф Каменский 2-й, которому вследствие того и сдал я главное над армиею начальство»61. Известно, что Каменский был назначен в Дунайскую армию 2 февраля 1810 года, то есть почти сразу же после завершения Багратионом кампании 1809 года.

Горечь отставки

Итак, по императорскому указу 7 марта 1810 года генерал от инфантерии князь П. И. Багратион был отстранен от командования Молдавской армией, и на его место приехал граф Каменский 2-й. И хотя Багратион увозил из Бухареста заслуженный им в бою высший орден империи — Святого Андрея

Первозванного62, он не мог быть доволен — его сняли с командования буквально накануне начала кампании 1810 года, которую он предполагал провести на основе столь тщательно разработанного им плана. Эта кампания — по убеждению Багратиона — должна была ознаменоваться новыми победами. Как уже сказано, отставка была прикрыта формальным разрешением выехать на лечение. Так же после Тильзита Беннигсен был отставлен «до излечения болезни». Но из именного указа об увольнении Багратиона с поста главнокомандующего, как и из приказа Багратиона по армии, которым он прощался с личным составом, ясно следует, что за заботой о здоровье полководца стояли именно немилость, скрытый гнев государев. В приказе Багратиона по армии было сказано: «По имянному Его императорского величества высочайшему указу, на имя мое последовавшему, государю императору благоугодно было снизойти на всеподданнейшее мое прошение и уволить меня на излечение болезни на 4 месяца…»63 Бросалось в глаза, что Багратион уезжал лечиться на четыре месяца, а увольняли его с поста главнокомандующего насовсем.

Теперь трудно точно сказать, что стояло за этим решением. В основе было, конечно, недовольство императора тем, что Багратион, вопреки его воле, перешел на левый берег Дуная, да еще и упорствовал в своем мнении. Государь не любил такого, как ему казалось, пренебрежения своей высочайшей волей. Кроме того, в январе 1810 года неожиданно с поста военного министра ушел Аракчеев, и его место занял М. Б. Барклай де Толли. И хотя значение Аракчеева, переведенного в Государственный совет, не уменьшилось, Багратион потерял в военном руководстве страны патрона. Как и другие военные, Багратион, вероятно, был потрясен внезапным возвышением Барклая. Наконец, сам Багратион подозревал, что немалую роль в его отставке сыграл канцлер граф Н. П. Румянцев, давний сторонник сближения России с Францией. Багратион был уверен, что его смещение с поста главнокомандующего было продиктовано французами и его главный враг «предался законам Коленкура», влиятельного в Петербурге того времени французского посланника. Об этом князь Петр писал Барклаю 14 сентября 1811 года64.

Не менее обидным для Багратиона было и то, что его заменили генералом Н. М. Каменским 2-м (1-м считался его менее талантливый старший брат Сергей), который, наряду с Барклаем, метил в новые военные фавориты императора. Граф Николай Михайлович Каменский, сын фельдмаршала М. Н. Каменского, был на десять лет моложе Багратиона, он буквально ворвался в высший слой русского генералитета благодаря своему

воинскому таланту, характеру, имени. Он учился в Кадетском корпусе, а потом служил под началом своего отца, который, между прочим, считал сына совсем непригодным для военного дела. Тем не менее в 21 год Каменский был полковником, командиром Рязанского мушкетерского полка, а в 1799 году, то есть в возрасте двадцати трех лет, стал генералом и шефом полка своего имени. Но генеральский сынок довольно скоро доказал, что он истинный воин: вступил в армию Суворова и участвовал в знаменитом Италийском походе 1799 года вместе с Багратионом. Суворов был доволен ими обоими. Так случилось, что и позже — во время войн с Наполеоном, шведами и турками — они соперничали в искании славы, что всегда было самым благородным и полезным для отечества способом выяснить, кто из двоих все-таки лучше. Нужно отдать им должное — оба были хороши и в Швейцарских Альпах, и на поле Аустерлица. Каменский 2-й оказался одним из лучших генералов в этом проигранном русской армией сражении. Ему в числе немногих был пожалован орден Владимира 3-й степени. Воевал он вместе с Багратионом и в кампанию 1807 года в Восточной Пруссии, отличился в ряде сражений, но потерпел неудачу при попытке деблокировать Данциг, осажденный французами. Тут, как бывало в военной карьере Каменского, проявилась его излишняя горячность. Вообще, он, как и Багратион, боготворил Суворова, подражал ему во всем, в том числе в стиле и языке. Чем-то он действительно походил на Суворова, как и на своего оригинального отца — смелый, резкий, порывистый, безапелляционный, ошибок за собой не признающий. Это видно по его действиям и приказам по армии. Вот один из типичных для него приказов, предписывающий идти вперед во что бы то ни стало: «Кто из начальников будет находить невозможности, того сменю другим, который будет уметь найти средство выполнить поведенное»65.

В Русско-шведской войне Каменский снова оказался конкурентом Багратиона, и трудно даже сказать, кто из них ярче показал себя. Но все-таки Каменский одержал больше побед, хотя в конце кампании и был вынужден довольно поспешно отступать. Кажется, что любимый им суворовский принцип «Глазомер, быстрота и натиск» он, как, впрочем, и Багратион, понимал довольно прямолинейно и из-за этого терпел неудачи. К сожалению, так часто бывает с любимыми учениками гениев и даже с очень талантливыми эпигонами. Пожалуй, можно говорить об определенной закономерности в действиях Каменского: резвое, стремительное начало, блеск побед, а потом ошибки, вызванные непродуманностью, поспешностью и по большому счету —

самонадеянностью. Так было под Данцигом, в Вестерботнии, а потом и за Дунаем. Багратион, при всем его сходстве с Каменским, был в чем-то хладнокровнее, трезвее, расчетливее. Но после войны со шведами Каменский собрал на скудной северной почве целый букет наград: чин генерала от инфантерии, орден Александра Невского, бриллиантовые знаки к нему, орден Георгия 2-й степени, пост главнокомандующего русскими войсками в Финляндии, а главное — в глазах государя стал «искуснейшим генералом», что важнее всех наград…

Можно представить себе, что испытал Багратион, узнав, кем его заменили! Приняв командование Молдавской армией, в мае 1810 года Каменский решительно двинулся на правый берег Дуная, и через месяц ему сдались турецкие крепости — злосчастная для Багратиона Силистрия, а также Туртукай, Базарджик и Разград. А дальше… а дальше Каменский повторил историю своего предшественника. После таких же, как и у Багратиона, первоначальных быстрых побед он наткнулся на свою «Силистрию». Ею стала крепость Рущук, которую Каменский пытался штурмовать. Участник этого похода военный инженер Мартос писал, что «граф Каменский… в самонадеянности на удачу… удалил людей, которые делали прежние кампании противу турок и знали опытом образ их войны. Окруженный толпой молодых людей, приехавших с ним из Петербурга, он ставил себя в числе первейших генералов, но совершенно ошибся. Он не рекогносцировал позицию, окружавшую» крепость66. При штурме его армия понесла огромные потери — более восьми тысяч человек, то есть половину осадного корпуса, — и отступила от стен турецкой крепости. Прочитанный затем перед обескровленными войсками приказ главнокомандующего — редкий для военной истории документ, довольно неприглядно рисующий молодого генерала: «Воины Рощукского корпуса! Вы сами виноваты в сей неудаче и большой потере товарищей ваших. Некоторые из вас поступали храбро, большую же часть обуял страх. Вы не сдержали данного мне слова, не слушались наставлений, которые я вам давал, и за то наказаны значительною потерею. Начальники ваши, генералы, штаб- и обер-офицеры показывали вам собою пример, идя впереди вас. Все, что есть опасного в штурме, вы превозмогли, взошли до самого верха, но далее не смели идти. Чему я должен приписать таковой поступок, несвойственный вовсе российскому войску, и какую надежду на вас могу иметь не только я, но государь и все соотчичи ваши»61 Между тем войска дрались храбро, но сам Каменский допустил ошибку, поспешил, как это было под Данцигом, решил не дожидаться результатов «тесной» осады и

продолжительной бомбардировки крепости, а преждевременно, без подготовки, бросил армию на штурм сильной крепости. Впрочем, он не отчаивался. В конце августа под Батином Каменский сумел разбить крупный корпус турецкой армии под командованием Куманца-паши, причем в этом сражении героем показал себя граф Сен-При, командовавший одной из колонн. Воевать колоннами было нововведением в тактике русской армии, и Каменский это нововведение с успехом применил. Кроме множества знамен и других трофеев к русским попало почти 5 тысяч пленных. Как и Багратиону за победу при Рассавате, Каменскому был пожалован орден Андрея Первозванного. Эффект победы при Батине для турок был впечатляющ: в сентябре сдался Рущук, в октябре — Турна, Никополь. Но в октябре начались дожди, и Каменский тотчас оказался в том самом положении, в котором прежде был Багратион: зимовать всей армией на правом берегу Дуная он признал невозможным, ссылаясь на то, что его предшественник (то есть Багратион) потерял там почти всех лошадей. В ноябре были подведены итоги кампании 1810 года: потеря 36 422 человек стала ценой победы в двух крупных полевых сражениях и взятия пяти крупных турецких крепостей, но турки, как и раньше, на мирные переговоры не шли. По всему было видно, что нужны новые усилия и новые победы, и успех дела заключался не только в личности командующего, как думали в Петербурге.

Планируя кампанию 1811 года, Каменский предполагал двинуться на Тырново, овладеть всей Болгарией и нанести туркам решительное поражение, но для этого он считал необходимым увеличить армию, часть которой рассылали в виде более или менее крупных отрядов для удержания и контроля над крепостями и оккупированными территориями. Возможно, эти планы осуществились бы, если бы в начале 1811 года император внезапно не приказал отозвать пять из девяти дивизий Дунайской армии в Россию, точнее на западную границу, где — по общему заключению — предстояла война с Наполеоном. С оставшимися дивизиями Каменский мог вести только войну оборонительную, но и она, по мысли государя, все равно должна была привести к победе. В итоге главнокомандующий попал в тяжелое положение, впрочем, обычное для всех его предшественников. Получалось, что на удержание крепостей и охранение коммуникаций требуется войск едва ли не больше, чем для осады турецких крепостей. Стамбул, узнав о выводе половины русской армии, на мирные переговоры не шел, а смягчать условия мира император, несмотря на неоднократные просьбы Каменского, не хотел. Нельзя сказать, что начало новой кампании 1811 года было

неудачным, — в январе дивизии Сен-При удалось овладеть крепостью Ловча, но движение на Тырново пришлось остановить. Тут у Каменского началась болезнь, которая была вызвана либо отравлением, либо какой-то острой желудочно-кишечной инфекцией. Он стал просить уволить его от командования. Император, по-видимому, не особенно верил в серьезность болезни Каменского, но решил отозвать его с Дуная, чтобы поручить ему более важное дело — командование одной из новых, сформированных для войны с Наполеоном армий, а Молдавскую армию вознамерился поручить сидевшему в Вильно военным губернатором Литвы М. И. Кутузову. Для Каменского новое назначение было ступенькой вверх по служебной лестнице. Оно было почетно, тем более что император Дорожил своим любимцем и не пенял ему, как Багратиону, за отход на левобережье и «смазанный» конец кампании. Как и после неудачи в Вестерботнии, Александр сохранял свое благорасположение к Каменскому, доверительно и милостиво писал ему: «Перемена в образе войны противу турков и убавление Молдавской армии соделывали в моих предположениях необходимым употребить блистательные способности ваши к важнейшему начальству. Болезнь ваша доставила мне случай исполнить оное без обращения лишнего внимания на сие перемещение. Я дал повеление генералу Кутузову поспешить приездом в Букарест и принять командование Молдавской армиею». Смысл этого пассажа таков: из-за изменения характера войны, ставшей оборонительной, вам, мой дорогой и талантливый генерал, делать там нечего, славы с уполовиненной армией вы не найдете, пошлю я туда Кутузова, он все равно в опале, пусть покрутится. «Вам же предписываю, сдав оную под видом слабости здоровья вашего после столь тяжкой болезни преемнику вашему и известя его подробно о всех моих намерениях, отправиться сколь скоро возможно будет в Житомир, где получите вы от меня повеление принять главное начальство над 2-ю армиею, составленною из 7-й, 24-й, 26-й, 9-й, 11-й, 12-й, 15-й и 18-й дивизий пехоты, 2-й, 4-й и 5-й кавалерийских дивизий». В книге А. И. Михайловского-Данилевского опубликован (возможно, по другой копии) иной конец этого послания, весьма, как писали в XIX веке, характеристичный: «Между тем надеюсь, что переезд ваш в благорастворенный климат Волыни послужит к совершенному укреплению здоровья вашего. При сем случае приятно мне изъявить вам, сколь моя доверенность и любовь к вам приумножилась после знаменитых заслуг, оказанных вами в командование ваше Молдавскою армиею»68. Никогда ни один александровский генерал после столь ничтожных успехов не

получал таких ласковых писем. И это после того, как Каменский, вслед за Багратионом, написал царю 22 января 1811 года из Бухареста, что для победы над турками войск недостаточно и что «на сих кондициях (жестких условиях. — Е. А.) миру никогда не достигнем», особенно если «принуждены вести войну оборонительную»69. Как отмечал Михайловский-Данилевский, «кто имел счастие знавать Александра, тот, конечно, сохранил в сердце своем память, как неподражаем, обворожителен бывал он, когда кого-либо счастливил своим вниманием»70. Но внимание государя Каменскому не помогло. Его болезнь оказалась не фиктивной, а настоящей и очень серьезной. Приехавший в Бухарест Кутузов писал Барклаю 26 апреля, что состояние здоровья Каменского «почти в одинаковом положении, оно и теперь не хуже, но жизнь его не в безопасности. Я видел его всякой день, и, наконец, известнейшие бывшие при нем доктора определили, что единственная надежда на его спасение остается в перемене климата, что они в прилагаемой у сего консультации изъяснили, вследствие чего 23-го числа текущего месяца оный отправился в Одессу»71. По дороге Каменский впал в беспамятство и 4 мая 1811 года, на 34-м году жизни, скончался.

Н. И. Греч по этому поводу высказался весьма любопытно, даже парадоксально, пытаясь приоткрыть дверь за воображаемой «точкой исторической бифуркации»: «Кончина молодого блистательного полководца опечалила всю Россию, но нельзя не видеть в этом грустном обстоятельстве милосердия Божия. Если бы Каменский кончил удачно кампанию с турками, он непременно был бы назначен главнокомандующим армиею против французов (в 1812 году), никак не согласился бы на выжидательные и отступательные действия, пошел бы прямо на Наполеона, был бы разбит непременно, и вся новая история России и Европы приняла бы иной вид — а какой — легко можно сказать теперь, по исходе полувека. Темны и неисповедимы пути Божии! От нетерпения молодого русского генерала на берегах Дуная в 1810 году зависела судьба царств и народов»72.

Глава десятая
В тени хвостатой кометы

Небесная метла

Все мемуаристы, как один, вспоминают комету осени 1811-го — лета 1812 года. Да и трудно было ее не заметить даже самому далекому от астрономии и астрологии человеку — комета каждый вечер повисала у всех над головой, и при взгляде на нее многим становилось страшно. Как вспоминал современник, «в конце лета явилась знаменитая комета как бы в подтверждение народного поверья, что эти небесные тела предвещают войну и другие общественные бедствия. Тогда уже было известно о натянутых отношениях между нашим и французским правительствами, носились слухи о близкой войне. Комета 181! года была очень замечательна по своей величине и блеску, она имела большое ядро, хвост не длинный, но очень густой и светлый; когда не было луны, то от кометы освещалась часть неба»1. Несколько месяцев комету с хвостом, подобную чудовищной метле, видели в Петербурге, Москве, Житомире… Простолюдины, сняв шапки, стояли и крестились на небо, а люди просвещенные значения сему явлению старались не придавать. Потом выяснилось, что во Франции 1811 год принес изумительный урожай винограда, и еще долго в европейских странах смаковали шампанское, названное «вином кометы» («vin de la comete»)…

Нация наша не привыкла к обороне

Но вернемся к делам земным. Примерное 1810 года в высших сферах России было окончательно признано, что мир с Наполеоном недолговечен и необходимо готовиться к грядущей войне. Множество обстоятельств ставили под удар тильзитскую дружбу и нескрываемое общее намерение поделить мир. В их числе экономические противоречия сторон, ибо континентальная блокада для России — традиционного поставщика англичанам леса, железа, пеньки и других товаров — была крайне невыгодна. Не находили союзники общего языка и в Германии, где Наполеон распоряжался как полновластный хозяин. С нескрываемым раздражением смотрели в Петербурге на то, как Наполеон под

боком Российской империи возрождает вроде бы навсегда исчезнувшую с карты Европы Польшу.

Одним из инициаторов разработки планов будущей войны с Францией — уже третьей по счету за одно десятилетие! — был военный министр М. Б. Барклай де Толли, подавший в марте 1810 года Александру I записку «О защите западных пределов России». Это был набросок стратегической программы на случай вооруженного столкновения с Наполеоном. Так как угадать точно, куда направит удар будущий противник, было трудно, Барклай предлагал заняться укреплением обороны на трех основных направлениях — в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Оборона должна была опираться на оборонительные линии по Западной Двине и Днепру в сочетании с уже имевшимися, но требовавшими усиления и модернизации крепостями (Рига, Динабург, Бобруйск, Киев), а также на особые укрепленные лагеря и крупные склады продовольствия. Полевая, действующая армия была частью этой системы. Барклай предложил разделить войска на три части: 1-я Западная армия должна была защищать Прибалтийское направление, 2-я Западная армия (самая крупная) — сосредоточиться на Волыни и наконец 3-я Западная (резервная) — находиться на линии Минск — Вильно. К 1812 году выполнить этот грандиозный и дорогостоящий план защиты западных границ не удалось, армии располагались по-другому, а из крепостей прилично подготовлены к обороне были только Рига, Динабург, а также почти заново отстроенный Бобруйск2.

Кроме плана Барклая, появилось еще не менее трех десятков проектов ведения будущей войны. Тут важно заметить, что в окружении Александра f активно обсуждались планы не только (и не столько!) оборонительных действий, но и превентивного удара по Восточной Пруссии и Варшавскому герцогству, находившимся под контролем французов. Багратион тоже писал проект. Как и ряд других генералов, он был сторонником наступательной войны. И. Ф. Паскевич сообщал, что «еще в 1811 году князь Багратион предлагал броситься на Польшу, пока силы неприятеля были еще не собраны. Он надеялся, что, разбив его по частям, всегда будет иметь время отступить к назначенному пункту». В этом смысле наступление планировалось не как завоевание, а как начальная стадия отступления, как военные действия на подступах к русской границе. Для этого следовало пересечь тогдашнюю западную границу, проходившую по Неману, чтобы занять сопредельные польские территории и не дать неприятелю сосредоточить силы непосредственно возле русских рубежей. После этого предстояло отступать к своей границе, изматывая противника сложными маневрами и операциями казачьего

корпуса атамана Платова во флангах и в тылу неприятеля, тем самым препятствуя планомерному наступлению сил Наполеона. Паскевич, как и многие другие генералы, не одобрял замысла превентивного удара: «…план смелый, который по обстоятельствам трудно было исполнить, хорошо, что его не приняли»3. Багратиону же эти планы были по душе, и он вновь вернулся к ним в 1812 году. Оборона и отступление как способ борьбы с противником были абсолютно неприемлемы для истинного ученика Суворова. В одном из писем Барклаю за 1811 год Багратион писал: «Оборонительная война по тактике есть самое пагубное и злое положение, ибо, сколько мне известно, ни один великий, ни посредственный генерал еще не выигрывал баталию по тактике, а потом и нация наша не привыкла сему (обороне. — Е. А.), и трудно будет заставить сему ремеслу»4. И все же Паскевич, который писал об идеях Багратиона, не обладал знанием всей совокупности фактов. Багратион не был ни первым, ни последним из тех, кто предлагал план превентивного наступательного удара.

Не был Багратион и прожектером-одиночкой. Планы нападения на французов (точнее — на довольно слабые силы, которые французы держали в Польско-Прибалтийском регионе, то есть Германскую армию маршала Даву) активно обсуждались в окружении императора. Планы эти, конечно, можно назвать как угодно — превентивным ударом, началом активной обороны с последующим отступлением на свою территорию, но суть оставалась одна — наступление. Это был вполне реальный вариант развития событий — численное превосходство русских армий над Даву было очевидно. Осенью 1811 года, когда возникла угроза уничтожения Наполеоном остатков Прусского королевства, был принят план вторжения в Восточную Пруссию на помощь пруссакам, подобный тому, что был принят в 1806 году. Командующий корпусом генерал граф П. Х. Витгенштейн, стоявший за Неманом, получил императорский указ о немедленном наступлении через границу. Более того, 17 октября 1811 года Багратион (назначенный к тому времени командующим Подольской, или 2-й Западной, армией) также получил секретное предписание, в котором было сказано: «Хотя и нет никакой причины ожидать, что может случиться разрыв между нами и французами, но в виду меры предосторожности предлагается вашему сиятельству под строжайшим и непроницаемым секретом: 1. Как скоро получите чрез нарочитого курьера от гр. Витгенштейна известие, что он вступает в Пруссию, то, нимало не медля, извольте приказать войскам, коим тут, в особенном пакете, прилагаются маршруты, тотчас выступить и следовать по

сим маршрутам к назначенным пунктам… Дабы не сделать прежде времени напрасной тревоги, то не предписывать войскам формально, чтобы готовы были к походу, но содержать их в готовности к оному частыми осмотрами»5. Пакеты с маршрутами не сохранились (есть только реестр пакетам)6, но ясно, что возможное движение армии Багратиона пролегало через Варшавское герцогство. Чуть позже тревога рассеялась, планы наступления были отменены, а конверты с маршрутами отобраны. Впрочем, быстро двинуть армию в поход Багратион все равно не смог бы. В ответ на предписание военного министра он писал из Житомира: «Обязанностию поставляю сказать, что если случится экстренное движение, армия скоро собраться не может, ибо, как вам известно, расположена весьма обширно и в трех губерниях»7. Забегая вперед предположу, что именно в низком уровне мобилизационных возможностей русской армии и состоит главная причина, по которой был в конечном счете заморожен план превентивной войны. Пока были бы собраны по всем сусекам зачастую неукомплектованные полки и дивизии, переброшены на сотни верст к местам своего сосредоточения, эффект внезапности — важнейший, непреложный элемент превентивной войны — исчез бы. И французы за это время смогли бы перебросить войска если не из Испании, то наверняка уж из самой Франции. Непосредственно со стратегическими планами наступления связаны различные военно-организационные мероприятия власти, целью которых было намерение подвести армию как можно ближе к границе и за ее спиной сосредоточить все необходимое, а самое главное — магазины с запасами продовольствия. Известно, что при отступлении пришлось сжечь магазины с зерном в разных городах у границы, но все же французы захватили в Вильно огромные запасы продовольствия, приготовленные для 1-й Западной армии. Но об этом будет сказано ниже.

Отбросить их во льды

Теперь обратимся к противнику России. Установлено, что самая общая и расплывчатая идея войны с Россией появилась У Наполеона значительно позже, чем в русских правительственных сферах возникли конкретные планы нападения на французов, точнее — на Герцогство Варшавское. Это произошло не ранее весны 1811 года, да и то как общие, неоформленные рассуждения о войне как возможном ответе на недружественные шаги Петербурга, принявшего в 1811 году торговый тариф, шедший

вразрез с идеями континентальной блокады. Если же касаться самой болезненной для России точки — Польши, то Наполеон полагал, что Россия только после победы над турками может вплотную заняться «польским вопросом» и захватить Варшаву. Но постепенно, по мере того, как приходили все новые и новые сведения о переброске русских дивизий к границе, о резком сокращении Молдавской армии и формировании на ее основе 2-й армии в Житомире, тревога Наполеона возрастала. Потоком из Варшавы шла информация о подготовке русской армии к наступательной войне. Тревожился и Даву, писавший летом 1811 году Наполеону: «Нам угрожает скорая и неизбежная война. Вся Россия готовится к ней. Армия в Литве значительно усиливается. Туда направляются полки из Курляндии, Финляндии и отдаленных провинций. Некоторые прибыли даже из армии, воевавшей против турок… В русской армии силен боевой дух, а ее офицеры бахвалятся повсюду, что скоро они будут в Варшаве». Еще через несколько дней он сообщил, что имеются данные о том, что на западной границе русские сосредоточили более 200 тысяч человек. Это не так, цифра преувеличена, но «ясно, что силы русских там очень значительны». В день своего рождения 4 (15) августа 1811 года на торжественном приеме в Тюильри Наполеон сказал русскому послу князю Куракину: «Я не хочу войны, я не хочу восстанавливать Польшу, но вы сами хотите присоединения к России Герцогства Варшавского и Данцига… Пора нам кончить эти споры. Император Александр и граф Румянцев будут отвечать перед лицом света за бедствия, могущие постигнуть Европу в случае войны»8.

Во второй половине 1811 года Наполеон занялся вопросом подготовки к войне основательно, замыслив ее как наступательную, подобную Первой Польской войне против Пруссии и России в 1806–1807 годах. Тогда же он стал выражать мысли о намерении устранить Россию — единственного сильного потенциального союзника Англии — с политической арены. Происки Англии ему мерещились всюду — как писал А. Вандаль, «Наполеон завоевал все, кроме мира. Позади каждого поверженного врага он встречал во всеоружии Англию, готовящую против него новые коалиции». Перед Россией, в которой усилились проанглийские настроения, считал Наполеон, нужно поставить некий барьер, чтобы «отстранить русских от европейских дел», «отбросить во льды».

Этим барьером, щитом должна была стать возрожденная из бывших прусских земель и Литвы Речь Посполитая. Собственно, поэтому война с Россией в 1812 году и называлась «Второй Польской войной» и, по идее, должна была закончиться не далее

Смоленска.

Приняв, таким образом, политическое решение, оформленное как намерение «положить предел… гибельному влиянию, которое Россия распространяет в течение пяти лет на дела Европы», Наполеон стал основательно готовиться к войне. Он замышлял поход, крупный по военным параметрам и выразительный по политическим, — «загонять Россию в снега» должна была вся Европа. Отсюда идея возрождения распущенной в 1807 году Великой армии, состоявшей из воинских контингентов всех подвластных Наполеону народов Европы. Великая армия была заново сформирована в январе 1812 года и включала в себя полки Итальянского, Неаполитанского, Датского, Нидерландского, Прусского королевств, государств Рейнского союза (в том числе Баварии, Саксонии и Вюртемберга), Герцогства Варшавского и Австрийской империи9.

О планах войны, которые разрабатывал Наполеон, сказано много. Большинство исследователей считают, что Наполеон настраивался разбить русскую армию в приграничном сражении, хотя предполагал два возможных варианта действий русских. Своему брату Жерому он писал: «Я перейду Неман и займу Вильну, которая будет первой целью кампании… Когда этот маневр будет замечен неприятелем, он будет либо соединяться (имеется в виду соединение 1-й и 2-й армий. — Е. А.), чтобы дать нам битву, либо сам начнет наступление». В этом случае Наполеон предполагал разгромить русскую армию на берегах Вислы, когда она будет «под стенами Праги»10. События пошли по первому варианту…

Неспешно, украдкой

Силы вторжения, которые с начала 1812 года принялся готовить Наполеон, имели своей основой Первый корпус Даву, Дислоцированный в Данциге. Корпус усиливался поэтапно, путем «непрерывного, незаметного прилива людей и материальной части в уже существующие кадры… не меняя своего внешнего вида, ни вида входящих в него частей. Составляющие его единицы: дивизии, полки, батальоны будут увеличиваться путем медленного пополнения их состава; когда получится излишек в их наличном составе, их разделят надвое, затем каждую часть будут снова увеличивать, соберут около них другие единицы, и мало-помалу вместо корпуса предстанет в полном вооружении армия в 80 тысяч человек»". В итоге, полки, исходно состоявшие из трех неполных батальонов, стали иметь по четыре-пять

полностью укомплектованных батальонов. Одновременно был объявлен призыв в армию, который должен был дать 100 тысяч человек; всех их срочно обучали во Франции. При необходимости новобранцы быстро пополнили бы армию в Германии. Туда же перебрасывались части союзников (голландцев, баварцев, вестфальцев, поляков и др.). Все части отправлялись «неспешно, украдкой, так что не слышно было их шагов». Вспомним приказ русским полкам двигаться по боковым дорогам, вдали от почтовых трактов. Под предлогом усиления обороны от вошедшего в Балтийское море английского флота в десять раз увеличили гарнизон Данцига! При этом в крепости сложили огромные запасы материалов для постройки мостов — конечно, не для обороны от английских кораблей. Тогда же Наполеон приказал готовить инженерный и шанцевый инструмент, понтоны и все остальное в таких количествах, которые бы дали разросшейся армии возможность преодолеть водные препятствия. Все приготовления проводились в строжайшей тайне, с минимумом бумаг и предписаний.

Одиночество России

Несмотря на обилие вариантов плана военных действий, к лету 1812 году у верховного русского командования оставался лишь один — оборонительный. Нападение Наполеона многим казалось неизбежным и даже неотвратимым (кроме разве что канцлера Н. П. Румянцева, отрицавшего такую возможность). Отметим, что международная обстановка в тот момент в целом менялась в неблагоприятную для России сторону. Дипломатической победой Наполеона накануне войны стало привлечение на свою сторону Пруссии и Австрии, которые под сильным нажимом Франции были даже вынуждены выделить для похода на Россию свои воинские контингенты. Пруссакам пришлось нехотя, под угрозой ликвидации королевства, присоединиться к армии Наполеона, а австрийцы пошли на войну со спокойным сердцем — в 1809 году Россия, вопреки давней дружбе с Веной, объявила ей войну и даже оторвала кусок австрийских владений. Кроме того, французская дипломатия после краткого периода русско-французской дружбы (казавшейся многим противоестественной), примерно с 1810 года, стала действовать против России, активно обрабатывая Турцию и Швецию и стремясь, как и раньше, сколотить сплошной фронт против России от Черного моря до Балтики. Османская империя, несмотря на победы Кутузова, затягивала переговоры о

заключении мира, и это приковывало большие силы русской армии к южным границам. Лучше обстояло со Швецией, где оказавшийся у власти французский маршал Бернадот довольно быстро забыл благодеяния Наполеона, благословившего его на шведский трон в надежде, что обиженная на Россию Швеция с бывшим французским маршалом во главе станет его союзником. Бернадот неожиданно для Наполеона повел самостоятельную внешнюю политику и не собирался наносить России удар в спину. Более того, 24 марта (5 апреля) 1812 между странами был подписан союзный договор. Единственным верным союзником России оставалась Англия, но помощь ее была гипотетической. Открыть «второй фронт» и высадиться на континенте Англия, занятая войной против французов в Испании и Португалии, не могла, да, кажется, даже об этом и не думала. А на равнинах России ее великолепный флот был бесполезен. Так, к 1812 году отчасти из-за собственных ошибок, но больше «силою вещей» Россия оказалась фактически в международной изоляции, и это не могло не отражаться на планах русского командования во главе с императором Александром.

Согласиться — значит, погубить дочь. Напугали царскую семью и брачные поползновения Бонапарта, который после неудачи со сватовством к великой княжне Екатерине Павловне попытался взять в жены другую сестру Александра — Анну Павловну. Вдовствующая императрица Мария Федоровна была в отчаянии. Во второй раз отказывать императору Франции казалось невозможным, но согласие на брак, как считала императрица, значило бы, что ее 15-летняя невинная дочь будет принесена в жертву «кровавому тирану». Мария Федоровна понимала, чем может грозить России конфликт с Наполеоном, и все же судьба дочери страшила ее больше. «Если у нее не будет в первый год ребенка, — писала она Александру, — ей придется много претерпеть. Либо он разведется с нею, либо он захочет иметь детей ценою ее чести и добродетели. Все это заставляет меня содрогаться! Интересы государства с одной стороны, счастье моего ребенка — с другой… Согласиться — значит, погубить мою дочь, но одному Богу известно, удастся ли даже этой ценою избегнуть бедствий для нашего государства. Положение поистине ужасное! Неужели я, ее мать, буду виной ее несчастья!»

В конце декабря 1808 года императрица Мария Федоровна рассказывала в письме старшей дочери Екатерине Павловне, как она беседовала с императором о политических последствиях отказа Наполеону: «Обсуждая с Александром все последствия моего отказа, я спросила его, может ли он послужить поводом к войне или, лучше сказать, может ли он ускорить ее и позволяет

ли ему состояние его финансов вести войну? Он ответил: “Нет. Мне пришлось бы принести чрезвычайные жертвы. Наша граница беззащитна, у нас нет с этой стороны ни одной крепости, что касается войска, то у меня на границе двести тысяч человек ”. Признаюсь, я не думаю, что в случае отказа нам пришлось бы вскоре вести войну с этим человеком, она была бы отсрочена до окончания войны с Испанией. Состоится ли этот брак или нет, я того мнения, что войны не миновать, нам придется воевать либо с Наполеоном, либо из-за него, так как он вовлечет нас в свои враждебные отношения к Порте, и нам придется, так сказать, помогать ему созидать державы, которые будут нам опасны по близкому их соседству с Россией». Под конец разговора Александр сказал матери, что если Бог дарует ему десять лет мира, то он построит на границе десяток крепостей и поправит финансы так, что сможет противостоять Наполеону12.

Но времени у него оставалось не десять лет, а только неполных четыре года, да и за это время мало что удалось сделать. Между тем эта брачная история сильно сказалась на русско-французских отношениях. Наполеон в начале 1810 года женился на эрцгерцогине Марии Луизе, дочери императора Франца 1. Этот брак стал решающим в окончательном повороте Австрии к союзу с Францией и привел к тому, что в 1812 году Австрия, после десятилетий союзных отношений с Россией, оказалась в стане ее врагов. Бывший тогда в Париже граф А. И. Чернышев считал, что брак с Марией Луизой «был первою причиною охлаждения Наполеона к России. Русских перестали отличать при дворе, не оказывали им особенного прежнего расположения, исключали из общества сестер Наполеона и его родственников»13.

В окружении Александра I и среди военного руководства не было единства относительно того, как обороняться от нашествия и вообще как следует планировать оборону. Тут всплывает знаменитый проект генерал-майора барона Фуля. Этот прусский военный теоретик несколько лет преподавал государю стратегию и тактику и пользовался его доверием. В 1811 году Фуль, ставший генерал-квартирмейстером русской армии, предложил создать укрепленный лагерь на излучине Западной Двины ниже Полоцка (так называемый Дрисскиилагерь), с тем чтобы, отступая от границы, обе русские армии могли занять это тщательно подготовленное и обширное земляное укрепление и сделать его центром своего активного сопротивления противнику. Образцом для его создания служили укрепленные лагеря времен Семилетней войны 1756–1763 годов, а также те лагеря, которые в Испании и Португалии строил английский полководец

Веллингтон, сумевший навязать французам такую войну, к которой они не могли приноровиться, несмотря на свой воинский опыт и превосходство в силах. В научной литературе высказано мнение, что план Фуля во многом был якобы лишь прикрытием, маскировкой иных, по существу наступательных, планов императора, которые должны были осуществиться весной 1812 года. Но, как бы то ни было, ни один из планов наступления не осуществился, а отступление армии какое-то время все-таки шло по плану барона Фуля. Хотя изначально этот план и встретил резкий протест многих военных.

Генерал-адъютант императора барон Армфельд был ярым противником оборонительного плана Фуля. Приехав в Вильно накануне наступления Наполеона, он представил царю записку («меморию»), в которой говорилось: «Всякая пассивная оборона не принесет ни в каком случае благоприятного результата. Кроме того, если не мешать инициативе неприятеля, то никогда не удастся русским устоять против французской армии». Это мнение разделяли многие военные. Армфельд предлагал, чтобы обе русские армии немедленно соединились и не начинали отступления врозь. Да и само отступление он считал нецелесообразным, ибо уйти из Польши значило «удвоить число врагов и продолжить войну так, что она станет неудобнее для нас, чем для Наполеона».

Против плана Фуля были почти все генералы, наперебой предлагавшие свои планы ведения войны. Генерал Л. Л. Беннигсен, потерпевший от французов поражение в войне 1806–1807 годов, был полон желания отомстить Наполеону и предлагал дать французам сражение недалеко от Вильно. Но тень поражения на полях Восточной Пруссии висела над ним, и второго шанса ему государь уже не предоставил. И вообще, всех угнетала одна страшная мысль — горькая истина, добытая в войнах с Наполеоном. Ее хорошо и просто выразил Паскевич: «Против Наполеона трудно устоять в сражении»".

Военный министр Барклай де Толли своего мнения о возможном развитии военных действий открыто не высказывал. Долгое время он был известен как сторонник упредительных, наступательных мер, но, зная двойственность взглядов императора, на них не настаивал. Император же Александр 1, какуже сказано выше, находился в нерешительности. Дело не только в особенностях характера царя. По своей подготовке, по призванию, по складу души и интересам император не был полководцем. При этом, подобно своему отцу и братьям, он прекрасно разбирался в строевой подготовке, в вахт-парадах, вообще, как тогда говорили, «в искусстве сворачивания шинелей»,

но плохо знал вопросы стратегии и тактики ведения реальных боевых действий. Кстати, Романовы, кроме Петра Великого, да, пожалуй, еще великих князей Николая Николаевича-старшего и его сына Николая Николаевича-младшего, не были хорошими полководцами, а попытка последнего императора Николая II в 1915 году возглавить воюющую армию кончилась таким грандиозным «Аустерлицем», что его последствия ощутили несколько поколений. Опасение допустить роковую стратегическую ошибку и делало Александра I особенно осторожным. Но тогда, летом 1812 года, когда в Вильно стало известно о численном превосходстве Великой армии, он, по-видимому, склонился к принятию сугубо оборонительного плана отступления от границы, изюминкой которого и был проект Фуля с его Дрисским лагерем. В обстановке разноголосицы и противоречащих друг другу мнений император решился, по возможности, держаться плана Фуля как единственно возможного и реального на тот момент варианта действий.

Самой серьезной проблемой, мешавшей русскому штабу составить точную диспозицию будущей оборонительной войны, была полная неясность планов Наполеона: куда придется его основной удар — по 1-й или 2-й армии? И вообще — куда он намерен двигаться: на Петербург, Москву или на Киев? Между тем русская армия, осуществляя первоначальные планы наступательной войны, по-прежнему была разделена на три самостоятельные армии. Основные силы входили в 1-ю Западную армию (главнокомандующий Барклай де Толли), она сосредоточилась в районе Вильно. 2-я Западная армия (главнокомандующим которой в августе 1811 года стал Багратион) располагалась южнее — в районе Волковыска, 3-я (запасная) армия генерала Тормасова находилась еще южнее — у Луцка. Наконец, казачий корпус атамана Платова стоял между 1-й и 2-й армиями в районе Гродно. Командование решило при нападении Наполеона «перелицевать» эту наступательную позицию в оборонительную. 2-я армия все больше сближалась с 1-й. Об этом Багратион 4 июня 1812 года сообщал А. П. Тормасову: «Государю императору благоугодно было сблизить обе западные армии для подания взаимных пособий и встречи неприятеля превосходными силами на тех пунктах, где он решительно предположит ворваться в пределы наши»1

Предполагалось, что под Вильно Барклай даст сражение или оставит город и двинется на северо-запад, к Свенцянам, а затем в Дрисский лагерь. Платову в этой ситуации из района Гродно следовало ударить во фланг и тыл двигающимся к Вильно французским войскам, с тем чтобы затруднить их наступление и

позволить 1-й армии свободнее действовать при отступлении; Багратиону со своей армией предстояло поддержать усилия казаков. В случае отступления перед превосходящими силами противника он должен был отходить по дороге на Минск и Борисов. Все эти планы оказались нежизненными, как только началась война.

Забрасывая сеть

Багратион оставался в отпуске, точнее — в опале, до августа 1811 года, когда получил указ императора принять главное командование над Подольской (позже — 2-й Западной) армией. Первоначально она предназначалась Н. М. Каменскому 2-му и еще формировалась из нескольких дивизий Молдавской армии. 19 августа Багратион писал императору Александру, что получил указ о назначении в армию, но «к крайнему прискорбию моему простудная лихорадка не позволила мне тотчас отправиться к месту, мне высочайше назначенному. При всей слабости здоровья моего прибыл я, однако же, в Москву и непременно по отдохновении выеду отсюда чрез пять дней в Житомир»17. Этот город был назван местом размещения Главной квартиры Подольской армии. Туда Багратион прибыл 8 сентября, тотчас вступил в командование армией и уже по дороге начал инспектировать как крепость и арсеналы Киева, так и размещенные в разных городах полки своей армии. Начальник артиллерии формирующейся армии генерал И. К. Сивере получил приказ Багратиона сообщить, «в каком состоянии находится подведомственная» ему артиллерия: «Нет ли недостатка в людях и, на случай какого движения, в лошадях? комплектны ли у всех снаряды и прочие припасы? исправны ли всех калибров орудия? где находятся запасные парки? каковы они и другие части, принадлежащие команде вашей, и от которого числа ваше превосходительство производили им последний смотр» Тогда же Багратион начинает размещать вдоль границы присланные к нему казачьи полки.

Почти сразу же Багратион стал получать от военного министра Барклая де Толли приказы вести всеми доступными средствами разведку за границей, в Варшавском герцогстве и австрийских пределах, с целью «узнать, что происходит в Галиции и Варшавском герцогстве» 1. 12 сентября 1811 года Багратион писал Барклаю, что ему необходимо «в сомнительные места для тайного разведывания делать посылки под иным каким предлогом достойных доверенности и надежных людей» и что для

этого нужно прислать «несколько бланков паспортов за подписанием государственного канцлера, дабы тем единым удалить могущее пасть подозрение»19. Пожалуй, никогда прежде союзные (пусть даже формально) державы не вели такой мощной и разнообразной разведывательной кампании друг против друга (опять же невольно напрашивается сравнение с ситуацией накануне 22 июня 1941 года). Русские и французы собирали сведения о намерениях, силах, дислокации войск будущего противника, засылали шпионов на территории, прилегающие к русско-французской границе. О неожиданном наплыве в Несвиж ряженых комедиантов, фокусников, странствующих монахов пишет побывавший там Радожицкий, ему вторят и другие мемуаристы, сообщая о появлении странных савояров, просвещенных путешественников, любителей приграничных красот, устремившихся почему-то к местам расположения русских армий. Сходные явления по другую сторону границы замечали французские и польские контрразведчики.

Багратион довольно быстро сумел наладить целую систему шпионажа за тем, что происходило за ближайшей к нему границей, но стремился перепроверять полученные сведения. Так, 4 ноября 1811 года он писал военному министру: «Частые очень известия, доходившие ко мне о движении войск австрийских, и прибытие некоторых из них к Кракову были поводом желания моего удостовериться в сих случаях…», а далее сообщал о результатах проверки первоначальных сообщений об активности австрийской стороны. В штабе Багратиона сосредоточиваются сведения, которые он получает от пограничной стражи, таможенных и почтовых служащих; приходят к нему и материалы перлюстрации почты, идущей через границу. 22 ноября Багратион дает подробный отчет о поездке своего агента, некоего Экстона, художника, «знающего европейские языки». Багратион характеризовал его как человека способного, имевшего связи «со многими людьми хорошего состояния, могущего находить многие знакомства через искусство в живописи портретов», естественно, «по достаточном снабжении его деньгами». Экстон был послан в Варшавское герцогство наблюдать за движением неприятельских войск к границам, разведывать «политическое поведение княжества Варшавского, его запасы, число войск, состояние княжества и народное, в отношении финансов, управление».

Важно было также отмечать состояние умов в Польше: «народную привязанность к правительству или ропот». Как видно по бумагам Багратиона, он довольно хорошо разбирался в разведывательном деле, умел ставить перед агентом задание, обобщать присланный материал, выделять в нем главное.

Разбирался он и в людях, хотя это было непросто: публика, которая шла на выполнение разведывательных заданий, была часто сомнительна, одержима почти исключительно желанием получить деньги — зачастую за собранные сплетни, непроверенные слухи, которые и так можно было узнать в каждом кабаке, потратившись только на кружку пива. Причем бывало, что степень верности таких агентов определялась суммой «гонорара». В сентябре 1811 года Багратион писал: «Должен и то сказать, что крайне трудно сыскивать верных людей, ибо таковые требуют весьма важную сумму. Естественно, рискуя быть повешенным в случае падшего на него подозрения, он может откупиться, имея большие деньги. Впрочем, у меня есть в виду надежные люди, достойные всякого доверия, но все они жалуются на скупость платежа, и никто не соглашается за какие-нибудь 200 червонцев собою рисковать»20. Вообще, по обе стороны границы в это время шла упорная борьба разведок и контрразведок со всем присущим тайной войне антуражем: засылкой, разоблачением, вербовкой и перевербовкой агентов, провокацией, дезинформацией21. В этой войне участвовал и Багратион.

Обедывал, просиживал, был в толпе. Упомянутый Багратионом Экстон так и не сумел обосноваться в Варшаве — видно, от него за версту тянуло вражеским агентом. Польская и французская контрразведки не спускали с него глаз, и довольно быстро Экстона выслали обратно в Россию. В его донесении мы читаем: *Я обедывал за общим столом, просиживал в кофейных домах и был в толпе зрителей в театре: везде находил общим разговором войну с Россией. Офицеры нарядны, гордецы и нахалы в обращении с частными (Экстон, возможно, имел в виду себя. — Е. Л.). Крепость Модлин, у которой в бывшее лето множество работ производилось, есть главный пункт всех запасов, откуда идет эта линия магазейнов далее, там учрежден и арсенал. Все войска сосредоточены между Торном и Наревом. В Галиции остался только отряд легкой кавалерии под командой генерааа Ружицкого. Сие я узнал из непритворных речей одного офицера, которого удалось мне напоить»22. Такой же агент накануне вторжения сообщал: «Французские войска, перешед Вислу, приближаются к нашим границам и, узнав о расположении над границею в большом количестве российской армии, приходят в отчаяние о успехе в своих предприятиях»2J.

Более перспективной была работа с довольно известной личностью, графом де Виттом. Он был, как говорится, из местных — имел в Каменец-Подольской губернии крупное и богатое поместье, но с юности служил в Петербурге, в гвардии (в Конном, Кавалергардском и Лейб-Кирасирском полках), воевал под

Аустерлицем, где был ранен. Человек живой, непоседливый, Витт был склонен к авантюризму, не без жульничества. По какому-то темному делу его исключили из гвардии, и Витт в 1809 году поступил в армию Наполеона, с которой участвовал во франко-австрийской войне. Вернувшись в Россию, он предложил себя в качестве разведчика и резидента в Варшаве. В сентябре — октябре 1811 года он встречался с Багратионом, и по результатам этой встречи Багратион писал Барклаю: «Сколько я его знаю, он лжец и самый неосновательный человек, но жена его, как умная и хорошая женщина, управляет его поступками так, чтобы не лишился он доверенности у нас, равно и в Герцогстве Варшавском не потерял хорошего о себе мнения. По моему мнению, кажется, что он двуличка, сие не дурно б было, когда б справедливо обо всем нас извещал и показания его со стороны их были бы верными. Я сидел с ним глаз на глаз довольно долго и всячески выспрашивав: каким образом знает он все обстоятельства тамошнего края и по какой связи так часто туда ездитНа сие отвечал мне, что имеет там много дела по домашним оборотам и при том тесную связь с многими особами, да и будто о каждом отъезде его известно и вам. Между прочим, обещается он доставлять нам хорошую и весьма верную связь, посредством которой можем получать (сведения) обо всех происшествиях, не токмо в Варшаве, но и в кабинете самого Наполеона происходящих. Есть в Варшаве одна женщина по фамилии мадам Вобан, я сам ее знаю лично, но большего знакомства с ней не имею. Граф же Витт дает мне слово, что, быв с нею весьма знаком и на дружеской ноге, непременно склонит ее на нашу сторону. Женщина сия хитрая, умная и интриганка, находится при князе Понятовском, который к ней так привязан и столь слепо во всем доверяет, что без ее совета ничего не предпринимает, как по делам военным, так и гражданским. Словом сказать, она истинный его друг и совершенный для него закон». Багратион писал, что Витт обещает через эту даму убедить фактического главу Польши «придерживаться стороны верной и надежной», то есть России. Для этого Витт обещал действовать еще через какого-то итальянца из Вены, друга мадам Вобан, и утверждав, что «все непременно выполнено им будет, коль скоро примется на нашу службу». Багратион тут же дает комментарий: «Из сих объяснений замечаю я, что единственная цель исканий и одно желание графа Витта есть войти в нашу службу, какими бы то средствами ни было». И в заключение: «По мнению моему, из виду его упускать не следует». Багратион считает, что нужно воспользоваться его услугами, а отказать в приеме на русскую службу по исполнении задания (в зависимости от его результатов) можно будет в любой

момент24.

По-видимому, вскоре Витт отправился в Петербург, и уже 18 декабря Барклай сообщает Багратиону, что послал к нему принятого на службу де Витта с паспортом, но Багратиону, «давая ему поручения, надлежит быть против него весьма осторожну, чтоб он ничего не мог узнавать о наших распоряжениях, местопребывании войск, о числе их, воинских запасах и прочее. Его величеству угодно, чтоб ваше сиятельство не упускачи из виду осведомиться о его поведении и, стараясь обязать его доставлять нам важнейшие известия, не входить с ним в искренние изъяснения и не доверять ему таких дел, обнаружение коих могло б вредить нашим пользам»25.

«Для личного объяснения с Его величеством»

Усердно занимаясь делами армии и разведки, Багратион думал и о том, как ему восстановить свои прежние сильные позиции при императорском дворе. 19 октября 1811 года он написал Барклаю письмо, в котором просил его, «пока еще со стороны наших соседей не происходит никакого движения, исходатайствовать высочайшее у государя императора соизволение прибыть мне зимним путем, как удобнейшим для поездки, на самое короткое время в столицу для личного объяснения с Его величеством и с вами по некоторым частям, до армии касающимся, так равномерно обнаружить качества замеченных мною особ, и тем внутреннюю безопасность нашу поставить на основательных и твердых мерах». Багратиона беспокоила благонадежность украинской и польской шляхты, жившей в своих поместьях и городах Волынской и Подольской губерний. В письме он сообщал о том, в чем окончательно убедился: «Многие из значущих по достатку своему особ, не приверженных к нам ни наружно, ни внутренно, имеют сильное влияние и между собою сношения как здесь, так и в Герцогстве Варшавском. Пребывание их в сем крае я нахожу весьма вредным и в том утверждаюсь мнении, что сего рода людей крайне необходимо удалить во внутренние российские города и тем прервать всю здешнюю и заграничную связь». Багратион был убежден в пользе депортации наиболее опасных для русского владычества местных дворян, писал, что «имена их мне известны, о коих официально отнестись к вам не могу, ибо легко статься может, что и в самой столице найдутся люди, которые сие опровергнут»26.

Однако попытка хотя бы на время вырваться в Петербург не

удалась, опала, наложенная на него — правда, в весьма мягкой форме, — не проходила. Государь уже не хотел, как это было прежде, видеть его за своим столом. Известно, что «наш ангел» (как называли императора Александра) отличался злопамятностью. 23 ноября 1811 года Барклай писал Багратиону без околичностей: «М[илостивый] г[осударь] Петр Иванович! Его императорское величество по настоящим обстоятельствам находит пребывание ваше при войсках необходимо нужным, а потому на отношение вашего сиятельства ко мне от 19 октября Высочайшего соизволения не последовало, но государю императору угодно, чтоб вы уведомили письменно об именах известных вам особ, подающих на себя подозрение, и что служить может к обнаружению их коварного поведения и взаимных отношений с жителями Герцогства Варшавского»27. Всем участникам этой переписки было ясно, что повод, по которому Багратион хотел приехать из армии, формален и дело не в нем. Неслучайно Барклай о другой причине приезда, выдвинутой Багратионом (дела по армии), даже не упоминает. Продолжая прежнюю, уже утратившую смысл игру, Багратион отвечал Барклаю, что имеются в виду «люди первых классов здешнего дворянства, имеющие родственников, а некоторые и жен в княжестве Варшавском и при том свободные туда и обратно переезды и с ними тайные сношения»28. Он опять не приводит никаких имен, понимая, что это лучший способ нажить себе врагов. К тому же ясно было, что государь никогда не решится даже на частичную депортацию шляхты, опасаясь всеевропейского скандала, рядом с которым казнь герцога Энгиенского покажется мелким происшествием. Время сибирских ссылок польской шляхты, казалось, уже прошло (а снова еще не пришло).

Еще одним свидетельством сохранения гнева государева служил запрет Багратиону вступать в переписку с русскими посланниками в других странах. Ранее, когда он командовал Молдавской армией, такое право у него было. Теперь же полученный в ноябре 1811 года через Барклая (сам Александр не считал нужным сноситься с Багратионом) ответ императора на просьбу главнокомандующего 2-й армией о разрешении вести такую переписку с посланником России в Вене Г. Р. Штакельбергом показался непривычно резким: «Его величество не находит нужным вступать вам в сношение с министрами нашими, при иностранных дворах находящимися, ибо меру сию правительство предоставляет себе»".

Позже, в своем донесении императору из Пружан 6 июня 1812 года, Багратион так констатировал понижение своего

статуса: «Всемилостивый государь! Не быв введен в круг связей политических, я буду говорить о тех только предметах, которые мне известны по долговременной службе…»30 К этой, видимо, болезненной для него теме он вернется уже после отступления от Смоленска в рапорте государю 7 августа. Жалуясь тогда на действия Барклая, он писал: «Прости, Всемилостивейший государь, с сродным тебе милосердием патриотической ревности, действием которой дерзаю я открыть тебе то, что чувствую: я не быв введен в круг познаний политических, не известны мне тайны политики, но, находясь на поприще военном…» и т. д.31

Советы, которые никому не нужны

Багратион внимательно и ревниво следил за тем, что происходило на Дунае. Он был уверен, что Кутузов провалит дело, порученное ему, чем усугубит тяжелое положение России накануне войны с Наполеоном. К этой теме он возвращался не раз. В письме Барклаю 14 сентября 1811 года Багратион писал: «Коль скоро они (турки. — Е. А.) перейдут (на левый берег. — Е. А.) прогонять Кутузова, тем паче что его высокопревосходительство имеет особенный талант драться неудачно и войска хорошие ставить в оборонительное положение, посему самому вселяет в них и робость. Весьма неприятно будет по многим сношениям, если турки войдут в привычку брать поверхность над нами…» Два выхода видел Багратион из этой ситуации. Во-первых, «помириться с англичанами и упросить их, чтобы они принудили турок заключить с нами мир. Советую отдать Валахию и Молдавию, а сербов оставить в независимости, ибо не время нам теми пунктами заниматься». Несомненно, мысль о том, чтобы помириться с англичанами и через них воздействовать на турок, была наивна и ни на чем не основана. Сближение с Англией было возможно лишь в случае разрыва с Наполеоном, а это означало объявление войны, на что Александр, разбирая планы превентивных операций, решиться не мог. К тому же влияние англичан в Стамбуле в это время было незначительным — сидевшая в континентальной блокаде Англия тогда не представляла никакой опасности для турок и не имела авторитета в Блистательной Порте. Но то, что Багратион четко угадал, — это необходимость ради мира с турками вернуть им Молдавию и Валахию. Пожалуй, о таком варианте будущего Бухарестского мира открыто и смело в русских верхах до этого не говорил никто — все знали, как упрям был император, требуя от султана не только территориальных уступок в виде Дунайских

княжеств, но и крупной суммы в качестве контрибуции, что по тогдашним обстоятельствам было нереально. Ясно, что тем самым Багратион вызывал раздражение государя, ибо «лез не в свои дела».

Багратион просил послать его в Бухарест для разрешения вопроса о мире и обещал добиться мирного договора за два месяца: «Сколько мне известно, визирь нонешный рад мириться, только с уступкою, можно и должно его позондировать. Мне кажется, что время терпит до весны, ежели угодно, я бы поскакал, под предлогами укомплектования армии, в Бухарест, поговорил бы с оттоманским (представителем. — Е. А.). Визирь еще находится против Рущука, я бы предложил ему повидаться со мною и предложил ему тайным образом о мире… надо подкупить визиря и чиновников его, бросить им два миллиона пиастров, они лакомы, и нужно сии деньги достать в Молдавии и Валахии. Мне кажется, что я бы успел тайно таким образом, ежели же не согласится визирь, тут беды никакой нету. О сем не надо говорить канцлеру (Румянцеву. — Е. А.), ибо оно известно будет тотчас послу Франции, и все испортится». Ни при каких обстоятельствах император не принял бы план Багратиона, явно противоречивший всем его расчетам. Отдать туркам два миллиона золотых, тогда как государь с них требовал в виде контрибуции всего-то 20 тысяч пиастров, — это предложение наверняка казалось в Петербурге невозможным и даже бестактным. Но главное все же заключалось в том, что сколь бы низкого мнения Багратион ни был о способностях Кутузова, как бы он ни сводил личность и деятельность главнокомандующего Молдавской армией к нулю, перепрыгнуть через его голову он не мог, да и в Петербурге этого не допустили бы. В Бухаресте сидел Кутузов, недавно одержавший над турками блистательную победу, и все надежды Петербург связывал с его дипломатическим искусством, которым, при всем таланте полководца, горячий по натуре князь Петр, увы, не обладал.

Пространное письмо Багратиона Барклаю от 14 сентября 1811 года, цитаты из которого приведены выше, представляло собой самый настоящий проект, докладную записку, предназначенную для императора. Несомненно, это был плод долгих размышлений Багратиона о той общеполитической ситуации, в которой оказалась Россия. В письме Багратиона много разных предложений, начиная с глобальных вопросов войны и мира и кончая усовершенствованием вооружения конницы. Кроме предложений по достижению мира с турками при помощи англичан и серьезных уступок Багратион выдвигал и другие внешнеполитические инициативы. Тогда, да и теперь,

многие из них кажутся наивными, неосуществимыми предложениями человека, который не очень много понимает в искусстве дипломатии. Но вместе с тем невозможно не признать, что в ряде случаев Багратион удивительно точно характеризует проблему и предлагает оригинальное решение ее. По каким-то позициям власти вскоре так и поступили. И теперь непонятно, вняли ли они Багратиону или его суждения отразили ставшую очевидной для всех реальность. Так было с весьма смелым предложением Багратиона об отдаче туркам Молдавии и Валахии в обмен на мир. Багратион писал, что в условиях приближения войны с Наполеоном «силы наши должны быть дома, что и нужно, иначе я полагаю, что Молдавия и Валахия для нас будут хуже Гишпании по близости наших границ». Как известно, Наполеону, чтобы сохранить власть над Испанией, приходилось держать там целую армию. Через две недели после предложения Багратиона канцлер Н. П. Румянцев сообщил Кутузову о готовности государя уступить туркам Валахию, а Молдавию и Бессарабию выкупить за деньги. Далее, Багратион писал, чтобы «сербов оставить в независимости, ибо не время нам теми пунктами заниматься». И в этом вопросе Румянцев вслед за ним умывает руки: «Обеспечить жребий Сербии, сколь можно согласно с желанием сербской нации». Багратион предлагает сделать территориальные уступки и Австрии («Ради Бога, успейте отдать цесарцам то, что у них взяли, и дайте еще другое, дабы сидели они дома, а ежели наш приятель (Наполеон. — К А.) успеет их обольстить, то худо и трудно нам будет, потому что надо оставить по крайней мере 50 000 войска надзору»). Багратион как в воду глядел: Наполеон вынудил австрийцев примкнуть к антирусской коалиции, наша дипломатия проиграла борьбу за Австрию, и пришлось-таки держать против австрийцев армию Тормасова. А если бы Россия вернула то, что по Шёнбруннскому миру 2 октября 1809 года присвоила себе (а именно Тернопольскую область), то ситуация на русско-австрийской границе, возможно, была бы более благоприятна для России.

Багратион предлагал изменить политику и в отношении Польши и поляков на российской территории. Кроме ставших дежурными для него проектов высылки ненадежных поляков в Сибирь и конфискации их имений он высказал предложение, которое было реализовано в 1815 году, благодаря чему значительно упростилась ситуация в Польше: «Я считаю самым лучшим способом объявить королем государя». В 1815 году император Александр был действительно коронован корол ем Царства Польского… Задолго до начала войны 1812 года, ставшей Отечественной, Багратион писал, что власти необходимо

обратиться за помощью к народу, и тем самым будут решены финансовые проблемы, ибо «война теперешная не для союзников, а наша собственная, а как война делает часто такие следствия, что дает и берет корону, следовательно, в таком случае всем надо жертвовать, чтобы наступать и побеждать»32.

Государь и Барклай в ответ на проект Багратиона промолчали. Как и в случае с отказом Багратиону в приезде в столицу, это молчание было выразительно — занимайтесь, мол, князь Петр Иванович, делами своей армии и в чужие компетенции не лезьте, сами разберемся, ведь вы же пишете в конце письма: «Впрочем, все дела вам более и лучше известны…»

Мира не будет, готовься к войне

Между тем обстановка на западной границе становилась все тревожнее. Дело семимильными шагами шло к войне. Россия поспешно наращивала свои вооруженные силы. Ежегодными стали рекрутские наборы — главный источник пополнения армии. Набор 1808 года должен был дать 38 906 рекрут (ростом не менее 2 аршин 3,5 вершка), в набор 1809 года было назначено 82 146 рекрут, в набор 1810 года — 95 542 человека. В 1811 году предполагалось взять с 16 миллионов душ мужского пола 120 тысяч рекрут, потом был назначен еще один набор (от 65 до 70 тысяч человек) «по чрезвычайным обстоятельствам, требующим всевозможных усилий к обеспечению государства»31. Иначе говоря, за последние три предвоенных года было взято в армию минимум 350 тысяч человек.

Неудивительно, что по сравнению с 1805 годом, несмотря на все боевые и небоевые потери за время войн с Францией и Турцией, общая численность армии возросла с 489 тысяч до 716,4 тысячи человек. Важнее другие цифры: число строевых чинов, то есть солдат, увеличилось с 422,3 тысячи до 586,6 тысячи человек. Словом, одних солдат в русской армии стаю почти 600 тысяч — такого в России не было никогда! Корпус офицеров также вырос значительно: с 12,3 тысячи до 17,4 тысячи человек. Этот рост был связан с формированием 19 новых армейских пехотных полков и 8 драгунских.

Больше пули боялись лекаря. Конечно, нужно иметь в виду, что общие цифры всегда впечатляют, но при ближайшем рассмотрении начинают как бы таять: списочный состав всегда больше, чем наличный, да и небоевые потери всегда превосходят боевые. Для солдат самое страшное было попасть в госпиталь. Было распространено мнение, что пуля еще может человека

миновать, а госпиталь его почти всегда убивает. Система госпитальной службы тогдашней армии была по своей сути антигуманна, лечение крайне несовершенно, а воровство и финансовые злоупотребления безграничны. Дело в том, что в основе этой системы лежал вполне людоедский принцип: все, начиная с начальников госпиталей и кончая простыми санитарами, стремились выписать как можно больше припасов и провианта, больных морить голодом и безнадзорностью, а сэкономленное на них добро успешно «реализовать» на стороне. Поэтому обычно больные солдаты в госпиталях страдали от голода и отсутствия всяческого ухода. Только в 1811 году в армии ежемесячно заболевало от 43 до 65 тысяч человек. За год выбыло из армии: безвозвратно 36 тысяч человек, бежаю 7225 человек, стали инвалидами 7096, убито 1113 человек, а всего потери составили 51 739 человек34. Страшные цифры!

Важные изменения произошли в самых разных сферах военного дела, что было прямым следствием двух подряд неудачных войн с Наполеоном. Главными реформаторами стали М. М. Сперанский, М. Л. Магницкий, А. А. Аракчеев и М. Б. Барклай де Толли, за пять-шесть лет совершившие важные реформы в системе военного управления и организации армии. Основой для изменений послужил французский военно-административный и боевой опыт, что было полностью оправдано передовым состоянием французских вооруженных сил и тем, что главным неприятелем считались французы. Общеизвестно, что после 1805 года русская армия многое переняла от французов. В определенном смысле французы оказались нашими учителями, как некогда за учителей новой русской армии почитались шведы. В сентябре 1807 года гвардия была переодета по французскому образцу35. Как писал приехавший в том же году новый французский посланник А. Коленкур, все в русской армии переделано «на французский образец: шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупеи вместо пояса у солдат, музыка на французский лад, марши французские, ученье тоже французское»36.

В 1810–1811 годах благодаря русскому военному агенту в Париже А. И. Чернышеву, наладившему систему шпионажа, в Петербурге сумели получить документы французского военного ведомства и использовать их для реформ. Магницкому и Аракчееву удалось создать эффективную систему Военного министерства, в 1812 году был принят новый Полевой устав (точнее, «Учреждение для управления Большой действующей армией»), утвердивший новые принципы управления войсками. Были резко повышены власть и значение главнокомандующего, в

руки которого переходило все руководство на театре военных действий. Ему подчинялись Главный штаб и все управления (инженерное, артиллерийское, интендантское)37. Батальонные колонны признали основным видом построения для ведения боевых действий пехоты, роль которой как главной силы армии значительно возросла. Пехота стала истинной «царицей полей». Заметно повысились значение и, соответственно, численность легкой пехоты (егерей, стрелков), действовавшей в рассыпном строю: ее польза во многих сражениях была несомненна. Поэтому в каждой дивизии имелись теперь три бригады: две пехотные и одна егерская. После истории под Фридландом, когда действия лихого французского артиллериста Сенармона в немалой степени предопределили поражение русской армии, стали уделять особое внимание использованию маневренной конной артиллерии.

Хотя еще в 1806 году войска были расписаны по дивизиям, этот вид управления окончательно закрепился в 1810 году. При этом кавалерия была выделена из состава общевойсковых дивизий, и на ее основе сформированы кавалерийские дивизии, состоящие из бригад — по два полка в каждой бригаде. Важным следствием не особенно удачных действий русской кавалерии в прошедших войнах стало преобразование почти половины драгунских полков, принадлежавших к тяжелой кавалерии, в легкие (гусарские и уланские) полки. Тогда же были организованы конно-егерские полки, сочетавшие преимущества легкой кавалерии и точность стрельбы пеших егерей. Обычно кавалерийское соединение состояло из четырех драгунских и двух гусарских или уланских полков. Тяжелая кавалерия — кирасиры — составляла отдельные дивизии. Как и у французов, самым крупным войсковым соединением в русской армии стали корпуса, которые состояли из двух-трех пехотных дивизий, а также одного-двух кавалерийских дивизий и нескольких полков тяжелой кавалерии38. Были введены и другие важные новшества, изменившие армию: с 1809 года было принято отдание чести, учреждены награды для целых частей — георгиевские знамена, серебряные трубы, знаки на шапках. Провинившиеся части, как это было с бежавшим под Аустерлицем Новгородским полком, лишались знамен, знаков отличия и пр.

Своя армия

Багратион возглавил Подольскую армию в то время, когда интенсивно перестраивалась система организации войск на армейском уровне. К 1812 году было образовано четыре армии.

Одна из них существовала и раньше и воевала в низовьях Дуная — это известная читателям Дунайская (Молдавская) армия. Но главной, основной стала 1-я Западная армия, сформированная из тех войск, что достойно, но без славы, вышли из Восточной Пруссии в 1807 году. Ее преобразование началось в 1810 году, армия называлась попеременно Северной, Двинской, просто 1-й — и наконец в начале 1812 года получила окончательное наименование 1-й Западной. Ее численность достигала 120 тысяч человек. На время войны в ее ряды вливался и образованный тогда же гвардейский корпус (5-й). С 19 марта 1812 года 1-й армией командовал военный министр генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли, который, оставив свой министерский кабинет в Петербурге, прибыл 30 марта в Вильно, где располагалась Главная квартира армии39. Вскоре туда же приехал и государь. Местом дислокации армии стали Виленская и Гродненская губернии, то есть наиболее важное стратегическое направление.

Армия Багратиона также прошла свою перестройку, меняя названия, непрерывно пополняясь новыми полками и одновременно меняя места своей дислокации. Она называлась Подольской, Южной, 2-й, Западной, пока в 1812 году не стала окончательно 2-й Западной армией. Ее составили дивизии Молдавской армии, которые вывели из Молдавии и Валахии ближе к Киеву и Житомиру, а потом пополнили другими полками, подошедшими из России. С февраля 1810 года 2-й армией командовал генерал Д. С. Дохтуров, которого и сменил в августе 1811 года князь Багратион. За последние полгода перед войной армия дважды меняла места своей дислокации, смещаясь на северо-запад. В этом перемещении от Житомира к Белостоку и Гродно был заложен свой смысл. Изначально 2-я Западная армия предназначалась для вспомогательных действий в помощь 1-й армии, шла ли речь о наступлении на Польшу или об отступлении вглубь России. С этой целью и проходило ее перемещение из Житомира сначала в Луцк, потом в Пружаны (после 19 мая40), а затем в Волковыск, то есть поближе к 1-й армии. По этой же причине ей не давали сильно увеличиваться. Наоборот, когда произошло увеличение 2-й армии за счет резервов, от нее отделили четыре корпуса, и в Мае 1812 года на их основе образовали новую армию. Она была названа 3-й Резервной Обсервационной армией и располагалась южнее 2-й Западной, прикрывая Киев. Ее главная цель — наблюдать за действиями ставшей враждебной России Австрии, с тем чтобы не допустить вторжения австрийских войск в русские пределы. По идее военного руководства, эта армия (около 50 тысяч человек),

которой командовал генерал от кавалерии А. П. Тормасов, представляла собой резерв 2-й армии и должна была с началом военных действий помогать ей, наносить ущерб противнику, который вздумал бы ударить в ее тыл. В конечном счете идея разделения армий оказалась неплодотворной, в момент высочайшего напряжения борьбы за Москву армия Тормасова оказалась фактически выключена из военных действий, защищая дальние юго-западные пределы империи, в то время как враг ворвался в самое ее сердце.

Наши молодцы-солдаты бодро шагали

Несомненно, что долгое время русская армия готовилась к войне наступательной. К границе подтягивались все новые и новые войска вовсе не для того, чтобы стать «железным заслоном» на пути врага, но для того, чтобы ударить по нему на его же территории. Одни шли, как им казалось, скрытно, не привлекая к себе внимания, — так, 12 октября 1811 года военный министр предписал 25-му егерскому полку двинуться в Митаву, но не по обыкновенному большому тракту, а по второстепенным дорогам, чтобы не встречаться «с проезжающими по почтовой дороге» людьми, среди которых могли быть шпионы41. А уже весной 1812 года войска шли по столбовым дорогам, открыто. Зрелище непрерывно идущих на запад, к границе, полков воодушевляло патриотов, заставляло сильнее биться сердца. А. П. Бутенев, назначенный дипломатическим чиновником при Главном штабе 2-й Западной армии Багратиона, в начале июня 1812 года спешил в Волковыск по Минской дороге: «Тут уже начал я обгонять направлявшиеся к границам войска. Наши молодцы-солдаты бодро и весело шагали по сыпучему песку, в шинелях и с ранцами, ружья на плечах, в предшествии музыкантов и песенников, которые оглашали воздух народными песнями. Я очень живо помню эти встречи, особенно когда проходил Московский гренадерский полк, прославленный своею храбростью в наших воинских летописях. Шефом его был тогда родственник царской фамилии герцог Мекленбургский, он ехал впереди полка»42. У всех было приподнятое настроение, присущее людям, готовым к наступлению. Войска непрерывно тренировались, и, как вспоминал артиллерийский офицер из корпуса генерала Дорохова И. Т. Радожицкий, «инспекторские смотры во всей армии беспрерывно продолжались», а «в первых числах июня корпус наш двинулся к границе; корпусная штаб-квартира находилась в Олькениках, а наша бригадная — в

Ойшишках. Авангард корпуса, под командою генерала Дорохова, стоял в Оранах… Мы отбыли еще несколько смотров от бригадных и дивизионных командиров. Войска вообще были хорошо одеты и выучены; солдаты рослые, стройные, добрые, ожидали с нетерпением похода за границу, чтобы ударить на француза по старой привычке (стереотип — во все прежние войны с французами первыми нападали мы. — Е. А.). В Олькениках мы стояли около недели, ожидая со дня на день похода вперед, но вдруг получили приказ 12 июня идти поспешно назад, в Яшуны. Причиною столь внезапного движения были французы, которые предупредили нас и сего числа до рассвета перешли границу чрез Неман. В Мериче они захватили все команды нашей дивизии, посланные туда для принятия из магазинов провианта. От Олькеник в Яшуны, 40 верст расстояния, мы прошли в один переход, кажется, не мы одни так торопились: война началась не на шутку». И еще: «Мы думали, что непременно пойдем навстречу французам, сразимся с ними на границе и погоним их далее»11. Так же, как Радожицкий, думали многие в русской армии. Но планы наступательной войны не были реализованы, хотя армию подвели к самой границе на позицию предполагаемого удара. Это в конечном счете и обернулось ее столь драматическим и долгим отступлением.

Удара на опережение не последовало ни осенью 1811-го, ни весной 1812 года. Было много причин (кроме невозможности быстро собрать в один кулак разрозненные части армии), которые этому воспрепятствовали, начиная с нерешенной проблемы завершения Русско-турецкой войны и заканчивая соображениями этики — ведь Россия напала бы на своего союзника! Но важно другое — начиная с 1810 года планы нападения на французов постоянно обсуждались в окружении Александра параллельно с планами отступления (в том числе в сочетании с генеральным сражением). Да и на практике велись приготовления сразу и к наступлению, и к обороне. Для подготовки первого варианта армии выдвигались на предельную близость к границе и в соответствии с этим близко к границе устраивались склады провианта, разрабатывались наступательные диспозиции, подобные тем, которые рассылались в октябре 1811 года. Одновременно для реализации второго (оборонительного) варианта действий укреплялись и модернизировались крепости вдоль западной границы, строился, как уже сказано, знаменитый Дрисский лагерь. Но обстоятельства все время складывались так, что остановиться на каком-то одном плане действий власть не смогла44. Отчасти это отражало умонастроение императора Александра, нередко в своих действиях предпочитавшего уйти от

окончательного, твердого решения.

Государь не мог не считаться с мнением оппонентов наступательной концепции, то есть сторонников плана активной обороны. Они указывали на колоссальную мощь Наполеона, мобилизовавшего силы покоренных им европейских стран, склоняли государя к ведению длительных оборонительных действий на своей территории, включая названный так историками уже в XX веке «скифский» план медленного отступления вглубь страны, пространство которой отходящие войска и местные власти должны были превратить в выжженную землю. Удачный пример таких действий дала Северная война (1700–1721), когда Петр Великий со своей армией отходил из Польши вглубь собственной страны, изматывая шведскую армию Карла XII арьергардными боями и всячески истощая ее силы диверсиями. Кроме того, у всех на глазах был «испанский вариант» войны — народная, партизанская война в Испании против французских захватчиков; она опровергала банальную истину, что поражение в генеральном сражении решает судьбу страны… Александр говорил французскому послу А. де Коленкуру о Наполеоне: «…Возможно, даже вероятно, что он нас разобьет, ежели мы примем сражение, но это не приблизит его к заключению мира. Ведь испанцы, например, часто бывали разбиты, но никогда не были ни побеждены, ни подчинены. И это при том, что они не так уж далеки от Парижа, как мы; климат Испании отнюдь не похож на наш, и у них нет тех средств, коими располагаем мы. Мы имеем за себя пространство, и мы сохраним свою хорошо организованную армию»45.

Двойственность планов русского командования сохранялась в сущности до конца мирного времени, и даже с началом войны. Как точно заметил В. М. Безотосный, военный министр Барклай де Толли, на котором замыкались все планы, часто противоречил сам себе: «Командующим лицам он часто обещал переход в наступление или генеральное сражение. Но одновременно с этим в письмах к царю сообщалось совершенно противоположное мнение. То же самое противоречие можно найти между обращениями (приказами) к армии и официальными сообщениями из Главной квартиры, рассчитанными на общественные круги»46. Ниже, уже на конкретных фактах, мы рассмотрим подобные противоречия в суждениях и действиях Барклая. Как бы то ни было, существование у русского руководства фактически до лета 1812 года сразу двух планов ведения войны создавало впечатление его неуверенности, что на самом деле и было. А это порождало нервозность в первую очередь у подчиненных Барклая, что с началом войны сказалось

на отношении к нему в армии.

Идти или не идти. Типичным для этой «дуалистической» стратегии военного руководства стала инструкция начальнику Главного штаба 2-й Западной армии генералу Сен-При — его назначили в армию Багратиона летом 1812 года. В инструкции было сказано, что все русские войска размещаются в следующем порядке: 1-я армия около Вильно, 2-я южнее Вильно, а между ними корпус Платова. Составители инструкции считали, что в ближайшем будущем возможны два варианта военных действий: «когда война с нашей стороны откроется наступательною» или «когда война внутри наших пределов ведется оборонительною». При наступлении предполагалось «отрезать, окружать и обезоруживать войска неприятельские, в герцогстве Варшавском и в королевстве Прусском находящиеся… занимать сколько можно более пространства земли…», причем 1-й армии предстояло оккупировать Восточную Пруссию, а также направить часть войск на Варшаву через Гродно. 2-й армии в этом случае тоже предписывалось идти на Варшаву, но через Люблин. Иначе говоря, в этом варианте реализовывался вышеизложенный план активной обороны, превентивного удара.

При сугубо оборонительной стратегии рассматривались также два варианта возможных действий. Предполагалось, что если противник нанесет основной удар севернее (то есть по 1-й армии), то эта армия начинает отступление к Дриссе, «в укрепленную в сем месте позицию, в которой она ожидает неприятельские атаки». Корпус Платова, который называли также Обсервационным (наблюдательным), должен был действовать «во фланг и в тыл главной неприятельской силы». Если же «противустоящий ему неприятель столь силен, что с верностию нельзя предвидеть счастливого успеха атаки», то казакам Платова следовало отступать от границы. Подобным же образом должна была действовать и 2-я армия, цель которой состояла в нанесении (при содействии корпуса Платова) ударов во фланг и тыл неприятеля47. Если же главный удар Наполеона пришелся бы южнее (то есть непосредственно по 2-й армии), то она должна была отступать южнее — к Острогу, Житомиру и Киеву, а Платову и 1-й армии предстояло наносить удары противнику в тыл и фланг.

Инструкция Сен-При отражает общее противоречие планов русского командования, хотя она дана летом 1812 года, когда русское командование точно знало о масштабном сосредоточении французских сил в Восточной Пруссии и Герцогстве Варшавском и на упреждающий наступательный удар уже не могло решиться, — время, когда русской армии на всей этой огромной

территории противостояв только корпус Даву, безвозвратно прошло.

Хорошая компания

Главная квартира Багратиона в июне 1812 года размещалась сначала в Пружанах, а потом, с 6 июня (об этом Багратион сообщал Платову)48, — в знакомом Багратиону по прежним временам Волковыске, жалком городишке, деревянные домики которого были сплошь заселены евреями. Сам Багратион и его штаб располагались в «замке» — поместье местного польского шляхтича. Бутенев вспоминал, что атмосфера в ставке Багратиона была «радушной и ласковой». Багратион умел ладить с самыми разными людьми. Вообще, многие отмечали его умение сплотить людей, любивших его за доброту сердца, искренность и щедрость. Граф А. И. Рибопьер, человек самолюбивый и напыщенный, писал в мемуарах, что только благодаря умелому разговору Багратиона с капризным фельдмаршалом Каменским ему удалось уехать в действующую армию — иначе Каменский ни под каким видом не отпускал своего дежурного генерала. В другом случае, уже после Фридланда, Рибопьер был ранен и сброшен с лошади, и именно Багратион, «возвращавшийся из Тильзита, поднял меня и перенес в занимаемый им дом, находившийся неподалеку»49. А генерал Комаровский писал: «Я весьма любил князя Багратиона, он имел отличные свойства, а особливо необыкновенную доброту сердца»50.

2-я армия была малочисленнее 1-й, но, как писал Бутенев, в ней находились лучшие наши генералы и офицеры, «считавшие себе за честь служить под начальством такого знаменитого полководца, как князь Багратион». Бутенев перечисляет людей Багратиона: начальником Главного штаба был граф Сен-При, «дежурным генералом был Марин, один из красавцев гвардии, сочинитель легких стихов… В числе многих блестящих адъютантов и ординарцев князя Багратиона припоминаются мне в особенности князь Николай Сергеевич Меншиков (младший брат адмирала), князь Федор Сергеевич Гагарин, барон Бервик, про которого говорили, что он происходил от Стюартов, Муханов, Лев Алексеевич Перовский (позднее граф и министр внутренних дел), Дмитрий Петрович Бутурлин (впоследствии директор Императорской публичной библиотеки и сочинитель “Истории 1812 года”), Михаил Александрович Ермолов. С тремя последними я в особенности сошелся, хотя находился в добрых отношениях и со всею этою молодежью, моими сверстниками,

живыми и пылкими, вечно веселыми, привыкшими ко всяким лишениям, не знавшими усталости и прямо из-за обеда, из-за карточного стола или с постели, в какую бы ни было погоду, хватавшимися за оружие и готовыми лететь в бой. Вторая армия славилась своими генералами. То были знаменитый Раевский, командир Первого корпуса, и Бороздин, командовавший Вторым корпусом и в 1799 году действовавший с успехом в Неаполе. Но особенною любовью пользовались в армии два молодых дивизионных генерала: граф, впоследствии князь и фельдмаршал Воронцов и Паскевич, будущий князь Варшавский и также фельдмаршал»51.

О некоторых из перечисленных, поистине блестящих, но менее известных, чем Михаил Семенович Воронцов или Иван Федорович Паскевич, людей следует сказать подробнее. Действительно, 36-летний полковник Сергей Никифорович Марин был редкостным красавцем, прекрасным шахматистом и заядлым картежником. Отважный воин, он не раз был ранен в бою и удостоен за свои подвиги боевых орденов и золотой шпаги «За храбрость». Можно без преувеличения сказать, что если бы не Марин, то заговор 11 марта 1801 года, увенчавшийся убийством Павла I, провалился бы: именно поручик Марин в ночь переворота командовал внутренним караулом преображенцев в Михайловском замке, и именно он беспрепятственно пропустил мятежников в замок, тем самым изменив государю и совершив безнравственный поступок. Потом, при Александре, он, флигель-адъютант государя, исполнял высочайшую волю, будь то поездка к Наполеону с депешами, формирование нового полка или расследование дела о контрабанде на границе. Но более всего этот высокий, обаятельный гвардеец прославился на литературной ниве. Начал он с необыкновенно популярных в офицерской среде сатирических стихов о павловских порядках (сам он был на какое-то время разжалован Павлом в солдаты за то, что сбился с ноги на вахт-параде), а потом с легкостью и блеском писал гусарские песни и сочинил текст «Преображенского марша». Одну из его солдатских песен распевала армия в 1806 году, двинувшись в Польшу и Восточную Пруссию. Издавал он и свой журнал «Драматический вестник», входил в литературное общество «Беседа любителей русского слова». Он делал переводы, писал пьесы под Буало и Вольтера. Марин был необыкновенно остроумен, обладал даром тонкого сарказма. Неудивительно, что ему особенно удавались сатирические стихи на злобу дня и пародии, которые были остры и легко запоминались. Особенно он прославился пародией на величавую оду Державина «Бог» («О, ты, что в горести напрасно,

на службу ропчешь, офицер»). Благодаря этим стихам Марин был чрезвычайно популярен в офицерской среде, не уступая славой самому Денису Давыдову. Его ближайшим другом был князь Воронцов, также питавший к Марину теплые чувства, о чем свидетельствует их приятельская переписка. Марин был близок к Багратиону и любил своего главнокомандующего. Кажется весьма любопытным то обстоятельство, что Марин попал во 2-ю армию прямо из Твери, где он был с 1809 года адъютантом Георга Ольденбургского, супруга Екатерины Павловны. Ему была в тягость эта служба («Во брани поседев, воспитан под шатрами, / Попал я на паркет и шаркаю ногами»), и в 1811 году он отпросился в армию Багратиона. Может быть, через него Багратион и поддерживал связь с Катиш, хотя доказательств, это подтверждающих, у меня нет никаких. Примечательна и демонстративная нелюбовь Марина к «немцам», разделяемая главнокомандующим. Марин в Волковыске много болел («Здоровье мое уплыло с дежурством, час от часу становилось и слабее, и хуже…» — из письма Воронцову), хотя в 1812 году участвовал в боях. В конце 1812 года он умер — как полагают, от французской пули, которая застряла у него в груди еще со времен Аустерлица.

Марину было о чем поговорить с 20-летним графом прапорщиком Львом Перовским, только что закончившим Московский университет и страстно увлекавшимся тогда переводами с французского языка. В отличие от Марина это был человек серьезный, глубоко вникавший в религиозно-нравственные проблемы. Начальником канцелярии Багратиона был Н. И. Старынкевич, «человек умный и бывалый, в особенности любивший пожить. Беседа его была весела и неистощима»31.

Генералы Багратиона были действительно из лучших в русской армии. О героическом командире ставшей в один день легендарной 27-й пехотной дивизии генерале Дмитрии Неверовском расскажем ниже, а о Николае Николаевиче Раевском многое известно в связи с А. С. Пушкиным и декабристами. Он также был издавна связан с Багратионом, который не раз проверял его в боях. Особенно отличился Раевский, командуя егерской бригадой в авангарде Багратиона под Гейльсбергом и Фридландом во время войны с французами в 1806–1807 годах. Это был человек непростого характера, нервный и желчный. Во время Русско-турецкой войны он находился под командой Багратиона. После отставки последнего с поста главнокомандующего и назначения в Молдавскую армию генерала Каменского Раевский так жестоко рассорился с новым

начальником, что Каменский выслал его из армии. Возможно, причиной стало утверждение Раевского о том, что Каменский «был трус и не мог хладнокровно слышать ядра». Об этом со слов Н. Н. Раевского писал А. С. Пушкин53. Не случайно, что изгнанный из армии Каменского Раевский оказался в армии его соперника Багратиона начальником 26-й пехотной дивизии, а потом стал командовать 7-м пехотным корпусом — ударной силой 2-й армии.

Наверняка Багратион был хорошо знаком и с генералом Ильей Дукой, сербом, командиром 2-й кирасирской дивизии. Возможно, они были знакомы еще с юности, ибо Дука, также как Багратион, воевал во второй половине 1780-х годов на Кавказе против Шейха Мансура. Воевали они рядом и под Аустерлицем (Дука командовал лейб-гусарами), и в сражении при Прейсиш-Эйлау. О Дуке говорили, что он необыкновенно храбр и отличался суворовской заботой о солдатах, — все это не могло не быть симпатично Багратиону.

Авангард 2-й армии был поручен князю Андрею Ивановичу Горчакову. С Багратионом его объединяло нечто большее, чем служба, — память о великом Суворове. Горчаков был родным племянником Суворова и во времена опалы полководца, при Павле, пытался как-то примирить дядю с государем. Однако и государь, и великий полководец были одинаково упрямы и строптивы, и посредническая миссия племянника окончилась плачевно для дяди, сосланного в Кончанское. В 1799 году Багратион и Горчаков участвовали в Италийском походе Суворова, а все, кто там был, оказались навеки связаны между собой узами, более прочными, чем родственные. Горчаков был известен также как непримиримый противник Наполеона (что тоже объединяло его с Багратионом). В годы сомнительной «тильзитской дружбы» он был послан со своей пехотной дивизией участвовать в австро-французской войне 1809 года на стороне Наполеона. Горчаков, памятуя о русско-австрийском боевом братстве времен Италийского похода Суворова, написал теплое письмо вражескому главнокомандующему эрцгерцогу Фердинанду. В этом письме он выразил свое сердечное желание когда-нибудь вновь соединиться с австрийцами «на поле чести». Французы письмо перехватили, поднялся страшный скандал. Наполеон пожаловался на такого союзника самому Александру, Горчакова судили. Российский император не на шутку рассердился на «изменника» — Горчакова выгнали из армии, навсегда запретив ему въезд в обе столицы. Каким же образом накануне войны с Наполеоном опальный генерал оказался командиром Авангардного корпуса 2-й Западной армии

Багратиона, пусть читатель догадается сам.

Генерал-лейтенант Михаил Михайлович Бороздин также слыл знаменитостью в русской армии. За свои 45 лет он многое повидал на свете, но главная его слава была связана с Италией. С 1799 года вместе с Черноморским флотом он участвовал в войне с французами на Средиземном море, в Неаполе и Палермо формировал для неаполитанского короля гвардию. Долгое время был комендантом русских владений в Средиземном море — острова Корфу и Ионического архипелага.

Размышления у карты

В весенние месяцы 1812 года Багратион был серьезно обеспокоен положением русских армий. Он подолгу сидел над картой, размышляя о положении своей 2-й армии, — ведь она находилась довольно близко от границы с Варшавским герцогством. Через свою агентуру Багратион стал получать сведения, что на ближней к нему дороге Варшава — Брест начинают скапливаться значительные силы противника. Из писем и донесений, приходивших с границы и от агентов, вырисовывалась грандиозная и устрашающая картина сосредоточения огромной французской армии, усиленной войсками со всей Европы. В начале июня Багратион читал в донесениях и аналитических сводках следующее о составе формирующейся против России Великой армии: «Немецких войск Рейнского союза суть: баварских 30 000 (человек)… баденских 10 000, виртембергских до 16 000, саксонских 30 000, вестфальских 25 000, австрийских 30 000… прусских 40 000, а от маленьких князей немецких около 15 000». А еще были многочисленные польские войска и, наконец, собственно французская армия под командой прославленных маршалов во главе с военным гением всех времен и народов… «Сила французской армии со всеми союзниками полагается в 400 т[ысяч] человек». Эти цифры казались в те времена нереальными, фантастическими, но приходилось верить данным донесений и напряженно думать, как сопротивляться грядущему нашествию.

Багратион был убежден, что изначально позиции, занятые русскими армиями, очень уязвимы при наступлении противника. С одной стороны, армии слишком растянуты вдоль границы и в решительный момент не смогут оказать друг другу помощь.

С другой — войска стоят к границам слишком близко, у них не хватит времени, чтобы уйти от удара неприятеля и сосредоточиться в каком-либо одном пункте. Враг как раз сделает

все, чтобы этого соединения не произошло54. В письме генералу П. Палену от 2 июня 1812 года Багратион писал о возможных вариантах действий противника. Читая это послание, мы будто видим, как Багратион медленно ведет карандашом по карте и размышляет: «…Сия последняя колонна может идти из Семятичи на Клещели, что в 45 верстах от границы, но тут Беловежская пуща его останавливает, и дорога тогда идет влево на Бельск и вправо на Высоко-Литовск. Все сии три колонны могут поспевать из-за границы до Бранска и Боцки в два перехода, следовательно, при первом известии о приближении неприятеля чрез выше помянутые пункты, полки казачьи Андрианова и Сысоева отстреливаются и, перешед за реку Нурчек около Бранска, расстанавливают форпосты по границе…» и т. д.55 Это похоже на размышления шахматиста, который анализирует партию, прорабатывает сразу несколько возможных атакующих комбинаций противника и ищет наилучший вариант защиты.

Багратион пишет письмо и военному министру Барклаю в Вильно. У него складывались довольно непростые отношения с Барклаем, что и неудивительно: эти двое людей по характеру были совсем разные — поистине, лед и пламень. Между ними издавна шло соперничество по службе. Барклай служил под началом Багратиона, получил генеральский чин позже его или, как тогда говорили, был «в генералах моложе», но затем сделал блестящую карьеру и, став военным министром и доверенным человеком государя, опередил своего бывшего начальника. В армии такие успехи всегда воспринимаются болезненно даже равными по званию и выслуге лет, а уж об обойденных производством и говорить не приходится. Всегда в таких случаях начинают кивать не на явные воинские таланты, а на умение скользить по придворному паркету. Безусловно, Багратион досадовал, что Барклай, а не он, «введен в круг связей политических», пользуется особым доверием императора и является носителем неких сведений высшей важности, ему, «полевому генералу», недоступных.

Соперничество Багратиона с Барклаем, их некое скрытое пикирование заметны по переписке, хотя при этом оба остаются в рамках приличий. Соблюдая субординацию, Багратион вместе с тем не утаивал своего особого — и несогласного с министерским — мнения. В частности, он был недоволен тем, что Барклай не передал ему казачий корпус Платова. В письме от 3 июня Багратион поначалу демонстрирует субординацию: «Не обинуясь в немедленном исполнении Высочайшего повеления в отношении под № 216 изъясненного в разсуждении подчинения казачьих полков при вверенной мне армии состоящих…» А далее —

вежливое наступление: «… беру смелость изъяснить мои мысли для доведения их на Высочайшее благоуважение. Иррегулярные войска, при 2-й Западной армии состоящие, охраняя, так сказать, армию и наблюдая за движением неприятеля, не будут нисколько полезны оной, ежели получат независимость от лица, командующего 2-ю армиею…» И в конце письма снова поза примерного подчиненного и верного подданного: «В сем я заключаю мои собственны е мысли, которые, впрочем, нисколько не остановили меня исполнить в точности Высочайшее повеление на счет сего последовавшее»56. Забегая вперед отметим, что силою обстоятельств казачий корпус Платова оказался в одной упряжке с армией Багратиона, и своевольный атаман, зажатый со всех сторон врагом, охотно подчинился Багратиону, хотя не раз и не два Барклай требовал, чтобы казаки перешли в распоряжение 1-й Западной армии. И только под конец драматического похода от Волковыска до Смоленска, точнее — под Могилевом, Багратион наконец отпустил Платова к Барклаю.

В другом своем письме — ответе на приказ Барклая о немедленной эвакуации скота (так называемая «скотина порционная»), с тем чтобы «не оставлять неприятелю ни малейших способов к продовольствию», он почти высмеивает министра, который, по его мнению, не понимает, что огромные стада, перегоняемые перед отступающими войсками, оставят после себя вытоптанную пустыню: «…Легко представить себе можете, какой подножный корм найдет армия». Смеется он и над распоряжением Барклая вывозить при возможном отступлении не только статистические сведения об уездах и губерниях, занимаемых врагом, но и носителей этих знаний — русских чиновников57: «Кроме сих чиновников, сколько в краю людей, могущих дать полное понятие о земле и способах ее. Редкий помещик не в состоянии дать достоверные сведения о целом уезде, редкий эконом даже, и сколько, наконец, в каждой деревне мужиков, могущих говорить о способах деревни своего жительства»58. После этих саркастических замечаний с оттенком издевки мы можем понять, отчего Барклай не испытывал теплых чувств к Багратиону.

Польская колония империи. Впрочем, все усилия обоих русских главнокомандующих соблюдать секретность на деле были тщетны. Багратион писал, что каждое его движение становится тотчас известно неприятелю от местных жителей, ждущих французов как своих освободителей от русского владычества. Уже перемещение Главной квартиры 2-й армии в Луцк, а потом в Волковыск не обходилось без насилия над местным населением. Полицмейстер Луцка, старый, израненный

майор, чуть не плача рассказывал Н. Е. Митаревскому: «Все дома заняты, и нет уголка свободного. Тут князь Багратион со всем своим штабом… Вся армия собршгась вокруг Луцка. Давай квартиры, строй печи для заготовления сухарей, давай дрова, давай подводы и все на свете! Мне приходится хоть в реку броситься… Когда я сказал князю, что невозможно выполнить таких требований, то он закричал: “Знать ничего не хочу… чтоб было, не то — повешу!” Меня — повесить! Повесить старого служаку!»59 Конечно, Багратион русского старого служаку не повеси.1, но окрестная польская шляхта и крестьяне застонали от армейских повинностей и контрибуций. Неудивительно, что чуть позже многочисленное польское население западных губерний Российской империи с хлебом и солью встречало французские войска, устраивало им народные праздники и во всем деятельно помогало. В тогдашней польско-литовской прессе восторженно писали: «С какой радостью, восторгом и счастием встретили обыватели своих избавителей, легко может представить себе всякий патриот. Как достоверный факт рассказывают, что один помещик, увидя соотечественников своих и избавителей, умер от радости… Ни один поляк не в силах удержать радостных волнений души»60. Бургомистр Вильно Ромер устроил на центральной площади города пир для народа (жареные быки, начиненные дичью, поросятами, баранами). Перед этим он произнес речь: «Площадь, на которой мы ныне стоим, в память этого дня будет вечно называться площадью Наполеона. Мощною его десницей расторгнуты цепи, скованные происками предателей отечества, внутренними несогласиями и возложенные на нас силою русских. Граждане! Этих цепей больше нет. Вы можете свободно дышать родным воздухом, свободно мыслить, чувствовать и действовать. Сибирь уже не ожидает вас, и москали сами принуждены искать спасения в ее дебрях. Уже победоносные орлы преследуют неприятеля в той стране, где некогда оружием предков означены были наши границы. Граждане! Перед нами проходят воспоминания о Сигизмунде, Стефане, Ходкевиче, Жолкевском и о других знаменитых рыцарях Польши, славных своею доблестью… Скоро жители Смоленска и прочих далеких земель наших своим присоединением к конфедерации оправдают предсказанное объединение Польского народа. Это счастье, это благо родины — уже более не мечты!»"1 Как по-разному воспринимали одни и те же события поляки и русские! Для русских перечисленные выше исторические деятели: короли Сигизмунд 11, Стефан Баторий, гетманы Ходкевич и Жолкевский — безусловные враги и такие же жестокие завоеватели, как для поляков Суворов, Паскевич, Муравьев.

В 1812 году поляки — вчерашние подданные России — записывались в ряды наполеоновской армии, причем участвовавшие в боях с «северными поработителями» польские войска проявляли отвагу, самоотверженность и мужество порой даже большее, чем французы. Так случилось, что внутри русско-французского вооруженного конфликта завязалась ожесточенная русско-польская война. Известно, что поначалу русские не брали в плен поляков — «изменников царю и отечеству», а поляки в боях под Смоленском на глазах русских солдат выводили и убивали взятых в плен их товарищей. Адъютант Наполеона Сегюр писал, что польских улан «только один вид русских приводам в ярость»"2. Стычки казаков и польских улан обычно становились ожесточенной взаимной резней. Впрочем, поляки были разные. В состав русской армии входили польские полки. Возможно, многим из воинов этих полков было горько за отчизну, но они навсегда связали себя с Российской империей, испытывали чувства, схожие с теми, что испытываа близкий к императору Александру польский аристократ Адам Чарторыйский, бывший какое-то время даже министром иностранных дел России: «Поставленный судьбой во главе внешней политики России, я находился в положении солдата, заброшенного в силу дружбы или случайности в чужие ряды и потому сражающегося с особым усилием из-за чувства чести и из-за того, чтобы не оставить своего товарища, друга или господина».

Как только французы перешли границы империи, стаю ясно, что власть России в Литве и Белоруссии непрочна. Поляки симпатизировали французам, готовились к их приходу, тайно сотрудничали с ними. Как вспоминал князь Н. Б. Голицын, бывший ординарцем при Багратионе, однажды от генерала Неверовского приехал офицер, который привез командующему «шкатулку, сначала разбитую, потом запечатанную. С ним приехали пожилой мужчина в губернском мундире, с Аннинским крестом на шее и его осьмнадцатилетний сын. Через четверть часа дверь кабинета отворяется, князь Багратион с грозным видом входит к старшему из приезжих и, не говоря ни слова, срывает с него Аннинский крест, тогда отец и сын с воплем бросились ему в ноги, но дело кончилось тем, что князь приказал взять их обоих под стражу. Я не имел впоследствии случая узнать, чем решилась участь этих несчастных, но это обстоятельство уже тогда убедило нас в существовании изменников в провинциях, присоединенных от Польши к России»63.

Итак, польское население провожало «московитские» войска, в обозе которых и везли тех самых русских чиновников — знатоков статистики, без эксцессов, но с заметным облегчением.

И только когда русская армия, отступая, перешла Днепр и оказалась собственно в России, на Смоленщине, солдаты и офицеры почувствовали себя дома, в своей стране…

Впрочем, как известно, Наполеон был тогда недоволен поляками. Он считал, что они инертны и мало делают для возрождения своей родины в столь благоприятный для них момент. Но это брюзжание благодетеля поляков неосновательно: они дали Наполеону огромную армию в 80 тысяч штыков и сабель, да и вели себя очень мужественно. Обычно в литературе не упоминается тот факт, что спасению остатков Великой армии при отступлении из России французы обязаны полякам и немцам, которые прикрыли их отход через Березину.

И последнее. Сточки зрения интересов русской стратегии на начальном этапе войны, план превентивного удара по Варшавскому герцогству, который предлагали Багратион и другие генералы, мог бы удержать поляков от такой массовой поддержки Наполеона. Об этом, как отмечалось выше, писал Армфельд. Так считал и Багратион.

Нравственно ли отступать

Отослав очередное письмо Барклаю, Багратион, разгоряченный своими мыслями, садился писать самому государю. Генерал никак не мог смириться со стратегией отступления, заложенной в планах Барклая и Фуля. Он, верный ученик Суворова, вновь и вновь повторял, что отступление вредно для армии в принципе: «Опытность, на поле браней приобретенная, ввела меня в познание последствий того впечатления, которое производит в войске одно слово “отступление”. Я не смею обременять Ваше императорское величество исчислением невыгод от ожидания нападения, но по свойству Твоего народа, по известной храбрости в нем при нападении и унынию в другом случае и по вниманию к тому, что частыми движениями и не всегда выгодным расположением в квартирах изнуряются и уменьшаются силы войск, приемлю смелость думать, что гораздо бы полезнее было, не дожидаясь нападения, противустать неприятелю в его пределах».

В письме от 6 июня 1812 года, как и в письме Барклаю, Багратион указывает государю на опасность размещения армий, предназначенных для обороны, вблизи границ. Их положение было слишком «растянуто, чтобы при намерении неприятеля всеми силами нанести удар одной из них можно было вовремя воспользоваться подкреплением от другой». По его мнению, «в

таком случае, когда должно ожидать неприятеля, то войска наши довольно близки к границе, чтобы успеть сосредоточить себя для отражения, ежели неприятель покажется на одном пункте в превосходных силах, чего, кажется, и ожидать должно». И далее развитие событий, по мнению Багратиона, будет неутешительным для русской армии: «В то время, когда аванпосты наши удостоверятся в сближении армии неприятельской к границам, он без сомнения удвоит быстроту маршей и застанет нас ежели не на своих местах, то поспешит воспрепятствовать соединению нашему прежде, нежели мы найдемся в способах воспользоваться оным».

Наконец, Багратион отмечает, что «приготовлен хлеб во многих местах почти под самою границею в значительном количестве. Поспешить перевозкою сего хлеба во внутрь земли… невозможно… и, судя по пространству, на коем сложен помянутый хлеб и растянута кордонная стража, нельзя даже отвечать за успех истребить оный при мгновенном вторжении неприятеля в границы наши».

Даже не будучи поклонником Багратиона, можно сказать, что все, что он предсказал, осуществилось с началом войны — придвинутые к самой границе русские армии и корпуса оказались разобщены в момент стремительного удара концентрированных и превосходящих сил противника на одном, главном, направлении. Потом, при отступлении от Вильно, многие возмущались, как можно было разместить под городом, так близко от границы, гигантские запасы продовольствия. Магазины не удалось вывезти и ликвидировать даже на удалении от границы64. При этом обвиняли генерал-провиантмейстера Канкрина, как будто он мог мгновенно увезти во внутренние районы страны накопленные за год запасы, предназначенные для армии, которая должна была к этому времени (согласно плану превентивного удара) уже давно наступать за польской границей.

Правда, Багратион предполагал, что неприятель ударит не по 1-й армии, а в его, Багратиона, левый фланг, в стык позиций 2-й и 3-й армий, тогда как заметное тогда «сосредоточение сил неприятельских между Гродно и Ковно есть не что иное, как желание отвлечь наши силы от пунктов настоящих его стремлений»65. Багратион предлагал либо осуществить план превентивной войны («Гораздо бы полезнее было, не дожидаясь нападения, противустать неприятелю в его пределах»), либо уменьшить описанные ранее опасности. Так, для противодействия нападению противника он считал необходимым сблизить места дислокации 2-й и 3-й армий, чтобы не дать противнику разлучить их и разбить поодиночке. Но в определении главного

направления удара Наполеона он как раз ошибался. Позже оказалось, что удар французов от Ковно и Гродно по направлению на Вильно и Минск был не демонстрацией, а реальным, точно выверенным наступательным действием, заметим — очень успешным, разбившим всю построенную в русском штабе систему обороны и разлучившим все наши армии.

Генерал-квартирмейстер 2-й армии М. С. Вистицкий, ведший военный журнал, записал тогда, что главной целью послания Багратиона царю от 6 июня было намерение получить ясные представления о плане операционных действий. Багратион якобы «весьма сокрушается, не имея к себе доверия Его императорского величества, ибо он не знает и не открыт ему план операционных действий, а потому не может удобно распоряжать командуемую им армию». Далее Вистицкий сообщает, что император прислал Багратиону «собственноручный рескрипт с весьма лестными выражениями», но князь «за всем тем остался в неведении операционного плана — надо полагать, что его не было еще сделано»66. Судя по другим источникам (и согласно массе исследований на эту тему), Вистицкий был недалек от истины — никакого конкретного плана действий в Главной квартире выработано так и не было — да и что можно планировать заранее, если твоим противником является сам НАПОЛЕОН! Более того, как уже сказано выше, среди военных было немало тех, кого это имя завораживало и у кого возникала «мысль о непреодолимости гения и счастия Наполеона и бесполезности противодействия ему»67.

Целость государства состоит в целости его армий

Но были люди, которые трезво и ясно смотрели на проблему и которых, в отличие от Багратиона, не захлестывали обида и стыд от самой мысли об отступлении перед Наполеоном. В 1811 году Александр получил проект о предстоящей войне от генерала П. П. Чуйкевича, чиновника Секретной экспедиции Военного министерства. Это был человек неординарный, один из первых наших профессиональных руководителей военной разведки. Он ведал заграничной агентурой, а главное — анализировал собранный ею материал и составлял глубокие по содержанию аналитические записки, выполнял сложные задания командования, ездил с разведывательными Целями в Пруссию. Позже, с началом войны, он принимал Участие в первом рейде партизанского летучего отряда генерала Ф. Ф. Винценгероде по тылам противника, участвовал в Бородинском сражении. Он был

особенно близок к Барклаю, ценившему его ясный аналитический ум, и можно с уверенностью сказать, что взгляды Чуйкевича отразились на выбранной после французского вторжения стратегии Барклая и самого императора.

В своем проекте 1811 года (введенном в научный оборот В. М. Безотосным) Чуйкевич писал, что предстоящая война будет особенной. Россия «теперь должна… вести войну за целость своих владений и собственную свою независимость», тем более что у нее фактически нет союзников, и «в готовящейся борьбе сей должна возлагать всю свою надежду на собственные свои силы и прибегнуть к средствам необыкновенным, кои обрящет в твердости своего государя и преданности ему народа, который должно вооружить и настроить, как в Гишпании, с помощью духовенства»68.

Он же точнее других изложил «род войны, который должно вести против Наполеона»: «Оборонительная война есть мера необходимости для России. Главнейшее правило в войне такого роду состоит: предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает. Наполеон, имея все способы к начатию и продолжению наступательной войны, ищет генеральных баталий, нам должно избегать генеральных сражений до базиса наших продовольствий. Он часто предпринимает дела свои и движения на удачу и не жалеет людей, нам должно щадить их для важных случаев, соображать свои действия с осторожностию и останавливаться на верном». И тут же делает приписку, как бы отвечая Багратиону, писавшему о противоестественности отступления для русских: «Сколь не сходственен с духом Российского народа предполагаемый образ войны, основанный на осторожности: но вспомнить надобно, что мы не имеем позади себя других готовых ополчений, а совершенное разбитие 1 — й и 2-й Западных армий может навлечь пагубные для всего Отечества последствия. Потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость государства состоит в целости его армий. Фабий и Веллингтон, Маренго, Ульм, Иена и Ауэрштет — да будут вождю российских сил служить примерами, доказательством и зашитою против несмысленных толков». Автор видит достойными подражания примерами для русского командования стратегию, которую избрал в борьбе с Ганнибалом римский полководец Фабий Максим Кунктатор и воевавший против французов в Испании Веллингтон, который изматывал неприятеля маневрированием и уничтожением запасов продовольствия и воды. А перечисленные битвы, в которых австрийцы и пруссаки потерпели сокрушительное поражение, должны служить грозным

напоминанием о приведшей к катастрофе самонадеянности противников Наполеона. «Обыкновенный образ нынешней войны Наполеону известен совершенно и стоил всем народам весьма дорого. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык, и успехи свои основывать на свойственной ему нетерпеливости от продолжающейся войны, которая вовлечет его в ошибки, коими должно без упущения времени воспользоваться, и тогда оборонительную войну переменить в наступательную. Уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны — суть меры для Наполеона новые, для французов утомительные и союзникам их нестерпимые. Быть может, что Россия в первую кампанию оставит Наполеону большое пространство земли, но, дав одно генеральное сражение с свежими и превосходными силами против его утомленных и уменьшающихся по мере вступления внутрь наших владений, можно будет вознаградить с избытком всю потерю… Неудачи Наполеона посреди наших владений будут сигналом к всеобщему возмущению народов в Германии и ожидающих с нетерпением сей минуты к избавлению своему от рабства, которое им несносно». Поэтому, повторяет Чуйкевич, нужно «уклоняться до удобного случая с главною силою от генерального сражения», уничтожать отделившиеся части войск противника, «денно и нощно» беспокоить противника иррегулярными частями, разрывать летучими отрядами коммуникационные линии армии Наполеона. Кроме того, Чуйкевич предложил совершить с помощью Швеции и Англии вторжение в Северную Германию и тем самым поднять немцев на вооруженное восстание против Наполеона"4.

Как оказалось через несколько месяцев, это была единственно реальная программа, которую диктовала сама жизнь и которой стали следовать Александр I и Барклай.

Завтра — война

Проекты — проектами, а в конце мая — начале июня 1812 года все, кто был в армии на границе, не сомневались, что война начнется если не завтра, то послезавтра. Особенно тревожные сообщения шли от атамана Платова, стоявшего в Белостоке. 4 июня он сообщал Багратиону, что «от употребляющихся от меня для разведывания о заграничных происшествиях людей» стало известно, что французское войско «следует от города Торнау чрез

Пруссию вперед, к стороне реки Немана»; что польская дивизия генерала Домбровского также движется к Неману, а следом идут войска генерала Макдональда, в Плотске и Пултуске готовятся провиантские магазины, а вестфальский король выехал из Варшавы в сторону Бреста, где сделал смотр войскам своего корпуса; что в Варшаву прибыл личный обоз Наполеона и там ждут самого императора. Есть сведения, что маршал Даву и его войска движутся через Восточную Пруссию, там же сосредотачиваются баварские и другие войска Великой армии. Наконец, важнейший симптом приближающегося конфликта — закрытие границ: «Граница Герцогства Варшавского на сих только днях заперта так, что 29-го числа сего месяца и следовавшая с нашей стороны почта не принята, да и из проезжающих по пашпортам никого ни туда, ни к нам не пропускают…»70 Еще через пять дней Платов дал знать, что большая часть французской армии «тянется чрез Пруссию к Неману», что вестфальский корпус сосредоточился у Брест-Литовска. Все было ясно — час войны вот-вот пробьет…

Десятого июня Багратион разослал всем своим корпусным и иным командирам секретный приказ, в котором было сказано, что близится час, когда, «судя по обстоятельствам, легко могут начаться неожиданно военные действия». Приказ этот опирался на полученный Багратионом секретный указ государя, который, «основываясь на сведениях, из-за границы получаемых, и полагая, что военные действия с неприятельской стороны противу нас скоро начнутся, повелевает быть войскам в ежеминутной готовности встретить неприятеля». Приказ Багратиона предписывал, чтобы с началом военных действий были эвакуированы все чиновники, «кои хотя малое понятие могут дать о земле», все архивы, инвентари, статистические сведения, которыми мог бы воспользоваться противник, а также уничтожены запасы продовольствия и средства его транспортировки71.

Глава одиннадцатая
Сочиняя русский анабасис

А в это время Бонапарт переходил границу

…Когда в Вильно пришло радостное известие о заключении мира с Турцией, Александр I, несмотря на нависшую угрозу нападения французов, решил дать бал в честь этого долгожданного события. Бал состоялся в Закрете — загородном замке генерала Леонтия Беннигсена. Как утверждает Я. И. Сангнен, занимавшийся организацией праздника, Александр не отменил его даже после того, как получил сообщение о начале переправы Великой армии через Неман. Императора не остановило и весьма символичное происшествие накануне торжества: построенный к празднику временный летний праздничный зал неожиданно рухнул, а местный архитектор, возводивший сооружение, с горя утопился в озере. Царь приказал Сангнену убрать рухнувшие стены, сказав при этом: «Мы будем танцевать под открытым небом»1.

В Литве тогда стояли дивные летние дни и теплые светлые ночи. В саду сияла иллюминация, звучала музыка, пары скользили по паркету. Одна знатная дама, побывавшая на этом памятном балу, потом вспоминала, что, «смотря на любезность и мягкость государя ко всем в этот вечер, нельзя было поверить», что он уже узнал о начавшемся наступлении французов. Этот прелестный праздничный вечер вспоминали потом многие участники и свидетели Первой Отечественной войны, подобно тому как в XX веке участники Второй, Великой Отечественной войны, запомнили последний день мира — теплую, тихую, беззаботную субботу 21 июня, которая так разительно отличалась от первого дня войны, 22 июня 1941 года. Бал в замке Беннигсена происходил 12 июня 1812 года, а уже 16 июня Наполеон вступил в Вильно…

Внезапно — ожидаемо. Кстати, начало военных действий не было нападением без объявления войны, хотя Александр в письме к фельдмаршалу Салтыкову и написал, что это было «вероломное… незапное нападение»2. Между тем все необходимые в этой ситуации международные ритуалы были французами соблюдены: за неделю до вторжения, 4 (16) июня 1812 года, в Данциге министр иностранных дел Франции герцог де Бассано огласил ноту о разрыве дипломатических отношений с

Россией, и на этом основании российский посланник князь А. Б. Куракин был выслан из Франции. Одновременно французы отозвали из Петербурга и своего посла генерала Ж. А. Б. Лористона. О начале войны Наполеон объявил войскам 10(22) июня, а два дня спустя, 12 (24) июня, Великая армия начат переправу через пограничный Неман. Естественно, о разрыве дипломатических отношений, объявленном в Данциге, император Александр, находившийся в Вильно, узнать на второй день не мог, и поэтому начаю войны оказалось для него внезапным.

Многие воины Великой армии — участники Московского похода — запомнили исторический момент перехода русской границы. «Господствующее над долиной Немана плато напоминало муравейник, — вспоминал французский офицер Терион. — Разнообразие форм войск, двигавшихся во всех направлениях, гул, производимый скопищем войск, совместно с непрерывным треском барабанов, звуками труб и музыки — все это, в общем, сообщало этому средоточию в день 12 июня торжественный характер и делало зрелище знаменательным. С наступлением ночи картина изменилась: тысяча огней, раскинувшихся в неизмеримом расстоянии, освещали поляну и холмы над Неманом, а посреди этих огней полмиллиона копошащихся войск — редкое и интересное зрелище»3.

В момент этой грандиозной переправы сотен тысяч людей произошли довольно необычные природные явления, в которых древние непременно усмотрели бы знаки судьбы. Но французы — дети буржуазной, атеистической революции — не придали им никакого значения.

«Тронулся во главе дивизии и наш 2-й кирасирский полк. — писал Терион, — и тогда внезапно разразилась гроза, мы не успели даже расстегнуть наши плащи и укрыться ими, как приняли душ, какого я еще никогда на себе не испытывал… Когда 2-й эскадрон был на мосту, грянул гром такой силы, что люди мгновенно, как по команде, наклонили головы к шеям коней, ничего подобного такому грому я не слышал в моей жизни, и древние авгуры, вероятно, дали бы ему различные провозвешания, но солдаты Великой армии, веровавшие только грому орудий, думали лишь о том, как бы им просушиться после этого проклятого дождя. Однако когда 6-й эскадрон был на мосту, молния ударила в наш понтонный мост и явившиеся откуда-то небольшие камешки ударили по кирасам. Один из них попал в щеку некоему знаменщику Вандедрие, а лошадь знаменщика с испуга бросилась в реку, достигнув берега вплавь, из воды торчала только голова несчастного пловца и древко штандарта, притороченного к седлу. Вот при таких дурных

предзнаменованиях, столь оправдавшихся впоследствии, перешел я Неман и вступил на русскую территорию!»

Через день, уже под Вильно, новое природное явление потрясло всех участников вторжения. Тот же автор вспоминает: «Поднявшийся северо-восточный ветер дул всю ночь, заливал нас дождем или, вернее, мокрым снегом. Завернувшись в плащи и сидя скорчившись, всадники не шевелились, оберегая под собой сухое и теплое местечко, а когда с рассветом прозвучало “на коней”, мы с трудом могли оседлать лошадей и сесть на них. Помню, что моя лошадь до того застыла, что не могла двигаться и шаталась, как пьяная; чтобы согреть ее и восстановить у нее правильное кровообращение, мне пришлось несколько раз провести ее в поводу перед фронтом. Дознано, что эта роковая ночь стоила французской армии жизни 10 тысяч лошадей, и так как лошади ценились дороже людей, то историки 1812 года не говорят о числе выбывших одновременно из строя людей, а между тем, приняв в расчет число заболевших людей, эта ночь вообще стоила нам целого сражения. Но что такое потеря в людях! Лошади стоили денег, а людей можно было легко получить новым декретом»4. Да, именно при Наполеоне выраженный в последней фразе подход к людям породил выражение «пушечное мясо».

Вообще, атмосфера дурных предзнаменований и предчувствий царила в лагере Наполеона в течение всего похода. Император якобы говорил потом: «В продолжение всей этой войны я постоянно испытывал над собою влияние какого-то злого рока, который, как бы нарочно, порождал обстоятельства, выходившие из круга расчета вероятностей, и лишал меня плодов наилучше обдуманных соображений»5.

Некоторые угадали, а многие обрадовались

Судя по планам и инструкциям, русское командование верно угадало направление главного удара Наполеона на Вильно — уже 6 июня Барклай разослал приказ, в котором говорилось, что император Александр получил известие, «что неприятель устремляет все свое ополчение на центр нашей 1-й Западной армии». Но при этом в Главной квартире ошиблись в оценке, как тогда говорили, «резвости» противника. При возникновении угрозы нападения на Вильно сразу же был приведен в действие упомянутый выше довоенный план с отступлением от литовской столицы. 14 июня Платов и Багратион получили секретный приказ № 316, согласно которому Платову поручалось

действовать «во фланг и в тыл неприятеля», а 2-й армии поддерживать Платова. Когда же в Волковыск пришло известие о том, что Наполеон перешел границу и стремительно движется от Ковно к Вильно, Багратиону стало ясно, что приказ этот осуществить невозможно. Предполагаемый маневр Платова был красив только на карте — за два дня французы дошли до Вильно, а уже 16 июня 1-я Западная армия поспешно оставила город. В этой обстановке Платов, выйдя 17 июня из Гродно, уже не мог ударить, как предполагалось в данной ему диспозиции, во фланг и тыл неприятеля. Да если бы он и осуществил директиву командования и напал бы на основные силы вторжения, уже достигнувшие Вильно, то вряд ли смог бы задержать движение превосходящих сил Наполеона. Историки военный теоретик Карл Клаузевиц считал, что сама идея флангового наступления Багратиона и Платова на мощную армию вторжения изначально была ошибочна и неосуществима из-за того, что «фланговые операции в стратегическом отношении следует рассматривать как действительно эффективный фактор лишь в том случае, когда операционная линия имеет большое протяжение и неприятельская территория находится по обеим сторонам ее». При значительном превосходстве сил противника на короткой операционной линии фланговые удары требуют «больших сил, чем фронтальное сопротивление, и, следовательно, являются неподходящими для слабейшей стороны»6.

С началом наступления Великой армии стала очевидной правота Багратиона и других военных, говоривших об особой уязвимости положения русских войск, разведенных стратегами Главной квартиры вдоль западной границы (Багратион позже сравнивал войска с расставленными шашками). Наполеон, ударив по Вильно, тем самым предложил Барклаю битву на подступах к литовской столице. Известно, что Наполеон делал главную ставку в этой войне на генеральное сражение, которое должно было решить судьбу кампании и всей «Второй Польской войны».

Нельзя сказать, что в предвоенный период русское командование полностью отвергало мысль о генеральном сражении. Вообще, Россия в то время жаждала реванша. Раны от поражений, понесенных русской армией в войнах с Наполеоном в 1805–1807 годах, затягивались с трудом. После многих победоносных десятилетий, освященных именами Румянцева и особенно Суворова, поражения эти казались недоразумением, досадной ошибкой, которую следовало поскорее исправить. Начало войны общество и армия встретили с подъемом. «С тех пор, как свет стоит, — писал министру полиции А. Д. Балашову главнокомандующий Москвы Ф. В. Ростопчин 20 июня 1812

года, — не знаю примера, чтоб известие о войне с сильным и опасным неприятелем произвело всеобщее удовольствие. Всем известно ополчение наше и изобилие в продовольствии войск. Известно всем, что счастие Наполеона взяло другой оборот, и во многих случаях неудачи заступили место успехов. Русский Бог велик! Да где ему с нами, мы все готовы! Ведь Александр Павлович за себя, да за нас идет на войну — вот, что все говорят, вот, что все думают, и от сего желали все войны и ей обрадовались…»7 Так это и было. Артиллерист Радожицкий вспоминал день 14 июня, когда их полковник прочитал манифест: «“Война!” — вскричали офицеры, весьма тем довольные, и воинственная искра пробежала электрически по жилам присутствующих»8. «Скажите, — восклицал 28 июня генерал Я. В. Кульнев, — скоро ли начнем сих проклятых французишков напирать, ибо при отступлении нашем кровь солдатская остыла. Я вам сие откровенно говорю, яко друг, и буде придет дело до валовой свалки, то напомните министру (Барклаю. — Е. А.), дабы на тот случай сняли б все ранцы и шинели. Тогда можно будет почесть нашу армию 50 000 сильнее, ибо при сей тягости (даже и) без неприятеля половина армии… побеждена, а паче при нынешних жарах».

Дело, было, конечно, не в ранцах и шинелях, которые мешали солдатам идти в заграничный поход. Важно, что, несмотря на серьезность положения, подобные шапкозакидательские настроения еще несколько недель держались в обществе и армии. А потом, по мере отступления войск, эти настроения стали меняться, и тогда общество нашло истинного виновника неудач в начале войны. Им стал Барклай, который, по общему мнению, помешал, так сказать, закидать Наполеона шапками еще на границе.

Однако для императора, для Барклая и вообще для людей, находившихся в Главной квартире и получавших достаточно полную информацию о противнике, картина происходящего выглядела совершенно иначе. Как показали исследования В. М. Безотосного, благодаря хорошо организованной внешней разведке русское командование получило перед войной довольно точные сведения о численности и дислокации соединений Великой армии. Поэтому, зная о подавляющем, почти двойном, превосходстве французов (их было 220 тысяч против 120 тысяч штыков русских), Александр и Барклай никак не могли дать сражение на подступах к Вильно и начали отходить на северо-запад. Однако и этот вариант действий русских устраивал Наполеона. Заняв Вильно, он уже этим движением отрезал 2-ю армию от 1-й. В итоге, оставление 1-й армией Вильно поставило

армию Багратиона и корпус Платова в тяжелое положение.

Багратион лучше всех понимал грозящую ему и Платову опасность. Уже 13 июня, когда французы только что высадились на правом берегу Немана у Ковно, он написал об этом Барклаю. Багратион считал, что «быстрое стремление неприятеля на Вильно» не только отрежет его армию от 1-й Западной армии, но и не даст ему отступить на Минск, «ибо одно верное обозрение карты доказывает, что по отступлении 1-й армии к Свенцянам неприятель, заняв Вильно, может предупредить отступление 2-й армии в Минск и по краткости пути будет там прежде, нежели я»9. Генерал Паскевич писал, что Багратион предвидел развитие событий, предугадал то, что с его армией произойдет буквально через несколько дней, и это ответ для тех, кто «до сих пор утверждает, что он был только авангардным генералом»10, то есть военачальником, лишенным стратегических дарований. Да и последующие письма Багратиона подтверждают его прозорливость. Примечательно, что в своих опасениях Багратион нашел поддержку и у начальника Главного штаба 2-й армии графа Сен-При, который писал императору о стратегических ошибках начального плана войны примерно в том же ключе, что и Багратион.

Сен-При, достойнейший из достойных.

Нужно сказать немного о генерал-майоре графе Эммануиле (по-русски Мануиле Францевиче) Сен-При. Эмигрант, роялист, аристократ, выпускник знаменитого Гейдельбергского университета, с 1795 года он служил в Семеновском полку, геройски воевал под Аустерлицем, Гутштадтом, где был тяжело ранен. Потом Сен-При участвовал в войне с турками, долгое время служил командиром любимого Багратионом лейб-гвардии Егерского полка. Словом, Сен-При был боевым генералом, образованным и опытным. Французский агент дал о нем накануне войны такую справку: «Генерал граф Сен-При. 38лет. Шеф 6-го егерского полка, генерал-адъютант императора, храбрый генерал, очень умный, деятельный, хороший тактик. Был ранен в последней кампании против французов. Очень любим офицерами и солдатами. Состояние скромное» ".

Летом 1812 года Александр I назначил Сен-При начальником Главного штаба 2-й Западной армии. Он становился вторым человеком в армии и в случае выбытия главнокомандующего занимал его место. Багратион был недоволен таким «дублером», назначенным без его согласия. Генерал-квартирмейстер 2-й

армии М. С. Вистицкий писал: «Сочинитель (то есть сам Вистицкий. — Е. А.) и дежурный генерал 2-й армии Марин, равно и князь Багратион, сомневались в начальнике штаба, графе Сен-Приесте. Вот слова Багратиона: “Я сам бы не хотел графа иметь при себе, но воля государя дать мне его в дядьки. Он назначен начальником штаба против моего желания, и ты видишь, что над ним надобно иметь надзор. Он, за всем тем, переписывается с государем, когда я пишу, то и он пишет, только на французском языке”»12 (а французский язык Багратион, по-видимому, знал плохо).

Смысл назначения Сен-При ясен из той инструкции, которую он получил в июне 1812 года. Несомненно, император и Барклай видели в Сен-При генерала, который был бы «не токмо способным к исполнению всех обязанностей сего звания по всей их обширности, но который, удостоясь высочайшего доверия, и по собственным своим знаниям и заслугам, умел бы в то же время приобресть и сохранить полную доверенность главнокомандующего армиею и был бы в состоянии все операционные действия привести к предназначенной цели»13. В этой цитате нельзя не усмотреть отчетливый подтекст: Сен-При должен был найти общий язык со своим имевшим непростой характер главнокомандующим, который не обладал такой военной ученостью, как Сен-При. Делалось это ради того, чтобы в конечном счете привести «все операционные действия… к предназначенной цели», то есть выполнить все приказы Главной квартиры. Действительно, в штабной среде, среди представителей немецкой военной науки, особенно уважаемой императором Александром, закрепилось мнение о том, что Багратион неспособен самостоятельно руководить армией, что он «неучен», пренебрегает принципами военной науки в том виде, как ее подавали модные теоретики из Пруссии и Австрии. С одной стороны, Багратион действительно не получил «правильного» военного образования, не был теоретиком военного дела, не углублялся в чтение немецких теоретических сочинений, не знал немецкого языка. Да ему, генералу-практику, наверное, и некогда было читать эти книги. С другой же стороны, он, верный ученик победоносного Суворова, вслед за великим полководцем не мог не учитывать опыт не слишком плодотворного сотрудничества русских командующих со штабными работниками из венского гофкригсрата: те, строго следуя военной теории, пытались предусмотреть и до мелочей спланировать все действия подчиненных им армий, а это ни к чему хорошему не приводило. Как и Суворов, Багратион был убежден в существовании неких особых свойств русского солдата, которые не могут

предусмотреть никакие немецкие диспозиции и инструкции. Он потешался над этой германской военной ученостью, часто неприложимой к реальной войне (идея Дрисского лагеря Фуля — самый яркий пример этого подхода, о чем замечательно написал Клаузевиц). При этом Багратион не был одинок в пренебрежительном отношении к немецким военным доктринам, видя в них (отчасти несправедливо) только догматизм, схоластику, слепое следование письменной инструкции по раз и навсегда затверженным принципам. Будем помнить, что столь же пренебрежительно к немецко-австрийским методам ведения войны относился и сам Наполеон, многократно показывавший на поле боя превосходство своего «неученого» по немецким шаблонам гения над прусскими и австрийскими армиями.

Если же говорить о содержательной стороне инструкции Сен-При (выше уже приводились цитаты из нее), то она и была образцом оторванных от реальности стратегических расчетов. А как раз эта самая реальность во всей своей роковой сложности и предстала перед глазами Сен-При, прибывшего в армию Багратиона. Тогда же изменилось отношение Сен-При к Багратиону. Как только началась война, «образованный, умный, в то же время честный и добросовестный француз, войдя в близкие отношения со своим начальником, которого должен был руководить, понял превосходство его военных дарований, развитых боевою опытностию, сделался его почитателем и с уверенностью писал уже в это время государю, что он не опасался за судьбу Второй армии, вверенной такому военачальнику, как Багратион»14. Конечно, в процитированных словах А. Н. Попова — крупного исследователя истории войны 1812 года, можно усмотреть оттенок некоторой идеализации отношений Багратиона и Сен-При, но и документы свидетельствуют о большом уважении и даже заботливости, которые питал Сен-При к своему главнокомандующему. В письме брату Луи во время отступления в июле 1812 года он писал о Багратионе с сочувствием: «Князь сам очень огорчен всем этим, и я его поддерживаю, как могу»15. Позже, в августе, Сен-При сообщал А. П. Ермолову: «Князь Петр Иванович немного нездоров, и я не велел его будить. Не дай Бог, чтобы он у нас заболел»16. По другим материалам видно, что Багратион поручал Сен-При высказывать Барклаю и Ермолову свою точку зрения, посылал его к Барклаю, чтобы, как он писал главнокомандующему 1-й армией, «узнать точное ваше намерение»17. Для этого нужно было безусловно доверять Сен-При. Недаром он был тем человеком, который закрыл глаза умершему Багратиону. Тем более важно, что взгляды Сен-При на общую ситуацию в начале войны, да и

потом, совпадали со взглядами Багратиона.

Впрочем, был еще один человек, который видел всю эту картину с самого начала почти так же, как видели ее Багратион и граф Сен-При. Этим человеком был Наполеон, который не только предвидел развитие будущих событий, но — в отличие от Багратиона и Сен-При — диктовал их. По-видимому, уже до начала войны, разрабатывая операцию вторжения, он предполагал, что захватит Вильно, разобьет или отгонит 1-ю Западную армию от города, затем сосредоточится на ликвидации армии Багратиона, а уже после этого, высвободив силы, «разберется» и с Барклаем, отступавшим к Дрисскому лагерю. Именно этим можно объяснить, с одной стороны, медлительность французов в преследовании 1 — й армии сразу же после ее ухода из Вильно, а с другой — поразительную быстроту, сноровистость французских войск при попытке окружить армию Багратиона. Кажется, что эта операция носила явные черты охоты — занятия азартного. Вообще, начатое дело казалось Наполеону беспроигрышным: «Мне достанется ножка или крылышко», — говорил не без юмора император французов18. Кто из них, Барклай или Багратион, был для него крылышком, а кто ножкой, — решайте сами!

А не рубануть ли нам по Варшаве

Как уже сказано, 14 июня Багратион получил приказ № 316. Но, находясь в своей Главной квартире в Волковыске, он, судя по письму Барклаю, не спешил выполнять его. Вначале Багратион предложил императору план диверсионного удара по Варшаве и Герцогству Варшавскому — акцию, как писал он, «по сердечным чувствам и по духу известного мне воинства российского выгоднейшую, которая будет иметь особенное влияние на всю Польшу и на движение союзных армий неприятельских». В принципе, даже сделав скидку на известную «лихость» и «русскую бесшабашность» этого предложения, воскрешающего в памяти Италийский поход армии Суворова, в предложении Багратиона нельзя увидеть чего-либо особенно неожиданного или авантюрного — напомню, что подобное превентивное наступление предусматривалось одним из вариантов плана. Получив известие о переходе французов через границу, Багратион счел, что время для такого неожиданного удара как раз приспело. Он исходил из того, что вторжение Наполеона и начавшееся отступление 1-й армии от Вильно делает маловероятным быстрое соединение ее со 2-й армией. Такого же мнения придерживался и

Сен-При, который тогда же писал царю: «В то время как неприятель занял уже Вильну, это отступление на протяжении 250 верст от границы чрезвычайно трудно с успехом привести в исполнение потому, что неприятель может ранее нас быть в Минске, имея пройти только 160 верст. Если Наполеон будет совершать свои движения с обычною быстротою, то не может быть сомнения в том, что он пошлет сильную колонну, чтобы совершенно перерезать сообщения между двумя армиями. С какою бы ни совершали мы быстротою наши движения, мы всегда будем предупреждены неприятелем, если Первая (армия) не сделает какой-нибудь диверсии в нашу пользу… Князь Багратион предлагал вместе с Тормасовым совокупными силами идти на Варшаву, чтобы разрезать силы неприятеля и без особенных затруднений разрушить все приготовленные им средства»19.

Теперь, почти два века спустя после описываемых событий, когда глядишь на карту тогдашней западной границы России и знаешь притом возможности и силы сторон, дух захватывает от дерзости предложенного Багратионом плана. В условиях, когда значительная часть Великой армии вошла в Россию и все больше удалялась от границ Варшавского герцогства, такой рейд был вполне возможен. Не противоречило предложение Багратиона и началам тогдашнего военного искусства, не знавшего сплошных фронтов. Даже в годы Второй мировой войны, когда эти фронты существовали, известны операции крупных сил кавалерии (например, генерала Доватора), устремлявшихся в тылы противника через успешно осуществленный прорыв вражеского фронта. Конница наносила страшный ущерб тыловым объектам и живой силе противника, а затем внезапно, в заранее определенном месте, прорывалась в расположение своих войск. Про стремительные операции конных армий по тылам противника времен Гражданской войны говорить не приходится — они общеизвестны.

Возвращаясь к предложению Багратиона, не забудем, что от Волковыска до Варшавы было примерно столько же верст, сколько до Минска, и гораздо ближе, чем до Борисова или Бобруйска. Можно себе представить, что армия Багратиона начала бы громить гарнизоны, дальние тылы и магазины французов. Ее бы могла поддержать 3-я Западная армия А. П. Тормасова (46 тысяч человек). Тогда Наполеону, несомненно, пришлось бы направить на борьбу с Багратионом какой-нибудь из корпусов Великой армии (а то и два), что в принципе могло ослабить давление французов на 1-ю армию при ее отступлении из Вильно. Возможно, что диверсия Багратиона активизировала бы армии Тормасова и Чичагова, а это могло привести к их быстрой победе

над австрийским и саксонским союзниками Наполеона и позволило бы повернуть объединенные силы 2-й, 3-й, а также Дунайской армий против самого Наполеона. Для подобных суждений есть основания. Известно, что когда в июле 1812 года отряды Тормасова (прежде всего казаки) стали переходить Буг и вторгаться в польские земли, грабя окрестные деревни и разоряя поместья сторонников Понятовского, это вызвало серьезное беспокойство руководства Варшавского герцогства и французского командования, так как, по признанию французских начальников, «вся часть границы от Галиции до Бреста полностью лишена войск»20. У французского командования было серьезное подозрение, что Тормасов может беспрепятственно захватить и уничтожить самые большие склады продовольствия и припасов в Ковно и других местах. После же успешного для Тормасова сражения под Кобрином 15 июля Наполеон был вынужден вернуть союзный австрийский корпус Шварценберга на Волынь, усилить его двумя польскими дивизиями, и только в сражении при Городечне 31 июля объединенные австро-французские силы вынудили Тормасова отойти к Луцку, после чего военные действия практически прекратились. Багратион был полководцем другого масштаба, чем Тормасов, и наверняка действовал бы еще решительнее, вынуждая французов оттянуть более крупные силы на борьбу с ним.

Конечно, в плане такой диверсии, какую предлагал Багратион, всегда можно усмотреть оттенок авантюрности (который, впрочем, обычно перестают усматривать, если замысел предприятия приводит к успеху). Можно перечислить множество уязвимых сторон его затеи — ведь его армия оторвалась бы ог своих тылов, источников и путей снабжения, потеряла бы коммуникацию с 1-й армией. Но забегая вперед скажем, что в июне — июле 1812 года армия Багратиона оказалась при отступлении от Волковыска именно в таком положении на своей собственной территории! Она, в сущности, тоже не имела тылов и баз обеспечения, фактически произошел разрыв коммуникаций с 1-й армией — связь между армиями поддерживалась порученцами, каждый раз делавшими огромный крюк, чтобы не попасть в лапы к врагу.

Что же касается снабжения войск всем необходимым, то, как известно, было три способа обеспечения армий провиантом: его брали из магазинов, везли с собой в обозах или «добывали» у местных жителей широко распространенным «французским маниром», то есть «реквизиционным способом»21. Огорченный местный житель получал на руки некую квитанцию, по которой в будущем (после победы!) можно было получить денежную

компенсацию, а порой и такой справки ограбленному не давали. Багратион мог рассчитывать пополнить свои запасы за счет противника: наполеоновские войска имели в Польше значительные магазины и склады продовольствия, оружия и снаряжения. Содержимое этих магазинов и складов могло дать армии Багратиона в избытке то, в чем она нуждалась: муку, сухари, водку, медикаменты, порох, заряды и даже ружья, причем отличного качества, — известно, что уже в первых боях под Смоленском русские солдаты стремились захватить прежде всего французские (льежские) ружья, которые были значительно совершеннее и легче произведений тульских и сестрорецких оружейных заводов22.

Как бы повели себя поляки в этой ситуации? Может быть, Багратион был прав, когда писал об «усмирительном» эффекте предполагаемого рейда как для поляков, так и для других подневольных союзников Наполеона, вроде пруссаков, австрийцев и саксонцев, которые медленно, со скрипом, но все-таки выдвинули свои корпуса к русской границе

Впрочем, что теперь гадать! Государь ничего не ответил на предложение Багратиона, а пересылая его письмо Барклаю, написал: «Вместо этой прекрасной диверсии, которая представляется мне если не невозможною, то во всяком случае опасною и которая лишила бы Первую армию помощи 2-й, гораздо лучше бы он поступил, немедленно предприняв предписанное ему движение (на соединение с 1-й армией. — Е. А)»23.

Между тем угрозу подобной диверсии со стороны русских чувствовал прежде всего сам Наполеон, хотя знал, как с этим бороться. 10 июня 1812 года он писал своему начальнику штаба маршалу Бертье из Данцига: «В то время как противник начнет наступательные операции, которые не дадут ему никаких выгод, ибо по самым здравым рассуждениям он уткнется в Вислу, он проиграет несколько маршей; левый фланг нашей армии, который перейдет Неман, навалится на его правое крыло раньше, чем он сумеет предпринять контрмеры. Если же противник не произведет никаких перемещений, король (Жером. — Е. А.) должен угрожать Гродно и Белостоку. Но обший план все равно таков, чтобы, уступая им территорию на нашем правом фланге, выдвинуть левое крыло вперед»24. И все же в первые дни наступления Наполеон был настороже и держал в уме возможность встречного удара одной из русских армий.

Словом, главнокомандующему 2-й армией, не получившему одобрения своего плана диверсии, предстояло действовать по приказу № 316, а именно: искать противника и ударить ему во

фланг или тыл, а при невозможности этого отступать на Минск и Борисов.

Шагом марш!

Вскоре и в Главной квартире поняли, что исполнить приказ № 316 в полном объеме армия Багратиона не сможет. Платову и Багратиону послали новый приказ, под номером 320. Он был сочинен в развитие предыдущего и предполагал, что возле местечка Свенцяны состоится генеральное сражение25; поэтому корпусу Платова надлежало двигаться туда через Лиду и Сморгонь «денно и нощно», тревожа при этом тылы противника. Багратиону же было предписано отходить на Минск и Борисов, имея «в виду, чтобы неприятель не мог отрезать вам дороги через Минск к Борисову»26.

Получив 17 июня в Волковыске приказ № 320, Багратион на этом основании объявил по армии свой приказ. В нем были суровые слова об обязательности «слепого повиновения начальству и неустрашимости на поле битвы»27. Тут нужно вспомнить слова Дениса Давыдова: «Кто знал князя Багратиона, тот известен, что под начальством его никто не осмеливался брать на себя какое-либо предприятие и какую-либо обязанность: князь приказывал, подкомандующие исполняли его приказание, так дела шли во всех частях, ему вверяемых, от егерской роты до армии»28. Такой волевой человек, каким был Багратион, оказался в нужное время и на своем месте…

Восемнадцатого июня 2-я армия выступила по дороге на Новогрудок в свой, ставший легендарным, поход. Как вспоминал один из участников похода, тогда 19-летний кирасир И. Р. Дрейлинг, «нам отдали приказ наточить наши палаши, зарядить ружья, пехотинцы наточили штыки, а артиллерия шла с зажженными фитилями. Не скрою, что все эти серьезные приготовления, которые показывали, что впереди нас ждет нечто еще более серьезное, возбуждали во мне какое-то смешанное чувство: я чувствовал какой-то особый подъем, а сердце билось так сильно, что я его ощущал… С тех пор мы не знали крова, а стояли в открытом поле в бивуаках»29.

Следует отметить, что и Багратион, и Главная квартира во всех своих, даже поспешных, действиях явно запаздывали. Ну, в самом деле — Наполеон занял Вильно 14 июня, а приказ об отступлении из Волковыска Багратион получил через два дня! Отступать без приказа Главной квартиры главнокомандующий 2-й армией не имел права, да и получив его, армия сразу же

двинуться с места не могла — нужно было подготовиться к походу, стянуть расставленные повсюду кордоны, дождаться корпуса Платова, расположенного в Гродно. Но при этом Багратион понимал, что промедление смерти подобно. В ответе на приказ об отступлении на Минск он писал Барклаю о том, что генеральная битва силами 1-й армии под Свенпянами в ближайшее время необходима, ибо она, несомненно, отвлечет силы французов от 2-й армии. В противном случае, как предполагал Багратион, его армия попадет в крайне тяжелое положение. Когда читаешь это донесение Багратиона, кажется, что он будто накануне прочитал директивы противника: «Его (Наполеона. — Е. А.) маневр должен состоять в разделении нас: следовательно, должно его остановить. Но если позицию при Свенцианах оставить изволите, не дав решительного сражения, в таком случае к преследованию 1-й армии он отделит сильнейший корпус, а протчих, направив быстрыми маршами к Минску, без сомнения успеет отрезать меня, имея от Вильны до Минска прямую дорогу, удобную для перехода войск и гораздо моей кратчайшую».

Багратион обещал Барклаю быть в Минске к 25 июня… Но он не попал туда ни 25-го, ни 26-го, ни 27-го, он вообще не попал туда! Вот тогда-то возник, а потом разросся до чудовищных масштабов жизненно важный для русских военачальников и всей страны вопрос: «Когда же Багратион соединится с Барклаем» Забегая вперед скажем, что и вся последующая интрига кампании 1812 года до начала Смоленского сражения состояла именно в том, что две Западные армии стремились соединиться, а Наполеон и его маршалы делали всё, чтобы не допустить этого. Понятно, у кого из противников в это время была инициатива, а кто действовал в режиме шахматного цугцванга (вынужденных невыгодных ходов), да еще в сочетании с цейтнотом — недостатком времени. Именно в таком положении и оказались русские главнокомандующие…

Опиши мне все окрестные холмы и овраги!

Армия Багратиона двинулась по дороге на Минск через Слоним и Несвиж. Вперед был послан рекогносцировочный отряд инженер-генерал-майора Егора Христиановича Ферстера, который подробно описал будущую дорогу с точки зрения ее проходимости для армейских колонн и обозов, а также дал характеристику встречающихся на пути возможных оборонительных позиций. Конечно, с нашей точки зрения,

кажется странным, что такая рекогносцировочная работа не была проделана раньше, — ведь пути возможного отступления можно было обследовать задолго до начала войны. Возможно, это связано с общим намерением воевать только на чужой территории. Как бы то ни было, 22 июня из Несвижа Ферстер рапортовал Багратиону о проделанной им работе. Сохранившийся дорожный журнал его кажется весьма любопытным: «От города Несвижа до местечка Свержня 26 верст, в начале малые возвышения и низменные места, на три версты местоположение сие может служить для позиции, но без особенных выгод; на 4-й версте начинается кустарник и простирается на 1,5 версты, при деревне Соломи на правой руке возвышение, на левой — деревья, потом мелкий лес в восемь верст, с обеих сторон лес, а между оными засеянные поля. На 10-й версте на правой руке деревня Новоселька, и местоположение с обеих сторон становится открыто и довольно ровно… в 23 версты селение Качиновщина, при коем есть большая позиция на возвышении, имеющая пред собою с левой стороны озеро и лесок, пред самым местечком Свержнем другая (позиция. — Е. А.) удобнее с обеих сторон дороги, имея речку Затировку пред собою, из первой можно в сию переходить, и оная от реки Неман в тыл покрыта дорога, так что иногда повозками переезжать можно… Потом в лес, за рекою Неман позиция, но по малой в нем воде, низменному и командированному полю издали от прежних позиций взять оную не можно…»30

Записи Ферстера позволяют нам взглянуть на местность глазами профессионального военного инженера и квартирмейстера. Окрестности — поля, леса, пригорки, возвышенности, овраги, их склоны — рассматриваются и оцениваются им как элементы военной диспозиции: позиции, фланги, дефиле, тылы, броды, пути отхода. Все тут оказывается важно — качество дорог, свойства почвы, возможности и неудобства форсирования того, что в военном деле называется безлично — «водоемами». Каждый новый поворот дороги Ферстер оценивал с точки зрения удобства обороны: «…ровное место, и поля на возвышении, но потому позиция сия неудобна, что она близка к редкому лесу и без дальних выгод… в 3-х верстах есть изрядная позиция возле дерева и капеллы для корпуса, занимая два возвышения на правой руке батареями и замыкая фланги к лесу, фронт расположения простирается до 4-х верст». Заодно приходилось думать и о снабжении войск: «По всей мною осмотренной дороге хлеб в наилучшем состоянии и обещает изобильную жатву, дорога везде песчаная в лесах, поля же из глины с песком мешанные состоят, и к транспортам для армии

способны». Словом, тут не до красот природы, которыми так богата эта часть Европы…

Поворот, который вел в капкан

Известно, что лето 1812года было очень жарким, но по ночам шли «частые и проливные дожди»31. 24 июня участник похода прапорщик Хитрово записал в дневнике: «Погода была ужасна: дождь лил как из ведра, гром гремел и молнии меня ослепляли»32. Утром солдата ждала «порция» каши с мясом у чадящего сырыми дровами бивачного костра, потом осточертевшая песчаная дорога, залитая ночным дождем и размятая тысячами подошв, копыт и колес. К полудню небо уже бледно-голубое, тусклое, жарко, парит, дорога быстро высыхает, над идущими колоннами желтоватым туманом клубится едкая песчаная пыль, песок проникает всюду, скрипит на зубах, покрывает пеленой пропотелые мундиры солдат, крупы коней, полотно фур и повозок. На горизонте собираются сизые и черные тучи нового ливня. Вот дорога уходит в низину, и начинаются болота. О, эти, как писали тогда, «едва проходимые» белорусские болота с их противной осклизлой сыростью, поваленными деревьями, чавкающей вонью, тучами комарья и слепней! Кто в них не бывал, тот не поймет, что испытывали тогда солдаты Багратиона, — не забудем, что его армии приходилось идти преимущественно по сельским и лесным дорогам — главные, проторенные, благоустроенные тракты уже были перехвачены французами.

…И вот 18 июля, когда войска дошли до Зельвы, Багратион получил новый приказ императора (помечен в штабном журнале Барклая 16 июля)33: двигаться от Слонима не на Минск, как было предписано раньше, а в другую сторону, на Новогрудок — Вилейки. По-видимому, готовясь дать генеральное сражение у Свенцян, в Главной квартире поняли, что силами одной 1-й Западной армии с Наполеоном им не справиться, и потребовали срочного подхода 2-й армии. Дорога через Минск — это видно и по карте — была долгой, поэтому Багратиону было предписано идти кратчайшим путем, срезать угол и двинуться напрямик через Новогрудок, затем пересечь дорогу Вильно — Минск и дойти до Вилейки — местечка, близкого как к Свенцянам, так и к Дрисскому лагерю. Наверное, этот маневр 2-й армии и получился бы, если бы решение об изменении маршрута движения Багратиона было получено раньше (хотя бы 15 июня) и если бы противником русских был не сам Наполеон, а другой, менее

талантливый полководец. Как уже сказано выше, увидев, что две русские армии изначально разделяет большое расстояние, Наполеон решил взять 2-ю армию в клещи: сразу же по занятии Вильно корпус маршала Даву двинулся по хорошей проезжей дороге на Минск, отсекая Багратиону путь на восток, и одновременно был дан приказ корпусу вестфальского короля Жерома Бонапарта, занявшему сразу после отступления Платова Гродно, зайти в тыл армии Багратиона с запада. В итоге, с двух сторон против Багратиона были задействованы значительные силы противника, имевшего лучшие позиции и владевшего к тому же инициативой. Особенностью момента было то, что всей глубины стратегического замысла Наполеона в Главной квартире Александра 1 тогда еще не понимали. Поначалу не понимал этого и Багратион.

Итак, он исполнил приказ императора и, дойдя до Слонима, повернул на Новогрудок. При этом, понимая неясность обстановки, 18 июня он писал Александру I, что «определить точного времени соединения с 1-ю армиею не смею, поелику удостоверено, что неприятель будет преграждать путь мой и беспокоить войска на переходе толикого пространства». Не без тревоги он добавлял, что последний раз связь с Платовым у него была 17 июня, когда атаман вышел из Гродно. «Из сего заключаю, — писал Багратион, — что он не преследуем неприятелем». Значит, все это время Багратион не знал, что Жером Бонапарт занял Гродно и вот-вот возникнет у него за спиной. Именно поэтому Багратион еще 21 июня писал Барклаю: «А мой арьергард до сих пор идет спокойно»34.

Обновленный график движения 2-й армии выглядел таким образом: 21 июня — Новогрудок, 22 июня — переправа через Неман у Николаева, 23-го — выход к Воложину и Вишневу двумя колоннами (правая — на Воложин, а левая — на Вишнево) или одной колонной на Воложин35. Так были бы преодолены две трети пути до Вилеек.

Вначале все шло по графику. 21 июня армия, пройдя за пять дней 130 верст, подошла к Новогрудку, и здесь в нее влилась прибывшая из Минска ранее сформированная в Москве 27-я дивизия генерала Д. П. Неверовского, вскоре ставшая знаменитой. По-видимому, тогда же был возобновлен контакт командования 2-й армии с казаками Платова. 22 июня армия начала переправу через Неман, что оказалось довольно сложной операцией. Багратион писал Платову о «чрезвычайном неудобстве в переправе по неимению мостов, ниже достаточного числа материалов на устроение оных36; задерживает меня здесь против всякого желания более времени, нежели я полагал на переправу,

но, как писал сегодня, то и сим повторяю, что завтрашний день я буду иметь ночлег в Бакшты, а до того вас еще прошу, не отдаляясь от меня, благоразумными вашими действиями против неприятеля удержать его в приличном к вам респекте»". В другом письме Багратион просил Платова прикрыть его армию, попавшую в трудное положение на переправе: «Я вас прошу покорнейше занимать неприятеля, обеспокаивая его отовсюду до того времени, когда я в состоянии буду, подкрепляя вас, обеспечить соединение ваше и мое с Первою армиею».

Беспокойство Багратиона понятно. К тому времени разъезды Платова вышли к Минской дороге, и Багратион уже знал от него, что сильный противник обнаружен по многим дорогам, идущим от Вильно, и — что важнее всего — казаки видели движение французов на дороге Вильно — Минск. Эта информация подтверждается рассказом К. А. Крейца — командира Сибирского драгунского полка, который входил в 3-ю кавалерийскую дивизию П. Палена и прикрывал ее отступление к Дрисскому лагерю. Как раз 18 июня бригада под его командованием имела жаркое дело с французским авангардом Даву в городке Ошмяны, после чего, непрерывно отбивая наскоки неприятеля, отошла к Дриссе38. Ошмяны лежали совсем близко от намеченных Багратионом Воложина и Вишнева — все эти пункты были заняты французами в тот же день.

Поначалу сведения о появившемся впереди неприятеле не слишком смутили Багратиона. Он чувствовал силу своей армии. В том же письме Платову Багратион излагает свой план их совместных действий против французов: «По уведомлению вашему я полагаю, что неприятель должен быть довольно силен, и как вы говорите, что он тянется к Минску, то посему можно думать, что он полагает найти меня в Минске, то посему я неожиданно с 50 т[ысячами] воинов подоспею к вам, а по таковым выгодным для нас обстоятельствам и того более нужно, чтобы ваше высокопревосходительство поджидали меня. После завтраго (то есть 23 июня. — Е. А.) я присоединю к вам Иловайского 5-го с его корпусом (это были казаки, приданные 2-й армии. — Е. А.) и авангард регулярных войск, и если неприятель пойдет к Минску, тогда, ударив в тыл, с помощию Божиею, легко воспользоваться будет можно и разбитием его, и соединением с Первою армиею»39. Иначе говоря, достигнув Воложина, Багратион собирался ударить в тыл французам, шедшим на Минск. Словом, он рвался в бой. Но тут неожиданно все переменилось…

Когда 22 июня первая колонна перешла по наведенному мосту у Николаева на правый берег Немана, казалось, что 2-я армия скоро соединится с 1-й. Люди даже почувствовали облегчение после первых напряженных дней похода в неизвестность. А. П. Бутенев, участник этого похода, вспоминал вечер того памятного дня: «Помню первый наш привал в местечке Николаеве на берегу довольно широкой реки (я потом доискался, что это был Неман), через которую навели барочный мост. В один из прекрасных июньских дней, на солнечном закате, армия расположилась бивуаками по обоим берегам реки. Кавалерия переходила по мосту и занимала противоположный, более высокий берег, а пехота и пушки разместились вдоль другого берега, поросшего кустарником. Прежде чем прибыла Главная квартира, солдаты уже нарубили веток и понастроили шалашей (у нас не возили с собою палаток, как у Наполеона). Обширный лагерь, весь из свежей зелени, по которому перебегали солдаты и который уже оглашался песнями и военною музыкою, представлял собой прекрасное зрелище. В середине находились более обширные и лучше устроенные шалаши для главнокомандующего, для его главного штаба и приближенных. Мне и двум или трем адъютантам отвели тоже шалаш, в котором мы могли кое-как отдохнуть и почиститься после утомительного перехода по жаре. Затем мы отправились гулять вдоль реки… После этого мы пошли к обильному столу главнокомандующего, приготовленному в особом шалаше. Солдаты ужинали вокруг костров, пылавших на должном расстоянии от шалашей. Казалось, это было великое военно-походное празднество, а между тем предстояло подняться чем свет и, перейдя реку, направиться на столь желанное соединение с Первою армиею, если только не помешает неприятель. Ночью пришли известия, заставившие внезапно изменить все это распоряжение. Оказалось, что неприятель успел обойти нас, и Барклай, избегая сражения, отодвинул Первую армию еще дальше назад… Эта перемена фронта и направления совершена с удивительною быстротою и в отличнейшем порядке: ранним утром следующего дня наша кавалерия перешла по мосту назад и, сопровождаемая всею армиею, направилась по новой дороге, указанной главнокомандующим. Все делалось так же живо и бодро, как и накануне»40.

Действительно, Багратион утром остановил переправу и приказан уже перешедшей Неман колонне возвращаться на левый берег. Что же случилось? В донесении, посланном из Кореличей 24 июня на имя императора, Багратион объясняет, какие обстоятельства вынудили его остановить свое движение на

Вилейки через Николаево и Воложин. Он вдруг понял, что достичь Воложина ему быстро не удастся: «Обозрение за Неманом дорог и местоположений, ведущих от Николаева к Вишневу и Воложину чрез леса и болота, весьма неудобных для быстрого хода войск, и прибылая в Немане от сильных дождей вода, затруднившая очень мою переправу, представляли мне уже большие затруднения к переходу пространства, мне предлежавшего войсками неприятельскими». Начальник Главного штаба 2-й армии Сен-При был такого же мнения, считая дороги «почти непроходимыми для значительной армии». В письме Александру I Сен-При сообщал: «Ваше величество можете себе представить, каково двигаться 50-тысячному войску лесом по узенькой дороге, не имея возможности своротить ни направо, ни налево, к единственному выходу к Воложину, где один полк с четырьмя пушками мог бы остановить движение целой армии… По этим соображениям и будучи принужден отказаться от диверсии, полезной для большой армии, князь Багратион решился идти на Несвиж, чтобы по крайней мере обеспечить свой тыл и отражать колонны, которые идут на него со всех сторон».

Важны тут последние слова. Дело в том, что Багратион получил наконец тревожное сообщение о приближении с тыла войск короля Жерома Бонапарта. По этому поводу он позже писал: «Получив с другой стороны известия, что неприятельские войска, воспользовавшись моим отступлением, находились уже близ Слонима, в Зельве, а от стороны Гродна показавшиеся близ Липняжки, угрожали мне потерею обозов и с ними продовольствия, какое только я иметь мог с собою». Остановимся на минуту и заглянем из-за его спины на карту. Если раньше противник был только впереди армии Багратиона, вдоль дороги Вильно — Минск, то теперь он появился за спиной: Жером двигался на восток по двум дорогам — одни его дивизии шли по дороге от Гродно на Новогрудок, который только что покинула армия Багратиона, а другие продвигались от Волковыска на Слоним и Несвиж. 24 июня Сен-При сделал в дневнике тревожную запись: «24-го. Авангард армии короля Вестфальского переправился через Неман в Белице. Тревога в Новогродке»41. Последнее замечание можно оценить по достоинству, если посмотреть на карту: Белица находится в 10 верстах от Новогрудка, а Главная квартира армии Багратиона 23 июня располагалась в 7 верстах от Новогрудка, в Кареличах. 2-й армии пришлось срочно отходить к Миру (25 июня) и Новосвержню (26 июня).

Казаки Платова сообщали, что французы появляются по всем дорогам от Вильно, их разъезды везде — слева, справа, впереди и

сзади. К тому же казаки доносили, что французы (Даву) 21 июня уже заняли Вишнев «в большом количестве кавалерии и пехоты с орудиями»42, а 22 июня Сен-При записал в дневнике: «Корпус маршала Даву занимает уже Воложин, единственный пункт, через который можно пройти (на) Вилейку. Леса и непроходимые дороги на пути к последней»43. Сведения об этом пришли от Платова, писавшего Багратиону 22 июня о том, что Даву имел «сегодня ночлег в местечке Вишнево»44. Словом, для 2-й армии возникла реальная угроза окружения или по крайней мере потери обозов, которые, идя следом, запаздывали (обычно они растягивались на 40–50 верст от основных сил). При переправе русских войск у Николаева обозы еще только начали подтягиваться к Новогрудку. Конечно, Багратион мог бы бросить обозы и налегке пробиваться с боями через Воложин и Вишнев на Вилейку. Но во что это обошлось бы 2-й армии? Как писал Багратион царю, армия «должна бы была потерять совершенно обозы, большое число людей и, следовательно, обессилив себя, (не смогла бы) доставить вам, всемилостивейший государь, подкрепления».

Но еще больше беспокоил Багратиона другой — и, вполне возможно, трагический — вариант развития событий. Глядя, с каким трудом переходят Неман его войска, он должен был думать о возможности отступления в случае неудачи прорыва к Вилейке. В донесении императору об этом варианте он позже писал так: «…с худою переправою чрез Неман, которая, в случае неудачи, сделала бы мое отступление совершенно гибельным, имея столько же сильного неприятеля в тылу армии моей…» Иначе говоря, если бы французы отбросили 2-ю армию от Воложина и Вишнева, не дав ей перейти дорогу Вильно — Минск, то Багратиону пришлось бы отступать и снова форсировать Неман под Николаевом. Багратион писал Платову из Николаева: «После переправы на правый берег Немана, если бы встретилась необходимость к отступлению, в гаком случае, имея в тыл(у) реку и неимение способов переправиться успешно, было бы не только невыгодно, но даже гибельно и похуже дела Фридландского»45. Воспоминания о жуткой переправе через реку Алле под огнем врага были незабываемы для русских военных. Кроме того, на левом берегу реки или в одном переходе от дороги, в Новогрудке и дальше — в Несвиже, его бы ждали уже разграбившие обозы 2-й армии войска Жерома Бонапарта. Иначе чем катастрофой это назвать было бы нельзя.

Армия Багратиона была, повторю, дичью для французов, и за ней шла азартная охота. То, что вестфальский король шел сзади, выполняя роль загонщика Багратиона, сомнений не было.

Действиями Жерома руководил сам Наполеон. Он предписывал брату «не оставлять русских в покое; удерживайте их, когда они подвигаются вперед, заступайте им дорогу, если они подадутся назад»46. Почти такие же указания дает егерь бригаде загонщиков в начале охоты на дичь.

Чутье профессионала, ясное осознание смертельной опасности заставили Багратиона отказаться от начатой было переправы и нарушить приказ императора. Теперь-то мы знаем, что Багратион почти попал в расставленную «охотниками» ловушку. Позже, в XX веке, ее стали называть «котлом». Французы явно ожидали прорыва Багратиона через дорогу Вильно — Минск. Дело в том, что накануне в том же самом месте прорвался отступавший от Лиды на соединение с 1-й армией корпус генерала Д. С. Дохтурова. Его арьергард под командованием упомянутого полковника К. Крейца из дивизии П. Палена как раз 17 июня столкнулся возле Ошмян с авангардом Даву — бригадой генерала П. К. Пажоля. Завязался бой. Французы приняли эти войска не за арьергард корпуса Дохтурова, а за авангард 2-й армии Багратиона, прорывающейся на соединение с 1-й армией, и сосредоточили в этом месте значительные силы. К тому же Платов примерно в эти же числа и в том же месте, выполняя приказ о присоединении к 1-й армии, пытался самостоятельно прорваться через дорогу Вильно — Минск, но был отброшен от нее. Вот тогда-то он и примкнул ко 2-й армии. Этим обстоятельством Багратион был весьма доволен — без казаков ему воевать было трудно.

Немного о казаках. «Когда мы вышли из леса, — вспоминал один из участников похода Великой армии, — перед нами на большом удалении стояла деревня в ярком пламени. Дорога вела посредине горящих домов. После короткого марша мы заметили длинную черную линию казаков, которая стояла на вершине одной горы. “Там стоят казаки!” — послышалось со всех сторон. Гвардейские шволежеры (легкие кавалеристы. — Е. А.) и гусары двинулись против них, но при приближении нашей кавалерии казаки подались через гору назад»47.

Эпизод примечательный по своей выразительности — черная вереница всадников — казаков — на фоне подожженной ими деревни стоит, поджидая приближающегося противника, а затем, словно вереница призраков, растворяется во тьме. Казаки стали для противника самым ярким символом этой войны и вообще России. Для командования русской регулярной армии они были необходимы, особенно в походе, когда нужно было сдерживать легкую кавалерию французов и поляков, а главное — составлять пикеты, вести разведку, наблюдать за противником и, как тогда

выражались, «брать язык». Казаки, по словам Суворова, всегда были «глазами и ушами армии». Когда читаешь материа, гы о войне, то кажется, что казаков было несметное число — так часто они упоминаются. В 1812 году граф Д. Гогендорп, французский военный губернатор Литвы, писал как само собой разумеющееся: «…Я все-таки опасался, ибо казаки действительно всюду умеют проникать»4“. Участник похода Великой армии французский кирасирский офицер Тирион вспоминал, что при отступлении от Москвы ужас, производимый появлением казаков, «был таков, что при первом крике: ”Казаки!", перелетавшем из уст в уста вдоль всей колонны и с быстротой молнии достигавшем ее головы, все ускоряли свой марш, не справляясь, есть ли в самом деле какая-нибудь опасность»49.

А ведь казаков в русской армии никогда не было больше десяти тысяч всадников! Эти прирожденные степные воины (напомню, что в русской армии, кроме собственно казачьих полков, были также три крымско-татарских, три калмыцких и 28 башкирско-мещерякских полков) отличались необыкновенной подвижностью, владели разнообразными способами и приемами ведения «нерегулярного боя», когда главным оружием служили внезапность, хитрость, смекалка. Они были хорошо вооружены, метко стреляли, в совершенстве владели саблями и пиками. Правда, один из мемуаристов, поляк Д. Хлаповский, считал, что пики у казаков слишком длинны и в бою «они, несмотря на природную ловкость, не могут ими владеть так же быстро, как наши уланы»50. Отчасти это верно — искусством совершенного владения пикой обладали среди казаков немногие51. Сила казаков, кроме их природных бойцовских данных, заключалась в достоинствах их непревзойденных лошадей. На вид довольно мелкая и неказистая казачья лошадь была быстра и невероятно выносliва. Неудивительно, что казак заботился прежде всего о своем коне. «Казак сам с голоду умрет, а коня накормит», — гласит старинная казачья пословица. Как пелось в казачьей песне, «конь мой — вся надежда моя».

Казаки — степные охотники — использовали свои навыки добытчиков в охоте на людей, проявляя тонкое понимание психологии, учитывая все обстоятельства, в которых они действовали. А. Щербинин описывал в своих мемуарах, как однажды квартирмейстер Траскин с конвоем казаков осматривал в лесу местность и услышал топот ехавшей навстречу лошади. «“Как узнать, неприятельский ли разъезд” — “Позвольте, ваше благородие”, — сказал тихим голосом казак и, спустясь с лошади, приник головою к земле. Сквозь обнаженные от ветвей стволы он мог видеть далеко внутрь леса. “По ногам видно, что лошадь

французская ". Траскин поспешил оставить лес»5–1. У казаков был такой прием — «идти по сакме», то есть искать на земле следы прошедшей вражеской кавалерии и делать на этом основании свои выводы и наблюдения.

Беннигсен, оценивая разведывательную деятельность казаков, писал: «…Что же касается сведений о движениях неприятельской армии, получаемых чрез лазутчиков, то русская армия может совершенно обойтись без них. Бдительность наших казаков делает таких излишними». Маршал Ней в рапорте своем к военному министру жаловался на казаков и писал: «Очень неприятно, что невозможно скрыть от неприятеля малейшее движение войск». Случалось, что тогда, в 1807году, именно благодаря перехватам курьеров казаками важнейшие депеши доходили до Беннигсена быстрее, чем к французскому генералу55.

Казаки совершали нападения и на небольшие соединения противника. Один из вестфальцев описывает эпизод сражения под Смоленском, когда командир вестфальской роты, растянутой в цепь, не успел вовремя отойти перед внезапной атакой казаков. Он смог только собрать роту в каре и дал приказ открыть огонь. Залп пехотинцев оказался преждевременным, и «казаки, используя эту ошибку, окружили каре еще прежде, чем оно смогло перезарядить (на перезарядку ружей уходило не менее двух-трех минут. — Е.А.)… Часть казаков соскочила со своих лошадей, подступила ко все еще твердо и непоколебимо стоящему каре, колола, стреляла и рубила его без пощады таким образом, что оно покрыло землю рядами, друг на друге, подобно скошенной траве»54. В другом случае, как писал К. И. Е. Колачковский, «казаки со своим обычным криком "Коли! Коли! Ура!" ворвались в пехотный лагерь и начали опрокидывать ружейные козлы»55. Это делалось преднамеренно — пока солдаты разберут свалившиеся в беспорядочные кучи ружья, пока они их зарядят и начнут стрелять, нападавшие уже скроются, сделав то, что они задумали. Казаки, естественно, не отличались бескорыстием — трофеи для них были важнейшей целью войны. Известно, что при отступлении из Москвы Наполеона спасло от пленения казаками только то, что казачий отряд, внезапно появившийся перед императором, окруженным только небольшой свитой, вдруг отвлекся на более богатую, как им показалось, цель и поскакал в другую сторону.

Адъютант Кутузова А. С. Кожухов вспоминал, как он с казаками «брал языка»: «Разместясь в опушке леса, близ самой большой дороги, я выжидал ехавших из Москвы по сему сообщению. С рассветом много потянулось экипажей, из коих два

проехали быстро. Можно было рассмотреть лица, но сердце мое мне ничего не предвещало. Наконец, показался конвой верховых, ехавших скоро. С приближением их я усмотрел треугольную шляпу, с поля надетую, и огромные усы и бакенбарды. Условный знак был дан, и весь конвой был в наших руках. Несколько выстрелов a bout portent (в упор. — Е. А.) не помешали нам овладеть им и утащить в лес того, кого мне нужно было. В ту минуту взята с пленного сумка. Это был посланный с депешами штаб-офицер Вилион из штаба принца Экмюльского (Даву. — Е. А.). Пересадя тотчас пленного на казачью лошадь и дав поводья казакам, я старался его увезти от преследования… выбраться как можно скорее из занятой неприятелями местности и доставил депеши и пленного лично светлейшему». Наградой Кожухову был перевод в гвардию «тем же чином»56.

Но чаще казаки ловили дичь «помельче»: отошедшего от колонны по нужде или заснувшего на обочине, у бивачного костра вражеского солдата. Ловко снимали они и зазевавшихся на аванпостах часовых. Как вспоминает Хлаповский, «казаки, подкравшись незаметно, захватили в плен голландцев, стоявших на аванпостах, и только один из наших улан успел прискакать в лагерь с этим известием. Генерал Кольбер тотчас сел на лошадь и, взяв два эскадрона, погнался за казаками, но последние так быстро увезли голландцев на своих конях, что в лесу и на поле остались лишь одни следы лошадиных подков». Известно, что казаки возили «языка» на двух лошадях: он стоял между ними, поддерживаемый с двух сторон, и ноги пленника были вставлены в стремена обеих скачущих рядом казачьих лошадей. Хлаповский рассказывал о разных уловках казаков, чтобы выманить противника. «Один казачий офицер на серой лошади подъехал менее чем за сто шагов и на хорошем польском языке стал вызывать охотников с ним сразиться. Несмотря на это, Козетульский (командир. — Е. А.) не позволил никому двигаться с места. Тогда казачий офицер слез с коня и стал кричать: “Теперь можете меня взять!” В заключение он стал распускать подпругу у седла, но, заметив, что нас ему не удалось раздразнить, он вскочил на коня и отъехал к своим… Казаки вообще не нападают на регулярные войска, когда они находятся в боевом строю, хотя бы даже на один эскадрон. Они стараются иметь дело с рассыпанными людьми, которых умеют задевать, завлекать в засаду и затем берут в плен»57.

Легкой добычей для казаков были фуражиры, одиночные мародеры, отправившиеся на поиски пропитания или пограбить местных жителей. Сами отдавались им в руки дезертиры, особенно из союзных французам испанских и немецких

контингентов — по большей части вынужденных союзников Наполеона (впрочем, пограбить они были никогда не прочь). Понятно, почему Багратион ценил казаков Платова и держал их при себе, чем, в свою очередь, был недоволен Барклай. Несмотря на неоднократные его требования, главнокомандующий 2-й армией не отпускал к Барклаю корпус Платова, хотя Барклай писал, что «прибытие генерала Платова дает мне способ действовать наступательно, ибо день ото дня становится чувствительнее недостаток в кавалерии от ежедневных стычек с неприятелем». Видно, что в отсутствие казаков французы (совместно с польскими уланами) доставляли 1-й армии огромное беспокойство, о чем писал и Ермолов51. И наоборот, для Багратиона казаки Платова были незаменимы при отступлении. Как писал Паскевич, «казаки везде высматривали, о всем давали знать и под предводительством Платова дрались необыкновенно»59. Действительно, их лихие разъезды шныряли по всем окрестным дорогам, они браги пленных, и от них приходили сведения о направлении движения противника и его численности (как тогда говорили: «По глазомеру полагать можно неприятеля в количестве…»).

Движение на Минск

Словом, Багратиону стало ясно, что как по основной дороге Вильно — Сморгонь — Молодечно — Минск, так и по параллельной Вильно — Ошмяны — Вишнев — Воложин — Раков — Минск французы нарастили значительные силы. Повторим: если бы Багратион начал прорыв в этом направлении, то, несомненно, французы встретили бы его огнем. Дав приказ об отходе от Николаева, Багратион полагал, что нет худа без добра, ведь французы будут напрасно ждать его у Вишнева и Воложина, а он пройдет обходной дорогой на Минск через Новосвержень: «Отступление на Минск форсированными маршами чрез Кейданы и Новосвержен, как думаю, будет обеспечено тем, что неприятель, удостоверен быв о намерении моем переправиться чрез Неман у Николаева и имея в своем виду отряженные мною сильные партии, должен непременно стянуть свои силы от стороны Минска к Вишневу. чрез что я надеюсь, выиграв время, предупредить его стремление на Минск»60.

Итак, из приготовленного для него «котла» Багратион решил вырваться в направлении на юго-восток. Усиленным маршем 2-я армия двинулась на Новосвержень и оттуда в сторону Минска — на Кейданов, тем более что в своем приказе о прорыве на

Вилейки Александр I предоставлял Багратиону эту возможность: «В случае же, что весьма превосходящие силы неприятеля не позволят исполнить сим предписываемого вам движения, вы всегда будете в возможности ретироваться на Минск и Борисов».

Примерно в это же время свою героическую эпопею совершал маленький (около четырех тысяч человек) отряд генерал-майора И. С. Дорохова, который был попросту забыт Главной квартирой на исходных позициях. Дорохов командовал авангардом 4-го пехотного корпуса 1-й Западной армии. Авангард был выдвинут далеко к границе и стоял в местечке Орань на дороге Гродно — Вильно. 26 июня, поняв, что командование о нем забыло, Дорохов на свой страх и риск двинулся на соединение со своими, но увидел, что дороги к Вильно уже заняты французами, и решил прорываться через лежащее на дороге Вильно — Минск местечко Ошмяны. Однако на подходе к этому местечку отряд Дорохова столкнулся с превосходящими силами противника (ждавшими прорыва армии Багратиона), дал им бой, но затем отступил на Вишнев и Воложин. Дорохов, как и Багратион в Николаеве, понял, что через дорогу Вильно — Минск ему не пробиться. Начался утомительный форсированный марш в предполагаемом направлении движения армии Багратиона. Избегая лобовых столкновений с французами, ловко маневрируя по «таким дорогам, по которым во время зимы только ездют, то есть почти по непроходимым лесам и болотам», Дорохов ушел от преследования, потеряв всего 60 человек, и 23 июня встретил у Воложина казаков Платова, а через три дня присоединился к Багратиону и далее двигался параллельно 2-й армии.

Железный маршал — противник достойный

Чтобы создать у противника иллюзию прежнего движения от Николаева к Минской дороге, Багратион просил Платова занять Воложин и удерживать его до 26 июня, а затем отступать к Минску. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. В этой головоломной партии противником Багратиона был один из самых блестящих маршалов Наполеона — Луи Николя Даву. Почти ровесник Багратиона (он родился в 1770 году), бургундец Даву, получивший в 1809 году за победу при Экмюле титул князя Экмюльского, прошел не менее славный боевой путь, чем наш герой. Даву имел награды за подвиги при Аустерлице, Ауерштедте, Прейсиш-Эйлау, Ваграме и в других сражениях. В большинстве своем они были победными для его войск. Участник революционных войн и Египетского похода, Даву воевал в

Итальянской кампании 1799 года, но на земле Италии с Багратионом им не суждено было встретиться. Зато они сходились в последующих войнах. Даву, раненный несколько раз в боях, прославился как отважный кавалерийский генерал, а в войнах с Австрией, Россией и Пруссией участвовал уже как маршал (с 1804 года), командовавший корпусами. Русский военный агент полковник А. Чернышев писал о нем перед войной: «Благодаря тому, что он был сам по себе строг и обладал искусством устраивать войска и поддерживать в них дисциплину, командуемый им корпус считался одним из самых прекрасных и наилучше содержимых во французской армии… В настоящее время это маршал, который имеет наибольшее влияние, ему Наполеон более, чем всем другим, доверяет и которым он пользуется наиболее охотно, будучи уверен, что каковы бы ни были его приказы, они будут всегда исполнены точно и буквально. Даву совсем не имеет талантов, необходимых для главнокомандующего армиею, но руководимый Наполеоном может оказать выдающиеся услуги. Не обнаруживая под огнем особо блестящей храбрости, он очень настойчив и упорен и сверх того умеет всех заставить повиноваться себе. Этот маршал имеет несчастье быть чрезвычайно близоруким»61.

Даву любили в войсках, называли «Железным маршалом» — столь отважен был этот могучий, казавшийся несокрушимым человек с глубокими залысинами. И вот весной 1812 года император Наполеон поручил ему самый многочисленный и лучший в Великой армии Первый армейский корпус, который был брошен против Багратиона.

Выполняя замысел Наполеона, Даву действовал быстро. Он прекрасно понимал, что противник перед ним серьезный и многочисленный — тут промах дала французская разведка, которая оценивала численность 2-й Западной армии примерно равной численности 1-й армии, хотя на самом деле армия Багратиона была вполовину меньше армии Барклая62.

Во-первых, Даву занял Воложин, так что Платов не смог выполнить просьбу Багратиона захватить и удерживать это местечко до полного завершения отхода 2-й армии, а во-вторых (и это главное), он не поддался на уловку Багратиона и не стал поджидать русских на дороге Вильно — Минск. Даву поспешил к Минску и оказался там раньше Багратиона. Впрочем, Багратион, потерявший столько времени на бесполезный марш от Новогрудка к переправе у Николаева, не сомневался в проворстве своего противника и предполагал, что Минск может быть занят французами раньше, чем туда подойдет его армия. Еще в начале войны, 14 июня, он сделал примерный расчет «забега»

противников к Минску и далее к Борисову: «Неприятель имеет от Ковно до Вильны 102, от Вильны до Минска 200 верст, от Минска до Борисова 75, итого 377. Если же возьмет путь по прямой дороге, весьма удобной для переходу войск, оставя Минск вправе, то имеет до Борисова 321, следовательно, менее моего тракту 18 верст, ибо от Волковиска до Слонима 59, до Несвижа от Слонима 100, а от Несвижа до Минска 105, а от Минска до Борисова 75, а всего 339»63.

Вся эта страшная история была похожа на несложную задачку из школьного учебника: две армии — русская и французская — спешат к одной точке — городу Минск. Французам, вышедшим 22 июня из Ошмян, стоящих в одном переходе от Вильно, до Минска предстояло пройти по хорошей, столбовой дороге около 180 верст, а Багратиону, вышедшему из Кореличей 24 июня, по плохой проселочной дороге — не более 100 верст. Вопрос: если колонны французов проходят в день примерно 50 верст, а русские — 30–35, то кто из них первым достигнет конечной точки? В итоге, французы решили задачку быстрее: авангард корпуса Даву под командованием Пажоля вступил в Минск 26 июня, а на следующий день в Минск вошли пехотинцы Даву. Багратион понял это 25 июня, когда минский гражданский губернатор донес ему, что «неприятельские войска были уже за один марш от Минска»64. Багратиону можно было только посочувствовать — он приходил вторым, опаздывая всего лишь на день…

Новый поворот

И тем не менее поначалу, даже предполагая, что его армия опаздывает в Минск на сутки, Багратион был готов сразиться с Даву на подступах к городу. По 2-й армии был объявлен приказ о подготовке к бою. Багратион изменил прежний форсированный режим марша. Теперь он решил идти помедленнее: пять верст движения — час отдыха, потом 10 верст марша — два часа отдыха, затем 15 верст движения — три часа отдыха. Чтобы солдаты накануне боя не были совсем измотаны в дороге, приказано было дважды в день раздавать усиленную мясную пищу и вино. Предполагалось сделать остановку в Минске, о чем командующий писал императору: по прибытии в Минск «должен буду там дня два или три, смотря по обстоятельствам, остановиться, чтобы дать отдохнуть людям, сделавшим столько маршей в самое жаркое время по дорогам чрезвычайно песчаным, а итого более лошадям под обозом и артиллерией состоящим и кавалерийским, которые почти не поспевают за людьми от

глубоких песчаных дорог»65.

И вдруг, примерно на полпути к Минску, у Несвижа, Багратион неожиданно отказался от своего прежде твердого намерения идти на Минск и повернул армию на Бобруйск. Почему

Тот же вопрос задал и император Александр, получивший сообщение об изменении маршрута Багратиона. Сам император тем временем отступал вместе с 1-й армией от Вильно к Свенцянам, а потом к Дрисскому лагерю.

Карты — вещь опасная. Формально царь не был главнокомандующим, но иначе его не воспринимали. Да и сам Александр I вел себя именно как главнокомандующий. Это отразилось и в первом же приказе Барклая по армиям от 13 июня 1812 года: «Воины! Наконец приспело время знаменам вашим развиться пред легионами врагов всеобщего спокойствия, приспело вам, предводимым самим монархом, твердо противостоять дерзости и насилиям двадцать лет наводняющих землю ужасами и бедствиями войны!»“11 По мнению исследователей войны 1812 года, Александр счел проигранное им сражение под Аустерлицем случайностью и решил еще раз попробовать себя на военном поприще, тем более что не видел среди своих генералов того, кто соответствовал бы его представлениям о главнокомандующем. При этом он избрал весьма оригинальную форму руководства армией: военный министр и главнокомандующий 1-й армией Барклай де Толли руководил действиями этой армии, но император его контролировал, получая копии всех донесений генералов на имя Барклая, и при этом лично распоряжался действиями 2-й армии. «Я не буду делать им никаких предписаний, — писал Александр I Барклаю, — чтобы не расстраивать ваших распоряжений. Итак, вы, генерал, будете давать им наставления, которые сочтете нужными. Одно только я счел нужным допустить из этого исключение в отношение к кн. Багратиону. Я предписал ему перейти за реку Щару и продолжить отступление на Вилейку для того, чтобы выиграть время. Первоначально мы предполагали, что он отступал на Минск и, присоединив 27-ю дивизию, шел на Вилейку и действовав на правый фланг неприятеля, который обратится на нас. Но теперь при этом движении он много потерял бы времени и, следуя прямо на Вилейку, он скорее достигнет цели… Если же слишком большие силы неприятеля помешают ему исполнить это движение, он всегда может двинуться на Минск и Борисов»”7.

Оставляя в стороне важный вопрос о том, как в такой странной для себя ситуации мог командовать армией известный

своей осторожностью Барклай, отметим, что движение Багратиона на Вилейку, предписанное Александром I, выглядело гладким и быстрым только на карте. Карты (неважно какие: игральные или военно-штабные) подчас позволяют себе злые шутки с людьми, увлеченными ими. Они часто возбуждают в человеке фантазию и влекут на путь авантюр. Как писал о Наполеоне, стоявшем над картой России, граф Сегюр, великий полководец «при виде этой карты, разгоряченный своими опасными идеями… находился как будто во власти гения войны. Голос его становился крепче, взор ярче и выражение лица более жестким»№. Александр I, конечно, не Наполеон, но и он поддался обаянию карты, проложив по ней для армии Багратиона заведомо нереальный маршрут.

Высочайшая досада

Известие об изменении маршрута, полученное государем от Багратиона, оказалось для него полной неожиданностью. Еще 23 июня генералу Дохтурову было сообщено, что «для открытия коммуникации с армиею кн. Багратиона, к Вилейке следующей, по высочайшему повелению отправляется генерал-адъютант Винценгероде». Узнав о том, что 2-я армия в Вилейки не придет, Александр в гневе обвинил ее главнокомандующего: «Ваша армия усилена всем корпусом Платова и отрядом Дорохова, которые к вам присоединились, это может составить до 50 тысяч под ружьем, у Даву не более 60 тысяч, и то по надутым счетам французской армии. 50 тысяч русских весьма могут противопоставить 60 тысячам сборного войска. Я еще надеюсь, что… вы опять обратитесь на прежнее направление». Обычно вежливый и «уклончивый» в обращении с людьми, император был непривычно резок в письме, адресованном Барклаю. Он обвинил Багратиона в медлительности, робости, почти в трусости: «Досадно, что Багратион так медленно и робко подвигается. Испуганный авангардом Даву, вместо того, чтобы продолжать движение на Минск и в тыл ему, он обратился на Несвиж и даже… намеревается идти на Бобруйск»69.

Стремясь сохранить объективность в отношении героя этой книги, попытаемся разобраться в обстоятельствах данного конфликта. Во-первых, Багратион никогда не был робок и нерешителен; во-вторых, двигался он очень быстро. Генерал Неверовский, участник похода армии Багратиона, вспоминал, что войска шли по тяжелейшим песчаным и болотистым дорогам, и «в 22 дня сделали мы 800 верст и менее маршей не делали, как по

50 и 45 верст». Другой авторитетный свидетель, генерал Н. Н. Раевский, писал 28 июня А. Н. Самойлову: «19 дней мы в движении без раздыхов. Не было марша менее 40 верст, не потеряли ни повозки, ни человека. Берем реквизиции, коими кормим и поим людей. У меня в корпусе больных — только 70 человек. Никогда войска не хотели так драться, и, конечно, имея 50 тысяч, мы с 80-ти не боимся». Но поход оказался очень трудным. Через несколько дней Раевский пишет тому же адресату из Бобруйска: «Я здоров, только устал до крайности. В три дня 135 верст с войсками сделать тяжело»70. Генерал (впоследствии — фельдмаршал) И. Ф. Паскевич писал: «Жар был невыносимый. Люди совершенно изнурились от сорока- и пятидесятиверстных переходов по пескам. Пробиваться силою было невозможно. Князь Багратион решился отступать не на Минск, но чрез Несвиж»71.

Суть конфликта была в том, что Багратион не исполнил высочайшей воли императора. Возможно, другой командующий, человек более робкий и несамостоятельный, повел бы армию через Николаево или Минск на верную гибель. Но Багратион поступил иначе. Прежде близкий ко двору, мечтавший восстановить там свое влияние, он тем не менее оставался профессионалом и в ответственный момент думал не о своей репутации в глазах царя, а об армии, о том, что ни первоначальный план фланговых ударов по противнику, ни план соединения, предписанный царем, неисполнимы, если 1-я армия сама отступает.

Примечательно, что таких же взглядов на происходящее со 2-й армией придерживался и Сен-При. 3 июля из-под Слуцка он написал письмо своему брату Луи, находившемуся в составе 1-й армии в Дрисском лагере: «Мой дорогой Луи! Не удивляйся, что я не писал тебе в течение некоторого времени, ибо был занят другими делами. Если вы отступаете, то ведь и мы тоже отступаем. Однако какая разница! Ваши фланги и пути отступления свободны, тогда как нас преследует и почти окружил Даву, вплотную за ним идет армия Жерома, аванпосты которой наконец-то изрядно побил Платов. Мы стремимся соединиться с вами, а вы от нас убегаете. Это не помешает нам, пройдя Бобруйск, ринуться на Могилев, чтобы хоть как-то прикрыть Россию, поскольку мы не рассчитываем больше на благоприятные для нас действия Первой армии. Эта кампания — хороший урок для военных и составит эпоху в истории». Как и Багратион, Сен-При обвинял командование 1-й армии в необоснованном отступлении и предсказывал жуткую картину того, что будет при дальнейшем уходе 1 — й армии от сражения: «Все, что мы можем сделать, это — отвлечь армию Даву, в то время как австрийская и

саксонская армии идут от Пинска к Мозырю на соединение с вестфальской армией, которая блокирует Бобруйск, чтобы, перебросив свои силы на Житомир, заставить Тормасова отступить без боя к Киеву. Волынь и Подолия взбунтуются и восстанут и отрежут снабжение провиантом Молдавской армии, которая будет счастлива, если успеет достичь Днестра. Вот, мой дорогой Луи, плачевный результат, к которому приведет ошибочное движение Первой армии на Свенцяны, что есть не что иное, как следствие ее дислокации… Я не говорю об оставлении страны без единого выстрела, о всех уничтоженных запасах — все это неизбежное следствие первоначальных передвижений. Те, кто посоветовал подобные действия, виноваты в этом перед потомством. Но во всем этом наиболее достоин сожаления император, положение которого ужасно. Я не осмеливаюсь ему более об этом писать, поскольку1 я ему предсказал все, что теперь с нами происходит, и уверен, что он сам очень огорчен. Ты можешь показать мое письмо Толстому (обер-гофмаршалу. — Е. А.) и сказать ему, что если он потрудится изучить неприятельские силы, нас окружающие, то сможет судить, нам ли делать диверсии в помощь Первой армии с 40 тысячами человек против 120 тысяч… Я думаю, что ты бы не узнал меня, если бы увидел: я худею на глазах и страдаю невыносимо душевно — как за себя, так и за других. Князь (Багратион. — Е. А.) сам очень огорчен всем этим, и я его поддерживаю, как могу…»" Толстой уже упоминался нами в главе об Аустерлице — это к нему приходил Кутузов накануне битвы с просьбой убедить государя в ошибочности его намерений. На что обер-гофмаршал отвечал, что «его дело — пулярка и вино, а войной должны заниматься генералы». Вряд ли за истекшие годы Толстой поменял свои взгляды… Как бы то ни было, никто не смог тогда объяснить государю ошибочность его суждений о действиях Багратиона. И ранее уже недовольный командованием Багратиона на Дунае, царь и здесь увидел в поступках князя Петра упрямство, своеволие, пренебрежение монаршей волей, а также некомпетентность… А тогдашний государь у нас бьш хотя и воспитанным, но злопамятным и обид никому не прощал!

Глава двенадцатая
Тягость военных дорог

Свобода — это когда китель расстегнут!

Попробуйте, читатель, представить себе, что вас затягивают в суконный солдатский мундир, обувают в тяжелые сапоги того времени. Затем вы, «в мундире застегнувши, сверх сумы и портупеи, одетых обыкновенно», надеваете шинель. Как написано в составленном в 1808 году А. А. Аракчеевым «Описании, каким образом солдату одеваться в походу», шинель свертывается «вдоль чрез левое плечо так, чтобы концы оной были на правой стороне ниже пояса, которые должны связываться шинельным ремнем». Ранец должен быть на спине сверх надетой чрез плечо шинели, да еще и «манерку привязывать сверху ранца на средине». В «Описании» указано точно, сколько солдату «в ранец полагается иметь вещей». Там значатся: «рубашек — 2, панталоны летние — 1, портянки — 1, фуражная шапка — 1, товар сапожный — 1, полунагалище — 1, кремней — 12, щеток — 3, терок — 2, ваксы — некоторое количество, дощечка пуговичная — 1, чемоданчик с нитками, мылом, игольником с иголками, гребенкою, песком и кирпичом — 1; сухарей на три дня. Ранец (должен) иметь весу со всеми вышеписанными вещами, в том числе летними панталонами и с манеркою, кроме шинели, 25 фунтов (десять килограммов. — Е. А.), с теми же вещами и зимними, вместо летних, панталонами — 26 фунтов». Да еще и вес самой шинели — не меньше пяти килограммов1. Наконец, не забудьте взять из стойки шестикилограммовое ружье. И в таком виде извольте пройти 30 верст в день, а наутро — снова 30!

Вообще-то в XIX веке были определены нормативы движения. Согласно им, солдат нес на себе всю амуницию и трехдневный запас хлеба, всего весом примерно один пуд (36,5 фунта). Обыкновенный походный шаг не должен превышать 90—120 шагов в минуту, а беглый — 165–170 шагов в минуту. Умеренный дневной переход составлял 15–20, максимум 25 верст, для кавалерии — 30–35 верст. Чем меньше воинская часть, тем ее переходы были быстрее и легче. Известно, что если батальон шел самостоятельно, то 20 верст он проходил за 6–7 часов, но если двигался в составе дивизии, то делал 8—10 верст за 13–15 часов. При движении целого корпуса скорость снижалась еще больше. Впрочем, многое зависело от искусства генерал-квартирмейстера

и его службы. Наиболее удобен был фронт движения колонны не более 6 человек в ряд. В Англии и других странах был принят такой ритм движения: 1 час пути — 5-минутная остановка, 2 часа движения — 15 минут отдыха, пройдена половина пути — 1 час отдыха. Опыт показал, что частые и короткие остановки на отдых более действенны, чем продолжительный и редкий отдых2. Однако, если войска шли форсированным маршем, ни о каких нормативах речи не было.

Известно, что русские командующие старались щадить своих солдат: был издан особый приказ, разрешавший солдатам идти в расстегнутом кителе, не в ногу, колонны выходили рано утром, останавливались на дневку и снова шли вечером, когда спадала жара, а также часто двигались по ночам, хотя это и не всегда было возможно. Как обстояло на самом деле, видно по дневнику капитана Семеновского полка П. С. Пущина: 23 июня: «Наш корпус выступил в 2 часа ночи, сделал 40 верст в продолжение 15 часов. Жара еще сильнее вчерашней, и, несмотря на три привала, люди изнемогают от усталости»; 24 июня: «Наш корпус выступил в 7 часов вечера»; 8 июля: «Мы выступили в 1 час ночи и, пройдя 35 верст в 19 часов, остановились» и т. д. Впрочем, ночные переходы, спасавшие от жары, не спасали от дождей, которые как раз в это лето часто шли по ночам. 18 июня: «Выступили в 4 часа утра. Шел дождь, пронизывая. Путь тяжелый, мы шли беспрерывно в продолжение 11 часов. В полку 40 человек заболело и один умер»; 6 июля: «Шли всю ночь… Дождь шел всю ночь, переход был утомительный»3. «Дожди были частые, — вспоминал Митаревский, — после их погода разгуливалась, и тогда была сильная жара, так что из мокрого платья солдат на походе выходил пар»4.

Как раз из-за дождей, а также кромешной тьмы, царившей на лесных дорогах во время гроз, не всегда удавалось идти ночью. Генерал князь В. В. Вяземский в своем дневнике 1 августа сделал такую запись: «Совершенно испортившаяся дорога, едва проходимые болота, топкие плотины, дождь, самая темная ночь, множество обозов, и никакого порядку в марше благодаря темноте. В сию ночь мы потеряли до 500 отставших и разбредшихся… Как я измучился. 46 часов не ел, не пил и с лошади не сходил»5.

Что чувствует на марше человек, когда «идет дождь, пронизывая», довольно реалистично описала Надежда Дурова — знаменитая кавалерист-девица, принявшая под видом дворянского юноши участие еще в войне 1807 года: «С самого утра идет сильный дождь, я дрожу, на мне ничего уже нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на

голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями! Я трепещу всеми членами как осиновый лист… Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели, на нас нет лица человеческого, и сверх этого потеряли много людей»6.

Впрочем, не лучше приходилось и противнику, шедшему под тем же самым дождем. «Расположившись на биваке, мы… легли на чепраки, — вспоминал участник войны, поляк Хлаповский, — накрылись плащами и заснули. Ночью пошел сильный дождь, а так как мы лежали у пригорка, то вскоре нас разбудила струя воды, которая нашла себе дорогу между нами и замочила мне весь левый бок. Пришлось встать, и вплоть до утра мы не спали и только грелись, сидя у костра, где наши люди варили себе пищу»7.

Уже в первые дни войны холодный ночной дождь, внезапно обрушившийся на истомленных дневным переходом лошадей Великой армии, привел к падежу сразу десяти тысяч животных, о чем сообщают многие участники похода. Кроме того, марши по песчаным и топким дорогам были очень непривычны французской армии. Как писал А. Коленкур, транспорты были приспособлены только к «шоссированным дорогам», и первые же пески привели их в негодность, начался падеж не привыкших к таким дорогам и нагрузкам лошадей8. Да уж, «шоссированных дорог» у нас не было!

Первой обычно выступала пехота, а конница выдвигалась часа через три после ее ухода, предварительно напоив и накормив лошадей1. Хорошим тоном на марше считалось, чтобы командиры подразделений шли вместе со своими солдатами. Известно, что так, пешком, шел впереди своего полка командир семеновцев полковник К. А. Криднер. Такая же традиция была и в армии противника. Знаменитый маршал Лефевр — командующий Старой гвардией, прошел впереди своих усатых ветеранов весь путь от Вильно до Москвы и обратно от Москвы до Березины. Бывало, что офицеры уступали своих лошадей, которых нагружали солдатскими ранцами. Можно было даже видеть, как офицеры несли по два-три ружья, взятых у наиболее ослабевших солдат. Тут опять нельзя не вспомнить рассказ Дуровой, чей командир укорял молодых офицеров, пытавшихся уехать далеко вперед и где-нибудь поспать под кустиком, пока полк их нагонит: «Мы обязаны подавать им (солдатам. — Е. А.) пример, им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят наравне с ними; никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним»10.

И опять-таки то же самое было и в армии противника.

«Офицеры наши, — вспоминал Хлаповский, — постоянно спали у костров среди солдат. Приготовлением пиши обыкновенно занимался мой поваренок Гаролинский, который жарил на огне мясо, а из муки делал большие лепешки, выпекая их на огне. Недостаток соли сильно давал себя чувствовать. Перед выступлением в поход каждый получал такую теплую лепешку и кусок мяса, чем должен был питаться в течение целого дня. Поваренка моего Гаролинского солдаты берегли как зеницу ока, боясь, чтобы он не попал в руки казакам»11. Вообще, записки поляков Колачковского и Хлаповского о первых неделях похода в Россию рисуют характерную картину повседневной походной жизни армии того времени, примерно одинаковой, идет ли речь о поляках, французах или русских.

Колачковский вспоминал, что все войска шли по одной дороге непрерывной колонной, которая на походе растягивалась вместе с повозками и парками почти на две мили (около 14 километров). «Когда головные части колонны начинали разводить костры, хвост ее тащился по дороге еще часа три, пока подходил к биваку». Он считал, что войскам надо было двигаться дивизиями с интервалом в два часа пути или же по трем параллельным дорогам, предоставляя самую большую из них для артиллерии и обозов. «В течение всей кампании, — продолжает он, — маршировали следующим образом. Рано утром начиналась побудка, затем, после раздачи хлеба и водки, войска становились в ружье, первая дивизия вытягивалась на дорогу, а за ней следовали и другие. Это длилось по крайней мере часа два. Голова колонны двигалась быстро, остальные эшелоны второпях догоняли. Во время марша делали привал, на котором солдаты бросались к ближайшей воде, как некогда войска Гедеона, чтобы утолить жажду. Потом снова маршировали, вплоть до ночлега, где располагались как на позиции перед неприятелем, выставляя сторожевые посты, караулы и т. д. После разбивки палаток, разведения костров, посылки за водой, провизией и топливом даже в июне, когда день был так долог, голодный солдат мог дождаться пищи лишь к 10 часам вечера, а чаше всего, совершенно измученный, бросался на землю и спал до утра, стараясь остатком пищи в котелках подкрепить свои силы для дальнейшего похода. Результатом этого явились в войсках болезни, отсталые, беглые (мародеры), затем начались притеснения жителей, а в конце концов стал ощущаться значительный недочет в людях»12.

О том же пишет русский артиллерист Радожицкий: «Для наших солдат несносен был только летний зной. В продолжение больших переходов, под тяжестию ранцев и киверов, в суконной

толстой одежде, молодые солдаты скоро уставали; при всякой лужице они с манерками бросались черпать теплую, грязную воду, которую пили с жадностию, никогда не утоляя жажды, наконец, изнеможденные, отставали от полков своих, заходили в сторону и, где-нибудь завалившись для отдыха, попадали в руки неприятелю. Хотя арьергард обязан был всегда подбирать усталых, но в разных обстоятельствах по невозможности исполнять это в продолжение ретирады таковая потеря должна быть не малозначуща в нашей армии»

Армия для отвлечения

Но все же главная проблема состояла не в трудностях пути, проделанного 2-й армией. Как мы видим, и воины Великой армии шли в жару и под дождем и тоже месили сапогами такую же «глубокую песчаную дорогу». Проблема заключалась в другом. В упреках императора Александра, высказанных Багратиону, был свой, скрытый подтекст. У Багратиона и Александра 1 с Барклаем было разное представление о том, что называли тогда «соединением армий». Багратион понимал это с самого начала как слияние армий в единый кулак, подобно тому, как это произошло позже в Смоленске. Император же и Барклай долгое время представляли «соединение армий» как довольно тесные, но раздельные действия двух армий на одном театре военных действий, причем Багратиону и его 2-й армии не придавалось самостоятельного значения. Пивная квартира — во многом это эвфемизм для обозначения реального главнокомандующего, императора Александра I, — рассматривала 2-ю армию как вспомогательную, «диверсионную» силу, действующую при 1-й армии и исключительно в ее интересах. Ее цель — помочь 1-й армии с того момента, как она вступит в сражение с основными силами Наполеона. Александр 1 последовательно придерживался этого взгляда и в первые дни вторжения Наполеона, и позже, когда он собрался дать французам генеральное сражение под Свенцянами. Именно тогда от Багратиона срочно потребовали идти на Вилейки — туда, откуда 2-я армия могла действовать во фланг и тылы армии Наполеона. В рескрипте от 25 июня, переданном Багратиону флигель-адъютантом А. Х. Бенкендорфом, в подтверждение прежних приказов было прямо сказано: «Первая армия отступает к Двине для опоры в своих действиях на Дрисский укрепленный лагерь. Вторая армия лишь выполняет задачу отвлечения на себя значительных сил противника. Она не должна атаковать превосходящие силы. Она

может с пользой исполнять этот маневр, пока неприятель не повернет свои основные силы против Первой армии. Вторая армия старается удержаться на позиции, которая позволяет ей действовать на линии, проходящей из Вилейки через Минск в Бобруйск. Армия Багратиона должна действовать оборонительно, когда Первая армия будет действовать наступательно… Армия Багратиона не перестает держать отряд между Минском и Слонимом»1". Из письма Барклая Багратиону, внесенного в журнал штаба Барклая 15 июня, следовало, что в Главной квартире даже предположить не могли о возможном движении корпуса Жерома Бонапарта левее армии Багратиона: «Оберегайте правый свой фланг от нечаянного неприятельского нападения. Левого же фланга вам опасаться нечего, ибо все силы почти против 1-й армии»15. И только с отступлением 1-й армии из Дрисского лагеря и прибытием ее в Витебск у Барклая и Багратиона появляется нечто общее в понимании «соединения армий», мыслимого ими одинаково, как слияние.

Безусловно, из переписки Багратиона заметно, что он изначально внутренне противился исполнению той подчиненной роли, которую ему уготовила Главная квартира. Мне кажется, что и помимо объективных причин (наступление войск Даву и Жерома) опыт прошлых войн, некое шестое чувство мешали Багратиону без сомнений идти на Вилейки — место уязвимое и открытое для ударов противника. Даже если представить себе, что Багратион благополучно прорвался к Вилейкам, то что же ожидало его армию, когда он узнал бы следующие факты: 1-я армия отступила от Свенцян, а потом ушла и из Дрисского лагеря? Ведь по плану императора 1-я армия должна была наступать и при этом взаимодействовать со 2-й армией Багратиона. Из цитированного выше приказа Александра от 25 июня отчетливо видно, что 2-я армия приносилась в жертву во имя сохранения главных сил 1-й армии. Вообще, от приказа государя веет отвлеченной от реальной жизни схемой. Как, например, понять такое положение приказа: «Удержаться на позиции, которая позволяет ей (2-й армии. — Е. А.) действовать на линии, проходящей из Вилейки через Минск в Бобруйск»? И это в то время, когда французы бросили в сторону Минска огромные силы! Это значило, что с ними нужно было вести кровопролитные бои (возможно, в окружении) без особой надежды на успех. А как понять такую цитату из приказа: «Армия Багратиона не перестает держать отряд между Минском и Слонимом»? Получается, что Багратион, даже прорвавшись к Вилейкам, должен был разделить свои скудные силы и оставить на дороге Минск — Слоним часть армии. И вообще, есть чему

удивиться в предписаниях и расчетах Главной квартиры. Как можно было поручать такому полководцу, как Багратион (с его-то грузинским темпераментом, болезненным самолюбием, высочайшим самомнением, общепризнанным авторитетом и репутацией верного ученика Суворова — «генерала-вперед»), вести только вспомогательные операции, обрекая его армию на второстепенную, пассивную роль некой «отвлекающей» силы, предназначенной исключительно для «диверсий»!

Да и по существу, при постоянном отступлении 1-й армии диверсии эти были невозможны. Неудивительно, что в начале июля, в письме Аракчееву, находившемуся при 1-й армии, Багратион с досадой восклицал: «Вы будете отходить назад, а я все пробиваться!» Так же писал он и Ермолову 3 июля по поводу отхода 1-й армии от Свенцян: «Зачем побежали? Надобно наступать, у вас 100 тысяч. А я бы тогда помог. А то вы побежали, где я вас найду? А то, что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский»16.

Из письма Багратиона, отправленного из Слуцка 1 июля, видно, что главнокомандующий 2-й армией, выполняя приказ о соединении двух армий, не очень-то доверял людям, стоявшим во главе 1-й армии, считал, что они избегают генерального сражения, отступают, обрекая его, Багратиона, на жалкую роль сотоварища по бегству, и вообще заставляют впустую работать: «Войдите в мое положение и судите, можно ли было мне достигнуть соединения, имея сильного неприятеля, преграждающего путь, другого — в тылу и не менее сих важного — голод, потерю больных, обозов и лишение сношений, а сближаясь к вам, можно ли быть уверену, что от Дриссы не сделается ли отступление далее, подобно как от Свенцян на Дриссу»17. Багратион как в воду глядел — именно 1 июля, в тот самый день, когда он подписал это письмо, было решено покинуть Дрисский лагерь и отходить к Полоцку.

Багратион писал Аракчееву с тем расчетом, что тот убедит императора активизировать действия 1-й армии против французов. Письмо было, видимо, написано Багратионом собственноручно, оно переполнено эмоциями, повторами, а рваный стиль напоминает стиль писем его учителя Суворова: «1-я армия тотчас должна идти и наступать к Вильне, непременно, чего бояться? Я весь окружен и куда продерусь, заранее сказать не могу, что Бог даст, а дремать не стану, разве здоровье мое мне изменит — уже несколько дней очень (плохо себя) чувствую. Я вас прошу непременно поступать, как приятель, а то худо будет и от неприятеля, а может быть, и дома шутить не должно. И

русские не должны бежать. Это хуже пруссаков мы стали. Я найду себе пункт продраться, конечно, и с потерею, но вам стыдно, имевши в заду укрепленный лагерь, фланги свободны, а против вас слабые корпуса. Надобно атаковать. Мой хвост всякий день в драке, а на Минск и на Вилейку мне не можно пройти от лесов, болот и мерзких дорог. Я не имею покою и не живу для себя. Бог свидетель, рад все делать, но надобно иметь и совесть, и справедливость. Вы будете отходить назад, а я все пробивайся. Ежели для того, что фигуру мою не терпят, лучше избавь меня от ярма, которое на шее моей, а пришли другого командовать, но за что войска мучить без цели и без удовольствия? Советую наступать тотчас. Не слушайтесь никого. Пуля — баба, штык — молодец…»

И потом Багратион вновь возвращается к высказанной мысли: «…Зачем предаваться законам неприятельским, как тогда мы можем их победить, весьма легко можно приказать двинуться вперед, сделать сильную рекогносцировку кавалерией и наступать целой армией. Вот честь и слава. Иначе я вас уверяю, вы не удержитесь и в укрепленном лагере. Он на вас не нападет в лоб, но обойдет (мысль эта действительно стала главным аргументом при обсуждении генералитетом недостатков позиции в Дрисском лагере. — Е. А.). Наступайте, ради Бога. Войско ободрится. Уже несколько приказов дано, чтобы драться. А мы бежим! Вот вам моя откровенность и привязанность государю моему и отечеству. Если не нравится, избавьте меня, и я не хочу быть свидетелем худых последствий. Хорошо ретироваться 100–500 верст, но видно есть злодей государю и России, что гибель нам предлагает (намек на Барклая? — Е. А.). Итак, прощайте. Я вам все рассказал, как русской русскому, но если ум мой иначе понимает, прошу о том простить»18.

Огорчение Багратиона можно понять. Он вместе со своей армией оказался в отчаянном положении лицом к лицу с превосходящими силами противника. Изменив прежней наступательной диспозиции, верховное командование продолжало требовать от него неисполнимых в тех условиях действий. Однако Багратион не представлял себе, сколь значительны силы французов, брошенные Наполеоном против 1-й армии. Он думал, что основные их силы действуют против него, и поэтому возмущался отступлением Барклая. Между тем отступление 1-й армии было столь же неизбежно, как и отступление самого Багратиона, — Наполеон обладал таким превосходством в силах, что легко мог управиться раздельно с обеими русскими армиями. Недостаток точной информации стал одной из причин взаимного непонимания и даже вражды русских

главнокомандующих и способствовал искаженному представлению Александра 1 о положении 2-й армии.

На упреки же Александра в нарушении данной ему диспозиции Багратион 26 июня отвечал из Несвижа в довольно резкой (для послания государю) форме. Забегая вперед отметим, что, возможно, именно это письмо, в числе прочих обстоятельств, сыграло роковую роль в дальнейшей карьере полководца — Александр I не простил ему высказанных в письме дерзостей. Дело в том, что Багратион недвусмысленно упрекнул самого императора в том, что 2-я армия опоздала прийти вовремя к Минску. Он имел в виду, что царь и Барклай должны были знать, что, по посланным ранее им расчетам, 2-я армия никак не могла опередить Даву и прийти первой к Минску или Борисову и что императорский приказ от 18 июня (№ 316) дал 2-й армии ложное направление движения на Вилейки: «Ваше императорское величество из подносимой при сем копии с отношения моего к Вашему министру, отправленного в 13-й день июня, усмотреть соизволите, что я имел несчастие предвидеть занятие неприятельскими войсками Минска прежде меня. Но все бы еще достигнуть возможность была соединения армии чрез оный, если бы я не получил в Зельве направление на Новогродок». В другом своем рапорте на имя императора Багратион уточняет: «…данное мне направление на Новогрудек не только отнимало у меня способы к соединению через Минск, но угрожало потерей всех обозов, лишением способов к продовольствию и совершенным пресечением даже сношений с 1-ю армиею. Быв в таком положении, с изнуренными войсками от десятидневных форсированных маршей по пещаным весьма дорогам, я принял оное за крайность» и поэтому начал отступление к Бобруйску. Кто дал Багратиону направление на Новогрудок, секрета не составляло — приказ № 316 исходил от государя.

В письме А. П. Ермолову, помеченному: «На марше, 3 июля», Багратион описывает все, что произошло с ним и его армией в последние дни июня — начале июля. Это описание не только подтверждается приведенными выше свидетельствами документов, но и передает эмоциональный строй, те чувства, которые испытывал Багратион в момент отступления: «Я расчел марши мои так, что 23 июня главная моя квартира должна была быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Свенцян. Но меня повернули на Новогродек и велели идти или на Белицу, или на Николаев, перейти Неман и тянуться на Вилейку, к Сморгони, для соединения. Я и пошел, хотя и написал, что невозможно, ибо там три корпуса уже были на дороге к Минску и места непроходимые. Перешел в Николаеве Неман. Насилу спасся

Платов, а мне пробиваться невозможно было, ибо в Воложине и в Вишневе была уже главная квартира Даву, но я рисковал все потерять и обозы. Я принужден назад бежать на Минскую дорогу, но он успел и ее захватить. Потом начал показываться король Вестфальский с Понятовским; перешли в Белицу и пошли на Новогродек. Вот и пошла потеха! Куда ни сунусь — везде неприятель. Получил известие, что Минск занят и пошла сильная колонна (французов. — Е. А.) на Борисов и по дороге на Бобруйск. Я дал все способы и наставления Игнатьеву (коменданту Бобруйска. — Е. А.) и начал сам спешить, но на хвост мой начал нападать король Вестфальский… Вдруг получаю рапорт Игнатьева, что неприятель приближается к Свислову, от Бобруйска в 40 верстах, тогда как я был еще в Слуцке и всё в драке. Что делать? Сзади неприятель, с боку неприятель, и вчера получил известие, что и Пинск занят. Я никакой здесь позиции не имею, кроме болот, лесов, гребли и песков. Надобно мне выдраться, но Могилев в опасности, и мне надобно бежать. Куда? В Смоленск, чтобы прикрыть Россию несчастную. И кем? Господином Фулем»19.

Было ли у Даву непомерное превосходство

Из рапортов и писем Багратиона видно: он считал движение на Минск вообще невозможным из-за подавляющего численного превосходства противника над его армией. В оправдание своего отступления в рапорте от 26 июня Багратион писал, что «при готовности и доброй воле вверенного мне войска, быв десять дней на маршах без растахов, делая переходы по пятидесяти верст, не далее как вчера еще, зная еще о приближении неприятельских сил к Минску и о стремлении занять оный прежде меня, с полною надеждою на храбрость войск, считая противу себя у Минска неприятеля хотя в шестидесяти тысячах, я был в решительности атаковать его, пробиться в соединение к Первой армии, как из подносимого при сем в копии приказа моего к войскам усмотреть соизволите». А далее он объясняет, что, «к крайнему прискорбию, удостоверившись в непомерном превосходстве сил неприятельских от Вильна чрез Вилейку к Минску показавшихся, от Воложина на Раков и Радомковичи туда же следовавших и угрожавших мне от стороны Новогрудка… поставлен был в необходимость переменить все предприятие…».

Не преувеличил ли в тот момент Багратион силы выступившего на него противника? Именно в этом его и винил Александр I в упомянутом выше письме. Причем в том же письме

император больно уколол Багратиона, напомнив ему, чьим учеником он является. Царь писал, что указанное ему направление на Вилейки, а потом на Минск «было сделано в надежде, что, находясь столь часто в походах с славным нашим полководцем князем Суворовым Италийским, вы предупредите неприятеля на сих важных пунктах не столько для того, чтобы совершенно соединиться с 1-ю армиею, как для поставления 2-й армии на направление, имеющее в тылу центр России, чем действия обеих армий сделались бы удобнее и деятельнее. По рапорту вашему вы могли быть в Минске 27 июня, неприятель же занял оный 26-го и по самым достоверным известиям состоял не более как в 6000. Посему, продолжая быстро марш ваш на Минск, вы, несомненно, вытеснили бы его и, пришел в Минск, по обстоятельствам либо удерживали сие место, либо могли свободно отступать на Борисов, где опять наступление неприятеля могло быть предупреждено»21.

Анализируя письмо Багратиона от 26 июня, нельзя понять с ясностью, что имеет в виду автор, указывая на движение французов из Вильно через Вилейки на Минск, в то время как Вилейки находятся в стороне от столбовой дороги Вильно — Минск. Не было ли здесь дезинформации или действительно французы начали перебрасывать силы из занятых ими Свенцян через Вилейки? В конце рапорта Александру I Багратион, в подкрепление своих опасений, пишет, что «недавнее пребывание императора французского Наполеона у войск противу меня, для ободрения их, дает причину соглашаться со сведениями, ко мне дошедшими, что неприятель здесь имеет большие свои силы»22. Из многих источников известно, что Наполеон, прибыв в Вильно 16 июня, провел в нем больше двух недель и 5 июля вышел вместе с гвардией в сторону села Глубокого. Сведений о его поездке в корпус Даву нет.

Что же касается движения каких-то французских сил от Воложина на Раков, то оно было вполне возможно. Скорее всего, это были силы корпуса вице-короля или Даву, тащивших широкий «бредень» вдоль дороги Вильно — Минск, с тем чтобы захватить в него корпуса и соединения русской армии, отходящие от границы южнее Вильно. Наконец, для 2-й армии реальна и очень опасна была угроза с запада — оттуда через Новогрудок надвигался корпус вестфальского короля.

Упоминание в царском письме Суворова с намеком на то, что командующий 2-й армией оказался не лучшим учеником великого полководца, несомненно, больно зацепило самолюбивого Багратиона. Позже, уже на пути от Бобруйска к Могилеву, он как бы в ответ на прежний упрек государя сделал

такую выразительную приписку к своему донесению: «Всемилостивейший государь! Удостойте принять справедливое мое удовлетворение, что быстрота маршей Второй армии, во все времена делаемых по самым песчаным дорогам и болотным местам, с теми тягостями, которые на себе ныне люди имеют, — и великий Суворов удивился бы. Шестьсот верст самого невыгоднейшего местоположения перейдены в 18 дней, имея чрез все почти время сильного на плечах неприятеля, всех больных, пленных и обозы, почти на 50 верст делавшие протяжение армии»23.

Теперь известно, что у Даву против Багратиона было действительно не менее 60 тысяч солдат, причем в момент перехода Немана 12 июня — даже более 60 тысяч (пять пехотных дивизий и корпусные кавалерия и артиллерия). По прибытии в Вильно корпус был отправлен на «охоту» за Багратионом. Но, как писал А. Коленкур, «император оставил маршалу Экмюльскому (Даву. — Е. А.) только часть его корпуса; 1-я, 2-я и 3-я дивизии, которыми командовали генералы Моран, Юден и Фриан, после переправы через Неман были отданы под начальство Неаполитанского короля (Мюрата. — Е. А.) для преследования неприятеля (то есть 1-й армии. — Е. А.) и поддержки кавалерии. У маршала оставались только дивизии Компана и Дезэ, причем половину дивизии Дезэ маршал должен был оставить в качестве обсервационного отряда в Минске». В итоге, пишет Коленкур, для борьбы с Багратионом Даву располагал силами «полутора дивизий»24.

Проверим эти данные. То, что 1-я, 2-я и 3-я дивизии действовали против армии Барклая, подтверждается и французскими, и русскими источниками25. Значит, в распоряжении Даву оставались 4-я и 5-я пехотные дивизии и еще кавалерия под командой бригадного генерала К. П. Пажоля. Итак, в «охоте» на Багратиона принимало участие менее половины корпуса Даву. Прибегнем к простому подсчету. Известно, что в 1-й, лучшей дивизии корпуса Даву, было 17 батальонов пехоты (13 тысяч человек). Стало быть, из общей массы его корпуса (85 батальонов или 61 тысяча человек) на долю 4-го и 5-го корпусов приходилось максимум 26 тысяч пехотинцев. К ним нужно прибавить еще две бригады Пажоля (не более 2,3 тысячи человек). Таким образом, уДаву (до прихода его в Минск) было около 28 тысяч человек.

Но Коленкур не упоминает, что войска Даву были усилены 3-м резервным кавалерийским корпусом и так называемым «Легионом Вислы» (польскими войсками). С ними у Даву под началом оказалось минимум 45 тысяч человек. Корпус

вестфальского короля, тоже подчиненный Даву, имел в строю 19 тысяч человек. Следовательно, против Багратиона действовало всего 64 тысячи человек. 2-я Западная армия имела в строю 45 тысяч человек; кроме того, к ней были приписаны: корпус Платова (4 тысячи казаков) и отряд И. С. Дорохова (4 тысячи человек), всего 53 тысячи.

В принципе, не такое уж большое преимущество, чтобы Багратион панически боялся французов. Но можно допустить, что он, не имея точных сведений о силах противника, мог преувеличивать их численность. Кроме того, французы имели огромное стратегическое преимущество: оба их корпуса обладали инициативой, они действовали если и не согласованно, то на опережение, прочно отсекая Багратиона от 1-й армии и угрожая ему одновременно с флангов и с тыла, стремились зажать 2-ю армию в клещи. В этом смысле положение 2-й армии было во много раз хуже, чем положение 1-й армии, имевшей поначалу «чистый» тыл. Впереди армию Багратиона ждал Даву, а за спиной, в тылу, как темная туча, надвигался корпус Жерома Бонапарта. 26 июня части короля заняли Новогрудок, только что оставленный Багратионом, и далее корпус Жерома почти непрерывно «висел на хвосте» его армии, находясь в одном-двух переходах от ее арьергарда. Существовала реальная угроза, что, вступив в запланированный бой с Даву под Минском, сам Багратион подвергнется удару с тыла со стороны Жерома. А такого развития событий больше всего боялся каждый полководец. Недаром Багратион, упрекая командование 1-й армии в нежелании наступать, считал (между прочим — ошибочно), что у них есть неоспоримое преимущество: «У вас зад был чист и фланги»111. Ермолов, во всем поддерживавший и одобрявший Багратиона в 1812 году, в своих послевоенных мемуарах съязвил в адрес покойного друга: при отступлении от Волковыска ему якобы «изменила… всегдашняя его предприимчивость»27. Ермолов был несправедлив. Кажется, что как раз наоборот — свойственная Багратиону предприимчивость ему не изменила. Недаром в письме императору от 1 июля он сообщал: «Находя себя на каждом шагу в новом и столько же невыгодном положении и отовсюду окружаемый, я принужден нахожусь переменять также мои намерения»1*. Понимая грозившую ему опасность окружения, Багратион не скрывал, что в этой ситуации соотношение сил меняется в пользу противника и сама опасность окружения требует от него особой осторожности. В упомянутом выше письме Ермолову, написанном на марше от Слуцка к Бобруйску, он сообщал: «Я имею войска до 45 тысяч. Правда, пойду смело на 50 тысяч и более, но тогда, когда бы я был

свободен, а как теперь, и на 10 тысяч не могу. Что день опоздаю, то я окружен»29.

Ярость охотника у пустого капкана

Отступление Багратиона в целом оказалось успешным. Своими осмысленными маневрами он сумел избежать, по словам Клаузевица, «главнейшей катастрофы… — полного уничтожения армии». Трудно представить себе, что случилось бы, если бы 2-я Западная армия (треть всех русских сил) оказалась окружена противником, сдалась (как австрийцы под Ульмом) или была бы истреблена французами. Наверняка ход войны кардинальным образом изменился бы в пользу Наполеона. Но Багратион резким разворотом от Николаева на юг и движением на Слуцк и Бобруйск сумел вырваться из западни, ловко приготовленной ему Наполеоном.

В том, что это была именно западня, нет никаких сомнений. Наполеон в Вильно говорил, что «теперь Багратион с Барклаем уже более не увидятся»30. По одной из версий этого разговора Наполеона, приведенной министром полиции А. Д. Балашовым, которого 14 июня послал в Вильно Александр I, император французов сказал, что «ему дали дойти до Вильны и, чувствуя себя здесь хорошо, он здесь и останется, что армия князя Багратиона, несомненно, отрезана и погибла и что без боя он взял уже несколько тысяч солдат»31. И хотя последнее из сказанного Наполеоном было блефом, все же в целом он приоткрыл Балашову замысел операции, которую как раз в эти дни начали успешно осуществлять французы. Нет сомнений, что «охота на Багратиона» была задумана заранее, до начала вторжения. Прав был польский участник «охоты» в составе армии Понятовского К. И. Е. Колачковский, когда писал, что столь поздняя переправа армии Жерома (спустя шесть дней после переправы основных сил) «имела цель ввести в заблуждение Багратиона… в то время как корпус Даву быстрым переходом подвигался к Минску, чтобы отрезать Багратиона от 1-й русской армии Барклая»32. Именно поэтому у Багратиона долгое время была иллюзия, что за спиной у него все спокойно.

Известно, что Наполеон был страшно разочарован тем, что Багратион ушел из западни, и во всем обвинял своего брата Жерома. А. Коленкур писал: «По словам императора, король своими действиями помешал операциям князя Экмюльского и был повинен в том, что Багратион ускользнул от князя и таким образом был потерян результат начального периода кампании»11.

По одной из версий, Жером, переправившийся 18 июня через Неман в Гродно и встреченный там местным польским обществом как освободитель, «загулял» на четыре дня и упустил время, чтобы ударить по Багратиону, двинувшемуся как раз в тот день, 18 июня, из Слонима на Новозыбков. Впрочем, есть и другая версия — так сказать, сугубо «местническая». А. Коленкур писал, что Жером был страшно обижен на брата за то, что тот подчинил его корпус маршалу Даву. «Маршал, — читаем мы в мемуарах Коленкура, — сознавая всю важность операции, которую ему поручил император, ускорил свои переходы, ибо знал, что Багратиону придется пройти длинными и трудными дефиле между огромными болотами, и решил подойти раньше его к выходу из этих дефиле, хотя бы с головными частями своей колонны. Он предупредил короля о своем движении, об имеющихся у него сведениях и о своих планах и предписал ему осведомить об этом Понятовского и теснить Багратиона меж двух огней. Но король был недоволен тем, что он оказался под начальством маршала, и не хотел считаться ни с обстоятельствами, ни с достоинством человека, который был победителем в стольких сражениях и которому он был даже обязан своей короной; раздосадованный, он не исполнил приказа, не заботясь о последствиях неповиновения своему брату и маршалу, и даже не уведомил о полученном приказе Понятовского, который мог бы выполнить его хотя бы частично. Он плохо принял офицера, привезшего приказ, позволил себе даже неуместные замечания», а позже вообще покинул армию. Впрочем, есть сведения, что Жером был отстранен от командования самим императором. «Когда подумаешь о том значении, которое имели бы для всего хода дел разгром корпуса Багратиона и достижение такого результата в самом начале кампании благодаря первому же маневру императора и прекрасным распоряжениям маршала, — заканчивает Коленкур, — то нельзя не почувствовать горечь при виде того, как великому полководцу изменили его близкие еще до того, как ему изменила судьба»34.

Теперь, сопоставляя даты, можно понять, что у Наполеона были веские основания гневаться на задержавшегося в Гродно брата: если бы тот выступил из Гродно даже не 18-го, а 19 июня и достиг Новогрудка 21—22-го числа, то он наверняка поставил бы Багратиона между двух огней, отрезал бы 2-ю армию, которая как раз 22 июня подходила к переправе у

Николаева. Наполеон в гневе писал брату: «Невозможно маневрировать хуже, вы будете причиною, что Багратион успеет уйти и я лишусь плода самых искусных соображений, лучшего

случая, какой, может быть, более не представится во весь поход»35.

Польский участник похода Жерома Бонапарта также считал, что задуманный Наполеоном маневр, который «мог иметь для Багратиона самые роковые последствия, был выполнен королем Вестфальским так неумело, с таким незнанием военного дела, что ббльшая часть дальнейших неудач явилась результатом этой ошибки». То, что Жером задержался в своем движении, стало главным проявлением той «неслыханной бездарности», которая «и спасла Багратиона»31.

Н. А. Троицкий, подвергший жесткой (и в большинстве своем справедливой) критике тенденциозные интерпретации и оценки в советской и постсоветской литературе многих эпизодов и событий войны 1812 года, писал: «Наши историки — от П. А. Жилина до Ю. Н. Гуляева и В. Т. Соглаева — объясняют спасительный марш 2-й армии только “большим воинским мастерством”, “искусным маневрированием” Багратиона. Между тем сам Багратион понимал, что если бы не гродненский “загул” Жерома (“дураки меня выпустили”31), никакое искусство маневра, скорее всего, не спасло бы 2-ю армию от гибели»38. В данном случае мне кажется, что, с одной стороны, Троицкий не учел некоторых, так сказать, «смеховых» особенностей гаерского стиля, присущего ряду писем Багратиона, на чем я остановлюсь ниже, а во-вторых, спасение Багратиона было обусловлено все-таки не только опозданием Жерома. Ведь уже после того, как брат Наполеона (между прочим — моряк по своей военной профессии) вошел в боевое соприкосновение с армией Багратиона, он не проявил себя как талантливый полководец и явно не стремился атаковать 2-ю армию своими основными силами. Это особенно отчетливо проявилось в сражении под Миром, которое ограничилось резней казаков Платова и кавалеристов Понятовского. Между тем как раз тогда у Жерома, по признанию самого Багратиона, была возможность навязать русским большое сражение. Именно тогда-то он мог исправить свою досадную ошибку — следствие задержки в Гродно. Неслучайным кажется, что только 1 июля (уже после прибытия Жерома и Понятовского в Несвиж) донеслись раскаты грома из Главной квартиры французов — Наполеон резко упрекал брата и сурово отчитал за бездеятельность Понятовского, который тоже не проявил себя как полководец. Тогда в раздражении Наполеон даже назвал Понятовского изменником39. Но и после этого нагоняя Жером и Понятовский не смогли навязать Багратиону сражение у следующего пункта — селения Романова. Как и под Миром, победа опять была на стороне казаков и драгун. И здесь, как и

раньше под Миром, Жером так и не ввел в бой основные силы своего корпуса, а 4 июля внезапно оставил корпус и уехал в Варшаву. Командование войсками перешло к Понятовскому.

Поэтому я думаю, что Жером, ведший себя так нерешительно, вряд ли смог бы воспрепятствовать Багратиону в его прорыве из Николаева на юг. 2-я армия, имевшая численный перевес, скорее всего прорвалась бы — все-таки воевавшие под знаменами новоиспеченного короля вестфальцы не были столь искусны в бою, как французы, или столь отчаянны, как поляки. Как считали современники, «вестфальский корпус… служил неохотно, и на него нельзя было твердо положиться»; в сражении под Смоленском под командой Ожеро эта незавидная репутация была подтверждена, а в Бородинской битве корпус «растаял, как весенний снег»40. То, что Багратион обладал ббльшим воинским мастерством, чем Жером или Понятовский, кажется несомненным. Именно благодаря своему полководческому таланту, умению использовать ошибки противника Багратион искусным маневрированием успешно вывел из-под удара свою армию и все приставшие к ней обозы с армейским имуществом (в том числе принадлежавшие 1-й армии), а также больными, ранеными и пленными. Весь этот «тяжелый багаж» был благополучно отправлен в Мозырь и спасен от разграбления французским и польским авангардами.

Но при этом есть основания подозревать, что Багратион еще по дороге на Николаев, вопреки приказу, готовил отход. Дело в том, что уже знакомый читателю генерал-квартирмейстер 2-й армии Ферстер не позже 20 июня (то есть когда Багратион находился в Слониме и только собирался двинуться на Новогрудок) был послан для рекогносцировки пути, но не на Минск или Воложин, а… на Несвиж — Слуцк — Глузк — Бобруйск и уже 27 июня, в Несвиже, вручил Багратиону свой дорожный дневник41.

Иначе говоря, интуитивно чувствуя скрытую для себя опасность при исполнении злосчастного приказа № 316 о движении на Вилейки и сопротивляясь ему в глубине души, Багратион уже с дороги на Новогрудок решил обезопасить для себя пути отступления и для этого послал Ферстера описать Дорогу и позиции на ней по маршруту Несвиж — Бобруйск, то есть в направлении, противоположном заданному приказом императора.

Война портит армию, или Мародерство, сиречь грабеж средь бела дня

В Несвиже, куда Багратион пришел 26 июня, он был вынужден остановиться на три дня — его армия шла непрерывно уже десять дней по тяжелым песчаным дорогам и болотистой местности и нуждалась в отдыхе. В Несвиже Багратион издал приказ, разъяснявший командирам, какие меры «для сохранения здоровья нижних чинов нужно наблюдать». Первый опыт форсированных маршей показал, что нужно, «чтобы люди в жаркое время более отдыхали, а шли бы утром и вечером… винную порцию давать перед обедом и ужином, но никогда натощак… занимая биваки, избегать сколь возможно мокрых и болотистых мест». Как бывало во время похода армии, участились случаи мародерства и грабежей местного населения. Для предотвращения их Багратион приказал: «Обязанность каждого чина охранять и защищать подданных своего государя, а отступающий от сего по законам должен быть расстрелян. Люблю воинов, уважаю их храбрость, настолько ж требую и порядка. И потому, к сожалению моему, сим объявляю, что первого, кто будет найден и обличен в каковом-либо насильственном поступке против жителей, будет расстрелян, а начальник роты, эскадрона или сотни разжалуется в рядовые. Тем более всякий воин заслуживает почтения, ежели он в неприятельской земле, поражая неприятеля, подъемлющего против него оружие, с тем состоянием людей, которые нужны к поддержанию побед, ведет себя кротко… Приказы, отдаваемые мною, читать и внушать нижним чинам, что их своевольство наказано будет смертию»42.

В жизни, а особенно на войне, часто обстоятельства оказываются сложнее, чем предусмотрено инструкциями. Да и вообще, как считали великий князь Константин Павлович, Аракчеев и другие поклонники фрунта, война, как ничто другое, «портит армию». Неслучайно Александр I, в мирные дни столь благосклонно принимавший парады своих войск под Вильно, с началом войны, глядя на солдат, помрачнел. «Я сопровождал императора верхом, — писал 5 июля 1812 года в своем дневнике прапорщик Дурново. — Мы повстречали войска, и император был крайне недоволен тем, как они шли. Он приказал взять под арест полковника, командовавшего полком»41. Естественно, проблему наведения порядка таким образом решить невозможно: война — не плац в Петербурге, а с полковниками, посаженными на гауптвахту, не повоюешь. Поэтому неудивительно, что каждый, приезжавший в действующую армию, сразу же замечал кричащую «неправильность», расхлябанность идущих навстречу ему батальонов.

Известная болезнь армии — мародерство — проявилась почти сразу. Уже 22 июня император Александр был поражен тем,

что «во время верховой прогулки своей, изволил найти в грабительстве деревни и жителей рядовых…». Далее в высочайшем повелении о примерном наказании мародеров перечислены шесть имен44. К тому же нужно помнить, что области, по которым отходила 2-я армия, лишь формально считались российскими. Радожицкий вспоминал, что во время отступления русских войск с территорий бывшего Польского государства поляки отказывались добровольно предоставлять им провиант, сено и прочее — выдаваемые расписки отступающей армии для них ничего не значили, да и симпатий к русским они не испытывали. Царил дух неприязни и даже ожесточения: уходящие с квартир войска никто, как обычно это бывает, не провожал, солдаты и офицеры относились к полякам как к изменникам, из их имений «тащили все, что попадалось им в руки, в биваках валялись стулья, столы, перины, одеяла, занавесы, посуда и всякая живность…»45.

Впрочем, после отхода с бывших польских территорий на собственно русские земли мало что изменилось. Вместо прежнего: «Так им и надо!» — появилось другое оправдание грабежей: «Лучше самим взять, чем отдать неприятелю»46. Не забудем, что следом за отступающими русскими войсками шли французы, «прославившиеся» в Европе еще большими грабежами и насилием над мирным населением. Падение дисциплины было неизбежно из-за самого характера войны, состоящей из ситуаций экстраординарных, не дающих начальству проследить за всеми действиями солдат, как это бывало возможно в казарме и гарнизоне. Да и никто не отменял важного элемента войны — трофеев. Отобрать у побежденного противника оружие, боеприпасы, другие средства ведения войны входило в прямые обязанности воина. А это открывало неограниченные возможности для присвоения победителем казенного и личного имущества побежденного, его одежды, вещей, денег. Как рассказывал старый гренадер Попадищев, он был ранен под Аустерлицем и попал в плен к французам. В импровизированный госпиталь, устроенный в крестьянском доме, один за другим врывались французские и баварские солдаты, обыскивали всех раненых подряд и грабили их. Офицерскую шинель, которую снял в бою с убитого французского офицера сам Попадищев, враги не взяли — она была вся измазана кровью, но медали суворовского ветерана без зазрения совести ободрали. «Что ж, думаю, и их очередь настала шарить по нашим карманам!» — написал ветеран. Грабители врывались еще несколько раз, хотя брать вроде было уже нечего. Наконец пришел старый солдат — истинный профессионал грабежа: «Отстегнул пу говицы у штанов

и в это время нашел зашитые у меня пять червонцев (откуда у простого гренадера червонцы — пусть читатель догадается сам. — Е. А.) и, отрезав их тесаком, оставил меня в покое». Впрочем, и это было еще не все. Вскоре вбежал солдат-баварец и содрал с раненого сапоги, что было сделать непросто — Попадищев был как раз ранен в ногу. Баварец с трудом стащил сапог, но, видно, совесть в нем на мгновение пробудилась, он пожалел своего ограбленного до нитки врага и, видя страшную жажду, которая мучила русского гренадера, принес раненому воды и вина… Пожалуй, есть основания усомниться в правдивости донесения Платова, который отослал к Багратиону первых в этой войне пленных, взятых казаками под Миром (дано с сохранением особенностей орфографии): «Неудивляйтес, ваше сиятельство, что пленные безрубашек и голые, некозаки рубашки сняли, а оне сами их уже в лагире в виду моем, подрали наперевяску ран, ибо голстины нет, а послать для взятья в местечко, вышлоб гробежом ивсе ето делалос в перевяске скоростию, чтобы спасти их»47.

Другой причиной мародерства был голод. Снабжение армии тех времен организовывалось довольно просто. Согласно уставам, армия везла в обозе запас продовольствия (прежде всего сухари). Обоз состоял из провиантских (или сухарных) фур, телег с «порционным вином» в бочках, патронных ящиков и лазаретных телег и карет, а также телег с другими «тягостями» (понтонами, шанцевым и прочим имуществом). Кроме того, обоз составляли телеги, кибитки и кареты офицеров, которые везли с собой запасы провианта, личные вещи, денщиков, слуг и даже жен. Приказом 19 июня предписывалось, что патронные ящики «всегда должны находиться при полках, а провиантские фуры иметь всегда во время марша в некотором расстоянии от корпуса, а лазаретные кареты должны идти в след за полками для больных и слабых»4*. Это выражение — «некоторое расстояние от корпуса» — при форсированных маршах, тяжелых, а иногда и непроезжих дорогах становилось из канцелярской фигуры речи грубой реальностью: к моменту «приема пищи» сухарные и иные фуры оказывались в одном-двух переходах от полка, то есть в 30–50 верстах от бивака. Еще больше отставал «порционный скот».

Это понятно: стадо коров и быков могло пройти не более 5–6 верст в день, а пехотинец — до 25 верст. Поэтому солдатам, съевшим в дороге прихваченные с собой сухари (обычно брали сухарей на три-четыре дня), на биваках попросту было нечего есть, а это с неизбежностью порождало мародерство, грабежи. А когда есть очень хочется, патриотический характер войны не может быть препятствием для грабежа своих же

соотечественников. Не меньше проблем возникало и с фуражом для коней. Митаревский пишет, что солдат велено было обеспечивать из сухарных фур, «а фураж брать, где найдется, под квитанцию…». Между тем квитанции были ничего не значащими бумажками и не препятствовали мародерству, тем более что если сена и овса у крестьян уже не было, то солдаты косили рожь и траву в ближайших окрестностях. Впрочем, как писал один из французских участников похода Митаревский, рожь и трава были скошены уже на расстоянии пяти верст от дороги. «Тут мы начали понемногу таскать, где случится, коров и свиней и варили уже для солдат пишу в котлах». Митаревский пишет, что грабить местных жителей «настоящего позволения не было, но этого начальство как будто не видало и не обращало внимания»44. Далее он описывает с юмором, как поднятое мародерами в одном из селений стадо свиней с визгом кинулось на дорогу, по которой двигались полки, и там тотчас началась «потеха» — ни одна свинья через дорогу не перебежала, все они попали в солдатские котлы… Постепенно солдаты научились находить спрятанный местными жителями в ямах хлеб, искусно выслеживать укрытую в лесах крестьянскую скотину. Заметим, что подчас мародерство было уже единственным способом раздобыть еду и корм для лошадей. Один из французов так описывает реалии жизни армии: «Несмотря на усталость и опасности, которым подвергаются люди, сворачивая с дороги… голод толкал множество людей на мародерство по деревням в двух-трех лье от дороги, которые еще не были разграблены, ни сожжены при наступлении к Москве. Много из этих мародеров было схвачено, но все же эти мародеры снабжали колонну продовольствием и спасли армию. Они возвращались с лошадьми, отобранными у жителей, и… ржаной мукой, перемешенной с отрубями и свининой (), что и продавали за большие деньги, а на следующий день опять шли за добычей для продолжения торговли, но, конечно, сомнительно, чтобы они остались в барышах. Как ни плоха была мука, из нее делали размазню, которую, чтобы согреться, ели горячей».

Бивак — дом солдата

Сноровисто и согласованно действовали солдаты на биваке — одни разжигали костер, готовили еду, другие строили шалаши. Деревья для костра не рубили — «их трудно было распиливать», обычно брали дрова у местного населения или ломали сначала заборы, плетни, потом сараи и пристройки, а затем раскатывали и дома. Бывало, что в местах бивака крупного воинского

соединения целые деревни исчезали без следа — дома и сараи в одно мгновение растаскивали на дрова для костров, солома с крыш тоже не пропадала — шла на подстилку и укрытие от дождя: «Делали из жердей козлы, связывали их соломой вверху, на высоте в рост человека, одну сторону переплетали поперечными жердями, прокладывали соломою, а спереди разложены огни. Таковы были наши бивуаки, но от дождя это была плохая защита — можно было спрятать одну голову». Артиллеристы покрывали лафеты кожами и под ними спали. Радожицкий, легко раненный в бою, но не оставивший товарищей, страдал от бивачной жизни: «В первый раз я почувствовал здесь беспокойство бивачной жизни: цыганские шалаши из хвороста, кой-как сплоченные и покрытые травой, составляли временные жилища наши. Дождевая мокрота и ночной холод заставляли беспрестанно перед шалашами иметь курящиеся костры, дым от сырого хвороста, мешаясь с табачным от курильщиков, щекотал горло и вынуждал слезы и кашель. Товарищи, развалившись на мокрой соломе под бурками, забавлялись кто во что горазд (в основном играли в карты. — Е. А.), но я не знал, куда деваться с ногою, везде было мне неловко, больно и, как говорится, не по нутру»51.

Французы, шедшие за русскими, испытывали те же или даже бблыпие трудности и действовали так же, как и русские. Пьер де Лош, один из офицеров Великой армии, писал: «Едва достигали бивака, как армия рассыпалась в поисках провианта. Солдаты приносили рожь, муку, но никогда им не удавалось разжиться хлебом… За неимением хлеба клали муку в суп. Бблыпая часть солдат пользовалась этой пищей во время всего похода. Благодаря отнятым у поляков быкам и коровам, которых мы вели с собой, в мясе у нас недостатка не было, несмотря на то что во всех ущельях, около каждого моста, где скот смешивался, войска друг у друга его воровали». По русским источникам видно, что воровство скота в соседнем полку было обычным делом, порой приводившим к стычкам между солдатами52. В XIX веке были нормативы по «порционному скоту»: «Здоровое животное ест достаточно. На ощупь его кожа мягка, а мясо плотно и упруго, движения бодры и легки, глаза ясны и подвижны, оболочка носа красна и влажна, язык не выпускается, дыхание ровное, и выдыхаемый воздух, а также испражнения не имеют отвратительного запаха»51. Мясо положено было осматривать через 24 часа после убоя. Естественно, в походе, о котором идет речь, нормативы не соблюдались. Если не было крупного рогатого или мелкого скота, то ели лошадиное мясо, а когда французы отступали от Москвы, один из мемуаристов описывает жуткий

способ обеспечения солдат мясом: вырезали мясо прямо из идущих по дороге лошадей, и на морозе истомленные, обреченные на гибель животные этого даже не чувствовали.

Без хлеба и сухарей жить было невозможно. Солдат получал полфунта мяса в день и три фунта печеного хлеба (или столько же сухарей). В походе, при первой же возможности, как только разживались мукой, пекли хлеб и тотчас из него сушили сухари. «У меня в эскадроне, — вспоминает французский офицер, — не было хлебопека, но всесильная нужда всему научит солдата, и в походе и на биваке люди брались за работы, которые были под стать только специалистам. Если стояли на реке, стирали белье, сами чинили белье, одежду, обувь, конское снаряжение, и солдату приходилось быть прачкой, портным, белошвейкой, мясником, булочником и шорником… Интересуясь выпечкой, я торопил людей, тем более что опасался сигнала “поход”, когда пришлось бы оставить людей для окончания выпечки, а потом везти хлеб за собой»54.

И далее мемуарист рассказывает о том, что его солдаты пекли хлеб, используя для этого древнейшие способы: «Мы пекли лепешки, подобные таковым шотландским хайлендерам: мука разводится в воде, замешивается довольно крутое тесто, из которого делают круглую и плоскую лепешку, она ставится в огонь на горячие, покрытые золой уголья, и минут через 25 готова очень вкусная лепешка»55.

Взор перпендикулярный. Сохранившиеся источники обычно умалчивают о фактах насилия над женщинами из селений по пути следования войск. Разумеется, такие факты были — ведь по дорогам шли десятки тысяч молодых мужчин, уже давно разлученных со своими женами и возлюбленными. Примечательна запись 37-летнего князя В. В. Вяземского, спасшего от насилия целый женский польский пансион в местечке Антополь: он перевез женщин в какую-то деревню, «удалив его от пламени и грабительства».

Вяземский пишет, что корпус отошел на позицию, чтобы сразиться с австро-саксонским корпусом Шварценберга и Ренье: «Мне поручены были передовые посты. Я, объезжая передовые посты рано очень, заехал в деревню, где были мои пансионерки. Все вскочили, в одних рубашонках, с открытыми грудионками, цаловали мне плечи. Полная грудь Высоцкой прельщала меня, и я, шутя, начал ее цаловать и, опустя мой взор к земле перпендикулярно, видел всю Высоцкую (вот она, точность выражений военных! — Е. А.). Какое надобно терпенье! Боже мой, это моя Катя в 16 лет (1-я жена, генеральша Екатерина Григорьевна. — Е. А.). Прости, Катинька, сравнение, ей-Богу,

хорошо: та же белизна, та же твердость, та же прелестность и даже… — прости, Катя. Проклятый Шталь прискакал во всю прыть сказать, что отряд неприятеля около деревни. Прости, ангел Высоцкая! Ух, и теперь еще не опомнился от прелестей ее… Армия наша была атакована неприятельскою армиею…» Через пару дней: «Как я измучился, 46 часов не ел, не пил, с лошади не сходил. Забудешь и о красоточке Высоцкой. Кобрин опять в пламени, и бедные жители опять в стенании»56. Не у всех воинов была такая железная воля, как у генерала Вяземского…

Дрисский лагерь. Уютная ловушка

Хотя Багратион вырвался из ловушки около Николаева, угроза окружения по-прежнему висела над ним, а главное — оставалось невозможным соединение с 1-й армией. А та шла своим, не менее трудным путем. В тот самый день 26 июня, когда Багратион достиг Несвижа, войска 1-й Западной армии более чем в 200 верстах от него уже занимали Дрисский укрепленный лагерь. Подробно рассказывая о марше Багратиона и его взглядах на действия (или, как он считал, бездействие) 1-й Западной армии, будем объективны и к Барклаю. Ему приходилось нисколько не легче, чем Багратиону. Да, у него была более сильная армия, но против него выступал сам Наполеон. С таким противником следовало быть предельно осторожным и расчетливым. Эту расчетливую осторожность Барклай и проявлял с первых дней войны. Он, как опытный и хладнокровный фехтовальщик, отступал перед делавшим острые выпады искусным противником, выбирая наилучший момент и место для ответного выпада. Но вот с этим как раз и не складывалось.

Долгое время самой удобной позицией считалась излучина Западной Двины у местечка Дрисса, заранее превращенная в укрепленный лагерь по проекту генерала Фуля. Когда же в конце июня 1812 года 1-я Западная армия подошла к Дриссе, многим генералам стало ясно, что закрепляться здесь нельзя, иначе армии грозит разгром. В тогдашней нервной обстановке заговорили, естественно, об измене, предательстве, которые привели армию в ловушку. Но, как справедливо выразился в письме домой близкий к Александру I генерал Армфельд, «все думают, что главную роль здесь играет измена, никто не предполагает, что это просто глупость». Участник событий А. Х. Бенкендорф писал, что соперничавший с Фулем генерал Паулуччи якобы прямо сказал Фулю: «Этот лагерь был выбран изменником или невеждой — выбирайте любое, ваше

превосходительство»57. Но Клаузевиц, хорошо знавший тогдашнюю обстановку (он служил под началом Фуля), говорил не о глупости и тем более не об измене. Он считал, что создание этого лагеря явилось плодом умозрительных, оторванных от жизни размышлений («игры мыслей») ближайшего военного советника Александра I. Как «человек кабинетный», генерал Фуль был далек от представлений о реальности. Укрепленный лагерь у Дриссы, в котором должна была засесть 1-я Западная армия ввиду превосходящих сил противника, не имел эшелонированной обороны, а главное — армия, войдя в него, оказывалась прижатой к берегу Западной Двины и не могла свободно отойти с этой позиции. Такое положение лагеря превращало его в ловушку, подобную той, в которую за его лет до этого попал Петр Великий на Пруте во время Русско-турецкой войны 1711 года. И хотя прообразом Дрисского лагеря были укрепленные лагеря Фридриха II (особенно Бунцельвицкий лагерь времен Семилетней войны), здесь не было такой мощной крепости, какая имелась возле Бунцельвицкого лагеря. А лишь в сочетании с крепостными сооружениями, цитаделью, мощной артиллерией и магазинами подобный лагерь позволял полевой армии пересидеть любого противника и совершать против него эффективные выпады.

Александр — полководец неудач

В начале июля в Главной квартире решалась судьба армии. Сам Александр, по словам А. А. Щербинина, в тот момент «начинает сомневаться, созывает военный совет, коего все члены… доказывают, что лагерь этот должен быть погибелью и гробом нашей армии»58. Как писал Армфельд, решающим стало обращение к императору семнадцати генералов, собравшихся 1 июля у генерала Тучкова 1-го. Обсудив ситуацию, они единодушно просили государя отправить Фуля в отставку и срочно переменить план действий. Александр прислушался к мнению генералитета и согласился на отступление армии вверх по Западной Двине к Полоцку, а потом к Витебску и Орше — месту предполагаемой встречи с армией Багратиона. В тот же день армия покинула лагерь на Дриссе. Вскоре возле него показались французы. С опаской они приближались к внушительным земляным укреплениям. «У многих, — писал вюртембержец доктор Роос, — вероятно, тогда при приближении к этому необыкновенной высоты окопу, имевшему значительное число амбразур, тревожно билось сердце. Чем ближе подходили мы к укреплению, тем тише мы становились, не слышно было ни

стука оружия, ни отхаркивания, ни кашля, ни одна лошадь не ржала. Каждую минуту мы ожидали огненный привет со стороны этого окопа. Вдруг тишина сменилась каким-то бормотанием и затем перешла в хохот. Не оказалось ни пушки, ни солдата в этом колоссальном окопе»59. Французы, занявшие лагерь, тотчас его разрушили60.

По-видимому, именно тогда, после ухода из Дрисского лагеря, навсегда закончилась полководческая деятельность Александра I. Несомненно, он был уязвлен уничтожающей критикой плана Фуля со стороны большинства генералов. Ведь это был, в сущности, его, императора, план, взлелеянный долгими раздумьями и советами с Фулем. Впрочем, по мнению В. М. Безотосного, здесь не обошлось и без «византийства»: вряд ли император Александр, никому никогда не доверявший, мог ставить только на Фуля; фигура прусского генерала «была выбрана как подходящий объект критики военных кругов… генералитет ругал не императора, а его глупого советника», и на самом деле план Фуля должен был маскировать подготовку к наступательной войне61.

Приведенная исследователем версия кажется вероятной, но излишне усложненной, — в жизни обычно все выглядит проще: недаром армия в конечном счете пришла в лагерь, придуманный Фулем и одобренный государем. Для нашего сюжета важно, что общий протест генералитета не только переменил прежнее намерение царя засесть в лагере и совершать выпады против Наполеона, но и похоронил тот план «фланговых ударов» 2-й армии, которому всеми силами сопротивлялся Багратион. Как осторожно писал А. Х. Бенкендорф, заботившийся о явно подмоченной репутации Александра I как полководца, «император, слишком скромно еще оценивавший собственные военные способности, поверил в этом отношении голосу своей армии и, к счастью, покинул Дрисский лагерь, предав его общей критике»62.

Надо отдать должное русскому императору. Он не упорствовал в следовании своему плану, а, переступив через гордыню, нашел мужество отказаться и от плана, и от Фуля. А ведь мог, будучи самодержцем, пренебречь мнением профессионалов и угробить армию, а вместе с ней и Россию. Примечательно, что еще накануне Александр не только принял решение дать генеральное сражение, но даже приурочил его к юбилейной дате — дню полтавской победы 27 июня 1709 года, о чем известил войска особым указом: «Русские воины! Наконец вы достигли той цели, к которой стремились… Нынешний день, ознаменованный Полтавской победой, да послужит вам

примером! Память победоносных предков ваших да возбудит к славнейшим подвигам. Они мощною рукою разили врагов своих, вы, следуя по стезям их, стремитесь к уничтожению неприятельских покушений на веру, честь, отечество и семейства ваши. Правду видит Бог и ниспошлет на вас благословение Свое»61. Вскоре планы переменились, и битвы в день полтавского юбилея не произошло.

Седьмого июля, когда армия достигла Полоцка, Александр незаметно покинул войска и уехал в Смоленск и далее в Москву. Это не было поступком труса — напрасно обвиняла в этом государя его младшая сестра Екатерина Павловна. В отъезде царя было заложено разумное, рациональное начало. Накануне он получил письмо, подписанное тремя своими приближенными — А. А. Аракчеевым, А. Д. Балашовым и А. С. Шишковым. Авторы письма призывали государя покинуть армию и не рисковать собой во имя предстоящей, несомненно долгой, борьбы с неприятелем. Они писали, что страна нуждается в организации длительной обороны, а подданные — в моральной поддержке, ибо при малейших успехах неприятеля «сама внутренность государства, лишенная присутствия государя своего и не видя никаких оборонительных в ней приготовлений, сочтет себя как бы оставленной и впадет в уныние и расстройство, тогда когда бы, видя с собою монарха своего, она имела сугубую надежду: первое — на войски, второе — на внутренние силы, которые, без всякого сомнения, мгновенно составятся окрест Главы Отечества, Царя». Другая причина, по которой советники считали отъезд государя необходимым, состояла в том, что император, находясь при войсках, не предводительствует ими, передав начальство военному министру, но тот, в присутствии государя, «не берет на себя в полной силе быть таковым с полной ответственностью». Пожалуй, именно в осознании этого факта и заключалась главная причина решимости Александра покинуть армию. Позже император писал сестре Екатерине, что «пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию, где полагали, что я приношу вред, снимая с генералов всякую ответственность, что я не внушаю войскам никакого доверия». По словам Александра, он хотел вернуться в армию, если бы не Кутузов, — «отказался от этого намерения лишь после этого назначения, отчасти по воспоминанию, что произошло при Аустерлице из-за лживого характера Кутузова»64.

Впрочем, Александр I все же сыграл выдающуюся роль в этой войне. Во-первых, он с самого начала войны (и даже до ее начала) принял твердое решение не искать мира с Наполеоном, как бы тяжелы ни были обстоятельства. По словам Г. Ф. Паррота,

проректора Дерптского университета, с которым государь виделся в марте 1812 года, Александр сказал ему: «Я, конечно, не заключу постыдного мира, скорее похороню себя под обломками империи»65. Как говорил император чуть позже полковнику А. Ф. Мишо, «Наполеон или я, он или я, но вместе мы царствовать не можем. Я узнал его: он более меня не обманет»66. Неслучайно, посылая из Свенцян А. Х. Бенкендорфа к Багратиону, царь велел передать главнокомандующему 2-й армией, что «ничто не заставит меня положить оружие, пока неприятель будет в наших пределах»61. Это же государь повторял много раз, отрезая себе и своему окружению путь назад, к миру с завоевателем. То, что царь просил передать свою политическую волю главнокомандующему одной из армий, и в такой форме, крайне важно. Тем самым он подтверждал твердость и серьезность своих намерений, пресекал у всех подданных даже тень сомнений в том, что они проливают кровь не ради нового позорного Тильзита, а во имя независимости Родины, Отечества, которому действительно грозила смертельная опасность.

Александр осознавал невозможность переговоров с Наполеоном. Даже «мягкий» для России Тильзитский мир 1807 года оказался тяжек и унизителен, «…когда, — по словам А. С. Пушкина, — не наши повара / Орла двуглавого щипали / у бонапартова шатра». А теперь даже на тильзитский вариант рассчитывать не приходилось. Примеры других, побежденных Францией стран стояли перед российским императором. Известно, что Александр читал аналитическую записку начальника русской разведки Чуйкевича и наверняка был согласен с его оценкой дипломатии Наполеона-победителя: «Не столько страшен Наполеон в самой войне, сколько посреди мира. Народам, вступающим с ним в союзы, перо его опаснее самого меча. Едва заключит с народом мир, то уже и готовит ему в кабинете своем оковы и, до объявления войны, потрясает его основание мерами, в коих он превосходен, расстраивает пружины государственного управления, посеевает в оном раздор, а в областях дух мятежа и неудовольствия»68.

В случае военной победы Наполеона Россию ждали тяжкие испытания, и Александр отчетливо понимал это. Действительно, Наполеон готовил серьезнейшие геополитические изменения в Восточной Европе. А. Коленкур писал, что, предвкушая свою несомненную победу, Наполеон говорил ему: нужно «раз навсегда покончить с колоссом северных варваров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы… В соприкосновение с цивилизацией их привел раздел Польши.

Теперь нужно, чтобы Польша, в свою очередь, отбросила их на свое место… Надо воспользоваться случаем и отбить у русских охоту требовать отчета в том, что происходит в Германии… После Эрфурта Александр слишком возгордился. Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть он не вмешивается в дела Европы»69.

Александр, исполненный всевозможными аристократическими предрассудками и комплексами, в этот критический момент поднялся над ними, показал себя национальным лидером, вождем своих подданных, всех россиян. Он не побоялся поднять народ на войну, вооружить крестьян, воодушевить их в сущности на «испанский вариант» борьбы с врагом партизанскими методами. До сих пор не оставляют нас равнодушными слова «Воззвания к нации», подписанного Александром 6 июля 1812 года, то есть вскоре после оставления Дрисского лагеря. Несколько напыщенный (в стиле того времени) и вместе с тем встревоженный тон воззвания свидетельствует об осознании царем серьезнейшей опасности, нависшей над Россией. В час испытаний, потрясших империю, Александр прибег к помощи народа. Недаром его бабка императрица Екатерина II считала, что за русским народом можно чувствовать себя как за каменной стеной. Когда враг стоял у ворот, власть в России часто искала помощи народа. В этом смысле александровское «Воззвание» чем-то напоминает первые обращения советских лидеров в начале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов к народу, вдруг ставшему для них «братьями и сестрами».

В манифесте Александра говорилось: «Враг вторгся в пределы нашей родины и продолжает нести свое оружие в глубь России. Он идет с вероломством, могущим разрушить империю, которая существовала всегда в течение многих поколений; он атакует ее с силой и пытается опрокинуть власть царей объединенными силами Европы. С предательством в сердце и лестью на губах он ищет возможности обмануть доверчивые души и навязать им оковы. Но если пленный разглядит свои цепи под цветами, умысел властелина раскроется сам собой, война ему необходима, чтобы утвердить дело предательства…» Неясно, что имелось в виду в последней фразе. Возможно, Александр таким образом туманно обвинял Наполеона в вероломном вторжении и измене тем мирным договоренностям,

17 Е. Анисимонкоторые были заключены между ними раньше. Возможно, он опасался также, как бы Наполеон не отменил крепостное право и не дал крестьянам свободы на занятых им территориях, что изменило бы соотношение сил в стране. Мысль о том, что завоеватель может это сделать, подняв тем самым

страну на бунт, беспокоила власти. (Тревога по этому поводу проскальзывает в переписке министра полиции А. Д. Балашова и главнокомандующего Москвы Федора Ростопчина70). Воззвание Александра кончается призывом объединиться; царь обещает, что французы найдут «в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном лице — Палицына (келаря Троице-Сергиева монастыря, прославившегося в годы Смуты начала XVII века. — К А.), в каждом крестьянине — Минина. Благородное дворянское сословие! Вы были всегда защитниками нашего Отечества! Святейший Синод и представители нашего духовенства, вы во всех условиях призывали своим заступничеством Божественное покровительство нашему Отечеству! Народ русский! Бесстрашные потомки славян! Это не в первый раз, как вы разбиваете зубы тигров и львов, что бросались на вас! Объединяйтесь! Несите крест в ваших сердцах и железо в ваших руках, и никакая земная сила не устоит против вас!».

Наконец, император одобрил идею посылки «летучего корпуса» генерала Ф. Ф. Винценгероде с диверсиями по тылам и коммуникациям французов. И хотя задача корпуса состояла в прикрытии фланга 1-й армии, силою обстоятельств он стал выполнять роль партизанского отряда, ведя «неправильную», с точки зрения военной науки и этики того времени, диверсионную, партизанскую войну в тылу врага. Чуть позже ее стали вести малые соединения регулярной армии под командой ставших знаменитыми партизанских командиров Давыдова, Фигнера, Сеславина и др. Все они действовали под непосредственным руководством Главной квартиры.

Отступление от Дриссы

1-я армия выступила из Дрисского лагеря 2 июля и 6 июля прибыла в Полоцк. Войска испытали все те трудности, которые выпали на долю солдат и офицеров армии Багратиона. Отступление всегда печально и томительно в моральном и физическом смысле. Нелегко воину, мужчине сознавать свою слабость перед лицом наступающего противника. Неслучайно, когда, подъехав к солдатскому биваку, Барклай задал вполне традиционный вопрос: «Хороша ли каша» — он получил непривычный, даже дерзкий ответ: «Хороша, да не за что нас кормят…»71 Ответ этот понятен тем, кто знает историю русской армии за последние десятилетия XVIII века. В умах еще царил Суворов, в строю шли ветераны его победных походов. Радожицкий вспоминал о том удручении, которое овладело

солдатами при отступлении: «В откровенных беседах их часто вызывались незабвенные имена Румянцева, Суворова… Русские до сего времени не умели ходить назад, и слово ретирада в их понятии заключало в себе нечто предосудительное, не свойственное достоинству храбрых воинов, приученных Румянцевым и Суворовым ходить только вперед и побеждать. Иной полководец, может быть, никогда бы не решился на продолжительную ретираду, он скорее б лег, как Леонид, со всеми воинами у рубежа границы, а (не) повел бы собою неприятелей в сердце отечества»72.

Людей изматывали тяжелая дорога, жара, дожди, а главное — постоянная опасность со стороны противника. Остановки на отдых были короткими, и солдатам порой не разрешали раздеваться, расседлывать лошадей, составлять ружья в пирамиды, разводить костры — противник был близко, так что за время краткой передышки командирам не удавалось сделать главного, что предписывали все уставы, — накормить людей и лошадей. Иногда смертельная опасность вынуждала бросать устроенный с таким трудом бивак и тут же вступать в бой. Драгунский полковник К. Крейц вспоминал, как он остановился со своей бригадой в какой-то деревне под горой (на ней были расставлены пикеты) и разрешил солдатам развести костры, но вдруг «пикеты начали быть сбиваемы и… вся гора покрылась сильною кавалериею (противника. — Е. А.), и два орудия открыли огонь по деревне. Едва войска успели сесть на коней, оставив котлы у огня, как Иркутский полк повел атаку с фронта, а казачий во фланг. Неприятель был смят, сбит и прогнан, едва успел спасти орудия. Слишком 500 захвачено в плен с офицерами… баварцев… Войска возвратились к котлам и сену и спокойно переночевали»71. И это был еще удачный случай — каша с мясом уцелела, и не пришлось ее поспешно выливать в огонь — иного способа опорожнить бесценный для солдат котел в момент выступления не было.

В дневнике гвардейского капитана Павла Пущина каждый раз отмечается, как и когда им разрешали отдыхать: 14 июля: «Мы заснули в полной амуниции»; 17–19 июля: «Разрешили варить суп»; 6 августа: «Наш корпус… остановился, поставил ружья в козлы и отдыхал…»; 7 августа: «Солдатам позволили раздеться, а кавалерии — расседлать лошадей… нас остановили, раздеться не позволили и приказали ждать новый приказ, который так и не был получен»74. Не легче приходилось кавалеристам. «Мы идем и день и ночь, — писала Надежда Дурова, — отдохновение наше состоит в том только, что, останови полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса, уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей,

а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною… Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении… В ту ночь Подъямпольский (командир эскадрона. — Е. А.) бранил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов». Командир твердил, что офицеры обязаны «смотреть за своими солдатами, чтоб не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей»75.

Солдаты и офицеры привычно располагались под открытым небом. Впрочем, иной раз офицерам удавалось переночевать в палатках, которыми стали заменять привычные шалаши. Павел Пущин записал в дневнике: «Опять пошла у нас мода на палатки, я тоже приобрел себе совсем маленькую, которую всегда можно очень быстро раскинуть, так как для установки шалаша требовалось время»76. А. Щербинин описывал тяжелый быт высших офицеров: генерал Коновницын останавливался в курной избе, где было тесно, грязно, где сновали тараканы, а офицеры его штаба жили на соломе, в сарае, где «помещались вповалку. Тут собирались мы строить чаи, потому что в тесной избе Коновницына для этого раздолья места не было». Многие видели, как на ковре, укрывшись от дождя буркой, спал генерал Д. С. Дохтуров77.

Хуже приходилось штабным, свитским, изнеженным сановникам, ехавшим с государем, — покинув в Вильно комфортабельные квартиры, они оказались в черте оседлости, в маленьких и грязных местечках, где, как писал Армфельд, «жиды, тараканы, клопы и блохи изобилуют в невероятном количестве, но зато полное отсутствие того, что необходимо для жизни»…

Глава тринадцатая
На берегах Борисфена

Витебск — место грядущего сражения

Движение 1-й армии к Полоцку было быстрым. Капитан П. Пущин записал в дневнике: «Лагерь у Полоцка. Снялись от Соколицы в 3 часа пополудни, шли всю ночь, пришли в Полоцк в 7 часов утра. Дождь шел всю ночь, переход был очень утомительный, но нам предстояло еще три таких перехода, чтобы опередить французов у Витебска»1. Барклай спешил, ибо опасался флангового удара Наполеона. Оставленному с корпусом на Двине генералу П. Х. Витгенштейну главнокомандующий писал, что колонны неприятеля «берут направление от нас влево. Все сие доказывает, что неприятель намерен обходить наш левый фланг и тем вовсе отрезать 1-ю армию как от 2-й, так и от сердца самого государства»2. Действительно, Наполеон, узнав о том, что русские покинули Дрисский лагерь, пошел из Глубокого к Бешенковичам, то есть южнее Полоцка, «срезая угол».

Остановившись днем в Полоцке, 1-я армия 8 июля двинулась по левому берегу Двины, совсем ненамного опережая французов по дороге к Витебску. Барклай писал Багратиону, что он будет в Витебске 11 июля «для скорейшего соединения с вами»3. Прийти к Витебску 1-й армии удалось действительно 11 июля. Но двигаться дальше, на Оршу, как поначалу объявил в своем письме Багратиону Барклай, главнокомандующий 1-й армией отказался. Войска, пройдя форсированным маршем по тяжелой дороге, были истомлены до предела, нужен был отдых хотя бы на один день. К тому же солдатам не хватало провианта, и его начали брать силой у местного населения. В тот момент Барклаю показалось, что позиция под Витебском весьма удобна для сражения. Он написал царю: «Здесь я взял позицию и решился дать Наполеону генеральное сражение». Нужно было только дождаться 2-ю армию Багратиона, двигавшуюся от Бобруйска к Могилеву, и сдержать французов на подступах к Могилеву до ее подхода.

Тринадцатого июля Барклай получил известие о движении основных сил Наполеона к Островне, лежащей в нескольких верстах от Витебска. Чтобы остановить неприятеля, туда был послан корпус генерала А. И. Остермана-Толстого. Он занял удобную для обороны позицию на дороге Островна — Витебск. Здесь части 1-й армии впервые приняли бой с главными силами

Наполеона: на корпус Остермана-Толстого «навалилась» конница Мюрата, а затем подошла пехота итальянского вице-короля Евгения Богарне. Остерман-Толстой держался до десяти часов вечера 13 июля, успешно отбивая атаки неприятеля. Известно, что почти каждое крупное сражение порождает свои легенды, фольклор, обычно героический. И. Т. Радожицкий пишет, что адъютанты докладывали командующему графу Остерману-Толстому, что «в пехоте много бьют ядрами людей, не прикажете ли отодвинуться? — “Стоять и умирать!” — отвечал граф решительно… Такое непоколебимое присутствие духа в начальнике в то время, как всех бьют вокруг него, было истинно по характеру русского, ожесточенного бедствием отечества. Смотря на него, все скрепились сердцем и разъехались по местам умирать»4.

Стоять и умирать! Возможно, рассказ Радожицкого — легенда. Но по своей сути сказанное Остерманом имеет глубокий смысл в обычаях принятого в те времена ведения боя. Генерал-майор (будущий фельдмаршал) граф М. С. Воронцов, командовавший накануне войны 1812 года Нарвским пехотным полком, написал особое «Наставление господам офицерам Нарвского пехотного полка в день сражения». Этот основанный на боевом опыте военачальника документ так понравился Багратиону, что он приказал отпечатать «Наставление» и раздать по всем полкам 2-й армии. В нем было сказано: «Ежели полку u.iu баталиону будет приказано стоять на месте фронтом под неприятельскими ядрами, то начальник роты обязан быть впереди своей роты, замечать и запрещать строго, чтобы люди от ядер не нагибались; солдата, коего нельзя уговорить от сего стыдом, можно пристращать наказанием, ибо ничего нет стыднее, как когда команда или полк кланяется всякому и мимо летящему ядру. Сам неприятель сие примечает и тем ободряется». Действительно, в армии считалось дурным тоном «кланяться ядрам». «Свист ядер, — писал А. С. Норов, — учащался, и мы, то есть новички, отвесили им несколько поклонов, чему подражали и некоторые солдаты, но видя, что учтивость наша ни к чему не ведет, и получив замечание старых бойцов не кланяться, сделаясь уже горды»1. Так было принято вести себя и в других армиях того времени. Как вспоминал участник Бородинского сражения, поляк, командир роты Г. Дембиньский, во время обстрела их позиций русской артиллерией в нескольких шагах от солдатского строя его роты упала граната «и начала шипеть, как обычно перед тем, как лопнуть». Тогда Дембиньский, «пришпорив коня, двинулся прямо на вращающуюся гранату, встал прямо над ней и стал поименно называть своих солдат, чтобы выровнять строй. Судьбе

было угодно, чтобы граната не взорвалась»6.

В основе столь жестокого и — по нашим представлениям, навеянным войнами XX века, — нерационального поведения на поле боя лежали принципы линейной тактики, предполагавшей боевое построение в виде развернутого строя стоявших плечом к плечу солдат. Построенный таким образом побатальонно полк представлял собой как бы единый, слаженный и управляемый командирами живой механизм. Линейная тактика категорически запрещала нарушать построение, даже если полк не вышел на огневую позицию, но уже оказался под артиллерийским огнем противника. Когда ядро или картечь попадали в шеренгу и вырывали часть стоящих солдат, то нестроевые (или, как в Бородинском сражении, ополченцы) выносили раненых, отодвигали в сторону убитых и батальон вновь смыкал строй. Командирам предписано было смотреть, чтобы «здоровые отнюдь не выходили, убылые места 1-й и 2-й шеренги (командир) тотчас пополняет из 3-й, а в случае большой потери, чтобы ряды смыкались, и так же наблюдать, чтобы люди задних шеренг стояли так же бодро и весело, как передние и как следует доброму солдату». Это казалось тогда крайне важным для поддержания дисциплины и управления полком или, как говорили тогда, «для поддержания храбрости, духа твердости, бодрости и порядка». Воронцов писал: «Иногда полк под ядрами хоть сам и не действует, но смелым и устроенным тут пребыванием великую пользу всей армии приносит»7.

На поведение русских под огнем обращал внимание и противник. Французский генерал Жиро писал: «Русский солдат… превосходно выдерживает огонь, и легче уничтожить его, чем заставить отступить; но это происходит главным образом от излишка дисциплины, то есть от слепого повиновения, к которому он привык по отношению к своим начальникам. Он не увлечет товарищей своим порывом ни вперед, ни назад своим бегством, он стоит там, где его поставили или где он встретил слишком сильное сопротивление. Это пассивное и бессмысленное повиновение свойственно также офицерам всех чинов в иерархическом порядке. Таким образом, отряд, злополучно поставленный в поле обстрела батареи, останется там под огнем без необходимости и пользы, пока офицер, командующий им, не получит приказ от своего начальника изменить позицию»". Возможно, в чем-то француз и прав, но то, что ему показалось «пассивным и бессмысленным повиновением», называется еще стойкостью и мужеством, которые в подобной ситуации случалось проявлять и французам.

Что же касается русских, то артиллерист С. А. Норов так

писал о самообладании своих подчиненных в бою, под огнем противника: «Наши солдаты были гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где нас даром било. Я постоянно сам наводил 12-е орудие. В один момент, когда бомбардир Курочкин посылал заряд, неприятельское ядро ударило ему в самую кисть руки. “Эх, рученька моя, рученька!” — вскликнул он, замахавши ею, а стоявший с банником, поднимая упавший заряд и посылая его в дуло, обрызганное кровью, которое он обтер своим рукавом: “Жаль твою рученьку, — ответил он, — а вон посмотри-ка, Усова-то и совсем повалило, да он и то ничего не говорит ”. Я обернулся и увидел бедного Усова, лежащего у хобота: он был убит, вероятно, тем же ядром, которое оторвало руку у Курочкина»".

Воронцов настаивал, что те же принципы должны соблюдаться и в атаке. По его мнению, командир до начала стрельбы должен идти впереди и смотреть, «чтобы люди его шли прямо, не жались сколь возможно в порядке по неровному даже местоположению». Даже успешная штыковая атака не должна была нарушить основ линейной тактики: «Когда неприятельский фронт сбит нашими штыками, тогда более всего нужно заняться офицерам в приведении тотчас фронта в порядок и никак не позволять гоняться за убежавшей малой частью неприятеля из-под штыков». В погоню за бегущим неприятелем предполагалось послать солдат третьей, тыловой шеренги и тем самым сохранить неизменным строй двух первых шеренг.

Некоторые командиры, видя, какой урон наносит огонь вражеской артиллерии их соединениям, приказывали солдатам сесть на землю, но так, чтобы по команде «Встать!» строй тотчас занял свое линейное положение. Воронцов также делал исключение: «Ежели начальник видит, что движением несколько шагов вперед он команду свою выведет с места, куда больше падают ядра, то сие, ежели не в линию с другими полками, можно сделать, но без всякой торопливости. Назад же ни под каким видом ни шага для того не делать».

Впервые в крупном деле и на глазах всей армии

После этого можно понять, почему вскоре поле битвы под Островной покрылось телами убитых и раненых людей и лошадей. Это сражение стало боевым крещением многих молодых офицеров и солдат 1-й армии, еще не нюхавших пороху. И первые их впечатления оказались тяжелыми. Князь Н. Б. Голицын вспоминал: «По приезде моем в армию я был так неожиданно

поражен зрелищем всех раненых, сделавшихся жертвою битвы под Островным, что мне представлялось, как будто бы невозможно возвратиться с поля сражения иначе, как в подобном положении. Но когда я тут испытал на себе, что можно выдержать самый смертоносный огонь и остаться ни убитым, ни тяжело раненным, то я уверился, что уцелею, несомненно, после всех сражений, в которых доведется впоследствии участвовать. Счастлив тот, который на войне может в том увериться, потому что он тогда сохраняет все спокойствие и присутствие духа, необходимые на поле сражения. Впрочем, по мнению моему, такая уверенность и надеянность на невредимость посреди опасностей может поселиться только в том сердце, которое совершенно предается на волю Божию»10.

Иначе видел свое первое сражение артиллерист Радожицкий: «Явление близкого сражения первый раз в жизни меня очень занимало. Я не мог еще составить себе ясного понятия о битвах, мне казалось, что все сходящиеся должны непременно погибнуть, что каждое ядро или каждая пуля убьет или ранит человека, а потому полагал на верное, что вряд ли и мне уцелеть. По крайней мере, видя как все идут отважно умирать, мне ничего иного не оставалось, как следовать их примеру… Старые воины замечают, что страх тревожит сердце молодого солдата только до вступления в сражение, когда еще внимание его на свободе занимается окружающими ужасами смерти, которые производят в нем неприятное впечатление, но когда он вступил в битву, страх заглушается ожесточением. Солдат, жертвуя собою, делается сам действующим лицом, и смерть перестает пугать его, сердце заливается кровию, он презирает опасность и делается как бы бесчувственным. Тут человек выходит из сферы обыкновенного существа своего: физический организм его раздражается, и все способности души делаются напряженными. Я находился в таком положении, когда начал с пушками выстраиваться на показанном месте. Вдруг засвистели мимо меня ядра: одно ударило в конного артиллериста, а другое оторвало ноги у канонира с зарядною сумою, он упал передо мною и жалобно вскричал: “Ваше благородие! Спасите!” При виде убитых перед этим я содрогался, но теперь был безжалостен и велел только оттащить его в сторону, чтобы не мешал стрелять нам»".

Ночью с 13 на 14 июля войска Остермана-Толстого, понеся большие потери, отступили от Островны. Их заменил прибывший со свежими силами генерал П. П. Коновницын, который утром, с началом нового боя, узнал, что войсками противника, действовавшими против него, командует сам Наполеон. К полудню французам удалось-таки потеснить русские войска. Они

отходили от Островны к Витебску через узкое дефиле среди густых лесов, опушка которых начиналась неподалеку от города. Рельеф местности напоминал бутылку, в узкое горлышко которой Наполеон силой заталкивал «пробку» из русских войск. Когда он продавил ее внутрь, то французы вышли на просторное поле, тянувшееся от леса к Витебску. На этом поле, уже в позиции, занятой на холмах, стояла вся армия Барклая. Однако «пробка» поддавалась с трудом, русские отчаянно сопротивлялись выходу французов из дефиле. Особенно отличились войска под командованием генерала П. П. Палена, который довольно долго сдерживал в дефиле атаки превосходящих сил французского авангарда. К утру 15 июля французы все же выбрались на опушку леса и у края поля начали выстраивать армию для грядущего сражения. Арьергардное сражение войск Палена являло собой, как писал генерал В. И. Левенштерн, «зрелище величественное: армия, стоя под ружьем на высотах, господствовавших над полем битвы, где сражался граф Пален, была безмолвной свидетельницей доблестного подвига, совершавшегося на ее глазах»12.

Бой с русскими на дороге Островна — Витебск воодушевил императора французов: он увидел в нем пролог, генеральную репетицию будущей битвы. Наконец он почувствовал запах грядущей победы. Возможно, это сражение и произошло бы здесь, и теперь мы так и писали бы: «Знаменитая, решившая судьбу России Витебская битва 15 июля 1812 года». Но тут… еще не закончился день 15 июля, а Барклай решил отступать.

Путь из Несвижа в Бобруйск. Мир, да не тот

Но вернемся к Багратиону в тот момент, когда он покинул Несвиж и двинулся к Слуцку, а затем к Бобруйску — единственной мощной и хорошо подготовленной крепости в Белоруссии. По дороге к Слуцку, у Романова, он оставил войска Платова и пехотный корпус генерала Бороздина, с тем чтобы сдержать наступление вестфальцев и дать время основным силам армии отойти к Слуцку и Бобруйску, а тяжелым обозам с ранеными, пленными и больными оторваться от противника — они направились, как уже сказано, еще южнее, на Мозырь. 27–28 июня Платов дал бой авангарду Жерома у местечка Мир (по дороге от Новогрудка к Несвижу). Казаки устроили типичный для их тактики прием — вентерь, некогда широко применявшийся монголо-татарами: противника заманивали ложным отступлением, а затем следовал внезапный удар заранее

подготовленной засады. Три польских уланских полка под командой генерала Казимежа Турно попали в вентерь, полки были разбиты, сам Турно ранен и едва не взят в плен, чего не удалось избежать 248 его подчиненным.

На другой день Жером послал в бой кавалерийскую дивизию А. Рожнецкого, а от Багратиона к Платову подошла помощь — отряд И. В. Васильчикова. После шестичасового боя противник отступил. Паскевич писал, что победа под Миром была особенно важна в моральном отношении: «В кавалерии или бьют всегда, или всегда же бывают биты. Все зависит от первого успеха»13. К. И. Е. Колачковский, участник сражения с польской стороны, изображает действия польских полков в ином, более героическом ключе, но все-таки и он признает, что хотя полякам и удалось вырваться из окружения, «зато нравственно нашим войскам нанесен был сильный удар»14.

Сразу же после этого — в сущности русско-польского — сражения разгоряченный Платов писал Багратиону, что «сильное сражение продолжалось часа четыре грудь на грудь так, что я приказал придвинуть гусар, драгун и егерей. Генерал-майор Кутейников подошел с бригадой его и ударил в правый фланг неприятеля моего так, что из шести полков неприятельских едва ли останется одна душа или, может, несколько спасется. Я вашему сиятельству описать всего не могу, устал и, лежачи, пишу на песке. У нас урон велик, но не велик по сему редкому делу, так что грудью в грудь»15. Так странно читать, что Платов лежит на песке — ведь традиция всегда помещает прославленного русского атамана на «досадную укушетку»! На самом деле, в первом бою поляки потеряли 300 человек, во втором — около 600 (в том числе 250 пленными). Багратион рапортовал царю: «28-го числа шесть полков авангарда из армии короля Вестфальского, перешед Мир, атаковали отряд войск из моего арьергарда и после 8 часов продолжавшегося сражения, более наступательного от нас и преследуемого, разбиты и едва не истреблены совершенно. Покрытое поле трупами мертвых неприятелей и взятие в плен 150 человек рядовых, 30 обер- и 1 штаб-офицера свидетельствуют известную храбрость войск наших»16.

Второго июля произошел бой казаков с поляками под Романовом. Платов вновь одержал победу, о которой сообщал Багратиону в восторженных тонах. Атаман писал о взятых пленных и о том, что неприятеля «побито же… многое число так, что по дороге и по хлебам усеяно было везде трупом»11.

Эти победы, на самом деле скромные, воодушевили обе отступающие русские армии, о них из Главной квартиры широко разгласили по стране. «Начало прекрасное!» — так писал об этом

Н. Н. Раевский18. Практическое же значение побед Платова состояло в том, что Жером был приостановлен в своем неуклонном движении за армией Багратиона. При этом сам Багратион был готов ввязаться в бой и, как он писал императору, «с гренадерскою дивизиею и корпусом генерал-лейтенанта Раевского был в совершенной готовности следовать к Миру, коль скоро бы я получил донесение о непомерном усилении неприятеля»19. Однако, повторим, Жером не решился ввести в разгоревшееся кавалерийское сражение пехотные дивизии вестфальцев, что послужило Багратиону веским основанием утверждать в том же письме: «Из сего дела удостоверяюсь, что Иероним не решился дать мне сражение прежде, нежели Даву мог бы нанести мне вред с фланга».

Именно корпус Даву в глазах главнокомандующего 2-й армией был самой серьезной угрозой, нависавшей над ним слева почти с самого начала отступления от Николаева. Одновременно с радостными известиями о победе при Мире Багратион докладывал царю о том, что «Минск занят неприятельскими войсками 26-го числа, следовательно, мое вступление в оной упреждено было целыми сутками, ибо армия, мне вверенная, форсируя маршами, прежде не могла прибыть в оный (как) к 27-му числу июня»20. Как тут не вспомнить знаменитый афоризм Наполеона: «La guerre clest un calcul dlheures» («Война — это расчет часов»).

Кирасир Дрейлинг вспоминал, что тогда, после победы у Мира, «в первый раз мы здесь увидели пленных, которых проводили мимо нашего бивуака… Гордые и надменные, оповестили они нас, что целью их похода является Москва, будто нет такой силы, которая могла бы противостоять их натиску, задержать их победоносное шествие. В душе мы чувствовали себя глубоко уязвленными такими словами, самолюбие наше возмущалось, и все же мы не могли не отдать должного этим воинам, привыкшим к победам на всем земном шаре». Добавим, что такими были настроения пленных французов до самой Москвы: «…смотрели (они) на нас грозно, с гордым и презрительным видом»21.

Багратион обещал Александру I поспешать к Могилеву, но не без оговорки: «…сколько силы людей выдержать в состоянии будут». Действительно, за спиной у его армии был полный трудностей путь, а впереди, от Бобруйска до Могилева, пролегала долгая дорога на виду корпуса Даву, который заметно усилился за счет части войск отстраненного от командования Жерома Бонапарта. Более того, бригада легкой кавалерии генерала К. Пажоля захватила брод через Березину у Свислочи, чтобы не дать

переправиться здесь, выше Бобруйска, Багратиону.

Шестого июля 2-я армия прибыла в Бобруйск, где получила все необходимые припасы благодаря блестящей распорядительности коменданта генерала Г. А. Игнатьева, который самостоятельно, без приказов командования, подготовил крепость к обороне, заготовил в ней большие запасы провианта, да еще позаботился об армии Багратиона, выставив по дороге от Бобруйска до Слуцка фураж и по 600 подвод на каждой станции. Приказ от Багратиона о подготовке всего этого Игнатьев получил тогда, когда уже все приготовления были закончены, — редкостная, невиданная распорядительность и толковость в обстановке полной неразберихи и отсутствия дельных распоряжений из Главной квартиры!

Но даже после победы у Мира Багратион не был уверен, что он вырвался из западни. Как писал 3 июля Александру I главнокомандующий 3-й армией генерал А. П. Тормасов, Багратион, извещая его о своем отступлении на Бобруйск, писал ему, что «в столь стесненных обстоятельствах легко случиться может, что дорога к Бобруйску неприятелем заграждена будет, как и к Минску, и принужденным найдется кн. Багратион обратить марш к Мозырю…»-1. 6 июля, на марше к Бобруйску, Багратион получил срочное известие, что французы заняли Пинск и движутся к Мозырю! Правда, скоро ожидать противника в Мозыре не приходилось — французам предстояло преодолеть непроходимые Пинские болота. Но опасность окружения существовала.

Благодатный отдых в Бобруйске

Самую большую опасность для Багратиона по-прежнему представлял Даву. Все движения его корпуса строго подчинялись главной директиве Наполеона — не дать Багратиону соединиться с Барклаем. Поэтому маршал, заняв Минск, не пошел на Бобруйск, а двинулся севернее — на Борисов, с тем чтобы не дать русским раньше его войти в Могилев. Так этот белорусский город стал той ключевой точкой, достигнув которую Багратион мог рассчитывать соединиться с 1-й армией. Французы это отлично понимали и стремились перерезать путь Багратиону. С этой же целью на помощь Даву по направлению к Игумену, сойдя со Слуцкого тракта, по песчаным дорогам и болотам устремился корпус Понятовского.

По мнению А. И. Михайловского-Данилевского, «ни одна крепость в России никогда не являлась столь полезной, как

Бобруйск в 1812 году. Не будь там крепости, князю Багратиону невозможно б было прежде исхода августа соединиться с 1 — ю армиею, а тогда она была уже в окрестностях Москвы. Переправа через Березину сделалась бы совершенно недоступною, ибо когда князь Багратион находился еще в Слуцке, Пажоль был уже в Свислочи и мог… перейти на левую сторону реки, уничтожить гати и плотины на болотных берегах Березины и тем самым затруднить нашим войскам наведение мостов. Князю Багратиону, не имевшему с собою понтонов, довелось бы идти на Речицу и Лоев, там переправляться через Днепр и большим обходом искать соединения с 1 — ю армиею или вовсе от него отказаться, пинскими болотами примкнуть к Тормасову и 1 — й армии предоставить одной бороться с Наполеоном»21.

Действительно, Бобруйская крепость не позволила Пажолю сунуться от Свислочи вниз по Березине и помешать Багратиону в Бобруйске спокойно переправиться на правый берег. Оставив больных, раненых, часть обоза в крепости, пополнив запасы продовольствия и влив в свой состав резервные батальоны, Багратион 7 июля двинул к Могилеву казаков Платова и корпус Раевского.

Мечта об обозе.

Нам трудно понять, как важен был для офицеров и солдат Багратиона короткий отдых под защитой крепостных стен Бобруйска, среди своих. А как замечательно было соединиться наконец со своим, подошедшим следом обозом! «Эта встреча, — писал позже участник изгнания Наполеона из России Н. Г. Изюмов, — была для нас праздником потому, что бывшие с нами белье и обувь слишком обносмись, и мы здесь могли переменить их свежими. Кто не был в подобных обстоятельствах, тот не может судить о том удовольствии, которое мы чувствовали, когда после продолжительной бивачной жизни под дождем и снегом, в грязи и на сильном холоде могли в теплой избе умыться и переодеться»24. Вообще, участники похода в первые недели увидели тот лик войны, который был неведом в мирное время: опасность, смерть, сражения не так утомляли людей, как голод, жажда, неудобства походной жизни, когда стертая в сапоге пятка на марше становится мучительнее боевой раны. И люди по-разному переносили тяготы похода. Как вспоминал А. Н. Муравьев, «если бы я не был с молодых лет приучен довольствоваться, не гнушаясь, всякою пищею, то в высшей степени труден был бы для меня этот поход. Тут я на опыте узнал,

какой вред наносит молодому воину прихотливость и гадливость, к которой теперь приучаются юноши. Не в свое время умыться, утереться полотенцем не совсем чистым, не часто переменять белье, разрывать мясную пищу и есть руками, пить из невзрачной кружки или посуды, не лишенной дурного запаха, ложиться, не раздеваясь, и спать на сырости или в грязи, под дождем или в курной избе, наполненной тараканами и другими гадами, и тому подобные военные обыденные необходимости отталкивают их от службы и исполнения своих обязанностей или делают их неспособными для пользы, которая от них ожидается»25.

Могилев. Цена опоздания

В сложившейся обстановке занятие Могилева для командования 2-й армии превратилось в первоочередную задачу. Ее решение позволило бы сблизиться с находившейся в Витебске 1-й армией и одновременно воспрепятствовать движению французов по кратчайшему пути через Оршу на Смоленск. 2-я армия прикрыла бы Смоленск и Москву и впервые встала лицом к противнику, контролируя удобные переправы через Днепр. Но, как и раньше, Багратион совсем немного опоздал. Войдя в Бобруйск, он приказал казакам Платова и 7-му корпусу Н. Н. Раевского «запастись только сухарями» и усиленными маршами спешить к Могилеву, чтобы там предупредить неприятеля26. Трудно найти в военной истории того времени переходы, подобные маршам 2-й армии. Войска в день делали по 45 и 50 верст (в 18 дней прошли пространство в 600 верст). Несносный жар, песок и недостаток чистой воды еще более изнуряли людей. Не было времени даже варить кашу. Полки потеряли в это время по 150 и более человек. «Находясь с 26-ю дивизиею в голове колонны, к счастью, я имел большой запас сухарей и водки. Отпуская двойную порцию (армейская чарка — 175 граммов. — Е. А.), поддерживал этим солдат, но, несмотря на то, у меня выбыло из полка по 70 человек, — писал Паскевич. — В Старом Быхове узнали, что неприятель занял уже Могилев»27.

Увы, все усилия Багратиона были тщетны: Даву вновь опередил его на один переход. Тоже без отдыха, тоже ускоренным маршем, он подошел к Могилеву и первым занял город. Это было тем более досадно, что путь французов от Игумена до Могилева был даже длиннее, чем путь Багратиона от Бобруйска. Возможно, главнокомандующий 2-й армией, имевший переписку с губернатором Могилева Д. А. Толстым, не сумел предугадать особенной прыти Даву и потому был уверен, что непременно

опередит французов. 7 июля он с чувством некоторого превосходства над противником писал А. П. Ермолову из Бобруйска: «Теперь побегу к Могилеву, авось их в клещи поставлю». Чуть раньше Багратион писал Барклаю, что его войска выступают на Могилев 7 и 8 июля и, по его сведениям, корпус Даву находится в 85 верстах от города28. На самом деле все было иначе. 6 июля лазутчик еврей Хершенсон доставил сведения о том, что «4-го числа сего месяца пополудни в 5-м часу выступили из Борисова три колонны соединенных войск французских и польских. Первый колонны авангард ночевал в Кохнове, а вся колонна хотела идти на Смоленск и Оршу». Французы, таким образом, были уже на подступах к Орше и в Кохнове, то есть на развилке дороги Витебск — Могилев24. 7 июля, когда авангард Багратиона выходил из Бобруйска, Даву был не в 85 верстах от Могилева, а уже в одном переходе от него (то есть верстах в тридцати), что и позволило ему 9 июля занять город10.

Кроме того, Багратион не смог заочно организовать сильную оборону города против авангарда Даву, хотя писал об этом полковнику А. И. Грессеру, требуя от него остановить наступление передовых частей французов (иных сил под Могилевом, кроме легкой кавалерии противника, он и не предвидел) и «защищаться с храбростию, российскому войску приличною»11. Но сил в Могилеве было всего ничего: три роты инвалидов (около 300 человек), да из Борисова прислали на помощь им запасной батальон рекрут. Все эти инвалиды и юнцы были легко сбиты конницей Пажоля, да так, что не успели ни сжечь мост, ни уничтожить большой склад с продовольствием. Впрочем, что же мог сделать в той обстановке Багратион, когда его собственные войска, совершив столь долгий и сложный поход, настоятельно требовали хотя бы однодневного отдыха

Подходя 8 июля к Могилеву, Багратион еще не знал, что основные силы Даву уже заняли город. Он решил с ходу захватить Могилев, полагая, что перед ним незначительные передовые части корпуса Даву. Впрочем, других вариантов у него и не было. «Хотя не знаю достоверно, — писал он Александру I, — в каких силах неприятель в Могилеве, но в таковых крайностях не остается мне ничего более, как, собрав силы вверенной мне армии и призвав на помощь Всевышнего, атаковать их и непременно вытеснить из Могилева». Багратион был уверен в своих людях, хотя и писал, что их силы на пределе. Это отразилось в его донесении Александру I от 10 июля: «Могу сказать, что одно непомерное желание в людях драться поддерживает дотоле их силы, но лошади не только под артиллериею, обозами, но и под кавалериею, сколь ни хороши

были при начавшихся движениях, и сколь ни выгодное имели продовольствие, но уже приходят в изнурение, и я начинаю бояться за людей, чтобы не потерять доброй готовности и того более, чтобы при подобном теперешнем марше не начали изнемогать в силах своих»12.

Полки дворовых. Примечательно, что, глядя на своих изнемогающих солдат, Багратион думал о будущих резервах. С дороги на Могилев он писал Барклаю о необходимости организовать и призвать к боевым действиям украинские казачьи войска. Кроме того, он послал Александру I проект призыва в армию дворовых людей, этих, как он выражается, «праздных сынов отечества», сотни тысяч которых «томятся безделием в помещичьих домах». Багратион был убежден, что дворянство, «движимое непреложными чувствами любви к отечеству», представит их на службу в армию 13. Ни Барклай, ни Александр не ответили на эти предложения Багратиона, а сам он не знал, что уже началась работа по организации народного ополчения — ближайшего резерва армии. К тому же в начале лета знакомец Багратиона полковник И. О. Витт под началом малороссийского генерал-губернатора князя Я. И. Лобанова-Ростовского стал формировать малороссийские кавалерийские полки 14.

Салтановка — «позиция неприятеля прекрепкая»

Между тем Багратиону особенно не приходилось задумываться над судьбой «праздных сынов отечества»: боевая задача взять Могилев оказалась невыполнимой. 9 июля в 10 часов утра он написал М. И. Платову: «Сию минуту получил сведения, что Даву в Могилеве. 7-й корпус (Раевского. — Е. А.) завтрашний день будет иметь ночлег в Дашковке, отстоящей от Могилева в 20 верстах»". Несмотря на то, что французы опять опередили наши войска, Багратион не остановил 7-й корпус, а предписал ему прорваться в Могилев. Возможно, это была его ошибка. Дело в том, что Даву располагал большими силами, чем думал Багратион, к тому же он выбрал удобную для обороны позицию в дефиле, на столбовой дороге, идущей вдоль Днепра, у деревень Салтановка и Новоселки. Читатель понимает, что и у французов были такие же зоркие молодцы, подобные нашему генерал-инженеру Ферстеру. Их также посылали для выбора удобных для обороны позиций, и они делали это с успехом.

Одиннадцатого июля разгорелось сражение, в котором участвовали передовые части 2-й армии под командованием генерала Н. Н. Раевского (около 11 тысяч человек). Как раз в этом

бою, когда Смоленский полк повел в атаку сам Раевский, шедший с ним его сын, 16-летний Николай, потребовал у подпрапорщика — знаменосца — дать ему понести знамя полка. На это знаменосец гордо отвечал генеральскому сынку: «Я сам умею умирать!»

В сущности, это было первое серьезное полевое сражение основных сил 2-й армии с противником. Русские войска с ходу вступали в бой, оставляя ранцы идущим следом батальонам. Раевский писал Багратиону на клочке бумаге: «Неприятель остановился за речкой. Мы отошли 6 верст, у них место крепкое, я послал Паскевича их обойтить, а сам, с Богом, грудью»36. Офицеры и солдаты проявили в этом сражении мужество и стойкость. «Я сам свидетель, — писал в своем рапорте Багратиону Раевский, — что многие офицеры и нижние чины, получа по две раны и перевязав их, возвращались в сражение как на пир. Не могу довольно выхвалить храбрости и искусству артиллеристов: все были герои». Позже Паскевич вспоминал, что 2-я армия «всем обязана своему главнокомандующему князю Багратиону. Он умел вселить в нас дух непобедимости. При том мы дрались в старой России, которую напоминала нам всякая береза, у дороги стоявшая. В каждом из нас кипела кровь. Раненые офицеры, даже солдаты, сделав кой-как перевязку, спешили воротиться опять на свои места»37.

Но мужество русских солдат не увенчалось победой, и пир под Салтановкой оказался поистине кровавым: понеся большие потери (две с половиной тысячи человек), Раевский не сбил французов с позиции, а сам был вынужден остановиться. В тот момент он писал главнокомандующему из Дашковки: «…буду ожидать повеления об отступлении»38.

В этом сражении был допущен ряд ошибок. Во-первых, подвела разведка: Багратион послал Раевского в бой, уверяя его запиской, что против него действует только 6 тысяч французов. Генералу предписывалось, сбив их, стараться «по пятам неприятеля ворваться в Могилев»39. На самом деле, как сообщил Раевскому уже в ходе битвы командовавший его авангардом Паскевич, французов оказалось не 6, а 20 тысяч, а позиция, занятая ими, была «почти неприступная»90. О том же Барклаю писал и подполковник Чуйкевич: «…неприятель очень силен около Могилева»41. Во-вторых, генерал-квартирмейстер 2-й армии М. С. Вистицкий позже обвинял Раевского в поспешности, с которой тот «атаковал при Дашковке, не обрекогносцировав места, и даже не расспросил у генерала Сиверса, бывшего там накануне и имевшего план местностям»42. Но резонен вопрос: а где был сам генерал-квартирмейстер 2-й армии генерал-майор

Вистицкий — ведь рекогносцировка входила в его непосредственные обязанности? По отзывам Щербинина, Вистицкий был совершенным нулем, что подтвердилось позже, при выборе им позиции во время отступления от Смоленска. Известно, что на нем лежала вина еще за поражение под Цюрихом в 1799 году корпуса Римского-Корсакова, чьим генерал-квартирмейстером он был.

В-третьих, в решительный момент Багратион не поддержал Раевского силами основной армии, которые уже подошли к месту сражения. Подобно Жерому под Миром, он не ввел их в бой и тем самым обрек Раевского на неудачу.

Вполне возможно, что в тот момент Багратион понял свою ошибку при оценке сил противника и поэтому решил отказаться от продолжения сражения. В послании Барклаю от 12 июля он сообщал, что «неприятель имел на упомянутом пункте, по показаниям пленных, пять дивизий под командою маршала Даву и генерала Мортье». В другом письме он писал о «непомерном превосходстве сил неприятельских» и что «укрепленная при Новоселке натурою и неприятелем позиция не позволяет мне вторично форсировать оную»43.

Справедливости ради отметим, что «непомерного превосходства» у Даву в тот момент не было — у французов тогда числилось всего 21 с половиной тысяча человек при 55 орудиях, а у Багратиона была целая армия, не менее 40 тысяч штыков и сабель. Лишь позже, как считал И. Ф. Паскевич, ночью, к Даву подошел весь его корпус (40 тысяч человек). 20-тысячный корпус поляков Понятовского, по польским источникам, прибыл в Могилев 16 июля44. Но Даву был сильнее Багратиона тем, что выбрал для своих войск прекрасную позицию, имел в этом месте превосходство в силах и поэтому успешно сдержал отчаянный натиск корпуса Раевского. Упомянутый выше подполковник-квартирмейстер П. А. Чуйкевич, опытный разведчик, близкий Барклаю человек, явно неслучайно присланный во 2-ю армию еще 10 июля, рапортовал Барклаю, что Даву был в сражении и «позиция неприятеля была прекрепкая, мы ее упустили накануне, Даву был вдвое сильнее Раевского. Платова корпус и 2-я дивизия гренадер прибыли за пять верст до места сражения, когда Раевский принужден был прекратить тщетную свою атаку. Сей генерал и его корпус делали чудеса храбрости»45.

Багратион берег войска, ибо думал о будущем и понимал, что сражение при Салтановке не могло стать решающим в этой кампании. Он явно не желал пирровой победы, сидел со своим штабом на дороге к Быхову и ждал возвращения Раевского. Позже, 20 июля, он писал Барклаю: «Могилев сколь не был

укреплен, но я непременно прорвался в соединение с вами, в сем случае я должен был поступить на решительный бой с превосходнейшим в силах неприятелем… и, атакуя несравненно превосходного в силах неприятеля и прорываясь чрез укрепления, я мог потерять хотя в третью долю против потери неприятеля, следовательно, в малом числе войск ослабить себя и не быть уже в состоянии действовать с пользою вперед». Поэтому «сим и поставлен был в необходимость ограничить мое усердие и покориться против воли всемощной необходимости»46. В этих рассуждениях мы усматриваем важнейшую особенность личности Багратиона как полководца — при всей своей горячности, нетерпении и нетерпимости он отличался расчетливостью, осторожностью, имел холодную голову, мог оценить меру предстоящего риска и был способен отказаться от него во имя сохранения вверенной ему армии. Хотелось бы, чтобы читатель вспомнил это наблюдение, когда ниже в книге пойдет речь о распре Багратиона и Барклая. Словом, косвенно признав свое поражение, Багратион написал о неудаче под Могилевом Барклаю и немедленно приказал искать брод ниже Могилева для переправы через Днепр. Свидание с Барклаем вновь откладывалось…

«И стали ждать нашей судьбы». Корнет Дрейлинг, служивший во 2-й кирасирской дивизии, стоял в ту самую ночь всего в шести верстах от места сражения. Он не знал планов Багратиона и поэтому ждал, когда их бросят в бой: «Мы спешились и стали ждать нашей судьбы. Зажигать огни было воспрещено. Ночь была темная. Черные тучи висели над самой землей. Не переставая, моросил мелкий дождь. В нашей колонне царствовала тишина. Ни звука человеческого… Изредка слышалось приглушенное бряцание оружия, и только. По большой дороге потянулись вереницы экипажей с ранеными. Их стоны и крик, да еще отдаленный грохот пушек одни нарушали мертвящую тишину, которая нас окружала со всех сторон». Заметим, что Раевский просил Багратиона «дать способ везти раненых» с места боя, ибо «люди тащатся окровавленные мимо полков, отымут охоту у здоровых поставить себя в такое ж положение»47. Дрешинг продолжает: «За ними потянулись отряды пехоты, ничтожные остатки возвращающихся из сражения полков. Безмолвные, хотя и в полном порядке, шш они мимо нас, почти невидимые под покровом ночи, если бы не блеск штыков, который обнаруживал их. Эта картина, казалось бы, на всех должна была производить одинаково неблагоприятное впечатление, но спокойно спали наши старые кирасиры, каждый под своей лошадью. Закутавшись в плащ, привязав к руке поводья лошади, тихо лежал я —

измученный, усталый, но спать не мог, и сердце напряженно ждало чего-то жуткого, таинственного, может быть, не я один, а все мы, молодежь, переживали в этот момент подобное, только не говорили друг другу об этом. Вдруг раздался звук трубы. Мы бросились на лошадей и думали, что нам прикажут наступать, но получили приказ отступать. Мы направились через Быхов, Пропойск, Мстиславль влево, к Смоленску»48. Участник похода А. П. Бутенев видел продолжение того, о чем писал Дрейлинг: когда войска Раевского вернулись, то их сопровождало множество «раненых и умирающих, которых несли на носилках, на пушечных подставках, на руках товарищей. Некоторых офицеров, тяжелораненых и истекающих кровью, видел я на лошадях, в полулежащем положении, одною рукою они держались за повод, а другая, пронизанная пулею, висела в бездействии. Перевязки делались в двух развалившихся хижинах, почти насупротив толпы офицеров и генералов, посреди которых сидел князь Багратион, по временам приподнимавшийся, чтобы поговорить с ранеными и сказать им слово утешения и ободрения»49.

Так случилось, что одновременно с Дрейлингом польский офицер Колачковский — участник похода корпуса Понятовского, только что подошедшего к Могилеву, — видел, как наутро возвращались из-под Салтановки в свой лагерь французские полки: «Их выправка, обмундирование и вооружение были в самом лучшем порядке, они везли с собой провизию на несколько дней, имели двойное количество патронов, обуви и саперные принадлежности. Со всем этим грузом они шли легко и охотно, как бы на парад. В рядах недоставало только убитых и раненых»50. Словом, сражение под Саптановкой было только пробой сил сторон. И солдаты Багратиона, и солдаты Даву горели желанием скрестить оружие снова…

Тщетные расчеты Барклая

Тем временем Барклай, готовившийся к битве, неожиданно приказал войскам отступать. Обычно это его решение объясняют тем, что 15 июля он получил от Багратиона известие о неудаче под Могилевом и невозможности соединиться с 1-й армией, а также о том, что французы угрожают непосредственно Смоленску. В своем донесении М. И. Кутузову 17 августа 1812 года, как бы «сдавая дела», Барклай так писал о ситуации, сложившейся под Витебском и Могилевом: «Трехсуточное сражение под Витебском… окончилось бы генеральным сражением, когда в самое то время не получил бы я известие от князя Багратиона о

неудачном предприятии на Могилев, где уже маршал Давуст (Даву. — Е. А.) со всею армиею пресек 2-й армии дорогу на Смоленск. Князь Багратион при сем случае сам мне изъявил, что не имеет надежды достигнуть Смоленска прежде неприятеля, который из Могилева имел прямейшую дорогу к важному сему пункту. В таких обстоятельствах и самая победа под Витебском никак не приносила бы пользы, ибо армия, которою предводительствует сам Наполеон и которая, сверх того, еще имеет превосходство в силах, могла быть побита, но не уничтожена. Я тогда бы должен был с сею армиею, претерпевшей урон, действовать и против Давуста на левом моем фланге, и противу Наполеона и принужденным бы нашелся оставить последнему открытый путь в Москву — цель всех напряжений неприятеля. Уважая все сии обстоятельства, решился я, в виду неприятеля, отступить и поспешить к Смоленску»51.

Это донесение, написанное Барклаем в Царево-Займище, вызывает ряд вопросов, касающихся особенностей его стратегического мышления и таланта как полководца. Но вначале обратимся к бесспорным фактам, зафиксированным в журнале Главного штаба 1-й армии. В нем сохранилась копия письма Барклая Багратиону от 11 июля. Барклай сообщает Багратиону, что его армия прибыла в Витебск и что он «тотчас отправил кавалерийские отряды по дорогам к Орше и Смелянам, дабы взять в левый фланг неприятелю, а за оными пойду и сам со вверенною мне армиею, буде обстоятельства позволят. Я полагаю, что корпус генерала Раевского теперь уже в Могилеве, то прошу ваше сиятельство приказать ему подвинуться к Шклову, а между тем я с армиею придвинусь к Орше, а потому соединение наше, благодаря Всевышнему, совершилось, теперь остается нам действовать совокупно наступательно противу сил Наполеона».

О том же Барклай сообщал Платову, приказав ему идти между Оршей и Шкловом, «чем отрежете путь к отступлению неприятельским войскам, в Орше находящимся, кои должны будут сдаваться вашим трудолюбивым казакам или лишиться жизни»52. Итак, Барклай предполагал, что, заняв Могилев, 2-я армия двинется вверх по Днепру, к Шклову, а! — я армия совершит часть своего пути, пройдя от Витебска к Орше. В итоге, французы, находившиеся в Орше (сведения о них были получены накануне), будут окружены, а обе русские армии наконец соединятся. Через день, 13 июля, Барклай сообщал Багратиону, что, «по достоверным сведениям, Наполеон все свои силы обратит на 1-ю армию, дабы не дать соединиться мне с вашим сиятельством, по сим обстоятельствам государь император высочайше повелеть соизволил вашему сиятельству со вверенною

вам армиею действовать без малейшего замедления времени быстро на правый фланг неприятельский между Березиною и Днепром, коего силы расположены от Сено к Орше. Запасшись здесь (в Витебске. — Е. А.) провиантом, я тотчас пойду форсированно к Орше, чтоб сблизиться с вашим сиятельством и потом совокупно действовать против неприятеля»53. И далее Барклай пространно убеждает Багратиона в том, что без соединения армий генеральное сражение с Наполеоном невозможно: «Я долгом считаю сказать вашему сиятельству, что 1-й армии весьма возможно сражаться, но следствия сражения могут быть и пагубны, и что даст после того спасение Отечеству, когда та армия, которая должна прикрывать недра его, потерпит сильно от поражения, которое при всех усилиях не есть невозможный случай. Судьба государства не должна быть вверена уединенным силам одной армии против несравненно превосходнейшего неприятеля, но священный долг обеих армий состоит в скорейшем их соединении, дабы Отечество за щитом их было спокойно и оне совокупными силами могли устремиться на несомненную победу, которая суть единая цель взаимных наших усилий…» В конце этого многословного и, по современным меркам, напыщенного послания Барклай восклицает, имея в виду свои старые несогласия с Багратионом: «Глас Отечества призывает нас к согласию, которое суть вернейший залог наших побед и полезнейших от оных последствий, ибо от единения недостатка славнейшие даже герои не могли предохраниться от поражения. Соединимся и сразим врага России, и Отечество благословит согласие наше».

И вдруг на следующий день, 14 июля, Барклай… передумал. В письме Багратиону (№ 530) он сообщил, что Наполеон всеми силами движется вдоль берега Двины к Витебску, что уже произошло кровопролитное сражение корпуса Остермана-Толстого у Островны и что «собрал я войска свои на сегодняшний день в крепкой позиции у Витебска, где с помощию Всевышнего приму неприятельскую атаку и дам генеральное сражение». Иначе говоря, уже зная о невозможности Багратиона прорваться к Могилеву, он тем не менее решился на битву! В оправдание перемены своих намерений Барклай пишет: «С чувствительнейшим прискорбием сожалею, что мы еще не можем действовать соединенными силами, ибо намерение неприятеля состоит в том, чтобы по направлению из Борисова, Толочина и Орши частию сил своих ворваться в Смоленск, почему мне остается только покорнейше и настоятельнейше, для пользы государя и Отечества, просить вашу светлость быстрыми и решительными движениями, как можно скорее, действовать на

Оршу и занять сей город, ибо сей единый способ совершить наше соединение, которое зависит единственно от вашей светлости, и ежели сего не выполнится, то все обоюдные наши усилия соделаются тщетными. Поспешите, ваше сиятельство, сим действием! Защита Отечества ныне совершенно в ваших руках, и я уверен, что вы все сделаете, что требует польза службы Его императорского величества. Я ж отсель до тех пор не пойду, пока не дам генерального сражения, от которого совершенно все зависит»54.

Почему 11 июля Барклай считал, что последствия сражения силами одной армии «могут быть и пагубны», а через три дня, 14 июля, вопреки своему прежнему убеждению и к тому же получив известие о неудаче прорыва Багратиона к Могилеву, все же решился дать Наполеону генеральное сражение? Думаю, что главнокомандующего 1-й армией прельстила «крепкая» позиция под Витебском с прикрытыми флангами и большой глубиной. По-видимому, в неожиданном решении дать битву сыграл свою роль и психологический фактор — Барклай не мог смириться с мыслью, что ему придется отходить за Днепр, на собственно русскую территорию, так и не дав сражения Наполеону. При этом, вопреки прежним своим утверждениям, он почему-то стал считать, что, достигнув Витебска, свою часть общего дела по соединению Западных армий сделал. В донесении Александру I, уже после отступления от Витебска, Барклай писал (в противоречие тому, что писал 11 июля Багратиону), что к соединению со 2-й армией «уже, с моей стороны, дал [я] средство прибытием своим в Витебск»55. Получается, что остальную работу по спасению Отечества должен был проделать Багратион со своей армией! Эта работа состояла в том, чтобы, заняв Могилев, двинуться уже не к Шклову, а дальше — к Орше, выбить оттуда французов, затем воспрепятствовать их движению на Смоленск и наконец соединиться с 1-й армией под Витебском, с тем чтобы способствовать ее успехам в запланированном Барклаем генеральном сражении. При этом Барклай из-за перемены своих намерений никаких попыток встречного движения к Багратиону предпринимать не собирался.

Однако главнокомандующий 1-й армией явно не просчитал все риски, вытекавшие из этого его намерения. Во-первых, его замысел дать Наполеону генеральное сражение под Витебском не кажется продуманным и стратегически обоснованным. Само расположение Витебска севернее и несколько в стороне от главного направления на Смоленск и Москву давало противнику стратегический простор, позволяло обойти Витебск южнее и выйти к Смоленску раньше русских армий. Об этом, собственно, и

беспокоился Барклай, когда писал, что намерения неприятеля состоят в том, «чтобы по направлению из Борисова, Толочина и Орши частию сил своих ворваться в Смоленск».

Во-вторых, задача, которую поставил Барклай перед Багратионом, была сверхтяжелой и, скорее всего, невыполнимой. Но, как и раньше, в ситуации с выходом 2-й армии на Бобруйск, Барклай считал, что Багратион имеет дело с незначительными силами французов, ибо большая часть Великой армии нацелена на 1-ю армию. Для Барклая как будто не существовало грозного корпуса Даву, который уже месяц двигался южнее 1-й армии по направлению Минск — Игумен — Борисов — Орша — Могилев, постоянно отсекая 2-ю армию от 1 — й. Как мы видим из записки Барклая на имя Кутузова, корпус Даву как бы «материализовался» для главнокомандующего 1-й армией только после его появления в Могилеве и лишь тогда был оценен Барклаем как реальная опасность, нависающая на левый фланг 1-й армии. Но ведь все предыдущие недели с начала войны шел изматывающий армию Багратиона «забег» с Даву, вначале к Минску, а потом к Могилеву. Барклай знал обо всех подробностях этого «состязания» из донесений Багратиона, Сен-При и других воинских начальников. Однако, готовя битву и поначалу поджидая в Витебске 2-ю армию, он почему-то не оценил «фактор Даву» и возможности французского маршала двинуться прямо к Смоленску, отрезая тем самым Барклаю путь на восток. Между тем уже сообщения о выходе французов к Орше, полученные 11 июля, должны были насторожить его. Барклай же, решившись на генеральное сражение, собирался переложить все эти проблемы нейтрализации Даву на Багратиона.

Как бы то ни было, даже приблизительный расчет показывает, что Багратион при самом удачном обороте дел все равно не успел бы к генеральному сражению под Витебском 15 июля. Даже в случае успешного занятия Могилева 2-й армии пришлось бы сделать минимум один переход до Орши, выбить из нее французов, а затем в один-два перехода дойти до Витебска, чтобы соединиться с 1-й армией. Если бы Багратион и опередил Даву у Могилева, столкновение с ним было все равно неизбежно: при движении 2-й армии вверх по Днепру, навстречу 1 — й армии, Даву, опоздавший в Могилев, обязательно бы у Орши или Шклова оказал сопротивление Багратиону при попытке того сблизиться с Барклаем. Да и сам Наполеон наверняка воспрепятствовал бы подходу 2-й армии к месту битвы французов с 1 — й армией, если не у Орши, то уж у Бабиничей обязательно. Известно, что именно туда Наполеон еще 11 июля двинул войска. Словом, при самом благоприятном исходе «забега» защитить смоленское

направление и одновременно подойти к Витебску к 15 июля Багратион никак не мог.

«Следовать как наиспешнее к Смоленску»

Несомненно, что Барклай в эти дни оказался не на высоте своего положения — увлекшись идеей генерального сражения, он не сумел просчитать все ходы и варианты действий сторон. С большим запозданием он будто прозрел и понял, что французы, владея переправами через Днепр у Орши и Могилева, смогут легко выйти на Смоленский тракт, отрезав 1-ю армию от Смоленска и от 2-й армии. Более того, в результате этой операции окружение (со стороны Даву и Наполеона) могло угрожать самому Барклаю. Именно поэтому намерение дать генеральное сражение под Витебском было признано неоправданным, рискованным. В письме Витгенштейну 15 июля Барклай писал, что «как я сего числа получил от князя Багратиона уведомление, что неприятель превосходными силами прежде его занял Могилев, по сим причинам он для соединения со мною взял свое направление еще правее, а потому, имея по обеим сторонам неприятеля и не полагая вскоре соединиться с князем Багратионом, решился сего числа оставить Витебск и чрез Поречье отступить к Смоленску форсированными маршами для совершенного соединения со 2-ю армиею»56. Кажется странным утверждение Барклая, что он только 15 июля получил известие о неудаче Багратиона под Могилевом, хотя из его письма Багратиону от 14 июля видно, что уже в тот день он знал о последствиях сражения при Салтановке. Кажется, что своими утверждениями как в письме Витгенштейну, так и потом Кутузову, Барклай стремился оправдаться, свалить проблемы с больной головы на здоровую и показать, что только неудача Багратиона помешала ему, Барклаю, пойти на генеральную битву под Витебском.

Шестнадцатого июля Барклай был почти в отчаянии. В этот день он написал письмо генералу Дохтурову, в котором сообщал, что более не сомневается: «Неприятель большими силами взял намерение пресечь нам дорогу к Смоленску». При этом он был уверен, что «нет никакой надежды… соединиться» с Багратионом и поскольку «совершенное спасение нашего Отечества зависит теперь в ускорении занятия Смоленска прежде неприятеля, то рекомендую вашему высокопревосходительству из Лиозны завтрашнего числа взять направление на Рудню и следовать как наиспешнее к Смоленску, так, чтобы вы прибыли туда

непременно чрез три дня, а самое наипозднейшее время через 4 дня и сим предупредили бы замыслы неприятельские». Дохтурову предписывалось «вспомнить суворовские марши и оными следовать к Смоленску так, чтобы быть там непременно 19 или 20 числа»57. Ему разрешалось брать провиант «реквизиционным способом». Что это означало для местных жителей, вспоминал Радожицкий: «Устрашенные жители Поречья с семействами в слезах и отчаянии в виду нашем разбегались из города в лес, на разные стороны; дома их наполнялись войсками, которые растаскивали все на биваки… Картина разрушения и человеческих бедствий в моем положении представлялась ужасною, мы коснулись отечественной собственности»58.

Итак, Барклай решился отвести основные силы 1-й армии через Поречье и Духовщину к Смоленску. Это решение, принятое хоть и с опозданием, стало несомненным благом для России. П. Х. Граббе точно предсказал то, что произошло бы в противном случае: «Мы дрались бы хорошо, но без уверенности в успехе. Мы были бы непременно побеждены и последствия неисчислимы. Хвала Барклаю, что после некоторого колебания решился он на спасительное отступление»59.

Тем временем Наполеон, стоявший в пяти верстах от русской позиции под Витебском, не понял значения начавшихся перемещений русских войск — они были похожи на обыкновенные передвижения полков и дивизий накануне сражения. Он-то как раз и был занят перестановкой корпусов своей армии. Подобно шахматисту перед началом партии, он расставлял фигуры, полагая, что тем же занят и его противник. А на самом деле Барклай уже сгребал свои фигуры с доски в коробку. При этом, беспокоясь о благополучном отступлении основных сил армии, он дал Палену приказ как можно дольше задерживать противника, сражаться до последнего, что тот и делал. Уже в сгустившейся темноте армия благополучно покинула свои позиции и поспешно, форсированным маршем, отошла по дороге на Смоленск к Поречью. Путь этот был на редкость трудным. Как писал князь Н. Б. Голицын, участник перехода, на следующий день «жар был нестерпимый, войска шли день и ночь, отдыхали на привалах по два или по три часа и потом снова продолжали путь»1".

На поле битвы спустилась темнота, но Пален все еще сражался, не давая французам приблизиться к уже опустевшим русским позициям. Впрочем, как пишет П. Х. Граббе, «неприятель напирал несильно, занятый постепенным сосредоточением подходивших корпусов и рекогносцировкою»61. Когда полностью стемнело, без спешки и суеты отступил и сам Пален, оставив

убитых, как это принято было тогда, на поле боя, а раненых — в самом Витебске, с расчетом на милосердие противника.

Промах Железного маршала

Багратион же, не прорвавшийся в Могилев, искал брод через Днепр ниже по течению. Найти его оказалось нетрудно — в Новом Быхове была удобная переправа, здесь русские войска вполне благополучно форсировали реку. Этим успешно занимался генерал О. Ф. Кнорринг, который начал быстро наводить мост для переправы вагенбурга, в то время как «нужнейшие обозы переправлялись на паромах»62. При этом настроение у Багратиона было самое скверное — он не взял Могилев и, скорее всего, позволил Даву опередить себя на дороге к Смоленску. В письме Барклаю после неудачи под Салтановкой Багратион, без привычного для него вызова, даже с долей некоторой вины, писал: «С прискорбием еще чувствую свое настоящее положение, что неприятель, без сомнения, упредит мое прибытие в Смоленск, ибо по достоверным сведениям, сего числа мною полученным, известно, что Даву со всеми силами потянулся уже к Смоленску, а две польские дивизии прибыли в Могилев, и вслед их идут еще войска. Один взгляд на карту удостоверит вас, что он будет прежде меня там»63. Действительно, Даву, в отличие от Багратиона, мог беспрепятственно идти к Смоленску — как говорили в народе, напрямки.

В тот же день 16 июля, когда Барклай послал Дохтурова в Смоленск «суворовским маршем», войска Багратиона переправились через Днепр и быстро двинулись к Пропойску, где и заночевали. 17 июля Багратион был в Мстиславле, оттуда без помех двинулся к Смоленску. Страх, что Даву их перехватит, определенно сохранялся. Об этом свидетельствует рапорт генерала Ф. Ф. Винценгероде, посланного Барклаем с восемью эскадронами в Смоленск и далее до Могилева. 16 июля он писал Багратиону: противник в Орше, и «полагаю, что он атакует меня с этой стороны, если у него будет такое намерение, в чем я почти не сомневаюсь, поскольку Великая армия находится на пути из Витебска в Смоленск, как меня известил военный министр, потребовав, чтобы я удерживал Смоленск, елико возможно. Я предпринимаю меры, чтобы выполнить это требование, насколько мне позволяют те незначительные силы, которыми я располагаю…». Но Винценгероде не сомневался, что не удержится в Смоленске, «если неприятель подвергнет меня серьезной атаке»64.

Но так случилось, что поражение под Салтановкой… пошло на пользу русским. Маршал Даву оказался почти в том же положении, что и сам Наполеон, который, готовясь к генеральному сражению под Витебском, не ожидал внезапного ухода русской армии к Смоленску. Багратион 17 июля сообщал Барклаю из Мстиславля, что после атаки Раевского Даву «остался в уверенности, что имел я намерение атаковать его с левого берега Днепра, укрепился в Могилеве и дал мне через то время дойти до того пункта» (то есть Мстиславля. — Е. А.), откуда можно соединиться с 1-й армией65. А ведь поначалу, из цитированного выше письма Багратиона Барклаю, следовало, что главнокомандующий 2-й армией был уверен в обратном: Даву его непременно опередит. Из письма видно также, что именно тогда впервые за всю кампанию целеустремленный, собранный Багратион дрогнул… Да и то: пройти столько огненных верст, достичь Смоленска… и обнаружить там, как и в Минске и потом в Могилеве, своего проклятого преследователя!

Но счастье, наконец, улыбнулось русским. Произошло чудо. Багратион прав, отсылая нас к карте. Если посчитать версты, то можно понять, что какими бы «суворовскими маршами» ни двигался Дохтуров от Лиозно к Смоленску, как бы ни спешил Багратион туда же через Мстиславль, французы были бы в Смоленске на день-два раньше. Барклай был тоже уверен в том, что дело почти проиграно. В письме Багратиону он писал, что французы непременно уже движутся к Смоленску: «Итак, я иду форсированными маршами через Поречье на Смоленск, куда, по всем пол ученным сведениям, обратится наверно вся неприятельская армия и корпус маршала Даву со всеми соединенными силами»66. На следующий день он же писал: «Отступаю к Смоленску единственно для того, чтобы предупредить коварные замыслы Даву, идущего из Могилева прямою дорогою к Смоленску»67.

Но этого-то как раз и не было! «Коварный Даву» не шел к Смоленску. Впервые столкнувшись в полевом сражении с войсками 2-й Западной армии и увидев их упорство, он задумался. Как писал Паскевич, «сражение под Могилевым произвело на него (Даву. — Е. А.) большое влияние. Он сам признавался, что никогда не видел пехотного дела, столь упорного». Маршал полагал, что утром русские снова начнут наступление уже силами всей армии Багратиона, рвавшейся на соединение с 1-й армией. Поэтому в ночь отступления Багратиона от Салтановки и форсирования Днепра французы готовились к обороне, спешно укрепляли предместья Могилева, возводили редуты на подступах к городу. Одновременно Даву усиливал свой

корпус, который увеличился после прибытия войск Пажоля, а потом и корпуса Понятовского. Важным оказалось и то, что Багратион 12 июля, уступая требованиям Барклая68, разрешил Платову переправиться через Днепр и пробираться к 1-й армии, хотя, как писал Платов, Багратион «меня отпустил весьма неохотно»69. Это движение казаков, наводнивших окрестности Могилева вдоль левого берега Днепра, и ввело маршала Даву в заблуждение. Он увидел в этом предвестие большого сражения, которое даст ему русский главнокомандующий. Казаки же прошли Могилев севернее и у Любавичей впервые встретились с драгунами Сибирского полка, посланного Ермоловым навстречу 2-й армии70.

Но все-таки ошибка Даву была не в том, что он просидел пять дней в Могилеве, ожидая нападения Багратиона. Узнав, что 2-я армия переправилась на левый берег Днепра ниже и уже прибыла в Мстиславль, он почему-то и тогда не исправил свой промах. Между тем он мог это сделать, даже несмотря на потерянные в Могилеве дни. Сен-При без всяких эмоций внес в свой дневник: «17 и 18-го армия сосредоточена в Мстиславле. Неприятель не двигается из Могилева»11. Денис Давыдов писал, что после битвы под Салтановкой дивизии Раевского и Воронцова, прикрывавшие отход 2-й армии через реку (по дневнику Сен-При, это было 12 июля — Е. А.), позже начали отступление, и противник их почему-то также не преследовал. Это странное «воздержание Давуста от преследования Раевского и Воронцова, — писат Давыдов, — многих из нас тревожило. Мы полагали, что Давуст проник превосходную мысль Багратиона и что он, для преграждения нашему ходу чрез Мстиславль к Смоленску, оставя в покое и Раевского, и Воронцова, двинулся чрез Днепр к первому из сих городов».

Та же мысль была и у начальника Главного штаба 1 — й армии А. П. Ермолова, писавшего 27 июля, что 2-я армия вырвалась благодаря «грубой поспешности маршала Даву, ожидавшего нападения на Могилев… Маршал Даву должен был прежде нас занять Смоленск, и без больших усилий, ибо в Орше были части его армии»72. В своих позднейших записках А. П. Ермолов вернулся к этому драматическому моменту, отметив, что даже диверсия французов на Смоленск нанесла бы русской армии огромный ущерб: «Маршал Даву, пропусти князя Багратиона, мог войсками своими, расположенными в Орше и Дубровне (то есть на кратчайшей к Смоленску дороге через Красный. — Е. А.) занять временно Смоленск… истребить запасные магазины и разорить город. Потеря магазина была бы нам чувствительна, ибо продовольствие армии производилось недостаточное и

неправильное»73. В другом месте записок он оценил происшедшее в более широкой исторической перспективе: «Грубая ошибка Даву была причиной соединения наших армий, иначе никогда, ниже за Москвою, невозможно было ожидать того, и надежда, в крайности не оставляющая, исчезла!»74

И тогда восторженное письмо царю вырвавшегося на оперативный простор Багратиона от 17 июля было бы преждевременным: «Не имея преграждений от неприятеля, я сего числа с вверенною мне армиею прибыл благополучно в Мстиславль… Я почитаю себя весьма счастливым, что после всех преград я наконец достиг того пункта, на каком не имею неприятеля уже в тылу и с флангов армии, здесь я с ним грудью»75. Да, это был первый во всей кампании момент, когда армия Багратиона могла встать лицом к лицу с противником, а не отступала от него, опасаясь ударов во фланги и в тыл.

Но все же скажем слово и в защиту неустрашимого Даву. Как и Багратион, он точно не знал силы своего противника и наверняка их преувеличивал. Поэтому наутро он стал серьезно готовиться к обороне Могилева. Кроме того, А. Коленкур передает историю, неизвестную нам по русским источникам. Он сообщает, что поскольку Багратион, подойдя к Могилеву, полагал, что «ему придется иметь дело со слабым корпусом, наспех собранным маршалом, и что никто его не теснит», он якобы «послал к князю Экмюльскому (Даву. — Е. А.) адъютанта, чтобы передать ему, что он в течение нескольких дней обманывал его своими активными маневрами, но теперь Багратион знает, что маршал может противопоставить ему лишь головные части колонны, а потому во избежание бесполезного боя предупреждает его, что будет завтра ночевать в Могилеве. Маршал, не отвечая на эту похвальбу, сделал все возможное для укрепления своей позиции». А потом произошел бой под Салтановкой76. Конечно, этот рассказ можно было бы проигнорировать как недостоверный, но, с другой стороны, в нем можно найти и зерно истины: если Багратион был убежден (точнее — дезинформирован), что его армию ждут только головные части корпуса Даву, то он мог припугнуть слабого противника. И тогда посылка парламентера согласуется с представлениями русского командующего о силах французов и оправдывает намерение морально подавить волю противника к сопротивлению. Как бы то ни было, решимость Багратиона, выразившаяся в ультиматуме и в первой яростной атаке войск Раевского под Салтановкой, свою роль сыграла — Даву не хотел рисковать, даже диверсионная экспедиция в Смоленск могла показаться ему авантюрой, на которую он, не зная истинной ситуации, не пошел, а в итоге оказался в проигрыше.

Итог багратионовой одиссеи

Итак, завершая наш скромный Анабасис беспримерного отступления 2-й Западной армии от границы до Смоленска, скажем, что весь этот марш, закончившийся так благополучно, кажется чудом. А произошло это чудо и из-за ошибок французов, и благодаря мужеству и терпению солдат 2-й армии и, конечно, таланту Багратиона как полководца. Кажется поразительным, как же ему удалось, минуя все ловушки и опасности, которые расставляли на его пути противник, природа и случай, не просто провести армию по 800-верстному пути, но и сохранить ее боеспособность. Достигнутое Багратионом даже превосходит то, чего добился его обожаемый учитель Суворов, совершивший свой знаменитый Швейцарский поход. Не будем забывать, что Суворову удалось сохранить главным образом честь русского оружия, но не армию, жалкие остатки которой уже ни на что не годились. 2-я же армия участвовала в Смоленском и Бородинском сражениях. Если бы в тот век нашелся хотя бы один поэт, видевший это отступление, он бы непременно сравнил воинов Багратиона с античными героями македонского войска, совершившими беспримерный марш по Малой Азии, что запечатлено в знаменитом сочинении «Анабасис». Маршу 2-й армии поражались все, знавшие суть дела. Как писал прошедший весь этот путь Д. Душенкевич, «о сем чудно выдержанном марше россиян имеет право сказать с благородною гордостью: по дорогам неудобнопроходимым, воды гнилых болот, вонючие, даже красные, должно было иногда употреблять, в короткое время всею армиею такое расстояние пройти под носом неприятеля беспрерывным движением, поочередно делая привалы, с последним привалом головная колонна бьет подъем и следует далее, дело необыкновенно спешнЪе, совершенное без потерь, в удивительном порядке, пользе, оным доставленной, летопись отечественная даст настоящую цену и определение точное»77.

Прерванная увертюра

Вернемся опять под Витебск… Рано утром 16 июля Наполеону донесли, что русской армии перед его позициями нет! Император не мог в это поверить. Французов поразила быстрота, с которой отступали, можно сказать, организованно бежали русские войска. Французский офицер Ложье вспоминал: «Как только занявшаяся заря расчистила горизонт, мы все, как по

общему согласию, не говоря ни слова, устремляем взгляд на расстилающуюся перед нами громадную равнину, вчера еще усеянную врагами, на которых нам так хотелось напасть. Сегодня она лежит перед нами пустынной, покинутой. Неприятель не только исчез, он не оставил никакого указания относительно дороги, по которой пошел».

Для истории можно и повторить. Как писал адъютант Наполеона граф Сегюр, уход русских был полной неожиданностью для императора, считавшего, что проявленное накануне необыкновенное упорство русских — верное свидетельство того, что они готовятся наутро дать ему сражение. Накануне вечером он, по словам Сегюра, сказал свои знаменитые слова: «Завтра, в пять часов, взойдет солнце Аустерлица!» Впрочем, если верный оруженосец императора ничего не напутал, ту же фразу Наполеон, согласно многим другим источникам, произнес также и накануне Бородинского сражения. Это даже попало в тогдашнюю прессу. Выходившая в Вильно польская газета писала 17 сентября: «На рассвете 7-го числа император, окруженный маршалами, поднялся на холм, где находился редут, взятый нами еще 5-го числа. В половине шестого на ясном, безоблачном небе показалось чудное, светлое солнце. “Это солнце Аустерлица”, — сказал император. Вся армия приняла эти слова за счастливое предзнаменование…» По другой версии, Наполеон, стоя у Шевардинского редута, якобы сказал: «Сегодня немного холодно, но всходит прекрасное солнце. Это солнце Аустерлица»78.

Но тогда, под Витебском, утреннее солнце было обыкновенным. Наполеону донесли, что лагерь русских пуст. Тот решил сам убедиться в этом и поехал посмотреть лагерь, оставленный русской армией. «С каждым шагом, — писал Сегюр, — его иллюзия исчезала, и вскоре он очутился посреди лагеря, покинутого Барклаем. Все в этом лагере указывало на знание военного искусства: удачный выбор места, симметрия всех его частей, точное и исключительное понимание назначения каждой части и, как результат, порядок и чистота. Притом ничего не было забыто. Ни одно орудие, ни один предмет и вообще никакие следы не указывали вне этого лагеря, какой путь избрали русские во время своего внезапного ночного выступления. В их поражении было как будто больше порядка, чем в нашей победе! Побежденные, убегая от нас, они давали нам урок! Но победители никогда не извлекают пользу от таких уроков — может быть, потому, что в счастье они относятся к ним с пренебрежением и ждут несчастья, чтобы исправиться. Русский солдат, найденный спящим под кустом, — вот единственный результат этого дня,

который должен был решить все! Мы вступили в Витебск, оказавшийся таким же покинутым, как и русский лагерь»79. Попутно заметим, справедливости ради, что места для биваков русской армии выбирал знаменитый Карл фон Клаузевиц — большой знаток полевой науки110.

Наполеон вступил в Витебск 16 июля. На некоторое время он даже «потерял» русскую армию — два дня было неизвестно, в каком направлении она ушла. И только 18 июля он узнал, что Барклай уходит к Смоленску. Сработало то, что позже будет названо «скифской тактикой» отступления. Барклай даже с гордостью писал, что его армия «в военном смысле может тщеславиться, производив оное (отступление. — т Е. А.) в виду превосходнейшего неприятеля, удерживаемого малым авангардом, в начальстве графа Палена состоящим»81. Наполеон, подобно Даву, упустил русскую армию. Сам Барклай в донесении 17 августа на имя М.И.Кутузова, приехавшего сменить его на посту главнокомандующего, признал это: «Великое для меня щастие, что неприятель не воспользовался выгодами своими и остался после сражения под Могилевым спокойным зрителем, не предпринимая ничего на Смоленск»82.

Другой свидетель поспешного отступления 1-й армии, граф Армфельд, писал о нем как о необыкновенной удаче, рискованном предприятии: «Мы счастливо добрались до Смоленска. Отступление из Витебска было совершено под командой молодого генерала Палена, начальствовавшего арьергардом, этот случай останется всегда чудом в военной истории. Бонапарт вел сам корпуса Мюрата, Богарне и маршала Нея, но, несмотря на это, русская армия отступила прямо перед его носом через громадное поле, верст в 25 длиной, французской кавалерии было бы более чем легко раздавить нас в этот момент. Я никогда в жизни не испытывал такой боязни, как в этот день, быв убежден, что мы пропали, все мои надежды были возложены на чудную казачью лошадь, которую я получил от атамана»81.

Печальная судьба раненых и пленных. Другой стороной «скифской тактики» стало то, что русские войска бросили на милость победителей около четырехсот раненых солдат, оставленных на поле сражения и в опустевшем Витебске. Такое отношение к раненым было обычным по тем временам. Известно, что вывезенные с Бородинского поля 22 тысячи русских солдат были оставлены на произвол судьбы в брошенной Москве и в большинстве своем сгорели в страшном московском пожаре1"1. Не менее 10 тысяч раненых русских солдат было брошено в Можайске — ближайшем от Бородина городе. М. И. Кутузов сразу после отступления армии с поля сражения писал Ф. В.

Ростопчину: «Раненые и убитые воины остались на поле сражения без всякого призрения» ю. Согласно рапорту полковника А. И. Астафьева, в январе — апреле 1813 года на поле Бородина, в Можайске и уезде были сожжены 58 521 труп и не менее 8234 «падали» — трупов лошадей. И все равно до конца XX века в окрестностях Можайска постоянно находили кости павших. Как писал один из местных жителей, «когда при строительстве родильного дома в Можайске очередной раз наткнулись на многочисленные кости, археолога, чтобы установить время захоронения, не вызывали, кости даже не были собраны — их топтали прохожие и строительные рабочие»80.

Наверное, так же было и в десятках других городов, в том числе и в Витебске. Опустевший город, жители которого бежали за Днепр, после отхода русской армии представлял собой тягостное зрелище. И. Т. Радожицкий, раненный в бою и оставленный в городе, писал, что в Витебске была «ужасная тишина, прерываемая только стоном раненых, которые в разном положении валялись на мостовой»87. По словам Сегюра, «все эти несчастные оставались три дня без всякой помощи, никому не ведомые, сваленные в кучу, умирающие и мертвые, среди ужасного смрада разложения. Их наконец подобрали и присоединили к нашим раненым, которых тоже было семьсот человек, столько же, сколько и русских. Наши хирурги употребляли даже свои рубашки на перевязку раненых, так как белья уже не хватаю. Когда же раны этих несчастных стали заживать, и людям нужно было только питание, чтобы выздороветь, то и его не хватало, и раненые погибали от голода. Французы, русские — все одинаково гибли»88. О том же писал и хирург Ларей: «Они лежали на гряз ной соломе вповалку, друг на друге, среди нечистот, и, можно сказать, гнили в этом смраде. У большей части их раны были поражены гангреной или страшно загрязнены. Все они умирали с голоду»89. Очевидцу Митаревскому запомнился в Витебске некий лабаз, занятый операционной. Возле лабаза стояли лужи крови, оттуда «выбрасывали отрезанные руки и ноги, которые растаскивали собаки»90. Вообще, медицина была в те времена простая — ампутация, причем без наркоза (его заменял стакан водки), считалась порой единственным спасением при ранении рук и ног, особенно с обнажением костей и смещением. Поэтому всех, кто приближался к полевому госпиталю, поражало зрелище отрезанных рук и ног, которые кучами грузили на телеги и куда-то увозили.

Всего в сражении под Витебском русские войска потеряли 834 человека убитыми и 1855 ранеными. Отмечая мужество и

стойкость русских войск в этом трехдневном сражении, обратим внимание и на зафиксированную в ведомости дежурного генерала 1-й армии значительную цифру «пропавших без вести», то есть бежавших или взятых в плен. Их было довольно много в обшей массе потерь — 1069 человек91.

Пассивность, проявленная Наполеоном в тот момент, объяснялась не только тем, что он вначале готовился к генеральному сражению, а потом «потерял» русскую армию, но и желанием дать своей уставшей от форсированных маршей армии отдых. Поэтому император не стал преследовать Барклая до Смоленска. Русским также требовался отдых, но нужно было поспешно уходить с места несостоявшейся битвы. Войска почти бежали — так стремителен был их форсированный марш. При всей четкости и организованности отступления 1-й армии марш был очень трудным. Как вспоминал И. С. Жиркевич, «на отдыхах мы обыкновенно стояли три или четыре часа и, сварив кашу, опять подымались в поход. Жар был нестерпимый, и мы не более как в 38 часов прошли около 75 верст до Смоленска»92. Иного русской армии было не дано.

Глава четырнадцатая
Топтание под Рудней

Долгожданная встреча

Первая Западная армия быстро, но организованно отходила от Витебска по дорогам на Поречье и Рудню и 20 июля остановилась у Смоленска. Лагерь был устроен на правом берегу Борисфена — так, вспоминая античность, во французской армии называли Днепр. Как известно, в греческой мифологии Борисфен был границей ойкумены, обитаемого мира, за которым жили неведомые гипербореи. Арьергарды под командованием Палена, Шевича и Корфа были оставлены в Поречье и Рудне.

Вторая армия пришла к Смоленску 22 июля и остановилась в лагере на левом берегу. Вырвавшись из пекла, воины 2-й армии чувствовали себя победителями. А. П. Ермолов писал, что «радость обеих армий была единственным между ними сходством. Первая армия, утомленная отступлением, начала роптать и допустила беспорядки, признаки упадка дисциплины. Частные начальники охладели к главному, низшие чины колебались в доверенности к нему (Ермолов имеет в виду недоверие высшего офицерства к Барклаю и распространявшиеся среди солдат слухи о том, что Барклай — «немец-изменник». — Е. А.). Вторая армия явилась совершенно в другом духе! Звук неумолкающей музыки, шум не перестающих песней оживляли бодрость воинов. Исчез вид понесенных трудов, видна гордость преодоленных опасностей, готовность к превозможению новых. Начальник — друг подчиненных, они — сотрудники его верные!»1. Ермолов отразил различие в общем настроении двух армий: воины 2-й армии испытывали подъем, а в 1-й царил иной дух. А. Н. Муравьев, шедший с 1-й армией, пишет согласно с Ермоловым: наши войска, «предводимые своими начальниками, всегда держались донельзя, никогда не отступали с бегством, но всегда в порядке и полном послушании у своих командиров… но у всех на душе лежало тяжелое чувство, что французы более и более проникают в отечество наше, что особенно между офицеров производило ропот»2. Ему вторил сослуживец П. Х. Граббе: «Со вступлением армии на старинную русскую землю война приняла, казалось, вид более мрачный: доверенность войск к своему главнокомандующему ослабла, заметили нерусскую его фамилию, ближайшие его сотрудники усомнились в его

способностях, и с Петербургом началась переписка враждебная для Барклая де Толли. Глаза всех обратились на князя Багратиона, с которым соединение было уже несомненно. Поход 2-й армии от Немана, отрезываемой с фланга маршалом Даву, преследуемой с тыла королем Вестфальским, покрыл ее честию и возвысил в глазах армии и России любимого ими и прежде любимца Суворова. Между обеими армиями в нравственном их отношении была та разница, что 1-я надеялась на себя и на русского Бога, 2-я же, сверх того, и на князя Багратиона»3.

Так думали и другие очевидцы и участники событий, последовавших за объединением армий. «Тогда у нас радость была всеобщая, — вспоминал офицер И. Т. Радожицкий, — потому более, что армию князя Багратиона почитали мы, по незнанию, пропащею. Русские снова ободрились; собранные силы нашего православного воинства внушили каждому солдату приятную уверенность, что от стен Смоленска победа будет в наших руках, вместе с тем предел стремлению завоевателей и нашей бесконечной ретираде. Одно имя генерала Багратиона, известного храбростью, подкрепляло надежду в войсках. Я сам, соглашаясь с общим ожиданием, столько был в том уверен, что в письме отцу своему, жившему в Ярославской губернии, писал между прочим: “Войски наши отступили к Смоленску, может быть, пойдут и далее, но Бог-Рати-Он с нами, и мы будем в Париже”. При тогдашних обстоятельствах имя Багратиона для русских заключало в себе какое-то таинственное знаменование против апокалиптического имени Наполеона, как доброго гения против демона»4.

Соединение двух Западных армий, слившихся как две капли воды в одну, доставило людям радость и облегчение — они были теперь вместе и в два раза сильнее перед лицом страшного врага! Как вспоминал Федор Глинка, солдаты, подходя к Смоленску, «показывали руки с растопыренными пальцами — “прежде мы были так! (то есть корпуса в армии, как пальцы на руке, были разделены), теперь мы, — говорили они, сжимая пальцы и свертывая ладонь в кулак, — вот как! Так пора же (замахиваясь дюжим кулаком), так пора же дать французу разй — вот этак!” Это сравнение разных эпох нашей армии с распростертою рукою и свернутым кулаком было очень по-русски, по крайней мере очень по-солдатски и весьма у места»5.

Смоленск — это уже Россия. Смоленск был русским, родным городом, и он радушно встретил своих защитников. Десятки тысяч солдат, прошедших по опасным, пыльным дорогам Литвы и Белоруссии, в Смоленске получили передышку, неожиданный краткий отпуск. Они сознавали, что впереди их ждет неизбежное,

страшное испытание, может быть, смерть. И командование не могло не дать людям насладиться отдыхом. «Три дня, — писал Дрейлинг, — прожили мы под Смоленском бурно и весело. Два месяца мы терпели всевозможные лишения. Теперь мы брали от жизни все и пользовались всем вволю, благо в городе еще можно было достать все что угодно»6. Вместе с тем в городе ощущалась тревога, днем и ночью царило лихорадочное веселье, всюду пили, шла игра в карты, купцы, предчувствуя катастрофу, «все задешево продавали»7.

Впрочем, не будем драматизировать состояние и настроение в армии Барклая. Ее солдаты и офицеры также вели себя достойно. Как отмечал Армфельд, наши солдаты стойко держались под огнем, сами переходили в контратаки, и вообще, «чудное, превосходное, храброе и выносливое у нас войско. Генерал Пален рожден для того, чтобы быть самым знаменитым воином в Европе. Генерал Ермолов, генерал Корф — люди с великим талантом. Самое незначительное обстоятельство в нашу пользу может иметь для нас счастливый оборот». Все случилось так удачно, будто Бог был на нашей стороне. «Соединение русских армий не могло совершиться с большим успехом: один день разницы мог бы иметь самые гибельные последствия. Такое счастливое соединение двух армий, несмотря на все усилия неприятеля, представлялось мне тогда же как знак особого расположения Провидения к будущему успеху нашего оружия», — вспоминал еще один участник похода 1-й армии, князь Н. Б. Голицын8. Наверняка так считали и другие. Им казалось, что начинается новый этап войны, что пришло время побед…

Двадцать третьего июля, впервые после начала войны, Барклай и Багратион встретились в Смоленске и обсудили планы грядущих операций. Теперь общая численность армии составляла 120 тысяч человек1. В приказе Барклая от 24 июня говорилось, что армии соединились, что «уже нет нам никакого к тому препятствия. Вскоре соберетесь вы, храбрые воины, вместе и общими силами противустанете врагу..». Заодно было объявлено еще об одной, пусть и небольшой, победе русского оружия, в сущности — о мелкой арьергардной стычке, закончившейся отступлением французского авангарда. В контексте событий под Смоленском эта стычка казалась предвестием больших побед: «Вчера арьергард 1 — й Западной армии, отражая стремление авангарда неприятельского в три раза сильнейшего, заставил его скрыться и искать спасения в лесах, с значительною в людях потерею»10.

«С нетерпением ожидаю наступления»

После соединения армий главнокомандующих беспокоил значительный разрыв их войск как с корпусом П. Х. Витгенштейна, прикрывавшим Петербург, так и с армией А. П. Тормасова, противостоявшей на Волыни австрийским и саксонским корпусам. Вскоре, после стольких недель огорчений и тревог, пришла еще одна истинно радостная весть: Турция ратифицировала мирный договор с Россией, и с этого момента Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова численностью 57 тысяч человек получила свободу действий. Оставив около десяти тысяч солдат для охраны границ, она могла двинуться на север, на помощь своим боевым товарищам. Ну а пока нужно было думать, как же воевать с Наполеоном.

Французская армия стояла на линии Витебск — Могилев. Сам император французов с гвардией квартировался в Витебске, в Орше находились старый знакомец Багратиона маршал Даву, а также Жюно и Груши, в Могилеве — Понятовский. Ней и Мюрат были выдвинуты в авангард, стоявший на дороге Витебск — Рудня — Смоленск. Это была одна из нескольких дорог, веером разбегавшихся от Смоленска на запад, северо-запад и юго-запад. Северо-западнее дороги на Рудню шла дорога на Поречье — Витебск, левее проходила дорога на Надву, которая в Рудне сливалась с главным трактом Витебск — Смоленск. Еще левее, то есть южнее, уже по берегу Днепра, тянулась дорога Смоленск — Красный — Орша. Наконец, дальше к югу проходила дорога на Мстиславль — Могилев, по которой Багратион со своей армией и пришел в Смоленск.

Главнокомандующие и их штабы напряженно думали, по какой же дороге выступит к Смоленску Наполеон. А он никуда не двигался! Восемнадцать дней он и его армия отдыхали — французы устали от форсированных маршей не меньше, чем русские. В окружении императора, так же как и в русских штабах, кипели споры о том, что делать дальше: вставать ли армии на зимние квартиры или двигаться на Смоленск и Москву? В Витебске Наполеон получил два неприятных известия: одно — о ратификации Стамбулом русско-турецкого мира и второе — о манифесте Александра I с призывом к россиянам подняться на народную войну. Это грозило повторением испанского варианта развития событий. Как известно, сопротивление испанцев французским оккупантам поначалу казалось в Европе нелепостью, противозаконным бунтом; военные теоретики считали, что неорганизованные мятежники с вилами и косами не устоят против регулярных войск, но месяцы народного сопротивления складывались в годы, французские войска непрерывно несли потери, и народная война стала походить на упорный пожар на

торфяниках. Как образно писал Р. Делдерфилд, «враги Франции с удовольствием наблюдали за этой борьбой, полагая, что корсиканский людоед до смерти истечет кровью через рану в своей пятке»". Теперь, в 1812 году, призыв к народной войне слетел с уст царя, и это поразило Наполеона, не ожидавшего от коронованного «брата» подобного «демократического» шага и надеявшегося, что им удастся-таки договориться между собой. Как полагают некоторые, именно эти действия Александра побудили Наполеона завершить в Витебске «Вторую Польскую войну» и начать Московский поход, чтобы как можно больнее унизить русского царя, заставить его подписать мир в старой русской столице, священном для русской нации городе. По словам находившегося возле Наполеона графа Сегюра, именно тогда император и решил идти на Москву.

В свою очередь, император Александр I приветствовал известие о соединении армий. Он писал Барклаю: «Так как вы для наступательных действий соединение (армий. — Е. А.) считали необходимо нужным, то я радуюсь, что теперь ничто вам не препятствует предпринять их и, судя по тому, как вы меня уведомляете, ожидаю в скором времени самых счастливых последствий. Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же не иначе, как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные движения продолжились до Смоленска… Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми… Ожидаю в скором времени услышать отступление неприятеля и славу подвигов ваших»12. После этих вежливых, но решительных слов отступать Барклаю было, кажется, уже невозможно. Но он не распознал тогда в царском письме скрытого предупреждения, не понял, что ему дается последний шанс…

Барклай полагал, что Наполеон двинется из Витебска на Поречье либо на Рудню с целью захвата Смоленска. 20 июля он писал подходившему к Смоленску Багратиону, что французы преследуют его арьергард «многочисленною кавалериею, из сего заключить можно, что под Смоленском на сих днях должно быть генеральное сражение»13. Багратион же был убежден, что Наполеон пойдет по кратчайшему пути, то есть по центральной дороге на Рудню. Следовательно, нужно не дожидаться его наступления, а двинуться вперед, навстречу Великой армии, и напасть на французов. При личной встрече 22 июля он убеждал Барклая «пользоваться сей минутой и с превосходными силами напасть на центр его и разбить его войска в то время, когда он,

быв рассеян форсированными маршами… не успел еще собраться… Вся армия и вся Россия сего требуют». Это верно — общее настроение после соединения армий было весьма боевым, и все были готовы сразиться и взять реванш за отступление. Кроме того, это отвечало суворовским принципам, которые исповедовал Багратион, — движение вперед, разведка, перехваченная инициатива и моральное давление на противника. Примером может служить приказ Багратиона Платову 27 июня, накануне столь удачного для казаков боя при Мире: он предписывал атаману выделить два полка охотников и «…на него ударить. Я уверен, что неприятель или слаб и выжидает подкрепление, или робеет, почему и нужно нам самим его атаковать и показать, что идем на него, — стоять же перед ним долго на одном месте никак нам не должно, и обстоятельства не позволяют»14.

У трех дорог, не ведущих к победе

На военном совете 25 июля было решено двинуться по центральной дороге Смоленск — Рудня — Витебск. Расчет был на то, что по дороге на Рудню есть удобные позиции, заняв которые можно было дать Наполеону генеральное сражение. Идея движения на Рудню принадлежала Багратиону В конце июля он писал об этом Ростопчину: «Теперь, по известиям, неприятель имеет свои все силы от Орши к Витебску, где главная квартира Наполеона. Я просил министра и дал мнение мое на бумаге идти обеими армиями тотчас по дороге Рудни, прямо в середину неприятеля, не дать ему никакого соединения и бить по частям, насилу на сие его я склонил»15. Впрочем, порой и Багратионом овладевали сомнения — он ясно понимал, с кем имеет дело. 26 июня он писал Барклаю: «Ежели неприятель остановится в больших силах в своей позиции, то это мне кажется, лучше его не атаковать в крепкой его позиции, ибо сам мастер защищаться. Обеспокоить его казаками и выждать, чтобы он сам вышел нас атаковать, а тогда для нас лучше будет… Сие для того говорю, что вы мне сказывали, как нужно длить нашу кампанию»16. Да и сам Барклай склонялся к тому, чтобы с помощью маневров «вытащить» противника на открытые действия и, оценив его силы, дать ему сражение. Вообще, в этот момент он явно нервничал. «Я никогда не замечал у Барклая, — писал Левенштерн, — такого внутреннего волнения, как тогда; он боролся с самим собою: он сознавал возможные выгоды предприятия, но чувствовал и сопряженные с ними опасности»17.

Обоих полководцев страшило возможное окружение, мучила боязнь, что если армии разойдутся и растянутся по расходящимся от Смоленска дорогам, то неприятель этим воспользуется, чтобы разорвать их коммуникации и окружить поодиночке18. Поэтому было решено далеко от Смоленска не уходить, друг друга не терять и дальше, чем на один переход, не расходиться. Кроме того, решили присматривать за Московским трактом, выходящим из Смоленска на Дорогобуж, чтобы «корсиканское чудовище» не оказалось на нем раньше их самих. С продовольствием на это время проблем не было — его безостановочно подвозили из Торопца, Великих Лук и Белого.

К тому же армии отдохнули и пополнились резервами. Считается, что общая численность русских сил достигла тогда 120 тысяч штыков и сабель (77 тысяч в 1-й армии и 43 тысячи во 2-й). Помолясь, утром 26 июля обе армии выступили из Смоленска: 1-я армия (двумя колоннами) шла на Рудню по дороге через Приказ-Выдру, а Багратион (одной колонной) двинулся на Рудню через Катань. Впереди, как всегда, шел Платов со своими казаками и татарами. Для наблюдения за дорогой Смоленск — Орша к Красному из Смоленска был выдвинут генерал Неверовский с 27-й дивизией, прошедшей вместе со 2-й армией весь ее долгий путь от Волковыска до Смоленска. С Неверовским шли три казачьих полка и полк драгун. Первый день был удачен, обе армии беспрепятственно достигли мест ночевки, соответственно: 1-я — в Приказ-Выдре, а 2-я — в Катани. Но утром 27 июля приказа о выступлении в поход не последовало: Барклай вдруг получил сообщение об оживлении французов на другом прямом направлении, а именно на дороге Витебск — Поречье — Смоленск, то есть севернее дороги на Рудню. Не без оснований русское командование встревожилось: если основные силы неприятеля двинутся по Пореченской дороге, в то время как обе русские армии продолжат свой путь на параллельных с Наполеоном курсах, то французы захватят Смоленск, перехватят Московский тракт и зайдут им в тыл.

Особенностью положения русских командующих было то, что они не имели верных сведений о расположении противника и его силах. Было известно, что сам Наполеон находится в Витебске, но как он будет действовать — не знал никто. Барклай, получив сведения о движении французов по Пореченской дороге, предположил следующее: «Мне кажется, что сам Наполеон со своею гвардиею, частию легкой конницы и всею тяжелою кавалериею должен иметь пребывание в Витебске, по крайней мере на верное полагать можно, что сии войска стоят между Витебском и Поречьем, ибо в противном случае не мог бы

оставаться в сем последнем месте находящийся там неприятельский отряд, который, по последним известиям, довольно силен и состоит из пехоты, конницы и артиллерии»". И хотя, судя по цитате, все еще было вилами на воде писано, Барклай решил изменить порядок движения войск: 1-я армия перешла на Пореченскую дорогу, а 2-я заняла ее место на Рудненской дороге, у Приказ-Выдры.

Барклай поступил так, исходя из полученных от пленных сведений: «Пленные, в сии дни взятые нашими войсками, показывают согласно со всеми прочими полученными известиями, что впереди Рудни стоит король Неаполитанский с частию своей кавалерии и несколько пехоты, в самой же Рудне находится корпус маршала Нея, в недальнем расстоянии позади оного корпус вице-короля Итальянского, большая часть корпуса маршала Даву расположена в Любавичах и Бабиновичах…»2"

Багратион с решением о переходе армий на другую дорогу согласен не был. При этом он вряд ли сам знал о неприятеле больше, чем Барклай, но считал, что действовать нужно иначе. 27 июля из Катани он писал Барклаю, что пока «узнать о силе его (Наполеона. — Е. А.) невозможно… средоточие его сил нам не довольно открыто, чтобы знать, где он именно находится». Поэтому Багратион опасался, что если 1-я армия двинется на Поречье, а 2-я — на Рудню, то Наполеон может «разделить нас вновь или, обойдя наш левый фланг», истребить обсервационный корпус Неверовского, расположенный в Красном, «которому помочь значущими силами мне будет чрезвычайно трудно или невозможно, если в то же время буду я сам атакован»21. Как стратег он рассуждал вполне здраво и поэтому опасался «сюрприза» от хитрого и опытного неприятеля — что вскоре, к сожалению, и последовало. Вместе с тем, заботясь о своем левом фланге, Багратион пренебрегал такими же заботами Барклая о правом (пореченском) фланге 1-й армии. Но ныне, знакомясь с перепиской обоих главнокомандующих, следует отметить, что Багратион, в отличие от Барклая, обладал некоей интуицией — это мы видели по его действиям в начале кампании, это видно и в процитированном письме об угрозе с левого фланга. Примечательно, что 27 июля Барклай писал императору, что «ночью от 25 на 26 число получены мною рапорты от начальников передовых войск, что все неприятельские аванпосты отступили из занимаемых ими мест, кроме состоящих в Поречье». Барклай не делает из этого никаких выводов, а вот Багратион в письме Аракчееву от 26 июля оценил этот внезапный и ничем не объяснимый отход французов из района Рудни, как бы почувствовав по легкому дуновению ветерка приближение грозы:

«Я думаю, неприятель где ни на есть, да сильно сбирается, ибо со всех пунктов его кавалерия отходит. Сего мы узнаем не ранее как завтра», то есть не ранее 28 августа. Так, говорят, приближающуюся волну-убийцу цунами можно предугадать по необычайно сильному отливу… Действительно, Наполеон, узнав о передвижениях русских армий в районе Рудненской и Пореченской дорог, решил опередить Барклая и как раз в это время начал, согласно своему новому плану, собирать силы в кулак.

Как писал Клаузевиц, именно с этого момента между Багратионом и Барклаем «стали постоянно возникать разногласия и споры»22. 30 июля Багратион писал своему «агенту влияния» в штабе Барклая А. П. Ермолову: «Отношение обширное министра я получил, оно не заслуживает никакого внимания. Ибо невозможно делать лучше и полезнее для неприятеля, как он». Все, что делал или предлагал делать Барклай, начинает вызывать изжогу у Багратиона: «Истинно, я сам не знаю, что мне делать с ним? О чем он думает? Голова его на плахе, точно так и должно!» Из этого письма видно, что Барклай перестал советоваться с Багратионом и тот не знал общего положения дел. Неслучайно он просил Ермолова: «Узнай, ради самого Бога, где Тормасов, что он делает, куда он направит свой путь, где граф Витгенштейн? Без толку и связи не только операций, но ничего сделать невозможно»21. Самому Барклаю в тот же день Багратион со скрытой насмешкой и раздражением писал: «Прочитавши со вниманием мнение вашего высокопревосходительства, я не могу согласиться с причинами, которые заставили вас переменить прежнюю нашу диспозицию. Одни слухи не должны служить основанием к перемене операций, в которых всякая минута дорога, особливо по нынешним обстоятельствам. Естьли мы всегда будем думать, что фланги наши в опасности, то мы нигде не найдем удобной позиции…» В желании противоречить Барклаю во всем он тут опровергает главную мысль своего предыдущего письма министру от 27 июля, в котором высказывал особую заботу о своем левом фланге24.

А без воды..

Поначалу казалось, что Барклай в своих расчетах прав — пленные, взятые под Рудней в развернувшемся 27 июля бою французов с казаками Платова, показали, что Наполеон движется по Пореченской дороге. Это предположение подтвердилось и во взятых с бою штабных документах, о которых шла речь выше.

Возможно, что тут французы как раз подбросили дезинформацию, укрепившую Барклая в решении перейти на Пореченский тракт. Впрочем, когда маневр этот удался, Барклай обрадовался — обе армии теперь сблизились, обе надежно прикрывали путь от Витебска на Смоленск и Москву, да и к расположенному севернее корпусу Витгенштейна открывалась «свободная коммуникация». Словом, как писал тогда Барклай императору, новое «положение имеет несомненные выгоды и дает полную свободу действовать с успехом по обстоятел ьствам»25.

А в это время недовольство Багратиона возрастало. В деревне со странным названием Приказ-Выдра совсем не было воды (а без нее ни каши не сварить, ни коней напоить). Добывать питьевую воду для десятков тысяч людей и лошадей в то жаркое лето стоило немалых трудов. Обычно в тех местах, где основные силы армии разбивали биваки, все окрестные колодцы были уже вычерпаны авангардом, озера, пруды и речки взбаламучены, а их берега загажены. Трава же или рожь на полях бывали выкошены, как писал один из участников похода, на пять верст вокруг26.

Солдатам и офицерам ничего не оставалось, как брать для своих нужд грязную воду, а это вело к дизентерии и другим болезням. Командир польского эскадрона Д. Хлаповский писал, что «от дурной пищи и дурной воды среди войск свирепствовала сильная дизентерия, в полку нашем почти с начата кампании многие солдаты страдали этой болезнью»27. Участник похода вестфальского корпуса пишет о том же: «Почти все гусары в той или иной степени заболели злокачественной дизентерией, так как пили грязную воду из луж»28. О непрерывном поносе у людей и лошадей писал и французский офицер Жиро де Л1Эн: «Страшная пыль, от которой ничего не было видно в двух шагах, попадала в глаза, уши, ложилась толстым слоем на лицо. Пыль и жара возбуждали сильную жажду, а воды не было. Поверят ли мне, что некоторые пили лошадиную мочу»29

Надежда Дурова вспоминала: «Жажда палит мою внутренность, воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги; я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой, я набрала ее в бутылку и, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять, держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость, но чего не делает необходимость! Я кончила тем, что выпила адскую влагу»30. Примерно о том же сообщает нам и К. Клаузевиц: «В памяти автора еще ярко сохранилось впечатление об удручающем недостатке воды во время этой кампании; никогда в жизни ему не приходилось в такой степени страдать от жажды: приходилось

черпать влагу из самых отвратительных луж, чтобы избавиться от этой жгучей муки, что же касается мытья, то часто целыми неделями о нем не было и речи»31. Лишь к концу похода русское командование стало обращать внимание на недостаток воды. В приказе по 2-й армии 20 августа было особо сказано: «Так как завтрашний день не будет на переходе достаточного количества воды, то оною запастись в манерках»32.

Из-за отсутствия воды в Приказ-Выдре 2-я армия повернула назад к Смоленску, оставив по всей дороге на Рудню свои посты и разъезды. И тут в действиях русской армии наступила странная пауза, доныне необъяснимая. Четыре дня (с 28 по 31 июля) обе русские армии… стояли, чего-то ожидая. Сам Барклай в донесении Кутузову позже, 17 августа, объяснял это тем, что нужно было «устроить продовольствие» обеих армий, ибо «непредвиденное движение 1-й армии к Витебску и Смоленску… переменило все сношения с запасами, для нее приготовленными, а без продовольствия действовать неможно»33.

Это была явная отговорка. Военные историки считают, что на самом деле Барклай, до той поры убежденный в необходимости наступления, вдруг отказался от этой идеи, остановился и стал поджидать неприятеля в подобранной им для сражения более или менее удачной позиции. Из столкновений своего авангарда с какими-то передовыми полками противника он сделал вывод, что против него — главные силы Наполеона. При этом двигаться дальше, чем на три перехода от Смоленска, он не решался, опасаясь, как бы противник не обошел 1-ю армию справа, от Поречья34. Впрочем, наблюдательный П. Х. Граббе отмечал, что после соединения двух армий, когда все были убеждены в неизбежности наступления, ибо «так хотела армия, так решил военный совет», он тем не менее оставался «при мысли, что главнокомандующий тогда же принял намерение, противное всеобщему слепому увлечению, подал вид, будто разделяет его, но остался при прежней системе выжидания обстоятельств более верных»35.

Форсированные марши вперед и назад, сменявшиеся длительными остановками, были тяжелы и непонятны для солдат и офицеров. Павел Пущин 27 июля записал в дневнике: «Лагерь по дороге в Поречье. Мы должны были сняться с наших позиций в 5 часов утра, но вследствие нового распоряжения оставались на местах до 8 часов вечера. Построившись колоннами, мы вновь выступили на Смоленскую дорогу и, пройдя 5–6 верст в этом направлении, сделали привал. Через три часа мы двинулись, пройдя 2 версты, своротили влево. Темнота была ужасная. Моя лошадь… спотыкалась постоянно. Дождь и недостаток сна очень

утомляли. Таким образом мы шли ночь с субботы на воскресенье. Мы шли проселком через лес. Темнота и дождь усиливались, и наше положение становилось невыносимо. Добравшись до дороги, идущей из Смоленска на Поречье, мы снова сделали привал до рассвета. Затем мы продвинулись еще на 10 верст к Поречью и стали бивуаком…» Это топтание под дождем, в темноте по лесным дорогам с возвращением к прежним местам вызывало всеобщее раздражение.

Неудивительно, что всюду царила неразбериха. Пущин пишет, что приказ о движении по одной и той же дороге был дан одновременно трем корпусам и двум кавалерийским дивизиям, причем по диспозиции 5-й корпус, в котором он сам находился, должен был выступить после всех, но «вместо того, чтобы сообразить, как поступить, чтобы поменьше людей морить, поступили как раз наоборот. Наш корпус, встав под ружье в 4 часа дня, тотчас покинул дорогу на Поречье, но через час ходу должен был остановиться, чтобы пропустить части, которые должны были идти впереди нас. Следовательно, нас потревожили слишком рано и лишили солдат нескольких часов отдыха, который им был необходим. Гораздо лучше было совсем нас не трогать с наших позиций, так как, пройдя 5 верст, мы должны были остановиться на ночлег». Выразительна и запись в дневнике Сен-При: «28, 29, 30, 31 — го — пребывание в Выдре. Плохая вода. Дурные сообщения»16.

В итоге у Багратиона, глядевшего на все это сумбурное движение войск и пассивность главнокомандующего 1-й армией, как и следовало ожидать, лопнуло терпение. Он в сущности почти вышел из повиновения Барклаю, полагая, что прежде принятый план наступления сам же Барклай де-факто отменил своим топтанием на месте. Кроме того, Багратион был оскорблен тем, что Барклай не советуется с ним, скрывает свои намерения. 29 июля Багратион написал Барклаю, что в Приказ-Выдре нет хорошей воды, возникло «затруднение в доставлении провианта», а защищать Рудненскую дорогу бессмысленно — «здесь нет позиции, на которой мог бы принять его (противника. — Е. А.) деятельным образом». Багратион вновь указывал на слабость, «подвешенность» корпуса Неверовского в Красном и писал, что «если мы здесь станем еще терять время, то он (противник. — Е. А.) может прибытием своим к Смоленску упредить меня и отрезать мне Московскую дорогу… Так как ваше высокопревосходительство не намерены предпринимать ничего важного против неприятеля и прежде принятый план атаковать его соединенными силами отменили, то я не вижу теперь никакой нужды со своею армиею защищать дорогу Рудненскую, которую

одними легкими войсками удерживать весьма удобно». И далее Багратион фактически объявляет о своем выходе из подчинения Барклаю: «…по сим соображениям я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство меня разрешить на счет моих действий, тем более что люди у меня день ото дня слабеют, и так, как выше объяснено, неприятель, обойдя наш левый фланг, заставить может без выстрела идти к Смоленску, в чем заблаговременно можно его предупредить»37. Да, пусть Багратион и страдал «неученостью», но то, что он предсказал тогда, в точности исполнилось буквально через несколько дней — Наполеон ударил по Смоленску с того направления, за которое особенно беспокоился Багратион и о защите которого просил Барклая.

Примерно в то же время он жаловался Ростопчину на Барклая: «Бог его ведает, что он из нас хочет сделать, миллион перемен в минуту, и мы, назад и в бок шатавшись, кроме мозоли на ногах и усталости ничего хорошего не приобрели… Истинно, не ведаю таинства его и судить иначе не могу, как видно не велено ему ввязываться в дела серьезные, а ежели мы его (неприятеля. — Е. А.) не попробуем плотно, по мнению моему, тогда все будет нас обходить, и мы тоже (будем) таскаться, как теперь таскаемся»38.

Глава пятнадцатая
Были ли русскими грузин Багратион и немец Барклай

«Командующие очень заняты»

В нерешительности Барклая Багратион стал усматривать недоброжелательное отношение к нему, злой умысел и даже измену. В тот же день, 29 июля, он написал А. А. Аракчееву послание с просьбой помочь ему получить отставку: «Истинно и по совести вам скажу, что я никакой претензии не имею, но со мною поступают так неоткровенно и так неприятно, что описать всего невозможно. Воля государя моего! Я никак вместе с министром не могу». Багратион стал проситься о переводе «куда угодно… а здесь быть не могу, и вся Главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Воля ваша, или увольте меня, хотя отдохнуть на месяц. Ей-богу с ума свели меня от ежеминутных перемен, я ж никакой в себе не нахожу. Армия называется только, но около 40 тысяч, и то растягивают как нитку и таскают взад и в бок. Армию мою разделить на два корпуса, дать Раевскому и Горчакову, а меня уволить. Я думал, истинно служу государю и Отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу!»1

В этом эмоциональном письме видны все те подводные камни в отношениях Багратиона с Барклаем, которые поначалу были скрыты в толще взаимных любезностей и светского, джентльменского поведения. В следующей главе об этом будет сказано подробнее, а сейчас заметим, что Багратиону, привыкшему к самостоятельному командованию армией, подчиняться Барклаю было невмоготу, особенно тогда, когда его не привлекали к выработке решений («со мною поступают так неоткровенно и так неприятно, что описать всего невозможно») и когда ему вообще неясны были план действий и намерения военного министра. Конечно, понять Багратиона можно — маневры Барклая между Рудненской и Пореченской дорогами вызывали раздражение и не у таких вспыльчивых людей, к каким принадлежал главком 2-й армией. Тревоги добавляло и то, что сам Багратион, в сущности, не знал, как поступить в создавшейся ситуации.

Как видно из цитаты, Багратион, раздраженный поведением

Барклая, позволил себе ксенофобский выпад против якобы заполонивших Главную квартиру немцев и лично против Барклая. Это был не единственный случай подобного рода. То, что эти эскапады исходили от чистокровного грузина, делает всю ситуацию весьма пикантной. И. С. Жиркевич в своих мемуарах сообщает (возможно, со слов Ермолова), что между двумя полководцами в Гавриках (то есть 13 августа)2, произошла безобразная сцена: «Ты немец! — кричал пылкий Багратион. — Тебе все русское нипочем!» — «А ты дурак! — отвечал невозмутимо Барклай, — хоть и считаешь себя русским». Ермолов в этот момент сторожил у дверей, отгоняя любопытных: «Командующие очень заняты. Совещаются между собой!»2 Не думаю, что Ермолов все это придумал. Отношения между главнокомандующими были действительно скверными, что выражается в письмах Багратиона другим людям, при публикации которых издатели оставляют на месте бранных слов в адрес Барклая отточия. Да и то, что сохранилось в публикациях, более чем выразительно. В письме Ростопчину Багратион писал, что Барклай — «подлец, мерзавец, тварь… генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества»4. Описанная сцена «совещания» воспроизведена в советском, 1985 года, кинофильме «Багратион», где актеры, играющие роли спорящих полководцев, произносят свои реплики по-русски с характерным для каждого акцентом. Это невольно вызывает горькую улыбку — ведь оба эти человека: один — прибалтийский немец, выходец из шотландского клана, а другой — потомок грузинского царского рода, в сущности были великими русскими полководцами, искренне преданными России — своему Отечеству. Делавшие общее дело, они отчаянно ссорились, движимые чувствами взаимной неприязни, острого соперничества, забыв о том, что в такой момент, как никогда, нужно единство. Тут снова вспоминаются слова из письма Армфельда домой о том, как было бы хорошо, «если бы между нами существовало единство…».

Как тут не вспомнить и слова Н. Греча, писавшего: «У нас господствует нелепое пристрастие к иностранным шарлатанам, актерам, поварам и т. п., но иностранец, замечательный умом, талантами и заслугами, редко оценивается по достоинству: наши критики выставляют странные и смешные стороны пришельцев, а хорошие и достойные хвалы оставляют в тени. Разумеется, если русский и иностранец равного достоинства, я всегда предпочту русского, но доколе не сошел с ума, не скажу, чтобы какой-нибудь Башуцкий, Арбузов, Мартынов лучше Беннигсена, Ланжерона или Паулуччи. К тому же должно отличать немцев (или германцев) от

уроженцев наших Остзейских губерний: это русские подданные, русские дворяне, охотно жертвующие за Россию кровью и жизнью и если иногда предпочитаются природными русскими, то оттого, что домашнее их воспитание было лучше и нравственнее… Можно ли негодовать на них, что они предпочитают Гёте и Лессинга Гоголю и Щербине» И далее: «Да чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузин Багратион? Скажете — этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Святого Духа! Всякому свое по делам и заслугам… Отказаться в крайних случаях от совета и участия иностранцев было бы то же, что по внушению патриотизма не давать больному хины потому, что она растет не в России». Не менее важной кажется еще одна мысль Греча: «Дело против Наполеона было не русское, а общеевропейское, общечеловеческое, следственно, все благородные люди становились в нем земляками и братьями: итальянцы и немцы, французы (эмигранты) и голландцы, португальцы и англичане, испанцы и шведы — все становились под одно знамя»5.

Вернемся к вопросу о самоидентичности Багратиона. Во-первых, князь Багратион — потомок грузинских царей, чей род был древнее всех российских княжеских родов (включая Рюриковичей), — последовательно считал себя русским: «…Итак, прощайте. Я вам все сказал как русский — русскому» (из письма Аракчееву, июль 1812 года). Для него проблема грузинской идентификации даже не возникала. Из контекста всех подобных высказываний Багратиона (а их сохранилось немало) видно, что понятие «русский» идентифицируется им не с этнической принадлежностью к русской нации в современном понимании, а с имперской принадлежностью, с подданством российскому императору. «Русский» тогда был эвфемизмом понятия «имперский», «российский», а также отчасти «православный». В те времена этот взгляд был весьма распространен. Так, во время войны 1808–1809 годов со шведами генерал Каменский призывал солдат в атаку: «Покажем шведам, каковы русские. Не выйдем отсюда живы, не разбив шведов в пух! Ружья наперевес! За мной! С нами Бог! Вперед! Ура!» При этом обращался он к солдатам Литовского и Могилевского полков, польским уланам и гродненским гусарам, среди которых русских, наверное, почти не было. Об одном известном деятеле того времени бароне Убри писали: «Русский, но немец барон Убри», и даже так: «Убри, русский немец, французского происхождения»6.

Во-вторых, в силу этой своей осознаваемой российско-имперской идентичности, Багратион находился во власти предрассудков и фобий в отношении к «нерусским», к которым

причислялись иностранцы — как подданные других государей, так и те, кого называли «немцами», «иноземцами», «иноверцами». Багратион не раз писал о засилье в армии «немцев». В своих письмах он также называл Барклая презрительно «чухонцем» («я повинуюсь, к несчастью, чухонцу»), что было даже более уничижительно, чем «немец», и намекало на дикость, неразвитость. «Я знаю, что вы русский, дай Бог, чтобы выгнали чухонцев, тогда я докажу, что я верный слуга отечеству»7; или: «Служить под игом иноверцев-мошенников — никогда!»8 В октябре 1805 года Багратион писал в таком же стиле цесаревичу Константину Павловичу: «Я знаю, что и вы желаете, бросьте иноверцов, держитесь только подданных. Мы имеем веру, присягу и любовь государю и всему дому вашему»1. «Мне, — писал Багратион из Молдавии Аракчееву, — нужны русские, а не иноземцы, они никогда не привыкли служить одному, а всегда многим служат»10. Для Багратиона и его единомышленников русский превосходит других по всем качествам. Он — особенный, а главное — верный, любящий царя и Отечество, не изменник, щедрый, открытый. Ростопчин писал Багратиону: «Обнимаю вас дружески и по-русски от души»".

Немец — перец, колбаса! Во всех этих определениях и оценках можно усмотреть несколько семантических и иных слоев. Известно довольно сложное отношение в России к иностранцам, которых в XVII–XIXвеках обычно называли «немцами». Кроме бытовавших у всех народов комплексов восприятия иностранцев как «чужих», «ненаших», «непонятных», «опасных», в России был силен религиозный фактор — сознание превосходства и исключительности своей единственно истинной православной веры, ощущение религиозного (и соответственно — духовного) одиночества России после гибели православной Византии, обрекшей русских на изоляционизм, жизнь в окружении недружелюбных иноверцев — «папистов», «люторов», «агарян», покушавшихся на независимость России, что и действительно не раз случалось в истории.

Петровская эпоха внесла существенные поправки в эти представления. Россия, начавшая, по воле Петра Великого, модернизацию, воспринявшая многие достижения развитых европейских стран, изменшась. Ее двери открылись для иностранцев, приносивших с собой новые идеи, навыки, а также пороки и недостатки. Особенно сильно изменилось дворянство, правящий класс, который довольно быстро «онемечился» и «офранцузился» в том смысле, что особенно близко к сердцу воспринял, так сказать, «удобства западной жизни»: моду, комфорт, развлечения, а вместе с тем и популярные на Западе

идеи. Это привело к некоторому пренебрежению собственной страной, ее прошльш, ее традициями, чему, кстати, весша способствовал сам Петр, искоренявший древнерусскую «старину». Но главное состояло в том, что правящая элита, правительство, власть сташ воспринимать себя как европейцев, а Россию — как страну, принадлежавшую к европейской ойкумене. Идеи просвещенного патриотизма, коренившиеся в реформах Петра Великого, строились на признании того факта, что русские — европейский народ, не уступающий другим европейским народам по своим способностям, что «мы» (русские) не «хуже других» («немцев») и с помощью просвещения быстро наверстаем заметное нам самим и унижающее нас отставание от прочих развитых народов в науках, военном деле и других сферах жизни. Увлечение, привычка к иностранному, впрочем, не мешали чувству патриотизма, любви к Отечеству. Вряд ли найдется человек, который мог бы обвинить Александра 1, говорившего и думавшего по-франиузски, в непатриотизме, в пренебрежении интересами России. Кстати говоря, несмотря на галломанию — увлечение всем французским, отношения между Россией и Францией в течение всего XVIII и начале XIXвека были преимущественно недружественными, даже враждебными. Пять раз они выливались в вооруженные конфликты, причины которых заключались в острых имперских противоречиях Франции и России в Восточной и Северной Европе, а также на Балканах.

Естественно, что наряду с отчетливой галломанией дворянства и развившимся на этой основе космополитизмом, характерным вообще для Европы того времени, в толще русского народа сохранялось недоверие ко всему иностранному, служившему предметом, с одной стороны, восхищения (достижениями, изобретательностью «немецкого ума»), а с другой — пренебрежения и насмешки. «Кургузый немец» в народной среде был символом смешного, жалкого, жадного иноземца, а присущие немецкому народу дисциплина, порядок, система вызывали смех у русских людей, часто поступавших «абы как», под влиянием сиюминутного порыва. В их устах «немец» был «сухарем», «сухим педантом», «безжизненным методиком».

Война — это не школа толерантности

Как всегда бывает во время войн, все вышеназванные комплексы и фобии обострились в 1812 году. Война с Наполеоном приобрела характер борьбы за существование государства, империи, подняла на поверхность общественного

сознания как патриотические, так и ксенофобские чувствования. Все это проявлялось в разных формах. Для одних нашествие «двунадесяти языцев» вызывало к памяти времена освобождения страны от нашествия поляков в 1612 году, порождало желание подражать вождям русского народа Минину и Пожарскому, видеть в Кутузове их преемника. Недаром Пожарский и Минин упомянуты в обращении Александра к нации (заметим — не к «верноподданным», а к «нации»!). Тем самым открывались шлюзы для участия каждого россиянина в деле защиты Родины от завоевателей, и это сплачивало народ. Одни люди действительно делали полезное для обороны дело: поступали в воинскую службу, жертвовали деньгами, участвовали в создании народного ополчения. Другие же больше занимались пустословием в светских салонах. Далекие от войны петербургские дамы и барышни щипали корпию, гордо отказывались смотреть веселые французские пьески и представления. Только вот отказаться говорить по-французски все-таки не могли — другого языка они порой и не знали!

Вместе с волной просвещенного, а также «чувствительного», романтического патриотизма из глубин народа выплеснулись маргинальная ксенофобия, ненависть к инородцу, иностранцу, «немцу» вообще. Поведение на Русской земле завоевателей — французов, немцев из разных германских земель, поляков и других воинов Великой армии, по общему признанию, было отвратительным, а праведный гнев и желание отомстить за сожженные дома, деревни и села, разграбленные имения с лихвой оправдывали эту ксенофобию. Особенно поражало русских людей скотское обращение завоевателей с православными храмами и иконами — не забудем, что французы пришли в Россию из республиканской, атеистической страны, где революционное варварство нанесло непоправимый урон собственной церкви. Как вспоминал А. А. Щербинин, однажды им удалось ворваться во французский бивак, где, как пишет он, «мы нашли кофейные снаряды, еще наполненные и теплые… Ужас и негодование овладели нами, когда увидели мы большие образа, служившие столами на биваках французских»12. Ротмистр Л. А. Нарышкин 1 августа 1812 года писал отцу, обер-гофмаршалу А. JT. Нарышкину, из Смоленской губернии: «Патрули их делают разные насильства и мерзости с нашими жителями, а особливо ругаются над законом (имеется в виду православие. — Е. А.), ломают и тычут пиками в образа и делают конюшни из церквей. Не худо бы сделать это известным во всей России, чтоб этим еще более рассердить народ, чтоб он употребил все меры отомстить сим злодеям за закон, над которым они ругаются»13.

В немалой степени подъему ксенофобии способствовала тогдашняя власть. Весной 1812 года был издан особый указ о наблюдении за политическим поведением жителей западных губерний. К тому же с лета, также согласно высочайшему повелению, всем иностранцам предстояло пройти процедуру санации, разбора. Было решено «из иностранцев оставить в каждой губернии только тех, в благонадежности коих начальник оной совершенно уверен и приемлет на себя точную ответственность в том, что они ни внушениями личными, ни переписками или другими какими сношениями не могут подавать повод к какому-либо нарушению спокойствия или к совращению с пути порядка российских верноподданных, о каковых иностранцах прислать Министерству полиции немедленно списки… Всех тех иностранцев, кои окажутся неблагонадежными, и сомнения наводящих, выслать за границу». Ну а дальше, как говорится, пошла писать губерния. Сохранились составленные по всем ведомствам и учреждениям списки иностранцев; например: «Самуил Иванович сын Адлер, московский уроженец, коллежский секретарь, письмоводитель». В рубрике «С какого времени находятся в России» записано: «Всегда в России находился» или, как у многих других: «Родился в России». Но основной все же была графа «Приемлет ли начальник за него на себя ответственность». Каждый начальник должен был подумать, прежде чем написать в графе: «Означенные в сем списке чиновники, находясь большей частью уже долгое время в России, оказывали себя гражданами спокойными, правительству Российскому преданными и по долгу званий своих исправными, и потому и предполагать можно, что они и в будущее время не подадут причин к какому-либо на счет их от начальства неудовольствию»14.

В Царскосельском лицее в список попал лишь один иностранец, учитель немецкого языка у Пушкина и его товарищей Фридрих Леопольд Август де Гауеншильд, «29 лет, женат и имеет дочь Элизу, полутора лет, и сына Фрица, 7 недель». Он приехал из Вены недавно — в 1810 году, и даже гуманный директор Лицея Е. А. Энгельгардт все же поручиться за него не смог: «До сего времени поведения был хорошего, а впредь ручательства на себя не приемлю». Гауеншильда вместе с семьей выслали за границу".

Свою роль сыграла и пропаганда — лубки, «афишки» главнокомандующего Москвы Федора Ростопчина. В этих «афишках», написанных псевдонародным, раешным языком, репродуцировались все расхожие штампы о «немцах» как о наглых, жадных грабителях, ничтожных, трусливых вояках, с которыми может справиться любая деревенская баба,

вооруженная вилами. Все это не могло не отразиться на отношении разных слоев к иностранцам, а также к «своим» немцам.

Охота за шпионами

Обострившиеся патриотические чувствования причудливо переплетались со шпиономанией. Летом 1812 года в армии под Смоленском пошли слухи, что в захваченном экипаже генерала О. Себастиани нашли «заметки, в которых помечены числа и места день за днем передвижения наших корпусов. Передавали, — пишет П. С. Пущин, — будто вследствие этого удалили из Главного штаба всех подозрительных лиц, в том числе и флигель-адъютантов графов Браницкого, Потоцкого, Влодека (все — родовитые польские аристократы. — Е. А.) и адъютанта главнокомандующего Левенштерна (шведа)»16. Что лежало в основе этой истории? Майор барон В. Г. Левенштерн из штаба Барклая являлся его адъютантом и делопроизводителем секретной корреспонденции. 25 июля русские пленили князя Гогенлоэ, командира Вестфальского конного полка. Из плена он просил Мюрата принять русского парламентера, чтобы тот мог забрать его личные вещи и повозку. Левенштерн и был тем парламентером, а одновременно — разведчиком. По его словам, ему было поручено собрать данные о войсках противника, а главное — дезинформировать французов относительно движения корпуса Витгенштейна, который отделился тогда от основной армии Барклая и двинулся в северо-западном направлении для защиты Петербурга. Чтобы корпус Витгенштейна смог оторваться от французов, было придумано так, что сопроводительные бумаги Левенштерну были подписаны именно Витгенштейном. Это якобы косвенно свидетельствовало о присутствии генерала в месте встречи французами парламентера. Левенштерн считал, что задуманная хитрость удалась, и благодаря ей Витгенштейн сумел уйти от преследовавшего его маршала Удино на два-три перехода, что было тогда весьма важно. Из беседы с генералом Себастиани, в расположение дивизии которого Левенштерн попал, он узнал весьма важную новость о стратегических планах Наполеона: «Генерал Себастиани болтал без умолку, наслаждаясь, по-видимому, своей собственной речью, из его болтовни я узнал план Наполеона оставить один корпус оперировать на Двине и идти с остальными силами на Смоленск и Москву. Эта болтливость не пропала даром: я поспешил по возвращении довести об этом до сведения главнокомандующего, который

приказал мне немедленно изготовить донесение императору, изложив в нем те доводы, на основании которых я предполагал, что Наполеон не пойдет на Петербург. Ныне все думают, что они поняли сразу намерения императора французов, но в то время, о котором я говорю, мнения по этому поводу очень расходились»17. Последнее верно: русское руководство долго не знало, в каком направлении (на Москву или на Петербург) пойдет главная армия французов. Еще 6 августа Ростопчин писал Багратиону: «Мне кажется, что он (Наполеон — Е. А.) вас займет (то есть отвлечет. — Е. А.), да проберется на Полоцк, на Псков, пить невскую воду»18.

Рапорт Левенштерна был приложен к донесению Барклая царю от 25 июля; при этом Барклай писал, что нечто подобное о намерении Наполеона он узнал и из рапорта генерала Д. С. Дохтурова". Так что информация о намерениях французов двинуть основные силы на Москву приходила к Барклаю из разных источников. Теперь вернемся к упомянутой выше записи в дневнике Пущина. Действительно, почти сразу же после возвращения Левенштерна под Рудней были захвачены штабные бумаги Себастиани, в которых была обнаружена записка Мюрата о предстоящем наступлении русских у Рудни. Подозрение в разглашении военной тайны пало на Левенштерна, который, выйдя еще в 1802 году в отставку, уехал в Европу, а в 1809 году служил во французской армии и поэтому хорошо знал генерала Себастиани. Предполагали, что Левенштерн-то и разболтал старому знакомцу о планах своего командования. Под благовидным предлогом Левенштерна послали с письмом Барклая в Москву, к Ростопчину. Барклай писал тому, что «польза службы Его императорского величества требует, чтобы ваше сиятельство изволили отправленного при сем адъютанта моего майора Левенштерна задержать до окончания войны в Москве под благовидными какими предлогами и покорнейше прошу вас приказать за всеми его сношениями и знакомствами иметь строгий секретный надзор»20. Именно тогда выслали в Москву и несколько штабных офицеров — поляков.

Двадцать первого августа, после проверки, Барклай написал Ростопчину, что причина высылки Левенштерна «состояла в том, чтобы в отсутствие его открыть некоторые относящиеся до его обстоятельства, обратившие на него внимание. Ныне же после всех исследований не открывши ничего подозрительного, чтобы в вину ему ставить, можно было… возвратить его ко мне обратно»21. Левенштерн был возвращен в действующую армию и отличился в сражении при Бородине, а также в Заграничном походе, как и упомянутые выше поляки, с которых также вскоре

сняли подозрения.

И все же откуда секретные сведения попали к Себастиани? Левенштерн все валит на интриги своего недоброжелателя Ермолова и на евреев-лазутчиков: «Евреи, коих было множество в нашем лагере, которые слышали все разговоры офицеров и даже генералов и выводили из них свои заключения, смотря по тому, насколько они были развиты… продавали за несколько дукатов, без малейшего угрызения совести своей… и не подвергались по этому поводу ни малейшему подозрению и преследованию: никакого следствия не было произведено, и они были по-прежнему терпимы в армии. Мы по-прежнему получали от них сведения о движении французской армии, которая, со своей стороны, знала обо всех наших действиях. Операционный план войны может быть тайною не только для неприятельской армии, но и для самих служащих в армии, так как он бывает известен в подробности всего нескольким лицам, но движение, совершаемое несколькими тысячами человек, никогда не может остаться тайною, о нем знает всякая маркитантка хотя бы за час до его выполнения, это понятно само собою. Поэтому неудивительно, что генералу Себастиани было известно о движении, которое предполагалось выполнить, чтобы застигнуть его врасплох»22. Аргумент Левенштерна о знании первой же маркитанткой маршрута движения корпусов неубедителен. Как выяснилось через несколько лет, виновником разглашения секретных сведений был флигель-адъютант поляк князь Любомирский, но сделал это он неумышленно: он написал своей матери, в имение Ляды, попадавшее в зону военных действий, чтобы она срочно покинула свой дом из-за того, что скоро тут разгорится бой. Но штаб Мюрата как раз и стоял в Лядах, письмо заботливого сына попало прямо к маршалу, а от него сведения о движении русских войск стали известны Себастиани, находившемуся в авангарде Мюрата21.

Думается, что в деле Левенштерна евреи были ни при чем, но в целом он верно отметил их важную роль в делах разведки. «Лазутчики» в большом количестве вербовались из местных евреев. Действительно, литовские и белорусские евреи поставляли сведения о противнике как русским, так и французам. К тому же французы получали информацию и от симпатизировавшего им польского населения. Евреи-лазутчики использовались и для провокаций. При отступлении французов через Березину маршал Удино обманул командующего 3-й Западной армией Чичагова с помощью евреев города Борисова, которых сам дезинформировал относительно истинного места предстоящей переправы французской армии. Эту ложную

информацию трое евреев сообщили Чичагову, и тот, опираясь на нее, увел армию от Борисова ниже по течению Березины и тем самым позволил остаткам Великой армии беспрепятственно форсировать реку выше Борисова, у Студенки. По приказу Чичагова лазутчики были повешены как предатели. Точна ли эта история, изложенная К. А. Военским24, наверняка мы не знаем, но то, что разведка армии позорно провалилась, хорошо известно: благодаря нераспорядительности Чичагова Наполеон сумел вырваться из почти безвыходного для французов положения и продолжал еще два года поливать кровью землю Европы.

В августе 1812 года под Смоленском, во время движения колонн, был пойман французский шпион, о котором сохранилась запись в походном журнале Л. А. Симанского за 3 августа: «С корпусом ходила одна женщина в синем суконном платье и на вопрошающих ее отвечала и называлась то прачкой Лаврова (генерала. — Е. А.) или армейского солдата женой, но вчерась сей обман открылся, и ее один казак, от коих ничего на свете и ни один обман укрыться не может, поймал и узнал в ней шпиона — поляка»25. П. Пущин примерно в то же время внес в свой дневник более «романтическую» версию разоблачения: «В продолжение целого дня какая-то женщина шла с нашей колонной и говорила тем, кто ее спрашивал, что она принадлежит генералу Лаврову. Все удовлетворялись таким ответом, пока один шутник не вздумал за ней ухаживать и в порыве страсти сорвал головной убор, из-под которого показалась мужская голова. Оказалось, что это шпион, его отправили в Главную квартиру». Естественно, что такие случаи порождали шпиономанию — неизбежную спутницу войны. На следующий день Пущин записал в дневник: «Вчерашнее происшествие со шпионом заставило меня быть осмотрительнее. Заметив сегодня какого-то субъекта, одетого по-городски, который прогуливался по нашему лагерю и расспрашивал, где стоянка великого князя (вспомни, читатель, Пьера Безухова на Бородинском поле. — Е. А.), я его арестовал и отправил к дежурному»26. Здесь мы видим типичную реакцию человека в состоянии шпиономании — обращать внимание на тех, кто чем-то выделяется из толпы. Впрочем, нужно быть очень плохим шпионом, чтобы, вырядившись в женскую одежду, тащиться мимо солдатских колонн, привлекая всеобщее внимание алчущих продажной женской ласки тысяч мужчин, или же, нарядившись в гражданскую одежду, бродить среди военных…

Шпиономания процветала и в тылу. Известно, что история отставки выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского имела шлейф из слухов о его измене, о том, что он в

качестве платы за измену и шпионаж получает бриллианты от французского посланника. Усилилось недоверие не только к иностранцам, но и к «своим» немцам, таким как Барклай. Как это часто бывало в истории с «немцами», их деятельность ассоциировалась с неудачами, поражениями, их подозревали в измене. Носить иностранную фамилию в то время значило в некотором смысле быть подозреваемым. Недаром Левенштерн писал, что он не рекомендовал приехавшему офицеру, прибалтийскому немцу, подавать прошение о приеме на русскую службу во время войны — к людям с немецкими фамилиями тогда относились подозрительно. Как писал Ростопчин министру полиции Балашову, «ненависть народа к военному министру произвела его в изменники потому, что он не русский»27.

Так же, как Багратион, думали о «немцах» тогда многие люди, причем весьма умные и образованные. Взять, к примеру, 29-летнего Арсения Андреевича Закревского, будущего графа, министра внутренних дел, генерал-губернатора Москвы времен Николая I, а в 1812 году адъютанта Барклая, директора его канцелярии. Закревский был, без сомнения, предан Барклаю, обязан ему всей своей карьерой. Но несмотря на это, 5 августа 1812 года он так писал из-под Смоленска своему приятелю, графу М. С. Воронцову, командиру 2-й сводно-гренадерской дивизии 2-й армии: «Теперь мы не русские, оставляем город старый. Нет, министр наш не полководец, он не может командовать русскими». На следующий день, 6 августа, он продолжил: «Холоднокровие, беспечность нашего министра я ни к чему иному не могу приписать, как совершенной измене (это сказано между нами), ибо внушение Вольцогена не может быть полезно». Закревский повторяет широко распространенный в армии слух, что выходец из Пруссии барон Юстус Адольф Вольцоген, флигель-адъютант императора Александра, сподвижник Фуля, — шпион. Человек высокообразованный, умный, толковый (но, к сожалению, не знавший русского языка), он, дежурный штаб-офицер, пользовался влиянием при штабе Барклая и по каким-то причинам конфликтовал с начальником Главного штаба Ермоловым. В войсках упорно твердили, что Вольцоген имеет некую власть над Барклаем, подчинил его себе и ведет армию к катастрофе. Между тем все это были наветы: Вольцоген был ярым врагом Наполеона, одним из первейших ратовал за уход армии из Дрисского лагеря, призывал укрепить Смоленск, потом он отважно воевал под Витебском и Смоленском, был контужен под Бородином и отличился в сражении при Тарутине и в Заграничном походе. Но в общественном мнении армии все это значения не имело: Вольцоген — враг, агент Наполеона! Это и

отразилось в письме Закревского, который, сам находясь возле Барклая, тем не менее считал, что вредному внушению Вольцогена «первый пример есть тот, что мы покинули без нужды Смоленск и идем Бог знает куда и без всякой цели для разорения России. Я говорю о сем с сердцем, как русский, со слезами. Когда были эти времена, что мы кидали старинные города? Я, к сожалению, должен вам сказать, что мы, кажется, тянемся к Москве, но между тем уверен, что министра прежде сменят, нежели он туда придет. Его не иначе должно сменить, как с наказанием примерным… Будьте здоровы, но веселым быть не от чего. Я не могу смотреть без слез на жителей, с воплем идущих за нами с малолетними детьми, кинувши свою родину и имущество. Город весь горит. В грусти весь ваш А. З.»28.

Наши «отяготители». Рассеивать сомнения просвещенного читателя относительно нелепости всех этих фобий вроде бы излишне, если бы отголоски их не были живы даже в научной литературе, в работах уважаемых мною авторов. Так, в замечательной своим новаторством книге Н. А. Троицкого можно прочитать и такое: «Российский генералитет в 1812 г. был отягощен не столько доморощенными бездарностями из дворянской знати, вроде П. А. Шувалова или И. В. Васильчикова, сколько иностранцами — и обрусевшими, и новоявленными, иные из них даже не знали русского языка (как, например, К. Л. Фуль и Ф. Ф. Винценгероде). Высокие командные посты занимали Л. Л. Беннигсен и П. Х. Витгенштейн, Ф. О. Паулуччи и К. Ф. Багговут, Ф. Ф. Эртель и П. П. Пален, И. Н. Эссен и П. К. Эссен, Ф. Ф. Штейнгель и Ф. В. фон дер Остен-Сакен, А. Ф. Лонжерон и К. Ф. Левенштерн, Ф. К. Корф и К. А. Крейц, К. О. Ламберт и Э. Ф. Сен-При, О. И. Бухгольц и К. К. Сивере, И. И. Траверсе и Е. Ф. Канкрин, Е. Х. Ферстер и Х. И. Трузсон, принцы Евгений Вюртембергский и Карл Мекленбургский, не говоря уж о тех, кто был в меньших (но тоже генеральских) чинах, как И. И. Дибич, К. И. Опперман, О. Ф. Кноринг, А. Х. Бенкендорф, Г. М. Берг, Б. Б. Тельфрейх, К. Ф. Ольдекоп, А. Б. Фок и др.»29.

Ставить всех этих очень разных людей в число тех, кто «отягощал» русскую армию даже больше, чем «доморощенные бездарности», по меньшей мере несправедливо. Да, многие из этих людей не были русскими патриотами в том смысле, что, наверное, не очень умилялись при виде русской народной пляски, кокошников и даже плохо говорили по-русски. Но одни из них (немецкое прибалтийское дворянство) были подданными Российской империи в четвертом или пятом поколении (в 1810 году как раз исполнилось сто лет русского господства в Лифляндии и Эстляндии) и верно служили императору, а значит,

России. Другие были наемниками-профессионалами (что в тогдашней Европе тоже не было каиновой печатью) или французами-эмигрантами, изгнанными революционерами из своей страны. Для них понятия чести, ответственности отнюдь не были пустым звуком, и большинство из них совсем «не отягощали» русский генералитет, а относились к его золотому фонду. Известно, что на войне с Францией французские эмигранты рисковали больше других — им попадать в плен было невозможно, эмигранта, захваченного с оружием в руках, тотчас расстреливали.

Если судить по данным, приведенным в энциклопедии «Отечественная война 1812 года», большинство упомянутых Н. А. Троицким «немцев» — кавалеры высшего воинского ордена Святого Георгия, а один даже кавалер трех классов этого ордена! Этот высший воинский орден России, как известно, давали только за мужество, подвиги и ранения на поле боя. Вышаркать на дворцовом паркете Георгия было невозможно. Любопытно, что в приведенном перечне «отягощавших» русскую армию иностранцев самим автором указаны инициалы этих людей. В большинстве своем они скрывают не имена, данные им от рождения в лютеранских кирхах или католических соборах, а те русские имена и отчества, которые им присвоили их русские коллеги, окружающие. Во имя России сложили свои головы такие люди, как эстляндский немец Карл Федорович (Карл Густав) Багговут (он так и не успел получить за Бородино орден Святого Александра Невского), а также граф Эммануил Францевич Сен-При — начальник Главного штаба 2-й армии Багратиона. Француз-аристократ, пэр Франции, потерявший буквально все — родных, состояние, родину, он был искренне предан России, давшей ему убежище. Известно, что Наполеон после своего прихода к власти запретил Сен-При, в отличие от многих других эмигрантов, возвращаться на родину. Сен-При отличился в сражении при Аустерлице (удостоен ордена Святого Георгия 4-го класса), был ранен картечью в ногу при Гутштадте, получил тяжелую контузию при Бородине. Он имел золотую шпагу «За храбрость» с алмазами. Позже, во время Заграничного похода, за взятие Реймса он удостоился Георгия 2-го класса. Там же Сен-При был смертельно ранен, умер в Ланне и был похоронен в родной, французской земле.

Другого француза — эмигранта Карла Осиповича Ламберта — считали одним из лучших русских генералов, он был кавалером Георгия 3-го класса, имел золотую саблю «За храбрость» с алмазами. То же самое можно сказать и о другом французском аристократе, полковнике графе Александре Луи

Андре (Александре Федоровиче) Ланжероне, проведшим всю свою жизнь в сражениях в рядах русской армии, а потом ставшим одним из знаменитых строителей Одессы (Георгий 3-го класса и орден Андрея Первозванного, полученный в Париже прямо из рук императора Александра I). Отличились доблестью, мужеством, проливали свою кровь (в буквальном, а не в переносном смысле) за Россию, были тяжело ранены в бою и многие другие «отяготители», в том числе во множестве «наши», прибалтийские немцы. Среди курляндцев отметим Фабиана Вильгельмовича (Фабиана Готлиба) Остен-Сакена. Он был ранен в бою в голову, имел Георгия 2-го класса, а также орден Святого Андрея Первозванного за мужество в сражениях под Бриеннле Шато и Ла-Ротьере. Федор Карлович (Фридрих Николай Георг) Корф был ранен в бою в ногу, имел среди своих наград двух Георгиев (4-го и 3-го класса). Киприан Антонович (Циприан Гвальберт) Крейц был страшно изуродован в боях (ранен пулей в правый висок, два сабельных удара в голову, два удара штыком в плечо, попал в плен в войну 1806— 1807годов, при Бородине был контужен в правый бок, ранен картечью в правое плечо, получил пулю в правую руку и осколок гранаты в правую ногу). За свои подвиги он имел Георгия 2-го класса и много других наград.

Помянем и героическихлифляндцев: Петра Петровича трейдера (контузия в правое плечо, остался в строю; при Бородине ранен пулей в левую ногу, контужен в правую, потом пулей же — в правую ногу), имел награду — Георгия 4-го класса, как и Федор Иванович Сандерс (контузия картечью в левое бедро и руку, в лицо пулей). Упомянем и эстляндцев: Богдана Борисовича (Готгарда Августа) Гейфрейха (контужен картечью в бок при Аустерлице, ранен картечью в правую руку при Браилове, имел Георгия 4-го класса, золотую шпагу «За храбрость» с алмазами, в 1813 году контужен ядром в левую ногу под Лейпцигом, но остался в строю) и Фаддея Федоровича (Фабиана Готгарда) Штейнгеля. Он был контужен в голову, удостоился золотой шпаги «За храбрость» и ордена Святого Александра Невского.

А вот настоящий (гессен-дармштадтский) немец — Карл Иванович Опперман. У него был на груди Георгий 3-го класса за взятие крепости Торн. Сын голландского садовника Александр Борисович Фок был ранен пулей в бок, награжден Георгием 3-го класса за Прейсиш-Эйлау, позже ранен пулей в грудь и руку. Его брат Борис водил в рукопашную схватку под Бородином гренадер своей дивизии и удостоен за это Георгия 3-го класса. Замужество в Русско-турецкой войне был пожалован Георгием 4-го класса еще один упомянутый «обременитель» — лифляндец Карл Федорович

Ольдекоп, а еще раньше того же ордена за взятие Вильно в 1794 году удостоился эстляндец Иван Николаевич (Магнус Густав) Эссен (тяжелая контузия ядром при Фридланде). Другой Эссен (Петр Кириллович, Эссен 3-й), герой Прейсиш-Эйлау, получил Георгия 3-го класса за выдающееся мужество, как и упомянутый в списке Троицкого еще один «немец» — Карл Карлович Сивере (за мужество при Бородине).

Граф Петр Петрович Пенен (курляндский немец), герой сражения под Витебском, был одним из блестящих русских кавалерийских генералов, «с редкой предприимчивостью и быстрым соображением». Потом, после выздоровления после болезни, отличился во многих битвах во время Заграничного похода русской армии (имел Георгия 4-го класса за сражение при Лопачине, Георгия 3-го класса за сражение при Прейсиш-Эйлау, орден Александра Невского). Тяжко раненный в Лейпцигском сражении 1813 года, он вернулся в бой и потом удостоился Георгия 2-го класса за взятие Парижа.

Не знавший русского языка немец из Гессена Фердинанд Федорович Винценгероде (Георгий 2-го и 3-го класса, Владимир 1-й степени) тем не менее стал по воле «немца» Барклая фактически первым русским партизаном. О боевом товарище Винценгероде по летучим отрядам и освободителе Нидерландов, а потом начальнике Третьего отделения А. Х. Бенкендорфе не приходится и говорить — его патриотизм несомненен, как и верность России главного генерал-интенданта, а потом незаурядного министра финансов Георга Людвига (Егора Францевича) Канкрина. Под конец приведу отрывки из биографии еще одного эстляндского немца, Адама Отто Вильгельма Бистрома 2-го: «В ходе Русско-прусско-французской войны 1806–1807 гг., командуя батальоном Литовского полка, был в сражениях под Пултуском, Прейсиш-Эйлау (ранен в голову картечью), Гутштадтом, Гейльсбергом, Фридландом (контужен ядром в грудь), 12. 12. 1807 произведен в полковники. С 6. 3. 1808участвовал в Русско-шведской войне 1808–1809 гг., а с 1811 г. командовал бригадой… участвовал в деле под Островно, за отличие в Смоленском сражении награжден орденом Св. Анны 2-й степени… за геройские действия в Бородинском сражении отмечен орденом Св. Владимира 3-й степени. Затем постоянно находился в арьергардных стычках с неприятелем, за отличие при Спас-Купле награжден алмазными знаками к ордену Св. Анны 2-й степени. Участвовал в сражении при Тарутино, особо отличился в Мсигоярославецком сражении: утром 12 октября его бригада первой вступила в город и до вечера не выходила из боя. При преследовании неприятеля действовал в авангарде армии. За

взятие Вязьмы награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. 28. 4. 1813 за отличие при Малоярославце произведен в генерал-майоры со старшинством от 12. 10. 1812. В кампанию 1813 г. неоднократно находился в авангардных делах, отличился в Лейпцигском сражении, где войска под его командой захватили 56орудий (награжден золотой шпагой “За храбрость” с алмазами). В кампании 1814 года находился при блокаде Майнца, при штурме Реймса ранен пулей в левое плечо. За взятие Монмартрских высот под Парижем удостоен ордена Георгия 3-го класса». Участвовал во 2-м походе во Францию, умер в 1826 году генерал-лейтенантом. А еще у него был такой же героический брат Карл Генрих Георг Бистром 1-й, кавалер Георгия трех степеней (4, 3 и 2-го класса). В боях он был многократно ранен: в левую ногу, потом в левое плечо, в правую щеку с повреждением челюсти и вскоре умер от последствий ранений. Кроме множества подвигов с его именем связан захват маршальского жезла знаменитого Даву. Он был командиром любимого Багратионом лейб-гвардии Егерского полка.

И последнее, так сказать, на заметку. А. Бутенев, приехавший в Волковыск и сердечно принятый при штабе Багратиона, писал, что близким, домашним человеком при князе был… иностранец, француз по происхождению: «В числе близких к князю Багратиону лиц необходимо еще упомянуть о старом французском эмигранте Мустье (de Moustier). Он состоял в чине полковника нашей службы и носил кавалерийский мундир, но не имел никакой особой должности, а был только приятелем князя и сопровождал его еще в Турецкой войне, хотя не знал ни слова по-русски, а князь Багратион плохо объяснялся на французском языке. Прекрасный, седовласый, высокого роста старик был настоящий представитель доблестного французского дворянства прежних времен». Он был телохранителем последнего французского короля, защищал от толпы покои Марии Антуанетты, сопровождал короля во время бегства в Варен, чудом остался жив, бежал из Парижа, был принят при русском дворе, получил пенсию и «привязался к князю Багратиону»30. О другом иностранце из окружения Багратиона сказано в акте 13 сентября 1812 года о выдаче денежных награждений согласно завещанию князя: «Позеф Гави, как служивший ревностно и усердно при покойнике с 1806-го (года) до самой смерти без жалованья, — шесть тысяч рублей и верховую серую лошадь» ".

Глава шестнадцатая «Желал бы иметь крылья»

Подарок в день рождения

Конечно, посылая письмо Аракчееву с просьбой об отставке или отпуске, Багратион понимал, что просить отпуск на месяц или перевод в Молдавию в такой страшный момент в истории своей страны он не может. Им двигали обида, неприязнь к Барклаю и желание воздействовать через временщика на императора Александра, добиться отставки Барклая и передачи всей полноты власти над армией ему, Багратиону.

Такого же мнения в армии придерживались многие, если не большинство генералов и офицеров. Отказ Барклая от начатого было решительного наступления на Рудню их удивил. Именно к этому времени некоторые историки относят рост недовольства главнокомандующим 1-й армией среди генералитета. Своими действиями Барклай как бы подкреплял сомнения на свой счет. Известно, что 1 августа он снова переменил планы — в очередной раз двинул 1-ю армию к Рудне и у местечка Гавриков встал в показавшуюся ему удобной позицию в ожидании Наполеона, который — как он предполагал — захочет отметить свой день рождения (3/15 августа) очередной победной битвой и непременно двинется на русскую армию. Он писал Багратиону 1 августа: «Я полагаю, что неприятель 3-го числа, в день рождения Наполеона, возьмет намерение напасть на нас»1. Багратиону же был дан приказ идти по дороге вдоль Днепра к Надве, где он уже проходил со своей армией накануне. Этот новый приказ вызвал недовольство во 2-й армии: известно, что по той же самой дороге, по которой до этого прошли десятки тысяч людей и лошадей, лучше снова не ходить: окрестности пусты и изгажены, чистой воды, сена да и травы близко к дороге днем с огнем не найдешь. Но Багратион все-таки подчинился приказу Барклая и вежливо отвечал ему: «Желая содействовать в намерениях ваших, предписал я войскам завтра выступить, но долгом моим поставляю объяснить вашему высокопревосходительству прискорбие мое» и далее со скрытым раздражением и издевкой пояснял, что солдаты его корпусов, непрерывно переходя с места на место, устали и что «сверх того, следуя по одной дороге с 2-й колонной вверенной вам армии, непременно буду задержан обозами оной. Не могу скрыть от вашего

высокопревосходительства… что 2-я армия от подобных движений будет скоро совсем недвижима, ибо люди и лошади не имеют ни малейшего отдохновения… никто поспеть не может»2. Тем не менее авангард 2-й армии — корпус генерала М. М. Бороздина — двинулся опять от Смоленска к Надве. Корпус генерала Раевского должен был выступить из Смоленска на следующий день, следом за дивизией принца Вюртембергского. Но корпус Раевского (по независящим от него причинам) задержался с выходом из Смоленска на несколько часов. И вскоре стало ясно, что это опоздание оказалось для России истинным даром судьбы!

В тот же день Багратион получил от Барклая диспозицию предстоящего наступления, приуроченного ко дню рождения Наполеона. Мысль эта показалась князю Петру не самой удачной: «Воля ваша, но мне кажется, что всегда худой день выбрали атаковать в именины Наполеона. Он весьма упорно будет драться, ибо он им подаст большой дух — нужно атаковать его 5-го, нежели 3-го». К тому же подошедшие по грязи войска нуждались в отдыхе, «если же не пойдут они, тогда мы можем на них напасть 5-го числа». Князя вообще тревожила мысль, что кто-то в окружении Барклая работает на врага (скорее всего, имелся в виду Вольцоген), что Барклаю дают ошибочные советы устроить битву в день рождения императора французов: «Истинно вы обмануты, и вас ведут не тогда, когда мы хотели, а когда они хотят». Мысль о сражении вдруг стала беспокоить князя, и он отнесся к столь казалось бы желанной для него идее сражения с непривычным для него сомнением, удивлялся неожиданной решимости Барклая, полагал, что тут нечисто и смелость обычно осторожного Барклая навеяна чьим-то наушничеством: «Вы всегда избегали дать сражение путем, да притом всегда, теперь вдруг вздумали в именины черта дать баталию или бежать отсюда 5-го, везти по грязи»1.

Наполеон действительно хотел провести день рождения на поле битвы, но только не там, где думал его встретить Барклай. Сведения о выступлении русских армий на Рудню Наполеон получил уже рано утром 28 июня и на следующий день принял решение перебросить свою армию на левый берег Днепра и форсированным маршем двинуться к Смоленску, чтобы внезапно овладеть им. При этом великий полководец полагал, что в любом случае он не проиграет: если русские армии ушли из города, он отрежет им путь отступления к Москве, если же они лишь совершают недалекую вылазку и скоро вернутся в Смоленск, то он навяжет им сражение, которое и решит судьбу кампании и всей войны.

Наполеон воспользовался бездействием и странным маневрированием противника. Армия отдохнула, солдаты рвались в бой, и вскоре он предоставил им такую возможность. Ближе к Орше, у Рассана и Хомино, были быстро наведены мосты через Днепр, по которым 1 августа начали переправляться французские войска из Витебска, Орши и других мест дислокации. Барклай об этом не знал. Позже он писал совершенно нейтрально, как будто об обычном деле: «Обе армии взяли позицию у села Волкового над рекою Выдрою и ожидали атаки, в то самое время получили мы известие, что неприятель со всеми своими силами переправляется на левый берег Днепра и идет прямо на Смоленск, соединившись с Понятовским»4. Никаких объяснений причин этого просчета относительно действий Наполеона здесь нет. Зато другой участник обороны Смоленска, Н. Н. Раевский, отдал должное Наполеону: «Движение Наполеоново на левое крыло нашей армии есть одно из тех отважных предприятий, кои и предвидеть, и отвратить затруднительно. Он пользовался уже всеми выгодами сокрытого начинания, прежде нежели кто-нибудь в нашей армии мог подумать о переходе его на правую сторону Днепра. Мы все, с медлительностию и нерешимостию, продолжали свое наступательное движение, то возвращаясь по прежним следам, то занимая бесполезные позиции»5. За один-два дня Наполеон собрал в один кулак почти 200-тысячную армию на левом берегу Днепра и сразу же двинулся вдоль реки к Красному, где уже несколько дней стоял Обсервационный корпус Д. П. Неверовского.

Как же прозевали? С современной точки зрения, непонятно, почему даже в тогдашних условиях и с теми средствами связи, которыми располагало русское командование, не была создана единая система наблюдения за неприятелем, сбора и передачи сведений о передвижении основных сил французов вдоль Днепра — г/7авной водной преграды, разделявшей противников? При этом какие-то сведения об оживлении французов на берегах Днепра вроде бы поступали. Генерал Неверовский получал сведения «от жителей, выходящих из мест, занятых неприятелем, и от возвратившихся партий казаков». От них он даже узнал, что через Днепр наводятся мосты, что идут какие-то передвижения противника, но, как nucai он, «о силе неприятеля не открыто». И хотя Неверовский предписал местному дворянскому предводителю и земскому исправнику «иметь беспрерывные сношения с пограничными жителями и посылать надежных людей для открытия неприятеля и для узнания его намерений»6, ничего сделано в сущности не было и удар Наполеона в направлении

Смоленска оказался для русского командования поистине внезапным. Подготовка французов к форсированию Днепра крупными силами не была должным образом отслежена и оценена (что в конечном счете могли понять не сведующие в инженерном деле дворянский предводитель или местные жители), и наши прозевали грандиозный фланговый марш Наполеона. И наконец, напомним, что о возможности такого движения Багратион задолго предупреждал Барклая…

Красное, от крови красное

Сорокалетний генерал-майор Дмитрий Петрович Неверовский, по тогдашней терминологии «малоросс», сын городничего из Золотоноши, был типичным для того времени офицером русской армии: прошел путь от солдата до генерала в войнах с турками, поляками, французами, был шефом одного из лучших полков русской армии — Павловского гренадерского, и с 1811 года занимался формированием новой 27-й пехотной дивизии. Делал он это толково, профессионально, что вскоре и сказалось в сражении под Красным. 2 августа казачьи разъезды донесли Неверовскому коротко, но убедительно: «Французы валом валят». Так это и было — к Красному со своим кавалерийским корпусом приближался сам король Неаполитанский Иоахим Мюрат. Но в тот момент Неверовский еще не понимал, что против него движется вся Великая армия и его дивизия оказалась на пути главного наступления Наполеона. Это видно из рапорта, который он послал Багратиону 2 августа: «Кавалерия, превосходная в силах и подкрепляемая пехотою, атаковала в Лядах спереди и с обеих (так!) флангов г. полковника Быхалова, который в порядке отступал до Красного, поддерживаем Харьковским драгунским полком и егерями. Г. Быхалов при сем отступлении, лично командуя казаками, с неустрашимостью не только отражал его, но сам нападая, побил до 100 человек, без всякой с своей стороны потери. У Красного расположил я вверенный мне отряд и с решимостью буду в сем месте. Естьли он покусится на дальнейшие предприятия, я не иначе отступлю от оного города, как причинив ему сильный вред. Фланги мои прикрыты, партии посланы на дорогу Романовскую и на правый берег Днепра для открытия движений неприятельских. Баталион егерей с казачьим полком отправлен осматривать места позади моего расположения, дабы он не мог зайти в тыл»7.

Зная, что позиция в самом Красном неудобна для обороны, Неверовский начал отступать по Смоленской дороге, отправив

вперед, на 12-ю версту, 50-й егерский полк, который занял узкое дефиле — переправу через речку. Егерям были приданы две пушки. Тем временем полки дивизии выстроились за окраиной Красного вначале в две колонны, а затем, при атаке неприятеля, замкнулись в каре. Почти сразу же налетевшая французская конница перебила расчеты всех пяти пушек, бывших у Неверовского, и опрокинула казаков и драгун, сопровождавших колонны пехоты. Это и немудрено — у Мюрата был подавляющий перевес в кавалерии (15 тысяч человек), да и в инфантерии у командовавшего 3-м армейским корпусом маршала Нея было численное преимущество. Но все-таки главную опасность для Неверовского в этот момент представляла кавалерия Мюрата. Выразительнее всего это сражение описывают И. Ф. Паскевич (со слов самого Неверовского) и непосредственный участник боя, 15-летний тогда офицер Д. Душенкевич.

Паскевич сообщал: «Итак, Неверовский с самого начала сражения остался без артиллерии и конницы, с одною пехотою. Неприятель окружил его со всех сторон своею конницею. Пехота атаковала с фронта. Наши выдержали, отбили нападение и начали отходить. Неприятель, увидев отступление, удвоил кавалерийские атаки. Неверовский сомкнул свою пехоту в колонну и заслонился деревьями, которыми обсажена дорога. Французская кавалерия, повторяя непрерывно атаки во фланги и в тыл генерала Неверовского, предлагала, наконец, ему сдаться. Он отказался, люди Полтавского полка, бывшие у него в тот день, кричали, что они умрут, а не сдадутся. Неприятель был так близко, что мог переговариваться с нашими солдатами. На пятой версте отступления был самый большой натиск французов, но деревья и рвы дороги мешали им врезаться в наши колонны».

Дадим теперь слово Дмитрию Душенкевичу, принявшему, как и большинство людей в корпусе, свой первый бой: «Неприятель уже готовил нам с двух сторон дивизионы для формальной атаки. Кто на своем веку попал для первого раза в жаркий, шумный и опасный бой, тот может представить чувства воина моих лет, мне все казалось каким-то непонятным явлением, чувствовал, что я жив, видел все вокруг меня происходящее, но не постигал, как, когда и в чем ужасная, неизъяснимая эта кутерьма кончится? Мне и теперь живо представляется Неверовский, объезжающий вокруг каре с обнаженною шпагою и при самом приближении несущейся атакою кавалерии повторяющий голосом уверенного в своих подчиненных начальника: “Ребята! Помните же, чему вас учили в Москве, поступайте так, и никакая кавалерия не победит вас, не торопитесь в пальбе, стреляйте метко во фронт неприятеля, третья шеренга — передавай ружья, как следует, и никто не смей

начинать без моей команды 1Тревога!1”8. Все было выполнено, неприятель, с двух сторон летящий, в одно мгновение опрокинувший драгун, изрубивший половину артиллерии и ее прикрытие, с самонадеянием на пехоту торжественно стремившийся, подпущен на ближний ружейный выстрел, каре, не внимая окружавшему его бурному смятению сбитых и быстро преследуемых, безмолвно, стройно стояло, как стена. Загремело повеление “Тревога!!!”, барабаны подхватили оную, батальонный прицельный огонь покатился быстрою дробью — и вмиг надменные враги с их лошадьми вокруг каре устлали землю на рубеже стыка своего. Один полковник, сопровожденный несколькими удальцами в вихре боя преследуемых, домчался к углу каре и пал на штыках, линии же атакующие, получа неимоверно славный ружейный отпор, быстро повернули назад и ускакали в великом смятении, с изрядною потерею. Ударен отбой пальбе, Неверовский, как герой, приветствовал подчиненных своих: “Видите, ребята, — сказал Неверовский в восторге, — как легко исполняющей свою обязанность стройной пехоте побеждать кавалерию, благодарю вас и поздравляю!” Единодушное, беспрерывное “Ура! Рады стараться!” — раздавалось ему в ответ и взаимное поздравление».

Нам не дано полностью ощутить драматизм сражения конницы с пехотой, но мне кажется, что Сергей Бондарчук сумел передать эти ощущения в том эпизоде фильма «Ватерлоо», где мы видим, как шотландская тяжелая кавалерия безуспешно атакует каре французских войск. Камера поднимается все выше и выше, шум битвы, грохот орудий, ржание коней, крики людей смолкают, и мы видим сверху, из поднебесья, как густые струи конницы как бы обтекают ровные квадраты каре, не в силах прорвать эти низенькие, тонкие линии стоящих насмерть пехотинцев…

Отбив нападение, Неверовский начал отступать, каре перестроилось в две сомкнутые колонны. Паскевич продолжал: «Неприятель беспрестанно вводил новые полки в дело, и все они были отбиты. Наши, без различия полков, смешались в одну колонну и отступали, отстреливаясь и отражая атаки неприятельской кавалерии. Таким образом Неверовский отошел еще семь верст. В одном месте деревня едва не расстроила его отступление, ибо здесь прекращались березы и рвы дороги. Чтобы не быть совершенно уничтоженным, Неверовский принужден был оставить тут часть войска (для прикрытия. — Е. А.), которая и была отрезана. Прочие отступили, сражаясь. Неприятель захватил тыл колонны и шел вместе с нею. К счастью, у него не было артиллерии, и потому он не мог истребить эту горсть пехоты».

Добавим от себя, что, помимо упомянутых Паскевичем

солдат, которые должны были прикрывать отступление и, конечно, погибли, колонне по всей дороге приходилось оставлять своих убитых и раненых товарищей на милость противника. Паскевич считал, что Неверовский потерял половину людей, другие думают, что и больше". Наконец, колонны Неверовского приблизились к речке, и оттуда две наши пушки, посланные вперед предусмотрительным Неверовским, открыли огонь по французам поверх наших колонн. Мюрат счел, что на помощь к Неверовскому подошли русские войска с артиллерией, и остановил свои атаки. Неверовский благополучно переправился через речку и там простоял до ночи, а затем отступил к Смоленску.

Три главных обстоятельства благоприятствовали успеху этого отступления. Во-первых, это стойкость и мужество солдат, среди которых были в большинстве необстрелянные новобранцы (ими были укомплектованы четыре из шести полков). Возможно, тут нужно учесть своеобразную черту русских солдат, отмеченную иностранными наблюдателями: в момент опасности они не разбегаются, а наоборот — сбиваются вместе, сплачиваются. Особенно ярко это проявилось в сражении с пруссаками в 1758 году при Цорндорфе, да и в других сражениях русской армии прошлого.

Во-вторых, это самонадеянность руководившего операцией Мюрата, который не дождался подхода всей своей кавалерии, а бросал в бой прямо с марша прибывавшие один за другим конные полки. Не внял он и совету маршала Нея, предлагавшего подождать конные артиллерийские роты. По этому поводу Паскевич со знанием дела писал: «Если б они имели с собою всю артиллерию, тогда бы Неверовский погиб. Немного также чести их кавалерии, что 15 тысяч в сорок атак не смогли истребить 6 тысяч пехоты»10. И, наконец, третье: сыграла свою роль предусмотрительность Неверовского, заранее подготовившего позицию для отступления в узком месте, у моста через речку. «Я сие предвидел, — писал он потом, — и меня спасло, что я послал один баталион и две пушки и казачий полк занять дефилею и отретировался к сей дефилеи, где и лес был. Далее неприятель не смел меня преследовать»11.

Французы по достоинству оценили мужество 27-й дивизии. Сегюр писал: «Неверовский отступал, как лев!» Император Александр при встрече с Неверовским в Вильно в декабре 1812 года в присутствии свиты и генералитета сказал генералу, что подвиг при Красном «бессмертную славу ему делает».

«Держись! Бог тебе помощник!»

В то время как Неверовский проходил свои кровавые двенадцать верст, Багратион, двигавшийся, по воле Барклая, опять к Надве, услышал канонаду за Днепром, на Красненской дороге. Главнокомандующий ехал с авангардом, дивизией Бороздина. Следом за ней, как уже сказано с запозданием в три часа, выдвинулась из Смоленска дивизия Карла Мекленбургского, а последней выступила дивизия Н. Н. Раевского. Отойдя на 12 верст от города, эта дивизия остановилась на ночлег. Получив сообщение о нападении крупных сил неприятеля на Неверовского, Багратион тотчас известил об этом Барклая12 и, не дожидаясь его распоряжений, прислал приказ Раевскому, чтобы тот немедленно возвращался в Смоленск и двигался на помощь корпусу Неверовского. Для этого Багратион придал Раевскому кирасирскую дивизию. Он сразу понял, что через Красное идут крупные соединения противника и что их конечная цель — Смоленск. В письме Барклаю 3 августа Багратион писал: «Неприятель не может быть в малых силах против Неверовского и Раевского и постарается, верно, все меры употребить приблизиться к Смоленску». Но все же точных сведений у него не было — буквально накануне трагедии Неверовский сообщал о том, что впереди него серьезных сил неприятеля не видно.

Авангардом развернувшейся в обратном направлении дивизии Раевского, прошедшей Смоленск и двинувшейся по Красненской дороге, командовал генерал И. Ф. Паскевич. В шести верстах от города он встретил Неверовского. Вид его поредевшей, израненной дивизии ярче всяких слов говорил о произошедшем кровавом сражении. Другой свидетель этой встречи, Д. Давыдов, вспоминал: «Я помню, какими глазами мы увидели Неверовского и дивизию его, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия! Так некогда глядели мы на Багратиона, возвращавшегося к нам из-под Голлабрюна в 1805 году»13. И до сих пор без волнения невозможно читать эти строки!

Другим очевидцам Неверовский и его люди показались воскресшими из мертвых: майор Пяткин, дежурный штаб-офицер 7-го корпуса 2-й армии, вспоминал, что от казаков, прискакавших в Смоленск, он узнал, что «отряд Неверовского, будучи окружен огромными массами неприятельской кавалерии, подвергся совершенному истреблению». Как раз получив от казаков это страшное, но оказавшееся ошибочным, известие, Раевский выступал с основными силами своей дивизии из Смоленска. Тут к нему привели взятого в плен французского офицера, адъютанта Мюрата, который сказал, что перед Раевским «стоит Наполеон с главными силами и что завтра, то есть 4 августа, атакует нас

всеми силами в честь дня своего рождения»14. Через некоторое время к Раевскому прибыл и сам Неверовский. Раевский позже писал о нем: Неверовский «защищался превосходно, геройски, что неприятель умел оценить выше, нежели он сам. Отступление его было не поражение, а победа, судя по несоразмерности сил неприятеля относительно к его силам, невзирая на то, он находился в отчаянии (из-за огромных потерь, утраты пушек и имущества — а он знал, что за это тыловые крысы могут отдать и под суд. — Е. А.). Я утешат его, как мог, и соединил с моим корпусом остатки его дивизии»15.

Новобранец — в бою слабое звено. Восхищение профессиональных военных подвигом дивизии Неверовского можно понять, только зная, каково иметь под своим началом дивизию, большая часть которой состоит из новобранцев. Как известно, новобранец на войне — большая проблема. М. С. Воронцов, назначенный командиром сводной гренадерской дивизии 2-й армии, то есть начальником Неверовского, вспоминал, что большая часть его войск состояла из опытных ветеранов, «исключая, впрочем, батальонов дивизии Неверовского, только что сформированной и которые бьши гренадерами лишь по имени, росту и доброй воле»16. Впрочем, и это тоже немало: в гренадеры брали рослых, могучих рекрут, то есть заведомо людей сильных, уверенных в себе, что в бою немаловажно. И все же вчерашние рекруты Неверовского, совсем недавно ставшие его солдатами, при виде столь устрашающей атаки лучшей в тогдашнем мире французской кавалерии могли дрогнуть, запаниковать. Военачальники вообще неохотно брали под свое начало полки, сформированные из новобранцев. Неслучайно, что когда навстречу отступающей из Смоленска армии подошел заново набранный из рекрут корпус генерала М. Милорадовича (около 15 тысяч человек), то его было решено не сохранять, а раскассировать и «влить» в старые полки на места выбывших солдат.

В случае с новобранцами Неверовского, по-видимому, сыграла свою роль подготовка рекрут, проведенная им еще в Москве. К тому же не будем забывать, что его новобранцы совершили весь описанный выше длинный и опасный путь вместе со 2-й армией от Волковыска до Смоленска.

Вскоре сам Раевский мог наблюдать, как к позициям его дивизии, остановившейся на окраине Смоленска, начинают выдвигаться массы пехоты Нея и Даву, а также конницы Мюрата. Но только в сумерках, когда французы разожгли бивачные костры, по тысячам их огней, осветивших пространство до самого горизонта, Раевскому стали понятны масштабы неприятельского

наступления. Вообще, несколько отвлекаясь, отметим, что изучение числа и расположения бивачных огней дает очень много для постижения сил противника. Впрочем, известно, что для дезориентации противника бивачных огней разводили больше, чем нужно, или, наоборот, старались вообще костров не разжигать (или прятать их в оврагах, за высотами).

Раевскому стало окончательно ясно, что перед ним вся Великая армия, как по волшебству оказавшаяся перед Смоленском. Он тотчас написал об этом Багратиону, к тому времени достигшему (во второй раз за несколько дней!) Надвы.

Горькие плоды тактики Барклая

Был извещен о происшедшем и Барклай. Надо полагать, что, получив сообщение о фланговом марше Наполеона, он был потрясен. И хотя он знал (и даже писал об этом 27 июля), что, «имея противу себя неприятеля искусного, хитрого и умеющего воспользоваться всеми случаями, я нахожусь в необходимости наблюдать строжайшее правило предосторожности»17, тем не менее получалось, что, несмотря на предосторожности, Наполеон все-таки провел его: французы оказались под самым Смоленском, в то время как 1-я армия находилась в 40 верстах, а 2-я — в 30 верстах от города, то есть минимум в одном переходе! Вся надежда русского командования была только на Раевского и обескровленную дивизию Неверовского. В некотором смысле Барклай в тот момент пожинал плоды своей половинчатой стратегии. Поначалу, как уже сказано выше, он был решительно настроен на генеральное сражение под Смоленском, но чем дольше войска топтались на месте, точнее — переходили с одной дороги на другую, тем меньше решимости оставалось у него. Он стал видеть смысл сражения не в том, чтобы напасть «с превосходящими силами» на левый фланг французов и разбить их, а в том, чтобы лишь «открыть коммуникацию с высшею (верховьями. — Е. А.) Двиною и моими отрядами, обеспечить левый фланг графа Витгенштейна». В письме к адмиралу Чичагову 31 июля, то есть накануне флангового марша Наполеона, Барклай открыто признался в своем нежелании искать поединка с Наполеоном: «Достигнувши главной цели своей соединением со 2-ю армиею, обязанность 1-й армии есть содержание свободной коммуникации с корпусом графа Витгенштейна, оставаясь при том в таком положении, чтоб могла дать вспомоществование 2-й армии, которой остается прикрытие дороги, в Москву ведущей. Желание неприятеля есть кончить

войну решительными сражениями, а мы, напротив того, должны стараться избегнуть генеральных и решительных сражении всею массою, потому, что у нас армии в резерве никакой нет, которая бы в случае неудачи могла нас подкрепить, но главнейшая наша цель ныне в том заключается, чтобы сколь можно более выиграть времени, дабы внутреннее ополчение и войска, формирующиеся внутри России, могли быть приведены в устройство и порядок». Здесь уместно отметить, что Барклай постоянно проявлял неуверенность — выше уже шла речь о его намерении дать генеральное сражение под Витебском и потом, в день рождения Наполеона, когда он готовился к битве под Гавриками. В этом же послании Барклай излагает исповедуемую им (не для всех) «стратегию бездействия»: «В нынешних обстоятельствах не дозволяется 1-й и 2-й армиям действовать так, чтобы недра государства, ими прикрытые, чрез малейшую в генеральном деле неудачу подвержены были опасности, и потому оборонительное состояние их есть почти бездейственное». И здесь Барклай, в противоречие своим прежним утверждениям, писал: «Решение же участи войны быстрыми и наступательными движениями зависит непосредственно от Молдавской и 3-й армий, и сие соответствует общему плану войны, по коему часть войск, на которую устремляются главнейшие силы неприятеля, должна его удерживать, между тем что другая часть, находя против себя неприятеля в меньшем числе, должна опрокинуть его, зайти во фланг и в тыл большой его армии. Если бы 3-я армия действовала согласно с сим, то теперь, верно, уже находилась бы в сердце Герцогства Варшавского или, лучше сказать, около Минска и угрожала противостоящего нам неприятеля тою опасностию, которой он, как видно по осторожности его, даже ныне еще, но к несчастию нашему тщетно, от оной ожидает»18. Читая этот «трактат» Барклая, можно понять гнев Багратиона — во-первых, «стратегия бездейственности», ожидание подхода новых сил с юга означали затягивание войны на целые месяцы, чего Наполеон никогда бы не допустил. Во-вторых, стратегия фланговых ударов и ударов в тыл меньшей группировкой войск уже раз (на примере 2-й армии) провалилась под Вильно — Минском. Теперь ожидать от Тормасова, чтобы он действовал так, как безуспешно требовали действовать от Багратиона во время его движения под Николаевом, было невозможно — у Наполеона на каждого Багратиона нашелся бы свой Даву. Словом, планы ведения войны, предложенные Барклаем, были заведомо обречены на провал, который вскоре и случился. Следя из Витебска за передвижениями русских, Наполеон понял, что Барклай рисковать не будет, от Смоленска далеко не уйдет, поэтому и

решил устроить русским сюрприз на свой день рождения — нанести удар южнее, прямо по Смоленску. План его почти удался: он сумел быстро сосредоточить превосходящие силы своей армии в одном месте и нанес неожиданный и быстрый удар.

Держись, Раевский!

Но при исполнении своего блестящего плана Наполеон не учел два момента — неожиданно упорное сопротивление корпуса Неверовского и поздний выход из Смоленска Раевского с его дивизией. Как уже сказано, Раевский успел вернуться, но его положение было отчаянным — дивизия оказалась один на один с целой армией, да еще какой! История Шёнграбена повторялась под Смоленском. Ждать подкреплений Раевскому предстояло не меньше суток. И тут он получил теплое, дружеское, как от родного человека, письмо Багратиона (о нем мы знаем по воспоминаниям офицера штаба Раевского, майора Пяткина): «Друг мой! Я нейду, а бегу, желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобой. Держись! Бог тебе помощник!»"

Багратион вначале решил навести мост через Днепр у села Катань и перебросить по нему часть своей армии (кавалерию) на помощь Раевскому и Неверовскому20. Но потом, узнав, что на подходе к Смоленску, видимо, вся армия Наполеона21, он не решился дробить свои силы и тратить время на наведение переправы и форсированным маршем двинулся по правому берегу Днепра к Смоленску. Раевскому же Багратион дал приказ «держаться сколько можно в Смоленске»22. Конечно, Раевский мог бы отступить, перейти через единственный мост на правый берег Днепра и покинуть Смоленск. Для этого у него были все основания — на его корпус надвигалась страшная сила, да и Багратион в письме Барклаю 3 августа признавал: «Я даже не вижу способов, чтобы он (Раевский. — Е. А.) мог против таких сил держаться более 24-х часов. Все, что я могу желать, есть, чтоб он защищался завтра целый день, а я как свет должен непременно выступить отсюда и стараться быть на правом берегу против Смоленска, дабы дать способ корпусу генерал-лейтенанта Раевского вместе со мною пробраться на Дорогобужскую дорогу».

Словом, раньше, чем через сутки, Раевский отступить не мог — иначе он поставил бы обе армии в почти отчаянное положение и неизбежно привел к ним, идущим по разным дорогам к Смоленску, грозного противника. Наполеон, судя по его запискам, сделанным на острове Святой Елены, как раз намеревался захватить Смоленск с ходу, застать русское

командование врасплох, чтобы затем атаковать русскую армию с тылу, «разделенную и шедшую в беспорядке». Естественно, что тогда бы он прочно оседлал Московскую дорогу, перекрыв русским армиям путь к столице. Понимая это, Николай Николаевич Раевский решил умереть вместе со своим корпусом (всего 15 тысяч человек) на старых стенах Смоленска, но не дать Наполеону захватить город.

Забыли укрепить Смоленск. Поразительно, что русскому командованию (а обе армии стояли в городе две недели!) не пришло в голову укрепить оборонительные сооружения, возвести силами имевшихся под их началом 120 тысяч человек хотя бы временные земляные укрепления, а также поправить старые стены Смоленска. П. Х. Граббе писал по этому поводу, что «забыли укрепить Смоленск. Это было нетрудно при стене с башнями, окружавшими город»21. Паскевич позже признавался: «Пока мы были под Смоленском, никто не думал, что Смоленск мог быть укреплен. Между тем стоило только воспользоваться старинными стенами, поправить земляные укрепления и сделать новые полевые укрепления на левом фланге города»24. Ничего этого сделано не было! Почему? Паскевич объясняет это так: все полагали, что Наполеон двинется из Могилева левее Смоленска — то есть там, куда Барклай выдвинул армию. Кажется, была еще одна причина нерасторопности русского командования — в то время сама мысль об оборонительных боях в Смоленске — после месяца отступления, порой похожего на бегство, — была всем отвратительна, казалась позорной. Ведь сам Барклай, несмотря на все свои сомнения, поначалу также двинулся на противника в поисках генерального сражения. Но в отношении укреплений Смоленска можно почти точно сказать, что прагматик Петр Великий, оказавшись в сходной ситуации, первым делом починил бы стены и насыпал впереди них полевые укрепления, как он это делал в Новгороде и Москве. Впрочем, был один человек, которому мысль об укреплении Смоленска пришла вовремя, но к нему не прислушались. На военном совете 24 июля все были согласны с мнением Толя о наступлении на Рудню, и только Вольцоген — тот самый, которого Багратион подозревал в шпионаже, — предлагал «укрепить Смоленск и оставаться у последнего, выжидать хода событий»25.

При выезде из Смоленска, по дороге к Красному, Раевский провел рекогносцировку на местности, благо ночь тогда была «месячная и светлая». «Еще прежде какое-то неизъяснимое чувство предвещало мне, — писал Раевский позже, — что я буду сражаться под Смоленском, и я тщательно осмотрел местность пред городом и самое предместие, которого выгодным

положением я старался воспользоваться, вследствие чего я приказал ночью большую часть моей артиллерии поместить на древних земляных бастионах, окружающих каменную стену города, всю пехоту мою расположил перед предместием». Вот тогда-то и началась судорожная работа по усилению оборонительных позиций. Особенно старались укрепить большой центральный равелин (Королевский бастион), который мог стать (и стал!) главной целью атак французов. Войска Раевского размещались перед самой крепостью, а также во временных земляных укреплениях. Из госпиталей были вызваны все выздоравливающие солдаты и расставлены по стенам. «В ожидании дела, — вспоминал Раевский, — я хотел несколько уснуть, но искренне признаюсь, что, несмотря на всю прошедшую ночь, проведенную мною на коне, я не мог сомкнуть глаз, — столько озабочивала меня важность моего поста, от сохранения коего столь много или, лучше сказать, вся война зависела!»26 Так это и было!

Четвертого августа, в 9 часов утра, французы тремя колоннами, под командой маршалов Нея, Даву и Мюрата, двинулись на позиции Раевского. Завязался упорный бой. Французам дважды удавалось ворваться в Королевский бастион, и оба раза Раевский их оттуда вытеснял. В целом, прорвать боевые порядки русских войск в этот день французам и особо активным в бою за «свой» Смоленск полякам не удалось.

Горец командует с горы

Сражением в Смоленске в первый день руководил Багратион. По-видимому, так было решено по ходу дела: в Смоленске были войска 2-й армии, а Барклай со своей армией только подходил к городу. Главная квартира Багратиона находилась на правом, высоком берегу, напротив Смоленска. Как вспоминал А. Бутенев, «отсюда было видно, как французское войско… колонна за колонною, правильно и быстро нападало сначала на отряды наши, поспешно выстроившиеся перед городом, а потом на высокие и древние укрепления, стены и башни Смоленска. Днепр, не очень широкий в этом месте, отделял высоту, где мы находились, от города и от той открытой местности противоположного берега, где происходило кровавое дело. Расстояние было версты две или три, так что простым глазом, не прибегая к трубкам и телескопам, которые были расставлены возле главнокомандующего и его свиты, можно было отлично и безнаказанно рассматривать движения неприятеля, его пехотные

колонны с застрельщиками впереди и его кавалерийские взводы, которыми с боков прикрывались батареи летучей артиллерии. Пушечные и непрерывные ружейные выстрелы со стороны нападающих и со стен и бастионов Смоленских долетали до нас, как раскаты близкой грозы и громовые удары, и по временам облака густого дыма застилали эту величественную картину, которая производила потрясающее действие на меня и на моего товарища, но за которою окружавшие нас военные люди, привыкшие к боевым впечатлениям, следили, правда, с заботливым любопытством, но по наружности с невозмутимым спокойствием и как бы с равнодушием. День стоял необыкновенно жаркий. Сражение началось в 6 или 7 часов утра и продолжалось несколько часов кряду. Главнокомандующий (Багратион. — Е. А.) с зрительного трубкою в руках беспрестанно получал донесения от лиц, распоряжавшихся обороною города, и, отряжая к городу новые подкрепления, рассылал адъютантов и ординарцев с своими приказаниями и туда к войскам, находившимся на нашем берегу… Когда у нас увидели, что неприятельские колонны отступают и бой кончился, князь Багратион сел на лошадь, со всею свитою пустился вниз и через мост поехал в город благодарить Раевского и его войска за такое геройское сопротивление втрое сильнейшему неприятелю. Один из офицеров, которые ездили в Смоленск с главнокомандующим, рассказывал мне по возвращении, что некоторые улицы были загромождены ранеными, умирающими, мертвыми и что не было возможности переносить их в больницы или дома… Когда главнокомандующий проезжал по городу, беспомощные старики и женщины бросались перед ним на колени, держа на руках и волоча за собою детей, и умоляли его спасти их и не отдавать города неприятелю. Раевский, с главными своими подручниками, выехал к нему навстречу, и они вместе ездили осматривать сильно пострадавшие стены и бастионы… Князь Багратион съезжал и вниз, на ровное место, покрытое убитыми и умиравшими, осмотрел вновь расставленные свежие отряды, здоровался с войсками, навестил главнейших лиц, получивших раны, и наконец переправился за Днепр в свой лагерь»-7.

Действительно, во второй половине дня 4 августа Наполеон неожиданно остановил боевые действия своей армии. Общие потери русских в тот день при обороне были относительно невелики — около тысячи человек. Многие историки считают, что Наполеон сознательно не наращивал натиск на позиции Раевского и тем самым давал русским армиям возможность вернуться в Смоленск. А они как раз возвращались в город — вюртембергская разведка видела «часть Борисфена и гряду

холмов на правом берегу реки. На них были видны длинные черные колонны, спешно тянувшиеся к Смоленску, поднимая облака пыли. Многие полагали, что это был Жюно с вестфальцами, про которых было известно, что они произвели неверное движение, и с минуты на минуту надеялись увидеть, как они атакуют русских, но вскоре голова этих колонн мирно соприкоснулась с русской позицией. Это были Барклай и Багратион»28. Думаю, что на самом деле немецкая разведка видела только шедшую вдоль Днепра армию Багратиона. Наполеон надеялся, что подошедшие русские армии ночью выйдут из города на дорогу к Красному, чтобы дать столь желанное генеральное сражение. Но утром, когда рассвело, Наполеон понял, что и в этот раз, как раньше под Вильно, Свенцянами, у Дрисского лагеря и под Могилевом (то есть уже в пятый раз!), русские не решились вступить с ним в бой. И тогда 5 августа Наполеон усилил натиск на Смоленск. Возможно, что он допустил промах и ему следовало бы раздавить сопротивление относительно слабого корпуса Раевского еще в первый день сражения. Учитывая явное неравенство сил, Наполеону это наверняка удалось бы. Сам Раевский писал: «Если бы неприятель употребил в сей день (4 сентября. — Е. А.) такой же неослабный напор, какой употребил он на другой день, но уже без надежды на те последствия, кои могли произойти от взятия Смоленска, мною защищаемого, то кончено было бы существование русской армии и жребий войны был бы решен невозвратно!»29

Неослабный напор

К ночи с 4 на 5 августа русские армии Барклая и Багратиона подошли к Смоленску, но в город не вступили. Оставаясь за мостом через Днепр, отделявшим Петербургское предместье от самого города, Барклай 5 августа взял командование сражением в свои руки и заменил обескровленный корпус Раевского корпусом 1-й армии под командованием генерала Д. С. Дохтурова. К нему присоединилась дивизия П. П. Коновницына. Остатки славной дивизии Неверовского так и стояли на месте, под стенами города. Подвиг Неверовского продолжался. Как вспоминал П. Х. Граббе, «героическая наружность Неверовского осталась в моей памяти. Он был одет как на праздник. Новые эполеты, из-под расстегнутого мундира или сюртука, не помню, виднелась тонкая, белая рубаха со сборками, блестящая и готовая сталь в сильной руке. Он был красив и действовал могущественно на дух солдата»10.

Весь день 5 августа русские войска сдерживали отчаянные атаки французов. Они выстояли, несмотря на обстрел своих позиций 150 французскими орудиями и начавшийся в городе пожар. Польские источники утверждали, что Смоленск был подожжен в результате обстрела его польской артиллерией31. Побывавший в городе капитан П. Пущин (его корпус стоял в резерве) записал 5 августа в дневник: «Интересуясь ходом сражения, я отправился в Смоленск к тому месту, где происходил самый ожесточенный бой. Восхищаясь отвагой и мужеством наших войск, я все-таки пришел к печальному выводу, что нам придется скоро уступить город. Я видел храброго генерала Дохтурова в самом опасном месте под сильным перекрестным огнем в воротах Смоленска. Улицы предместья были запружены трупами, меховыми шапками французских гренадер и разными частями вооружения. Это было наглядное свидетельство того, что неприятель несколько раз врывался в предместье и каждый раз был откинут нашими войсками»32. Паскевич подтверждает: «Почти все генералы приходили смотреть, как гласис противу моего бастиона был устлан телами французских гренадер»33.

Вывод о неизбежности отступления, сделанный капитаном Пущиным, был верен. Барклай решил, что позиции обороняющихся в городе уязвимы, особенно с флангов, поэтому следует оставить город. Ночью с 5 на 6 августа по приказу Барклая Дохтуров ушел из Смоленска. 2-я армия, по согласованию главнокомандующих, еще раньше двинулась по Московской дороге и заняла господствующую возвышенность близ города, а арьергард 1 — й армии стал сдерживать противника, с тем чтобы постепенно вывести из города и его окрестностей все русские войска и дать им оторваться от преследования на один-два дневных перехода.

Как только утром Наполеон узнал об отходе русских, он поспешил занять Смоленск, чтобы начать обстрел дороги, по которой, на виду города, по противоположному берегу Днепра, совершала «ретирадное движение» 1-я армия. Кроме того, он хотел захватить замостное предместье и «сесть на хвост» русским. Из-за этого Барклаю пришлось вернуть часть войск в предместье, чтобы хотя бы до ночи сдержать французов, что и удалось сделать. Глубокой ночью полки арьергарда отошли вслед за всей армией. Опять началось отступление… Потери русских под Смоленском были огромными — почти 12 тысяч человек. Но армия, как и прежде, отступала в полном порядке.

«Была бы знатнейшая победа, если бы не отступили»

Так закончилось Смоленское сражение. Город не был взят неприятелем, русские оставили его сами… Смешанные чувства владели людьми. Пожалуй, удачнее всех их выразил Ростопчин. Он писал Балашову, что «завтра поутру я обнародую печатными листами Смоленскую баталию, которая была бы знатнейшая победа, если бы не отступили от Смоленска»34.

Но общее впечатление от происшедшего было тяжелым, людей охватывали отчаяние и безнадежность. Солдаты и офицеры не понимали, почему после такой героической обороны они все-таки покинули Смоленск. Позже Неверовский (он умер от ран 21 октября 1813 года, уже во время Заграничного похода) писал, что «на 6-е число приказано было, неизвестно по каким причинам, от главнокомандующего Барклая де Толли оставить город и ретироваться; больно нам было оставлять тогда, когда неприятель не взял оного, город был зажжен, но нам не мешало держаться в нем. Заметить надобно, что дивизия три дни сряду была в жестоком огне, сражались, как львы, и от обоих генералов (Раевского и Дохтурова. — Е. А.) я рекомендован наилучшим образом. Оба дни в Смоленске ходил я сам на штыки, Бог меня спас, только тремя пулями сертук мой расстрелян, потеря была велика как офицеров, так рядовых…»35

Отступавший вместе с 1-й армией Дрейлинг вспоминал, что под Смоленском «мы опять-таки не попали в сражение, а были только зрителями с высокой горы, куда явились по приказанию. Было это так… Нашей дивизии было приказано немедленно выступить. Все мы оживились, сердца наши были преисполнены энтузиазма, а желание поскорее помериться силой с врагом заставило нас из рыси перейти почти в галоп, только бы не опоздать! Мы прискакали — и все-таки, как я уже сказал, остались только зрителями. В первый раз видели мы, молодые солдаты, это зрелище и сожалели об одном, что не принимали в нем участия»36. Адъютант начальника артиллерии Кутайсова П. Х. Граббе возвращался из города в Главную квартиру «уже ночью, и, поднимаясь на высоту, — вспоминал он, — я увидел весь гребень ее покрытый генералами и офицерами, которых лица, обращенные к Смоленску, страшно были освещены пожаром. Между ними было лицо женщины, одетой амазонкой, нежные черты лица которой легко было отличить среди сурового выражения опаленных солнцем и биваками лиц мужских. Это была жена Храповицкого (командира Измайловского полка. — Е. А.). Взошедши на гору, я поворотил свою лошадь к городу. Он весь уже казался в огне. Этот огромный костер церквей и домов был поразителен. Все в безмолвии не могли свести с него глаз. Сквозь закрытые веки проникал блеск ослепительного пожара.

Скоро нам предстояло позорище еще гораздо обширнее этого, но это было вблизи, почти у ног наших…»37

Сражение под Смоленском стало предметом размышления военных историков. В своих мемуарах Наполеон резюмировал происшедшее таким образом: «Он (Наполеон писал о себе в третьем лице. — Е. А.) обошел слева русскую армию, переправился через Днепр и подступил к Смоленску, куда он прибыл на 24 часа раньше русской армии, которая задержалась в своем отступлении, один отряд из 15 тысяч русских, который случайно оказался в Смоленске, имел счастье защищать это место один день, что дало время Барклаю де Толли подойти назавтра. Если бы французская армия неожиданно взяла Смоленск, она перешла бы Днепр и неожиданно остановила бы русскую армию, не собранную и в беспорядке; этот случай был упущен». Заслуживают внимания соображения Карла Клаузевица, изложенные им в книге «1812 год». Он писал, что если русских, в общем-то удачно оборонявших город и потом выведших из Смоленска свои войска, понять можно, то мотивы, которыми руководствовался Наполеон, остаются непонятны, вообще штурм Смоленска — «самое непостижимое явление во всей кампании».

Клаузевиц удивляется, почему Наполеон не пошел навстречу желаниям Барклая, «ведь Смоленск, очевидно, не мог являться для Наполеона объектом операции, таким объектом являлась русская армия, которую с самого начала кампании он тщетно пытался принудить к сражению. Она находилась непосредственно против него, почему же он не сосредоточил свои войска так, чтобы прямо двинуться ей навстречу? Далее, надо заметить, что дорога, идущая из Минска через Смоленск на Москву, по которой пошел Наполеон, переходит под Смоленском на правый берег Днепра, таким образом Наполеону все равно пришлось бы вернуться на этот берег. Если бы он двинулся прямо на Барклая, последнему едва ли удалось бы отойти к Смоленску. Во всяком случае, он не мог бы задержаться близ этого города, так как французская армия, находясь на правом берегу Днепра, гораздо сильнее угрожала Московской дороге, чем при переходе ее на левый берег, где Смоленск и река на известном участке прикрывают эту дорогу. При таких условиях Смоленск был бы взят без боя, французы не потеряли бы 20 тысяч, и самый город, вероятно, уцелел бы, так как русские еще не перешли к систематическим поджогам оставляемых городов. После же того как Наполеон подошел к Смоленску, снова является непонятным, зачем ему понадобилось брать этот город штурмом. Если бы значительный корпус переправился выше по течению через Днепр и французская армия сделала бы вид, что следует за ним

(Барклаем) и грозит захватить Московскую дорогу, то Барклай поспешил бы опередить этот маневр, а Смоленск и в этом случае был бы взят без боя…»18

Нельзя не упрекнуть Клаузевица в том, в чем он сам упрекал своих оппонентов, — в отвлеченных теоретических рассуждениях. Наполеон действовал нестандартно, оригинально, своим ударом он ошеломил русское командование. Его план оказался четким и исполнимым — неожиданно захватить Смоленск, перейти Днепр и ударить в тылы уходившим от города русским армиям, с тем чтобы отрезать их друг от друга и от столбовой дороги на Москву. Но неожиданно упорное сопротивление дивизии Раевского вынудило изменить намеченный план.

«Любит много выпить». Как, уже сказано, Раевский не успел уйти от Смоленска далеко и, быстро вернувшись, сумел организовать оборону. Это и есть та случайность, которая порой меняет ход истории. Есть одна забавная версия, объясняющая задержку с выходом дивизии Раевского из Смоленска. Задержка эта произошла совсем не по вине полководца. Раньше его дивизии из Смоленска должна была выступить дивизия принца Карла Мекленбургского, но якобы в этот день принц был настолько пьян, что только через три часа после назначенного срока удалось привести его в чувство, чтобы он смог дать соответствующий приказ. Правда, Жиркевич пишет, что принц просто крепко спал и его «долго не могли добудиться, будили в несколько приемов»19. Но как раз эта мелкая подробность и не оставляет сомнений в истинной причине богатырского сна принца. Любопытна и справка французского агента о принце, составленная перед войной: «Принц Мекленбургский, генерал-майор, 28 лет… довольно хороший генерал, очень храбр в огне, но глуповат, любим своими офицерами и солдатами, любит много выпить, когда идет в огонь, то имеет обыкновение поить своих солдат допьяна»40.

После первого дня битвы Наполеон действительно остановил натиск и дал время русским армиям вернуться в Смоленск, чтобы они вышли на сражение с ним. Об этом свидетельствует вся завоевательная логика Наполеона, стремившегося решить все свои проблемы в генеральном сражении, которое было «предметом всех желаний и упований императора». «Он верил в сражение, — писал Коленкур, — потому что желал его, и верил, что выиграет его, потому что это было ему необходимо. Он не сомневался, что русское дворянство (после победы французов. — Е. А.) принудит Александра просить у него мир, потому что такой результат лежал в основе его расчетов»41. Тогда битва французам казалась неизбежной. Но Барклай не поддался на уловку и не

вывел свои армии для сражения в неудобной, уязвимой позиции на окраине Смоленска и тем спас армию. Однако история с обороной Смоленска, точнее с отступлением от города, нанесла колоссальный ущерб его военной репутации. Как писал 5 августа М. С. Воронцову некогда облагодетельствованный Барклаем адъютант А. А. Закревский: «Сколько ни уговаривали нашего министра… чтобы не оставлял города, но он никак не слушает и сегодня ночью оставляет город…»42 Написано это было сгоряча, без знания сути дела. Закревский, как и многие другие, воодушевленные успешной обороной Смоленска, считал невозможным оставлять горящий город, видеть слезы и горе его несчастных жителей. И только у Барклая оказалась холодная голова, и для спасения армии он решил оставить Смоленск, как потом Кутузов оставил с той же целью Москву. Много лет спустя участник войны 1812 года П. Х. Граббе писал: «Теперь нетрудно сказать, что прав был Барклай де Толли и что для одоления такого завоевателя, каков был Наполеон, требовались от России, для ее вечной славы, жертвы поважнее Смоленска»43.

У Багратиона был свой взгляд на происшедшее, и к нему мы вернемся.

Глава семнадцатая
От Смоленска до Кутузова

Гора трупов в награду

Итак, после упорных боев на западной окраине Смоленска началось новое отступление русских армий уже по Большой Московской дороге. С самого начала оно не проходило гладко. Дело в том, что если 2-я армия в момент штурма французами Смоленска двинулась сразу же по Московской дороге, то 1-й армии пришлось отступать в сторону от нее, на север, по известной уже Пореченской дороге. Так было безопаснее, ибо значительный участок Московской дороги проходил по левому берегу Днепра, и войскам предстояло идти мимо уже занятых французами кварталов города, расположенных на правом берегу, откуда дорога легко простреливалась даже из ружей, не говоря уже об артиллерии. Чтобы не попасть под огонь, армия предприняла обходный маневр, и для этого было сформировано две колонны: одна под командованием генерала Павла Тучкова 3-го, а другая — генерала Д. С. Дохтурова. Отход их прикрывал арьергард генерала Ф. К. Корфа.

И тут русские войска чуть было не угодили в ловушку. Обходная дорога, по которой войскам предстояло пройти 25 верст, оказалась почти непроходимым проселком. Иван Жиркевич, участник этой эпопеи, вспоминал, что «колонны беспрестанно останавливались, ибо кроме того, что по этой дороге едва-едва могла пробраться крестьянская телега в одиночку — до такой степени она была узка, — она, сверх того, была вся в горах и пересечена источниками, на которых еле держались мосты, а другие-таки просто обрушивались под орудиями»1. В итоге, пишет Жиркевич, «мы гусем выходили из ущелья» на Большую Московскую дорогу. Из-за этого возникла реальная угроза нового разрыва коммуникаций обеих армий, так как французы пытались «перенять» 1-ю армию при ее выходе на Московскую дорогу.

Сражение, о котором пойдет речь, получило сразу несколько названий — сражение при Лубине, при Валутиной Горе, при Гедеоновке, при Заболотье; французы также называли его боем «на десятой версте»2. Это неслучайно. Дело в том, что боевые действия развернулись в разных местах на протяжении нескольких километров возле названных селений и урочищ. По

существу, это было тяжелейшее арьергардное сражение русской армии, в ходе которого русское командование стремилось дать всем своим полкам, идущим по окольным дорогам, выбраться на Московский тракт и соединиться с частями 2-й армии. Для этого нужно было остановить натиск французского авангарда, почти сразу же «уцепившегося за хвост» русских армий.

Сражение началось утром 7 августа сразу в двух местах. Рано утром оказалось, что часть колонны генерала Тучкова заблудилась в лесу и вышла на Петербургскую (Пореченскую) дорогу недалеко от Смоленска, у деревни Гедеоново, где тотчас наткнулась на корпус Нея, который как раз переправился по наведенному мосту через Днепр, чтобы устремиться по Московской дороге вслед за русскими. К счастью, находившийся неподалеку Барклай взял на себя руководство боем, сумел задержать Нея и затем отвел войска на дорогу к Лубину.

Здесь произошел драматический эпизод, поставивший русскую армию на грань поражения. В какой-то момент егеря, ведшие перестрелку с французами, не выдержали вражеского огня и побежали. Как вспоминал стоявший вблизи со своей батареей Радожицкий, они, «свесив ружья и нагибаясь, спешили укрыться за мои пушки от смертоносного свинца; офицер их кричал: “Куда вы, братцы! Воротитесь, пожалуйста, как не стыдно вам!” Никто не слушал его. Вдруг навстречу нам явились генералы: главнокомандующий Барклай де Толли, при нем лорд Вильсон, граф Кутайсов, Остерман, Орлов, Корф и прочие. Все они кричали бегущим: “Куда! Стой! Назад!”, и бегущие останавливались… Вслед за генералами шли в густых колоннах лейб-гренадеры графа Аракчеева полка и Екатеринославские: рослые молодцы, держа ружья наперевес, с бледными лицами шли скорым шагом — навстречу смерти. С криком “Ура!” они бросились в кусты и восстановили порядок штыками. Через пять минут уже многие из них возвращались окровавленные и полумертвые, на плечах своих товарищей… Смотря на этот увядающий цвет силы россиян, нельзя было не содрогнуться»5. Но ценой этих потерь противник был остановлен.

Вторым крупным очагом боя стала возвышенность у реки Колодня. Дело в том, что через три часа после столкновения у Гедеоновки авангард колонны генерала Тучкова 3-го вышел на Московскую дорогу в районе Лубина. И тут он обнаружил, что дорога к Смоленску совершенно никем не прикрыта. Командир арьергарда 2-й армии генерал А. И. Горчаков, оставленный Багратионом под Смоленском для наблюдения за противником, имел приказ своего главнокомандующего «немедленно присоединиться к нему, как появятся войска 1-й армии». И как

только Горчаков узнал, что отряд Тучкова 3-го приближается по проселочной дороге от Кошаева к Московскому тракту, он без приказа покинул свою позицию и пошел нагонять Багратиона, уже подходившего к Дорогобужу. В сущности, Горчаков на виду у приближающегося от Смоленска неприятеля бросил Московскую дорогу без прикрытия. Увидав эту ошибку, Тучков 3-й, «достоверясь в приближении неприятеля в густых пехотных и кавалерийских колоннах»4, принял самостоятельное решение — двинуться не следом за Горчаковым, а в противоположную сторону, то есть к Смоленску, чтобы прикрыть предстоящий выход у Лубина основной колонны под командованием его брата генерала Н. А. Тучкова 1-го. Как тогда говорили, он решил тут «заводить дело»5, расставив свои полки на первой же удобной позиции, у реки Колодня.

Наполеон, остававшийся в Смоленске, узнал о столкновении с русскими под Гедеоновкой и усилил корпус Нея войсками корпуса Даву, а генералу Жюно с 8-м корпусом приказал переправиться через Днепр южнее Смоленска, чтобы вместе с конницей Мюрата ударить в левый фланг отступающей по Московской дороге русской армии. В полдень войска Нея атаковали Тучкова 3-го у Колодни и оттеснили его ближе к Дубину. Однако Барклай, внимательно следивший за ходом сражения, начал посылать на помощь Тучкову новые полки. Когда стало ясно, что кавалерия Мюрата и Жюно6 приближается слева от дороги, то и Ермолов перебросил в этом направлении кавалерийский корпус генерала В. В. Орлова-Денисова. Позиция русской кавалерии была примечательна тем, что сзади находились болота, которые не позволили бы в случае неудачи отойти с поля боя. Чтобы вдохнуть мужество в своих гусар и казаков, Орлов-Денисов «приказал полкам отправить из каждого эскадрона осмотреть места, способные к отступлению и к переходу через болота, и когда дознано было, что болота непроходимые окружают нас, то предложил войску умереть или победить»7.

Так завязалось серьезнейшее дело, крупномасшабное полевое сражение, в огонь которого противники все время подбрасывали новые и новые силы. Русским противостояла вестфальская кавалерия. Кавалеристы обменивались атаками, которых только со стороны вестфальцев было двенадцать. У французов проявил странную медлительность и даже инертность генерал Жюно, долго тянувший с вводом в бой своего уже переправившегося через Днепр корпуса. Во многом заминка Жюно у переправы благоприятствовала успешной обороне Тучкова. Русские полки держались стойко, отбивая все атаки противника, продолжая бой

даже в уже сгустившейся темноте. Тут-то, в одной из рукопашных схваток, был ранен и взят в плен генерал Павел Алексеевич Тучков 3-й. От смерти его спасло только то, что замахнувшийся на него для последнего удара французский солдат увидел блеснувшую на груди Тучкова орденскую звезду и решил взять в плен знатного офицера. Тучков был увезен во Францию.

В итоге этого боя отход основных сил от Смоленска был прикрыт. Благодаря решительным и мужественным действиям Тучкова к вечеру все русские войска, дотоле продиравшиеся по лесным проселкам, наконец выбрались на Московскую дорогу и ночью вместе с обескровленным арьергардом отошли по Московской дороге. Утром 9 августа они соединились со 2-й армией. Как писал Граббе, «ошибки дня были исправлены стойкостию войск и присутствием главнокомандующего», а также, добавим от себя, гибелью тысяч наших солдат. На месте боя, занятом французами и вестфальцами, осталось 5–6 тысяч убитых и раненых русских солдат и столько же неприятельских. Участник сражения с французской стороны Брандт писал: «Гора трупов в награду, за столько жертв ни одного трофея, ни одного орудия, ни одной… повозки. Захват этого участка, покрытого мертвыми, — вот единственный плод победы. Лучезарное солнце залило светом это поле бойни»8. Другой очевидец (из вестфальцев) вспоминал: «Мы расположились биваками в каре на поле сражения. Вечером мы пытались помочь многочисленным русским раненым — тяжелое дело, так как столь многих невозможно было транспортировать. Эти бедняги были оставлены лежать и умирать там, где они лежали. В конце концов силы покинули нас, и мы спокойно заснули на поле опустошения посреди стонов и жалоб раненых и умирающих»9.

Военные историки, анализируя это «возникшее на ровном месте» крупное сражение, считают, что Наполеон ошибся, приняв его за обычный арьергардный бой — стычку наступающего авангарда и отступающего арьергарда. В какой-то момент у него появился реальный шанс «вытащить» русских на столь желанное им генеральное сражение, общий контур которого выстраивался явно в пользу его армии, имевшей больше оперативного простора и возможностей развивать наступательные комбинации. При этом русские на сей раз не смогли бы от него ускользнуть, ибо были сильно «защемлены» именно в этом месте и ни под каким видом не могли оставить перекресток у Лубина, пока из леса не вышли бы идущие по проселкам колонны войск 1-й армии. И на этот раз предусмотрительность генерала П. А. Тучкова, без приказа занявшего позицию, оставленную Горчаковым, а главное — беспримерная стойкость русских солдат и офицеров спасли

армию из почти безвыходной ситуации. Как вспоминал Жиркевич, «после я слышат суждение Ермолова, что здесь была важная ошибка в эту кампанию. Багратион шел уже по Московской дороге, мы были в гористых ущельях, французы, хотя и не перешли Днепра, но уже стояли почти противу того пункта, где мы гусем выходили из ущелья, и у них под носом был брод, так что ежели бы Жюно схватился и перешел через Днепр, мы все… были бы перехвачены или самое лучшее еще — отрезаны опять от Багратиона и отброшены к Духовщине»10. По воспоминаниям А. А. Щербинина, он сам «слышал… отзыв Барклая Беннигсену в том, что из ста подобных дел можно выиграть только одно. Личная храбрость войск и отдельных начальников заслуживают венца, но Барклаю хвастать было нечем»". Это так — армия отступала.

При этом нужно оценить по достоинству все происшедшее в ходе нескольких дней боев под Смоленском. Наполеону опять не удаюсь разобщить русские армии ни рывком на Смоленск, ни в сражении на Большой Московской дороге по выходе из Смоленска. Обе русские армии смогли начать беспрепятственный отход, имея противника только позади себя. Картина для французов складывалась не очень благоприятная: первоначальный план войны не удался, война затягивалась, приближалась осень, предстоял поход вглубь вражеской страны. Можно полагать, что именно об этом думал Наполеон в Смоленске. Участник похода Рапп вспоминал: «Наполеон посетил места, где происходил бой: “Узел битвы был не у моста, а вон там, в деревне, где должен был выйти Восьмой корпус. А что делал Жюно? Из-за него русская армия не сложила оружия, ведь это может мне помешать пойти на Москву…” — “Ваше величество, — якобы сказал императору Рапп, — только что говорили мне о Москве. Армия не ожидает этого похода — дело начато, надо довести его до конца…”»12. Заметим, кстати, что сведения о том, когда Наполеон все-таки решил идти на Москву, довольно противоречивы. Очевидно, что, начиная «Вторую Польскую войну», он не предполагал двигаться вглубь России, а намеревался ограничиться сражением в Литве или Белоруссии. Когда же им было принято окончательное решение двигаться на Москву, точно сказать невозможно.

Чести не вернешь.

Уход русских от Смоленска по Московской дороге означал для многих, что над старой столицей сгустились тучи. Взять ее и

вынудить Александра подписать выгодный для Франции мир стало теперь главной задачей Наполеона. В разговоре со взятым в плен генералом П. А. Тучковым Наполеон прибег к солдатскому образу, сказав, что если Москва будет взята, то это обесчестит русских, так как «занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую честь. Что хочешь потом делай, но чести не вернешь»". Грубость Наполеона достигла ушей Ростопчина, который стал понимать, чем грозит Москве начавшееся от Смоленска отступление русской армии. Перечисляя подготовленные в Москве резервы, он писал Багратиону: «Неужели и после этого и со всем этим Москву осквернит француз! Он говорил, что п… Россию и сделает из нее б…, а мне кажется, что она ц… останется. Ваше дело сберечь».

Тут неизбежно является мысль: почему в русских штабах не обсуждалась мысль о «косвенной обороне Москвы», то есть о том, чтобы увести армию захватчиков от Смоленска южнее, — как некогда Петр Великий, отступая под натиском шведской армии, отклонился от Могилева и примерно у Мстиславля стал отступать южнее, в сторону Почепа, Глухова, Сум и daiee до Полтавы. Правда, и Карлу XII южное направление казалось более перспективным, чем смоленское, и он легко двинулся за Петром Великим в сторону Украины. Возвращаясь к событиям июля — августа 1812 года, отметим, что, если бы армия повернула от Смоленска южнее, то есть на Рославль — Брянск — Орел или Чернигов, она бы тем самым поставила Наполеона в трудное положение. Скорее всего, он продолжил бы охоту за русской армией, разгром которой оставался главным приоритетом его стратегии. И тогда бы Москва была спасена. Клаузевиц в своей книге «1812 год» касается этой проблемы. Он считает, что принимать решение в Смоленске об отступлении армии на Калугу было уже поздно. Повернуть такие массы войск, теснимых превосходящими силами противника от удобной дороги, вдоль которой были уже давно подготовлены продовольственные магазины, было очень трудно, а «все боевые припасы, запасные части, подкрепления и т. п., находившиеся на этой дороге и в пути к ней, пришлось бы перебрасывать в сторону, на новое направление… Если бы русские захотели избрать это направление, то такое решение нужно было принять гораздо раньше, но принятие его раньше было невозможно, даже если бы и возникла подобная мысль, так как такая косвенная оборона Москвы лишь впоследствии стала представляться совершенно естественной, раньше же она явилась бы таким теоретическим дерзновением, которого нельзя требовать от заурядного генерала, к тому же не облеченного широкими полномочиями»“. В

принципе, в истории сплошь и рядом бывало, что армии отходили не только по местам, где для них были готовы магазины и прочие удобства. Так, кстати, было и с армией Петра в 1708 году. Дело тут в другом — такое решение в России мог принять только царь, но Александр не был новым Петром Великим, а поэтому военная машина покатилась к Москве… Но видно, что идея эта еще держалась в умах и после отхода из Смоленска. Князь Н. Б. Голицын вспоминал, что уже после выбора позиции на Бородинском поле обсуждалась проблема возможного отхода армии после сражения и «были голоса, которые тогда говорили, что нужно идти по направлению на Калугу, дабы перенести туда театр войны в том предположении, что и Наполеон оставит Московскую дорогу и не пойдет более на Москву, а следовать будет за армиею через Верею, но Кутузов отвечал: "Пусть идет на Москву!"»15. Верно ли это — мы никогда не узнаем. Да и на Бородинском поле было уже поздно менять что-либо: предстоял бой не на жизнь, а на смерть…

«Мы шли по кровавым следам войск Коновницына»

После Смоленска французы резко изменили тактику. Прежние долгие стоянки и дневки ушли в прошлое. От Лубина и до самой Москвы войска Наполеона следовали за русской армией неотступно, почти всегда находясь ближе, чем в одном переходе, постоянно навязывали ей бои и при первой же возможности пытались ударить во фланги. Как вспоминал командир Сибирского драгунского полка Крейц, шедший в арьергарде с четырьмя приданными ему полками, «последующие дни неприятель следовал за нами в виду, были частые перестрелки». С приближением к Гжатску натиск французов даже усилился: «Ежедневно с утра до вечера происходили перестрелки, а иногда почти и сражения, которые кончались обыкновенно уступлением неприятелю какой-(нибудь) речки или ручья… и арьергарды должны были драться не с одними передовыми неприятельскими отрядами, но даже с целыми корпусами"1. О том, что характер военных действий после оставления Смоленска изменился, писал и Ф. Н. Глинка: «Это отступление в течение 17 дней сопровождалось беспрерывными боями. Не было ни одного, хотя бы немного выгодного места, переправы, оврага, леса, которого не ознаменовали боем. Часто такие бои завязывались нечаянно, продолжались по целым часам»17.

Надо сказать, что французская кавалерия на этом этапе войны превосходила нашу. Ермолов писал, что «неприятель имеет

числом ужасную кавалерию, наша чрезвычайно потерпела в последних делах»18. 19 августа Барклай подтвердил это в донесении царю: «Кавалерия 1-й армии… пришла в крайнее ослабление, и особливо со стороны лошадей, из коих значительное число потеряно убитыми, а прочие все изнурены»19. Только казаки, как и раньше, были подвижны, а их лошади выносливы. Впрочем, как раз в этот момент у казаков тоже начались проблемы. Радожицкий вспоминал, что под Дорогобужем казаки жаловались его артиллеристам, «что даже им стало невмочь стоять против вражеской силы, что именно сего дня (12-го числа) они шибко схватились с французами так, что в густой пыли друг друга не узнавали: “И тут-то, батюшко, — промолвил казак, — наших пропало сотни три. Нет уж мочи держаться: так и садится, окаянный, на шею”»20.

Русским было тяжело, но и французы испытывали большие неудобства. Коленкур писал, что шедшая в авангарде конница Мюрата совершала огромные переходы в 10 и 12 лье, «люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами, лошади, как и люди, были изнурены, мы теряли очень много лошадей, дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага».

Все участники перехода от Смоленска до Бородина, оставившие воспоминания, описывают необыкновенно тяжелую, пыльную дорогу. Радожицкий писал: «На несколько верст вперед и назад ничего не видно было, кроме артиллерии и обозов, в густых облаках пыли, возносившейся до небес. Мы шли как в тумане: солнце казалось багровым, ни зелени около дороги, ни краски на лафетах нельзя было различить. На солдатах с ног до головы, кроме серой пыли, ничего иного не было видно, лица и руки наши были черны от пыли и пота; мы глотали пыль и дышали пылью, томясь жаждою от зноя, не находили, чем освежиться».

Французский офицер Терион, шедший по пятам за Радожицким и его товарищами, вспоминал: «Тесня русскую армию, мы делали в сутки по 2–4 лье, и лошади и люди изнемогали от усталости, недостатка сна и пищи, от 11 часов утра до 2 дня обе армии, как бы по взаимному соглашению, предавались отдыху, а затем вновь начиналось наше наступление и непрестанное сопротивление русских… Мы страдали от жажды больше, чем от голода, тем более что весь день и в самый зной мы шли по песку или, вернее, по слою пыли, до того мелкой, что

ноги лошадей уходили в нее на несколько вершков. Облака пыли до того были густы, что всадников впереди не было видно, а зачастую мы не видели даже ушей наших лошадей, полагаясь на инстинкт бедных животных и их зрение, устройство которого более обеспечено от заполнения глаз пылью, чем у человека. Можно себе представить атмосферу, в которой мы жили, и воздух, которым мы дышали!» Французам, близко преследовавшим русские войска, приходилось разбивать биваки не там, где они выбирали места сами, а неподалеку от русских, то есть, как правило, в неудобных для ночевок местах. Глядя на яркие огни русских биваков, Цезарь Ложье записал в дневник: «Мы в совершенно незнакомой местности, нечего у нас приготовить, и в топливе недостаток. То немногое, что мы находили второпях и в потемках, мокро и сыро. Наши огни поэтому не только не сияют, но они распространяют вокруг себя облака густого черного дыма и отбрасывают во мраке лишь бледный отсвет»21.

Но настроение во время этого марша по пыльным дорогам у противников было разное. Французы преследовали русских с азартом, были воодушевлены погоней: «Мы шли по кровавым следам войск Коновницына». Наших же, напротив, отступление по русской земле удручало. «В таком положении, — продолжал Радожицкий, — случалось нам проходить мимо толпы пленных французов, взятых в последнем сражении, они с удовольствием смотрели на нашу поспешную ретираду и насмешливо говорили, что мы не уйдем от Наполеона, потому что они теперь составляют авангард его армии. Должно признаться, что после смоленских битв наши солдаты очень приуныли. Пролитая на развалинах Смоленска кровь при всех усилиях упорной защиты нашей и отступление по Московской дороге в недра самой России явно давали чувствовать каждому наше бессилие перед страшным завоевателем. Каждому из нас представлялась печальная картина погибающего отечества. Жители с приближением нашим выбегали из селений, оставляя ббльшую часть своего имущества на произвол приятелей и неприятелей. Позади нас и по сторонам вокруг пылающие селения означали путь приближающихся французов, казаки истребляли все, что оставалось по проходе наших войск, дабы неприятели всюду находили одно опустошение. Отчаянная Россия терзала тогда сама свою утробу»22.

В поисках нужной позиции

Как бы то ни было, погоня на Московском тракте

приближалась к своему концу. Непрерывный натиск армии Наполеона напоминал «танец» боксера, который без передышки теснит своего противника, загоняет его в угол ринга, а тот все время стремится уйти из-под удара. Но так продолжаться без конца не может, здесь гонг об окончании поединка подает только смерть…

После того как русским армиям удалось выйти на Московскую дорогу, начался поиск позиции для сражения. Первая позиция была намечена генерал-квартирмейстером Толем под Андреевкой (11 августа), но ее забраковали: в первую очередь ей был недоволен Багратион. Другую позицию пытались занять под Дорогобужем (предположительно, уже по предложению Багратиона)21, но и она после осмотра была признана неудачной. Тогда, как писал Барклай царю, 12 августа «положено было обще с князем Багратионом отступить к Вязьме в три колонны»24. Багратион в письме 14 августа настаивал на том, чтобы остановиться в Вязьме, если «неприятель даст нам время усилиться в Вязьме и соединить с нами войска Милорадовича; позиция в Вязьме хоть не хороша, но может всегда служить к соединению наших сил, и теперь дело не состоит в том, чтобы искать позиций, но, собравши со всех сторон наши способы, мы будем иметь равное число войск с неприятелем, но можем против него тем смелее действовать, что мы ему гораздо превосходнее духом и единодушием»25. Предложение Багратиона принять было невозможно: во-первых, ожидаемый из Калуги 15-тысячный корпус новобранцев под командованием генерала М. А. Милорадовича не успел к Вязьме в момент отступления русских армий, а встретился с ними лишь в Гжатске, а во-вторых, иных способов ведения военных действий крупными силами, как только в заранее выбранной и даже усиленной позиции, тогда не было и не могло быть. 16 августа войска прошли Вязьму. Толь и генерал Труссон еще 14 августа нашли удобную позицию у деревни Федоровки26, которая, однако, имела важный недостаток, отмеченный в журнале Сен-При: «Там хотят занять позицию, но нет воды». Какой острой в ту кампанию была проблема с водой, выше упоминалось не раз. Багратион был солидарен со своим начальником штаба. Он писал Барклаю: «По мнению моему, позиция здесь никуда не годится, а еще хуже, что воды нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надобно идти в Гжатск: город портовый и позиции хорошие должны быть. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уже порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции; люди бедные ропщут, что ни пить,

ни варить каш не могут…» На письме Багратиона отмечено рукой Барклая: «Дать тотчас повеление к отступлению завтра в 4 часа по утру»27.

Шестнадцатого августа армия отошла к Федоровскому, а на следующий день — к Царево-Займищу, где наконец утвердили — вроде бы окончательно — позицию. Ее одобрил Барклай. Как писал А. Н. Муравьев, служивший тогда в Главном штабе, командующий признал место «чрезвычайно крепким и удобным для встречи неприятеля28. Не все, однако, разделяли это мнение». Муравьев не упоминает Багратиона, но явно имеет его в виду, когда пишет: «Так как взаимное недоброжелательство между главнокомандующими усиливалось, всеобщий ропот на Барклая доходил до чрезвычайности…» По крайней мере начальник Главного штаба 2-й армии граф Сен-При, вслед за своим главнокомандующим, ясно выражал сомнения в правильности выбора. Он писал в боевом журнале: «Местоположение низменное и без опорных пунктов». По-видимому, такого же мнения о позиции под Царево-Займищем придерживались и другие генералы.

Следующая запись в журнале Сен-При: «20-го в Ивашкове. Позиция лучше, особенно имея в виду переход в наступление. Прибытие князя Кутузова, главнокомандующего обеими армиями»29. Но приехавший Кутузов сразу же забраковал и эту позицию и дал приказ отступать. Он объяснял это тем, что нужно соединиться с подходящими из Москвы резервами. Но наверняка он руководствовался иными соображениями: воевать на позиции, выбранной его предшественниками, он никак не мог.

Глава восемнадцатая
Раздор в русском стане

Избранные места из переписки

Все бы было хорошо, «если бы между нами существовало единство…». Так писал генерал Армфельд из Смоленска. Он хорошо знал Барклая, был дружен и с Багратионом (вероятно, еще со времен Русско-шведской войны). Армфельд, как и некоторые другие, пытался (или только изображал, что пытается) сделать так, чтобы между главнокомандующими «царила какая-нибудь гармония», но ее, увы, не было.

Истоки взаимного непонимания генералов Барклая и Багратиона не имели давней истории и не уходили корнями глубоко в их служебные и личные отношения. Известно, что Багратион отдавал должное мужеству Барклая, отступавшего в 1807 году под его командой к Прейсиш-Эйлау и тяжело раненного в ходе сражения за город. «Суворовский авангардный генерал князь Багратион, — писал Ф. Булгарин, — после Пултуска и Прейсиш-Эйлау питал высокое уважение к Барклаю де Толли и относился к нему с высочайшей похвалой»1. Конфликт возник и обострился во время драматического отступления русских армий от границы летом 1812 года, когда между главнокомандующими двух русских армий разгорелась письменная перепалка. Багратион был убежден, что против него действуют основные силы французов, а Барклай отступает, медлит с решающей битвой и в результате 2-й армии приходится так туго2. Мы уже говорили, что обвинения Багратиона были неосновательны — против Барклая в тот момент действовала основная группировка Великой армии во главе с самим Наполеоном, и отступление 1-й армии было таким же вынужденным, как и отход 2-й армии под натиском корпусов Даву и Жерома. Но и Барклай был несправедлив к Багратиону, когда излишне критично оценивал его действия. Тому пришлось выводить армию почти из окружения, в то время как 1-я армия спокойно уходила от противника, проявлявшего странную медлительность. Профессионалы это поняли сразу. Тормасов писал Багратиону 30 июня: «Из недействия неприятеля противу 1-й армии заключаю, что теперь все его старание состоит, чтоб отделить вас от соединения»3. Так оно и было — целью «охоты» Наполеона в первые дни войны была армия Багратиона.

Противостояние главнокомандующих началось с того момента, когда Багратион не пошел на Вилейки, а потом отказался двигаться на Минск, после чего начал отступление на юг, к Бобруйску. В письме 8 июля к Александру 1 военный министр не скрыл своего раздражения действиями Багратиона: «Донося Вашему императорскому величеству обо всем вышеизложенном (речь шла о подходе 1-й армии к Витебску и «открытии близкой коммуникации» с Могилевом. — Е. А.), осмеливаюсь еще присовокупить, что получено мною отношение князя Багратиона». К своему рапорту он приложил письмо Багратиона, в котором тот жаловался на пассивность 1-й армии, тогда как 2-я армия вынуждена испытывать натиск превосходящих сил противника. Барклай так комментирует обвинения Багратиона: «Исчисление неприятельских сил, противу 1-й армии сосредоточенных, основано было не на одних мнимых известиях, но на самом действии, ибо 1-я армия имела неприятеля всегда в виду своем и на каждом шаге с ним сражалась. Авангард же 2-й армии нигде с ним не встретился и исчислить можно, что та малая часть неприятеля, которая заняла Борисов, в ту же минуту могла быть опрокинута авангардом 2-й армии, ежели б она взяла направление свое из Несвижа не на Бобруйск, а на Игумен»4.

Этот упрек, заочно брошенный Багратиону, тоже кажется несправедливым. Во-первых, приказа о движении на Игумен Багратион никогда не получал, а во-вторых, то, что авангард 1-й армии ни разу не столкнулся с пытавшимся его опередить противником, являлось не недостатком, а достижением ее главнокомандующего. Наконец, в-третьих, пройти из Несвижа на Игумен Багратиону было попросту невозможно из-за отсутствия дорог и множества болот на этом пути. Этот вопрос — судя по переписке со штабом 2-й армии — даже не обсуждался, и в этом смысле Барклай наговаривал на коллегу.

При отступлении от Могилева Багратиону доставили от Барклая копию донесения главнокомандующего 1-й армией царю от 9 июля. Это произошло не по ошибке — Барклай сознательно послал документ Багратиону. В донесении государю он отвечал на претензии Багратиона, которые тот высказал в своем посланном ранее (вероятно, из-под Бобруйска) рапорте Александру. Главнокомандующий 2-й армией писал, что отказ Барклая от наступления ставит его, Багратиона, в отчаянное положение. Александр же, получив этот рапорт Багратиона, не нашел ничего лучшего, как переслать копию Барклаю. Вообще-то поступок императора был верным способом окончательно поссорить двух полководцев. Известно, что царь так вел себя не раз. А. А. Щербинин пишет, что вскоре после Тарутинского

сражения «Кутузов получил от государя письмо, которое послано было Беннигсеном (начальником Главного штаба. — Е. А.) Его величеству. В этом письме заключался донос на Кутузова о том, что будто бы он “оставляет армию в бездействии и лишь предается неге, держа при себе молодую женщину в одежде казака”. Беннигсен ошибался — женщин было две. Кутузов тотчас по получении этого письма велел Беннигсену оставить армию»5.

Но на этот раз ссоры не произошло, так как Барклай счел уместным познакомить Багратиона со своим ответом царю на его жалобу. Оправдывая свои действия, он писал: «После всего этого оставляю вам самим рассуждать, не должен ли я быть оскорблен суждением вашим насчет 1-й армии в рапорте вашем, к государю изъясненном. Вот причина моего рапорта к государю, который я в копии к вам препровождаю»6. Тем самым он вышел к Багратиону с открытым забралом, предложил, во имя интересов дела, которое требует «истинного согласия», отойти от «личных неудовольствий». По-видимому, этот поступок Барклая подкупил Багратиона, который, ко всему прочему, чувствовал свою вину за «невзятие» Могилева. Из Чирикова (на полпути от Быхова до Мстиславля) он отвечал Барклаю сердечным письмом, в котором сообщал, что воспринял претензии Барклая «с душевным соболезнованием» и что если «ваше высокопревосходительство обеспокоены чем-либо на мой счет, и что я слишком несчастлив, если можно о мне думать, что в настоящем положении нашего отечества (к коему душа моя полна благодарности и истинной любви) я в состоянии буду позволить себе какие-либо личности (то есть личные выпады. — Е. А.), которых, по истине, не имею. Вся цель моих желаний есть одна и та же, которая водит и чувства ваши: я живу и дышу взаимным желанием низложить врага. Прошу вас, дайте мне только случай удостоверить вас, что славу вашу я считаю славой России и славой моей. Верьте, милостивый государь, что выражения сии суть выражения души, преданной отечеству, всемилостивейшему нашему государю и вас истинно почитающей».

При этом Багратион пытается все-таки объяснить Барклаю свои прежние претензии к нему, указывает на те отчаянные обстоятельства, в которых оказалась 2-я армия во время отступления от Николаева: «Крайность положения вверенных мне войск, преследуемых и отовсюду имевших преграждаемый путь, была поводом смелости сказать государю императору мои мысли, заключавшиеся в том, что я признавал (наступательное. — Е. А.) движение Первой армии необходимым. Изъясняя мысли мои, я считал, что в званиях наших не только прилична, но даже необходима откровенность, не имея ни малейшее в виду лица

вашего»7. Впрочем, справедливости ради, напомним, что свое мнение о действиях главнокомандующего 1-й армией Багратион с откровенностью высказал в письме к царю все же за спиной Барклая.

Из ответа Барклая видно, что объяснения Багратиона не убедили его. «Николаевскую историю» отступления уже отодвинула новая «Могилевская история» нового отступления 2-й армии, очень досадная для Барклая. Это отступление поставило 1-ю армию почти в отчаянное положение. В письме Багратиону Барклай писал, что отход 2-й армии из-под Могилева сорвал его планы дать Наполеону решающую битву под Витебском и вынудил поспешно и с очень большим риском отступать к Смоленску. При этом Барклай даже обвинил Багратиона в непатриотизме. 18 июля из Мстиславля Багратион отвечал Барклаю на его выпад: «Крайне мне прискорбно видеть из отношения вашего, что вы сомневаетесь в приверженности моей к отечеству. Дела мои ясно доказывают тому противное, ибо, несмотря на препятствия к соединению, происходящие из положений обеих армий и вашему высокопревосходительству довольно известные, достиг я, наконец, предназначенной мне цели. 25 дней форсированных маршей, четыре дела довольно кровопролитные и, наконец, недвижимость маршала Даву могут оправдать действия мои пред целым светом. Ныне я по крайней мере доволен тем, что со вчерашнего дня ничто не может препятствовать прибытию моему в Смоленск»8.

Но и это объяснение не убедило Барклая. Каждый из командующих смотрел на ситуацию со своей колокольни и проблем другого понимать не хотел. Барклай был явно раздражен, при этом (как уже сказано выше) в действиях под Витебском сам допустил ошибки и пытался отчасти свалить вину на Багратиона, который якобы бросил 1-ю армию на произвол судьбы и ушел в Смоленск.

Багратион отвечал, почти дословно повторяя то, что писал 18 июня: «Не скрою от вас, сколь чувствительно мне было видеть ваше сумнение в моей приверженности к отечеству, и того более сколь прискорбна была та мысль, что Первая армия может быть жертвою неприятеля, быв оставлена своими товарищами». Обвинение, брошенное Барклаем, оскорбило Багратиона — еще бы! Упреки как в нелюбви к отечеству, так и в том, что называлось шкурничеством, были для него оскорбительны. В ответ Багратион сам стал упрекать главнокомандующего 1-й армией в излишне поспешном оставлении Витебска, что, по его мнению, французам «открыло дорогу к столице», то есть к Петербургу9. Вместо примирения ссора вспыхнула вновь…

У них тоже была своя враждующая пара. Поразительное совпадение — в наступающей французской армии среди высших командиров кипели очень похожие страсти. После Смоленска маршал Даву (кстати, чем-то похожий на Барклая) вступил в конфликт с горячим, несдержанным Неаполитанским королем Мюратом, которому он, Даву, был подчинен как главнокомандующему авангардом. В жизни и на войне они были антиподами: «железный маршал» Даву — спокойный, уверенный, хладнокровный, довольно мрачный, лишенный позерства и самовлюбленности, не выносил Мюрата, который как раз отличался позерством и экстравагантным поведением, безумной и даже бездумной смелостью, любовью к риску. Известно, что Мюрат, одетый в необыкновенно яркие одежды и экзотические головные уборы (за что получил кличку «императорский петух с плюмажем»), устраивал перед наступающим авангардом своеобразные театрализованные представления. Он любил гарцевать на горячем коне вблизи казачьих цепей, бравируя своей удалью и бесстрашием. Даву был обижен тем, что его, заслуженного воина, подчинили этому вертопраху. Как писал Сегюр, «оба полководца, одинаково гордые, ровесники и боевые товарищи, взаимно наблюдавшие возвышение друг друга, были уже испорчены привычкой повиноваться только одному великому человеку и совсем не годились для того, чтобы повиноваться друг другу». Оба часто устраивали друг другу скандалы, причем в самых неожиданных местах. Однажды они так яростно поссорились на глазах противника, в присутствии своих штабов, что эта ссора чуть не закончилась дуэлью. В другой раз они сцепились на приеме у императора. Мюрат упрекал Даву за медлительность, чрезмерную осторожность и вообще хватался за саблю, желая вызвать Даву на дуэль. Со своей стороны, Даву обвинял Мюрата в безрассудной горячности, в том, что он бесполезно тратит силы и жизнь солдат, и наконец заявил: пусть Мюрат гробит свою кавалерию — это его личное дело, но он, Даву, не даст Мюрату так же уничтожить подвластную ему пехоту. Наполеон хладнокровно слушал ссору маршалов. Как писал Сегюр, император «приписывал эту вражду их усердию, зная, что слава — самая ревнивая из страстей». Ему нравилась пылкость Мюрата, жаждавшего сражения. Этого сражения он и сам хотел, но одновременно он понимал и сомнения методичного Даву, заботившегося о сохранении войск1". Жаль, что у нас Александр не был настоящим полководцем. Он бы сумел, подобно Наполеону, использовать для победы и хладнокровие Барклая, и горячность Багратиона. Ведь Мюрат и Даву в конечном счете работали в одной упряжке, а не тянули в разные стороны, как

наши военачальники.

Кабы знал, то не ругался бы

Не углубляясь в тонкости спора Барклая и Багратиона, отметим, что у каждого из спорящих была своя правда. Барклаю, отступавшему перед лицом самого Наполеона и его «созвездия маршалов» (Мюрат, Ней, Евгений Богарне и др.), казалось, что Багратион напрасно теряет время, возится с одним Даву, почему-то не идет в Вилейки, не берет Минск, застрял под Могилевом. В чем же дело? Он требует от Багратиона напора и решительности, в своих же действиях тщательно выверяет каждый шаг, поступает в высшей степени осторожно и расчетливо. Так, он не ввязался в сражение при Свенцянах, а начал отступать к Дрисскому лагерю, объясняя это тем, что войска его армии «производили свое отступление для избежания частичных сражений», и обещал действовать «смотря по обстоятельствам наступательно»11. Осторожно вел он армию и дальше после Дрисского лагеря.

Между тем Багратион действовал в том же ключе, что и Барклай. С одной стороны, он пишет всем о необходимости срочного наступления 1-й армии, в письме Ермолову даже весьма легкомысленно призывает боевых товарищей: «Наступайте! Ей-Богу, шапками их закидаем!» Он считал, что Барклай по непонятной причине тянет с наступлением против заведомо слабого противника, хотя, по его мнению, положение 1-й армии значительно лучше, чем его, Багратиона («…Стыдно, имевши в заду укрепленный лагерь, фланги свободные, а против вас слабые корпуса. Надобно атаковать!»)12. Но с другой стороны, сам Багратион при своем отступлении осторожничает, как лис, ведет себя подобно Барклаю — расчетливо и предусмотрительно. Так, 6 июля 1812 года он приказывал генералу А. А. Карпову, шедшему в арьергарде отступающей 2-й армии: «Удерживая стремление неприятеля, не вдавайтесь в дела, которые бы не были верны»1.

Кто из них больше прав? Положа руку на сердце не могу встать ни на чью сторону. Но все-таки отмечу, что Багратион был прав, когда утверждал, что совместные действия его армии с 1-й армией возможны только в том случае, если Барклай будет наступать («Писал я, слезно просил: наступайте, я помогу. Нет! Куда вы бежите… Зачем побежали, где я вас найду… Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский», — из уже цитированного письма Ермолову)14. Действительно, в утвержденных довоенных диспозициях совместные действия двух армий

предусматривались только в режиме наступления, но не отступления.

Но уже при неизбежном, вынужденном отступлении 1-й армии настойчивые призывы Багратиона двигаться вперед, наступать, «закидать шапками» французские «слабые корпуса» (и это про корпуса Старой и Новой гвардии Наполеона, а также корпуса Нея, Мюрата, Евгения и др. — основу Великой армии!) были беспочвенны, утопичны, а затем даже в некотором смысле выродились в средство борьбы с Барклаем за первенство в армии. Несомненно, Багратион, в отличие от Барклая, был искренне убежден — по своему характеру, навыкам, имиджу ученика Суворова — в необходимости исключительно наступательной стратегии. Конечно, было ясно, что только наступление приносит победу. И Суворов, и Наполеон это наглядно показали. При этом Багратион в письмах Ермолову, Аракчееву, Ростопчину, Барклаю, без передышки призывая наступать, не увязывал наступательную стратегию с возможными трагическими последствиями подобных действий обеих русских армий. А ведь такое неподготовленное наступление или сражение в первые дни и недели войны наверняка привело бы к неминуемому поражению русских армий. Так считали и современники событий, и историки.

Отчасти эти призывы Багратиона были следствием его слабой информированности о силах противника. Очень странно, что Барклай и Главный штаб 1-й армии держали руководство 2-й армии в неведении о том, какие силы действуют против них самих. Иначе, узнав о двукратном превосходстве Великой армии над 1-й Западной армией, Багратион, возможно, перестал бы корить Барклая за грех отступления. Из письма начальника Главного штата 2-й армии Сен-При брату Луи от 3 июля видно, что и этот опытный штабист разделял заблуждение Багратиона о силах, действовавших против 1-й армии, минимум вдвое их преуменьшая и одновременно вдвое же преувеличивая силы, действовавшие против его 2-й армии: «…нам ли делать диверсии в помощь Первой армии с 40 тысячами человек против 120 тысяч, или Первая армия должна нас выручать, имея 120 тысяч человек против, самое большее, 100 тысяч плохих войск». Отсюда и неисполнимые требования к Барклаю наступать: «Лишь одно наступательное движение Первой армии может привести к поражению всех корпусов неприятельской армии, а ее нынешняя бездеятельность послужит причиной не только гибели нашей армии и армии Тормасова, но также и ее самой: окруженная с флангов, она будет вынуждена отступить от своего укрепленного лагеря к Пскову — и все без единого выстрела»15. Увы! Теперь-то мы знаем, что у 1-й армии, как и у 2-й, не было никакого другого

варианта, кроме отступления…

Важен тут и психологический момент. Ведь принятие окончательных решений об общем наступлении как до Смоленска, так и особенно после Смоленска, а значит, и ответственность за них, лежали не на Багратионе, а на Барклае. П. Х. Граббе верно заметил по этому поводу: «Багратион, облегченный от ответственности, говорил только о решительном сражении. Теперь можно утвердительно сказать, что оно имело бы самые гибельные последствия»16. Уход Багратиона из-под Николаева и Могилева хорошо показывал, что как только ответственность за принятие окончательного решения ложилась на него самого, Багратион поразительно менялся: от его шапкозакидательства не оставалось и следа. Как в горячке боя, так и в свой Главной квартире, над картой, за чтением донесений подчиненных, во время допросов пленных, он умел обуздывать свой нрав, горячий темперамент, мыслил строго и логично. Для спасения армии, во имя рационального, продуманного ведения войны, сопряженного пусть и с малоприятным для каждого полководца отступлением, он мог нарушить «суворовские наступательные принципы», которые исповедовал, и пренебречь даже высочайшими предписаниями, что и произошло под Николаевом, а потом под Могилевом. Я убежден, что если бы Багратион был назначен главнокомандующим всеми армиями, он бы продолжил, подобно Кутузову, отступление, может быть и до Бородина, дал бы там сражение (иного выхода не было) и, возможно, даже сдал бы Москву, руководствуясь идеями сохранения армии. Не с эмоциональной, а с рациональной, профессиональной точки зрения у него, как и у Кутузова, такому решению не нашлось бы альтернативы.

Важным моментом в борьбе за власть в армии, которую начал после Смоленска Багратион, было и то, что он глубже, чем Барклай, был «вмонтирован» в армейский и политический контекст, был более чуток к настроениям в армии и вообще к общественным веяниям. И это обостряло его ощущения. Более того, по мере возникновения своеобразного генеральского заговора против Барклая он получал явные свидетельства того, что выражает мнение всей армии. В этот момент проблему отступления Багратион рассматривал широко, не ограничиваясь чисто военным аспектом, как это делал Барклай.

Нужно отметить, что Багратион и раньше стремился играть не только военную, но и политическую роль, давал советы царю и министрам по вопросам, явно выходящим за круг его компетенций как командующего одной из армий. В событиях войны 1812 года, в оглашенном царем августовском манифесте к

нации Багратион отчетливо почувствовал важный политический подтекст. Ведь никто до него так ясно и четко не выразил то, что потом стало аксиомой: в письме Аракчееву 7 августа (задолго до возникновения партизанских отрядов и массового сопротивления крестьян завоевателям) Багратион писал, что «ежели уж так пошло — надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная и надо поддержать честь свою и всю славу манифеста и приказов данных. Надо командовать одному…»". Написанное им очень важно — в национальной войне должен быть один вождь. И на месте этого вождя Багратион видел себя: заслуженного, опытного, отважного, уважаемого полководца, русского по духу и характеру. И все это писалось в состоянии ссоры, личного соперничества с Барклаем, в обстановке отступления.

Впрочем, кажется, что и в более спокойной обстановке эти два выдающихся человека никогда бы не ужились. Конечно, нужно учитывать и темперамент каждого из них. Горячему, порой несдержанному Багратиону противостоял хладнокровный с виду Барклай, о котором знавший его Я. И. Сангнен писал, что это был «в совершенном смысле слова старинного покроя честный немец, не возвышенного образования, но с чистым рассудком»18. Такие несхожие по темпераменту, они как будто олицетворяли разные черты, которые должны быть присущи одному — но великому — полководцу: «Барклай превосходствовал военной образованностью и познаниями, Багратион же — старшинством и чрезвычайною в военном искусстве опытностию, доказанною уже со времен Суворова, коего он был любимым учеником» 1. Другой мемуарист был так же точен: Барклай «своею личностию невыгодно действовал на других. Скромный, молчаливый, лишенный дара слова и в русской войне с нерусским именем, осужденный с главною армиею на отступление, и вторую (армию. — Е. Л.) к тому же побудившее, отступление тогда еще немногими оцененное, он для примирения с собою необходимо должен был иметь важный успех, которого не было; князь же Багратион, с орлиною наружностию, с метким в душу солдата словом, веселым видом, с готовою уже славою, присутствием своим воспламенял войска»20.

Немирные отношения двух главнокомандующих беспокоили людей, бывших в курсе армейских дел. Ф. Ростопчин, хорошо знавший о трениях между обоими полководцами, в письме Багратиону от 6 августа призывал к единству с Барклаем: «Что сделано, тому так и быть! Да не шалите вы вперед и не выкиньте такой штуки, как в старину князь Трубецкой и Пожарский: один смотрел, как другого били. Подумайте, что здесь дело не в том:

бить неприятеля, писать реляции и привешивать кресты! Вам слава бессмертная! Спасение отечества, избавление Европы, гибель злодея рода человеческого…» Ростопчин вспоминает здесь эпизод из истории освобождения Москвы во времена Смуты, когда в ходе боев с поляками один из начальников ополчения князь Д. Т. Трубецкой со своими казаками не пришел на помощь ополчению князя Д. М. Пожарского. А 12 августа Ростопчин обвинил обоих главнокомандующих в оставлении Смоленска: «Город (Москва — Е. А.) дивился очень бездействию наших войск против нуждающегося неприятеля. Но лучше бы ничего еще не делать, чем, выиграв баталию, предать Смоленск злодею. Я не скрою от вас, что все сие приписывают несогласию двух начальников и зависти ко взаимным успехам, а так как общество в мнениях своих меры не знает, то и уверило само себя, что Барклай — изменник»21.

Обеспокоен ссорой главнокомандующих был и Александр I. В конце июля он послал Багратиону рескрипт, в котором выражал уверенность, что «вы в настоящее, столь важное… время, отстраните все личные побуждения и, имев единственным предметом пользу и славу России, вы будете к сей цели действовать единодушно и с непрерывным согласием, чем приобретете новое право к моей признательности»22. Такой же рескрипт был послан и Барклаю, который после этого написал примирительное письмо Багратиону. Об этом письме Багратион сообщал Аракчееву 26 июля: «Он сам опомнился и писал простить его в том. Я простил и с ним обошелся не так, как старший, но так, как подкомандующий».

Самому же Барклаю Багратион отвечал со свойственной ему пылкостью: «На почтенное письмо ваше имею честь ответствовать, что я всему вашему желанию охотно рад был всегда вас любить и почитать и к вам был расположен как самый ближний, но теперь более меня убедили вашим письмом и более меня к себе привязали. Следовательно, не токмо между нами попрошу самую тесную дружбу, и тогда нас никто не победит. Будьте ко мне откровенны и справедливы, и тогда вы найдете во мне совершенного вам друга и помощника. Сие вам говорю правду, и поверьте, никому я льстить не умею. Нужды в том не имею, а говорю точно вам для блага общего, посылаю графа Сент-Приеста (Сен-При. — Е. А.), дабы узнагь точное ваше намерение… Итак, позвольте мне оставаться навсегда вашим верным и покорным слугою»23.

Очень важной и символичной стала встреча двух главнокомандующих в Смоленске. Барклай, первым прибывший в город, писал Багратиону: «Мне бы весьма приятно было, если бы

ваша светлость прежде приехала в Смоленск, нежели придет армия, дабы могли мы сделать план будущим нашим операциям»24. И Багратион, опередив свою подходившую к городу армию, в окружении свиты штабных и генералов направился к Главной квартире Барклая. Тот не стал дожидаться его приезда, а надел парадный мундир и вышел навстречу коллеге-сопернику. Держа шляпу в руке, он поклонился Багратиону и сказал, что сам только что собрался с визитом к нему. Такая учтивость произвела весьма благоприятное впечатление на самолюбивого Багратиона. Поэтому дальнейший разговор о первенстве протекал мирно. «Оба, один другому, предоставлял честь первенства, — писал Жиркевич, — но князь Багратион настоял сам, подчинил себя младшему, утверждая, что тот как военный министр более облечен доверием государя»25, как и было на самом деле.

Однако мир между главнокомандующими продолжался недолго, и с началом наступления от Смоленска на Поречье и Рудню, как уже сказано выше, его нарушил Багратион. Недовольный топтанием армии под Смоленском, он стал выражать свое несогласие с Барклаем публично. В сущности, Багратион вернулся к позиции, которой держался и во время отступления в июне — июле 1812 года. Он вновь стал упрекать Барклая в неумении вести боевые действия. «Дух опасного раздора, — как вспоминал П. Х. Граббе, — поселился между главными квартирами»26.

Командовать должен один

Итак, проблема взаимоотношений Барклая и Багратиона заключалась и в разнице их понимания того, как надо воевать, и в начавшейся на этой основе упорной (в основном негласной, подковерной) борьбе за первенство. В том, что такая борьба — в ущерб делу — началась, полностью виноват император Александр I, который, отъезжая из армии, официально не назначил единого главнокомандующего и обрек Багратиона и Барклая на неизбежное соперничество, что в условиях военных действий было недопустимо. Ведь формально, по закону, оба военачальника оставались равными по статусу, кто бы из них ни признавал первенство другого. Барклай по-прежнему официально оставался главнокомандующим только одной из четырех тогдашних русских армий. И его приказы, изданные по 1-й армии, для главнокомандующих других армий не были обязательны. То же можно сказать и о приказах Багратиона по 2-й армии. Более

того, не был прямо подчинен Багратиону даже командующий небольшим казачьим корпусом генерал Платов, которого Багратион мог только просить оказать помощь 2-й армии при ее отступлении. В этой военно-юридической неопределенности, помимо личных несогласий, коренились причины конфликта Багратиона с Барклаем, как и общего смятения в командном корпусе. Известно только со слов Левенштерна, что Александр I, покидая армию, в частной беседе сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию, не забудьте, что у меня второй нет, эта мысль не должна покидать вас». Строго говоря, у Александра было еще три армии — 2-я Западная, Молдавская и 3-я Резервная. Но не в том суть — официально это ответственнейшее поручение оформлено никак не было — по крайней мере, не было оглашено войскам27. Между тем существовали прецеденты. Так, в указе 9 мая 1807 года император, также уезжая из армии, официально вручил генералу Беннигсену, тогдашнему главнокомандующему, власть над армией и ее отдельными корпусами («полную и неограниченную власть для соблюдения строжайшей дисциплины, без которой военные действия в самом лучшем соображении останутся безуспешными»)28. Но в августе 1812 года император этого почему-то не сделал, чем обрек двух выдающихся полководцев на соперничество.

Голгофа Барклая

В конечном счете Барклай и Багратион оказались жертвами типичных для императора Александра полумер. Из-за этого положение Барклая было особенно тяжелым. В своей объяснительной записке, подготовленной для императора уже после событий 1812 года, он писал: «Никогда еще высший начальник какой бы то ни было армии не находился в таком положении, как я в это время. Оба главнокомандующие соединенных армий одинаково и исключительно зависели от Вашего величества и имели равные права. Оба могли непосредственно доносить Вашему величеству и располагать по собственному усмотрению вверенными им войсками. По званию военного министра я имел, конечно, право объявлять именем Вашего величества высочайшие повеления, но в делах, от которых зависела участь всей России, я не мог пользоваться этим правом без особого на то полномочия. Таким образом, для достижения согласных, к одной цели направленных действий я был вынужден употребить всевозможные средства к поддержанию между князем (Багратионом. — Е. А.) и мною единодушия, я должен был

льстить его самолюбию и делать уступки против собственного убеждения, дабы в более важных случаях сохранить возможность настаивать с лучшим успехом: словом, я должен был понудить себя к приемам для меня чуждым и не соответствующим моему характеру и моим чувствам. Но я думал, что цель мною вполне достигнута, однако ближайшие последствия убедили меня в противном»2".

Отчаянное положение Барклая в конфликте с Багратионом усугублялось не столько самими разногласиями между военачальниками, сколько тем, что конфликт проходил на фоне отступления и во многом им был обусловлен. Ответственность (а для многих и вина) за отступление полностью ложилась на Барклая.

Как уже сказано выше, с одной стороны, Барклай был и сам настроен на то, чтобы дать Наполеону генеральное сражение — этого требовали император, генералитет, вообще вся армия, и с этим, как разумный человек, Барклай не мог не считаться. У офицеров и солдат, в большинстве своем еще не поучаствовавших в серьезных сражениях этой войны, отчаянно чесались руки, играло ретивое. Вспомним записки Дрейдена, смотревшего с горы за Смоленским сражением. Н. Е. Митаревский, отступавший со своей батареей из горящего Смоленска, писал: «Выйдя на рассвете за город, мы проходили мимо расположенных на возвышенности корпусов, не участвовавших в деле. Офицеры выходили и смотрели на нас с завистью, а мы шли гордо, поднявши голову»30. Многими владела одна мысль: «Как же так? Второй месяц отступаем, а в боях не участвовали, славы не добыли, отступали бы после поражения, а так просто драпаем». Эту мысль выразил атаман Платов в письме Ермолову: «Боже милостивый, что с русскими армиями делается? Не побиты, а бежим!»31 Примерно о том же писал Н. Е. Митаревский: «Все в один (голос) говорили: “Когда бы нас разбили — другое дело, а то даром отдают Россию и нас только мучают походами”»32. Но как раз все усилия Барклая были направлены на то, чтобы армии не были разбиты!

Естественно, от этих обвинений, подозрений, дискредитировавших его слухов репутация Барклая сильно страдала, а престиж главнокомандующего в армии падал. П. Пущин записал в дневник 15 августа (то есть накануне приезда Кутузова в действующую армию): «Мы раскинули лагерь, не доходя 25 верст до Вязьмы. Здесь мы получили приказ главнокомандующего (Барклая. — Е. А.) днем больше не идти, но по странной случайности с нами поступали всегда наоборот. Его высокопревосходительство приказывал стоять на местах — мы

шли, приказывал идти — мы стояли, наконец, если нам объявляли, что мы вступим в бой, то, на верное, мы не сражались. Вследствие этого мы перестали верить приказам, получавшимся от Барклая де Толли, и на этот раз мы тоже не поверили». И хотя тут же он записал, что войска все-таки выступили в ночь, эта несколько саркастическая заметка офицера среднего звена отражает отношение к главнокомандующему, как и общее настроение в войсках. А уж после сдачи Смоленска, отстоять который многим (ошибочно!) казалось возможным, на Барклае в общественном сознании армии был поставлен крест.

Но, с другой стороны, войдем в положение Барклая. Он как профессионал и ответственный человек не мог решиться на битву без выбора удобнейшей для обороны позиции (учитывая, что аксиомой тогда была мысль о том, что русская армия в ходе генерального сражения станет обороняться, как и было при Бородине). Все сомнения и мучения Барклая (как потом и Кутузова) нужно понять. На его плечах лежала тяжесть колоссальной ответственности. Барклай понимал, что против него воюет военный гений, не потерпевший еще ни одного поражения, что Наполеон способен к самым неожиданным ходам, обладает невероятным свойством успешно и, как писал современник, с «волшебной быстротой» действовать и на поле боя, и на коммуникациях.

Так, собственно, и произошло в конце июля, когда Наполеон совершил молниеносный фланговый марш и, как черт из табакерки, возник перед Смоленском. В тот момент, как не без оснований считал Клаузевиц, «Барклай до некоторой степени потерял голову. Из-за постоянно возникавших проектов наступления (под Рудней, Поречьем. — Е. А.) было упущено время для подготовки хорошей позиции, на которой можно было бы принять оборонительное сражение, теперь, когда русские вновь были вынуждены к обороне, никто не отдавал себе ясного отчета, где и как следует расположиться. По существу, отступление немедленно должно было бы продолжаться, но Барклай бледнел от одной мысли о том, что скажут русские, если он, несмотря на соединение с Багратионом, покинет без боя район Смоленска, этого священного для русских города»33.

Нет сомнений, что Барклай подписался бы под всеми словами Александра I из его послания Н. И. Салтыкову (середина июня 1812 года): «До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудренее и деликатнее становятся наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело против неприятеля, силами нас превосходнее, можно сказать смело, по всем пунктам… Решиться на генеральное сражение

столь же щекотливо, как и от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. На негоцияции (переговоры. — Е. А.) же нам и надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственным продолжением войны можно уповать, с помощию Божиею, перебороть его»34. Наверняка император обратил внимание на слова главнокомандующего Москвы Ростопчина, писавшего ему 11 июля: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате. Шестнадцать миллионов людей исповедуют одну веру, говорят на одном языке, их не коснулась бритва, и бороды будут оплотом России… Император России будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске»35.

Но середина июня — это не конец июля или начало августа. Ситуация в армии изменилась. Один из участников войны записал в дневнике: «В армии глухой ропот: на правление все негодуют за ретирады от Вильны до Смоленска»36. А уж уход из Смоленска после героической обороны окончательно переполнил чашу терпения отступающих. Жиркевич, тоже один из участников похода, писал: «Но какая злость и негодование были у каждого на него (Барклая. — Е. А.) в эту минуту за наши постоянные отступления, за смоленский пожар, за разорение наших родных, за то, что он не русский. Все накипевшее у нас выражалось в глазах наших, а он по-прежнему бесстрастно, громко, отчетливо отдавал приказания, не обращая ни малейшего внимания на нас»37. В армейских штабах, удрученных положением армий, стали считать, что двум медведям — главнокомандующим — в одной берлоге не ужиться, что и подтверждалось разгоревшейся после соединения армий распрей Багратиона с Барклаем.

Как часто бывает в подобных ситуациях, эмоции возобладали над рассудком. Н. Е. Митаревский вспоминал, что как-то раз мимо его полка проезжал Барклай, и один из солдат сказал: «Смотрите, смотрите. Вот едет изменщик». «Это было сказано с прибавкою солдатской брани. Этого Барклай де Толли не мог не слышать, и как должно быть оскорбительно было ему слышать подобные незаслуженные упреки…» Много лет спустя рассказчик пожалел о тех своих чувствах: «Больше под влиянием других и сам я не слишком хорошо думал и говорил о нем, и за то до настоящего времени совесть моя как будто меня упрекает. За всем тем скажу, что если бы он вздумал дать всеми желанное сражение, то войска, несмотря на доверие к корпусным командирам и другим генералам, при малейшем

неблагоприятном обороте сражения могли это приписать измене Барклая де Толли и не только потеряли бы сражение, но и разбежались бы»38.

Известно, что почти всякое отступление в обыденном сознании связывается с несомненной изменой. Багратион, начав отступление от границы, писал Аракчееву: «Я ни в чем не виноват, растянули меня сперва как кишку… Неприятель ворвался к нам без выстрела, мы начали отходить, не ведаю, за что, никого не уверить ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы»34. Солдаты переиначили фамилию Барклая де Толли в обидную кличку «Болтай, да и только». Офицеры распевали по-французски придуманную кем-то на ходу песенку, в которой были такие слова:

Les ennemis s1avancent a grands pas.
Adieu, Smolensk et la Patria,
Barclay toujours evite les combats
Et torne ses pas en Russie.

(Враги двигаются быстро вперед,
Прощай, Смоленск и Родина.
Барклай все избегает сражений
И обращает свой путь вглубь России.)

И дальше в песне говорилось:

Не сомневайтесь в нем, ибо его великого таланта
Вы видите лишь первые плоды.
Он хочет, говорят, превратить в одно мгновенье
Всех своих солдат в раков40.

Обо всех этих обвинениях Барклай знал. Как вспоминал А. Н. Сеславин, однажды, выслушав донесение, Барклай спросил его: «Каков дух в войске, и как дерутся, и что говорят» — «Ропщут на вас, бранят вас до тех пор, пока гром пушек и свист пуль не заглушит их ропот». Барклай отвечал: «Я своими ушами слышал брань и ее не уважаю; я смотрю на пользу Отечества, потомство смотрит на меня. Все, что я ни делаю и буду делать, есть последствие обдуманного плана и великих соображений»41. Но, конечно, и его, как человека, порой охватывало отчаяние. Неслучайно, что в ожесточенном арьергардном сражении при Валутиной Горе под Смоленском Барклай проявил не только лучшие качества полководца в полевом сражении —

«спокойствие, стойкость и личную храбрость» (Клаузевиц), но и сам «несколько раз водил батальоны в штыки», как вспоминал Паскевич42, что для главнокомандующего, как известно, необязательно. Возможно, что уже тогда, а не на Бородинском поле, он начал сознательно искать смерти в бою, видя в этом для себя наилучший выход из той отчаянной ситуации, в которой он оказался силою обстоятельств.

А. Н. Муравьев, как и некоторые другие участники похода, позднее отдавал должное мужеству и терпению Барклая: «Барклай же продолжал делать распоряжения к отступлению, что раздражало всю армию. Нельзя, однако, не удивляться такой твердости главнокомандующего, всеми ненавидимого и всеми подозреваемого в измене, и в такое время, когда судьба России зависела от него и когда гениальный Наполеон с огромными силами теснил его отовсюду. Восхищаюсь таким характером и почитаю его истинно великим и подобным знаменитым древним мужам Плутарха/»4! Но, повторим: даже уступая общему мнению в армии, внимая недвусмысленным указаниям царя, да и сам порой всем сердцем желая битвы, Барклай тем не менее не мог поступать сгоряча, не подумав, не мог бросить армию в бой в неудобном для нее месте. Поиск именно места, позиции стал главной целью Барклая. После отступления от Смоленска он твердо решил дать Наполеону генеральное сражение, но, конечно, не на первом попавшемся поле, а только в выгодной для своей армии позиции. В поисках этой позиции по Московской дороге устремился генерал-квартирмейстер Толь с помощниками. В конечном счете они нашли ее далеко за Смоленском, в Царево-Займище. Но это уже не могло изменить отрицательного отношения к Барклаю в военном сообществе. Все желали его отставки.

«Мы бы Наполеона осрамили, если бы министр держался»

Начиная с 5–6 августа Багратион стал открыто выражать несогласие с действиями Барклая. Как известно, после отхода от Смоленска по Московской дороге он со своей армией остановился у Валутиной Горы и мог только слышать грохот сражения за Смоленск. Сам он не был на месте боев и войсками, оборонявшими город, уже не руководил — неслучайны его вопросы Ермолову: «Что делается в Смоленске? Куда они идут — за вами или остановились»

В письме к Аракчееву, отправленном 6 августа, Багратион сообщил о сражении при Смоленске так, что приписал успехи в

обороне города себе, а неудачи отступления — Барклаю: «Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 000 более 35 часов и бил их, но он (Барклай. — Е. А.) не хотел остаться и 14-ти. Это стыдно и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Если он доносит, что потеря велика, — неправда. Может быть, около 4000, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть — война! (реальные потери — 11 620 человек. — Е. А.), но зато неприятель потерял бездну (французские потери, по русским источникам, — 14 тысяч, по французским — 6 тысяч человек. — Е. А.)».

Четырнадцатого августа Багратион писал Ростопчину о том же и в том же стиле: «Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно. Господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал. Я обязан много генералу Раевскому, он командовал корпусом, дрался храбро и все отменно учредил, дивизия новая, 27-я, Неверовского так храбро дралась, что и не слыхано». Далее в письме следуют какие-то, вероятно нецензурные, слова в адрес Барклая, который якобы «отдал даром преславную позицию» в Смоленске. «Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но лишь я пошел к Дорогобужу, как (и он) за мною тащится… Клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай. — Е. А.) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю. Истинно вам скажу, что мы бы Наполеона осрамили, если бы министр держался. Меня послали в Дорогобуж для того, чтобы самому бежать… Беда мне с министром! Ежели бы я один командовал обеими армиями — пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу. Все пленные говорят, что он (Наполеон. — Е. А.) только и говорит: “Мне побить Багратиона, тогда Барклая руками заберу”… Я просил министра, чтобы дал мне один корпус, тогда бы без него я пошел наступать, но не дает, смекнул, что я их разобью и прежде буду фельдмаршал. Войск не дает, сам назад бежит, просто в пагубу вводит»44.

В письме Аракчееву Багратион не скрывает истинной причины своего неудовольствия: «Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества… Я право (с ума) схожу от досады, простите меня, что дерзко пишу. Видно, что тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. И так я пишу вам правду: готовьтесь ополчением, ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою

гостя. Большое подозрение подает всей армии гос(подин) флигель-адъют(ант) Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует министру… Скажите, ради Бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и пострамление? Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно, и ругают его насмерть»45.

«Положили мы обще с князем Багратионом»

Верить всему написанному нашим героем нельзя. Разберемся, что же было скрыто за этим фонтаном ненависти и предвзятости. Выше уже говорилось, что отход русских войск из Смоленска был неизбежен, — сражение за него было сугубо оборонительным и закончиться наступлением на превосходящие силы Наполеона в принципе не могло. Особенно это очевидно после отправки для прикрытия Московской дороги 2-й армии, то есть почти трети сил во главе с Багратионом. Иначе говоря, рано или поздно Смоленск пришлось бы оставить. Клаузевиц верно подметил, что в сущности Барклаю нужно было сразу оставить Смоленск, даже не принося такой страшной жертвы, и продолжить отступление, но он не мог это сделать из высших моральных соображений. Упорные же бои привели к пожару Смоленска, разрушению его стен, гибели более трети оборонявших их солдат и офицеров.

Уже то, что русское командование ввязалось в импровизированное Смоленское сражение, представляло огромную опасность для русской армии. По общему мнению историков, детально разбиравших события начала августа под Смоленском, продолжение сражения в городе могло привести к окружению обороняющихся. Мешок угрожал не Наполеону, а Барклаю и Багратиону! Русское командование имело серьезное и весьма обоснованное опасение, что Наполеон может обойти Смоленск справа и по Ельнинской дороге вырваться на Московскую дорогу позади русской армии, у Дорогобужа, отрезав ее в Смоленске. Барклай писал царю 9 августа, что в ходе Смоленского сражения они удостоверились, что «неприятель все свои силы на одном месте сосредоточил и даже присоединил к себе корпус князя Понятовского; непременно должно было полагать, что настоящее его намерение состоит в предупреждении нас в Дорогобуже или на другом каком-либо пункте, чрез который может овладеть Московскою дорогою».

После этого в ночь с 4 на 5 августа было принято согласованное решение двух главнокомандующих оставить Смоленск и занять Дорогобуж силами 2-й армии, тем самым упредив возможный выпад Наполеона. «Взяв сие в рассуждение, — писал далее Барклай, — положили мы обще с князем Багратионом, чтобы 1 — й армии занять Смоленск и оставаться на правом берегу Днепра, прикрывая марш 2-й армии к Дорогобужу. Ночью между 4-е и 5-е числа, сие предположение тогда же приведено было в исполнение. 6-й корпус, коему на подкрепление я дал 3-ю пехотную дивизию, занял Смоленск и все наружные посты. 2-я армия, выступая в ту же ночь, взяла в 15 верстах от Смоленска позицию и отправила иррегулярные войска свои для наблюдения в сторону Ельни и Рославля». В конечном счете, как писал Барклай, «цель наша при защищении развалин смоленских стен состояла в том, чтобы, занимая там неприятеля, приостановить исполнение намерения его достигнуть Ельни и Дорогобужа и тем предоставить князю Багратиону нужное время прибыть беспрепятственно в последний город»46.

Сомневаться в том, что Барклай написал правду, нет оснований — обычно царю не врут. Да и письма самого Багратиона, посланные Барклаю, подтверждают согласное действие командующих в той ситуации, хотя в письмах к Аракчееву и Ростопчину, написанных чуть позже, Багратион утверждал, что он не имел никакого отношения к решению об отступлении, и при этом писал в адрес Барклая резкие слова. Особенно жестоко и несправедливо было почти неприкрытое его обвинение Барклая в предательстве и намеренной отсылке Багратиона из Смоленска в Дорогобуж, чтобы якобы не дать ему, Багратиону, разбить Наполеона.

Смягчая, сколько возможно, наши оценки, скажем, что написанное Багратионом было скорее плодом разгоряченного воображения, чем следствием взвешенной оценки ситуации. Подлинное положение дел отражено самим Багратионом в его письмах Барклаю и императору Александру. 5 августа Багратион сообщал государю, что накануне он руководил обороной Смоленска и что «в вечеру ж прибыла к Смоленску и 1-я армия, и как открылось намерение неприятеля, продолжая нападение на Смоленск, обратить прочие свои силы далее по Московской дороге, то к предупреждению сего я, по соглашению с военным министром, оставя защищение Смоленска 1-й армии, от которой отряжен во оной 6-й корпус под командой генерала от инфантерии Дохтурова, сам отступил 4-го числа поутру за 12 верст по Дорогобужской дороге, ведущей к Москве, для прикрытия оной, отправив наперед далее сильные отряды для

вернейшего спознания о намерениях неприятеля»47. Это донесение абсолютно точно совпадает с тем, что писал Барклай. В тот же день Багратион, уже с Московской дороги, обеспокоенно писал Барклаю, что по донесениям казаков и «по всем обстоятельствам видно, что неприятель потянулся большими силами по дороге Ельнинской к Дорогобужу». Как видно на карте, дорога эта проходила от Смоленска южнее Московского тракта и замыкалась с ним в Дорогобуже. Выход французов по ней у Дорогобужа к Московскому тракту угрожал русским армиям несомненным окружением. Встревоженный известием о движении французов в этом направлении, Багратион распорядился послать два полка на Ельнинскую дорогу, «чтобы, — как писал он Барклаю, — в точности удостовериться, справедливо ли то, и засим намерен я выступить сам завтра рано к Дорогобужу». Он сообщает Барклаю, как будет действовать далее: «Прибыв туда, я постараюсь занять выгодную позицию и не упущу ничего, чтобы дать неприятелю сильный отпор и уничтожить все его покушения на дорогу Московскую, а для сего побуждаюся я покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отступать от Смоленска и всеми силами стараться удерживать вашу позицию». Под конец Багратион просил Барклая, ввиду больших потерь корпуса Раевского и дивизии Неверовского во время боев в Смоленске, «для усиления дать мне один корпус, иначе я весьма слаб»48. Из письма Багратиона видно, что он опасался, как бы бои с пришедшими по Ельнинской дороге французами не оказались слишком неравными для него. Он просит дополнительный корпус для усиления обороны в Дорогобуже, а вовсе не для наступления на Наполеона (о чем, напомню, писал Аракчееву!). Багратион не только хотел получить у Барклая корпус, но просил его продержаться в Смоленске, пока сам он не дойдет до Дорогобужа. Кроме того, в письме Барклаю 6 августа Багратион, находясь еще по пути в Дорогобуж, с немалой тревогой убеждал главнокомандующего 1-й армией сменить прикрывающий Московскую дорогу арьергард 2-й армии под командой Горчакова своими войсками из состава 1-й армии, чтобы Горчаков мог поспешить вместе со всей 2-й армией к Дорогобужу, ибо «пункт Дорогобужской может быть прежде занятым неприятельскими корпусами, которые, по слухам, уже на марше со вчерашнего дня»41. Как было уже сказано выше, понуждаемый Багратионом Горчаков бросил свою позицию на Московской дороге, и если бы не действия генерала Тучкова 3-го, русская армия оказалась бы в очень сложном положении. Итак, по всем приведенным данным, Багратион больше всего опасался наступления французов на Дорогобуж.

В письме Александру от 5 августа Багратион пишет: «Надеюсь, что военный министр, имея пред Смоленском готовую к действию всю 1-ю армию, удержит Смоленск, а я в случае покушения неприятеля пройти далее на Московскую дорогу буду отражать его». Тогда же, призывая Барклая удерживаться в Смоленске, Багратион писал ему: «Оставаясь в оной, вы будете в состоянии, при отступлении неприятеля, действовать ему в тыл и нанести большой вред…» Эту мысль о якобы упущенной возможности разбить Наполеона он излагал после Смоленска не раз, причем явно давал понять, что винит во всем Барклая. Так, в донесении императору 7 августа Багратион отмечает свои успехи и выражает недовольство действиями Барклая: «При последнем защищении Смоленска 4-го сего августа, где 15 тысяч русских воинов вверенной мне армии держались 24 часа противу всей многочисленной неприятельской силы и, можно сказать, оспорили почти победу, опрокинув наступивших на них, не допустя на две версты к городу и положив на месте до 10 тысяч человек…» О Барклае же сказано так: «На другой же день угодно было министру защищение города принять на себя… По выгодности позиции и по укреплению сего города нельзя было не считать нужным удерживать его; я, отступая от города, просил о сем военного министра и отношением моим и в особенности чрез нарочно отправленных, но военный министр рассудил держаться в оном не более 12-ти часов и после вслед за мною отступил, предоставив город власти неприятеля… Если военный министр ищет выгодной позиции, то, по мнению моему, и Смоленск представлял немалую удобность к затруднению неприятеля на долгое время и к нанесению ему важного вреда! Я по соображению обстоятельств и судя, что неприятель в два дня при Смоленске потерял более 20 тысяч, когда со стороны нашей и в половину не составляет потери, позволяю себе мыслить, что при удержании Смоленска еще один или два дня неприятель принужден был ретироваться»50.

Судя по этим письмам, Багратион не очень хорошо представлял себе обстановку, сложившуюся в Смоленске 5 августа, уже после ухода войск 2-й армии от города. Как упоминалось выше, после замены в Смоленске корпуса Раевского корпусом Дохтурова, передачи общего руководства обороной города Барклаю и ухода 2-й армии в сторону Дорогобужа позиции русской армии подверглись удару Великой армии даже более сильному, чем накануне, когда боем руководил Багратион и, как он считает, «господина Наполеона ужасно откатал». Как раз 5

августа атаки французов непрерывно усиливались, Смоленск загорелся, и о возможном отступлении Великой армии от Смоленска, да еще с показом своих тылов, ни при каких обстоятельствах не могло идти и речи. Более того, как уже сказано выше, возникла угроза охвата французами русских позиций в городе с флангов.

Думается, что Багратион, столь успешно руководивший обороной Смоленска 4 августа, переоценивал свои успехи в защите позиций в городе и не осознавал, по недостатку информации, насколько изменилось положение. Одновременно, недооценив силы противника, действовавшие против 1-й армии в Смоленске, как и степень уязвимости ее позиций, Багратион неверно интерпретировал действия Барклая, принявшего решение оставить город. Возникло своеобразное дежа-вю: точно так же и в начальный период войны недостаток информации о силах, которые выставил Наполеон против 1-й армии, привел Багратиона к ошибочному выводу о том, что Барклай отступает, имея все возможности наступать.

Строго говоря, из всего этого следует вывод, что Багратион имел серьезный недостаток как полководец и человек — в какой-то момент он оказывался не в состоянии взвешенно и хладнокровно проанализировать ситуацию, в которой оказывались другие, и торопился с осуждением: он не хотел и допустить, что в своем поведении Барклай руководствуется иными мотивами, кроме трусости, бездарности, нерешительности или измены. Грубые выпады Багратиона против Барклая в письмах Аракчееву и Ростопчину отражают также муки гордыни — страшное огорчение и раздражение полководца, недовольного прежде всего своим подчиненным положением и не желавшего нести общую с Барклаем ответственность. Об этом прямо сказано в рапорте царю от 7 августа: «Сколько по патриотической ревности моей, столько и по званию главнокомандующего, обязанного ответственностью, я долгом поставил все сие довести до высочайшего сведения Вашего императорского величества, и дерзаю надеяться на беспредельное милосердие твое, что безуспешность в делах наших не будет причтена в вину мне, из уважения на положение мое, не представляющее вовсе ни средств, ни возможностей действовать мне инако, как согласуя по всем распоряжениям военного министра, который со стороны своей уклоняется вовсе следовать в чем-либо моим мнениям и предложениям»". Тем самым Багратион отказывался признавать свою ответственность в происходящем.

Как бы то ни было, при недостатке информации, под влиянием досады и гнева на Барклая Багратион вольно или

невольно искажал действительность и представлял своим влиятельным адресатам ситуацию, прямо скажем, в превратном виде. Рассмотрев все доступные материалы по Смоленскому сражению, мы можем с уверенностью утверждать, что никакой угрозы «мешка» для Наполеона с его превосходящими русские войска силами ни в момент штурма Смоленска, ни позже не существовало. Наоборот, эта угроза постоянно висела над русскими армиями, которые отчаянно отбивали все попытки французов охватить их с флангов. Неудивительно, что, остановившись в Дорогобуже и с тревогой посматривая на Ельнинскую дорогу, Багратион опасался как раз охвата французами Смоленска и ни о каком походе, так сказать, за фельдмаршальским жезлом и не помышлял, а думал лишь о том, как бы продержаться до подхода основных сил 1-й армии. Он рассчитывал не ударить по Наполеону, а дать отдых войскам. Уже из Дорогобужа 8 августа он, с некоторым облегчением, писал Барклаю, что «неприятель по Ельнинской дороге вовсе не показывался и слуху о нем даже не было… Я полагаю, что обе армии должны стараться теперь, после долговременного отступления, собраться, отдохнуть и укомплектоваться, тем более что надобно ожидать, что неприятель сам будет готовиться к другим подвигам»52. Вот так! Не мы, а неприятель готовится к подвигам и разыскивает на Московской дороге маршальский жезл!

Несомненно, в приведенных письмах можно заметить различия между деловой и дружественной перепиской Багратиона. Одни письма (деловые) пишет дисциплинированный, расчетливый, осторожный полководец, другие (дружеские, частные) — импульсивный, подозрительный, страдающий комплексами и фобиями человек, безмерно честолюбивый, тщеславный, не без желания пустить пыль в глаза адресату, не без склонности к интригам и тому, что он сам называл «быть двуличкой». Впрочем, в письме Аракчееву Багратион откровенно признается, что ведет двойную игру: «Министр на меня жаловаться не может. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его»53. Одновременно с письмом Аракчееву Багратион пишет Барклаю: «…Я на все согласен, что угодно вашему высокопревосходительству делать для лучшего устройства наших сил и для отражения неприятеля, и теперь при сем повторяю вам, что мое желание, сходственно вашим намерениям, имеет ту единственную цель защищать государство и, прежде всего, спасти Москву». Вся грубая брань в адрес Барклая, все оскорбления и подозрения на его счет, которыми пестрят письма Багратиона Аракчееву и Ростопчину,

выливаются в письме Барклаю в самое учтивое выражение озабоченности: «Я не могу утаить вашему высокопревосходительству, что наше отступление к Дорогобужу уже всех привело в волнение, что нас (не вас! — Е. А.) ругают единогласно и когда узнают, что мы приблизились к Вязьме, вся Москва поднимется против нас. Очень желательно бы было, чтоб неприятель дал нам время усилиться в Вязьме и соединить с нами войска Милорадовича»54.

Крепка ли дружба с начальником начальников? Царедворец в Багратионе-полководце проглядывает постоянно. Завершая свое вышеупомянутое письмо Аракчееву (с бранью и беспочвенными обвинениями Барклая), Багратион пишет: «Вот, вашему сиятельству всю правду описал, яко старому министру (заметим, что Барклай сменил на этом посту Аракчеева. — Е. А.), а ныне дежурному генералу и всегдашнему доброму приятелю. Прочтите, и в камин бросьте»55. Но видно, что не для камина предназначается письмо, посланное временщику, да к тому же дежурному генералу при государе. Отношениями с влиятельным Аракчеевым Багратион очень дорожил. Это видно как по его письмам, так и по поступкам. Как известно, во время войны Аракчеев, по должности дежурного генерала при императоре, докладывал ему о делах в армии, передавал его волю: «Сообщая сию Высочайшую волю, я имею честь быть…» или: «Государь император высочайше мне повелел сообщить вашему высокопревосходительству…» и т. д.56 Иначе говоря, он мог похлопотать за Багратиона перед государем, поспособствовать его назначению главнокомандующим всеми армиями. Но скорее всего временщик этого не делал и делать не собирался. Конец 1809-го — начало 1810 года стали роковыми в отношениях между Александром и Багратионом, и Аракчеев, как опытный интриган, хпопотать за полководца, вызвавшего гнев императора, не хотел. А Багратион, не понимая этого, стремился всеми силами угодить временщику, занялся устройством его брата. 6 июля он получил высочайший рескрипт: «Отправленного к вам флигель-адъютанта полковника Аракчеева причислить к армии, вам вверенной, и употреблять на службу по вашему усмотрению». В письме 26 июля Багратион написал Аракчееву, что присланного с царским указом его брата он непременно устроит: «Касательно до братца вашего, уверяю вас, что по всей справедливости посвящу себя быть ему полезным во всех случаях»57. Он взял Петра Аракчеева к себе в штаб и в Дорогобуже назначил его своим дежурным генералом. Занимавший эту должность Маевский потом с обидой писал, что «князь вверил ему только звание, а на меня возлагал ответственность. Сколько ни умолял меня действовать под

маской суфлера дежурного генерала, но я решительно от того отказывался. Господин Аракчеев был человек вечно пьяный и страдал сильною падучею болезнию. Не быв героем, ни Платоном, ни Геркулесом, он от первого сражения потерял охоту быть близ князя, тогда как (я) считал это время самым приятным для имени и дела славы»5".

Интрига или генеральский заговор

Что же стояло за упомянутым в письме Барклаю весьма вежливым «особым мнением о наших проблемах»? Думаю, что Багратион в этот момент, как никогда раньше, шел навстречу пожеланиям своего окружения, ряда высших офицеров в армии. Толчком стали события под Смоленском. Как уже сказано, многие генералы и офицеры, разгоряченные и воодушевленные подвигами Неверовского и Раевского под Смоленском, которые они наблюдали с другого берега Днепра, считали уход от Смоленска ничем не оправданным, видели в этом вину Барклая. Как и Ростопчину, Смоленская битва казалась им почти победой, если бы не отступление по воле главнокомандующего 1-й армией. Из письма Ермолова Багратиону, да и из других источников, видно, что генералы толкали Багратиона к решительным действиям, нацеленным на смещение Барклая. На этой почве в армии образовался своеобразный «генеральский заговор» против Барклая, который хотя и не выливался ни в какие организационные формы, но выражался в некоем единодушном суждении о «непригодности» главнокомандующего 1-й армией и в требованиях заменить его Багратионом. В этот «заговор» против Барклая входили фактически все высшие офицеры двух армий. В. М. Безотосный называет этих людей «русской партией», хотя среди них было немало иностранцев59.

Одни высшие офицеры — такие как Л. Л. Беннигсен, Ф. Ф. Паулуччи — были исполнены неудовлетворенных военных амбиций, смертельно обижены на военного министра, который не давал им ходу. Паулуччи жаловался на Барклая: «Я был только простым исполнителем планов и распоряжений, совершенно противных понятиям моим о войне, приобретенным в продолжение четырнадцати кампаний»60. Такие люди, как Паулуччи, считали Барклая недостаточно талантливым полководцем и не слишком мудрым стратегом. Другие противники Барклая — А. А. Аракчеев или Г. Армфельд — с давних пор таили на него обиду, а как известно, «обидеть» Аракчеева мог каждый — достаточно было мельчайшей

оплошности в обхождении с ревнивым к царю временщиком.

Третьи недоброжелатели Барклая, особенно выходцы из родовитых фамилий, тесно связанных с особым миром царской военной свиты, не терпели Барклая как бедного выскочку из прибалтийских немцев, как человека, чужого им по воспитанию, кругу общения, к тому же внешне малосимпатичного и холодного. Эти настроения отразились, например, в записках петербургской светской дамы, никогда Барклая не знавшей: «О разуме его, о свойствах, о благородных чувствах, о возвышении духа никто не слыхивал, а ему вверен жребий России»".

Наконец, четвертые (их было большинство) ценили Барклая как военного профессионала и как человека, но были недовольны результатами, а главное — перспективами его командования войсками. Это был цвет русского генералитета: Н. Н. Раевский, М. И. Платов, братья Тучковы, Д. С. Дохтуров, И. В. Васильчиков. Пожалуй, именно эти генералы были той группой, которая, как и Ермолов, всецело стояла за срочное назначение единым главнокомандующим Багратиона. Всем им он был, несомненно, ближе, чем Барклай, они признавали князя Петра Ивановича за самого авторитетного своего товарища — прямого, честного, твердого. И то — у Багратиона была безупречная репутация в армии. Многим из генералов, раздраженных самим фактом непрерывного, почти без боев, отступления, казалось, что Барклай, в отличие от Багратиона, не просто излишне осторожен, а нерешителен и безынициативен. Его метания под Смоленском лишний раз свидетельствовали об этом. Конечно, никто не мог открыто обвинить Барклая в трусости, а тем более — в измене, но за пределами штабов такие обвинения слышались отчетливо. Как вспоминал Н. Е. Митаревский, после утомительных переходов с одной дороги на другую под Смоленском «пронесся слух, что главнокомандующие между собою не поладили. Все стояли за князя Багратиона и начали обвинять Барклая де Толли, особенно при тяжком обратном походе к Смоленску… высшие офицеры обвиняли его в нерешительности, младшие — в трусости, а между солдатами носилась молва, что он немец, подкуплен Бонапартом и изменяет»62.

Ах, Алексей Петрович, Алексей Петрович! Больше других против Барклая интриговал его ближайший сотрудник — начальник Главного штаба 1-й армии генерал А. П. Ермолов, стремившийся исподтишка навредить своему командиру. Сохранилось его письмо Багратиону от 30 июня, в котором он конфиденциально сообщает о разговоре с Барклаем, причем с манерами сплетника комментирует реакцию Барклая на заявление Багратиона (в письме от 3 июля) о желании уйти в

отставку: «Ему не только не понравилось, но кажется мне, что он испугался, ибо подобное происшествие трудно было бы ему растолковать в свою пользу». Тон и стшь этого письма — самый недоброжелательный к Барклаю. Ермолов за спиной своего главнокомандующего призывает Багратиона обратиться к государю: «Вам как человеку боготворимому подчиненными, тому, на коего возложена надежда многих в России, я обязан говорить истину… Пишите обо всем государю. Если подобных мне не достигает голос до его престола, ваш не может быть не услышан. С глубочайшим высокопочитанием и истинною преданностию и проч. А. Ермолов».

Как раз после этого Багратион написал письмо Аракчееву, в котором требовал наступления 1-й армии. Там же он писал, что «русские не должны бежать. Это хуже пруссаков мы стали» и т. д.63 Аракчееву (и думаю — не единожды) писал и сам Ермолов, чье двуличие было известно Барклаю. Уже в ноябре 1812 года Барклай откровенно писал царю, что Ермолов — «человек с достоинствами, но лживый интриган, единственно из лести к некоторым вышеназванным особам (в письме Барклая речь шла о некоторых «особах» из царской свиты. — Е. А.) и к Его императорскому высочеству (Константину Павловичу. — Е. А.) и к князю Багратиону, совершенно согласовался с общим поведением»64. Как вспоминал близкий Барклаю А. Л. Майер, «фельдмаршал часто в пылу преданности говорил ему о всех интригах, против него направленных во время нахождения его в армии в 1812 году, в особенности со стороны Ермолова, много содействовавшего к удалению его из армии». Схожи и воспоминания А. Н. Сеславина, воспроизводящего слова Барклая, сказанные летом 1812 года: «Теперь все хотят быть главными… И тот, который долженствовал быть мне правою рукою, отличась только под Прейсиш-Эйлау в полковницком чине, происками у двора ищет моего места, а дабы удобнее того достигнуть, возмущает моих подчиненных»65. Это сказано о Ермолове. Все так и было, как говорил Барклай, только Ермолов искал места не для себя, а для Багратиона. Сохранилось письмо Ермолова Александру от 16 июля, в котором он резко критикует действия Барклая при отступлении от Витебска и еще до соединения армий призывает царя: «Государь! Необходим начсигьник обеими армиями!» (имея в виду Багратиона)66. 27 июля Ермолов написал письмо Аракчееву, приложив к нему особое послание императору, и просил временщика прочитать его, и если тот найдет мнение Ермолова «достойным внимания» государя, то передать письмо самому Александру. Это типичный ход ловкого царедворца, вроде багратионовского «бросить в камин». В этом письме Ермолов

настаивает: «Государь, нужно единоначалие, хотя усерднее к пользам отечества, к защите его, великодушнее в поступках, наклоннее к принятию предложений быть невозможно достойного князя Багратиона, но не весьма часты примеры добровольной подчиненности. Государь, Ты мне прощаешь смелость мою в изречении правды»67.

Грубая выходка цесаревича Константина

Нужно отметить еще ряд обстоятельств, которые в глазах армии работали против Барклая. Так уж случилось, что по своему характеру, привычкам он не был «солдатским полководцем», подобно Багратиону, Платову или Кутузову. Всегда холодный, отстраненный, он не имел той харизмы военачальника, какую имели Суворов или Наполеон, не обладал даром, как тогда писали, «говорить с войском». Барклая можно было уважать, но его нельзя было любить или тем более обожать. Для того чтобы завоевать любовь солдат и офицеров, мало было хладнокровно стоять под ядрами и пулями — так тогда делали все. Необходимы были проявления искренности, сердечности в отношениях с подчиненными, умение быть одновременно строгим и добрым, возвышающимся над всеми (по своей должности) и вместе с тем простым и доступным (все под Богом ходим, все мы солдаты!). Между тем теплые чувства солдатской массы и офицеров к своему командующему были весьма важны не для удовлетворения тщеславия полководца, а для поддержания боевого духа армии, веры ее солдат в правильность всех действий главнокомандующего. Известно, что одно только прибытие в войска Суворова воодушевляло солдат, будто они получали огромное материальное подкрепление. С таким же воодушевлением, уже под Царево-Займищем, в солдатской массе было воспринято прибытие в действующую армию Кутузова.

Увы, у Барклая де Толли не было этого дара нравиться солдатам. Более того, он вел себя в армии… как отшельник. Как писал Н. М. Лонгинов в письме С. Р. Воронцову, Барклай «положил за правило никого не видеть и не допускать к себе… Солдаты главнокомандующего не видели и не знали, кроме как в деле против неприятеля, где он всегда оказывал много храбрости и присутствия духа». Но «дело», сражение — хотя и важнейшая, но лишь одна часть войны. Другая же и ббльшая ее часть — это утомительные марши, мучительное ожидание чего-то, стояние под дождем или палящим солнцем, вообще — тяготы походов, неудобство повседневной, обыденной жизни на войне.

Главнокомандующий должен был разделять эти трудности, чтобы добиться уважения, любви и доверия солдата как важнейшего условия победы. Как тут не вспомнить пресловутое спанье Суворова на соломе, его скудную пищу аскета. Одно дело подъехать на лошади к бивачному костру и сверху вниз спросить солдат: «Хороша ли каша», а другое — сесть с ними за эту кашу, да еще знать сидящих у котла солдат по именам, вспомнить знакомый всем им эпизод или рассказать какой-нибудь случай из прошлых войн! Барклай во всем этом сильно проигрывал Багратиону в глазах современников-сослуживцев: «Князь Багратион, хотя и неуч, но опытный воин и всеми любим в армии»68. А. Н. Муравьев писал, что многие генералы и офицеры, «которые единодушно не терпели Барклая, были в восторге от Багратиона по огромной его репутации и великим неоспоримым достоинствам; сколько Барклай, обезображенный ранами, был холоден, молчалив и сух со всеми, столько Багратион обладал искусством говорить с войском, был со всеми подчиненными дружелюбен и приветлив»69.

Доверие так было важно при отступлении! Солдаты и офицеры были недовольны непонятными им маневрами и переходами армий. Между тем командование по многим обстоятельствам не могло объяснять армии причины тех или иных передвижений, равно как и своих сомнений. Это противоречило правилам ведения военного дела, нормам тогдашней секретности и т. д. Солдатам и офицерам оставалось только верить командованию, а как раз этого доверия в войсках не было. Поэтому все перемещения, которые предписывал армии Барклай, казались непонятными, бессмысленными, что и отразилось в воспоминаниях участников похода. А. Н. Муравьев писал, что уже то, что Багратион при встрече с Барклаем в Смоленске сразу подчинился ему, страшно огорчило генералов, которые считали, что Багратион уступил Барклаю «свое законное право командовать обеими армиями»70. После отступления от Смоленска эти сожаления перешли в почти открытое недовольство Барклаем. Существует версия, что упомянутое выше письмо Багратиона Барклаю о необходимости наступать под Смоленском стало толчком для подлинной демонстрации генералитетом своего недовольства действиями главнокомандующего 1-й армией. По воспоминаниям П. Х. Граббе, поначалу некий демарш предпринял начальник артиллерии генерал А. И. Кутайсов, который от имени ряда армейских начальников просил Барклая остановить отступление. На это Барклай холодно ответил: «Пусть всякий делает свое дело, а я сделаю свое»71. Затем якобы от имени генералов (и в

сопровождении целой депутации, в которую входили принц Александр Вюртембергский, Беннигсен, Корсаков, Армфельд, Тучков 1-й и Ермолов) явился к Барклаю брат императора великий князь Константин Павлович, командир гвардейского корпуса 1-й армии, который устроил сущийскандал, требуя от Барклая прекратить отступление от Смоленска. Вначале он подошел к толпе бежавших из родного города смолян. «Крики детей, рыдания, — писал Жиркевич, — раздирали нашу душу, и у многих из нас пробилась невольно слеза и вырвалось не одно проклятие тому, кого мы все считали главным виновником этого бедствия. Здесь я слышал своими собственными ушами, как великий князь Константин Павлович, подъехав к нашей батарее, около которой толпилось много смолян, утешал их сими словами: “Что делать, друзья! Мы не виноваты. Не допустили нас выручать вас. Нерусская кровь течет в том, кто нами командует. А мы (хоть) и больно, но должны слушать его. У меня не менее вашего сердце надрывается”»72.

По сообщению офицера штаба Тучкова барона Мейендорфа, когда Константин внезапно явился к Барклаю, тот, выслушав великого князя, хладнокровно сказал, что если он будет нуждаться в совете, то пригласит сам кого ему будет нужно, а непрошеные советы противны правилам службы. Что же касается ссылки в речи великого князя на волю императора, то для выяснения этой воли он поручает отправиться лично великому князю, что тот воспринял как оскорбление, но подчинился приказу. А. Н. Муравьев также был свидетелем этого происшествия в Главной квартире Барклая. Он не упоминает о присутствии генеральской делегации, а изображает выходку брата царя как хулиганский поступок. По его словам, Константин, человек, как известно, необузданный и грубый, ворвался к Барклаю, который расположил свой штаб в большом сенном сарае, и «громким, грубым голосом закричал на него: “Немец, шмерц (буквально: «горе, печаль». — Е. А.), изменник, подлец, ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута (флигель-адъютант великого князя. — Е.А.), напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду”, и сопровождал эту дерзкую выходку многими упреками и ругательствами. Все мы, присутствующие, это видели и слышали. Барклай, расхаживая по сараю, услышав брань, в первое мгновение остановился, посмотрел на великого князя и, не обращая более внимания, ничего не отвечая, хладнокровно продолжал ходить взад и вперед. Константин Павлович, натешившись бранью и ругательством и не получив ни слова в ответ, сел опять на лошадь и поехал домой, и мы за ним; дорогою

он (сам по крови сын чистокровной немки и почти такого же отца. — Е. А.) с насмешкою говорил: “Каково я этого немца отделал!” Но часа через два по возвращении и неожиданно получил от Барклая де Толли конверт с предписанием, сдав корпус Лаврову, немедленно выехать из армии». В результате Константин вернулся в Петербург. «Такой смелый поступок командующего, — продолжал Муравьев, — зажал на время рот у его противников, которые сделались несколько осторожнее, но продолжали его ненавидеть»73. Так или иначе, «бунт» великого князя Константина был поддержан генералами.

А. Г. Тартаковский считал, что генералы круга Ермолова недвусмысленно требовали от Багратиона, чтобы он силой отстранил Барклая от командования 1-й армией и возглавил обе армии. Действительно, в записях М. С. Вистицкого есть такое место: «Ему предлагали собрать генералов обеих армий и, яко старший, сменить Барклая, но он на сие не решился»74. В сущности, это был призыв к перевороту. Но решиться на предложения генералов Багратион не мог. И этому есть причины…

Как трудно подчиняться младшему, да еще немцу

Конечно, Багратион во многом разделял взгляды Ермолова и других в отношении Барклая. Восстанавливая психологический срез происходящего, нужно учитывать, что в момент соединения армий в Смоленске Багратион чувствовал себя если не победителем, то и не побежденным. Что же касается 1-й армии, то Багратиону и его окружению казалось, что она отступила, упустив возможность сразиться с неприятелем, в отличие от их 2-й армии, которая вырвалась из почти безнадежной ситуации, исполненная бодрости, боевого духа и любви к своему предводителю. Все эти ощущения не могли не поднять уровень самооценки Багратиона, повысить степень его притязаний на власть в армии в его глазах и глазах многих генералов.

Он считал, что уже тем, что вырвался из западни, совершил немало и достоин награды. 15 августа он писал П. В. Чичагову: «Я сделал свой долг: отброшенный от армии, преодолел все препоны — соединился»75. Даже сражение под Могилевом Багратион не считал своим поражением. В письме волынскому губернатору М. И. Комбурлею после сражения под Салтановкой (Дашковкой) он писал: «Неприятель, усилившийся чрезвычайно в Могилеве, вышел из оного и 11-го числа атаковал корпус генерал-лейтенанта Раевского при Дашковке. Храбростью войск, отлично

предводимых мужеством сего генерала, неприятельские силы были опрокинуты и преследуемы на расстояние более 8 верст»76.

К тому же нельзя забывать особенности служебных «счетов» внутри генеральского корпуса. Багратион считал себя несправедливо обойденным в служебной иерархии, которая строится по принципу «кто старее в чине». По традиционному, принятому в армии счету, Багратион был «старее в чине» Барклая. Во-первых, Барклай находился в подчинении старшего по званию Багратиона в кампанию 1806–1807 годов; во-вторых, Багратион, хотя и ненамного, но все время опережал Барклая в получении очередных чинов: он стал полковником 13 февраля 1798 года, а Барклай почти месяц спустя — 7 марта 1798 года; чин генерал-майора Багратион получил 4 февраля 1799 года, а Барклай — снова месяц спустя после него, 2 марта 1799 года. 8 ноября 1805 года Багратион стал генерал-лейтенантом, а вот Барклай засиделся в генерал-майорах еще на два года и получил следующий чин лишь 9 апреля 1807 года. Зато полными генералами (генералами от инфантерии) они стали в один день — по указу 20 марта 1809 года. Но и тут Багратион опередил Барклая, ибо в приказе был поименован выше (раньше), чем Барклай". Кстати, это производство вызвало возмущение среди высшего генералитета, которое увидело в нем нарушение армейской традиции производства в чины по старшинству. И вообще, стремительная карьера Барклая, за несколько лет прыгнувшего из генерал-майора в полные генералы и военные министры, не могла не раздражать кадровых военных.

И в наградах за боевые заслуги Багратион превосходил Барклая. Он имел редкий орден Святого Георгия 2-го класса (1805 год) и высший орден империи — Святого Андрея Первозванного (1809 год). В целом, старшинство Багратиона над Барклаем для многих было несомненным. Так думал и сам Багратион. В письмах Ростопчину он писал: «Я… старее министра и по настоящей службе, и должен командовать»78. Еще в одном послании главнокомандующему Москвы (за август 1812 года) Багратион прямо пишет, что превосходит Барклая и по талантам, и по успехам в настоящей войне: «Я имею миллион неприятностей, я не хвалю себя и не ставлю из искуснейших генералов в Европе, но признаюсь, соединение мое с Первою армиею вышло из неслыханных и даже необыкновенных случаев. Что же за то мне вышло? И спасибо не сказали, тогда как сам искусный Наполеон удивился и удивляется, хотел выгнать Давуста, но мало у него генералов, и это его спасло. Теперь государь давно знает, что я здесь и Барклай не в состоянии командовать»111.

Тем не менее под Смоленском он подчинился Барклаю, не послушался Ермолова, который писал ему о недопустимости такого подчинения — «младшему, да еще немцу, и для пользы общей». Нужно отдать должное Багратиону, который в тот момент проявил добрую волю, хотя формально, согласно «Учреждению для управления Большой действующей армией», их с Барклаем права как главнокомандующих были совершенно одинаковы.

«Местнические» счеты.

Известно, что военные всегда ревниво следили за соблюдением этого своеобразного «местничества». В августе 1812 года атаман Платов устроил настоящий скандал из-за того, что казачий генерал-майор Краснов был подчинен генералу, младшему в производстве. Нанесенная этим обида была, по мнению Платова, «очень чувствительной… не только для него, но для меня и даже всего войска». «Я понимаю, — писал Платов Ермолову, — что это произошло, конечно, от ошибки, но как сие всякому прискорбно, то прошу вас приказать в подобных случаях по военному списку выправляться о старшинстве господ генералов во избежание обиды, от подчинения старшего младшему чувствуемой». В ответ Ермолов признал, что сделана ошибка, «происходящая от недоставления в Главный штаб армии формулярного о службе его списка»-0. Другой скандал произошел во время Бородинского сражения, когда после ранения Багратиона Кутузов поначалу назначил временным главнокомандующим 2-й армией генерала Д. С. Дохтурова, но потом был вынужден извиняться перед ним за ошибку: оказывается, что надлежало назначить Милорадовича, которому «должен был армию как старшему препоручить».

Благосклонность и воля государя важнее выслуги

И позже, когда Багратион пожалел о своем благородном поступке в Смоленске, он все же не пошел на то, к чему его толкали генералы, как бы ни хотелось ему заменить Барклая. Причина нерешительности Багратиона была прежде всего в том, что он точно знал волю императора на сей счет и как верноподданный никогда бы не посмел ее нарушить. 23 июля Багратион написал Александру I из Смоленска: «Всемилостивейший государь! Порядок и связь, приличные благоустроенному войску, требуют всегда единоначалия, а и

более в настоящем времени и когда дело идет о спасении отечества, я ни в какую меру не уклонюсь от точного повиновения тому, кому благоугодно будет подчинить меня… Никакая личность в настоящем времени не будет стеснять меня, но польза общая, благо отечества и слава царства вашего будет неизменным мне законом к слепому повиновению».

Из письма же Аракчееву видно, что Багратион, подчинившись этой воле, переступил через себя: «Вся армия просила меня гласно, чтобы я всеми командовал, но я на сие им ничего не отвечал, ибо есть воля на то государя моего, и хотя до крайности и огорчен лично от министра, между нами сказать, но он сам опомнился и писал простить его в том. Я простил и с ним обошелся не так как старший, но так как подкомандующий. Сие я делал и делаю точно по привязанности моей к государю»81. В письмах Багратиона Ростопчину эта тема поднималась не раз. В конце июля Багратион писал: «Между нами сказать, я никакой власти не имею над министром, хотя и старше его. Государь по отъезде своем не оставил никакого указа на случай соединения, кому командовать обеими армиями, и по сей причине он, яко министр…», и далее в подлиннике отточия. 14 августа он возвращается к этой теме: «Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли государя, а ему известно, что у нас делается». «Я хотя и старее министра и по настоящей службе должен командовать, о сем просила и вся армия, но на сие нет воли государя, и я не могу без особенного повеления на то приступить»82. В августе он писал главнокомандующему 3-й армией адмиралу Чичагову то же самое: «Я хотя и старее его, но государю угодно, чтобы один командовал, а ему велено все, стало, хоть и не рад, да будь я готов. Я кричу — вперед, а он — назад»83. А еще раньше Аракчееву: «…повинуюсь) как капрал, хотя и старее его. Это больно, но, любя моего благодетеля и государя, повинуюсь»"4.

Другая причина нерешительности Багратиона (хотя и первой достаточно!) заключалась в его представлениях о чести и порядочности. Хотя он, как сказано выше, и написал недвусмысленное письмо Аракчееву с просьбой освободить его от службы (читай — от Барклая), но прямо просить царя о смещении Барклая и назначении себя на место единого главнокомандующего он не мог. Отвечая Ермолову, рекомендовавшему ему написать об этом самому царю, Багратион замечал: «Но что мне писать государю, сам не ведаю. Я писал, что соединился, просил, чтобы одному быть начальником, а не двум. Посылаю ему все мои отношения, равно и министра ко мне в копии, чтобы он ведал, но ни на что ответа не имею, а более

писать не ведаю что. Естьли написать мне прямо, чтобы дал обеими армиями командовать, тогда государь подумает, что сие ищу не по своим заслугам или талантам, а по единому тщеславию»85.

Мы не знаем, что Багратион думал о государе — такие размышления бумаге не доверяют. Полагаю, что он понимал, что своеобразный титул «самого верного ученика Суворова»86 мало что значит в расчетах императора Александра, который явно его недолюбливал. По психологическому типу Александр и

Багратион были антиподами, наверняка они с трудом могли найти общий язык. (Кстати, может быть, как раз в хладнокровии и невозмутимости Барклая и заключался отчасти секрет его служебных успехов при Александре) Всем была известна скрытность и злопамятность «нашего ангела». Царь не прощал людям даже меньшие проступки, чем «непозволительная» связь подданного с его сестрой Екатериной Павловной, резкие письма и фактическое неподчинение Багратиона его приказам во время Турецкой войны и особенно непослушание главнокомандующего 2-й армией во время отступления из-под Николаева. То, что Багратион спас армию и привел ее в сохранности, на общем фоне отступления и эвакуации Смоленска могло и не казаться из царской резиденции на Каменном острове таким уж выдающимся достижением, как думали Багратион и его окружение. Ведь и раньше, еще до своего отъезда из армии, император не считал, что Багратион, совершая тяжелейшие марши по песчаным дорогам Литвы и Белоруссии, делает нечто героическое. Светская дама В. И. Бакунина в далеком от театра военных действий и пока безопасном Петербурге занесла в дневник 24 июля суждение, которое многие в свете разделяли: «Известие, что Багратион переменил весь план, вместо того, чтоб идти на Могилев и Оршу, пошел на Мстиславль и Смоленск, и Барклай решился идти к Смоленску. Он называет это решение смелым, доселе никому не приходило в голову отступление и старание неприятеля называть смелостию…»" Багратион же, наоборот, считал, что он и его люди достойны награды, ибо вырвались из смертельных клещей и сохранили армию.

«Где у нас тот человек»

Бесспорно, что Александр не воспринимал Багратиона как крупного полководца. Выше упоминалось, что его не приглашали на военные советы даже в те времена, когда он был допущен к царскому столу. К этим временам относится письмо императора

графу П. А. Толстому, датированное 3 января 1807 года. В нем Александр писал о «дефиците» талантливых полководцев: «Трудно описать затруднение, в котором я нахожусь. Где у нас тот человек, пользующийся общим доверием, который соединял бы военные дарования с необходимою строгостью в деле командования? Что касается до меня, то я его не знаю. Уж не Михельсон ли? Григорий Волконский из Оренбурга, Сергей Голицын, Георгий Долгорукий, Прозоровский, Мейендорф, Сухтелен, Кнорринг, Татищев? Вот они все, и ни в одном из них я не вижу соединения требуемых качеств. Один, может быть, был бы пригоднее других, это — Пален», но его репутация была погублена участием в убийстве Павла Is8. Во время Тильзитских переговоров император говорил князю Куракину (а тот об этом сообщал Марии Федоровне), что потери армии огромные, «все наши генералы, и в особенности лучшие, ранены и больны, а в армии только пять-шесть генерал-лейтенантов, которые, как, например, Горчаков, Уваров и Голицын, не имеют ни опытности, ни военных талантов, и что, следовательно, у нас нет сведущих начальников, способных командовать войсками и отдельными корпусами». Багратион даже не упоминается ни в одном из этих перечней. Император писал, что не может понять, как в столице о Беннигсене могло сложиться весьма высокое мнение, тогда как его совсем не уважают в армии, «все находят его вялым и лишенным энергии, он после каждой битвы только все отступает вместо того, чтобы идти вперед, как к тому привык русский солдат и как это всегда исполнял Суворов»89. Разве не об этом всегда говорил и писал Багратион? Но о нем самом в переписке царя не шло и речи.

Как уже написано выше, Багратиону не повезло на посту главнокомандующего Молдавской армией в 1810 году. Это назначение в принципе давало ему шанс упрочить свою репутацию в глазах царя, но обстоятельства оказались против него. Его действия показались царю нерешительными, неумелыми, «робкими», и он не сумел представить их в ином, более благоприятном свете, как это было в 1807 году. Возможно, что если бы тогда Багратион не упорствовал, возражая царю, то все обернулось бы иначе. Он подчинился бы указу, разместил армию на правобережье Дуная, к весне погубил бы половину за счет болезней и холодов, но это ему бы простили, главное — он бы исполнил указ государя, и тот бы это, конечно, оценил. Ко всему прочему, повредил Багратиону и разгоревшийся на ровном месте конфликт с Румянцевым — ссориться с влиятельным тогда канцлером, исходя из карьерных соображений, Багратиону не следовало, как и рассчитывать на безусловную поддержку

Аракчеева. Так случилось, что летом 1812 года история с обвинениями Багратиона в «робости» — на этот раз не перед турками, а перед «слабыми авангардами» Даву, — повторилась.

Из письма Александра сестре Екатерине Павловне, написанного 18 сентября 1812 года, то есть сразу же после смерти Багратиона, видно, что император невысоко ценил талант погибшего, считал, что тот допустил немало ошибок при отступлении от западной границы. Он писал, что поставил Барклая руководить 1-й (основной) армией «ввиду репутации, которую он заслужил во время войны с французами и шведами. Наконец, то же убеждение заставило меня думать, что по познаниям своим он стоит выше Багратиона. Крупные ошибки, сделанные последним в эту кампанию, послужившие отчасти причиной наших неудач, поддерживали во мне это убеждение, и я больше, чем когда-либо, считал его неспособным командовать соединенными армиями под Смоленском. Хотя я не был особенно доволен действиями Барклая, но я все-таки считаю его лучшим стратегом, чем Багратион, который о стратегии понятия не имеет. Наконец, в то время в силу того же убеждения я не имел в виду ничего лучшего».

Хрупкость человеческой репутации. Когда пишешь биографическое сочинение, нужно быть настороже, не позволять себе ни воспылать безоглядной любовью, ни пропитаться ненавистью к своему герою — объекту почти непрерывных размышлений в течение месяцев и даже лет. Лишь так можно надеяться сохранить хладнокровие и, соответственно, объективность, без стремления к которой пишутся уже не биографические исследования, а жития либо памфлеты. Но в истории с неназначением Багратиона командующим соединенными армиями возникает большой соблазн вступиться за генерала и «упрекнуть» императора Александра, да и многих людей того времени, в слепоте, в непонимании истинной сути личности Багратиона, в неспособности разглядеть за пылкими, порой несдержанными проявлениями его темперамента более глубокий ум, чем кажется на первый взгляд, увидеть в нем выдающегося полководца (так и думали многие в армии!), осторожного и прозорливого стратега. Так уж бывает, что важнейшим оказывается первое впечатление, когда люди дают человеку изначально поверхностные оценки, которые не соответствуют реальности, но которые к ним навсегда «прилипают». В самом деле, из предшествующих глав хорошо видно, что ни действия Багратиона при отступении, ни его некие «крупные ошибки» не послужили причиной «наших неудач» (по словам Александра). Эти неудачи были порождением всей

противоречивой и половинчатой стратегии, предполагавшей то ли нападение, то ли оборону, когда армии были поставлены на западной границе в заведомо невыгодное положение. Предложения же Багратиона о конструктивном выходе из этого неустойчивого положения, данные им в проектах и письмах к Барклаю и императору в 1811–1812 годах, упорно игнорировались. В итоге, война пошла по тому драматическому и невыгодному России сценарию, который Багратион предсказал в письме

Александру от 6 июня 1812 года. Войска были вынуждены искать спасения в отступлении, маршрут и логика которого предписывались уже не следом карандаша государя на карте, а реальной обстановкой в поле. Ведь в положении Багратиона разом оказались и Платов, и Дорохов, и Дохтуров, и Витгенштейн, да и сам Барклай. Но в глазах царя именно действия Багратиона стали одной из причин неудачного начала войны. Как и во время войны с турками, Багратион не подчинился воле государя и спас тем самым армию. Если бы он, выполняя указ императора, переправился через Неман у Николаева, он попал бы в окружение и наверняка погубил бы 2-ю армию, пытаясь с боями прорваться к 1-й армии. Тогда бы его ждала Салтановка более грандиозного масштаба и с более печальным результатом. Но зато, как и в конце 1809 года в Молдавии, воля государя была бы исполнена и репутация Багратиона в глазах царя была бы иной.

О «бурной простоте»

Теперь о том, что Багратион «понятия не имеет о стратегии»: этот стереотип восприятия Багратиона как «авангардного», «тактического» генерала, ничего не смыслящего в стратегии и вообще «неуча», необразованного практика, прочно утвердился в тогдашнем обществе. Справедливости ради отметим, что отчасти в этом виноват сам Багратион. Не в состоянии сдержать свой буйный нрав, обиженный и оскорбленный недоверием, раздраженный интригами против него, он сам давал повод думать о себе так, как думали о нем при дворе. Вспомним историю с провокационной бандеролью, посланной Багратиону канцлером Румянцевым, и его резким ответным демаршем и необдуманными словами, приведшими к отставке, или не менее опрометчивые письма Багратиона после Смоленска, когда он, вопреки собственному осторожному поведению на поле боя, провозглашал нелепые, продиктованные исключительно ущемленным

самолюбием призывы «закидать шапками» «дрянь-противника».

О «необразованности», «бурной простоте» Багратиона не говорил и не писал только ленивый. Даже обожавший своего главнокомандующего Денис Давыдов начинает биографию Багратиона трюизмом: «Князь Петр Иванович Багратион, столь знаменитый по своему изумительному мужеству, высокому бескорыстию, решительности и деятельности, не получил, к несчастью, образования»90. Конечно, нет смысла кивать на то, что, по подсчетам Д. Г. Целорунго, половина офицеров 1812 года владела лишь элементарной грамотностью и что вообще с образованностью офицеров и генералов русской армии дело обстояло неблестяще91. Несомненно, Багратион не получил по тем временам «правильного» военного образования, попав с юных лет в действующую армию и оказавшись на опасной кавказской границе. Судьба Багратиона сложилась так, что ббльшую часть жизни он почти непрерывно воевал. Писать его биографию — значит писать военную историю России с конца 1780-х по 1812 год. Ему не довелось в молодости учиться в Сухопутном шляхетском корпусе или в каком-либо ином военно-учебном заведении. Не стажировался он в армиях других государств — он, по большей части, с ними воевал. Не состоял он и при штабе под крылом собственного отца-фельдмаршала, как граф Н. М. Каменский 2-й.

По всему видно, что Багратион не особенно занимался самообразованием, не дружил, по незнанию языка, с немецкой военной книгой — главным источником тогдашней военной науки. Не обладал он и тем глубоким знанием античности, истории военного дела, чем отличался Суворов, тоже, кстати, нигде не учившийся. Но тут уместна цитата: «Он не обладал большими научными познаниями… но его природные дарования восполняли недостаток знания. Он стал администратором и законодателем, как и великим полководцем, в силу одного лишь инстинкта»92. Так писал Меттерних о Наполеоне. То же можно сказать и о Багратионе, наделенном колоссальным инстинктом, прирожденным чутьем полководца. Собственно, и сам Наполеон говорил о Багратионе (его слова известны в передаче генерал-адъютанта А. Д. Балашова): «Лучше всех Багратион, он небольшого ума человек, но отличный генерал». А. И. Михайловский-Данилевский сравнивал Багратиона со знаменитым казачьим атаманом Платовым и писал, что Платов «не понимал карты, если она не была обращена к нему севером, то есть если он не глядел на нее со стороны Петербурга. Это не мешало ему быть замечательным военным человеком и начальником казаков. Багратион был также человеком

малообразованным, но гениальная верность его взгляда и врожденные военные способности делали недостаток образования нечувствительным»93. Известно, что другой русский военный гений, стоящий сразу за Суворовым, — фельдмаршал П. А. Румянцев — также образования не получил, так как был изгнан за безнравственное поведение из Сухопутного кадетского корпуса почти сразу же после приема, а из Берлина, куда его послали на учебу, был вскоре отозван за кутежи и дебоши — единственный результат «стажировки» в Пруссии.

Выше уже шла речь о выдающихся способностях военачальника, которые проявил Багратион, командуя арьергардом, а потом и целыми армиями. Без инстинкта, без особого чутья полководца успешно руководить такими крупными силами невозможно. С теми способностями, какие были у Багратиона, он непременно стал бы во Франции маршалом, наряду с Мюратом, Даву, Неем и другими, также не блиставшими образованностью, знавшими только свой родной французский язык. Кстати, сам Наполеон говорил по-французски с сильнейшим корсиканским акцентом и, наверное, оказавшись при дворе Людовика XVI, вызвал бы усмешку. Но во Франции произошла революция, которая кардинально изменила критерии отношения к людям, их способностям. В России обстояло иначе, и в этом-то, кажется, и состояла в конечном счете причина невезения русского полководца и подданного князя Багратиона. Известно, что при дворе человеку достаточно было под завистливыми и недоброжелательными взглядами придворных споткнуться в танце, чтобы репутация его погибла навсегда. Поэтому нечего удивляться, что Багратион, плохо говоривший по-французски, не вспоминавший на каждом шагу Монтекукколи и Тюренна, не цитировавший наизусть Фридриха Великого, считался при дворе «неучем», а поэтому — неспособным командовать армией. Так что, судя по всему, кандидатура Багратиона на пост единого главнокомандующего была «непроходимой» — царь никогда бы его не назначил.

«Защитить перед публикой»

Но Багратион все-таки до конца в это не верил и пытался бороться за пост главнокомандующего, как умел. Выше уже говорилось об отчетливой политической подоплеке его конфликта с Барклаем, когда устами Багратиона начинал говорить не военный, а политик, царедворец. Это отразилось в его письмах Ермолову, Ростопчину, Аракчееву и некоторым другим

лицам. Эти документы — довольно сложное эпистолярное явление. Понятно, что дружба с Ермоловым — боевым товарищем, да еще явным недоброжелателем Барклая, делает Багратиона откровенным и даже резким в оценках, но переписка с временщиком императора Аракчеевым и с Ростопчиным отчетливо направлена на то, чтобы выразить свою позицию, свое мнение о Барклае и его командовании, отвести от себя обвинение в отступлении, поражениях, словом, отмежеваться от Барклая, но главное — довести свои суждения до ушей общественности, с мнением которой тогда считался даже царь, и тем повлиять и на самого государя. Кроме несомненно объективной информации и вполне здравых, взвешенных мыслей военачальника, эти письма содержат множество странных на первый взгляд суждений, которые иначе, как заведомо политическими и даже пропагандистки заостренными, не назовешь. Багратион сознательно рассчитывал на то, что содержание этих писем станет известно всем. В августе 1812 года он писал Ростопчину: «Прошу вас меня защитить перед публикой, ибо я не предатель, а служу так, как лучше не могу. Я не имел намерения вести неприятеля в столицу и даже и в границы наши, но не моя вина. Я вас уверяю моею честью, что я болен от непостижимых отступлений, и все, что я писал и пишу к государю, меня оправдать может»94.

При этом заметно, что Багратион в письмах как Ермолову, так и Ростопчину стремится вынести свой конфликт с Барклаем на свет божий, обратиться к обществу, государю: «Министр пишет мне как изменнику. Это истинно больно, но я не могу служить никак. Дела мои и все движения не ему отдам на суд, но целому свету, и сколько он меня не пугал и двулично не писал, я все вышел и выду с честью»95. И это ему удавалось. Сохранилось «осведомительное донесение» обер-полицмейстера Москвы П. А. Ивашкина министру полиции о слухах, ходивших по Москве. В одном из донесений сказано: 10 августа «полученное от князя Багратиона известие, что неприятель в Смоленске и главная наша квартира в Дорогобуже, привело жителей в страх и унынье… В сем деле приписывают военному министру, что не умел распорядить войска, а некоторые полагают, что он изменил и нельзя верить, чтоб можно было отдать Смоленск неприятелю»96.

Отец Карнюшки и потомок знаменитого грека. Несколько слов об адресате многих писем Багратиона. Главнокомандующий Москвы Федор Васильевич Ростопчин (1765–1826) выдвинулся на одно из первых мест в тогдашней политической элите как в силу своего положения руководителя московской администрации, так и в роли некоего идеолога «народной войны», своеобразного

теоретика российского «герострати́зма». Именно ему во многом принадлежит сомнительная слава поджигателя Москвы. Ростопчин ставил это себе в заслугу и писал царю, что тем самым «спас империю». Человек умный, образованный (учился в Лейпцигском университете), начитанный, светский, тонкий, он прославился необыкновенным остроумием, сочетавшим, по словам его биографа А. Ф. Брокера, «английское глубокомыслие, французскую любезность и чувства истинного боярина и патриота». Впрочем, Ростопчин не был выходцем из боярского рода, а родился в семье провинциального орловского дворянина. Карьеру же он сделал благодаря тому, что служил при гатчинском дворе цесаревича Павла камергером. Одновременно он игран роль этакого полушута, забавного (а порой и злого) рассказчика-острослова, словом, был тем «непременным дураком», роль которого в каждой компании берет на себя кто-нибудь из присутствующих. Это ему с блеском удавалось: как писал великий князь Николай Михайлович, Ростопчин — «человек большого ума и редкого остроумия, приобрел блестящее наружное образование, красно говорил и умел подметить и представить все смешное»97. Екатерина II называю его «сумасшедшим Федькой». Естественно, что карьера его удалась благодаря приходу к власти Павла. С воцарением императора Ростопчин стал получать чины и назначения, ранее для него немыслимые. Во многом этому способствовала его дружба с одиозным брадобреем царя Кутайсовым. Но, в отличие от своего приятеля, Ростопчин наверху не удержался, начал борьбу с влиянием при дворе Нелидовой — давней фаворитки Павла, потом приобрел себе врага в лице императрицы Марии Федоровны, наконец надоел своими шутками самому самодержцу и был уволен от всех должностей и отправился в Москву — место полуссылки всех проштрафившихся сановников. Там он просидел без дела до 1810 года. Назначенный накануне войны 1812 года главнокомандующим Москвы, Ростопчин какое-то время пользовался большим влиянием при дворе и в российском дворянском обществе. Он сразу cmai ярым противником всякого сближения с Францией, «бранил французов на чистейшем французском языке». В 1807 и 1812 годах Ростопчин получил известность как автор псевдонародных «афишек», имевших хождение в народе и в армии. «Афишки» появились как информационно-идеологические, точнее, пропагандистские документы, которые должны были влиять на умы народа, «возбуждать в нем, — как писал потом Ростопчин, — негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения Отечества»911. Публикуя официальные сообщения, он прибавлял в афишках

собственные комментарии от имени своих героев: некоего мещанина старичка Силы Андреевича Богатырева, мужика Долбилы, ратника Гвоздилы и Карнюшки Чихирина, приключения которого во множестве печатались на лубках. Тексты, которыми Ростопчин уснащивал свои афишки, написаны в псевдонародном, залихватском, гаерском, раешном стиле: «Бонапарте — мужичишка, который в рекруты не годится — ни кожи, ни рожи, ни виденья. Раз ударишь, так след простынет и дух вон». Именно император французов, все французы, их армия, вообще «немцы» стали объектом лубочной сатиры Ростопчина. «Полно тебе фиглярить, — говорит Карнюшка Наполеону за два месяца до вторжения, — вить солдаты-то твои карлики да щеголки: ни тулупа, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят, будут у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться». У французов, оказывается, дома остались слепые и хромые, старухи да ребятишки, а у нас «выведено 600 тысяч, да забритых 300 тысяч, да старых рекрут 200 тысяч. А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестам молятся, все братья родные». Под конец Карнюшка дает совет Бонапарту: «Не наступай, не начинай, а направо кругом ступай и знай из роду в род, каков русский народ». После вторжения Великой армии именно такой тон стал преобладающим в афишках и даже письмах Ростопчина. Приветствуя «воеводу русских сил» Кутузова, Ростопчин пишет: «А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: ну, дружина московская, пойдем и мы! И выйдем сто тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божью Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе»9".

Другим коньком Ростопчина в 1812 году стал пожар Москвы. Для себя он твердо решил сжечь столицу в случае прихода к ее стенам Наполеона и об этом многим объявил. Багратион, получив письмо Ростопчина под Вязьмой 14 августа, отвечал: «Признаюсь, читая сию минуту ваше письмо, обливаюсь слезами от благородства духа и чести вашей. Истинно так и надо: лучше предать огню, нежели неприятелю»100. В намерении сжечь столицу проявлялась и царившая в тогдашних умах идея народной, беспощадной войны, которую без пожарищ представить себе невозможно («не доставайся злодею!»), и, если так можно сказать, сознание господствующего класса, ревниво относящегося к Наполеону как к сопернику, способному завоевать симпатии народа. Это проявилось и в той тревоге, которую испытывали

Ростопчин и ему подобные от мысли, что Наполеон может дать волю крепостным, и в истории с пожаром Москвы. Ростопчин писал 19 августа, что хотя русский народ «есть самый благонамеренный, но никто не может отвечать за него, когда древняя столица сделается местом пребывания сильного, хитрого и щастливого неприятеля рода человеческого… Какого повиновения и ревности ожидать в губерниях, когда злодей издавать будет свои манифесты в Москве? Каким опасностям подвержен будет император»“”. Несомненно, что в своем фанатичном стремлении сжечь Москву Ростопчин усматривал подвиг, говорящий миру о его мужестве и самопожертвовании (недаром он сжег перед приходом французов собственное подмосковное имение Вороново, как считали некоторые, — безо всякой на то нужды, поскольку это и без него сделали бы крестьяне и французы-мародеры). В этом выражалось его желание прославиться — известно, что он считал пожар Москвы своим достижением, заслугой перед отечеством, хотя за ним навечно утвердилась слава русского Герострата. Впрочем, справедливости ради, нужно признать правоту его слов: «Неприятель, войдя в Москву, нашел в ней голод, оставляя — свое уничтожение». Действительно, если Наполеон так долго (кудивлению Кутузова) пробыл в сожженной и разоренной Москве, то что стало бы, если бы Москва оставалась, как тогда говорили, полной чашей — со своими запасами, богатствами, развлечениями, полумиллионом жителейУшел бы Наполеон из нее

«Поражай, наступай! Пей, ешь, живи и веселись!»

Письма Ростопчина Багратиону написаны в таком же, как в афишках, разговорном, псевдонародном стиле: «Ну-ка, мой отец, генерал по образу и подобию Суворова! Поговорим с глазу на глаз, а поговорить есть о чем! Что сделано, тому так и быть…» Этот «простонародный», порой почти с матерком, стиль подхватывает и Багратион. Этот стиль ему близок, как и сами «афишки» Ростопчина. Получив одну из них, Багратион писал: «Со слезами читал лист печатный. Истинный ты русский вождь и барин. Я тебя давно обожаю, и давно чтил везде, и по гроб чтить не перестану»102. В письмах Ермолову Багратион писал о предвоенной ситуации и начале своего отступления таким же языком: «Вообрази, братец: армию снабдил славно, без издержек государю. Дух непобедимый выгнал (то есть вызвал, пробудил. — Е. А.), мучился и рвался, жадничал все бить неприятеля. Пригнали нас на границу, разтыкали нас, как шашки102… Стали,

рот разиня, обосрали всю границу и побежали. Где мы защищаем? Ох, жаль, больно жаль Россию! Я со слезами пишу. Прощай, я уже не слуга; выведу войска на Могилев, и баста!»104

В этих письмах содержится постоянное осуждение всякого вида отступления, повторяется нарочитая проповедь исключительно наступательной тактики и стратегии. В письме Ермолову от 7 июля Багратион писал: «Бога ради, не осрамитесь, наступайте, а то, право, худо и стыдно мундир носить, право скину его… Им все удается, если мы трусов трусим… Ретироваться трудно и пагубно. Лишается человек духу, субординации, и все в расстройку… Ежели вперед не пойдете, я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр — искать и бить! Вот одна тактическая дизлокация, какие бы следствия принесла нам. А ежели бы стояли вкупе, того бы не было! С начала не должно было вам бежать из Вильны тотчас, а мне бы приказать спешить к вам, тогда бы иначе! А то побежали и бежите, и все ко мне обратилось! Теперь я спас все, и пойду только с тем, чтобы и вы шли. Иначе — пришлите командовать другого, а я не понимаю ничего, ибо я не учен и глуп. Жаль смотреть на войско и на всех на наших. В России мы хуже австрийцев и пруссаков стали»101. Ругая отступление, Багратион не дает пощады даже самому государю, что вообще-то для осторожного в «дворских обхождениях» полководца довольно необычно: «По-моему, видно государю угодно, чтобы вся Россия была занята неприятелем. Я же думаю, что русский и природный царь должен наступательный быть, а не оборонительный, — мне так кажется»“”1.

При этом отступала и 2-я армия, но собственное отступление Багратион воспринимал как вынужденное, совершаемое по чужой (точнее, Барклая) вине и при этом героическое, сопряженное с победами: «Мне одному их бить невозможно, ибо кругом был окружен и все бы потерял. Ежели хотят, чтобы я был жертвою, пусть дадут именное повеление драться до последней капли. Вот и стану!»; «Не шутка 10 дней, все по пескам, в жары на марше, лошади артиллерийские и полковые стали, и кругом неприятель. И везде бью»107.

В таком шутовском, в духе Ростопчина, дискурсе у Багратиона выходит все необычайно легко и просто, особенно когда речь идет о действиях других: «Мы можем победить их весьма легко, можно сделать приказать двинуться вперед, сделать сильную рекогносцировку кавалерией и наступать всей армией. Вот и честь и слава!»108 Только с передачей всей полноты власти именно ему, Багратиону, он связывает резкую перемену стратегии: «Я делаю все, что должно христианину и русскому, а

более бы сделал, если бы ваш министр отказался от команды. Мы бы вчера были в Витебске, отыскали бы Витгенштейна, и пошли бы распашным маршем, и сказали бы в приказе: "Поражай, наступай! Пей, ешь, живи и веселисьГ» т. Читая эти залихватские письма, сопоставляя их с деловой перепиской Багратиона, ловишь себя на мысли, что они написаны другим человеком. Разве мог на самом деле так поступать, а тем более писать в приказе, будь его воля, генерал от инфантерии князь П. И. Багратион!

Как врага закидать шапками

Одновременно, как у Ростопчина, все эти зряшные призывы Багратиона сочетаются с принижением, подчас нарочитым, достоинств и боевых качеств противника: «Насилу выпутался из аду. Дураки меня выпустили“”… Как (государь. — Е. А.) позволил ретироваться из Свенцян на Дриссу? Бойтесь Бога, стыдитесь! Россию жалко! Войско их шапками бы закидало. Писал я, слезно просил: наступайте, я помогу. Нет! Куда вы бежите? Ей-богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас, войско ропщет, и все недовольны… Зачем побежали? Надобно наступать!.. Несмотря ни на что, ради Бога, ступайте и наступайте! Ей-богу, оживим войско и шапками их закидаем»“1. «По всему видно, что войска его не имеют уже того духа, и где встречаем их, истинно бьют наши крепко. С другой стороны, он не так силен, как говорили и ныне говорят…» «Божусь вам, неприятель — дрянь, сами пленные и беглые божатся, что если мы пойдем на них, то они все разбегутся»112. Еще раньше Багратион писал Аракчееву: «Советую наступать тотчас. Не слушайте никого. Пуля — баба, штык — молодец. Так я полагаю. Остроумие г-на Фуля… (вероятно, далее непристойность. — Е. А), что он делает нас бабою»1”. Здесь, конечно, чувствуется стилистика учителя Багратиона Суворова, для которого раешный, шутовской язык был одним из способов общения с людьми, — вспомним все известные «чудачества» великого полководца.

Как сказано, армия покинула Смоленск с боями, отбиваясь от наседавших французов, которые тотчас перешли на правый берег Днепра и стали преследовать русские войска, что очень тревожило Багратиона. Но из Дорогобужа он писал Аракчееву: «Неприятель стал в пень. Что стоило еще оставаться 2 дня. По крайней мере, они бы сами ушли, ибо не имели воды напоить людей и лошадей»114. Все это далеко от правды. Общая картина происшедшего после Смоленска, как уже сказано, была совершенно иной. Наполеон не «ставал в пень», никуда уходить

не собирался, наоборот — он был готов вступить с русской армией в битву и навязывал ее русским.

После же того как русским армиям, под сильнейшим напором превосходящих сил противника, удалось вырваться у Дубина на Московскую дорогу и начать по ней поспешный отход, Багратион пишет Ростопчину: «Мне кажется, неприятель далее не потянется — устал точно, и наши усердно их бьют. Против меня даже бросали ружья и все с себя скидали, кричали пардон. Божусь вам Богом, что три полка нашей кавалерии и три полка казаков опрокинут 60 эскадронов и самого Мюрата»115. Как профессиональный военный он прекрасно понимал, что ни по численности, ни по качеству тогдашней нашей кавалерии такое невозможно. Но это в стиле Карнюшки и его создателя: одним махом «семерых побивахом». Причем в тех же письмах порой читаем вполне реалистичные оценки. Оказывается, что противник, «ставший в пень» и готовый вот-вот бежать или проиграть сражение, по словам того же Багратиона, «с многочисленнейшею кавалериею старается обходить наши фланги и предупредить нас прибытием в Вязьму», что «неприятель неотвязчив: он идет по следам нашим», что «откровенно говорю, что нас здесь очень немного, в обеих армиях едва ли будет 80 тысяч, а он сильнее"6. Вспомним также весьма высокую оценку, которую раньше давал Багратион французской армии.

А как можно понять столь же «раешный», вполне в стиле афишек Ростопчина и лубочных картинок, «проект» обороны Москвы, изложенный Багратионом Ростопчину: «Мне кажется, иного способу уже нет, как, не доходя два марша до Москвы, всем народом собраться и что войска успеет, с холодным оружием, пиками, саблями и что попало соединиться с нами и навалиться на них, а ежели станем отступать, точно к вам неприятель поспешит»“7. И эти слова пишет опытнейший полководец, блестящий знаток рассчитанного, умного отступления, гений арьергардных боев! И будто в подтверждение этого вывода он тут же допускает невольное признание (кстати, о кавалерии): «Пуще шельма имеет множество конницы и тем нас озадачивает, вдруг очутится в 50 верстах на фланге кавалерия». А потом продолжает: «Всякий день я имею пленных, и все единогласно жалуются, что нет пропитания, и даже просят, чтоб мы решились б дать им баталию, и тогда они все побегут»”8.

Цена признаний пленных. Пленные были одним из важнейших источников информации о противнике. За ними охотились обе стороны. Огромной удачей было перехватить фельдъегеря или курьера противника с депешей. За это можно

было получить награду от командования. Но случались и курьезы. Русский агент Хершенсон доносил по начальству, что 4 июля «в расстоянии 20-ти верст от Орши взят (русский) фельдъегерь, и так как он попал к пьяным людям, то депеши его изорваны, а сам он с извощиками и с лошадьми взят в плен»"9. Ценной добычей считались пленные, взятые в бою. В те времена пленник обычно не упорствовал в молчании, а рассказывал все, о чем его спрашивали: жизнь была дорога, а воинская этика позволяла пленному сообщать сведения о себе.

Однако читая составленные на основе допросов пленных отчеты русского командования, удивляешься излишней доверчивости их составителей и высокопоставленных читателей (среди которых был и Багратион). Пленные, а особенно дезертиры, рассказывали то, что хотели услышать от них в русских штабах.

Набор этих показаний был стандартным: моральный дух солдат Великой армии ужасен, войска голодают, разбегаются, в частях вот-вот начнется бунт. Особенно ярко почему-то живописали катастрофическое состояние французской кавалерии. Вот отчет Главной квартиры, в котором сказано о состоянии четырнадцати французских кирасирских полков в период до Бородина: «Каждый из сих полков не содержит в себе более 250 человек, что составляет всего 3500 кирасиров. Лошади их находятся в таком худом состоянии, что, по словам дезертиров и пленных, полки не могут выдержать баталии. Хотя состояние гвардейской кавалерии лучше, но все дезертиры и пленные разных наций и чинов утверждают, что она также претерпевает великий недостаток в фураже и что в короткое время она может лишиться всех своих лошадей»"0. Напомним, однако, что на Бородинском поле французская тяжелая кавалерия действовала весьма эффективно. Что же касается убыли лошадей в кирасирских полках Великой армии, то она, конечно, была значительной (об этом есть несомненные свидетельства), но вместе с тем надо учитывать, что из Восточной Пруссии и Герцогства Варшавского непрерывно шли маршевые эскадроны, которые пополняли действующие войска. Как писал французский военный губернатор Литвы граф Д. Гогендорп, «подкрепления для армии подходили все время». Кроме целого корпуса, пришедшего в сентябре, в армию постоянно отправляли маршевые батальоны, составленные из солдат, вышедших из госпиталей, отставших и гарнизонных солдат121.

Примечательно, что в цитируемом выше отчете Главной квартиры есть и такой пассаж: «Сообщая вам описание плачевного состояния врагов наших, могу уверить, что наша армия находится

в лучшем состоянии. У нас обилие в сухарях, всякой крупе и водке. Воины наши содержатся не хуже, чем в мирное время»122. Последнее — типичное официальное вранье. А. Н. Муравьев, шедший вместе с арьергардом Коновницьша, вспоминал, что «арьергард наш терпел величайшую нужду в продовольствии, ибо идти по следам 120-тысячной нашей армии, где все по дороге и по сторонам разорено и сожжено, поставляло нас в совершенную невозможность воспользоваться чем-либо для продовольствия, не оставалось даже соломы для биваков и дров для разведения огня. Мне случилось однажды два дня оставаться совершенно без всякой пищи, с услаждением насытился кусочком свиного жира, который один казак достал из-под потника своего коня. Кусок этот был покрыт лошадиной шерстью. Не я один был в такой нужде, но и многие другие штабные, не получавшие правильной раздачи сухарей, да и весь арьергард вообще очень нуждался, потому что не полагали, что отступление продолжится так далеко внутрь государства, и потому заготовлений было очень мало. Думаю, что я более других страдал от голода, потому что не имел денег для покупки кое у кого и где только мог сухаря, продовольствия же из запасов после отступающей армии мы вообще получали очень мало, и, кроме собственных средств, кормиться было почти нечем»1".

Укрыться в чужую хижину от иллюмината-чухонца

Письма Багратиона Ростопчину и Аракчееву просто пышут ненавистью и презрением к Барклаю, все без исключения действия его подвергаются сомнению и осмеянию. В этих письмах преобладает ревниво-злое отношение к Барклаю с элементами ксенофобии, намеками на низкое происхождение, трусость и даже измену главнокомандующего 1-й армией: «Я знаю, что вы — русский, дай Бог, чтобы выгнали чухонцев, тогда я вам докажу, что я верный слуга Отечеству… А всего короче скажу вам, что он (то есть Наполеон. — Е. А.) лучше знает все наши движения, нежели мы сами, и мне кажется, по приказанию его мы и отступаем и наступаем…» «Вождь наш — по всему его поступку с нами видно — не имеет вожделенного рассудка или же лисица… Барклай яко иллюминат (в смысле масон. — Е. А.) приведет к вам (в Москву. — Е. А.) гостей. Мне делать нечего: вся армия видит мои труды, но они непрочны — я повинуюсь, к несчастию, чухонцу; все боится он драться». «Я примечаю, что он к вам хочет бежать. Христа ради, примите его в колья или в дубины, когда прибудет»124.

Здесь, как и в других местах переписки, Багратион демонстрирует известный принцип — «уничижение паче гордости». Он изображает себя в виде смиренного, униженного, скромного исполнителя чужой, злой воли, который, однако, не желает служить «чухонцу». В этом отчетливо видны и комплексы этого талантливого самоучки: «Пришлите командовать другого, а я не понимаю ничего, ибо я неучен и глуп» или: «Ну, брат, и ты пустился дипломатическим штилем писать. Какой отчет я дам России? Я субальтерн, и не властен, и не министр, и не член Совета»125. Тема отсутствия прежней доверенности государя, «невхожести» в политические круги по-прежнему волнует Багратиона, и это отражается на его переписке. Кроме того, он постоянно угрожает своей отставкой. Так он писал со времен отступления от Николаева на Бобруйск: «Я, ежели выдерусь отсюда, тогда ни за что не останусь командовать армиею и служить. Стыдно носить мундир…

Нет, мой милый! Я служил моему природному государю, а не Бонапарте… Если бы он (Барклай. — Е. А.) был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выду с честию и буду ходить в сюртуке, а служить под игом иноверцев-мошенников — никогда!» Или: «Ежели для того, что фигуру мою не терпит, лучше избавь меня от ярма, которое на шее моей, пришли другого командовать»; «Я никак вместе с министром не могу. Ради Бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать, в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу»126. Это цитаты из уже известных нам писем Багратиона Аракчееву. Так он писал и позже, во время отступления от Смоленска («Прощайте! Вам всем Бог поможет, и дай вам Бог все. а мне пора в чужую хижину оплакивать отечество по мудрым распоряжениям иноверцев»)127. Только что не прибавил вполне литературное: «…под сенью струй». «Я лучше пойду солдатом в суме воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклаем»128. Но к намерению уйти в отставку (о которой он между тем официально никогда не заикался), к описанию своей болезни он относится как к фигуре речи: «А я очень нездоров и с ума сошел точно по милости Б(арклая). Следовательно, сумасшедший не токмо защищать отечество, но и капральством не может командовать». При этом дает истинный «диагноз» своей болезни: «Так болен! А ежели наступать будете с Первою армиею, тогда я здоров!»129

Сетования на болезни и «твердое намерение» уйти в отставку перемежаются в письмах Багратиона со вполне серьезными сюжетами. Завершая явно игровой пассаж в письме Ермолову («… а мне пора в чужую хижину…» и т. д.), он сразу же пишет: «Дайте знать, что у вас делается по известиям. На Ельню неприятеля не

слышно. Я от вас ничего не имею. Что делается в Смоленске? Куда они идут — за вами или остановились? Где Платов и какое его направление? Нужно нам собрать людей. Усталых много, отдохнуть надобно. Подумайте укомплектовать в Дорогобуже…»130

Бракующий Багратион

В одном из писем Багратиона Ростопчину после ухода из Смоленска есть примечательное место: «Все отступление его (Барклая. — Е. А.) для меня и всей армии непостижимо, а еще хуже, что станет на позицию, вдруг шельма Платов даст знать, что сила валит, а мы снимайся с позиций и беги по ночам, в жар и зной назад, морим людей на пагубу несем (неприятеля. — Е. А.) за собою»131. Подобная интерпретация обстоятельств отступления и выбора позиций после сдачи Смоленска совершенно противоречит реальному положению дел и тогдашнему поведению самого Багратиона.

Точно известно, что первая позиция, выбранная генерал-квартирмейстером Толем при Усвятье (при Андреевке), была — после совместного осмотра главнокомандующими и великим князем Константином — забракована по инициативе как раз Багратиона, который утверждал, что позиция под Дорогобужем представляет больше выгод132. Барклай ночью 11 августа дал приказ отвести обе армии к Дорогобужу и встать в позицию перед городом133. Примечательна история с выбором и этой позиции. У нас есть свидетельства нескольких людей — Клаузевица, Левенштерна, Граббе и Вистицкого, бывших тогда с главнокомандующими русских армий. Клаузевиц пишет, что «генерал Багратион был чрезвычайно недоволен этой позицией… Полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и не слишком вежливый, не захотел сразу же отказаться от своей идеи и стал возражать, что в высшей степени раздражило князя Багратиона, который закончил разговор довольно обычным для России заявлением: “Господин полковник! Ваше поведение заслуживает того, чтобы вас поставить под ружье!1”34 В России подобное выражение является не только фразой; как известно, там может состояться в законном порядке своего рода разжалование, причем самый знатный генерал, по крайней мере формально, может стать рядовым. К этой угрозе никак нельзя было отнестись с пренебрежением. Барклай смог бы заступиться за своего генерал-квартирмейстера, лишь выступив в качестве главнокомандующего, и категорическим приказанием заставить

князя Багратиона замолчать и повиноваться, но он был далек от этого. Проявить такую авторитарность, пожалуй, было для него и практически невозможно вследствие сложившихся взаимоотношений, к тому же он не обладал достаточно властным характером для такого выступления». И хотя Толя не разжаловали, мнение Багратиона победило, и «оба генерала решили отказаться от позиции, которую так расхваливал Толь»135.

Присутствовавший также при этой сцене барон Левенштерн дает несколько другую интерпретацию происшедшего. Он сообщает, что Барклай и Багратион осматривали позицию, и Багратион, «опасаясь, чтобы обе армии не были отрезаны от Дорогобужа, уговорил Барклая оставить эту позицию и поискать более удобной близ Вязьмы»1311. Это подтверждает и Барклай в письме императору 14 августа («Положено было обще с князем Багратионом отступить к Вязьме в три колонны»)137. В редакции Левенштерна Барклай и Багратион нашли позицию «неудачной во многих отношениях, и генерал Барклай высказал полковнику Толю, избравшему эту позицию, свое неодобрение по поводу неудачного выбора местности. Толь, со своей обычной откровенностью, доходившей иногда до грубости, отвечал, что он не может создавать позиции и не умеет выбирать лучшей там, где природа не содействует его целям. Генерал Барклай, обдумывавший в это время дальнейший образ действия, не обратил внимания на эту грубую выходку, но князь Багратион был возмущен ею и сконфузил молодого полковника Главного штаба, прочитав ему наставление, которым он был совершенно уничтожен. Он сказал Толю: “Если вы не умеете выбирать лучшей позиции, это еше не доказывает, что другие не могли бы сделать этого: во всяком случае, такому юнцу как вы неприлично говорить подобным тоном с главнокомандующим, заслужившим всеобщее уважение и которому все подчиняются беспрекословно”. Князь добавил, что он, князь Багратион, сам подает к тому пример и, будучи старше в чине, с готовностью подчиняется генералу Барклаю; шесть генералов, украшенных Андреевскими лентами, считают за честь повиноваться главнокомандующему и признают его выдающиеся способности, благодаря которым он стал во главе армии; он, Толь, обязан своим спасением великодушию и доброте главнокомандующего, который не обратил внимания на его неприличные слова; если бы участь Толя зависела от него, князя Багратиона, то ему пришлось бы надеть солдатскую шинель. Полковник Толь, бледный как полотно, молчал… Войскам было приказано сняться с позиции. Это приказание было результатом предыдущей сцены»138.

И хотя в приведенной речи Багратиона в защиту Барклая есть скрытые шипы (упоминание о его старшинстве перед Барклаем, о шести кавалерах ордена Святого Андрея Первозванного, которого тогда не был удостоен Барклай), для нас главное другое — позицию при Уше забраковал Багратион — один или вместе с Барклаем, — вопреки мнению Толя, который, получив выволочку от Багратиона, даже заплакал от обиды139. О том, что «весьма выгодную позицию» оставили «по совету князя Багратиона», писали Щербинин и Вистицкий, а также поляк Колачковский140.

Так что обвинения Багратиона в адрес Барклая, который якобы бросил выбранные позиции и бежал, неосновательны. Толь был убежден, что «двойственное поведение князя Багратиона, бракующего сравнительно выгодную позицию и указывающего заведомо невыгодную, можно объяснить тою интригой, которая велась в это время против благородного командира 1-й армии Барклая де Толли»141. С этим можно согласиться. Багратион был страшно раздражен на Барклая и порой даже капризничал. 14 августа Сен-При написал письмо своему коллеге А. П. Ермолову от имени Багратиона: «Что касается до предложения военного министра остановиться здесь и делать роздых для войск, князь приказал мне вам сказать, что он на все согласен, а впредь не намерен вмешиваться ни в какие дела, знавши по опытам, что все его предложения никогда не приводятся в исполнение. Он замечает только…», и дальше Багратион передает свое несогласие с предложением Барклая142.

Когда армия подошла к Вязьме, то там удобной позиции не оказалось. Багратион сам позицию не осматривал, но писал Ростопчину о «происках» Барклая: «Я согласиться никак не могу с Барклаем потому, что я хочу наступать, а он отступает, — вот вся беда наша. Требует письменного всегда моего мнения и соглашается до тех пор, пока читает, а потом вдруг переменит и выдумывает небылицы. В Вязьме я так прост, чтобы всем нам остановиться, и министр был согласен, но сейчас получил бумагу, что позиции нет там, а что за 10 верст за Вязьмою, по Московской дороге, есть изрядная позиция, а воды-де нет. Я и примечаю, что он к вам хочет бежать…» В письме Ермолову Сен-При, которому Багратион выразил свое мнение, сказано совсем другое: «Он (Багратион. — Е. А.) замечает только, что ежели мы здесь повременим и оставим приуготовлять нам лагерное место в Вязьме г-ну Толю, то мы возобновим ошибки наши под Дорогобужем, куда мы привели неприятеля на плечах, чтобы бросить в скорости самую выгодную позицию. Он полагает, что самим лучше всем распорядиться на месте и не дать время неприятелю нас преследовать всеми своими силами и нас

принудить дать сражение, прежде чем наши силы (имеется в виду запасной корпус Милорадовича. — Е. А.) к нам подойдут»142. Из этого текста никак не вытекает, что Багратион просит остановиться в Вязьме; напротив, он ратует за отход войск.

Словом, позицию для генерального сражения под Вязьмой не выбрали и смогли это сделать только у Царево-Займища. Позиция у этого села по всем параметрам вроде бы подходила для генерального сражения. С этим были согласны оба главнокомандующих. Впрочем, Щербинин писал, что позиция эта была опасна тем, что за спиной войск протекала речка с болотистыми берегами. Но уже пришедший в отчаяние от отступления и тяжести жернова ответственности на своих плечах Барклай решил дать здесь сражение. «Толь, — пишет Щербинин, — до такой степени убежден был в опасности этого лагеря, что бросается перед Барклаем на колени, чтобы отклонить его от намерения сражаться здесь. Барклай не внимает убеждениям своего генерал-квартирмейстера. Но вдруг извещают о прибытии Кутузова в Царево-Займище… День был пасмурный, но сердца наши прояснились. Узнав от Толя об опасности лагеря, князь Кутузов тотчас приказал отступать»144. Квартирмейстер немного ошибается: поначалу Кутузов решил принять бой в этой позиции и приказал ее укреплять, но потом действительно дал приказ об отступлении. Отчаянный спор Багратиона с Барклаем, столько недель изводивший его участников и всю армию, утратил свою актуальность. Все с надеждой теперь смотрели на Кутузова…

Глава девятнадцатая
На него указал общий глас

Чрезвычайное заседание Чрезвычайной комиссии

Назначение и приезд в армию М. И. Кутузова стали неожиданным и болезненным ударом по надеждам и самолюбию Багратиона. Решение о назначении главнокомандующего всеми армиями было принято еще до того, как в Петербурге получили известие об уходе русских войск из Смоленска. Это произошло 5 августа, когда из действующей армии прибыл князь П. М. Волконский, который привез с собой несколько писем высших военачальников. Среди этих писем было письмо царю от его друга детства графа П. А. Шувалова, чьим мнением император особенно дорожил. Шувалов писал: «Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями. Необходимо, чтобы Ваше величество назначил его немедленно, иначе — погибла Россия»1. Так думали в то время и другие2.

В день получения письма от Шувалова по указу Александра I был образован Чрезвычайный комитет из первейших и доверенейших царских сановников и военных во главе с фельдмаршалом Н. И. Салтыковым, воспитателем Александра I. Доклад, согласно одной из версий, сделал Аракчеев, и комитет в тот же день, изучив все привезенные из действующей армии донесения и записки, констатировал: «По выслушании всех оных бумаг все единогласно признали, что бывшая доселе недеятельность в военных операциях происходит от того, что не было над всеми действующими армиями положительной единоначальной власти, и сколь в настоящее время невыгодно сие власти раздробление, столь, напротив того, необходимо общее оной соединение». После этого комитет вынес решение-рекомендацию о назначении на пост главнокомандующего генерала от инфантерии светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова. Принято считать, что комитет рассмотрел шесть кандидатур — Л. Л. Беннигсена, Д. С. Дохтурова, А. П. Тормасова, П. А. Палена, П. И. Багратиона и М. И. Кутузова. Все они, кроме последнего, были один за другим отвергнуты. На каком основании была отведена кандидатура Багратиона, нам неизвестно. Но из всех кандидатов (включая Багратиона) Кутузов был старшим из полных генералов как по возрасту, так и по службе. Он имел огромный опыт участия в военных действиях,

был сподвижником А. В. Суворова и П. А. Румянцева. Для родовитых членов комитета немаловажным оказалось и то, что Кутузов был выходцем из древнего дворянского рода, русским, богатым и знатным барином, пожалованным, согласно указу императора от 20 июля 1812 года, то есть сразу после начала войны, титулом светлейшего князя.

Способ перехитрить великого визиря. После Аустерлица Кутузов сумел реабилитировать себя в глазах общества виртуозным (если так можно сказать) окончанием войны с Турцией. Грандиозные события Отечественной войны 1812 года заслонили эту «незнаменитую войну» с южным соседом, но в первой половине 1812 года о ней много говорили — так необыкновенно вел войну Кутузов. Ему, уже пятому по счету главнокомандующему, прибывшему в Бухарест весной 1811 года, вникать в суть дела не приходилось — он все помнил и знал со времен Прозоровского, хотя ехал в Бухарест без всякой охоты. В его распоряжении было 45 тысяч человеки эти силы считались недостаточными для активного наступления на противника. Поневоле Кутузов должен был строить оборонительную стратегию. Между тем Ахмед-паша, ставший весной 1811 года новым великим визирем, оценил изменение международной обстановки (грядущий разрыв России и Франции), решил отказаться от оборонительной тактики и начал готовить крупную наступательную операцию по отвоеванию потерянных османами в прежние годы придунайских земель. Первым столкновением старых знакомых стал бой под Рущуком 22 июня 1811 года. Сражение началось неудачными попытками турок обойти с правого фланга русскую армию, построенную в несколько каре, но удар конницы Бошняка-аги слева привел к прорыву русских построений, хотя пехотные каре, в отличие от драгунской и гусарской кавалерии и части конной артиллерии, устояли. Кутузов сумел перегруппировать свои силы и отбить натиск Бошняка-аги. После этого, почувствовав подходящий момент для контратаки, он отдал приказ двинуться всеми силами на турецкую пехоту, которая начала отступать и вскоре покинула поле боя. К удивлению многих, Кутузов не стал преследовать отступавших почти в беспорядке турок. Он предпочитал держать синицу в руках, а не гоняться за журавлем в небе, считал, что преследование закончится у стен сильной турецкой крепости Шумлы, для взятия которой у него было явно недостаточно сил и средств. Словом, он не хотел повторять сомнительный успех своих предшественников — Багратиона и Каменского. Потери сторон в сражении были не особенно значительны, да и награда Кутузову за эту, как считали в Петербурге, полупобеду была

скромной — портрет государя в бриллиантах. Вообще, государь был недоволен Кутузовым, который не только не воспользовался возможностью разгромить турок окончательно, но и неожиданно для всех 27 июня, взорвав Рущук, отошел на левый берег Дуная. Судя по истории с Багратионом, такой поступок рассматривался государем почти как преступление. Впрочем, это решение поразило и людей опытных, генералов армии Кутузова. Он же объяснял им, что «не в Рущуке важность. Главное дело состоит в том, чтобы заманить визиря на левый берег Дуная. Увидя наше отступчение, он наверное (в смысле наверняка. — Е. А.) пойдет за нами»4.

В том, что сделал Кутузов, взорвав Рущук, а еще раньше, в конце мая, крепости Никополь и Силистрию, было по тем временам нечто новое. До Кутузова русская армия, воюя с турками, невольно втягивалась в «азиатскую войну», которая состояла в основном из осад, взятия и обороны крепостей. На это расходовались огромные силы и ресурсы армии, она распылялась между множеством крепостей. Мало кто считал, сколько раз в течение пяти русско-турецких войн приходилось брать одни и те же крепости. Между тем в Европе царил иной принцип ведения войны, согласно которому победы в войнах достигаются преимущественно в полевых сражениях. И Кутузов твердо встал на этот путь. Уничтожая крепости, он заодно освобождал свои не очень большие силы. Безусловно, он был тонким психологом и хорошо знал нравы и привычки своего противника. С самого начала он соблюдал все принятые тогда нормы восточного этикета в отношении турецких командующих. Так, он сообщал жене, что перед самым Рущукским сражением послал визирю «шесть фунтов чаю, он до его охотник», а в ответ получил от визиря лимоны и апельсины. «Мы с ним весьма учтивы и часто наведываемся о здоров и и»1.

Неудивительно, что прежде столь осторожный визирь был удивлен бездействием Кутузова, а еще больше — его отходом за Дунай и уничтожением первоклассной крепости, остатки которой турки тотчас заняли. В Стамбуле уход русских праздновали как блестящую победу. Визирь увидел в этом слабость и так уже уменьшенной русской армии и, как и предполагал Кутузов, решил добить ее. Известиям с Дуная обрадовался и Наполеон, который хотел, чтобы Османская империя была его союзником в готовящейся войне против России.

Конечно, Кутузов, задумав свой хитроумный план, сильно рисковал. Но, успокаивая императора, он писал, что «отступление за Дунай и упразднение Рущука могут нанести вред только личной моей славе». И Барклаю он объяснил, что поступил так,

«несмотря на частный вред, который оставление Рущука сделать может только лично мне, а предпочитая всегда малому сему уважению пользу государя моего…». Вскоре стало ясно, что он предугадал действия турок — по всему Дунаю они стали собирать суда, явно готовясь к форсированию реки. В конце августа началась переправа турок в том месте, где и ожидал их Кутузов. Ахмет-бей перевел на левый берег 36 тысяч человек, оставив в лагере на правой стороне, близ Рущука, визирский стан и еще 30 тысяч солдат. Сразу после переправы на левый берег турки, верные себе, начали строить мощные земляные укрепления, опасаясь естественной в такой ситуации атаки русских. Но Кутузов, выманив великого визиря на левобережье, этим не ограничился. Главная мысль его состояла в следующем: «Отрядить сильный корпус за Дунай, разогнать находившиеся там турецкие войска, схватить визирский лагерь, поставить в нем батареи и громить армию верховного визиря с обоих берегов Дуная, отрезывая ей всякое сообщение, отступление и продовольствие»6. В течение нескольких недель он «приучал» противника к постоянным появлениям на правом берегу Дуная казаков, которые, по обычаю своему, шарили в окрестностях Рущука в поисках добычи. 1 октября 1811 года ночью отряд генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Маркова (семь с половиной тысяч человек), оставив свои палатки в лагере на левом берегу Дуная, незаметно переправился на правый берег. По разведанной ранее тропе, тянувшейся вдоль Дуная, отряд Маркова 2 октября скрытно подошел к визирскому лагерю и внезапно ударил по туркам. Лагерь был захвачен с ходу, турецкие войска и визирская свита бежали, трофеи были огромны, победа полная! Марков установил в захваченном лагере батареи и немедленно начал обстреливать через Дунай турецкие войска, засевшие на левом берегу. Одновременно Кутузов предписал судам Дунайской флотилии начать обстрел турецкого лагеря с реки. Мышеловка захлопнулась! В ночь на 3 октября великий визирь, поняв свой промах, бежал из левобережного лагеря. Это даже обрадовало Кутузова: по турецкому обычаю, визирь, попавший в окружение, терял право вести мирные переговоры, а именно они были главной целью русского командования. Как раз 30 сентября Н. П. Румянцев прислал Кутузову инструкцию об основных условиях мирного договора с Портой, которые были значительно мягче прежних. Теперь

Александр требовал только Молдавию и Бессарабию (хотя бы частично) и готов был уступить Валахию, но за деньги, а «жребий Сербии» предлагал обеспечить «сколь можно согласно с желанием сербской нации» — формула неопределенная, позволявшая во

время переговоров сдать сербов (что и произошло); с Грузией же предлагаюсь поступить по справедливости: кто чем владеет — то и его7.

Окруженные на левом берегу со всех сторон турки за три месяца плотной блокады перешли на конину и подножный корм, в их нестройных рядах началась жуткая смертность. После долгих переговоров в конце ноября 1811 года было принято удивительное в истории войн соглашение: турецкая армия, сдав пушки и оружие, «поступала в сохранение наше» до заключения мирного договора. Турок не рассматривали как военнопленных, они жили на положении «мусафиров» — гостей, до тех пор пока не будет подписан мир, после чего они могли свободно отправиться по домам. Ясно, что «сохранение» стало эвфемизмом капитуляции, пленения 12-тысячной турецкой армии (около 20 тысяч солдат погибло в окружении от обстрелов или умерло с голоду). Кутузов старался не загонять турок в угол, понимая, что они, несмотря на поражение, должны сохранить лицо и мир «на спине визиря» подписывать нельзя — иначе их сопротивление будет отчаянным и непреодолимым. В этой войне, которую случай предоставил Кутузову вести самостоятельно, без оглядки на государя, он проявил себя как выдающийся полководец, тонкий стратег и тактик. Во всех его действиях, начиная с Рущука, прослеживались глубокая идея, четкий план, пугающая противника неожиданность и новизна. Мало кто ожидал такого блеска мысли, тонкости действий от престарелого, склонного к покою и неге сластолюбца и царедворца. Его заклятый враг генерач Лонжерон был вынужден признать: «План Кутузова был превосходный, но нас всех страшно удивило, что он был придуман самим Кутузовым, от которого нельзя было ожидать таких быстрых решений»".

За выдающийся воинский успех на Дунае Кутузов получил графское достоинство Российской империи — и более ничего. Думаю, что если бы таких успехов достиг любимый императором Каменский 2-й, то быть бы ему фельдмаршалом и кавалером Георгия 1-го класса. Да и позже Кутузов раздражал государя своей медлительностью. Переговоры Кутузова с кяхья-беем (заместителем великого визиря) М. Галибом-эфенди были перенесены в гостеприимный Бухарест и тянулись до лета 1812 года. Договаривающиеся стороны пили шербет, бесконечно согласовывали условия мира, много отдыхали. Кутузов завел на старости лет бурный роман с 14-летней замужней валашкой.

Этот роман раздражал его подчиненных, называвших своего главнокомандующего «пьянствующим, беспутным стариком… преступным и грешным»9. В марте 1812 года Россия пытаюсь

припугнуть султана тем, что русский и французский императоры могут помириться и начнут делить Османскую империю, но дело не двигалось. Александр, стремившийся освободиться от турецкой войны, обещал Кутузову «вечную славу», если тот заключит мир. В апреле терпение государя лопнуло. Он решил заменить «ленивого» Кутузова адмиралом П. В. Чичаговым, чтобы ускорить заключение мира с турками на любых условиях, — война с Наполеоном должна была разразиться буквально в ближайшие недели. Но не таков был Кутузов, чтобы отдать другому лавры победителя. 5мая он подписал с турецкой делегацией предварительные условия мира. 6 мая в Бухарест прибыл Чичагов, и пока он принимал дела у Кутузова, тот 16 мая как «главный уполномоченный» подписал долгожданный мирный договор, так огорчивший Наполеона.

Патриотизм исключает всякое чувство оскорбления

Для членов Чрезвычайного комитета, знавших суть описанного выше, мир с турками был победой Кутузова. Кроме того, летом 1812 года имя Кутузова, деятельно занимавшегося формированием ополчения в Петербурге, было у всех на устах. Его воспринимали как заслуженного воина, патриота. Все это позволило Чрезвычайному комитету назвать его единственным кандидатом на пост главнокомандующего.

Известно, что Александр был плохого мнения о Кутузове, имя которого ассоциировалось у него с печальным для русской армии Аустерлицем. Были и другие причины нелюбви императора к Кутузову. Но в тот момент Александр преодолел свою антипатию и, идя навстречу общественному мнению, согласился с решением Чрезвычайного комитета, в котором были указаны важнейшие причины выбора Кутузова: «Рассуждая, что назначение общего главнокомандующего армиями должно быть основано, во-первых, на известных опытах в военном искусстве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом старшинстве, посему единогласно убеждаются предложить к сему избранию генерала от инфантерии князя Кутузова»10. 8 августа царь утвердил Кутузова на посту главнокомандующего всеми армиями. В рескрипте на имя Кутузова Александр писал, что «настоящее положение военных обстоятельств наших действующих армий хотя и предшествуемо было начальными успехами, но последствия оных не открывают мне той быстрой деятельности, с каковою бы надлежало действовать на поражение неприятеля». Исходя из этого, государь решил назначить единого

главнокомандующего, «которого избрание, сверх воинских дарований, основывалось бы и на самом старшинстве». Обращаясь к Кутузову, Александр писал: «Известные военные достоинства ваши, любовь к отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают вам истинное право на сию мою доверенность»11.

На самом деле решение императора было вынужденным, не отвечало его истинным желаниям. Александр писал сестре Екатерине Павловне 18 сентября, что ни Барклай, ни Багратион, ни Кутузов не годятся в главнокомандующие обеими армиями. По словам Александра, ему предлагали в командующие генерала Петра Палена, но он был замешан в заговор против Павла и к тому же не имел боевой практики. Вернувшись в Петербург, пишет Александр, «я увидел, что решительно все были за назначение главнокомандующим старика Кутузова, это было общее желание. Зная этого человека, я вначале противился его назначению, но когда Ростопчин письмом от 5-го августа сообщил мне, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал армией, находя, что Барклай и Багратион оба неспособны на это, а тем временем и когда, как нарочно, Барклай наделал под Смоленском ряд глупостей, мне оставалось только уступить единодушному желанию, и я назначил Кутузова. Я и теперь думаю, что при тех обстоятельствах, в каких мы находились, из трех генералов, одинаково неспособных для роли главнокомандующего, я должен был остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глас»12.

Сам Барклай получил подписанный в день назначения Кутузова, то есть 8 августа, рескрипт следующего содержания: «Михаил Богданович! Разные важные неудобства, происшедшие после соединения двух армий (эвфемизм свары двух военачальников. — Е. А.), возлагают на меня необходимую обязанность назначить одного над всеми оными главного начальника. Я избрал для сего генерала от инфантерии князя Кутузова, которому и подчиняю все четыре армии. Вследствие чего предписываю вам со вверенною вам 1-ю армиею состоять в точной его команде». И под конец в утешение оскорбленному самолюбию Михаила Богдановича: «Я уверен, что любовь к Отечеству и усердие к службе откроют вам и при сем случае путь к новым заслугам, которые мне весьма приятно будет отличать подлежащими наградами. Пребываю вам благосклонный Александр». Точно такой же (лишь с заменой обращения) рескрипт получили Багратион, а также Тормасов и Чичагов".

Назначение Кутузова сразу отодвигало на второй план и Барклая, и Багратиона. Реакция обоих известна. Барклай был

обижен. 16 августа он писал жене, что подчиняется судьбе и что время покажет, правильный ли выбор сделал император, хотя назначение Кутузова необходимо, «так как сам император лично не командует всеми армиями… Что касается меня, то патриотизм исключает всякое чувство оскорбления». Получив рескрипт царя, Барклай писал в рапорте-ответе от 16 августа: «Я знаю свои обязанности и буду исполнять их добросовестно». Его волновало другое — как быть с обязанностями военного министра, которые он продолжал исполнять. Барклай благородно развязывал руки императору. Полагая, что только благосклонность и доверие к нему мешают государю передать эту должность кому-нибудь другому, он писал: «Умоляю вас, государь, не обращать на меня внимание, дабы ни один миг не потерпела от того польза службы». Император, вероятно, с облегчением вздохнул и, получив рапорт Барклая, освободил его от обязанностей военного министра14. Но сам Барклай, прочтя этот рескрипт от 24 августа, был страшно оскорблен — он, вероятно, не думал, что царь, раньше ему полностью доверявший, столь легко с ним расстанется. Он написал императору в тот же день отчаянное письмо: «Государь! После того, как вы соблаговолили назначить меня на должность, которую я занимаю до настоящего времени, я вам предсказывал, что клевета и интриги успеют лишить меня доверия моего монарха». Оказалось, что не столько в целом объективная оценка относительных неуспехов армии, данная императором в рескриптах Кутузову и главнокомандующим всеми тремя армиями, сколько «сладенькая» концовка с обещанием наград на будущее больше всего оскорбила Барклая: «Я ожидал этого (то есть клеветы и интриги, лишавшей его доверия императора. — Е. А.), потому что такой результат совершенно естественно вытекает из порядка вещей. Но мне было трудно представить себе, что я кончу тем, что навлеку на себя даже немилость и пренебрежение, с которым со мной обращаются! Совесть моя говорит мне, что я не заслуживаю этого. Рескрипт, который Вашему величеству угодно было дать мне от 8 августа, рескрипт князю Кутузову и обращение здесь со мною служат очевидными тому доказательствами. В первом из этих рескриптов я настолько несчастлив, что причислен к продажным и презренным людям, которых можно побудить к исполнению их обязанностей лишь призрачной надеждой наград, во втором же рескрипте операции армии подвергнуты порицанию. Последствия событий покажут, заслуживают ли они осуждения, поэтому я не хочу оправдывать перед вами, государь, эти операции. К тому же здесь обращаются со мной так, как будто бы мой приговор подписан. Не ожидая моего согласия, отбирают чиновников, мне

подчиненных…»15 В конце письма Барклай попросил об отставке. Ничего подобного ни раньше, ни позже этот хладнокровный и воспитанный человек себе не позволял. Впрочем, другим показалось, что Барклай воспринял удар стоически. «Барклай — образец субординации, — писал Ростопчин, — молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием».

С Кутузовым у Барклая сразу же не сложились отношения. Близкий Барклаю А. Л. Майер говорил, что «Кутузов также не благоволил Барклаю, нерасположение его доходило до того, что он не считал нужным сообщать главнокомандующему 1-й армией о своих распоряжениях. Подобные случаи повторялись неоднократно, но Барклай старался не замечать их и всегда, с врожденным ему хладнокровием, умел скрывать свою скорбь». О том же писал и А. Н. Сеславин: «Барклай был в уничижении»16.

«Хорош и сей гусь»

Как видим, Ростопчин не знал истинных чувств Барклая. Но зато он мог с уверенностью судить о том, как встретил эту новость Багратион. Мало сказать, что тот был раздосадован. Багратион, как и многие другие профессионалы, был и раньше невысокого мнения о Кутузове-полководце. Еще в 1811 году он писал о Кутузове Барклаю как о генерале, который «имеет особенный талант драться неудачно», а теперь, в письме 16 августа Ростопчину, выражался еще жестче: «Хорош и сей гусь, который назван князем и вождем! Если особенного он повеления не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет (Наполеона. — Е. А.) к вам, как и Барклай… Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги»17. Позже, когда события лета 1812 года ушли в историю, Ростопчин хладнокровно писал о ситуации, возникшей тогда в армии: «После взятия Смоленска разлад между обоими главнокомандующими еще усилился. Багратион писал мне письмо с жалобой на Барклая, уверяя меня, что в том-то и в том-то случае Барклай помешал ему побить Наполеона (вспомним письмо Багратиона от 6 августа. — Е. А.) и что, постоянно отступая перед Наполеоном, он приведет его в Москву, чего, по словам Багратиона, никогда бы не случилось, если бы он начальствовал армиею. Барклай с каждого места, где он останавливался хотя на сутки, писал мне, что решился дать сражение, а на другой день я узнавал, что он сделал еще переход к стороне Москвы. Не знаю, чем кончилась бы эта вражда Багратиона с Барклаем, если бы они не получили известие о

назначении генерала Кутузова главнокомандующим всех армий… Барклай… молча перенес уничижение… Багратион, напротив того, вышел из всяких мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги»18. Последнее суждение, вероятно высказанное сгоряча, не подтверждается письмами самого Багратиона, хотя все остальное, упомянутое Ростопчиным, имеет под собой документальную основу. 19 августа московский обер-полицмейстер П. А. Ивашкин переслал министру полиции А. Д. Балашову «осведомительское донесение» агента, которое свидетельствовало о том, что в народной массе знали о недовольстве Багратиона назначением Кутузова. «Князь Петр Иванович Багратион, — говорил один из информаторов, — очень недоволен, что ему дали начальника, он считал, что ему отдадут в команду все армии, я слышал, что он об оном писал к своим знакомым»19.

Утверждение Багратиона о том, что Кутузов — сплетник и интриган, имело хождение в обществе и среди военных. Вспомним характеристику, которую давал Кутузову фельдмаршал Прозоровский: «Я в нем один недостаток нахожу, что он в характере своем не всегда тверд бывает, а паче в сопряжении с дворскими делами»20. Отрицательно к Кутузову относились Н. Н. Раевский, Д. С. Дохтуров (которому интриги Кутузова «внушали отвращение»), а также М. А. Милорадович, считавший нового главнокомандующего «низким царедворцем».

Царедворец — это состояние души. В те времена в понятие «царедворец» вкладывался резко негативный смысл. «Царедворцами» называли людей, склонных к низкому угождению власть предержащим, к наушничеству; интриганству, словом, это тот тип, который Лев Толстой вывел под именем князя Василия Курагина в романе «Война и мир». Особенно суров был к Кутузову Ростопчин: «Этот человек был большой краснобай, постоянный дамский угодник, дерзкий лгун и низкопоклонник. Из-за фавора высших он все переносил, всем жертвовал, никогда не жаловался и благодаря интригам и ухаживанию всегда добивался того, что его снова употребляли в дело в ту самую минуту, когда он считался навсегда забытым». Конечно, злость прожженного царедворца Ростопчина на Кутузова можно понять: Кутузов во всех своих письмах писал ему, что никогда не сдаст Москвы, клялся сединами, обещал лечь костьми, писал, что «с потерею Москвы соединена потеря России», что никогда не уступит древней столицы, а сам делал ровным счетом все наоборот: отступал и сдал Москву.

В той системе власти, которая была в России, где воля или

каприз государя — закон, не быть царедворцем, не иметь связей при дворе, не интриговать — значило быть никем… Кутузов до самого конца оставался царедворцем. Служивший в его штабе Маевский писал, что после объединения армии с Молдавской армией Чичагова они обсуждали вопрос о том, кого поставить во главе артиллерии объединенного войска. Кутузов сказал, что лучше генерала Резвого никого нет: он «человек умный, опытный и знает это дело лучше всех». «Едва лишь он, — вспоминал Маевский, — успел произнести эти слова, как приехал к нему граф Аракчеев. “Государю императору угодно соединить командование всею артиллериею в лице одного артиллерайского генерала, — сказал он, — выбор его предоставлен вашей светлости. Его величество полагает, что всего ближе вверить этот пост А. П. Ермолову”. — “Спросите у него, — отвечал Кутузов, показывая на Маевского, — мы только что об этом говорили, и я сам хотел просить государя императора, чтобы назначен был Ермолов. Да и можно ли сделать лучший выбор ”»21.

Первые дни командования Кутузова убедили Багратиона, что он опять оказался в подчиненном, обидном для него положении. В письме Ростопчину 22 августа, уже с Бородинского поля, он с грустью писал: «Руки связаны, как прежде, так и теперь»22. К тому же, кроме Кутузова, над ним оказался назначенный начальником Главного штаба объединенных армий генерал JI. J1. Беннигсен. Багратион, как и Барклай, был отстранен от выбора позиции. Кажется, что тогда Багратион прекратил свой неистовый бунт, замкнулся. В цитированном выше письме Ростопчину о «гусе» Багратион выражает обиду, разочарование и вместе с тем некую обреченность: «Я, с одной стороны, обижен и огорчен для того, что никому ничего не дано подчиненным моим и спасибо ни им, ни мне не сказали. С другой стороны, я рад: с плеч долой ответственность… Я думаю, что к миру он (Кутузов. — Е. А.) весьма близкий человек, для того его и послали сюда»23.

Отчасти смирение Багратиона связано с тем, что он понял: с приездом Кутузова вопрос о его, Багратиона, главном командовании закрыт окончательно и волноваться уже не стоит. Во-первых, за назначением Кутузова стояла несокрушимая воля государя; во-вторых, Кутузов по всем статьям был старшим среди всех армейских генералов, включая Багратиона (Кутузов стал полным генералом 4 января 1798 года), и оспорить его приказ было трудно. Как уже говорилось, за соблюдением субординации следили строго, и Багратион, ценивший субординацию, возражать Кутузову не мог. В-третьих, войска, как известно, приветствовали приезд нового главнокомандующего: «Едет Кутузов бить французов». Кутузов прибыл как раз вовремя — всем казалось,

будто новый командующий привез с собой согласие и надежду победить. Тогда, в беспросветности двухмесячного отступления, сопряженного со сварой главнокомандующих, для людей это было особенно важно. Как вспоминал Н. Е. Митаревский, «с самого приезда Кутузова как будто все переродилось: водворилась какая-то надежда и уверенность. Притом мы сроднились с мыслью о смерти, мало кто думал из этой войны выйти целым: не сегодня, так завтра убьют или ранят». Кутузов своими первыми речами показал себя человеком воли и действия. Он обладал огромным воинским опытом, в боях был страшно ранен — в 1774 году турецкая пуля, ударив его в левый висок, вылетела у правого глаза, а в 1788 году другая пуля попала Кутузову в щеку и вышла из затылка. Нельзя сказать, что его особенно любили в войсках (все-таки это был не Суворов и не Багратион), но его седины, раны, награды были лучшей характеристикой, равно как и его грехи. Как писал Н. Е. Митаревский, в войсках вспоминали его подвиги «и ставили ему в похвалу, что он был мастер ухаживать за дамами». Если он в свои преклонные года такое может, то и с Бонапартием справится!

Глава двадцатая
Путь к Бородину

Мужественно нес на плечах Мюрата

Прибытие в армию Кутузова воодушевило и… Наполеона. Он воспринял это как знак грядущего сражения, которого так жаждал. Как писал А. Коленкур о своем императоре, «медлительный характер Барклая изводил его. Это отступление, при котором ничего не оставалось, несмотря на невероятную энергию преследования, не давало надежды добиться от такого противника желанных результатов. “Эта система, — говорил иногда император, — даст мне Москву, но хорошее сражение еще раньше положило бы конец войне, и мы имели бы мир”… Узнав о прибытии Кутузова, он тотчас же с довольным видом сделал вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжить отступление, он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву… через две недели император Александр окажется без столицы и без армии»1. Мысль Наполеона сводилась к тому, что Александр, понимая неизбежный результат войны, сделает Кутузова козлом отпущения за поражение и сдачу столицы, а после этого с легким сердцем заключит столь нужный Франции мир. Зная характер «северного сфинкса», в эту версию можно поверить. Следует отметить, что многие думали об Александре в том же ключе. Как писал Н. К. Шильдер, в ряде случаев Александр «поступал согласно усвоенному им в решительные минуты жизни образу действий: оставлять многое в сомнении, в неопределенности, а затем внезапным решением в противоположном духе и направлении приводить всех в недоумение»2.

Приехав в Царево-Займище к армии 18 августа3, Кутузов в общем-то продолжил то, что делали Барклай и Багратион, — он дал приказ отступать, но изменил порядок отступления. И хотя прибытие Кутузова, как известно, воодушевило войска, но этого для победы было еще мало. Ростопчин не без юмора писал, что непомерная радость по поводу назначения Кутузова мало что изменила, «можно было подумать, что одно присутствие Кутузова обратит в бегство армию Наполеона или поразит ее, как появление головы Медузы»4. Арьергард Коновницына двигался по главной Московской дороге. Как выразился Граббе, он «мужественно нес на плечах своих Мюрата и отбрасывал его

всякий раз, когда за нужное считал остановиться, сохраняя для себя выгоды позиции и отражая бешеные натиски венчанного наездника»5. Параллельно основному отряду арьергарда, по проселкам, слева и справа от Московской дороги, шли два отряда под командой генералов Крейца и Сиверса. Их задача состояла в том, чтобы, «держась на одном уровне» с Коновницыным, то есть не опережая, но и не отставая от главных сил отступающей армии, прикрывать их с флангов.

Еще раз о казаках. При отступлении от Смоленска казаки поначалу прикрывали отход основных сил. Это они успешно делали и во время отступления 2-й Западной армии от Николаева. Однако ситуация там была иной — основным противником казаков были польские конные полки, с которыми казаки успешно справлялись, одержав две победы в арьергардных боях. После же Дорогобужа в авангарде французов двигались основные пехотные и кавалерийские части, столкновение с плотными массами которых казакам было уже не по зубам. Кроме того, оказалось, что Платов, командовавший с 8 по 17 августа общими силами арьергарда, не справляется со своими обязанностями (то же было и во время войны 1806–1807 годов)6. В итоге, по воле прибывшего в армию Кутузова, казаков от дела отстранили и из частей 1-й и 2-й армий был сформирован сводный арьергард под командой генерала Коновницына7.

В ответ Платов обиделся на главнокомандующего и фактически устранился от активных боевых действий. Он написал Барклаю: «Хотя я и слаб здоровьем, поспешаю отправиться к Его величеству в Москву»8, притом что в Москве государя не было. Кстати, проблемы с Платовым возникали давно. В действующей армии до приезда Кутузова Платов был старейшим после Багратиона полным генералом (с осени 1809 года) и на этой почве конфликтовал с Барклаем и другими генералами. Так бывало и раньше. Еще в 1807 году, прибыв в армию, воевавшую в Восточной Пруссии, Платов жаловался графу Ливену: «Здесь в армии все меня службою моложе. Я не в претензии против главнокомандующего (им был Беннигсен. — Е. А.), он один, а на других мне больно смотреть потому, когда я служил генерал-майором, из них старшие теперь были только бригадирами тогда, а другие — полковниками и подполковниками» 1. Вообще, Платов был человеком непростым. Он отличался своенравием, был безмерно тщеславен и корыстолюбив. Опытный царедворец, он умел использовать придворную конъюнктуру, проявлял завидную ловкость, умел «выгодно выбирать знакомства и заводить полезные связи», всегда поддерживал хорошие отношения с фаворитами и придворными"1. Особые отношения сложились у

донского атамана с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. С ней Платов переписывался и при появлении в столице обязательно посещал государыню, которая испытывала странную симпатию к малообразованному атаману. Вполне возможно, что императрицу привлекали в Платове (как и в случае с Багратионом) мужественность и брутальность, которых было так мало в придворном кругу.

Багратион держался с Платовым по-дружески, был с ним подчеркнуто вежлив — его письма Платову во время отступления от границы свидетельствуют об этом. Это и понятно — с военно-юридической точки зрения, Платов был независим от Багратиона, прямо не подчинялся ему. Только благодаря такту и подчеркнутой вежливости главнокомандующего Платов оставался вместе со 2-й армией, и Багратион этим был доволен: иначе положение его армии резко ухудшилось бы — как уже сказано, казаки исправно прикрывали ее отступление.

После Смоленского сражения и особенно после отстранения от командования арьергардом Платов фактически вышел из-под власти главнокомандующего. Почти единодушно многие мемуаристы утверждают, что Платов и его казаки после этого стали вести себя самым непотребным образом. «В 1812 году Платов очень сильно кутил, — писал А. И. Михайловский-Данилевский. — Барклай за это на него сердился, а Ермолов безуспешно старался его останавливать. Князь Багратион, который его более знал, нежели Алексей Петрович, взялся его унять. “Вы с ним не умеете сладить, — говорил он, — посмотрите, я ему намекну на возможность графского титула, и он уймется”. Так и случилось. После разговора с Багратионом Платов перестал пить, но по приезде каждого курьера из Петербурга он являлся к Ал. П. Ермолову, тогда начальнику Главного штаба, с вопросом: “Что новенького” Выслушав все новости, он всякий раз спрашивал: “А еще ничего” Так продолжалось довольно долго, но так как о графском титуле не было и помину, то он опять запил. Барклай отослал его в Москву, где он гулял, пока его не подобрал Кутузов вопреки Барклаю»". Ермолов подтверждает сказанное Михайловским-Данилевским: «Не слыша обещаний сделать его графом, Платов перестал служить, войска его предались распутствам и грабежам, рассеялись сонмищами, шайками разбойников и опустошали землю от Смоленска до Москвы. Казаки приносили менее пользы, чем вреда». Кутузов не смог заставить Платова исполнять должность — тот сказался больным, а «казаки вообще почти ничего не делали»12.

Платов действительно уехал в Москву, и это привело к

массовому «заболеванию» всех других казачьих генералов, которые не хотели воевать без своего атамана. Для генералов регулярной армии такой бойкот мог закончиться военным судом, но только не для казачьих военачальников. Казаки вели себя столь независимо, что Ермолов в письме Платову вынужден был потребовать, чтобы подчиненный Платову генерал ответил за слова, приведенные в его рапорте: «Просил я узнать от генерала Краснова, называющего русских чуждыми, с которого времени почитает он войско Донское союзным, а не подданным российского императора» Михайловский-Данилевский писал о том же: «Атаман Платов всех восстановил против себя и против казаков, во-первых, распутным своим поведением, например, он был мертво пьян в оба дня Бородинского сражения, что заставило между прочим Кутузова, 24 августа, во время дела, сказать при мне, что он в первый раз во время большого сражения видит полного генерала без чувств пьяного. Вторая причина, по которой казаки потеряли свою славу, состоит в том, что они в сию войну старались действовать отдельно от армии, как будто в намерении устранить себя от регулярных войск и как будто бы они служили другому государю и другому отечеству. Сверх того, они ужасно грабили; меня уверяли достоверные люди, что Платов посылал на свой счет грабить деревни и села и отправлял на Дон несколько обозов с похищенными таким образом вещами. Когда армия была на Тульской дороге, то команда, посланная для отыскания беглецов, настигла восемьдесят грабивших казаков, которых нельзя однако же бьшо поймать, потому что они пиками и саблями пробились сквозь команду. Недолго спустя после оставления Москвы большое число казачьих начальников рапортовались больными, что князя Кутузова вынудило написать к Платову письмо, в коем он, спрашивая о причине, подавшей к тому повод, говорил, что он доведет обстоятельство сие до высочайшего сведения и в то же время для прекращения сего употребит ту власть, которая званию его была представлена. Платова и Барклая де Толли почитали в армии тогда главными виновниками бедствий России»13.

Кажется, что в таком поведении казаков прослеживается их особая, отличная от русской, ментальность, в основе которой лежала неистребимая идея казачьей вольности. Несмотря на все многовековые попытки власти уравнять казаков с общей массой подданных, казаки чувствовали свою «особость», отличие от русского народа. Собственно, они и были всегда особым народом. Это отражается в литературе о казаках, в том числе и современной: «В суровое для России время донские казаки пришли ей (1России. — Е. А.) на помощь»14. Так пишут, когда

считают донцов особым народом.

Следом за русской армией по всем трем дорогам неотступно шла французская армия, привычная к тяжелым походам. Правда, такое плотное движение за русскими корпусами вело к массе неудобств для французов. Как уже сказано, если русские квартирмейстеры могли заранее найти удобное место для лагеря, то французский авангард с наступлением темноты останавливался там, где натыкался на русский арьергард, — обычно в малопригодных для бивака местах, подчас без воды. От таких ночевок особенно страдала кавалерия, больше других нуждавшаяся в водопое15. Но все-таки авангарду было лучше, чем идущим следом войскам. «Авангард еще кормился, а остальная часть армии умирала от голода», — писал Коленкур. При этом нужно учитывать, что русская армия, отступая, жгла вдоль дороги деревни, сжигала обнаруженные в них припасы зерна, продовольствия и сена. А. Н. Муравьев вспоминает, что войска жгли селения не только вдоль дороги, но и «в некотором от нее расстоянии по сторонам, чтобы французов лишить всех способов покоя»". Как всегда в таких обстоятельствах, совершалось много глупостей. Как вспоминает Н. Е. Митаревский, в разоренном дворянском имении он застал солдата, который бил палкой хрустальную люстру: «Зачем ты это делаешь» — «Да так, ваше благородие, чтоб не досталось французу»17. О страданиях местных жителей даже не упоминается — для всех это были лишь статисты важной военной игры, обыкновенные жертвы войны. Движение армий было видно издалека по столбам черного дыма, тянувшегося вдоль Московской дороги. Отступая, русские также уничтожали и жгли мосты, портили верстовые столбы и прочие указатели. В итоге, французам было трудно привязать данные бывших у них примитивных дорожных карт к местности, по которой двигались их войска.

Тяжело давалась дорога солдатам обеих армий. Как вспоминает участник похода на стороне французов поляк Колачковский, после прохода основной массы войск можно было видеть, что «остальная пехота еще тащилась по дорогам, многие совершенно обессиленные и больные не могли поспеть за колонной, другие, здоровые, но неохотно подчинявшиеся дисциплине, пользовались всяким случаем, чтобы уйти из строя, и промышляли себе пищу по сторонам дороги. Это были мародеры или отсталые — язва всех войск, а в особенности французского, которое получало продовольствие реквизиционным способом»1".

Примерно то же происходило и в русской армии. «Строго собирать всех отлучившихся от транспортов больных и раненых,

идущих дорогой поодиночке и маленькими командами» — так предписывалось в приказе 18 августа, да и позже". Подбирать отсталых было делом нелегким. Как писал Изюмов, «мы шли всю ночь и на другой день увидели, что и неприятельский авангард следует за нами; много было хлопот выгонять пехотных солдат из деревень, по счастию неприятель слабо нас преследовал»20. Нравственное состояние русской армии при отступлении из Смоленска было удручающим. «Войска наши, — вспоминал А. Н. Муравьев, — с неимоверною скорбью оставили сию древнюю твердыню, сей первый русский город и с поникшими главами и растерзанными сердцами отправились по Московской дороге»21.

Что у вас, ребята, в ранцах?

Естественно, что в отступающей армии резко упала дисциплина. Записи в книге приказов Барклая — свидетельство тому:

«Господин главнокомандующий с прискорбием заметил сего числа, что в таком войске, каково российское, привыкшем всегда к трудам и походам, нашел он в пехотных полках неожиданный беспорядок, особенно в Копорском пехотном полку, который на привале был совершенно разбросан, ружья имел в куче и без надлежащих караулов, за что начальник оного полка арестуется на двое суток…Господин главнокомандующий с удивлением поставляет сие на вид начальникам полков, ибо он никогда не полагал быть в необходимости напоминать им о правилах, кои каждому офицеру должны быть известны…

…По повелению… для предупреждения грабежа ставить во дворах и селениях залоги, кои сменяться следующим корпусом. Господин главнокомандующий делает замечание, что войска, кои делают грабеж, не могут быть храбры…

Господин главнокомандующий с неудовольствием встретил во время похода многих усталых от полков… сие тем непростительнее, что войска при нынешнем движении сверх положенного получают винную и мясную порцию, следовательно, весьма достаточное имеют продовольствие. Сие приписывается единственно несмотрению и беззаботливости гг. начальников полков, коим подтверждается более стараться о столь важном предмете, каковой есть сбережение людей, ибо большое число усталых в полку не делает чести шефу оного»22.

А вот одна из последних записей в книге приказов Барклая от 17 августа: «Главнокомандующий встретил во время марша рядового Рязанского пехотного полка, который в развращенном и

пьяном виде правил на дрожках, принадлежащих г-ну генерал-лейтенанту Олсуфьеву, коему и делается за сие выговор»23.

Мародерство было подлинным бичом армии и несчастьем местного населения, подвергавшегося ограблению и со стороны своих защитников, и со стороны завоевателей. Впрочем, при отступлении наших войск среди части местных жителей царили эсхатологические настроения, они бросали имущество, уходили вместе с войсками. Как уже сказано, накануне сражения за Смоленск местные купцы задешево все продавали, а сельские жители «не только не против, но даже предлагали брать, говоря: “Берите, батюшки, берите, родные, чтобы не досталось французу”»". «Из пустых селений, — пишет Радожицкий, — солома с крыш была разносима в лагери, заборы, двери, ставни разбирались на дрова, остальное по выходе войск сожигали казаки, и неприятель по следам нашим везде находил опустошение».

Но и мародерство обыкновенное, без патриотического уклона, не прекращалось в течение всего похода армии. Кутузов, прибывший в армию в августе 1812 года, сразу же заметил непривычно раздутые ранцы идущих мимо него русских солдат («Ранец — солдатский братец»). В его приказе было отмечено, что главнокомандующий «заметить изволил, что солдатские ранцы нагружены слишком необыкновенно, от чего и должно полагать, что в оных помещается гораздо больше положенного»25. Поэтому Ермолов приказал: «Всем начальникам полков осмотреть ранцы и наблюдать, дабы нижние чины ничего, кроме самого необходимого, в оных не имели»26. Заботясь «о сохранении сколько можно спокойствия в столице», Кутузов срочно послал приказ начальнику Московского ополчения генералу И. И. Маркову, в котором писал, что «мародерство, вкравшееся в армию, усилилось так», что возникла угроза благополучия жителям Московского уезда и самой столицы, для чего ополченцам тотчас ловить появившихся в окрестностях Москвы мародеров. 19 августа Кутузов сообщал императору, что за один день было поймано около двух тысяч мародеров — солдат регулярной армии, и против «сего зла приняты уже строжайшие меры»27.

Строевых солдат еще удавалось как-то удержать в колонне и на биваках, но следующим за ними обозным, отставшим, больным удержу не было. Как крик о помощи звучит фраза из письма Ростопчина Кутузову по поводу вступивших в Гжатск русских войск: «Обоз наш грабит город»2".

Мародерство в русской армии усилилось особенно noaie Бородинского сражения. Император Александр, получая со всех

сторон жалобы на солдат русской армии, которые в своей стране вели себя хуже завоевателей, был вынужден прислать в армию 29 сентября специальный приказ. В нем были весьма суровые, даже жестокие слова в адрес героев Бородина: «К великому прискорбию моему слышу я, что есть между вами недостойные вас сотоварищи ваши, которые, отлучаясь самовольно от команд своих, шатаются по деревням и лесам под именем мародеров — имя гнусное, никогда не слыханное в русских войсках, означающее вора, грабителя, разбойника. Должно ли почтенное имя защитника веры и отечества осквернятся сими презренными именами? Россия — мать ваша, что ж может быть преступнее как, видя ее расхищаемую врагами, не только не защищать ее, но еще вместе с ними грабить и собственными руками раздирать утробу своей матери? Тяжкий грех сей не отпустится никогда, ни в сем веке, ни в будущем». К приказу был приложен уникальный документ — особая присяга с припиской: «Говорить громко в присутствии облаченного в ризу священника». Каждый солдат должен был прилюдно произнести слова этой особой, антимародерской присяги: обещать «не отлучаться от команды никуда своевольно. Не укрываться и не бродить по сторонам. Не грабить и не отнимать ни у кого насильно, ведая, что и неприятель, грабящий и зажигающий, грешит и разбойничает, то кольми паче тот, который, вместо обороны от него, сам собственную свою землю, и братьев своих, разоряемых от врага, еще более разоряет, и Отечество, и царя, и святую веру свою предает»29.

Как удержать место

Семнадцатого августа натиск Мюрата оказался настолько силен, что арьергард Коновницына был отброшен к Царево-Займищу и даже соприкоснулся с главными силами армии. Чтобы не ввязаться в общий бой в невыгодном для армии положении, Кутузов приказал отступать к Гжатску. Впрочем, Кутузов был какое-то время в нерешительности: вначале он велел усиливать земляные укрепления на выбранной перед его приездом Барклаем и Багратионом позиции, а потом дал приказ о поспешном отступлении. Может быть, прав Л. Н. Толстой, писавший в романе «Война и мир» (возможно, с чьих-то слов), что Кутузов «не хотел принять позицию, избранную не им». Барклай считал, что Кутузов покинул выгодную позицию по наущению своего окружения, говорившего, «что по разбитии неприятеля в Царево-Займище слава сего подвига не ему припишется, но избравшим

позицию»30. В этом можно сомневаться — выбирая здесь позицию, Барклай видел в ней последний рубеж — здесь он действительно предполагал победить или умереть. Кутузов же с самого начала не рассчитывал победить Наполеона, а предполагал отступать дальше, чтобы усилиться за счет находившегося в нескольких переходах резервного корпуса Милорадовича.

Кутузов распорядился, чтобы войска шли налегке, только с парой патронных повозок на полк. 20 августа последовал строгий приказ: «Обозам никаким отнюдь при армиях не быть», от колонн были отосланы генеральские экипажи и вообще весь обоз направлен южнее от дороги31. Одновременно Кутузов попросил Багратиона прислать 15 эскадронов конницы на замену совершенно измотанным войскам 1 — й армии, к которой относились и арьергардный корпус Коновницына, и приписанная к нему кавалерия. Она, по словам Кутузова, «за употреблением оной чрез долгое время… ослабела до того, что на некоторое время нужно отдохновение». Приказание было отдано кстати — войска Коновницына, часто останавливаясь, с трудом сдерживали натиск Мюрата, Понятовского и Даву. С большими потерями полковник К. А. Крейц со своим отрядом, шедший параллельно Коновницыну (он был отряжен от 1-й армии), не дал противнику обойти корпус на Большой дороге справа. Ту же задачу выполнял шедший слева от корпуса Коновницына отряд генерала К. К. Сиверса (от 2-й армии), хотя положение то одного, то другого отряда становилось подчас критическим — французы не давали русским расслабиться ни на минуту. Особенно труден оказался следующий день, 20 августа, когда с самого раннего утра атаки французов шли одна за другой, и войскам Коновницына, Сиверса и Крейца пришлось останавливаться восемь раз, чтобы отразить натиск французской кавалерии и пехоты. После «удержания места… — писал Коновницын Кутузову, — мы всегда принуждены были уступить оное»32. О том же Коновницын сообщал и Багратиону: «Несколько раз удерживали мы место и всегда принуждены были уступать оное, следуя шаг за шагом»33. О том, чтобы остановиться хотя бы на час, передохнуть или сварить кашу, не приходилось и мечтать. Мосты на пути отступления поджигали с огромным риском, буквально за несколько минут до подхода неприятеля. Как-то раз, под Гжатью, случилось так, что французы прорвались уже по горящим настилам моста и попытались отрезать отряд Крейца от основных сил русской армии. Крейцу с его отрядом пришлось, не разбирая дороги, поспешно отступать через поля, овраги, а потом и через реку Гжать. Но солдаты не бросили приписанные к отряду пушки и

сумели протащить их на веревках по дну реки. Все эти дни Багратион управлял войсками арьергарда, вникая во все подробности. Его дежурный генерал Маевский вспоминал: «Идет ли часть войск, тащится ли повозка, остались ли казачьи коши — все это издали должен знать Маевский и наизусть сказать князю. Образ моей службы был таков: весь день ехать с князем верхом, на привале писать, вечером начинать работать с Сен-При, продолжая это до 12 часов ночи. В это время встает князь и работает со мной до свету»34.

Двадцатого августа главные силы армии подошли к Колоцкому монастырю. Кутузов дал диспозицию дальнейшего движения всех трех колонн, конечной точкой которого впервые стало село Бородино. Интересно, что почти тотчас эту диспозицию отменили, так как вроде бы признали, что у Колоцкого монастыря можно взять позицию лучше и здесь дать сражение Наполеону. Но после тщательного осмотра решили, что лучше все-таки позиция при Бородине. Кутузов писал Ростопчину, что позиция у монастыря хороша, но «слишком велика для нашей армии и могла бы ослабить один фланг»35. В итоге «армия продолжила отступное движение к селу Бородино, где местоположение представило более к тому выгод»36. Новая диспозиция, оглашенная утром 21 августа, предполагала следующий порядок движения: первая (правая) колонна, включающая армию Багратиона, шла от Колоцкого монастыря по маршруту: село Рожество, Ельня, Шевардино, Алексинка и Бородино. Вторая (средняя) колонна (Дохтурова), состоявшая из 5, 3 и 6-го корпусов 1-й армии, двигалась от Колоцкого монастыря по большой почтовой дороге через деревни Акиншину, Валуеву до Бородина (10 с половиной верст). Наконец, третья (левая) колонна генерала Милорадовича (2-й и 4-й корпуса) отступала от Колоцкого монастыря до Бородина через деревни Просолову, Еремееву, что составляло 13 с половиной верст37. Один из последних приказов Багратиона с марша был дан 20 августа: «Всем корпусам 2-й Западной армии, свари вши каши, выступить сего числа в полдень 12-ти часов в поход в деревню Максимовку обыкновенным порядком»38. Это были последние 12 верст боевого похода, которые в своей жизни совершил Багратион.

«Лучше я лягу здесь! В Индии я пропаду…»

После отхода армии от Колоцкого монастыря Коновницын с величайшим трудом сдерживал французов. С какого-то момента

счет отступлению пошел буквально на часы. Кутузов просил Коновницына, чтобы тот «с ариергардом держался долже (дольше. — Е. А.) и что для армии нужно 4 часа времени»39. Коновницын, понимая, как важно дать нашим армиям дойти до Бородина и, не теряя порядка, разместиться на позиции, был готов «держаться сколько можно». «Ежели с 1-й позиции буду сбит, — писал он Багратиону, — перейду на вторую и стану там держаться до самой крайности»40.

Багратион внимательно следил за действиями своих войск в арьергарде и, когда увидел, что отряд Сиверса потеснен неприятелем и слишком подвинулся со своей, южной, стороны к основным силам, потребовал, чтобы Сивере перешел в атаку и отбросил неприятеля от деревни Колесники, что и было сделано 21 августа41. Весь день шел упорный бой за эту деревню. Тут было принципиально важно, как уже сказано, «держаться на одной высоте с арьергардом», то есть добиться того, чтобы войска Коновницына, Сиверса и Крейца находились на одной линии и не позволили противнику вбить между ними клин.

Как вытекает из мемуаров Д. В. Давыдова, как раз 21 августа он явился к Багратиону с предложением об организации партизанских отрядов и «объяснил ему выгоды партизанской войны при обстоятельствах того времени». Давыдов довольно убедительно указывал на то, что коммуникации противника растянулись неимоверно, что это дает возможность летучим отрядам маневрировать на огромном пространстве от Москвы до Смоленска. Эффект налетов на коммуникации скоро себя проявит — противник будет испытывать нужду в боеприпасах и продовольствии, а кроме того, появление отрядов воодушевит крестьян и «обратит войсковую войну в народную».

Известно, что в армии серьезно опасались, как бы государь не пошел на мировую с Наполеоном: ведь он уже один раз допустил Тильзит, так почему не может быть повторения? Эта мысль мучила некоторых военных. Ермолов писал Багратиону после отступления от Смоленска: «Боюсь, что опасность, грозя древней нашей столице, заставит прибегнуть к миру»42. Тот же Ермолов писал П. П. Палену 15 августа из-под Вязьмы, что целью Наполеона является Москва, «он думает, что лишь Москва немного в опасности, то и мир подписан в его пользу. Заключение весьма правдоподобное, основанное на известных вам обстоятельствах. Но где такая предусмотрительность, где так верные расчеты, чтобы льзя было не обмануться. Не дай Боже допустить злодеев до Москвы! Но естли завидующая щастию нашему судьба позволит овладеть ею, кажется и то, ко благу нашего народа, не окончит войны нашей, будем защищаться до

последней крайности. Обманута будет сволочь его, и продолжение войны, истребление надежды окончания оной, зима, недостатки, все вообще уменьшит силы его, и влекомые обольщением народы, не имеющие ни малейших выгод, собственно им принадлежащих, не только смирятся, но думать должно отстанут многие»43. Сам Багратион в письме к Ростопчину сообщал: «Слух носится, что канцлера потребовали в Петербург (Н. П. Румянцев, сторонник Наполеона, с началом войны уехал в деревню. — Е. А.) и что думают наши, как бы помириться. Чего доброго от Румянцева и Аракчеева все статься может (как неосторожно задел князь Петр своего благодетеля! — Е. А)»44. Напомню, что в другом, выше уже цитировавшемся письме Багратион так комментировал приезд в армию Кутузова: «Я думаю, что к миру он весьма близкий человек, для того его и послали сюда». Мысль эта о человеке, только что заключившем Бухарестский мир, не казалась тогда безосновательной.

Все это служило для Багратиона аргументом в пользу развертывания партизанского движения. В разговоре с ним Давыдов высказал эсхатологическую мысль о том, что Кутузов продолжит тактику отступления, начатую Барклаем, и что «Москва будет взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов… Я теперь обращусь к себе собственно! Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь! В Индии я пропаду с 50 или 60 тысячами моих соотечественников без имя и за пользу чуждую моего отечества — а здесь умру, держа твердою рукою знамя мщения и независимости, около которого столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших… а кто знает, может быть, и армия, определенная действовать в Индии…» «Князь, — продолжает Давыдов, — прервал нескромный полет моего воображения, пожав мне руку и сказав: “Сейчас пойду к светлейшему и изложу ему твои мысли”».

Идея диверсий не была нова для Багратиона. Еще в 1807 году в Пруссии он разрешил В. И. Дибичу, майору 26-го егерского полка, быть «партизаном». Склонный к авантюризму Дибич предложил план действий в тылу французов с целью похищения Наполеона. Но тогда идея создания «партизанского отряда», а в сущности диверсионной группы, не осуществилась — слишком экстравагантной показалась главнокомандующему Беннигсену вся эта затея45. Теперь же ситуация была иной. Кутузов поддержал инициативу Давыдова. Любопытно проследить ход мысли знаменитого гусара. Он, как, вероятно, и Багратион, не сомневался в том, что Москва падет. При этом он не доверял императору Александру, полагая, что тот после падения старой столицы все же пойдет на позорный для России мир и тогда

победитель отправит русские войска…завоевывать для французов Британскую Индию. Трудно сказать теперь, возможно ли было такое в случае победы Наполеона.

Идея индийского похода. Идея совместного вторжения в Индию принадлежала не Наполеону, а Павлу, составившему проект подобной экспедиции в 1800 году и считавшему, что проект этот мог «покрыть бессмертною славою первый год девятнадцатого столетия и главы тех правителей, которыми задумано это полезное и славное предприятие»46. Предполагалось, что французская армия, численностью 35 тысяч человек пехоты с артиллерией по Дунаю, от Ульма, спустится в Черное море, русский флот перевезет ее в Таганрог, оттуда на судах они поднимутся в Царицын и затем спустятся до Астрахани. Там к французам присоединятся 35 тысяч русских солдат. Дальше путь лежал на Астрабад, где надлежало заранее подготовить склады всего необходимого. «Поход этот, — записано в проекте, — от французских границ до Астрабада рассчитан приблизительно на 80 дней, потребуется еще 50 дней, чтобы главные силы армии достигли правого берега Инда, направившись в Герат, Ферах и Кандагар, всего 130 дней похода и перевозки для французских войск, которые так же, как и русские, будут состоять под главным начальством генерала Массены (по требованию, определенно заявленному императором Павлом)»47. Это тот самый Массена, который разгромил Римского-Корсакова в Швейцарии и «плотно провожал» оттуда Суворова. Идея похода на Индию, чтобы «сломить хребет Британской империи», не была чужда Наполеону и в 1812 году.

Беспокойство от возможного мира с Наполеоном испытывали и другие офицеры. Капитан Семеновского полка П. С. Пущин записал в дневнике 2 сентября, уже после оставления Москвы: «Сообщение о вступлении французов в Москву возбудило всеобщее негодование и такой ропот между нами, что многие офицеры заявили, что если будет заключен мир, то они перейдут на службу в Испанию». Как и многие другие, опасался заключения мира и Багратион. 22 августа он вызвал Давыдова к себе и сказал: «Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, но, полагая предприятие это неверным, определяет на него только 50 гусар и 150 казаков; он хочет, чтоб ты сам взялся за это». После этого Багратион дал Давыдову свою карту и сел писать инструкцию, в которой были такие слова: «Предписываю вам употреблять все меры, беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга и стараться забирать их фуражиров не с фланга его, а в средине и в тылу, расстраивать обозы, парки, ломать переправы и отнимать все способы; словом

сказать, я уверен, что, сделав вам такую важную доверенность, вы потчитесь доказать вашу расторопность и усердие и тем оправдаете мой выбор, в протчем, как и на словах я вам делал мои приказания, вам должно только меня обо всем рапортовать, а более никого; рапорты же ваши присылать ко мне тогда, когда будете удобной иметь случай, о движениях ваших никому не должно ведать, и старайтесь иметь их в самой непроницаемой тайности. Что ж касается до продовольствия команды вашей, вы должны иметь сами об ней попечение. Генерал от инфантерии кн. Багратион. 22-го августа 1812 года, на позиции»48.

Как село называется: Бродино или Бурдино? Тем временем объединенная русская армия, отойдя от Колоцкого монастыря на 12 верст, 22 августа остановилась у села Бородина. В журнале военных действий было записано: «22 (августа). Вступила армия в лагерь при Бородине. По осмотре главнокомандующим позиции повелено было немедленно приступить к укреплению оной»411. А. И. Михайловский-Данилевский, бывший при Кутузове в тот день, вспоминал, как накануне, 21 августа, главнокомандующий, «завидя невдалеке село, послал меня спросить, как оно называется, я привез ему в ответ, что это село именуется Бородиным. Мог ли я догадаться тогда, что в сию минуту я произносил бессмертное в истории имя»50. Впрочем, даже в первые дни после сражения это название писали «нетвердо». Так, в рапорте Кутузова об оставлении Москвы говорилось: «…должен я был оставить позицию при Бродине»51. В этом смысле Лев Толстой в своем бессмертном романе проявил глубокое чувство историзма: «Позвольте спросить, — обратился Пьер к офицеру, — это какая деревня впереди? — Бурдино или как? — сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу. — Бородино, — поправляя, отвечал другой».

«Неприятель ломил всеми силами»

В этот день и на следующий, 23 августа, Коновницын вел упорные бои за деревни Твердики и Гридино в окрестностях Колоцкого монастыря. Повторялось то же, что и раньше. «В продолжение 10 часов сражения, — сообщал Коновницын главнокомандующему 2-й армией Багратиону, — мы уступили неприятелю не более 9 верст, останавливаясь на пяти позициях… Неприятель в самых больших силах стоит от меня в двух верстах»52.

Шум этого боя был явственно слышен в расположившихся лагерем у Бородина войсках основной армии. Арьергард

Коновницына уже был не в состоянии сдерживать неприятеля на дистанции хотя бы в несколько верст от основных сил армии.

Денис Давыдов, получив инструкцию Багратиона, отправился как раз к Колоцкому монастырю и видел, что там творилось: «Проехав несколько верст за монастырь, мне открылась долина битвы, неприятель ломил всеми силами, гул орудий был беспрерывен, дым их мешался с дымом пожаров, и вся окрестность была как в тумане». Как вспоминал участвовавший в арьергардных боях А. Н. Муравьев, «в ночь на 23 августа арьергард наш отошел в ночь к Колоцкому монастырю. Поутру рано открылось нам великолепное зрелище всей огромной французской армии, построенной в боевой порядок и спускающейся против нас по покатости горы перед монастырем. Но это необыкновенное зрелище скоро обратилось для нас в смертоносную битву. Усиленный неприятельский авангард наступал на нас стремительно, а мы, шаг за шагом, с большим уроном, уступая свою местность, принуждены были постепенно и в порядке отступать и, находясь беспрестанно в огне, должны были к вечеру соединиться и войти в состав главной армии, уже построенной в боевой порядок на новом месте, при с. Бородино»53. Действительно, и из других источников известно, что давление Наполеона настолько усилилось, что Коновницын 23–24 августа, несмотря на мужественное сопротивление, оказался фактически прижат к собственной армии, его полки слились с полками, уже сутки стоявшими в боевом порядке. То же произошло с фланговыми отрядами арьергарда. Днем 24 августа отряд Крейца, шедший от Коновницына слева, был окружен противником у деревни Глазово и с величайшим трудом вырвался из окружения. Спасаясь от неприятеля, он «вывалился» прямо на Бородинское поле, перед стоявшей на позициях русской армией и соединился с нею.

Наконец-таки Наполеон навязал русским генералам желанную для него битву. Близость этого момента он почувствовал еще в Гжатске, когда объявил приказ, в котором были такие слова: «Ваши желания исполняются, мы приближаемся к сражению, вы пожнете новые лавры… Готовьтесь!» Тогда он достаточно точно определил дату генерального сражения — 7 сентября по новому стилю54. Бородинское поле стало тем краем, отступление за который под прикрытием арьергарда по прежним, принятым в военном деле диспозициям было уже невозможно. Сражение стало неотвратимым…

Глава двадцать первая
Накануне битвы

Ахиллесова пята у него слева

Бои, которые вел Коновницын на подступах к Колоцкому монастырю, а потом наступившее на некоторое время затишье дали русским небольшую передышку. Она позволила командованию спокойно «ввести армию в позицию» на Бородинском поле. Позицию эту заранее присмотрел Толь. 22 августа она была осмотрена Кутузовым и в целом одобрена им.

О пользе выбора позиции. «Сейчас, — писал Барклай Багратиону 14 августа, — возвратился из Вязьмы полковник Толь и генерал-лейтенант Труссон, которые доносят, что отсель до Вязьмы и близ оного города нигде нет позиции, в которой можно было бы дать сражение, и все места лесисты, и горы покрыты кустами»1…

Выбор так называемой «позиции», то есть местности, в которой предполагалось дать неприятелю генеральное сражение и тем самым решить исход кампании и, возможно, войны, был одной из самых острых проблем русской армии. Мало найти подходящее большое поле для столкновения с войском врага. Следовало подобрать для себя позицию, дающую изначшьно ряд выгод и преимуществ, прежде всего — надежно защищенные фланги. Заняв позицию, надлежало, с одной стороны, так подготовить ее (с помощью укреплений), чтобы затруднить противнику наступательное движение, а с другой — оставить нашим войскам возможность атаковать неприятеля. Кроме того, необходимо было предусмотреть удобные пути для отхода в случае поражения. Словом, в некотором смысле русская армия все время отступала от границы в поисках удобной позиции для генерального сражения с Наполеоном и никак не могла ее найти, пока не дошла до Бородинского поля.

Многие полководцы, нетрусливые и весьма опытные, не любили генеральных сражений, которые могли в один час изменить судьбу армии, трона, родины. Так, Петр Великий, решаясь в 1709 году на генеральное сражение со шведами под Полтавой, отдавал себе отчет в том, что победу в сражении может определить случай, что генеральное сражение — это игра. Как писал царь, «сия игра в Божьих руках и кто ведает, кому счастье будет». Он хорошо знал, сколько таких «игр» закончились бедой.

Взять, к примеру, битву на Косовом поле в 1525 году. Потерпев поражение от турок в этом генеральном сражении, балканские славяне почти на полтысячи лет попали под османский гнет. А это, в свою очередь, сказалось на всей последующей истории Балканских стран, на менталитете и образе жизни балканских народов. И до сих пор название Косово не сходит с полос газет — нынешняя ситуация там была определена почти пятьсот лет назад поражением славян на Косовом поле. Но что делать! Бывает так, что генерального сражения уже никак нельзя избежать… Наполеон, кажется, об этом особенно не задумывался — его устраивала любая позиция, которую занял неприятель, лишь бы русские наконец остановились и тем самым дали ему возможность их разгромить.

Выбор позиции для генерального сражения осуществляла генерал-квартирмейстерская служба русских армий. Как писал И. П. Липранди, выбор позиции, начиная от Смоленска и до Москвы, происходил следующим образом: «генерал-квартирмейстеры, а иногда и полковник Габбе, взяв с собой из находящихся при Главной квартире офицеров, сколько почитали нужным, отправлялись на это поручение. Встретив местность, которая казалась благополучною, оставляли одного или двух офицеров для обозрения ее в подробностях и легкой, на глазомер (не сходя с лошади), съемки и с прочими отправлялись иногда далее. Найдя еще позицию, ее обозревали, делали также съемку и возвращались в Главную квартиру. Тут отдавали отчет об одной или двух найденных позициях, тогда отправлялись или Толь, или Вистицкий (если позиция не ими избрана) и, наконец, Беннигсен» как начальник Главного штаба при Кутузове2. До назначения Кутузова позицию осматривали главнокомандующие 1-й и 2-й армий вместе со своими начальниками штабов и генерал-квартирмейстерами. На деле главным квартирмейстером русских армий был инициативный, опытный полковник Главного штаба Карл Федорович Толь. Он, будучи генерал-квартирмейстером 1-й армии, превосходил энергий и знаниями своего коллегу по 2-й армии М. С. Вистицкого, человека инертного и не имевшего доброй репутации еще со времен похода Суворова в Италию и Швейцарию.

Как писал помощник полковника Толя А. А. Щербинин, выбор позиции был делом чрезвычайно трудным. «Во время… рекогносцировки Толь заметил однажды окружавшим его офицерам, что исправный квартирмейстерский офицер должен ежедневно сделать сто верст верхом. Он выполнял это на самом деле. Между тремя его лошадьми был немилосердный иноходец, очень маленький, длиннохвостый, светло-серой масти, за

которым поспевать нам было очень трудно»3. Щербинин сообщает, что на всем протяжении от Смоленска до Царево-Займища Толю с большим трудом удалось отыскать всего четыре позиции, но все они были одна за другой забракованы командованием.

Тут невольно возникает вопрос: почему же позиции не были выбраны раньше? Почему поиск позиции оказался таким многотрудным? Ведь задолго до войны было очевидно, что существуют две вероятные цели движения войск Наполеона после вторжения в пределы Российской империи: Москва и Петербург. Когда читаешь в письме Барклая от 20 июля, что, «прибыв сейчас в Смоленск, я узнал от генерал-квартирмейстера, посланного вперед для обозрения окрестностей сего города, что вовсе нет на правом берегу Днепра позиции», трудно удержаться от вопроса: а почему нельзя было заранее проделать работу даже более легкую, чем создание Дрисского лагеря: за много месяцев до предполагаемого столкновения с противником разослать по основным направлениям возможного отступления квартирмейстерские команды, чтобы подобрать места для позиций и даже — если будет время — подготовить, усилить их, а не делать это буквально в ночь подхода неприятеля, как это было под Бородиным, у Шевардина? Ведь позиция под Гейльсбергом в 1807 году, как помнит читатель, была подготовлена Беннигсеном заранее, как и Дрисский лагерь…

Все наши рассуждения не нарушают принципа историзма — военные времен Наполеоновских войн были достаточно опытны и значение позиций для сражений прекрасно понимали. Дело, наверное, заключалось, во-первых, в плохой организации работы Главного штаба, а во-вторых, в господстве высших стратегических соображений, предполагавших, что, как и раньше, военные действия будут вестись только за границей. Впрочем, о территории противника тоже знали мало.

Но, возвращаясь к России, скажем, что даже если подобрать позиции заранее по каким-то неведомым причинам оказалось невозможно, то все же неясно, почему в войсках не было хороших карт. Н. Д. Дурново, работавший в Главном штабе, постоянно жалуется в своем дневнике (лето 1812 года) на то, что, не поднимая головы, «корпит над картой Смоленской губернии», столь нужной штабу4. 26 июня, уже во время отступления со штабом 1-й армии, Хитрово писал в своем дневнике: «Мы трудились как каторжные над картой России. Во всех корпусах не хватало карт местностей, по которым они проходили. Вместо того, чтобы изготавливать в Петербурге карты Азии и Африки, нужно было подумать о карте Русской Польши. Хорошая мысль

всегда приходит с опозданием»5. Если такая простая, очевидная мысль, хотя и с опозданием, пришла в голову 18-летнему прапорщику, то почему она не пришла раньше в голову тем, кто непосредственно занимался квартирмейстерским делом в России, — управляющему квартирмейстерской частью императорской Военно-походной канцелярии князю П. М. Волконскому, генерал-квартирмейстерам всех четырех русских армий, другим военным чиновникам, включая военного министра? Разве карты пограничных и вообще западных губерний не должны быть готовы за несколько лет до вторжения неприятеля и розданы по корпусам

Вообще, думать о будущем, готовиться к нему — не в наших правилах. Вспоминается история заместителя шефа жандармов Л. В. Дубельта, который в 1847 году — задолго до Крымской войны! — внес в свой дневник такую запись: «Английский флот стал заводить винтовые корабли. Мне пришло в голову, что ежели их флот будет двигаться парами, а наш останется под парусами, то при первой войне наш флот тю-тю! Игрушки под Кронштадтом и пальба из пищалей не помогут… Эту мысль я откровенно передал моему начальнику (А. Ф. Орлову, шефу жандармов и ближайшему сподвижнику Николая I. — Е. А.) и сказал мое мнение, что здравый смысл требует, ежели иностранные державы превращают свою морскую силу в паровую, то и нам должно делать то же и стараться, чтобы наш флот был так же подвижен, как и их. На это мне сказали: “Ты, со своим здравым смыслом, настоящий дурак!” Вот тебе и на!» Результат Крымской войны и судьба русского парусного флота известны.

Но все же отдадим должное императору Александру I, который, хотя и с опозданием, но осознал необходимость подготовки к долгой обороне. Полковник А. Ф. Мишо вспоминал, что после оставления Дрисского лагеря Александр отправил его вместе с генерал-адъютантом Чернышевым «для избрания позиций, имеющих целью прикрытие Москвы укрепленными лагерями с сильными профилями и могущими в то же время служить складочными пунктами для военных припасов, артимерии, а также средоточием рекрут, которые, защищая их в случае надобности, могли бы в то же время найти в них центры для обучения и укрепления позиции на случай сражения. В то же время государю угодно было заявить мне, что в случае недостаточности времени для возведения этих укреплений для защиты Москвы он отправит меня на Волгу и даже далее… Прибыв в Москву и полагая, что ввиду успехов неприятеля не хватит уже времени для окончания предположенных укреплений, на устройство которых потребовалось бы от четырех до пяти

месяцев, Его величество приказал мне отправиться на Волгу для устройства укрепленных лагерей в защиту Нижнего и Казани, где находились значительный арсенал и помещение для 100 тысяч рекрут, формировавшихся под начальством генерал-лейтенанта графа Толстого»6.

Что же представляла собой выбранная с таким трудом позиция? Бородинское поле тянулось на пять верст от деревни Утица слева до деревни Маслово на правом фланге. Вообще же место это было открытое, с давным-давно выведенными лесами, довольно густо населенное. На всем этом пространстве, как утверждают справочники, располагались четыре помещичьих села и 19 деревень, вдоль проселочных дорог тянулись засеянные поля. В тринадцати селах и деревнях стояли помещичьи усадьбы с постройками и садами.

С точки зрения тогдашней военной науки, позиция на Бородинском поле была посредственной, учитывая, что русская армия намеревалась вести оборонительное сражение с превосходящими силами противника. Правая часть позиции была сильна благодаря природным условиям — холмам, а главное, крутому берегу реки Колочи, выполнявшей роль рва перед расположением русской армии. Обойти правый фланг было невозможно из-за текущей там реки Москвы и густого леса, тем более что все лесные дороги инженерные части заранее завалили непроходимыми засеками. За 22–25 августа естественные препятствия были усилены земляными укреплениями. Ключевым пунктом позиции правого фланга было село Бородино, стоявшее на Новой Смоленской дороге, по которой можно было при необходимости начать организованное отступление к Москве, что потом и произошло. Для усиления обороны Бородина здесь было построено укрепление с восемью орудиями. Но в неприступности правого фланга была своя слабость — перейти в контрнаступление с этой стороны было трудно.

Правое крыло обороны и центр позиции на укрепленной возвышенности (Курганная батарея) заняла 1-я армия под командой Барклая. Багратиону с его 2-й армией достался левый фланг, который, по общему мнению, был признан ахиллесовой пятой русской позиции. В отличие от правого фланга позиция слева была весьма уязвима в том смысле, что неприятелю ее было легче атаковать и прорвать, но зато, как писал Левенштерн, «левый фланг… имел то преимущество, что он был в одно и то же время наступательным и оборонительным, тогда как правое крыло не имело этого преимущества»7. Позиция левого фланга требовала значительного укрепления. «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти верстах вперед

Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно, — писал Кутузов императору 23 августа. — Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством» (имеется в виду инженерное искусство)8. Земляные укрепления строили быстро, день и ночь, но времени, чтобы их закончить — или, как говорили военные, «вывести в правильный профиль», — не хватило. Ермолов писал: «Слабость левого крыла в сравнении с прочими частями позиции была ощутительна, укрепления же на нем ничтожны, и по краткости времени нельзя было успеть сделать их лучшими». Возводили земляные сооружения и в других местах позиции. Можно лишь условно считать, что были подготовлены к обороне Курганная батарея (батарея Раевского), Семеновские (Багратионовы) флеши и другие укрепления. Они не представляли собой, как полагалось по науке, высокие, опоясанные глубокими рвами земляные насыпи. На Бородинском поле укрепления были во многом условными — в сущности, низкие земляные валы, кое-где укрепленные фашинами, с неглубокими ровиками, причем на Шевардинском холме почва оказалась настолько твердой, что копать ее было трудно, и пришлось носить с полей пахотную землю и уже из нее насыпать валы. К тому же укрепления имели открытый доступ с тыла, почему в ходе сражения конница противника не раз успешно их штурмовала.

Причин слабости инженерного дела на Бородинском поле было две — недостаток времени и недостаток шанцевого инструмента — лопат, кирок, ломов и пр. И хотя от полков выделялись солдаты, возводили укрепления по большей части ополченцы — крестьяне, не имевшие опыта окопной работы. Лучше других была укреплена батарея Раевского, там был глубокий ров (во время боя он оказался доверху заполнен трупами), а вокруг выкопана цепь волчьих ям, прикрытых хворостом, — защита от наскоков кавалерии. Был тут построен и палисад из бревен от разобранных крестьянских изб9. Инженерные части поспешно возводили мосты и готовили переправы в тылу армии, что требовалось для последующей переброски войск с одного фланга на другой.

Двадцать второго августа Багратион был уже в лагере возле деревни Семеновское. Это была его последняя Главная квартира. Оттуда он написал последнее письмо Ростопчину. Поводом стало то, что ему в руки попала одна из афишек московского главнокомандующего: «…Больно, мой главнокомандующий, что не удостоил мне прислать, я бы дал при приказе в армию. А как сейчас получил партикулярно, то и дал всем читать, и все

закричали и много и долго будут кричать: “Слава Богу, графу Ростопчину честь и слава!” И подлинно слава Богу, что вам вверили в такой хаос Москву. Если бы Гудку (имеется в виду фельдмаршал Гудович. — Е. А.), то чисто бы шнапс, как кн. Кирилла говорит».

О своей жизни Багратион писал вскользь, с неудовольствием и некой безнадежностью: «Я посылаю своего человека купить кое-что, мочи нет — ослабел, но надо уж добивать себя. Служил (в) Италии, Австрии, Пруссии, кажется, говорить смело о своем надо больше. Ей-богу, мой почтенный друг, я рад (служить), рвусь, мучаюсь, но не моя вина, руки связаны, как прежде, так и теперь». В последней фразе — оценка своего неудовлетворительного статуса генерала, так и не ставшего главнокомандующим всеми армиями. Поэтому о военной обстановке в письме сказано мельком, без интереса, с привычным недовольством действиями командования: «Неприятель вчера не преследовал, имел роздых, дабы силы свои притянуть, он думал — мы дадим баталию сегодня, но сейчас я получил рапорт от аванпостов, что начали показываться, по обыкновению у нас еще не решено: где и когда дать баталию? — все выбираем место и все хуже находим». В заключение Багратион писал: «Я так крепко уповаю на милость Бога, а ежели ему угодно, чтобы мы погибли, стало (быть) мы грешны и сожалеть уже не должно, а надо повиноваться, ибо власть его святая». И под конец — о земном: «Сын ваш премилый и здоров»10.

«Дело адское», или Ненужный Шевардинский бой

Крайним левым пунктом обороны был первоначально признан Шевардинский редут, построенный у одноименной деревни. Он представлял собой довольно сильную позицию, но Багратион, осмотрев его, пришел к выводу, что позиция у Шевардина опасна для занимающих ее войск — из-за того, что она была значительно выдвинута за общую линию обороны армии и при наступлении неприятеля войска, ее обороняющие, будут наверняка отрезаны от основных сил, обойдены по тянувшейся вдоль позиции Старой Смоленской дороге. Кутузов, осмотрев 23 августа позицию, поддержал Багратиона и приказал сместить левый фланг к защищенной оврагом деревне Семеновское и стоявшей на Старой Смоленской дороге деревне Утице. В Семеновском срочно начали строить укрепления (так называемые Семеновские флеши, шанцы) с сильной батареей в 24 пушки.

Но тут возникает вопрос — если было решено сместить левый

фланг к Семеновскому и Утице, то почему начатые у Шевардина укрепления не бросили, а в течение 23 и 24 августа непрерывно достраивали да еще установили там 12 орудий? Зачем нужно было сражаться на заведомо проигрышной позиции, а потом, положив огромное количество солдат и офицеров, отойти к Семеновскому? А. И. Михайловский-Данилевский искал рациональное объяснение происшедшему в том, что «защита редута как отдельного укрепления была бы с нашей стороны без цели, если бы князь Кутузов не имел надобности выиграть несколько времени, проведя к окончанию инженерные работы, начатые на позиции»". Это мнение, в целом, закрепилось в литературе. Возможно, что оно опиралось на запись в дневнике начальника Главного штаба 2-й армии Э. Ф. Сен-При: «Главнокомандующий, чтобы воспрепятствовать приближению к ней (деревне Семеновское. — Е. А.), приказал укрепить деревню и возвести впереди несколько флешей. Занялись также укреплением высоты, которая находилась впереди деревни, возле деревни Шевардино, но только для того, чтобы наблюдать за движением неприятеля и поддержать отступление арьергарда. Надеялись, что этот арьергард может задержать неприятеля еще в течение всего 24-го числа и дать время окончить укрепление»12. Но известно, что 24 августа арьергард Коновницына не смог удержаться перед Бородинским полем, слился с армией, стоявшей на позиции, и в поддержке из Шевардинского укрепления уже не нуждался. Что же касается «наблюдения за движением неприятеля», то зачем было строить земляные укрепления, если, по справедливому замечанию Л. Н. Толстого, для этого «достаточно было казачьего разъезда»

Толь выдвигает другую версию целесообразности кровавой Шевардинской увертюры: «Главный предмет… при построении сего редута состоял в том, чтобы открыть настоящее направление неприятельских сил и, если возможно, главное намерение императора Наполеона». Версия также малоубедительная — для достижения этой цели — понять, куда назавтра двинется противник, — не нужно было класть в землю 5–6 тысяч солдат и офицеров. Между тем относительная слабость позиции слева была настолько очевидна, что направление возможного удара французов именно туда было для всех несомненно. А поэтому огромные жертвы на Шевардинском редуте были совершенно напрасны.

Следует прислушаться к мнению Барклая. В своем «Изображении военных действий 1-й армии в 1812 году» он писал, что после донесения Багратиона о непригодности Шевардина как крайне левого оборонительного пункта было

«наконец решено, что в случае нападения неприятельского сей фланг отступит и станет между упомянутой высотой и деревней Семеновской. На сей предмет предписано было построение батарей и редутов. Я не постигал, почему сему движению надлежало исполниться по нападении неприятеля, а не заблаговременно. Вероятно потому, что генерал Беннигсен не желал себя опорочить, он выбрал позицию (у Шевардина. — Е. А.), и посему следовало пожертвовать 24-го (августа) от 6 до 7 тысяч храбрых воинов и 3 орудия»". Вероятно, Барклай, при всей его необъективности в отношении Беннигсена, прав — Шевардинский бой был ненужным для русской армии кровопролитием, той страшной ценой, которую армия заплатила ради поддержания репутации своего начальника штаба.

С объяснением Барклая перекликается трактовка этого эпизода Jl. Н. Толстым, который в романе «Война и мир» писал, что изначально «позиция была избрана по реке Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом, так, что левый фланг был в Шевардине, правый около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Колочи и Войны». При этом Толстой прямо в романе дает схему, в которой показано, какими должны были быть, по соображению нашего командования, «предполагаемое расположение французов» и «предполагаемое расположение русских». Это и есть идея Беннигсена, о которой говорил Барклай. И «ежели бы, — пишет Толстой, — Наполеон не выехал вечером 24-го числа на Колочу и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевардинский редут был левый фланг нашей позиции, и сражение произошло бы так, как мы ожидали». Но Наполеон, желая занять лучшую позицию перед битвой, решил устроить ее не на левом, а на правом берегу Колочи, а Шевардинский редут он «расценил как передовое укрепление, которое мешало ему хорошенько обозреть русские позиции и развернуть войска»14. Поэтому и было решено его захватить. Но при этом Наполеон не собирался с ходу атаковать всю русскую армию. Он не был готов к генеральному сражению даже на следующий день, 25 августа. В тот день он готовил войска к битве, провел две рекогносцировки и внимательно рассматривал русские позиции15.

Багратион не возражал против боя у Шевардина. В этот момент он был занят усилением позиций своей армии у Семеновского и Утицы, и всякая задержка противника была на руку его армии. Шевардинский бой он мог рассматривать как вариант Шёнграбена. Русские войска у Шевардина располагались таким образом: у самого Шевардина стоял отряд генерала А. И.

Горчакова, который был здесь главным начальником, а за ним, ближе к Семеновскому, располагались 27-я дивизия Неверовского и дальше 2-я Кирасирская дивизия 2-й армии. Цепи егерей прикрывали Шевардинский редут как слева, так и справа от Ельни до реки Колочи, у деревни Алексинки. Всего в этом сражении с нашей стороны участвовали 11,4 тысячи человек. Больше половины из них легло тут костьми.

Французы, оттеснив арьергард Коновницына, вышли к Бородинскому полю и сразу же, под командованием самого Наполеона, атаковали Шевардинский редут, который, как уже сказано, мешал им удобно развернуть войска вдоль всей русской линии. В бой с нескольких направлений от Новой Смоленской дороги пошли войска маршала Даву — видно, такова была судьба Багратиона — все время сражаться с великим французским полководцем. Пехоту Даву поддерживала кавалерия Мюрата, а от Старой Смоленской дороги действовали польская пехота и кавалерия Понятовского — также противники Багратиону знакомые. У Наполеона было троекратное превосходство в силах, что в конечном счете и решило судьбу «Шевардинской увертюры». Но эта победа завоевателю далась нелегко.

Французы сразу сбили егерей, захватили стоявший напротив Шевардина Доронинский курган и начали с него интенсивный обстрел Шевардинского редута, уничтожая прислугу русских пушек. Артиллеристы, попавшие под обстрел, стали увозить пушки с позиций, подалась назад и дивизия Неверовского. Французы перешли в атаку и ворвались в редут, где захватили часть орудий. В это время русское командование ввело в бой резервы — кирасир и драгун, которые атаковали французских пехотинцев. Завязалось сражение русских кирасир и драгун с испанскими пехотинцами, польскими и французскими кавалеристами. Тут, в темноте, русские кирасиры, пользуясь внешним сходством своей униформы с саксонскими кирасирами, сумели обмануть французов, «назвав себя союзниками»16. Это позволило им внезапно атаковать противника и отбить несколько пушек. Редут переходил из рук в руки. Стемнело, бой продолжался по инерции.

Как вспоминал участник сражения Н. Б. Голицын, «здесь мне представилась ужасная картина обоюдного ожесточения, которой впоследствии нигде не встречал. Сражавшиеся батальоны, русские и французские, с растянутым фронтом, разделенные только крутым, но узким оврагом, который не позволял им действовать холодным оружием, подходили на самое близкое расстояние, открывали один по другому беглый огонь и продолжали эту убийственную перестрелку до тех пор, пока

смерть не разметала рядов с обеих сторон. Еще разительнее стало это зрелище под вечер, когда ружейные выстрелы сверкали в темноте как молнии, сначала очень густо, потом реже и реже, покуда все утихло по недостатку сражающихся»17. Об ожесточении в этом бою вспоминал и французский офицер. Когда он «вступил одним из первых в редут, он нашел молодого офицера русской артиллерии, который еще находился там и защищался сломанной саблей; он потребовал от него сдаться, но этот последний не хотел, он нанес ему удар, который полностью его (русского. — Е. А.) обезоружил; тогда русский взял камень и хотел поразить нашего молодого человека, который не смог сломить его никаким другим способом, как убив его»18.

А дальше начинается разнобой в источниках: по одним следует, что Шевардинский редут был оставлен русскими войсками, а по другим — вроде бы и нет. Командовавший войсками в этом бою генерал А. И. Горчаков много лет спустя писал историку А. И. Михайловскому-Данилевскому, что ему было поручено удерживать «большой курган, находящийся на средине, вправо деревню Шевардино и влево — лес на Старой Смоленской дороге. Наполеон усиленно желал овладеть сими местами, дабы в тот же день достичь Бородинской позиции (где Кутузов его ожидал, но где наши редуты не были еще устроены)… Сражение было самое жаркое, до самой темноты все три пункта были удержаны, я оставался в надежде и желании, что совершенная темнота ночи прекратит оное…». Далее описывается успешная атака кирасирской дивизии и сказано: «После сего поражения неприятельский огонь совершенно прекратился, и мы остались на своих местах до полуночи, тогда я получил повеление оставить сии места и идти на позицию, где готовились принять баталию»19. Непосредственный участник сражения генерал Неверовский писал, что «24 августа неприятель атаковал одну нашу батарею, которая была отделена от позиции, и я был первый послан защищать батарею. Страшной и жестокий был огонь, несколько раз брали у меня батарею, но я ее отбирал обратно. 6 часов продолжалось сие сражение, в виду целой армии, и ночью велено мне было оставить батарею и присоединиться на позицию к армии. В сем-то сражении потерял я почти всех своих бригадных шефов, штаб- и обер-офицеров, и под Максимовым моим лошадь убита. Накануне сего сражения дали мне 4 тысячи рекрут для наполнения дивизии, я имел во фронт 6 тысяч, а вышел с тремя. Князь Багратион отдал мне приказом благодарность и сказал: “Я тебя поберегу”»20.

Барклай писал по-другому: «Неприятель сбил редут, взял в оном три орудия и причинил нам бесполезный урон, стоящий

более, нежели 6000 человек»21. В. И. Левенштерн сообщает иное: «Сражение было ожесточенное и весьма кровопролитное. Французы были отброшены, потеряв несколько орудий»22. Сен-При внес в свой дневник: «Французские колонны неоднократно атаковали батарею этого редута, которая до четырех раз переходила из рук в руки. Наконец, с наступлением ночи, она осталась во власти французов. Мы потеряли при этом три орудия, которые были подбиты, но отняли у них шесть во время нескольких блестящих атак, произведенных кавалерией 2-й армии». О том же писал и Сегюр: «Редут был взят с первого натиска и при помощи штыков, но Багратион послал подкрепления, которые опять отняли его. Три раза 61-й полк вырывал его у русских, и три раза они вновь отнимали его. Наконец, он остался за нами, весь окровавленный и наполовину истребленный»24.

Из донесения Кутузова Александру I об этом бое следовало, что войска проявили «твердость», что 2-я кирасирская дивизия особенно отличилась, делая одну из последних атак «даже в темноте», «и вообще все войска не только не уступили ни одного шага неприятелю, но везде поражали его с уроном с его стороны. При сем взяты пленные и 8 пушек, из коих 3, совершенно подбитые, оставлены на месте». И ни слова об утрате в результате боя Шевардинского редута — как же так: «Не уступили ни одного шага неприятелю»? А минимум три пушки, доставшиеся французам? В том же духе Кутузов сообщал в Москву и Ростопчину: «Неприятель в важных силах атаковал наш левый фланг под командою князя Багратиона и не только в чем бы либо имел поверхность, но потерпел везде сильную потерю». Л. Л. Беннигсен вспоминал: «Когда бой окончился с наступлением сумерек, обе стороны потеряли несколько тысяч человек, мы потеряли пять орудий, а неприятель — восемь, и в его руках остались высоты позади деревни Шевардино, на которых он поставил часть своих сил»25.

Теперь заглянем в «Описание сражения при селе Бородине» генерал-квартирмейстера К. Ф. Толя: «Битва против сего редута час от часу делалась упорнее, однако же все покушения неприятеля, отражаемого несколько раз с большим уроном, сделались тщетными, и, наконец, он был совершенно отбит, потеряв более тысячи человек убитыми и ранеными… При семслучае взято нами 8 пушек, из коих 3, быв подбиты, оставлены на месте сражения». Багратион писал 27 августа императору Александру, что «…хотя неприятель усиливался и, возобновляя свои колонны, старался опрокинуть наши войска, но храбростию русских везде поражаем был с сугубою и гораздо важнейшею

потерею»26. Из этого неясно, был ли в ходе боя потерян Шевардинский редут или нет. Исходя из вышеприведенных отрывков из документов кажется, что нет, не потерян! Наконец, в приказе Кутузова по армии о Шевардинском бое 25 августа сказано туманно: «Горячее дело, происходившее вчерашнего числа на левом фланге, кончилось к славе российского оружия»27.

Так что же было правдой? Скорее всего, можно сказать, что редут был потерян в бою, но войска Горчакова со своих позиций за редутом сбиты не были, а ночью получили приказ отойти. Отдал этот приказ сам Кутузов, о чем была сделана запись в «Кратком военном журнале движения Первой Западной армии»: Кутузов «приказал генерал-лейтенанту князю Горчакову 2-му, оставя редут в ночи, отступить со всеми войсками в главную позицию и занять свое место в линии»2". Вот и все! Из этой записи следует, что приказ Горчакову был дан через голову Багратиона, и хотя войска его армии сражались при Шевардине, он оставался лишь наблюдателем сражения, затеянного не по его воле. По словам князя Н. Б. Голицына, «после этого сражения, которое князь Багратион наблюдал издали, я его сопровождал до его квартиры в деревню Семеновскую, где он меня оставил ужинать, тут еще был начальник штаба 2-й армии граф Сен-При. За ужином разговор зашел о происшествиях дня, и князь Багратион, взвешивая все удачи и неудачи, провозгласил, что перевес остался на нашей стороне и что честь и слава Шевардинской битвы принадлежит князю Горчакову, но в то время князь Багратион не мог еще знать о подробностях, здесь описываемых»29, то есть об отходе Горчакова ночью от взятого французами Шевардинского редута.

Потери сторон были большие: 5–6 тысяч человек у нас (Барклай считал, что их было больше — 6–7 тысяч) и 4–5 тысяч у французов. Это был истинно кровавый пролог битвы, а по существу, не очень удачное начало для русской армии. Утрата редута означала, что противник захватил господствовавшую над нашим левым флангом высоту (на которой, кстати, наутро разместился со своим штабом Наполеон). Но и удержать этот редут нашим войскам тогда было невозможно. Кстати, к этому времени в армию пришел объявленный 24 августа именной указ о том, что артиллеристы, потерявшие орудия, лишались права на награды30. Этот указ был вызван той легкостью, с которой артиллеристы оставляли свои орудия. 25 августа появился приказ начальника артиллерии всех армий генерала А. И. Кутайсова: «Подтвердить от меня во всех ротах (артиллерийских. — Е. А.), чтоб они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет

верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою, пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий»31. Кажется, что приказ был оглашен вовремя — в Бородинском сражении артиллеристы не уходили с позиций ни разу. Н. Е. Митаревский, со слов знакомых артиллеристов, вспоминал, что Багратион приказывал им: «Когда будут напирать французы, то чтобы передки и ящики отсылали назад, а орудия не свозили и стреляли бы картечью в упор; при самой крайности, чтобы уходили с принадлежностями назад, а орудия оставляли на месте. Так и делали»32.

По-видимому, итоги Шевардинского боя не были глубоко проанализированы Кутузовым — по многим признакам было ясно, что французы нанесут главный удар по левому флангу, по 2-й армии, а значит, необходимо было перебросить сюда с правого фланга части 1-й армии, но Кутузов оставил войска в прежнем положении. Другие полагают, что все-таки смещение сил влево было произведено. Барклай де Толли в неопределенной форме писал, что 25 августа «князю Кутузову было предложено» с наступлением темноты произвести движение армии так, чтобы правый фланг был смещен влево до Горок, стоящих на Новой Смоленской дороге, а вся 2-я армия сдвинулась бы на Старую Смоленскую дорогу. Это, по мнению Барклая, позволило бы легче перебрасывать резервы. Но главное — смещение 2-й армии привело бы к тому, что предназначенный для нее удар Наполеона пришелся бы по центру позиции 1-й армии, в то время как «князь Багратион, не будучи атакован, сам бы с успехом ударил на правый фланг неприятеля» и — скажем от себя — возможно, остался бы в живых. На правом же фланге, и так хорошо защищенном природой, могли бы стоять казаки и с десяток батальонов пехоты. «Князь (Кутузов. — Е. А.) одобривал, по-видимому, сию мысль, но она не была приведена в действие». Возможно, что реализация ночью с 25 на 26 августа этой оригинальной идеи могла в корне изменить ситуацию в сражении и оказаться полным сюрпризом для Наполеона… Но смещение всех сил влево могло стать и ловушкой для русской армии — Наполеон был способен нанести удар и по центру, в районе села Бородина, с чего он, собственно, успешно начал сражение. И тем не менее какие-то силы по воле Кутузова и Беннигсена все же были переброшены справа налево, причем еще до начала

сражения. Так, гвардейская пехотная бригада и две роты гвардейской артиллерии (1-я армия) уже в 5 утра 26 августа оказались позади позиций 2-й армии31. Может быть, следует прислушаться к мнению JT. Л. Ивченко, считающей, что позиция левого фланга не была такой уж слабой, как это принято считать, и что она проходила по линии Семеновского оврага, сочетая как полевые укрепления, так и естественные возвышенности, что позволяло обеспечить интенсивный перекрестный обстрел34. Мнение это весьма оригинальное, но смущает одно: Главная квартира Багратиона находилась в деревне Семеновское, то есть, если следовать логике исследовательницы, прямо на позиции — что кажется невозможным.

Только бы они остались! Из нескольких источников известно, что, помимо Шевардина, Багратиона сильно беспокоило то обстоятельство, что левый фланг его армии упирался в Старую Смоленскую дорогу, открытую для флангового охвата противником. Для предупреждения этого охвата главным командованием были выделены 3-й корпус Тучкова 1-го и нестроевые войска ополчения, которые, стоя вдали по дороге, создавали впечатление солидного военного контингента, готового к бою. Надо сказать, что Наполеон сразу же увидел эту слабость русской армии, но не воспользовался ею, до начала сражения не проявив активности по направлению вдоль Старой Смоленской дороги. Это было неслучайно. По общему мнению, Наполеон опасался, что всякое фланговое движение по дороге может спугнуть Кутузова и тот начнет уводить армию через Бородино по Новой Смоленской дороге. Поэтому он отверг предложение маршала Даву совершить фланговый обход, а ночью несколько раз посылал дежурного проверить, не ушли ли русские35. Участник сражения с французской стороны Цезарь Ложье записал в тот день: «Лишь бы только неприятель не воспользовался ночью для отступления! Но в этот вечер огни его еще ярче, чем накануне. Хотя ведь под Вязьмой он сыграл с нами такую штуку… На заре мы с радостью узнали, что русская армия осталась на своих позициях: мы смотрели, как они окапывались»"1. Лишь с началом сражения по Старой Смоленской дороге двинулся корпус Понятовского, но особых успехов он не достиг, увяз в бою возле Утицкого леса. А то, что Кутузова в начале сражения действительно можно было спугнуть, несомненно. 22 августа он писал Ростопчину, что готов дать «баталию в теперешней позиции, разве неприятель пойдет меня обходить, тогда должен буду я отступить, чтобы ему ход к Москве воспрепятствовать…»37.

Двадцать четвертого августа Кутузов подписал диспозицию, предусматривающую расстановку войск для сугубо оборонительного сражения. В диспозиции было прямо сказано: «Армия… ожидает наступление неприятеля при Бородине, где и даст ему сражение». И еще: «В сем боевом порядке намерен я привлечь на себя силы неприятельские и действовать сообразно его движениям». Так, при примерном равенстве сил, инициатива заведомо отдавалась противнику. Ожидать победы в этой ситуации было весьма проблематично. Такая установка опиралась на признание превосходства противника и свидетельствовала о полководческой немощи, отсутствии идей у Кутузова и его штаба. Впрочем, может быть, в такой диспозиции, наоборот, проявились реализм и здравое понимание того, что на встречном движении русской армии не устоять, а вот в обороне дело может и сладиться — нужно было учитывать необыкновенную стойкость русских офицеров и солдат в обороне, воодушевление воинов, защищавших свою столицу, родину, царя. Нельзя было сбрасывать со счета и понятие личной воинской чести, упрямство, злость, самолюбие военного человека. Часто приводят цитату из ответа солдата на вопрос, почему они так стойко сражались под Бородином: «Оттого, сударь, что тогда никто не ссылался и не надеялся на других, а всякий сам себе говорил: “Хоть все беги. Я буду стоять! Хоть все сдайся, я умру, а не сдамся!” Оттого все стояли и умирали».

Начальниками в боевых порядках были назначены справа налево следующие генералы: правый фланг — Милорадович (2-й и 4-й корпуса), центр — Дохтуров (6-й корпус), левый фланг — Горчаков (7-й корпус и 27-я дивизия). Главнокомандующие армиями остались прежние: Барклай и Багратион. Диспозиция включала важный пункт, который резко поднял ответственность этих двух военачальников: Кутузов, сказано в диспозиции, «не в состоянии будучи находиться во время действия во всех пунктах, полагается на известную опытность гг. главнокомандующих армиями и потому предоставляет делать им соображения действий на поражение неприятеля»18. Можно сказать, что Кутузов фактически устранился от непосредственного руководства сражением, переложив на Барклая и Багратиона основную тяжесть и оставив за собой право главного командования, а также право распоряжаться резервами (впрочем, в это вмешивался Беннигсен). Известно, что Наполеон поступал иначе — он сам постоянно следил за ходом сражения, корректируя действия своих маршалов, и, как писал генерал

Пеле, «находясь в 500 саженях от неприятельской линии, откуда часто проносились ядра, он управлял всеми движениями этой великой драмы»39. Неудивительно, что из-за усложненной системы командования русские постоянно запаздывали в действиях. Но, может быть, в той обстановке так было лучше — все равно за Наполеоном не поспеешь, лучше «привлечь на себя силы неприятельские и действовать сообразно его движениям»\ Багратион же и Барклай знали свое дело. Кутузов был важен как символ, как знамя. «Из престарелого вождя, — вспоминал тогдашние свои чувства Н. Е. Митаревский, — как будто исходила какая-то сила, воодушевлявшая смотревших на него»40. В его кажущейся инертности была та надежность, которой раньше армия не чувствовала.

День 25 августа прошел в подготовке сторон к сражению и рекогносцировке позиций противника. Наполеон со свитой объезжал свои позиции и особенно присматривался к левому флангу русской армии. Наши артиллеристы безуспешно пытались его «достать» пушечными выстрелами. Кутузов также объезжал позиции, и в какой-то момент полководцы могли видеть друг друга. Известно, что по крайней мере Кутузов видел Наполеона. Он писал жене 25 августа: «Три дня уже стоим в виду с Наполеоном, да так в виду, что и самого его в сером сертучке видели. Его узнать нельзя — как осторожен, теперь закапывается по уши. Вчерась на моем левом фланге было дело адское»". Это о бое у Шевардина.

Все дни после занятия позиции Багратион посвящал подготовке армии к сражению. Еще 23 августа он вместе со своим генералитетом производил рекогносцировку своих позиций. После этого были резко увеличены масштабы инженерных работ на позиции, которая была признана слабой. Лопат и другого шанцевого инструмента не хватало, Багратиону пришлось приказать «рабочих нарядить по числу инструмента», остальные носили землю и вязали фашины42. Последние приказы Багратиона перед сражением проникнуты заботой о солдатах, стремлением наилучшим образом подготовить свою армию к битве. Он организует наиболее рационально работу на укреплениях, дает распоряжения о распределении рабочей силы, об оплате рабочих и надзоре за ними. Обеспечение армии продовольствием, водкой и перцем Багратион считал своей важнейшей задачей, о чем подробно писал в приказах. 23 августа он распорядился, чтобы все рвы и канавы, мешающие перемещению первой и второй линий, были срыты, их нужно было «заровнять таким образом, дабы они, на случай дела, не могли мешать фрунту и его действиям». Строгими были и его

распоряжения об отправке больных в тыл обязательно командами во главе с офицерами. Оказалось, он узнал, что «некоторые полки 2-й армии отправляют своих больных в вагенбург без офицеров, без присмотра и, словом, без всякого продовольствия, отчего одни из них, быв рассеяны по всей дороге, испытывают все невыгоды и во всем недостаток, а другие делают шалости и грабежи»43.

Двадцать четвертого августа он был погружен в управление Шевардинским боем. Сам главнокомандующий в окрестностях Шевардинского редута не появлялся, но, судя по донесениям генерала Левенштерна, внимательно следил за ходом сражения и в один из острых моментов направил туда на помощь 27-й дивизии Неверовского 2-ю гренадерскую дивизию принца Карла Мекленбургского44. Кроме того, С. И. Маевский, дежурный генерал Багратиона, писал, что 24 августа Багратион множество раз посылал его в огонь с приказами о перемещении войск45.

Двадцать пятого августа Багратион издал последний перед сражением приказ, в котором предписывал сохранять светомаскировку — костры «для варения пищи» на виду у неприятеля не разводить, а «помещаться в оврагах и скрытых местах». Весь этот приказ проникнут истинно рачительной заботой Багратиона о солдатах. Он предписывает, чтобы все командиры озаботились обеспечением войск провиантом «непременно на 6 дней». Все егерские полки, которые стояли в оцеплении, приказано заменить свежими людьми, а «егерям сим отдыхать всю ночь, сварить каши, выпить по чарке вина и оправиться, а завтре до свету сварить опять каши, выпить по чарке вина, набрать патронов и непременно пред светом прежние места занять… Всей армии варить каши, но ночью быть весьма осторожну на случай нападения от неприятеля…». По опыту зная, как тяжело будет в бою, он дал всем войскам возможность отдохнуть и насытиться перед смертным пиром, который их ждал наутро: «Рекомендуется гг. начальникам войск употребить все меры, чтобы завтре к свету люди поели каши, выпили по чарке вина и непременно были во всей готовности»46. В 1-й армии таких приказов издано не было. Это кажется примечательным. Несомненным достоинством Багратиона всегда было внимательное, неформальное отношение к людям. Он близко знал жизнь своих солдат и офицеров. Трудно представить себе Барклая, который устраивал бы своим офицерам ужины, что регулярно делал радушный Багратион, особенно перед боем. Как уже сказано выше, такое живое общение с главнокомандующим, особенно накануне сражений, было мощным стимулом победы. Занятый массой дел, он не упускал из виду мелочей. Как

вспоминал адъютант Багратиона Денис Давыдов, во время войны с Францией в 1806–1807 годах он отпросился у командующего на передовые посты, желая прославиться каким-нибудь залихватским подвигом, но потерпел полное фиаско: был чудом не убит французами, потерял лошадь, шинель и в таком виде вернулся в штаб. «Между тем, — писал Давыдов, — князь, коего доброта сердца не уступала высоким качествам геройской души, беспокоился на мой счет и беспрестанно спрашивал обо мне каждого возвращавшегося из передовой цепи. Никто не мог дать ему удовлетворительного ответа, куда я девался. Наконец я предстал пред него на чужой лошади, без шинели, в грязи, в крови… Я рассказал им только о преследовании меня неприятелем и спасении меня казаками. Князь слегка пожурил меня за опрометчивость и, сколько я мог заметить, с одобрительною улыбкою, и приказал дать свою бурку в замену сорванной с меня шинели. Он вскоре представил меня даже к награждению». И несколько лет спустя, в другой ситуации, уже во время отступления, Багратион оставался таким же добрым к своим подчиненным. С. И. Маевский вспоминал, что после Шевардинского боя, в течение которого Багратион непрерывно посылал его с поручениями, он спал как мертвый на дворе, и «князь, проходя мимо меня со свитою, прошел так тихо, как мы входим в кабинет любезной во время сладкого и тихого сна ее. Такое внимание пред лицом армии и под открытым небом не может не поселить возвышенной преданности к начальнику, а особенно когда он, проходя мимо, сказал всем: “Господа, не будите его, он вчера очень устал, ему надобно отдохнуть и укрепиться”»47. Вспоминаются и приведенные выше слова поддержки и заботы Багратиона, обращенные к Неверовскому, вышедшему со своей дивизией из кровопролитнейшего боя.

О чарке вина и каше. Военные гигиенисты XIX века приходили к выводу, что водка (тогда ее называли также вином) создает солдату только иллюзию облегчения. «Усталый человек, выпив рюмку водки, делается бодрее и сильнее себя чувствует. Но это временное возбуждение вскоре приводит к еще большему ослаблению, подобно тому, как лошадь, которую стегнули кнутом, как бы обнаруживает новые силы, отчего устает еще больше»… Впрочем, они соглашались, что без водки — война не война: «Но бывают случаи, когда эти напитки употребляются как средство придать большую бодрость солдату как во время боя, так и во время тяжелого, скучного похода. В таких случаях чарка водки будет полезна»48. В русской армии водку раздавали порциями по 170 граммов. Во французской армии, где тоже видели в спиртном исключительную пользу, был другой порядок.

Как писал Радожицкий, у французов, «когда они попадались нам в плен, мы находили в манерках за ранцами вместо воды ром или водку»49. Русскому же солдату, при всей его доблести и неслыханном терпении, индивидуально иметь спиртное категорически запрещалось — другой менталитет! Раздача водки происходила из винных фур, в строгом соответствии с нормой. Впрочем, как обходить строгие инструкции выдачи спиртного, солдаты учились с младых ногтей, и в бою многие были пьяны — как русские, так и французы. Тот же Радожицкий вспоминает, как на их батарею прорвались французские уланы. Они были так пьяны, что «ворвались и рубили без разбора все, что попадалось: людей, лошадей, колеса, лафеты, даже царапали саблями пушки»50. Каша, которую иногда называли «кавардак», была, пожалуй, единственным видом горячей пищи русского солдата. Она не была кашей в нашем, современном понимании этого слова. Это был, скорее, густой мясной суп с крупой, щедро сдобренный салом тех «порционных» животных, которые попадали в котел. В день солдату было положено полтора фунта мяса, так что в котле варилось не менее 5–6 килограммов мяса. Кашу варили не в передвижных кухнях на целую роту, как стали делать позже, а «артельно», то есть на артель, которую составляло, по-видимому, «капральство» — отделение из десяти человек. В некотором смысле в основе низовой организации русской армии, в которую были перенесены традиции общины, лежала артель, артельное начало. Как говорил любимый в армии лихой генерал Кульнев, «артель есть душа и кормилица солдатская». Известно, что артель сплачивала этот десяток людей среди тягот войны в прочное боевое братство. Центром был, естественно, котел, вокруг которого собиралось сообщество едоков и которым дорожили как зеницей ока. Имелись также артельная касса и артельная аптечка народной медицины. Наконец, существовало довольно четкое распределение обязанностей. В момент остановки на бивак каждый член артели знал свой маневр: «Как только усматривали, что передние остановились, тотчас одни отвязывали котлы и шли за водой, другие же — в селение за дровами, а для бивуака и шалашей — за жердями и соломою. Всяк знал свое дело и исполнял его без дальнейших приказаний»51.

В тот день Багратион последний раз в своей жизни виделся с Барклаем. Оба они вместе со своими штабами и корпусными командирами были вызваны Кутузовым около полудня в центр русской позиции. Здесь состоялся импровизированный военный совет. Русские генералы в подзорные трубы рассматривали стоявшую напротив них такую же группу французских генералов,

среди которых был виден плотный невысокий господин в сером сюртуке. Наполеон проводил рекогносцировку. Потом Багратион вернулся к себе, на левый фланг…

Его войска располагались таким образом. Самое правое положение, ближе к центру всей русской позиции, занимал 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского. Своим правым флангом (тут стояла 26-я дивизия Неверовского) он примыкал к 6-му корпусу 1-й армии под командованием Д. С. Дохтурова, а левым — к деревне Семеновское. Впереди, на стыке 6-го и 7-го корпусов, находился высокий курган, названный позже «Батареей Раевского» (18 пушек). Левее корпуса Раевского стоял 8-й корпус генерал-лейтенанта М. М. Бороздина. Первоначально 8-й корпус оборонял 12-батарейный Шевардинский редут, сюда же были выдвинуты затем части 27-й дивизии. За редутом и восточнее его стояла 2-я кирасирская дивизия, а также полки 12-й пехотной дивизии. В резерве, за деревней Семеновское, находились сводно-гренадерские батальоны пяти пехотных дивизий и 2-й гренадерской дивизии52. К юго-западу от деревни Семеновское были сооружены Багратионовы (Семеновские) флеши с 24 орудиями. После отхода от Шевардина Багратионовы флеши стали передним краем обороны левого фланга.

Последний вечер накануне бессмертия или встречи с Богом

По-разному провели последнюю ночь перед битвой с 25 на 26 августа противники. У французов шло веселье. Как писал Хлаповский, «на рассвете 7 сентября (26 августа) на нашем правом фланге раздались звуки марша: музыка пехотных полков играла, выбирая лучшие пьесы для возбуждения бодрости и духа войск перед битвой. Теперь уже никто не сомневался, что дело дошло до генерального сражения»52. В действительности сомнения еще сохранялись. Сегюр, бывший в ту ночь на Бородинском поле, писал: «Сколько различных волнений было в эту ночь! Солдаты и офицеры заботились о том, чтобы приготовить оружие, одежду и боролись с холодом и голодом, так как жизнь их представляла теперь непрерывную борьбу с лишениями всякого рода. Генералы же и сам император испытывали беспокойство при мысли, что русские, обескураженные своим поражением накануне, опять скроются, пользуясь ночной темнотой. Мюрат стращал этим. Несколько раз казалось, что неприятельские огни начинают бледнеть и что слышится как будто шум выступающих войск. Однако утром… солнце осветило обе армии и показало их друг другу на том же

самом месте, где они находились накануне. Радость была всеобщей. Наконец-то прекратится эта неопределенная, вялая, подвижная война, притуплявшая наши усилия, во время которой мы забирались все дальше и дальше. Теперь мы приблизились к концу, и скоро все должно было решиться!»54

В традициях наполеоновской армии было готовиться к битве как к празднику. За этим стояла идеология Французской революции, черты тогдашнего французского менталитета, впитавшего многое от античности с ее культом героя, понятиями славы, бессмертия, достигаемого не молитвой, а воинским подвигом. Умирать не страшно не потому, что «все там будем», а потому, что подвиг обессмертит героя. А тогда над чем же грустить? «Ночь с 6 на 7 сентября, — вспоминал француз Терион, — прошла так же покойно, как и день 6-го, и когда 7-го утром армия взялась за оружие, она была полна энтузиазма и военного пыла; оружие сверкало, и люди были в полной парадной форме»55. К тому же всех воодушевило воззвание Наполеона, прочитанное каждому полку перед битвой: «Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она нам необходима, она даст нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой». Это «энергичное и короткое воззвание окончательно наэлектризовало армию, в нескольких словах оно затрагивало все ее интересы, все ее страсти, все ее нужды, короче — в них было все сказано»56. Вообще, Бородинская битва была «битвой народов». Как вспоминал сержант В. А. Фоссен, «6-го мы оставались стоять на той же позиции против неприятеля; подразделения различных родов войск и национальностей: французы, итальянцы, неаполитанцы, саксонцы, вестфальцы, поляки, дармштадтцы проходили мимо нас и занимали свои позиции»57. При этом в Великой армии были целые корпуса, укомплектованные национальными контингентами: кроме смешанного итало-французского корпуса, был еще польский, баварский, саксонский, вестфальский. Представители других народов и владений составляли дивизии (вюртембергцы), бригады, полки и даже батальоны58.

Иначе было на русской части поля. Как тут не вспомнить знакомые с детства слова Лермонтова: «…И слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый…» Действительно, многие свидетели сообщают о веселом шуме у французов и необыкновенной тишине в тот день

и вечер на русских позициях. Н. Б. Голицын писал: «Глубокая тишина, которая господствовала повсюду, была предвестницею грозы. По всей линии провозили икону Смоленской Божией Матери (она была огромного размера. — Е. А.), и каждый из нас мог приготовиться с благоговением к принесению себя в жертву царю и отечеству. Величественная минута, которая никогда не изгладится из памяти моей!» В русском лагере готовились не к подвигу во французском понимании, а к жертве во имя России и царя. Федору Глинке все это напоминало приготовления к Куликовской битве — тысячи и тысячи людей вставали на колени, припадали к земле и горячо молились Богу, прося у него победы и жизни59. Французы же, дети буржуазной, атеистической революции, видя русские хоругви и священников, потешались над «средневековьем» русских. Это были два мира, которым не суждено было понять друг друга. Многие люди в русских рядах осознавали, что идут почти на верную смерть. Как писал участник сражения П. Х. Граббе, у него тогда не было никаких иллюзий: «Решительной победы над Наполеоновой армией в тогдашнем состоянии нельзя было надеяться»60. Так думали и другие участники сражения. Н. Н. Муравьев писал, что «мы были гораздо слабее неприятеля и потому не должны были надеяться на победу».

Приближался вечер 25 августа. «Солнце светило ярко, — вспоминал артиллерист И. Т. Радожицкий, — и золотистыми лучами скользило по смертоносной стали штыков и ружей, оно играло на меди пушек ослепительным блеском. Все устраивалось для кровопролития следующего дня: московские ратники оканчивали насыпи на батареях, артиллерию развозили по местам и приготовляли патроны. Солдаты чистили, острили штыки, белили портупеи и перевязи, словом, в обеих армиях 300 тысяч воинов готовились к великому, страшному дню».

Не палить в «молоко» и не паниковать. Не отдыхали и офицеры. В их обязанности входило тщательное наблюдение за оружием солдат, а главное — забота об их моральном состоянии. Согласно «Наставлению господам офицерам… в день сражения» М. С. Воронцова, перед боем офицеры и особенно ротные командиры должны были тщательно осмотреть все ружья, приказать ввернуть и хорошо закрепить новые кремни, проследить, чтобы солдат имел еще два в запасе и чтобы положенные 60 патронов «были налицо и в исправности и так уложены, чтоб солдат, вынимая из сумы, в деле не терял оные, как то часто случается». Офицерам надлежало смотреть, чтобы в бою солдаты стреляли прицельно. «При знаке или команде стрелять» офицеру предписывалось выйти за фронт «и, ходя за

оным подтверждать, чтобы каждый рядовой прицеливался и второпях не стрелял бы вверх. Сие есть обязанность всех офицеров и унтер-офицеров замыкающих, кои все должны ходить и строго смотреть, чтоб люди их вверх не стреляли». Перед боем солдатам нужно было делать внушения: «Запрещается наистрожайше, чтоб никто из офицеров или солдатов никогда не осмелился что-нибудь сказать такое, которое бы могло устрашить или удивить своих товарищей. Надобно стараться видеть неприятеля как он есть, хотя он и силен, хотя он бы был проворен и смел, но русские всегда были и будут гораздо храбрее, новозаведенная наша картечь в близкой дистанции тысячу раз лучше его пуль; про штыки же и не говорю, никто еще никогда против русских штыков не удержался, надобно только дружно идти и, пробивши неприятеля, не всем гнаться, а только некоторым…» Речь идет о введенных в армии картечных патронах, которые, как считал Воронцов, «предпочтительно употребляться должны в рассыпном фрунте, в лесу, против кавалерии и особенно против неприятельских стрелков»61.

«Наступила ночь, — продолжал Радожицкий, — биваки враждующих сил запылали бесчисленными огнями кругом верст на двадцать пространства; огни отражали в небосклоне на темных облаках багровым заревом: пламя в небе предзнаменовало пролитие крови на земле. Велики были собранные силы, велико предстояло побоище — знаменитое в летописях мира»62. Н. Е. Митаревский в ту ночь сидел в кругу своих боевых товарищей офицеров и слушал их разговоры: «Полагали, что завтрашний день будет решением кровавой задачи, и, разумеется, об этом только и толковали. “Не может быть, — говорили, — чтоб из такого дела все мы вышли живы и невредимы. Кто-ни-будь из нас да надо же быть убитым или раненым”. Некоторые возражали: “Не может быть, чтобы меня убили, потому что я не хочу быть убитым!..” Другой замечал: “Меня только ранят…” Один молодой, красивый подпоручик сказал, указывая на открытую лазейку бивуака: “Смотрите, видите ли вы там, на небе, большую звезду? Когда меня убьют, я желал бы, чтобы душа моя переселилась туда”. Этот офицер действительно был убит, но там ли его душа? Однако ж по настоящее время как только взгляну на крайнюю звезду Большой Медведицы, я вспоминаю о своем юном сослуживце. Я доказывал, что в среднем обыкновенно из десяти убивают одного, а ранен будет кто-нибудь непременно. “И неужели я именно тот десятый, который должен быть убитым” — говорили иные. Все мы были люди молодые, я же моложе всех. Споры продолжались до тех пор, пока старый штабс-капитан не сказал: “Полно вам рассуждать, молитесь Богу, да спите, а там его

святая воля”»63.

Конечно, с Бородинского поля еще можно было ночью увести армию по Новой Смоленской дороге. Но битва была необходима всем, и русским в том числе. «Казалось, — писал Н. Н. Муравьев, — несбыточным делом сдать столицу неприятелю без боя и не испытав силы оружия. Французы превозносились тем, что нас преследовали, надобно было, по крайней мере, вызвать у них уважение к нашему войску. Кутузову нужно было также получить доверие армии, чего предместник его не достиг, постоянно уклоняясь от боя. Вероятно, что сии причины побудили главнокомандующего дать сражение, хотя нет сомнения, что он мог иметь только слабую надежду на успех и победа нам бы дорого обошлась. При равной же с обеих сторон потере неприятель и при неудаче своей становился вдвое сильнее нас. Французы имели столь превосходные силы в сравнении с нашими, что они не могли быть наголову разбиты, и потому в случае неудачи они, отступив несколько, присоединили бы к себе новые войска и в короткое время могли бы атаковать нас с тройными против наших силами, тогда как к нам не успели бы прийти подкрепления. Наша армия также не могла быть разбита наголову, но, потеряв равное с неприятелем число людей, мы становились вдвое слабее и в таком положении нашлись бы вынужденными отступить и сдать Москву, как то и случилось»64.

А противник, бывший на том же поле, рассуждал о другом. «Странное и удивительное явление современный бой, — вспоминал Бородино Терион, — две противные армии медленно подходят к полю сражения, открыто и симметрично располагаются друг против друга, имея в 140 шагах впереди свои артиллерии, и все эти грозные приготовления исполняются со спокойствием, порядком и точностью учебных упражнений мирного времени, от одной армии до другой доносятся громкие голоса начальников, видно, как поворачиваются против вас дула орудий, которые вслед за тем понесут вам смерть и разрушение, и вот, по данному сигналу, за зловещим молчанием внезапно следует невероятный грохот — начинается сражение»65.

Глава двадцать вторая
Последний бой, он трудный самый

«Началась битва или, вернее, бойня»

«Вчерашнего числа, — писал 27 августа Кутузов императору Александру, — пользуясь туманом, в 4 часа, с рассветом, направил (неприятель) все свои силы на левый фланг нашей армии». Да, сражение началось рано утром 26 августа. Как известно, в России его называют Бородинским, а во Франции — Московским, но не по имени столицы, а по названию реки. По одной из версий, когда французская конница со своего левого фланга дошла до какой-то реки и стала поить в ней коней, то выяснилось вдруг, что это Москва-река, текущая через русскую столицу. Эта весть, вызывая восторг, распространилась по французским полкам. Наполеон, узнав об этом, сказал: «По имени этой реки назовем завтрашнюю победу»1. В. Н. Земцов, специалист по истории армии Наполеона, так озаглавил свою книгу, стремясь соединить в одно названия битвы у обоих народов: «Битва при Москве-реке. Армия Наполеона в Бородинском сражении» (М., 1999).

В своем описании начала исторического сражения Кутузов не совсем точен. По всем известным данным, первая атака французов началась одновременно на Семеновские (Багратионовы) флеши и на русские позиции у села Бородина. Там им удалось оттеснить, а затем истребить почти половину любимого Багратионом Егерского лейб-гвардии полка, затем французы были отброшены на левый берег речки Колочи, но удержали за собой само село Бородино. Здесь завязалось упорное сражение, которое к 8 утра постепенно затихло — все внимание было приковано к событиям, происходившим на левом фланге. Как писал участник этого боя В. И. Левенштерн, «деревня Бородино осталась во власти французов, но с этой минуты перестала играть роль в великой драме, получившей, однако, от нее свое название». Некоторые историки не без основания полагают, что удар по русским позициям у Бородина был ложным, нанесенным с тем, чтобы отвлечь внимание Кутузова от его левого фланга и помешать тем самым переброске резервов с правого фланга на левый, к Багратиону2.

М. С. Воронцов писал много лет спустя: «26-го на рассвете началась битва или, вернее, бойня при Бородино» («On the 26-th

early began the battle or rather butchery of Borodino»). «Развернулся весь ад!» — так вспоминал происшедшее на левом фланге дежурный генерал штаба Багратиона С. И. Маевский. «В пять часов утра, — пишет Н. Б. Голицын, — перестрелка послышалась у левого фланга, который занимала Вторая армия, и в одно мгновение распространилась по всей линии. Раздался гром двух тысяч пушек и двухсот тысяч ружей, который потряс землю под ногами нашими и извергал смерть с такою адскою быстротою, что всякое спасение казалось невозможным. Сильное стремление бесчисленных колонн неприятельских, покушающихся всячески овладеть нашими орудиями, навалило огромнейшую груду мертвых тел пред батареею генерала Раевского, у подошвы которой исчезали целые дивизии. Ожесточение неимоверное и непостижимое для того, который не был очевидцем такой ужасной борьбы. Как жизнь человеческая является во всем ничтожестве своем в такие минуты, где острая и неумолимая коса смерти так безостановочно действует и очищает все вокруг вас, что каждая секунда, кажется, должна быть последнею нашей жизни, и при беспрестанном таком разрушении все чувства до того умолкают, что глаза не в силах уронить слезы при виде падшего друга, которого рука за минуту до этого сжимала вашу». Как вспоминает П. Х. Граббе, еще не окончился бой у Бородина, «как весь левый фланг покрылся дымом и загремел выстрелами. Вскоре все слилось в один непрерывный гул»1. Момент начала сражения застал артиллериста А. С. Норова в центре позиции, возле стоявшего в резерве Преображенского полка: «Ночь была свежая и ясная. Самый крепкий и приятный сон наш на заре был внезапно прерван ружейными перекатами: это была атака на гвардейских егерей в Бородине и почти вслед за тем заревела артиллерия и слилась в один громовой гул. “Становись!” — раздалось по рядам… Быстро припряжены были лошади к орудиям и зарядным ящикам. Несколько ядер с визгом шмыгнуло уже мимо нас, несмотря на то чайник кипел, и нам, уже стоявшим в строю, поднесли несколько стаканов чаю с ржаными сухарями. Солдаты тоже что-то закусывали, а стоявший возле меня бомбардир наливал в крышку своей манерки обычную порцию водки; увидав, что я на него смотрю, он сказал: “Извините, ваше благородие, день долог, и, конечно, до ночи мы ничего не перекусим”. К нам примыкал Преображенский полк, несколько офицеров этого полка собрались вместе с нами впереди нашей батареи, рассуждая о начавшейся битве… Разговоры наши были серьезны. Всякий чувствовал, что он стоит на рубеже вечности. Я заметил, что даже наши ретивые кони, которые сначала при свисте ядер ржали и рвались, вскоре сделались смирны, как

ягнята»4.

Что же происходило в то утро на фланге Багратиона? Когда примерно к 7 часам утра рассеялся туман, стало ясно, что за ночь и ранние утренние часы Наполеон сумел сосредоточить здесь силы, превосходящие 2-ю армию минимум вдвое или втрое (80 тысяч человек) и почти четыре сотни орудий. Кутузов поначалу отказал Багратиону в помощи, и тот сделал все возможное в его положении — перевел на переднюю линию всю доступную ему артиллерию, пытаясь сдержать неприятеля насыщенным орудийным огнем. По мнению А. П. Ларионова, на левом фланге было сосредоточено 396 орудий, то есть даже больше, чем у французов, у которых их насчитывалось 3825. Тем временем Семеновские флеши, которые обороняла дивизия М. С. Воронцова, а также войска Неверовского (в южной части флешей), были атакованы двумя колоннами маршала Даву, двигавшимися по краю Утицкого леса слева от русских позиций. Опушку леса героически защищали те самые егеря, об отдыхе которых накануне сражения так заботился Багратион. Французы с трудом продирались через лес, чтобы строиться в атакующие колонны под картечным огнем русских пушек. Ядро одной из них пробило лошадь Даву, и он, контуженный, был сброшен наземь и на время потерял сознание; ранено было также двое других генералов. Тем не менее французы захватили левую флешь. Сопротивляться их натиску было невозможно. Ермолов писал об этом: «Двинулись страшные громады сил и, невзирая на сопротивление наше, в ужасающем виде, медленными подойдя шагами, овладели укреплениями нашими»6. Однако вскоре французы были выбиты из флешей. «Граф Воронцов с дивизиею своею, — вспоминал Неверовский, — поставлен был защищать батарею, но множеством неприятеля был сбит и сам граф Воронцов ранен. Я был послан с дивизиею подкрепить его и вошел в жестокий огонь, несколько раз дивизия, и я с ней вместе, ходили в штыки. Напоследок патроны и заряды пушечные все расстреляли, и мою дивизию сменили, я укомплектовался патронами и зарядами и вошел вторично в сражение, которое продолжалось до ночи. Вся армия дралась упорно, но неприятеля было вдвое числом, мы удержали место, включая наш левый фланг, подал неприятель назад. Таковых сражений едва ли когда бывало, сам неприятель сознается в сем».

Сам М. С. Воронцов вспоминал, что он и вся его дивизия «должны были выдержать первую и жестокую атаку пяти-шести французских дивизий, которые одновременно были брошены против этого пункта, более 200 орудий действовали против нас. Сопротивление не могло быть продолжительным, но оно

кончилось, так сказать, с окончанием существования моей дивизии. Находясь лично в центре и видя, что один из редутов на моем левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадерской дивизии и повел его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а этот батальон почти уничтожен. Было почти 8 часов утра, и мне выпала судьба быть первым в длинном списке генералов, выбывших из строя в этот ужасный день»7.

Гром бога войны, или «Отличное попадание!». Современники, как один, отмечают необыкновенную мощь артиллерийского огня во время сражения. Воздух над полем битвы содрогался от рева сотен орудий, ядра со свистом врезались в стоящие ряды пехоты, вспахивали поле битвы, катились и прыгали по нему: «С восхождения солнца по всей линии от левого фланга до средины открылась ужасная канонада из пушек, гаубиц, единорогов. Выстрелы так были часты, что не оставалось промежутка в ударах: они продолжались беспрерывно, подобно раскату грома, произведя искусственное землетрясение. Густые облака дыма, клубясь от батарей, возносились к небу и затмевали солнце… Лошадь моя шла и часто останавливалась от прыгающих ядер с правой стороны, на пути множество валялось убитых и раненых солдат, которых ратники московские, увертываясь от ядер, подбирали и уносили назад… Несколько неприятельских ядер попадали в самые дула наших орудий, не мудрено, что в таком множестве, летая с одной стороны на другую, они сталкивались и, отскакивая назад, били своих». Так писал артиллерист И. Т. Радожицкий. Француз В. Маренгоне подтверждает это описание: «Поле было все осыпано ядрами и картечью, точно градом после сильной бури, в местах, которые больше подверглись огню… ядер, осколков гранат и картечи было такое множество, что можно было подумать, что находишься в плохо убранном арсенале, где разбросали кучи ядер и рассыпали картечь. Я не мог постичь, каким образом хоть один человек мог уцелеть здесь. Я еще больше удивился, подойдя к рвам, здесь была такая масса гранат, что, не видавши, невозможно себе это представить!»" По мнению специалистов, при Бородине французская артиллерия производила 100 выстрелов в минуту, наша — несколько меньше. Большая часть ран, полученных на поле сражения, была от действия артиллерии — в особенности от картечных пуль10. Страшны были прямые попадания ядер в стоящие в строю полки. Особенно незащищенной от ядер противника была конница. В одном из музеев

Франции хранится кираса, насквозь пробитая ядром. Но и ядра, утратившие силу полета, были опасны. «Отличное попадание!» — воскликнул командир кавалерийского корпуса

Луи Пьер Монбрен, когда русское ядро поразило его в бок. Как вспоминал А. С. Норов, «завидя медленно катящееся к нам ядро, я рассеянно хотел его толкнуть ногой, как вдруг кто-то порывисто отдернул меня назад: это был капитан Преображенского полка граф Полиньяк, мой петербургский знакомец: “Что вы делаете? — воскликнул он. — Как же это вы, артиллерист, забываете, что даже такие ядра по закону вращения около своей оси не теряют своей силы, оно могло оторвать вам ногу!”». Действительно, Н. Е. Митаревский писал, что даже прикосновение катящегося ядра к человеку приносило смерть. Правда, самому Наполеону русские ядра почему-то не вредили. Как вспоминал один из окружающих Наполеона на наблюдательном пункте, ядра падали и подкатывались к ногам Наполеона, и «он их тихо отталкивал, как будто отбрасывал камень, который мешает во время прогулки»“. По признанию русских военных, артиллерия Наполеона превосходила нашу. Сен-При писал, что «превосходство в численности и калибре французской артиллерии причинило много вреда». Считается (так, кстати, думал и Кутузов), что ранняя гибель начальника русской артиллерии генерала Кутайсова резко снизила эффективность действий наших пушек, но и без того французская артиллерия по тем временам была лучшей в мире. Особенно успешно она действовала в районе Багратионовых флешей. С самого начала Наполеон сосредоточил там огромные силы артиллерии, которые вели почти непрерывный огонь по русским позициям. Снаряды находили цель даже если пролетали мимо первой линии. Дело в том, что позиция русских войск здесь была примечательна теснотой: вторая, резервная линия стояла довольно близко к первой. К ней часто, уже на излете, долетали ядра и гранаты противника (дистанцией эффективного огня считалось тогда расстояние в 700—1000 метров12), они катились и прыгали по полю, почему и можно было от них увертываться, но отдельные навесные снаряды попадаги в ряды стоящих во второй линии батальонов, так что некоторые военачальники, видя, как ядра вырывают страшные кровавые дыры в строю, приказывали солдатам сесть или лечь на землю и тем самым уменьшить зону поражения. Та же ситуация была и у французов: как писал Терион, из-за тесноты поля «пришлось располагать войска в глубоком порядке нескольких линий, почему снаряды, перелетавшие первую линию, поражали вторую, а некоторые снаряды поражали несколько линий. Побоище было ужасающее, и само сражение явилось наиболее кровопролитным со времени употребления огнестрельного оружия»”.

Когда Наполеон узнал о ранении Даву, он бросил в бой новые силы — колонны под командованием маршала Нея, а также кавалерию маршала Мюрата. Это было около 7.30 утра. Видя, как перед ним разворачиваются превосходящие силы противника, Багратион собрал в кулак все, что было у него в наличии, включая войска из второй линии, а также стоявшую в резерве 2-ю гренадерскую дивизию принца Мекленбургского. Дважды он просил своего давнего недоброжелателя Тучкова 1 — го прислать ему «секурс». Только с третьего раза Тучков послал со Старой Смоленской дороги 3-ю дивизию Коновницына. Его тоже можно понять — и без всяких «личностей» Тучкову было трудно исполнить волю главнокомандующего 2-й армией и отослать с Коновницыным четыре полка, ибо как раз в это время поляки Понятовского усилили натиск у деревни Утица, так что Тучкову самому пришлось просить помощь у Кутузова14. Подошедшая к этому времени русская кавалерия — драгуны и гусары — столкнулась в бою с французскими кавалеристами и сумела отогнать их от флешей. Но главную угрозу для войск Багратиона представляла французская пехота, которая вновь двинулась на русские позиции. Как вспоминал Маевский, «наш угол (то есть левый фланг. — Е. А.) показал твердость». На флешах разгорелась невиданно отчаянная схватка, в ходе которой флеши, по подсчетам разных историков, переходили из рук в руки от четырех до восьми раз. Ермолов писал: «Из рук в руки переходили батареи, потеря с нашей стороны выше вероятия»15. Возможно, именно в этот момент Ней допустил ошибку — ударил одновременно по флешам и по деревне Семеновской, что привело к распылению его сил16. Однако к 10 часам французы все-таки захватили флеши окончательно. По общему признанию, сражение у флешей отличалось невероятным ожесточением. Как писал 27 августа в своем письме Александру I князь Багратион, неприятель «сделал нападение усильнейшее, и сражение началось столь жестокое, отчаянное и убийственное, что едва ли были подобные примеры. Тел неприятельских кучи навалены, и можно место сие назвать гробом французов. С нашей стороны вред, хотя равномерно довольно значущий, но несравненно меньший противу неприятеля»17. К сожалению, Багратион был неправ, огромные потери на флешах понесли не только французские, но и русские войска. В ходе же всего кровопролитнейшего сражения 2-я армия была наполовину уничтожена.

Наполеон во что бы то ни стало хотел прорвать левый фланг русских и тем решить судьбу сражения. Во время отчаянного

натиска французы попытались обойти флеши справа от себя, по Старой Смоленской дороге. Туда был брошен корпус Понятовского, который возле Утицы неожиданно натолкнулся на 2-й корпус генерала К. Ф. Багговуга и не смог продвинуться дальше18. Известно, что корпус Багговута был предусмотрительно отправлен с правого фланга на левый Барклаем, который на ранней стадии сражения в полной мере оценил значение возможного охвата французами русского левого фланга и делал все, чтобы это предупредить19. Нужно признать, что рука Барклая, протянутая недоброжелателю, спасла Багратиона и всю армию в тот момент от флангового прорыва и неизбежного разгрома.

Роковая граната

«Но этот достопамятный день, пожравший столько драгоценных жертв, готовил нашим сердцам самый чувствительный удар, — писал Н. Б. Голицын. — В 11 часов утра обломок гранаты ударил нашего возлюбленного генерала в ногу и сбросил его с коня. Здесь суждено ему было кончить блистательное военное служение, в продолжение которого он вышел невредим из пятидесяти баталий… Когда его ранили, он, несмотря на страдания, хотел дождаться последствий скомандованной им атаки Второй кирасирской дивизии и собственными глазами удостовериться в ее успехе: после этого, почувствовав душевное облегчение, он оставил поле битвы…»20

Голицын, хотя и был участником сражения, ошибается относительно времени ранения Багратиона. Вообще, сам момент ранения полководца не очень хорошо прослеживается по источникам. Современные исследования показывают, что Багратион, скорее всего, был ранен еще до 9 часов утра, в тот момент, когда, по некоторым сведениям, он или возглавил атаку (вариант — контратаку) гренадер дивизии герцога Карла Мекленбургского во время сражения за деревню Семеновское или, во всяком случае, присутствовал при этой атаке21. Еще по одному сообщению видно, что до этого момента Багратион наблюдал, как французские гренадеры 57-го полка с ружьями наперевес, под картечным огнем наших пушек бросились на русские позиции. Багратион оценил их «чрезвычайную храбрость… ударил несколько раз в ладони, воскликнув: “Bravo! Bravo!” Так сильно кипело в нем военно-поэтическое чувство, что он не мог удержаться от отдачи справедливости даже врагам». Читатель помнит разговор Багратиона за столом Беннигсена в 1807 году,

когда он говорил: «Я люблю страстно драться с французами — молодцы! Даром не уступят — а побьешь их, так есть чему и порадоваться».

Поначалу Багратион пытался скрыть рану. Однако, потеряв много крови, он стал падать с лошади. Его подхватили и опустили на землю. Сам Багратион писал императору об этом скупо: «В деле 26-го и я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости, но ни малейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту Отечества и августейшего престола; крайне, однако ж, прискорбно одно только то, что я в сие важнейшее время остаюсь в невозможности далее показать мои услуги». Примерно тогда же были ранены все главные генералы 2-й армии: Анд. И. Горчаков, Карл Мекленбургский, Сен-При, а ранее — генерал М. С. Воронцов.

Многие видели, как увозили Багратиона с поля боя. Муравьев писал, что когда он направлялся на батарею Раевского, то «дорогой встретил я раненого кн. П. И. Багратиона, которого несли несколько человек, он посмотрел на меня с страдальческим видом и, беспрестанно оглядываясь, принимал живейшее участие в ужасном кровопролитии и особенно в своих войсках, которых сильно теснили французы»21. А это был действительно важнейший момент сражения на левом фланге, когда французы захватили флеши и Багратион ввел в бой 2-ю гренадерскую дивизию герцога Карла Мекленбургского, которая начала сбивать французов с захваченной позиции.

Видел раненого Багратиона и другой мемуарист — А. С. Норов. Мимо его орудия проходил гвардейский Финляндский полк, взводом которого командовал его двоюродный брат поручик князь Ухтомский. «Мы обнялись с ним, — писал Норов, — и только что его взвод миновал меня, как упал к моим ногам один из его егерей. С ужасом увидел я, что у него сорвано все лицо и лобная кость и он в конвульсиях хватался за головной мозг. “Не прикажите ли приколоть” — сказал стоявший возле меня бомбардир. “Вынесите его в кустарник, ребята”, — отвечал я. Вскоре более грустная картина представилась мне: приближалась к нам небольшая группа, поддерживая полунесомого, но касавшегося одной ногою земли, генерала… Но кто же был это? Тот, которым доселе почти сверхъестественно держался наш левый фланг — Багратион!.. А мы все еще с орудиями на передках стояли, сложа руки! Трудно выразить грусть, поразившую нас всех»23.

Осиротевшая армия

Ранение главнокомандующего 2-й армией, бывшего у всех на виду, стало одним из драматических событий в истории этого великого сражения. Это произошло в тот момент, когда французы маршала Нея, захватив флеши, пытались завладеть деревней Семеновской. П. Х. Граббе писал: «Осиротевшая без него 2-я армия, и сверх того лишенная смертию и ранами почти всех главных своих начальников, держалась одним отчаянным мужеством войск, без обшей связи в распоряжениях»24. Дело было, однако, даже серьезнее, чем считал Граббе, ибо в частях 2-й армии началось замешательство — предвестник паники. Как рассказал в Можайске А. П. Бутеневу приехавший с поля боя офицер, он видел, как Багратион «упал с лошади, весь в крови, к ужасу окружавших его солдат, привыкших считать его неуязвимым, так как в течение почти четверти века, участвуя в стольких сражениях, он никогда не был ранен»25. О замешательстве Багратионовых солдат как о несомненном факте говорят многие свидетели. Ермолов писал, что «в мгновение пронесся слух о его смерти и войск невозможно удержать от замешательства. Никто не внемлет грозящей опасности, никто не брежет о собственной защите: одно общее чувство — отчаяние! Около полудня 2-я армия была в таком состоянии, что некоторые части ее не иначе, как отдаляя на выстрел, возможно, было привести в порядок»26. Дежурный офицер 6-го корпуса Д. Н. Болговский подтверждает вышесказанное: когда «князь Багратион выбыл из боя, произошел беспорядок, который имел бы самые пагубные последствия», если бы не прибыли полки резерва27. Воспользовавшись этим замешательством, французская дивизия генерала Ж. Разу овладела всеми укреплениями Багратионовых флешей. Но тут же она была атакована прибывшими со стороны Старой Смоленской дороги войсками 3-й пехотной дивизии П. П. Коновницына, которые, по словам генерала, «были употреблены тотчас к завладению важной высоты, занимаемой неприятелем. Сие было исполнено с совершенным успехом», дивизия Разу была выбита из укреплений. В этот момент погиб генерал А. А. Тучков 4-й, шедший в атаку впереди своей бригады. Коновницын вспоминал, что как раз в это время он подвергся натиску французской кавалерии, «от коей тучи пыли от земли до небес столбом показывали мне ее ко мне приближение, я с Измайловским полком, устроя его в шахматные карей, решился выждать всю неприятельскую кавалерию, которая в виде вихря на меня налетела. Не буду заниматься счетом шагов от кареев, в коих обложил неприятель мои карей, но скажу, что он был так близок, что каждая, можно сказать, пуля наша валила своего всадника. Перекрестные огни боковых фасов произвели тысячи

смертей, а остальному ужас. Такового рода были три неприятельские атаки, и все безуспешные. Измайловские гренадеры, не расстраивая строя, бросались на гигантов, окованных латами, и свергали сих странных всадников штыками». Об этом вспоминал и другой участник сражения: конница «наскочила на наш батальон, который встретил ее также огнем, и рвение солдат было таково, что даже выскакивали из рядов, стреляли, кололи скачущую ее уже назад, и положили тут довольно, то были латники, богато одетые»28. По данным А. И. Попова, эту атаку провели кирасиры полка генерала Э. М. Нансути и полка шволежеров — легкой кавалерии, которых русские приняли (из-за их меховых шапок) за конных гренадер. Их было мало в сравнении со стоящими в каре гвардейцами — в кирасирском полку состояло не более 275 человек, а в шволежерском — 150 человек21.

И все-таки, несмотря на неудачу атаки кирасир, французы добились своего: удержав Багратионовы флеши, дивизия Фриана и резервная кавалерия овладели и деревней Семеновской, где ранее была главная квартира Багратиона. Вообще, обстановка возле Семеновской, ставшей главной целью удара французов, менялась стремительно. В бой пришлось бросить стоявшую в резерве гвардию, что поначалу не предполагалось. Был момент, когда в каре 4-й пехотной дивизии были вынуждены укрываться сразу несколько высших военачальников: Барклай, Раевский, Ермолов и Милорадович. Выбитые из деревни, но не обращенные в бегство остатки 2-й армии были построены Коновницыным за околицей Семеновской, точнее за оврагом — сухим ручьем, который и был, по мнению JI. JT. Ивченко, собственно основной позицией левого фланга. Вместе с гвардейскими полками (Измайловским и Литовским) здесь стояли остатки 3,12, 27-й (Неверовского) дивизий, 2-й гренадерской дивизии и другие вышедшие из огня части того, что осталось от целой армии Багратиона и пришедших к ней на помощь полков и дивизий 1-й армии. Французы пытались и здесь сбить остатки 2-й армии, но неудачно. Как писал участник той атаки на русские позиции кирасир Тирион, «мы продолжали нашу атаку на равнине вплоть до артиллерии, поддерживаемой русскими кирасирами и драгунами. Доскакав до них, мы были поражены их неподвижностью, не понимая, почему неприятельская кавалерия не вынеслась перед своей артиллерией для ее защиты и для встречи нашей конницы; только очутившись в ста — ста двадцати шагах от русской артиллерии, мы поняли, в чем дело… — овраг находился теперь перед сказанной линиею русского расположения, играя роль рва и вала, которые и помешали нам

атаковать эту линию… В подобных условиях расположения мы очутились в 100 шагах от русских орудий, которые не замедлили встретить нас беглым огнем. Признаюсь, редко когда приходилось мне переживать подобную передрягу. Во время атаки, которая к тому же и не может быть продолжительной, каждый всадник, находясь в оживлении, наносит удары. Парирует, если может, ему наносимые, вообще, тут существует движение, действие, борьба человека с человеком, но в данном случае было нечто совсем другое. Неподвижно стоя перед русскими, мы отлично видели, как орудия заряжались теми самыми снарядами, которые должны были лететь в нашу сторону, и как производилась наводка орудий наводчиками, требовалась известная доля хладнокровия, чтобы остаться в этом неподвижном состоянии. К счастью, вследствие ли взволнованного состояния прислуги или плохой стрельбы, или по причине близости расстояния, но только картечь перелетала наши головы в нераскрытых еще жестянках, не успев рассыпаться и рассеяться своим безобразным веером». Тут подошла вестфальская пехота и начала перестрелку через овраг с русской пехотой, заменившей кавалерию30. Дальше обескровленные французы уже не пошли. Наши устояли перед невероятным давлением превосходящих их дивизий противника. Сен-При констатировал: «Линия армии не была прорвана, и ее левый фланг был только осажен назад»31. Еще раньше П. П. Коновницын послал к Н. Н. Раевскому сказать, чтобы он возглавил, как старший, 2-ю армию, но Раевский отвечал, что у него нет возможности покинуть свои позиции, — натиск французов на его батарею в это время как раз усилился32. После этого расстроенные в сражении полки были отведены за овраг.

Создается впечатление, что 2-я армия с потерей Багратиона потеряла свою душу… Что такое воевать на глазах обожаемого командира, хорошо передает С. И. Маевский, бывший при Багратионе дежурным генералом. Он вспоминал, что поначалу, еще до сражения, Багратион «требовал всего с солдатскою холодностью, я исполнял все с сыновнею подчиненностью», но уже на поле битвы, выполнив опасное поручение, «побывав в огне, я встретил Багратиона с лицом друга и полубога. Храбрый любит храброго: он меня обнял и обворожил новым своим обращением…». Потом было новое опасное поручение: «Ударив, сломив, опрокинув и сделав все на глазах того, кого любишь, живешь, кажется, не своею, но новою и лучшею жизнию»33.

Посланный Кутузовым на замену Багратиону генерал Дохтуров тотчас стал разыскивать начальника штаба Сен-При. Но того, сильно контуженного, как раз вывозили с поля боя, и он не в

силах был разговаривать с Дохтуровым. И только попавшийся навстречу Дохтурову Коновницын описал ему общее удручающее положение 2-й армии. Дохтуров вспоминал, что «в то время наши войска немного отступили. Я устроил их по возможности. В четыре часа пополудни я весьма мало подался назад и занял позицию, в которой держался до самого вечера»34. Нет сомнений, Дохтуров был хорошим, неустрашимым, хладнокровным генералом, но он, конечно, не мог заменить Багратиона. «Холодность и равнодушие к опасности, свойственные сему генералу, — писал о Дохтурове Ермолов, — не заменили, однако же, Багратиона. Не столько часто провожал Дохтуров войска к победам, не в тех войнах, которые удивляли вселенную славою нашего оружия, сделался он знаменитым, не на полях Италии, не под знаменами бессмертного Суворова утвердил он себя в воинственных добродетелях».

Генерал-фаталист. Скажем несколько слов о Дмитрии Сергеевиче Дохтурове, человеке достойнейшем, полководце талантливом, прошедшем долгий боевой путь. Он окончил Пажеский корпус, начал службу поручиком Преображенского полка и участвовал в Русско-шведской войне 1789–1790 годов, был ранен в Рочесальмском сражении, а потом под Выборгом. С 1795 года — полковник Елецкого пехотного полка, а в 1797году — генерал-лейтенант. Участвовал в сражениях с французами под Кремсом в 1805 году, за это удостоился ордена Святого Георгия 3-го класса, во второй русско-французской войне в сражениях под Голымином, Прейсиш-Эйлау (контужен) и др. В сражении под Фридландом командовал центром и был вынужден отступить за реку Алле, однако, увидав замешательство в одном из оставшихся на другом берегу полков, переплыл на лошади обратно реку под огнем неприятеля, восстановил порядок и вернулся на свой командный пункт. С 1810 года Дохтуров — полный генерал. В начале войны 1812 года он был так же, как Багратион, отрезан от своих, но прорвался на соединение с 1-й армией. Он же, тяжело больной лихорадкой, оборонял Смоленск, заявив, что предпочтет умереть «на поле славы, чем на кровати». После Бородина отличился в сражении в Малоярославце (орден Георгия 2-го класса), потом — в Лейпцигском сражении 1813 года и в других битвах и осадах, вступил во Францию командующим правым крылом русской армии. Как писал Н. Е. Митаревский, «все его любили за его кротость и доброту»35. Он бьы фаталистом, говорил, что на каждой пуле написано имя того, кому она предназначена, — «она виноватого найдет». Война дорого обошлась Дохтурову. Он тяжко болел и в 1816 году умер 57 лет от роду.

В этот момент в расположении 2-й армии появился Барклай — как он писал, «для узнания позиции ее». По рассказу В. И. Левенштерна, это произошло после того, как Ермолов отбил у французов батарею Раевского и был там ранен, как и сам Левенштерн. Во временном госпитале ему сделали перевязку, и по дороге обратно, на позиции, к штабу Барклая, как пишет Левенштерн, «я с грустью увидел, что князь Багратион лежал на траве, окруженный хирургами, которые были заняты извлечением пули, засевшей у него в ноге, в кости. Он узнал меня, осведомился о Барклае и сказал: “Скажите генералу Барклаю, что участь армии и ее спасение зависит от него. До сих пор все идет хорошо, но пусть он следит за моей армией”… Когда я сообщил генералу Барклаю об этом несчастном случае, то он был поражен…» Так судьба завершила давний спор этих двух незаурядных людей. Кажется, что Левенштерну, который в своих мемуарах преувеличивает, когда идет речь о его подвигах, нет резона придумывать этот эпизод, тем более что Барклай после ранения Багратиона действительно отправился на левый фланг.

Все свидетели и участники сражения особо отмечали мужество Барклая, который находился в самом пекле. Под ним было убито пять лошадей, полегло почти все его окружение. Как вспоминает П. Х. Граббе, «я нашел его под картечью, пешком, он что-то ел. С улыбающимся, светлым лицом он выслушал меня, велел приветствовать Ермолова со знаменитым подвигом…»16 — речь идет о том, как Ермолов возглавил контратаку пехоты на захваченную неприятелем батарею Раевского и взял ее. По мнению Ф. Глинки, в этом сражении Барклай сознательно искал смерти. Суждение это весьма обоснованно. Барклай так и не оправился от моральной травмы, нанесенной ему назначением Кутузова и общей недружелюбной оценкой его, Барклая, командования за июнь — середину августа 1812 года. Ведь он думал, что спас русскую армию от гибели, — и был прав! Позже, 11 сентября, он писал жене: «Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убежден, что я делал все необходимое для сохранения государства, и если у Его величества еще есть армия, способная угрожать врагу разгромом, то это моя заслуга. После многочисленных кровопролитных сражений, которыми я на каждом шагу задерживал врага и нанес ему ощутимые потери, я передал армию князю Кутузову, когда он принял командование, в таком состоянии, что она могла помериться силами со сколь угодно мощным врагом».

Кроме сложностей в отношениях с Кутузовым, особо

досаждал Барклаю назначенный начальником Главного штаба объединенных армий генерал Л. Л. Беннигсен, который его третировал. Все это делало жизнь Барклая невыносимой. Накануне Бородинского сражения, 24 августа, в письме императору он просил об отставке: «…освободить меня из несчастного положения и совершенно уволить от службы». Зная, что сражение уже неизбежно, а письмо к императору будет идти несколько дней, он недвусмысленно намекал на возможное разрешение своей судьбы: «Осмеливаюсь обратиться к вам с этими строками, государь, тем с большей смелостью, что мы находимся накануне кровавой и решительной битвы, в которой, может быть, исполнятся все мои желания»11. Известно, что после отступления из Москвы его прошение было удовлетворено и Барклай уехал из армии, но в начале 1813 года император его вызвал, обласкал. Барклай потом добился выдающихся побед на поле боя, стал фельдмаршалом, получил из рук государя орден Георгия 1-й степени. Памятник ему на Невском проспекте — признание его великой и трагической роли в этой войне. Тогда, на поле Бородина, Барклай решил умереть, но не как самоубийца, а как солдат, дорого отдающий врагу свою, недорогую для него самого, жизнь. По мнению многих участников сражения и по заключениям историков, Барклай, при почти полной инертности Кутузова, после ранения Багратиона в сущности руководил сражением и не допустил поражения русской армии в самый критический момент, когда к вечеру французы оттеснили наш левый фланг и почти прорвали центр. Барклай один привел сражение к вожделенной в тот день ничьей: «Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита — это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни»38.

Коса смерти

Барклай так писал о положении в тот момент 2-й армии: «Я нашел оную в жарком деле и войски ее в расстройстве. Все резервы были уже в деле… 2-я армия, по отсутствию раненого генерала Багратиона и многих генералов, была опрокинута и в величайшем расстройстве. Все укрепления с частию батарей достались неприятелю, одна 26-я дивизия удерживала еще свою позицию около высоты, находящейся впереди центра…» По мнению Барклая, положение принявшего командование после Багратиона Дохтурова было тяжелейшим, «его пехота совершенно была разбита», и положение во многом спас генерал

Багговут, который «был отряжен в самое разбитие 2-й армии, но он с отличным мужеством все еще удерживал неприятеля на каждом шагу»39. Неверовский писал: «…после генерального сражения осталось у меня в дивизии 2000 человек и офицеров весьма мало. Я получил в оном сражении жестокую контузию еще поутру от ядра в левую руку, но не мешало мне остаться во фронте»40.

Мнение Барклая о почти полном разгроме 2-й армии подтверждается и французскими источниками. Но французы не воспользовались расстройством 2-й армии. Во-первых, они сами понесли огромные потери, а во-вторых, все попытки Наполеона с помощью свежих сил смять русские войска и обойти левый фланг русской позиции не удались. По мнению Барклая, Дохтурову удалось отчасти привести 2-ю армию «в устройство, кавалерия и часть сей армии сражались во весь день с отличнейшей храбростию, но пехота была по большей части рассеяна и собрана уже ввечеру»41. Контуженный почти одновременно с Багратионом Э. Ф. Сен-При потом писал: «Более пострадавшая 2-я армия была действительно ослаблена наполовину и во время сражения потеряла деревню (Семеновское. — Е. А.), составлявшую ее левый фланг, и прикрывавшие ее флеши, но линия армии не была прорвана… кроме того, вялость неприятельской атаки к вечеру, несмотря на выгоду его позиции, достаточно доказывала, что его потеря должна была быть очень значительной»42. Командующий дивизией М. С. Воронцов вспоминал, что после начала сражения «час спустя дивизия не существовала. Из 4 тысяч человек приблизительно на вечерней перекличке оказалось менее 300, из 18 штаб-офицеров оставалось только 3, из которых, кажется, только один не был хотя бы легко ранен. Эта горсть храбрецов не могла уже оставаться отдельной частью и была распределена по разным полкам»43. И хотя, судя по составленным после сражения ведомостям, Воронцов преувеличил потери своей дивизии, они все же были колоссальными. Из 2-й армии, насчитывавшей до Бородинского сражения 40 тысяч человек, осталось в строю, согласно рапортам 8—11 сентября 1812 года, 520 офицеров и 13 760 строевых чинов, то есть 14 280 человек. Соответственно, потери составили около 26 тысяч человек или 65 процентов личного состава44.

Зрелище поля сражения 2-й армии было ужасно. Побывавший позже на Багратионовых флешах французский лейтенант Ложье вспоминал: «Огромная площадь трех главных редутов (они состояли из трех частей, флешей. — Е. А.) взрыта ядрами; на ней виднеются тела, разбросанные члены, глубокие ямы, вырытые снарядами, с погребенными на дне их трупами.

Ясно видны те места, где разорвавшимся снарядом разбиты лафеты пушек, а кругом убиты все — люди и лошади… Говорят, что Наполеон велел переворачивать трупы офицеров, чтобы определить, чем они убиты. Почти все изранены картечью… Кажется, что целые взводы были разом скошены на своей позиции и покрыты землей, взрытой бесчисленными ядрами»45. Это сравнение с косой смерти, которая как траву косила людей, приходило в голову многим, видевшим ужасные последствия сражения…

Колеблющиеся весы побоища

Постепенно, к середине дня, эпицентр битвы стал смещаться к батарее Раевского и Курганной высоте. Наполеон, достигнув успеха на своем правом крыле с захватом Багратионовых флешей и Семеновской, сместил удар в центр русской позиции. Там развернулось ожесточенное сражение. Через какое-то время оно утратило уставную правильность и, как пишет участник его Л евенштерн, «перешло в рукопашную схватку: сражающиеся смешались, не было более правильных рядов, не было сомкнутых колонн, были только более или менее многочисленные группы, которые сталкивались одна с другою, люди дрались спереди, сзади, свои и враги смешались». «Это была скорее бойня, нежели бой, — подтверждает слова Левенштерна Д. Н. Болговский, — дрались только холодным оружием, что… бывает редко». «Тогда закипела сеча, общая, ожесточенная, беспорядочная, где все смешалось: пехота, конница и артиллерия, — вспоминает о том же эпизоде битвы Граббе. — Бились, как будто каждый собой отстаивал победу. Последний конный резерв, кавалергарды и конная гвардия, атаковали в свою очередь и смешались с конницею неприятеля. То была решительная, грозная минута в судьбе России. Весы побоища склонялись видимо в пользу завоевателя. Центральная батарея… засыпав ров и поле телами нападающих… досталась неприятелю. Конница его, как обезумевшая, носилась по нашему полю и вскакивала в свиты генералов. Все казалось у нас расстроенным и открытым. Под рукой не было резерва, кроме преображенцев и семеновцев, стоявших у опушки леса. Хотя и неприятель был также смешан и расстроен, но он был среди нас, и сильный резерв — ружья у ноги, целый и в деле не участвовавший, — гвардия Наполеона — стояла в глазах наших, как грозная туча, готовая разразиться и сокрушить всякий отпор. Барклай де Толли и Милорадович в эти минуты были путеводными звездами в хаосе сражения: все

ободрялось, устраивалось ими и вокруг них. Скоро разбитые остатки полков составили новую стену, готовую на новый бой. Благоприятнейшее победе мгновение невозвратно минуло для императора… Он не решился ввести в убийственный пролом последнюю свою надежду для довершения (по моему мнению) несомнительной, ему столь знакомой, но на этот раз не узнанной им, манившей его тогда, победы… Победа оставалась нерешенная между обеими армиями…»46

В тот же день, 26 августа, Багратиона после осмотра врачами раны и перевязки на поле боя привезли в Можайск. Оттуда он написал (скорее всего — продиктовал) письмо на имя императора, уже отчасти процитированное выше. Это письмо ставит целью особо подчеркнуть подвиг, совершенный его армией: «В сей день, всемилостивейший государь, войско русское показало совершенную неустрашимость и неслыханную храбрость от генерала до солдата. Неприятель видел и узнал, что русские воины, горящие истинною к тебе, всемилостивейший государь, и отечеству любовию, бесстрашно все готовы пролить кровь, защищая августейший твой престол и отечество… Во Второй вверенной мне армии, занимавшей и теперь левый фланг и на который, подобно как и 24-го числа, неприятель более всего стремился, редкий штаб-офицер вышел без ран, корпусные же и дивизионные начальники все почти израненными… Они были примером всем прочим воинам в неустрашимости и храбрости, что самое, как и благоразумные их распоряжения, доставили в сем деле войску нашему поверхность над неприятелем»47. Эти слова могут показаться слишком формальными, официальными, но они в данном случае отражают истинное положение вещей. В Бородинском сражении, как и во всей этой войне, было проявлено то, что потом стали называть массовым героизмом. И друзья, и враги единодушно признают, что русские солдаты и офицеры проявили необыкновенное мужество и терпение. Наполеон был удивлен, что такое сражение, которое он считал победным для себя, не принесло ни трофеев, ни пушек, ни знамен; в плен попали только тысяча человек (столько же взяли и русские). Коленкур, находившийся во время сражения рядом с Наполеоном, писал: «Русские проявили большую отвагу, укрепления и территория, которую они вынуждены были уступать нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстройство, наша артиллерия громила их, кавалерия рубила, пехота брала в штыки, но неприятельские массы трудно было сдвинуть с места, они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали нашим отважным атакам. Еще не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным

атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством»48. Естественно, что русские солдаты не только сопротивлялись, но и переходили в контратаки, более того, в этой борьбе французы встретились не только с отвагой противника, но и с ожесточением и непримиримостью, знакомыми им только по войне в Испании. Как вспоминает польский участник войны, «следовало удивляться упорству, с которым дралась молодая русская пехота. Я видел лежавших на земле раненых стрелков, которые поднимались, когда мы проходили мимо и стреляли в нас. Приходилось добивать их, чтобы они не могли принести нам еще больше вреда»49. «Целыми линиями, — вспоминал другой участник сражения Боссе, — русские полки лежали, распростертыми на окровавленной земле и этим свидетельствовали, что они предпочитали умереть, чем отступить хоть на один шаг»50.

«И пораженье от победы ты сам не должен отличить»

Багратион был уверен, что под Бородином русская армия не проиграла сражение, а, возможно, победила. Так думали в первые часы после сражения многие. Кутузов поначалу писал царю о свершившейся победе; обрадованный государь отвечал ему 31 августа рескриптом, в котором объявлял: «В вознаграждение достоинств и трудов ваших возлагаем мы на вас сан генерал-фельдмаршала, жалуем вам единовременно сто тысяч рублей и повелеваем супруге вашей княгине быть двора нашего статс-дамой»51. Сам Кутузов писал 29 августа будущей статс-даме: «Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонопартием»52. Для такого суждения, казалось, были основания: ночью французы, занявшие фактически все русские позиции, отошли с места боя — как полагают многие, чтобы не ночевать среди трупов на взятых ими русских батареях и флешах, где просто не было ни клочка свободной от человеческих и лошадиных тел земли. Но при этом они отошли недалеко, так что контролировали поле. Причем, по-видимому, часть из них располагалась в непосредственной близости от опустошенных русских позиций. Как вспоминает один из французов, ночевавший на русских позициях, Боссе, «из ружейных прикладов и обломков нескольких фур удалось развести огни, достаточные для того, чтобы поджарить конину — основное наше блюдо… Но вот что было ужаснее всего: около каждого огня, как только блеск его начинал прорезывать мрак, собирались раненые, умирающие, и скоро их было больше, чем нас. Подобные призракам, они со всех сторон двигались в полумраке, тащились к нам, доползали до

освещенных кострами кругов, затрачивая на это крайнее усилие, последний остаток своих сил: они хрипели и умирали, устремив глаза на пламя, которое они, казалось, молили о помощи, другие, сохранявшие дуновение жизни, казались тенями мертвых»53.

Перенесенная людьми страшная битва, в которой русские армии выстояли, придала оставшимся в живых оптимизм и надежду на победу. Впрочем, другие ждали худшего. Как вспоминал Щербинин, «мы ожидали, что при первом мерцании дня неприятель нас задавит. Сколь велико было удивление наше, когда по восходе солнца, при совершенно ясном небе, мы не могли открыть неприятеля, сколько глаз видеть мог в отдаленность. 130 или, может быть, и 150 тысяч отошли ночью незаметно, как кошка»54. Стольких войск у Наполеона не было, но то, что ночью французы отошли с места битвы, подтверждают все участники сражения. В официальном известии от 27 августа было сказано, что «отбитый по всем пунктам» неприятель «отступил в начале ночи, и мы остались хозяевами поля боя. На следующий день генерал Платов был послан для его преследования и нагнал его арьергард в 11 верстах от деревни Бородино»55.

Где же правда? И почему она не голая

По поводу этого сообщения в литературе идут споры — уж слишком противоречит победная реляция реальным действиям русского командования на следующий день. Одни считали, что это был чисто пропагандистский прием для поддержания общего спокойствия в обществе; другие убеждены, что тут отразились намерения русского командования, выданные слишком поспешно за реальность. Наконец, третьи считали, что этим, вкупе с донесением императору об одержанной победе, Кутузов попросту обманул государя, выманил у него фельдмаршальский чин. Участник войны А. А. Закревский писал 28 сентября раненому М. С. Воронцову: «О бывшем деле 26-го числа напечатана чепуха; между прочим, написано, что Платов преследовал неприятеля на другой день 11 верст. Как можно писать Кутузову такие вздоры государю? За что произвели его в фельдмаршалы!»56 Неслучайно о решении отступить с армией с Бородинского поля, а также о намерении оставить Москву император Александр узнал не от Кутузова. В письме от 7 сентября государь с тревогой писал ему: «Князь Михаил Илларионович! С 29-го августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1-го сентября получил я чрез Ярославль от московского главнокомандующего печальное

известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, которое произвело сие известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь несчастной решимости»57. Спустя две недели, 17 сентября, государь опять писал Кутузову с удивлением: «Князь Михаил Ларионович! Не получая от вас с самого 4-го числа сего месяца никаких сведений о происшествиях во вверенных вам армиях, не могу скрыть от вас как собственного моего по сему беспокойства, так и уныния, производимого сею неизвестностию в С.-Петербургской столице». Действительно, Кутузов после сообщения об одержанной якобы победе и преследовании французов Платовым замолчал. Ростопчин видел во всем тонкую интригу фельдмаршала, который послал курьера с победным известием, рассчитывая, что тот явится ко двору в день тезоименитства императора, 30 августа, и победная «реляция Кутузова поднесется в виде букета». Судя по письму Александра Кутузову, курьер действительно явился 29 августа, накануне праздника. Но о решении оставить поле битвы и Москву сообщений Кутузова за эти дни не сохранилось.

Не высказывая предположений о причинах молчания Кутузова, не будем усматривать в процитированном выше официальном сообщении о победе недобросовестный умысел, стремление сознательно обмануть государя. В этом сообщении правда сочетается с ложью, реальность с желаемым, что в той обстановке было почти неизбежным. Правдой был отход французов с поля боя, но не на 11 верст и не к Колоцкому монастырю, а лишь на свои позиции, так сказать, к своим оставленным ранцам и шинелям. Правда и то, что часть победителей, как видно из приведенной выше цитаты о кострах, к которым тянулись со всех сторон умирающие, оставалась на завоеванных русских позициях. Ложью было известие о казаках, которые бездействовали во время битвы и никак уж не «преследовали неприятеля». Мечтой было желание начать контрнаступление, а реальностью — пришедшее чуть позже осознание невозможности начать его из-за огромных потерь. А. И. Михайловский-Данилевский в своих записках воспроизводит текст повеления генералу Дохтурову, которое в день сражения, «часу в четвертом после обеда», продиктовал ему Кутузов: «Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел в сем сражении, а потому, завязавши уже дело с ним, решился я сегодняшнего дня все войска, устроив в порядок, снабдив артиллерию новыми снарядами, завтра возобновить сражение с

неприятелем, ибо всякое отступление при теперешнем беспорядке повлечет за собою потерю артиллерии». Михайловский-Данилевский заключает: «Из сего важного документа видно, что на отступление решились к вечеру, когда подробно узнали о претерпенных нами потерях»58. В четыре часа дня, когда Кутузов диктовал Михайловскому приказ Дохтурову, а потом кому-то другому идентичное послание Барклаю59, о потерях наверняка ничего не было точно известно… Думаю, что сведения о них были получены позже, ибо еще в ночь с 26 на 27 августа в штабе Кутузова была составлена диспозиция к будущему сражению. Но в течение ночи были обобщены присланные из частей донесения о потерях от воинских начальников. Обнаружилась их чрезвычайная значительность (кажется, даже преувеличенная из-за царившей в войсках неразберихи). Намеченное на утро 27 августа наступление было признано невозможным, и Кутузов решил отступить с поля битвы.

Сколько их полегло — не счесть! Господь один ведает

Спор о численности русской и французской армий на Бородинском поле до и после сражения нескончаем — главной причиной разногласий ученых являются, с одной стороны, неполнота исторических источников, а с другой — разница в методиках подсчетов. Согласно рескрипту императора Александра Кутузову от 24 августа, составленному на основе рапортов самого Кутузова об укомплектованности людьми обеих армий, следовало, что в русских войсках «кавалерии и пехоты 95 734 человека, поступает из корпуса генерала Милорадовича 15 589, собранных 18-го числа мародеров 2000, что и составляет 113 323 человека. Сверх оного не включены в рапортах находящиеся в отделенных отрядах многие полки, с коими уповательно число армии составлять будет сто двадцать тысяч человек. Мнение же ваше, — пишет император, — полагающее донесение о состоянии неприятельских сил в 165 000 увеличенным, оставляет меня в приятной уверенности, что вышеозначенное число усердных русских воинов под предводительством опытного и прозорливого полководца поставит преграду дальнему вторжению наглого врага»60. Иначе говоря, император считал, что силы противников примерно равны, что давало ему повод надеяться на успех сражения.

Современный исследователь С. В. Шведов, занимавшийся этим вопросом, даже составил таблицу, в которой учтены выводы десяти научных исследований о численности русской армии

накануне сражения. Данные эти колеблются от 103,8 до 115,3 тысячи человек (регулярные войска), ополчения — от 10 до 30 тысяч человек, казаков — от 6 до 8,2 тысячи человек. Итого, общая численность армии составляла от 154,8 до 120 тысяч человек. Сам С. В. Шведов провел подсчет на основе корпусных и армейских рапортов за 17 и 23 августа. По его мнению, численность армии на 24 августа составила около 114 тысяч человек (82,5 тысячи пехотинцев, 20 тысяч кавалеристов, 10,5 тысячи артиллеристов, 1 тысяча входила в инженерные войска). Казаков, по подсчетам Шведова, было около 10 тысяч человек.

Теперь о потерях русской армии на Бородинском поле. В исторической литературе согласия на этот счет нет: приводятся данные о потерях от 36 до 50 тысяч человек. На основании архивных данных (рапорты от 8—11 сентября) Шведов пришел к выводу, что общий итог потерь русской армии составляет около 50 тысяч в строевых частях, причем сильнее всего пострадала пехота — 39 тысяч человек (47 процентов личного состава), регулярная кавалерия потеряла 8 тысяч (40 процентов), артиллерия — 3 тысячи (26 процентов). Получается, что русская регулярная армия потеряла 44 процента личного состава и после сражения насчитывала 64 тысячи человек61. Возможно, реальные потери были все-таки несколько меньшими. Как писал сразу же после сражения французский бригадный генерал Бертезен по поводу потерь у французов и их союзников, «следует обратить внимание, что полковники (подававшие рапорты о потерях. — Е. А.) пользуются случаем сражения, чтобы скрыть от контроля людей, оставшихся под тысячей предлогов в тылу. Учитывая это, я считаю правильным уменьшить цифру потерь на несколько тысяч. Кроме того, среди тех, кто в рапортах указан ранеными, 4 или 5 тысяч человек получили лишь царапины и следуют с армией…»62. Думаю, что сходная картина была и в русской армии. Известно, что раненых солдат с передовой запрещалось относить и отводить их товарищам, эта обязанность полностью была возложена на ратников, которых под огнем погибло не менее тысячи человек. Командиры знали и старались пресечь и другие хитрости солдат, стремившихся уйти подальше от зоны поражения вражескими снарядами. Так, некоторые пытались быстро, «в молоко», расстрелять весь боезапас, а потом пойти за новым в ближний тыл. Были и другие способы покинуть строй, чтобы избежать смерти.

Есть точка зрения, согласно которой на Бородинском поле русских было больше, чем французов и их союзников. Но все же большинство историков считают, что Великая армия, несмотря на потери и поддержание коммуникаций, вышла на Бородинское

поле в численном превосходстве. Так полагали Кутузов и Александр. Один из современных историков войны 1812 года, Б. С. Абалихин, приводит такие цифры: у французов имелось 150 тысяч человек (из них 135 тысяч регулярных войск), у русских — 132 тысячи (114–115 тысяч регулярных войск и 8 тысяч казаков)61. Кстати, казаки понесли самые незначительные потери. По подсчетам Шведова, из 7 тысяч «орлы Платова» потеряли 100 или 300 человек. Скорее всего, из-за известного конфликта своего атамана с командованием казаки в бой не лезли и в сражении держались подальше от своих «союзников» — русской армии…

Теперь о потерях французов. Сведения о них также существенно разнятся в мемуарной и научной литературе. Неточность источников, политическая заданность при подсчете потерь Великой армии, разница в методиках расчетов — все это привело к тому, что цифры потерь Великой армии в сражении на Москве-реке колеблются от 10 до 58,5 тысячи человек. Наиболее выверенной кажется цифра около 30–34 тысяч64. Иначе говоря, потери русской армии были больше французских — несмотря на то, что атакующая сторона обычно теряет больше, чем обороняющаяся. Причина здесь, по-видимому, в большей эффективности огня французов и в том, что русские полки гибли во время многочисленных яростных контратак на захваченные французами укрепления.

Тогда же, еще задолго до споров в историографии о том, кто победил или проиграл на Бородинском поле, была зафиксирована двойственность, некая амбивалентность сложившейся ситуации. С одной стороны, наши войска, хотя и были безусловно сбиты со своих позиций, но, отойдя, устояли и не были разбиты, не обратились в бегство и морально готовы были наутро продолжить сражение. С другой — французы захватили наши позиции, но ночью отошли с них. Формально выходит, что по всем принятым тогда законам войны битва кончилась вничью. Обе стороны считали себя победителями: русские — потому что выстояли, а потом ушли сами, а французы — потому что в конечном счете поле осталось за ними и противник наутро покинул не только это поле, но и Москву, ради защиты которой и было устроено сражение. Поэтому в противоречивости рапорта Кутузова об оставлении Москвы нет, как это ни парадоксально, противоречия: «После столь кровопролитного, хотя и победоносного с нашей стороны от 26-го числа августа сражения, должен я был оставить позицию при Бродине (так!) по причинам, о которых имел щастие донести Вашему императорскому величеству»65. В русской военной истории так бывало несколько раз. В 1758 году русские

войска выдержали натиск армии Фридриха Великого при Цорндорфе, а наутро отошли с поля битвы. Такая же ситуация сложилась при Прейсиш-Эйлау и Гейльсберге, да и под Смоленском. Такое часто бывало на войне. Мне кажется, что П. Х. Граббе точно выразился: «Армии, разбившись одна об другую, и ни та, ни другая не могут предпринять в остальные часы ничего важного»66.

Где же вы, друзья? Думая о произошедшем на Бородинском поле, нельзя не задаться вопросом: а что же Тормасов и Чичагов со своими армиями? Почему повисло в воздухе совершенно логичное и своевременное суждение Багратиона, высказанное им в письме Аракчееву еще 26 июля: «Советую вам, чтобы Молдавская армия спешила идти к нам ради самого Бога. Тормасова подвигать ближе, а ту армию там иметь на место Тормасова, а особливо нужна кавалерия» Мысль Багратиона проста: освободившаяся после ратификации мира с турками Дунайская (Молдавская) армия (57,5 тысячи человек) двигается на север, на место 3-й армии Тормасова (46 тысяч человек, 168 орудий), которая на Волыни связывала австрийский вспомогательный корпус К. Е. Шварценберга и 7-й корпус Великой армии (саксонцев) генерала Ш. Ренье. После этого армия Тормасова форсированным маршем (даже в обход театра военных действий — например, через Мозырь, Рогачев, Чириков, Мстиславль) движется к Смоленску на соединение с 1-й и 2-й армиями. В случае же ее опоздания она идет южнее занятого французами Смоленска и тракта Смоленск — Москва. Главная квартира и сам государь этого совета Багратиона не приняли и, кажется, даже не поняли. 1 июля (когда 1-я армия сидела в Дрисском лагере) Александр требовал от Тормасова: «Сделайте движение вперед и решительно действуйте во фланг и тыл неприятельских сил, устремленных против 2-й Западной армии»6". Эта директива была столь же неисполнима, как и требование к Багратиону действовать во фланг и тыл неприятельских сил, устремленных против 1-й армии. В августе неспешно происходила «утряска» операционного плана активных действий армий Тормасова, Чичагова и корпусов Витгенштейна и Штейнгеля, утверждение его императором, который послал этот план Кутузову только 31 августа69, уже после Бородинского сражения. В итоге время было упущено. Молдавская армия, оставив группировку для охраны границы, 19 июля двинулась на Волынь, только через месяц, 17августа, перешла Днестр и в сентябре слилась с 3-й армией, потом «прославившейся» под командованием адмирала Чичагова на Березине тем, что упустила Наполеона. В ее составе было 43,6 тысячи человек70. Но

павшим на Бородинском поле эти марши Чичагова помочь уже не могли. Это нужно было делать гораздо раньше. Может быть, Тормасову следовало бросить фронт против австрийцев и саксонцев и начать отход в Россию — союзники Наполеона вряд ли двинулись бы следом, имея за спиной Молдавскую армию. В конце концов, речь шла о защите независимости страны, безопасности ее столиц, а не об охране границ империи. Технически это было возможно — прошел же Багратион в несравнимо более трудных условиях за 22 дня 800 верст. По крайней мере, обе южные армии должны были чем-то существенно помочь главным силам, изнемогающим под непрерывным натиском противника. Собственно, это выразил Кутузов, писавший 20 августа Тормасову и требовавший от него активизации действий 3-й армии: «В настоящие для России критические минуты, тогда как неприятель находится уже в сердце России, в предмет действий Ваших не может более входить защищение и сохранение наших польских провинций, но совокупные силы 3-й армии и Дунайской должны обратиться на отвлечение сил неприятельских, устремленных против 1-й и 2-й армий», а конкретно «действовать на правый фланг неприятеля». Кутузов высказал и мысль, посетившую также Багратиона, — о рокировке 3-й и Молдавской армий: «Засим господин адмирал Чичагов, перешедший уже со всею армиею… примет на себя все те обязанности, которые доселе в предмет ваших операций входили». В тот же день Кутузов послал Чичагову копию письма Тормасову с такой припиской: «Я полагаю армию вашу перешедшею уже Днестр, а потому все то, что занимало попечение генерала Тормасова, может войти в предмет ваш. Я, прибыв к армии, нашел неприятеля в сердце древней России, так сказать, над Москвою, и настоящий мой предмет есть спасение Москвы самой, а потому и не имею нужды изъяснять о том, что сохранение некоторых отдаленных польских провинций ни в какое сравнение с спасением древней столицы Москвы и самых внутренних губерний не входит»71. Но тогда, 20 августа (а послания Кутузова были, наверное, получены через четыре-пять дней), проявлять какую-либо активность было уже поздно. Думаю, что главная вина за это упущение полностью лежит на императоре Александре, который только один был вправе решать вопросы подобного масштаба. А он, уезжая из действующей армии, не только не передал Барклаю, как уже сказано выше, командование над 1-й и 2-й армиями, но и словом не обмолвился о судьбе южных армий. И только тогда, когда Кутузов был назначен главнокомандующим всеми русскими армиями, встал вопрос о координации их действий. Но поздно! А как 1-й и 2-й

армиям, захлебывавшимся кровью на Бородинском поле, не хватало помощи 3-й армии, которая бы подошла к Бородину, подобно армии Блюхера, в решающий момент поспевшей на поле Ватерлоо, и бросила бы на колебавшиеся тогда весы свою гирю — свыше 40 тысяч солдат! Несомненно, тогда Наполеон был бы утром и днем 27 августа разгромлен, его старая гвардия погибла бы, Москва бы не сгорела и вообще история пошла бы по другому пути… Но что тут рассуждать! Точка бифуркации пройдена, прошлого не вернешь, хотя интересно было бы узнать, что на этот счет думали Тормасов, Чичагов и их боевые товарищи, лакомясь поспевшими к тому времени на Украине абрикосами и гарбузами.

Уйти из Москвы, чтобы вернуться

Отступление с Бородинского поля не казалось в армии концом сражения. Все были убеждены, что оно продолжится, если не на следующий день, то вскоре и на новой позиции, ближе к Москве. Но после непродолжительной остановки на Поклонной горе Кутузов приказал оставить Москву. Это произвело шок в войсках. Как вспоминал Маевский, «когда адъютант мой Линдель привез приказ о сдаче Москвы, все умы пришли в волнение: большая часть плакала, многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после поносного отступления или лучше уступления Москвы. Мой генерал Бороздин решительно почел приказ сей изменническим и не трогался с места до тех пор, пока не приехал на смену ему генерал Дохтуров»72.

До сих пор причины решения Кутузова об оставлении Москвы вызывают споры в научной литературе. Всем очевидно явное противоречие между этим решением и прежними словами Кутузова, который клялся сединами, обещал лечь костьми, но защитить Москву. Об этом, как уже сказано, он писал и говорил Ростопчину, уезжая из Петербурга, это же (с упоминанием опять же пресловутых костей) обещал императору. Но по переписке Кутузова с тем же Ростопчиным видно, что он колебался. С одной стороны, он клялся всенепременно защитить древнюю столицу во что бы то ни стало, а с другой — то намеком, а то прямым текстом говорил ему о возможности роковой альтернативы: в послании от 17 августа (то есть в момент прибытия в армию!) он писал Ростопчину: «Не решен еще вопрос, что важнее — потерять ли армию или потерять Москву»". Ростопчин, как и многие другие, видел в письмах главнокомандующего лишь то, что он хотел видеть. А Кутузов оценивал все иначе, глубже и основательнее. Он видел уставшую, поредевшую армию,

осознавал инерцию гигантской машины войны, которая, пыля и извергая огонь, неостановимо мчалась по Большой Московской дороге к древней русской столице. Изменить ее движение, остановить ее ход было не в его силах. В Ижорах, при выезде из Петербурга, Кутузов получил удручающую депешу: французам сдан Смоленск. Дело было почти проиграно, и якобы тогда Кутузов с горечью сказал: «Ключ от Москвы у него в руках». Это совпадает с тем, что он писал императору, — оставление Москвы «нераздельно связан(о) с потерею Смоленска»74. И так думали многие. Даже в бюллетенях Наполеона по поводу занятия Смоленска есть слова о том, что «Смоленск — ключ к Москве»; откопали даже русскую пословицу, которая в обратном переводе гласит: «Кто в Смоленске — тот в Москве»75. Прибыв в армию 18 августа, Кутузов убедился в сложности положения, возникшего еще до него. Он нашел армию в разброде и некомплекте. Конечно, он понимал, что нужно было давать битву, но нужно было думать и о том, что произойдет после сражения. Как реалист, полководец с колоссальным опытом, знавший силу Наполеона, Кутузов на победу и не рассчитывал. Именно поэтому он, приехав в армию, для себя решил однозначно: Москву оставлю! 19 августа он написал дочери Елизавете, жившей тогда в Тарусе, чтобы она с семьей немедленно уехала «подальше от театра войны», при этом просил сохранить это «в глубочайшей тайне»76, а через четыре дня, 22 августа, писал Ростопчину: «Ежели буду побежден, то пойду к Москве»77. Ростопчин думал, что это означает решимость Кутузова дать сражение у стен Москвы. С уверенностью в этом он и встретился с Кутузовым уже после Бородина, на Поклонной горе. Важно, что решение оставить столицу Кутузов принял единолично, взяв на себя всю тяжесть этого трагического решения.

Ермолов писал о Кутузове, что «не укрылась от меня слабость души его и робость в обстоятельствах, решительности требовавших»78. Допустим, что сказанное Ермоловым — правда. Возможно, в этом причина знаменитой кутузовской инертности, его нежелания работать с бумагами, вообще на что-то решаться. Но кажутся при этом уместными слова М. И. Богдановича, писавшего в своей «Истории Отечественной войны», что Кутузов уступал Барклаю «в административных способностях» и Багратиону «в деятельности», но, в отличие от них, «один лишь Кутузов мог решиться на неравный бой при Бородино и на оставление столицы, священной в понятиях русского народа»79. Что он тогда думал? Может быть, он руководствовался теми же соображениями, которые высказал императору по поводу отступления Молдавской армии, когда, после победы над

турками, вдруг уничтожил Рущук и еще две крепости и дал приказ отступить на левобережье Дуная: «Несмотря на частный вред, который оставление Рущука сделать может только лично мне, а предпочитая всегда малому сему уважению пользу государя моего»? Как мы знаем, с этого началась реализация продуманного Кутузовым блестящего плана победы над турками. Тогда был Рущук, теперь — Москва… Мы не можем отрицать возможность такого хода мысли Кутузова — человека прагматичного и даже циничного… Известно, что, вернувшись домой из Каменноостровского дворца, от царя, Кутузов, получивший назначение в армию, в ответ на вопрос племянника: «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона» — якобы отвечал: «Разбить? Нет! А обмануть — надеюсь»80. Как будто услышав это за тысячи верст, Наполеон, узнавший о назначении Кутузова, сказал: «Это старый лис Севера»… А. Г. Тартаковский, анализировавший взаимоотношения Кутузова и Ростопчина, высказал любопытную догадку, которая открывает нам причины столь явного обмана главнокомандующим русскими армиями главнокомандующего Москвы во время их встречи на Поклонной горе после отступления армии с Бородинского поля. Замысел Кутузова состоял в том, чтобы провести армию через Москву и затем отдать город Наполеону. Как писал его ординарец князь А. Б. Голицын, Кутузов говорил 1 сентября: «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на Провидение, ибо она спасет армию. Наполеон подобен быстрому потоку, который мы сейчас не сможем остановить. Москва — это губка, которая всосет его в себя». Замысел же Ростопчина был совсем другим и состоял в том, чтобы сжечь столицу перед приходом противника, то есть сделать так, как поступали с другими городами и селами русские войска, отступая от западной границы. А это как раз не устраивало Кутузова — автора идеи «Москвы — губки». Кроме того, если бы Ростопчин поджег Москву до подхода к ней русской армии, то армия оказалась бы между двух огней: пылающими кварталами Москвы (а как страшны московские пожары, хорошо известно из истории) и огнем французов. Неудивительно, что в беседе на Поклонной горе Кутузов «дипломатически искусно усыпил бдительность крайне взволнованного Ростопчина, заверив его, что непременно даст у Москвы сражение Наполеону не раньше, чем на третий день, а в случае неудачи сразу же отойдет с войсками к Калуге». И когда Ростопчин вечером 1 сентября узнал, что армия уходит через Москву, он понял, что его расчеты рухнули. «Ты видишь, мой друг, — писал он жене 11 сентября, — что моя мысль поджечь город до вступления злодея была полезна. Кутузов обманул меня, а когда он расположился перед своим

отступлением от Москвы в шести верстах от нее, было уже поздно». «Я в отчаяньи от его изменнического образа действий в отношении меня», — в сердцах жаловался он два дня спустя Александру I… В итоге, считает Тартаковский, поджоги в ночь на 2 сентября — лишь жалкие последствия «грандиозного по разрушительной силе, поистине геростратова замысла» Ростопчина61. Кутузов с удовлетворением писал дочери 15 сентября: «Я баталию выиграл прежде Москвы, но надобно сберегать армию, и она целехонька. Скоро все наши армии, то есть Тормасов, Чичагов, Витхенштейн и еще другие станут действовать к одной цели, и Наполеон долго в Москве не пробудет»82.

Глава двадцать третья
«Я Умру не от раны моей, а от Москвы»

«Я слышал только его стоны»

Раненого Багратиона с поля битвы принесли в полевой госпиталь, а затем перевезли в Можайск. А. И. Михайловский-Данилевский волею судьбы был, может быть, последним, кто видел отъезд Багратиона из армии. Он был послан 26 августа с полковником Кайсаровым для наведения порядка при отступлении войск с Бородинского поля. «Между прочим, — писал Михайловский в своих записках, — мне случилось стоять при выезде в деревню, в которую велено было впускать одну артиллерию, а обозам назначено было объезжать селения. Казаки, находившиеся при мне, с точностью выполнявшие мои приказания… между прочим не позволяли ехать в деревню коляске, в которой находился раненый князь Багратион. Едва я увидел сию безрассудность казаков, как сейчас бросился и сам провел его коляску; мне приятно вспомянуть, что раненый герой сделал мне знак головою в изъявление своей благодарности»1.

А. П. Бутенев, находившийся в Можайске, со слов приехавшего с Бородинского поля офицера, сообщает, что на перевязочном пункте «доктора тотчас окружили его (Багратиона. — Е. А.), он очнулся, был осторожно положен на носилки, под неприятельским огнем вынесен вне выстрелов и перевязан… Уже было темно, когда подъехала к нам (в Можайске. — Е. А.) дорожная коляска, в которой везли князя один из его адъютантов и слуга, родом пьемонтец, находившийся при нем с Итальянского похода 1799 года. Для него отыскали более просторное помещение, и я не имел отрады увидать славного воина, который постоянно был ко мне благосклонен. Я слышал только его стоны, причиняемые раной и толчками закрытой со всех сторон кареты, в которую его уложили почти в бессознательном состоянии. С ним были его доктор и фельдшер»… Как вспоминал Бутенев, после приезда в Москву «очень усталый дошел я, наконец, до того дома, где находился раненый князь Багратион с некоторыми лицами своей свиты.

Мне сказали, что переезд от Можайска еще больше растревожил его рану, что ему сделалось хуже, и в комнаты к

нему никого не пускают»2.

Багратиона повезли из Можайска в Москву 27 августа утром. Но езда в тряской карете была невероятно мучительна для раненого, и эскорт (а с Багратионом ехали его свита, врачи) остановился в Вязёмах, в 37 верстах от Москвы. В столицу Багратиона привезли 30 августа (Ростопчин писал: «на третий день» после сражения). По версии И. С. Тихонова, остановились в доме его дяди Кирилла Александровича на Большой Мещанской улице. «Я поспешил к нему, — продолжал Ростопчин, — он был в полном сознании, страдал ужасно, но судьба Москвы не давала ему ни минуты покоя. Кость его ноги была разбита повыше щиколотки, но сделать ему немедленную ампутацию не рискнули, так как ему было уже около 50 лет и кровь у него была испорчена. Когда утром того дня, в который Москва впала во власть неприятеля (то есть 1 сентября. — Е. А.), я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал мне следующую записку: “Прощай, мой почтенный друг. Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы”»3.

А что происходило с Москвой в тот день, знают все — наша армия, сопровождаемая возмущенной толпой москвичей, уходила через Москву к Владимирской заставе, а авангард Мюрата вступал в покинутый город. Долгое время этому никто не верил, полагаясь на афишки Ростопчина и обещания Кутузова. Как пишет Ростопчин, накануне, 29 августа, «Москва была поражена ужасом, когда ночью увидали отблеск наших бивачных огней на расстоянии 40 верст от города. Этот свет открыл и остальным жителям глаза на ту участь, которая их ожидает. Простонародье собралось в путь»4.

Его ждет второй Египет. Что думал Багратион об оставлении Москвы и обо всем, с этим связанным? Еще в письме Аракчееву 26 июля он писал: «Ежели Бог допустит нас до осени, что мы по привычке бежать не будем, тогда могу вас поздравить, что Наполеон найдет в России второй Египет и гибель себе. Вот как я думаю»5. В заметках Медокса на воспоминания А. Я. Булгакова есть такая заметка: «Во время пожара в Москве и после, в Тарутинском лагере, среди частых разговоров об этом пожаре Платов всегда удивлялся, что князь Багратион знал, что Москва сгорит, и рассказывал, как дней за десять до Бородинского сражения у князя Петра Ивановича был большой съезд и как он при всех громко и утвердительно сказал: "Наверное знаю, что Наполеон в Москве ничего не найдет, кроме развалин и пепла "». Нам, в отличие от Платова, известно, что Багратион вел переписку с Ростопчиным, знал о замысле московского главнокомандующего сжечь столицу до прихода неприятеля и

одобрял эту идею.

Отчасти во фразе Багратиона, записанной Ростопчиным, была большая доля правды — сообщение о сдаче столицы ухудшило состояние больного. Лечивший Багратиона доктор Говоров писал, что полученное 1 сентября известие «столько его расстроило, что он от душевных огорчений впал в род некоторого оцепенения чувств и, мало занимаясь физическими своими страданиями, думал, кажется, об одном только благоденствии дражайшего отечества». Тогда же Багратион отказался принимать прописанные докторами лекарства6. 2 сентября в 9 часов утра он был вывезен из Москвы, которую занимали французы, по дороге на Троице-Сергиеву лавру, что находилась в 70 верстах от столицы. Оттуда его перевезли в село Симу.

О медицинской стороне дела будет сказано ниже, но кажется, что командование действовало без особых затей, как всегда прямолинейно, — у нас незаменимых нет! Уже 29 августа Кутузов подписал приказ о назначении главнокомандующим 2-й армией генерала Милорадовича «впредь до высочайшего повеления… по случаю раны» Багратиона7. 1 сентября Александр I сообщал Тормасову: «В знаменитой победе, одержанной над императором Наполеоном генерал-фельдмаршалом князем Кутузовым под Бородиным, к всеобщему сожалению, генерал от инфантерии князь Багратион ранен в ногу пулею. По сему обстоятельству нахожу я перемещение ваше ко 2-й армии необходимым»8. Ранение Багратиона было использовано государем для решения вполне прагматических задач: он хотел избавиться от Тормасова, действиями которого — и вполне справедливо — был недоволен. Тогда предстояло слить 3-ю Западную (резервную) армию, которой Тормасов командовал, с подошедшей к ней с юга Молдавской армией адмирала Чичагова. Уже 1 сентября 1812 года Александр написал Кутузову: «Приближение храброй Молдавской армией к соединению с 3-ю Западною и важность настоящих обстоятельств заставляют меня обратить внимание на необходимость, чтобы один начальник ими руководствовал. Из двух я, по искренности с вами, признаю способнее адмирала Чичагова по решимости его характера. Но я не хочу огорчить генерала Тормасова и потому нахожу приличнее вызвать его к армиям, вами предводительствуемым, как бы по случаю раны князя Багратиона. По приезде же генерала Тормасова от вас будет зависеть употребить его по вашему смотрению, и убыль, происшедшая в достопамятном сражении под Бородиным во 2-й армии, может вам служить предлогом уже не разделять сих двух армий надвое, а почитать за одну… Сохраните сей рескрипт в тайне, дабы не оскорбить в прочем весьма уважаемого мною

генерала Тормасова»9. В этом — весь Александр, никогда не поступавший прямодушно.

Помнить о своих людях

Багратион не знал, что за его спиной его уже уволили с поста главнокомандующего 2-й армией и наметили ликвидировать и саму армию. Никто — ни царь, ни Кутузов, ни Милорадович — не сообщил ему об этом. Как раз 1 сентября он писал Кутузову как полноценный, действующий главнокомандующий, заботившийся о наградах для своих подчиненных: «Беспримерный сей подвиг, ознаменованный ранами весьма многих сподвижников, заслуживает по всей справедливости награды». И дальше следует текст, из которого видно, что о своей отставке он не знал: «Я, пользуясь властью, всевысочайше присвоенною званию главнокомандующего, наградив теперь чинами и знаками отличия находившихся при мне и в глазах моих особенно отличившихся, имею честь препроводить при сем имянной об них список». Багратион просил Кутузова «употребить ваше ходатайство у всевысочайшего престола». В тот же день он дал предписание бывшему дежурному генералу штаба армии полковнику С. Н. Марину: «Оставив армию, высочайше мне вверенную, для излечения раны, полученной мною в сражении, предоставил я его светлости господину главнокомандующему всеми действующими армиями князю Голенищеву-Кутузову, по собрании всех списков об отличившихся в сражениях бывших против неприятеля 24-го и 26-го августа, сделать свое рассмотрение о награждении оных, а потому и предписываю вам немедленно дать знать всем гг. корпусным начальникам, чтоб они, собрав таковые списки, по изготовлении отправили оные уже прямо к его светлости»"1.

Достойно примечания, что в том драматическом положении, в котором оказался сам Багратион, он помнил о людях, с которыми воевал и перед которыми чувствовал свои обязанности, стремился вознаградить их за подвиг. В Можайске он подписал рапорт о награде генерал-интенданта 2-й армии В. С. Ланского и комиссионера 10-го класса Зубка за хорошее обеспечение армии продовольствием. Причем из Москвы он повторил свое представление, зная, как плохо государь относится к интендантам и тыловикам вообще. 1 сентября он написал Кутузову особое письмо о награждении сенатского регистратора Екстейна, как «человека одаренного способностями, расторопного и усердного к службе». Оказалось, что этот человек начиная с

октября 1811 года выполнял различные секретные поручения, точнее, был разведчиком. Багратион пишет, что «он послан был мною неоднократно за границу и доставлял мне сведения о политических происшествиях, коих событие оправдало справедливость оных и для открытия коих он подвергал себя великим опасностям». И далее суть дела: «В таковых случаях находя нужным скрывать настоящий его чин, я во всех бумагах именовал его титулярным советником», поэтому «покорнейше прошу вашей светлости исходатайствовать ему, Екстейну, у государя императора вышепомянутый чин титулярного советника»".

Вспомоществование от царя. Александр написал Багратиону не сразу после получения известия о его ранении, а больше двух недель спустя. В этом нельзя не усмотреть известное пренебрежение государя Багратионом. Лишь 14 сентября он подписал короткое письмо: «Князь Петр Иванович! С удовольствием внимая о подвигах и усердной службе вашей, весьма я опечален был полученною вами раною, отвлекающею вас на время с поля брани, где присутствие ваше при нынешних военных обстоятельствах столь нужно и полезно. Желаю и надеюсь, что Бог подаст вам скорое облегчение для украшений деяний ваших новою честию и славою. Между тем не в награду заслуг ваших, которая в непродолжительном времени вам доставится, но в некоторое пособие состоянию вашему жалую вам единовременно пятьдесят тысяч рублей. Пребываю к вам благосклонный Александр». Другим рескриптом Александр предписал министру финансов Гурьеву отпустить Багратиону 50 тысяч рублей12. Ни об ордене, ни о какой-то другой высокой награде (вспомним присвоение Кутузову звания генерал-фельдмаршала в день получения известия о сражении при Бородине) речи не шло — так, одно лишь денежное пособие для лечения.

Но Багратион не получил и этого, важного для него рескрипта. В книге указов напротив данного рескрипта сохранилась отметка: «По случаю кончины князя Багратиона сей рескрипт возвращен 21 сентября и отдан государю императору»". Со смертью Багратиона исчезла и его армия. С. Н. Марин писал М. С. Воронцову из Тарутина 27сентября: «Армии наши соединены, и Вторая исчезла вместе со своим начальником»14.

Была ли рана Багратиона смертельна

Этот вопрос долгое время занимал историков и к нашему

времени решен, кажется, окончательно. Ему посвящены несколько исследований, в том числе историков медицины15. Итак, Багратион был ранен, как писал пользовавший его с первых минут ранения старший врач лейб-гвардии Литовского полка Яков Говоров, «в переднюю часть правой берцовой кости черепком чиненого ядра», то есть обломком разорвавшейся бомбы — начиненного порохом полого чугунного снаряда. Цитата эта взята из книги Говорова, изданной в 1815 году под названием «Последние дни жизни князя Петра Ивановича Багратиона». Это сочинение является важнейшим документом о последних днях жизни Багратиона. Говоров испытывал к Багратиону чувство обожания, он почти не отходил от генерала во время его болезни, многое помнил и был довольно простодушен, что существенно для исследователя при интерпретации сообщаемых им фактов. Хотя врачом он явно был неважным — примечателен тот факт, что в книге, написанной всего через три года после смерти Багратиона, Говоров путает ногу, в которую был ранен полководец, — по всем источникам, рана была в левой берцовой кости, а из приведенной цитаты явствует, что в правой! Вот так эскулап! Впрочем, во многом другом Говоров достаточно точен. Так, его показания о том, что Багратион поначалу отказывался покидать поле боя, «истекал кровию без перевязки раны», совпадают со свидетельствами других участников сражения. Тем временем адъютанты, «видя изнеможение, искали врача для подания ему помощи». Говоров оказался первым из таких врачей. С помощью зонда «осмотрев внимательно окровавленную рану и исследовав глубину и широту ее», он «нашел, что она сопряжена была с повреждением берцовой кости». Следом к Багратиону прибыл Я. В. Виллие — главный медицинский инспектор, личный врач императора Александра. «Он, — пишет Говоров, — вторично рассмотрел, очистил и перевязал рану». Во врачебном донесении, составленном позже, сказано, что Виллие «рану несколько расширил и вынул из оной малый отломок кости». Из «Примечания о болезни князя» Говорова следует, что рану тогда признали «не столько тяжелою, поелику небольшое отверстие оной и окровавление скрывали повреждение берцовой кости»16. В другом варианте написано, что рану признали «неважною, поелику наружное малое отверстие оной скрывало раздробление берцовой кости и повреждение кровеносных сосудов и нервов». Неясно, почему рану признали «неважною», если Виллие вытащил из нее «малый отломок кости». Естественно, что тут должен был возникнуть вопрос о самом «черепке» или пуле, если выходного отверстия не было видно.

После этого Багратиона повезли в Можайск. По выезде оттуда

27 августа Багратион вызвал Говорова, оставшегося при своем полку и с тех пор тот оставался при раненом до конца. Когда Говоров догнал эскорт с Багратионом, то нашел ухудшение — у раненого были жар, бессонница, «колючие боли в ране беспрестанно мучили» его. Из разговора с Багратионом следовало, что полководец не придавал должного значения своей ране, он рассчитывал на скорейшее выздоровление, спрашивая Говорова: «Надеетесь ли вы скоро поставить меня на ноги» Говоров, как и положено врачу, определенно ничего сказать не мог и заметил: «…настоящее состояние раны мне еще не совсем известно». На вопрос Багратиона: «Когда же рана моя вам совершенно известна будет» — Говоров обещал это сделать на первой перевязке, «завтра на вечер», то есть 28 августа. С момента ранения прошло уже два дня, а изучения раны еще не было проведено. Да и во время обещанной перевязки, которую Говоров проводил с главным врачом 2-й армии Гангартом, исследования раны вновь не сделали. Врачи ограничились внешним осмотром, хотя рана «найдена еще воспаленной», у больного была лихорадка, то есть жар, сменявшийся ознобом. На другой день, 29 августа, при перевязке впервые пошел гной и края раны распухли. И тем не менее рана так и не была исследована.

Безусловно, исследование раны по тем безнаркозным временам было мучительным для раненого, но необходимым медицинским действием. Врач должен был сделать то, что предпринял Виллие: зондом, а также другими инструментами ощупать рану на всю глубину, с тем чтобы определить ее внутренний профиль и, по возможности, извлечь из нее обломки костей и инородные предметы, важнейшим из которых признавался осколок снаряда. Но это исследование не было сделано и 30 августа, когда Багратиона привезли в Москву и к нему позвали профессора медицины Московского университета Гильдебранта. Тот зондировал рану, но в сущности никаких наблюдений не сделал, сказав Багратиону, что «рана и здоровье вашего сиятельства обыкновенны», и, как пишет Говоров, не дал никаких рекомендаций, одобрив все, что делали прежде Говоров и Гангарт. Они же только давали больному лекарства вроде «эфирной настойки корня мауна с мелиссовою водою» и ставили компрессы на части ноги вокруг раны. По другим сведениям, Гильдебрант «поставил вопрос о расширении раны и удалении инородных тел», но Багратион отказался от этой процедуры17.

В принципе, Гильдебрант предложил операцию, которая, согласно «Краткому наставлению о важнейших хирургических операциях», изданному Я. В. Виллие в 1806 году, как раз начиналась с расширения отверстия раны скальпелем. Затем

предстояло извлечь из раны инородные тела и обломки костей, перевязать артерии и — очень важно — «произвести противоотверстия, иногда длинные и глубокие, соразмерно величине члена, глубине, суживанию раны и отстоянию одного отверстия от другого». Это должно было способствовать «выхождению или извлечению из ран инородных тел и обломков костей… и для способствования выхождению гноя и отделению помертвелых частей»18.

Между тем со второго дня ранения был заметен прогрессирующий процесс воспаления раны и участка ноги вокруг нее, образования и накопления гноя. Это видно из описания Говорова. Как он сообщает, при перевязке вечером 1 сентября открылось, что рана оказалась «не в лучшем состоянии против прежнего»; 2 сентября «рана его в перевязке представляла весьма количественное нагноение и скрывающуюся под оным глубокую полость, из которой вытаскивался смердящий гной». При перевязке вечером 3 сентября «ощутительно было зловоние. Самый гной в качестве своем изменился»19. Поражает хладнокровие, проявленное во все эти дни врачами, сопровождавшими Багратиона, при виде нарастающего процесса воспаления — ведь они же ведали, что рана не чиста, что Виллие вытащил обломок кости, а там остались и иные инородные тела. Тогдашние врачи прекрасно знали, что все эти нагноения, скапливание гнойных масс чреваты антоновым огнем (гангреной) и общим заражением («гнилой лихорадкой»), Все описанное Говоровым свидетельствовало о начале этого процесса.

Как пользовали гнойную рану. Допустим, Багратион действительно отказался делать операцию, предложенную московским светилом, но все равно врачи не должны были ограничиваться ежедневной перевязкой и визуальным осмотром. Раненный в ногу пулей под Аустерлицем и попавший в плен русский гренадер лечился, например, таким образом: «Рану пользовали корпией и деревянным маслом; бывало, сделаешь из корпии трут, да с деревянным маслом и заправишь его в рану, сверху наложишь компресс и перевяжешь рану бинтом. Это нужно делать каждый день, а бывало, как не сделаешь этого, то нога вздует, распухнет и заболит, ну, тогда берешь бритву и разрезаешь около раны, когда надавишь, материя (1гной. — Е. А.) выйдет, и тогда станет ноге тотчас легче, и пойдешь ходить»20. Проще говоря, при невозможности «противоотверстия» для выхода гноя нужно было делать все, чтобы удалять гной из раны…

Конечно, Багратиона можно назвать трудным больным. Он никогда не был серьезно ранен в сражениях и, кажется, особенно

не болел. Поэтому он не вполне ясно понимал грозящую ему опасность. Он не считал рану серьезной и был убежден, что дело врачей с помощью порошков, снадобий и примочек поставить его на ноги. Когда его показали Гильдебранту, то Багратион обратился к нему с суждением, которое, возможно, хорошо в военном деле, но не в медицинском: «Я не сомневаюсь в искусстве моих господ докторов, но мне желательно, чтобы вы все совокупно меня пользовали. Я желаю в теперешнем состоянии лучше положиться на трех искусных врачей, нежели на двух таковых»21. Кажется, что он был еще в пылу схватки, сражение под Бородиным и оставление Москвы представлялись ему важнее всего на свете, и он с многочисленными своими посетителями горячо обсуждал их. Когда раненого привезли в Троице-Сергиеву лавру, он непременно хотел ехать дальше. Говоров предлагал ему отсрочить поездку. На это Багратион отвечал: «То-то, что никак нельзя отсрочить! Я должен, если бы то можно было, лететь. Минутное промедление отдаляет от меня спокойствие». Он и его окружение опасались попасть в плен. И только когда его старший адъютант Брежинский распорядился послать партии казаков по окрестным дорогам, Багратион успокоился. Самостоятельный по характеру, авторитарный, волевой и к тому же горячий, Багратион не имел перед собой врача, который внушил бы ему доверие. Возможно, что если бы его лечил Виллие, он вел бы себя иначе. Недаром он так обрадовался, когда на поле боя к нему приехал личный врач государя. Доктор такого уровня соответствовал его амбициям, он мог убедить генерала лечь на необходимейшую в тех условиях операцию. Но возле него были врачи иного калибра, которые могли только ему советовать, да и то побаиваясь при этом его гнева. Когда 4 сентября, посовещавшись, врачи решили «доложить князю» о необходимости операции по отнятию голени, они поручили эту «тягостную и неприятную комиссию» Говорову — низшему среди них по должности и авторитету, но чем-то симпатичному Багратиону.

Дело в том, что к 4 сентября, как писал Говоров, было обнаружено: «Берцовая кость на самой средине показывалась косвенно поврежденною». Неясно, что имеет в виду автор. По-видимому, стала заметна какая-то деформация ноги из-за смещения поврежденной кости. Жаль, что врачи, окружавшие Багратиона, не были знакомы с тогда уже изобретенными методами фиксации поврежденного члена в лубке или гипсе. Если последнее средство было еще неопробованной новинкой, то лубок как средство шинирования был известен в России давно. Но врачи все-таки встревожились, увидав описанные выше

симптомы. Возможно, что именно тогда они пришли к выводу о происшедшем переломе берцовой кости и поняли необходимость операции.

Говоров зашел к Багратиону, и между ними состоялся разговор, который можно назвать разговором господина с цирюльником (врач даже в те времена все равно рассматривался как дипломированный цирюльник). Говоров сразу, без необходимой подготовки, без пояснений состояния раны, сказал, что «до сих пор все употребленные нами способы лечения мало приносили пользы вашей светлости, и потому мы, в общем нашем суждении о вашей болезни, положили предпринять такое средство, которое бы в самое короткое время могло уничтожить ваши страдания». На это Багратион отвечал: «Как бы я рад такому средству». Говоров: «Мы решились сделать вам операцию». Багратион («с недовольным лицом, с выразительным взором, с трогательным голосом»): «Операция? Я уже очень хорошо знаю это средство, к которому вы обыкновенно прибегаете, когда не умеете одолеть болезнь лекарствами. Теперь ли помышлять об операции, после которой потребуется долговременное со стороны вашей старание, чтобы привести меня в состояние быть полезным угнетаемому отечеству!» «Сей ответ произнесен был с видимыми знаками душевного негодования и прискорбия, — пишет Говоров. — Таким образом, я, будучи орудием общего консилиума, навлек на себя первоначально весь гнев князя… Я, однако же, не потерял духу и предложил князю принять несколько любимых им капель ефирной настойки мауна с гофмановым анодином для успокоения его растревоженных чувств». Капли, содержавшие в себе наркотические препараты, оказали свое действие, и, успокоившись, Багратион сказал: «Вот такими-то лекарствами я скорее поставлен буду на ноги, нежели вашею операциею». — «Многие лекарства, ваше сиятельство, приносят пользу, облегчая припадки болезни только на время, — отвечал Говоров, — но они недействительны к совершенному уврачеванию болезни». В ответ Багратион произнес: «Я надеюсь, что ваша медицина не так бедна лекарствами для моей болезни, и твердо в том уверен, что можно мне обойтись без операции».

Мы видим полную неспособность врача объяснить больному всю опасность отказа от операции. Говоров не сделал главного — не сумел убедить Багратиона, что его болезнь не лечится быстро и что с помощью пилюль и капель невозможно извлечь кусок чугуна и обломки костей, которые вызывают гангрену, и что те кучи отрезанных рук и ног, которые полководец многократно после сражений видел возле госпиталей, — жестокий, но зачастую единственный способ спасения человеческих жизней, а

его столь нужная угнетаемому отечеству жизнь как раз и находится под страшной угрозой. Врачи того времени могли уже много рассказать о гангрене и следствиях воспалительных процессов при болезнях и ранениях. Говоров должен был знать исследования И. Ф. Буша, описавшего все известные тогда формы и виды гангрен. Но Говоров ничего этого не сделал.

Вернувшись от больного, он рассказал коллегам о неутешительных результатах аудиенции, и те порешили: «Соглашение на операцию есть дело невозможное, и… надобно действовать на его болезнь заблаговременно всеми нужными врачебными пособиями для отвращения пагубных последствий обнаружившейся горячки со всеми припадками, показывающими гнилое растворение соков». Иначе говоря, доктора решили умыть руки, дабы «не навлечь на себя неудовольствия». Правда, 5 сентября Говоров предпринял новую попытку убедить Багратиона позволить «по крайней мере сделать расширение раны для удобного истечения гноя, для обнаружения в оном как черепка ядра, так и поврежденной кости, для изъятия из полости раны скрывавшихся, может быть, некоторых инородных тел». Но ответ Багратиона состоял «в прекословии на самое минутное терпение от маловажной операции… до приезда в село Симу, принадлежащее князю Б. А. Голицыну, в котором он располагался отдохнуть несколько дней»22. Кажется, что смертельно раненный Багратион непроизвольно стремился домой, а Сима заменяла ему дом, которого у него не было. Здесь его радушно принимали раньше, сюда он уехал после увольнения из Молдавской армии в 1810 году, здесь он бывал и в 1811 году. Владелец имения князь Борис Андреевич Голицын, сам не отличавшийся особыми заслугами, личность вполне бесцветная, чем-то был приятен Багратиону…

Говоров пишет: «6 и 7 сентября проведены были в дороге (ехали из Сергиева Посада в Симу через Александров. — Е. Л.), в продолжение которой князь чувствовал жестокую и нестерпимую колющую боль в ране. Часто он принужден был останавливаться среди полей, часто появлялись на лице его судорожные движения, казалось мне, он готов был расстаться с жизнию, столь для него мучительною. Видя все сии страдания и бывши у него в качестве доверенного и близкого врача, я сам столько же морально, сколько он физически страдал. Сердце мое разрывалось от сострадания к жалкой его участи».

Седьмого сентября больного привезли в Симу, в дом Голицына. Там разместились все, кто сопровождал Багратиона в пути. С ним были генерал-майоры Е. И. Оленин (они вместе служили во время польского похода 1794 года, а также в

Италийском походе Суворова) и Н. Н. Бахметев 1-й, адъютанты — подполковник Семен Брежинский, ротмистр барон Бирвиц, лейб-гвардии Гусарского полка штаб-ротмистр князь Меншиков; кроме того, с Багратионом поехали служащие его канцелярии: экспедитор титулярный советник Саражинович, казначей коллежский регистратор Ценсирович. Больного пользовали упомянутые выше Я. И. Говоров, Гильдебрант (в документах также писался как Гильтебрандт), а также главный медик 2-й армии надворный советник Гангарт. При Багратионе состояли также отставной майор Котов (или Катов), подпоручик Чевский и слуги: камердинер Иосиф (Иосип) Гави, служивший у Багратиона шесть лет, пять крепостных людей, двое наемных слуг, два повара, два унтер-офицера при обозе и «разного рода служители» — 12 человек (все — мужчины)23.

Только на следующий день, 8 сентября, Багратион, по-видимому, не выдержал измучившей его острой боли и позволил произвести частичную операцию, которую следовало совершить не через две недели после ранения, а сразу же после сражения и которую Виллие, то ли из-за спешки, то ли из-за неверного диагноза, недоделал: «…сделана была, — писал Говоров о результатах исследования раны, — предполагаемая операция расширения раны, и знатным разрезом мягких частей около раны открыт был совершенный перелом и раздробление берцовой кости, которой острые и неровные концы, вместе с черепком ядра, глубоко вонзившимся в мясистые части, неоспоримо причиняли во все время болезни жестокую и нестерпимую боль, о которой я столько раз упоминал. Гнойной и вонючей материи с примесью некоторых инородных тел, волокон сукна и холстины (то есть захваченных осколком в рану кусков мундирных панталон и нижнего белья. — Е. А.) вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и чувственных нервов». И далее Говоров в сущности расписывается в собственной некомпетентности: «Признаюсь чистосердечно, что я такового повреждения кости и других частей никак не предполагал, будучи свидетелем раны на поле сражения и в продолжение стольких дней. Несовершенный перелом кости был и прежде замечен. Итак, невыгодное положение князя в раскладной карете, из которой выносили его вечером и в которую поутру опять вносили, затруднительные переезды, негладкие проселочные дороги и тряска в карете были содействующими причинами к совершенному перелому кости. Сие должно было случиться 6 или 7 сентября. В течение сих дней, как известно, князь страдал ужаснейшим образом»24. Трудно удержаться и не

прокомментировать этот текст с точки зрения тех медицинских, да и просто житейских знаний, которые были у людей начала XIX века. Во-первых, очевидна ошибка Говорова в постановке первоначального диагноза. Как военный хирург он не мог определять поражение органа только по одному критерию — величине входного отверстия и на этом основании считать рану «неважной», то есть небольшой, незначительной. При этом он сам пишет, что сразу же, на поле боя, сам «нашел, что она сопряжена была с повреждением берцовой кости». Вскоре он присутствовал при исследовании раны и ее перевязке лейб-медиком Виллие и видел, как тот извлек из раны обломок большеберцовой кости. Этот откол с несомненностью свидетельствовал о серьезности ранения. Ведь повреждение большеберцовой, самой мощной, выдерживающей колоссальную нагрузку кости человеческого скелета позволяло опытному хирургу определить масштабы нанесенных осколком повреждений, независимо от величины входного отверстия, и поставить правильный диагноз. По-современному говоря, диагноз должен быть таков: «Огнестрельный многооскольчатый перелом большеберцовой кости левой голени». Во-вторых, Говоров, естественно, понимал, что «несовершенный» перелом лучше «совершенного», то есть полного. Даже если он ничего не ведал о шинировании, гипсе или лубке, то как лечащий врач обязан был обеспечить покой конечности больного, ограничить его сотрясения во время езды, что уменьшило бы боль и страдания Багратиона. С древних времен был известен только один и самый эффективный способ безболезненной транспортировки высокопоставленных раненых, а именно — на носилках или в сооружении типа кресла, портшеза, которые носили на руках, сменяя друг друга. В-третьих, даже при категорическом отказе делать операцию Багратион все-таки разрешал перевязки раны, и этим можно было воспользоваться как для очищения ее с помощью разных средств, так и для необходимого расширения раны, освобождения оттока гнойной материи (вспомним простого аустерлицкого гренадера с его самодельными трутами, деревянным маслом и бритвой, которой он делал себе надрезы). Поводом для всех этих процедур могла стать необходимая процедура отмачивания и отпаривания бинтов. Так получилось, что к очищению раны с помощью более эффективных, чем деревянное масло, средств (пучки корпии, напитанные лекарствами, спринцевание раствором хины и других препаратов) врачи приступили только с 9 сентября.

Багратион, которому стало чуть лучше, попросил давать ему шампанское, а так как он был человеком совершенно непьющим, то «неудивительно, что вино сие могло подействовать на него как

оживительное или ободрительное лекарство». При этом он был горд собой и говорил Говорову: «Вот я и операцию вашу вытерпел!» Говоров отвечал: «Она доказала вашему сиятельству убедительно, что ее не должно было отсрочивать. У нас, медиков, упущение одного дня насчет болезни влечет иногда за собою пагубные следствия для больного». Увы, сам Говоров не применил этот принцип к Багратиону. Далее Багратион сказал, что действие хирургических орудий «гораздо сноснее для меня показалось той адской боли, которую я прежде терпел». В ответ на его вопрос о будущем: «Нынешняя операция приведет ли в лучшее состояние мою рану» — Говоров пытался навести князя на мысль о необходимости ампутации: «Если маловажная наша операция не принесет пользы, без сомнения, вы позволите нам другую сделать. За успех сей последней можно ручаться!» «Князь хотя промолчал на сей ответ, однако же приметно показал на лице своем знаки неудовольствия». И опять Говоров испугался, прекратил разговор и не сумел довести до Багратиона свои медицинские соображения о необходимости ампутации — ведь ему было понятно, что выздоровление с раной такого характера иначе невозможно. Тогда, до появления разного рода антисептиков, было аксиомой, что ампутация дает шансы на выздоровление во много раз большие, чем все другие способы лечения.

То, что Говоров пытался подготовить больного к мысли о второй операции (ампутации), свидетельствует о таком убеждении врачей, но опять они не смогли объяснить это Багратиону. Возможно, здесь нужен был какой-то голчок, авторитетное мнение нового медицинского светила. Кажется, что внутренне Багратион был готов согласиться на ампутацию, — недаром он в эти дни расспрашивал о здоровье генерала А. Н. Бахметева, которому при Бородине ампутировали ногу и которого лечил Говоров.

Следующий день показал, что болезнь развивается в худшем направлении — начался сепсис. Рана страшно смердела; по словам опытного практика доктора Гильдебранта (в изложении Говорова), «он никогда еще не видал столь гнилого растворения соков, какое примечено было у князя». Сам Говоров писал, что при перевязке 9 сентября «зловоние оной (раны) было столь велико, столь несносно, что без курения уксусом с ло де колонь нельзя было простоять при нем ни одной минуты». Все это свидетельствовало о далеко зашедшем процессе заражения, о необходимости немедленной ампутации. А между тем ее можно было провести уже во время раскрытия раны 8 сентября, когда обнаружился «совершенный перелом», который облегчил бы и

врачам, и больному отсечение гангренизированной конечности. Этого сделано не было. Врачи в этот день и на следующий намекали Багратиону на необходимость операции, но все это были «бесполезные и напрасные… намеки» — Багратион на ампутацию согласия не давал. По-видимому, он по-прежнему был убежден в эффективности «болеутолительных припарок», медикаментозных препаратов (вроде хинина) и различных эликсиров, которыми его усиленно пичкали доктора, явно шедшие у него на поводу. Как писал Говоров, жизнелюбие «внушало… охоту князю принимать лекарства». Багратион говорил Говорову, что после войны возьмет его на Кавказские воды, чудодейственный эффект которых в России уже оценили.

Ни ампутации, ни героических слов не было. Е. Ф. Комаровский писал, что осенью 1812 года он приехал в Покров, где размещалась квартира начальника Владимирского ополчения князя Б. А. Голицына. «Он всегда был дружен с князем П. И. Багратионом. Князь Голицын мне рассказал с большим прискорбием, как привезли в его деревню, недалеко от города Покрова, сего из первых героев российской армии раненого. С каким духом, свойственным неустрашимому князю Багратиону, он перенес отнятие ноги! Последние его слова были: “Спаси, Господи, Россию!” — и Бог внял молитве героя. Я весьма любил князя Багратиона, он имел отличные свойства, а особливо необыкновенную доброту сердца»25. Однако, судя по описанию Говорова, не было ни ампутации, ни героических слов под конец жизни. Так рождаются легенды, которые потом попадают в разные издания, становятся общепринятыми фактами. А вот другой вариант легенды. А. Бутенев писал: «Доктора объявили, что антонов огонь и кончина неизбежна, буде тотчас же не отнять нижную половину ноги, которую почти совсем оторвало от колена. Несмотря на страшные мучения, князь отвергал все представления и твердил, что ему лучше умереть, нежели остаться искалеченным. Не внимая убеждениям и просьбам князя Кутузова и генералов, поспешивших во время самого боя лично выразить раненому герою удивление и соболезнование, он стоял на своем, а настаивать было невозможно, зная его неукротимый и настойчивый нрав»26. Правда здесь только то, что Багратион до самого конца отказывался от ампутации…

В те дни Багратион проявлял свойственную ему железную волю, поразительное жизнелюбие; он пытался заниматься делами, остро переживал падение Москвы, обсуждал это с окружающими. Полководец хотел вернуться в армию, маялся из-за отсутствия привычных дел. «Мне, — говорил Багратион Говорову, — несносно терпеть то состояние, в котором я с давнего времени

нахожусь. Я ничего в жизни моей не боюсь. Страдать я уже привык. Но моя праздная и бездеятельная жизнь, особенно в теперешнее время, мне самым тяжелым и несносным бременем становится. Дайте мне какие-нибудь другие лекарства, которые бы скорее поставили меня на ноги. Уже сколько времени прошло без всякой надежды к лучшей перемене моего здоровья!» Как видим, он так и не осознал тяжесть своего положения, ставшего в это время уже безнадежным, — вечером 9 сентября во время перевязки (ее по-прежнему делали только один раз в день) было обнаружено, что в некоторых местах рана «поражена черными антоно-огненными пятнами. Количество смрадного гноя было чрезвычайное». На следующий день в ране были замечены черви — «предтечи всеобщего разрушения», при перевязке раны «мясистые части казались совсем почти потерявшими жизненную силу», словом, гангрена развивалась в своей последней стадии. Ночь с 10 на 11 сентября Говоров провел возле постели больного, слышал «частые, глубокие молитвенные вздохи, видел судорожные движения по лицу, осязал пульс слабобьющийся и волнистый, жар палящий и как бы колющий, при прикосновении моей руки к телу (что было признаком сильной гнилой горячки) пот на конечностях клейкий и, так сказать, оледенелый»".

Жизненные силы Багратиона иссякали — в эти дни, писал Говоров, «князь был не что иное, как скелет, едва покрытый сморщенною и сухою кожею, сквозь которую видны были кости. Члены едва двигались»…

Вотще друзей молитвы

Одиннадцатого сентября он был в сознании, но, по-видимому, понял, что конец приближается. Он решил закончить земные дела — вызвал к себе своего старшего адъютанта подполковника Брежинского, «много говорил с ним, как с человеком, к которому он имел всю доверенность». Нет сомнений, что он давал завещательные распоряжения относительно денежных сумм разным людям. В деле, заведенном после кончины Багратиона, есть запись, что «Брежинский объявил, что и он имеет у себя в сохранении денег, принадлежащих умершему князю Петру Ивановичу золотом тысячу пятьсот голландских червонцев, представя оные тотчас налицо»28. В тот день Багратион подписал «некоторые бумаги, приготовленные для отправки в С.-Петербург». Мы знаем, что в тот день он получил письмо из Ярославля от принца Георга Ольденбургского — последний привет от Екатерины Павловны, и ответил на него.

После перевязки он отказался принимать лекарства, на которые возлагал такие надежды все время своей болезни: «Довольно! Вы все то делали, что могли. Теперь оставьте меня на промысл Всевышнего». «Сказав сии слова, князь глубоко вздохнул и слабым голосом промолвил: “Бог мой! Спаситель мой!” Я примечал во время сего состояния, — продолжал Говоров, — мрачную тоску, разливающуюся по лицу его. Глаза постепенно теряли последнюю свою живость, губы покрывались синевою, а впалые и увядшие щеки — смертельною бледностию… К вечеру усилившиеся нервные припадки с тяжелым дыханием, хрипением и изредка икотою предвещали кончину сего великого человека».

Свита Багратиона, потерявшая надежду на выздоровление своего патрона, попросила Говорова получить согласие больного на приобщение Святых Тайн. В ответ на дипломатичные слова Говорова о том, что порой «благодать Божия в исцелении недугов чудесно помогает, и потому не угодно ли будет вам призвать теперь священника для принятия Святых Тайн», Багратион отвечал: «Да! Я понимаю, что это значит… Впрочем, я во всю жизнь был христианином. Прикажите тотчас позвать ко мне священника». «При сих последних словах равнодушное спокойствие в ожидании последней минуты жизни озарило, так сказать, все черты страдальческого лица князя, и он как будто с удовольствием и нетерпением желал сложить с себя бренную одежду и одеться в нетленную. В 9 часов вечера князь исполнил последний долг христианина. Мертвенная слабость прерывала движение его языка. Ночь протекла в ужасных страданиях… 12-го числа сентября еще поутру летарг совершенно почти убил все чувства князя. В 1 часу по полудни он тихо скончался»29.

Можно ли было спасти Багратиона? Говоров, опубликовавший свою книжку в 1815 году, понимал, что люди будут неизбежно упрекать врачей, лечивших Багратиона, в том, что они не предприняли самого важного, что могло спасти жизнь полководца. Поэтому в «Примечании о болезни князя», помещенном в конце книги, Говоров вновь возвращается к этой проблеме и пытается доказать, что Багратион все равно не перенес бы ампутации. Он пишет, что «осенняя погода, а паче в то время непостоянная, тряская дорога и причиненные ею беспокойства, двукратный ежедневный вынос из кареты и опять внос в оную, невозможность строго выдержать во время переездов план лечения (о таком плане автор упоминал впервые, и в чем он состоял, неясно. — Е. А.), сопряжение новой болезни с другими застарелыми припадками, особенно грыжи (как она могла помешать ампутации голени, также неясно. — Е. А.), тайные некоторые душевные страдания и многие другие

неблагоприятные обстоятельства были главною причиною, что рана день ото дня становилась хуже, а с тем умножились и жесточайшие припадки горячки. Все врачебные пособия от помянутого состояния оказывались малодействительными, а следственно, и бесполезными, ибо цель их совсем не соответствовала ожиданию медиков. После всего этого я даже сомневаюсь, могла ли быть полезна для князя операция отнятия голени, рано или поздно предпринятая». Все вышеприведенное — типичная отписка врача, пытающегося оправдаться в неоказании помощи больному в рамках его профессиональных возможностей. Более того, Говоров развивает понравившуюся ему идею: «Физическое телосложение его от природы было слабо. Чувствительность его нервной системы, вялость и дряблость вообще плотных частей, готовое расположение соков к повреждению их качества, к тому же трудности долговременной службы и разных тяжелых походов, равно как болезни, исчерпали, так сказать, источник жизненных сил, изможди ли от натуры слабую организацию, довели оную до того, что она никак не была благонадежна как к выдержанию предполагаемой операции, так и к перенесению раны с жестокою сопутницею оной горячкою». Только не написал, что Багратион умер бы и без всякой раны!

Обращаясь к медицинскому сообществу, Говоров ставит вопрос: «Могли быть выпользован князь Петр Иванович Багратион, при вышеупомянутых обстоятельствах, от раны» Мы не знаем, как решило медицинское сообщество того времени, но современные историки медицины почти единодушны: «Вовремя сделанная операция, даже при тех несовершенных средствах, которыми располагали хирурги того времени, могла бы спасти Багратиону жизнь… если бы медики проявили больше настойчивости»; «…Уврачей 2-й Западной армии была возможность спасти жизнь П. И. Багратиона, не прибегая к ампутации пораженной левой голени»30. Буквально повторил вывод предшественников современный историк медицины Д. Ю. Будко: «Была ли смерть полководца неизбежной? Ответ может быть однозначным — жизнь тяжелораненому генералу П. И. Багратиону можно было сохранить даже при несовершенных средствах, которыми тогда располагали хирурги», но при соблюдении двух условий: при правильно поставленном диагнозе и «решительном и своевременном хирургическом вмешательстве»31. Ни того ни другого врачи, лечившие Багратиона, не сделали.

«Он в область славных воспарил, к тебе, отец Суворов!»

Так писал в оде на кончину Багратиона Василий Жуковский. Смерть Багратиона потрясла всех, кто знал и ценил его. «Бедный Багратион, — писал 20 сентября из Тарутинского лагеря своей жене Д. С. Дохтуров. — Как малейшая рана должна (была) быть для него смертельна — у него вся кровь была испорчена. Мне его чрезвычайно жаль как своего хорошего приятеля и больше еще как хорошего генерала. Дай ему Бог Царство небесное!» Адъютант Барклая А. А. Закревский сообщал раненому М. С. Воронцову 20 сентября: «Известие, полученное здесь о кончине князя Петра Ивановича, нас поразило. Жаль его, и очень жаль, но помочь нечем». Дежурный генерал 2-й армии С. Н. Марин писал в тот же день тому же М. С. Воронцову: «Я не хочу сему верить, хотя многие меня в этом уверяют. Потеря сия слишком велика. Не нужно, любезный Воронцов, долго обдумывать, чтобы видеть, сколько отечество наше в нем потеряло»32. М. В. Милонов писал Н. Ф. Грамматину 24 сентября: «Князь Багратион умер от раны. Вообрази судьбу человека: летал с отважностью на палящие батареи и не имел решимости сделать операцию!»33

Государь узнал о смерти Багратиона из рапорта, написанного Сен-При 14 сентября и отправленного в Петербург с адъютантом Меншиковым. Сен-При остался верен до конца своему главнокомандующему и боевому товарищу. Он позволил себе в официальном документе — рапорте — написать живые, выражающие его боль слова: «Сгорестным сокрушением сердца осмеливаюсь донести Вашему императорскому величеству…» и далее о кончине Багратиона34. К рапорту было приложено «Подробное описание раны и болезненного состояния покойника». Так как Багратион «сам о погребении своем не сделал никакого назначения, — писал Сен-При, — то я решился, совершив оное над ним по христианскому обряду, положить тело его в склепу в здешней церкви Святого Дмитрия, ожидая впредь высочайшего Вашего императорского величества повеления, где и как совершить погребение с подобающею толико знаменитому герою честию». Похороны состоялись, по одним данным, 17-го, по другим — 14 сентября. Сен-При писал П. В. Чичагову 14 сентября, что получил отношение адмирала на имя Багратиона «в самую плачевную минуту погребения сего знаменитого героя»35. Преданный всей душой Багратиону, Сен-При, вероятно, ожидал распоряжения государя о перевозке тела полководца в Петербург, но император (по данным П. С. Тихонова) ответил, что предоставляет это на усмотрение родственников. Такой ответ нужно понимать как завуалированный отказ — последствие государева недовольства Багратионом. Думаю, что это недовольство, гнев государев в конечном счете и привели к тому,

что перед Казанским собором стоят ныне только два памятника полководцам, решившим судьбу войны 1812 года, — Кутузову и Барклаю де Толли, — а не три, что было бы логично и справедливо…

Прах здесь — слава везде
Вместо заключения

…Итак, император Александр I не распорядился перенести тело Багратиона из скромной сельской церкви села Сима в столицу и устроить погребение, достойное этого выдающегося полководца. Царскую опалу не сняла даже смерть. Осталось лишь холодное равнодушие, проявленное властью к Багратиону и всем тем, кто сложил, как и он, свою голову на Бородинском поле. 27 августа 1824 года, спустя двенадцать лет после великого сражения, князь Н. Б. Голицын приехал на поле битвы. В письме родным он писал: «Поехал в Можайск, — побывал на поле Бородинском, посмотрел на кости русские, французские и еще десяти народов, до сих пор во множестве разбросанные в некоторых местах поля. Посмотрел и призадумался. И проводник-мужик спросил меня, показывая на груду костей: “Что, узнаете ли, которого князя, графа или нашего брата простого человека”»1. Как это все до боли знакомо нам, вот уже 60 лет неспособным достойно похоронить всех наших солдат, павших во Второй, или Великой, Отечественной войне…

Так все царствование Александра и простоял гроб Багратиона в семейном склепе князей Голицыных в селе Сима. Все молчали, и не успокоился только Денис Давыдов, глубоко почитавший Багратиона. Уже в царствование Николая он писал, что «прах этот есть принадлежность Отечества», и в 1837 году, в год двадцатипятилетия великого сражения, старый гусар и поэт начал свои хлопоты по переносу праха Багратиона на поле Бородина. Мысль Давыдова была удачной — Багратион в сущности не имел семьи, у него не было своего родного дома, клочка земли, имения, фамильной церкви. Его похоронили в Симе временно, в силу сложившихся тогда обстоятельств. По большому счету, прах Багратиона действительно принадлежал России, и земля Бородинского поля, где погибли и были похоронены десятки тысяч его подчиненных и боевых товарищей, была и его вечным приютом. Истинно, эта земля могла стать для него пухом. Кажется подходящим к этому случаю эпиграф книги Н. Б. Голицына, посвященной переносу тела Багратиона из Симы к деревне Семеновской: «Прах здесь — слава везде». Давыдов предложил похоронить Багратиона у подножия монумента в честь павших, решение о возведении которого на Курганной батарее было принято императором Николаем 1 в юбилейном 1837 году.

В начале 1839 года император Николай повелел перенести

гроб с прахом Багратиона на Бородинское поле и предать земле со всеми воинскими почестями. Предполагалось, что почетным караулом будет командовать сам Давыдов, но он умер 22 апреля 1839 года, так и не дождавшись осуществления своих желаний. Среди близких Багратиону людей в перезахоронении участвовал князь Н. Б. Голицын. Церемония, скорбная и торжественная, началась 4 июля 1839 года при огромном стечении народа. Голицын писал: «В 6 часов пополудни начали подымать из могилы лежащий в ней более четверти столетия гроб, который оказался в совершенной целости. Прямо из могилы, не раскрывая гроба, поставили его в приготовленный свинцовый склеп, который сам вмещался в новую великолепную гробницу. Потом началась панихида, которую отправлял архиепископ Парфений (Владимирский. — Е. А.) с избранным духовенством. Стечение народа было неимоверно велико». На следующее утро была совершена литургия, и Парфений произнес над прахом полководца речь. Обращаясь к покойному, архиепископ сказал о предстоящем перезахоронении: «В день кровавой битвы, во славу героев, положивших на поле Бородинском жизнь свою, совершится торжественная тризна, более ста тысяч Российского воинства облечется во всеоружие, развернет знамена, повторит урок приснопамятной брани… Ты будешь свидетелем, как роковое место обратится в место славы, как откроется величественный памятник, как безмолвно и красноречиво будет завещать и внушать потомству: “Воины России! Здесь пали доблестные Багратион, Кутайсов, Тучков и тысячи героев, пали за честь, за спасение Отечества, они умели побеждать, но умели и принести в жертву и жизнь свою”»2. 5 июля гробницу перенесли на колесницу, и траурный кортеж, сопровождаемый Киевским гусарским полком, двинулся через Юрьев-Польской, Александров, Сергиев Посад на Бородинское поле — отчасти по тому пути, каким ехал в 1812 году, отчаянно страдая от своей раны, Багратион. Вдоль всего пути стояли толпы народа, и духовенство служило панихиду. Это и был тот самый триумф, которого Багратион не дождался при жизни. 24 июля 1839 года гроб захоронили в земле, на том месте, где пролилась кровь Багратиона и полегла ббльшая часть его 2-й армии. Священники в белых ризах во главе с митрополитом Московским Филаретом совершили панихиду. И до сих пор для людей, стоящих вокруг гроба (в том числе и неверующих), в двухтысячелетием торжественном и печальном ритуале православной панихиды заключено нечто такое, что примиряет со смертью и дарит надежду; кажется, будто по душе струится смягчающий ее елей… А вскоре, 26 августа 1839 года, возле могилы Багратиона был

открыт Главный монумент героям Бородина.

Но Россия не была бы Россией, если бы оставила спокойно спать своих великих покойников. В селе Сима в конце 1920-х годов была снесена церковь, в которой был первоначально похоронен Багратион. В марте 1932 года по решению советской власти Главный монумент на Бородинском поле был взорван, взрывом выворотило и гробницу Багратиона. Часть разбросанных костей полководца была собрана и где-то хранилась. Лишь в 1987 году — естественно, к юбилею (175 лет) — монумент был восстановлен, а 18 августа 1987 года прах Багратиона был похоронен уже в третий и, надеюсь, последний раз…

Хронология жизни князя П. И. Багратиона [3]

1769 (дата предположительная)

— рождение в семье князя Ивана Александровича Багратиона в Кизляре.

1782–1783

— обучение в Киалярской гарнизонной школе.

— начало военной службы мушкетером в Астраханском пехотном полку на Кавказской линии.

— произведен в сержанты.

1785, июль

— участие в бою под селом Алды, возможное пленение чеченцами.

— начало службы в Кавказском мушкетерском полку.

— произведен в прапорщики.

ноябрь

— произведен в подпоручики.

Декабрь

— участие в штурме Очакова, награжден офицерским Очаковским крестом.

май

— произведен в чин капитана.

июль

— произведен в секунд-майоры, переведен в Киевский конно-егерский полк.

26 ноября

— пожалован в премьер-майоры.

май

— перевод в Софийский карабинерский полк.

Лето — осень

— участие в Польской кампании в авангарде генерала В. А. Зубова.

июня

— участие в бою при Бресте.

7 июля

— участие в бою при местечке Седлицы.

июля

— участие в сражении при местечке Дерячин.

сентября

— участие в сражении при Сокольне.

13 октября

— участие в сражении при местечке Броке.

октября

— участие при штурме предместья Варшавы Праги. Возможное знакомство с А. В. Суворовым. Награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

1795

— получение чина подполковника.

Июнь

— командир 1-го батальона Лифляндского егерского корпуса.

Ноябрь

— встреча с А. В. Суворовым. 1796,

29 ноября

— командир 7-го егерского батальона (с 17 мая 1797 года переименованного в 7-й Егерский полк). 1798,

13 февраля

— пожалован в полковники, назначен командиром 7-го Егерского полка, дислоцированного в Волковыске.

Октябрь

— начало похода за границу (в Австрию) из Брест-Литовска в составе корпуса генерала А. Г. Розенберга.

декабрь — 1799, март

— пребывание в Австрии с войсками.

17января

— назначен шефом Егерского своего имени полка.

13 февраля

— пожалован в генерал-майоры.

Март

— переход из Австрии в Италию, участие в Италийском походе Суворова.

10—14 апреля

— командование авангардом, участие во взятии крепости Брешии, сражении при местечке Лекко. Ранение в правую ногу. Награжден орденом Святой Анны 1-й степени и пожалован в командоры ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

24 апреля

— участие в занятии города Тортона.

5 мая

— участие в сражении при Маренго. Награжден орденом Святого Александра Невского.

мая

— участие в занятии Турина.

6—10 июня

— участие в сражении при реках Тидона и Треббия.

июня

— участие при занятии города Алессандрия.

23–28 июня

— осада и взятие крепости Серравалли.

4 августа

— участие в сражении при Нови. Награжден алмазными знаками ордена Святого Александра Невского. Сентябрь — октябрь — участие в Швейцарском походе А. В. Суворова.

сентября

— участие в сражении при Сен-Готарде.

сентября

— участие в боях у Чертова моста.

19—21 сентября

— участие в сражениях у деревень Нефельс и Гларус, контужен картечью.

23—24сентября

— сражение при местечке Шванден.

октябрь — 1800, февраль

— пребывание с войсками в Австрии (Богемии). За кампанию 1799 года награжден алмазными знаками ордена Святого Иоанна Иерусалимского, австрийским военным орденом Марии Терезии 2-й степени и сардинским Святого Лазаря и Святого Маврикия 1 — го класса.

январь — февраль

— возможное пребывание с Суворовым в Праге и сопровождение его до Кобрина.

Февраль

— возвращение в Петербург из Кобрина с письмами А. В. Суворова.

Начало мая

— посещение умирающего Суворова.

9 июня

— определен шефом лейб-гвардии Егерского батальона, начало придворного возвышения Багратиона.

2 сентября

— женится на графине Е. П. Скавронской, свадьба в Гатчинском дворце.

1805

— отъезд княгини Е. П. Багратион за границу.

Сентябрь

— участие в походе русской армии М. И. Кутузова в Австрию, командование авангардом.

Сентябрь — октябрь

— командование арьергардом отступающей армии М. И. Кутузова.

4 ноября

— участие в Шёнграбенском сражении.

8 ноября

— пожалован в генерал-лейтенанты. Награжден орденом Святого Георгия 2-го класса.

8 ноября

— участие в сражении при Раузницах.

20 ноября

— участие в сражении при Аустерлице, командование арьергардом при отступлении из Австрии и Венгрии.

1806, январь

— пребывание в Петербурге, жизнь в доме княгини А. П. Гагариной на Дворцовой набережной, салон Багратиона, участие в придворной жизни. Получение похвального рескрипта за сражение при Аустерлице.

Февраль — март

— пребывание в Москве, триумфальная встреча его москвичами.

Апрель

— возвращение в Петербург, участие в придворной жизни.

Май

— переформирование лейб-гвардии Егерского батальона в полк.

Лето

— пребывание в Павловске, служба и участие в придворной жизни. Покупка дома (дачи) в Павловске (позже — Павильон Роз).

январь

— прибытие Багратиона в Восточную Пруссию для участия в боевых действиях, командование авангардом армии Л. Л. Беннигсена.

января

— командование арьергардом в сражении под Ландсбергом.

января

— участие в сражении при Прейсиш-Эйлау и Гутштадте. Награжден орденом Святого Владимира 2-й степени и золотой шпагой «За храбрость».

Февраль

— кратковременная поездка Багратиона в Петербург с докладом о военных действиях.

мая

— участие в сражении при Гельсберге.

2 июня

— участие в сражении при Фридланде, затем командование арьергардом отступающей армии до Немана. За кампанию 1807

года награжден прусскими орденами Черного орла и Красного орла.

Начало июля

— отъезд в Петербург.

Июль — октябрь

— частое пребывание Багратиона в Павловске, при дворе императрицы Марии Федоровны. Роман Багратиона с великой княжной Екатериной Павловной.

9 февраля

— участие в войне со Швецией, вступление в Финляндию, командование 21-й пехотной дивизией.

февраля — май

— занятие войсками Багратиона Тавагусты, обладание побережьем Ботнического залива.

Весна

— пребывание в Або.

23 апреля — июль

— отпуск, поездка в Петербург.

14—16 сентября

— отражение шведского десанта под Або.

1—6 марта

— «Ледовый поход» на Аландские острова.

20марта

— произведен в генералы от инфантерии.

июня

— назначен в помощь главнокомандующему Молдавской (Дунайской) армией князю А. А. Прозоровскому в войне с Турцией.

июля

— прибытие в Дунайскую армию.

Август

— принял главное командование над Молдавской армией, переход на правый берег Дуная, занятие крепостей Мачин, Гирсов и Кюстенджи.

4 сентября

— победа над турками под Рассеватом. Награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

Сентябрь

— начало осады крепости Силистрия, взятие Измаила.

10 октября

— сражение с турками при деревне Татарице.

Ноябрь

— взятие крепости Браилов.

Декабрь

— снятие осады Силистрии и переход на левый берег Дуная. Конфликт с Н. П. Румянцевым, переезд в Бухарест.

декабрь — 1810, январь

— разработка плана новой кампании, управление Валахией.

4 февраля

— освобожден с поста главнокомандующего, начало опалы Багратиона.

Весна

— отъезд из армии в Вену.

Лето

— возвращение в Россию, отказ императора Александра 1 принять Багратиона, пребывание в Москве и в Симе.

Октябрь — декабрь

— отпуск в Москве.

начало

— предложил свой план будущей войны с Наполеоном.

Январь — июль

— продажа дома в Павловске.

августа

— назначен главнокомандующим Подольской (впоследствии 2-й Западной) армией.

сентября

— прибытие в Житомир — главную квартиру армии.

16 марта

— назначен главнокомандующим 2-й Западной армией.

Май

— переезд главной квартиры в Луцк.

24 мая

— прибытие в Кобрин.

Начало июня

— переезд в Пружаны, затем в Волковыск.

16 июня

— начало отступления вглубь России.

28 июня

— сражение у Мира.

2 июля

— сражение у Романова.

июля

— сражение у Салтановки, неудача с занятием Могилева, переход через Днепр, отступление к Смоленску.

22—23 июля

— соединение с 1-й Западной армией у Смоленска.

5—6августа

— командование первой стадией сражения у Смоленска,

отступление по Большой Московской дороге, обострение отношений с Барклаем де Толли.

26 августа

— сражение при Бородине, командование левым крылом, оборона Багратионовых флешей, ранение в левую ногу.

30 августа — 2 сентября

— вывезен с поля боя, пребывание в Москве.

7 сентября

— прибытие через Сергиев Посад, Александров в село Сима Владимирской губернии.

сентября

— смерть в Симе, захоронен в местной церкви.

1839, июль

— перенос праха Багратиона на Бородинское поле, погребен на Батарее Раевского возле Главного монумента.

1932

— Главный монумент и могила Багратиона уничтожены советской властью.

1987

— восстановление монумента и установка надгробия над бывшей могилой Багратиона.

notes

Примечания

1

Цифрами обозначены сноски. Текст сносок в исходнике отсутствует. — прим. верстальщика.

2

В исходнике отсутствует часть текста — прим. верстальщика

3

В исходнике отсутствуют многие даты, требуется сверка с оригиналом — прим. верстальщика